

МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ ПУТИ М.ПРУСТ "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ"

Издательство Русского Христианского гуманитарного института
Журнал "Нева"
Санкт-Петербург 1997

*...И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей Возвратился, пространством и временем полный.*
О. Мандельштам

Под общей редакцией Ю. П. Сенокосова
Редактор И. К. Мамардашвили
Художник Е. Б. Горбатова

**Издание осуществлено при содействии ИЧП "Университетская книга" и
ИТД "Летний Сад"**

*Все права защищены. Перепечатка в любой части произведения без
разрешения правообладателя незаконна*

ISBN 5-88812-049-9

© И. К. Мамардашвили, 1997

© Русский Христианский гуманитарный институт, 1997

© Журнал "Нева" художественное оформление, 1997

ОТ РЕДАКТОРА

Среди черновых записей и рабочих материалов, относящихся к лекциям Мераба Константиновича Мамардашвили о романе М. Пруста «В поисках утраченного времени», есть отрывок из письма Пруста, помеченного 1913 годом *. Это весьма характерное признание автора романа, на которое, я думаю, не случайно обратил внимание М. К. «Но это вовсе... не наблюденная деталь, это целая теория памяти и познания (во всяком случае, таково мое притязание), не выстраиваемая прямо в логических терминах». И далее М. К. помечает, как бы для себя раскрывая (в тезисной форме) собственное отношение к роману.

Мгновенное и далекое (летуче далекое, издалика «мухой кажущееся»).

Мгновенное — молния (шевелись в ее синтаксисе!), далекое — телескоп (психический) каждого из «своего далека».

Лишь то, что обнаруживает некий общий закон.

*Рожденный из света, но родиться нелегко — целая теория! Так что действительно *Philosoph nicht minder...* (Имеется в виду фраза Гете: «И родится поэт? разве только поэт — **философ не менее**». — Ю. С). Далеко и мелочь, не имеющая, казалось бы, значения или отношения ко мне. Например, вкус чая и сады Комбре в чашке чая.*

Итак:

1) «на малое время свет», так что работать нужно;

2) далекое, так что нужен психический телескоп-стереоскоп и между ними пространственно-временной **объем**. Глубина этого объема проглядывает, доступна, дана только в точке неиндуцируемой индивидуальной реальности — данности души (а это там же, где ударила молния) по мере движения в ее внутреннее измерение, расступающееся и расширяющееся светлое пространство, в котором все объемится «светоносной тьмой», светотенью.

3) Очевидность как контроль и подтверждение всей картины (поскольку за интеллектуальной радостью тоже закон и «более постоянное основание»). Всякая основательная работа обнажает все — и то, что не было ни предметом, ни задачей.

Почему мы знаем — не знаем, переживаем — не переживаем. Мы не плоскостны и не двухмерны, есть еще измерение — глубины.

Мерцающий объем — за порогом мгновения (если раздвинем), в окоме телескопического взгляда, между совсем малым и очень большим, изда-

* «Mais ce n'est nullement un détail minutieusement observé, c'est toute une théorie de la mémoire et de la connaissance (du moins c'est mon ambition) non promulguée directement en termes logiques».

Proust à Louis de Robert

лека приближающимся и нас растворяющим, блаженный обморок ухнувшего в глубины обморочного сознания — отдельного, «специального» сознания.

Что вы сейчас делаете — это и есть «вечная жизнь», ты здесь и высвечен на мгновение, чтобы она была, так что — шевелись! Нет «царского пути»...

На мой взгляд, это предельно краткое авторское введение в проблематику издаваемых лекций может рассматриваться как выражение основной их идеи — о невероятной трудности постижения человеком истины, связанной с топологией прохождения собственного жизненного Пути.

Публикуемые лекции — вторая вариация на темы прустовского романа. Первая — под названием «Лекции о Прусте» (1982 г.) — была издана в Москве в 1995 году. Настоящие лекции, имеющие самостоятельное значение, были прочитаны М. К. на факультете искусства и гуманитарных профессий Тбилисского государственного университета в 1984/85 учебном году по инициативе покойной Т. Г. Твалчрелидзе и декана факультета Б. Б. Бежуашвили.

В их подготовке к изданию на разных этапах принимали участие: Иза Мамардашвили, Давид Лежава, Давид Эбралидзе, Диана Маглакелидзе, Зураб Черкезишвили, а также Инна Фиалкова, Манана Мегрелидзе, Манана Эбралидзе, Вера Гарибашвили, Ирина Тер-Оганесян, Кетино Картвелишвили, Галина Урушадзе. Всем им — и прежде всего Изе Константиновне Мамардашвили, проделавшей огромную работу по редактированию лекций и сверке цитат, — самая искренняя и глубокая благодарность.

Ю.П. Сенокосов

Председатель Фонда философских
и междисциплинарных исследований
им. М. К. Мамардашвили
Москва

ЛЕКЦИЯ 1. 6.03.1984

Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного времени», он будет для нас материалом, а темой будет «Время и жизнь». Почему такая тема? По одной простой причине: **жизнь** – и кстати, Пруст так ее и определял – **есть усилие во времени**¹. То есть нужно совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Многие из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, – мертво. Мертво (в простом, начальном смысле, я пока более сложные смыслы не буду вводить), – потому что подражание чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво, потому что – это не твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке

отсутствует наше подлинное, личное переживание. Хочу подчеркнуть, что мертвое не в том мире существует, не после того, как мы умрем, – мертвое участвует в нашей жизни, является частью нашей жизни. Философы всегда знали (например, Гераклит), что жизнь есть смерть² и т.д. (обычно это называют диалектикой, но это слово мешает понять суть дела). Тем самым философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для **подлинной жизни**. Кстати, словосочетание «подлинная жизнь» – одно из наиболее часто встречающихся в тексте Пруста³. «Моя подлинная жизнь» – сама интенсивность этого оборота, потребность в нем говорят о том, что очень трудно отличать живое от мертвого. Для каждого нашего жизненного состояния всегда есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, как трудно отличить нечто, что человек говорит словесно – не испытывая, от того же самого, но – живого. Почему трудно? Потому, что слова одни и те же. И вы, наверно, часто находились в ситуации, когда, в силу какого-то сплетения обстоятельств, слово, которое у вас было на губах, вы не произносили, потому что в то же самое мгновение, когда вы хотели его сказать, чувствовали, что сказанное будет похоже на ложь. Когда вы молчите – то в том числе потому, что сказанное уже от вас не зависит, оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью (хотя оно может быть правдой). У Данте есть прекрасная строка в «Божественной комедии» – кстати, было бы не вредно вам почитать Данте параллельно с текстом Пруста, потому что так же, как текст Пруста есть путешествие души, так и «Божественная комедия» – одна из первых великих записей внутреннего путешествия души. И многие дантовские символы, слова и обороты непроизвольно совпадают с оборотами у Пруста, хотя Пруст вовсе не имел в виду цитировать Данте. Так вот, Данте, ведомый Вергилием, увидел чудовище обмана Гериона, с телом змеи (но скрытым во мгле) и с человеческой головой. Человек, но в действительности – змея. И Данте говорит – увидел правду (это символика), увидел воплощение человеческого обмана, но сказать ее (правду) человек считает невозможным. «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами». Одна из наиболее частых наших психологических ситуаций. И я привел этот пример, чтобы настроить вас на то, как отличить живое от мертвого или ложь от истины, поскольку обозначения одни и те же и, самое главное, внутренняя разница между ложью и истиной, не существуя внешне (не существуя в словах и в предметах; предметы лжи и истины похожи, неотличимы), предоставлена целиком какому-то особому внутреннему акту, который каждый совершает на собственный страх и риск. Этот акт можно назвать обостренным чувством сознания.

Значит – **внутренний акт**. То есть отличие устанавливается мною, оно не дано в вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что и тот, кто говорит правду. В словах правда не содержится и в этом смысле не может быть записана. Предметы лжи и истины одни и те же. И это внешне неуловимое отличие и есть внутренний акт. Но, поскольку мир его не совершает, его нельзя закрепить, сказать: это уже сделано и существует; как, скажем, можно запомнить, обозначить символом какую-то формулу и потом пользоваться только символом, не восстанавливая всего содержания. Я призываю вас совершать этот акт по отношению к тексту Пруста. Приведу маленькую цитату. Текст Пруста, поскольку он большой художник, очень красив, состоит из хорошо выбранных и хорошо связанных слов; есть непосредственная красота стиля, и она настолько доступна, что иногда именно

поэтому мы не задумываемся над сказанным. Почти все слова многозначны, имеют глубину, в них есть какой-то отсвет. Пруст иногда сравнивает хороший стиль с бархатом (ткань, приятная на ощупь, и в то же время дает ощущение глубины ускользающей). Простая цитата – в романе фигурируют сестры бабушки героя (очень распространенный в Грузии тип женщин, чаще всего дворянского происхождения; то есть они принадлежали к сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в действительности, конечно, составляли костяк нации, который больше всего пострадал в годы революции; они были носителями просвещения, определенных норм морали, традиций). И Пруст говорит, что сестры бабушки думали, что детям всегда нужно показывать произведения, которые достойны того, чтобы ими восхищались. Им казалось, что эстетические качества подобны существующим материальным предметам (скажем, «красивое» – это материальное качество какого-то предмета, или «благородное», «возвышенное», «честное»; так же, как вы сейчас не можете не видеть меня, поскольку я – материальный предмет перед вами). И если мы попытаемся окружить ребенка такими предметами – хорошими книгами в том числе, то тем самым его образовываем.

И вдруг Пруст замечает: *«Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетического качества (вместо «эстетического» подставьте любое другое: моральное, интеллектуальное), и они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть увидеть) без того, чтобы не дать медленно вызреть в своей собственной душе эквиваленту этого качества»*. То есть совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Вот я сейчас занимаюсь, казалось бы, милой пустяковой фразой Пруста, но за этим стоит какая-то структура. Для Пруста человек не субъект воспитания, а субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск, чтобы в душе его вызрели эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или человеческих завоеваний. Так вот, людей можно якобы воспитывать, если окружить их, например, самыми великими и благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах, изображенными на стенах домов в виде изречений, чтобы, куда человек ни посмотрел, всюду его взгляд наталкивался бы на великое изречение, и он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто относимся таким образом. Для Пруста же в книге не существует того содержания, с которым мы с вами должны вступить в контакт: оно может только возникнуть в зависимости от наших внутренних актов. Книга была для Пруста духовным инструментом, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле? Не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем книги, а в том, что что-то фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков, в зависимости от того, как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано и что мы прочитали. И вот так мы и должны попытаться отнестись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это делать. Пруст говорил, что книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, они не очень сильно отличаются от платья, которое можно кроить и так и этак, приспособивая к своей фигуре. Поэтому не надо стоять по стойке смирно перед книгами. Такова мысль Пруста.

И поскольку я уже употребил слово «жизнь», то хочу за это зацепиться. Как я бы выразил основную ситуацию Пруста в той книге, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний и мотивов. В психологии есть такой термин «мотив» – имеется в виду психологическая причина того или иного дела или поступка. А Пруст слово «мотив» (и я вслед за ним) употребляет в

музыкальном смысле – что есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения. И у жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. И этот мотив связан чаще всего с желанием. В одном очень простом смысле: ведь в действительности мы являемся только и только желающими существами. И, кстати, одно из самых больших желаний – желание жить. Но жить – как? Чувствовать себя живым! Наши желания и позволяют нам чувствовать себя живыми. Это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама – ценность в этом смысле. Не в том смысле, что мы должны сохранить жизнь как физический факт, – физически мы ведь знаем, что кто-то умер, а кто-то жив. Нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши проявления или свойства, в которых мы чувствуем себя живыми и поэтому стремимся реализовывать их. Следовательно, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, не просто. И не только по тем причинам, о которых я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью, а там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Стоящие за теми ситуациями (а их очень много), которые обращены к нам только одним требованием: чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню, что я хочу сказать. Возьму самую типичную ситуацию, требующую такого акта. Ситуация следующая у Пруста (расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувствую себя живым» и т.д.) – условно назову ее ситуацией **места**. А именно: где я? Ситуация знания или незнания мной моего действительного положения. Ну, условно говоря, на каком я свете нахожусь? Где я – по отношению к чему-то? Что в действительности со мной происходит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто мне кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Вы знаете это не только по жизни, но и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину (героиня прустовского романа), а в действительности я хочу слушать музыку. Почему? Да просто по каким-то причинам Альбертина стала для меня носителем этого желания – то есть каким-то механизмом, которого я не знаю, совершился перенос моего стремления к музыке на стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности хочу слушать хорошую музыку. Или: я бегу на свидание с женщиной, уверенный в том, что ищу свидания именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам, и тот факт, что эти чувства – другие, очень часто обнаруживается на свидании. Потому что иногда прямо пропорциональна моему нетерпению прибежать на свидание бывает скука, которая охватывает меня на свидании, и возникает желание, чтобы свидание поскорее кончилось. Причем эта скука непонятна, потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает всеми теми качествами – они ведь не изменились, – из-за которых я, казалось бы, на это свидание стремился. А вот какое-то смятение, тоска овладевают тобой, то, что немцы называют *Unbehagen*, и ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой женщины. Ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви, но, очевидно, это не так, потому что ты даже не помнишь их после свидания. А то, чего ты не помнишь, не может быть причиной страстного состояния.

Я это все привел только к тому, чтобы пояснить, что когда возникает вопрос: что я в действительности чувствую, то это не есть само собой разумеющийся вопрос, имеющий само собой разумеющийся ответ. Напомню вам, что Фолкнер в свое время... кстати, то, что я сейчас говорю, отразилось на радикально измененной, или революционной, если хотите, форме романа. Очевидно, тот

тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолкнер и Пруст, их тип опыта не мог уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось изобретать новую, другую форму.

И у Пруста, и у Фолкнера фактически нет именного сюжетного героя, а есть герой, фамилии которого мы даже не знаем, все слои времени перемешаны, повествование свободно скачет от одного времени к другому вне какой-либо последовательной связи, к которой мы привыкли в классическом романе. Нет изображения никакого общества, никаких социальных движений, никакой, если угодно, объективной картины. Все строится совершенно иначе. Почему? И тут я возвращусь к фразе Фолкнера, которую хотел привести. Фолкнер говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, каково его действительное положение. Где он и что происходит с ним? Вернее – как и когда сцепилось то, что сейчас происходит. Например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желанное свидание, только и думаю о том, чтобы оно поскорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти ситуации обладают одним свойством: их нужно распутывать. И форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. И здесь я пока помечу одну очень важную мысль. Литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне (по отношению к самой жизни) является ее украшением; не нечто, чем мы занимаемся, – пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент. Так вот, для Пруста, и я попытаюсь в дальнейшем это показать вам, текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством распутывания опыта; когда мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней. В жизни. Сошлюсь на известный факт: Пруст писал свой роман в общем-то наперегонки со смертью, поскольку он был тяжело больным человеком, астмой, а вы знаете, что астма – одно из самых психологически сложных заболеваний. Оно вызывает физические мучения, которые ближе всех других к ощущению смерти, поскольку ощущение смерти непосредственно сопровождает саму болезнь. Ты задыхаешься, и смерть – не где-то далеко, а вот – она здесь. И это как раз выпало на долю Пруста (простите, что я иду разными путями, пользуясь ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком гладко и последовательно). Короче, вы понимаете, что если текст есть часть жизни, – не в том смысле, что его пишет тот же самый человек, который еще и живет, ходит на работу, у него жена, дети и т.д. – нет, я имею в виду другое: чтобы распутать что-то, нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, **в пространстве текста**, и тогда (если этот текст удался) ситуация меняется. Набоков, кстати, то же самое проделал – в русской литературе вообще отсутствуют такого рода вещи в силу, я бы сказал, ее провинциально-патриархальной отсталости от мировой литературы, – а Набоков пробовал такие вещи делать. Например, он описывает ситуацию, оказавшись в которой его герой, построив текст для распутывания, заглянув в самого себя, установил истинный факт своей жизни, что ближайший его друг является любовником его жены. При этом, естественно, если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен. Он не может быть до конца написан – ясно, что я сейчас сказал? – по определению, он не может быть, например, оконченным, совершенным романом. И вот у Пруста были написаны начало и конец романа: где в самом начале романа уже есть конец. Пруст сравнивал строение своего романа с собором; в нем всегда есть переключки одной части с другой. Вы ведь разглядываете собор в последовательности, вы не можете одним взглядом охватить весь собор; скажем, вначале вы смотрите на одну часть и там какое-то изображение, но оно не отдельно существует,

хотя вы смотрите на него отдельно, а перекликается с другой частью собора, которую вы увидите через какое-то время. Условно назовем эту перекличку символической, то есть термином, которым пользовались символисты, – correspondances, соответствия. (Это я ввожу, наверно, узнаваемую вами тему символических соответствий.) Скажем, какая-то сцена на 50-й странице имеет смысловую перекличку и не может быть понята по окончательному своему смыслу без того, что фигурирует на 3000-й странице (примерно в конце романа). Так вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа события самой жизни Пруста. В том числе знаменитую «книгу любви» Альбертины; две части романа особо выпукло ее выделяют – «Пленница» и «Беглянка». Они написаны Прустом по живому. Он имел и начало и конец романа и перекраивал свою собственную реальную любовь, которая в жизни с ним происходила: это была любовь к его секретарю Альфреду Агостинелли, который погиб, кстати, так же, как и Альбертина в романе. И хочу по этому поводу сразу сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться. Вы, очевидно, знаете, что Пруст не был человеком нормального сексуального темперамента. Он был гомосексуалист. Но он был одним из немногих, у которого было мужество через эту свою, назовем условно, причуду, через нее идти, в страстном человеческом искании, к общей природе любви, а не к гомосексуальной. Она была проблемой – любовь как таковая (то есть нормальная сексуальная любовь). И он смог транспонировать, и разобрать, и понять. Потому что в общем-то там действуют те же самые законы и иногда на гомосексуальной любви виднее общие законы любви (к этой последней, так сказать, причине я еще вернусь, а об отклонениях говорить больше не буду, анализ их совершенно неинтересен и не имеет равным счетом никакого значения). Повторяю, в романе Пруст все это с пером в руке пробежал – весь безумный бег своего чувства – и справлялся с ним; вы увидите в дальнейшем преодоление Прустом основной вещи в любви. Той, которая вырывает любящего из человеческой связи, а именно мании собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть. И от этого он освобождался. И освобождался посредством текста. Значит, текст участвует в реальной жизни.

Возвратимся к тому, что я сказал, – к ситуации. Самая типичная ситуация – **незнание** самого себя и своего действительного положения; значит, основная задача – **узнать свое действительное положение**. Роман Пруста буквально пестрит и ситуациями такого рода, и словами, относящимися к их описанию. Это была, так сказать, его мания, он так видел мир – под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у нас у всех есть мании. Без этого не увидишь того, что существует вне всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно виден один фундаментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем: к сожалению, мы почти никогда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть облик реальности. Например, одно из самых важных переживаний для Пруста – это сознание того, что мы любовью убиваем тех, кого любим. Поскольку мы эгоистичны, хотим владеть и т.д. А с другой стороны, всегда есть ходячие фразы, которые мешают нам интенсивно что-то пережить. Мы говорим себе: все это не так; это не похоже на то, что было в прошлом, сейчас это иначе, это пройдет, образуется; надежда мешает нам интенсивно пережить теперешний момент, перенося нас в следующий, в завтра. Мы откладываем на завтра. Надежда нам мешает – что? – интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, в мировом искусстве с самого начала есть то, что называли священным ужасом реального. Когда реальное, или то, что есть на самом деле, предстает (к сожалению, в последнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью) через некое потрясение. То есть поэт должен быть

достаточно взволнован или достаточно потрясен, чтобы увидеть реальность, – скажем, реальность образа матери в романе Пруста. Ведь в действительности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем достаточно взволноваться, мы этого не видим. Но иногда поэты рисуют страшные фигуры, которые разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим реальность. При этом я хочу сказать, что задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть на самом деле, – наше действительное положение, или то, что мы действительно делаем.

В качестве настройки, камертона я хотел бы привести еще одну цитату из Пруста. *«Какой милый закон природы, согласно которому мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того, что любим».* У него часто повторяется такой образ: как бы любящий находится по одну сторону стеклянной перегородки, как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен от мира, и у него – один мир, он видит вещи в аквариуме. Он нас не видит. Он видит вещи своими глазами, и они для него бесконечны. Ведь поле нашего глаза бесконечно, и в этом поле мы видим то, что видит глаз. Но представьте стенку аквариума, в которой бесконечно отражается вода самого аквариума, – рыба не видит стенки, она бесконечно видит только воду. Потому что если бы она увидела стенку, то увидела бы и то, что она – в аквариуме. А она не видит, что находится в аквариуме. (Я сейчас перелагаю образы Пруста, связываю их, они появляются в разных местах романа.) И для нее этот мир – единственный. А реальность врывается в аквариум или в мир рыбы, или в мир влюбленного, подобно тому как в реальном, действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу из воды, которая ей казалась единственной и бесконечной. Куда бы она ни посмотрела – везде была вода, а тут вдруг – рука появилась и вынула ее из аквариума. Так вот, для Пруста существует ситуация этих стеклянных перегородок, которые являются непроходимыми. То есть то, что по эту сторону стекла, невидимо и оттуда тоже, и только какие-то события, называемые реальностью, могут переносить события из одного мира в другой. Например, барон Шарлю, очень яркая фигура, жил подобно рыбе. Я сказал, что вода отражается в стекле бесконечно, тогда как рядом в тени рыбовод, pisciculteur, наблюдает за ее шевелением, – а для Шарлю таким рыбоводом была мадам Вердюрен, хозяйка салона, который он посещал. В этом салоне Шарлю представлял аристократический мир; ему казалось совершенно естественным, что все посетители салона знают, что он представитель одной из самых древнейших аристократических фамилий Франции. А видели его там совершенно иначе, и Пруст говорит, что он был бы так же потрясен, узнав, как он выглядит в глазах других, как мы бываем потрясены, когда по какой-то случайной причине спускаемся по черной лестнице к выходу и видим надписи, оставленные слугами о нас самих. (Потому что слуг мы видим в своем мире.) *«И более того, – замечает Пруст, – народы в той мере, в какой они являются коллекцией индивидов (то есть общества есть коллекции индивидов, и законы индивидов, следовательно, являются также, но только в другом масштабе, и общими законами; одна из важных мыслей Пруста уже такого социологического, или политического, если угодно, характера), дают более обширные примеры – но идентичные тем, которые даются индивидами, – этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты».*

Упрямой и приводящей в замешательство слепоты – остановимся на этих словах. Поскольку я посредством Пруста занимался чтением своего опыта и в своей душе, могу признаться, что одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией) было именно это переживание – совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Поразительный феномен, он действительно вызывает замешательство. И этот феномен определяет форму романа: он

написан так, чтобы справиться – философ скажет в данном случае (простите меня за термины, вы видите, что я избегаю каких-либо специальных философских терминов, но одним воспользуюсь, чтобы просто напугать вас) – **с онтологической ситуацией**. Онтологическая ситуация человека есть ситуация упрямой слепоты. И нации стоят нос к носу с чем-то и – этого не видят. И люди, конечно, отдельные; а нации, я сказал, – коллекции индивидов. Скажем, достаточно присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация – я сейчас ее иначе назову, – когда мы **не извлекаем опыта**. Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не извлекаем, и это **бесконечно повторяется**. Кстати, у Пруста очень часто фигурирует образ ада. А мы употребляем слово «ад» как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад – это слово, которое символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным, – **вечную смерть**. Смерть, которая все время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем кусок и прожевывание его не кончается. А это – не имеющая конца смерть. Это дурно повторяется. Все заново и заново в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка, мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз и навсегда извлекли бы опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А если этого не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал, всю гулял гений дурных повторений. Попробуйте сами поискать для этого примеры. Вы их очень легко найдете.

Возвращаюсь к ситуации слепоты. У слепоты есть законы. И они же есть и у прозрения, Теперь эту основную ситуацию слепоты, сказав «законы и слепоты, и прозрения», я выражу так. Основное, что занимает Пруста как реальное человеческое переживание, из-за чего, собственно, он и занялся литературой, стал романистом, – это следующий вопрос. Почему мы видим что-то и не видим этого? Почему мы что-то знаем и почему чего-то не знаем? Причем это «что-то» всегда относится к **уже существующему**. То есть имеется в виду отношение человека к уже существующей истине, с которой он сталкивается, и существуют какие-то законы, в силу которых он слеп и не видит. Условно назову это – ситуацией соприкосновений или несоприкосновений. **Встреч**. Ссылаюсь на книгу, которую вы или не читали, или не можете прочитать, потому что ее достать невозможно; а сейчас я хочу пояснить эту нечитанную книгу, ссылаясь еще на одну книгу, нечитанную, которую вы тем более не можете прочитать, потому что она, условно скажем, запрещенная, хотя в области культуры для человеческого достоинства не существует запрещенных книг. Все, что создано человеком, нам принадлежит по праву, которого никто у нас не может отнять. Я имею в виду роман Пастернака «Доктор Живаго», который построен как роман прояснения, менее удачно, чем прустовский роман, но это тоже роман распутываний. И там есть такие – магические встречи. Вот где-то, на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для друга, но не узнающие друг друга. Принадлежащие друг другу как бы судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо. Встреча как бы мигнула, как знак на полустанке железнодорожном, поезд потом отгрохотал тысячи километров и десятки лет, и где-то эта встреча перемигивается с их же другой встречей, когда они узнают друг друга, открываются друг другу. Ситуация пересекающихся или непересекающихся путей или какая-то игра в зеркале взглядов, которые сошлись в точку или не сошлись, – **разделены**. Чтобы пояснить то, о чем я говорю, зачитаю вам цитату. Значит – одна из кардинальных сцен романа Пруста, внутренний душевный стержень поиска, на

который нанизаны другие эпизоды. Чтобы облегчить восприятие, я немножко иначе, более обыденно, выражу ситуацию, о которой я говорил. Вот что-то из моей жизни, что является частью моей жизни, что я должен был бы знать, мне как раз знать не дано, а знает тот, кому это совсем не нужно. Скажем, такая ситуация у Пруста – там тоже взгляды перекрещиваются (представьте себе, что мы все смотрим в небо и в перекрестке взглядов, на кончике перекрестка возникают или не возникают какие-то фигуры, лица, события, знания; это все – фигуры, образы, а иногда вместо образов – тени), – два героя: Марсель, то есть герой романа, и маркиз Сен-Лу, друг юных лет Марселя, притягательная фигура для него как воплощение аристократизма. (Ну, аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Не в силу какого-то снобизма, а в силу того, что аристократия – это символ, так сказать, или реальное, материальное бытие всего завершено, ставшего. И вот в качестве таких совершенных воплощений того, что свершилось, – люди, которые что-то сделали в истории и доблестью своей установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Но это тоже надо разгадать.) Значит – Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу, то есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно, а Марселю безразлично, – он по случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где мог иметь эту женщину, до того как Сен-Лу влюбился в нее и т.д., за двадцать франков. Марсель, следовательно, знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И кстати, прозвище у нее в романе... по возрасту это не совпадает с вашим возрастом; я сказал «возраст», потому что есть мелодии, которые как волны существуют. Есть годы, когда была популярна какая-то мелодия, и она все время звучит по радио или где-то еще, и эта волна может охватывать собой десятилетие, потом еще десятилетие какой-то новой мелодией. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не было транзисторных приемников, а была черная тарелка репродуктора, и из нее часто раздавалась ария из оперы Галеви «Жидовка» – «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем» (а по-французски – «Rachel quand du Seigneur»)... Прозвище у этой девочки, которая продавала себя в доме свиданий, было «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем». А Марсель был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И вот происходит знакомство на улице, и вдруг Марсель видит ту самую Рахиль... «небесное провидение», и она же – возлюбленная Сен-Лу и для него «пуп земли». Царица – по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст пишет: *«Несомненно (герой смотрит на Рахиль, на ее лицо, и он замечает), это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели, и Робер (так звали Сен-Лу), и я. Но мы пришли к нему (к этому лицу – наша мысль как бы является каким-то путем, или взгляд наш тоже – путь в этом небе, где скрещиваются взгляды) по противоположным дорогам (у нашей души есть дороги, по которым мы идем), которые никогда не вступят во взаимное общение».*

Значит, еще один образ. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, – то есть не с физически разных сторон, потому что физически, говорит Пруст, это одно и то же худое и узкое лицо. Физически – оно одно, дороги – разные к нему. То есть дороги наших душ часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно Прусту дано было ненужное ему знание, – потому что эта женщина не существует в его жизни, она просто женщина, заменяемая любыми другими женщинами. Он перекрестился с нею в доме свиданий, а Сен-Лу увидел впервые Рахиль на сцене театра. Он сидел в партере, и на лицо Рахиль, которую он впервые увидел на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благородных

чувствах, которые выражает искусство; все, что искусство накладывает – на что? – на роль, и в отблеске, в отсвете этой роли перед ним предстала реальная женщина. Исходная точка для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы не реальные качества женщины, а качества искусства. Или качества наших высоких стремлений. Все высокое, возвышенное, прекрасное и т.д. (В другом месте романа Пруст опять говорит о перемигивании встреч, разделенных многими километрами физического пути, или физического времени.) Итак, Сен-Лу увидел в театре Рахиль, и она предстала перед ним как точка, на которую проецированы высокие состояния, которые навеивает нам искусство, и они отражались в Сен-Лу уже образом прекрасной женщины, и в перерыве, за кулисами он представлен Рахиль, но он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо (поскольку – за кулисами, не на сцене), *«но решил отложить выяснение вопроса о том, какова действительная Рахиль»*. То ли пустое, с размытыми чертами лицо, то ли прекрасное явление, которое он видел во время представления. Я специально этот пассаж привел и употребил вслед за Прустом слова – **отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности**, – в слове «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит – ситуация слепоты, то есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, а мы не знаем; что-то, с чем мы встречаемся и что принадлежит нам, а мы не видим. Напомню вам другой мировой образ, чтобы вы четко настроились на эту ситуацию. Вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации незнания или слепоты – трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая является на самом деле его матерью. И убивает на дороге в случайной драке путника, который на самом деле не просто путник, а его отец. Это части его жизни. Не какие-то безразличные вещи, а части его жизни – отец и мать. Он с ними соприкасается и – не видит. В матери он видит женщину, жену, а в отце – обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет речь на всех страницах прустовского романа. Повторяю, что слепота не зависит от наших способностей. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблему: царь Эдип – умный или глупый. Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Все эти проблемы – вне проблем нашей сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это не имеет никакого отношения. Но имеет отношение к одному. Я сказал: отложил выяснение вопроса, и вторым словом обозначу это: не имеет отношения к уму или глупости, а имеет отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом «отложил». Значит, мир Пруста, или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если на какое-то мгновение мы имеем какое-то впечатление – как впечатление Сен-Лу, когда он неожиданно увидел размытое и невыразительное лицо, – вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенная к нам с призывом **«работай»**. Не откладывай. А я говорил уже, что откладываем мы в надежде – завтра будет все иначе. Подождем, образуется. И откладываем также и по лени. Лени чаще всего тоже является страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени не психологическая, хоть лень и надежда – психологические механизмы, но структуры (у них есть и причины) – не психологические.

И маленький эпизод, который случился с Прустом, эпизод ошибки Пруста. Им я поясню, что значит «работать». Как что-то уникальное, что можем сделать только мы. Во-первых, знание нельзя получить (Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о Рахиль), нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, и не может знание Марселя прибавить к своему знанию. Они несообщимы. Это раз. Во-вторых – нельзя

упустить. Нужно мгновение использовать, работать именно внутри впечатления мгновения. И вот байка, которую я хотел вам рассказать, байка евангелическая. Пруст дважды – разъясняя основную идею романа, а второй раз в письме своему другу Жоржу де Лорису, – допускает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который он должен был бы знать наизусть (наизусть он знал много текстов, у него была прекрасная память), поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что она сама выразила какую-то внутреннюю страсть души, типичная ошибка (или, как говорят психоаналитики, «симптомальная» ошибка, неслучайная, то есть такая, по которой что-то можно понять, взяв ее как ошибку). Пруст цитирует слова из Евангелия от Иоанна, которые сейчас нам важны сами по себе, независимо от ошибки: «Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами света». Здесь сказано, что истина обладает таким качеством или таким законом своего появления, что она появляется только в виде молнии (появление истины – как если бы истина светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает). Так вот, пока она есть, – **ходите**, сказано в Евангелии. Я бы перевел – ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту Евангелия – шевелитесь или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И не случайно я «корректирую», хотя такие тексты корректировать бессмысленно, А Пруст в обоих случаях произвольно, бессознательно цитирует текст с ошибкой. Еще не на долгое время свет с вами, пока есть свет – **работайте**. Travaillez – он пишет. Произвольная ошибка, но типичная, потому что речь идет о времени труда, знак которого – секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно – мгновение. И если упустил его... все – будет хаос и распад, ничего не повторится – и мир уйдет в небытие. В том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межеумочное, или несовершенное, порочное состояние, оно будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, в том числе потому, что ты каждый раз пропускал мгновение – не останавливался в труде. Условно назовем это трудом жизни, который обозначен знаком молнии. Кстати говоря, еще Гераклит говорил, что миром правит молния. Да, еще последняя фраза. У французского поэта Сен-Жон Перса есть такой оборот, который вам покажется, конечно, парадоксальным; он и является парадоксальным, но выражающим то, о чем мы говорили. В одном своем стихотворении поэт употребил словосочетание: синтаксис молнии. По определению, молния не может иметь синтаксиса, – нечто, что долю мгновения занимает, не может иметь синтаксиса, который требует пространства. И тем не менее поэт употребил это выражение: синтаксис молнии.

ЛЕКЦИЯ 2. 13.03.1984

Напомню вам, что текст, с которым мы имеем дело, – это роман, как я вам говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания чувств. Вы знаете, что есть такая традиционная форма романа в европейской литературе (да и не только в европейской) – гетевский роман «Вертер» или флюберовский роман, который так и называется: «Воспитание чувств» (или чувственности). Переведя на язык, более близкий к современному тексту, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он звучит как-то очень педагогически, а то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики и от литературоведения тоже. Я буду называть это романом **Пути** или романом **освобождения**, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с существующими традициями. Скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин «спасение», или «освобождение». Слово «Путь» имеет смысл не просто обыденного пути жизни – Путь **спасения**. Или, если угодно, Путь **искупления**. И чем больше вы

будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, тем скорее это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того, чтобы понять, о чем идет речь. Итак – Путь прихождения к себе. Или – можно, обыгрывая возможности языка, сказать так: Путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос и страсть Пруста состояли в том, что можно резюмировать словами **«реализовать себя»**. Реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то, природа чего непонятна, невозможно. Если ты не поймешь своих собственных желаний, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Пруста, и для любого человека наверно, слова «реализовать себя» совпадают со словами «понять, что ты есть на самом деле и каково твое действительное положение». Я уже упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, кто он и какое занимает место. И вы знаете, что Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту. Но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя. Поль Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне издалека». Или: мои состояния идут ко мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас, здесь, и то, что ему кажется самодостаточным, – вот мне кажется, например, что я вижу блокнот, значит, это акт, за который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает – я понятно выражаюсь? – он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу сейчас блокнот, идет, как и мое теперешнее состояние, в эту минуту издалека. Вспомните – я резюмирую – тот пример, который я вам приводил: Сен-Лу смотрит на Рахиль так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, идет к нему не из этой ситуации, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека. В том числе из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рахиль, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное; он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит, и он видит прекрасную женщину. Значит, Сен-Лу идет – к тому, чтобы увидеть Рахиль, – из своего далека, а Марсель, смотрящий на Рахиль, идет из своего – другого далека. И в этом «далеко» он видит двадцатифранковую проститутку – на месте того лица, где Сен-Лу видит божественную женщину – «пуп земли».

Так вот, я возвращаюсь – оказывается, не просто видеть то, что мы видим. И поэтому, когда я говорю: прустовская мания – реализовать себя, то она у Пруста почти тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется на всем протяжении романа, и вы не сразу уловите, почему эти фразы могут быть тождественными. Я сейчас их произнесу. Значит, первая: реализовать себя. А вторая фраза следующая; она звучит примерно так (Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда): обязанность писателя – возьмем в этой формуле – **реализовать впечатление**. Ну какая может быть связь между «реализацией себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком, стать взрослым и т.д.), и «реализацией впечатления»? А это совпадает в том, что я буду называть реальностью. Пруст говорил, что единственная настоящая философия – это та, которая состоит «в восстановлении или в узнавании того, что есть на самом деле». То есть

философия не есть какое-то учение или ученое книжное занятие, а есть часть нашей жизни, потому что если философией называется наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, как мы установили, что они значат на самом деле. Реализовали себя – реализовали впечатление. Скажем, с точки зрения Пруста и с нашей тоже, – я буду все время это совмещать, потому что моя задача показать, что то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали. Просто он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем воспользоваться этим духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, Сен-Лу, имея впечатление о Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатления. Не раскрыл его, в том числе не прошел в то далекое, из которого Рахиль видна так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он не реализовал и себя в своих чувствах. Он оказался – чем? Марионеткой совершенно случайной ситуации. Рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека. В том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы считают, что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом, то только – рабом своих собственных привидений, которые выросли из его собственной души. Это не мир делает его рабом – по отношению к миру человек свободен абсолютно, – корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Сен-Лу (в данном случае рабство – это то же самое, что не реализовать себя) уходят в его неспособность реализовать свое собственное впечатление, разобраться в том, что же он чувствует на самом деле. Можно ли приписать испытанное им чувство качествам Рахиль – что она такова в абсолютном смысле, что своими достоинствами не может не вызывать любви к ней, или не такова. Вся философия Пруста состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может. Нет таких качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина заменима как минимум тысячами других как объект любви. И, чтобы поставить вас на путь смысла, я напому одну фразу Аристотеля. В свое время он очень хорошо сказал, что причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Он имел в виду, что, любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот: из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно не ими рождено. Если бы это было иначе, то мир был бы совершенно непонятен. Ведь нет никакой логики в том (если призадуматься), что если какой-то человек А обладает свойствами В, то у меня – человека С – должно быть состояние любви к нему. Просто потому, что я могу любить человека А, а вы его не любите, хотя он обладает теми же качествами, и т.д.

Значит, я повторяю снова, поворачивая, разъясняя, слово «реализация». Реализация себя, или – **прихождение к себе**. Это можно сформулировать и в виде другого, тоже очень интересного, кстати, вопроса, который, возможно, вам покажется банальным. Вопрос звучит так: вся тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем, и вырастаем ли вообще. То есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. Здесь, кажется, преимущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял термин «мужчина» в смысле человеческой доблести и позволю себе применять дальше. Для Пруста, как я уже сказал, главная проблема – вырасти, стать мужчиной. И эта проблема сводится к тому, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не

быть взрослым, не быть мужчиной? Считать, что мир «центрирован» на нас, создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке. Вы знаете прекрасно, что детская психология и состоит в этом эгоцентризме, когда ребенок воображает себя центром мира в том смысле, что все, что в мире происходит, происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, или обидеть его. И все события имеют для него, так сказать, знаковую природу, все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы и говорим (хотя это тавтология): ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок. Ну а когда – взрослый? Оглянитесь вокруг себя и вы увидите общество, состояние – я бы сказал... дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир как то, в чем что-то происходит по отношению к ним. Не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе – как автономное явление жизни. Или – вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают их светлый остров, – конспирации, заговоры, намерения по отношению к ним. Первый же философский акт вырастания состоит в следующем – кстати, я сейчас вспомнил фразу, которую в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это – взрослая точка зрения. А ведь взрослые могут вести себя по-детски – вспомните, что один персидский царь, которому было угодно завоевать Грецию, отправил флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. И он приказал высечь море. Смешной акт. А подумайте о себе, сколько раз мы высекаем море, или высекаем мир, потому что нам кажется, что у мира были по отношению к нам намерения – как у моря по отношению к Ксерксу.

Вот эту тему «вырастания – невырастания» мы потом увидим в существенных деталях – скажем, маленькая сценка из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как французы называют – *anodin*, пресной, без значения. И мы не видим, а видеть надо, хотя бы потому, что Пруст для этого и написал этот текст. Сцена в отеле: мальчик, привыкший жить все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и он не может заснуть, потому что все вещи – шкаф, кровать, окно – на него наступают, они его давят своим присутствием, они ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему. И за этим стоит целая философия, а я помечу два пункта. Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с таким человеком, который проделал труд мысли, а изложенный текст – это история мысли и, кстати, славная, хорошая французская традиция. В свое время еще один великий философ, по имени Декарт, написал учение «Рассуждение о методе», оно так и называется, но оно писалось, и Декарт сам об этом говорил, как «история моей мысли». Или история воспитания чувств, если угодно. Или роман «Воспитание чувств» – роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт. В данном случае – **живой опыт мысли**. Так вот – реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. В том числе и то, как мы реализуем себя, с точки зрения Пруста. Вот я испытываю какое-то неудобство в комнате. И если я ребенок, то, конечно, считаю, – потому что шкаф плохой. А Пруст, который хочет вырасти, находит правильный путь для вырастания – какой? Взять это состояние не как неудобство, раздраженность, что легко приписать качествам объекта. Так же как любовь – я могу плохому шкафу приписать то, что я не могу спать в комнате, где он стоит, – так же как качествам женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю. Это одинаковые состояния. И, более того, фактически, сказав то, что сказал, я сформулировал задачу литературную. Прусту было бы скучно ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать как предмет литературного труда, если это

описание не имеет задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей. Если не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю. Или закон, связанный у Пруста с пониманием, с разгадкой им природы времени и природы того, что я назвал трудом жизни. И второе – связанное с темой закона: если есть впечатление (то, которое мы должны реализовать), то реализация впечатления означает установление скрытого закона (а он всегда скрытый). Точно так же, как то, что нас притягивает в человеке и называется любовью, скрывает какой-то закон. То, что на нас давит как шкаф, скрывает какой-то закон, и тогда это описание имеет смысл. То есть оно интересно и как литературное описание, и как элемент прохождения пути. Спасение, или освобождение. Ведь вы знаете, что если человек так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен. А быть свободным неплохо...

Значит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только о терминах, слово «закон» (вы это в десятках вариаций услышите), он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой темой. Закон – насколько другой открыл какие-либо законы психологической жизни. Скажем, о Нервале он говорил (Жерар де Нерваль – романтический поэт XIX века, Пруст очень любил этого поэта наряду с Бодлером); «...я могу, по меньшей мере, назвать шесть законов, которые Нерваль установил». Под «законами» Пруст, конечно, имел в виду скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и т.д. В том числе радость имеет смысл только тогда – почему я радуюсь? – если я могу какой-то скрытый смысл за этим увидеть, установить. И второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам странным, это – тема или слово «телескоп». (Кстати, то, что я хочу сказать, будет и для вас хорошим предупреждением для чтения прустовского текста. Я все время предполагаю совершившимся то, гарантий для совершения чего почти нет, потому что текст, хотя он и есть на две трети в русском переводе, вам недоступен, поскольку в книжном магазине вы его купить не можете.) Итак, следующее предупреждение. Со дня выхода романа по сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает, настолько, что иногда описание может казаться скучным. Какое-то особое устройство взгляда, которое до малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. И бедняга Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом. Живой, реальный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный писатель, или мастер деталей, тонкостей, нюансов и пр. Он говорил: да нет, никакими деталями я не занимаюсь. Никакие детали меня не интересуют. Меня интересует что-либо только в той мере, в какой за этим явлением стоит какой-то **общий закон**. Более того, Пруст как раз в этом пункте произвел некоторую такую революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в литературной стилистике XX века. Я назвал бы ее проблемой – **бессмысленной бесконечности описания**. Дело в том, что описание само по себе не содержит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании. Предмет можно описывать бесконечно. Это феномен бесконечности описания. И, более того, все предметы описываются произвольно. Всех литераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся: «Маркиза вышла из дома в пять часов пополудни». Или в пять часов вечера. – Почему в пять часов? А почему не в шесть часов? Или, скажем, герой X вышел из дома и пошел по улице направо (это пример описания). Но почему, собственно, направо? С таким же успехом он мог пойти и налево. Кстати, если говорить о русской литературе, у Набокова появляется эта тема. Многие его тексты построены как

такой литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство построения литературного текста вообще. Он иронизирует над тем, как пишут; это как бы текст в квадрате, во второй степени. Текст о тексте. Ему было действительно смешно: почему, собственно говоря, я должен описывать, какой смысл в описании, что трамвай прошел слева направо, когда я вполне могу написать, поскольку это текст, а не реальное событие, что он пошел справа налево, или: герой пошел не налево, а направо. Какой смысл в этих описаниях? И более того, какой в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что я исчерпал описание? Если я привел, скажем, десятую деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и т.д. Все это не имеет смысла. Кстати, довольно интересная проблема, но слишком литературоведческая, а меня интересуют более близкие к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы (снова простите меня за редкий случай употребления мною специального философского термина). Вернусь к тому, что я хотел сказать. И Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали я описываю, мой инструмент описания – не микроскоп, а телескоп». А что такое телескоп? Телескоп – это увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется маленьким, мелким. Например, в телескоп мы видим Солнце, оно ведь – не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, а громадная звезда, светило. А мы видим его маленьким. Таким же маленьким нам кажется... вот я ворочаюсь в постели и не могу заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них почти что человеческие очертания, враждебные, – это ведь мелочь, то есть как состояние – мелкое, но описывать его можно, только если ты смотришь на него в телескоп: видишь большое там, где другие видят малое. Мелочь, ерунду. И кстати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления. Философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого рода литературному таланту, как у Пруста, философии нельзя учить. Вот, представьте себе, была бы школа, называемая школой шутовства... Ну чем шут отличается от человека? – в цирке и мы, и шут видим один и тот же предмет. Но он видит его, как видит шут. Он то же самое видит, что и мы, но видит за этим что-то другое. Но научить этому нельзя, только можно понять и усвоить. Значит – телескоп. Инструмент, который позволяет мне увидеть любые состояния как знак каких-то других состояний. В том числе то, как видит Сен-Лу Рахиль, – мелкое событие в жизни. Но за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами: как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания. Вот что называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда Пруста. Так же, как устройство шута, который в том же предмете, на который и мы смотрим, видит то, что он видит, и – вдруг мы смеемся, и неожиданно смеемся, потому что **неожиданно** увидеть крупное (как вы знаете, прежде всего неожиданность есть механизм смеха).

Мы установили в прошлый раз, что всякое явление, любое нечто должно иметь какой-то смысл, иначе оно «звук пустой» – не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно, правда, но и более эффективно, поэтому это будет более понятно. Представьте себе, что мы имеем дело с двумя пространствами: пространство 1 и пространство 2. Пространство 1 – это пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство 2 – это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второе пространство назовем безразличным. Скажем, Сен-Лу в театре (место, где он впервые видит Рахиль) смотрит на Рахиль. Рахиль – это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть. Но взгляд Сен-Лу упал не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечтаний о прекрасном, с

которым мы связываем театр и т.д. Значит, это есть пространство 1, в котором возможно событие, в данном случае – волнение Сен-Лу: Рахиль для него не безразлична. Но «не безразлична», «не пустой звук» – потому что она увидена им в пространстве театра. И случилось в этом пространстве **событие** эмоциональной жизни Сен-Лу. Обратите внимание, что я не случайно употребляю термин «событие». Все то, что мы испытываем, есть события; они имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы ведь даже волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся. А волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. И часто в ситуациях, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны как камень. Равнодушны. За этим стоит какой-то закон. Это нельзя просто списать, тем более что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Я опять предлагаю вам прустовский телескоп. За незначительным – что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся, когда волнуемся, почему и т.д., а вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно интересных и значащих в нашей жизни. Я возвращаюсь к тому, что сказал: Сен-Лу – в пространстве событий, а Пруст – не в пространстве событий. То есть в данном случае Марсель – герой романа. (Не писатель, а герой романа, который совпадает частично с писателем, сейчас это не важно, назовем его Марселем; он фактически даже имени не имеет в романе.) Для Пруста – он видит Рахиль – не происходит никакого события. Ну, а если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать о том, почему Сен-Лу волнуется и событийно видит Рахиль. Но для него самого Рахиль безразлична в пространстве, в том, которое мы называли безразличным. То есть Рахиль имеет там смысл только, как выражается Пруст, в смысле «общих значений». У всех у нас есть в этом безразличном пространстве – оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы – общие значения. Есть выражение лица (общечеловеческое в жизни), выражение глаз, красота или безобразие. Нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. Красота может быть и у А, и у В, и у С. Такое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого, миллионного – все, что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами. То есть описанием. Забегая вперед, я маленькую ниточку вам дам, которую сейчас не могу развернуть. Все эти явления безразличны, потому что они **неиндивидуализированны**. Они имеют значение в смысле **общих законов** или **общих актов**. За ними нет индивидов. А для Сен-Лу Рахиль уникальна. Ее лицо – носитель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а каких-то совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». Шарм есть нечто, что присуще только индивиду и что невыразимо. То, чего нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма. Нужно почувствовать шарм. Значит, мы установили, что нечто не имеет значения само по себе – в смысле: «общее значение» не существует в пространстве событий. Это так же, как – и даже Пруст эту метафору приводит – «пустое лицо» в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения в XX веке: овал человеческого лица, не заполненный никакими чертами. Допустим, что для Марселя Рахиль – кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Это уже, конечно, абстракция. Если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общие значения, то он не видит лица. Для кубизма лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился. Повторяю этот ход: живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо в общем смысле слова (ведь все носы,

хотя они различаются, есть носы, как все глаза – глаза), то мы ничего не видим. Мы не видим лица, если это видим. То есть живопись – знак чего-то, чего мы не видим...

Итак, я сказал: пространство событий и пространство безразличное. В одном находится Сен-Лу, а в другом – Марсель. На точке соприкосновения этих пространств – лицо Рахиль. В пространстве Сен-Лу оно заполнено, но (мы как раз об этом в прошлый раз говорили) нас, и Сен-Лу тоже, то есть того, кто находится в безразличном пространстве, должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что судьба Сен-Лу невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не в колесиках механизма его собственных представлений. Ведь из реальности придут последствия того, что Рахиль именно такова. Не такая, какой ее видит Сен-Лу. Я уже говорил вам: **установить, что есть на самом деле**. И все дело в том, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удастся, если мы построим для этого текст. А литература как частный случай текста есть часть нашей жизни; для того чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать. В данном случае: построить текст, который породит истину. Что значит – **породить истину? Придать смысл** разрозненным частям информации или событий. Скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рахиль, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или, выразим это иначе: он не может этого сделать, то есть не может узнать, потому что он находится в этой точке пространства, а не в другой. И беда в том – почему речь и идет о тексте, который принесет нам истину, – что это пространство **разделено**. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я – Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот – собрание предметных видений, того, что видят все, потому что Сен-Лу видит ведь те же самые черты (в физическом смысле слова), что и Марсель, просто для него смысл один, а для Марселя – другой. Дело в том, что это разделено и не может соединиться. А текст есть то, что **соединяет**, – в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни; на примере Набокова я говорил вам: само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни, и по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг – любовник твоей жены. Я брал это как частный пример того, чему послужило написание текста. Или конструкция – можно текст не написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под литературным текстом, какое-то явление, событие, которое строится для того, чтобы что-то впервые получило осмысленный вид. Чтобы все стало на свое место. Скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, я видел, вернее, слышал какую-то интонацию в голосе моего друга или встретил их на улице вместе – все это я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же как Эдип свое действие, состоящее в убийстве отца, приписывал дурному характеру случайного путника. Какие-то слова, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными), сказанные им, – они же есть какие-то события. Есть еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют какую-то только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю. Поэтому Пруст очень часто говорит о том, что некоторые воображают себе такую психологию (или некоторую литературу; эти вещи взаимозаменяемы в данном случае), которая была бы своего рода «наукой» о логике эмоций. Или эмоциональной логикой, логикой сентиментов. В данном случае «логика» – не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а в смысле того, что все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю «собранием», ибо это русский эквивалент

греческого слова «логос». Набор всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки (Гераклит в данном случае), слышать или не слышать. Вот мы слышим 2 и 2, но мы не выводим 4; я говорил вам, что основная ситуация человека – когда он имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит 2 и 2, а вот за пределами человеческих сил находится операция $2 \times 2 = 4$. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган.

Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не литературный текст в традиционном смысле слова, а **орган**, то есть что-то, посредством чего мы видим. Естественно, орган отличается тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то, что он видит. Орган естественным образом производит то, органом чего он является. Скажем, глаза производят зрение – и вот представьте себе такие мысли или состояния, которые производились бы **текстами** как органами. Нечто – посредством чего мы видим. Скажем, яблоки Сезанна – ведь ясно, если призадуматься, что живопись Сезанна вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, это означает, что мы видим этими яблоками. То есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не яблоки изображены, там построена конструкция, посредством которой мы видим что-то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на деревьях. Значит, когда я говорю «текст», я не имею в виду изображение. Я имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую. И сейчас давайте нащупывать эту другую сторону. Мы говорим: текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст есть нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, **посредством** чего мы **читаем событие**. «Яблоки» Сезанна есть яблоки, посредством которых мы видим что-то, чего бы мы не видели без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют логику, если я предположу, что мой друг – любовник моей жены. Предположил – и все стало на свое место. Все – я услышал логос. То есть то, что говорит собрание. «Два» и «два» говорят «четыре». А я ведь говорил, что можно и не услышать этого. По той простой причине, что заставляет меня сказать «четыре». Назовем это: **внутренний смысл**, внутренняя логика, – так что все стало на место. Вот нечто, что заставляет меня сказать: так есть на самом деле, – это **логос**, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет ничего, что само по себе говорило бы нам – «два» и «два», каждое в отдельности, – что сумма этого «четыре».

И вот здесь мы пришли к очень сложному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Дело в том, что логос означает: должно быть так, мир так устроен, хотя этого мы не видим. Я не вижу, что мой друг – любовник моей жены. Все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю: все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с готовностью, чтобы не дай Бог не подумать, принимаю объяснение – она спешит к портнихе, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнихе, но я готов это принять. Что я хочу этим сказать? Во-первых, должно быть так, мир так устроен, такое строение ситуации, логос ее, то есть все стало на место, если принял; во-вторых, того, что я принял, я не вижу. Это ведь не предмет, это – логос. Это не есть «два» и «два», а нечто, что заставляет меня сказать «четыре». И, в-третьих, самое главное, может быть, для нас – это страшно. Все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать: это так. Очень большое мужество нужно иметь, тем более большое,

что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только так может быть по смыслу, но доказать ведь этого нельзя. И поверить в это невозможно. В каком смысле? В психологическом смысле, человек сопротивляется. Вы знаете, существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать – это говорить правду, но в такой ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины, нет варианта), чтобы в нее поверили. Приведу пример, иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать, и того, каково устройство взгляда Пруста и вообще философского взгляда. То есть за мелочью увидеть – телескопом – закон. Или увидеть крупное (философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся, а не обратив внимания, погибаем). Скажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то делу звонит мужу. Муж ее спрашивает: «Где ты?». Она отвечает: «С любовником». Какова его реакция? «Ну что ты вечно какие-то глупости говоришь...» – он не поверит. А она сказала правду. Вот весь тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией. То есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психологичны, то есть – на философском языке – были бы онтологичны... как у Пруста часто бывало: когда есть феномен так называемой произвольной правды, он имеет мужество поверить в то, что есть в мире только акт этого же мужества. Другого содержания нет. Если бы муж поверил... – это был бы чистейший акт мужества; акт, противоречащий человеческой психологии. Следовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю – то, что я называю текстом, то есть то, что мы **вынуждены** строить, чтобы оно породило бы смысл. Потому что смысл не порождается психологией – психология как раз противоречит логосу, не допускает, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать «дважды два – четыре», хотя, когда человек тебе говорит: «Я в комнате с любовником», – это и есть «дважды два – четыре». У Пруста есть такое словосочетание: **единственная реальность**. (А мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности лежит через текст.) Он говорит так: единственная реальность – та, которую мы думаем. Вспомните, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что боимся ее. И вот Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что мы думаем, и есть правда. Здесь слово «думаем» имеет значение, потому что думаем, а ведь не видим. Потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл; то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей, тысячи вещей могут держаться вместе. Связаны, становятся на место. Но само «думанное» в виде отдельного предмета не существует. Пруст пишет: тысячи ревностей и каждая из них правда. Ревность – не одна; она расположена в том разделенном пространстве (о котором я говорил), где есть исключения точек, – нельзя быть одновременно в двух точках, нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марсея, если ты оказался в точке, с которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Мы ведь не одну любовь к женщине испытываем, а тысячи разновидностей любви, расположенных в тысячах событий, в разных пространствах и временах. И там же существуют тысячи ревностей. Так вот, Пруст говорит: мы ведь не замечаем, что все эти тысячи ревностей думали правду. То есть мы предполагали «плохое», условно так выразимся. Но реальность не может быть плохой, она есть то, что есть, – если мы не инфантильны, конечно. Тогда реальность – или плохая, или хорошая.

Значит, реальность – это то, что мы думали и что и есть правда. Единственная реальность – та, которая подумалась, которую подумали. И которую, как выражается Пруст, смягчает, например, **присутствие**. Присутствие любимой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду и

оттесняет ее куда-то очень далеко. Присутствие есть один из механизмов эмоционального и духовного рабства; оно помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем, помогает не увидеть реальность прямо перед собой. Следовательно, что я хочу сказать? То, что мы мыслью узнаем – а мысль ведь должна родиться, я показал, что она рождается не психологией, а какой-то конструкцией; но то, что рождается, – этого нет. Есть все остальное, объяснимое иначе, а того, что мы думаем, – этого нет. Короче говоря, мы оказываемся в ситуации, что – я выражу ее так – мы должны видеть и верить больше тому, чего нет, чем тому, что есть и что мы видим. Повторяю, вся проблема в том, что то, чего **нет**, как раз это мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым, этой закрученной фразой, я объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности, фразу из Евангелия: «Веруйте в Свет, да будете сынами Света». Здесь две опоры. Первая: «Веруйте в Свет». Именно вера требуется, потому что Его-то нет. Он есть только на одно промелькнувшее мгновение. Его нет. Значит, нас обязывают верить в то, чего нет. И, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть. «И будете сынами Света» – второй аккорд. То есть будете сынами того, чего не видите, но во что верите. А я уже говорил, что **верите** силой построения конструкции текста. Не психологии. Значит, вы рождаетесь – из чего? в этих своих мыслях? **Из синтаксиса** (помните, «синтаксис молнии»). Или **из формы**. Логос есть нечто формальное. Флобер говорил, что идея (какое-то содержательное состояние в вашей голове) есть нечто существующее в силу формы. Вот поди и пойми. Можно это назвать формализмом. Но в действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно – только **силой формы**, а ведь то, что я думаю, и то, чего нет, может быть только формальным. Когда я сказал: придать смысл, придать логос – логика ведь есть нечто формальное по содержанию, – то это значит, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away. Могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон: когда мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть того, что должны были бы увидеть. (К портнихе шла она... – пример отобъяснения; более сложные есть отобъяснения.) Приведу социальный пример; он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы психологичны. Это происходило в 50-м году, я тогда окончил школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет, и попал в неожиданную для меня ситуацию очень интенсивной комсомольской жизни, что было каким-то непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал, что происходит, как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино и т.д. Полная мистерия. И, естественно, я часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, отвратительная была зима в Москве, мокрая и слякотная; мы идем по улице Горького, и рядом со мной комсорг нашей группы. А я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. И вот во время возвышенных речей моего приятеля к нам подходит мальчишка лет десяти, нищий, и просит подаяние. Нормальный человек, увидев нищего, не станет думать, что на самом деле он гораздо богаче тебя. Ты видишь реально. Но мой приятель этого мальчика не видел, он его не воспринял, поскольку он не был событием в его пространстве. Почему? По одной простой причине: этот мальчишка уже занимал место в его теоретической иерархии общества. Какое место? – Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма, и на этом этапе есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче, и поскольку мальчик уже был отобъяснен, можно было его не видеть. То есть – в свое сознание, в свою способность волноваться и переживать – не допустить событие, которое

происходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). Есть какие-то магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или можем не видеть. Поле разворачивает наши мозги таким образом, что мы видим или не видим. Хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Оказывается, можно – не видеть. (Теперь попробуйте перенести эту структуру на гораздо большее число всех житейских случаев – на чтение нами книг, любви, ненависти и т.д. Вот видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. Я, казалось бы, отдаляюсь от него, но на самом деле я иду по Прусту почти текстуально.) Значит, я закрепляю: есть состояния, называемые нами идеями, которые существуют силой формы. А форма, как вы знаете, конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают, формы рождаются жизнью, но формы создаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве, в литературе.

Теперь пойдём дальше. Да, я один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так дело сложно, но ещё один осложняющий момент есть во всей этой ситуации магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живём. Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть (конструкция моего приятеля), есть конструкции, позволяющие видеть; назовём их конструкцией Пруста. Или – я приводил вам пример Сезанна – яблоки, посредством которых мы видим. Текст, посредством которого мы читаем наш опыт. И в этом чтении опыта, которое антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ, есть ещё одна загвоздка. Во-первых, пометим следующее: ведь я не вижу, чтобы избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь – а истина есть то, чего я боюсь, – её увидеть, и потом я даже забываю в силу слоистости нашей психической жизни, что я не видел её, потому что боялся, потом уже, на следующих этажах, исчезает даже сознание того, что я избегал истины из-за страха. Эти психологические механизмы надежды – мир ведь водит нас за нос, в том числе и психологическим механизмом надежды: завтра все исправится, дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать, – так вот, беда в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются – не ассимилируются, а аккомодируются, то есть не противоречат нашим логическим операциям, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды и т.д.; отобъяснение – это тоже механизм). И вот все операции нашего прикидывающего мышления (назовём их логическими) – мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы – уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить, то есть совершать логические операции, так и оставаясь в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика (в смысле логических операций рассудочного мышления) не выталкивает нас на путь истины. Того, что есть на самом деле. В этом смысле можно сказать, что наша реальность имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пруста. Он говорил, что нечто, что мы называем жизнью, – разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости и больше похоже на сновидения. Жизнь наша – как сон. Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле? Какова структура сновидения? (В упрощённом, конечно, виде, я не берусь претендовать на то, что это вещь действительно проста и мы её понимаем.) Есть такой закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и в короткие мгновения, когда ещё звучит звонок (в

действительности короткий, а во сне он кажется длинным), сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово «спать» означает **не знать и не видеть реальности**. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. **Жизнь есть сон** – в этом смысле слова. Вот такая психологическая заковыка. Более того, здесь есть еще одна проблема, на которую хочу обратить ваше внимание.

Фактически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание естественным психологическим путем породиться не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат литературные тексты. Или текст жизни. Например, образ и жизнь Христа есть текст, посредством которого мы можем (или не можем) читать наш жизненный опыт. Текст организовал какой-то логос, в пространстве которого события получают осмысленный и связный вид, а не рассеянный и рассыпанный. (Иногда религиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего сознания.) Так вот, все это фактически означает следующую вещь: нечто производится в нас (нечто – наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой какого-то закона – силой формы. Скажем, идея существует силой формы. И вот Пруст пишет – теперь все эти вещи мы должны связать вместе – о Сен-Лу: *«...все, что он узнал бы о Рахиль (то есть если бы Марсель ему сказал: послушай, я видел Рахиль в доме свиданий, она там продавалась за двадцать франков; но вся заковырка состоит в том, что Сен-Лу этого не воспринял, этого знания для него не существовало; все эти сведения – «он узнал бы» – назовем знанием, и я хочу сейчас показать вам, что знание есть одна из таких вещей, которые в эту точку, в это пространство не проникают; поэтому нам эта точка пространства будет важна, ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя), – не заставило бы его сойти с дороги, на которой он находился и на которой это лицо (лицо Рахиль) являлось ему через мечтания, которые он порождал»*. Вот это важный психологический момент для всего нашего движения по тексту Пруста. Истина, казалось бы, существует – Пруст говорит: если бы ему сказали, то есть если бы ему было сообщено это как знание, – это *«не заставило бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке мечтаний, им же самим порожденных»*.

ЛЕКЦИЯ 3. 20.03.1984

Я хотел бы начать с некоторого предупреждения. Во-первых, оно касается стиля – не моих лекций, а стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы уже поняли, наверное, что моя задача состоит не в описании литературных красот, а в выявлении стиля мышления человека, который проделал опыт, по материи своей не отличающийся от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой человек понял и записал, и поэтому интересно к этому обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мысли, который я и хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь. Судьбу. Я потом еще буду говорить, что само ощущение судьбы и само представление судьбы есть очень важный элемент нашей сознательной жизни. Для начала скажу так, резко очень, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы – люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы – люди, а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это

именно так, то мы – полуживотные. Или, как выражался Пруст, *demi-esprits*, то есть полудухи. Все есть – и мышление, и чувства, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я пытаюсь дать вам почувствовать основной стержень этого стиля. А именно; смотреть на мир, на события в нем так, чтобы видеть вещи не как какие-то самодостаточные детали (то, что Пруст называет деталями), а видеть – то, что видишь, как **элемент** фигуры или закона. Элемент, требующий телескопа. Я не случайно приводил вам пример с моим сокурсником: он не видел нищего мальчика, ну, это мелкий факт, который все мы видим, – проблема в том, чтобы увидеть **за** этим фактом существенный закон. Не просто случайность – воспринял – не воспринял, таких бывает тысячи случаев, миллионы... мы **не видим**, что за этими деталями, мелочами стоит что-то и сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью – выражением лица, цветом неба, а является элементом чего-то. И вот видеть другое сквозь деталь и есть то, что Пруст называл телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом подносить себе то, что есть на самом деле – **большое**. Но просто из-за нашего душевного удаления, – потому что есть, кроме физических расстояний, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, расстояния душевные, и эти расстояния настолько важны, что, говорит Пруст, можно обнимать возлюбленную и при этом быть от нее так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных, или духовных. И – на больших расстояниях – то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой. Конstellляцией, или фигурой. То есть эти детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными; и я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни и значительно их превосходящие (а наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз по таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен). И я буду впредь называть их конфигуративными пространствами, или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю «фигура», это – и образ, часть речи, чтобы просто прояснить смысл, но, с другой стороны, это имеет какое-то содержательное для меня значение как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Но пусть вас слово «понятие» не пугает, ничего в этом страшного нет. Хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди, опытные в мышлении, – например, Гете, которого я хочу процитировать, говорил, что все мышление не может помочь мышлению. То есть мышление совершается каким-то другим образом, и поэтому все мышление не может помочь мышлению. Что-то еще, или другое, должно быть. И вот это другое в жизни, самой жизнью укорененное, мы попытаемся нащупать.

Так вот, мне хотелось сделать следующее предупреждение: когда я привожу какие-то события, какие-то детали – не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, – то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые основаны на жизненном опыте, близком каждому из нас. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, поскольку так построен наш язык, и он обязывает нас идти определенным путем. Если ты хочешь что-то сказать действительно дельное, то ты должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов, без деталей не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Слово «человеческий» тоже имеет для меня значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, хитрить, я не могу разговаривать намеками. И к этому относится мое предупреждение. Наш язык, повторяю, имеет законы. Например, в нашем

языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И если я ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я это делаю потому, что меня обязывает к этому язык. Иначе выразить нельзя, – если ты не следуешь законам языка, человеческого языка. Все, что в мире создано, нам принадлежит, и на все мы можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы пояснить, что такое человеческий язык, довольно известный публицист XIX века Варфоломеем Зайцев (один из немногих русских эмигрантов, где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как она называлась, и писал очень злые памфлеты; памфлетист он был, действительно, язва самая настоящая) написал замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике, или о характере русской прессы». Зайцев говорит, что если записать сейсмографом (сейсмографической записью) виляние хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Но, в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке просто потому, что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, повторяю, не делайте отсюда вывода, что я имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка или показываю кукиш в кармане. Я просто подчиняюсь законам говорения. Законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный момент (он нам нужен в связи с Прустом), Дело в том, что когда мы говорим о чем-нибудь внешнем, – скажем, я говорю «собачий язык», имея в виду русскую прессу XIX и XX веков, – опять же вы должны понять, что это – элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не просто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь, ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякая дрянь, потому что она материей наших чувств поддерживается. Из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, завтра другое. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем «зациклят» и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе неинтересны. Нечего обвинять других, нужно в себя заглянуть. И опять же – нужно это делать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт. Любой акт внутри культуры. Это означает также (то, что я сейчас скажу, прустовская тема), как я вам говорил в прошлый раз, что нужно мужество (не перед милицией, не бояться ее, есть вещи страшнее милиции, потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться; я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, само по себе это неинтересно), – мужество в себе, нам ведь самим страшно увидеть правду. Пруст говорит: я ведь не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией (извините, я галлицизм допустил в русской речи, я должен был сказать – рентгеноскопией занимаюсь). Например, я вижу гладкий бархатный женский живот, но если я знаю, что эта женщина больна раком и этот живот скрывает (под гладкой своей поверхностью) раковую опухоль, я ничего не могу поделывать: я вижу раковую опухоль. В этом смысле, говорит Пруст, у меня рентгеноскопия. Довольно-таки сложное занятие; условно назову это «философией жестокости».

У Пруста, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия, и эту философию можно назвать так: философия жестокости. Приведу другой пример, который вам, может быть, будет более близок по смыслу, поскольку он относится к театру, хотя автор малоизвестен и спектакли

его не ставились (да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен); я имею в виду французского актера и режиссера и теоретика театра Антонена Арто, который свой театр называл «театром жестокости». Вот по аналогии с этим вы можете понимать словосочетание «философия жестокости». Оно звучит примерно так (в прустовском варианте, в одном из самых безобидных, потому что есть более обидные варианты): мы должны на собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру; если перевести на тот язык, который я употребляю, – мы должны иметь, например, смелость, вместо фразы «Она очень мила», сказать: «Я получил удовольствие, целуя ее». Чаще всего именно так и обстоит дело. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловав ее. И все. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, но реже всего мы осмеливаемся сказать себе это. Потому что мы сразу в своем воображении строим целый роман с этой милой женщиной. И этот пассаж я завершу простой цитатой. Как-то одному из литературных критиков – Куртиусу Пруст писал (Куртиус занимался творчеством Пруста и пытался его анализировать): «...нам незачем заниматься политикой». Кстати, эта фраза уже текстуально, словами Пруста, подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные и имеющие большие политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой. Пруст так и пишет: «Нам незачем обсуждать политику». То есть обсуждать сами по себе незначущие и вечно повторяющиеся детали или уродства. Наше дело – литература. «Литература» в данном случае употребляется в совершенно особом смысле. Литература – это не занятие, состоящее в том, что человек пишет книги. Литература, или литературный акт, есть часть построения душевной жизни у Пруста. Часть построения актов понимания того, что происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. Пруст говорит: «наше дело – литература», и дальше: «...конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем *morbo litterario* (болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это перевести), – нет, – говорит Пруст, – уничивает нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души». И вот, из-за чего я это вспомнил, дальше идет блестящая фраза: «...не нужно бояться зайти слишком далеко». Ну, например, мы боимся сказать «рак»; всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую мы можем зацепиться, чтобы отстранить от себя сознание, что это – рак. Так вот, Пруст говорит; «Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина – еще дальше». Действительно, подумайте, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина все равно будет еще дальше.

Итак, в прошлый раз я сформулировал следующее: когда мы испытываем любовную иллюзию, то самым существенным во время ее испытания является – как на самом деле обстоит дело, что на самом деле происходит. То есть нечто отличное от того, что мы переживаем, чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией. Кстати, хочу оговорить, что я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более что роман Пруста можно определить так: роман до уничтожения последней иллюзии. То есть роман прохождения такого пути, который есть путь завершающийся (или незавершающийся), до уничтожения самой последней иллюзии. Ну, иллюзия не есть ругательное слово. Скажем, французские авторы прекрасно знали – потому что они лучше всех других исследовали вообще человеческое сердце и человеческую душу, больше всего потратили на это сил и больше всего успехов достигли, – что когда говорят «*illusion amoureuse*» (Фурье, например), любовная иллюзия, то это не есть указание на то, что есть любовь и есть иллюзия или – любовь есть иллюзия. По определению, суть этого чувства заключается в его способности к

иллюзии. И в этом нет, в самом по себе, ничего плохого, – если мы посредством этой иллюзии извлечем какие-то смыслы и пройдем какой-то путь. Путь, ведущий в самих себя, к другим людям или внутрь других людей, и путь, ведущий в действительное устройство мира. (Так что сказать: любовная иллюзия и любовь – одно и то же, – тавтология.) Так вот, самое важное для нас приходит к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям, приходит «действием какого-то большого закона». Я говорил вам: можно ли сознанием воли, пускай даже знающей, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытывать переживания... Я говорил вам в прошлый раз, что если мы мчимся, как выпущенное из пушки ядро, на любовное свидание, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, можем ли мы изменить наше состояние. Оно, конечно, меняется, может измениться, но, предупреждает Пруст, **действием закона**, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать переживать, захотев перестать переживать. Не может этого быть. Следовательно, Пруст вводит какую-то категорию изменений в наших состояниях – и тем самым в нашей судьбе, в том, что с нами случится, – которая не подпадает под известную нам категорию изменений.

И я опять должен подтвердить, вернее, предупредить о свойствах нашего языка. Скажем, в отличие от «произвольного», мы склонны (и правы в этом) употреблять термин «непроизвольное». Ведь что мы понимаем под «непроизвольным»? Наши какие-то аморфные душевные состояния, эмоции и т.д. Некоторые интуиции, мимолетные ощущения, чувства, которые характеризуются печатью непроизвольности. Но не об этом идет речь. Для Пруста, и вообще в принципе, как раз такого рода состояния – я назову их кисельными, то есть не имеющими структуры (у французов есть хорошее слово для этого – *velleité*, то есть поползновения, потуги), – непродуктивны, и не они называются непроизвольными. Но я буду употреблять этот термин потому, что в нашем языке других слов нет. Чтобы пояснить свою мысль – во многих местах у Пруста (и у других авторов) вы встретите такое выражение: «моя жизнь или эпизоды ее, события моей жизни были, как оказалось, материалом искусства». Как мы понимаем это? Очень просто: произошло какое-то событие, и это есть материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем. И в этом смысле оно (событие) составит материю романа и какой-то сюжет. Но речь идет не об этом. Точно так же, как непроизвольное означает что-то другое, чем само слово «непроизвольное», так и слова «материя искусства», а это связано с непроизвольностью, – скажем, моя жизнь, как и ваша жизнь, эпизоды, события вашей жизни как материал, или материя, искусства не означают, что эти эпизоды есть то, о чем можно рассказать, – так вот, слово «материя» в данном случае имеет прямой, буквальный смысл. Его очень трудно уловить. Материя искусства – в совершенно прямом смысле этого слова. Не сюжет для описания или предмет для описания, а **материя самого произведения искусства**. Плоть его. Я сейчас об этом только предупреждаю, потому что с ходу раскрутить и понять это трудно. Просто я хочу обратить ваше внимание на сложность самого словоупотребления языка – мы не должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно нормально имеет. Этого значения мы отменить не можем, и мы должны пользоваться, к сожалению, теми словами, значения которых мы отменить не можем. Но мы можем сделать из них такую композицию, чтобы она нейтрализовывала неминуемо возникающую в наших головах ассоциацию по значению. Другого языка у нас нет. Переводя на язык, близкий к любви, а мы все время крутимся вокруг любви, потому что любовь – основной сюжет Пруста и романа, о котором мы говорим, я выражу немножко иначе то, что я сказал о языке, приведя известную фразу Франсуа Вийона, которая обращена как извинительная фраза по отношению к принцу; она звучит так: «Prince, on á les amours qu'on á ». (К

сожалению, в русском языке нет слова «любовь» во множественном числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые выражаются в языке.) Переведем так: «Принц, у нас есть те любви, какие есть» (и дальше Вийон добавляет: «извините меня за немного»). *On á les mots qu'on á* . У нас есть те слова, какие есть. Других нет.

То изменение, о котором говорит Пруст, то есть то, которое происходит действием изменения нашего состояния, оно происходит действием какого-то закона, а не мною самим производится. То есть во мне должен породиться какой-то закон, чтобы, даже вопреки мне или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий, изменить мое состояние. Фактически Пруст хочет сказать, что это нечто, что производит такого рода изменение, действует наподобие органа, в отличие от воли и сознания. (Для того чтобы мне увидеть эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения; глаз производит органом зрения то, что я вижу; это ясно, да?) И здесь, в глубине, скрывается проблема, что для Пруста – то, что называется произведением искусства или текстом (помните, я употреблял слово «текст»), не есть знание. Скажем, Сен-Лу можно передать знание, что Рахиль, его возлюбленная, продавалась в доме свиданий за двадцать франков. Но я предупреждал вас, что это знание не есть сообщение, несообщимо с головой Сен-Лу. Оно не войдет в эту голову. И он не сможет изменить своего отношения к Рахиль. Он ведь знает, что Рахиль – двадцатифранковая проститутка (если ему сообщить), и посредством этого знания он не может ничего изменить. Более того, по дороге между знанием о том, что – двадцатифранковая проститутка, и результатом изменения отношения (которого не происходит) стоит громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической проработкой. И факт знания, совершенно чуждого Сен-Лу, – что за двадцать франков Рахиль продавалась в доме свиданий, – может получить для Сен-Лу (путем работы проработки) совершенно особый, тайный смысл и внутреннее уникальное, только Сен-Лу доступное очарование. Пруст говорит, что нет такого самого отвратительного существа на свете, которое хотя бы для кого-нибудь одного не представало «под знаком самой трогательной нежности и очарования». И более того, Сен-Лу даже может извлечь особую гордость – они вот так думают, а я-то знаю, что Рахиль прекрасна... – вам знакомо то, что я сейчас говорю? У него будет даже особая прерогатива внутреннего знания, абсолютного шарма того, что вопреки всему **он** знает. Все видят внешнее, они не знают и не понимают Рахиль. Те живут в мире рассудочных представлений и иллюзий, а я знаю. Внутренним каким-то особым знанием, тайным очарованием. Ну, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Музиля поверил в непорочную беременность. (Кстати, мы сейчас возвращаемся вокруг акта веры. Когда можно совершить такой внутренний акт, тогда можно поверить в непорочную беременность, хотя это – противоречие в терминах.) Значит, как раз то, что мы суммарно и пока непонятно называем текстом, и есть что-то – я уже употребил слово «орган», – что производит, может произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. И здесь мы сразу врезаемся в общем в сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к теме, которую я все время обещаю и пока до нее никак не дошел. А именно: тема так называемого труда жизни. Я приведу вам пример, чтобы пояснить, что я хочу сказать. Мы сталкиваемся с таким законом нашего сознания, нашей психологической жизни, что в логосе (надеюсь, вы помните, что такое логос) – смысл какого-то собрания. Вот есть энное число вещей, в принципе относящихся к делу, и вот все, что важно для дела, это есть собрание, называемое логосом (в греческом языке само слово «логос», идущее от «легеен», имеет такой этимологический смысл). Все, что относится к делу, не только связано в логосе – логос, как я

вам сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан, логос есть то, что есть смысл всего собрания, и он, следовательно, не может быть дан в одном члене собрания. Все члены логоса помечены словами, имеют названия. И туг существует один странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался. Он говорил примерно так... Фактически я уже приводил материал этого закона – например, лицо Рахиль, я сказал, что оно Сен-Лу доступно одинаково с Марселем; и тому и другому одинаково доступно лицо Рахиль в смысле, как выражается Пруст, «общих актов». То есть то, что называется «нос», «глаза», «щеки», «губы», «выражение лица» и т.д., – как общее, как то, что может быть на лице Рахиль, и на лице Франсуазы, и на лицах бесконечного числа других людей. Смеющиеся глаза могут быть на одном лице, на втором, на тысячном лице. Ведь мы все это понимаем и называем. Это – доступность в смысле общих актов, то есть таких же, как у других... Я приводил вам эту цитату, но можно повторить ее: *«Это лицо, с ее взглядами, улыбками, движениями рта, показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального»* (здесь вкрадывается словечко «индивидуального», очень важное, хотя странно – оно нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим «нос», мы даже общее индивидуализируем), *и я не мог иметь любопытство искать под ними персону»*. В другом месте, оборачивая эту же мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас мне была важна, Пруст говорит так: *«...в коллекции наших идей («идеями» в данном случае назовем просто общие понятия, названия – «нос», «глаза», «лицо» и т.д., или наше представление о красоте, об интересной мысли и т.д. – тоже идеи) нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению»*. Я говорил, что есть проблема **органа**, который **производит** – не я произвожу, глаз видит – не я вижу, и проблема органа есть проблема – я выражусь так – логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или есть выражение лица, улыбки в смысле **общих актов**, и есть все это **вне логоса**. Логос есть логос того, что вне логоса разделено; вне логоса это – общие акты, за которыми нет «любопытства искать персону». И во всем этом нет ничего – в общих актах или названиях, – что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Теперь я приведу пример для пояснения. Скажем так – известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить: есть вода в смысле индивида «воды», и есть она же, называемая «водой», вне индивида (и это тонким образом связано с тем, что я называю органом). Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке, и вы будете говорить, что имеете мертвую воду. Это другая вода. Элементы ее те же самые, что и морской воды, абсолютно те же самые элементы, и какая-то тайна... вода в пробирке умирает. И умершая вода, по элементам та же самая, что вода морская, не есть та вода. И вот какое-то различие между ними мы называем, употребляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, другое называем мертвым. Или – одно называем индивидом, потому что – что такое морская вода? Это миллионные и миллиардные сочетания деталей, такие, что маловероятно, чтобы еще один раз эти детали могли бы сочетаться в том виде, в каком они даны в виде воды. И это называется индивидуальностью. Сочетания многих элементов, или обстоятельств, или просто фактов. И хотя отдельно они те же самые, но просто факт, что они были вместе, – дополнительный. Они жили вместе. И нам приходится называть этого индивида, потому что маловероятно, чтоб сочетание этого многого еще один раз могло бы случиться. И, более того, оно не только не случится еще один раз (и поэтому, если случается только раз, называется индивидом), а еще есть сила неразложимого на элементы сочетания. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное

впечатление («воду» в данном случае). Как видите, я довольно сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт.

У Пруста все произведения искусства – воображаемые, как бы внутри произведения искусства, называемого «В поисках утраченного времени», создаются еще произведения искусства, которые в нем описываются. Потому что для Пруста, и для вас, и для меня среди всех наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления от искусства, которые подчиняются тем же законам, и из них тоже можно и нужно извлечь что-то, что и из любых других впечатлений. То есть для Пруста, и это существенно, впечатления от искусства не вынесены отдельно, но являются частью нашей жизни, уравниваются с другими впечатлениями, из которых нужно извлечь своим собственным трудом нечто – так же как из лица Рахиль. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для влюбленного Сен-Лу судьбоносно важна, а книжка, казалось бы, не важна, но в действительности это – такую же роль играющие в нашей жизни впечатления и так же требующие чего-то, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями. И когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается (и наглядно воссоздает, описывает эту трудность) с тем, что воспринять пение Бермы как нечто красивое очень трудно, потому что то, что есть пение Бермы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. И нет никакого соответствия – Пруст все время подчеркивает – между общим представлением о красоте и индивидуальным впечатлением. Так же как и в названии воды нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивидууму воды. Поэтому я говорил, что в логосе – со стороны составляющих его названий или представлений общих фактов – нет ничего, что соответствовало бы **индивидуальному впечатлению**. Из логоса – из названий, составляющих логос (то есть смысл), мы ничего не можем извлечь. Они не могут нам помочь в том, чтобы – что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило. Например – пение Бермы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, – в безразличном пространстве. Но он ничего и не видит, и он смысла не может извлечь, и это событие – встреча с Рахиль – для него не является жизненным событием. Оно не вписывается ни в какой контур, который примет его жизненный путь. И здесь есть вещь скрывающаяся, которая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданным для вас образом и одновременно заставит осторожно относиться к словам, которые у нас есть. А у нас есть лишь те слова, которые есть. Я говорил в самом начале, что мы имеем дело с романом воспитания чувств. А сейчас мы получили очень забавный вывод на основе того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы – что? – «образоваться». Например, «образоваться» в своем переживании красоты, восприняв красоту пения Бермы. И «образоваться» в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль. Мы получили забавный вывод, что, хотя мы говорим о воспитании чувств, мы находимся в области, где нет никаких норм и правил, – то, что я говорил об отсутствии соответствия впечатлению, на другом языке есть просто то, что мы находимся в области, где нет норм и правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не могут нам помочь. Что же это – воспитание? Ведь что такое воспитание молодого человека? Он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития в себе способности прилагать эти нормы и правила к хаосу своей жизни, к жизни своих переживаний; обуздывать свои переживания и хаос души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нет. В мире норм и правил

нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю: **в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению.** То есть отсутствие норм и правил говорит нам об очень странном воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы – в области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом: есть что-то, чего **нельзя знать.** Скажем для начала – нельзя знать заранее. То, что содержится в пении Бермы или в лице Рахиль, – нельзя знать и пережить путем знания. Вот я **знаю,** и посредством этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь, – нельзя знать. И вот это «нельзя знать» у нас начнет часто повторяться. Хочу закрепить одну вещь. Дело в том, что – странное воспитание чувств... нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нормами и правилами – это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Совершите небольшой акт рефлексии, подумайте о самих себе: ведь именно то, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или «в общих представлениях общих актов в общем смысле», – именно в этом и есть наша жизнь. В этом мы живы. Потому что во всем остальном, что мы знаем по правилам и по нормам, мы мертвы. Или – пока нам достаточно просто интуиции – мы чувствуем себя живыми как раз в такого рода вещах.

И я сделаю еще один шаг, чтобы закрепить, что как раз то, что не входит в логос или в эти названия, не входит в ту область, где нет эквивалентов для индивидуального впечатления, то, что остается у нас на стороне ощущения себя живыми, – и есть **сознание** (в отличие от знания, в отличие от многих других вещей). И есть какое-то напряжение между тем (то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно есть просто нечто), в чем мы ощущаем себя живыми, и между эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания. В том числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение, ну хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому и что я мог бы пережить, – знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание и пережить его вот таким путем. Сделаем один маленький вывод: то, что мы будем называть и дальше текстом или органом, не есть знание, И следовательно, любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, не есть изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Узнав о том, что в принципе красиво в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Бермы. И вот, закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В прошлый раз, приводя пример с Сен-Лу, я специально опустил один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте мысли, что текст не есть знание. Значит, я скажу так, чтобы у нас опять-таки была ниточка: мы стоим в области воспитания чувств, или образования самого себя, или реализации себя, – в области, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса. Проблема **узнавания и неузнавания.** Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу лицо Рахиль, то передо мной в одном случае – красота пения, а в другом – факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно что она двадцатифранковая проститутка. И я могу встретиться с этим – и не узнать. Не узнать – имея в голове общее представление о том, каково должно быть пение, что красиво, когда хорошо поют, когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Повторяю – проблема узнавания того, **что есть.** Пруст иногда выражался так: «не узнать друга» или «не узнать Бога». Ведь можно встретиться с Богом – и не узнать в нем Бога. Или встретиться с другом – и не узнать в нем друга. Повторяю: мы должны закрепить в голове, что это не просто случайность, а в этом действуют законы. Есть законы того, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы, почему мы узнаем. То есть – условия и законы, почему мы

можем узнать то, чего могли и не узнать. Вот некая такая трагедия и комедия, если хотите, до недоразумений, когда одно родное другого при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык перевожу то, что говорил, как какие-то абстрактные вещи, о красоте, о понятии красоты, о том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, эту проблему я выражу строчкой из стихотворения Гумилева (одна из гениальных тем у Пруста, и вообще – тема поэзии): «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» То есть может быть что-то извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече. Понятно, что можно не соединиться – просто потому, что никогда не встретились, а нет... можно встретиться и – не соединиться. А если соединиться, то – «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»

Значит, мы имеем дело с соединением или несоединением. Более того, мы имеем дело, скажем так, с **трагической конечностью человека**. Дело в том, что мы не можем – поскольку мы конечны, у нас нет бесконечного времени – встретиться эмпирически со всем тем, что создано для нас. Не можем – потому что пространство нашей жизни ограничено, даже географические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что вас сейчас кто-то не ждет в Париже? И даже если бы вы могли сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал: «А может быть, как раз в Лондоне, и не сейчас, а через несколько лет?» И более того, я могу задать себе вопрос: все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уловили вот эту конечность. Уверяю вас, я сам по себе точно знаю, что есть какая-то книга, которая для вас написана и которую вы никогда не прочтаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов. Я уже не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, не проходимое нами. Но интересно, что, хотя вы никогда не прочтаете книгу, в которой есть идентичный опыт с вашим, и вы могли бы сделать шаг вперед, если посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книги, – тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе. Символисты ведь говорили, что есть соответствия символические. Что какая-то мысль, которая изложена в книге, которую вы никогда не прочтаете просто потому, что вы эмпирически ограничены, конечны, – эта мысль тем не менее может случиться в вашей голове. То есть что-то есть, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением – нечто нейтрализующее, гарантирующее меня от случайности того, чего эмпирически я могу не встретить, не увидеть. И есть какие-то дополняющие способности – они называются, допустим, человеческим воображением, которым строятся конструкции, называемые текстами, которые производят в нас события, независимо от эмпирических возможностей или невозможностей встретиться с носителями или материальными, так сказать, исполнителями этих событий. Более того, мы не можем всего знать по одному фундаментальному закону. Можно сказать так: мы могли бы все знать и, хотя мы конечны, могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну что значит «все знать»? Быть во всех местах пространства и времени. Допустим, можно предположить некую «божественную» способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Математики и физики

осуществляют так называемый предельный переход. То есть на пределе берут. Можно взять нам воображение на пределе, но при условии, что ты сам не являешься частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер – не только смотришь спектакль, но еще и участвуешь в нем, то есть своим действием в спектакле меняешь все события, а они находятся в сцеплении с тобой, – то тогда ты в принципе не можешь всего знать, потому что ты участвуешь **сам** в этой жизни. Значит, еще одно ограничение. И тут как раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать в связи с проблемой изменения.

Так вот, изменение нам недоступно – если не выполнены какие-то условия – само по себе, легким путем недоступно, не только потому, что вот то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, а производится иначе, а еще и потому (и я сформулирую это грубым образом), что нам приходится менять **уже измененное**. А «уже измененное» менять очень трудно. Сейчас я поясню эту непонятную фразу: дело в том, что человек меняет, преобразует какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании и воображении под знаком своих высоких идеалов – так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, были выполнены какие-то его требования к самому себе и к миру. Скажем, Сен-Лу увидел Рахиль – эмпирическая Рахиль (женщина с плоским лицом) стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки – назову ее так – «высокого». То есть из точки идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Ведь Сен-Лу увидел Рахиль в театре. И мир, связываемый нами с театром – не с помещением, не с театром как таковым в физическом смысле слова, а с представлениями о человеческом благородстве, о высокой человеческой любви и т.д., – это все преобразовало эмпирически видимое. И в своем отношении к прекрасной Рахиль – не к двадцатифранковой проститутке, а к прекрасной Рахиль, Сен-Лу реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире. То есть он сам для себя **допустил**, – почему? – потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рахиль доблестна, и он, любя Рахиль, любит доблесть (я сейчас словом «доблесть» заменяю многие слова, потому что когда хочешь сформулировать мысль, то спешишь и не ищешь всех терминов). Значит, я обращаю внимание на то, что отношение Сен-Лу к Рахиль (то, как он ее видит) есть, конечно, в фундаменте своем, его отношение к самому себе. В каком смысле слова? – в этом отношении должна реализовываться, не нарушаться его способность жить в мире с самим собой, уважать себя. Так ведь? Следовательно, он уже стал человеком. И вот изменить «уже человека» на «еще человека» почти невозможно. Можно, но трудно. Если помните, я приводил фразу Аристотеля – что причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и я сейчас фактически его сформулировал: наша жизнь устроена так, наше сознание и психика устроены так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь, потом ты имеешь **через то, что любишь**. Потом уже – через Рахиль – Сен-Лу получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и т.д. Это понятно? И вторгнуться в эту область изменением почти невозможно.

Закон этот действует и в социальной жизни, мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями (так же как Марсель считал Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что Рахиль проститутка, и в этом смысле он просвещеннее, чем Сен-Лу): дело в том, что у нас нет цивилизации (мы нецивилизованны, кстати, примерно так же, как и русские), и часто возникает желание ввести какие-то рациональные изменения, но они всегда упираются в действие закона, который я выражу так: русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали. Потому что в том, каковы они,

они выполнились в доступных им пределах (и мы тоже, кстати, просто я по своему опыту сказал «русские», а есть опыт у меня и другой – наш собственный, грузинский). **Уже реализовались.** И вот это обладает такой инерцией, которая трудно поддается изменению и тем более не поддается сознательному волевому акту. Там должен происходить какой-то органический процесс изменений, рождаемых из органов. Из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне, – извне любое действие упирается в то, что «измененное» изменить уже трудно. Именно потому, что оно – измененное. И здесь возникает проблема, которая в психологии называется проблемой identity. **Тождество с самим собой.** Если оно достигнуто, оно нерасторжимо. Его развязать – оно как бы сцепилось с каким-то огненным взрывом, слепилось, – и развязать его, расцепить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Скажем, у Пруста есть термин, который во французской традиции идет в основном от Стендаля, – кристаллизация чувств. Так вот, если по законам кристаллизаций случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, чтобы переживать ее, – а в человеке есть потребность это переживать, даже независимо от предмета этой потребности, – чтобы переживать нежность, должна быть Альбертина. А вот какова эта Альбертина? Может быть, она демон, и, испытывая нежность только через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни?! Какой адский бег ревности совершает герой нашего романа! Он все ревнует, он все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменила; и самое страшное, когда он утверждает в мыслях, что она лесбиянка и изменяет ему с женщиной... И вот – этот inferнальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все точки пространства и времени, – и ты бежишь... Если вы помните, в аду у Данте есть образ бегущих, которые наказаны тем, что все время должны бежать сломя голову. Есть такой бег, внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физический, внешний.

То, что измененное уже не поддается изменению, прямому изменению, бросает еще один свет на то, что я назвал тождеством с самим собой. Обратите внимание, что это есть преобразование эмпирического, то есть фактов, – лицо Рахиль, какова она реально, какие у нее глаза и т.д., но они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой смотрел Сен-Лу. Так? Потом произошло отождествление с предметом, через который реализуются мои высокие страсти, и тем самым реализуются достойные отношения меня к самому себе. К моему месту в мире и т.д. Это я назвал тождеством, или identity. И ясно, что это есть продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено. Ведь измененная Рахиль не рождена ее свойствами, физическими свойствами. Физические свойства, как мы знаем, – просто плоский блин лица. Значит – не фактами рождено; и вот мы должны сформулировать закон, что **в область того, что не рождено фактами, факты не проникают.** Повторяю: в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Например, факт, что в доме свиданий я видел Рахиль, – этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами. Поэтому факты туда и не могут проникнуть. Она совсем о другом – та область, хотя она вся накрывает факты. Любит-то он Рахиль, но это есть факт, накрытый этой областью, а не факт сам по себе, – область не рождена фактами. Не факты ее родили, и не факты ее убьют. Сколько хочешь говори Сен-Лу, какова «на самом деле» Рахиль, – не проникает. Значит, как уже говорилось с других сторон, это – сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и вот

это расцепить нельзя, как я сказал. Я много раз имел случай убедиться в том, что сюда факты не проникают. (Вместо фактов можно сказать: рациональные аргументы. Рациональные аргументы всегда ссылаются на факты.) Просто потому, что – не рождено фактами. Рождено другим психологическим процессом. Тем процессом, который я назвал отождествлением с самим собой, со своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимать в мире только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. И если человек купил тождество с самим собой ценой неведения факта или непродумывания его, то он никогда его не воспримет; более того, он почувствует в тебе опасность человека, который хочет разрушить самое ценное для него, а именно – identity. Тождество с самим собой.

Это очень часто случается с так называемыми идеологиями, или мировоззрениями. Мировоззрения, или идеологии, есть область сращений человека с отношением к самому себе. И в этом сила идеологии, и ее неразрушимость, и убийственность. Потому что для человека самая большая опасность – перестать быть в мире с самим собой, перестать уважать себя. Но если сначала ты определенной ценой купил уважение, то потом цена эта реализует уважение. Или – то, из-за чего любишь, меняется местом с тем, что любишь. Что любишь, становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рахиль становится условием доблести, а доблесть любишь, казалось бы, саму по себе. Понятно? Так вот, с мировоззрениями очень часто так случается; мне как-то пришлось проводить занятия с гаитянами по философии, образовательного такого характера, с настоящими гаитянами, причем я формально исходил из того, что имею дело с просвещенными людьми, потому что беседа шла по-французски и уже сам факт знания ими французского языка говорил об определенном минимуме просвещения и определенном минимуме наличных гибких структур мысли, которые вырабатываются просто из-за знания языка. Если люди окончили французский лицей, значит, что-то должно быть. И я столкнулся с твердыми пунктами заострения там, где я пытался просто привести какие-то факты, рассуждения... Но потом я понял, что дело ведь не в глупости и не в уме, а дело в том, что у них была простейшая классовая схема мира, в которой есть богатые и есть бедные, есть империалисты и есть рабочие и крестьяне, и поскольку схема очень проста и усваивается без труда, умственный труд, затраченный на нее, таков, что он удовлетворил их по отношению к самим себе (они стали носителями понимания мира, они мир поняли), и поэтому они никогда с этой схемой не расстанутся. Кроме как ценой какой-то полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. Человек ленив. Мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя. (Вот наш роман, прустовский, – роман изменения себя. И в этом – героизм больного, несчастного автора. На пределе мужества Пруст проделывал с собой работу изменения, и роман его есть орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой.) А люди, о которых я говорю, на такой труд поскольку человек ленив), за редкими исключениями, идти не хотят. Мир уместен в их головах, в этом мире они занимают место человека, понимающего мир, и все очень просто: есть империалисты, есть это, это... Богатые есть, потому что есть бедные, бедные есть, потому что богатые есть, и что сделать, чтобы не было бедных? – уничтожить богатых. Все – мир уложился. И в эту область не войдут факты и аргументы. Вот, видите, что я сейчас делаю? Я сформулировал закон неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного, который действует в нашей психологической и сознательной жизни. Более того, я привел вам мелочи, сквозь которые глаз (в данном случае философа) видит фигуры. И поэтому это уже не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают большие пространства и времена., такие большие, что даже Гаити

попало в наши рассуждения. То есть где-то есть нечто, что в данный момент объединяет с гаитянцем или разделяет. Но разделять ведь можно только объединенное, безразличное. То, что происходит с гаитянами, как они живут и как они думают, имеет значение, потому что если бы их, как китайцев, был миллиард, тогда мы непосредственно убедились бы в том, что это имеет значение.

Резюмируя то, что я сказал, мы можем выразиться так: мы имеем дело с тем, что у Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех страницах романа), но – впечатление, очевидно, какое-то особое. И оно совмещено с точкой, которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой (я уже термин этот употреблял), то есть такой точкой, в которую, например, факты не проникают. В которую нельзя перенести знания: она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров...

ЛЕКЦИЯ 4. 27.03.1984

В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить, и это естественно, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормальный, конечно, хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И мне показалось, что мы к тексту Пруста должны отнестись так же, как он сам относился к впечатлениям жизни, – в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена. Марсель едет на лошади в высоких горах, по тропинке, по которой ему проехать посоветовала герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник; причем Пруст выдумал не только художника, но и произведение этого художника, которое описывается, среди других произведений, в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один из первых вообразенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда смешивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. И Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного для нее звука, и он еле удержал и лошадь, и самого себя от падения, поднял голову на источник звука и – это было первый раз в его жизни – увидел аэроплан над своей головой. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой, попарил, помахал крыльями и исчез, и душа Марселя переполнилась непонятным и в то же время ясным для него ощущением другой жизни. Не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать, потому что мы своим воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это – не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше воображение складывается из знакомых элементов, и мы в принципе не можем вырваться (естественным образом не можем вырваться; что-то нам должно помочь, или мы сами себе должны помочь) из сплетения известных элементов. Так что это воображаемое не есть «другое». А вот в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего самолета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую его радость, ощущение другой жизни, другого «я», то есть другого самого себя.

Я это рассказываю к тому, чтобы вы заразились этим ощущением – через Пруста или, может быть, через мой рассказ, неловкий, конечно, и бездарный по сравнению с текстом Пруста, – ощущением того, что вы могли бы быть другими.

Но даже если не станете другими, то само это ощущение, может быть, повлияет на то, что есть в этой жизни с вами. Ведь в прошлый раз я говорил вам о том, что мы «жизнью» называем очень разные вещи, хотя слово «жизнь» имеет довольно точный смысл, который в некоторые особые, привилегированные моменты нам доступен. Я условно их называл моментами невыразимого – когда мы твердо ощущаем, что вот это так, но этого сказать нельзя. И именно в том, чего «сказать нельзя», мы чувствуем себя живыми. То есть мы чувствуем себя живыми именно в истине, которая похожа на ложь, как я вам уже цитировал из Данте, в той истине, которую нужно хранить сомкнутыми устами, потому что разевать рот бесполезно. Все равно ничего не скажешь. Когда скажешь – будет похоже на ложь. И вот это ощущение жизни самоценно. Оно ни для чего. И оно самое дорогое для нас, и во всем остальном, что бы мы ни делали, мы ищем это ощущение. Если оно присутствует в том, что мы делаем или испытываем, то тогда это имеет смысл. Короче говоря, наше самое большое желание среди всех желаний – быть живыми. Мы жить хотим. И у нас есть жизнь в двух смыслах. Жизнь в смысле 1 – что невыразимо, и есть некая жизнь 2, которая похожа на первую, но бывает лишена этого ощущения смысла жизни. Пруст... я бы сказал – одержим жизнью. И во всем, что он описывает, есть всегда поиск этого ощущения жизни. **Найти себя живым.** Поэтому вы часто встретите такую фразу: все, что я знаю, не есть я, все, что я не извлек из себя, это – не мое понимание. То есть – не жизнь. У Пруста всегда идут какие-то равенства, уравнения (в математическом смысле уравнения). Скажем, слово «жизнь»: сам факт жизни странным образом равен идее. То есть жизнь равна Идее. Жизнь равна Сущности, жизнь равна Закону. Очень странные уравнения. Но я сейчас дам одно маленькое пояснение. Есть один пример, который мне приходилось приводить (у меня самого эти повторения вызывают отвращение, но есть интуитивно точные примеры, их заменить нечем, сколько ни думай, не придумаешь ничего)... Понимаете, мне как-то пришло в голову очень простое, интуитивное определение жизни, то есть отличие живого от мертвого, от неживого. Живое отличается от неживого тем, что оно всегда может что-то иное. А мертвое уже не может ничего другого, чем оно есть. Поэтому бедный Пушкин, кстати, говорил в свое время, что в России любят только мертвых. Вы заметили, что если любят, то только мертвых сейчас поэтов. По одной простой причине – они уже не могут ничего отчудить. Ничего «откаблучить», как говорят по-русски. Просто очень. Живое же всегда может что-то иное. Значит, я снова вернулся к тому, на что хотел вас настроить; самое главное ощущение в Прусте, которое нужно уловить и перенести на себя и на текст, – услышать в звуке, в цветке, в поступке человека или в лице человека свою **ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГОЙ ЖИЗНИ.** То есть возможность того, что вы живы. Поэтому когда Пруст перечисляет свои типовые впечатления (а они есть у каждого человека), скажем, пирожное «мадлен», вид колоколен Мартенвиля, плиты мостовой в Венеции, – они, в отличие от символического полета самолета, который закодировал в себе для чувствительного поэта образ другой жизни, иной жизни, проанализированы. И когда я говорил, что есть жизнь в смысле впечатлений и есть жизнь (в другом смысле слова), похожая на жизнь, то, чтобы расшифровать те уравнения, которые я перечислил, скажу, что быть живым в первом смысле слова, то есть действительно живым, очень трудно. Это предполагает, во-первых (то, о чем я говорил в самом начале), что жизнь есть усилие во времени. Очень точное определение. И я добавлю – чтобы пояснить уже уравнения Пруста: жизнь равна идее, жизнь равна сущности, закону, – **живое питается законами или сущностями.** Чтобы у вас были какие-то ассоциации, чтобы вы сразу не испугались этой фразы, я хочу вам напомнить такого физика – Шредингера, одного из основателей квантовой механики; в свое время, когда генетика (я имею в виду биологическую теорию) только еще

становилась на ноги, он среди прочих своих книг написал также и книжку о генетике; она была популяризацией новых достижений в генетике, по тогдашним временам новых, в 40-е годы. Книжка называлась «Что такое жизнь?». Рассуждая о жизни в связи с проблемой энтропии и упорядоченности (есть два противопоставления – неупорядоченные состояния, характеризующиеся энтропией или максимум-энтропией, и есть упорядоченные состояния). Шредингер задался простым вопросом: вот, говорят, что жизнь есть обмен веществ. Определяют жизнь как обмен веществ... Но какой смысл, скажем, один атом кислорода обменивать на другой атом кислорода, когда они вполне тождественны и одинаковы? Очевидно, не в этом состоит процесс обмена, если этот процесс является сущностью жизни. Очевидно, говорит он, все-таки жизнь действительно состоит в обмене и сущностью жизни является процесс, состоящий в том, что жизнь питается порядком, То есть жизнь есть процесс извлечения порядка – живое живет извлечением порядка, и если жизнь не извлекает порядка, то она не живет. Вот вместо слова «порядок» поставьте слово «сущность» или «закон». Я возвращаюсь к нашей теме: по глубокому убеждению Пруста – поэтому и нужна вся та «аналитическая» работа художника, которую он считал своим призванием, – необходимо воспроизводство акта жизни в следующий момент времени. А воспроизводство акта жизни в следующий момент времени не само собой разумеется; воспроизведение акта жизни в следующий момент времени предполагает труд или работу **извлечения порядка**. В том числе извлечения **смыслов, законов, сущностей**, а переводя на наш язык, который мы уже ввели, извлечение того, что со мной происходит. Что я на самом деле чувствую? Потому что мы ведь умираем по отношению к самим себе... Ну, например, я не узнаю друга. Переводя на мой язык, который я сейчас вам предлагаю, это означает, что «дух умер к самому себе». **Умер для самого себя**. То есть некоторая духовная живая операция, – а мы вместе с Прустом сейчас предполагаем, что дух, или ум, тоже есть жизнь, живое что-то, – и он умер по отношению к самому себе. Или, переводя на другой язык, оказался в состоянии рассеяния и распада, или в шредингеровской энтропии. Значит, мы имеем два полюса: живое, то есть упорядоченное, в том смысле слова, что – **живое** ценой извлечения порядков и законов, а с другой стороны, имеем рассеяние и распад – неживое.

Продолжим теперь нашу тему, которую мы в прошлый раз подвесили в воздухе. Мы пришли к тому, что у нас есть странный феномен сознания. Что-то, что несомненно есть и чему нет никакого внешнего эквивалента, – если под внешним эквивалентом понимать слово, – чему нет названия. Вот мы видим с вами одно и то же, то есть нечто названное одним и тем же именем, и то, чем отличается то, что я вижу и что не умещается в слове, и есть сознание. Мы так отрицательно это определили. Короче говоря, то – что не имеет **эквивалента**, ясно, но невыразимо. Причем не подсовывайте, я предупреждал вас, никаких ассоциаций... интуиция, иррациональное и пр., пока ничего этого нет и мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно – ясно, но нет эквивалента. Я сейчас это свяжу с жизнью и прочитаю вам цитату (опять я, к сожалению, должен переводить с листа). Предупреждаю, что должно быть следующее правило чтения: останавливайте в себе, блокируйте естественные, произвольные побуждения реагировать на красоту стиля, не моего, конечно, – Пруста, потому что красота выражения позволяет нам не замечать мысли. Пруст говорит об ослепительном свете, который его посетил, а именно о том, что «произведение искусства – единственное средство восстановить потерянное время». Для начала сделаю первое предупреждение, относящееся к нашему отношению к словам. Вот как будто понятная фраза, да? Потерянное время – значит, то, что забыл. Не так ли? Или – потерянное время – скажем,

вместо того чтобы вчера работать, вы вчера ничего не делали. Или – вместо того чтобы вести умную беседу, вы вчера ходили на свидание, – кстати, с точки зрения Пруста, свидание не было бы потерянным временем. Потерянным временем была бы умная беседа. (В том числе интеллектуальные беседы.) По одной простой причине: там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, – там потерянное время. Пруст в свое время говорил (он был большой противник снобизма, который состоит во встречах или в окружении себя умными и содержательными людьми): беседовать с умными людьми – это то же самое, что прийти в гости и, вместо ожидаемого приключения, оказаться в светском салоне, где тебе сунули в руки альбом с семейными фотографиями и ты должен с видимым интересом на лице их разглядывать. Или, скажем, что с вами, наверно, часто случалось, – разглядывать диапозитивы в темной комнате. Так вот, потерянное время – это время всех **неживых моментов**. То есть потерянное время есть то, когда ты мог жить в первом смысле слова, как я говорил, но не жил. Был тебе знак, а ты его упустил. Упустил тем, что не остановился и не работал. А знак – мы знаем какой, если вы помните. Я прошу вас в голове все время держать этот знак, потому что факел должен освещать нам нашу работу. Потому что то, что мы делаем, это – и моя работа (если бы я все заранее знал, что говорю, мне было бы скучно), а вам тоже нужно работать, чтобы все узнавать в самих себе. Знак простой – по святому Иоанну: пока свет вам – а светом является ударившее в душу впечатление, любое, – нужно не откладывать на завтра или на послезавтра. Или на других не перекладывать. Потому что никто, кроме вас, в этом не разберется. Точка нашего труда – и прустовского – то, что могу только я или вы. «Я» в данном случае не я, а наше общее «я».

Пруст пишет так: *«Я понял (уже второй свет, вслед за первым светом), что произведение искусства – это единственный способ восстановить утраченное время»*. Следовательно, «произведение искусства» не в традиционном смысле, а работа, которую я могу сделать только сам, чтобы раскрутить, что же со мной случилось, что значило впечатление, что значил знак, – Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду, потом будут хаос и темнота, когда темно, работать уже нельзя. Кстати, эти впечатления не обязательно должны быть катастрофическими, то есть содержать в себе крупную религиозную истину, они могут быть, скажем, видом озера. Пруст говорит так... – подобно тому как художник подымается в горах и в проеме гор перед ним открывается озеро, которое поразило его каким-то впечатлением, – он быстро вынимает свой мольберт, кисть, «но уже темно, и работать уже нельзя». Так вот, эти материалы, вошедшие в книгу (после того как он понял, что произведение искусства есть продукт работы, продукт реконструкции непотерянного времени, когда озеро показалось – и он успел до темноты), – открытые истины: «одни в страданиях, другие в весьма посредственных удовольствиях». Обратите внимание, это все специально сказано: истины, открытые в посредственных удовольствиях; страдание (очень важный пункт, мы будем с ним еще иметь дело) – в посредственных удовольствиях; то есть истины – не из книг, не из бесед с умными людьми, а из самых банальных вещей, только при одном условии: если углублялся, и не терял время, и был риск. Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального собеседника, потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а с ничтожной женщиной я рискую, туда вовлечены желания, и только через них, только через желание и боль, я могу узнать и мир, и других, и себя. И более того, Пруст добавлял в таких случаях, что люди, имеющие действительно глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь, выходя из нее, имеют потребность в фривольных разговорах. (Вы эту истину, наверно, знаете по себе. Если с

вами действительно произошло что-то внутренне серьезное и вы поработали, то, выйдя из этого, вы нуждаетесь в фривольных разговорах, а не в умных беседах.) Так вот, истины, открытые в весьма посредственных или даже в низменных удовольствиях, все эти материалы художественного произведения, – все «это было моей прошедшей жизнью». То есть материал произведения составлялся из материала жизни, – и вот тут наше внимание будет проскакивать, конечно (о чем я и предупреждал). Действительно, писатель пишет о том, что он наблюдал сюжеты, или то, что он видел, он превратил в сюжеты; и вот то, что я пытаюсь передать вам, вы должны будете подкрепить чтением текста, и тогда вам откроется довольно существенная истина, – не это имеется в виду. В прямом, телесном смысле слова – то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни. Это была та прошедшая жизнь, в которой – проходя мимо куста боярышника или поедая пирожное «мадлен» (эта знаменитая сцена), – не просто прошел мимо куста боярышника, а остановился. Этот эпизод – материал произведения искусства. И, казалось бы, незначительный... по другим критериям он не вошел бы ни в какое произведение искусства; назовите мне такого писателя, у которого поедание пирожного заняло бы такое существенное место в романе. Нет такого. «Я понял, что эти материалы пришли ко мне во фривольных удовольствиях, в лени...» – ему лень было писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами по себе, скучно. (В некоторых местах романа Пруст говорит, что лень спасала его от написания плохих вещей.) Значит, «...приходило ко мне в лени, в нежности, в боли, укладывалось во мне и накапливалось без того, чтобы я понимал назначение этих материалов, даже о том, что они будут жить, так же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается растение. Как зерно я мог умереть, когда разовьется растение, и оказалось бы тогда, что я жил для этого растения, даже не зная об этом, даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в контакт с теми книгами, которые я хотел бы написать и для которых, когда я садился за стол, я не находил сюжета». (Опять – к осторожности о том, что называется материалом произведения; не событие жизни – материал произведения, потому что, если бы были события, сев за стол, он нашел бы сюжет, а вот тут он даже не подозревает о том, что поедание пирожного – это и есть материал произведения искусства; он пока другое представление о литературном труде имеет; садится за стол, а в голове... пусто, нет сюжета, или есть такие сюжеты, которые только лень вызывают, и поэтому не хочется писать.) «И, таким образом, вся моя жизнь по сегодняшний день могла быть и не могла быть резюмирована под следующим названием: призвание. Не могла быть в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей жизни...» Снова к моему предупреждению, вот он пишет: вся литература не играла никакой роли в моей жизни; так что когда этот же человек утверждает, что произведение искусства есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь и пр., то это имеет особый смысл; не тот обычный, который мы склонны вкладывать; значит, в обычном смысле слова литература никакой роли в его жизни не играла. С другой стороны: «...моя жизнь могла быть резюмирована под этим названием, потому что воспоминания о ее печалях, о ее радостях составляли в ней запас, подобный тому белку, который находится в зачаточной клетке растения и в котором эта клетка черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно, ничего в это время не зная о том, что из этого зерна разовьется растение, хотя именно это зерно является местом весьма тайных, но активных химических и дыхательных феноменов (хочу~ обратить ваше внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима: «место», le lieu, и «активность», какая-то секретная или тайная активность; Пруст, поскольку он пользуется в данном случае метафорой, говорит «химическая и

дыхательная активность», но мы отделим слова и возьмем «**активность и место**»)»

А теперь возвратимся к тому, что мы говорили о жизни, и к тому, что я говорил об органе в прошлый раз. Вы знаете, что биологам почти что невозможно определить, что такое жизнь. В итоге они чаще всего дают интуитивное определение, которое, кстати, совпадает с тем, которое, не желая вовсе, дает здесь Пруст. Имеется в виду каждый раз некая особая, специфическая **активность** каких-то вещей, которая имеется в каком-то месте, называемом органом, а вне его не имеет места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повторяю: какая-то особая активность, которую проявляют какие-то элементы в месте, называемом органом, и эти же элементы вне этой активности не проявляются. В первом случае это называется **жизнью**, а место называется **органом**, а во втором случае – нет. Так вот, то, что я называл сознанием, есть **место**, в котором существует некоторая активность. Этой активности вне этого места нет. Скажем, есть вне этого места слова. Если они – вне этого места, это – только слова. И вот весь роман Пруста есть опыт особого рода. **Опыт сознания**. Опыт совершенно особой активности. Тут слова звучат тоже очень двусмысленно. Вот мы говорим: опыт сознания. Скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества, опыт войны и т.д., и во всем этом присутствует сознание. А я имею в виду в данном случае опыт сознания, где сознание есть нечто совершенно отдельное. Не сознаваемые содержания и предметы (мы ведь все осознаем сознанием; мы осознаем войну, любовь, ненависть, мы осознаем желания и т.д.), а **явления сознания** – особого, отдельного, и мы можем его, в свою очередь, испытывать – как отдельное.

Напомнив вам этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил в прошлый раз, я продолжу теперь мысль. Мы говорили, что есть какая-то точка – я называл ее сингулярной, – у которой есть свои, очень странные законы. Фактически, найдя для нее новое слово, а именно «место», и поместив в это место активность, особую, имеющую место только в этом месте, мы можем сказать, что в эту точку или в это место ничего не входит и оттуда ничего не выходит. Странная такая точка, или место, нашего сознания. То есть сознание есть то, что совпадает с нашей жизнью (в чем мы чувствуем себя живыми), – туда ничто не входит, и оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что туда знание передать нельзя. Потому что сознание имеет дело с тем, чего вообще знать нельзя. Ну разве можно знать Сен-Лу, какова Рахиль, и можно ли ему передать знание, какова она... Мы уже знаем, что этого нельзя сделать. То есть, что мы узнали, узнав, что этого делать нельзя? Мы узнали, что наше мышление или мысль... – опять мышление имеет смысл логического мышления; я буду тогда употреблять слово «мысль», чтобы у нас не было классификации, потому что мы находимся в области, как сказали бы буддисты, полной неклассифицируемости. То есть то, с чем мы имеем дело, мы не можем назвать ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинктом, ни интуицией. Я назвал это только что «мыслью», но это не есть мышление в смысле наших классификаций. К тому же учтите, что все классификации только наши классификации, то есть наши категории. Но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и искаженно выражается в наших же категориях. В том числе в нашей категории мышления, чувства, сознания и т.д. Возвращаюсь к тому, что говорил, – значит, сознание или мысль не построены так, как – мы предполагаем – построено мышление. Ведь мышление построено так, что мы можем указать на какие-то факты, назвать их, построить их определенным образом в логических связях, передать их другому, который может эти связи проследить, восстановить их в своей голове, и в его голову перейдет это знание. Явно, что этим путем Сен-Лу ничего не может узнать о Рахиль, а некое абстрактное существующее знание о ней не может быть в точке, в которой

находится Сен-Лу, имеющий сознание (или активность) в своем органе восприятия, – туда передать это нельзя. И выйти отсюда тоже ничего не может. Ну ясно, почему. Я ведь только что новыми словами назвал то, что я называл перед этим другими словами; я ведь говорил: эквивалента нет во внешнем, уникально и ясно отличное от всего – **от слова**. Нам же, чтобы что-то сказать, нужны слова, а именно от слов – отличное. Следовательно, словами мы не можем воспользоваться и выйти наружу это в словах не может. Не может оттуда поступить. Странное место... И тот опыт сознания, о котором я говорил и с которым столкнулся Пруст, есть опыт этого факта. Или такого места, в которое ничто не может войти и из которого ничто не может выйти. И с этим местом как бы в виде двойной звезды у Пруста совмещено то, что он называет впечатлением. Впечатление у Пруста всегда – особая категория каких-то ударов по нашей чувствительности, которые обладают свойством приводить нашу чувствительность в некоторое неустойчивое противостояние, которое мы должны разрешить ценой (или риском) нашей собственной жизни. Или судьбы. Вот что называется у него впечатлением. И во-вторых, впечатление всегда есть нечто совмещенное с той точкой или местом, в которое ничто не входит и из которого ничего не выходит. Как бы впечатление висит... как звезда, двойная звезда. Одна звезда – место, и его двойник – впечатление. В какую сторону ты в этом месте идешь, в той стороне образуется тот или иной мир, радикально отличный от других. Поясню это простым примером.

Есть такой пассаж в романе: около отеля стоят посыльные и слуги, беседуя о чем-то, а мимо проходит очаровательнейшая из очаровательных женщин, герцогиня Германт, которая очень долго и много занимала воображение героя романа. Как именем своим (Германт – это самое аристократическое имя во Франции, целая феодальная страна, скрывающаяся в звучании этого имени), так и как женщина, – какое-то время герой романа был влюблен в герцогиню Германт. Вот эта очаровательная женщина проходит мимо посыльных и слуг, и вдруг один из них говорит другим: «Посмотри на эту ломаку, что за вид, и к тому же ей, наверно, лет семьдесят». Они видели **так**. Повторяю, что мы имеем дело с местами, а не с психическими свойствами, и мы должны блокировать в себе нашу неминуемую склонность приписывать те или иные проявления человеческим свойствам. Глупости или уму. В данном случае сказать, что посыльные не видят по глупости. Нет, мы имеем дело (скажу условно, не придавайте этому большого значения) с топологией, а не с умом или глупостью. Я не случайно говорю: место. Они **в месте** находятся, а не глупые или умные. В каком месте? Я еще один пояснительный материал добавлю. После этого идет интересное рассуждение Пруста. Он говорит: «Как различны миры...», частично поясняя, что ведь они видели герцогиню так, потому что ей не предшествовало облако желаний в их глазах. А желание равнозначно тайне – по законам нашей человеческой природы. Следовательно – «не предшествовало облако тайны». И есть не один, или два, или три мира, «а миров столько, сколько каждое утро просыпается умов и глаз». А первая страница романа начинается с просыпания. И это очень существенно, так как весь наш опыт сознания моделирован опытом просыпания. Модель очень интересная. Я ведь сказал: совсем не само собой разумеется, что в следующий момент времени воспроизведется живое. Скажем, в момент А нечто живо, и мы предполагаем, что в момент А¹ оно продолжает жить. Философ утверждает, и другой человек – Пруст, проделавший опыт сознания, что – нет, не само собой разумеется, что в момент А¹ А живет уже в А¹. (Второй момент есть момент просыпания.) И Пруст смоделировал это очень простым способом. Очень таким ненавязчивым... я сейчас говорю на квазинаучном языке, но это по бедности, а он богатый художник и сделал это гораздо проще и изящней. Но изящность скрывает – что? Я сейчас сразу поясню и поставлю точку на проблеме. Вот

просыпается человек – какие, спрашивает Пруст, есть основания для того, что просыпаюсь именно Я?. То есть, какие есть основания для того, что, проснувшись, я хватаю самого себя, и это – Я? Какие? Можно ли предположить само собой разумеющейся длительность – что предмет А в момент А¹ есть тот же самый предмет А, если мы говорим о живом? Или о сознающем. Какие есть основания для того, чтобы просыпающийся в момент А¹ проснулся бы в качестве А¹? Именно того человека, в качестве кого он был перед этим. Какие есть для этого основания? Почему я не проснулся в качестве совсем другого человека? И когда мы не призадумываемся над этим, то нет проблемы, а стоит призадуматься – есть проблема довольно большая, и из нее, не из ее решения, конечно, а хотя бы из раздумывания над ней, можно очень много извлечь. Конечно, чтобы, проснувшись, сказать: Я – это Я, я совершаю акт выбора. Так ведь? Чтобы акт выбора совершился, нужен субъект, который совершает выбор. Но этот субъект выбора, то есть субъект, совершающий выбор, может быть только после того, как выбор совершился. Пруст так и пишет: когда мы выходим из сна, «мы – никто». *«Как же тогда, ища свою мысль (мы же должны найти свою мысль, чтобы продолжить ее, чтобы у нее была длительность; длительность, как выражается Пруст, часов, дней, месяцев, годов), ища свою личность, так же как ищут потерянный объект (выходя из сна, мы ищем себя, как ищут потерянный объект), кончают тем, что находят свое Я скорее, чем другое. Почему, когда мы снова начинаем мыслить, не другая личность воплощается в нас, а именно та наша, которая нам предшествовала? Я не вижу, что диктует этот выбор и почему из миллионов человеческих существ, которыми можно было бы быть, именно на то, кем я был перед этим, падает мой выбор»*. Ну а дальше – интересная тема, пока не буду ее развивать, предлагаю: «...возрождение себя в момент просыпания после благотворного умственного отчуждения, каким является сон, должно быть по сути дела похожим на то, что происходит тогда, когда мы находим забытое слово, забытое стихотворение, забытую мелодию. И, может быть, даже возрождение души после смерти можно представить как феномен памяти».

Значит, мы моделируем ситуацию, когда есть какая-то работа в некоем месте, которое мы называли сознанием, и в зависимости от этой работы мы переплетаем или туда, или сюда. И основания, почему именно «сюда», должны быть какие-то. Это не само собой разумеется. И, более того, чтобы там что-то происходило, в той точке, о которой я говорил, что туда ничего не поступает и откуда ничего не выходит, – еще одно очень странное свойство этого места или этой точки, так сказать закон или правило ее пустоты, – она должна быть пуста. Фактически ясно, что эта точка, о которой я говорю такими возвышенными словами, мешая топологию с биологией, с психологией и еще с чем-то, – есть место нашей работы под знаком впечатления. Или под знаком святого Иоанна. Точка, в которую должен войти свет. И у этого вхождения есть одно условие: в точке должна быть пустота, или темнота. Там не должно быть света или полусвета. Посыльные, которые смотрели на герцогиню Германт и не видели ее, – они не видели ее в том числе и потому, что между их взглядом и силуэтом герцогини Германт не лежала темнота. Темнота желаний (прошлый раз я назвал это тайной желаний). Темнота проблемы. То есть, чтобы в тебя вошел свет, ты должен очень сильно утомиться и ничего не знать. А мы всегда слишком много знаем перед темнотой. Короче говоря, наша точка – точка не только непоступающего знания, а еще и точка, в которой запрещено знать. Сейчас я другой пример приведу, который окончательно все поставит на свои места. Вы знаете, что на фронтоне философского здания должна быть написана или может быть написана (поскольку здание-то воображаемое и можно написать все что угодно), одна фраза; «Я знаю, что я ничего не знаю». Эта фраза не есть указание на то, что мы – люди, то есть конечные существа, и нам

не надо много знать, и что сколько бы мы ни знали, мы всегда знаем мало. Нет, в этой фразе ударение стоит на первой части фразы: «Я **знаю**, что я ничего не знаю». А вот знать, что ты не знаешь, очень трудно. Почти невозможно. вспомните – Сен-Лу не мог увидеть Рахиль, потому что его точка уже была заполнена светом или полусветом. Там еще не было темноты. Он **знал**. То есть знал, что знает. Я говорил, что он проецировал некоторые заранее заданные представления о красивом, о прекрасном; они совместились со случайно увиденной в театре женщиной, кристаллизовались на ней, и, расцепить ее, эту кристаллизацию, он не может. Другой пример; этот пример есть у Кьеркегора. Он говорил так – очень интересное рассуждение; Кьеркегор был большим экспериментатором над собой и над окружающими людьми, иногда очень холодным и рассудочным, но часто его холодная истерика, в которой он всю жизнь находился, высекала тем не менее искры мыслей из жизни и из предметов, с которыми он сталкивался, – у кого больше шансов быть христианином: у того, кто крещен, или у того, кто не крещен? По законам протестантской и католической религий есть так называемая конфирмация; где-то в возрасте, по-моему, 14 лет конфирмуется совершившийся в детстве акт крещения. Так сказать, по выбору. (К акту конфирмации ребенок уже подходит крещением.) Кьеркегор утверждает, что шансов быть действительно верующим больше у того, кто не крещен, чем у того, кто крещен, потому что у того, кто крещен, есть знание о том, что он верующий, то есть существует в голове стереотип, который, как мы убедились, от жизни неотличим, он отличим только изнутри. Мы ведь знаем, что из точки ничего не поступает наружу. Ведь нельзя отличить живое от мертвого снаружи. Чем отличить, скажем, фразу, которую я говорю формально, от той, которую я говорю по истине, – например, в случае религиозной веры – по ней самой невозможно. У крещеного есть сознание, что он-то верит, поскольку он выполняет внешние ритуалы, обряды религии. Кьеркегор добавляет, что почти нет шансов, чтобы он действительно стал христианином. Конечно – преувеличение, парадоксальная мысль, но – мысль.

Другой пример для характеристики закона этой точки, которую мы с разных сторон обрисовываем и все время должны связывать с образом просыпания. А вот просыпающийся, почему он – модель нашей ситуации? Потому что просыпающийся-то не знает, что в этой точке мы можем найти основание, почему проснувшийся проснулся тем, кем он проснулся. Понимаете – хорошая очень точка. Лев Шестов говорил (вернее, повторял известную истину; к сожалению, не часто повторяют ее), что есть некоторые совершенно личные вещи, которые только **лично** можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью является **смерть**. Умереть можешь только ты сам, за тебя никто не может умереть, и ты за другого не можешь умереть – совершенно личный акт. Абсолютно личный. И вторым личным актом является **акт понимания**. Можешь понять только ты сам. Вместо тебя никто понять не может. Что бы то ни было. вспомните древнейший миф, сократовский миф о мальчике-рабе, который из себя «рожает» теорему Пифагора. Когда Платон хочет доказать, что знание в действительности **уже** существует в душе и лишь вспоминается наводящими вопросами, и он заставляет раба «рожать» из себя знание теоремы. Представьте себе, что передача знания совершается по причинной цепи: А, В, С, Д связаны между собой причинно, и Д (твоя голова) находится в цепи, и вот через А, В, С в твою голову должно перелиться знание, – так вот, мир устроен так, что – между последним звеном детерминированной цепи обучения и твоей головой – зазор. Нет непрерывного перехода. Знание в твоей голове может вспыхнуть только как личный акт понимания. Только ты можешь понять. И вот к тому, что говорил Шестов, я могу добавить третий совершенно личный акт. Это – **тьень**. Темнота. У каждого из нас своя тень. У Данте: в великом круге

теней. Он имел в виду такой закон нашей души: очень большая тень должна быть в нашей душе – тень нашего непонимания, и только из нее может вырасти понимание. Только из нашего непонимания, только из нашей тени может выступить свет. Значит, тот свет, который идет в эту точку, требует, чтобы там не было предшествующего света. Чтобы была проделана – как говорят философы – редукция. Чтобы все, что было перед этим, было редуцировано. То есть какие-либо предположения, предпосылки, все, что до, – ничего этого не должно быть. Лишь после и в свете того света (простите меня за тавтологию), который идет, – тогда лишь что-то развернется. А темнота складывается из риска, из вложения. Озаботиться надо очень сильно. Вложиться. Пошевелиться в темноте, ничего не зная и ничего не предполагая известным. И тогда – если есть какой-то шанс что-то узнать – что-то узнаешь. И редуцируемое знание в этой темноте – прежде всего – редуцируемое знание о самом себе в смысле представления о своем «я». То есть о той идентификации – помните, я говорил вам об Сен-Лу, о движущей силе Сен-Лу, о сращении с образом самого себя, то есть того, кого можно уважать, – что есть самое страшное, опасность. Это то, что тот же Кьеркегор называл (уже в другом тексте) **смертельной болезнью**. Что это – смертельная болезнь? Знание, **предварительное знание**. В том числе мое уверенное знание о самом себе: каков я, что мне надо, в каких условиях и как я могу себя уважать. И каков должен быть мир, в котором я мог бы достойно жить, в котором выполнялся бы мой образ. Потому что мир должен функционировать так, чтобы в нем могло жить такое «я», которое я мог бы уважать. Смертельная болезнь – потому что здесь некоторое «я» выступает как сам собой действующий механизм.

Такой же смертельной болезнью – в отличие от того, что ты делаешь только сам (понимаешь или умираешь, идя только из своей темноты), – может быть представление или знание о некоторых самодействующих социальных механизмах. Например, история есть смертельная болезнь – механизм истории. Мы ведь полагаем, что есть некоторый самодвижущийся механизм истории, которым что-то делается. Мы не сделали, там делается, потому что рядом с нами работают другие, они вносят свой вклад, и вот идет где-то, в невидимой нами дали вращается какой-то маховик... или колесо истории, почему-то, по какому-то предрасположению, направленное в благоприятную для человека сторону, хотя кто сказал, кто доказал, что такое колесо должно быть благоприятно человеку? – непонятно. Иногда это колесо истории называется механизмом истории, прогрессом, много названий – тоже смертельная болезнь. Некоторый самодействующий механизм. Какое-то мое отношение – я делаю какую-то частичку, а там все складывается. Но суммации ведь нет. Мы только что убедились, что нет суммации знания. Ведь к тому, что видит Сен-Лу, нельзя присоединить знание Марселя. (В науке мы привыкли, что, скажем, один ученый кирпичик положил, второй ученый еще кирпичик, и есть такая кумуляция знаний. А на самом деле ее нет. Эти знания раздельны.) Значит, в нашей модельной ситуации, или в ситуации, которую мы моделируем, мы имеем дело с раздробленной материей, раздробленной и дискретной, неоднородной материей, где невозможно взаимное сложение или взаимное прибавление. Вот сейчас я ученые слова говорю, абстрактные, но предшествующие примеры дают мне право так говорить, а с другой стороны, вы понимаете теперь, что когда люди говорят такие абстрактные слова, то они имеют в виду весьма конкретные и жизненные вещи, в том числе те, когда я, говоря о смертельной болезни, в качестве примера приводил представления о социальных механизмах. Ибо в социальном механизме предполагается – и знаю, что устроено так, и могу на это положиться. А в личном, то есть в том, что растет из своей тени, из своего непонимания, – нельзя отложить на завтра. Мы уже знаем этот закон. Точка высвечена лучом святого Иоанна. Будем выражаться

так: высвечена точка и отложить ее на завтра нельзя. Мир необратим, и то, что не извлечено сегодня не будет извлечено завтра. Более того, извлечь можешь только ты. Положиться на другого нельзя, потому что у него нет твоей темноты, а извлечь можно только из своей темноты, – у каждого темнота своя. На плечи другого нельзя переложить. Ну, я могу продолжить эту мысль, сказав о том, что есть вещи, за которые я отвечаю, и я не могу это переложить на класс, на партию, на общество, на нацию. И, наоборот, то, что случится с нацией, будет интегралом того, что каждый из нас взял на себя. И то, что случится, установится по уровню наших душ. По закону той точки, о которой я говорил. Потому что эта точка, теперь я другое слово использую, есть точка **уравнивания**. Пруст выражался так: кто бы ты ни был, принц или нищий, никто тебя не избавит от необходимости желать, страдать, любить и ненавидеть. И какая бы ни была цивилизация или, в случае войны, ни были бы технические средства, всегда есть точка, в которой схватывается человек с человеком, и побеждает тот, чье сердце сильнее. Есть точка, в которой никакие мои преимущества перед Альбертиной (Марсель богат, а Альбертина – бедна, он ее содержит), если действует упрямая воля Альбертины, не имеют никакого значения, все уравнено (слово «воля» – это иносказание внутренней работы, то есть того, что выросло из внутренней темноты, в данном случае из темноты Альбертины). Продолжаю: на войне (тогда не было атомной бомбы, Пруст приводил другие примеры, но я могу заменить их и говорить об атомной бомбе), что бы там ни было, какие бы параферналии ни были, есть точка, в которой «человек схватывается с человеком и побеждает тот, чье сердце сильнее». Или, иными словами, то, что будет в результате, будет по уровню. То есть большое по уровню. Скажем, то, что произошло в 1921 году, произошло по уровню наших душ. Независимо от больших катастроф. Как выросли, так и получилось. Большие катастрофы не сделали нас большими, – кстати, Пруст неоднократно будет повторять, что большие события не делают поэта, наблюдающего эти события, большим поэтом. Почему это происходит? Да просто потому, что существует вот эта точка. Условно назовем ее точкой **равноденствия**. Еще одна характеристика нашего места. Места сознания, или топоса. Поскольку я говорил вам, что все пронизано образами Данте, скажу вам, что у Данте есть очень хорошее словосочетание для этой пустой точки. (Представьте себе пустую точку, но напряженную. Она ведь напряжена – ничто не входит, и ничто не выходит, но там есть сознание. Интенсивность сознания.) Описывается воображаемое путешествие, которое происходит в «Божественной комедии», и там есть точка поворота, где Данте и Вергилий снова возвращаются к поверхности земли, но уже так, что после возвращения над ними будет другое небо, и этот поворот совершается в точке равноденствия: «Мы повернулись в точке, где сошлось давление всех грузов». Вот представьте себе стяжения всей земли, стяжения всего мира, которые сошлись в одну точку. Такая тяжелая, пустая точка мира. Пустая – в ней не должно быть нашего знания, предшествующего знания. И от этой точки фактически и отсчитывается то, что я назвал воспитанием чувств, и наша способность держать мир. Видеть мир, в котором нет по отношению к нам намерений, и видеть прежде всего то, что из нас вырастает. (А не потому, что мир так или иначе расположен.) Так вот, эта точка – пустота характеризуется еще одним словом у Пруста, и это важно для вырастания, для темы антиинфантилизма; это – точка **Неизвестного**, или **Другого**. Пруст был глубоко убежден, что художник есть в любом человеке, – не в том смысле, что каждый человек может рисовать и т.д., нет, он имел в виду внутреннюю работу, которая нам необходима в жизни, и каждый человек ее проделывает, если он живет, а живут, конечно, не все...

ЛЕКЦИЯ 5. 3.04.1984

Настройтесь на то, что наша двойная звезда, о которой я говорил, то есть впечатление, светлая точка какого-то впечатления (пока мы еще не знаем – какого), и точка, в которой мы находимся (я назвал ее непроходимой, то есть такой, в которую ничто не поступает извне), – эта двойная звезда в действительности есть какая-то маленькая светлая точка в совершенно темных безднах мироздания. Светящаяся очень слабым светом, малюсенькая точка. Этот образ, наверно, более всего подходит для того, что называется человеческим уделом. Или, как говорят французы, *condition humaine*. Маленькая точка, такая же маленькая, как озеро, промелькнувшее между скал, – а рисовать уже поздно, наступила ночь. Или такая же маленькая, как слова Христовы: «Ходите, пока свет с вами, ибо идущий в темноте не видит дороги». (При всей своей внешней наглядной образности эти слова имеют существенное значение для жизни нашего духа, для жизни нашей души; это какие-то глубинные метафоры нашей души; что бы мы ни придумывали, в дальнейшем, еще через тысячу лет, если кто-то заглянет в человеческую душу, он снова найдет те же метафоры, то есть вынужден будет высказать то, что он чувствует, примерно теми же словами, которые есть в Евангелии и которые есть во многих других текстах.) Нам эту точку нужно расширять, потому что мы в ней должны поместиться своим трудом, своей работой. Работать надо. Не упустить впечатления. Не упустить молнии, прочесть синтаксис молнии – форму. Закон. Закон нам что-то говорит, мы это чувствуем; самые важные впечатления – те (если определить, что мы чувствуем при этих важных впечатлениях), которые нам что-то говорят. Или смотрят на нас. Не случайно символом во многих мифологиях является ослепительно яркий свет солнца. Свет. Но прочесть его, извлечь символ нельзя. Пруст говорит о древних кельтских преданиях, где мир, деревья и т.д. населены душами, которые хотят что-то сообщить, и жизнь их, то есть оживление, зависит от того, сможем ли мы прочесть их речь. Речь, обращенную к нам, но не существующую без нашего труда расшифровки. Условно назовем такие впечатления – впечатлениями **призвания**. Или впечатлениями **окликнутости**. Мы окликнуты чем-то неизвестным или непонятным и при этом знаем, что это неизвестное погибнет (жалко ведь!), если мы его не расшифруем. Такие впечатления могут вызываться у нас людьми, лицами, местами; категория этих впечатлений интуитивно нам достаточно ясна, но определить ее, конечно, нельзя. Я не могу дать формального определения такого рода впечатлению, в отличие от других. Я могу лишь вновь апеллировать к вашему опыту испытания вами жизни. Воспользуюсь образом Данте – в аду находятся души самоубийц. Что такое самоубийца? Человек, разлучивший насильно душу с телом. И в качестве наказания душа его вселилась в какой-то другой материальный предмет, скажем в деревья. И у Данте души деревьев, ветви которых прямо как хватающие нас пальцы крика души (если могут быть пальцы крика души, пластика образа позволяет это себе представить), судорожно просят нас услышать их. И кстати, те впечатления, которые для нас важны, всегда помещены в неадекватную им материю. То, что душа, заключенная в дерево, хочет нам сказать, не есть ветви, не есть то, что мы видим как дерево. Материя говоримого (а ведь душа говорит протянутыми к нам ветвями, шелестом листьев) ничего общего не имеет с содержанием говорения. Впечатления помещены в инородную им материальную оболочку, которая, как раз в силу ее инородности, позволяет нам, если мы ленивы или боимся, не заниматься жизненно важной для нас расшифровкой впечатлений. Расшифровкой того, что говорил окликнувший нас голос, который лично к нам обращен. В каком смысле? Ведь мы твердо ощущаем, что жизнь души, которая из дерева обращена к нам, зависит от нас же. Если я не пойму, не расшифрую, то она

окончательно уйдет в небытие. И поэтому какой-то нравственный долг, долг человеческой связности налагается на нас – чем? Впечатлениями. Таким впечатлением у Пруста оказалось пирожное «мадлен». Толстенькие, пухленькие пирожные. И Пруст имел смелость и отвагу души услышать этот голос, остановиться и, не переставая работать, не откладывая на завтра, вытащить все свое прошлое из этого пирожного. Из его голоса, из того, как пирожное его окликнуло.

Я возвращаюсь к прерванной фразе – расширение совершается внутри маленькой точки нами самими в стороне неизвестного. Или Другого. Я говорил вам, что роман Пруста в каком-то смысле топографический роман. Наглядная топография. Вот есть для ребенка какая-то таинственная сторона, которая называется стороной Свана, – условно назовем ее страной буржуазного, упорядоченного, уважаемого быта среднего слоя французской нации, к которой и сам герой принадлежит по рождению. Таинственная, заманчивая страна, хотя и буржуазная, но все равно таинственная. И есть другая сторона – сторона Германтов. Страна аристократическая, прежде всего страна звонких, содержащих в себе всю историю Франции имен, которые для мальчика, просыпающегося к жизни через легенды, в которых эти имена имеют чудовищное значение, создают целую музыку души. Аналогичный опыт существовал и для нас – опыт нашей памяти Грузии. И что в нем? Конечно же, легенды, звон мечей и имена, чаще всего аристократические. Важная тема для Пруста и для нас тоже, потому что возникает вопрос: насколько они действительно живые и не пусты ли они внутри? Возможно, это только наше воображение заполняет их? А они сами по себе пусты и не имеют никакого значения, и мы только судорожно гонимся в этих именах за нашей же собственной иллюзией (тем самым я ввел тему обмана именами). Словом, топография таинственного острова, мир как таинственный остров: направо – сторона Свана, а налево – сторона Германтов. И освоение мира, то есть рост молодого человека, происходит движением в этих сторонах. Он осваивает сторону Свана, а там его ожидает мина (которая, если наступишь, взорвется неожиданно) – архетип любви Свана к Одетт, которая станет прообразом любви нашего молодого героя. Он будет любить Альбертину и других так, как Сван любил свою Одетт. То есть судьба – там. С другой стороны, Германты – таинственная и героическая, славная история Франции, запечатанная в этих герцогских и баронских именах, которые наш герой будет расшифровывать своим хождением в салоны, разочарованиями, открытиями, и эта сторона завершится балом у герцогини Германт (этот бал займет с перерывами пару сотен страниц в романе; Пруст не придерживался хронологической последовательности рассказа: перебивы, возвращения в другие эпохи и т.д., но формально это примерно 200 страниц). И этот бал можно назвать «балом черепов» и балом привидений, на котором вместо музыки чуткий слух автора уловит скрежет деревянных частей человеческих тел. Тела-то, казалось бы, из плоти и не должны бы стучать, но ведь все заостенело, умерло, и лишь тому, кто делает гримасу, плоть кажется живой, а для наблюдателя она скрипит, как если бы мы деревянными частями пытались изобразить человеческую мимику, человеческие состояния, чувства и т.д. Бал мертвецов, или «бал черепов», на котором отпечатаны следы разрушительной работы времени. Но это, так сказать, финальные мазки симфонии, которые накладываются Прустом для стороны Германтов в конце романа.

Но я говорил вам, что действительное движение плодотворной души, посредством чего только и могут рассеиваться или корректироваться другие иллюзорные движения в стороне Свана или в стороне Германтов, действительное движение – в другой стороне. В стороне неизвестного, или – Другого. Я говорю «неизвестное», и сразу возникает обычная ассоциация:

неизвестно то, чего мы не знаем, ну а если засядем за книжки, за учебники, мы узнаем. Или неизвестна какая-нибудь задачка, которую нужно решить. Вывести корень из неизвестного; например корень из X в математике. Кстати, Пруст тоже употребляет это выражение, только у него корень извлекается из неизвестного лица – белого пятна Рахиль, о котором я вам говорил. И там – поди извлеки рациональный корень из неизвестного... Ну и получаются мнимые или иррациональные значения; и я не случайно говорю эти, казалось бы, безобидные фразы или провожу какие-то пижонские аналогии с математикой; в действительности я ввожу одну из важных тем искусства XX века. Скажем, проблема квадратного корня из -1 , как вы знаете, существует, и она промелькнула у Пруста. Пруст на ней не настаивает. А вот Музиль на ней настаивает. Целая книга («Юность Терлеса») у него посвящена мучениям юноши над проблемой иррационального шума внутри рационального, когда нельзя из некоторых вещей извлечь рациональными операциями корня, продукт которого сам представлял бы действительное число. А Пруст это делает мимоходом. Ну так, из белого пятна Рахиль извлечь корень. Из неизвестного. Но неизвестное не есть то, чего мы не знаем сегодня и можем завтра узнать. Это какой-то другой смысл – сторона неизвестного. Сейчас мы попытаемся ее «задать» другими ассоциациями, чтобы нам стало понятно, что движение в стороне неизвестного имеет отношение к нашему возмужанию или к нашему пути, которым мы развиваемся как личности. Тогда я сделаю заход немножко озорной: пояснение этого слова свяжу с темой инфантилизма – как концентрацией всего мира по отношению к самому себе; когда мы предполагаем, что в мире все происходит или для того, чтобы радовать нас, или для того, чтобы огорчать. Я уже на каком-то фоне дал вам противоположный взгляд, который условно назовем взрослым взглядом. Взрослый взгляд, требующий мужества души, – признание того, что в мире вещи происходят сами по себе. По отношению к нам они не имеют интенции. А те интенции, которые у них есть, это есть то, что мы им приписали. Помните, я говорил о шкафе – злобный шкаф. Или – вкусное пирожное «мадлен». Вот здесь мы сталкиваемся с существенными смыслами, которые взрываются, как мины. Вот я сказал: «вкусное пирожное», например, я обрадовался пирожному. (Кстати, я имею дело с вещами не очень постижимыми; давайте совместно попытаемся работать, потому что мы находимся на грани того, что вообще можно понимать. Я не сообщаю вам никакой готовой системы знаний. В тех вещах, о которых я говорю, ее просто не существует и никогда не будет существовать. Все, что мы делаем, находится на уровне стиля мышления. Это какой-то навык – смотреть именно так, а не иначе, – который формально нельзя кодировать и передавать другим.) Я сказал, что у меня есть впечатление от пирожного (я специально беру этот прустовский пример); ну что – как впечатление? Вкусно. Обрадовался. Что я делаю, если я инфантилен или вообще я просто человек? Я хочу еще пирожного. Еще пирожного и т.д. И сразу ясно (если перевести мое ощущение – существенная структура сознательной жизни – на псевдоученый язык), что я уже включен в бесконечность бега. Мне нужна такая среда, в которой я имел бы все больше и больше пирожных. То есть хорошего. А плохой шкаф я буду избегать или ударю его. Ксеркс ведь высек плетью море. Море взволновалось (на человеческом языке это называется бурей) и потопило корабли. Ксеркс очень обиделся и высек плетью море. Смешной акт. И сколько таких актов мы сами совершаем. Значит, мы кружимся вокруг фундаментальных сцеплений нашей душевной жизни, внешне выражаемых очень простыми вещами. Съел пирожное – углубился во впечатления. Можно ведь углубиться – в смысле – захотеть еще съесть пирожное, и чтобы кругом было сплошное пирожное...

Так вот, я приведу такой хулиганский пример. Там фигурирует слово «сторона», и поэтому я смогу хотя бы через созвучия, консонансы, аллитерации слов навеять какие-то смыслы. Других путей у нас нет. Есть повесть на русском языке, вышедшая несколько лет тому назад... На машинке она циркулировала энное время в Москве, а потом попала во французское издательство и там появилась в переводе. Перевод тако: «Москва под водкой» – или более грамотный перевод: «Москва сквозь водочные пары». В действительности эта маленькая книжонка называется «Москва – Петушки». Она написана Венедиктом Ерофеевым. Он описал состояние человека, который никак не может добраться до Курского вокзала, с которого отходит электричка, направляющаяся в эти самые Петушки, просто потому, что по дороге и на самом вокзале очень много забегаловок. А когда добирается наконец, то в электричке он путешествует с такими же пьяными хмырями, как и он сам, и все, весь мир преломлен через это видение. Бесшабашно-озорное и юмористическое. Особенно тогда, когда автор перечисляет меню алкоголика из самых лучших напитков. Там фантастический прейскуртант алкогольных напитков, самодельных конечно, потому что алкаши, как вы знаете, больше всего пьют не то, что продается в магазинах, к тому же магазины чаще всего бывают закрыты именно тогда, когда тебе хочется выпить, а пьют, ну, скажем, что-то сделанное из зубной пасты в соединении с еще чем-то, и вот там описываются потрясающие рецепты. Один из таких коктейлей называется «Слеза комсомолки». Кристально-прозрачный напиток. И вот два любителя коктейля под названием «Слеза комсомолки» сидят уже под винными парами... и, как обычно бывает в России, всякий разговор после одной рюмки переходит в выяснение отношений: ты меня уважаешь, не уважаешь и пр., потом собеседники переходят на одну великую тему и ставят классический вопрос: по какую сторону Пиренеев больше уважают русского человека? Повторяю, по какую сторону Пиренеев – кто на Пиренеях думает об этом? – по ту или по эту сторону... – как ты думаешь, по какую сторону Пиренеев больше уважают русского человека? Это примерно то же самое, как если бы Пруст задавался вопросом: по какую сторону садовой калитки, – а калитка в Комбре (загородный дом семьи Марсея) многозначна для всей душевной жизни нашего автора или нашего героя, потому что, когда звучал колокольчик, это означало, что ушел Сван, который часто приходил в гости, и мать Марсея могла подняться в его комнату и поцеловать его на ночь. А без этого поцелуя он заснуть не мог. Представьте себе, если бы он не рос и задавался бы таким вопросом: по какую сторону калитки – в стороне Свана или в стороне Германтов – его больше любят? Значит, то, что мы называем ростом, или мужским взглядом, или взрослым взглядом, какие угодно слова, – какой-то совершенно другой взгляд на мир, такой, что в составе этого мира нет таких явлений, о которых можно было бы спрашивать: по какую сторону меня больше любят, по ту или по эту. А вы сами знаете, что в инфантильной нашей душе, российской в широком смысле слова, такого рода детские вопросы занимают раздрающе большое место.

Так вот, теперь, в этом контексте, мы должны говорить о неизвестном, или Другом. Другим, или **неизвестным**, мы называем то, что никогда не есть то, что мы думаем. То, что всегда **другое**, чем наши представления, – это есть неизвестное. Конечно, в слово «неизвестное» вкладывается и другой, мужской или взрослый, смысл. Человек, в отличие от животного, есть существо, сопряженное с неизвестным, или с поиском, или с движением в стороне неизвестного. Для животного таких вещей не существует. Только для человека существует неизвестное. В том числе потому, что человеку заранее не задана никакая мера. Нет никакой меры, по которой мы определили бы – вот это есть человек. Человек обнаруживает себя **движением** в безмерном, и,

следовательно, только продукты этого движения есть те или иные миры, которые всегда меняются. И самое красивое зрелище в человеке – когда человек идет на пределе того, на что вообще способен человек. Поскольку предел неизвестен заранее, то нужно ставить себя на карту и идти. Вот поэтому в «Божественной комедии» Одиссей – а в нашем сознании, вернее, в словаре символов нашего сознания Одиссей фигурирует как человек, который был одержим, ему не сиделось на месте, и он все время хотел посмотреть на то, чего не видел, что неизвестно, – перед Данте (сопровождаяемым Вергилием) появляется в облаке из пламени. (Обратите внимание, как материально строится наше сознание, то есть то, что мы хотим сказать. Слов нет, а есть образ – пламя. А пламя ведь не имеет заданного объема, вы же не можете сказать, что пламя занимает какое-то место, объем, – оно подвижный объем занимает. Пламя не имеет материи. Ну какова субстанция пламени? Перед этим я говорил другими словами, «учеными»: человек не имеет заранее заданной меры. Это звучало непонятно, может быть. Или псевдоучено. Ну зачем? Можно другими словами говорить; только, конечно, когда я показываю пламя, то образ доходит, но не всегда доходит смысл. Потому что, опять повторяю, образ слишком красив.) Значит, не случайно Одиссей, то есть подвижная человеческая сущность, или неуловимая человеческая сущность, не принимающая никогда окончательной формы, для **грамотной** души Данте появляется в образе пламени. И из середины этого пламенного облака он слышит голос (обращенный к нему, к Данте), который рассказывает о своих приключениях, в том числе о тех, которые не вошли в «Одиссею». (А Данте интересно, что происходило дальше с этим человеком. Потому что явно он не мог остаться с Пенелопой.) И он говорит: «Мы пришли перед самым закатом к Геркулесовым столбам...» – а Геркулесовы столбы, по этой географии, расположены на Западе (в латинском языке – oriente и occidente – есть аллитерация со страной восходящего солнца и страной заходящего солнца; какая-то образность есть, это не просто география, не просто страна света). Все наше искусство понимания есть в действительности – опять я перебиваю себя – **искусство узнавания**. Вот я сказал: перед самым закатом. Опять мы говорим заданным набором наших возможностей или символов. Помните: перед закатом художник шел в горах и в просветах между горами мелькало озеро. Пока оно мелькало, можно было рисовать. Но солнце зашло, и рисовать нельзя. А сейчас я приведу совершенно другой пример, и ни один из них не является цитатой из другого. И говорит Одиссей: «Неужели за этот небольшой зазор бодрствования наших чувств, который нам остался, мы не двинемся вперед и не увидим землю, на которую не ступала нога человека?». То есть не увидим чего-то **первым взглядом**.

Вот есть неизвестное что-то, что мы видим первым взглядом. Но не открытие какое-то, а нечто **индивидуальное**, что в этом первом же взгляде и существует и что в принципе нельзя получить знанием. Примерно это так же, как воспоминание лица. Ведь чем отличается воспоминание лица? (Я сейчас не говорю о фамилиях, это классическая проблема в литературе; у Чехова, например, рассказ «Лошадиная фамилия».) Лицо есть классический пример того, чего нельзя знать. И симптомом того, что этого нельзя знать, является наш тяжелый труд воспоминания лица. Дело в том, что лицо нельзя получить из того, что я знаю, ни из каких данных я лица получить не могу. Вывести лицо нельзя, ибо между данными и лицом этих данных расстояние бесконечно. (Так же примерно, как в математике. Дойдя до бесконечности – все равно этот кусок маленький – он тоже бесконечен. Разница бесконечна.) Лицо есть нечто, его нельзя вывести из данных о нем. Но когда оно есть, оно – оно. Несомненно. Оно не нуждается ни в доказательствах, ни в пояснениях, которые лежали бы вне его самого. Не нуждается в приведении каких-то фактов, лежащих вне его,

по цепочке которых (этих фактов), лежащих вне лица, мы пришли бы постепенно, непрерывным образом к лицу. Лицо само – отдельно от всех путей к нему. И когда оно есть, никаких вопросов не возникает. А когда его нет, из данных вывести его нельзя. И вот эту метафору лица накладывайте на то, что я и раньше называл и в дальнейшем буду называть **индивидом**. (Скажем, вода морская есть индивид. В том смысле, что она невыводима из элементов самой же воды. Я приводил вам сравнение между живой водой и мертвой: химический анализ того и другого дает один и тот же результат, но это разные вещи.) И теперь повернем проблему неизвестного. Значит, неизвестное, или Другое, – это то, что никогда не имеет позитивного решения. Я могу, например, указать на какой-то факт. Факт – это позитивность. Но мы уже знаем, что в ту точку, о которой мы говорили, факты не входят. То есть позитивности для нашего мышления или для нашей мысли, для нашего сознания недостаточно. Другой пример этой чудовищно сложной вещи: есть классическая проблема в психоанализе, проблема так называемой первичной эротической сцены. Или первичного соблазна. Ребенок сталкивается с фактом соблазнения по отношению к нему, смысла которого он, естественно, не понимает, или он сталкивается с наблюдением, скажем, сексуального акта между родителями. (Кстати, она не обязательно должна эмпирически иметь место, достаточно, чтобы это наблюдение проигрывалось в воображении.) Вот это есть то, чего нельзя знать. Допустим, ребенок видит сцену, и она ему поясняется взрослым; ему сообщается позитивное знание о вещи, которую он к тому же еще и сам видел. Он в принципе не может этого понять. Это не войдет в его сознание. Это есть как раз та точка, которая закрыта для такого рода вещей, поступающих извне. Ну казалось бы, чего проще... возьми и передай из одной головы в другую знание фактически наблюдаемой сцены. Нет, она для ребенка лежит вне доступных ему смыслов, а работа смыслов – самое главное, и он не может этого понять. В том числе не может понять и потому, что понять этот акт – значит понять и свое происхождение. Так ведь? Понять – означает в том числе ассоциировать с такого рода событиями в мире и событие своего рождения, появления на свет. Но ясно ведь, что я как ребенок, задающийся этим вопросом, не могу происходить из этого акта. Явная стена. Ее не пройдет никакое позитивное знание. Оно не передается. Вот один из примеров того, чего нельзя знать. Не в том смысле, повторяю, что вот не знаю сегодня и узнаю завтра. То, что ребенок потом узнает, будет не то, потому что то непонимание, которое там было, когда он смотрел или когда проигрывал это в воображении, было совсем другое. И оно не устранится последующим знанием. Оно может родить в будущем совершенно патогенные вещи, которые разыграются и будут иметь свою собственную историю, совершенно независимую от позитивных уроков обучения ребенка взрослому поведению.

Фактически мы накапливаем слова нашей стилистики. В примере, который я приводил, я употреблял термин «неизвестное», пояснив его иллюстрацией из психоанализа. Теперь возьмем прустовский пример: аквариум, рука опускается в него и вынимает рыбу. Посмотрите на эту руку глазами рыбы. Глаза рыбы, смотрящие на руку, вынимающую рыбу из ее бесконечного мира, в который рука вторгается, как метеорит, совершенно вне каких-либо постижимых связей этого рыбного мира, – глаза этой рыбы есть глаза ребенка, который смотрит на случайно наблюдаемый половой акт. Вот с чем мы должны сопоставлять, ибо у нас опять появляется проблема миров, проблема проницаемости между мирами или – непроницаемости по границе: что проникает в точку, а что не проникает. Мы уже заранее можем сказать себе, что проникает в точку только то, что будет идти по волне движения, в котором есть я. Теперь я иначе могу говорить о той сложности, которая связана со словом «неизвестное». Ведь то, что я назвал вслед за Прустом «неизвестным», в то же время называется

реальностью. Что-то, что есть на самом деле, но чему мы никогда не можем придать никакой конкретной характеристики. В прошлый раз я говорил вам: реально то, чего мы не видим и во что нужно верить. То есть реальное есть нечто такое, чего нет без нашей веры. И держится силой нашей веры то, чего нет. А то, что есть, в нашей вере не нуждается – это уже философский язык, так он построен, философы говорят на этом языке. У него есть своя грамматика. Очень странный заскок ума. Обратите внимание: что-то, что не нуждается в моей вере, – в эго верить нельзя. Ну, даже состояния и понятия этого состояния просто-напросто не имеют смысла. А мы ведь строим осмысленный язык, в котором слова имеют силу смысла, не зависящую от нас. Мы не можем свободно ими распоряжаться. И язык нашей сознательной жизни, или текст сознания (в том, мною не очень разъясненном смысле, в каком я это приводил в самом начале), построен так. Если в нем есть слово «вера», то, значит, верим мы только в то, чего нет без нашей веры. Опять – **чего-то нет без нас.** Я другими словами говорил: точка, движение которой – только **я сам.** Пруст выражается так: то, что я знаю, – не мое, мое – только то, что я вырастил из себя. И это есть единственный путь в реальность. В реальность, которая всегда другая. В каком смысле «реальное всегда другое»? Оно никогда не есть непрерывное, шаг за шагом, продолжение наших ожиданий или возможностей. Скажем, есть такая драматическая фраза – в нее нужно вдуматься, потому что человек это пережил, пытался передать это переживание, но, поскольку переживание это записано, нам трудно на него настроиться... Герой наш представляет себе, как он был бы без Альбертины, которую он любит, которую он умыкнул и держит у себя, – вот что было бы, если бы Альбертина ушла от него? Пытаясь представить себе, что было бы, если бы это событие случилось (ушла Альбертина), он представляет себе это в виде **возможности.** А возможность не есть реальность. И сейчас я поясню, что это значит. Человек, **имеющий** Альбертину, представляет, что ее нет. И это не имеет ничего общего с реальностью, потому что эту ситуацию пытается представить себе человек, имеющий Альбертину. Наше воображение построено таким образом, что путем продолжения нашего воображения – шаг в воображении, еще шаг прикидывающего мышления, есть такая возможность, а вот такая возможность и т.д., а как Альбертина поступила бы в такой ситуации, – мы воображаем, мы прикидываем, но мы совсем не есть те, которые столкнутся с реальностью, если Альбертина уйдет. Ведь Марсель, имеющий Альбертину, готов был с нею расстаться. Известно, что если мы имеем женщину, то мы легко можем себе представить, что ее нет с нами. В том числе нам даже скучно с ней, и часто присутствие любимого человека является препятствием для осуществления многих вещей. И об этих вещах мы думаем с мыслью о том, что вот если бы ее не было, то этими вещами мы могли бы наслаждаться. «...Но, – говорит Пруст, – мы никогда не знаем нашего сердца». Если это случится на самом деле, это будет совсем другое, чем мы представляли. Вот это тонкое различие нужно провести. Его трудно ухватить. Пруст все время повторяет: «...и все, что я представлял, не имело ничего общего с тем, что я почувствовал в словах, сказанных служанкой Франсуазой». (Она сказала ему, что мадемуазель Альбертина уехала.) И вот это, тысячу раз проигранное им в воображении, – что будет, если ее не будет, – все, что было в воображении и в возможностях, ничего общего не имело с этим. Переверните – я хочу сказать, мы не можем прийти к реальности, которая всегда другая.

Другое – ничего общего не имеющее с нашими логическими возможностями.

Другой пример (он тоже очень пластичный)... Сван, который переживает архетип последующей любви Марселя, любви ревнивой, любви-обладания, ревнует Одетт так, как потом будет ревновать Марсель Альбертину и гнаться за неуловимым ее призраком, а мы любим то, что от нас убегает, говорит Пруст, и

любим до последней точки в расшифровке ускользящей от нас тайны. И пока есть эта тайна, пока мы не заняли своими реальными переживаниями и событиями нашей жизни все точки, на которых распластана эта тайна, – потому что всякий человек, говорит Пруст, перед нами не замкнут в тело, которое мы видим, в объем его, а занимает невидимыми прорастаниями тысячи точек пространства и времени, то есть – его прошлого, его воспоминаний, его связей, которые не даны и в которых он находится мысленно, хотя улыбается мне (глаза Альбертины для Пруста – фасетные глаза, в которых есть тысячи миров, и владеть Альбертиной – означает обойти все эти миры, что невозможно), – и пока есть вот это вписывание миров (а в безразличных людей мы миры не вписываем, они для нас просто люди в смысле, как говорит Пруст, общих актов; лицо – лицо, глаза – глаза и т.д.; деревья – деревья, цветы – цветы, озера – озера и пр.), там нет того, вокруг чего я кручусь, нет индивида... Ну ладно, вернусь к примеру, который я хотел привести: и точно так же впоследствии Сван, задавая архетип, мало того что ревнует Одетт к мужчинам, но еще и предполагает в ней лесбийские склонности – что она изменяла ему не только с мужчинами, а еще и с женщинами, что страшно для ревнивого человека, потому что знакомые ему наслаждения женщины с мужчиной ему понятны, а вот наслаждение женщины с женщиной совершенно непонятно, и это делает Одетт в тысячу раз более таинственной и неуловимой. И дело не только в том, что это порок, то есть какую-то моральную оценку мы можем на это наложить, если захотим, но это еще и совершенно непонятное, или адовое, наслаждение. **Немыслимое.** Сван пытался представить ее в разных ситуациях: вот что она сказала бы в такой ситуации, какое у нее было выражение лица в такой-то ситуации, возможности ее поступков, в том числе и плохих. И он не может удержаться от расспросов и тем самым чувствует, что сердит ее (она злится, как все люди, когда их вынуждают сказать правду, и они начинают ненавидеть, то есть переносят свои пороки на расспрашивающего); боясь разозлить и в то же время будучи неспособен удержаться, Сван говорит: «Ну скажи мне правду, хоть когда-нибудь случилось тебе спать с женщиной?» Одетт отвечает: «Ну да, может быть, два-три раза». И Пруст пишет, что, «как всегда, реальность ничего общего не имеет с возможностями». То есть с тем, чего – мы представляем – мы ожидаем от мира. Ведь я ожидаю, что, если я протяну руку, я возьму этот листок бумаги. Это есть то, что называется ожиданием. Мир, который устроен так, в котором я знаю, что будет, или я ожидаю, что если я сделаю то-то, то будет то-то и то-то. Мир **ожиданий**. Вот о нем говорится, что он есть ирреальный, или случайный, мир. И, чтобы увидеть реальность, именно эту привычку, то есть привычные связности ожидаемых событий, нам нужно разрушить. И это есть – расти. Или – развиваться, или – проходить **путь**. Так вот, «как всегда реальность ничего общего не имеет с возможностями, так же как облака, которые мы разглядываем в ту минуту, когда в сердце наше вонзится нож». Действительно, какая связь? Я разглядываю облака, и какая связь между разглядываемыми облаками, которые я в ожидаемые и привычные связи к тому же еще строю, и ножом, который в это время вонзается в мое сердце? Или рука опускается в аквариум и вынимает рыбу. Никакой связи, ничего общего облака не имеют с ножом, который вонзается в сердце и оставляет в нем «крестообразную кровавую рану». (Тоже интересная образная прослойка. В других местах у Пруста будет «кровавая двойная борозда», «сечение – крест-накрест – страданием».)

Опять я подчеркиваю, что в нашей сознательной душевной жизни есть структура, связки которой выныривают во взрывах наших духовных и душевных событий. Тем самым я как бы говорю, что взрывы наши, не только сама душа, взрывы событий имеют **структуру**. То есть несут частицы сложения души. Я говорю: «крест» – это не случайно. Мука Христа – крестовая. Крест – и

никуда не уйдешь – всплывает. Опять вне какого-либо религиозного контекста или контекста учености, эрудиции или ссылки на известную историю Христа и т.д. Ничего этого нет. Мы так устроены. Что-то слепилось в какие-то образы, а образы есть возможности нашей душевной жизни, и это вспыхивает в реальных событиях, переживаниях. Пруст просто не нашел и не мог найти других слов, поскольку хотел в точности выразить переживаемое. **Крестовая мука.** Перекрестом кровавая борозда. И вот в случае, когда он поясняет фразу, которая тоже ничего общего не имела с возможностями: «Мадемуазель Аделаида уехала» – там тоже кровавая двойная борозда, или крестовая пометка муки на теле души. И обратите внимание – перевернем этот пример – облака ничего общего не имеют с ножом. Так вот, сосредоточьтесь на том, что нельзя прийти к ножу, то есть увидеть нож, путем перебора облаков. Сколько бы ни разглядывали облака, сколько бы ни добавляли облаков к облаку, вы никогда не вычислите нож. То есть реально всегда **Другое.** Или **неизвестное.** А неизвестное – мы уже можем определить – есть острое чувство **Другого.** Того, которое – ничто из того, что мы знаем, видим, к чему привыкли и что есть. Позитивно есть. Повторяю, тогда неизвестное есть острое чувство сознания, – а им человек может болеть, его иногда называют ностальгией, мировой скорбью (я уже специально ввожу другой ряд ассоциаций). Вот эти слова, говоримые о неизвестном. Неизвестное, следовательно, – острое сознание реальности как чего-то, что ничего общего не имеет, ничего похожего, всегда другое, чем то, что мы знаем, к чему привыкли и т.д. Со стороны нашей души неизвестное может быть нашей болезнью. Болезнью в нормальном смысле слова, не в уничижительном смысле, – мы можем быть больны страстью, **пафосом** неизвестного. Он же есть бесконечность, конечно. Человек есть существо, **больное бесконечностью.** И, как говорил Пруст, «нет ничего острее жала бесконечности». Вот жало реальности, или сознание неизвестного, и есть жало бесконечности.

Пока для предварительного шага пометим себе, что то, что я называю впечатлением, в том числе крестовая мука или крестовый след муки, – реальность как впечатление, – есть всегда нечто имеющее печать индивидуальности или уникальности. Никогда не является чем-то похожим на что-то другое. Если я извлек смысл из пирожного «мадлен», то это не есть пирожное среди пирожных, а там есть какая-то сторона, которую мы будем называть пока, еще не расшифровывая полностью, – уникальностью, индивидуальностью. Индивидуальный акцент. А мы знаем, что индивидуальное есть то, что непроходимо извне и что непередаваемо, но что неустранимо различительно. Я изнутри вижу так, и эквивалента этого во мне нет: цветы боярышника, из которых он пытается извлечь смысл, они (цветы) его окликнули. То есть окликнувший нас предмет обладает индивидуальным акцентом, и этот предмет не есть ни один из других, таких же, как он. Боярышник **не есть** другие боярышники, это не есть впечатление от боярышника. Не есть впечатление от роз, которые названы словами. Ведь, как говорил Шекспир, роза под другим названием была бы так же пахуча. Значит, закрепим – **уникальность.** Для Пруста такая уникальность есть неопровержимое доказательство **индивидуальной реальности души.** Душа – или устройство нашей духовной жизни – дана индивидуально реально, а не иначе (я сам чувствую, что это действительно сложный пункт). Повторяю, душа – это какая-то тотальность, там много всего. В качестве реального она проявляется целиком, будучи дана индивидуально. Одним акцентом. Или уникальным акцентом. Она индивидуально реальна, или она **реальна индивидуально.** И неустранима. **Реальность** – ее **нельзя устранить.** Как я говорил вам: то, что непроходимо, нельзя устранить, то, что я вижу, нельзя устранить. Изнутри слова одни мы называем, а то, что есть предельно

отличительное выделение какого-то предмета, оно и есть индивидуальность. То есть нечто большее. Душа проявляет себя индивидуально дискретным, или локальным, или в индивиде собранным своим существованием. И вот в этой связи Пруст пишет – внутри романа есть два произведения музыканта Вентейля: соната и септет, которые для Пруста имели уникальный акцент, за которым скрывается мир. То есть индивид. **Мир – индивид**, по терминологии Пруста, и в действительности это так – тождественные понятия. Индивиды есть миры. А миры суть индивиды или проявляются индивидуально. Индивидуально реальны. Где он мог услышать этот акцент? – спрашивает Пруст. И продолжает этот риторический вопрос, где бы он мог услышать этот акцент, уникальный, продолжает его так: «Мне кажется, что каждый художник является гражданином неизвестной родины».

Значит, пометьте: **неизвестная родина**, *patrie inconnue*. То есть у каждого художника есть уникальное видение мира, носящее индивидуальный акцент. Оно (видение) как бы услышано не здесь, не в этом мире, а есть отголосок, сохраненный звук неизвестной родины. Или «воспоминание о внутренней родине». И она всегда тождественна себе (эта внутренняя родина), всегда независима от намерений самого художника, от его сознательных построений, или от его построений, контролируемых волей и сознанием. Ну, конструкции – книгу ли ты пишешь, ты контролируешь ее построение, и это – независимо, поверх различия сюжетов, которые обрабатывает художник. Поверх различия материалов – романов или живописных картин, они могут быть о разном. Это проявляется во всем в качестве составных частей души. И именно эти части, составные части души, объединены уникальным акцентом, который проявляется независимо от различия сюжетов. С точки зрения Пруста, писатели, написавшие, скажем, сотню книг, в действительности писали только одну книгу. Живописцы, написавшие сотни и тысячи картин, писали одну картину. То есть везде – то, что (в других случаях Пруст будет называть это стилем) он называет «составными частями души», которые проявляются в сознательных намерениях, – а сознательными намерениями организовано содержание, то или иное, всегда разное, – но помимо этого в сознательно определенном содержании проявляются композиции души, рожденные в неизвестной родине. *«И разве не эти элементы, – пишет Пруст, – все это ré sidu ré el, весь этот реальный осадок (слова «реальный осадок» наложите теперь на все то, что я говорил об особой точке, непроходимой точке, в которой то-то и то-то; то, что я вижу под теми же вещами, которые через названия этих вещей видите и вы, – это и есть сознание; не сознание о чем-то, а это есть сознание; здесь нужно эту ассоциацию ухватить; обычно мы говорим: сознание о чем-то или сознание чего-то, – нет, это сознание, вот то, что различительно выделяет предмет, который я вижу, выделяет его как бы изнутри, есть сознание, в отличие от предметов, знаков, то есть наименований) ...весь этот реальный осадок (все остальное – не реально, это – реально), который мы вынуждены оставлять при себе (я ведь сказал, что сознание, будучи ясным, невыразимо), – беседа не может передать от друга к другу, от учителя к ученику, от любовника к любовнице – все это невыразимое, что отличает качественно то, что именно он почувствовал, и то, что он вынужден оставлять на пороге фраз (то, что мы хотим сказать, остается на пороге фраз, посредством которых мы это говорим; все, что мы сказали, в каком-то смысле является как бы обломками крушения того, что мы хотели сказать), в которых он не может сообщиться с другими, не прибегая к пунктам, общим ему и им (что общее для всех и что известно всем, и что тем самым, по определению, не есть то, что он хотел сказать; и имеет для других, следовательно, лишь значение общих актов; улыбка – в общем смысле слова, цветок – в общем смысле слова и т.д.), искусство может показать...».* Значит, *ré sidu ré el* – этот осадок, наш топос, невыразимый, наше сознание –

то, что есть в нас, и что есть только мы, и что передать никому нельзя. Повторяю, что вновь нас человеческие слова подводят. Когда я говорю – невыразимо, я не имею в виду ничего такого непостижимого. Постижимо – это есть как раз самое постижимое. Но отличает меня или каждого, и остается на пороге нашего контакта, и является моим призванием или моей ответственностью, которую, как я уже говорил, передать никому нельзя. Понять за меня или за вас никто не может. Так вот, обратите внимание с этой стороны на акт понимания. **Никто не может понять. Умереть никто не может,** и озаботиться тенью, то есть темнотой, тоже никто не может. У всех – своя темнота. Из своей темноты мы идем к свету, и только из своей темноты.

Так вот, «...искусство, экстериоризируя в компоуемых красках, дает нам эти миры, которые мы называем индивидами и которые мы без искусства никогда не узнали бы». Есть не только неизвестное, есть еще **неизвестные миры**, множество миров в каждой точке, о которых мы никогда не узнали бы без искусства. В данном случае слово «искусство» – иносказание того, что я называл другими словами, чтобы не вызывать у вас слишком эстетических ассоциаций, ибо я говорю о более важных и в то же время более обыденных вещах. Другими словами, это есть то, что я называю трудом. Труд или текст. Или синтаксис. Значит, только композицией этого труда и дается, фиксируется индивид, и без этого труда мы никогда этого индивида не узнали бы. Скажем, мы никогда не узнали бы, что такое совесть, если бы не было формы совести. Мы никогда не узнали бы ничего искреннего, если бы искренность не была искусно построена. Так, чтобы в ней не намерения наши были бы искренни, а если бы она сама была. А сама она может быть, только будучи организованной и крепко сбитой. Другого не дано в человеческой жизни. Намерения, как говорил Пруст и как говорили многие другие, остаются за порогом искусства. И я скажу так (уберем слово «искусство») – намерения остаются за порогом наших действительных поступков и нашей жизни в реальности. *Velleité* – потуги быть честным, а честность, я должен сказать, это – искусство. **Структура, форма**, запечатлевающая труд. Пруст в таких случаях говорил, что эти вещи различаются так же, как отличается, скажем, желание полета от летящей машины. А летит машина, ставшее существо, **полное существо**. А полное существо без формы и без структуры не бывает. Иногда о такого рода вещах говорят нам религиозные символы, напоминают нам о том, что наша душа устроена таким образом, что, если она есть, она не из психологических намерений состоит. Не из психологических поползновений, побуждений, *velleité*. Скажем, в религии считается, что человеческие состояния будут бесплодно повторяться, если они не интегрируются в структуры. Например, можно раскаиваться, совершив поступок А; раскаивание – действительное психологическое состояние, в психологическом смысле оно реально, в философском смысле оно ирреально. И сейчас вы поймете – почему. Можно раскаиваться, но это не значит, что ты снова не совершишь того поступка, из-за которого ты раскаивался. Если через раскаивание что-то не извлеклось в структуре и не закрепилось, в том числе в структуре личности, то все тогда повторяется. Я тысячу раз буду совершать поступки, из-за которых раскаиваюсь, тысячу раз буду раскаиваться, и так бесконечно. Я, по-моему, говорил, что на российской территории – а под российской территорией имеется в виду и наш околоток, основательно погулял гений повторений. Никогда мы ничему не научились, никогда ничего не извлекли (смыслы), тысячу раз повторяем одно и то же, а нам все кажется, что то, что мы делаем, непохоже на то, что было. Такого рода кручения и называются у Пруста утерянным, или утраченным, временем. Так что это не просто «время» в обыденном смысле слова.

Сейчас я окончательно хочу наложить мазки на тему неизвестной страны, неизвестного. Мы уже добавили кое-что к неизвестному. Например, мы ввели термин «родина», «неизвестная родина», и мы знаем со слов Пруста (а если подумаем, то это совпадает и с нашим опытом), что родина художника – неизвестная родина. Ни у какой родины нет собственности на крепостных мастеров, которые называются художниками. Художники рождаются только в неизвестной родине. То есть художниками рождаются люди, больные острым чувством реальности, той, которая ни на что не похожа (вот глаз устроен таким образом и тем самым отслаивается в своих переживаниях); они как бы отслаиваются от других, у них всегда ностальгия по чему-то, чего никогда не было, но что переживается как нечто утраченное. Например, утраченный рай (часто фигурирует такой символ). Пруст замечает: всякий рай есть только утраченный рай. Конечно, рая этого не было никогда. Но он так называется – **утраченный рай**. Какая-то другая жизнь. И независимо от того, есть она или нет, – а мы как раз говорим, что она никогда не имеет никакой материализации, – сам этот комплекс, или структура сознания «другого», есть продуктивный элемент нашей человеческой жизни. Человеческой душевной жизни, самой простой, переживающей другие вещи, но переживающей их под этим углом. Поэтому можно сказать, что вся работа пути Пруста начинается с двух великих вещей: с сомнения и с того, что французы называют (трудно это перевести на русский язык и на грузинский тоже – есть оттенок движения в самом существительном), l'écart, отрыв, отступ, гандгома, l'écart и – сомнение. Значит, мы имеем две вещи, которыми занимается человек, у которого есть острое сознание, названное нами неизвестным. Острое сознание реальности мы назвали чувством неизвестного и поиском своей неизвестной родины. Или. попыткой сохранить голоса этой родины, которой нет. И которая не есть никакая из тех, в которых прописаны. Вот, значит, **сомнение** и **абсолютный l'écart** – с этого начинается прустовская работа. Пруст вообще считал, что серьезными вопросами являются только вопрос Вечности души, вопрос реальности Искусства и вообще Реальности. (Значит, есть проблема реальности души, есть проблема реальности произведения и есть проблема реальности.)

Если у тебя есть острое чувство неизвестного, то у тебя возникает один вопрос, в свете которого ты замечаешь те факты, которые есть и которые можно было бы не заметить. В том числе замечаешь то, что я называл чувством живого. **Чувством жизни** (я частично отождествлял чувство жизни с сознанием). То, в чем мы чувствуем себя живыми. Формально передать этого нельзя. Ясно. Интуиция жизни непередаваема. Но каждый в себе это может ощутить. **Знать**. Так вот, дело в том, что мыслитель, или художник, раскручивает весь мир под знаком этого вопроса – какого вопроса? – Это ведь должно иметь смысл – какой смысл? Какой смысл в моем ощущении себя живым, если на первый взгляд мир устроен так, что в нем это места вообще не имеет? Ну какое отношение мое живое переживание розы, или переживание боярышника, или переживание пирожного имеет к миру пирожных? То есть когда я ощущаю, что я своим несомненным для меня актом жизни не умещаюсь в мире, для меня нет места в мире, тогда у меня возникает вопрос смысла. В том числе – всех наших избыточных высоких чувств, Смысл моей любви к Альбертине – какой в этом смысл, когда ясно, что Альбертина как человек, то есть как предмет, заменима другими, и только случайность кристаллизовала мой духовный, или душевный, мир на Альбертине. И законы этой случайности таковы, что если я испытал нежность через Альбертину, то, как говорит Пруст, потом я испытываю потребность в нежности только в виде потребности в Альбертине (обратите внимание на этот важный ход; частично я вам пояснял это Аристотелем). Потому что у человека есть потребность в нежности, и как таковая она у него есть в виде потребности в Альбертине. Разные вещи,

казалось бы, – Альбертина и потребность в нежности. Могло случиться так, что нежность на совсем других вещах замкнулась бы и через них избывала бы себя. Реализовалась бы. Но – реализовалась на Альбертине. Я понимаю, что это случайно, но только через нее я бываю в состоянии, которое само по себе для меня важно. Оно важно само по себе, но только через Альбертину я в нем бываю. Так какой смысл тогда в этом? Что это значит? Что я испытываю, зачем все это? Или, например, я увидел что-то. В каком смысле то, что я увидел, можно назвать случившимся? Увиденным? Скажем, Марсель наблюдает: танцует Альбертина с подружкой, как говорят по-русски, «шерочка с машерочкой». Ну что можно извлечь из этого? Ведь, то, что мы извлекаем, – обратите внимание, – это есть событие нашей жизни, оно связывается с другими событиями, оно запомнится, – а что происходило? Рядом с наблюдающим Марселем стоит его знакомый по салону Котар, врач по образованию, и так, мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, но в данном случае исполняя роль человека, сующего свою руку в аквариум, чтобы вынуть оттуда рыбу, а рыба в данном случае – Марсель, говорит: «А вы знаете, женщины получают сексуальное наслаждение прежде всего от соприкосновения грудью». А две девочки, танцующие, соприкасаются грудью. Ну, здесь начинается великая лесбийская тема у Пруста, проигрываемая им и на Сване, и на Марселе. А что я увидел? Эта фраза пришла из другого мира. Она ошарашила Марселя, как вторгнувшаяся в аквариум рука. Совершенно инородное событие в бесконечном мире человека. Обыкновенно потанцевали девочки, это можно запомнить, к этому можно возвратиться в памяти, потом это свяжется с другим каким-то событием внутренними тайными нитями. Но смысл там произошел.

ЛЕКЦИЯ 6. 10.04.1984

Итак, перед нами радикальное **сомнение** и *é cart absolu* (вот то, что я не смог перевести с французского на русский и что мы, условно, договорились по-грузински называть гандгома). И то и другое – абсолютное. И мы знаем, что поместили себя в стороне неизвестного. И давайте задумаемся... очень странная эта реальность. Ведь мы что-то называем реальностью в отличие от того, что мы видим. Что-то есть реальность. И вот то, что мы называем реальностью, мы теперь поместили не в стороне Свана и не в стороне Германтов, а в стороне Неизвестного. И договорились, что всякий художник, всякий философ и всякая личность – она не обязательно должна быть философом или художником, – личность устроена так, что в саму ее конституцию всегда вплетен какой-то акт, который постфактум – после того как он свершился, и мы ищем какие-то слова для описания, – называется философским актом, художественным актом (но это слова, то есть названия, связанные с бедностью нашего языка, мы же должны обратить внимание и настроиться на то, что все, что я называю то философией, то искусством – неудачные человеческие описания какого-то фундаментального акта, который конститутивен для человеческой личности), – так вот, человеческая личность (как художника, так и философа) помещена нами в неизвестную родину. Единственная родина личности – неизвестная родина. Следовательно – не Грузия, не Франция, не Россия, с вытекающим отсюда отсутствием определенных обязанностей. Потому что родина всегда налагает на нас обязанности, а если мы обнаруживаем, что мы вовсе не этой родине принадлежим, то у нас исчезают и некоторые обязанности. Но зато появляются другие. Появляются обязанности перед своим предназначением, перед человеческим призванием. То, чем Пруст был одержим, и то, повинувшись голосу чего, он и пошел по этому смертному пути. Пути греха, испытания, страдания, болезни и смерти. И я об этой неизвестной стране заговорил еще и

потому, что само понимание того факта, что мы в качестве личности принадлежим какой-то родине, то есть тому, чему мы не можем дать конкретных географических очертаний, даже если ощутим себя полноправными гражданами этой неизвестной родины, – она должна оставаться неизвестной, она не может быть – ни та, ни эта, ни другая, и пока она остается ни той, ни этой, ни другой, она будет иметь продуктивное значение для нашей душевной жизни, – так вот, понимание этого ставит нас в какое-то странное положение. Я его выражу так (только постарайтесь точно понять, потому что слова опять такие, какие есть): такое положение, что мы как бы должны быть шпионами. Представьте себе человека-шпиона с выставленными антеннами подозрения. Пруст так и говорит: антенны подозрения. Почему шпионы? Да потому, что все, как мы теперь поняли частично, все перед нами – **тайна** и все – ключья. И из этих ключьев мы должны что-то читать (вполне шпионское занятие). **Шпионы неизвестной родины.** И вообще-то я должен признаться, что всякая личность в той мере, в какой она выполняет акт, называемый философствованием, конечно, имеет черты шпиона. Всякий философ есть шпион (я, во всяком случае, так себя ощущаю) – только неизвестно чей. К тому же еще одно качество шпиона есть у художника и у философа. Роман Пруста – это роман ревнивца. Человек, который одарен даром несчастной, ревнивой любви. А всякий ревнивец, вы понимаете конечно, – шпион. Он по ключьям – записки, впечатления – должен восстанавливать правду. И антенны должны быть все время настроены на улавливание того, что отличается от сказанного. Тебе сказали одно, а ты должен вылавливать другое, ты увидел одно, а должен увидеть другое и т.д. И у такого занятия есть еще такое качество: шпион должен быть похож на нормального гражданина. У него – сознание шпиона. (Обычно шпионы работают бухгалтерами, инженерами, часовщиками и т.д. Иногда философами.) И в том, что я говорю, есть очень важная вещь. У художника и у философа (я сказал уже, что художник принадлежит неизвестной родине) есть всегда искушение носить колпак той родины. Действительное философское понимание своего призвания требует от художника быть в жизни таким же, как и все остальные. Хороший шпион должен быть таким же, как и все остальные. Флобер говорил, что в нормальной жизни, в повседневной жизни нужно быть респектабельным буржуа – для того чтобы в своем искусстве быть совершенно свободным. А вы просто вспомните по своим впечатлениям, по себе тоже, насколько сильно искушение быть и внешне художником и насколько часто оно реализуется. С точки зрения Пруста, это нарушение некоторых гигиенических правил артистического мировосприятия. У Пруста есть очень забавная сцена, которая даст вам, может быть, образ для понимания шпионской стороны всякого видения. Видения **реальности.** (Я ведь фактически говорю, что реальность может увидеть только шпион. То есть человек, который не принадлежит этой родине.) Пруст описывает Шарлю (впервые его увидев) – это почти что эпическая, гигантская фигура аристократа, чудовищно одаренного и красноречием, и умом, экспансивно-выразительного и столь же чудовищно одаренного пороком, и к концу жизни он проходит всю кривую, к которой обычно приводит порок, – и говорит, что у Шарлю был такой взгляд, каким смотрят те, которые видят то, чего не видят другие. Такой взгляд свойствен, говорит Пруст, сумасшедшим или же шпионам. Вот мы ловим взгляд человека, который смотрит на то же самое, что и мы, и мы видим, что этот взгляд – в том, что мы тоже видим, видит то, чего мы не видим. Взгляд из неизвестной родины.

Надеюсь, вы поняли, что я говорю метафорами нашей душевной речи, а не буквальными милицейскими классификациями. Так вот, в этом взгляде (шпионском) есть то, что должно остановить наше внимание, кроме тех вещей, о которых я уже говорил. Скажем, существенно то, что не нужно носить шапку

неизвестной родины. Нужно носить шапку той родины, где живешь как нормальный гражданин. Потому что попытка надеть колпак неизвестной родины приводит к вырождению твоего артистического или философского таланта. Вместо того чтобы видеть реальность, ты видишь всегда самого себя и, как сказал бы Пруст, «начинаешь писать с любовью к себе». И ничего из этого не выйдет. Так вот, в этом взгляде мы должны остановиться на стороне сомнения. Это не есть просто сомнение в чем-то определенном или конкретном. **Радикальное сомнение.** Черты этого сомнения мы уже видели по тому, как я пытался описать отношение Пруста к тому, что он называет реальностью. Реально или реальнее всего то, чего как раз нет, эмпирически нет. Мы этого не видим, мы видим другое, но то, что мы видим, ирреально, а то, чего нет, реально. Я вижу уродливый шкаф, который действует мне на нервы, я ощущаю свое неловкое состояние, вызванное якобы шкафом, я так переживаю это, а в действительности происходит нечто совсем другое. И это «нечто совсем другое», что не выступает, но происходит, есть реальность, а то, что происходит, этого нет. Нет злых шкафов. Так же как ни по ту, ни по эту сторону Пиренеев не думают о русском человеке. В мире происходят, реально происходят – не события, злые или хорошие по отношению к нам, а что-то другое. Значит, это и будет сомнением. То есть сомнение есть как бы, если перефразировать Достоевского, возвращенный билет. Вы помните тему Достоевского (там, правда, возвращение билета происходило с иными словами и по другим причинам): он возвращал билет, который дан, чтобы жить в мире, возвращал Богу, поскольку Бог допускает, что в этом мире может быть пролита невинная слеза ребенка. На этом основании он возвращал билет. Мы тоже возвращаем билет. Билет эмпирии. Или, скажем так: то, что есть – злой шкаф или испанцы в Пиренеях, думающие о нас, – этого как раз нет и не может быть. Мир устроен иначе. То есть всякий аргумент, по которому устройство мира вводится отрицательно по отношению к тому, что мы видим, есть аргумент сомнения. Радикального сомнения. И аргумент **отступа** – я отступил в сторону. То есть я должен выскочить из связей: из своей привычной шкуры, из своей семьи, из своего образования, из своей страны, потому что, пока я в них, я их принимаю как нечто само собой разумеющееся или истинное. Истинно быть грузином. Или само собой разумеется быть грузином. Истинно быть мужем своей жены в моногамной семье. Истинно быть членом какого-то общества, в данном случае социалистического. Но любой первый шаг личного движения связан с тем, чтобы мы это подвешивали. Этого нет. Ведь, действительно, почему семья должна быть моногамной? Что – так должно быть по какому-то космическому закону? Явно – это случайная социальная форма. Или почему у нас должно быть то общество, которое есть? Нет для этого никаких космических оснований. И когда мы возвращаем свой билет, тогда мы позволяем перед нашим умственным взором появиться другим возможностям человеческой природы, которые есть, даже если мы не вернули этого билета. Они есть, но мы их никогда не увидим, если не вернем билета. Пруст начинает с этого возвращения...

Все начинается с того, что человек просыпается и у него нет сознания права или обоснованности того, что просыпается именно он. Или что он просыпается в качестве самого себя. Он спрашивает: какие, собственно, основания? Первая попавшая мне в голову мысль – я хватаю за шкуру самого себя как субъекта этой мысли – почему? Способность сомневаться – не в каких-то конкретных вещах, а радикально сомневаться. Вот эта способность неотъемлема от нашего шпионского дара, а шпионский дар неотъемлем от дара понимать и видеть. **Понимать и видеть реальность.** То, во что можно только верить, потому что этого нет или есть, если я в это верю. Ну известное изречение: верую, ибо абсурдно. Знакомое вам изречение, да? Верую, ибо абсурдно. Беда в том, что

изречение это абсолютно точное. Оно выражает фундаментальную особенность того, кто мы есть, люди, и того, как мы устроены и как устроен мир. Верить можно только в то, чего нет. Или – абсурдно. Это то же самое. То, что не абсурдно, не может быть предметом веры. Что такое «абсурдно»? – **вопреки**. Вопреки видимости, вопреки тому, что я вижу, вопреки тому, что считается реальным. Вот то, что может быть без такой веры «вопреки», то и не может быть предметом веры. И теперь мы должны вернуться с этим возвращенным билетом в ту точку, о которой мы говорили. В точку, в которую ничего не проникает извне. Наложите на эту точку образ просыпающегося человека. Но – просыпающегося уже так, что там заложена довольно сложная процедура сомнения; мы просыпаемся, и нам кажется само собой разумеющимся, что это мы проснулись: как будто наша сознательная жизнь может сама собой длиться как какая-нибудь вещь, – сомнение же означает, что ничто само собой не длится. Между предметом в момент А и этим же предметом в момент А¹ есть какой-то зазор, который не сам собой разумеется и который чем-то заполнен. (Мы увидим дальше, что этот зазор заполнен целым миром нашего усилия или нашим участием в мире.) Присоедините еще один образ. Значит, с одной стороны – образ просыпающегося человека, причем просыпающегося так, что при этом нет оснований, что он просыпается в качестве того, кто проснулся, а с другой стороны – образ смерти, который очень хорошо иллюстрирует некоторые фундаментальные свойства сознания (вокруг которого я кручусь), которые я пока обозначил так, что между осознаваемым предметом в момент А и этим же осознаваемым предметом, или содержанием, в момент А¹ нет само собой разумеющегося непрерывного перехода. Так вот, смерть напоминает нам об этом. Мы все знаем, что мы умрем, но мы не знаем, когда это случится. И всякий жизненный момент состоит из того, что я проецирован в будущее. Из какого-то пункта А, в котором я сейчас нахожусь, я движусь в пункт В, но этот пункт В не вытекает из предшествующего пункта хотя бы потому, что в промежутке между А и В я могу умереть. Точно так же мысль – эта сторона смерти является символом некоторых свойств обычных переживаемых нами мысленных состояний. Скажем, состояние мысли. Если я движусь к какой-то мысли, – ведь вся мысль, и в том числе познание, есть движение: я прихожу в движение и через энное число шагов я что-то узнаю. Так вот, беда состоит в том, что **то, что есть через несколько шагов, не вытекает из того, что были предшествующие шаги**. Должны быть какие-то другие основания для этого. (Ну ладно, это очень сложный пункт, и не огорчайтесь, если вы его сразу не ухватываете; мне самому это почти что невозможно ухватить.) И надо задуматься над тем, что мы можем произвольно иметь и чего не можем иметь произвольно. То, что мы имеем произвольно, как раз предполагает, что гарантировано как-то, что, начав с А и имея в виду В, я к этому В от А приду. Нужно сделать А, чтобы было потом В. Так ведь? Тогда я задам вам вопрос: а можно ли, захотев, – то есть сделав что-то в предшествующий момент – ведь что такое желание? – А наполненный содержанием, таким, чтобы из этого содержания в момент А получился бы момент В, то есть следующий момент во времени, – так могу ли я, захотев иметь мысль, этим хотением ее получить в следующий момент? Или – взволноваться, захотев взволноваться? Вдохновиться, захотев вдохновиться? Есть масса событий в мире, которые нельзя получить таким образом. Нельзя получить мысль, захотев получить мысль, и нельзя взволноваться, захотев взволноваться. То, что случится через момент, следовательно, не вытекает из того, что было перед этим. И вот смерть нам очень просто об этом говорит. Смерть напоминает нам, что в некоторых фундаментальных процессах нашей сознательной жизни нет непрерывности. Нет само собой действующей длительности. (Как будто эта трубка – здесь и в следующий момент она длится. И свойство дления есть свойство этой трубки.

Свойство во времени. Или: я засыпаю и просыпаюсь в качестве Мераба Мамардашвили, как если бы это было мое свойство. Само собой разумеющееся. Нет, мир устроен, повторяю, не так.) Поэтому у нас и появляется образ сомнения, который есть попытка очертить такую область, в которой – на каком-то основании, а не само собой, и впервые – что-то рождается и появляется. Короче говоря, скажем так: когда я смотрю на что-то глазами сомнения, я проделываю особого рода опыт. Он состоит в следующем: **в качестве субъекта**, то есть в качестве того, который в результате этого опыта будет что-то понимать, будет иметь какие-то переживания, у него будет память и т.д., **я не предшествую опыту**. Повторяю, я не предшествую опыту, и мы будем иметь дело только с таким «я», которое в самом же опыте и рождается. Например, мы ведь предполагаем, что человек, имеющий определенные свойства, то есть свойства памяти, определенный набор переживаний, уже заданных историей (у каждого из нас есть своя история, у нас есть какие-то качества и свойства, и тот, кто узнает что-нибудь новое или другое, и есть этот человек, обладающий такими-то качествами), – что **он** узнает что-то. Переводя на язык Музиля, – мы предполагаем, что то, что узнается, узнается человеком с некоторыми свойствами. То есть человек, обладающий определенными свойствами, и есть тот, который что-то узнал, увидел, понял и т.д. Ну а роман Музиля называется «Человек без свойств». Так вот, сомнение есть условная процедура, специальная процедура, задача которой состоит в том, чтобы превратить того, кто хочет что-то понять, в человека без свойств, таких, которые предшествовали бы данному опыту.

И я сейчас грубо обозначу, оставляю просто в виде обозначения, чтобы потом другими путями вернуться к этому, – и вот **это** является, иными словами, **путем**, который можно назвать путем **индивидуальной метафизики**. Метафизикой называется осуществление такого рода процедуры. И в той точке, о которой я говорил, помещено некоторое «я», в котором нет ничего, что предшествовало бы тому, что в этой точке произойдет. Декарт, который и есть автор, так сказать, нашей новой европейской мысли, автор этой процедуры сомнения, которая обычно понимается очень плоско: подвергай сомнению все конкретные сведения (но, как вы теперь понимаете, речь идет о другом), – так вот, Декарт – который на полную катушку прошел и испытал некоторый экзистенциальный опыт пробуждения мысли в себе, на свой страх и риск пытаюсь передать другим то, чем он занимался, – обозначил эту процедуру следующими словами: кроме того, что я – вещь, говорит он, я еще и – мыслящее существо. То есть человек как вещь, обладающая свойствами, является звеном какой-то причинной цепи. Она помещена – эта вещь – в определенное время, она родилась от определенных родителей и т.д., и на ней есть свойства и качества. Но то, что я называю «я», или «мыслящее я», или «когито», это есть нечто вынутое из этой причинной цепи так, говорит Декарт, как если он до меня ничего вообще не было. Повторяю: **так, как если бы до меня ничего не было**. Конечно, я знаю, что я – звено в длинной цепи рождений и смертей и что я родился от определенных родителей и т.д., но акт мысли, то есть акт понимания, имеет своим предусловием позицию – как если бы до меня вообще ничего не было. В том числе и меня самого. Я ведь еще должен родиться. Я сам. Потому что, по определению, «я сам» есть кто-то конкретный и определенный, имеющий такие-то качества и свойства. Более того, Декарт добавляет: **как если бы Бог создал только меня**. Дело в том, что наш язык и наше сознание, в той мере, в какой они есть, устроены так, что только так и можно сказать. Каждый может сказать, что Бог создал только его, и наше отношение к Богу есть какая-то сумма отношений каждого к нему. Каждого – считающего, что только его Он и создал. Без такого настроя – этого отношения человеческого рода к некоторому существу или к некоей силе,

называемой Богом, такого переживания быть не может – как истинного переживания. Вот попробуйте уловить, что сама суть этого переживания состоит в том, что оно есть сумма утверждений каждым в отдельности, что только его Он и создал. И это есть начальная точка движения, понимания и развития нашей духовной, или душевной, жизни. Поэтому я назвал это «путем индивидуальной метафизики». (Как вы знаете, метафизика есть учение о некоторых внеопытных предметах, которые никогда не бывают нам даны в опыте. Такими предметами являются: Бог, душа и бессмертие. Пруст, например, твердо считал, что он бессмертен. Не в качестве эмпирического человека, имеющего ту или иную фамилию, а в качестве того, кто проделал опыт, записанный в романе «В поисках утраченного времени».) Мы в этой точке должны помещать, как видите, странные вещи. Но у нас накопились какие-то слова для понимания того, что там происходит. Что-то, что происходит **только там**, – чему ничего не предшествует и что ни из чего не вытекает. И не само собой разумеется, что из одного содержания момента времени вытекает следующее содержание момента времени. Самое интересное происходит в промежутке, и тем самым самое интересное можно рассматривать так, как если бы до этого ничего не происходило. В том числе и нет моего «я». Нет у него никаких свойств, никаких качеств, а если будут, то только те, которые будут вводиться нами вместе с происходящим. Вместе с опытом, который проделывается в этой точке, – то есть сначала есть человек без свойств – и тогда, может быть, будет человек, который свободен. Он будет, конечно, обладать какими-то свойствами – после, но это будет свободный человек. Значит, одновременно это – и путь индивидуальной метафизики, и путь свободы. Страшный и сложный механизм, являющийся тяжелым бременем для человека. Но у человека нет другого пути, кроме как нести на себе это бремя. Человек ведь довольно беспомощное существо и может немного. Но если что-то может, то только свобода может ему помочь. Я бы сказал, что вообще даже свободные могут немного, а рабы уж совсем ничего не могут. И, чтобы завязать нить с неизвестной страной, я хотел бы употребить очень емкое выражение, итальянское (вернее, слово итальянское, оно непереводимо, то есть перевод возможен, но энергия слова теряется, потому что мы тогда должны употребить несколько слов вместо одного). Значит, в этой точке мы оказываемся без родины – *spaesemente*. Потерять чувство принадлежности к родине; оказаться – без жилья, без места, без адреса – **полностью странником...** Полностью живой, а полнота жизни и есть наша проблема. Проблема собирания себя, который в виде мертвых частиц рассеян по окружающему пространству. Полностью живой – всегда в то же время отстраненный. *Spaesato*. И следовательно, мы должны представить себе нашу точку в виде какой-то живой точки, потому что наша проблема – оставаться живым, и единственное, чего мы хотим, это быть живыми.

Так вот, эта живая точка расположена на какой-то кривой. Представьте себе кривую линию, и на ней – точка, как в седле, головокружительно движущемся под тобой. И ты должен удержаться в этом седле. Соединяя нити, которые сами собой не соединяются; так же как не соединяется предшествующий момент времени с последующим моментом. Смерть напоминает нам о том, что такой само собой разумеющейся длительности нет и быть не может. Мы накопили уже кое-какие слова для того, чтобы как-то представить себе свойства этой точки. Например, мы в этой точке поместили темноту. Я сказал, что в этой точке не должно быть предшествующего света. Фактически я сегодня снова, другими словами, может быть более понятными, говорил о том, что мы должны исходить из того, что как бы ничего нет и меня тоже нет до того, что произойдет в этой точке. Сомнение заставляет меня принять такую позицию. Значит – темнота в ней. Я говорил: темнота личная, тень у каждого своя. Так же как каждый

умирает сам, за него умереть нельзя; так же как понимает каждый сам, так и каждый отбрасывает тень, которую Данте называл «великим кругом тени». Тень – собственное непонимание, собственное отсутствие какого-либо предшествующего знания (как в примере с Кьеркегором). Потому что имеющееся знание чаще всего уже стереотип, уже лишено нашей живой мысли. Нашего живого чувства. Это есть болезнь, называемая смертельной опасностью. Смертельной опасностью является представление о некоем социально-историческом механизме движения истории (так называемая идея прогресса), в котором как бы наши усилия вливаются во что-то само собой идущее. История как нечто само собой идущее – момент времени А и последующий момент времени В не имеют сами собой разумеющейся длительности. Так и в обществе – я положил кирпичик, и еще другой положил кирпичик, и само собой это все складывается и идет. И причем почему-то считают, что идет в благоприятном для человека направлении. Как будто есть некая провиденциальная рука, которая так вот наладила этот механизм. Какой механизм? Самодействия, самодействующий механизм. А что такое самодействующий механизм? Механизм без меня. Он и без меня работает. А я только добавляю, и все получается как надо. Так вот, мир не устроен так. Я даже простым математическим парадоксом (я немножко отклонюсь в сторону) могу вам пояснить это. Скажем, я занимаюсь наукой. Ученый делает что-то, что, по определению, может быть отменено (и ученый должен это принимать) в следующий момент времени. Кто-то откроет что-то, что зачеркивает твое предшествующее открытие. И последующее знание всегда есть сумма того, что сегодня накопилось. Эта сумма отменяет что-то, вместо этого «что-то» другое ставит и т.д. То есть я участвую как ученый в каком-то коллективном предприятии, в котором происходит суммирование усилий. То же относится и к историческому смыслу. Некий социально-исторический механизм, сам собой катящийся, как колесо истории. Не случайно у социальных идиотов появился образ «колеса истории», обязанного для нас работать в том направлении, в каком оно движется. И то же самое по отношению к тому, что мы называем смыслом. Скажем, моральным смыслом. Очень часто мы рассуждаем, что вот то, что я делаю, получит смысл завтра. В каком смысле? Ну, то, что я делаю, имеет смысл в той мере, в какой сегодня, завтра, послезавтра к нему прибавятся другие усилия, и они придадут смысл тому, что я делаю сегодня. Например, если я строю смысл того, что делаю сегодня, в зависимости от того, что будет построено в качестве общества через 50 лет, то вы прекрасно понимаете, что моральный и духовный смысл того, что я сделаю сейчас, будет только через 50 лет. Потому что если мои усилия имеют смысл только по мере успеха коллективного предприятия, по определению находящегося во времени, то сегодня я даже могу убивать, если по смыслу это убийство сегодня будет оправдано тем, что будет через 50 лет. Так вот, мир устроен так, что если бы что-то имело смысл только задним светом через завтрашний день, то ничто в данный момент не имело бы смысла. Ведь если я говорю, что то, что я делаю, имеет смысл в зависимости от того, что будет завтра, то возьмите эту бесконечность движения к завтра и поделите ее на сегодняшней момент, и вы поймете, что тогда не может иметь смысла. А так как завтра тоже состоит из сегодня, то есть завтра будет тоже сегодня, да? – тогда и там тоже нет смысла.

И это же относится и к знанию. Если то, что я делаю как ученый сейчас, получит смысл только в этой суммации, идущей в бесконечное будущее, то в любой данный момент я ничего не знаю. Если познание есть такая суммация, то знания нет ни в каком одном произвольно взятом моменте. Нельзя получить единицу знания делением ее на бесконечность. Мы получаем нуль. И в каждой точке – нуль. Этого не может быть. Кстати говоря, Толстой, когда он боролся с призраком теории прогресса, придумал такую метафору. Он сравнивал это с

ощущением времени крестьянином (в отличие от современного человека) и, хотя сравнения у него хромают, тем не менее рассуждал интересно: всегда есть какой-то смысл, какая-то исходная точка действительного точного переживания, которое потом теряется в рассуждениях, потому что человек он был не шибко грамотный философски, но точка есть всегда. Даже в его рассуждениях о Шекспире, в его известных вам, конечно, отрицаниях искусства и т.д. – все эти вещи требуют от нас великодушия. Мы должны за лохмотьями мыслей неграмотного человека видеть действительные проблемы, действительный корень переживания, который был у Толстого, в отличие от других умников, которые, может быть, были умнее и грамотнее его, но этого они не видели и не чувствовали. И потом, вообще отношение к мысли требует от нас определенных свойств души или того, что я назвал великодушием. Особое качество человеческой души – если я великодушен, я могу соседствовать с глупостью. Я не требую, чтобы она имела умный вид, я вижу, что за ней, и прощаю глупость. Кстати, то исходное, такое гуманное или гуманистическое содержание социалистических идей, которое было в начале возникновения этого движения, тоже связано с тем, что я сейчас говорю. Я приведу вам простой пример. В начале века один французский социалист, выступая в парламенте, – в это время обсуждался вопрос забастовок, в которых участвовали несчастные, оборванные, голодные люди, и вот на них обрушились, что они оборванцы и неграмотны, ничего не понимают и просто занимаются социальной смутой, – сказал так: «От несчастных требуют еще и совершенства». Проблема великодушия состоит в том, чтобы за лохмотьями глупостей или буквальными лохмотьями увидеть реальное человеческое состояние, в котором мы общи со всеми людьми, как бы плохо или хорошо они ни выражали свое состояние. И нас не убудет, если мы это почувствуем. И нельзя требовать от несчастных совершенства. Но в области мысли работает и другая сторона. Люди устроены так, что они очень охотно и радостно цепляются за неудачные выражения, чтобы не ощутить того, что хотело себя выразить. Мы сразу придираемся и не слышим. Поэтому, когда хочешь что-то выразить, все-таки надо выражать это совершенно. Не потому, что так должно быть, – просто люди придираются и не захотят услышать. Фактически можно сказать, что только перед Богом можно выступать оборванным, потому что Он-то, не будучи формалистом, увидит, о чем идет речь, и не обратит внимания на то, что ты оборван. А перед людьми надо выступать во всеоружии. То есть хорошо одетым в одежды мысли и к тому же без шапки, без колпака.

Мы можем сделать следующий вывод: в точке, в которой мы находимся, мы не можем ничего перенести на будущее. Если есть смысл, то только в ней. А если можно отложить на завтра или на других переложить, то смысла не будет ни здесь, ни там. Вот такая странная точка – темноты, своей темноты. В нее может войти свет, есть шанс. В полусвет свет войти не сможет. Дорога ему перегороджена тем, что Кьеркегор называл смертельной болезнью. Добавим к слову «темнота» – помните цитату Пруста, где он говорит о некоей таинственной «активности», которая происходит в семени, – это мы должны соединить с «темнотой». Парадоксальная вещь: наша темнота одновременно есть тайная активность. Или работа, которая ничем не может быть заменена. Нельзя работу жизни, или тайную активность, или темноту, заменить каким-нибудь рассудочным актом. То есть поставить самого себя – связывающего рассудочные элементы – вместо того, что делается тайной активностью. Вместо семени ты не поставишь себя. Ты предполагаешь, что семя делает что-то, что не есть реализация твоей мысли или твоей теории, – **оно** делает. Тайной работой. Итак, в нашей точке – какая-то тайная работа. Потом мы помним, что в этой точке сошлось сцепление всех грузов или всех тяжестей. Точка равноденствия. Дантовская точка. Уже не в «Божественной комедии», а в

прозаическом тексте Данте (я чуть было не сказал – Пруста, это была бы симптоматическая обмолвка), называемом «Новая жизнь», есть запись такого состояния. Данте говорит, что к нему обращен некий голос, какой-то небесный голос, который как бы во сне говорит ему: «Все другие находятся от меня на равном расстоянии, а ты нет». То есть он как бы не находится в той точке, в которой этот взгляд его видит. А взгляд этот обладает таким свойством, что все, что он видит, находится от него на равном расстоянии (это сейчас не очень понятно, но вы просто свяжите с тем материалом, который я приводил). Я говорил, что есть какая-то точка, в которой нет разницы между нищим и принцем. Оба они, если они – в ней, находятся на равном расстоянии от некоторого взгляда. Назовем этот взгляд – **взглядом предназначения**. Значит, точка темноты, точка тайной работы также есть точка «равного расстояния»: в ней совершенно разные люди одинаково близки или одинаково далеки от какого-то центра, который, конечно, не имеет географических прописок. Я говорил, что есть какая-то точка, действием которой все наши судьбы устанавливаются по уровню нашей души. Она все уравнивает по уровню нашей души, то есть – были ли мы в центре этого взгляда, или, как он говорил Данте, – «ты почему-то далек». Не на равном расстоянии.

И прустовская тема – это постоянная тема уравнивания. Уравнивания по некой точке равноденствия, которая есть как бы нейтральная точка. Чтобы двигаться дальше, я приведу вам такое рассуждение Пруста. Рассуждение о том, что есть что-то, в чем есть именно «я» без каких-либо предшествующих свойств. Точка равноденствия, или нулевая точка, в которой – я говорил – человек без качеств, без свойств, нет ничего предшествующего опыту, только то, что появится в нем. Я как бы голенький хожу. Так вот, в этом «голеньком» мы все равны. И там только одно: что мы делаем сами. Вот я богат, Альбертина бедна, говорит Пруст (я повторяю пример, который уже приводил), все преимущества техники и цивилизации предоставлены мне, поскольку я обладаю средствами, я могу звонить, я могу давать депеши в разные концы, разослать своих агентов и спрашивать их, где они видели Альбертину, заходила ли она в этот дом свиданий или не заходила, и действительно ли у нее было свидание с прачкой. И Пруст говорит: конечно, весь телеграф был в моем распоряжении, средства связи, которые в одно мгновение могли собрать сведения о разных точках, в которых находится Альбертина, и этих технических средств не имеет небогатый человек, а богатый имеет, но все это сводилось к нулю в точке, где речь шла о том, чтобы самому любить и страдать, и где Альбертина тоже сама любила или страдала, и где моя воля упиралась в волю и в желание или в нежелание Альбертины. Ведь желание Альбертины нельзя вызвать своими знаниями, своими техническими средствами – она хочет или не хочет. И никуда от этого не денешься. Обратите внимание на то, что здесь все свойства сняты. Я – принц, но я – нищий в этой точке перед непоколебимым желанием или нежеланием Альбертины. Более того, Пруст говорит, что никакого значения не имеет сам материальный состав какого-то нашего переживания или нашего состояния. Состояние может быть высоким, низким: я могу читать гениальную книгу, а могу смотреть на цветок. Имеет значение только степень или градиент, скажем так, **преобразования**. А преобразование происходит от этой нулевой точки. Я приведу два примера. Первый: в зависимости от того, какой опыт ты проделал, то есть насколько ты вложил сам или ангажировался в переживание на свой собственный страх и риск (не за счет телеграфа, например, а за счет столкновения с непоколебимой волей Альбертины), в точке, в которой должен присутствовать ты, а не ты – принц, или ты – владеющий всеми средствами современной связи (они не помогут); в той мере, в какой ты вложил, – весь мир вокруг тебя одинаково богат (высокие или низкие предметы не имеют различия) и одинаково опасен.

А опасность есть первый провозвестник чего-то значительного для нас. Опасность – с риском мы вкладываем себя. И вот этот мир уже настолько пронизан нами, если мы вкладываем себя, что то, что с нами случается, приходит в зависимость от нашего вложения, и даже из чтения рекламы мыла можно извлечь не меньше высоких мыслей, чем из чтения «Мыслей» Паскаля. Или – я добавлю – Евангелия. Я вас предупредил, что мы – в точке, в которую даже книги не проникают. В эту точку и Слово евангелическое, в той мере, в какой оно взято из текста, из книги, называемой Евангелием, не проникнет. И мысли из книги Паскаля не проникнут, а то, что проникает, может проникнуть и из «Мыслей» Паскаля, и из рекламы туалетного мыла. Вот эту нейтрализацию очень важно нам ухватить. Второй пример, который поможет нам; из окна доносился запах бензина, и некоторые люди, которые в действительности являются своего рода материалистами, считают, что высокие состояния или переживания красоты могут к нам поступать от красивых предметов и что жизнь была бы значительно красивее (в смысле суммы испытываемой человеком красоты) тогда, когда вокруг ходили бы люди, одетые в красивые одежды. (Пруст имеет в виду одежды XVI – XVII вв., когда мужчины ходили прямо как раскрашенные бабочки.) И обратите внимание, что таких людей Пруст называет своего рода материалистами. Материалистами духа. В действительности он высказывает то же самое, что и я, говоря о туалетном мыле и о «Мыслях» Паскаля. Переживание красоты не означает окружение себя красивыми предметами. Красота – не в красивом предмете, а в преобразовании, ингредиенте этого преобразования. И этому запах бензина не может помешать. Душа, способная на преобразования, или душа великодушная, может переварить и бензин вокруг себя, потому что не в окружающей среде – источник нравственного и душевного движения. И в действительности наша жизнь устроена так, что одна и та же структура наблюдается и в эстетическом и в моральном переживании. Сейчас я переведу это на совершенно другой язык. Вы прекрасно знаете фразу, что среда формирует и определяет человека. Так ведь? Как создать хорошего человека или человека, находящегося в состоянии испытывания благородных, красивых чувств, мыслей и т.д.? Очень просто. Нужно определенным образом построить среду, красивую среду, или идеальную среду, или справедливую, гармоничную, и она, поскольку среда определяет человека, выдаст на выходе, как машина, хорошие состояния человека. Хорошего человека. Перевернуто русские разночинцы выражали это фразой из двух слов: «Среда заела». То есть сам по себе я был бы – хороший, великий, гениальный, красивый, счастливый, но – среда заела. За всем этим стоит совершенно другое мировоззрение, другая метафизика (в случае Пруста). Для Пруста не может быть так, чтобы испытываемое мною зависело от качеств или различия качеств предметов. Бензин не есть роза, конечно, но не из розы красота и не из бензина красота. Поэтому можно жить и с бензином, и нечего ссылаться на то, что среда заела. Личностный источник в другом месте лежит. В той точке, о которой я говорю, – и там он не зависит от бензина или розы, – **равноденствие**. То, что я переживаю, будучи окружен бензиновыми парами, и то, что я переживаю, глядя на розу, должно быть на равном расстоянии от некоторой точки, о которой я говорил. И тогда по всему этому пространству есть полнота жизни. Жив человек! А ждать, что вся среда будет состоять из справедливых общественных отношений, из красивых предметов, из людей, которые одеты, как бабочки, и радуют глаз, – бессмысленное ожидание. Мир, повторяю, не так устроен, в том числе и источники нашей радости и нашей жизни, нашего живого состояния не так устроены. И более того – маловероятно, но допустимо, – очень высокие вещи можно извлечь из рекламы с таким же успехом, как из «Мыслей» Паскаля. Мы понимаем, что в этом случае, может быть, Пруст просто поддается

своей мании снять фетишистскую оболочку с того образа, в котором мы представляем себе литературный труд, интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд обязательно высок в наших глазах. В этом смысле Пруст – хулиган. Именно это его раздражало, и это он пытался разрушить, и, кстати, в тех цитатах, которые я приводил, он говорил, что все в его жизни не имело никакого отношения к литературе. Это говорит человек, который в этой же цитате говорит о том, что литература и есть «подлинная жизнь». Как это соединить? Вот теперь мы начинаем более или менее понимать, как это соединимо. А то, что мы можем о Паскале еще допустить, мы, конечно, не можем допустить о тексте, который вообще считается текстом нечеловеческого происхождения, – о Евангелии. Но наше понимание или наше мышление устроено так, что из текста, даже из евангелического, в нас ничего не может прийти. Придет, если в нас есть невербальный корень испытания. Если мы сами испытали. Вот это очень трудно пояснить. Декарт говорил так: «...только тот знает, что такое сомнение и мысль, кто сам сомневался и мыслил». Вот как это передать?

Скажем, я читаю книгу по теории познания, где написано следующее (что является фактически вербальной копией события): познание начинается с первого этапа, являющегося восприятием. Потом, сравнивая различные предметы, мы обобщаем, выделяем общий признак этих разных предметов, создаем понятие. Это второй шаг. И т.д. Слова все правильные. Но вот о том, кто это написал, я могу сказать, что он никогда сам не познавал. Он дает словесное описание чего-то, что он знает только словесно, то есть вербально. А слова есть для всего. Все покрыто словами. А вот если бы он сам когда-нибудь познавал, то он, например, убедился бы хотя бы в том, что никогда никакое восприятие не предшествует никакому понятию, – последовательность совершенно другая. Все иначе происходит: мы вообще не познаем, например если мы не ангажированы, если мы не рискуем, если нам не явился феномен, или, как говорил Джойс, эпифания. То есть нечто, что само в себе о себе говорит. А Пруст сказал бы: **если нет впечатления**. И эстетический акт иначе устроен. Но для всех актов есть словесный эквивалент. И мы общаемся путем передачи этих словесных эквивалентов. Но за ним стоит или не стоит невербальный опыт. Собственное присутствие мысли, или эстетическое переживание красоты. **Собственноличное** – вот это невербальное, – и тут я должен парадоксальное словосочетание внести – **невербальное внутреннее слово**. Вы, конечно, понимаете, что слово не может быть невербальным, – ну а как мне назвать эту некую невербальную форму, которая есть в тебе, и тогда к тебе придет то, что написано в Евангелии. Иными словами, и из Евангелия ты это заимствовать не можешь, если в тебе собственнолично, собственнорисково, собственножизненно не случилось. Назовем это **невербальным существованием** каких-то переживаний вещей, или мыслей, чувств, или чего угодно. И вот точка отсчета сомнения, то есть то, во что сомнение в конце концов упирается, как в некую незыблемую скалу очевидности, есть то, что я сейчас обозначил словом «невербальное». Некоторое **собственнолично присутствующее переживание** или состояние мыслей. Это одно и то же. Я предупреждал вас, что я не различаю – эмоции, мысли, логика-нелогика – нас пока все это не интересует. Сейчас и для вас, и для меня самого действует тот же самый закон, который я возвещаю. В том числе то, что я говорю, я не могу вам передать, вы можете только невербально в себе это воссоздать. И мне трудно это выразить, потому что «выразить» я должен вербально. По определению – раз я говорю, значит, я говорю словами. Так вот, со словами я все равно остаюсь на уровне словесных копий того, что должно присутствовать несловесно. Невербально. Это Декарт называл **состоянием очевидности**. Можно сомневаться во всем, но сомнение в конечном счете у Декарта

упирается в независимый феномен воли. Или – опять слово – ничем другим не заменимый невербальный случай жизнепроявления. Или силы, что равнозначно воле. Вот то, что называю невербальным, можно назвать волей. И это ничем заменить нельзя. Оно должно **само быть**. И это Декарт называет очевидностью, а Пруст называет радостью. Называет особым переживанием, которое как раз его и занимало. И, кстати, он, будучи все-таки скрытым метафизиком, то есть философом, прекрасно отдавал себе отчет, что это очень похоже на то, что во французской культуре однажды случилось. Он говорил, несколько раз возвращаясь к этой мысли, что, может быть, то, что он описывает как ту достоверность, которая дается в совершенно необъяснимом состоянии радости, есть то, что Декарт называл очевидностью. (В своем *cogito ergo sum*.) **Может быть** – эта мысль у Пруста повторяется два или три раза. И не случайно.

Значит, я буду связывать нити таким образом – мы сказали: в точке есть темнота, тайная работа, и для последующего я намекну вам, что тайная работа чаще всего есть труд, называемый трудом страдания.

ЛЕКЦИЯ 7. 17.04.1984

Так вот, к тем словам, которые у нас уже были (мы накапливаем слова и термины), прибавились еще кое-какие слова, не все, конечно, понятные, – скажем, «тоска», «страдание», «труд жизни», «отстранение». И хотя ни одно из этих слов не говорит о времени, но они в действительности все содержат в себе значение времени, и в этом мы убедимся. И проблема времени, прустовская основная проблема, врывается к нам своей очень странной стороной. Дело в том, что обычно мы о времени не предполагаем, что оно неподвижно. Время как раз есть то, что движется. То, чего мы не можем уловить, то, что летуче, то, что исчезает. Мгновение, миг, последовательность непрерывной смены одного другим. А в тех словах, которые я привел, мы видим, что они имеют отношение ко времени как к какой-то остановке. Стоянию. Я ведь не случайно применял слово «место» (даже намекал вам, что оно имеет какое-то сходство с топологией, а топология, вы знаете, есть наука о местах, *analysis situs*, как говорили латиняне), когда говорил о сознании, – то, что непроходимо, оно есть, ясно, а выразить нельзя. Я называл это сознанием. И с таким же успехом я могу назвать это местом. **Место**. И время, о котором мы будем говорить, с которым столкнулся Пруст, глубоко заглянув в человеческую душу, есть **время** этого места. Или **время-пространство**. Время-место. Нам это, конечно, сейчас непонятно. Но давайте попробуем этим заняться.

Тайная химия жизни – какая-то активность, которую мы своим мышлением и своим представлением или воображением не можем воспроизвести в виде последовательных звеньев. Ведь все, что мы делаем, мы делаем в последовательности. Мы говорим; есть А, А ведет к В, В ведет к С, или А связано с В, В связано с С и т.д., но мы не можем этого сделать по отношению – к чему? По отношению к тому, что делает зерно. Это есть тайна жизни. То есть жизнь совершает какой-то акт, который со стороны человека неразлагаем. Неразлагаем по модели человечески возможного – я не могу этого сделать. Ведь модель человеческая есть модель того, что мы можем сделать. А мы всегда делаем, повторяю, в последовательности. Вот такому разложению не поддается нечто, что в то же время, несомненно, является актом. И мы не можем своей мыслью, как я вам говорил, встать на место этого акта. А во всем, что мы понимаем, мы обычно всегда встаем на место того, что понимаем, и воспроизводим в своей голове в виде своего акта. Это ясно? Да? Так вот, по отношению к акту жизни, к тому, что я называл тайной химией жизни, мы этого не можем сделать. Она – или есть, или нет. Нечто может произойти только в силу того, что это – или есть, или этого нет. Это же относится и к актам

человеческого понимания. Акт понимания тоже есть тайная химия жизни, потому что – или вы понимаете, или не понимаете. То, что я понял, может произойти только само, и это нельзя пересадить мне в голову. Представьте себе непрерывную причинную цепь обусловливания человеческой психики и актов понимания. Как в обучении мы строим? Мы строим А, чтобы из А было В, а из В было С, и предполагаем, что то, что я понимаю, например теорему, будет звеном в такой цепи. Следовательно, к этому звену есть непрерывный переход. Переход – от последнего звена моего обучения к тому, что произойдет в моей голове, – как бы сплошной, непрерывный. Так предполагается. Но этого нет на самом деле. Нельзя поставить то, что произойдет в моей или вашей голове, в эту цепь. Не ставится. Понять можешь только ты сам. Вот когда я употребляю слово «сам», то это – тайная химия. Только какое внешнее выражение она имеет? Вот это я и называл в других планах «местом». Я – на этом месте, и потому только, что я на этом месте, или мое понимание занимает это место, что-то происходит, что-то есть. Других причин нет.

Я говорил вам, что при всех внешних издержках у Толстого всегда есть какой-то пункт, который он чувствует. И – как я говорил вам, от несчастных нельзя требовать совершенства – мы должны уметь видеть за неряшливой формой и за плохой одеждой мысли красивое человеческое тело, хотя оно иногда скрывается за лохмотьями. И мысли тоже – тело, и иногда оно скрывается за лохмотьями слов. Очень неточных, неграмотных и т.д. И вот он, пытаюсь сформулировать свои возражения против теории прогресса, говорил, что смысл смерти у крестьянина (крестьянин – конечно – идеальная воображаемая фигура у Толстого; не предполагается, что у крестьянина действительно такой смысл; в такого рода рассуждениях какие-то реальные лица в действительности всегда есть только фигуры речи) другой, чем у горожанина, включенного в движение прогресса. Я этот свой пример хотел привести, чтобы пояснить вам одно свойство всякого смысла: смысл не расположен в последовательности, и хотя он – во времени, но он – во времени чего-то неподвижного. То есть **места**. Этим я хочу сказать (Толстой именно таким примером пользуется, но я его буду расшифровывать иначе), что если я включен в какой-то процесс коллективной деятельности, в которой, по определению самой науки, совершается следующий акт: я делаю что-то в предположении, что завтра кто-то другой придумает лучше, то тем самым я все время устремлен в будущее. Я все время как бы с поднятой ногой. И представьте себе, что я умираю. Смысла сегодня нет, смысл – только завтра. И вдруг я умер до завтра. Тогда жизнь моя бессмысленна. Почему, говорит Толстой, жизнь бессмысленна? Потому что смерть бессмысленна. В каком смысле смерть бессмысленна? Она – обидная случайность, нелепость и абсурд, – почему? В структуре сознания, которое стоит с «поднятой ногой», все время – впереди. Значит, смерть – обидная случайность, которая подкосила меня, или, как говорил Мандельштам, «смерть скашивает меня, как монету». Вот, представьте себе – р-р-раз – скосило и... но если я располагал свою душевную жизнь в такой последовательности, то смерть, будучи абсурдной, нелепой случайностью, делает бессмысленной и жизнь. Поскольку сегодня в ней не было смысла. Смысл в ней предполагался только завтра. Значит, Толстой идет к констатации факта, что наша душевная жизнь в той мере, в какой она производит смыслы, устроена иначе. Не так смыслы существуют. То есть смыслы не существуют в последовательности прибавления одного к другому, так, что сегодняшнее получает смысл только обратным светом от завтрашнего (сосредоточьтесь на этом примере, потому что он очень важен). Эта структура действует и в нашем социальном мышлении, моральном мышлении. Вот представьте себе, что мораль зависит от успеха социального дела, в котором мы участвуем в той мере, в какой мы имеем официальные слова и

официальные доктрины для построения такой морали, – морально то, что служит чему-то, так ведь? Но то, что служит чему-то, станет ведь не сегодня, а завтра (по определению – мы строим светлое будущее). Так вот, если смысл сегодняшнего выявится или появится, родится только от того, как и когда будет это светлое будущее, то, простите, тогда мы – безнравственные существа сегодня. Независимо от того, совершаем мы эмпирические злодеяния или не совершаем. У нас просто нет структуры нравственности. А поскольку она у нас все-таки есть, то это говорит о том, что действительная нравственность по своей структуре расположена (если она есть) иначе. Она не расположена таким образом во времени в последовательности.

Теперь мы понимаем, что есть две разные вещи. Есть время как **последовательность**, а есть время места. **Время – миг**. Наше время есть миг, но очень странный – внутри которого умещается целый мир. Время евангелической молитвы есть миг – на малое время есть свет с нами. И все, что есть, все, что с нами будет, помещается внутри этого времени – здесь и сейчас. Древние говорили: *hic et nunc*. И Пруст обнаружил, что наше восприятие, простейшие акты нашей душевной жизни тоже устроены таким образом. Я все время маниакально выявляю одну и ту же структуру в совершенно разнородных областях. Ну, казалось бы, какое отношение имеет мораль к эстетике, к художественному творчеству? Как вы заметили, я вообще слова «художественный», «художественное творчество», «эстетика» не употребляю. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. И никаких терминов эстетических теорий не знаю и не владею ими. Я просто пытаюсь передать то, что я вижу как читатель. То есть нахожусь в действительной вашей позиции. Вы ведь не обязаны заниматься эстетическими теориями; вы – читатели, и книги входят в вашу жизнь, как и в мою, в виде переживаний, равноправных с тем впечатлением, которое произведет на нас реклама туалетного мыла. И вот в этой точке, где мы оказались – *hic et nunc*, здесь и сейчас, – я повторяю, все это относится и к восприятию, и к творчеству. Почему? Да потому, что любое наше деяние содержит в себе последовательность актов. Я подчеркиваю: **последовательность актов**. А я утверждаю, что (вслед за Прустом) нечто существенное в моем понимании должно произойти (если произойдет) **независимо от этой последовательности**.

Сейчас я еще с другой стороны попытаюсь пояснить, а пока хочу ввести один пункт (много разных цитат можно привести и из Пруста, и не из Пруста, это очень древняя вещь, которая известна была человеку с тех пор, как он задумался о самом себе). Вы прекрасно знаете, что самая большая загадка для человека – это он сам. И, разгадывая эту загадку, человек кое-что соображал, потому что жить-то надо было! То есть жить так, чтобы можно было уважать себя. Не просто жить, а еще и сохранить какое-то отношение к самому себе. Я вам приведу странную цитату из Мандельштама и через нее попытаюсь пояснить, что я хочу сказать и что говорит Пруст, начиная с первой страницы своего романа и кончая последней страницей:

Пусть	имена	цветущих	городов
Ласкают	слух	значительностью	бренной,
Не	город	живет	среди
А	место	человека	во
			Вселенной.
Им	овладеть	пытаются	цари,
Священники		оправдывают	войны,
И	без	него	презрения
			достойны,
			Как жалкий сор, дома и алтари.

Наша душевная жизнь устроена таким странным одинаковым образом в каком-то глубинном своем слое, что, как я уже не однажды говорил, когда мы

выражаем мысль, если это – мысль, то появляются те же самые слова. Вы думаете, что случайно появились у Манделъштама слова «место человека во Вселенной»? Нет, даже простая деталь выбора слов здесь не случайна. Вот смотрите: «Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной». Значит, в месте, в котором мы находимся, а его можно назвать местом человека во Вселенной, его можно назвать местом сознания, его можно назвать временем как остановкой, стоящим мигом, – так вот, в этом месте я сегодня не могу быть доблестным, потому что был доблестным вчера. Вчера, допустим, я был доблестным или вы были доблестными. Что это значит? Ну, совершили мы что-то. Что-то сделано. «Сделано» – всегда конкретно, обладает «значительностью». Но Манделъштам добавляет: «бренной». Сделанное, во-первых, уйдет, и, во-вторых, к нему относится лик времени как последовательности. Не Рим живет, а **место человека**. Рим погибнет. Все сделанное погибнет. Поверните эту мысль, – но если что-то есть сейчас, скажем, тот же Рим, то не потому, что он был вчера. Я опять вернул вас к рассуждению, как от А мы приходим к В. Бывает ли В, потому что перед этим было А? Помните? Было очень абстрактное рассуждение, да? Тогда я вам приведу сцену из Пруста. Сцена довольно страшная, действующая эмоционально. Естественно, она связана со смертью: у героя нашего романа умирает бабушка. А герцог Германт приходит навестить Марсея. Пришел проявить обыкновенное человеческое сочувствие. А убитого горем человека знаки сочувствия и пр. не интересуют как знаки, он занят целиком содержанием: он переживает, что умирает его бабушка. И приходит человек, который выказывает ему сочувствие, этот человек стоит и – что происходит там? – бесконечно говорит. Он говорит, развертывая, как симфонию, весь ритуал аристократической вежливости. Он исполняет прошлое, столкнувшись в данном случае с нетерпением человека, который хочет поскорее уйти к постели бабушки, а не слушать бесконечные слова и видеть бесконечные поклоны, которые аристократ отвешивает нашему герою. Но ведь эти слова когда-то сложились для того, чтобы выразить сочувствие перед лицом горя. То есть это – прошлое. Так вот, оно не может быть причиной того, что Германт сочувствует. Это событие сочувствия не происходит в мире – в силу того, что оно **уже** происходило. И, более того, Пруст здесь делает очень интересный ход, потрясающий с точки зрения самого характера психологических и художественных описаний. Мы ведь обычно в таких случаях говорим, если видим, что это формальный ритуал, а не сочувствие, объясняем, что Германт нечувствительный человек, что он злой, нехороший человек. Пруст этого не делает. Он не становится на тот путь, на который становится почти что всякий писатель. Писатели ведь большие знатоки души и психологии, у них как бы монополия на это, и чаще всего все сводится к тому, что вот какой нехороший человек – не чувствует горя. А Пруст этим не занимается, его интересует механизм, и он не злобе или добру Германта приписывает происходящее. То есть его нечувствительность к реальному горю. Пруст говорит так: он как герцог Германт как бы повиновался «неистраченному запасу поклонов в своих коленях». То есть Пруст увидел весь механизм прошлого, который действует и который есть действительная психология, в отличие от псевдопсихологии свойств, которые ничего не объясняют. Ну что мы поняли из того, что сказали – этот злой, а этот хороший? Ничего не поняли. В таких случаях Пруст говорил, что тот, кто обращает внимание на факты, рискует не увидеть законы. Факт в данном случае есть факт зла. Ну, человек нечувствительный – это злоба, да? Вот если я вижу так, я могу не увидеть закона. А увидеть закон – значит **остановить бесконечность**. В каком смысле? А в том, что факты, если я вижу только их, бесконечны. На один факт есть всегда другой факт, и все факты истинны, потому что никакое зло не делается в мире без интенции добра. Вы

знаете, что злой человек фактически никогда не чувствует себя злым. Он всегда в своем мире преследует какую-то истину. И сила зла всегда есть сила преследуемой внутри зла истины. Той, которая видится. И бесполезно произносить проповеди, бесконечно делить мир на злых и хороших, не будучи способным увидеть законы.

Значит, мы имеем уже два понятия времени. Закон предполагает способность (обратите внимание на этот сложный ход) **увидеть место**. То есть нечто неподвижно расположенное. Механизм прошлого – механизм неистраченных поклонов в коленях, которому повинуются Германт, – стоит, он на месте, он неподвижен. Это есть время в смысле времени-закона или времени-мига. А эмпирическое время есть дурная бесконечность. Дурная бесконечность фактов. Можно бесконечно сталкивать друг с другом злой факт, хороший факт. Вы знаете, в войнах все правы. Нет ни одной воюющей стороны, которая была бы не права. Но тем не менее война есть зло, что очевидно. Попробуй разобраться. И вот я завершу этот пассаж следующим утверждением. Значит, в этой точке, я повторяю, не может быть, чтобы что-то было сейчас, – скажем, доброта Германта, потому что вчера он был добр. Когда этот ритуал возник, он возник как ритуал добра. Но то, что будет сегодня, будет не потому, что было вчера. Нужна – что? – живая сила. Возрожденная живая сила. Нужно место человека во Вселенной, а не построенный Рим. Ведь Мандельштам говорит: «и без него презрения достойны». То есть без того, чтобы в мире случилось возобновленное живое человеческое состояние, без этого – «презрения достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Сколько угодно можно молиться перед алтарем – ничего не будет. Если нет чего-то другого. А это «другое» не только не имеет прошлых причин, оно вообще причин не имеет. Я возьму сразу два феномена – понимания и добра. Начнем с добра. О добре я скажу очень коротко, потому что это само собой разумеется и вы сразу поймете. Вот мы говорим: человек стремится к добру. Вся философия, с того времени как она появилась, убедилась в том, что невозможно пояснить факт доброты или факт стремления к добру никакими соображениями и интересами. Ни интересами выживания человеческого рода, ни интересами целесообразности. Никакими мотивами – практическими и психологическими. Скажем, психологическим мотивом удовольствия или неудовольствия. Нет, дурная бесконечность получается. Можно одинаково доказывать, что добро приносит неудовольствие или делание добра приносит удовольствие. Тут ничего не докажешь. Точно так же – для чего добро? Не получается никаких доказательств. И ход, очень простой, который сразу поясняет феномен: человеку, чтобы стремиться к добру, нужно **уже** иметь его в себе. Стремление человека к добру есть выражение действия какой-то силы, которая к самой себе стремится. Она – или есть, или ее нет. Внешних причин для этого быть не может. Более того, вообще нет причин. Причины есть для зла, а причин для добра нет. Почему? Попробуйте сами решить эту задачу. Какова может быть причина добра? По определению, в области добра, то есть нравственности, для него нет никаких причин. Или нет других причин быть нравственными. Я нравствен – и все. Без причин. А если есть другие причины, то это уже философское утверждение – если есть причины, то мы вообще вне сферы нравственности. Другой какой-то феномен. Уже не феномен морали: феномен морали очерчен явлениями, в которых нет причин для морали. Вот там, где нет причин, там и мораль. Если – ни почему, то там есть совесть. Но ведь вы в своем языке то же самое говорите – например, какая-то затруднительная ситуация, вы описываете, наблюдая картину человеческих поступков, и классифицируете их: этот поступил так, потому что он испугался, этот был голоден и потому укрыл хлеб. Или этот потому-то не сделал чего-то, или сделал. Каждый раз есть причины. Вы не замечаете, что нуждаетесь в причинных объяснениях каждый раз только в

случаях аморальных поступков. А когда вы имеете случаи морального поступка, то есть – не объяснимого причинами, вы пожимаете плечами и говорите – ну нет, да не поэтому, по совести просто. Значит, что вы сделали? В языке-то записано, вы сами тысячу раз в жизни это говорите. Просто вы не замечаете. А вы делаете – вот, по совести. В пустоте, в которой нет причин, вы употребили термин «совесть». И тем самым вы и употребили непричинный термин. Это ясно? Просто гений языка так работает. Он, очевидно, умнее нас. Очевидно, в пластах языка и в тех законах, которые он диктует, есть выбор слова, выбор хода мысли, поскольку человек возник как нравственное существо, а язык есть язык человека. И в языке есть законы, и они – законы этого существа. То же самое относится и к пониманию. Вот представьте себе, что вы с кем-то выясняете отношения и приводите аргументы. Приведение аргументов есть то же самое, что приведение причин. Аргумент-причина, которая должна вызывать в голове другого человека, к которому вы обращаетесь, какое-то понимание или состояние. Так ведь? Аргумент – та же причина. И вы ведь твердо знаете на своем опыте, что аргументы приводятся только в ситуации, когда исчезло взаимное понимание, и отсутствие понимания имеет причины, а если есть понимание, то ничего этого не надо. Когда нужно выяснять отношения и доказывать, тогда появляется образ дурной бесконечности, по которой мы бежим, и мы заслуживаем дантовский образ бегунов, которые в аду наказаны тем, что все время находятся в беге. И вот мы будем бежать высунув язык, потому что доказываем и никогда ничего не докажем. Иначе говоря, причины, или эмпирические факты, есть только для непонимания, а для понимания нет причин. Понимаете, неподвижное какое-то, да? Нет у нас движения.

Опять процитирую вам беднягу Мандельштама:

Душу	от	внешних	условий
Освободить		я	умею
И	вещества,	мне	родного,
Где-то	на	границы	томленья<>
Там	в	беспристрастном	эфире
Взвешены		сущности	наши
Брошены		звездные	гири
На		задрожавшие	чаши;
И	в	ликование	предела
Есть	упоение	жизни	–
Воспоминание			тела
О неизменной отчизне.			

Иллюстрация неизменного топологического устройства нашей души. Помните, я говорил о совершенно других вещах и – о неизвестной родине. Сейчас вы видите – выскочило слово, вы думаете, что я цитировал, я не цитировал этого вовсе, просто перекрест символических соответствий одного и того же, а не моя, скажем, эрудиция, – что я знал Мандельштама и поэтому где-то затаился, сначала сказал «неизвестная родина», а потом привел с невинным видом стихотворение. Поверьте мне, что я этого не делал. Ну а если не поверите, ваше дело. Тогда, не поверив мне, вы чего-то не узнаете о самих себе и о том, как мы устроены... Итак, вдруг – «воспоминание тела о неизменной отчизне». Значит, та неизвестная родина, которая есть родина всякого художника, – или всякий художник есть гражданин неизвестной отчизны, – как раз еще и «неизменная». Есть воспоминание тела о неизменной отчизне. Это же и – «упоение жизни». Не Рим, а место человека, то есть не построенный алтарь, а ты на волне своего живого усилия держишь все. Все,

что конкретно и выполнено, реализовано, – уходит, а ты вечен. Мы вернулись к прошлой теме: очень странная непрерывность, предполагающая вечное стояние. Некоторый вечный акт, в котором нет ничего выполненного. Потому что все выполненное может уйти, и уходит. Ну, скажем, греки гремели на всю вселенную, а где их империя? Где империя Александра Македонского? А Александр Македонский живет в нашей душе по одной простой причине – потому, что они держали человеческое усилие. Им не империи нужно было строить – они усилие человеческое держали. То же самое говорят мистики о вере: предмет истинной веры есть сама вера. Я ведь тавтологии определяю – вот сейчас я определил веру так же, как перед этим определил понимание. Я сказал, что понимание есть или его нет. У него нет причин. **Оно само создает пространство мыслей.** Понятно это? Так вот, я сказал, или мистик скажет (не конфессиональный человек, ходящий в церковь, а мистик, – это разные вещи), что предметом религии является сама вера, то есть держание веры, а не какие-нибудь объекты. Я то же самое могу сказать, по этой же структуре, о поэзии. И будет цитата из Пруста, она звучит так: «...поэзия состоит в чувстве своего собственного существования». Вдумайтесь: поэзия есть **ощущение и чувство своего собственного существования.** Это понятно? Я не надеюсь, что вы поймете, потому что такого рода объекты, совершенно независимо от наших способностей – в психологическом смысле слова (кто умнее или глупее), – предел того, что люди могут понимать. Предел философских и нравственных абстракций. Пруст этот опыт проделал, но проделал, в отличие от меня, пластично – есть сюжет, есть описания, и то, чего ему не удавалось достичь в слове понимания, он достигал в слове изображения. Например, можно проиграть битву мысли, но выиграть эстетическую битву. По ходу дела высечь какую-то красивую искру поэзии. У поэзии есть материя, материя остается, ну а мысль может не дойти до конца. Так вот, когда мы философствуем, а сейчас мы философствуем, у нас нет никаких орудий, нет никакой помощи, мы не можем спастись красивым словом – я не в уничижительном смысле говорю, – мы не можем на него опереться, потому что мысль нужно довести до конца. А ее до конца довести почти что невозможно. Я возвращаюсь к определению жизни: это есть чувство своего же собственного существования. То есть как бы предметом поэзии является поэзия. Странно. Но это и есть определение поэзии в человеке. Приведу вам теологическое определение. Скажем, есть что-то, имя чего и есть его существование. Мы ведь предметы обычно называем именами. А вот есть нечто, имя чего и есть его существование. Так, кстати, в теологии определялся Бог. Но обратите внимание, что поэзию я определил точно так же. По этой структуре. Я сказал: поэзия есть чувство (или поставьте – имя) – чего? – поэзии. И есть ее существование. Или – чувство поэзии есть чувство ее собственного существования. То есть мы имеем дело с какими-то особыми объектами. Это – условно назовем – бесконечные объекты. И с такими бесконечными объектами мы сталкиваемся даже в области понимания. Понимание есть бесконечный объект такого рода. Даже взаимное понимание. И то, что это так, имеет последствия для нашей жизни. Скажем, не понимая этого, мы бесконечно будем выяснять отношения. Вместо того, чтобы выпасть. Потому что отношения, если их нужно выяснять, выяснить нельзя. Это – закон.

В эти бесконечные объекты у нас включено «я». То есть стороной каждого из этих бесконечных объектов является «я». Оно неотделимо от этой бесконечности. Теперь нам интересно, что это за «я»? Сделаем один маленький шаг. Ясно, что это «я» имеет какое-то отношение к тому, что я называл точкой равноденствия, где, по Данте, сошлось тяготение всех грузов. Или сцепились все грузы. Нулевая, как я говорил вам, но в то же время интенсивная точка... На чем я хочу остановить ваше внимание? На том, что мы в действительности имеем дело с какой-то странной длительностью или непрерывностью, отличной

от эмпирической длительности и непрерывности. Мы связываем эту странную непрерывность с «я», с каким-то «я» и с каким-то усилием. Вот тем, которым держится Рим. Рим сам исчезает, а усилие его держит, и есть предмет этой длительности или непрерывности. Также и в поэзии есть длительность самой поэзии. И усилие ее есть она сама. Есть что-то, имя чего и есть существование. И вот это существование есть какая-то странная непрерывность или длительность. И прежде чем привести довольно яркий символ (я вынужден его повторять, и это не случайно, потому что символы нельзя выдумывать; можно выдумать пример, а символ придумать нельзя, их приходится повторять), который, может быть, поставит многое на место в этой области, очень трудной, в которой мы движемся, я хочу- обратить ваше внимание на одну терминологическую вещь. Я говорил вам несколько раз, что жизнь можно определить как усилие во времени. Жизнь есть усилие во времени. Вот так, мимоходом. Пруст говорит: усилие во времени. И пока есть усилие, – например, пока есть люди, которые не могут жить, не будучи гражданами, – есть гражданский закон. То есть закон держится человеком, а не наоборот. Нельзя создать закон и потом прилечь на нем поспать. По закону, о котором мы говорили: потому что было в прошлом – не поэтому будет сегодня. Значит, мы имеем закон; как конкретное выполнение, как конкретная реализация он может уйти, но усилие должно длиться. А усилие длится в людях. В «я». И вот «я» – какое-то странное у нас. Назовем его пока «абсолютным». Я хочу терминологически обратить ваше внимание на то, что термин «время» во фразе: «Жизнь есть усилие во времени» – не имеет смысла времени нашей жизни. Так же, как он не имеет смысла наступающего в последовательности чего-то другого. Например, я могу сказать так: есть эта жизнь и есть другая жизнь, имея в виду, что в последовательности этой жизни наступает какой-то момент, после которого есть другая жизнь. Скажем, загробная, если она есть. (Одна из реальных проблем Пруста, он перечислял их: проблема реальности, проблема реальности произведения и проблема реальности души или бессмертия души. Единственные серьезные проблемы. Так считал Пруст.) Пока что я чисто терминологически останавливаю ваше внимание на том, что время не имеет смысла времени этой жизни. Точно так же, как не имеет смысла другого (что другая жизнь есть что-то, что наступает после этой жизни). Пруст говорит (в письме своему приятелю), что «реальная наша жизнь – это не та жизнь, которая в этой жизни, но и не та, которая после, а та, которая вне этой жизни. Если термин, заимствованный из пространственной терминологии, имеет какой-либо смысл в этой области». (Я это цитирую, чтобы остановить ваше внимание на том, чтобы вы не вкладывали каких-то смыслов в термин «время».)

Итак – символ, посредством которого я хочу объяснить эту странную непрерывность или длительность, связанную с «я» (которое я назвал «абсолютным»), с «усилием» и т.д. Мы имеем дело с какими-то актами или объектами, которые можно назвать вечными объектами или вечными актами. Поэтому я и просил вас не вкладывать в слова «время» или «длительность» смысл длительности времени нашей жизни. Здесь какой-то другой срез. У Паскаля есть совершенно гениальная фраза. Она, конечно, выросла у него из очень глубокого религиозного опыта, а религиозный опыт есть определенное словесное оформление общего человеческого опыта, который может высказываться и нерелигиозно. (То есть религия что-то знает о нашей душевной жизни. Для своих задач она высказывает это определенным образом, но то же самое существует и высказывается и другим языком.) И из этого глубокого опыта Паскаль родил такую фразу. Она оригинальна лишь как фраза, а не как мысль, потому что эта мысль вообще есть и в нашей душе, и – тем более – в религиозном опыте. И в нравственном опыте тоже. Паскаль

говорит так: «Агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать». Вот этими словами, очень образными, вызывающими у грамотного читателя сразу же ассоциации с некоторыми сценами из Евангелия, – вы помните сцену, которая повторяется трижды, по-моему, когда Христос, зная уже, что наступил час, просит своих апостолов побыть с ним и не спать (а они засыпают). У этой фразы настолько блестящая, гладкая поверхность, что наше внимание и наша мысль соскальзывают с этой поверхности и не удерживаются на ней. Не проникают в ее глубину. Ведь что сказал этой фразой Паскаль в действительности... и это, кстати, потом повторял – не употребляя этого символа, а имея в виду чисто философские задачи и нравственные задачи, – Лев Шестов. Мы можем сказать так: что-то случилось, Христа распяли, и он проагонизировал. Паскаль в своей фразе указывает на то, что существуют вещи, которые – не случились, а случаются. **Вечно.** То есть в нашей душевной жизни мы не можем принять это событие как свершившееся, а должны считать себя **внутри его – как свершающегося** и при этом еще не спать. Это и есть длительность тех объектов, о которых я говорил. Повторяю, существуют такие события, которые **вечно со-бытийствуют.** Представьте себе, что вся Вселенная есть одна говоримая, но не сказанная до конца фраза или слово, и мы со всем, что с нами случается и не случается, внутри ее – этой фразы. Хотя язык наш говорит нам: распяли. Цезарь перешел Рубикон. Христа распяли. Пушки у Фолкнера в решающем сражении между южанами и северянами выстрелили, и южане проиграли. А Фолкнер говорит, что для всякого юноши 14 лет (южанина) мир существует в то мгновение, когда развернуты знамена и за знаменами не пошли полки. И, может быть, сражение еще не состоится. И без этого момента в душе юноша не восстановит своего прошлого и не узнает, кто он есть. А самая большая трагедия для человека – не знать, кто ты на самом деле есть. Что с тобой происходит. И где ты – по отношению к центру. Теперь мы знаем, что является центром, – вечно длящиеся акты, которые не считаются случившимися. Странные события, которые – события (в событии всегда есть то, что произошло), но вечно случаемые, вечно происходящие события. И наши акты понимания, добра существуют внутри такой структуры длящегося акта. Или вечного акта. Как говорили арабские мистики, у атрибута нет второго момента. А Декарт совершенно независимо от них повторял эту теорию, поскольку она, наверное, никому не принадлежит, как Вселенная никому не принадлежит, а есть такая, какая есть, и если увидишь, то она есть. (Так же, как я вижу солнце, – вы ведь не можете сказать, что я сказал «солнце» и это цитата из какой-нибудь книги, где написано, что это есть солнце. Я вижу солнце и говорю, что это – солнце.) Я опять возвращаю вас к теме, которую обсуждал в прошлый раз: действительно ли А длится само собой и оно будет в следующий момент времени? Нет, если нет приобщенности к некоей первичной активности; если ты существуешь внутри длящегося акта и не спишь при этом, тогда в следующем шаге времени что-то будет – если ты внутри этого длящегося акта. А само собой, у атрибута второго момента времени нет. И не будет. Стоит принять, скажем, агонию Христа как свершившуюся, то есть объект завершился, и он будет, якобы, длиться, то окажется, что не будет в мире христиан, например. Они не произойдут. Значит, то, что беспричинно, но длится, помещено внутри такого рода объектов. Вот так мы должны представить себе – такова структура Вселенной.

И поэтому, скажем так, взгляд Пруста состоит в следующем: то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь. Следовательно, не после этой жизни – вечность, а вечность есть вертикальный разрез по отношению к последовательной горизонтали нашей жизни. Мы движемся все время вперед, и нам кажется, что вечность где-то после этого. Или, например, другая жизнь, или бессмертие и т.д. А философ утверждает и Пруст утверждает, что в

действительности вертикальный срез нужно представить в какой-то (Бергсон сказал бы, и Мандельштам вслед за ним повторял) связи веером. Ну, разворачивайте веер, у него есть связь в последовательности, а есть веерная связь, то есть вертикальная к развороту, к протяжению веера. Вертикальная связь самого веера. Вот что имеется в виду, когда Пруст говорит об обретенном времени. Все другое время по отношению к тому, которое я описываю сейчас, есть потерянное время. А обретенное время – время **внутри этого вечно длящегося**, и поэтому Пруст сказал бы, что то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь. Если ты живой. Или, иными словами, в мире Пруста не существует воскресения после жизни. Если ты воскресаешь, то в этой жизни, а если ты в ней не воскресаешь, то никогда не воскреснешь, – если ты не восстановил живые состояния внутри этого длящегося акта. Например, заснул, как заснули апостолы, – если бы они навсегда заснули, то есть если бы полностью выскочили из этого акта, то не воскресли бы. В этой топографии нашей душевной жизни воскресение не после жизни наступает, а в этой жизни. Поэтому Пруст осторожно говорит, что другая жизнь не после этой, а вне. Вне – имеется в виду этот вертикальный разрез. Вот представьте себе: я смотрю вперед, по горизонтали, и в это время происходит событие, вертикальное по отношению в горизонтали моего взгляда. Горизонталь моего движения. Потому что в последовательности ясно, что событие распятия Христа совершилось. Оно совершилось – только в этой ли последовательности расположена моя душевная жизнь? Я утверждаю, что существенные события нашей душевной жизни не расположены в этой последовательности. В ней происходит что-то, что мы можем представить себе, на нашем человеческом языке, только по вертикали. По вееру. Чаадаев то же самое повторял. (Единственный мыслитель во всем XIX веке, русском, потому что всех остальных мыслителями считать, конечно, нельзя. Они были чем угодно – народолюбцами и т.д., но ни один из них не мыслил. Мыслил один человек за весь XIX век – Чаадаев.) Он говорил в письме Орлову, что из трех христианских добродетелей – вера, надежда, любовь – мы, к сожалению, должны отказаться от одной из них, а именно – от надежды. Потому что в нашей ситуации, на что бы мы ни надеялись (а мы только с надеждой можем что-то предпринять), чем больше мы что-то предпринимает, тем больше мы погружаемся в болото. Представьте себе: вы движетесь в болоте, что-то делаете, и чем больше вы движетесь, тем быстрее в эту трясику опускаетесь. От надежды, говорит Чаадаев, надо отказаться. Только вы, к сожалению, не можете этого сделать, потому что верите в то, что вас от другой жизни отделяет лопата гробовщика. То есть вы проживете жизнь, а там есть какая-то другая жизнь, после вашей смерти. Ничего подобного, говорит Чаадаев, этот мир и это царство здесь существуют, если мы разрушаем другое, духовно, конечно, разрушаем другое, и переключаемся жизненно – куда? Вот в это другое царство, которое есть разрез этой же самой жизни. Никакого потустороннего мира нет для Чаадаева. Есть особый срез того, что здесь, сейчас происходит. И в этом срезе – жизнь, живая и полная жизнь, но более реальная, чем наша повседневная обыденная жизнь.

И вот я сказал, что эта точка в то же время есть точка некоторого абсолютного «я», отличного от нашего психологического «я». И это отличие абсолютного «я» от психологического «я» есть стержень всей формы прустовского романа. Эта форма современна и революционна по отношению к традиционной форме романа именно в силу различия между некоторым слоем душевной жизни, который протекает в измерении абсолютного «я» или абсолютного «я», сращенного с длящимся актом, и – психологическими «я». Я не случайно оговорился, сказал «я» во множественном числе: у Пруста есть одно абсолютное «я», или, как выражается Пруст, интуиция нас самих как абсолютных существ. Естественно, конечно, что то существо, которое

поместило себя внутрь длящегося акта, имеет интуицию самого себя как абсолютного. Так вот, по отношению к нему есть другие слои нашей душевной жизни, в которых «я» многочисленно. Там много «я». То есть роман Пруста есть «многояйный» роман. Бесчисленное множество «я» в одном и том же лице. (Я приведу вам совсем другой пример; он словесной метафорой вам, возможно, поможет; другая область – эротически-любовная. Блок, страдавший многими комплексами в своих взаимоотношениях с женщинами, был одержим представлением о некоей сверхлюбви, о неких сверхобъятиях, отличных от того, что возможно в жизни, и максимально испортил свою личную жизнь, реализуя в ней разные эксперименты. Реальные отношения у него были с другими женщинами, но не с любимой женой. И в его записной книжке была странная фраза, которая структурно есть то, чем мы занимаемся. Он пишет так: «У меня есть только две женщины в жизни. Одна – Люба, а другая – все остальные». Если угодно, можете на такой манер представить проблему «я».) И вот прустовский ход в этой проблеме, в этом представлении о его «я», то есть о субъекте переживания, или о субъекте романа, который пишет его, и есть то, что я назвал невербальным корнем нашего бытия, который ты сам переживаешь, и все то, что ты извлекаешь из своего переживания. Из того, что ты поместил себя лично внутрь длящегося акта. Ты не спишь в момент, когда длится этот акт. А акт длится вечно. Агония Христа длится вечно. Оказаться внутри ее я могу только **собственнолично**. Это есть то, что я называл **невербальным**. И это «невербальное» есть общий корень человеческого бытия, – если я защищаю свое абсолютное «я» внутри этого акта, я защищаю корень, из которого растут и другие люди. Общий корень человеческого я защищаю. Из которого и ваша жизнь. И все это – сейчас. В каком-то смысле это мировоззрение, вернее мировосприятие, Пруста есть ощущение, что жизнь – одна. То есть всем дана **одна жизнь**. Единица жизни. И если мы живем, то только одной жизнью. А если не одной жизнью, то это – не жизнь.

Я возвращаю вас к тому, о чем говорил в прошлый раз: ощущение этого некоторого абсолютного «я», которое есть критерий очевидности, критерий жизненности наших состояний, – Бог создал не людей, а создал меня. И каждый так говорит, так ощущает. Потому что, если Бог создал людей, он создал предметы. То есть мы должны представить какой-то натуральный акт, что Бог создал людей. Какие-то существа. Нет, Бог создал меня. То есть «я», о котором я говорю. У которого нет причин. Поэтому отсутствие причин и называется Богом. Это то же самое, что сказать: «совесть, которая причина самой себя». Вот когда ничего другого нет и тем не менее место занято феноменом совести, мы говорим: «по совести». То есть – ни почему. Так вот, **«ни почему»** и есть «я». Или – «я», **созданный Богом**. Я вовсе не отношусь к Богу как к какому-то особому предмету, который, в свою очередь, создает какие-то предметы, называемые людьми. Нет, Бог людей не создавал. Он меня создал. Я могу даже считать, что до меня вообще никого не было. Так же как нет для человека, который хочет понять нашу психологию, чего-то, что начинается до этой самой психологии. То есть до того, как он просыпается. Ведь просыпающийся не знает даже слов – в словах уже есть нити, связанные без него. Нет, он хочет сам связать. Следовательно, он предполагает, что как бы мир отсюда начинается. Предполагает, конечно, чтобы понять что-то. И в том числе – чтобы оживить самого себя, потому что, не сделав этого, ты не включаешься в вечный, в длящийся акт. Не включаешься в непрерывность. Или не попадаешь в центр. Как говорил Данте – все на равном расстоянии от меня, а ты почему-то нет. Вот все на равном расстоянии **через свое абсолютное «я»** по отношению к центру, каким является этот **вечно длящийся** акт, объект. Он длится, он не стоит на месте. Но это есть тем не менее особое место, которое и стоит, и не стоит. Агония Христа длится вечно. Она – свершившееся

событие, но оно (событие) свершается. О нем нельзя сказать, что оно свершилось. Пушки у Фолкнера не выстрелили. И в этот момент – дления и свершения – и вмещается весь микрокосмос Фолкнера. И в этот же момент просыпания вмещается весь микрокосмос Пруста.

Теперь я хочу немножко облегчить вам дело и показать, иными путями, прорастание мыслей, о которых я сейчас говорил, в более доступные и емкие вещи. Я приведу вам слова Чаадаева. К своим современникам Чаадаев обращался так: «Вам придется себе все создать... вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами». Вот представьте себе этот тип нравственной задачи. Ведь нравственные – социальные и духовные – проблемы русского человека XIX века существуют на почве, не им созданной. Эта почва максимально пропитана испарениями крепостничества. Ты можешь предпринимать А, скажем – быть крепостником, а можешь предпринимать В, быть антикрепостником, бороться. Но ты принимаешь общую почву. Что бы ты ни делал, испарения этой почвы таковы, что они изменят и исказят любое твоё духовное поползновение, любое твоё намерение. Чаадаев мечтает – даже воздух ты должен создать для себя сам и почву, на которой стоишь. Надо заняться, добавлял он к этой фразе, выработкой домашней нравственности народов, отличной от политической их нравственности. Политические задачи рождаются почвой. Политические существующие мнения тоже почва. А домашняя нравственность и есть то абсолютное «я», о котором я только что говорил. В начале этого века один из русских политических деятелей – Столыпин, считая, что России не хватает гражданских законов (вы знаете, что российскому микрокосмосу максимально несвойственно чувство законопорядка; есть чувство справедливости, может быть, но чувство законопорядка отсутствует), говорил (это был голос вопиющего в пустыне) о том, что нужно создать гражданина, который был бы носителем базы гражданских законов. Казалось бы, совершенно другая проблема, а я ее повторю словами Мандельштама: «Не город Рим живет среди веков, а **место человека во Вселенной**». Кстати, поэтому спешащие беззаконники, называющие себя разными словами, и шлепнули Столыпина, как у нас – Чавчавадзе. По тем же примерно причинам и тем же самым механизмам, то есть сработал примерно тот же самый механизм социальной жизни. Та же неразвитость общественного сознания; с другой стороны, ускорение прогресса демагогами, которые обещают тут же, мгновенно все, и – смерть людей, которым приходится стоять. Потому что нужен гражданин для гражданских законов, а гражданин должен рождаться из какого-то человеческого материала, и Столыпин хотел высвободить для него материал, разрушив общину. А создание гражданина есть – что? – время, длительность. Но длительность не социального дела, не социального строительства, а длительность человеческой жизни в том самом вертикальном измерении, в котором живут наши усилия. А на вершине усилия держится все остальное; без него «презрения достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Сколько хочешь законов придумай, – если нет людей, которые держат закон, не будет ничего. В том, что я говорю, проглядывают некоторые общие структуры. Я привел пример Столыпина, – конечно, этот человек взял на себя вину (вы знаете, что в 1905 году расстреливали), и дело в том, что без вины нельзя. Потому что, если ты хочешь остаться невиновным, не остановишь «живых Христов и Богородиц», которые тут же хотят все перелопатить. Они спешат, они боятся, что без них дело сделают. Кто-то другой во времени сделает. А они сами хотят, – будучи живыми Христами, то есть чистыми. Кстати, это деление людей на чистых и нечистых идет из традиции, которая возникла как еретическая внутри христианской мысли (я имею в виду Иоахима Флорского), там даже слова возникли, которые говорят о «тысячелетнем царстве». Царство чистых. (И не случайно у нацистов появились те же самые

слова – «тысячелетний Рейх». Это тоже законы жизни, по которым на одни и те же места нашей топографии – не на эмпирические места – становятся одни и те же слова. Вот у немцев появился «тысячелетний Рейх» чистых.)

Так вот, я хочу сказать следующее: во-первых, мы имеем дело – во всем начале XX века – с каким-то пробуждением человека, которое, как всякое пробуждение, занимает время, и в действительности мы находимся не в 1984 году – применяя то понятие времени, которое мы сейчас ввели (если это можно назвать понятием), – мы находимся в точке, где жили люди 1895 – 1905 годов. В точке – до первой мировой войны. По проблемам, которые перед нами стоят. Те же самые проблемы. В том числе проблема внутреннего человека, который может на собственный страх и риск, на волне своего усилия, собственноручно держать закон. К концу XIX века выявилось, что нормы и правила, законы не работают сами по себе, что цивилизационные правила и законы являются всего лишь довольно блестящей, но тонкой пеленой жизни, что под ними скрывается хаос (об этом предупреждал Ницше) и этот хаос может взорваться. Что люди, выполняющие нормы, потому что это – нормы, ненадежные носители этих норм и законов. Если эти нормы не проросли через их внутренний невербальный корень собственного, личного испытания. То, что не куплено личным, собственным испытанием, – хрупко, шатко, может рухнуть, и – так и рухнуло в первой мировой войне. И рушится по сегодняшний день. Это тоже отрицательный, но длящийся акт, внутри которого мы находимся, и в этом смысле мы живем не в 1984 году – по исчислению внутренней жизни мы живем в точке перелома веков – XIX и XX. И значит, у нас та же самая проблема (и она косвенно выражалась в разных вещах) – проблема **внутреннего человека**. В области искусства она впервые очень четко была проиграна в этом смысле символистами (в том числе грузинскими символистами). Проблема внутреннего человека, который независимо (не в силу норм и не в силу прошлых причин) – сам держит мир. Для того чтобы держать мир, ему нужно срезать привычное, устоявшееся, хотя бы мысленно. Под этим выявить живой пласт, под культурой – вот они чем занимались. Потом на волне символизма этим занимались сюрреалисты, акмеисты (названия разные, а в действительности все пошло от символизма). Символисты впервые отнесли к искусству религиозно-серьезно, как к чему-то, что является элементом изменения жизни **в этой жизни**. Не социального строительства жизни, которое происходит в эмпирической последовательности. Ну, вы знаете, что, по программе, в 1980 году мы должны были жить при коммунизме. Была дата такая. Представьте себе, что вы что-то делали в терминах нравственности или безнравственности в 1960 году, что должно было получить свой нравственный смысл в 1980 году, когда был бы построен коммунизм. Так вот, я задаю вам вопрос: в то время когда вы это делали, проецируя смысл в 1980-й, чтобы он оттуда осветил бы ваше поведение и поступки в 1960-м, – так тогда у вас была нравственность или нет? Если так строилось, то, конечно, ее не было. (Аналогичная структура работает и в наших актах понимания, любви.) Говоря об этом внутреннем человеке как проблеме века, я тем самым говорю и то, что эта проблема существовала и в эпоху Возрождения. Условно скажем так: проблема евангелического человека. Человека Евангелия, а не Церкви. Внутреннего человека Евангелия, который не из текстов вносит в свой мир какие-то законы, нормы, правила, а рождает их сам из собственного невербального корня испытания. А испытание – рискованное, ты один на один с миром (я описываю ощущение человека Возрождения). Собственным риском и на свой собственный страх ты проходишь путь испытания. И вот это испытание имеет бесконечную ценность. Кант сказал бы так: бесконечную ценность морального лица. Мы опять получили бесконечный объект. А именно: моральное лицо. Бесконечный объект, лишь внутри которого длится что-то. И

есть попытка снять атмосферный столб привычки и восстановить невербальный живой корень риска. Engagement, как сказал бы Пруст, ангажирования. Тогда ты узнаешь то, чего нельзя узнать другим путем (мы говорили, что есть что-то, чего нельзя знать). А моральное лицо есть то, которое **лицом** делает что-то. То есть предпринимает опыт на свой страх и риск. Само. И этот опыт бесконечной ценности испытания есть то, что другими словами я называл «чего нельзя знать».

ЛЕКЦИЯ 8. 24.04.1984

Сегодня мы будем разбирать тему впечатлений. При всей своей внешней невинности и эстетичности, эта тема настолько глубока, что при ее анализе можно выявить все нити и сочленения прустовского мира и нашей собственной душевной жизни. И поэтому я могу ее обозначить следующим образом. Пруст часто употребляет в разных случаях одно и то же слово – «впечатление», l'impression, или импрессия. Тут нужно вглядываться или вслушиваться в слова. Они, к сожалению, теряют свой метафизический заряд. **Впечатление.** То есть то, что запечатлено. То, что запечатлелось. Мы же обычно, употребляя слово «впечатление», имеем в виду какое-то ментальное содержание. И теряется полуфизический, чувственный оттенок запечатления. Импрессия, запечатление, то есть не просто наши представления, – что-то особое. И вот когда Пруст употребляет это слово, он всегда говорит, что такого рода впечатления (пока мы не знаем – какого; какая-то особая категория вещей, называемых впечатлениями) были как бы залогами, или заложениями, фундамента действительной жизни. Непонятная фраза. Но если метафорически себе представить, то... как бы шепот или шелест какой-то ткани, или слышимый нами шелест ткани действительного строения жизни. Повторяю: представьте себе, что есть какое-то действительное строение жизни, отличное от того, что мы видим. Обычно мы его не видим: мы глухие и слепые по отношению к действительному строению нашей жизни. Или к жизни вообще. Мы видим все остальное и слышим все остальное, но действительного строения, или ткани, жизни, мы не слышим и не видим. Есть какие-то привилегированные моменты, называемые впечатлениями, которые доступны нам, слышимы нами – шелест этой ткани. Вот она шелестит, и шелестит этими впечатлениями. Это может быть пирожным «мадлен», может быть колокольней, деревьями. Все это это – будь то цветок боярышника, три колокольни, пирожное «мадлен» – есть нечто, что под видом колокольни, под видом пирожного, под видом боярышника что-то говорило мне. То есть это не есть впечатление от колокольни самой по себе, не есть впечатление от цветка самого по себе, а какой-то цветок и – впечатление от него, какая-то колокольня и – впечатление от нее, такое, что нечто под видом цветка, колокольни нам предстает. Это «нечто» есть разбросанные там и сям, по ходу всей жизни, куски фундамента настоящей жизни. Или услышанный нами шелест действительного строения жизни. Вот коротко, пока метафорически, вся прустовская тема.

Прежде чем пойти дальше, я обозначу суть дела следующим образом: прустовский роман, кроме тех определений, которые я вам давал, есть роман мотива. Не в психологическом смысле слова, как в психологии говорят «мотивация», а в музыкальном смысле. Роман мотива (нужно на эту ноту настроиться) – нечто, что повторяется, во-первых, и, во-вторых, в нем есть что-то ясное, чарующее нашу душу и в то же время непонятное. И именно непонятность мотива, сладостная непонятность, заставляет его повторяться. Роман Пруста представляет собой как бы роман соединенных гроздей или – четки. Представьте себе четки, каждая бусинка которых разделена каким-то пространством, и через энное, сравнительно пустое пространство – пустое в том смысле, что оно занято разными описаниями, персонажами,

приключениями, сюжетными ходами, – вдруг – четка, бусинка и там – что? Там будет обязательно впечатление, там будет автор, разгадывающий впечатления. Причем в разгадку впечатления – будет ли это впечатлением от пирожного «мадлен», от лица женщины, будет ли это впечатлением от цветка или от колокольни – будут вплестаться все темы душевной жизни. Это будет проиграно на десяти-двадцати страницах, потом наступит пустое пространство перебираемой нитки, потом снова бусинка, снова то же самое. И поэтому я говорю: роман мотива, непонятный, чарующий, до конца толком самим автором не расшифрованный, но он звучит, звучит, звучит и охватывает собой внутреннюю бесконечность душевной жизни и бесконечность развития освобождающейся души. Души, которая освобождается от этого мира и вступает в мир настоящей жизни по пути расшифровки впечатления.

Кстати, на примере ошибки перевода я могу проиллюстрировать, что есть какая-то совершенно точно отрегулированная гармония, скрытая гармония нашей жизни, которая внешне выражается словами, и если она выражается, то именно определенными словами, а не другими. И если человек ее не чувствует, то есть если у него нет музыкального слуха, в широком смысле слова конечно, потому что у души есть своя музыка, то, если нет этого слуха, он просто этого не слышит. Сначала я вам напомню тему мгновения. Я говорил вам: то, что я сейчас называю впечатлениями, совмещено с точкой удара молнии или, условно выразимся, с мигмом святого Иоанна. С евангелическим моментом: «Ходите, пока свет с вами. На малое время свет с вами». Вспомните – Марсель вдруг увидел три дерева, которые вызвали в нем странную радость. А я вам уже говорил, что радость – это критерий очевидности. Состояние, которое требует расшифровки, поскольку если ты испытал эту странную радость, непонятную, то это означает, что за ней скрывается какой-то закон. Или, как я сейчас говорил, – ткань действительной жизни, и ты должен это расшифровать. И вот, маня какой-то странной радостью, деревья машут ему своими ветвями, и Марсель никак не может понять, что они хотят ему сказать. И идет такой пассаж: *«Деревья удалялись (а автор еще не расшифровал – не успел, что они ему хотели сказать) и отчаянно махали руками, как бы говоря: того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услышать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе (вспомните, что души запечатаны в какие-то предметы, скажем, закованы в деревья, как у Данте, и они умоляют нас освободить их из той оболочки, в которой они находятся), то целая часть твоего «я», которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие»*. То есть если не сейчас и не здесь, если не остановился и под знаком молнии или синтаксиса молнии не поработал, то все... Отложил – уйдет в небытие. Понадеялся, что другой поможет, – уйдет в небытие. Теперь вы понимаете, что в такого рода впечатлениях (я делаю первый шаг к расшифровке) речь идет о воссоединении одной части души с другой частью этой же души. Деревья, которые обращались к нашему герою, несли ему часть его души, и, не расшифровав их, он терял часть своей души (ну, это будет потом прошлым и т.д., пока мы не знаем, что такое прошлое, пока будем оперировать теми понятиями, которые у нас есть). Я цитировал вам Гумилева: «О, как божественно соединенье созданного друг для друга!» Значит – какое-то устройство; есть вещи, созданные друг для друга, и весь путь состоит в том, что они должны воссоединиться. Для этого они должны встретиться, но, даже встретившись, они могут не воссоединиться, если мы не поработали. Так что это значит? Это значит – потерять часть своей души, умереть по отношению к самому себе, позволить уйти части самого себя в небытие. А небытие есть смерть. И далее – он ехал в коляске, она свернула на другую дорогу, эти деревья ушли, и он так и не понял, не расшифровал, в отличие от других впечатлений, которые он понял, – Пруст пишет: «...мне стало так грустно, как

будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога». Неточный перевод – конечно, не из цензурных соображений, потому что здесь нет проблемы цензуры (в крайнем случае, проблема цензуры была в том, что слово «Бог» написано с маленькой буквы, но, кстати, у Пруста тоже с маленькой буквы, потому что речь идет о боге в смысле многобожия), просто нет унисона в понимании гармонии духовной жизни, которая здесь излагается, а есть настрой на эстетические красоты. И эстетические красоты погубили суть дела. В действительности Пруст пишет другое: «...как будто я только что потерял друга или умер перед лицом самого себя...» (А у переводчика нейтрально – «или умер»; ну что значит – «умер»? Умер.) **Умер перед лицом самого себя.** «Mourir á soi-mé me». Или – «забыл умершего». Не забыл умершего, а **отрекся от умершего.** Здесь ведь глубокая философия. Дело в том, что закон душевной жизни состоит в следующем: **мы живы, если мы держим живыми других.** Я же вам говорил в прошлый раз, что **если мы воскресаем,** то воскресаем **мы в этой жизни.** Точно так же мы воскрешаем **других.** Но дело в том, что мы не только других воскрешаем. Держа живыми других, мы живы **сами.** И только так можем жить. Поэтому у Пруста осмысленно сказано: отрекся от умершего. Точно так же дальше – не «отошел от какого-нибудь бога», а «не распознал бога при встрече». Так же как не распознал впечатления. **Не распознал бога** – совсем другой смысл (я пытаюсь через ошибки перевода настроить вас на точность восприятия и одновременно выявить какие-то смыслы). Значит, вообразите деревья, протягивающие руки (ветви) к нам: «Как тени, они просили меня взять их с собой, вернуть их к жизни». Так написано у Пруста. В переводе: «Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой, оживить». Не сразу заметно, в чем здесь дело, да? Казалось бы, то же самое. Но, повторяю, наша жизнь устроена точно. И слова должны быть точными. Привидения – что-то, что само по себе существует, а тень – моя, наша. У каждого своя тень. И только из собственной тени – свет, и вот эти нерасшифрованные души просили героя, чтобы он их сделал своей тенью. Не привидением вовсе, а тенью. Тень идет с тобой, она твоя, и из нее может вырасти свет. Очень простые вещи. Но когда мы не считаемся с точностью устройства языка нашей душевной жизни, получается то, что получилось здесь. (Значит, я сказал, что весь роман Пруста – замкнутое ожерелье или четки, и мы можем перебирать их и через какие-то промежутки встречаемся с бусинкой такого рода. Пруст говорил, что, к сожалению, нельзя весь роман, который содержит энное число страниц, заполнить подлинными впечатлениями. Действительно, этого нельзя сделать. Приходится и просто какие-то промежуточные вещи вводить.)

А теперь приступим к сути дела. В прошлый раз я локализовал прустовский подвиг (не знаю, как это назвать) в истории культуры. Я сказал, что мы как живые существа в наших попытках жить осмысленно и свободно находимся в той же самой точке, имеем перед собой те же препятствия, те же проблемы, что и на рубеже веков. И теперь, чтобы был понятен в контексте культуры тот отрывок, который я приведу, – вот такую душу, которая предстала нам в этом экземпляре, я назову классической душой. Классическая душа, или то, что я называл внутренним человеком, или универсальный человек, полностью живой и здешний человек. Весь живой и весь здесь – этот человек родился на волне Возрождения (европейского Ренессанса). И чтобы было ясно, о чем я говорю, – струна, вокруг которой душа эта существует, звучит следующими словами: что бы ни было, ты можешь! Или, иначе, – тебе не нужно, чтобы весь мир был хорошим, для того чтобы самому быть хорошим. Чтобы ты чувствовал себя прекрасно, ты не требуешь, чтобы в мире вокруг тебя были цветы. Пусть будет бензин, из бензина можно. **Что бы ни было, я могу.** Это очень крепкий желудок – классическая душа. Она может переварить все. Царящую вокруг

несправедливость, несчастья, беды и т.д. Она предполагает мужество, конечно. Это мужество я определил словами, относящимися непосредственно к Прусту. **Мужество невозможного.** Мужество **вне** каких-либо благонамеренных мироустроительных идеологий, которые всегда предметны. Которые всегда предполагают насыщение среды хорошими предметами, чтобы человек был хорошим. В классической душе этого не может быть. И если вы возьмете любой текст Декарта или, ближе к вам, поэтический текст Донна, английского поэта, вы там увидите четкое биение этой струны. Стояние человека один на один с миром и убеждение, что есть какие-то тайные пути порядка, которые держатся на мужестве невозможного. Невозможное – не существует никаких механизмов, которые сами собой, независимо от твоего усилия и твоего мужества, что-то в мире обеспечивают. В мире нет предмета, перед которым можно было бы упасть на колени и сказать: «Вот это – верх совершенства! Это прекрасно!» Философы считают, что в мире вообще нет предмета, указующего на высший смысл. И соответственно нельзя ожидать, требовать, что я буду стремиться к высшему смыслу, только если вы мне покажете в мире такой предмет, который был бы носителем этого смысла и реализовал бы его. Этого требует неклассическая душа. Или, условно назовем, «женская душа». Скажем, такова была душа Блока. Она требовала хозяина, но хорошего. Таким хозяином была стихия. Ему нужно было, чтобы вокруг была прекрасная стихия, и тогда можно было бы жить. Такие, как Пруст, этого не требовали. Они могли считать – что бы ни было, ты можешь. Пруст называл это **экспериментальной верой**.

И еще один шаг сделаем, метафорический. Может быть, он поможет вам сориентироваться в дальнейшем путем такой наглядности. Вы теперь представляете, что классическая душа движется в мире сквозь привидения, сквозь тени, движется на слух по шелесту действительной ткани жизни, имея силу и мужество остановиться и заняться расшифровкой того, что голос говорил. И в одном из самых символических произведений мировой литературы, в «Божественной комедии» Данте, ситуация этого движения вводится следующим образом. Чудище Герион всплывает на глазах у изумленного Данте из темной бездны, неопишное чудовище, вызывая слова: «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами». Оно всплывает после того, как два наших героя, Вергилий и Данте, веревкой вызывают это чудовище из тьмы, из бездны. Уцепимся за эту веревочку Вергилия, потому что она есть как бы поверхность и «плоскость нашего движения, и мы увидим дальше, что, во-первых, веревочка эта – двойная нить жизни и смерти, и, во-вторых, она вьется, – в песенке Высоцкого, если вы помните: «Она может в плоть свиться...», а может свиться и в петлю на виселице... Есть какие-то вещи, с этой веревочкой связанные, с помощью которой мы что-то расшифровываем и можем понять или не понять. Есть какие-то запреты и есть какие-то разрешения. Есть какие-то места и тупики, в которые мы сами себя загоняем, пытаюсь расшифровать. Скажем, явная веревочка – мы начинаем расшифровывать... мы пытаемся вспомнить, какое же выражение лица было у моей возлюбленной, когда она сказала эту фразу. И очень существенно вспомнить это. И ревность настраивает мои антенны на то, чтобы это вспомнить. Ведь это было сказано, и физический след этого должен был бы остаться. Но нет, вспомнить нельзя, потому что запоминал любящий. Тогда, там, когда это происходило. А любящий устремлен вперед. И отсеивал все, что рядом происходило. А когда потом он хочет вспомнить, вся эта информация потеряна. То есть нельзя быть одновременно и там и там. Так же, как, будучи живым, я не могу представить себе, как я умру, хотя я все время это делаю. Но это все ложь. Так же, как, будучи влюбленным, я не могу себе представить, что будет, если я не люблю. Потому что вся ситуация изменится, а я не обладаю элементом этой ситуации в моем воображении. В моем

воображении я не могу себе этого представить. Я привожу вам примеры этого витка веревки, которой мы Гериона из бездны выманиваем. Мы-то его выманиваем из бездны, но иногда сами себе на шею петлю этой веревочкой набрасываем. Или, скажем так, переводя в объективные термины, – у Пруста очень часто звучит такая фраза... Я вам уже частично говорил, что одним из законов нашей жизни является то, что какая-нибудь наша фундаментальная потребность может совместиться с каким-то предметом и затем уже сама реализация этой потребности требует именно этот предмет и только через него может выражаться. Ну, скажем, потребность в нежности есть потребность человеческого существа вообще. Но если она совместилась, как говорит Пруст, с Альбертиной, то стоит мне, говорит Пруст, испытать потребность в нежности, как я испытываю потребность в Альбертине. Могла быть другая женщина, но «это была Альбертина», – необратимый процесс, в котором реализация одной возможности **исключила** другую. А потенции человеческой жизни богаче, чем реализованные возможности. И это будет одной из основных наших тем – насколько смерть является условием того, чтобы жить. Ведь сколько нужно сил, чтобы жить всеми сторонами нашего существа, и этих сил может не хватить. В том числе еще и потому, что в социальном и в культурном пространстве вокруг нас не существует готовых форм, которые не приводили бы к недоразумениям, к непониманию, таких форм, чтобы мы могли осуществлять все наши потребности или наши потенции, не убивая их в себе. Приведу слова Пруста: мы всегда кончаем тем, что живем с женщиной, которую не любим, или со страной, которую не любим, или с женщиной, которая воплощает в себе целую страну. В данном случае смерть каких-то потенций является просто условием, чтобы мы могли дальше жить. Или – можно сказать так: смерть наших способностей, желаний, состояний является проявлением самих же сил жизни. Чтобы жить дальше, мы должны в себе что-то убивать. Сказав «убивать», я тем самым ввел тему существования каких-то пропорций в мире и в нашей душе. Или чего-то неделимого. Ну а сейчас переведем дыхание и возьмемся за эту очень сложную вещь, но я попробую такие примеры приводить, чтобы все же была бы какая-то индукция понимания в наших головах. Именно индукция, а не полная передача понимания.

Мы знаем, что роман Пруста начинается с образа просыпающегося человека. И не случайно – потому что важным вопросом является, каковы, собственно, основания того, что я просыпаюсь в качестве «я»? Что первая персона, кого я хватаю с радостным криком за шиворот или за волосы (если они есть), это – «я»? Это не само собой разумеется. Пруст говорит о таком человеке, что его «миры выбиты из орбит». *Les mondes dé sorbité s.* Выбитые из орбит миры. Ему интересно провести этот эксперимент, потому что нужно ввести координаты для этих орбит. Сначала без орбит начнем, а там посмотрим, каковы координаты наших орбит. Так вот, индивид просыпается, и мы понимаем, что просыпающийся индивид, во-первых, не имеет психологических характеристик, не имеет антропологических характеристик, человеческих характеристик пока никаких у него нет, и, во-вторых, он явно просыпается как часть какого-то индивида. Итак, просыпающийся просыпается в качестве части какого-то индивида – не самого себя как индивидуального человека, а индивида в том смысле, как я говорил вам в самом начале нашей встречи, – в море как стихии, или в воде как стихии. Некое индивидуальное целое, внутри его есть элементы, а вне его – это мертвые части. И здесь мы сталкиваемся с тем, что я назвал **неделимостью** или существованием каких-то пропорций в устройстве и мира и нас самих. И, чтобы пояснить существование этого неделимого или неизменного, я сделаю следующий шаг. Ну ясно, конечно, что мы сталкиваемся, хотя это слово не употреблялось, **с бесконечностью**. В каком смысле слова? Свойство привлекательно-загадочное (такое же, как

впечатление для Пруста), ясное, манящее и до конца толком не расшифрованное, которое, может быть, будет для вас мотивом, – мы сталкиваемся с тем, чего **нельзя начать**. Поэтому я сказал: мы просыпаемся как части индивида или целого. Нельзя начать, например, историю. Странная фраза. Но это установленный факт, точнее, закон. Историю нельзя начать; она или есть, или ее нет. Для себя воспользуйтесь следующей метафорой, опять евангелической (я не проповеди вам читаю, но есть удачи человеческого языка душевной жизни, и они в некоторых книгах записаны, и мы можем ими воспользоваться): как посолить соль, если ее нет? Можно ли посолить соль? Соль или есть, или нет ее. Нельзя посолить соль. Потому что, чтобы посолить соль, нужно иметь соль и т.д. Задайте себе вопрос: можно ли начать мыслить в абсолютном смысле слова? Нельзя начать мыслить. И именно в этом смысле слова человек просыпающийся, то есть просыпающийся к сознанию, не начинает сознания в абсолютном смысле слова. Он просыпается как часть **уже существующего** сознания. Вы можете думать над этим, задавая в качестве мотива вопрос: можно ли начать мыслить? Я вам скажу, что, если уже не мыслил, начать мыслить нельзя. **Мыслим, если уже мыслили.**

Роман – без нажима, без философских слов – легко и элегантно все это делает. Но все-таки за этой легкостью и элегантностью мы должны кое-что ощущать. И когда мы это ощущаемое переводим на доступный нам язык, тогда нам приходится рассуждать и так, как сейчас я это делаю. Иными словами, когда мы оказываемся внутри того, чего нельзя начать, то в нашем эмпирическом сознании, которое есть психологически у каждого человека, начинаются изменения и смещения. Куда-то смещается (и изменяется) наше сознание. К чему-то смещается. К какому-то центру. Мы уже можем смутно угадывать, что центром может быть точка равновесия, о которой я говорил уже (к сожалению, все, что мы говорили, нужно держать в голове, что очень сложно). Эти смещения в нас происходят в сторону того, что стоит на месте и проявляет себя соответствиями. Сейчас вы смотрите на меня изумленными глазами... но, простите, ведь мы уже имели это в нашей работе. Помните, я цитировал вам Данте, Пруста, Мандельштама и еще кого-то, не помню кого... Уже в нашей собственной работе, то есть в моем рассказе и в вашем слушании, были соответствия. Когда мы хотели о чем-то с толком говорить, мы вдруг обнаруживали, что есть эта же мысль у Мандельштама, эта же мысль – у Данте, и когда мы что-то хотим сказать, то сказанное нами сразу существует множественно. Или, как философы выразились бы, **в континууме**. Есть континуум мысли, или континуум состояния. Как только мы начали мыслить, мы сместились к тому, что уже есть, что неподвижно стоит и проявляет себя в нас, когда мы движемся, в нас, движущихся, соответствиями. Мы начинаем совпадать с Мандельштамом, Прустом, Данте и т.д. И это же есть и в предмете, с которым мы хотим разобраться, то есть в романе Пруста. Есть и в нашем стиле занятий, и в романе. И дело в том, что если бы не было такого устройства, то наша жизнь была бы хаосом и наша психика была бы распадом и патологией. Платон в свое время говорил – фраза, которая является, пожалуй, вершиной философской отвлеченности и философского умозрения. Она прозвучит совершенно абстрактно и непонятно, но привлекательно. Он говорил так – на то, что я сейчас скажу, цитируя Платона, наложите то, что я перед этим говорил: стоит неподвижно, место неизменно, проявляет себя соответствиями, – если бы каждый раз рождалась новая душа, то все было бы хаосом и распадом. И точно так же – для того чтобы была социальная жизнь, в полисе должно быть, скажем, 7 тысяч очагов (очаг – это единица социальной жизни, в данном случае семья), конечное и заданное число душ. Совершенно непонятная вещь. Ясно, конечно, что под душой он не имеет в виду душу, присущую каждому отдельному человеческому телу, он имеет в виду какую-то

более крупную единицу; но самое главное, что Платон имеет в виду: **воспроизводится** нечто **соответствиями – через них**, – воспроизводится какое-то число индивидов. Или душ, как говорит Платон. Или некоторых неделимых единиц. Я приведу вам два примера существования такой неделимости. Неделимость означает, что что-то есть в максимуме, то есть по всему глобальному, за наши пределы уходящему пространству, и есть в минимуме, то есть в маленькой точке здесь. Все большое есть и в малом (условно представьте себе то, чем морочат вам голову голографы; есть такая современная область оптики, называемая голографией, где вы любую точку разрежете и там окажутся представленными все остальные точки).

Итак, социальный пример. Я специально привожу такие примеры, потому что моя задача, в конце концов, как и ваша, – жить, а жить можно только мысля. То есть имея определенный взгляд, или, как говорил Пруст, стиль. Вы знаете, что существует в медицинской этике запрет на убийство смертельно больных. Так называемая эвтаназия. Убийство из сострадания. Доказуемо, и для нашего глаза, нравственного и физического, совершенно достоверно ясно, что человек так безысходно физически страдает, что было бы морально допустимым убить этого человека. Освободить его от этих невыносимых страданий. Медицинская этика это запрещает. Запрет чисто формальный. В том смысле, что по содержанию наш человеческий глаз в каждом конкретном случае говорит, что можно помочь ему умереть. Он же нас просит об этом. А запрет существует. И мы что – должны нарушить запрет, подчиняясь голосу нашего взгляда, который видит факты? Конкретное содержание требует этого. Философ же и любой развитый человек будет на стороне запрета, а не на стороне содержания. То есть будет на стороне формы, а не на стороне содержания. Почему? Во-первых, мы не знаем, не будучи в состоянии проследить все связи мироздания, мы не знаем, с какими элементами сцепится акт убийства человеческого существа. А не знаешь – не вмешивайся. Во-вторых, самое главное: мы не можем и не имеем права создавать прецедента того, что на основе точного знания можно убивать. Потому что знания взаимозаменяемы. Здесь я точно знаю, что человек безысходно страдает и можно его убить, но это знание в принципе ничем не отличается от знания другого, который твердо знает, что еврея можно убить. Проведите мне разницу между одним знанием и другим... Не проведете принципиальной разницы. Следовательно, убиение безысходно страдающего человека на основе знания (ведь основа какая? я знаю, что он страдает) исключено. И вот основа исключения, то, что я назвал формой, и есть неделимое. То есть то, частью чего являюсь я сам. И сейчас я это поясню другой стороной этого же примера. Скажем, кто-то скажет, что нужно убивать неполноценных людей, больных людей (сейчас я уже отвлекаюсь от тех страдающих, убийство которых есть несомненный акт милосердия, казалось бы). Вы знаете, что существуют такие теории. Они периодически имеют то медицинские основания, то расовые критерии. А есть и социальные теории такого рода. Есть целые классы, которые по каким-то критериям могут быть неполноценными, и их нужно убивать. Но посмотрите, что здесь происходит? Дело в том, что быть больным – и в этом смысле рисковать смертью, болезнью – есть неотъемлемое право человека. Если вы покуситесь на это право другого, вы отнимете его у самого себя. Я уже отвлекаюсь от того, что невозможно провести границу между другими и собой, – что сегодня вы начнете на твердом основании, скажем, убивать сумасшедших как ненужных или цыган как лишних и т.д., а потом кто-то вас объявит цыганом или сумасшедшим – я отвлекаюсь от этого, я просто беру сейчас только одну важную для меня сторону. А именно: **право** на то, чтобы быть больным, то есть право страдать, рисковать и умирать **самому** (а больной умирает сам, неполноценный страдает сам и умирает сам) есть неотъемлемое и неделимое право человека. И покусившись на него там, я

убиваю его в себе. Это неделимо. Одно. Это возвращается ко мне. Древние называли это гармониями. Разные были для этого слова. У Пруста – деревья обращены ко мне, они возвращают мне часть моей души, я ее должен услышать, а не услышав... часть моей души умрет. И тот, кто просыпался, если просыпался, то просыпался как часть этого неделимого. И миры возвращались на свои орбиты, но уже не на орбиты привычки, а на орбиты подлинной жизни, после проделанной тобой работы. Работы под знаком молнии. (Скажем, существуют такие условия производства товаров, при которых те, которые производят товары, не считаются с мнениями и вкусами потребителей. Вам эта ситуация знакома, так ведь? Но ведь это тоже пример неделимости. И говорят, что давайте заставим их считаться с мнениями и желаниями потребителей. А я утверждаю, что так мыслить нельзя. Почему? Да потому, что причина, почему не считаются с мнениями и с желаниями потребителей, та же, почему не считаются с мнениями и желаниями избирателей. Это неделимо. Одно и то же – и там и там. И если ты начнешь считаться с мнением потребителя, ты кончишь тем, что будешь считаться с мнением избирателя. То есть уже переходишь в политическую сферу. И наоборот. Значит, есть человеческие состояния, в которых все большое присутствует в малом и малое присутствует в большом. Неделимо.)

Я устанавливаю одну и ту же стилистику, то есть одну и ту же структуру, в совершенно разных областях. И то, что она одинакова в разных областях, наверно, не случайно. Язык, на котором говорится об этих одинаковых вещах в разных областях, и называется философией. Или метафизикой. Значит, мы с вами занимаемся в действительности не Прустом, а философией. И сам Пруст занимался этим же. И вот то, о чем я сейчас говорил, и есть внутренний механизм нашего метафизического писателя, механизм, который порождает именно такого рода описания. Именно те описания, которые собраны под обложкой романа, называемого «В поисках утраченного времени», есть нечто нанизанное на то, что называется стилем, точкой зрения или судьбой. И что значит метафизический писатель или метафизический поэт? Вот он видит так. Так же, как он видит рак под гладким бархатом живота. И это – судьба. В том смысле слова, что он не может его не видеть. Что есть в вашей жизни такого, чего вы не можете видеть? Вот то, чего вы не можете не видеть, есть то, что можно назвать судьбой. Потому что вокруг того, чего вы не можете не видеть, и будут кристаллизироваться эмпирические события вашей жизни. К этому ядру будут притягиваться люди, случаи, даже автомобильные и уличные происшествия и т.д. Это называется судьбой. Это же есть то, что я называл классической душой. Теперь я называю это метафизическим писателем или метафизическим поэтом. Так это есть способность жить, во-первых, светлыми радостями мысли, потому что то, чего ты не можешь не видеть, есть мысль и радость. В любом горе есть радость. Когда ты видишь то, чего ты не можешь не видеть. И ты видишь сплетение – чего? Тайных путей порядка. Этот шелест ткани, действительной ткани жизни. Вот как бы ответ на вопрос – пушкинский вопрос и к нему чаадаевский довесок. Знаменитое задумчивое рассуждение Пушкина: «Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки бабье лепетанье. Спящей ночи трепетанье, Жизни мышья беготня... Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу...» Наложите впечатление Пруста – то же самое абсолютно. Это мучение – «я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу» – Чаадаев называл мучением тайной времени. Человек мучается тайной времени. Или, я уже об этом говорил, тайными путями порядка. Это одно и то же. И писал Пушкину (Чаадаев) в 1829 году: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть вас посвященным в

тайну времени». Значит, быть посвященным в тайну времени – это мыслить, углубляясь в смысл. В смысл шепота или шелеста ткани.

Теперь закрепим пункты – о соответствиях я сказал: примеры соответствий мы уже имели в нашей собственной работе, потом я напомнил вам соответствия в самом предмете, рассказав о том, что есть нечто неделимое, частями которого мы просыпаемся, если просыпаемся. То есть если мы мыслим, – потому что мы просыпаемся внутри уже мыслящего. Если мы историчны, то потому, что – внутри истории. Историю начать нельзя. Кстати, Чаадаев считал, что Россия неисторична, потому что историю начать нельзя. Ну, так это или не так, это другой вопрос. Сами рассудите. Но вопрос осмысленный (я не случайно говорил, что Чаадаев единственный мыслитель XIX века в России). Значит, мы имеем то, что мы называем непрерывностью. А непрерывность есть то неделимое, о чем я только что говорил. Эта непрерывность, мы теперь понимаем, скрыта. Она скрыта за последовательностью, которая тоже нам кажется непрерывной, эмпирической последовательностью нашей жизни. Но мы уже знаем: то, что – **внутри** этой непрерывности, или этого неделимого, **живо**, а то, что выпало из нее, – мертво. вспомните, что я рассказывал вам о вечно длящемся акте. То, что внутри его или приобщено к некоторой вечной активности, живо. Но мы, наверно, приобщены к нему перемежающимся образом. И разделены – между моментами приобщения есть целые, как сказали бы французы, пляжи выпадения. Или рассеяния. Так же как на этих четках есть (в романе самого же Пруста) бусинки, но ведь не весь роман состоит из них. Между ними есть пустые куски нитки. Нельзя весь роман составить из одних только сгустков мотива. И, значит, я повторяю: эта непрерывность, действительная непрерывность, скрыта под видимой непрерывностью нашей жизни. С другой стороны, мы имеем то «я», которое я называл абсолютным. Или то «я», которое есть часть неделимого, то «я», которое не позволяет мне убить безысходно страдающее существо, хотя я знаю, что убийство его было бы для него милосердием. И тот субъект, который не может этого сделать, есть то «я», о котором я говорю. И то «я», которое есть «я» романа. И оно прикрито многими другими «я». Пока причин, почему их много, мы еще не знаем. И мы имеем – имея это неделимое – бесконечные объекты, как я говорил вам уже и теперь добавлю, – которые характеризуются тем (я сказал «неделимое», а теперь переведу на другой язык), что в них **смыслы завершены**. Толстой завершал рассуждения о смерти и жизни примером крестьянина, говоря, что у крестьянина-то смерть имеет смысл, потому что целое у него завершено. Оно не есть часть прогресса. А всякая часть прогресса не завершена сама в себе, так ведь? – А у него целое завершено в самом себе. Так вот, я сейчас дам вам другой поворот этого примера. Я приводил пример «неделимого» на материале – можно ли убить или нельзя убить, а сейчас я переведу это на язык причин. Когда я что-то или кого-то убиваю, то мотив мой строится в терминах причин. Я убиваю потому-то. Все эмпирические причины бесконечны. Одна причина сменяет другую. На каждую причину найдется другая, противоположная, и т.д. Скажем, на причину убивать еврея найдется причина не убивать еврея. На причину убивать цыгана найдется причина не убивать цыгана и т.д. И основания найдутся и пр. Чем интересны те объекты, которые я назвал бесконечными и которые расположены в ядре нашей жизни? Тем, что там все причины уже учтены. Там ответы существуют на все возможные причины. Например, запрет, содержащийся в эвтаназии (убийство из милосердия), содержит ответы на все причины. Почему? Да потому что он есть элемент способа производства смысла вообще. Если устранить этот элемент, то все способы производства человеком смысла, которые содержат в себе термины убийства, эвтаназии и т.д., разрушатся вчистую. Они вернутся к тебе разрушением твоей сознательной и языковой жизни, то есть это **абсолютные**

вещи или бесконечные объекты. Или завершенные смыслы. Они содержат в себе учет всех причин. **Все причины учтены.** К ним, к этим объектам, невозможно что-либо добавить, ничего не может добавиться. И, кстати, это и есть определение бесконечности. Бесконечно то, к чему ничего нельзя добавить и по отношению к чему все всегда не то. Всегда меньше. И еще один термин, который у нас промелькнул, – термин «вне». Я сказал в одном контексте, что психология, о которой мы говорим, – **вне** субъекта, вне самого субъекта. И сейчас мы это тоже закрепим метафорой.

Я ведь все время иду к тому, чтобы описать вам некое ядро нашей жизни, которое есть некоторая полнота, или – полностью оживленная и здешняя сознательная жизнь. Что перемежающимся образом существует в некоторой скрытой непрерывности. А в нашей реальной жизни мы то впадаем в эту первую, действительную, то выпадаем из нее. Не случайно в медитативных философиях и в религиозных медитациях существуют термины «рассеяние» и «собираение». Но никогда не предполагается, что может существовать человек, эмпирический, реальный, конкретный человек, который может быть всегда собранным. Такого не существует. И не может быть в мире. В древней символике змея была символом полноты или полной собранности сознательной жизни. Змея, кусающая свой собственный хвост. Это есть символ. Перед этим я сказал: **вне**. Не внутреннее человека – то, что мы называем внутренним миром, какие-то богатства нашего сердца и т.д., – а вот что-то, что есть и внутреннее и в то же время есть вывернутая наша внутренность. И змея – слушайте стихотворение Мандельштама:

В	самом	себе,	как	змей,	таясь,
Вокруг	себя,	как	плющ,	виясь,	
Я	подымаюсь	над	собой,	–	
Себя	хочу,	к	себе	лечу,	
Крылами		темными		плещу,	
Расширенными		над		водой...	
И,	как	испуганный		орел,	
Вернувшись,		больше	не	нашел	
Гнезда,	сорвавшегося	в	бездну,	–	
Омоюсь		молнии		огнем	
И,	заклиная	тяжкий		гром,	
В холодном облаке исчезну.					

Представим себе змею, которая, во-первых, есть целое нашей сознательной жизни: она вся свилась внутри нас, при этом она еще – вне нас, то есть вокруг нас обвилась; во-вторых, она к себе летит (она извне к себе летит). В-третьих, она, улетев от себя и возвращаясь к себе, может (как вот этот орел не нашел гнезда) не найти себя. Кстати, в научной фантастике XX века этот мотив обыгрывался. И у Пруста есть такой сюжет, но он не фантастически обыгрывается, а иначе. Сюжет такой: я действую на свое прошлое. А действие на прошлое у Пруста очень важная тема. Но на прошлое можно подействовать таким образом, что, возвращаясь в потоке времени, не сумеешь воссоединиться с самим собой, теперешним, который действовал на это прошлое. **Потерять себя.** Уловили? Так вот, эта штука записана вне какой-либо фантастики у Мандельштама, который знает опасность, или свойство, этой операции. У Пруста она называется операцией экстерииоризации, или движения изнутри вовне. Он неоднократно употребляет термин «экстерииоризация самого себя». Некая машина времени, которая подействовала на прошлое, создала такую линию времени, в которой субъект не воссоединился с самим собой. Кстати говоря, последние слова в этом стихотворении: «Омоюсь молнии огнем и, заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну» – опять не случайно появляются (в данном случае – не случайно у Мандельштама; скажем, в другом

стихотворении у него «туманное облако», еще в одном случае «густой туман»); это каждый раз – опустошение, полная экстериоризация внутреннего существа.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

Очень образно можно себе представить: «Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.»... Так вот, экстериоризация у Пруста осуществляется именно таким образом...

ЛЕКЦИЯ 9. 23.04.1984

Итак, нам нужно сосредоточиться, потому что то, что я буду сейчас читать, внешне выглядит очень невинно. Обычные литературные описания, но эта обычность мешает заметить некоторые смысловые связки, которые обозначают внутренний путь души. Ведь все, что касается души, заметить трудно. Не только потому, что мы не понимаем других, а еще и потому, что человек настолько мало себя понимает, что именно в силу этого душа его недоступна другим. Мы ведь обычно считаем, что душа другого нам недоступна, потому что она принадлежит ему, а мы смотрим со стороны. В действительности, заглядывая внутрь себя, человек так же мало видит в самом себе, как и мы. И вот для этого есть причина, на которой я хочу вас зацепить. Она связана с теми вещами, о которых мы говорили. Я приведу вам прустовскую фразу. Она имеет значение, потому что человек проделал опыт и на своем опыте нам что-то говорит. И тогда, когда проделан опыт, что-то важное случается и что-то можно узнать. Пруст рисковал, жил, и мы можем что-то узнать из этого. Он говорит так (к сожалению, французский глагол *livrer* трудно перевести на русский) – *aucun etre ne veut livrer son â me*. «Никто не хочет окончательно отдать свою душу». В смысле, что никто никогда до конца не раскрывается перед другим. Всегда есть что-то, что человек оставляет для себя. Но то, что он оставляет для себя, есть как раз то, чего он сам не знает. Почему не знает? Просто потому, что человек в той мере, в какой он есть человек, существует лишь под знаком молнии, существует как незавершенное существо, которое, как говорили экзистенциалисты в XX веке, есть то, что оно не есть. То есть мы всегда проецированы в незавершенность самих себя. И вот эта незавершенность нас самих под знаком какого-то впечатления или молнии – кому и как мы можем ее отдать? – и есть самое интимное. Не то, что мы знаем о себе, что мы скрываем, потому что знаем за собой и поэтому скрываем от других, – нет. То, что в нас не завершено, – это мы никому никогда не отдадим. Потому что перед знаком незавершенного мы сами стоим и дрожим. Перед тем, что не свершилось, что не сделано, и перед тем, что должен сделать только я в момент молнии. Но – должен сделать только я. А вот «должен сделать» – это значит, что не сделал еще. Вот эта душа нам недоступна, она и самому владельцу этой души недоступна по той простой причине, что ее просто еще и нет. А то, чего нет, и есть самое ценное. Интимное.

Итак, я говорил, что если мы просыпаемся, то просыпаемся в каком-то континууме, который не мы начали, – мы не можем начать, потому что в любой момент, когда мы просыпаемся, мы уже просыпаемся в каком-то смысле слишком поздно. Уже всегда что-то есть. Уже всегда что-то совершено. Вот подумайте, можно ли начать что-либо без того, чтобы не было уже чего-то

перед этим... Уже всегда что-то связалось, сцепилось, что-то произошло. С чистого нуля или с чистой доски никогда ничего начать нельзя. Того, к чему мы просыпаемся, чаще всего мы не знаем. Есть, а мы не знаем. То, что я назвал континуумом, мы обнаружили и в своей собственной работе, как я в прошлый раз вам говорил; я приводил вам стихи одного поэта, потом стихи другого, потом пассажи из Пруста. Оказалось, что там есть то, что я называл соответствиями. Correspondances – то, что символисты называли соответствиями. Они вышли на эту тему, но тема сама по себе очень древняя. В ней ничего нового нет. Повторяю, что в нас как в людях, действительно проживающих какую-то полноту душевной жизни, ничего нового нет. Если нам повезет, мы проживем так, как жили другие. А если не повезет, проживем так, как проживаем мы, имеющие какие-то фамилии. Соответствия были и в нашей работе. Мы о чем-то говорим, и в том, как мы об этом говорим (если мы говорим толково), вдруг обнаруживаются соответствия. А что такое соответствия? Это то, что в нас есть, но мы об этом не знаем. Уже есть, а мы не знаем. Нечто вроде задачек, которые нужно решать самому. Тебе даются данные, относительно которых ответы уже существуют, в том числе и в тебе, но ты еще этого не знаешь. Вот об этом у нас все время идет речь. (То есть то, что есть уже в нас и что мы применяем, – соответствия ведь произвольны: сказанное мною вдруг совпало с тем, что сказал Мандельштам, – не считите это за самомнение. К тому же еще и потому, что в области ума, не умности, а ума, нет рангов. Нет иерархии. И если вам покажется, что свою мысль вы нашли у Мандельштама, не считайте, что вы нескромны: Мандельштам – великий поэт, а вы маленький студент. Этого не существует – в области ума, в континууме ума нет иерархии, нет рангов, нет должностей.) Так вот, если мы просыпаемся, то просыпаемся в континууме. С точки зрения этого континуума, то есть каких-то соответствий или мест, топосов нашего сознания, нужно смотреть на текст, в данном случае на прустовский текст. И предупреждаю, что иерархии здесь не существует, рангов – кто-то великий, кто-то не великий, кто-то умный, кто-то глупый, – таких вещей здесь нет. И здесь нет вопросов скромных и нескромных. Скромность – нескромность – это все человеческие выдумки. Жалкие выдумки. А мы занимаемся вещами, как вы сами понимаете, не слишком человеческими, хотя человеком сделанными. Итак, просыпаясь в этом континууме, мы лишены каких-либо привилегий. То есть действует какая-то топография души – привычные нам способности, которые мы всегда иерархизируем в самих себе, расположены не так, как мы обычно их располагаем. Помните, я вводил вам точку равенства, или точку, где сошлись все тяжести мира. Напряженную и в то же время пустую. Точка, в которой разница социальных рангов, разница свойств человеческих не имеет значения, где все уравнено и там все происходит. Это уравнение и есть топография души. Чтобы пояснить, что я имею в виду, скажу, что по смыслу того, чем мы занимаемся, те отрывки, которые я хочу привести из Пруста, они о том, как мы что-то вообще можем увидеть и понять. Стержнем написания именно этих отрывков, а не других, является следующая метафизическая мысль: **безразлично, из какой точки**, из любой точки можно к этому идти. Можно к этому идти от рекламы мыла, а можно – от «Мыслей» Паскаля. Можно идти от высокой абстрактной идеи (в тексте вы потом услышите словосочетание «абстрактные идеи»), а можно идти от пирожного «мадлен». Можно от низкого идти, а можно идти от высокого. Скажем, можно идти от высокой религиозной морали как психологического человеческого состояния, а можно идти от педерастии. Если есть движение вокруг точки, которую я назвал равенством, то безразлично, откуда оно начинается. Всякий может. И кстати, «дух веет там, где хочет». Никем не установлено, не только человеком,

но и Богом не установлено, кто что узнает и поймет. Эта вещь очень важная, фундаментальная.

Мы настолько социально развращены, что наше мышление предполагает, что есть сама по себе какая-то привилегия занимания какого-то места, которая позволяет нам лучше думать, чем другим, которые этой привилегией не обладают. Например, есть некоторые классы, которые являются носителями каких-то истин, поскольку они занимают какое-то место в истории, и тем самым существует якобы какая-то привилегированная точка отсчета, поместившись в которую, можно видеть лучше, чем видят другие. Я ясно выражаюсь, да? Вы все это прекрасно знаете, но все это бред и не соответствует ни тому, как устроена наша душевная жизнь, ни тем законам, по которым мы вообще проделываем какой-то опыт в жизни и что-то узнаем. Полное несоответствие. Нет такой привилегии. И я не случайно говорил о безвинной точке равноденствия, цитировал Данте, и вам, наверно, казалось, что я говорю о литературе, а я говорил о чем-то, чему есть – что? – соответствия в совершенно других проблемах. В той топографии, которой мы занимаемся, ничего этого нет. Там все это иначе распределено. И, кстати говоря, иначе распределено даже в одном из первых, самых существенных топографических текстов в человеческой истории, в тексте, который действительно является топографией души. То есть в нем даны соотнесения, или соотношения, или пропорции нашей души. Я имею в виду евангелические тексты. Но здесь есть и очень большая сложность. Она относится и к тексту, которым мы занимаемся. Для Пруста человека как такового не существует: человек есть не факт, а акт. Человек есть усилие быть человеком. Значит, человека в мире не существует, существует только усилие быть человеком. А сам по себе человек в общем-то есть кусок мяса, одаренный психическими способностями, не больше. К тому же, как говорили философы, зло изначально ему присуще. Пруст говорил, что если мы что-нибудь узнаем, то узнаем только в юности. Но к этому нужно, конечно, добавить, что он имел в виду следующую вещь: есть время узнавания, а есть время чтения в узанном. То, чего мы не узнали в юности, мы никогда не узнаем. И прочесть что-либо мы можем только из того, что мы в юности узнали. И, конечно, основные впечатления, то есть впечатления бытия: справедливости-несправедливости, свободы-несвободы и т.д., в юности переживаются. Так вот, одним из моих юношеских переживаний было переживание невероятной хрупкости и обреченности на гибель всякой свободы и красоты. Вы, наверно, тоже замечали, что если есть что-то красивое, то на нем печать стоит, что это должно погибнуть. Развязываются какие-то силы, которые, как в шахматной партии, неминуемыми ходами ведут красоту к гибели. (Кстати, первичные человеческие легенды – эпос всех стран легенды – эпос всех стран и народов, и наш грузинский эпос тоже, об этом говорит. Если есть дружба, то обязательно уже заложено в ней семя, зерно или яйцо змеи, и путем совершенно непонятных недоразумений – можно только удивляться, как это может быть, как можно было в это поверить, – люди поверят клевете, и все распадется.) И нет таких механизмов, которые сами по себе обеспечивали бы, чтобы красота длилась, свобода длилась и т.д. Каждый раз мы своим усилием и риском должны воспроизводить. Но есть инструмент, который помогает человеку в этом усилии. Такой помощью в усилии является текст (в широком смысле этого слова). Большинство явлений культуры является такими приставленными к нам текстами, через которые мы должны опосредовать свои порывы и свои намерения. Иначе порывам и намерениям не на чем держаться. Например, если бы я сейчас создал ситуацию митинга, в котором якобы предполагается, что вы способны высказать свое собственное мнение... – так вот, можно ли человеческому существу в ситуации митинга – а я имею в виду психологическую ситуацию, митинг, по определению, есть психотически

ненормальная ситуация с ее напряжениями, со всеми ритуальными танцами митинга, – кристаллизовать в своей голове то, что оно на самом деле думает и хочет? Невозможно. Что такое культура тогда? То, что никогда не оставляет нас один на один с такого рода ситуациями. То есть, если ты оказался один на один (как психологическое существо) перед чем-то, ты ничего не можешь. Нужно всегда пространство опосредований. Поэтому, скажем, формализм демократии лучше, чем содержательная ясность любого справедливого строя. Почему? Потому что справедливый строй есть хронический митинг, а формальная демократия есть культурная структура, которая дает тебе интервал, в котором ты можешь стать человеком; в том числе и узнав, чего ты хочешь и что ты на самом деле думаешь.

Значит, мы говорим о каких-то вещах, которые существуют не просто сами по себе, а по каким-то законам. В какой-то топографии. В том числе в той топографии, которая уравнивает. Я вел к тому, чтобы сказать, что в исходном евангелическом тексте у несчастных и обиженных было отнято право иметь привилегию, потому что они несчастны и обижены. Ведь нищие духом не есть те, которые нищие в прямом смысле слова, а те, которые не имеют никаких претензий, вернее, предзаданных привилегий. То есть ничего такого, что предшествовало бы этой проблеме или этой ситуации. Ты был до момента молнии богатым, а в момент молнии не имеет значения, что ты богат. Ты – Германт, а в момент молнии – столкновения с Альбертиной – не имеет значения, что ты – Германт. Там другие законы действуют. Ты бедный – до молнии, что – после нее, не имеет значения. А люди считают, что это имеет большое значение. Поэтому, кстати, они Христа и распяли. Ведь сначала, когда он явился, пришел в Иерусалим, они его хорошо приняли по одной простой причине: они думали, что он пришел сводить социальные счета и устроить справедливое царство на земле. А когда они узнали, что он не об этом говорит, что он занимается изгнанием демонов из человеческой души и только этим, что царство Божье – в нас, а не на земле, я повторяю: в нас, а не на земле, хотя мы тоже ведь на земле, но это в нас, – они: «Распни его, распни!» – кричали. То есть они ожидали от него очередного социального миссионерства, очередной, оформленной властью сказки о справедливости, реально осуществленной на земле в виде счастливого общества. И когда они поняли, что он не об этом говорит, а о чем-то, что им было непонятно, на что они были не способны (как и по сегодняшний день), то они, конечно, отдали его на крестовую муку.

Ну а теперь, что мы имеем из всех этих разговоров: во-первых, – серьезность, казалось бы, невинных вещей. То есть невинных словосочетаний, невинных проблем, – скажем, я сказал «топография души», – а они прорастают во многое, что для нас важно. И, во-вторых, мы имеем настрой на то, чтобы улавливать это в записях человеческого опыта. Значит, все привилегии ликвидированы, в том числе привилегии бедности и несчастья, привилегии ума, глупости – этого ничего нет, и вот мы попробуем теперь читать текст.

Я говорил о мире, который распался как бы на две части. Потом эти две части будут все время существовать в душе Марселя, будут соединяться по разным сцеплениям и обуславливать то счастье, то несчастье. Две части – две стороны. Сторона Германтов – аристократический мир, легендарный для нашего героя, и сторона Мезеглиз – сторона собственного происхождения (буржуазной среды), обычных устроенных людей со всеми родственными связями, которые – когда мы молоды – кажутся нам гирями на ногах. Всякая связь – скажем, с любящей тебя матерью, – конечно, есть убежище, но в то же время есть тяжесть, потому что слишком насыщена. Твоя душа слишком задета. А мы мечтаем о чем-то ярком и блестящем еще и потому, что оно не слишком задевает нашу душу, и мы можем чувствовать себя свободными, ждать

каких-то авантур, приключений. Быть представленными герцогине Германт. Это не есть просто акт быть представленным какой-то аристократке, а это еще и акт легкой, сверкающей жизни. Без чего? Без гирь, которые встречают Марсея, когда он возвращается домой. Но эти гири любви – не только внешние, они есть и в нашей душе. Потому что, когда он вернется домой после прогулок в страну Германтов, где он мечтал о яркой и авантурной легкой жизни, он сам будет жаждать поцелуя матери на ночь. Так вот, задан тот объем истории (у каждого человека он свой), через который ты должен проложить путь, если тебе это удастся. Потому что поцелуй матери одновременно (для Пруста) – первичная или, как выражаются ученые-психологи, архетипическая форма всякой возможной любви и нежности. Когда он будет преследовать Альбертину, то в действительности механизмом преследования будет механизм воссоединения его с поцелуем матери на ночь. Любая вещь, не имеющая, казалось бы, никакого отношения к любовным отношениям, обладала структурой, которая определила эти отношения. И последующие отношения, не имеющие к материнской любви никакого отношения, воспроизводили структуру первичного состояния. А первичное состояние задано в стороне Мезеглиз. Условно назовем ее стороной Свана... Сторона Свана – сторона Германтов. И после прогулки в стороне Германта, где на одной из дорожек парка промелькнула тень герцогини Германт, где на склоне дня на небосводе вырисовывались тени замков, населенных, конечно, не реальными вещами, а воображением нашего героя, он пишет следующее: «И насколько после этого дня – в моих прогулках в стороне Германтов мне казался еще более огорчительным, чем раньше, тот факт, что у меня не было никаких способностей к беллетристике, и я должен был отказаться навсегда от мечты быть знаменитым писателем. Это сожаление, которое я испытывал, когда у меня выпадала хоть какая-нибудь минута просто помечтать, доставляло мне столько страданий, что, для того чтобы больше не чувствовать, мой дух отказывался думать вообще о стихах, романах, о поэтическом будущем, на которое мое отсутствие таланта запрещало мне когда-либо надеяться». Человек хочет мыслить в известных ему формах, то есть писать романы и стихи и прославиться этим, и он осознает, что у него нет к этому никаких способностей. Ничего этого нет. И он отказывается. Ну, к тому же лень ему мешает (в других местах эта тема проворачивается как тема лени); когда ему нужно было сесть подумать и что-нибудь написать, его охватывала безумная лень. Он никогда не мог заставить себя это сделать. Или, что тоже существенно, он садился за лист бумаги и – полная пустота в голове. Ничего в голову не приходит. Но именно тогда – значит, он настолько уже отчаялся в самом себе, настолько обзывал себя лентяем, неспособным и т.д., что отказался от всего этого, – «...именно тогда, вне какой-либо связи с этими литературными заботами, вдруг крыша, отсвет солнца на камне, запах дороги останавливали меня своим каким-то странным удовольствием, которое они во мне вызывали, и также еще потому, что казалось, что они поверх того, что я вижу своими глазами, прятали что-то в себе, что-то такое, что приглашало меня – приди и возьми, и что я, вопреки всем своим усилиям, не мог никак открыть. Поскольку я чувствовал, что это нечто, что звало меня – приди и возьми, находилось в них, я оставался на месте неподвижный, глядя, вдыхая, пытаюсь моей мыслью вырваться за рамки образа или запаха. И если я в это время шел с моим дедом, я старался не видеть его и, закрыв глаза, восстановить всю картину, в точности воспроизвести линию крыши, нюанс камня, которые без того, чтобы я понимал, почему это случилось, мне показались полными, готовыми раскрыться, одарить меня тем, по отношению к чему они лишь были оболочкой. Конечно же, ясно, что не этого рода впечатления могли мне возратить надежду, которую я уже давно потерял, быть когда-либо писателем и поэтом, потому что они всегда

были связаны с каким-то частным объектом, лишенным какой-либо интеллектуальной ценности и не связанным ни с какой абстрактной истиной. Но, по меньшей мере, они давали мне какое-то иррациональное удовольствие, иллюзию какой-то плодотворности и отвлекали меня от неминуемой скуки, от чувства моего бессилия, которое я испытывал каждый раз, когда искал какой-нибудь философский сюжет для какого-нибудь крупного литературного произведения».

Держите в голове уравнение всего и вся, что нет высокого и низкого; здесь нужно вспомнить все, что мы говорили перед этим, – задачу труда в отличие от лени, труда под знаком молнии, потому что вновь идут гладкие фразы. Но они содержат в себе все это. И еще – поиск сюжета, о котором писать. Я продолжаю читать, а вы мысленно накладываете это на свой опыт, но для этого нужны какие-то ориентиры, конечно, и я пытаюсь их вам дать. Ведь наше мышление устроено так, и ваше, и мое (мышление как психологическая наша способность), что мы под мыслью понимаем следующее: вот я сяду и подумаю. Сюжет, тот, который я подумаю, всегда произволен, то есть вызван моей волей. Значит, я сначала делаю А, В, подумал о чем-то или взял себя в руки и сосредоточился, и через энное число шагов, их может быть два, я имею сюжет. Предмет мысли. Так якобы мы мыслим. Но в действительности все не так. Это мы так думаем, что мы думаем, а думаем, если думаем, совершенно иначе. И вот с этим сталкивается наш автор, и это он описывает. Так вот, Пруст говорит, что «эта задача, совестливая задача, напряженная, *devoir de conscience*...». (Гений латинского языка одним и тем же термином объединяет *conscience morale* – совесть, а *conscience* – это сознание; следовательно, этимологически сознание и совесть есть одно и то же; интересное совпадение.) «...Этот невыносимый долг совести, который на меня накладывали эти впечатления формы, запаха или цвета, а именно – долг увидеть то, что скрывалось за ними, по отношению к этому долгу я очень быстро, не откладывая в долгий ящик, находил извинения или поводы, которые позволяли бы мне ускользнуть от этого требуемого от меня усилия». Вспомните свидетелей – апостолов Христовых, которым хотелось спать, – все то же самое. Дальше Пруст пишет так: «К счастью, мои родители окликнули меня в этот момент...» С какой радостью откликаемся мы на оклик, который позволяет нам избежать такого труда; кстати, родителям кажется, что мы их очень любим, потому что у нас радостная улыбка, правда, связанная не с тем, что мы любим родителей, а с тем, что их оклик освободил нас от того, что мы должны были в ту секунду сделать и не могли, потому что слишком много труда на это требовалось. «...Я сказал себе, что сейчас у меня нет необходимого для труда спокойствия и в следующий раз я займусь продолжением моего изыскания, и лучше было бы сейчас об этом не думать, чтобы не тратить необходимые силы и сохранить их на момент, когда я вернусь домой и спокойно в своей комнате смогу об этом подумать. И я переставал тогда думать об этой неизвестной вещи, которая облачалась, разговаривая со мной, в форму. И я думал, что, вернувшись домой, спокойно в своей комнате смогу, как достают из кармана, вынуть все эти впечатления и более тщательно их разглядеть. Но, попав домой, я уже думал о других вещах, и так в моем сознании, подобно тому как в комнате накапливаются цветы, которые мы приносим с прогулки, накапливались – камень, на котором проиграл отблеск солнца, крыша, звук колокольни, запах цветка, много различных образов, под которыми уже давно умерла та предчувствуемая реальность, для которой мне не хватило воли, чтобы ее расшифровать и раскрыть». Пропущена молния Иоанна.

И дальше идет отрывок, где Пруст приводит противоположное: однажды, во время одной из прогулок, он едет в коляске, и пред ним предстают две колокольни Мартенвиля, к которым присоединилась третья колокольня,

сплетаясь в какой-то узор... Появились эти две колокольни, то сливающиеся, то расстающиеся с третьей колокольней, и возникло какое-то состояние. Состояние, не связанное ни с абстрактной идеей, ни с философским сюжетом, какая-то непонятная, загадочная радость. Не объяснимая, конечно, тем, что ты видишь колокольню. И вглядывается наш герой, сидя в коляске, в танец этих колоколен на горизонте, то отдаляющихся, в зависимости от поворотов дороги, то приближающихся, и чувствует, что он никак не может добраться до глубины, до конца, до причины своего впечатления, что что-то скрывается за этим движением, за этим ярким светом (кстати, таким ясным светом всегда казался мне странный свет в Тбилиси, он так и застрял во мне с юности, и потом я был очень удивлен, встретив у Мандельштама «Хмельней для глаза в оболочке света...»). «И я не мог никак понять причины этого удовольствия и природу того чувства обязанности, которое испытывал и которое состояло в том, чтобы расшифровать эту причину удовольствия. И опять у меня появился соблазн сохранить в голове эти движущиеся линии и потом о них подумать на досуге. И, наверно, если бы я так и поступил, то эти две колокольни навсегда присоединились бы к тем многим деревьям, крышам, запахам, звукам, которые я отличил когда-то от других в силу того таинственного удовольствия, которое они мне доставили и которое я никогда не углубил. Я сошел побеседовать с моими родителями в ожидании доктора, потом я обратился к кучеру, но поскольку кучер не пожелал со мной разговаривать, то я внешними обстоятельствами вынужден был наброситься на самого себя». Здесь начинается классическая тема, которая проходит через весь роман (и поэтому я предупреждал вас, что мы имеем дело с романом мотива), здесь в музыкальном смысле слова упакованы все темы кусочками. Скажем, тема дружбы и интеллектуальной беседы. В данном случае речь идет о кучере, который не захотел с ним беседовать, и поэтому Марсель вынужден был внешними обстоятельствами схватиться за самого себя. А если бы захотел и начал бы с ним разговаривать, то Марсель с ним так же рассеялся бы, как в дружбе, в интеллектуальной беседе, когда мы звуком произносимых слов разгоняем то впечатление, которое было в нас и которое мы сами должны были бы расшифровать. От звука слов шарахаются вещи и от нас убегают. Это обычно бывает прямым следствием интеллектуальной беседы... Но тем не менее кучер с ним не заговорил, и снова он углубляется в это впечатление. И дальше Пруст приводит (уже в кавычках) пассаж, который он в свое время послал (описание колокольни Мартенвиля) в газету «Фигаро», и он был там опубликован, и этот отрывок (с некоторыми поправками) воспроизводится в позднее написанном романе, и дальше уже идет текстуальное воспроизведение расшифрованного впечатления. И опять мы имеем бусинку на четках...

Значит, Пруст разрешил эту непонятную радость, понял ее, разрешил ее тем, что отождествил эти три колокольни с тремя девушками из легенды (покинутыми в лесу и т.д.), которые обнимаются, и ему стал ясен смысл того, что говорили ему эти деревья. Они говорили ему что-то о человеческой нежности и о любви, связующей трех сестер. Ну, не бог весть, какая мысль, казалось бы. После этого он говорит, что почувствовал себя, как будто разрешился от бремени или, как насадка, снес яйцо и мог теперь радостно квохтать, что все-таки разобрался, что они ему говорили. А перед этим проскользнула такая фраза: «Я тогда себе не говорил, что за этими колокольнями Мартенвиля скрывалось что-то аналогичное красивой фразе». То есть видит он колокольни, а за ними скрывается красивая фраза или форма. Потом появляются у него девушки – не три колокольни, а три девушки, причем из легенды. В действительности здесь появляется тема, которая относится и к красивой фразе, и к трем девушкам, тема того, что у Пруста будет называться *acte durable*, то есть **длящийся акт**. Я говорил вам о длящихся актах в очень

возвышенных терминах, чуть ли не божественных, – что агония Христа длится вечно, – что мы внутри некоего чего-то, что происходит, не происходя. То есть мы не можем сказать, что произошло. Мы находимся **внутри** того, что происходит. Представьте себе такую космологию мира, в которой мир был бы как **произносимая и никогда не произнесенная фраза**. Ну а если подумать, то ведь в действительности это есть единственное определение, которое можно дать человеческой истории. История и человечество есть попытка быть человеком. Мы – внутри ее. Мы не можем судить ее извне. Эта попытка может удастся, а может и не удастся. Это одна затянувшаяся и по сегодняшний день происходящая или произносимая, если угодно, фраза. Или, словами Пруста, «красивая фраза». Это – население мира множественными состояниями одного и того же, которое все время происходит. Или же – пушки Фолкнера, которые в роковой день сражения между северянами и южанами уже заряжены, но еще не выстрелили. Хотя известно, что они выстрелили. Но это есть факт физической истории, а в душевной жизни и в структуре единой истории каждый юноша, как говорит Фолкнер, становящийся личностью, должен решить, как он поступит в тот момент, когда флаги развернуты, пушки заряжены, но за флагами еще не пошли в бой солдаты, и пушки еще не выстрелили, и всего этого могло не произойти. То есть – что? – Христа не распяли. Есть вещи, по отношению к которым человек в той мере является человеком, в какой он не может даже принять нечто как совершившееся. Мы ведь в действительности не допускаем, что, например, случилось распятие Христа. Вот в той мере, в какой для нас это недопустимо, то есть – **не случившийся факт**, в нас что-то происходит, и мы являемся людьми.

Или другой *acte durable*. Длющийся акт. Альбертина ушла от нашего героя, и улицы для него оказались населены... можно сказать так: **узнаваниями**. В каждой женщине ему чудилась Альбертина. За одной он даже погнался, потерял ее, потом снова встретил около своего особняка (вернее, особняка, в котором он жил, особняк принадлежал Германтам). Он успел уже построить целый роман, вспомнив, или ему казалось, что он вспомнил, имя, и он дал телеграмму Сен-Лу, чтобы тот ему сообщил точное имя, а пока Сен-Лу ответил бы, он успел построить целый авантюрный любовный роман с этой узнанной или, вернее, неузнанной женщиной, а потом оказалось, что это была Жильберта, его первая любовь. Насколько можно узнавать не то, что есть, и не узнавать того, что есть. Или узнавать то, чего нет, или не узнавать того, что есть. Но здесь нам важно **размножение** самого состояния, которое и есть смысл. Другой *acte durable* (обратите внимание на то, как мы испытываем ощущение, которое мы на нашем глупом языке называем красотой): он идет по тротуару, и на его глазах – на шоссе остановилась машина и в нее садится женщина. Вот мы видим это. Десятки женщин садятся в машину, мы это видим, но этого как бы не существует для нас. А если видим, то есть в нас что-то происходит, – волнение часто ведь непонятно, нет ничего банальнее женщины, садящейся в машину, – но если **видим**, то мы видим, с точки зрения Пруста, *acte durable*. Это как бы бесконечная и год за годом садящаяся женщина. Акт, который длится, совершается, и мы воспринимаем его – данный индивидуальный акт останавливает наше внимание – только в том случае, если мы за ним увидели длящийся акт. Он для нас красив. И действительно, та женщина, садящаяся в такси, показалась нам красивой и вдруг ударила нас чем-то повторяющимся и незавершенным. Актом. Потому что он ведь не завершился тем, что именно эта женщина села в машину. Завтра или через год другая женщина, садящаяся в машину, так же нас взволнует. Ну, я не буду рассказывать – чем... Ясно – формой ноги; чем угодно. Мы будем так себе объяснять, потому что мы ведь должны все себе объяснять, мы ведь не можем не объяснять, к сожалению. А вот это – *acte durable*. Банальный – что может

быть банальнее этой сцены на улице... женщина садится в такси. И вот мы живы, если оказались внутри этого бесконечного акта, разрешая внутри его какую-то свою задачу. Ведь кого-то принял Пруст за женщину, с которой можно иметь эротическую авантюру (она потом оказалась Жильбертой), потому что по отношению к ней он находился внутри бесконечного акта восприятия Альбертины. Значит, мы теперь восстановили, во-первых, тему вечного или длящегося акта, но мы одновременно, незаметным образом ввели тему времени. Прустовскую тему. Вот в таком невинном тексте...

Значит, Марсель возвращается домой. И вот теперь у него распадаются две стороны. Повторяю; это путешествие... как поется у Окуджавы, как это звучит у него? – по обе стороны твоей души?

– В любую сторону твоей души...

– Да, в любую сторону твоей души. Да, так. Вот эти слова Окуджавы – я их помню так же, как Пруст видит женщину, садящуюся в такси и т.д. Вот, пожалуйста, *acte durable*. Значит, я что-то ищу и нахожусь внутри этого – в обе стороны моей души. Так вот – обе стороны души... Итак, мы прошли по Германтам, и теперь Марсель возвращается к себе, и вдруг все меняется. Казалось бы, нет большой физической и географической разницы между страной Германтов и страной Мезеглиз, или стороной Сванов. Кстати – о том, что нет разницы и потом она исчезнет, когда мы пройдем во все стороны своей души, – в конце романа Жильберта, первая его любовь, потом встреченная им уже в качестве вдовы его друга Сен-Лу, скажет ему невинную фразу: «А ведь ты знаешь, что в сторону Германтов можно было попасть, пройдя направо от калитки...». А он выходил налево, откуда дорога распадалась на две стороны. Оказывается, есть прямой путь, на котором вообще нельзя заметить разницу между стороной Германтов и стороной Сванов. Все, оказывается, одно и то же. И нужно было прожить целую жизнь, чтобы убедиться, что нет разницы между этими сторонами. Ну ладно, я отвлекся... И вот стороны распадаются – чем? Вот тем, что я говорил вам. Значит, светлая авантюра без обязанностей, без душевной гири, – а туг он возвращается домой, и снова его охватывает атмосфера предчувствия того, что он у себя в комнате будет ожидать поцелуя матери и он теперь – в своей второй стороне души. И он знает, что каждый раз, когда прогулка затягивалась, этот поцелуй отменялся. Как он отменялся когда-то в детстве (а наш герой никогда не мог заснуть без этого поцелуя, начинались его мучения). И теперь он возвращается в сторону поцелуя и знает, что этого поцелуя не будет. Но знает также и то, что, когда он проснется и солнце будет сиять, он уже не будет об этом помнить, он снова будет думать о стороне Германтов и о приключениях в ней. И две вещи будут чередоваться в его душе и никак не будут связаны одна с другой. И так закладывается основа всей душевной жизни. Эти стороны, говорит автор, «связаны с событиями самой незаметной жизни в нас», а именно: жизни интеллектуальной (в широком смысле слова), духовной... как угодно назовите эти события, которые наложат отпечаток на всю его жизнь. Конечно, эти интеллектуальные события, «эта интеллектуальная жизнь прогрессирует в нас незаметным образом, истины этой жизни меняют в нас смысл происходящего, меняют вид нашей жизни, открывают нам новые дороги, открытие которых давно уже уготовано в нашей душе, но мы ничего этого не знаем, и идет тихая незаметная работа; и мы датировем эти истины, когда эти истины для нас очевидны, но в действительности истины эти относятся не к этому времени, а ко времени этой незаметной работы». И дальше – про цветы, которые он видел в траве, вода, которая играла под солнцем, пейзажи и т.д., все это, очевидно, даже в своих индивидуальных частностях, даже в самых эфемерных своих частностях, сохранилось в моей душе, и, может быть, эти цветы, эта вода, которая играла под солнцем, обязаны мне и моей душе (то есть тому, что они сохранились в

моей душе) тем, что они вообще пережили тот короткий момент своей физической жизни, который им был сужден (цветы, как известно, вянут; вода может перестать течь и т.д.). И все это сохранилось в моей душе, и вот то, что сохранилось в душе, есть то, что Пруст называет **«глубокими отложениями моей умственной почвы»**, на которые в последующем я опираюсь. Может быть, вера, которая творит, иссякла во мне, или, может быть, потому, что реальность формируется только в памяти, цветы, которые мне показывают сегодня, мне не кажутся настоящими». Дальше идет очень красочное описание всего того, что осталось в душе, что пережито в стороне Мезеглиз или в стороне Германтов; это все, когда я увижу (скажем, когда я увижу боярышник, яблони в цвету) в любых своих путешествиях, я воспринимаю (то есть то, что я вижу) не в первый раз. Я воспринимаю – потому что это «находится на той же глубине, на том же уровне, что и мое прошлое, и именно поэтому непосредственно сообщается с моим сердцем».

Я сейчас очень коротко на этом останавлиюсь. Здесь без нажима, без ничего дана вся тема и структура времени у Пруста. Я приведу вам смысл этой темы, перекинув вас одновременно и на другой пример у Пруста, потому что там есть некоторые словосочетания, которые нам важны для проблемы впечатления. Есть такая тема, на которую, кстати, даже психоаналитики обратили внимание (но довольно банальным образом; в том числе Манони, ученик Лакана, который много писал о литературе с психоаналитической точки зрения, обратил внимание на эту тему у Пруста). Ее условно можно назвать темой «сад Женщины». Сад Женщины – это Булонский лес, который для Пруста населен впечатлениями юности, то есть впечатлениями аллей, по которым в прекрасных колясках медленно проезжают красавицы Парижа. Потом, через энное число лет, он смотрит на этот лес и видит, как он выражается: «Лес, как лес». «Озеро, как озеро». Здесь очень глубокое, связанное с проблемой времени наблюдение относительно того, как работает наше восприятие. То есть, что является для нас впечатлением, а что не является таковым. Оказывается, впечатлением для них является то, во что вложены «*gisements profonds de mon sol mental*». Отложения моей ментальной, или духовной, или душевной почвы. То, что **запечатлелось**, прозвучало какой-то нотой, требующей расшифровки, – потом, когда ты встречаешь, скажем, цветок, ты способен воспринять его как цветок. То есть взволноваться, увидев цветок. Помните, я говорил вам: от чего мы волнуемся и от чего не волнуемся? По отношению к чему полна наша душа, а что оставляет нас пустыми и холодными? Можем ли помыслить, захотев помыслить, или не можем? Ведь красота цветка должна нас волновать, а не волнует. Или волнует. Но раз она может волновать или не волновать, то это уже проблема, – ведь красота цветка одна и та же. Или: качество женщины, на свидание с которой стремишься, а пришел – скука смертная. В чем дело? Мы же присутствуем с предметом, а вот работает *sol mental* – отложение душевной почвы. Оно, во-первых, связывает во времени разные события **поверх** времени и пространства – эти события могут быть разделены в рамках хронологического времени, но связаны в этом времени. В каком-то **внутреннем времени**. Значит, мы имеем проблему внутреннего времени. Во-вторых, структура времени есть структура возможного нашего восприятия, или впечатления. Лес как лес не волнует, а волнует «сад Женщины». То есть я способен воспринять красоту любого озера, если это не просто озеро, которое я вижу. Если за ним стоит **проработавшаяся структура**, – она соединит мою голову и мою способность волноваться, мою способность воспринять с воспринимаемым предметом. Не сам предмет на меня подействует; этого нет – так мы не устроены. Я представляю себе прекрасную женщину – оказывается, чтобы взволноваться прекрасным, недостаточно этой идеи и недостаточно присутствия самого предмета. Сам предмет, как Пруст

говорит: озеро как озеро (а я скажу: женщина как женщина), лес как лес. Птицы пролетали над этим озером, как над любым другим, и ничего не вызывали в душе. А – что вызывается или не вызывается в душе, нам важно, потому что вся наша проблема – **полнота душевной жизни**. Проблема присутствия. **Как** присутствовать в какой-то момент или в любой момент со всей полнотой нашей способности понимать, переживать и волноваться (то есть присутствовать можно) – это и называется **присутствовать**. Но чаще всего мы, присутствуя, – отсутствуем. Значит, перевернем – то, о чем мы говорим и что Пруста заинтересовало, это есть законы присутствия. Потому что, повторяю, мы чаще всего, присутствуя, отсутствуем. Но по каким связкам и как завязывается наше присутствие – это интересно.

Значит, мы ввели проблему времени. Дальше вводится уже чудовищная проблема. И потом это все на энное число страниц попадет, будут идти другие описания и т.д., потом снова тот же мотив, который соединит нити и предшествующего описания, и промежуточного. Снова проиграется уже другими словами, казалось бы. Потом снова исчезнет и т.д. Так вот, я к мотиву возвращаюсь – Пруст снова выходит на сюжет возвращения домой и вдруг пишет мимоходом. Я сказал вам уже, что возвращение домой – сторона Мезеглиз, или сторона Свана, – это возвращение в зону, в ту сторону души, в которой ты ожидаешь поцелуя матери. И вот – возвращение в те часы и в те места, которые *«пробуждали во мне angoisse (непереводимое слово: страх, предожидание со страхом, тоска), которая позже эмигрирует в любовь»*. Значит, мальчик смотрел на колокольню, погулял в стороне Германтов, возвращается в сторону Мезеглиз... и тут же дается структура того, что с ним потом будет происходить. Потому что *angoisse*, или, как я уже сказал, структура ожидания поцелуя матери, эмигрировала в Альбертину и в других. И вообще во все формы возможных отношений с любимой женщиной. Кто бы она ни была. Внутри каждого отношения неумолимо разыгрывается эта структура. И в каком-то смысле – напоминаю вам, что роман Пруста есть роман освобождения, – роман Пруста есть роман, написанный против матери (но в очень тонком смысле слова, не понимайте этого прямо), Конечно, это роман материнской любви, но – любви в особом смысле слова. Есть, скажем так, любовь в двух смыслах. Есть любовь, которой мы жалкие рабы – других или своих же собственных эмоций или того, что мы считаем своими собственными эмоциями. Любовь, в которой мы лжем самим себе. А есть любовь, на которую способна классическая душа. Любовь, которой можно любить, не проходя адский цикл погони за обладание предметом любви. То есть любить вещь саму по себе, зная, что невозможно ею обладать. Одновременно это есть и спасение от смерти, потому что, как говорил Пруст, «именно привязанность к предмету влечет за собой гибель собственника». Того, кто привязан к предмету. Я сказал, что этот роман написан в каком-то смысле против матери, – это освобождение от эгоистической любви к матери, которая, как в зерне, заключена в потребности материнского поцелуя со всеми вытекающими отсюда формами судорожного бега к тому, чтобы воссоединиться с этим поцелуем, бега такого, в котором ты можешь давить себя, других, шагать по трупам, лишь бы быть поцелованным матерью. С другой стороны, это есть зависимость от любимого объекта, не дающего поцелуя. Эта зависимость унижительна для классической души. Вот представьте себе: вы любите родину, родина обладает недостатками... и если вы любите ее так, как Пруст был привязан к материнскому поцелую, вы будете вечным рабом пороков своей собственной родины именно потому, что вы ее так любите. Не будучи способным любить ее независимо. Так вот, мы в любви никому не обязаны отчитываться, и в том числе не отчитываемся перед предметом любви, и никому ничего не должны доказывать. Любовь – мое дело, в том числе моя любовь к родине, например. И

доказывать ее я никому не должен. Поэтому я свободен от ожидания, что моя родина станет совершенной или мама меня поцелует. Есть вещи, в силу которых моя мать может не поцеловать меня, не может быть, чтобы моя любовь к ней зависела бы от того – поцелует она меня или не поцелует. Или не может быть, чтобы моя любовь к родине зависела от того – имеет или не имеет моя родина пороки. И, наоборот, если все зависит от красоты предмета любви, то этот предмет будет максимально порочным, потому что ожидание или стремление владеть прекрасным предметом любви, который во всех отношениях был бы совершенен, есть порок. Люди, живущие с этим чувством, порочны. Следовательно, все наоборот: родина никогда не станет прекрасной, если мы не будем независимыми в любви к ней. То есть если мы будем обладать страстью кому-то доказывать, что мы ее любим. В том числе себе или самому объекту этой любви. И эта независимость есть то, в чем мы можем быть свободными. Это и есть любовь, конечно, в высшем смысле слова. Почему? Да потому, что она – перед лицом **невозможного**. Не случайно я начал невинный треп насчет того, что мы никогда до конца не отдаем душу: никто из нас еще не существует, и мы находимся внутри длящегося акта, и самое интимное в нас – это то, что мы должны сделать, но не сделали. Но ведь и мать такова, она ведь тоже имеет дело с невозможным... Узнать в другом человеке партнера по невозможному – в метафорическом смысле – это и есть высшее принятие других людей, или стран, или кого угодно (я тут отождествляю; страны, люди, все это одно и то же в смысле механики наших привязанностей, наших зависимостей). И в этом смысле, повторяю, – путь, проделанный против матери. То есть против такой любви к матери, которая тебя делает рабски зависимым от того, как она (мать) поступит (поцелует или не поцелует). Это можно перенести и на другие формы любви: Марсель проходит свою любовь к Альбертине, открывая в самом себе зверя, – что в действительности я не Альбертину люблю, в действительности я хочу ею просто обладать как вещью и навсегда запереть или в темнице своего сердца, или в темнице своего особняка. Так вот – освобождение от эгоизма и выход к партнерству как к чему-то, что для всех одинаково невозможно и в чем каждый чего-то никогда не даст другому, потому что он сам этого не имеет. *Aucun etre ne veut livrer son á me* – **никто не хочет отдать мне душу. До конца.**

И вот – с этой *angoisse*, которая эмигрирует в любовь, Пруст говорит: *«Конечно же, это соединение во мне совершенно разных впечатлений (то есть впечатлений легкости от страны Германтов и *angoisse*, испытываемой в стороне Свана), тот факт, что я испытывал эти противоположные чувства в одно и то же время, предуготовило мне в будущем много разочарований и много ошибок. Потому что очень часто я хотел видеть кого-то, а в действительности я хотел еще раз увидеть куст боярышника»*. Или в случае Свана: иногда ему казалось, что он любит Одетт или хочет ее видеть, а в действительности ему хотелось слушать музыку. И желание слушать музыку он осознавал как желание побыть с Одетт. Или – я хочу в действительности просто насладиться видом боярышника, но это желание топографически так разместилось в моей душе, что я считаю, что я хочу видеть мою возлюбленную. Но это будет разочарованием... – увидев возлюбленную и желая видеть куст боярышника, – конечно, в присутствии возлюбленной я вовсе не буду в том состоянии, в котором я должен был бы быть, встретив предмет своей мечты. Или, скажем, желание путешествия можно принять за возобновление своих чувств к какому-то человеку. И все это уже заложено в топографии нашей души. Но в то же время это есть преимущество, заключает Пруст, в то же время это как раз *«давало глубину моим чувствам»*, или, выражаясь на нашем языке, **открывало время нашей возможной истории**. Скажем так: эти завязки, которые образуются в нашей душе, есть завязки того, что мы в действительности можем

воспринять и узнать. Это нечто, что мы можем воспринять и узнать, отмечено одним знаком, или предъясвляет к нам одно условие – мы должны рискнуть, то есть положить себя на карту. Это все рискованные чувства, это не безразличные чувства, не абстрактные сюжеты. Задета наша судьба. В том числе все, что в будущем случится с автором. Он знает, что будут такие-то разочарования, такие-то ошибки. Но, не сделав этого, ничего не узнаешь. Значит, можно сформулировать так: если не ангажируешься, ничего не узнаешь, а если ангажируешься, то неминуемо надышишь на стекло, через которое смотришь. Другого не дано. Не рискнув, не узнаешь, а рискнув, обязательно будешь узнавать искаженно. Вот эти две карты, соединение которых выводит нас на те немногие истины, на которые мы выходим. Но с какими способностями мы выходим на эти немногие истины и что это за странная категория, называемая Прустом впечатлением? И как в действительности устроено наше восприятие и мышление, и что мы можем делать в определенных ситуациях, которые есть ситуации неясной или невнятной радости? Неясного, невнятного волнения, всегда несоразмерного с предметом, который это волнение вызывает. Это есть ситуация человеческого пафоса. Пафос всегда (poesis его можно назвать) **избыточен** по отношению к тому, что происходит в мире, Избыточно наше сожаление об умершем. Умершего сожалением не возродишь. Избыточно наше раскаяние...

ЛЕКЦИЯ 10. 8.05.1984

Я возвращаюсь к теме впечатлений, которую начал в прошлый раз, читая вам отрывки в моем неудачном переводе. Но я надеялся, что вы сможете скорректировать его по тексту. Теперь хочу обратить ваше внимание на гнезда смысла тех отрывков, с которыми мы познакомились. Хочу предупредить, что впечатления, конечно, основная тема Пруста. То, что он называет впечатлениями. Чаще всего он называет такого рода впечатления **вечными**. Очень странное словосочетание, если вдуматься. Впечатления, по определению, бывают мгновенными. Но нет, Пруст говорит о вечных впечатлениях. Из того, что я читал, можно было догадаться, что отношение того, кто получает нечто, называемое «впечатлением», вот к этому нечто, такое же, как у просыпающегося к самому себе и к мирам, которые выбиты из орбит. Хотя в случае просыпания Пруст не употребляет слова «впечатление», но это одно и то же. Я просыпаюсь к самому себе (если просыпаюсь) так же, как я разгадываю или впервые понимаю смысл впечатления. Так же как акт моего просыпания или самого себя я не могу локализовать сразу же, не могу понять его смысла – впечатление какой-то настойчивой странной мелодией гипнотизирует меня, но само оно все время кончается в том, что Пруст называет: «неустойчивое противостояние». То есть оно может выпасть и в одну сторону, и в другую. Куст, увиденный в темноте, может оказаться и кустом, и человеческой формой. Во всех случаях мы имеем сознание, которое просыпается к самому себе в некоем неустойчивом состоянии. Оно находится как бы на грани двойного бытия. Но мы уже много шагов сделали для того, чтобы те слова, которые я сейчас говорю, не были бы случайными. Мы теперь чувствуем, что все эти вещи, называемые впечатлениями, могут что-то сказать нам о нас самих, о каких-то гармониях в мире. вспомните, я говорил вам о дящемся акте, – ведь то, что я теперь называю вслед за Прустом впечатлением, есть, другими словами, то же, что мы почувствовали бы, если бы были способны чувствовать, оказавшись внутри вечного или, как говорит Пруст, *objet durable* – дящегося объекта. Или вечного акта, дящегося и не кончающегося – условно скажем так – в нашем макроскопическом языке. То есть наш язык пропитан причинной терминологией, и если в нем что-то случилось, то случилось. Например, Христа распяли. Это есть в

макроскопическом языке. И тем не менее какие-то основы нашей духовной жизни требуют от нас воспринимать это как **несовершившееся** событие. Событие, внутри которого находимся мы, и наше движение внутри этого события влияет на то, каков смысл этого события. Ну ясно ведь, – пример очень пластичный, на примерах Пруста это, может быть, не так видно, потому что там пирожное «мадлен» или что-нибудь еще, а вовсе не Христос, – что структура в этих случаях одна и та же. Конечно, то, **как** я пошевелюсь внутри этого впечатления или внутри длящегося объекта, участвует в том, каков **смысл** этого события. И чтобы у него вообще был смысл, оно должно продолжать длиться по сегодняшней день. И теперь понятно, почему впечатления можно назвать «вечными». Значит, когда мы говорим о впечатлениях, не всякое восприятие относится к категории впечатлений. И из того, что называется впечатлениями, мы что-то можем узнать о самих себе, о каких-то гармониях в действительном мире. А всякий действительный мир, по Прусту, по нашему разумению, наверно, прекрасен, – **если** мы можем его увидеть. Мы узнаем из этих впечатлений о том, что я называл тайной времени (смысл события, которое мы относим к длящимся событиям, варится где-то втайне). Впечатления, конечно, приходят к нам случайно. Из них же мы узнаем о нашей включенности в эти впечатления. И из них же мы узнаем о сцеплениях нашего предназначения.

И вот то, что я сейчас называю впечатлениями, то есть такими вещами, в которых мы узнаем о самих себе, о гармониях в мире (о тайной упорядоченности мира, о тайном смысле), узнаем о сцеплениях нашего предназначения, – это же называется у нашего героя **разумом**. Довольно странное словосочетание. Я приведу вам цитату из первоначальной наброска романа, который издан уже не самим Прустом, а ревнивыми издателями, любителями Пруста, называется он «Против Сент-Бева». А Сент-Бев, если это имя вам что-нибудь говорит, известный литературный критик Франции XIX века, и для Пруста он выступал как идеализированная фигура литературного критика, с которым Пруст ощущал себя в вечном разногласии, и первый набросок романа рождался как полемическое опровержение представлений Сент-Бева о том, какое место вообще акт творчества занимает в личности человека, совершающего этот акт, что может критик вычитывать из текста романа или поэмы и т.д. об авторе или о жизни автора. Пруст пишет: *«Под тем, что обычно называется умом (или разумом – по-французски «intelligence» означает «разум»), философы стремятся ухватить некий высший разум, единый и бесконечный, как чувство (необычность сочетания, хотя нам кажется, что конечнее и преходящее наших чувств ничего не бывает), являющийся одновременно объектом и инструментом их медитации... Они ищут некое таинственное и глубокое чувство вещей»*. Как вы видите, здесь имеются две странности, по меньшей мере. Во-первых, разум отождествлен с некоторым чувством, хотя и бесконечным чувством. Но наложите на это пока просто ассоциацию (она вам поможет, потому что она точная) – под чувством мы будем понимать ощущение человека, проснувшегося **внутри** бесконечного акта или длящегося акта. Внутри, условно скажем, **фразы, которая продолжает говориться**. Как если можно было бы представить себе мир как бесконечно договариваемую фразу. Конечно, если мы находимся внутри ее, мы можем испытать только – что? Ощущение. Не знание, а только лишь чувство. Но это же чувство оказывается у Пруста и разумом. И во-вторых, это чувство одновременно есть объект, смысл которого я хочу разгадать. Скажем, три колокольни – Пруст утверждает, что одновременно сама материя этого впечатления в моем восприятии есть не только объект, но и инструмент. Инструмент моего мышления, инструмент чувства и т.д. Еще одно предупреждение: я употребляю слова «рассудок», «чувства», «разум»,

«ощущение». Я-то знаю, будучи философом, сколько предрассудков заложено в наших представлениях. Естественно, вы прекрасно знаете, что восприятие есть восприятие, мысль есть мысль, мысль не есть восприятие. Ощущение есть одно представление, и есть другое, и все это отличается от суждения и т.д. То есть вы имеете элементарную классификацию. Но я, говоря о таких вещах, вынужден не считаться с такой классификацией. И поэтому договоримся, что мы ничего не знаем о том, что есть ощущение, чувство или эмоции, есть восприятие, мысли, суждения и т.д. Всех этих предметов и классификаций мы не знаем. Ничего этого нет. Ну, в каком-то смысле это законно, потому что мы должны пользоваться только такими терминами, которые мы сами ввели на каком-то материале. У нас нет материала различать чувства и разум. Из всего того, что мы говорили, мы пока этого различить не можем. Поэтому давайте без классификаций. Все это я называл сознанием, так и будем продолжать называть. Не знаем, что это – чувство, мысль или что-то еще. Ничего этого нет, мы не знаем.

Текст, который я вам зачитывал, относится к 1892 году. Очень ранний текст, когда Прусту было (он родился в 1871 году) 22 года. Он только начинает, и тогда же начинает с той точки, на которой кончает. А именно – на точке особой формы чувствительности. Он называет ее разумом. Ее можно называть формой-чувствительностью. То есть Пруст начинает с того, что есть какие-то вещи, называемые впечатлениями, и есть моя способность в них вгрызаться, скажем так. Их воспринимать и двигаться внутри их. Вот как он двигался внутри трех колоколен. И конечно, из того, что мы говорили раньше (кое-какие вещи я буду восстанавливать), мы понимаем, что если восприятие смысла впечатления тождественно просыпанию, то просыпание тождественно восприятию впечатления; во-вторых, такое просыпание явно есть длящийся акт, нельзя проснуться в одну секунду. Растянутый акт – потому что внутри этого акта заключен целый мир. Целый мир смысла, который возникает, если я пройду свой путь в расшифровке впечатления. Или, просыпаясь, восстановлю или «нанижу на нить, – как выражается Пруст, – дни, часы, минуты, месяцы, годы», и снова миры, выбитые из орбит, окажутся на какой-то орбите. И, добавляя все, что мы говорили, мы теперь понимаем, что просыпание есть **держание места**. Я держу место. Топос – что-то неподвижное. Вы помните, когда я употреблял термин «сознание», я все время пытался как-то пространственно дать смысл этого термина. Говорил о том, что нам кажется, что все движется, а в действительности нечто стоит на месте, а бежим мы. Я приводил вам пример одной фразы, не расшифровывая, из Пруста. Он говорил, что все считают, что прошлое текуче, мимолетно, что оно убегает; в действительности «оно стоит на месте». Так вот, сознание, смысл, разум, чувство – соединяйте все эти термины – это нечто, что стоит, и поэтому мы его называем местом. И в то же время мы знаем, конечно, что есть топография, некая карта нашей души, в которой иначе все распределено, чем мы себе представляем. В этой карте нет низкого и высокого, принц и нищий там уравниваются, – мы знаем: педераст уравнивается с нормальным человеком, рабочий уравнивается с аристократом. Я вам говорил, что в этом месте нет привилегий. Оно – точка равенства. В том числе там нет несчастных и счастливых.

Более того, если есть люди, чувствующие себя несчастными и поэтому что-то знающими, то они уже не там, где они что-то могут понять. Я вам напоминал, что по смыслу Евангелия (а Евангелие – это топография души) у бедных отнята привилегия чувствовать себя «пупом земли». Она отнята и у богатых тоже, но отнята и у бедных. То есть у богатых отнята – не потому, что они богатые, и дана бедным; у бедных тоже отнята. Значит, мы предполагаем нищего духом – здесь, в этой точке. И можно начать с пирожного и прийти к великому смыслу, а можно из книги Паскаля, оттуда можно начать. Безразлично – откуда мы

начинаем, откуда мы идем. Место отправления не повлияет на результат. На результат повлияет лишь промежуток. Поэтому у Пруста появляется все время слово «между». **Между двумя** – когда он обращается к воспоминаниям о некоем прошлом, совпавшем с актуальным переживанием, похожим на него. Но, к сожалению, все комментаторы и читатели воспринимают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое (движется к прошлому), для которого прошлое – идеал. А Пруст все время предупреждал, что не в прошлом дело, не прошлое он хочет восстановить и, восстановив прошлое, насладиться прошлыми событиями, прошлыми переживаниями, восприятиями. Именно в этих случаях, когда он говорил, предупреждал об этом, он повторял: да не там, **между** прошлым и настоящим. Вот это словечко «между» нас должно заинтересовать. Тем более что потом он вместо «между» будет говорить – вне времени. **Время в чистом виде, вне времени.** Это – противоречивое словосочетание. И вот это словечко «между» нужно соединить с тем словом, которое я приводил вам и пометил, со словом «вне». **Вне себя.** То есть со словом «экстериоризация». Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического богатства души, не во внутренний духовный мир, духовную жизнь, в то, что мы называем внутренней духовной жизнью, – есть якобы какие-то глубины сердца, непостижимые глубины чувства и т.д. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечатления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение – вне. Вот представьте себе некоторую вывернутую поверхность и движение расшифровки смысла – выворачивание поверхности. (Ну, есть такие парадоксальные фигуры в геометрии. Там они выглядят как интеллектуальные игры, но в духовной жизни реализуются самые невероятные представления абстрактной геометрии.) Более того, у Пруста это движение **выворачивания себя** – как бы наизнанку – одновременно имеет фундаментальный этический смысл. Без этого выворачивания, то есть без «экстериоризации предметов своих желаний или стремлений», – как говорит Пруст, мы создаем вокруг себя и живем в мире ненависти, злобы и войны. В мире миллионов или миллиардов эгоизмов, которые по неумолимым законам сталкиваются один с другим. И лишь экстериоризация предметов желаний вынимает нас из этого inferнального цикла повторения злобы, ненависти, человеческой разделенности и т.д. (пока мы этический смысл только пометим).

Сделаем следующий шаг. Вот я сказал: вывернуть себя. То, что мы до сих пор говорили, тот материал, который мы имеем, позволяет нам понятным образом на первом этапе это расшифровать так: то, что называется выворачиванием, или движением вовне, есть то, что я называл преобразованием. Вот я сказал: между принцем и нищим нет разницы. Из любой точки можно идти. Из какой точки шел, не повлияет на результат. А что повлияет? **Между**, или **вне**. Степень трансформации материала. Впечатление от бензина не имеет само по себе абсолютно никакого значения, вернее, смысла. Сильная душа может преобразовать впечатление от неэстетического объекта в красоту. Так же, как педераст может преобразовать свои испытания в истину об общей природе любви, а не о своей частной, болезненной. Все зависит от того, каков будет градиент преобразования. У Пруста есть один потрясающий пример: сцена разворачивается на Елисейских полях, куда нашего мальчика-героя водили гулять с няней, где начинались его первые любви. Где появляется Жильберта – первая любовь Марселя. Няня заходит в какое-то строение (это был туалет). И он ждет ее. Его поразил запах сырости. (Ну, если не считаться с мягкой манерой Пруста, который не всегда называет вещи своими именами, – это просто запах мочи.) И вот из этого запаха идет целая симфония мыслей и впечатлений. Именно впечатлений – мыслей, а не просто впечатлений. Перед ним странный, загадочный запах, который развязывает в

нем интенсивную духовную работу. А ведь это просто запах мочи, не больше. Но гипнотизирующий и требующий разгадки. Вызывающий одновременно радость какого-то ощущения себя в мире испытания. Когда мы настолько вырываемся из мира – то, что называется радостью у Пруста, – что нам уже безразлично, что нам больно и что мы можем умереть. То есть радостью в данном случае называется какое-то ощущение абсолютной прозрачности того, что ты видишь перед собой, и полное слияние себя с этим, настолько, что ты ощущаешь понятное тобой вне времени, а поэтому время не страшно для того, что – вне времени. И поэтому состояние называется радостью. Во всех случаях, когда вы встретите это слово у Пруста, оно означает вот это ощущение, которое я, конечно, передал вам плохо. Но не хуже, чем Пруст, потому что то, как передал Пруст, тоже непонятно. Вернее, понятно, если только вы сами это испытали. Вербально – ни я, ни Пруст не можем этого вам передать. Доказательством того, что Пруст не смог, является то, что я должен об этом говорить. То есть я должен интерпретировать. В других случаях Пруст такого рода состояния будет называть мистическими законами. Или таинственными законами. Кстати, не забывайте, что мои высокие рассуждения, так же как радость у Пруста, вызваны – чем? Не высоким сюжетом, а запахом уборной. А теперь наложите на понимание того, что называется радостью у Пруста, модель всеми вами испытанного освобождающего вас страдания, когда вы уже до такой степени страдаете, что уже не конкретные объекты причиняют вам боль, скажем, смерть близкого вам человека или измена близкого человека, а уже вы переживаете какую-то общую суть мира. Вот этот элемент есть во всяком действительном страдании. И тогда у вас есть какое-то ощущение, которое можно передать так; вы как бы ощущаете себя в аду, но презираете своих мучителей, которые вонзают вам вилки в бока или бросают вас в чан с кипятком, вы чувствуете, что они с вами ничего сделать не могут, но вы рабы. Вот это есть радость. Или то, что Пруст называет радостью.

Так вот, этот запах мочи является вечным впечатлением. Почему вечным? Да по одной простой причине: например, там, где он начинает разматывать испытанное ощущение, которое явно несоизмеримо с предметом, – нельзя прийти в такое высокое состояние, которое от меня потребовало сейчас тех слов, которые я употреблял, просто оттого, что тебе ударил в нос сырой запах уборной, – явно там происходит что-то другое, что приняло (вспомните текст о колокольнях) форму запаха мочи. А «дух веет там, где хочет», и он может и эту форму принять. Если послушаешь, то что-то узнаешь. Наш герой слушает, и что он узнает? Длительное впечатление, являющееся элементом какого-то непрерывного или неоконченного континуума. Смысл его каждый раз неясен. И он, кстати, неясен до последней страницы романа. Почему? Сейчас я вам поясню. Дальше, через две страницы, это ощущение совмещается у Пруста с воспоминанием о комнате, которая условно называется комнатой «женщины в розовом». Эта комната в доме дяди нашего героя, к которому он, маленьким, иногда приходил с поручениями от своих родителей или просто навещал своего дядю по материнской линии. (Если употреблять немецко-идишное слово – то, что немцы и евреи называют Feinschmecker. Вот представьте себе сладострастника, все время причмокивающего губами – ах, ах, ах, или – ифь, ифь, ифь, как вкусно. И очевидно, у этого фаншмеккера появлялись не только красивые предметы, но и женщины.) И вот наш мальчик появляется в комнате у дяди, когда из этой комнаты после визита уходит какая-то дама. Она была в розовом. Потом, я должен пометить, эта дама оказывается Одетт. Дама Де Креси, а в качестве Одетт она возлюбленная Свана, а любовь Свана к Одетт – архетип любви героя. То есть он по схеме любви Свана будет переживать свою собственную любовь и пробегать те же станции любви, что пробегал Сван в своей любви и ревности. Но мы ничего этого пока не знаем. Мы знаем только

одно: был какой-то смысл места, где есть моча, потом есть какой-то смысл места, где бывают женщины, и внутри этого смысла – судьба героя. Потому что он будет любить так, как любил Сван. Теперь мы начинаем догадываться, что называется вечными впечатлениями. Конечно же – не конкретный запах уборной и конечно же – не просто промелькнувшая женщина в розовом платье в комнате у дяди. Сейчас мы обратим внимание на следующее. Пруст делает такую реплику... и эти размышления, и эта эляция, то есть ощущение, что, так переживая, я выше мира, я не завишу от мучающих меня ощущений, это есть радость, но в то же время... страдание, – так вот, эти состояния «были вызваны во мне, порождены во мне не какой-нибудь абстрактной идеей или высоким сюжетом, а запахом сырости». Хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Потому что, хотя все это говорится как бы мимоходом, это и есть самое главное. И все бусинки у наших четок, которые мы перебираем, содержат в себе такого рода обороты – нет, не из сюжета, не из высоких мыслей, а из простых вещей. Не из «Мыслей» Паскаля, а из рекламы мыла... Что существенно в такого рода впечатлениях? Сделаем еще один шаг. Существенно то, что мышление или описание происходит. (Я чувствую, насколько непонятно то, что говорю. И я все никак не могу найти простую схему, простую модель, на которой можно было бы эту вещь, которая сама по себе мне внутренне ясна, можно было бы ее пояснить.) Мы имеем дело с романом, который есть продукт акта письма, и роман этот описывает акт «писания» романа (но не воспринимайте это формально: что это есть «писание» именно романа). И мы имеем дело с тем, что человек создает или ищет какую-то форму, а писать роман, или симфонию, или поэму – это искать форму, и он же сам осмысляет этот акт. И осмысляет его потому, что этот акт есть существенное событие. Не просто происходят вещи – например, запах уборной, три колокольни, «женщина в розовом», поцелуй матери, – в мире происходит еще **факт размышления** об этих вещах и их описание в целях найти их форму. То есть смысл. Само искание смысла того, что происходит, тоже есть событие, и оно может быть самым существенным событием. То есть для нас событием является не то – как, что в реальности, какова реальность. Мы даже не знаем, что там на самом деле. Можно описать, что на самом деле происходило то-то и то-то. Существенно, что среди происходящих событий есть еще событие **извлечения смысла из происходящих событий**. И от того, произойдет ли это событие, зависит – что? Я в двух словосочетаниях скажу, на таком ученом и не очень внятном языке и на таком экзистенциальном, что ли, уровне. На ученом это будет звучать так: от этого зависит – **извлекая опыт или не извлекая**. А на научном уровне: зависит, **как сложится судьба**. Сейчас я попробую соединить эти две вещи. Я говорил вам уже, что в мире вещи повторяются. Повторяемся и мы. Сама повторяемость есть дурная бесконечность. Например, можно согрешить и раскаяться, снова согрешить и снова раскаяться. Это имеет смысл этический, психологический, социальный, какой угодно. Есть две вещи. Есть **опыт**, то есть то, что можно наблюдать извне (вот в мире произошло то-то; скажем, произошла война). А есть он же, но **извлеченный** в какой-то структуре. Опыт произошел, но, если он не извлечен, он будет повторяться. На языке религиозной символики повторяемость называется адом. Ведь что такое ад? Вы бесконечно повторяете один и тот же акт. Например, бесконечно прожевываете кусок мяса, который вам полагался вообще. Слишком большой отхватили. А наказание – вы его вечно будете прожевывать, не прожевав до конца. И все, что не имеет конца, бесконечно длится, как дурная повторяемость, – есть адская мука. Ведь в аду не происходит ничего, не кончается ничего. Грех все время продолжается вместе с наказанием за него. И там происходит все то, что является призрачным **забытием**. Ад – это забытое. А раз забытое, значит, будет повторяться. Ну, скажем, бывают войны, которые

будут повторяться, потому что нация, воевавшая, не извлечет опыта. (Последним примером я вступил в самую сердцевину дела. То, что я сказал, конечно, не совсем понятно, и поэтому прошу от вас терпения. Не только по отношению ко мне, но и к тем мыслям, которые будут роиться в ваших головах. Им нужно дать время, чтобы они покрутились. Не так страшно, когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутятся. И кстати, это кручение мыслей и есть круг жизни.)

То, что я сказал, содержит в себе две существенные для нас мысли, и они как раз начинаются в той точке, в которой идет наш анализ. То есть в точке чего-то, называемого впечатлением. В примере, который я приводил, фактически я хотел передать вам ощущение существования чего-то, что можно назвать тканью. Есть какая-то деликатная ткань истории, этики, человеческой души; она каким-то образом устроена. Внешне она оформлена словами, но слова никогда не есть эта ткань. Скажем, есть слово «грех», а есть грех испытания и извлеченный смысл. Есть закон, и есть он же в каком-то другом виде. Или – запрет доноса есть моральная или этическая норма. Но одно дело она – как норма, словесно выраженная в виде закона, и она же – в том ключе, в котором мы работаем. Отличить словесно этого нельзя, по определению. Потому что когда я словесно выражу то, чем мы занимаемся и что является у Пруста, условно скажем так, – онтологическим опытом, то словесное выражение этого опыта совпадает – с чем? – со словами, которые есть. Ну, скажем так: ощущение ткани, которое начинает жить с точки впечатления, – такой тканью является, например, истина, она есть существенный элемент того, что мы можем и должны сказать о том, что мы испытали: из впечатления мы должны среди прочих вещей извлечь и истину. И вот об истине Пруст говорит, что истина не есть нечто, что где-то находится, нечто такое, о чем можно узнать, кого-то расспросив, например свидетелей, или нечто, что тебе пришлют по почте. Так? Теперь я приведу еще пример, чтобы вызвать у вас ощущение ткани, – не знания, не смысла, мы еще этого не знаем и, может быть, даже и не узнаем. Пруст говорит, что истина не есть нечто, что можно прислать по почте. За этим стоит та ткань, которая покрыта словами, но которая от слов отличается. Мы знаем, что истина есть нечто, что можно иметь, а если можно иметь, то можно, например, скрывать. Например, считается, что есть истины, которые разумно сообщать, а есть истины, сообщение которых может оказаться вредным. Правду не всегда можно говорить (я имею в виду, конечно, не интимные секреты, а вещи, относящиеся к гражданской жизни, которые не обладают такой интимностью, и поэтому там запрет стыдливости не должен распространяться, там распространяются другие запреты). И я хочу, чтобы вы настроились на то, что истина есть нечто, что обладает тканью, – такой, что можно разрушить весь нормальный процесс приобретения истины, потому что приобретение истины есть именно **процесс**. Истины **не существует**. Скажем, такого рода социальный запрет, в котором говорилось бы, что есть истины, которые удобно или неудобно возвещать, сам разрушает человеческий процесс приобретения истины. Разрушает ткань. Как это выразить более резко и доступно? Я могу вам доказать такую теорему, что если истина секретна, то дело кончается тем, что ее нет ни у кого, в том числе у тех, которые должны были бы в секрете держать истину. Потому что ткань способности человека открывать истину настолько тонка и сложна, настолько она не должна нигде разрываться (поскольку это именно ткань), что любое покушение на органику истины – а органики истины нет до интерпретации, никто не держит ее в готовом виде – кончится тем, что ни у кого ее не будет. Мы ведь часто предполагаем, например, что мы чего-то не знаем, а начальство знает. Я могу держать пари, что в социальном процессе, в котором допущены два таких начальных шага – что есть какое-то место (начальство), которое будет искать

истину, и есть мы, которым можно ее сообщать или не сообщать, – что истины не будет и у начальства. Там тоже ее не знают. Почему? Да потому, что разрушена ткань **приобретения** истины. А ткань приобретения истины отлична от правил, в которых она сформулирована.

Повторяю – Пруст говорит: не из абстрактного сюжета в мою душу пришло возвышенное духовное состояние смысла (связанное с запахом уборной). Это то же самое, что сказать – не из этического запрета доноса ко мне пришло понимание того, что нельзя доносить, и во мне возникла неспособность доносить. Вот это я называю тканью. Пруст, казалось бы, говорит о совершенно других вещах, но, повторяю, что я везде буду показывать вам одну и ту же структуру нашего бытия. Вот садится человек и хочет писать, то есть заниматься интеллектуальной деятельностью, и вдруг он говорит: когда я садился писать и хотел развить какой-то абстрактный философский или эстетический сюжет, в голове было пусто, и ничего не мог написать. Ведь что мы делаем, когда мы начинаем мыслить? Или нам кажется, что мы начинаем мыслить. Мы собираем данные, мы выбираем направление, в котором идем. Или – мы знаем что-то в абстрактном представлении. Например, мы хотим создать что-то красивое или написать красивое, зная, что красиво. Пруст утверждает: то, что есть, и то, что окажется красивым, ничего общего не имеет с идеей красоты. Или, переведя на тот язык, который мы ввели, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса. Вот как нам это понять? Повторяю, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса, хотя и то и другое одно и то же. Поставим себя снова в положение Пруста. Мы хотим мыслить, мы выбираем предметы. Выбирая предметы, мы знаем правила мышления. То есть то, что мы получим о предмете, чему-то должно соответствовать или чему-то должно не противоречить. Есть критерий. Так вот, эти критерии, утверждает Пруст, ничего общего не имеют – с чем? – с тем, что Пруст называет впечатлением. То, чего мы не можем знать, но что может только быть или не быть. Может только присутствовать или не присутствовать. То есть то, что я называл раньше «невербальным». А невербальное обладает одним признаком (по сравнению со всеми предметами нашей мысли или со всеми законами) – мы его не искали, оно пришло. Почему запах уборной может содержать истину для Пруста? По одной простой причине: он в своих поисках смысла не искал этого запаха. Почему пирожное «мадлен» может оказаться чем-то, что содержит в себе целый мир? А потому, что в поисках мира **я не искал** пирожного. Я его **не выбирал**. А все выборы есть **предвыборы** – я выбираю в качестве человека, который еще чего-то не знает, в качестве человека до-истины, то есть человека, который мыслит в терминах предрассудков. Ведь я пользуюсь теми средствами, которые у меня есть, и беда в том, что я чаще всего оказываюсь в ловушке своего же собственного мышления. А если что-то приходит независимо от известных мне способов движения, то это «что-то» может нести истину. Ведь впечатление есть то, что запечатлено во мне независимо от меня. Я этого не искал, не выбирал. Пруст говорит: я твердо знаю, что когда нечто возникло во мне в момент, когда я споткнулся о неровные плиты мостовой (он идет по мощеному двору Германтов – одна из классических сцен-реминисценций, когда оживает прошлое: нога натывается на неровные плиты, и вдруг с ослепительной ясностью встает перед ним Венеция, которую он усилиями произвольной памяти никак не мог вспомнить; вспомнил только декорацию, а не смысл), – «я не искал этой неровности мостовой». Значит, этот удар впечатления приходит к нам вне наших связей, а связи сплетены произвольными усилиями нашего поиска. Неровности мостовой мы не искали. Так вот, когда вы встретите (знаменитая проблема у Пруста, и она занимает внимание всех комментаторов) словосочетание «непроизвольная память» или «непроизвольные

воспоминания», то в действительности это, конечно, есть проблема не просто памяти или воспоминания, а в более широком смысле – проблема **произвольного ума и непроизвольного ума**. Произвольный ум – это ум, который организует свое движение и контролирует его волей и сознанием. В том числе, если ты ищешь сюжеты, ты ищешь сюжеты уже существующие. С готовыми критериями. У тебя в голове – законы, правила. Но дело в том, что в мире Пруста существует следующий закон (я сейчас выражусь очень абстрактно, но в данном случае это будет единственным способом выразить саму по себе вещь очень сложную), – **от закона нет непрерывного и прямого пути к нему же самому в следующий момент времени**. В данном случае это есть единственно экономное и «мускулистое» выражение. Действительно, можете ли вы так понять, оценить этический поступок другого человека или свой, чтобы это понимание было бы следствием приложения вывода из закона к конкретному случаю? Я утверждаю, что этого не может быть. Оценка конкретного случая не есть следствие выводимого нами из нашего понимания закона. В том числе закона о том, можно доносить или нельзя доносить. Этим я хочу сказать, что непрерывно воссоздается содержание закона. Чтобы закон длился в следующий момент времени – **в промежутке должно снова родиться**. И мир Пруста, как мир Декарта, как мир Платона, есть мир непрерывного многократного творения мира. Мы не имеем мира, который был бы однажды создан с законами и потом длился бы. Такого мира нет, и это мы знаем на своем собственном этическом опыте. Мы никогда не сможем получить понимания какого-то конкретного случая, так чтобы это понимание было бы простым выводом и приложением к этому случаю какого-то нравственного закона. Это противоречит тому, как устроена наша душа. Мы не так устроены в действительности. Хотя нам кажется, что мы устроены именно так. И поэтому, скажем, так же как недостаточно запретить донос в одном случае, так же недостаточно иметь в голове сюжеты, чтобы написать книгу. Я связал это с совершенно другой, казалось бы, вещью. Но это одно и то же.

Так вот, в связи с темой впечатления Пруст говорит, что книги не пишутся из книг, книги не рождаются книгами. А я, завязывая другие примеры, добавлю: человек не рождается из бумажки. Но беда в том, что все наши существующие представления (я имею в виду не только официальные представления, но и обыденные представления) предполагают, что человек рождается из бумажки. А в нашем мире – в мире впечатлений – человек саморождается непрерывно из некоего невербального корня, который – или есть, или нет. Выражением, формой этого корня является то, что мы ввели на прошлых лекциях под названием сомнения и полной отстраненности. Полная отстраненность есть освобождение пространства, для того чтобы внутри освобожденного пространства могло возникнуть присутствие. **Собственноличное присутствие какого-то состояния**. Вот то, что я называю – **невербальное**. Его нельзя получить приложением предшествующего знания. Не получается. И это я называю – **чего нельзя знать**. Нельзя предположить, нельзя измыслить. Все, чего нельзя предположить, нельзя измыслить, нельзя получить выводом из существующего закона, все это есть область впечатлений. Или – **независимых испытаний мира**. То есть чего-то, что в нас произошло, имея печать радости и тайны, и произошло в нас независимо от нас. Нечто называемое впечатлением. Его нота – есть нечто длящееся, мы находимся внутри его и нашим шевелением зацепляем свои судьбы. Конечно же, Пруст шевелился внутри впечатления сырости, внутри ощущения сырости, когда он стоял около уборной и ожидал свою няню, потому что там из этих шевелений завязывались – «женщина в розовом», то есть архетип любви Свана, тайна своей формы любви, а именно: сырость – материнское лоно (или вообще просто лоно). И Пруст оказывался

человеком, который может жить только окруженный мягким, или сырým, если угодно, лоном. Без поцелуя матери я не могу заснуть. А потом этот поцелуй матери мигрирует в Альбертину, и я уже не могу испытать потребность в нежности, не испытав тем самым потребности в Альбертине. Судьба.

Но пока обратим внимание на временную форму, которая уже показывает себя. Мы имеем дело, казалось бы, с ассоциациями. Скажем, запах сырости ассоциируется с «женщиной в розовом», потом с Альбертиной и т.д. Или: цветы, испытанные, в Бальбеке, позволяют потом воспринимать и переживать цветы, увиденные в Париже. Так вот, слово «ассоциация» нас погубит, если мы его будем употреблять. Здесь нет никаких ассоциаций. Ассоциировать некому. У нас **нет субъекта**, который мог бы ассоциировать. Ведь ассоциируем мы актами понимания и сравнения. Должен быть кто-то, кто сравнивает запах уборной с комнатой «женщины в розовом» или цветы в Бальбеке с цветами в Париже. Нет этого субъекта. Значит, я делаю следующий шаг: то, чего нельзя знать, что должно само присутствовать, чего нельзя измыслить, предположить, обладает еще свойством **бессубъектности**. Это – **бессубъектное сознание**. И то, что нам кажется ассоциациями, это есть испытания, реальные события, где одно событие вложено в другое. Как говорит Пруст, «вкушать» Комбре (это родное имение) в Париже означает – не сравнивать Комбре и Париж, а в Париже испытывать такое состояние, которое включает в себя, содержит в себе реально переживание, испытанное в Комбре. И наоборот – тогда состояние в Париже есть **живое состояние**. То есть оно может случиться **как переживание**. Почему? Потому что, как выражался Пруст, есть умственная почва. Или, выразимся другими словами, есть какой-то временной конус, который, вопреки причинной структуре, воспроизводит в будущем некоторые состояния – как реально переживаемые, или живые. Ведь обычно мы считаем, что наши состояния вызываются какими-то причинами. То есть источником наших состояний или переживаний является воздействие на нас внешнего мира. Например, я вижу цветы. Вид цветов воздействует на меня, и я переживаю цветы. Нет, этого не может быть, утверждает Пруст. И мы можем это утверждать вслед за ним. Этого не может быть – потому что событие происходит не в пространстве воздействия, а в некоем континууме самого впечатления или в континууме понимания. И для того чтобы цветы в Париже были источником переживания, цветы Бальбека, за десять лет перед этим случившиеся, должны вложиться сюда, и, как говорит Пруст, цветы, которые я вижу в первый раз, для меня вообще не есть цветы. В каком смысле слова? Да они просто не могут воздействовать, и все. То есть они не могут вызывать живого переживания. А наша история есть в действительности объем живого, расширяющийся объем, но – живого. В этом заключается вся проблема Пруста: проблема воспроизводства жизни, то есть полноты чувств, способности волноваться, – а что такое переживание? – мы волнуемся. Способность воспроизводства этой жизни в разных точках и в разных временах. Поэтому, скажем, автора волнует женщина, похожая на Альбертину, а в «непохожей» он вообще не увидит женщины. Но это же есть сужение наших человеческих возможностей. Как бы конус, идущий из прошлого в будущее и влияющий там на источники наших возможных переживаний, этот конус не совпадает со всей совокупностью объектов, которые, согласно нашим причинным представлениям, должны были бы на нас воздействовать. Повторяю, совокупность объектов, предметов внешнего мира, которые, по нашим представлениям, должны были бы на нас причинно воздействовать, то есть вызвать у нас состояние, – скажем, женщина, я ее воспринимаю, я должен волноваться, – так вот, оказывается, наше восприятие, способность быть живыми, переживать и т.д. находятся внутри какого-то конуса, который не совпадает с этим ансамблем внешних объектов. Точно так же, как объем актов,

с внешней перспективы являющихся предательством, не совпадает с тем конусом, внутри которого мы будем предавать или не предавать. Это же относится к истине и к тысяче других вещей.

Значит, давайте закрепим следующий пункт: нечто соответствующее какому-то закону происходит **не путем вывода из закона**. Или, то же самое: книги не рождаются из книг. То есть они не рождаются из наших ходов мыслей, которые ищут сюжет, тему, которые имеют критерии, правила, оценки и т.д. Этот пункт сейчас нужно будет закрепить, он очень важен нам для понимания всего содержания романа Пруста. Скажем так: я говорил, что из закона не получаются события, **хотя**, и теперь это мы пометим, **случившееся событие может соответствовать закону**. То есть то, **что должно заново родиться**, может быть вторым, или третьим, или энным числом того, **что уже было**. Я утверждаю, например, что когда вы учите геометрию и действительно знаете определения и владеете геометрическим определением (например, фигуры), или математической формулой, – то вы его заново рождаете энный – первый раз. Оно совпадает с уже существующим, но оно все равно заново родившееся. Это, как философ скажет, как бы то же самое о том же самом. Даже в тех случаях, когда то же самое. Хотя обычно в такой ситуации рождается новое. Но иногда повторяется старое. Уже существующее. Но это повторение не есть дление старого. То есть не есть простой переход закона из одного момента времени в следующий момент времени. Я предупреждал, что нет непрерывного хода от закона в один момент времени к нему же в следующий момент. И для того, чтобы дать вам образ этой ситуации – ее уловить очень трудно, – я расскажу вам нечто вроде философской байки... Существует легенда о Сократе, что он на улицах останавливал прохожих и задавал им какой-нибудь вопрос. И потом мотал их по ответам, показывая, что они вообще не знают сами, о чем говорят. Таким путем он вызывал понимание, если ему удавалось, в людях, что в действительности они имеют дело с чем-то невидимым, чего нельзя словесно передать от одного к другому, а что должно быть в каждом. Должно присутствовать и говорить своим присутствием. Скажем – что такое трусость? Трусость – один собеседник ему отвечает – это радость от вида бегущего врага. Тогда Сократ ему говорит: но ведь не трус еще больше должен радоваться, когда враг бежит. И в итоге всякими вопросами (я сейчас не буду в это вдаваться) он заново рождал в них то, что уже в словах существовало. То есть словесно я знаю, что такое мужество. Но если этого не существует, то я не знаю. Когда это возникает, это будет то же самое мужество. Было уже. Но, увы, другого пути нет. Так вот, байка: один софист, уехавший из Афин на несколько лет, покинувший Афины для долгих путешествий, вернулся, входит в Афины – и снова на перекрестке стоит Сократ и явно собирается отловить какого-нибудь прохожего, чтобы задать ему вопрос. Софист говорит ему: «Послушай, Сократ, ты опять все то же самое о том же самом?» Сократ отвечает: «Да, то же самое о том же самом».

Так вот, я хочу сказать, что в результате явившегося нам впечатления, которое от нас не зависело, которое ударило нас вне наших связей, вне направления нашего движения, мы можем – и это предупреждение – установить то же самое, что уже было, но это и есть другой акт в мире, и без этого акта нет мира. Мир не живет правилами и законами, хотя, если он живет, в нем осуществляются правила и законы. Этот пункт в философии называется онтологией, или онтологическим опытом. Он всегда в себе содержит нечто, чего в психологическом смысле нельзя пережить, но что тем не менее есть. Вот есть эти состояния; в психологическом смысле слова нельзя сказать, что мы их переживаем и в этом смысле имеем опыт. Все это есть нечто, что не получается из опыта, а должно быть или не быть. Когда оно есть, опыт получает смысл, он может быть, например, извлечен. Вот если есть снова возникшее **то же самое**

о том же самом, то я могу навсегда извлечь урок из своего предательства и не повторяться. То есть больше не предавать. И тогда, следовательно, я уже высвобождаюсь из ада, потому что ад состоит из забвения. Забвение, или забвение. Ада ведь не существует в действительности, это не есть какой-то факт, это – забвение. Так вот, если я извлек опыт... а опыт я могу извлечь только из того или на основе того, чему не могу научиться на опыте. Что может присутствовать или не присутствовать. Напомню вам один пример, который я уже приводил: историю нельзя начать. Ведь в России на опыте предательства ничему не научились. Почему? Потому что в нем есть нечто, чему вообще нельзя научиться на опыте. Что может только быть или не быть. Если есть, тогда опыт предательства будет плодотворен. То есть из него будет извлечен урок. Или война будет плодотворной. Например, есть нации, которые, выигрывая войны, не становятся от этого возвышеннее и благороднее. Есть такие нации, им война не принесет даже того небольшого плодотворного, что она вообще может принести. Почему? Отсутствуют **онтологические структуры**. А их нельзя начать. Вот, скажем, нельзя встать и захотеть быть исторической нацией. Не получится. (Может случиться с нами, но не потому, что мы захотели.) Потому что нельзя начать историю. В ней можно только быть или не быть. Точно так же – в той структуре сознания, в которой извлечется опыт, можно быть, а можно и не быть. Если «не быть», то мы все забываем.

Значит, у Пруста есть два прошлых. Есть прошлое как элемент длящегося или подвешенного акта, который все время происходит. И если мы в нем участвуем, в нас формируется душа, Например, распятие Христа есть прошлое в этом смысле слова. Это – **несвершившееся** прошлое, которое я должен довершить. Восприятие пирожного «мадлен», десятки других переживаний – тех, которые Пруст называет утраченным временем как предметом поиска. То есть то утраченное время, которое мы ищем, есть несвершившееся прошлое, которое я довершаю. Участвую в сплетениях становления его смысла. Ну, как бы прошлое есть нечто, чему я должен помочь разрешиться. Это – одно прошлое. И это прошлое есть то, которое временили. *Zeit*. Я говорил вам: труд жизни, или впечатление. Впечатление – вся категория восприятий, отношение к которой должно быть у человека следующее: нужно **временить**. То есть ждать и не разрешать никаким действием. Так же как мы, например, можем временно наше страдание от гибели близкого человека – друга, жены, матери и т.д. Ведь, взгляните, что там происходит... Это – продуктивное страдание в том случае, если оно ничем не может быть заменено. Ему нельзя ничем помочь. И его нельзя ни в чем разрешить. Пруст все время говорит, что он никогда не находил удовлетворения в практическом удовольствии; все действительные вещи должны быть убраны из практики. Он имел в виду – что человек всегда спешит какое-то возникшее в нем состояние разрешить каким-то действием. Но, говорит Пруст, есть состояния неразрешимые. Например, состояние страдания неразрешимо. Страдающему нельзя помочь; поэтому в нашем обыденном языке мы говорим: время поможет. Время поможет в том случае, если он стоял внутри страдания и ничем не пытался его заменить или разрешить. Он **временил**. Все, что не временнолось, будет забыто. Уже в другом смысле слова. А то прошлое, которое потом будет разрешено, это только то прошлое, которое временнолось. То есть внутри которого мы в **недеянии** стояли. Без недеяния, с точки зрения Пруста, – то есть то, как он видит организацию нашей душевной и духовной психологической жизни, – нет структур. А есть чисто реактивная вплетенность человека в бесконечное сплетение причин и действий.

ЛЕКЦИЯ 11. 15.05.1984

Мы остановились на проблеме впечатления или особого рода какого-то восприятия. Естественно, что слова «впечатление», «восприятие» или «импрессия» связаны в наших головах с привычными ассоциациями, которые навеяны критической литературой об импрессионизме, о модернизме, о современном романе и т.д. Вы знаете, что в этой литературе слово «впечатление» всегда идет в контексте: мимолетное мгновение, которое сейчас и которое нужно ловить. Имеются в виду мгновения нашей психологической жизни или нашего восприятия. Имеется в виду какая-то внутренняя субъективная игра воображения, связанная с этими мгновениями, психические ассоциации, которые разворачиваются, завязываются у человека. Поток сознания и т.д. Все те слова, которые я сейчас сказал, никакого отношения к делу не имеют. На самом деле жизненная задача Пруста стала жизненной задачей многих художников в XX веке. Ее я определял так: если в XX веке общества смещались к рабству, то художники смещались к героическому искусству. Вот такой был разрыв между одним и другим. То есть художники смещались к героическому искусству именно потому, что что-то происходило в обществе, что они воспринимали как закат или угрозу свободе, и им ничего не оставалось, как попытаться быть героями. Я сказал «герои». Вы, конечно, сразу вкладываете в это психологический смысл, который, безусловно, здесь есть, но я имею в виду другое. Более глубокий, философский смысл. В философии героем называется человек, который полностью присутствует здесь и сейчас. Или – человек совершенный, который одновременен себе во всех своих частях. (Дело в том, что психологический, эмпирический человек не одновременен самому себе: одна нога или один палец у него – в одном месте, а другой палец или другая нога – в другом месте. В действительности он разорван во времени и в пространстве и почти что никогда не присутствует там, где нужно присутствовать целиком.) В греческой философии такой героизм всегда обозначался символом **стояния**. То есть символом **вертикального человека**. Не того, который по горизонтали рассыпан по точкам пространства и времени, а того, который собран. **Полностью собран**. Что совсем не просто. Есть такая очень старая философская притча. Ею часто пользовались для того, чтобы объяснить, что такое философия. Солон (древнегреческий оратор) как-то встретился с Крезом, с одним из сказочно богатых царей древности, и Крез, ощущая сам себя очень счастливым, потому что он был богат, владел царством, спросил, будучи уверен, что сам-то он счастлив, у Солона, встречал ли он когда-нибудь счастливого человека, и что такое счастье? На это Солон ответил, что ни один человек не может сказать, что он счастлив, пока он жив. Солон имел в виду, что человек не весь присутствует в человеке. Он распростерт по более широкому пространству, и ты никогда не знаешь, когда и где на выставленную тобой ногу или руку кто наступит. К этому греки добавляли такую байку: во время Олимпийских игр два брата победили в соревнованиях колесниц. А для греков победа такого рода всегда сопровождалась словом «ореол». Не случайно потом этот ореол перекочевал в икону – в изображение. Ореол – какой-то круг, внутри которого человек полностью собран, круг, который охватывает или вбирает в себя человека целиком и завершает его. Человек полон и завершен (вспомните еще и толстовскую проблему о завершенности смысла: это не пояснение, а просто, чтобы ваша мысль скакала в разные стороны, и так она вернее будет тянуть нить нашей жизни). И вот два брата увенчаны ореолом. Они свершились. И на вершине своей славы, утомленные подвигом, они заснули. И пока они спали, их мать взмолилась, чтобы во время сна, – пока они не вышли из своего ореола, который их замкнул, – Бог их взял к себе. И Бог внял молитве матери, и они ушли из жизни. Иными словами, здесь символ смерти есть указание на нечто,

что невозможно, пока мы живы, но что свершается в какой-то момент, называемый смертью. Но когда мы мертвы, мы не обладаем тем, чем мы обладаем, когда мы умираем. То есть мы завершаемся, когда умираем, умерли, а будучи мертвыми, мы этого не имеем. К тому же мы не знаем, когда умрем. И поэтому – обратный отсвет смерти (в этом смысле, не в психологическом смысле – что я хочу умереть; как часто упрекают экзистенциалистов в XX веке, что они больны манией смерти и т.д., это все ерунда; тот, кто так говорит, не понимает, о чем идет речь). Дело в том, что обратный отсвет этой смерти сюда собирает нашу жизнь в той мере, в какой мы ее можем собрать. Значит, героическое совершенство, как видите, непростая вещь. Оно есть явление человеческой зрелости, или акмэ, как говорили греки, но его нельзя ни продлить, ни повторить. Таково разъяснение слова, которое я употребил в обороте «героическое искусство». Оно означает, что люди хотели средствами своего искусства быть, присутствовать полностью и целиком там, где речь шла об их жизни и об их судьбе, и не быть рабами рассеянного состояния.

Еще одно пояснение. Мы говорили об этическом или гражданском смысле тех абстрактных и, казалось бы, философских или эстетических рассуждений, которым предавались в прошлый раз. Как видите, нет у меня различия между этикой и эстетикой, между философией и эстетикой и т.д. Мы установили, повторяю, этический, гражданский смысл наших рассуждений, или – **метафизический смысл** наших рассуждений. И тем самым мы уперлись в проблему свободы и гуманизма. А вы знаете, что ту разновидность искусства, к которой принадлежат Пруст, Джойс, Вирджиния Вулф и т.д., обычно упрекают в том, что она отказалась от идеалов гуманизма. Или разочаровалась в них, считая их невозможными, или отказалась от них. Да, конечно, произошел отказ от традиционного гуманизма, то есть от традиционного образа человека как такого существа, которое следует каким-то высоким нормам и идеалам. Но это произошло по причине глубокого осознания, что в действительности человек человечен не путем следования идеалам и нормам, что норма или идеал, в той мере, в какой они выполняются, – потому что человек им подчиняется как чему-то, что приходит ему извне (скажем, нормы культуры), – тоненькая пленочка на вулкане, который очень легко может ее (пленку) разорвать. Об этом еще Ницше предупреждал европейскую культуру в конце XIX века. Это предупреждение осталось в силе и в XX веке. Что имелось в виду? А то, что если человек полый, то есть пустой внутри, и не из его корня, вот того, который я назвал невербальным корнем испытания, – если не из невербального корня выросли идеалы, то этим идеалам грош цена и они рухнут в бездну распада и хаоса. Как и случилось – была первая мировая война, потом вторая. Следовательно, человек оказался проблемой в этом смысле слова. А мы установили – даже просто анализируя восприятие, или то, что я условно называл топологией того, что мы можем видеть, понимать и т.д.; точка, к которой нельзя прийти, в нее ничего не входит и т.д., все эти квазиученые слова, – что в познании испытания или впечатления нет «царского пути». Никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и т.д. А если так, то страдание, любовь, ненависть и т.д. подчиняются определенным законам, которые мы, как неумолимую орбиту, должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе Пруст, можно назвать так: он не есть антигуманистический путь, он – **путь восстановления** действительного облика возрожденческого человека. Человека, который – один на один с миром и который должен проделать испытание, для которого нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно (испытание) имеет уникальную ценность, или бесконечную ценность. (Кант называл это

бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь – только мое или ваше. Нет лиц, заданных нормой, идеалом и т.д.)

Так вот, этот путь будем называть так: путь **индивидуальной метафизики**. Или путь индивидуальной этики. Я сказал: этический, гражданский смысл мы выявили – это есть путь индивидуальной метафизики. То есть путь такого испытания мира, чтобы в этом мире был возможен «я» как самостоятельная, автономная инстанция. Как лицо. Это есть метафизика. Метафизический акт – каков мир и каким должен быть мир и какова реальность, чтобы в этом мире был «я» с этой моей претензией. С этим моим требованием. С этим моим испытанием. Уникальным и невербальным. От этого никто никого не может избавить. Напомню вам человека, глубоко родственного Прусту по типу испытания по типу мучения и проблемы, которую он решал средствами искусства, – это французский актер и режиссер, известный, скорее, как «теоретик» театра, Антонен Арто, который начал – то, что начал, – в 1922 году, а в этом году как раз умер Пруст. И я бы сказал, что, по моему глубокому убеждению и ощущению (хотя то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность), в момент, когда умер Пруст, душа его переселилась в совершенно другого человека – в Арто, и совершенно в другом материале все то же самое проделывалось заново. То есть тот же самый внутренний метафизический поиск. Арто, как вы знаете, был теоретиком так называемого метафизического театра, или алхимического театра. И сейчас я просто поясню термин «алхимический театр». Я говорил, что текст есть нечто такое, внутри которого рождается личность того, кто этот текст создает. А чем занималась алхимия? Вы знаете, что она занималась поисками философского камня. Или философского золота, которое должно было рождаться какими-то трансмутациями. У алхимиков символы, то есть названия металлов и все химические операции в действительности были символами внутренней жизни и трансформации в ней. Они пытались родить что-то в своих душах путем совершенно материальных построений. В случае алхимиков – химических, а в данном случае мы имеем в виду более широкое, принципиальное отношение к тексту вообще. Текст есть нечто такое, что может породить искомый философский камень. Именно **текст порождает**. А для Арто театр был машиной, которая своими сцеплениями, своей организацией должна была породить особое качество души. Или особое состояние души. Поэтому он называл театр алхимическим театром. Или метафизическим театром. И вот Арто – внутренне – то же испытание и тот же запрос к миру, как у Пруста, а внешне он связан с сюрреализмом, с Бретоном. Он участвовал в сюрреалистических манифестах 20-х годов начиная с 1924 года. Он с ними то сближался, то порывал. Сюрреалисты тоже были участниками того, что я называл героическим искусством, но в силу социального темперамента тех конкретных лиц, которые создавали это движение, прежде всего Андре Бретона (он всегда был болен тем, что можно назвать соблазном революционности или соблазном социальных преобразований; и разрыв между Арто и Бретоном произошел, кстати, по этому пункту), они обычно выясняли свои отношения путем манифестов. Отлучали друг друга от школы, то есть от этого движения, потом мирились шумно, опять же путем манифестов, под которыми подписывались (было очень модно подписывать манифесты в начале века). И Бретон в манифесте, в котором Арто отлучался от сюрреализма, употребил характерное выражение, что Арто пытается подменить революцию идеей преобразования внутреннего человеческого существа. Или человеческой личности (l'ktre – французское – означает и бытие, и человеческое отдельное существо, по-русски мы можем сказать: личность). Обратите внимание на словосочетание: преобразование самого себя или внутреннее преобразование человека (в отличие от преобразования массового социального бытия). Арто ему ответил

так: «Что мне вся эта ваша революция в мире, если я знаю, что я останусь раненым и несчастным в самой сердцевине моей мясорубки?. Арто сказал то, о чем мы уже говорили: что, как бы ни устроилось вокруг, нет «царского пути». Никто, ничто вне нас не избавит тебя от необходимости – какой? – помните, неумолимая воля Альбертины, или точка, в которой мы сталкиваемся, – страдать, любить, самому понимать. И – на чем был Арто «заиклен», – что ведь мысль, понимание нужно «рожать», а это почти что невозможно. Арто это испытывал как «мясорубку». Психический режим нашей жизни или нашего сознания работает так, что он не может произвести мысль. И точка, в которой мысль производится (я уже ее вам описывал), обладает одним свойством: она – то приходит, то уходит. И – как она приходит и уходит – неизвестно. Пруст улавливал ее через то, что он называл впечатлениями. Но он тут же признавался, что это есть действительно «я», или внутреннее, подлинное «я», которое мы фактически (прошлым нашим рассуждением) лишили психологических свойств и назвали, выделили какое-то бессубъектное сознание. Мы говорили, что речь идет не об ассоциациях во впечатлениях, а об испытании, и там нет субъекта, который что-то внутри ассоциации понимает и актами понимания связывает нечто в такую связь, которую мы называем ассоциацией. Там этого нет. Там события происходят. Мы не можем этому приписать субъекта в смысле классической психологии. Это некоторое сознание, и в то же время оно без меня, то есть без моего психологического «я», – если я действительно что-то испытываю и понимаю, то только тогда, когда оно присутствует. Например, в случае Пруста – когда оно было, только тогда он действительно пережил смерть бабушки, любимого существа. Действительно испытал – все остальное было знанием о том, что бабушка умерла. И там потрясающее не только описание, великолепное по своим литературным качествам, там настоящий анализ того, как может случаться в мире, чтобы мне что-нибудь действительно пережить. Не названием назвать – бабушка умерла, а пережить смерть бабушки. Разные вещи. Я вам говорил в свое время, что в тех явлениях, которыми мы занимаемся, одним и тем же словом называются разные вещи. Слово – одно, а вещь сама, то есть сознание или переживание, может быть, а может не быть. Может быть ее вербальная копия, и нет самого сознания. А когда есть само сознание? Когда есть какое-то «я», которое мы не знаем, некое бессубъектное, – тогда Пруст говорит о нем: что это за существо, вот то мое «я», которое, когда оно было, тогда я и пережил, понял, что бабушка умерла. Действительно испытал эту любовную связь, называемую переживанием смерти бабушки, то есть человека, которого любишь. Так вот, что это за существо? Я ничего о нем не знаю. И знаю только одно, что оно интермитентно. То есть оно прерывисто. Иными словами, оно появляется, потом – пространство и время, в которых его нет, потом снова появляется, и весь вопрос в том, что если «я» есть, то есть я понимаю, испытываю полностью, или героически, если угодно, тогда, когда оно есть, то где же гарантии, на чем основано его появление или исчезновение? Для Арто такой проблемой была мысль. Он имел в виду, что по психическим законам организованный поток наших деяний, нашего сознания и т.д. работает в таком режиме, в котором появление упорядоченной мысли маловероятно. И если она появляется, то я не знаю законов, по которым я могу ее сам «рожать» в следующий момент и контролировать. Для него это было мукой мысли. И кстати, театр был одной из машин, которая должна была быть организована и построена так, чтобы с большей вероятностью рождала состояния, называемые мыслью. (Я ясно выражаюсь? Не очень, да? Хотя слова я употребляю простые, но понимаю, конечно, что это ухватить сложно. На это я могу ответить только так: понять то, что я говорю, можно лишь при условии, которое я уже ввел, – что вы сами это испытаете. Понять, что такое мысль, а я это описываю снова,

можно, только если сами будете мыслить. Сами будете мыслить, и тогда все станет на место и будет понятно.) ...Так вот, от этого нас никто не может избавить. Более того, когда человек говорит такую вещь, а я говорю это вслед за Арто (Пруст тоже не любил идеологические романы), то одновременно он отдает себе отчет и в механизме, который стоит за обликом революционера. Я его выражу так. Ведь вся проблема того, что я называю мужеством невозможного или героизмом состоит в том, что, что бы ни было, независимо от времени и места, **я могу**. Такой взгляд на мир предполагает, конечно, что человек принял фундаментальное одиночество, которое в этом имплицировано. Потому что в этом всякий человек один. Я должен вам сказать, что есть глубокая философская истина в следующем утверждении: действительная человеческая связь возможна только между одинокими людьми. Все остальные больше разобщены, чем им кажется. (Непонятно? А вы покрутите у себя в голове и приложите к своему опыту. Только предупреждаю: то, что я сказал, доказуемо.) Арто прекрасно понимал, и Пруст прекрасно понимал, – и поэтому они избежали соблазна социальности, – что отказ от идеи «я могу» находится на пути к какой-то успокоительной или утешительной иллюзии. Ведь связывать себя с преобразованием общества так, что если общество преобразовано, то я буду хорошим, означает, что я не могу жить в мире, потому что не имеет смысла мне одному быть высоким. Я могу быть высоким, только если все будет высоким вокруг меня. Вот пафос революционера. Почему они преобразуют общество? По одной простой причине: они боятся быть одними – такими, кого можно было бы назвать человеком. Механизм здесь тот же самый, что у Пруста, когда он описывает весь архетип своей любовной жизни, когда рассказывает о поцелуе матери. Схема простая: не могу быть один. А это есть чувство, от которого Пруст избавляется путем целого романа. Избавляется, чтобы смочь быть одному. А когда человек боится, ему нужны успокоения и утешения. И тогда высокие социальные идеалы и мечты о лучшем обществе и есть это утешение и успокоение. Вот весь комплекс революционерства (в том смысле, в каком я говорил). И он для нас является обходом очень простой проблемы: я – здесь, в этой точке, и здесь и теперь мне нужно соединиться с самим собой. И с самим собой я соединяюсь, разрабатывая или прорабатывая впечатления.

И когда Пруст занимается впечатлениями, он занимается не мгновенными ощущениями, не ловит мгновения, не углубляется в свой собственный мир, не предается коллективной игре воображения, а ищет реальность, имея в виду, что все то, что вырастает из нас самих, кует нам цепи рабства, но эти цепи можно разбить, если понять, что они выросли из нас самих, а не из мира. Я пока делаю предупреждение о том, как нам нужно понимать само место проблемы впечатления. Впечатление от колокольни, от деревьев, от пирожного «мадлен» и т.д., – вы знаете, что мы под «впечатлением» всегда имеем в виду какое-то непосредственное ощущение, непосредственное чувство. Оно мгновенно, и кто-то может захотеть этим впечатлениям предаваться... Так вот, Пруст пишет в письме (1912 г.): *«...ничто не является для меня более чуждым, чем искать в непосредственном ощущении (а казалось бы, что более непосредственно, чем то, что мы назвали впечатлением), и тем более в материальной его реализации (если я ищу непосредственного мгновенного ощущения, то я тут же осуществляю материальную реализацию – я наслаждаюсь), присутствие счастья. Любое ощущение, каким бы бескорыстным оно ни было (у нас есть корыстные ощущения, связанные с нашими аппетитами к еде или сексуальными аппетитами и т.д., а есть «высшие» ощущения – я наслаждаюсь запахом розы, я ведь не могу ее сожрать), запах, ясный луч света, если они присутствуют, то я чувствую, что они слишком еще находятся в моей власти, чтобы быть мне счастливым»*. Повторяю, присутствующее ощущение не может быть тем источником, о котором мы говорим, потому что,

пока оно присутствует, оно еще от нас зависит (помните, я говорил вам: независимо от нас запечатленное и т.д.) в том смысле, что мы же им пользуемся. Когда запах розы присутствует, он от нас зависит в том смысле, что мы наслаждаемся запахом розы. Или пирожное «мадлен» присутствует тем, что я чувствую, наслаждаюсь вкусом пирожного, и именно присутствие этого вкуса никогда не откроет ворота для воспоминаний, которые заложены в этом пирожном. Оно стоит на дороге этих воспоминаний. Пока это пирожное «мадлен» в моей власти, то есть во власти моего использования этого пирожного путем поедания и наслаждения вкусом, я еще не имею счастья. *«Но когда одно ощущение напоминает другое, когда я их испытываю между (опять слово «между») настоящим и прошлым (весь роман о прошлом, казалось бы, а вот видите, как опасны слова и как важно **понимать**; потому что понимать можно, только понимая, а все иное не есть понимание; и вот, оказывается, нет никаких непосредственных ощущений и нет никакого прошлого, то есть не о том, что мы имеем в виду под прошлым, идет речь)».* Пруст писал письмо принцессе Бибеско и поэтому в скобках сказал, что здесь невозможно разъяснить, почему «не в прошлом», а «между». Когда **между** прошлым и настоящим, тогда *«я могу испытать счастье... Если я не перестану желать, то я могу сказать, что я никогда не надеюсь при этом».* Опять другой тип стояния. Героическое стояние – в отличие от революционных требований к миру. Революционеры надеются, а в нашем мире, в котором мы ходим, – в мире метафизического мужества, или мужества невозможного, – нет надежды. А есть только одно – найти или постоянно **воспроизводить в себе** основу, или, как я говорил в случае Арто, – машину – чего? **вечности желания**. Или самовозобновления состояний, в которых ты что-то понял, полностью испытал, был счастлив или несчастлив, – через несчастья тоже можно что-то узнавать. Поэтому все действенные состояния, то есть реализованные, сами себя исчерпывают, в отличие от тех состояний, которые ищет Пруст, – в которых состояние возобновляет причину своего собственного появления. Речь идет здесь о бесконечных или вечных впечатлениях, которые повторяются. И вот это повторение есть ритм скрытой жизни реальности. (Не той реальности, которую мы видим нашими глазами, в которой делания исчерпываются с удовлетворением желания. Реализуются практически и тем самым исчерпываются.)

Прустовский роман («Под сенью девушек в цвету») получил сразу же после войны Гонкуровскую премию – тогда, пожалуй, самую престижную во Франции. Хотя первый том практически был напечатан Прустом за свой собственный счет в издательстве Грассе, и этот первый том был отвергнут издательством Галлимар, в котором потом уже Пруст будет печататься. Эти возникшие недоразумения были связаны с темой впечатлений или мгновенных ощущений, они были связаны с тем, что роман написан от первого лица. Конечно, все восприняли роман как исследование автором самого себя – как конкретного психологического «я», нечто вроде биографии, мемуаров и пр. Но это ничего общего не имеет с замыслом Пруста. Так же, как под впечатлением он не имел в виду мгновенных психологических состояний, так и под «я» он не имел в виду «исследование» – в отвратительном смысле «копания» в самом себе, как говорит Пруст. У него не могло быть мемуаров, потому что он прекрасно понимал, что если мы пишем мемуары, то есть рассказываем о конкретных событиях, и к этим событиям слишком близки (мы ими наслаждаемся, применяем себе на пользу или страдаем), то мы не можем найти истину по одной простой причине: мы свободны от композиции, от фиктивной конструкции. А фиктивная конструкция есть единственное, что в своем пространстве может родить истину и смысл. То есть сильная композиция как бы вытягивает из куска мяса, пронизываемого мгновенными ощущениями,

наслаждениями, радостью, огорчениями, конкретными событиями, которые мы все практически используем, вырывает из этого куска мяса, который сам, по режиму психического своего функционирования, ничего не может родить, – вырывает из него истину и смысл. И поэтому, чтобы понять, что с нами происходит, не мемуары нужно писать, а нужно врать. То есть иметь фиктивную композицию романа, структуру или сильную форму. Пруст говорил о кафедрале, о соборе. Собор как нечто, что внутри себя рождает историю (собор ведь не есть изображение чего-то). Короче говоря (я добавляю это к проблеме героического искусства или того, что артисты, художники смещались к героизму тогда, когда общества смещались к рабству), художники поняли, что произведение есть что-то, что не описывает нечто вне самого себя, являясь, словами Пруста, тогда бессмысленным дублем реальной жизни. И тогда действительно разумны слова Паскаля. Вы знаете, очевидно, он говорил, иронически, о живописцах так: «Почему-то принято придавать какое-то значение в живописи изображению лица, которое не имеет никакого значения». Так вот, для Пруста искусство не таково – оно не есть описание чего-то. Значит, художники поняли, что – я называл это сначала композицией или сильной формой – произведение есть такой объект, который не есть реплика или зеркало других объектов. Он сам рождает в себе свои собственные содержания, в том числе рождает и в человеке, который пишет это произведение или его понимает и воспринимает, поскольку оно совпало с его личным опытом. Оно дает ему машину **производства смысла**. И эта машина смысла, мы теперь понимаем, находится в отрыве от непосредственности наших впечатлений и от практических реализаций. Пруст говорил так: «...я как бы никогда не испытываю, не переживаю нечто в мгновение самого переживания. Чтобы мне пережить объект, мне нужно с ним расстаться». Так же, как цветы Бальбека, цветы юности, Пруст переживает в Париже – в другом месте и в другое время. Уже взрослым человеком. Любить одно в другом, и не тогда, когда это непосредственно с тобой, – таков путь поиска смысла впечатлений у Пруста. И кстати, то, что я сейчас сказал: понимать – после того как что-то произошло, и любить, и испытывать, когда уже объекта самого нет, то есть воссоздавать в своем сердце, – Пруст делает это предупреждение в письмах. Короче говоря, как всякий творческий человек, Пруст столкнулся с тем, что его творческий труд сразу же породил культурную тень, или культурный эквивалент его самого, который заслонил и исказил смысл самого труда. (Такой странный, обидный, конечно, закон. Это случилось почти что со всеми мыслителями и художниками. Ну, например, это случилось с Кантом в истории философии. Стоило человеку сделать что-то, как мгновенно появился расхожий культурный эквивалент философии Канта, который ничего общего с кантовской философией на самом деле не имеет. Он рождался буквально при жизни Канта. Так же как при жизни Пруста возник расхожий дубликат, или эквивалент, его романа.)

Следовательно, когда мы занимаемся проблемой впечатления, нам нужно представить себе следующую картину. Со словом «впечатление» у Пруста чаще всего связано следующее слово: *dislocation* – дислокация (или разрыв), которое можно описать так. Все наши впечатления делятся во времени. Это время может быть минимальным, но впечатления все равно делятся. То есть одно впечатление переходит в другой момент времени самого себя. Оно – длится. А то, что Пруст называет впечатлениями – они не переходят в следующий момент времени и вызывают разрыв временной. Скажем, впечатление от колоколен – та необъяснимая радость, которая вызвана видом колоколен, – она не переходит в следующий вид или в следующее впечатление о колокольных. Следующее появление колоколен не имеет ничего общего с состоянием самого впечатления. Выразимся так (и тем самым введем понятие времени) –

впечатление есть такая вещь, в которой я – испытывающий впечатление – ввожу различие между мной, который ищет смысл впечатления или хочет понять его, и мною, который испытывает это впечатление. Повторяю, **есть различие между испытывающим «я» и понимающим или пытающимся понять «я»**. То есть я **не совпадаю** со своим собственным состоянием. Это ясно? Да? Если я думаю об ощущении или сознаю ощущение, то «я» не есть это ощущение. Я отличил себя – от чего? – **от самого себя**. А что такое время? Простое интуитивное определение времени как такового: время есть отличие предмета от самого себя. А пространство есть отличие одного предмета от другого предмета. Повторяю, пространство есть **различенность предметов**, а время есть **отличие предмета от самого себя**. То есть единственное, что отличает предмет от самого себя, есть время (в этом случае – когда мы в чистом виде это понятие выделяем; предельное различие, минимальное – это отличие его от самого себя). (Предметы в пространстве могут отличаться многими свойствами друг от друга. Но различие как таковое их друг от друга есть пространство. То, как они, не употребляя никаких других свойств, отличны друг от друга, – это есть их расположение, или есть пространство. Они занимают разные точки в пространстве – разные предметы.) Так вот, я отличил себя от состояния – это есть время. И это отличие не входит в следующий момент моего же длящегося состояния. Скажем, я продолжаю видеть колокольню. «Я» как ищущий смысл (или состояние, взятое со стороны своего временного различия) не совпадает с состоянием самого этого переживания или впечатления в следующий момент времени. Оно не перетекает в него и вызывает то, что Пруст называет дислокацией, или разрывом. И рождает как раз тот промежуток, который **между**. Между, как я говорил, прошлым и настоящим. Такая дислокация может быть **между** – вот какое-то прошлое воспоминание одного и того же предмета наслаивается на сегодняшней его вид, и они не совпадают – то есть прошлое воспоминание не имеет того окружения предметов, которое имеет сегодняшнее восприятие. Оно не может с ними соединиться и тем самым вырывает восприятие из контекста. Значит, каждый раз мы имеем дело с вырванными из контекста ощущениями. Ну, скажем, когда я иду (вслед за Прустом) по мощеному двору дворца Германтов и при этом неровность плит возрождает в моем сознании (живыми запахами, звуками) Венецию, потому что там я когда-то споткнулся о неровности площади у собора святого Марка, то ясно, что я иду не по двору Германтов. То есть последовательность хождения, или впечатление хождения, не разорвана. Акт хождения не вкладывается в самого же себя в следующий момент времени, это – дислокация. Такого рода впечатлениями могут быть любые. Такая дислокация возможна. Скажем, Альбертина говорит мне что-то – но независимо от содержания говоримого, то есть какого-то рационально организованного сообщения, которое адресует мне Альбертина, у меня есть впечатление от качества ее голоса и от того, что она покраснела. Чтобы вам было понятно, что я имею в виду под впечатлением, которое никакого отношения к фактам пока не имеет, – я могу утверждать, что я ведь, будучи юношей, ничего не знал реально о том, что происходит в обществе, более того, я, конечно, не знал, как оно устроено, но я чувствовал только одно, что язык газеты не может быть языком действительности. У него было качество – чего? Не по содержанию – я в содержании не мог ничего понимать, ничего не знал, я не знал противоположных фактов, у меня были какие-то другие впечатления – качество языка было для меня впечатлением. То есть – тем, что потом повторялось как мотив, потому что магически на меня действовало: вызывало во мне ясное сознание, что таким языком правды не изъяснишь, и в то же время требовало продумывания, то есть имело внутри себя будущую историю или свое **время**. Не время моей эмпирической жизни и хаоса ее впечатлений, а

время, условно скажем так, **своего мотива**. Или – внутреннее время мотива. Повторяющегося, или имеющего ритм. Ведь те впечатления, на которых Пруст застрял в какой-то момент времени, – они, подминая под себя его реальную жизнь, повторяются своими связками в его последующей жизни. Как запах уборной, – он повторяется сценой комнаты «женщины в розовом», потом это повторяется реальным переживанием любви Свана и Одетт и т.д...

Следовательно, впечатление может быть не только от колоколен, пирожного и т.д., оно может быть и идейным, или идеологическим. Мы в любых областях можем испытывать нечто, называемое впечатлением. Нечто, что вызывает в нас такую дислокацию, – то есть впечатлению не находится места в содержании самого же впечатления, в содержании ощущения, которое я продолжаю испытывать, и оно подвисает. Где-то. И оно как раз предполагает, что я ничем его не разрешаю. Я остаюсь при нем: не пытаюсь на его место поставить знание, не пытаюсь, скажем, заменить страдание от смерти любимого человека мыслью о том, что можно любить и других людей. И мне кто-нибудь скажет – зачем же ты страдаешь, ведь, во-первых, полюбишь другого, или, если я раскаиваюсь в каком-то поступке, он мне скажет – ведь прошлое нельзя сделать небывшим, поэтому твое раскаяние бессмысленно... А в действительности вся проблема организации нашей душевной жизни состоит в том, чтобы остаться в «недеянии», как я говорил. То есть никак не разрешать переживания. Наши реакции, реактивные наши состояния толкают нас на то, чтобы разрешать как-то. Ну, скажем, убили друга, я мщу, убивая обидчика. Или, скажем, убили солдата, значит, можно сжечь деревню, в которой его убили якобы из-за угла или не по правилам. Это есть якобы переживание смерти друга. И вот есть две разные вещи: переживание смерти друга, в котором ты застрял, то, что я называл трудом жизни, и есть реактивное разрешение: зачеркивание самого переживания путем действия, в котором якобы это переживание реализуется. Эти действия могут быть любыми. В войне, скажем, действие мести. И там никогда человек не узнает смысла. То есть он никогда не увидит ни себя, ни своего врага с обеих сторон тела. И он никогда не поймет судьбы и будет игрушкой реакций, реактивных состояний. А если амплифицировать эти состояния, которые есть у десяти, у двадцати, у ста субъектов, то мы получим в масштабе общества целую фашистскую истерику, которую мы могли видеть в 30-е годы. Значит, мы получаем крупные, глобальные общественные явления. Из чего? Из механизмов индивидуальной психологии или индивидуальной метафизики. Психология – когда мы не проделали метафизической работы. А метафизическая работа в данном случае есть работа труда жизни: ты стоишь на месте и ничем не заменяешь состояния или впечатления. Пруст говорит, что он всегда избегал материальной реализации впечатлений. Он понимал, что если прервать движение впечатления другим каким-то движением, то там разовьется совершенно другая судьба. И другие нити. В том числе нити рабства. Кстати, прерванные движения могут быть патогенными. Я уже в случае общественном говорил, что они могут быть патогенными. То есть могут развязать глобальные социальные явления. Но и в психической жизни как раз те вещи, в которых мы не временили смысл, сомкнувшись с объектом, – он прервал состояние, разрешив его, – могут, уложившись в глубины нашей души, оказаться патогенными и рождают в последующем, актуализируясь, болезни.

Теперь точка того, что я раньше называл трудом жизни, то есть каким-то прямым ударом истины, внутри которого я должен держаться (держа этот удар) и ни в чем его не растворять, что, конечно, предполагает определенное мужество, – эта точка обрела еще другие характеристики, связанные с впечатлением. Нам нужно представить эту точку как бы подвешенной. Ведь что такое – труд жизни? Труд жизни есть некоторое состояние дления, при котором

ничего не происходит. Некоторый внутренний акт, который не имеет никаких продуктов. Мы как бы ждем. Греки называли такое состояние известным вам словом «апория», но оно сейчас для вас – его контекст – может быть неожиданным, и контекст этот раскрывает этимологический смысл этого слова. Апория – какая-то логически противоречивая ситуация, скажем, – суждений, мыслей. А в действительности, этимологически, апория означает у греков **непроходимое место**. И с этим непроходимым местом они связывали другое гениальное слово, называемое «амехания». Это полный эквивалент восточному термину недеяния. И все герои греческих трагедий всегда оказываются в состоянии амехании, когда нельзя впасть в сцепления, то есть когда нельзя делать ни того, ни другого. Все сцепилось так, что и там есть истина, и здесь есть истина, и там попадешь в сцепление какого-то реактивного механизма, и здесь попадешь в него, и ничего другого не дано. И можно только ждать. Это – амехания. И это есть одна из разновидностей полного и завершеного состояния. Зрелости. Амехания у греков всегда была связана и с акмэ. То есть с периодом человеческой зрелости, или взрослости. В отличие от инфантильности, о которой я говорил. Инфантилизм оказался целым мировоззрением – мир для инфантильного человека состоит из злых и хороших предметов. Одни все время в заговоре против меня, а другие должны меня по головке гладить. И по какую сторону Пиренеев больше любят русского человека... Или как если бы наш герой Марсель спрашивал, по какую сторону калитки Комбре больше его любят. А он ставит другой вопрос, вцепившись в впечатление, он ставит вопрос о **смысле**. Как ставит его Гамлет, который на все реагирует в амехании, то есть в недеянии, но реагирует – **внутренним деянием**. Деяние **поиска** – что это значит? Каков смысл всего этого? И кстати, я должен вам сказать – пример мучения Арто. Это была, действительно, абсолютно безумная фигура (он и в самом деле потом сошел с ума), который реально – на своем теле – пережил состояние, что мысль случайна. И когда она есть, это самое большое чудо, и за нее нужно платить своим телом. То есть этой мыслью должна быть плоть. Я ее должен дать. Французский художник Андрэ Массон, который в свое время был связан с сюрреалистами, и многие книги сюрреалистов выходили с его иллюстрациями, назвал Арто – «наш Гамлет». И действительно, это был реальный, **живой** – не из книги, реальный Гамлет во французской культуре.

Значит, я напомнил вам амеханию, то есть подвешенное состояние. Некоторая точка вашего пребывания, апория, непроходимая точка – в ней преданы амехании, то есть недеянию. Подвешены. С этой точкой совмещено впечатление. Оно как бы заставило остановиться в этой точке, называемой амеханией или апорией. Подвешенная точка – на которую происходит собирание с разных точек пространства и времени. Вот в этой амехании наш герой собирает в Бальбеке, и в эту же точку собирается с точки Парижа, с точки двора Германтов, где он идет по мостовой, и с точки Венеции. То есть связь различных точек пространства и времени дается не по нашей последовательности – и пространственной, и временной, а они берутся как произвольные точки, соединяемые только по закону этой подвешенной точки. С этой точки я как бы выбираю с разных мест пространства и времени. Это есть ткань. (Кстати, в математике есть очень похожий образ такой выборки точек, когда имеется, скажем, четыре точки, задается какая-то одна точка, выбираются произвольные две из этих четырех, потом из новой точки, которая есть сплав этих трех, снова выбирается и т.д. Это необязательный образ, я просто говорю, что такие вещи в математическом воображении проигрываются.) Так вот, дело в том, что мы имеем дело с опытом человека, который на своей шкуре испытал, что то, что происходит в реальности, происходит по законам такого собирания. Движением – не в реальном

пространстве и времени – на подвешенную точку (если ты не задержался) наслаиваются выбором из различных, разнородных точек (в том числе из прошлого; что, кстати, не обязательно, – точки могут быть и одновременными). И мы знаем, что такое построение нашей душевной жизни очень деликатно. Фактически ей ничто не гарантирует, чтобы она держалась. Чтобы она вообще была. И вот это есть испытание Антонена Арто. Он знал, что мыслить можно – только подвесившись и выбирая с различных точек, а гарантий для этого нет. Это место, на которое или из которого выбирают, приходит и уходит так же, как прерывистое или перемежающееся «я» у Пруста. Откуда приходит и куда уходит? И Пруст отвечал на вопрос – куда уходит – очень сложно и в то же время просто. Он отвечал на этот вопрос темой произвольного всплывания воспоминания. Если я задержался, подвесил свой опыт в амехании, то я могу разобраться в испытанной мной дислокации (в смещении, разрыве), могу пройти в созданный дислокацией разрыв, промежуток разрыва, пройти могу, **задержавшись и трудом**, и там мне помогают сами произвольные воспоминания. В русском языке нет точного перевода французского слова, которое одновременно является и религиозным понятием и религиозным символом, это – *grâ se*, **милосердие Божие**. Мы вот так напряглись... и там, где нет оснований, иногда нам помогает *grâ se*, Божественное милосердие, а Пруст скажет: *grâ se*, **милосердие произвольных реминисценций**.

Да, должен вам сказать, что Пруст для своего романа – и это важно для *grâ se*, потому что я сказал: откуда приходит и куда уходит перемеживающееся «я»... (Мы не можем захватить его в свою собственность и считать, что оно впредь все время будет. Что-то другое в мире должно сделать так, чтобы оно появилось у нас. Ну, ясно, что мы должны поработать. Должны подвеситься в дрящем опыте, то есть в недеянии или в амехании.) Так вот, Пруст колебался между двумя названиями для своего романа. Он выбрал известное вам название «В поисках утраченного времени», и сейчас я коротко вам определю, что значит «утраченное время». Прошлое время (которое является нашей проблемой) – то, что я назвал словом «временили». То, что временилось внутри амехании: задержанного или дрящегося, или подвешенного опыта. А потерянное время – это то, которое не временили. Вот, например, действие такое: Гамлет узнал, причем тень ему сказала, – как можно верить тени, когда даже людям нельзя верить, потому что люди являются тенью самих себя, своих собственных мнений или мнений общества, а он поверил тени – и сразу выхватил шпагу и пронзил ею своего отца. Вот эти действия являются потерянным временем, по терминологии Пруста. Он так прямо, конечно, не говорит. Но по смыслу это именно так. То есть время, которое не временили, есть потерянное время. Время, которое временили, тоже уходит в прошлое, может быть забыто и может войти в какие-то предметы, но оно имеет шанс восстановиться в памяти. Всплыть произвольно, поскольку мы над ним работали – временили. А вот то, что не временили, будет в аду. Будет вне бытия, или за бытием. И вот, пояснив смысл потерянного времени, я возвращаюсь – Пруст колебался и выбрал название «В поисках утраченного времени». А манило его и другое название: он хотел назвать всю свою эпопею «Интермитенциями сердца». А в итоге только одна главка в одной из частей романа называется «Интермитенции сердца», или – перемежения сердца. Ну, мы понимаем, что «сердце» здесь можно заменить перемежениями бытия, перемежениями «я», или интермитенциями «я», интермитенциями сердца. И вот что пишет Пруст в связи с тем, что нужен некоторый отрыв, или **отстранение**, от самих себя во времени, которое и есть время. Отстранение от самих себя и есть **время в чистом виде**. Или время амехании, время недеяния. Или есть время апории, то есть непроходимого места. Отстранение от себя и есть единственный путь, на котором мы что-то в себе и в других можем

познать, и оно создает какой-то промежуток – между. Между прошлым и настоящим есть какое-то зияющее **между**, созданное дислокацией. Или открытое, развернутое дислокацией. Что же в этом «между» нас может держать? И Пруст пишет так: «Я выбрал общее название: *В поисках утраченного времени. Эта книга в высшей степени реальная...*» Характерный оборот – непосредственное восприятие, которое сразу находит слова, которые кажутся необязательными, но если понимаешь это восприятие, то тогда они точно стоят на месте; итак, эта книга о реальности скрытой, повседневной, то есть о реальной реальности, скажем так. (Дальше в скобках идет очень сложная фраза, но я не виноват в данном случае; она сложна, поскольку в письмах Пруст мог позволить себе такую плохо артикулированную фразу; в романе он позволял себе длинные фразы, но они имеют четкую, фантастическую артикуляцию.) Я повторяю: «*Эта книга в высшей степени реальная, но в некоторой мере поддерживаемая в порядке имитации произвольной памяти [которая, по-моему, хотя Бергсон не делает этого различия, является единственно верной, поскольку произвольная память (то есть организуемая нашими волевыми и сознательно контролируруемыми усилиями; скажем, я вспоминаю то-то, восстанавливаю факты и т.д.) ума и глаз дает нам от прошлого только неточные факсимиле, которые не более похожи на реальность, чем картины плохих художников на весну]...*». Обратите внимание, что имеется в виду не описание весны плохими художниками, а имеется в виду сама весна. Дать саму весну или дать само воспоминание, воспоминаемое событие. Не картину его, а **оно само** – в собственном лице, собственным существованием, собственной персоной, как выражаются в XX веке феноменологи. Здесь закрывается скобка и дальше идет фраза, из-за которой я привел эту цитату. Теперь опустим скобки, которые нам тоже были полезны, и прочитаем без этого интермеццо скобок: «*...в высшей степени реальная книга, поддерживаемая, в порядке подражания произвольной памяти, милосердием, корневищем воспоминаний*». То есть реминисценцией – уложенный корень реминисценций может в порядке милосердия, послав тебе произвольное воспоминание, связать то, что для связи своей не имеет гарантированных оснований или само собой отлаженных и работающих механизмов, на которые можно было бы положиться, а самому отвернуться в сторону, лечь поспать... (Так же, как мы сейчас, в XX веке, в нашей стране все спим и думаем, что на летающих тарелочках будут всякие чудеса появляться, – разновидность общественного сновидения. Или когда мы, как дикари, которые своей пляской пытались вызвать дождь, ритуальными плясками пытаемся вызвать обилие продуктов, которые на нас посыпятся.) Значит, у нас есть внутренний корень. Ну, представьте себе – я сказал: «подвешенная точка», наложите ее на образ дерева, у которого есть корень (древний символ), – ведь те законы духовной жизни, которые мы сейчас провозглашаем вслед за Прустом, на опыте Пруста, они гласят, что для подвешенного места точками, выборка которых происходит с этого места, могут быть и моя точка – здесь, и точка «дикаря», несколько другая...

ЛЕКЦИЯ 12. 12.05.1984

Мы говорили о том, что есть какая-то внутренняя длительность, или длящееся действие, или вечный акт, скрытый, на основе которого в человеческих существах появляются какие-то состояния или впечатления, вырастая из некоторого корня, который я назвал невербальным корнем испытания и привел вам метафору мирового дерева, воспользовавшись тем, что у самого Пруста эта метафора фактически разъясняется в растительных терминах. В терминах корневища или черенка. И этот черенок обладает странным свойством: внутри производимого им действия нет нашей

человеческой последовательности. Той последовательности, которую мы наблюдаем, в которой человек живет, проживает свой срок жизни, потом живет другой человек и т.д. Можно сказать, что термины той длительности не есть (я приводил примеры этого в другой связи) термины, конечным образом разрешимые в рамках условий и границ человеческой жизни. И поэтому когда мы говорим «корень» или «мировое дерево», то мы имеем в виду не индивидуальное явление, свойственное человеческой психологии, а что-то такое, для чего как раз и понадобился символ. Например, мирового дерева; оно является символом целого сознательной жизни, вернее – исполнением всей сознательной жизни в некотором совершенстве. И при этом считается, что в реальной человеческой жизни, в жизни отдельной человеческой особи это не случается. Я говорил вам, что в тот момент, когда мы целиком собою владеем, в этот момент мы умираем. То есть, когда совершенство к нам приходит, жизнь от нас уходит. И такого рода состояния (я их называл героическими состояниями, состояниями полного свершения и т.д.) нельзя ни повторить, ни продлить. И следовательно, если что-то происходит, то мы находимся не снаружи того, что случилось, – потому что, если бы мы были снаружи, тогда то, что случилось, можно было бы повторить или продлить, – мы находимся **внутри**. Иначе говоря, мы должны представить весь этот ход сознательной жизни как бы находящимся внутри символа мирового дерева – все пространство, которое занято прорастаниями из некоторого корня этого мирового дерева. И поэтому в принципе можно считать, что я сегодня для состояние какого-то человека, который жил тысячу лет тому назад (поэтому я приводил пример «дикаря»). Следовательно, мы как бы так должны анализировать наше сознание, в том числе и то, которое проявляется в произведениях искусства, что для нас не должно быть принципиальной разницы между мной и моим состоянием, – я говорил, что время есть отличие предмета от самого себя. Я как сознающий что-то отличаюсь от самого себя, испытывающего то содержание, которое создается. Например, я что-то ощущаю – но если я ощущаю, то есть сознаю ощущаемое, то я не совпадаю с моим ощущением. И вот этот *dé collage*, как говорят французы, или разрыв, и есть время. Ведь что такое время? Время есть предельное отличие (максимум отличия или минимум отличия, как хотите, это одно и то же), минимальное отличие предмета от самого себя. В случае, когда мы занимаемся нашим человеческим «я», это есть отличие «я» от него самого. Но у нас не должно быть принципиальной разницы между отличием меня в этом состоянии – во времени – от меня самого и отличием меня от другого – в другом хронологическом времени он находился, в другом географическом пространстве и т.д. Здесь, с точки зрения онтологии или философии, нет принципиальной разницы. Этого рода изменения как бы есть появление другого. Если я изменился, то это есть такой же другой по отношению ко мне, как кто-то другой (оставим это пока в таком полупонятном виде). А реально мы движемся в последовательности. Например, мы наблюдаем шаг за шагом. Одни психологические состояния нашего сознания сменяются другими состояниями. И обычно нам кажется само собой разумеющимся, что мы можем от одного наблюдения, от одного переживания переходить к другому. Например, я наблюдаю цветы в Бальбеке и потом этот же цветок – еще раз наблюдаю. И вот все, что происходит, происходит здесь. Все сомнения Пруста относятся к тому, легко ли на самом деле двигаться в этой последовательности? Значит, если мы изменились, а сознание есть это изменение, – простите, я сейчас немножко перебею сам себя, но я хочу это закрепить и дать вам материал для ваших размышлений. То, что философы называют сознанием, есть сознание изменения **склонения**. Что-то склоняет нас к чему-то. Ощущение есть склонение. Представьте себе, что мы неудержимо идем по какой-то наклонной плоскости. Наклонная плоскость есть плоскость вынужденного – то есть

реактивного (вызванного каким-то действием на нас) – **ощущения**. Побуждение является склонением (или наклонением). Мы склоняемся к чему-то. А сознание есть **сознание изменения этого склонения** – тогда мы знаем, что у нас есть сознание. И это есть сознание. Ну, скажем, что называется моральным сознанием? Мы обладаем моральным сознанием тогда, когда обладаем сознанием того, что мы изменили склонение. Скажем, склонение, вызванное пафосом нашей чувственности, – путем какого-то запрета мы это остановили. И вот изменение своего склоняемого состояния – оно не от нас зависит, это мир склоняет нас, – изменение его, изменение склонения и есть сознание. Закрепив это, мы понимаем, что мы никогда не имеем одной мысли. Мы всегда имеем минимум две мысли одновременно. То есть мы имеем склонение и имеем его **изменение**. Или приостановку, или что угодно. То есть у нас всегда минимум две – назовем и то и другое мыслями – мысли в голове. Но никогда не имеем все одновременно. И вот смотрите, что происходит.

К концу своего романа (это симфония, в которой каждый последующий кусок есть нарастающее собирание жизни) Пруст пишет так: *«Я ощущал чувство усталости и ужаса, чувствуя, что все это такое длинное время было без перерыва последовательности мною пережито, помыслено, выделено мною путем секреции (как бы из нас секреция выделяет время, которое мы оставляем позади себя, время, которое мы непрерывно мыслили, осознавали, чувствовали и т.д.), и что это время и было моей жизнью (то есть то, которое я секретировал; как панцирные насекомые, которые из своих секретий образуют свой же собственный панцирь и тащат его за собой), было мной, и к тому же я еще каждую минуту должен был держать его при себе (тащить за собой), и оно поддерживало меня, взбравшегося на его головокружительную вершину (представьте... человек на громадных ходулях и попробуйте двигаться на этих ходулях так, чтобы я не мог двинуться, не сдвигая и их)... Дата (хронологическая дата в данном случае), в которой я услышал шум колокольчика садовой калитки в Комбре, такая далекая и тем не менее такая внутренняя, была точкой отсчета этого огромного измерения, которое я в себе не подозревал. У меня закружилась голова, когда я увидел под собой (это измерение, эту пропасть), в себе, как если бы я имел несколько миль высоты (человек, повторяю, на ходулях, только эти ходули как бы скрыты в земле, стоит только осознать это, и у тебя начинается головокружение; и более того, начинается труд, потому что ты тащишь их за собой), такое количество лет»*. То есть годы – измерение этих ходуль. Сейчас я поясню смысл прочитанного (кроме того, что вы непосредственно восприняли, здесь есть много мин, которые взрываются под нашими ногами или в наших руках, если мы действительно понимаем, о чем идет речь). Во-первых, сказано: звук колокольчика, прозвучавшего когда-то, был точкой отсчета целого измерения. Вы можете, в силу того что я сказал перед этим и говорил раньше, заменить этот пример. Представьте себе что-то прозвучавшее или впечатление (звук колокольчика относится к категории впечатлений), что прозвучало тысячу лет тому назад и что в действительности является точкой отсчета и висит над нами так же, как над Прустом висит звук колокольчика, внутри которого движется раскручивание им своего пути. Я говорил, что звук колокольчика означал поцелуй матери. Поцелуй матери символизирует невозможность быть одному, символизирует потребность всего существа быть окутанным или быть в океане все время влажного и всеохватывающего материнского лона. Лono, влажное, оком, то есть охват, и я внутри нежусь, защищенный со всех сторон. И, конечно же, Прусту приходилось с этим расправляться, потому что нельзя быть свободным, не освободившись от этого. А чтобы освободится, нужно пройти путь и **понять**. Значит, путь понимания, путь развития всей сознательной

жизни лежит в этом измерении. А я уже сказал, что безразлично – это «я» или другое «я», а может быть, то же самое распятие Христа держит нас внутри своей истории, является точкой отсчета некоторого измерения, которое мы тащим за собой. А теперь попытаемся разъяснить «тащим за собой». Ну, например, я реагирую в комнате отеля на шкаф. Он меня теснит, он уродлив и не дает мне заснуть, потому что кажется враждебным, имеющим собственную жизнь, полную по отношению ко мне каких-то злых намерений. Это моя реакция. Но дело в том, что эта реакция такова, потому что я тащу за собой измерение. Помните, я говорил вам: законы времени нашего восприятия таковы, что, для того чтобы нечто стало источником нашей эмоции, это нечто должно быть **внутри** нашего временного конуса, то есть должно находиться внутри связанных впечатлений, и тогда оно становится источником. Вещи сами по себе не являются источниками наших состояний – они должны стать таковыми. Мне кажется, что я реагирую на качество шкафа, который объективно их имеет, а в действительности это никакого отношения к делу не имеет. Я таков сейчас и так реагирую, потому что я тащу за собой измерение. Я знаю, что я тащу за собой измерение и что дело не в шкафе, а дело в том, что цветы, которые я держу впервые, как бы не являются для меня настоящими цветами. Чтобы цветок на меня подействовал как цветок, он должен отождествиться с цветком детства. Тогда он действует на меня как цветок – я радуюсь, вдыхаю его. Или, в случае шкафа, наоборот, – другие реакции испытываю. А в инфантильных реакциях – как в свое время Ксеркс высек море, которое погубило его флот, так и я могу обращаться с миром. Я могу ударить шкаф – ах, какой нехороший. Или, наоборот, удалить плохие предметы и окружить себя только хорошими. В действительности то, что я делаю, я делаю не сейчас, и то, что происходит, происходит не сейчас и не здесь, а происходило где-то и когда-то. И я рассеян по этим точкам – там происходит, не здесь. Там сплелось что-то, а я как лицо, которое кажется себе автономным, действующим автономно, в действительности выполняю то, что диктует мне измерение, которое я тащу за собой. Например, можно умыкнуть Альбертину и сделать ее пленницей. Это – акт. А где он произошел? Он произошел **в измерении** – колокольчик садовой калитки в Комбре. Марсель умыкает Альбертину не потому, что есть какие-то конкретные обстоятельства сейчас и здесь в связи с Альбертиной, а потому, что ему нужно быть в лоне, означенном материнским поцелуем, и он не может быть один. Далее, другой пример вам приведу. Я могу, скажем, здесь держать, как герцог Германт, речь перед убитым горем человеком. Где это происходит? Что он делает? Германт – не здесь. В том смысле, что он тащит за собой измерение. Как говорит Пруст, он расходует неизрасходованный запас поклонов в своих коленях, поскольку есть ритуал рыцарского сочувствия, который он сейчас выполняет совершенно безотносительно к его содержанию, и он не воспринимает того, что перед ним. Он тащит за собой измерение – а когда тащишь за собой измерение, очень трудно прореагировать – не согласно измерению, а согласно сути происходящего перед тобой события. Представьте себе: какая-то штукавина, которая в действительности сзади нас, но она проецирует впереди нас то, что мы увидим. И мы видим какой-то символический, условный силуэт человека, который является чисто рефлексивной или рефлекторной причиной того, чтобы в нас развязалась бы, как в пляске святого Витта, растрата нерастраченных поклонов в коленях. Довольно сложная картина психологической жизни вырисовывается. Не так ли? Но это все я просто буквально воспроизвожу – уверяю вас, что это не вольные вовсе импровизации, а то, что написано. Только в том смысле, что так мной понято. Конечно, так, но это и есть то, что сделано в романе, о котором мы говорим. И поэтому, скажем, умыкнув Альбертину, я в действительности не Альбертину умыкаю, а **реализую** форму

любви, заданную в измерении – в этом внутреннем, дальнем измерении, форму любви к матери. Или потребность материнского лона.

Продлав этот пассаж, мы кое-что теперь добавим к нашей проблеме: что же такое у Пруста впечатление? Впечатление всегда есть нечто, внутри чего есть вырезка истории. И эта вырезка истории может охватывать пространство и время, не совпадающие не только с моментами нашей психологической жизни, но и с целым нашего жизненного пути (скажем, мы живем в среднем 60 лет). Теперь вся беда в том, что, когда Пруст говорит об этом измерении, вся проблема звучит у него так... Значит – когда прозвучал колокольчик, или когда я увидел колокольню Мартенвиля, или когда я увидел Альбертину (любовное впечатление – это тоже впечатление в этом смысле слова), – впечатление всегда есть нечто, что содержит в себе прямой удар истины. То есть того, что есть на самом деле. И след этого прямого удара истины и выражается тем, что во впечатлении есть что-то загадочное и непонятное, что неразрешимо и что не связано с материальным составом объекта. В Альбертине как таковой физически нет ничего загадочного и непонятного. Загадочно **впечатление**. Следовательно, – если ты содержишь в себе что-то, что обозначено как загадка, что-то, что несводимо к тому, что это женщина с такими-то глазами, с таким-то носом, с такой-то походкой и т.д. Повторяю: всегда есть прямой удар **истины**, пока обозначенной для нас гипнотизирующей загадочностью. Или таинственностью. И Пруста интересуют прежде всего таинственные качества предметов, потому что они есть иносказание или знак моего состояния. **Состояния** – как того элемента мира, который в мир должен быть мною невербально привнесен. Не вербальное описание чего-то, не вербальный эквивалент какого-то явления, а само это **явление**. Например – не описание мысли, а **мысль**. Как говорил Декарт: для того чтобы знать, что такое мысль, нужно самому мыслить. В отличие от определения мысли – то, что не нуждается в определении, и есть само. Вот то, что не нуждается в определении и что есть само, и **есть состояние**. Оно не есть просто мое психологическое состояние, оно – **событие** в мире. И вот таинственное впечатление всегда есть знак того состояния или события в мире, которое мне предстоит реализовать. Или пройти внутри него путь. Поэтому Пруст говорит: реализовать впечатление. Реализация впечатления, согласно введенным нами правилам абстракции, может быть выражена близко к тому, что сам Пруст говорил: мир устроен так, что для реализации одного впечатления, может быть, нужно несколько личностей, много личностей. Ну, я же ввел абстракцию, что, может быть, мы сейчас занимаемся тем, что случилось с человеком тысячу лет назад... Перевернем это: чтобы реализовалось то, что случилось и прозвучало (я беру ту же метафору – звон колокольчика; всякое может быть таким звоном), ему понадобилась, чтобы реализоваться, не одна жизнь, то есть не одна личность, а понадобилось несколько личностей. **Чтобы реализовать одно впечатление**. Или одну единицу впечатления. Значит, единица впечатления шире или больше, чем единица, обозначаемая нами, – индивид или человеческая особь. И, следовательно, нужно несколько особей, чтобы реализовать впечатление. А с другой стороны, Пруст скажет: чтобы реализовать полноту личности, нужно, может быть, несколько жизней. И вот с этой оговоркой я вернусь к тому, на чем себя прервал.

Так вот, Пруст упирается в проблему, что, с одной стороны, есть удар истины, а с другой стороны, есть и каждый раз случается то, что человек, вместо того чтобы реализовывать впечатление, занимается чем-то другим. Чем же? То есть Пруст имеет дело с тем, что там же, где прозвучал удар истины, там же вырастает в нашей жизни, в непрерывном движении нашего психического сцепления (мы каждую минуту осознаем, шаг за шагом, что это все есть непрерывные цепочки осознания), вырастает экран – прямое впечатление как

бы уходит куда-то вбок. И вот Пруст говорит так... (Это связано с тем, как Пруст понимал саму природу воображения или художественного творчества, или вообще любого творчества. В данном случае вы, конечно, понимаете, что под словом «творчество» я имею в виду не внешний акт писания книг, а какой-то экзистенциальный личностный акт, происходящий в нашей жизни. Он происходит посредством текстов, в широком смысле этого слова. Текстов сознания. Но это все равно есть акт жизни, а не профессионально отдельно выделенный и с жизнью не связанный вид занятия специально назначенных на это людей, называемых артистами, мыслителями или кем угодно.) Итак, я цитирую: «Этот труд художника, состоящий в том, чтобы пытаться увидеть под материей, под опытом, под словами что-то, отличающееся от них, этот труд в точности обратен тому, который – самолюбие, страсть, рассудок и привычка совершают каждую минуту в нас, когда мы живем, отвернувшись от самих себя». А это и есть наша обыденная жизнь; обыденная жизнь для Пруста и для всякого нормального человека есть та жизнь, которая складывается из актов, в которых мы живем, отвернувшись от самих себя. Представьте себе, что есть вектор направления. Поставьте вектор направления с положительным знаком на работу артиста, художника и прямо обратный вектор на работу, в которой само же мгновение впечатления начинается. Есть путь реализации впечатлений – нужно спуститься в колодец, внутренний колодец своей души. Как говорит Пруст, – «единственное направление, которое нам не закрыто». А остальные направления закрыты дурной повторяемостью бесконечных сцеплений. И вот на обратном векторе сразу же работает, тотчас же работает привычка, работает рассудок, работает самолюбие, страсть и, как выражается Пруст (воображение у него пластическое, оно сразу как-то геометрично располагает все вещи), «в ту же самую секунду страсть, ум, рассудок, привычка, самолюбие наслаивают на наши подлинные впечатления...» – вот прямой удар истины (я все время перебиваю себя, но, по-моему, так легче двигаться, чем я просто формально зачитал бы безупречно красивый текст, и он был бы менее понятен, наверно.) Пруст в таких случаях, чтобы «мускулисто» дать читателю и самому себе образ этого наслаивания, говорит, что предмет любви – «Альбертина была похожа на камень, на который нанесло очень много снега». То есть – сразу же тайна впечатления от Альбертины, которая меня к Альбертине привязала. Я не знаю, что это за впечатление, я в нем не разобрался, и тут же она (тайна) обросла, как камень, колоссальной глыбой снега. Наросли на ней пласты, как говорит Пруст, «промежуточных состояний». Или – представьте себе, что само впечатление было дискретно, а эта нарощая конструкция – как бы чудовищно – я опять словами Пруста говорю – «разросшееся пространство и время». А пространство и время есть в данном случае что-то, точки чего сенсублизованы для нас любовью. Поэтому Альбертина не есть здесь, в этом теле, она – в любом предмете, на котором проросло мое отношение к Альбертине. И я Альбертину буду встречать в самых неожиданных местах. Так же, как смерть Альбертины, – она ведь не одним актом совершится, Альбертина будет миллионы раз умирать, по мере того как я буду оказываться перед лицом предметов, которые содержат в себе память об Альбертине. (Ну, убить ее одним актом я не могу. Она и сама не умирает одним актом.) Так вот, представьте себе как бы чудовищно нарощий снег – снег конструкции на строительный камушек. Камушек впечатления. Чтобы разрастись так, впечатления должны были, как выражается Пруст, «уйти вбок от своей прямой линии». То есть от своего действительного, подлинного смысла, в котором мы или не захотели разобраться, или пока у нас и не было времени разобраться. У нас это время появится только потом, конечно. Мы потом собираем, а не сразу. Чтобы что-то собирать, нужно сначала разбросать. И жизнь разбрасывает – по бегу коляски твоей жизни с громадной скоростью перед тобой распаивается

пространство и время. Или – как бы разбегающиеся от тебя вселенные. Вот придут ли они назад?

Дальше он пишет так – и вот все, чторосло, окончательно скрыв от нас подлинные впечатления, – «и что несет в себе цели, называемые нами практическими, – все это ошибочным образом называется нами жизнью». Здесь Пруст вводит различие между жизнью подлинной и жизнью повседневной. Причем различие – не иерархическое, – что сейчас мы живем тем, что называется обыденной жизнью, а после смерти – какая-то другая жизнь. Нет, различие – **в каждой точке**. Внутри или поперек, или вертикально, любого конкретного предмета или события. Значит, нечто ложно называемое жизнью, составлено из снега, нарощего на камень. Нарощенного теми силами, о которых я уже говорил (привычки и т.д.). И тогда можно сказать, говорит Пруст, что это столь сложное искусство – то, которое противоположно работе художника, но это и есть его работа: он должен срезать все эти конструкции, – и она не может не быть сложной: никаким реалистическим описанием нельзя получить того, что нужно получить работой художника, потому что то, что может дать реалистическое описание, как раз не видит, как выражается Пруст, того, куда проросли видимые нами на поверхности предметы, и правдоподобное описание было бы самым ложным, – так вот, «это сложное искусство есть единственное живое искусство». Единственное, что может быть **орудием** нашей жизни. Какой жизни? **Подлинной жизни**. «Только оно может для других выразить и нам самим показать нашу собственную жизнь». Потому что то, что происходит внутри подлинных впечатлений, – продолжает происходить, мы там живем, но живем мы и в снежной бабе, которая выросла. Конечно, со снежной бабой (я вам показывал, когда переводил измерение) мы будем обращаться по законам камня, на который она выросла. Как говорит Пруст, – тот, кто слишком верит фактам, рискует не видеть законов...

В этой прерванной цитате дальше идут очень многозначительные слова. Я остановился на том, что там и есть наша жизнь, которую мы условимся называть вслед за Прустом «подлинной». Значит, у нас есть две жизни: жизнь та, которая нам кажется, или реальность, которая нам кажется реальностью, и есть другая, которая действительно реальна. **Действительная реальность**. И в ней тоже есть наша жизнь. Пруст говорит так: то, что является нашей подлинной жизнью, «этого нельзя наблюдать, и видимые явления этой жизни должны быть переведены и иногда прочтены обратным чтением и с трудом расшифрованы. Этот труд, который совершили наше самолюбие, наша страсть, наш дух имитации, наш абстрактный ум, наши привычки, именно этот труд должен быть разложен и отменен, ликвидирован трудом искусства, и в этом смысле это есть движение в противоположном направлении, в обратном направлении, возвращение к тем глубинам, где то, что действительно существует, лежит, незнакомое нам, и именно искусство заставляет встать нас на обратный путь». То есть обратный путь в данном случае есть путь движения к тем глубинам, где лежит то, что в действительности существует. Или то, что действительно, на деле существует. А в области снежной бабы, которая эмпирически существует, в этой области или внутри этой снежной бабы – все, что существует, не есть действительное существование. Не есть действительная наша жизнь. «И, конечно, это великий соблазн воссоздать подлинную жизнь и оживить впечатление. Но для этого нужно всякого рода великое мужество, и в том числе сентиментальное мужество. Потому что это означает прежде всего прервать наши самые дорогие иллюзии». Конечно, действительный смысл впечатления прозвучавшего колокольчика есть что-то, что нужно оживлять; а для этого нужно мужество чувств, что означает прервать наши самые дорогие иллюзии. (В том числе мироустроительные социальные иллюзии, о которых я вам говорил, – будто можно устроить, как

революционеры думают, сам собой действующий механизм счастья; не случайно один из этих революционеров, Чернышевский, всю жизнь периодически возвращался к мечте своей юности – к работе над созданием вечного двигателя; помешательство, типичное.) И вот нужно отказаться – а для этого нужно мужество – от самых дорогих иллюзий. Перестать верить в объективность того, что создано тобой самим. Беда в том, что то, что мы называем объективностью, есть наши представления. Или снежная баба. Мы ее секретировали из себя, мы ее создали. И мужество состоит в том, чтобы перестать верить в ее объективность. Здесь Пруст повторяет периодически совершавшийся в истории философии классический шаг освобождения человека. Этот шаг делался Декартом, потом делался Кантом. И он всегда состоял в том, чтобы показать, что то, на уровне чего лежат причины и необходимости, есть наше представление. Связующая сила наших представлений, а не фундаментальные черты самого мира. Потому мы свободны перед лицом мира, поскольку мы можем быть рабами только самих себя – того, что выросло из нас самих. Так вот – **перестать верить в объективность того, что создано нами самими.** И например, вместо того чтобы убаюкивать себя словами «она мила», прочитать в этих словах «я получил удовольствие от того, что поцеловал ее». Мне было приятно ее поцеловать. Вот и все. И нечего турусы разводиться, в сотый раз убаюкивая себя этим «ах, как она мила», а просто вот – «мне было приятно ее поцеловать». А для этого, конечно, нужно мужество или то, что я называл жестокостью. Философия жестокости (не в обыденном смысле, конечно): жестокость по отношению к самому себе, которая состоит в способности так видеть и так сказать. «Конечно, то, что я испытывал в часы таких размышлений, все люди испытывают. Но то, что они испытывают, подобно некоторым клише, которые выйдут из своей темноты, только если их проявить, поднести к свету, и к тому же еще их нужно смотреть наоборот». Ну, вы знаете, что изображение на негативе перевернуто по отношению к тому снимку, который мы должны получить. То есть мы должны его перевернуть. Перед этим Пруст в этой же цитате говорил, что нечто нужно читать наоборот. «И это может случиться только тогда, когда мы подносим эти клише, существующие в душе каждого человека, к лампе ума, который только и может их осветить, интеллектуализировать, различить, и тогда – и с каким трудом – мы, наконец, видим фигуру того, что мы почувствовали на самом деле». Вот что мы на самом деле почувствовали – «фигуру того». Не сам предмет, который вызвал, а фигуру. Я говорил вам, что фигура есть нечто, отличное от предмета. Или фигурация есть какой-то контур (в некотором мысленном пространстве), не являющийся просто дискретно выделенным предметом (скажем, звук колокольчика не есть фигура того, что ты действительно почувствовал от этого звука.) И вот только тогда выступает фигура того, что мы почувствовали на самом деле.

Должен вас предупредить: то, что я говорил до этого, и то, что я говорю сейчас, в действительности является «классической», так называемой феноменологической проблемой. И тот, кто знаком с современными философиями XX века, может накладывать на то, что я буду говорить, уже существующую феноменологическую терминологию, появившуюся после работ Гуссерля и устойчиво существующую в современной философской традиции. Есть философия, называемая феноменологией. И мы в действительности занимаемся феноменологическими проблемами; но я этих слов не употребляю – не только потому, что вообще пытаюсь не употреблять ученых философских терминов, поскольку в них часто исчезает жизненный смысл говоримого, а еще и потому, что, по моему глубокому убеждению, я, наверно, единственный философ, который не склоняется к немецкой философии и предпочитает

французский вариант философии, созданный не философами, а людьми, которые жили, – а французы всегда, в отличие от немцев, жили. А пока эти жили, те создавали доктрины, системы. И я могу доказать любому просвещенному феноменологу (если он доступен доказательствам), что Пруст глубже и лучше решил феноменологическую проблему, чем Гуссерль. Поэтому я предпочитаю материал Пруста ученому материалу системы Гуссерля. С этим предупреждением я возвращаюсь к тому, о чем говорил. Итак, прежде всего мы сталкиваемся с тем, что то впечатление, о котором мы говорим, характеризуется **дискретностью**. Дискретный луч впечатления. Как впечатление он не продолжит следующего мгновения нашей жизни. Помните – «я шел не по тем же улицам, по которым шли прохожие, которые были вне дома в этот день, а по сладостным, печальным и скользким улицам моего прошлого». Так вот, не эти улицы, которые видят прохожие, вызвали это состояние в Прусте и, следовательно, не их наблюдение второй раз (то есть не непрерывность сюжета, допустим) способно что-либо объяснить в этом впечатлении. Следовательно, впечатление есть то, чего нельзя произвольно наблюдать. Оно дискретно уже в этом смысле. Вот в чем была ошибка Гуссерля – я таким коротким пассажем это помечу, – он предполагал, что можно наблюдать феномен. То есть можно **решить** наблюдать феномен. Вслед за этим, когда Гуссерль это сочинил, произошло одновременно два эпизода: один во Франции, другой в Италии. Эпизод во Франции описан в воспоминаниях Симоны де Бовуар. Сартр услышал о Гуссерле от Гурвича (Арон Гурвич – известный философ и социолог.) В воспоминаниях это происходит в кафе, они сидят втроем: Гурвич, Сартр и Симона де Бовуар. И Гурвич говорит: вся философия в том, чтобы суметь описать чернильницу феноменологически. И Симона де Бовуар пишет: Сартр побледнел. А вы знаете, как бледнеют от сдержанной эмоции, когда самая любимая, тайная, тобой еще не осознанная мысль вдруг высказана кем-то; это и бледность честолюбия, и бледность страсти, и бледность ума. И в Италии то же самое. Был такой Энцо Бачи, несколько лет тому назад умерший, один из немногочисленных экзистенциалистов и феноменологов в Италии, который в своем феноменологическом дневнике приводит факты своей биографии. Его учитель Антонио Банфи когда-то ему сказал, что – и тем самым наставил на путь феноменологии – вся задача в том, чтобы суметь феноменологически описать розу. И в одном и в другом случае предполагается, что можно захотеть – и описать феноменологически что-то. Так вот, феномен есть что-то, что нельзя выбрать и потом описать. Феноменологическим феноменом может быть – по отношению к тебе – только что-то, где в этом отношении **с тобой что-то случилось**. Ты имплицирован вне своей судьбы – ты не можешь просто захотеть взять и описать розу феноменологически. И поэтому – такое количество нудных и топчущихся на месте феноменологических описаний, например, у Гуссерля (у автора самой этой системы и самого этого термина). Нельзя захотеть и – наблюдать.

Так вот, возвращаясь к дискретности. Дело в том, что всякая вещь, называемая нами впечатлением, – как бы вне причин, вызвавших это впечатление, подвешена перед нашим внутренним взором как какое-то мучительно вспоминаемое нами лицо, – прямо в нас ударяя какой-то истиной, которую мы еще не знаем, очевидно, обращена к нашей глубине. То есть: уже предсуществующие, накопленные нами тени, из которых, как я говорил вам, только и вырастает свет. Дантовский *grand cerchio di ombra*, великий круг тени. Отемниться нужно по отношению к предмету: что-то случиться должно в моем отношении с предметом, должна имплицироваться в нем моя жизненная судьба, чтобы от предмета ко мне шло феноменальное его явление. И вот феноменальное явление – вне причин. Это именно – впечатление, а не

содержание впечатления. И вот это различие чего-то и его же содержания и есть феноменальное различие. Феноменологическое различие. Очень трудная абстракция (ее трудно удержать в голове): **что-то** и **его же содержание**. Содержание для нас сразу же существует в причинном виде или в причинно-следственном виде. Ведь все наши переживания являются психологическими переживаниями только тогда, когда они переживаются одновременно с переживанием своей причины. Содержание переживания всегда совмещено с его причиной. Мы переживаем вместе с причиной: само переживание содержит в себе представление о своей собственной причине. А феноменологическая абстракция предполагает, что мы должны смочь разорвать этот экран. Отделить представление собственной причины, отделаться от него – потому что оно закрывает то, что происходит на самом деле. Феноменологическая абстракция должна подвесить существование впечатления как нечто еще иное, чем содержание этого впечатления. То есть как бы существует впечатление как что-то отличное от своего же собственного содержания. Это, конечно, абстракция. Но впечатление присутствует, и **присутствие** должно отличаться от **содержания** присутствия, потому что переживание, относящееся к содержанию присутствующего, всегда содержит в себе его причину и неотделимо от представления его причины. Ну, конечно же, ясно, что если Альбертина вызывает у меня впечатление, то это впечатление – как феномен – никак не может быть сведено к причине и не может быть разрешено в терминах причин. Каждая Альбертина – как причина, вызывающая во мне какое-то чувство. Этого не может быть. Не эти качества рожают чувства, конечно.

И значит, мы можем сказать, что Прусту интересны именно таинственные качества. Его не интересует, не занимает и проблемой он не считает нечто, что может быть передано в пространстве и времени (то есть другим людям) знаково-предметными средствами и логическими определениями. Ведь мы любое знание можем передать знаково-логическими средствами – то есть сконструировав и сообщив мысль в некоторой осмысленной языковой конструкции, – предполагая, что любой человек в точке приема передаваемого тобою знания может воссоздать предмет, к которому это знание относится, и убедиться на опыте в смысле передаваемого тобой ему состояния, знания. Пруст открывает – будучи феноменологом, практикующим феноменологом, который и слова такого не знал и представления не имел, что параллельно с его жизнью это происходило где-то в далекой, туманной Германии, – некоторые состояния и сообщения, которые существуют и сообщаются помимо такого рода средств. Помимо воссоздания в другой точке пространства и времени прямого причинного опыта. Я могу проделать только психологический эксперимент – скажем, что-то вызывает какое-то раздражение, и описание этого раздражения я могу передать в другое место, где предполагается, что там такой же предмет вызовет такое же раздражение. Это как бы подкрепляет смысловую передачу, которая осуществляется путем логических определений или языковых логических конструкций. А Пруста интересует другое – поскольку у него критерий «моего» состояния, то это состояние как бы существует **множественно**. То есть – одновременно в разных головах и помимо передачи знаково-предметными средствами. Это не слишком отличается от того, что я говорил в самом начале. Если мы допускаем, что внутри прозвучавшего есть целые измерения, что мы можем видеть то же самое или быть в том же состоянии, или реализовать то состояние, которое начал реализовывать человек тысячу лет тому назад, то мы же фактически предполагаем то, что мы сейчас уже выявили, а именно – предполагаем, что есть множественность состояния, образующая некоторое пространство общности помимо и вне знаково-предметных средств передачи. Или коммуникации. То есть Пруст

столкнулся с другими способами коммуникации или общности людей. Или – самого себя в следующий момент времени. А мы договорились, что разница между мною сейчас и мною в следующий момент времени в принципе не отличается от разницы между мной и другим человеком в этих состояниях. Не вообще, конечно, а в этих состояниях.

Фактически Пруст как раз здесь и фиксирует проблему сознания, о которой я уже неоднократно говорил. Ведь причин волноваться видом боярышника или звуком колокольчика калитки нет. Колокольчик этот такой же, как и другой колокольчик. Боярышник такой же, как и другой боярышник, и улица – такая же, как другая улица. Или сама же она в следующий момент времени. А мы убедились, что это не так: нельзя наблюдать – еще раз посмотреть на улицу не значит увидеть смысл того впечатления или суметь расшифровать смысл того впечатления, которое на меня улица произвела. А что такое наблюдение? Способность повторять, воспроизводить предмет наблюдения. Так вот, в случае Пруста как раз вот этого тождества нет. Там, где есть тождество, там нет впечатления. Боярышник равен боярышнику, и там впечатления нет. А там, где есть впечатление, – нечто, называемое боярышником, выделено и не есть другой боярышник. А вы знаете, что логическое определение применимо к тождественным предметам, без тавтологий не бывает логических определений. И следовательно, нет передачи знания тогда логическим путем. А что здесь есть различного, так это различенность и связность сознания, которое само есть это отличие. И Пруст как бы показывает, что это сознание существует множественно. Во-первых, **одно состояние** множественно. И во-вторых, одни состояния как бы входят в **другие**. Ну, скажем, внутрь состояния, в котором я воспринимаю цветы в Париже, в него, очевидно, сплывшись, потому что иначе нельзя, вошло состояние восприятия цветов в Бальбеке. Я повторяю: это есть различенность и связность сознания. Мы ведь знаем, что для нас имеет значение только связность, связанные впечатления. Впечатления – задействованные. Скажем, просто улица не является источником знаний о ней как об улице, если в нее не вложено состояние улиц моего детства. Я повторяю, что **источники наших эмоций не существуют в абсолютном смысле слова**. Это есть великий принцип, феноменологический. Кстати, он же есть и принцип относительности, распространенный на сознательную жизнь. Анализ, объективный, действительный анализ сознательной жизни должен прежде всего ввести принцип относительности, который состоит в том, что ничто не является источником наших состояний в абсолютном смысле слова. Нечто лишь **становится** или не становится источником. Причем **не становится** тоже есть состояние. Такое же таинственное, как и то, что становится. Например, для нас таинственным является состояние волнения перед предметом. Таким же таинственным является и то, когда предмет не вызывает волнения. Скажем, присутствие красивой женщины вдруг оставляет меня холодным. То есть **отсутствие состояния тоже есть состояние**, являющееся проблемой. Или интересным состоянием. Такого рода состояния, когда мы, вместо того, чтобы переживать горе, когда оно с нами случилось, думаем о том, чтобы съесть мороженое. И это никакого отношения не имеет к нашей жестокости или бесчувственности в психологическом смысле. Здесь другие законы действуют. И интересно их выявлять. **Законы**, а не просто банальность, что он бесчувственный человек...

И в этой различительности и связности, называемой сознанием, есть **идентичность** самому себе – не идентичность боярышника боярышнику, улицы улице (как раз эти вещи нарушены), а идентичность себя некоторому действительному или подлинному «я». И реализация впечатлений есть воссоединение себя с самим собой в подлинном виде. Подлинное «я» – то, которое реально испытало что-то. Но между этим «я», то есть реально

испытанным что-то, и воссоединенным с ним «я» лежит целая снежная баба нарощенной конструкции, которая снимается действительным трудом искусства. Или трудом мысли, если угодно (если эта мысль осуществляется без художественной конструкции, это одно и то же) . И вот когда эта идентичность реализуется – это называется **полнотой** или **цельностью восприятия** – тогда мы можем сказать: **восприятие произошло**. Оно может произойти только как феноменологически полное. Пока эта полнота не осуществилась, мы даже не можем сказать, что психическое событие произошло. В каком смысле произошло событие? Я увидел двух танцующих девушек, «шерочку с машерочкой». При танце они соприкасаются грудью. Что можно сказать об этом событии, если я не увидел смысла? Понимаете, ведь этот смысл вдруг звучит такими словами: «А вы знаете, – говорит доктор Котар, который наблюдает эту сцену, – ведь сенсуальное наслаждение женщины прежде всего грудью испытывают». А герой наш видел просто танцующих девушек (в банальном значении общих актов мы можем это интерпретировать). Но само это восприятие – то, как и что видел Марсель, – это есть событие. В каком смысле я могу сказать, что что-то случилось? Обратите на это внимание. Я не могу сказать, что оно случилось. Это фантом или, скажем, эпифеномен. Не случайно поэтому у многих психологов и физиологов все сознание получается эпифеноменальным, то есть какой-то тенью, сопровождающей реальные события: они вообще не умеют анализировать сознательную жизнь. Пруст это умел делать. Он знал, на каком уровне и когда можно сказать, что **нечто произошло применительно к событиям сознания**, психики. И там предполагается выполнение некоторой полноты, а вот с ней дело очень плохо. В этом вся метафизическая, экзистенциальная, онтологическая и т.д. проблема Пруста. Она связана с проблемой непрерывности. Я прочитаю вам очень интересный отрывок из Пруста, который относится непосредственно к проблеме впечатления.

Начнем с того, что, во-первых, установлен закон, что впечатление есть что-то, в чем мир правдив. Там уже прозвучала истина. Правда, она тут же ушла вбок, как мы знаем. Ушла в снежную бабу, наращенную тем, что мы не работали над реализацией, а не работая над реализацией, мы забыли (мы заняты самолюбием, страстью, привычкой, рассудочными наблюдениями и т.д.). Значит, мир правдив. То есть я уже нахожусь в какой-то реальной жизни, не зная этого, и этот факт моего нахождения в реальной жизни прислал ко мне феномен как бы снаружи. Пришел феномен. Ну, случайно Пруст обратил внимание на танцующих девушек, хотя не понял сразу, где это событие произошло. Но потом такого рода события будут совершаться подряд. Будет целое скопление точек таких событий, и, наконец, реализуется – одно событие. Так же, как плиты Венеции случились во дворе Германтов, где он снова споткнулся о неровности плиты, и снова это произошло. Но уже всплыло реальным живым присутствием то, что происходило в прошлом. Не рассудочно вспомнилось, а **само пришло**. Это – феномен. Так вот, мы можем сказать, что мир правдив и пришел к нам в виде феномена, потому что мы уже двигались в реальности, двигались в истине, но впечатления раньше входят в нас, чем мы входим сами в себя. Этот интервал весьма растянут. И более того, я говорил – этот интервал может даже занимать несколько человеческих жизней. И вот впечатления входят в нас раньше, чем мы вошли в себя, и, следовательно, полнота их, осуществление впечатления предполагает наше полное присутствие. Мы перед лицом впечатления находимся, как выражается Пруст, в полном составе самих себя. А этого в эмпирической жизни, идущей стихийно, не бывает. И вот что пишет Пруст в контексте объяснения, зачем вообще нужно заниматься писанием художественного произведения (романа и т.д.). Для Пруста то, что называется искусством, неотделимо от того, что греки называли

арето, то есть честь, добродетель, – в каком смысле? В смысле полного присутствия всеми частями своего существа в момент действия или в момент восприятия, или перед лицом чего-нибудь. (Кстати, Валери тоже беспокоила эта проблема. Он ужасно не хотел быть курицей, которая бессмысленно высиживает яйца. Антонена Арто тоже интересовала мысль, а не отдельные законченные продукты мысли. Так же и в случае Валери – не отдельные законченные, как статуи, художественные шедевры, а смысл, само художественное производство и место его в жизни. И поэтому Валери говорил, что высшим человеком является не тот, кто способен иметь какие-то способности и выносить их наружу в виде каких-то продуктов, а тот, кто овладел собой во всем объеме своего существа. А наш объем ничего не стоит. Хотя я себя за волосы поднять не могу, но все-таки тем объемом, который заключен вот в этой моей оболочке перед вами, ничего не стоит овладеть. Но в действительности я, как и любой человек, как и вы, распростерт невидимым образом в тысяче удаленных от меня или от вас точек пространства и времени. Там наши части. И в момент восприятия они не все присутствуют. И тогда мы чего-то не воспринимаем.) И вот Пруст пишет: «Все те чувства, которые заставляют нас испытывать удачи или неудачи реального персонажа, производятся в нас только посредством образа». То есть то, что не связано в образе, безразлично и не действует на нас. Образ есть промежуточный источник превращения чего-либо в источник эмоций. Это понятно? Вот, скажем, чтобы увидеть улицу, чтобы она подействовала на меня как улица с соответствующими эмоциями и пр. состояниями, она должна иметь отношение к промежуточному образу. Принять форму этого образа и тогда войти в меня источником какой-то мысли (нечто вроде кантовского априорного пространства и времени, если вы хотите такую ассоциацию). Значит, какие-то радости, приключения реального персонажа вызывают в нас эмоции через посредство образа удач или неудач этого реального персонажа, то есть человека. «И изобретательность первого романиста состояла в том, что он понял, что в аппарате наших эмоций самым существенным элементом является образ, и, поняв это, он ввел упрощение, которое состояло в том, чтобы просто и прямо элиминировать реальные персонажи». То есть ввести вместо них фиктивный, романический персонаж. (И дальше Пруст поясняет, почему это – улучшение дел, почему мы тогда лишь начинаем что-то видеть. Я говорил вам: когда я рисую что-то, я рисую не то, что вижу, а рисую, чтобы увидеть...)

ЛЕКЦИЯ 13. 29.05.1984

В самые последние минуты прошлого занятия я читал вам цитату, в которой мы увидели странную особенность нашей души. Особенность, состоящую в том, что душа не всегда присутствует там, где надо, а если присутствует, то только частично. Пруст говорил: если мы и воспринимаем несчастье другого человека, то только частью своего существа, потому что мы должны по природе своей все совершать в последовательности. Сначала А, потом В, потом С и т.д., мы не можем воспринимать все сразу. То есть держать в одновременности многое человеку невозможно. Или, иными словами, время как **последовательность** есть человеческая **форма времени**. Вполне можно представить себе какие-то другие существа, иначе организованные, которые не воспринимали бы события в такой последовательности. Но всякое событие должно принять эту форму, или, как говорит Пруст, **форму образа**. Следовательно, форма, о которой мы говорим, есть наглядная форма. Всякое событие должно принять эту форму, чтобы **войти в нас**, чтобы мы могли на него как-то реагировать. Если оно не принимает такой формы, то оно вообще остается в другом мире или вне нашего внимания. Я надеюсь, что вы сразу же узнали кантовскую тему в ее подлинном виде. То есть не в виде субъективизма, агностицизма и т.д., а в виде того, что

есть нечто, некий универсум (или вещь в себе), который живет своей жизнью и который, для того чтобы мы могли что-нибудь в нем увидеть, должен принимать формы нашей, доступной нам, чувствительности, наших, доступных нам, форм. Более того, и сам человек, который переживает несчастье, как говорил Пруст в этой цитате, тоже не всеми частями своей души и не всеми способностями сразу может его испытать. Оно как бы последовательно развернется в нем. И великим изобретением было – замена реальных существ, то есть тех, которые осуждены на то, чтобы все испытывать только в последовательности и не сразу, замена реальных существ фикциями. Литературными фикциями, или – в других случаях именно такого рода фикции я называл текстами в широком смысле слова. Тексты суть **продукты воображения** или результаты продуктивного воображения. То есть они не есть продукты нашей психологической способности воображать – потому что воображаем мы вещи те же самые, реальные, но которые отсутствуют в этот момент. И этим вещам, которые мы воображаем психологически, свойственны наши же способности воображения. Они тоже – в последовательности, они тоже – не все сразу и т.д. Следовательно, когда речь идет о тексте или о фикции как продукте воображения, мы под «воображением» должны понимать что-то другое. В философии это условно называли трансцендентальным, или продуктивным, воображением (но это просто слова, чтобы предупредить читателя, чтобы он не отождествлял это воображение с психологически известной ему способностью воображения). Значит, введение каких-то существ, которые нереальны и которые ведут какую-то свою жизнь, – вот что Пруст здесь называет шагом вперед. Великим изобретением. И вот они ведут такую жизнь, так они разворачиваются, обладают такими свойствами (нашим отношением к ним), что они как-то компенсируют и корректируют нашу психологическую неспособность быть сразу во многих местах, сразу иметь многое, нашу обреченность на то, что все можно испытывать только в последовательности (это очень важный пункт). Пруст будет употреблять разные слова, чтобы об этом говорить. Он будет называть это «фиктивными существами» романа, он будет называть это «прозрачными» или «интеллигидельными» телами. Очень странные термины, за которыми скрываются глубокие проблемы, и сложность как раз в том состоит, что их очень трудно развернуть. В традиционной философии и в сегодняшней философии (и тем более в эстетике, которую я, простите меня, вообще не знаю, может быть, там есть что-то, но мне не встречалось, во всяком случае) просто нет даже слов и терминов для того, чтобы об этом рассказать. В этом как раз состоит моя трудность и ваше мучение. Ну, скажем, обратите внимание на следующее сочетание слов: в той цитате, которую я приводил, Пруст говорит (когда дает характеристику этих фиктивных существ) – что в них романист замещает части, непроницаемые для души, частями, проницаемыми для души. Когда мы слышим такое словосочетание, мы склонны сразу же привычным образом это понимать (то есть рассудочно): проницаемые для души – это то, что я могу понять. Нет, Пруст имеет в виду, что есть некоторые материальные образования, которые своей же материей дают свой собственный смысл. (Вот я напишу вам какой-то знак, скажем, букву М по-грузински. Это материальное образование на доске вы каким-то особым отдельным актом соотнесете с каким-то смыслом. Оно само этого смысла своей материей не дает. Более того, известно, что если, скажем, вы слышите просто какую-то форму в любом языке, а язык состоит из фонем, то можно показать, что физические качества звука не содержат причины того, что вы слышите эту фонему. Иначе говоря, тот факт, что вы слышите М, не определим физическими качествами этого звука.) Короче говоря, Пруст имеет в виду особые телесно-духовные образования, восприятие которых нами совершается вне необходимости совершать опосредующие акты рассудочного мышления. Иногда он употребляет

термин, заимствованный им у Леонардо да Винчи (кстати, Поль Валери тоже уткнулся в этот термин и был им заморожен), – *cosa mentale*. **Ментальная вещь.** Имеется в виду не вещь, которая есть в голове у тебя, – ведь психологически мы представляем себе, что все вещи в каком-то особом непространственном виде находятся в нашей голове, – вещь, но **умственная.** Умственная, но **вещь.** Он так говорил (Леонардо да Винчи) о живописи: живопись есть *cosa mentale*. Ментальная вещь. Он имел в виду, что изображение не есть о чем-то рассказывающее нечто, помимо себя или вне себя, а есть **изображение – самоговорящее,** порождающее наше состояние: когда мы его воспринимаем, оно действует в нас **вещественно.** Это же называется у Пруста впечатлением. В феноменологии это же называется феноменом. И вот само введение этих существ, говорит Пруст, держит вокруг себя скорость нашего дыхания, биение нашего пульса и интенсивность нашего взгляда. «И когда романист привел нас в такое состояние, в котором все наши естественные состояния происходят в удесятеренном виде, тогда мы проживаем больше и с большей интенсивностью, чем в реальной жизни мы прожили бы за десятилетия или за столетие, потому что в реальной действительности даже изменения мы не можем воспринять, потому что размерность изменений больше размерности нашего восприятия; в том числе и изменение нашего сердца, и это большая беда; но мы узнаем об этом изменении только через чтение, в воображении; в реальности оно меняется довольно медленно. Настолько медленно, что мы, последовательно проходя в нашей размерности состояния этого изменения, не можем вообще даже иметь чувства этого изменения».

Значит, сначала я сказал, что есть какие-то особые образования, которые и материальны, и духовны. Они духовны в том смысле, что, снимая опосредующий акт заключения, сами себя показывают. Самим же телом показывают. Скажем, Пруст, описывая пение и игру Бермы, говорит об интонации Бермы, что она – прозрачная для души, имея в виду, что за представшим нам телесным обликом нет еще чего-то. Он сам есть это «что-то». И значит, эти существа, которые одновременно и материальны, и духовны (это же не просто психологические фикции нашего психологического воображения), которые компенсируют нашу неспособность одновременно быть в разных точках или во многих точках, они, оказывается, еще дают нам и другое время. Или другое пространство. Они дают нам **компрессию времени.** То время, которое мы должны были бы пройти за десятилетия, и ту интенсивность, которую мы могли бы накопить за эти десятилетия, они дают нам в другом масштабе времени – они компрессируют это время. То есть время некоего утопоса. (Я ввожу классический термин «утопос», Вы знаете его по слову «утопия», но оно затаскано в нашем обыденном словоупотреблении, и смысл потерялся. Ведь действительный исходный смысл – топос, то есть место, у – негативная частица или отрицание; утопос – несуществующее место. Отсюда и родилось слово «утопия».) И вот, оказывается, **несуществующие места,** или утопосы, – весьма существенная конститутивная часть нашей души, нашей способности переживать что-то иначе, чем позволила нам природа. Природа нам позволила идти в последовательности и не позволила нам одновременно многого. Значит, мы не можем – ни долго, ни много. И вот есть у нас, оказывается, какое-то измерение утопоса, в котором иначе организуется наша сознательная жизнь. И все, что Пруст называет впечатлениями, есть как бы посланцы, гонцы другой организации сознательной жизни. Поэтому я вас предупреждал, что все это бред, когда говорят об импрессионистах, о Прусте, о Джойсе, о модерном искусстве, что это – субъективизм и замыкание людей в мире собственного сознания в пренебрежении к объективной реальности. То есть – вместо того, чтобы снять шляпу перед объективной реальностью (как есть вещи на самом деле), люди замыкаются в мельчайших своих ощущениях,

впечатлениях (как, например, Фолкнер, Вирджиния Вульф). Я вас предупредил, что проблема состоит в том, что эти критики предполагают само собой разумеющимся существование объективной реальности, и само собой разумеется, что они знают, что такое объективная реальность. То есть достаточно посмотреть на нее, а не на себя, и ты увидишь. Когда ты посмотрел на себя и замкнулся в себе – это плохо. Так вот, вся проблема этого искусства состоит в том, что впечатления, которые имеют свой континуум развития, есть гонцы или посланники другой организации сознательной жизни, и эта другая организация сознательной жизни и есть проблема выхода на действительную реальность. Как раз то, что обычно мы называем объективной реальностью и в уходе от которой мы упрекаем художников, как раз это и есть майя, как говорили на Востоке. То есть – ирреальный туман. И впервые о том, что есть реальность, мы узнаем из впечатлений, и если двигаемся с ними, то мы решаем проблему выхода на то, каков мир на самом деле. Поэтому все эти сложности: смешение пластов времени, феноменологическое занятие развитием впечатления как такового или существование впечатления, а не чего-нибудь другого – все, что внешне выглядит у Пруста как копание во внутреннем субъективном мире, все это было проблемой не внутреннего субъективного мира, а проблемой выхода на реальность. И значит, что мы тогда получаем? В самом начале XX века произошел, и мы ощущаем это через текст Пруста, как бы геологический сброс, или перелом, человеческого мышления. Параллельно с творчеством Пруста в профессиональных философских местах этот же перелом, или сброс, мышления выражался в виде развития феноменологии и экзистенциализма. Иными словами, одним из признаков перелома была знаменитая проблема феноменологической редукции. Я сейчас коротко поясню, что это значит.

Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что когда Пруст говорит о впечатлениях, он чаще всего говорит (не тогда, когда ему нужно развить эстетический эффект, а когда ему нужно, как бы со стороны посмотрев на себя, сказать, что это такое), что нужно воспринимать то, что он называет впечатлением, **в последовательности его самого**, а не в последовательности причины (чаще всего в таком сочетании). Во-вторых, когда мы имеем дело с прустовскими впечатлениями, мы видим, что чаще всего речь идет не о содержании впечатления, которое поддается ментальному развитию, а о **существовании** самого впечатления. Как бы **само впечатление**, а не его содержание. И вот здесь-то и заложены (я частично говорил об этом) все корни сложной феноменологической абстракции, которая требует от нас уловить существование впечатления как отличное от его же собственного содержания. Почему это нужно сделать? По одной простой причине: в содержании всегда заложено переживание нами этого содержания, а переживание нами любого содержания всегда имеет своим элементом представление о причине этого содержания или впечатления. А причины – содержат в себе то, что уже Гуссерль называл предпосылками, допущениями. Допущениями о том, как устроен объективный мир. И эти допущения должны и быть подвергнуты редукции. Иначе мы не услышим ничего. Мы не услышим того, **что** говорит нам впечатление. Представьте себе, что вы рады есть пирожное «мадлен», потому что оно вкусное, – я простое содержание вам привел. Ну, какое может быть содержание у пирожного «мадлен»? Пирожное есть предмет в объективном мире. Более того, мое восприятие этого предмета и моих состояний, вызванных этим предметом, всегда содержит в себе понимание или представление причины моих состояний. Если я рад или мне вкусно, то это потому, что пирожное таково. То есть качество пирожного вызвало во мне состояние, которое я переживаю (состояние радости, удовольствия). А теперь представьте себе, если бы Пруст таким образом понял свою собственную радость. Он не

услышал бы того, что говорит впечатление, странным образом его волнующее. Станным – несводимым к материальному составу случившегося. Оно несводимо – пирожное есть пирожное; так же, как женщина есть женщина, – там тоже феноменологическая редукция нужна. Потому что отнюдь не само собой разумеется, что раз Альбертина обладает качеством А, поэтому у меня любовь к ней. Это не само собой разумеется. А у меня – любовь. Почему? Если не проделать феноменологической редукции, то потому, что Альбертина хороша. Тогда – если ты думаешь потому, что Альбертина хороша, – ты пробежишь весь inferнальный адский цикл всех иллюзий, разочарований и т.д., которые пробегает наш автор, который, конечно, начинает с иллюзий. Но он-то начинает свой бег, такой, концом которого может быть разрубание, разрушение последней иллюзии, подлежащей уничтожению. Значит, – **существование** в отличие от содержания. **Феноменологическая редукция.** Так вот, феноменологическая редукция есть операция, посредством которой мы разрываем или приостанавливаем действие в себе экрана, который в нас существует. Приостанавливаем представление, понимание, что предметы – как причины, которые вызвали во мне те или другие состояния, есть экран между нами и миром. И редукция тебе говорит: **приостанови.** Она тебе не говорит, что пирожных в мире нет, что предметов в мире нет, что они не действуют на нас. Да нет, она требует сдвига понимания, подвешивания наших уже предсуществующих и причинностью наполненных, нагруженных представлений. Повторяю: **подвешивание уже предсуществующих, причинностью нагруженных представлений.** Она требует приостановки этого как бы автоматического действия каких-то предметных картин в нашей голове. А это самая большая проблема для человека. В нас есть предметные картинки, и они действуют на нас, и то, что нам кажется продуктами нашего мышления, есть просто проявление действия этих предметных картинок в нас. Неких, как выражался Пруст, кинокадров, которые нас завораживают своей сменой. И тогда – что же оказывается феноменом? Феномен есть то (я сейчас сложную фразу, вернее, не сложную, а содержащую, так сказать, местоимение незаконным образом построю), что **само себя в себе показывает.**

Вот, например, само себя в себе показывает у Пруста тело маркиза (он тогда еще титула не носил, но будем называть его маркизом) Сен-Лу, друга Марселя. В романе есть поразительная сцена – кстати, она есть в первом наброске романа, который был позабыт и отброшен Прустом (он назывался «Жан Сантей»), и эта сцена, уже иначе изложенная, повторяется в «Поисках утраченного времени»; очевидно, это устойчивая тема самого Пруста, и хотя она повторяется совсем иначе и другими словами, но какие-то ключевые тематические мотивы сохраняются. Ну, а Сен-Лу нужен Прусту в данном случае для того, чтобы прокрутить в своей голове проблему дружбы. Дружбы – как области, в которой что-то может случиться, чем можно обогатиться, и может ли вообще человек реализовать себя в дружбе. Вы знаете, что Пруст весьма пессимистически думает о дружбе. Поскольку дружба обычно сводится к интеллектуальной связи или к духовной связи и тем самым не несет с собой риска, то есть личной опасности, то она меньше обогащает человеческую душу, и ты меньше себя в ней реализуешь, чем в самой низкой и в самой сенсуальной любви к женщине, которая никакого отношения к миру идей, к миру интеллектуальному не имеет. Как ни странно, хотя она не имеет отношения к интеллектуальному миру, как раз в духовном, интеллектуальном смысле может тебя больше обогатить, потому что обогащают тебя только те испытания, которые с риском для тебя самого были тобой проделаны. Когда ты стоял на карте. В дружбе же этого нет. В дружбе есть феномен общения и присутствия, который мешает тебе быть одному. А в любви ты один. Я говорю слово «риск», а это есть то же самое, что сказать «одинокость». Потому что ведь мы умрем

несчастливыми, а не кто-нибудь другой за нас. Поэтому там, где есть риск, там есть одиночество. В риске мы одиноки. А одиночество – условие того, что мы развиваемся. В дружбе нет одиночества еще и потому, что дружба чаще всего есть способ для нас избежать нашего собственного одиночества. Иначе говоря, все явления вроде дружбы, светского салона, интеллектуальных разговоров и т.д., все эти явления являются как бы производными или вторичными, иллюзорными средствами для нас разрешить *angoisse*. То, что французы называют *angoisse*, а немцы называют *Angst*. Можно по-разному это называть. То, что вошло в популярную литературу под названием «страха». Иначе говоря, в дружбу мы ударяемся. Из того, что я говорю, не вытекает, что не должно быть дружбы, что нельзя дружить и т.д. Нет, не надо так спешить, хотя к этому довольно трудно выйти. Но если подумать, то мы не можем не думать без жестокости. (Я сказал, что мы занимаемся вслед за Прустом философией жестокости. Если Арто мечтал о театре жестокости, то вот и я, вслед за Прустом, предлагаю философию жестокости. В смысле: жестко мыслить.) Так вот, мы ударяемся в такого рода отношения, чтобы закрыть перед самими собой страх, который мы не можем не испытывать. Какой страх? Что это за страх – *angoisse*? Одиночество. Ощущение того, что есть что-то, чего никто не может сделать за тебя, во-первых, и во-вторых, то, что ты должен сделать, очень хрупко. Для этого нет никакого само собой налаженного механизма, на который ты мог бы опереться. И это, конечно, страшно, потому что может не получиться. И тогда погибнет жизнь. Вот что называется страхом. В философии XX века, скажем, в феноменологической, экзистенциалистской литературе *angoisse* не означает конкретного психологического страха перед чем-то. То, что называется страхом, есть нечто, сопровождающее ясное сознание ответственности перед своим предназначением. Твой подлинный путь, настоящий, твоя подлинная жизнь, развернется, если ты пройдешь путь предназначения. Но на пути этом нет костылей. И это страшно. Вот весь страх. Но всегда есть «помощники» нам в этом страхе (у переводчика есть так называемые ложные друзья переводчика; и у нас есть ложные друзья). Очень часто общение является просто способом избежать этот страх. Дружба является таким способом. И т.д. Некоторые мысли являются прикрытием этого страха.

Кстати, о мыслях. Я немножко в сторону отойду, чтобы пояснить, бросить, так сказать, в обратном порядке свет на наши занятия. На смысл того, почему мы вместе и занимаемся тем, чем занимаемся. Дело в том, что в человеке самое привлекательное и что является, действительно, зрелищем, перед которым можно снять шляпу, – это его стояние на пределе с усилием. То есть стояние на пределе всего возможного. Не так давно вышла книга «О чтении», в ней в виде отдельного эссе опубликован текст Пруста, который в свое время был написан в виде предисловия для сделанного им перевода книги Джона Рескина, английского эстетика и философа. Эссе замечательное, одна из лучших, по моему, философских работ, какие я знаю; хотя такая непритязательная, красивая. Обязательно ее прочитайте. И вот там видна эта нота Пруста – преклонение перед всякими проявлениями человеческого усилия. Но – усилия, которое не убегает от фундаментального страха. Чтобы не убежать от страха, нужно усилие. А когда мы не делаем усилия, мы дружим, общаемся и т.д. Это не требует усилия. Частично это и есть ответ на то, почему мы занимаемся Прустом. Потому что сам Пруст относится к такого рода великим людям, и у него мы можем прочесть буквально ответ на заданный мной вопрос: зачем нам Пруст? Он писал так – в связи с другими великими людьми, а мы можем это повторить в связи с ним самим: «По сути дела всякий великий человек, всякое прекрасное произведение возвращает нам веру в жизнь и в мысль, а посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды». Или посредственный человек. Конечно, не в смысле иерархии талантов – я имею в

виду красоту усилия, а не иерархию по замерениям способностей. Обратите внимание, что «посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды». То есть надеяться можно, только увидев пример усилия, потому что надеяться больше не на что. Можно надеяться только на усилие. Нет фундамента для человеческого стояния. А все остальное оставляет нас в отчаянии и в безнадежности. И, повторяю, лишь редкие примеры зрелища человеческого усилия могут вернуть нам надежду, веру в жизнь и в мысль. Ну, а в мысль надо верить, хотя я все время пытался показать, что мысль маловероятна, и это есть проблема Пруста. Маловероятно помыслить, потому что нет налаженных механизмов. А дальше он пишет: «Может быть, наша вера или наше сомнение выражают лишь ценность или степень бытия нашей мысли. И наше разочарование или наше удовлетворение, после того как мы написали что-то, – ценность того, что мы сделали». Значит, есть что-то, что мы сделали, а есть еще состояния, в которых есть ценность того, что Пруст называет степенью бытия нашей мысли. **Степень бытия мысли.**

Так вот, я возвращаюсь тем самым к проблеме феномена. Ведь я сказал «существование впечатления», а не содержание впечатления. Иными словами, в проблеме феномена в XX веке мы столкнулись (и в литературе, и в философии) с проблемой **бытия мысли**, или существования мысли. Мы мысль рассматриваем обычно как отражение бытия. Ну, как есть какая-то реальность, а в голове некоторых существ пробегают какие-то тени, дубли, двойники этой реальности (называемые нами образами, мыслями и т.д.), не имеющие никакой консистенции, содержание которых есть отражаемые предметы. А у мысли, оказывается, есть **бытие**. Бытие мысли. Мы уже знаем, что бытие мысли мы можем уже понять: бытие мысли есть когеренция усилия со многих точек – сейчас и здесь. Повторяю, **когеренция усилия со многих точек и пространства и времени – сейчас и здесь.** Это есть именно бытие, а не психика, потому что в нашей психике мы не можем быть во многих точках одновременно. Более того, мы не можем концентрацию нашей мысли удерживать на одном и том же уровне, или в одной и той же степени, как выражается здесь Пруст. (Кстати, снова дам вам немножко передохнуть после этого теоретического пассажа; вернусь к более легкой цитате из Пруста, где он как раз об этом говорит в более облегченном виде.) Значит, фактически мы ввели проблему удела мысли. Или то, что французы называют в широком смысле: *condition humaine*. Условно можно сказать так: удел человеческий. Фундаментальное положение человека в мире. Так вот, у мысли тоже есть такое фундаментальное положение. Ну, хотя бы то, что она маловероятна, хрупка и ее бытие есть когеренция в усилении со многих точек – сейчас и здесь, в некоей полноте и уникальности индивида, который полностью присутствует – сейчас и здесь. И вот, говоря об этом *condition*, Пруст пишет: «По сути дела в режиме нашей мысли, как и в гигиене нашего тела, так же как в поиске добра или счастья, в доверии нашим друзьям или в вере в нашу любовницу, или в вере в какую-нибудь цель, мы трепыхаемся между верой и сомнением, или мы испытываем их почти что одновременно». То есть одновременно находимся как бы на границе двух видов существования. «На пороге как бы двойного бытия», если выразиться словами Тютчева. Одновременно – и сомнение и вера. И – для этого я все это приводил – «И мы никогда не знаем, не проигрываем ли мы в этот момент свою жизнь». Вот я возвращаю вас таким простым пассажем к краху.

Делаем следующий шаг, возвращаясь к нашим, так сказать, псевдотеоретическим проблемам, то есть к проблемам феномена, – тут у Пруста есть совершенно особый ход, который я обозначу следующим образом. Значит – тема впечатлений. В этих случаях Пруст иногда вспоминает Декарта, его проблему очевидности, и всегда говорит о радости. Радость есть какой-то

особый сопровождающий признак того, что называется впечатлением. Мы уже назвали эти впечатления **феноменами**. Мы сказали, что они **онтологичны**, – раз речь идет о бытии и о существовании, а не о содержании в нашей голове. Так ведь? Итак, я помечаю, что феномен в отличие от явления характеризуется онтологично. Явление – гносеологично. Что такое явление, грубо говоря? Явление – это то, что является материалом, за которым мы можем расшифровать сущность, Так ведь? Ну, например, движение Солнца по небосклону есть явление, посредством которого, пользуясь им как данными наблюдения, я могу реконструировать нечто иное. И именно – движение Земли. То есть сущность того, что я вижу. Следовательно, само это, называемое явлением, в каком-то смысле не обладает существованием, оно есть лишь материал моего заключения. Это понятно? То есть все, что называется явлениями, это есть материалы или данные наших заключений, которые сами по себе не имеют онтологического статуса. И если мы так говорим о впечатлении, то мы приписали впечатлениям или феноменам онтологический статус. Следовательно, нечто называется феноменом как имеющее онтологический статус в отличие от явления. Хотя лингвистически «феномен» и «явление» – два одинаковых слова. Просто «феномен» – оставшийся латинизм, а «явление» – русское слово. Но для того, чтобы различать, одно берется в латинском варианте, а другое в русском варианте, в данном случае. В том числе и в грузинском нужно делать то же самое. Наше исконное грузинское слово брать как относящееся к явлению и брать латинское «феномен», чтобы обозначить особый вид явлений. То есть тот, который не является просто материалом заключения о чем-то другом позади него самого. Почему? Потому что феномен есть нечто, что **само в себе о себе рассказывает**. И каждый раз явление сопровождается признаком радости. Радость как бы сопровождает явление (явление в смысле феномена или впечатления). И оно (явление) уподобляется картезианской очевидности. И здесь как раз есть серьезная проблема, которую мне очень трудно ввести. Я все-таки ее введу, но, скорее, как предмет ваших собственных экзерсисов, чтобы вы поломали потом над этим голову и сами для себя продумали, что это, как это...

Вот мы помним нечто. Нечто есть в нашей памяти – следы каких-то событий или прошлого запечатлены в нас. И мы это часто называем памятью. Но дело в том, что когда мы вспоминаем какой-то след, то мы вспоминаем именно этот след; и мы думаем, что содержание этого следа – будьте внимательны – и есть память. Или то, что есть в памяти. И мы не замечаем, что кроме содержания, вспомненного, есть еще одна операция, которая все время ускользает, на которую не обращают внимания, – операция, состоящая в том, что нужно еще **узнать**, что это есть **именно это**. Что след лица – вот, который передо мной, есть след именно этого лица. А это уже отдельная операция. И когда она совершилась, ее отдельность и обозначается словом «очевидность». Например, даже в логике есть содержание (и в математике) аргумента или доказательства, а есть еще аура убедительности этого доказательства. Нечто, что заставляет нас принять доказанное содержание. Так вот, доказанное содержание и нечто, заставляющее нас принять, – разные вещи. И дело в том, что эта еще одна какая-то операция **согласования** вспомненного следа с тем, следом чего этот след является, всегда совершается сейчас и здесь, **в момент** и присутствует целиком. Это согласование неделимо. И вот явления такого рода неделимых вещей и есть нечто, что у Пруста сопровождалось радостью. Радость, которая есть критерий истинности, разворачиваемой потом из содержания картины. Скажем, Пруст описывает некоего писателя, который никогда не занимался теми мыслями, которые можно было развить, – мы всегда имеем мысли как сюжеты, которые мы можем развить по содержанию. Вот то, что можно получить так, не есть мысль. А мыслью будет только то, что будет

сопровождаться радостью. Или будет находиться в состоянии очевидности или радости. То есть там, где – не я развиваю впечатление, а впечатление само развивается, не оставляя пустот, в которые я мог бы втиснуть свою рассудочную интерпретацию. Значит, к тому, что называют феноменом, впечатлениями, я добавил тот факт, что они находятся в другом разрезе, то есть – не в последовательности, а сейчас и здесь. Для этого, кстати, приходилось в философии (Лейбницу, например) вводить понятие предустановленной гармонии. Очень часто понимают это буквально, а в действительности необходимость в этом понятии как раз и заключалась в том, что философы уловили, что существует дополнительный акт (о котором я сейчас говорил), и непонятно, каким образом он в далеких временах и пространствах может осуществляться. Нужно представить очень длительную онтологическую память природы, чтобы предположить, что в момент, когда я увижу этот след, совершится это согласование. Каким-то образом это налажено так, чтобы я через энное время узнал бы. Потому что эта операция узнавания не дана предметом. Если я сказал, что помимо самого предмета, вспоминаемого содержания предмета есть еще что-то, то я это «что-то» ведь не могу вывести таким образом. Ну, конечно же, через сто лет или на сто километров передали предмет, и он вызвал там, в той точке пространства и времени, через сто лет и сто километров, вызвал это состояние... Нет, я сказал: оно **еще должно быть согласовано**. Каким образом? Где хранилось это согласование? Поэтому Пруст все время и спрашивает, с самого начала своего романа, – где хранится? Конечно, говорит Пруст, Бергсон считает, что наша память содержит впечатления, но есть такие впечатления, которые мы не помним. А что за воспоминание, которое мы не помним, можно ли его назвать воспоминанием? Ставит Пруст такой коварный вопрос. И все время возвращается к этому вопросу, и у него при этом, так сказать, есть помощник: он все время считает, что если есть феномен прозрачной радости, то через него высовывает голову вот это некое дополнительное и необходимое в своей дополненности согласование, без которого нет понимания и нет впечатления. Значит, в континууме развития впечатления существует жизнь и дление некоторого согласования. Так вот, это согласование у Пруста и приписывается действию некоторых вещей. Вот тех тел, которые есть вещи, но – умы. Умы, но – вещи. То есть *cosa mentale*. Они являются носителями актов согласования в далеких временах и пространствах.

И в этой связи я должен рассказать вам о теле Сен-Лу. Обратимся к цитате. Значит, Пруст описывает и в том и в другом романе сцену в ресторане. Сен-Лу – это образ аристократии у Пруста, а аристократия есть образец свершенности (если и был в Прусте хоть какой-то элемент снобизма, он его из себя выдавливал). В действительности Пруста, как и всякого человека, привлекает всякая свершенность. Аристократия есть свершенность. Конечно, каждый отдельный аристократ может не соответствовать этому. По той простой причине, что по закону устройства мира все разыгрывается заново в каждую данную минуту. Теперь я возвращаюсь к данной сцене. Между Сен-Лу и Марселем интеллектуальная дружба, основанная на том, что Марсель, умный и артистически одаренный человек, привлекает маркиза Сен-Лу. И вот они сидят в ресторане, там, где они сидят, сквозняк, и любезный Сен-Лу предлагает Марселю, наделенному хрупким здоровьем, пальто. Сен-Лу вскакивает на край дивана и так проходит по всему ресторану. А Марсель смотрел на тело и видел, что это было «прозрачное» тело. То есть тело, которое само, не обладая данными для нашего опосредующего заключения о чем-то, стоящим за этим, само в себе рассказывало всю аристократическую сущность. Содержало в себе воспитание, аристократическую сущность. Содержало в себе воспитание, предполагающее владение шпагой, физическую сноровку, когда тело есть

абсолютно покорный, не содержащий ничего инородного инструмент духа. Тело, ни одна частица которого не инородна духу. Оно осуществляет движение, в котором не было ничего чужого смыслу этого движения, тому, что оно показывало. Такое полное владение телом. Другой пример таких тел: Берма изображает Федру в классической трагедии Расина. Что может быть общего между гимнастическим курбетом Сен-Лу и высокой идеей театра? – интонация Бермы и – «прозрачное» тело, в котором нет ни одной материальной частицы, инородной по отношению к смыслу, сказанному, пропетому и высказанному. Значит, у нашей очевидности или у этого согласования есть такого рода носители. Такого рода сущности, называемые нами феноменами, которые представлены полностью своей же материей. Феномен – это сущность, полностью представленная своей материей. Такого обычно не бывает. А в случае феномена мы имеем **сущность, повторяю, полностью представленную своей материей.** Эту же вещь Пруст называет крупными мыслями Природы или сильными идеями Природы. Например, сильной идеей Природы является цветок. Это – сильная идея Природы. Сильными идеями Природы являются все вещи, которые в свое время Гете называл архетипами. Скажем, копыто лошади есть, безусловно, сильная идея или крупная мысль Природы. Глаз – такое же изобретение Природы. То есть он своей материей дает свою же собственную функцию – полностью и совершенно. **Полное и совершенное присутствие. Крупная мысль Природы** (Жак Превер крупной мыслью Природы называл и женщину; он добавлял, что это крупная мысль Природы, но мысль – танцующая.) И вот тело Сен-Лу тоже есть крупная мысль Природы. И человек, который ищет феномены и хочет через феномены увидеть, понять мир, ищет крупные мысли или сильные идеи. Они и дают радость. То есть – очевидность того, что рассказ о содержании такой идеи будет подлинным рассказом, будет воспроизводить подлинную реальность – поскольку есть критерий этой радости или очевидности. А не есть просто головное развитие мыслей, не имеющих субстанции реальности (те рассудочные мысли, когда мы развиваем содержание). Значит, впечатление в своем континууме развивается не по содержанию, а по каким-то своим формальным условиям. Я сказал бы: **по топосу**, по какому-то пространству, в котором выполняются в совершенном и в полном виде все действия или предназначения этого содержания, – а не рассудочное развитие нами этого содержания. В том числе не ассоциации, которые мы своим маленьким умом приводим, не аналогии. Пруст, например, был простив символов, хотя в другом смысле все эти крупные мысли Природы есть также и символы, конечно. Но под символами он имел в виду рассудочные аналогии. Когда мы просто сравниваем одну понимаемую вещь с другой понимаемой вещью – это рассудочная аналогия. А когда связь вещей рождается в **акте понимания** – это уже метафора (у Пруста), а не аналогия. То есть метафора не есть соединение двух вещей, которые сами собой поняты по отдельности, независимо друг от друга, и мы нашим актом ума приводим их в связь. В метафоре, имеющей как бы два конца, есть нечто такое, что **саморождает** эти концы. Вот что такое метафора для Пруста (и, очевидно, так оно и есть).

И вот, наблюдая это тело, испытывая «непонятную» радость («непонятную» – потому что мы-то пытаемся понять, что это за радость) при виде тела Сен-Лу, Пруст сопровождает это восприятие словами, что вот эту красоту, которую природа так устроила, природа позволяет художнику заметить, то есть не пропустить мимо, как раз наделив его способностью радоваться. Если бы он не радовался, она бы прошла мимо. Суть дела, в данном случае аристократическая сущность Сен-Лу, была чем-то, что «целиком присутствовало в этот момент», говорит Пруст. Обратите внимание: **целиком присутствовало в этот момент.** А я ведь говорил перед этим, что как раз

ничего этого нам не дано в нормальном режиме нашей психики. Психики, сращенной с предметами или с реакциями на предметы. Весь поток предметов или наших реакций на предметы движется, и в нем как раз мы не можем всего сразу, мы должны все **в последовательности**. Мы не можем – ни сразу, ни долго, и все только в последовательности входит в нашу душу, и всегда есть наш бег собирания всего по частям. А тут, пишет Пруст, «все целиком присутствовало в этот момент». Или – нечто, что держит всю свою жизнь в настоящем. **Сущность**, которая есть в теле Сен-Лу: поскольку это тело – особое, оно как бы держится целиком в настоящем. То есть все прошлое дано в настоящем. И, как выражается Пруст, «в этом случае не было того, что всегда стоит между нами». А что стоит между Марселем и его другом Сен-Лу? Что стоит в обычной жизни? А стоят еще не познанные части жизни Сен-Лу, еще не охваченные точки времени и пространства, в которых бывал Сен-Лу, в которых он кого-то любил, что-то думал и т.д. Представьте себе, что это – не Сен-Лу, а женщина. Ведь мы хотим охватить все точки пространства и времени, на которых она распростерта. Это и есть проблема. Тело любимой женщины не замкнуто в видимой нам наглядно дискретной фигуре, а простирается в бесконечные части пространства и времени. И в ее глазах, как в факетах, – она не только тебя видит, а еще видит какое-то незнакомое место, куда она пойдет на свидание. И это еще одна точка пространства и времени, в которой ты не присутствуешь и в которую ты можешь прийти только в последовательности. Так ведь? Так вот, этого **между**, говорит Пруст, не было. Оно было здесь дано «полностью, все целиком для нашей дружбы». И – самое главное теперь по отношению к нашему экзистенциальному бытию проблемы – ведь та бесконечность, которая проходится в последовательности, всегда оставляя еще что-то, что не охвачено в каждый данный момент, есть механизм устройства наших обычных страстей, наших жизненных реакций, которые Пруст условно называет внутренним диалогом. Или **страстной встречей с самим собой**, в которой мы устремлены в этот бесконечный бег выяснения отношений. Бесконечность – в которую мы вовлечены, включены. В действительности мы выясняем отношения, решаем проблемы и говорим слова в некотором внутреннем диалоге или в страстной встрече с самим собой, а реальность каждый день другая. Например, мы вечером приготовили решающие слова, упрёки и т.д., которые должны сказать утром нашей любовнице, а утренняя встреча всегда иная, чем мы думаем. И никогда мы этих слов не сможем сказать или скажем в совершенно перевернутом порядке и скажем совсем другое.

Так вот, перед «телом» Сен-Лу нет этого пространства бега. Нет ничего «между нами», он (Сен-Лу) целиком присутствует, говорит Пруст, Пруст здесь говорит, что Сен-Лу был как бы спиритуализированной игрушкой сущности», – вот в этом движении. То есть его тело полностью было отдано в распоряжение, каждой своей частицей, высказываемой сущности. В этом смысле Пруст говорит «спиритуализированная», или одухотворенная, игрушка. Конечно, не в смысле автомата. И тут Пруст говорит очень забавную вещь перед лицом этого тела, и – почему – это есть какой-то ответ на экзистенциальную проблему наших страстей, то есть наших претензий к миру, наших любовей и ненавистей, которые рождаются из этой страстной встречи с самим собой. В этом беге, который мы «между» должны проглотить. **Между** нами и другими, которые фактически и есть нечто созданное в нашем собственном внутреннем диалоге. И в этих состояниях, когда вот это случилось (примерно то же самое, что Джойс называл «эпифанией», эта тема сохранилась и у позднего Джойса, но название исчезло, а у Пруста называется «впечатлениями»), в этой эпифанической сцене Пруст говорит – когда есть полное присутствие и нет «между»: «...ты понимаешь, что есть любимый объект, в испытании любви к которому

отсутствуют причины любить его, отсутствуют качества, из-за которых мы его можем любить». То есть это единственная ситуация, в которой мы можем установить отношение к человеку в его собственном качестве и достоинстве независимо от нас самих. Мы любим в нем нечто, в чем отсутствуют причины любви и ненависти к нему. И это есть та ситуация, в которой можно «любить» и врага. И прежде всего потому, что эта ситуация позволила приостановить действие предметных картинок в голове. Действуют тела, спиритуализированные тела, а не предметные картинки. Ведь, например, в Евангелии не случайно сказано, и мы психологически это понимаем, – ударили по одной щеке, подставь другую. Мы думаем, что, действительно, имеется в виду конкретное действие. Да нет, имеются в виду некоторые правила гигиены нашей духовной жизни – ты можешь понять смысл происшедшего, если ты приостановил действие предметной картинкой в «твоей» голове, в «твоем» уме. А какая предметная картинка в твоём уме действует? Удар по щеке. Что может быть предметнее... Вот это нужно приостановить. И Пруст говорит о ситуации, в которой останавливаются причины и любви, в эгоистическом смысле слова, то есть владения, и ненависти. В этом феномене, говорит Пруст, отсутствуют – как причины любви, так и причины ненависти. Он здесь как бы намечает ситуацию действительно духовного и человеческого разрешения ситуации внутреннего – *entretien avec soi-meme* – внутренней встречи с самим собой.

И вот, возвращаясь к впечатлениям, я хочу добавить один вывод, который делает и сам Пруст. Но у него все эти выводы разбросаны в разных местах, а я их просто собрал. Значит, по отношению к нашей экзистенциальной проблеме – то, что Пруст называет впечатлениями, имеет еще одну характеристику. То, что глубоко или является впечатлением, в отличие от того, что поразило наше феноменальное «я», – **наше феноменальное «я» реагирует на явления, а глубокое «я» реагирует на впечатления.** Ну, это по определению так, потому что я уже определил, что впечатление есть нечто, что обращено к нашей глубине и развивается в нашей глубине (в отличие от реактивности явлений). Так вот, все, что обладает такой глубиной и требует нашей глубины тоже, оно, когда мы хотим выразить такого рода впечатление, устраняет из нас (при выражении) какое-либо желание нравиться кому-нибудь или не нравиться. Мы одержимы лишь уважением к тому, что должно быть высказано, то есть к сути дела, и мы не можем думать о том, что кому понравится или кому не понравится. В том числе мы не можем думать о самих себе, об эгоистических самих себе. Мы не можем продумать впечатления, если мы одержимы себялюбием. И наоборот – продумывая впечатления, мы останавливаем в себе действие сил себялюбия. Как в объекте любви отсутствуют, в причинах наших связей с другим человеком, отсутствуют причины любви (в психологическом смысле слова) и причины ненависти – мы любим само по себе. Так и впечатление – выражая его, мы не можем думать о том, кому это доставит удовольствие, кого это обидит, кого не обидит, мы можем думать только о сути дела. В том числе не можем развивать впечатления с любовью к самим себе. Себялюбием. Но эта полнота представленности впечатления и его уникальность нам – как психологическим существам – вначале и вовсе не дана. А что же нам дано? Я говорил о том, что есть бег (в отличие от развития впечатления) в этой бесконечности, когда еще и еще нужно охватить какие-то точки, которые занимал другой человек. И мы должны это узнать. А зазор всегда остается. Мы прекрасно понимаем, что разница между итогом и движением к этому итогу бесконечна. Даже математики знают, что самая ближайшая точка бесконечности отделена от самой бесконечности бесконечностью. Так ведь? Например, разница между опытом и лицом, которое я вспоминаю из этого опыта, бесконечна. Значит, то, что я называл согласованием, или когеренцией, или бытием мысли, – там мы предполагаем некоторое феноменально полное

присутствие или феноменологически выполненную актуальную бесконечность. То есть – не реальное прохождение предмета, которое пройти нельзя, а феноменологически полностью представленную актуальную бесконечность. А в нашей нормальной жизни мы имеем дело – с чем? С другого рода бесконечностями. Какого рода бесконечностями? Я говорил, что проблема впечатления есть проблема другой организации сознания, проблема выхода посредством другой организации сознания на другую реальность. В противовес психически-предметно, причинно организованному потоку нашей психологической жизни. И вот в этом организованном потоке нашего сознания мы находимся в рассеянии расширения. Я говорил, что между предметом моей любви и мною – расширившееся пространство, которое я охватить не могу, потому что сколько бы точек моей любимой Альбертины я ни занял (в которых она была), всегда есть еще другие точки. Неожиданно все точки пространства и времени получили смысл, которого они не имели бы, если бы я не имел Альбертины. И передо мной дополнительная задача – этим тоже заниматься и это тоже охватить.

У Пруста эта проблема выныривает чисто словесно. Я свяжу ее (и она действительно связана) с существующей нашей интеллектуальной историей, традицией проблемы. Я имею в виду паскалевскую проблему; введу ее словами Бодлера. Бодлер говорил так (кстати, у Пруста эта бодлеровская проблема гораздо более сложно и содержательно дана): «У Паскаля была своя пропасть, вместе с ним перемещающаяся. Увы, все есть пропасть – действие, желание, мечта. Слово!» Вы помните, какая у Паскаля была пропасть, от которой его охватывало головокружение, – бесконечность звездного неба, то есть космическая бесконечность, и бесконечность микроскопическая. Бесконечность маленьких предметов. Бесконечность большого пространства и бесконечность малого пространства – до предела его минимальности мы тоже дойти не можем. И голова кружится от этих бесконечностей. Но у них одно измерение – предметное измерение. У Пруста же другая, более содержательная бесконечность, у него слово «пропасть» выступает в совершенно фантастических описаниях. Значит, во-первых, для Пруста человек как таковой есть (перефразируя немного самого Пруста) амфибия двух бесконечностей. А что такое амфибия? Двойственное существо, которое живет в двух стихиях: в водной и в воздушной. **Амфибия двух бесконечностей.** И у нас уже не одна бездна, а целых две бездны, и обе разнородные. И вот почему. В контексте анализа различия между **знанием** и **живым впечатлением** или между **явлением**, которое мы можем знать, и **впечатлением**, которое мы должны развить, – потому что впечатление всегда содержит в себе что-то, чего мы не можем знать, что мы можем лишь своим опытом породить и присутствовать невербально, целиком и полностью, сейчас и здесь (знанием получить нельзя), – значит, в этом контексте Пруст пишет так, мимоходом: «Поскольку я был человеком, одним из тех существ-амфибий, которые одновременно погружены в прошлое и в актуальную реальность». И вот прошлое и актуальная реальность есть две бесконечности. Причем их нельзя разделить. Нельзя поставить границу и сказать: вот здесь – прошлое, а здесь – актуальная реальность. Потому что в действительности – это две пропасти. Какие? Пропасть макроскопического переноса нашего опыта, который предметен. Мы можем все прошлое представить себе данным в точке и по всем точкам объединить и установить связи между элементами прошлого. И здесь будет у нас бесконечность – сейчас мы узнаем – какая... Но в каждой точке будет проглядывать другая стихия у нашей амфибии, будет высовывать голову – прошлое, которое не позволяет считать прошлое свершившимся и данным в точке. Вот вся наша рациональная мысль основывается на том, что прошлое принимается как данная в точке. Пруст говорит: мы каждый раз в каком-то

смещающемся месте, в котором мы – двойные существа, половиной в одной бесконечности, половиной в другой бесконечности. Например, мы половиной в бесконечности объектов, или в объективной бесконечности, которую можно изобразить рационально, но все равно распутаться с ней нельзя. Почему? Да потому что, во-первых, – много. Нельзя быть одновременно во всех местах, нельзя одновременно или сразу многое. Во-вторых – далеко. В каком смысле? В том смысле, что **связано** со всеми дальними событиями, которые охватить нельзя. Более того, пока мы об этом узнавали и к нам поступала информация от этого далекого, там уже – не то, о чем мы узнавали. (Вспомните интересную ситуацию, которую описывал Толстой в романе «Война и мир»; он применял это к стратегическому знанию, к стратегам: он показывал, что действия наши сцепляются так, что мы планировали действие А, делая для него действие В и С, эти В и С сместили А, и в момент, когда мы хотим совершить А, мы не можем его совершить. Хотя мы именно его задумывали и именно для него действия В и С совершали.) Так вот, мы остановились на том, что, пока поступала информация, – уже не то, сместилось. Там ведь непрерывность действует. Она не ждет, пока мы получим информацию и прореагируем, она продолжает действовать, и все сместилось. Более того, знание, которое мы получаем, не входит в наше место. Мы не можем его к себе присоединить, из предмета мы не можем получить (перенести знание в себя), если мы не воссоздали его внутри самого себя. Не входит. А пока оно не входит... что делать? Что тем временем происходит? Ведь мир не ждет ребенка, пока бы он понял (увы, я должен все время один и тот же пример приводить, потому что новые примеры вводить – это дополнительная сложность). Ведь, подумайте, ребенок не понял сцены полового акта. А тем временем, пока он не понял, – что происходило? Что – мир застыл и ждал, когда он поймет? Вот этот промежуток – он непрерывностью рождается, – что в нем происходит? Вот в какую бесконечность мы не можем войти.

И – другая бесконечность, с другой стороны. Допустим, что мы со всем этим справились – остановили эту непрерывность. Допустим, что мы со всех точек все собрали, и все то время, когда мы чего-то не понимали, мир ждал, пока мы пойдем, и ничего не делал, ничего не происходило. И пришло это к нам. А когда пришло, и мы уже знаем, я (приемник этого дела) не весь при приеме. Не всеми теми способностями обладаю в данный момент, которыми вообще обладаю. И более того, я не могу, как говорит Пруст, представить слишком много сцен одновременно. Опять здесь начинает работать непрерывность, или паскалевская бездна. Более того, поскольку **участвую**, то именно поэтому не могу все знать; что-то не закрепляется в памяти именно потому, что я участвую в событии, которое я должен запомнить, поскольку – или теряю, или изменяю. И можно представить себе, что вся масса, которую мы вынуждены разворачивать в последовательности, и более того – в точках, в которых мы не присутствуем сами все целиком (вся эта масса, о ней можно сказать *masse instantané e*, мгновенная масса), она ведь, если она живет (а она живет), не считается с нашей последовательностью, с нашими категориями, с нашими формами. Более того, в силу того что все наши действия конструктивны, – а я сказал, что то, что есть, и есть одновременно... – но не в построенном нами понятии одновременности, а вот в какой-то момент... ну, явно, что весь мир сейчас есть, просто мы его должны распределить в какой-то последовательности и если даже установить одновременность событий, то только в абстракции, в введенном понятии одновременности, и это нужно еще сделать и т.д., – так вот, поскольку требования жизни конструктивны, то есть мы делаем что-то, собирая себя посредством, например, произведения, то они требуют силы. И пока ты делаешь что-то – например, любовь как культурная форма, – ты окультуриваешь свое собственное чувство, понимаешь что-то, но

оно ведь тысячью нитей связано с уровнем других и с тем, что они сделают, и ты не можешь остановить там мир, и ты не можешь не обидеть какого-то, хотя, по сути дела, должен сделать то, что ты делаешь, Например, ты создан для свободной любви. Ничего страшного, это культурная форма, ты ее осуществляешь, но это предполагает такие сплетения времен, такие сплетения способностей и возможностей других, их реакций и т.д., что ты не можешь реализовать себя. И поэтому, кстати, мы и живем, убивая себя, потому что мы убиваем себя, чтобы жить. Мы убиваем себя в тысячах желаний, в тысячах наших порывов – не потому, что мы их стыдимся, я не это имею в виду, а потому, что это невозможно, – в каком смысле? **Невозможно в пространстве этой бесконечности и непрерывности.** Поэтому, кстати говоря, все мыслители всегда мечтали о других социальных формах, о другой цивилизации, имея в виду такое социальное пространство, где бы ты мог сделать высокое, при этом не обидев другого. Не убив, не оскорбив, не обидев, – и следовательно, ты не можешь быть свободным от обиды другого и от сожаления чего-то необратимо потерянного и не сделанного. Вот эти – с двух сторон объемлющие наши бездны.

Я попытаюсь в связи с Прустом рассказать вам о некоторых утопиях (например, утопию Фурье, гегелевскую утопию; но больше мне симпатична утопия Фурье), связанных как раз с тем, как мы живем в этом пространстве, то есть в пространстве, в котором мы находимся вместе с другими, и что мы можем реализовать и чего не можем реализовать, и что означает потребность в других формах цивилизации, и что эти формы цивилизации, или формы культуры, делают по отношению к нашим возможностям реализации или нереализации. Скажем, у нас будет проблема социальных заупорков, проблема продолжения **других** своей жизнью, исполнение того, чего не исполнили другие. И поскольку я объединяю разные темы, раз я уже в связи с Прустом ввел тему лесбиянства, то я завершу сейчас примером, чтобы пояснить вам, что я имею в виду под драмой человеческого существования. Я сказал, что чаще всего мы живем так, что условием нашей жизни является наша смерть. Мы умираем – для того чтобы жить. Потому что мы своими силами не можем обеспечить все точки бесконечности – так, чтобы в них случились действия, согласованные с нашими действиями. Мы действия совершаем, осуществляя что-то высокое и низкое, стараясь не обидеть кого-то или не потерять необратимо что-то, так, чтобы об этом потом не жалеть. Значит, наше сожаление и обида других – наш удел. А для Пруста это было проблемой номер один. Например, ему важно было не обидеть мать, а мать не обязана была находиться на том уровне, на котором она признала бы, что гомосексуализм вполне допустимая культурная форма жизни. Она была далека от таких представлений. И он не мог ни опубликовать, ни писать роман, пока она не умерла (но это чисто жизненные обстоятельства, я сейчас о содержании романа не говорю). Так вот, у Фурье есть книга «Новый любовный мир». Эта книга была написана в 1830 году (кстати, Фурье – автор одной из социалистических утопий), она была опубликована лишь в 1956 году. Дело в том, что социалисты очень ревностно относятся к своим вождям, они тщательно публикуют их архивы, но причина непубликации в данном случае была проста: они были шокированы весьма фривольным и вольным содержанием этой рукописи и считали, что ее публикация нанесла бы непоправимый урон делу распространения идей социализма. А это была, действительно, утопия нового любовного мира, которая строилась на следующем представлении. Для этого представления я прочитаю цитату из Пруста, чтобы вы поняли, о чем идет речь, – что это не литературные экзерсисы, а проблемы жизни. Текст идет в контексте самой страшной проблемы для Пруста (для героя романа и тем самым для Пруста) – любви к своим родным. Здесь идет речь о любви к бабушке. Что мы любим, как любим,

что мы делаем с теми людьми, которых любим. «В любой данный рассматриваемый момент наша тотальная душа имеет почти что лишь фиктивную ценность, несмотря на запас своих многочисленных богатств, ибо то одних, то других нет в нашем распоряжении, идет ли речь о действительных богатствах или о таковых в воображении, и в моем случае это одинаково относится и к воображаемому древнему имени Германтов, и к богатству намного более серьезному, к действительной памяти о моей бабушке». Пруст имеет в виду, что вся тотальная память о бабушке, которая **есть**, не находится в любой данный момент в его распоряжении, и это есть механизм, который делает любовь той или другой. «Ибо с расстройством памяти связаны и перебои сердца». Помните, я говорил вам, что интермитентны наши цельные, или полные, состояния, наше бытие интермитентно; как прерывистая лихорадка уходит и приходит наше действительное «я», наше подлинное «я», или наше подлинное бытие. (Это тот пассаж, из-за которого Пруст хотел назвать весь роман «Перебои сердца». Значит, это говорит о существенности самого этого пассажа.) «Несомненно, именно существование нашего тела, подобного для нас сосуду, который заключал бы в себе всю нашу духовность, вынуждает нас предполагать, что все наши внутренние достояния, все наши прошлые радости, все страдания постоянно находятся в нашем владении. Может быть, столь же неверно было бы предполагать, что они убегают или возвращаются, но, во всяком случае, если они в нас и остаются, то большей частью времени в неизвестной области, где они не оказывают нам никакой службы и где даже самые обыденные из этих богатств вытеснены воспоминаниями другого порядка, исключаящими какую-либо их одновременность с сознанием». Вот это и есть проблема бесконечности. Если мы не установили одновременности с чем-то, то мы не можем этого иметь, и т.д. «Но если снова ухвачен чувствительный кадр, в котором они сохранены, они в свою очередь обладают такой же силой изгонять все, несовместимое с ними, и устанавливать в нас в единственном числе то «я», которое их пережило». Марсель склоняется, чтобы развязать ботинок, и вдруг бабушка целиком перед нами встает – произвольное воспоминание. «И точно так же, как тот «я», кем я только что внезапно стал, не существовал с того далекого вечера, когда моя бабушка раздела меня по приезде в Бальбек, столь же естественным образом вовсе не после актуального дня, которого это мое «я» не знало, как если бы во времени существовали различные параллельные серии разрыва непрерывности, я сразу же вслед тому первому прошлому вечеру прилип к минуте, когда моя бабушка наклонилась надо мной, и собой продолжил эту минуту. То «я», которым я был тогда и которое так давно исчезло, снова было рядом со мной, настолько, что я как будто слышал непосредственно предшествовавшие слова. Я снова полностью был тем существом, которое стремилось укрыться в объятиях бабушки, стереть поцелуями следы ее горести; существом, вообразить себе которое, когда я был тем или иным из тех, которые с тех пор во мне сменились, мне было бы так же трудно, как трудны были бы усилия, впрочем, бесплодные, снова ощутить желания и радости одного из тех «я», которым, по крайней мере уже на некоторое время, я уже не был». И тут возродилась потребность стереть поцелуем бабушкины переживания, укрыться в ее объятиях. И дальше идет фантастическое осознание смерти. «Теперь же, когда эта потребность возродилась, я знал, что я мог бы ждать час за часом и все равно моя бабушка никогда больше не была бы со мной. И это открывалось лишь потому, что я только сейчас, впервые чувствуя ее живой, подлинной, распирающей до разрыва мое сердце, вновь обретая ее, наконец понял, что я навсегда ее потерял». Обратите внимание на различие между **знанием смерти и живым впечатлением**, то есть действительным узнаванием, что бабушка умерла. Оказывается, это совершенно разные вещи (о чем мы говорили в связи с

другими вещами). Действительно узнать что-то – значит получить это сейчас и здесь **полностью**. В виде полного акта – полного своего присутствия и **уникально**. А уникально – значит, этого больше не может быть. И только тогда ты узнаешь, что бабушка умерла. Это не может повториться. И он держит это сознание смерти, чтобы восстановить все свои состояния и знания. Вот отсюда значение знака и символа смерти – как знака и символа интенсивности и полноты душевной жизни, а вовсе не любви болезненной к смерти.

Так вот, обращаю ваше внимание на следующую вещь: есть какое-то впечатление, которое было 10 лет тому назад, и с ним может вдруг слепиться новое впечатление, и все пойдет так, как будто **между** ничего не было, – он прилепился к тому моменту, когда это было, и в той серии пошло все это. А вот представьте себе, что это происходит в каком-то более широком пространстве, чем сам психический индивид, который мы видим выделенным в теле, – что это происходит в некотором топосе, в некотором пространстве человеческих существ, в котором эти слипания и разлипания или эти серии могут быть между существами, а не обязательно только внутри видимого нами существа. Пруст ведь говорит, что несомненно именно существование нашего тела, подобного сосуду, который заключал бы нашу духовность и т.д. Значит, Пруст здесь натолкнулся на то, что есть предрассудок, связанный с нашим наглядным видением, наделять видимое нами тело единицей души. Что раз – тело, значит, оно – сосуд, в нем есть душа. А может быть, душа вовсе не так существует... Фурье говорил (и это есть основа всей утопии любовного мира), что величайший предрассудок – считать, что каждой единице человеческого тела присуща душа. Для того чтобы была единица человеческой души, нужно минимум 1452 (если я точно помню цифру, а это невозможно запомнить) – допустим, 1460 индивидов. То есть общением и взаимодополнением – или, соприкасаясь друг с другом, как facets, они составят единицу души. Безумная идея. Но безумно в ней только числовое выражение. А суть дела страшно интересна. И эта суть дела интересовала и Пруста. Пруст все время знал, что имеет дело с реальностью более широкой, чем индивид. В каком смысле – индивид? В смысле наглядного, видимого нами носителя души. А эта наглядность – иллюзия, говорит Пруст. Иллюзия, говорит Фурье. Фурье из этого строит целую систему того, какими могут быть, например, наши любовные отношения. Раз мы можем реализовываться лишь facetsами, разворачивая facets в таком пространстве, то, конечно, максимум реализуемых отношений есть максимум развития. (Кстати, эту идею украл потом у Фурье Маркс, развив ее в совершенно другом плане. Но это и есть исходная и единственная метафизическая идея социализма. Других метафизических или философских идей в нем нет.) И вы, конечно, понимаете, что моногамная любовь (как институт) невозможна для Фурье. Это противоречит тому, как устроена наша душевная жизнь. Как устроен человек на самом деле, а не так, как мы видим или нам кажется, что мы видим. Мы видим, что есть тело, и, следовательно, у него есть единица души, а это неправда. Следовательно, это пространство прилегания, facetное разворачивание в нем наших сил, может отсутствовать или, наоборот, может закупоривать наши возможности. Пример такой закупорки Фурье приводит совершенно фантастическим образом из российской истории. Знаменитый пример Салтычихи. Он фигурирует у Фурье (был процесс, и это было в газетах, естественно, а Фурье жил в цивилизованной стране, куда известия даже из России поступали) как пример превращенного движения человеческих страстей. У Фурье даже зачатки психоанализа есть: когда страсть не получает нормального канала, она находит другие каналы и выражения. Он говорит, что явно же Салтычиха любила свою крепостную. Но поскольку даже слова такие отсутствовали в ее языке, в ее голове (она даже не могла иметь это слово, чтобы назвать, свое состояние), и более того, поскольку социальные

формы были таковы, что они полностью исключали какую-либо реализацию этого чувства, то лесбийская любовь к крепостной женщине выражалась в виде такой жестокости. Стоит нам узнать свои желания, как из мира исчезнут насилие, жестокость и т.д. Давайте на этой веселой ноте закончим.

ЛЕКЦИЯ 14. 4.06.1984

У нас уже есть кое-какой опыт философского чтения литературного произведения. Кстати, формально наш курс называется теорией драмы. В каком-то смысле это название, как ни странно, соответствует в общем-то содержанию того, о чем я вам рассказываю. Только я имею в виду, конечно, не ту драму, которая ставится на сцене театра, а я рассказываю вам о драме бытия так, как она зашифрована, искренне, на полную катушку, в записанном тексте, в котором зафиксирован реальный, живой путь человека, который из темноты своей души, из темноты окружающего общества, из темноты своей эпохи, из темноты нравов, обычаев, приличий, норм выходил куда-то, освобождался от чего-то, и это «куда-то», «что-то» мы и пытались понять. От чего человек освобождается и куда он приходит. Я говорил вам, что прустовский роман есть роман человеческого возвышения. В старом, религиозном смысле этого слова. Вы знаете, что христианская вера своим основным стержнем имеет идею возвышения. Я пытался вам показать, что возвышение есть определенная (я условно говорю) топология или топография. Мы возвышаемся, выбирая определенную тропинку и избегая другой тропинки. Не все тропинки нас возвышают. Следовательно, есть какие-то законы и психологические, и бытийные, или, как философы говорят, онтологические, которые регулируют саму нашу возможность возвыситься. Я показывал, например, что существует закон так называемой точки равноденствия. Есть некоторая точка, максимально насыщенная, в которой «сошлись тяжести всей земли» и которая в то же время, будучи насыщенной, пуста, и в этой точке мы все уравниваем – и принц, и нищий, и педераст, и нормально любящий человек. И из любой точки, поскольку все точки уравниваются, из любой грязи или из любого великолепия мы можем возвыситься. И, следовательно, ни грязь сама по себе не имеет значения, ни великолепие. Кстати, евангелические слова о том, что верблюду не пробраться через ушко иголки, обычно расшифровывают так, как написано. Там написано применительно к богатым людям. Но я вам пояснил, что богатым, с точки зрения Евангелия, считается всякий человек, который твердо знает, что у него что-то есть, в том числе есть и он сам. Или у него есть богатство, или у него есть несчастье. Несчастье ведь тоже очень часто есть наше достояние, которым мы очень гордимся, посредством которого мы сами себе угождаем. Евангелическое слово, кроме всего прочего, еще и стирает полностью иерархию, которая существует в нашем сознании. Иерархию бедности, богатства. Ведь мы почему-то, когда думаем о справедливости, всегда привилегируем бедность, а богатых не пропускаем через ушко иголки. Так вот, бедные, которые считают себя бедными и которые посредством своей бедности наказывают окружающий мир (люди даже кончают жизнь самоубийством, чтобы наказать других), эти люди тоже через ушко иголки не проберутся. Не проберутся – не потому, что есть какое-то нравственное правило, – не правило, не норма, а просто мир так устроен. В мире действуют не поучения, а законы. Вот об этих законах мы и пытаемся говорить.

Хочу сказать кое-что об акте чтения. Почему? Он сам по себе очень интересен и обладает свойствами и законами, которые не вредно знать и еще потому, что мы читаем вещи весьма странные, особые. Я выбрал Пруста, а потом внутри Пруста привожу цитаты иногда из других авторов, и выбрал я все это по одному признаку, объединяющему эти произведения, который условно

назову «героическим искусством». Об этом героизме и об акте нашего чтения актов героизма я хотел бы сегодня поговорить.

В эпоху Возрождения у одного из деятелей Возрождения, у Джордано Бруно, возникло такое словосочетание: *furore eró ico*, героический энтузиазм. Но «энтузиазм» и слово не русское, и потом в русском языке оно не очень выразительно, а в итальянском тексте стоит «*furore*». То есть страсть или ярость. Значит, яростная героическая страсть – и я говорил вам в самом начале наших бесед, что в такого рода искусстве, в *furore eró ico*, или в героическом энтузиазме, человек стоит один на один с миром, не имея вне себя никаких внешних опор. А если имеет какую-нибудь опору, то только внутри себя. И такой опорой является внутреннее слово, но оно ему самому неизвестно. Между внутренним словом, лежащим в человеке, и самим человеком лежит очень большое расстояние. И жизнь человеческая такого рода людей, которых мы называем героями, есть яростное воссоединение с самим собой. То есть воссоединение с тем внутренним словом, которое в тебе заложено. Как оно заложено, мы не знаем. Это – тайна бытия, тайна человеческого происхождения, и оно так и останется тайной. Даже когда мы что-то знаем о мире, то мы фактически не разгадываем тайны, а мы ее разыгрываем. То есть мы что-то понимаем путем разыгрывания. Например, в такой мистерии, как бой быков, – а это есть именно мистерия, в которой поставлены и инсценированы основные силы бытия и человеческих страстей. И там есть нечто, называемое **МИНУТОЙ ИСТИНЫ**. Условно, с точки зрения физического результата, минута истины выглядит как убиение тореадором быка – момент вонзания шпаги. Но – только физически, потому что по содержанию это глубже. Ведь шпагу можно вонзить не во всякий момент. Это есть некоторый зрелый или героический момент, момент полноты, который – сейчас и здесь – на месте устанавливается истинно всей ситуацией. Но эту минуту истины – она потому так и называется – нельзя ни повторить, ни продлить. Вот на что мы наталкиваемся в этой тайне бытия. Даже если мы разыграли мистерию и посредством умного тела мистерии (не своим умом, а всей материальной организацией мистерии) поняли что-то, сверкнул для нас момент истины, мы все равно как бы ничего не поняли, потому что мы не можем этого ни повторить, ни продлить. И не случайно, кстати, прототипом или первоначальной фигурой того, что позже стало называться философом (а сейчас я и о литераторах, и о поэтах говорю как о философах), была фигура героя. В эпосе она зафиксирована. И она обладала странным свойством, о котором я вам говорил. А именно: нечто исполняется, но пока мы живы, а жизнь есть продление или повторение, пока мы живы, о нас нельзя сказать, что мы герои или что мы счастливы. Имелось в виду, что философом является тот, кто сталкивается с ускользящим мигмом полноты. Иметь полноту нельзя. Иметь – чтобы она была сегодня и чтобы и завтра она тоже была. Поэтому, скажем, тот эпизод с героями олимпийских игр, он как раз об этом.

Так вот, я теперь возвращаюсь к героическому искусству. Вы живете в такое время и в таком обществе, которые максимально полны словами определенного типа. Вы привыкли к материалистическому объяснению истории и человека типичной фразой: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, общество и среда формируют человека. И вы часто слышите, что если человек совершил преступление, то потому, что общество плохое. Общество исказило его нормальную, хорошую природу. Среда виновата. Или «среда заела». И мы движемся внутри этой традиции обвинений среды, общества, истории, когда мы о чем-нибудь думаем. И я не без умысла выбрал для наших встреч другую традицию, в которой такого рода фраза невозможна. Для героя не существует общества, которое было бы виновато в том, что с ним происходит. Не существует вины истории. Существует только он сам – и виновный и

невиновный. Здесь есть глубокий философский закон, который я проиллюстрирую вам следующим образом. Вот, скажем (довольно сложный ход, хотя он максимально прост по внешней своей форме), простой психологический пример (все психологические примеры именно своей простотой сложны, потому что нужно уловить какой-то ход, интонацию этого примера, и если его не уловишь, то все распадётся) – что такое революционер? Революционная мысль есть предельное завершение мыслей о влиянии среды. Идея простая: если среда, во-первых, – влияет, во-вторых, раз влияет плохо, следовательно, – плохая среда, в-третьих, как спасти человека? – путем переустройства среды. Измените, революционно преобразуйте среду, и на другом конце этой мясорубки, которую вы прокрутите, вы получите хорошую, прекрасную среду. Или продукт, то есть хорошего человека. Тем самым психологически или философски (сейчас я беру только ментальную сторону этого дела, о других сторонах мы еще успеем поговорить), – ментально я мог бы одной фразой сказать, что представляет собой тип революционера. Того, кто смотрит на общество негодующими глазами человека, желающего немедленно преобразовать общество. И я выражу это состояние следующей фразой: он говорит – не могу быть один. Повторяю, слушайте внимательно, это очень важно: я не могу быть один. Или – мне обязательно нужен смысл, чтобы я был хорошим. Чтобы «быть хорошим» оправдывалось, окупалось. А по философским законам это невозможно. Если мы хотим, чтобы что-то окупалось, то мы вообще находимся вне области морали и вне области человеческой духовности. Так устроено. В фундаменте наших моральных духовных оценок заложено, что там, где что-то полезно, мы вообще – вне области духовной жизни и вне области нравственности. Добро по определению исчерпывается самим собой. Только вот держать добро, которое исчерпывается самим собой и самим собой объясняется, и самим собой обосновывается, очень трудно. Почти что невозможно человеку. А вот вынести одиночество – что **ты** можешь, какое бы ни было время, каким бы ни было общество, – «ты можешь» я расшифрую так: что бы ни было, всегда могу. Всегда есть время, когда я могу. Нет неподходящего времени. Обычно мы говорим так: сейчас не время. Эта фраза невозможна в той традиции, которую я называю героической и которая одновременно есть и метафизическая традиция, потому что героическая традиция означает традицию следования тому, как мир устроен. Например, как устроены мы как существа, которые в принципе способны на моральные поступки. Вот мы устроены так, и только тогда способны на моральные поступки, когда мы не ищем смысла для добра. Стоит нам начать искать смысл, то есть прорывать наше человеческое одиночество и говорить, что я не могу, не имеет смысла мне быть хорошим, если все другие вокруг плохие, давайте я сначала всех других переделаю, и тогда имеет смысл быть хорошим (я все огрубляю, конечно), стоит нам начать искать смысл для добра – все рушится.

В действительности героическое искусство в истории нового европейского времени есть, конечно, я бы сказал так, искусство возрождения (я не имею в виду эпоху Возрождения), двойного возрождения – греческого и евангелического. Не случайно на гребне возрождения борьба за свободу совести выражалась прежде всего в религиозной форме. В форме протестантизма. В католицизме, как ни странно, происходило в это время то же самое. Скажем, барочная драма XVII в., – если вы возьмете Кальдерона, вы ничего не поймете, если не наложите на него идею героического искусства, опирающегося только на внутреннее слово. Не на норму, не на закон, в том числе на христианский, а на **внутреннее слово**, разыгрывающее свое отношение с миром как борьбу один на один. Я – один на один перед лицом мира, и я должен держать свое одиночество. Каков бы ни был мир, есть что-то, что я могу и должен. Возьмите таких авторов, как Данте, Кальдерон, из

англичан – так называемая группа метафизических поэтов XVI века, которая завершилась Вильямом Блейком, в Испании – Кальдерон, во Франции – так называемый классицизм. (Кстати, все эти литературные деления – романтизм, классицизм, барокко, на мой взгляд, бредовые. Они не покрывают никакой реальности и служат, очевидно, чисто профессиональным интересам литературоведов, которые на этом зашифрованном языке обмениваются между собой своими знаниями. Но для реального понимания того, что происходит, эти классификации нам не годятся. Я могу доказать, например, что в каком-то смысле классическое искусство абсолютно романтично, а романтизм – классичен и т.д.) Так вот этих авторов можно накладывать на Пруста. Почему? Я это еще одной ступенькой поясню (одна из скрытых причин, почему я называю этих авторов). Дело в том, что мы живем в весьма сложное время. Ведь всегда так – данное время считается самым трудным. Очевидно, это просто привычная фраза о трудностях времени. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду то, что есть времена, в которых подводится какой-то счет. И вот конец XX века есть время, когда по счетам придется платить. А счета накопились весьма серьезные. Ну, скажем, в одной России не хватает (под Россией я имею в виду всю российскую империю в ее пространственном распространении), по элементарным подсчетам, около ста миллионов человек. Это делается очень просто, не обязательно искать тех, кто погиб в концентрационных лагерях, статистика эта очень трудная и шаткая, достаточно взять просто в качестве исходной точки данные 1913 года, взять темп прироста населения, нормального прироста, вычесть для начала известную цифру, число людей, погибших непосредственно в войну 1914 – 1917 годов, и мы получим цифру, которая должна была бы быть на 1970 год. В этой цифре не хватает 100 миллионов человек. Пронеслась буря, которая началась с первой мировой войны, но она не остановилась. Первая мировая война фактически была не отдельной войной, а эпизодом или первым актом в одной пьесе, включающей в себя и вторую мировую войну. А те люди, о которых я говорю как о представителях героического искусства, и сейчас я перехожу к XX веку, те люди из прошлого именно об этом и говорили. Предупреждали. Можно прямо с Возрождения начинать: есть какие-то циклы в человеческой истории, типичным образом повторяющиеся. Скажем, процедура душевного поиска, которую осуществляет Данте, абсолютно в таком же виде повторяется у поэтов XX века. Ну, конечно, во французской традиции Пруст является продолжателем, как это ни странно (Пруст считается весьма почтенным светским автором), традиции Лотреамона, Рембо, Жарри. И последующая традиция – сюрреализм. Странно, какое отношение к сюрреализму имеет Пруст? И тем не менее – Пруст умер в 1922 году и в 1922 же году начинает действовать человек, которого я назвал бы вторым воплощением (в смысле теории метапсихоза, переселения душ) Пруста, совершенно на него непохожего, а именно – Антонен Арто (он как раз к нашей драме, о которой я говорю, имеет прямое отношение; и я о нем частично уже говорил). Так вот, вы увидите странную вещь. Если вы поняли, что было основной заботой души Пруста, то вы увидите, что эти же заботы являются движущимся мотором души Арто, Эзры Паунда, Элиота, Джеймса Джойса; из французов, конечно, сюрреалистов начиная с Антонена Арто (я уж не говорю о том, что и французский психоанализ, кстати, в лице Лакана, начинался среди французских сюрреалистов). Скрытая причина, почему я все время об этом говорю, состоит в восстановлении духовных нитей (о чем я говорил в самом начале наших встреч), а именно; восстановление духовных нитей – наших, грузинских, которые связывают нас не с Россией, а с Европой. Это было ясно уже по тому, какую печать на себе несла деятельность и поэзия Ильи Чавчавадзе, нашего, наверно, самого крупного мыслителя начала века. Ясно,

что все, что в нем нам близко, и все, что актуально, есть то, что возникало на его пути движения в сторону Европы через головы русских революционных демократов, с которыми сейчас его почему-то связывают (он-то как раз от них отталкивался). И вот мы обнаружили, что мы в том же «компоте» находимся, что и Европа, и перед нами стоят те же проблемы. Мы, конечно, как грузины можем сказать, что мы маленькая нация, не мы реальные субъекты и авторы того, что случилось и решается на российских пространствах, и не наше это дело. Ну, а на российских пространствах, конечно, решается проблема, которую можно назвать все-таки европейской проблемой, а именно: есть цивилизация и есть варварство – что победит? Повторяю, есть цивилизация – и, кстати, фигура цивилизации, которая нас интересует, – это фигура героя. И есть варварство. Есть личность и человеческая общность, а есть коллективы людей, каждый из которых несет знак и без знака не существует. Я имею в виду – если вы помните, в Апокалипсисе от Иоанна все люди носят на лбу (то есть на своем уме) и на своих руках (на том, что они делают) печать дьявола и сатаны, и без этой печати они не могут шевелить ни руками, ни головой. Знаки, а не реальность. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на Германию 30-х годов и странным образом вы увидите – не человек и не реальное человеческое общение, а люди с клеймом, знаками, обозначающими дела... И вот эти люди предупреждали – Арто говорил так: если вы хотите убивать миллионами, если вы хотите чумы, голода, то можете не обращать внимания на то, что я говорю. А он говорил о том, как нужно собирать себя в точке – самому и одному. То же самое говорил Ницше еще раньше. И, кстати, в связи с вопросом о знаковости, которая есть современная форма варварства, я напому вам, что говорил Ницше, который пророчески это чувствовал. Вы знаете, что у Ницше была идея сверхчеловека. Она по-разному трактуется, и я сейчас не буду вдаваться во все эти трактовки, идея простая в действительности: если в человеке нет устремления к преодолению самого себя как человека (как психически-биологического существа, рожденного естественным образом), если он в себе не пытается это преодолеть или, как выражаются философы, трансцендировать, то он не может быть человеком. То есть в глазах Ницше человек есть нечто, что выпадает в осадок после труда и усилия вырваться из человеческого. Как выражался Ницше, – из «человеческого, слишком человеческого». Это абстрактная спекулятивная истина, на особом языке утверждение. Но оно ведь понятно. Попробуйте вдуматься: я могу быть человеком только тогда, если я стремлюсь к чему-то большему, и тогда я могу получить меньшее. То есть человека. Но – **человека**, а не животное. Вся философию Ницше можно резюмировать следующей картиной или следующей мыслью. Он говорил так: или мы будем сверхлюдьми, или, если мы не сможем быть сверхлюдьми, мы будем последними людьми. («Последние» в смысле – исторически последние). Цитирую: «Люди организованного счастья, которые будут говорить: мы богаты, мы счастливы, и будут подмигивать». А когда счастье организовано, ты ведь не можешь быть ни богатым, ни бедным. Потому что оно организовано – ты по определению богат и счастлив.

И вот, живя в обществе, в котором мы только и заняты тем, что подмигиваем, мы и в день подведения счетов, итогов должны все-таки заглянуть в себя, потому что, хотя мы и маленькая нация, не историческая нация, то есть не несущая исторической ответственности, мы все равно связаны с развитием современной техники, в том числе техники войны; мы не можем отложиться, отойти в сторону и посмотреть, что будет во время катастрофы, и потом пожинать плоды катастрофы. Этого не может быть. Снова посмотрим, что говорит нам европейская мысль. Какой опыт она выработала, и что посредством этого опыта и книг, в которых записан этот опыт, мы можем прочитать в себе и в своей душе. Потому что наши движения автоматичны и

мгновенны, а эта мгновенность и автоматичность очень опасны для нас. Когда мы говорим «виновата среда» – автоматический ход мысли, которого очень трудно избежать. Но можно показать, что его нужно избежать, что мы погибнем, если будем так думать. И тем более нам интересен, конечно, опыт тех людей, которых мы называем «героями» – именно в этом смысле слова. В том смысле, что герой – это человек, который никогда не может сказать, что виновата среда. То, что я сейчас так примитивно изложил, и есть европейская проблема еще в том смысле, что в Европе есть традиция думать об этом. Она имеет слова, термины, и мы их, к сожалению, не знаем. Не наша вина – но, я повторяю, запрещено говорить «не наша вина». Запрещено в контексте того менталитета, который я описываю как героический энтузиазм. Вы понимаете, о чем идет речь? Нельзя, безнравственно так говорить. Хотя эмпирически, чисто жизненно я понимаю людей, которые так говорят. Человек сам должен создавать в себе атмосферу, которой он дышит. Она ему не дана, нам в особенности. Он должен сам создавать или добывать те книги, которые ему никто на подносе не принесет, сам получать информацию, которую ему тоже никто на подносе не принесет. Разными путями – потому что когда начинаешь шевелиться, то в итоге жизненный контур складывается.

Вернусь к той традиции, в которой существует обдумывание этих вещей. Тот менталитет, в котором говорится – вот, среда заела или, чтобы быть добрым, нужно, чтобы был смысл быть добрым, – называется нигилизмом. В России это слово тоже фигурировало, но совершенно иначе понятое. И вот почему я говорю «европейская традиция». Российская литературная традиция нам вообще не годится для обдумывания этих вещей. Мы там ничего не поймем. И поэтому нужно обращаться к европейской традиции. Так вот, в европейской традиции это называется нигилизмом. Целое большое течение мысли, названное нигилистическим, отдельно не выделено. Есть отдельно выделенные течения мысли: феноменология, экзистенциализм. Нигилизм – нет такого течения. Нигилистическая мысль есть элемент очень многих человеческих состояний и очень многих течений. Этот элемент я встречаю и у европейских людей, которые вообще даже не знают этого слова, но у них это работает – нигилистическая мысль. Приведу пример нигилистической мысли. Скажем, недавно слышал по радио: обсуждалась какая-то социальная проблема и говорилось примерно так – что вот, глядя на это общество, на то, что происходит, невозможно верить в Бога. Или просто «верить» в высоком человеческом смысле слова. Вот эта фраза сказана нигилистом. Потому что только нигилист предполагает, что в мире есть реальное Божье дело, воплотившееся в каком-то институте, государстве, стране, и тогда, раз оно есть, имеет смысл жить, появляется надежда. А герои наши говорят другое. Блейк писал: некоторые говорят, что только один Бог действителен в мире. А я утверждаю, что Бог действителен во всем живущем и вне его не существует. Это означает, развивает дальше эту мысль Блейк, что эти два типа всегда будут различны и всегда будут антагонистичны. Их примирить нельзя. Какие два типа он называет? Он называет нигилиста – что-то делается без меня, само собой. Есть какой-то механизм, который производит счастье, есть какой-то механизм, который производит добро. А если этого механизма нет, то вообще ничего нет. А Блейк, будучи мистиком и принадлежа к искусству, с которым мы соприкасаемся и которое повторяется в XX веке, считал, что есть только то, что **со мной**, с моим присутствием и с моим участием. И нет ничего в мире, что можно было бы получить в виде механизма. Механизма счастья, например. Поэтому не случайно в российской культуре... скажем, Чернышевский до самых старческих лет периодически возвращался к юношеской мечте: к изобретению вечного двигателя. Вот это – предельная идея нигилистического механизма. Я могу наладить вечный двигатель счастья, а сам могу отвернуться и заняться

другими делами. А он тем временем будет производить счастье. Точно так же и общество они пытались наладить. Ведь вот что они понимали под революцией? Наладить механизм производства счастья. А философия говорит, что счастье, добро, дружба, братство не могут быть механизмом. Они могут быть только дарами. Если ты поработал, то это может быть тебе подарено, и то не всегда. Хотя заслуга есть, но не всегда вознаграждение может быть за заслугу. А заслуга может быть только одна – нужно быть готовым и к награде, и к наказанию. Готовым своим трудом.

Если вы посмотрите теперь, какую конструкцию строят Джеймс Джойс или Эзра Паунд, Элиот, Антонен Арто в своем театре, конструкцию, которую строит Пруст в своем романе, которым мы начали заниматься, вы увидите там одно и то же. Что именно? Во-первых, воспроизведение всего мира в точке **собственного личного действия**. Во-вторых, веру в твердую и четкую форму, имеющую очертания и способную что-то производить. Не «я» производит, а **форма производит**. Я вам вновь напоминаю проблему Пруста: Пруст строит роман, который есть в каком-то смысле собор, детали которого сцеплены с такой силой и с таким напряжением, что они внутри романа производят события – не жизнь спонтанно порождает, а они порождаются сильно сцепленной **формой**. И в итоге источники счастья или несчастья, которые были раньше в вещах, теперь переходят в мою собственную душу. И я не завишу от окружающего, от того, какой будет среда, все ли будут хорошими и т.д. Эта способность к одиночеству и выполнение своего пути в мире с риском, со страхом и с трепетом и есть мотив и стержень того, что я называю героическим искусством, проблема которого вдруг стала всеохватывающей и актуальной в начале XX века. И, оказывается, они были правы, что думали об этом и говорили. В 1914 году начался первый эпизод европейской драмы, то есть первая мировая война, но она опять ничего не принесла, потому что уроков не извлекли. Единицы извлекают уроки, а исторические массы их с большим трудом извлекают. И потом, когда не извлекли уроков, все то же самое повторилось в большем масштабе во второй мировой войне, которая не сузила ареал варварства, а расширила его. Завершая этот пассаж, я приведу очень странное определение. Вы знаете, как определяли греки варваров, то есть как они отличали сами себя от варваров? Варвар для них не был... как бы сказать? – это не было ценностным определением. Сказать «варвар» не значило сказать «плохо», «хорошо». Греки с большим почтением относились к персидской империи. Они видели многие достоинства и силу этой империи, но считали их варварами. По какому признаку они отличали себя от всего окружающего мира? Варвар – это тот, у кого нет языка. Вот поди и пойми это утверждение... потому что ясно ведь, что у персов был язык – персидский. Что значит – язык? Публичная артикулированная и на общественном месте стоящая мысль. Не у тебя внутри, не в твоём языке – **артикулированное тело**. Язык, на котором можно спорить, предъявлять свои права, то есть имея гражданские права, за которые ты ответствен, – потому что ты не просто имеешь право участвовать в общественной жизни, в общественных делах, а ты обязан, в греческом понимании, участвовать в общественных делах, и именно поэтому ты называешься гражданином. (Сознание, которое отсутствует, например, у тбилисского жителя. Начисто отсутствует. Я сейчас не говорю о том, что отсутствуют права, я говорю, что у него отсутствует это сознание.)

Приведу вам еще одну фразу, которую вы можете прочитать в тексте. Я приведу ее по двум причинам: во-первых, из-за содержания самой фразы, а во-вторых, для того, чтобы мы поняли, что читать то, что написано, очень трудно. Нужно иметь какой-то особый взгляд, не совпадающий с пониманием слов, которые составляют фразу. Я сказал бы, что метафизика есть мысленное одеяние героя. То есть в области мысли, в области искусства герой занимается

метафизикой. В этом смысле Пруст – метафизический писатель, Паунд – метафизический поэт, Элиот – метафизический писатель и т.д., энное число фигур в XX веке можно назвать таковыми. Так вот, прочитать, **увидеть** это – уже самому нужно быть метафизиком. Следовательно, нам нужно учиться быть метафизиками. И научиться этому можно на точных фразах. Они есть... В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Час настал, и это – сейчас». И далее идет фраза, которая фактически говорит о воскресении. Очень странный контекст фразы, если вдуматься. И вот эту фразу нужно читать в свете проблем героического энтузиазма. В том, как Евангелие видит время, нет привилегированных точек. Любой момент есть момент **последнего часа**. Эта фраза говорит о последнем часе или о конце истории. И мы должны понимать, что такое «конец истории». Потому что если бы я сказал на любом языке «конец истории», это означало бы, что завершается человеческая история: кончается история этого мира и наступает какой-то другой мир, который – за этим миром или после него. Но в Евангелии вовсе не это сказано. Повторяю, давайте попробуем прочитать. Здесь говорится о последнем часе; Христос говорит, что это – последний час. Причем ясно, что не имеется в виду конец света, а это обычный апокалиптический термин, религиозный. Что не кончается – эмпирически мы знаем это. Мы знаем, что воскресение мертвых **после** жизни и т.д. – все это не подходит. Значит, то, что мы знаем, **этого** мы не знаем. Здесь сказано: это – последний час. Кончается история. Причем кончается не так, что можно сказать: вот я живу, скажем, в I веке, а в VI веке будет конец истории. По-философски это означало бы, что есть некоторый привилегированный момент времени, означенный как VI век, и там – конец истории. Нет – нечто, что является концом или **зрелым завершением** (вспомните, я говорил вам о зрелости в связи с минутой истины), нечто, что является концом, **не имеет выделенного момента времени**. Любой момент времени может быть последним часом – которым нужно кончать **свою** историю. Кончать свой опыт. И **поступать**. (Такого рода истины душевной нашей жизни совершенно не зависят от их религиозного одеяния. Есть некоторые вещи, которые можно сказать только на религиозном языке. Он не случайно существует. Но это не есть предмет веры – такого рода истины, они есть истины нашей душевной жизни.) Так вот, я возвращаюсь. Мне, например, эта фраза говорит следующее: если ты не воскресаешь в жизни, ты не воскреснешь и после смерти, Христос говорит, что воскрешение **здесь, в жизни**, а не в какой-то полосе жизни, после которой наступает что-то другое, и вот там что-то происходит. Это не есть деление времени по горизонтали, когда можно было бы привилегировать какие-то моменты, – это сечение **по вертикали** проходит. И эта вертикаль может упасть на любой момент времени. И поэтому, скажем, для этого акта не существует ритуала. Нет иерархии времени. Оказывается, наша душевная жизнь расположена вертикально к горизонтали движения времени. И в любой момент... даже в субботу можно лечить человека, хотя по иудейской вере в этот день вообще ничего нельзя делать. Так ведь? Но вы знаете, что Христос «отменяет» субботу – а потому, что он живет в измерении того, как складываются человеческие судьбы. То есть он живет в онтологическом измерении, в котором нет этого деления. В онтологическом измерении любой момент может быть последним часом, в котором ты должен собрать и, чтобы больше к этому не возвращаться, закончить свой опыт. Чему-то раз и навсегда научиться, например. Не так, чтобы совершить что-то и раскаяться, потом снова совершить и т.д. (я показывал вам цепочку дурной бесконечности, в которую впадает человек), а оказаться **в структуре**, в которой не повторяется то, что является причиной раскаяния. А что не повторяется? Как это зашифровано? То, что повторяется, называется второй смертью. Как непрожеванный кусок, который мы все время

жуем и жуем. Адское наказание. Вы будете вечно делать одно и то же или будете вечно умирать. Не умереть раз и навсегда, как «хорошему крестьянину» полагается, а умирать **второй смертью**. Или **вечной смертью**. Все время умирать, умирать и умирать... Действительно, с ума сойти можно от этой адской картины! А вспомните сцену (я не случайно это напоминаю): герцог Германт раскланивается перед Марселем, выказывая ему сочувствие в связи со смертью бабушки. Да он будет вечно раскланиваться, потому что он не «прожевал» формы, в которой высказывается сочувствие. Это – не сделанное деяние. Не освоенное Германтом на уровне способности его свободной души, где участие или сочувствие возникает в точке беды, когда есть полное участие в беде другого. Он растрчивает запас поклонов, накопившихся в коленях аристократа. И он не видит беды, он ее не чувствует. Почему? Потому что он зол? Да нет – потому что законы чувства здесь нарушены. Чувство предполагает полное присутствие, но нельзя присутствовать, если ты одной ногой или обеими ногами завяз в не сделанном.

А теперь приведу вам другой пример. Он фигурирует в платоновской «Республике»: знаменитая сцена выбора, которая совершается в том мире. Умершим людям – и это наблюдает человек, который не умер, вернулся на землю и рассказывает, что происходит на том свете, – дается возможность заново выбирать. И вот среди прочих вещей там есть одна интересная деталь. Один человек выбрал тиранию. (Ему предоставился выбор. Есть такие бумажечки, на которых написано: кем ты хочешь быть? И ты выбираешь. На бумажке написано: он – тиран. Он взял бирку «тиран».) Почему он выбрал это? А потому, заключает Платон, что он жил «в хорошо оберегаемом государстве». В упорядоченном государстве какой-то тирании, где строго соблюдались все законы, общественные законы. И он привык к их соблюдению. Он, говорит Платон, пришел к соблюдению законов не через испытания. Он никогда в жизни не испытал ничего. Он жил в законоупорядоченном государстве и привык, что порядок соблюдается. И вот то, что в нем было не сделано, то есть не испытано, не выросло из собственной души, повторилось. Он повторяет акт, то есть свое бытие в тираническом государстве, и потом с ужасом узнает, что, оказывается, в судьбе тирана записаны многие несчастья, в том числе и пожирание собственных детей. Но было поздно. Он уже выбрал. (Я поясню этой сценой, что значит груз не сделанного, того, что не воскресло в жизни.) У него не было последнего часа. Он не кончил историю. Если делаешь что-то, ты делаешь. А вот этот человек не кончил свою историю, когда он жил в тираническом государстве. Он жил по привычке. Ему казался сам собой разумющимся порядок. Он не знал, что порядок стоит крови, риска, что он из собственного испытания должен вырастать. Он ничем не заплатил за это. И он этого не кончил – в каком смысле? Он не откликнулся. Ему сказали: это – последний час, если хочешь воскреснуть. А он, очевидно, не услышал (я сейчас один эпизод наложил на другой и т.д.). И он повторился в несчастье. Ему суждено съесть своих детей. Это, конечно, метафора. Но вы знаете, что тиран всегда поедает все достойное и самостоятельное вокруг себя. Даже если это самостоятельное не вступает в заговор против него. Например, не занимается политикой. Но в принципе людей высоких идей тиран вокруг себя терпеть не может. Он съест их. Это зашифровано фразой: «поедание своих детей». Теперь попытаемся сделать вывод. Только я его не смогу сделать. Вывод – как раз то, ради чего все это говорилось, – должен совершиться во всех головах. То есть – как мы читаем фразы – как сложно и в то же время просто прочитывается: «Час настал, и это – сейчас».

Так вот, я возвращаюсь к героическому искусству – и теперь понятно, почему я все это приводил. В героическом искусстве человеческая жизнь, и духовная, и нравственная, и социальная, как бы протекает по вертикали. А не

по горизонтали. Горизонталь идет в непрерывном движении последовательности. Есть бег времени. Время бежит и движется по линии. Вы знаете, что время одномерно (в отличие от пространства, которое трехмерно, по меньшей мере). И в этом времени считается, что есть время жизни и есть время смерти. Или – есть время **этого** мира, а есть время другого мира. Ну, скажем, лучшего мира. Или царства Божьего. Евангелие и героическое искусство (или героическое сознание) считает, что царство Божье – по вертикали к теперешнему миру. Оно пересекает его в любой момент. И мы не отделены, если повторить слова Чаадаева, от другой жизни, более истинной, лучшей и т.д., загробной, так сказать, жизни, мы не отделены от этого лопатой гробовщика. Она не потом наступает. Она – **по вертикали**. Она – срез **другой** нашей духовной жизни. И слова «потом», «загробной», «лучшей», «совершенствование», «возвышение», «бессмертие» – это слова, которыми мы беспомощно и неловко пытаемся обозначить некоторые свойства своего же собственного бытия. А эти свойства за этими словами нужно уметь читать. И не воспринимать слова буквально. Для Пруста (так же, как для Данте) и для всех тех людей, которые восстанавливают традиции героического искусства в XX веке, искусство было орудием и средством вертикального сечения **этой** жизни. Не откладывания всего того на другое время, когда **это** время завершится, то есть время жизни свершится, не перекалывания этого на другой мир, от которого мы отделены датой смерти, – вот когда умрем – тогда. Да нет, не так устроено. И вот у Пруста на каждой странице вы встречаетесь с фразой: другая реальная жизнь, или – искусство более реально, чем обыденная жизнь. В каком смысле оно более реально? В том смысле, что искусство, то есть сильная форма, есть орудие вертикального просечения жизни. Орудие, посредством которого мы здесь воскресаем в своих чувствах, в своих мыслях и состояниях. Скажем, герой – это человек, который полностью присутствует. Германт не присутствует при горе. Потому что часть его – в прошлом, в кем-то выдуманном ритуале, посредством которого выражается сочувствие. И он – не сейчас, не там, где сказано – это последний час. Германт отсутствует, поскольку часть его в несделанном прошлом. Следовательно, перевернем: у нас есть шанс почувствовать что-то не потому, что мы чувствительны к горю, например, а потому, что мы присутствуем. Я говорю сейчас о сложностях и литературы, и философии. Повторяю: что значит – почувствовать? Почувствовать чужое горе. Это же ведь есть шанс зависеть не от возможности чувствительности как таковой, не от раздражимости нервов, а от того – присутствуешь ли ты **полностью** в своих возможностях перед этим случаем или не присутствуешь. А «не присутствуешь» тоже по определенным законам. Застрял в прошлом – один из законов. Следовательно, способом чувствовать является не чувство и не чувствительность, а какое-то орудие или форма, которая позволяет присутствовать. И если форма тебя собрала или ты собрался посредством формы, тогда полностью присутствуешь, тогда почувствуешь. Откроешься тому, что видишь. Откроешься чужому горю. И тем самым не зависишь от случайности своей чувствительности. И источники свои – того, что случится, – носишь в себе. А это и есть герой. У Донна одно из стихотворений завершается образом некоторого закругленного на самого себя существа, которое – в безднах вселенной, где несчастья, где страдают люди, – может не распасться и держаться, полностью собрав себя. А не собрав себя, ты скажешь: как же можно что-то делать, если кругом зло. Итак, герой – это тот, который не то что не видит зла и горя, а они никогда не являются для него извинением не быть тем, кем он призван быть. Очень часто, вы знаете, бедность других, горе других есть извинение, которое мы ищем, для того чтобы чего-то не делать. Не совершить, не испытать, не помыслить и т.д. Вот это у Пруста проиграно в теме дружбы. Пруст считал дружбу потерянным временем, потому что она отвлекает

тебя от тебя самого, который есть для тебя самая большая загадка. А в дружбе тебе она кажется решенной, потому что в беседе мы всегда предстаем как готовые и завершённые люди, поскольку мы сообщаем что-то (нельзя ведь сообщать кому-то, если ты сам внутри себя не завершился). Это иллюзия, что мы есть у самих себя. А иллюзии опасны. Следовательно, еще одна черта героического сознания – **сознание без иллюзий**. У Пруста весь бег поиска правды, поиска истины, в том числе поиска истины ревнивым человеком, который ищет истину о своей возлюбленной (изменяет она ему или не изменяет, а если изменяет, то с кем), весь этот бег во взаимоотношениях с местами, именами, скажем, с аристократами Германт, которые магическое действие именем на него оказывают, слово «Венеция», которое содержит в себе целый мир очарования, – не иллюзия ли это? – так вот, прохождение человеком поиска возлюбленной или ее измен, прохождение взаимоотношений с привлекательными героическими именами аристократии, с привлекательными именами городов – все это есть прохождение, как говорит Пруст, «до последней иллюзии, подлежащей уничтожению». Или – подлежащей изживанию. Вот это я называл философией жестокости.

XX век – век организованных иллюзий, организованных мифов, и, следовательно, та тяжесть, которая лежит на нас, состоящая в том, чтобы быть жестокими по отношению к самим себе, то есть идти до последней иллюзии, подлежащей уничтожению, возрастает. Это не просто милые иллюзии XVIII или XIX веков, это коллективные и весьма четко организованные иллюзии. И пройти сквозь них очень трудно. И этот труд прохождения, усилие прохождения есть то, что я называю героизмом. В действительности можно заменить все эти слова и сказать о труде. Трудиться надо. А трудиться очень трудно, и мы избегаем труда. Ведь эти иллюзии тем сильны в XX веке, что они, будучи организованными, специально построены так, чтобы одновременно создать у человека иллюзию ясного сознания, что он понимает мир, и при этом избавить его от труда, который необходим для того, чтобы вообще что-либо понять в мире. Организованные иллюзии – это схемы, которые простейшим образом умещают мир в такой... величине головы. (Посмотрите историю социал-демократии, и вы с удивлением увидите потрясающую картину: ...такой величины головы социал-демократических корпорантов вмещали мир, очень сложный. Вмещали так, что им даже не нужно было трудиться над пониманием. У Каутского, например, уже есть целая история философии, в которой Платон и Сократ – это аристократическая реакция. Понятно все. Демокрит – представитель греческих демократических кругов. Это от Каутского идет. Вы думаете, что это советские кретины придумали в 20-х годах? Да нет, что вы... Это придумано в почтенной Германии, в конце XIX века.) Так вот, схемы страшны тем, что они и удовлетворяют нас своей ясностью понимания, и освобождают от труда. А героическое искусство или героическое сознание есть сознание труда свободы и ответственности. Чудовищное бремя, которое человек при любом поводе хочет сбросить с себя, – бремя труда и свободы. Потому что ничего нельзя без труда. Например, без труда нельзя даже простейшего чувства узнать. Мы ведь все время сталкиваемся с тем, что, например, чувствовать справедливость – недостаточно для справедливости. Чувствовать любовь – недостаточно для любви. Оказывается, трудиться надо, потому что справедливость формой устанавливается, и чувства устанавливаются посредством искусства (искусства в широком смысле слова, не обязательно в смысле поэзии, литературы и т.д.). **Искусство как продукт сильно сколоченной формы**. Вы помните – как раз тогда, когда Пруст был более всего преисполнен любви к своим родителям, именно тогда родители его отталкивали, и он не понимал этого. Он оставался один на один со своим необъемным, громадным чувством любви, прекрасным чувством, и чувствовал

себя несправедливо обиженным, непонятым. Конечно, контакта не произошло по той простой причине, что до этого мальчик валялся в истерике и мучил своих родителей. Именно тогда, когда **ты** преисполнен любовных чувств, – не получится. В случае родителей – это еще поправимо. А вот с любимой женщиной, когда есть встреча, и – ничего не произошло. Не прошло общение. А я так хорошо был намерен, а я так хорошо любил... А в области мысли – я ведь не хотел этого. Вот слова «не хотел», «я был так хорошо настроен», «намерен» – из разряда запрещенных фраз. Запрещенных для развитого героического сознания. Их нельзя, конечно, запретить. Слово «запрет» я применяю в смысле **внутренней невозможности**, то есть когда что-то стало внутренне невозможным, если мы развились. Если мы развились, мы не можем мыслить так, чтобы можно было потом сказать, что это не входило в наши намерения. Ну, скажем, образ социальной мысли – сочиняется какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит: «Но я этого не хотел». Простите, этого не бывает. Это не принимается героическим сознанием. Даже в качестве извинения не принимается. Не может быть этого. Героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим **точно**. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил. Не потому, что этого не хотел, – в тот момент, когда был последний час, **тогда** ты не мыслил.

Мы все время бродим вокруг того, где, в каком пространстве, когда совершаются наши собственные акты. В том числе акты мысли, акт нежности, акт сочувствия. Ведь – я сказал слово «точно» – если бы Германт почувствовал, то мы знаем, что здесь была бы решена проблема, которая и называется странным словом – точность. Есть точность чувства. Но точность чувства опять-таки не есть дар самих чувствований (как психофизиологических явлений), а есть дар **проработанности** нашего сознания в онтологии, в законах бытия, владение которыми позволяет нам присутствовать, и когда мы присутствуем, мы точно чувствуем. Значит, так называемый точный акт (слово «точность» применимо к чувству) – чувство в данном случае – происходит в каком-то **пространстве**. У него есть место. В смысле нашего естественного, природного устройства и раздражимости наших нервов. У одних они раздражимы, у других нераздражимы. Да нет, у Германта нервы, я уверяю вас, такие же, как и у другого человека, точно чувствующего. Нервы такие же. А неточно он чувствует, то есть не открыт и не может воспринять того, что перед носом стоит, по другой причине. Потому что он «умер к самому себе». Умер потому, что сам – в прошлом, а там не сделано. А несделанное и есть смерть. Мертвая часть его душевной жизни. Он умер к самому себе. А для Пруста это было как раз самым страшным: умереть к самому себе, не признать, отречься от мертвого – выпасть из человеческих связей и не узнать Бога. Или не узнать таланта, не узнать гения (в данном случае это одно и то же). **Не узнать**. А как мы узнаем? Каковы законы узнавания? Встречи происходят. Скажем, бросился на шею родителям, а они меня оттолкнули. Я так люблю, а она меня оттолкнула. Здесь все есть. Она на месте, я на месте, мы встретились – ток жизни не прошел. Почему? Или почему я кого-то не узнаю? Например, я могу смотреть на Сократа и видеть его уродство. А какими глазами я вижу его божественное тело, то есть действительного Сократа, – какими глазами? И какой шанс у Сократа, что он предстанет перед людьми и они увидят то, что он есть? Потому что то, что он есть, невидимо. А каковы условия того, что мы можем видеть нечто не видимое глазом? Трудиться надо, чтобы тебя понимали, потому что только перед Богом можно предстать в несовершенном виде, а перед людьми – ни в мыслях, ни в чувствах – нельзя. Почему? Потому что для людей любой повод хорош, чтобы не увидеть. Вот если перед вами оборванная мысль, то я, например, если у меня хороший вкус, могу сказать: фу, какая

оборванная мысль, – и не потрудиться посмотреть, что на самом деле рвалось высказаться за лохмотьями. Ведь люди несовершенны в своих чувствах.

Рвется что-то действительно, и он не может этого сказать. А я не могу услышать вообще просто потому, что он плохо говорит. Посмотрите на российских диссидентов, они же разговаривают с людьми на языке, на котором только с Богом можно было бы разговаривать, в том смысле, что Он-то простил бы несовершенство и увидел бы тело человеческого страдания за несовершенным и глупым языком. Но не с богами ведь разговаривают, а с людьми. Следовательно, не потрудились, чтобы была мысль. Сами виноваты. Хотя я бы еще мог увидеть, **что** они хотели сказать. Но это случайно, во-первых, и потом, люди не обязаны избавлять тебя от твоего собственного труда артикуляции мысли. Варвара никогда не поймут в самых лучших его намерениях. В самых лучших его мыслях. И он будет обижен и будет говорить так: именно тогда, когда я был самым хорошим, именно тогда, когда я лучше всего был расположен, именно тогда «кто-то камень положил в мою протянутую руку». Ну, не только камни положат, хуже случится.

Что мы имеем теперь? Во-первых, героическое сознание есть сознание труда и, во-вторых, – отсутствие извинений или, так сказать, прощающих инстанций, если труд этот не совершен. Нет таких прощающих инстанций. Не на что сослаться. Потому что – можешь. Нет механизмов. Механизмов мысли не существует. Механизма дружбы не существует. Можно что-то делать, и тебе может быть подарена дружба или братство. А наоборот – не полагается. На философском языке, на языке теории я говорю так: есть культуры, в которых вообще не проработано онтологическое отношение между целью и средством. Скажем, русская культура такова. И потому я не могу приводить примеров героического искусства из русской традиции. Даже Достоевский – если меня сейчас завести и я ринусь бы в разговор о Достоевском, то я бы показал вам Достоевского как литературного Хлестакова, гениального, талантливое, все что угодно – это самый настоящий Хлестаков. Ему не хватило, конечно, жизни, чтобы стать. Ему нужно было еще несколько жизней прожить, чтобы полностью выкорчевать из себя то, что он выкорчевывал. А он выкорчевывал, в этом ему нужно отдать должное. Из себя изживал. Но не успел, и поэтому никогда не нужно возводить в систему мысли, представления и образы Достоевского; не нужно искать за ними систематической философии, потому что если выстроить систему, то она будет абсолютной глупостью. А вот артистическое присутствие, которое нельзя резюмировать, есть у Достоевского. И – отделять от него мысль как доктрину Достоевского невозможно.

Возвращаясь к проблеме героизма, который всегда сочленен с идеей или с построением сильной формы: герой знает, что – быть настроенным – должна быть трудом сколоченная форма, на ней может что-то держаться. Кристалл, «язык». Значит, цивилизация – это **ЯЗЫК** (в отличие от варварства). Справедливость как механизм цивилизации есть форма или есть язык, полностью отсутствующий в наших головах (обратите на это внимание). Полностью. Вот попытайтесь отдать себе отчет в том, как мы реагируем, чего мы ожидаем. Попытаемся ловить самих себя на варварстве, потому что другого шанса быть не варваром нет. Если мы не узнаем, что мы – варвары, то мы никогда не будем другими. И в связи с этой формой, спаянностью героя с формой и т.д. я приведу еще один термин, который вам пояснит область всех проблем в литературе XX века, которыми мы занимаемся через Пруста. Я ввожу нового автора – меня спрашивали, кого из немецкой традиции можно назвать, я назвал Рильке, а сейчас назову Музиля. Так вот этот человек построил утопию. Не буду говорить о всех ее частях, упомяну о ней только с той стороны, которая связана с моим сегодняшним введением. Это утопия, грубо говоря, точной жизни. Обычно мы говорим «точная мысль», «точное рассуждение», а у

Музиля – утопия **точной жизни**. Он понимал: то, чего нам хотелось бы в жизни, случается в ней какой-то организацией жизни. И эта организация возможна. То есть возможна организация наших реакций, того, что происходит в наших встречах, поскольку в нашей власти организовывать полноту присутствия. А что случится во время присутствия – это уже, конечно, вопрос судьбы. Такого рода философия заключена в этом многостраничном романе «Человек без качеств». Кстати говоря, название ведь тоже... я говорил вам – «через ушко иголки не проберется богатый». А кто такой богатый? Богатый – это человек, у которого есть качества. У которого есть завоеванное, достигнутое – вот такой не проберется в царство Божье. И не случайно Музиля интересуется, как быть человеком без качеств. Потому что завоеванного-то в действительности нет – смертельная болезнь, по выражению Кьеркегора, думать, что ты что-то **есть**. Это не может быть элементом точной жизни. Хотя, казалось бы, жизнь есть самое неточное, что вообще может быть на свете. Но, понимаете, есть парадокс такой, что свободное действие, жизненное свободное действие может быть точнее логического мышления. Логическое мышление имеет много связей и умозаключений, и мы на тысяче первой связке можем ошибиться, потому что забыли какие-нибудь символы. А точная свобода – скажем, присутствие перед горем, прошел через открытое отверстие твоей души контакт – это есть точность, гарантированная свободой. У тебя полное в своей свободе чувство. То, что нигде не застряло, что значит «быть в прошлом»? Застрять в прошлом – нога твоя в прошлом, а рука здесь. Вот что такое несвобода.

Значит, в метафизическом смысле говоря о форме, о героизме, мы все время говорили о чем-то, что является механизмами, или средствами, **высвобождения свободы** (это тавтология, конечно). Я говорю свобода свободы, мысль мысли. **Закон** закона. Закон, который есть **форма и условие** любых законов. Какие будут, неизвестно. Свобода свободы – это можно понять, а вот что в свободе будет сделано, этого никто предсказать, определить или предопределить не может. Будет то, что есть, – чувство. А поди его сфабрикуй. Но – есть **условие** свободы. **Свобода** – как условие свободы. Или **высвобождения**. Это относится и ко времени. Когда мы будем заниматься проблемой времени, мы увидим, что проблема обретенного времени есть проблема высвобожденного времени. И везде витает один предельный образ над такого рода точным мышлением или точной жизнью. Здесь слово «мышление» есть **мысление** условия мышления. Не акт мышления, который анализирует логика, а нечто, что тоже есть мысль в смысле того, что является условием мысли. Ее события. **Условие события мысли**. Или – **условие события чувства**. Скажем, в примере Геманта полнота присутствия есть условие события чувства. То есть условие переживания горя другого человека. Это условие выполняется или не выполняется – можно описать: выполняется, не выполняется. Можно показать, почему не выполняется.

Но о самих чувствах говорить в терминах «почему» нельзя. Если среди вас есть математики, то я тогда позволю себе следующее: наша терминология всегда – метатерминология. То есть – не сами чувства или их описание, а описание чего-то, посредством чего мы действуем на условия возникновения чувств, которое (возникновение) само по себе спонтанно, непредопределимо и неопишимо. И над всем этим (я отклонился в сторону пояснением метатеоретической или метатерминологической стороны нашей работы – не свобода, а свобода свободы) витает какой-то невысказываемый символ, скрытый символ какого-то отсутствия. Чего-то, что есть, но чего и нет. Что в то же время нельзя уловить, что похоже на какое-то легкое прикосновение ангельских крыл, которые нельзя схватить, но без них ничто не приходит в движение, а самих их нет. Вот смотрите, я говорю: полное присутствие. То есть

быть вынутым их всех остальных частей своей жизни, и быть сейчас здесь. Как это увидеть? Нельзя увидеть, нельзя описать, это можно дать только через отрицательные термины. Какая-то пустота, но в то же время насыщенная. Я говорил о нуле, о точке равноденствия, которая насыщена и т.д. Образ, который присутствует и у Арто, и у Пруста. У Пруста – пловец высвобождает подводную тяжесть. Кстати, этот образ похож на дантовский образ – по закону соответствий, а не цитирования. *Correspondance* – соответствие состояний, которые повторяются в пространстве человеческого сознания. Не отдельного сознания, а всех наших сознаний, независимо от эрудиции или цитат...

ЛЕКЦИЯ 15. 11.06.1984

Напомню коротко, на чем мы остановились, и намечу путь нашего дальнейшего движения, чтобы вы знали, что нам грозит и на что мы можем надеяться, и, таким образом, если вас затронут эти цитаты и мои комментарии к ним, вы сможете участвовать в том, о чем будет говориться, и двигаться вместе со мной.

В прошлый раз я напомнил вам, что фактически – и я сейчас это выражу немножко иначе – мы имеем дело с особым литературным произведением (и этим оно для нас интересно), которое представляет собой завершение существовавшей традиции, выразившейся романами испытания или воспитания – чувств, или романами пути. Короче говоря – такие произведения, которые сами в своем тексте фиксируют какой-то опыт, пройденный человеком, и изменение человека посредством понимания этого опыта. Иными словами, роман «воспитания чувств» никогда не есть описание какой-либо действительности – социальной, нравственной или какой-нибудь еще, а есть прежде всего поучение, дающее возможность человеку измениться. Стать другим. Другим, чем он был к моменту написания романа или к моменту чтения. Значит, во-первых, пишущий меняется, фиксирует изменения, произведенные в нем опытом, и, во-вторых, читатель, если он понимает, о чем написано, если опыт писателя совпадает с каким-то его внутренним переживанием и затрагивает его, тоже приходит в движение и изменяется. Напомню вам Стендаля, Флобера, у которого роман так и называется – «Воспитание чувств», напомню вам Гете – классическая европейская традиция, которая, кстати, в России отсутствовала. (Поэтому я говорил, что нам, для нашего пробуждения души и восстановления духовных нитей нашей культуры, важнее и ближе европейский опыт. В российском опыте такого рода традиции романов изменения или воспитания отсутствуют. Русская литература социальна, назидательна, воспитательна, но она всегда, по сравнению с романом «воспитания чувств», статична. Она утверждает читателя в том, что он знает о мире, и никогда не дает ему орудий изменения.) В рамках этой традиции прустовский роман есть уже машина изменения. Он построен так, что производит эффекты внутри себя, подобные тому, как если был бы ящик резонансов – *caisse de résonances*, по выражению Пруста. Части романа перекликаются одна с другой, внутри романа изменяются смыслы от страницы к странице, как изменялась бы раковина моллюска, и мы с вами, живые существа, изменялись бы вместе с этой раковиной. И чем шире и больше пространство этого ящика резонансов, тем, конечно, больше эффектов откладывается в нашей душе. В основе такого построения лежит несколько принципов, мы о них говорили, я лишь напомню то, что мне понадобилось для дальнейшего движения. Мы занимались тем, как устроена или какова структура впечатления, а впечатление есть материал романа. Мы выяснили, какое отношение впечатление имеет к факту, что вообще приходится писать роман. То есть создавать нечто, имеющее форму. Без формы невозможна организация нашей сознательной жизни; без нее наш психический процесс подчиняется

естественным процессам распада и рассеяния. Собрание и пребывание в некоторой человеческой полноте невозможно без крепкой формы.

Теперь по смыслу того, что я говорил в прошлый раз в некотором введении, я назову душу писателя, мыслителя или просто человека – такую душу, которая совмещена с сильной формой, – классической душой. Классическая душа – это мужская душа, способная стоять один на один с миром, сколько бы в нем ни было несчастий, распада, рассеяния, неравенства, несправедливости, способная не тыкать пальцем в факты несправедливости, или неравенства, или несчастья, не тыкать пальцем в них как в некоторое алиби, для того, чтобы самому ничего не делать, самому не собираться, – так вот, классическая душа способна, вопреки всему этому, принимать какой-то законченный внутри себя облик, такой, что источники счастья и несчастья перемещаются в саму форму жизни или творчества, которой данный человек или данная душа владеет. На это были способны Декарт и метафизические английские поэты, с этого начинал Данте на заре Возрождения. Я вам напоминаю основную черту классической души: организация чего-то, что естественным образом не может случиться, организация этого «что-то» посредством формы или слова, текста в широком смысле этого слова. Текст не обязательно должен быть вербальным. Например, все эти люди с классической душой всегда начинали новую жизнь. Что означало – не начать делать что-то другое, а начать **существовать в другом измерении**. Vita Nuova – устойчивый символ Данте – организация чувств и переживаний посредством формы или слова, или стиха; ему уже не нужны всякие движения души, ему нужно то, что нужно было уже грекам: идеальный инструмент, который издает только гармонические звуки. И душа любящего может быть построена как инструмент, издающий гармонические звуки в любви, но для этого нужна, например, поэма или стихотворение. Я повторяю: стихотворение нужно не для того, чтобы написать стихотворение, – поэт вовсе не творец в этом смысле, поэт не есть лицо, пишущее стихотворения, которые потом печатают. Стихотворение есть часть душевной жизни – например, любовной страсти, осуществляемой в ее полноте и в ее истинном смысле. И вот вы увидите, что каждый параграф книжки, которая называется Vita Nuova, – упорная работа со своими чувствами, чтобы спонтанность их канализировалась бы через форму и дала бы какой-то особый результат, естественным путем недостижимый для человека – слабого, эгоистичного и распадающегося существа. Данте даже национальное гражданское бытие Италии понимает как нечто, что организовывается и конституируется через язык (посмотрите его работы «Монархия» и «Пир»). **Артикуляция** – канализируясь через которую даже массовая социальная жизнь дает другой результат и складывается иначе, чем если бы не было этой артикуляции. Я в прошлый раз вам напоминал, что классическое определение греками варварства имеет очень глубокий смысл. Варвар – это человек без языка. То есть без артикуляции, самостоятельной, отделенной от человеческих намерений, позывов, побуждений, прекрасных чувств и т.д. Это есть артикуляция. Поэтому я говорил вам: закон не есть стремление человека к законности. Закон – это артикуляция, он должен быть написан. И тогда человеческое сознание организуется так, что в нем есть элемент и сознание закона, которого нет, например, у нас. Наша национальная жизнь лишена такого рода артикуляции. Поэтому мы по-прежнему зависим от того, о чем еще Грибоедов восклицал: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь». По-прежнему наше сознание, все наши ожидания организованы вокруг барской милости, которая, конечно, лучше барского гнева. Но и милость, и гнев одинаково плохи с той точки зрения, о которой я вам говорил. Они одинаково не могут быть основаниями ни гражданской жизни, ни исторической жизни, ни нашего сознания. Так что теперь мы еще лучше

понимаем, что такое классические души. Классические души – это души, которые это понимают и на этом стоят. Они сами создают другую атмосферу, другой воздух, в котором они же могли бы дышать. Поэтому, скажем, для Галилея не было той проблемы, которая была для Кампанеллы. Кампанелла жил на церковной почве и боролся с церковью, а Галилей сам уже создал себе другой мир и другую почву, и не церковь была его врагом. Поэтому он мог ей и уступить, выполнив ритуал, которым предполагалось, что Земля не вращается вокруг Солнца. Что революционным интеллектуалам XX века дало повод для мучительных размышлений о том, был ли трусом Галилей, не предал ли он дело революции. Вообще мы всегда ожидаем от других каких-нибудь героических жестов. Человек обязательно должен взмахнуть гривой волос, гневно сверкнуть очами и призвать – долой тирана! Я очень часто встречаю такие ожидания в адрес Канта (он, якобы, должен был совершить такой поступок), в адрес Гете, которого в литературе считают филистером, мещанином, замороженным блеском аристократии. Но дело в том, что поле борьбы и Галилея, и Гете, и Канта лежало в другом месте. И Декарта тоже. И это же относится и к нашему Прусту, который именно по тем причинам, о которых я сейчас говорил, не любил так называемые социальные и идеологические романы. В них он видел только результат того, что автор не понял своих же собственных побуждений и впечатлений. Не разобрался в них, не овладел ими.

Напомнив вам о значении текста (то есть артикуляции), скажу, что перед нами теперь стоит проблема: каким образом текст, форма, или форма жизни, или то, что я называл «крупная мысль природы», архетип, если угодно, – участвуют в более широком движении человеческих существ. В судьбах людей, в той мере, в какой эти судьбы есть продукт перекрещивания человеческих путей; не только того, чем человек в себе овладевает, но и того, что происходит в глобальном пространстве и времени – истории судеб и т.д. Для начала я коротко и, может быть, заманчиво для вас обозначу всю эту тему и весь ответ на нее одной фразой в жанре Пруста. Миры в романе Пруста – а там миров очень много – «миры различий», как выражается Пруст, – это исполнившиеся в своей полноте и личности, и художники, мировоззрение каждого из которых есть уникальный мир. И эти миры вращаются в каком-то странном пространстве, запущенном по каким-то траекториям. Все это можно описать одной странной фразой Фурье (она даже написана на цоколе памятника Фурье в Париже) – представьте себе пространство, в котором действуют силы, которые метафорически можно назвать силами притяжения между **мирами** различий, – «Притяжения пропорциональны судьбам». Скажем, Марсель оттолкнулся от Рахиль, а Сен-Лу притянулся, – для него она духовная красота мира, а для Марселя, как я говорил вам, она – женщина, которую можно иметь в доме свиданий, женщина, как и многие другие. И вот то, что увидел Сен-Лу в Рахиль, есть часть его судьбы, часть его эмпирического пути в жизни, и этот путь, состоящий из результатов притяжений, пропорционален – судьбам. А судьбы заложены в чем-то. Они заложены в каких-то телах. В телах упаковано нечто, являющееся судьбой, и то, что с тобой случится вне тебя – в истории, в обществе, с кем ты встретишься или не встретишься, с кем ты встретишься, поняв встреченное, или с кем ты встретишься, не поняв и не увидев (скажем, ты можешь встретиться с Богом и не узнать Бога в Боге, ты можешь встретиться с предметом сочувствия и не проявить сочувствия, и наоборот) – все это пропорционально, то есть законосообразно («пропорция» есть просто другой перевод слова «рацио»; рацио есть разум), соответственно чему-то. Вот это таинственное «что-то» мы пока называем судьбой. Я говорю только одно слово для расшифровки этого таинственного «что-то»: тяжелая упакованная масса. У Пруста она называется прошлым, или прошлым опытом, если угодно. И она не видна. Видны те события, которые – впереди нашего

глаза, а то, что – сзади нашего глаза, то есть в нас, не видно. Но то, что мы видим, пропорционально тому, чего мы не видим. Наш глаз притягивается или отталкивается, и это, оказывается, не случайно. Не потому он притянулся к женщине, что она красива, – притяжение к красивой женщине объясняется не физическими качествами ее красоты, а какими-то совершенно другими причинами, которые заложены в том, чему это пропорционально. То есть – в судьбе. А судьба есть, например, упакованность во мне моей жизненной ангажированности и топоса, в который я помещен по отношению к этой женщине. Мы чаще любим ту женщину, которая не пришла на свидание, в тот момент, когда была возможна кристаллизация нашей души, чем ту женщину, которая объективно, по каким-то показателям, красива или умна. Пруст говорит (взято весьма простонародное французское выражение): «...d'un «lapin» que la demoiselle nous a pose». Полублатной советский эквивалент таков: женщина, которая «крутит динамо» (не знаю, говорит ли это вам о чем-нибудь). Так вот, она развязывает ту канву, которая внешне называется увлечением, любовью и которую мы столь же внешне пытаемся объяснить какими-то качествами женщины, которую мы любим. Значит, эпиграф наш: **притяжения пропорциональны** судьбам. И тем самым наш эпиграф говорит: то, что происходит в глобальном пространстве, имеет какие-то законы. Как говорит Пруст, законы этого необъятного универсума. Какие законы? Очень часто Пруст говорит об алгебре чувствительности. В связи с той проблемой, к которой мы теперь переходим, Пруст говорит о вибрации, распространяющейся по всему пространству, о распространении волн, об осцилляциях. Все это мелькает не случайно. Его восприятие и понимание того, что происходит, было таким образом устроено, что именно эти слова занимали пустую клеточку, отведенную для слова. Имея в виду движение истины по глобальному пространству, Пруст говорит так: «...я слышал гул рассекаемых пространств». Еще одна фраза, которую я уже приводил: *caisse de ré sonance*, ящик резонанса – еще одна метафора, чтобы настроиться именно на такое видение.

Теперь вернусь к тому, что мы сейчас должны резюмировать в связи с проблемой впечатления. Значит, восприятие Пруста близко нам по той простой причине, что он есть редкий случай автора, записывающего жизненный человеческий путь. Любой человек может узнать себя в Прусте. Это вам не Томас Манн... Чтобы узнать себя в произведении Томаса Манна, скажем, в «Докторе Фаустусе», я должен быть, по меньшей мере, профессором философии. Но даже в качестве профессора философии мне не удастся эту операцию совершить. Не узнаю. С Прустом же происходит прямо обратная история. Конечно, эффект узнавания имеет свои «накладные расходы». Слишком легко узнав, мы многое проскакиваем и не видим глубины. Все кажется нам слишком обычным или мелким. Но мы попытаемся нейтрализовать тенденцию не замечать глубины за тем, что перед нами стоит в своем простом виде. Так вот – этот близкий нам человек, чье восприятие и текст регулируются среди прочих принципов и принципом **только моего состояния**. Я его выражу (ближе к словам Пруста) следующим образом: все, о чем я знаю извне, все, о чем я слышал, все, что пришло ко мне от других, все это – не мое; только из того, что я испытал сам, и только из моей собственной тени вырастает действительное знание, действительное впечатление и действительный мир. Значит, в числе состояний, которые эмпирически случились у меня, у кого-то другого и которые описуемы, нам интересны только те, которые отвечают этому принципу. Другие в реестр материала романа не допускаются. Допускаются только те, которые соответствуют принципу только моего состояния. Второй принцип (о нем я тоже говорил) – принцип **ангажированности**. Не в современном французском смысле, в котором это слово было так любезно Жан-Полю Сартру, а в нормальном житейском французском смысле.

Задействованность своей души и своей судьбы в каком-либо переживании и в каком-либо действии. Поставленность на карту. Не какие-то безразличные ощущения, от которых нам ни жарко ни холодно, а такие, – в которых «жизнь наша решается», если взять слова Достоевского. Не просто мысль, а **жизнь моя решается** в зависимости от того, что говорит эта мысль. Так вот, – принцип ангажированности. И он для нас пока означает очень простую вещь: лишь озаботившись своим предназначением, – а принцип ангажированности есть принцип предназначения, принцип голоса, или ситуации, которая обращена только к тебе в том смысле, что, лишь озаботившись своим предназначением, только ты можешь дать на нее ответ. В описании принципа номер один у меня проскочило слово «тьма». Пруст говорил, что только из своей темноты, только то, что выросло из этой темноты, только в том может быть истина. Действительность, реальность. Так вот, предназначение есть что-то, чем я озаботился в своей темноте.

И вот то, что окажется знанием, выросшим из этой темноты, и есть то, что может быть принято в число впечатлений, используемых для описания. Озаботившись предназначением, – а наше предназначение, как корень, скрыто в нашей темноте (корни всегда скрыты; если они обнажены, тогда то, корнями чего они являются, умирает вместе с ними), – невидимое, темное, оно ведь без меня не существует. Так же, как не существует в чисто физических описаниях щек Альбертины, если они не надуваются изнутри ветром желания. А желание – один из посланцев внутренней темноты, желание всегда темно и уникально, это есть моя внутренняя озабоченность или ангажированность, и Пруст, кстати, считает, что желание вообще есть источник всякого познания. Мы ничего не познаем, если предметы, которые познаются, не станут тем или иным образом предметами наших желаний. Булонский лес, описываемый как лес, воплощающий идею женщины, не существует, не раздуваемый ветром прошлой ангажированности того, кто в этом лесу гуляет. И если нет прохожего с этим прошлым, то, как выражается Пруст, лес как лес, озеро как озеро, и над ним летали птицы, как любые другие птицы, и ничего не происходило. Значит, весь этот мир выдувается и превращается в мир, ценный и заслуживающий переживания (быть предметом переживания), заслуживающий того, чтобы быть предметом познания. Чтобы мы захотели узнать, **что** это за символы – леса, озера... Оказывается, лес так прекрасен и таинственно шелестит теми листьями, которые развеваются не физическим ветром, а ветром моего движения, в которое я пришел в силу предназначения или в силу ангажированной темноты. В данном случае темноты желания. И вот тогда мы приходим в движение, движемся в мире. И это движение сразу же забрасывает нас в такие дебри, в которых нам очень трудно разобраться.

Итак, мы пришли в движение, и теперь введем третий принцип. Наше состояние и только наше состояние, комбинированное с нашим предназначением и только с нашим предназначением, с нашей темнотой, – не являются непосредственной данностью в обычном смысле слова. Дело в том, что философский язык, особенно когда он становится традиционным, способен вводить нас в заблуждение. Скажем, то, что я говорил о наших состояниях и т.д., в литературе, в том числе и в эстетической, называется данностью. Нечто нам дано и нас впечатляет. Но ведь Булонский лес в качестве источника впечатления вовсе не дан. Рахиль как источник любви Сен-Лу вовсе не дана. Потому что **как источник** она существует внутри его тени, внутри его темноты. А для Марселя она не может быть источником волнения, потому что она – женщина, которую можно иметь в доме свиданий. Вот эту сторону нам нужно обязательно ухватить. И это некоторое наше состояние не только не является непосредственной данностью в обычном логическом смысле этого слова, – я набрал энное число данных и на основании их сужу о чем-то, да? – эти данные

не входят в качестве частей в наши суждения. В суждения Сен-Лу, может быть, войдут, а в суждения Марсея не войдут. Значит, это не есть просто нейтральные данные суждения, на основе которых можно делать какие-то выводы, что-то узнавать и двигаться вперед в познании. То, что мы называем состоянием, не является данностью – чувственной или какой-либо еще – в обычном смысле слова. И не только не является данностью, а еще это состояние, связанное с предназначением или с темнотой, с тем, что нужно сначала внутренне озаботиться, счесть это вопросом жизни и смерти, и тогда мы приходим в движение знания, – оно еще и **многомерно** реально. То есть оно актуально и реально, лишь будучи одновременно дано во многих мирах, во многих глазах и во многих временах. Помните, Пруст говорил, что ни в какой данный момент мы сами себе не даны в полноте нашего существа и что реализуемся мы лишь в последовательности, в разное время реализуя разные части самих себя, да еще к тому же рядом с последовательностью всегда есть развитие этого впечатления вбок куда-то, где одно и то же впечатление реализуется в нескольких жизнях. Я как бы говорю следующее: с одной стороны, одной личности (то есть одной жизни) недостаточно для того, чтобы реализовать личность, – а личность мы предположили набитой впечатлениями или состояниями, или судьбой. И, с другой стороны, цельную полную личность могут составлять несколько жизней разных лиц. Вот что я называю многомерностью, или **многомерной актуальностью состояний**. Состояния актуализируются во многих измерениях. И тут возникает вопрос – в связи с теми проблемами, с которыми мы начинаем иметь дело, – чья память имеется в виду у Пруста? Непонятно, если призадуматься, чья это память. Ведь память обычно – ваша, моя, то есть память субъектов. Вообще, чья это память – в смысле – субъектна ли эта память, есть ли у этой памяти индивидуальный субъект? Или у состояния, которое описывается, – есть ли у него вообще индивидуальный субъект? Я говорил вам о странной переключке между любовью Свана и любовью Марсея, когда в любви Марсея случаются события по предзаданному типу тех, которые сцепились и произошли в любви Свана. Тогда, не уступая побуждению назвать это просто совпадением, нужно поставить радикальный вопрос: чья это любовь? История чьего чувства, и есть ли у этого чувства субъект? В обычном, понятном, принятом нами смысле. Субъект – это я, вы и т.д. Есть ли это? Вот какие вопросы сразу встают, когда мы призадумаемся о том, в какой форме существует состояние, то, которое – **только мое состояние**, и каков способ бытия состояния. Оказывается, есть третий принцип: **способ бытия состояний многомерен**. Или **актуален** – состояние актуально в измерениях, не совпадающих с измерением одной человеческой индивидуальности и не совпадающих с конечными границами ее в жизни. Она ведь рождается – индивидуальность – и умирает. А состояние Марсея, в котором он любит Альбертину, – оно неопишимо, если к этой любви прилагать только термины, разрешимые в границах этой земной жизни Марсея. Оказывается, нужно знать еще, что происходило со Сваном. Понимаете, что я говорю, или нет? Ну, хорошо, тогда условно скажем так, чтобы просто воспользоваться метафорой, помогающей пониманию аналогии (я надеюсь, что это будет помогать, а не мешать). Вы знаете, что существует проблема бессмертия души. Или того, что происходит с душой за пределами нашей конечной жизни и т.д. В действительности в этой традиционной проблеме зашифровано некоторое свойство нашей сознательной жизни, реальной сознательной жизни. И зашифровано потому, что у нашей сознательной жизни есть некоторые свойства, которые неопишимо индивидуально-биографически. Оказывается, нужно привлечь что-то, лежащее за границами и условиями этой конечной жизненной траектории человека. Я не говорю, что это нечто бессмертное – в том мире, просто я привожу символ, а не

буквальный ответ. Но символ указывает нам на проблему, то есть на ту область, которой мы занимаемся.

Я резюмирую последний принцип короткой формулой, которая вытекает из сказанного мной. Фактически он означает, что есть интервал между «я» равно «я». То есть между **мною и мною самим** есть громадный интервал, громадная сфера. Мне не так просто воссоединиться с моим впечатлением или с моим состоянием. Если оно актуализировано во многих местах и во многих временах, то, значит, я существую и в начале движения и где-то в конце или на поверхности громадной сферы, и между нами есть интервал, составляющий саму эту сферу. И поэтому изменение самого себя посредством текста или посредством какого-то труда диктуется нам еще и тем, что такой интервал между мной и мною самим существует. **Существует**, заполненный необратимыми движениями в мире. Потому что то, что дано, актуализируется на многих точках пространства и времени и в нескольких жизнях, параллельных или последовательных. Это одновременно есть и рассеяние. Рассеяние состояния, в котором, если оно было, аксиоматически – в этом состоянии – мир был правдив, но в следующий момент или на следующем шаге имеет место это рассеяние по громадной сфере. Мы это знаем даже по нашей простой психологической жизни: пока я разобрался в своем состоянии и в своей темноте, пока я в своей темноте пытался породить свет, который только в темноте рождается, мир уже прибежал ко мне и ошетинился против моего движения понимания, ошетинился привычкой. Привычкой языка, логики, психологическими механизмами страха и надежды, о которых мы говорили. Ведь наши сознательные психологические операции, которые мы совершаем, пытаюсь разобраться со своим состоянием, прекрасно аккомодируются, уживаются со страхом, который закрывает нам дорогу понимания. Ведь чаще всего мы чего-то не понимаем и вместо понимания строим иллюзии именно потому, что мы боимся. Боимся проснуться, например. Поэтому Пруст часто говорит: жизнь есть сновидение, кстати, буквально повторяя формулу классического XVII века, где классические души вроде Кальдерона так и понимали мир. **Мир как сон**. Но это не есть метафора. Это буквально так. Ведь мы во сне компонуем или монтируем такие представления, которые позволяют продолжать нам спать (один из законов сна, вы прекрасно это знаете). И вот наше представление о реальности (или то, что – мы думаем – есть в реальности) очень часто составлено из таких монтажей, которые позволяют нам продолжать что-то. Например, не расстаться с самим собой. Страх. Избегаем чего-то. И появляются фигуры замещения, выступающие как реальность. В действительности это не есть реальность, а есть нечто, что позволяет нам продолжать **быть**, продолжать спать. А что такое – спать? Быть в том числе невнимательным. Сон – метафора, которая может быть широко использована. Скажем, я могу говорить о Германте как о спящем, потому что неприсутствие есть сон нашей души. Живя, мы не живем, присутствуя, мы отсутствуем и т.д. (Если вы заметили, я сейчас фактически говорю философскими афоризмами Гераклита. Казалось бы, туманные фразы философии Гераклита, а я ими говорил, чтобы описать простое жизненное переживание. Значит, афоризмы Гераклита имеют какой-то смысл, который мы можем увидеть, если мы пришли в движение реального испытания мира.) Так вот, эта сфера есть одновременно и сфера рассеяния. Она набита, уже мир вращается с такой скоростью, что мы даже не успеваем подумать, а он уже подставил нам в своем вращении свои предметы. Предметы нашего внимания. Мне кажется, что я актом внимания выбрал предмет, – нет, это мир несколько раз повернулся и поставил передо мной предмет. Поэтому Пруст с большим подозрением относится ко всем волепроизвольным контролируемым психологическим операциям, которые обычно называются памятью, вниманием,

выбором и т.д.. Они все – в той мере, в какой они волепроизвольны, являются, так сказать, униформными, безразлично выбираемыми операциями, выбираемыми из набора операций, – вот в данном случае я выбрал внимание, в другом случае я выбрал акт выбора, или еще в другом случае я выбрал акт памяти, вспоминаю. И оказывается, что эти операции вовсе не ведут нас ни к тому, чтобы в случае памяти вспомнить что-то (более эффективно для Пруста произвольное воспоминание), ни к тому, чтобы в случае внимания быть внимательным, потому что нам кажется, что мы совершили духовную операцию, а в действительности мир повернулся, и – наше внимание зацепилось за подставленный объект. И вот в этой сфере, которая одновременно есть и сфера рассеяния, нам и приходится двигаться, чтобы прийти от «я» к «я».

Значит, сказав: изменение самого себя, или назвав текст (в данном случае прустовский, но имея в виду вообще категорию такого рода текстов) машиной изменения (эта же сфера одновременно является машиной времени, машиной случая), – фактически я должен считаться с тем фактом, (и это будет нашим четвертым принципом), что то, что называется впечатлением, содержащим какую-то правду о мире, раньше входит в нас, чем мы в самих себя и в него. Повторяю: **впечатление раньше входит в нас, чем мы входим сами в себя и в это впечатление.** И беда в том, что промежуточное пространство занято, по глубокому ощущению Пруста, выдуманными, хотя эмпирически существующими, какими-то невозможными спиритуализированными существами. Как ни странно, Пруст, которого считали и считают эстетом, и он, естественно, по традиции связан с французским символизмом, и на многих страницах и этого романа, и других его произведений вы встретите слова «сущность», «вне времени», «духовный эквивалент», «дух» и т.д., – как ни странно, Пруст абсолютный, фантастический антиспиритуалист. Если под спиритуализмом в данном случае понимать (как и следует вообще) некоторые рассудочные акты или даже рассудочные существа, которые стоят на месте живых, с кровью и во плоти выполняемых актов. Я поясню коротко смысл этого спиритуализма следующей фразой Пруста: он говорит, что все время пытается пояснить разницу, которая существует между весной и картиной весны, написанной плохим художником. Кто хочет иметь картину весны, и к тому же написанную плохим художником, вместо переживания весны? Ну, картина, казалось бы, воспроизводит весну. Дело в том, что такие спиритуализированные существа, которые выполняют рассудочные акты и наполняют промежуток, в котором, например, есть вербальное знание вместо самого этого же знания, но не вербального. Есть описание, имитация любви и нет чувства любви в том же самом человеке, который употребляет эти слова. Это все рассудочные сущности или рассудочные существа. И они являются экраном между нами и миром. Или – экран между нами и нами самими же. (Хотя это, казалось бы, и просто уловить, но в то же время трудно, что и бывает видно по последствиям. А ухватить это очень важно.)

Фактически книга Пруста как **запись** жизни, в которой сама жизнь перестраивается и охватывается, овладевается, стягивается в целое, в бодрствующее целое, есть драма. Драма жизни и сознания **против** механизма и энтропии. Драма различий или мира различий, индивидуализированных и уникальных, против хаоса и безразличия или тождества. И добавлю к этому, что жизнь, сознание и различие есть нечто, что реализуется, исполняется только при помощи промежуточного средства: текста, или, в частном случае, искусства. А в широком смысле слова роман есть текст, закон – текст (я не имею в виду напечатанный в книге закон, – закон как артикуляция). Эти вещи я называю текстами. (И искусство – частный случай такого рода текста. Молчание тоже – текст. Молчание героя – текст.) Так вот, это есть одно из промежуточных средств, лежащих между жизнью, сознанием и различием, с

одной стороны, а с другой стороны – хаосом, безразличием, распадом и энтропией, то есть смертью. И вот материал текста, то, из чего текст составляется, текст в широком смысле слова, не обязательно формально нами написанный (книга – культурная условность, тексты могут существовать не обязательно в виде книги; скажем, древнейший, солярный символ, то есть символ солнца, который высекался на камне первобытным человеком, тоже есть текст), – есть то, что мы называли впечатлениями, Подлинные впечатления и составляют то, из чего составляется или может составиться текст. И они же, эти впечатления – залог спасения и возвышения каждого человека, который на самом деле лучше, чем он есть. И сейчас, поясняя сказанное, я одновременно поясню и разницу между чем-то, что есть, и спиритуальной копией того же, что есть. Значит, есть что-то, что **есть**, и есть спиритуальные или **спиритуализированные копии**. И, конечно, есть люди, которые живут спиритуализированными копиями. Я их называл спиритуализированными существами. Итак, есть подлинные впечатления, и они, естественно, если они случились, помним мы их или не помним, закреплены в нас. И тот факт, что они есть, может прийти к нам произвольным путем. Мы ведь даже можем не помнить, что мы это помним. Потому что «помним» – спиритуальная операция. Спиритуальная операция, которая выполняется и пришла к нам в промежутке рассеяния. Пока мы оглянулись под ударом впечатлений, мир уже прибежал к нам и ощерился против нашего движения в глубь впечатления, ощерился, как я сказал, механизмами привычки, механизмами ментальных, рассудочных, спиритуальных операций, механизмами страха, надежды и т.д. Сказано: «оставь надежду всяк сюда входящий». (В свое время даже революционные деятели понимали, что это есть что-то важное, и в качестве своего рода эпиграфа Маркс взял из Данте совет, написанный перед входом в Ад, как символ дороги понимания: «Здесь страх не должен подавать совета». Но мы все – конечные и слабые создания, и он не смог до конца ни выполнить, ни понять того, что здесь сказано. Потому что под «страхом» Маркс, к сожалению, понял, что не нужно бояться полицейских и всяких стражей буржуазного порядка, понял как страх расставания со своими возвышенными идеалами. И – чтобы оставалась у него возвышенная мечта, из-за страха, чтобы она у него не распалась, – он определенным образом видел реальность. И это исказило в большой степени видения и мысли этого гениального человека. Повторяю, страх нужно останавливать в себе, не бояться с чем-то расстаться. И не платить ценой картины реальности якобы за нерасставание с возвышенными мечтами и идеалами. Чего-то мы не хотим видеть, потому что «видеть» было бы слишком позорно и слишком страшно, обидно для человеческого достоинства и неутешительно для мечтаний.)

Я возвращаюсь к проблеме спиритуализированных существ и одновременно связываю ее с тем, что наличие в нас пережитого прошлого и тот факт, что оно в нас есть, есть залог и надежда возможного нашего спасения и возвышения. Пруст пишет: «Мы не верим в то, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним». Очень трудно здесь уловить различие между словами, потому что слова движутся внутри различия между чем-то живым и им же в виде спиритуальной копии. В слове, обозначающем это, этой разницы нет. Повторяю, жизнь у Пруста есть нечто, что отличается от того, что – мы думаем – есть жизнь. Значит, мы «не верим, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним. Но стоит нам почувствовать когда-то почувствованный запах, как вдруг мы опьянены. И точно так же мы думаем, что не любим умерших...», – вслушайтесь внимательно: скажем, я любил какую-то женщину и она умерла, или Пруст любил Альбертину, и в одном месте романа он узнает, что она умерла, а потом через энное число страниц он узнает, что она жива, и не

радуется; это – смерть чувств, да? «...точно так же мы думаем, что мы не любим умерших, но потому что мы их не помним». Странные слова... Как же можно думать, что я не люблю умершего, и при этом не помнить его. Да нет, мы как раз не любим тех, кого помним. Я помню, которую любил, которая умерла, и я ее не люблю. Как тут употребляются слова... непонятно. Но в том-то и дело. Повторяю: «...мы думаем, что мы не любим мертвых, но это потому, что мы их не помним. Но стоит нам увидеть вдруг, неожиданно, старую пару перчаток, и мы разражаемся слезами, и все это висит на *ré doncule*, черешке воспоминаний». Пруст имеет в виду «не помнить», когда что-то не представлено само по себе, в своем живом виде. Непроизвольное воспоминание дает нам не словесную или умственную память о чем-то, а **само это**. А «само это», оказывается, во мне есть. Я-то думаю, что я не люблю мертвую, и вдруг я встречаюсь с парой перчаток, – и она вся передо мной, или вся моя любовь передо мной, и я плачу. «Разражаюсь слезами», как выражается Пруст. Вот эту разницу нужно уловить. И обретение прошлого или потерянного времени есть восстановление связей с такого рода отложенными в нас вещами, о которых мы можем и не знать. Или забыть. Забыть – где? – в своем **спиритуальном мире копий**. В рассудочных актах. Метафизическая проблема, – какой же смысл моя жизнь имеет, если я не помню тех, кого любил, и для чего я жил? Обратите внимание: если в нас не живут те, кого мы любим, мы сами мертвы, и наша жизнь не имеет смысла. Для чего же я жил, если я не помню даже того, что любил? Ну ладно, допустим, я не помню того, что мне было безразлично... ладно, черт с ним, хотя это тоже проблема. Но какой же смысл имеет моя жизнь, для чего я живу, если я не помню даже тех, кого любил... Вот что я назвал драмой жизни и сознания против механизмов и рассеяний. **Драма различий**, а это и есть различие. То, что отделяет слово, обозначающее вещь, и саму эту вещь – не материальную, а ее присутствие, в том числе духовное, – то, что **отделяет**, и есть различие. Уникальное качество или свойство вещи, чувства, человека или любви к нему и т.д. – это есть различие. Мир человеческий, как и биологический, различен. Это мир различий. Но беда в том, что есть тут принципы своего рода, так же, как в биологии: порядок только из порядка, из беспорядка не рождается порядок. Или: жизнь только из жизни. Вот простой биологический принцип. Кстати, в биологии же можно утверждать принцип, который ближе к тому, о чем мы говорим: различие – **только из различия**, дифференциация рождается только из дифференциации и т.д. Это есть принцип живой жизни. **Бесконечной жизни**. В отличие от энтропии, царства хаоса или безразличия. Теперь мы понимаем, о чем идет речь. Почему мы не можем уловить различия? Уловить, что весна и она же, изображенная, не есть одно и то же в духовном смысле, в смысле присутствия (а не в физическом смысле слова). Я думаю о любви или вспоминаю актом произвольной памяти любовь... это – не она. И это различие между одним и тем же словом «любовь» – «любовь», вот это различие и есть то, что Пруст называет миром различий. То, что есть жизнь, и одновременно есть материал воспоминаний и вся проблема нашего прошлого.

Повторяю: внутренняя драма сознания и жизни **против** или **в отличие** от распада, рассеяния, хаоса и энтропии, или налаженного механизма. То есть есть нечто, что дается механизмом, а есть нечто, что может давать вообще что-то, только будучи живым. **Жить, быть, есть**, и этим что-то случается. Фактом жизни. Не содержанием жизни – потому что содержание опять будет ментально. Потому что мы из содержания – как элемента данных нашего суждения – будем что-то выводить. Нет, нечто, что **производит самим фактом**, что **это есть**. Вот жизнь такова. Беру пример: наш герой сидит в поезде и смотрит в окно, появилась девушка, молодая продавщица молока. Идет вдоль поезда. «Она проходила мимо вагонов, предлагая кофе с молоком

проснувшимся пассажирам. Раскрасневшееся от отсветов утра ее лицо было более розовым, чем само небо. Я почувствовал перед ней это желание жить, которое рождается в нас каждый раз, когда мы заново осознаем красоту и счастье». Вы видите, что душа Пруста – это душа, жаждущая красоты и счастья, как и душа всякого человека. Поэтому, кстати, он все время повторяет, что мы считаем жизнь пресной и неинтересной, или посредственной, потому что мы **думаем** жизнь и не помним. То есть потому, что сами эти вещи не предстают перед нами. Но опять я отвлекся – «...чуждые моделям красоты, которые рисовала моя мысль, когда я был один...». Модели красоты, которые рисовала моя мысль, есть спиритуальные копии того, что называется красотой. Это не есть сама красота – спиритуальная копия, что-то, что принято считать красивым. Это то, что я придумываю, и придуманная вещь не есть эта же вещь, иначе представленная. Помните, я рассказывал вам, что есть такая проблема: о чем мне написать? Я ищу сюжет книги. И вот кретины находят сюжеты, а автор наш, умный, гениальный, сюжетов не находит. И он отчаивается. Он настолько умен, чтобы понимать – сюжет из головы не появляется. А оказалось, что у него уже была такая жизнь и были упакованы в нем воспоминания, такие, которые сами могли быть сюжетом многих книг. Но они были пустяковыми, а он искал абстрактный, возвышенный сюжет. И красота имеет свое возвышенное представление. Это спиритуальная копия красоты. Повторяю: возвышенное представление красоты. Так вот, она чужда моделям красоты, «которые рисовала моя мысль, и она сразу пробудила во мне вкус определенного счастья [счастье всегда определенную форму имеет, всегда партикулярную, и лишь под этой частной формой мы можем вообще ощущать вкус счастья]. И тем самым я дарил торговке молоком то, что являлось моим существом в полном его составе, способным вкушать живые наслаждения». Вот здесь я подчеркиваю сопоставление двух вещей. С одной стороны – спиритуальные вещества, например, возвышенные представления о красоте. А с другой стороны – реальная красота, которая воспринимается только тогда, когда ты присутствуешь в полноте своего существа. И присутствие есть проблема. Оно само не случается. Это есть проблема организации своего сознания, своей жизни и своего существа посредством чего-то. И в таком случае автор полностью присутствует, вернее, присутствует в полном составе своего существа.

Дальше, другую цитату привожу: «Иногда случается в самой гуще действия природы, где мы начинаем вдруг мечтать, и тем самым приостановлено действие привычки, и наши абстрактные понятия вещей отложены в сторону, и только тогда мы верим глубокой верой в оригинальность, в индивидуальную жизнь того места, где находимся. И поэтому проходящая, которая появилась в этом месте и вызвала мое желание, мне не казалась тем или иным экземпляром общего типа: женщина!». Мы опять вернулись к спиритуализированным существам: женщина как представитель или экземпляр, отдельный, частный экземпляр общего типа женщины. Пруст имеет в виду, что если в действительности что-то происходит, то происходят другие процессы, другие события в нашей восприимчивости, в нашей душевной жизни. **Если наша душа приходит в движение**, – не экземпляр женщины, категории женщины, а совсем другое – «естественный продукт данной почвы». То есть нечто, существующее внутри мира различия. И вот тогда «и земля, и существа мне казались более ценными, более важными, одаренными существованием более реальным, чем то, которое представляется уже сложившимся людям». Вот мы вводим тем самым важную тему Пруста, относительно которой часто бывают всякие недоразумения: тему детства и прошлого. И мы ее вводим там, где она, действительно, должна стоять: я говорил о впечатлениях и о том, что существует сфера, отделяющая меня от меня самого, – что пока я двинулся,

впечатление раньше вошло в меня, чем я в него, и раздулась целая сфера... в детстве же мир не успел еще прибежать и подставить мне свои спиритуальные симулякры... И вводится проблема детства, прошлого и т.д. – не в силу какого-то романтического или сентиментального пристрастия какого-либо типа людей к прошлому, к сладостному детству, радостям и т.д., а по фундаментальной онтологической причине того, как вообще мы в мире существуем, – **есть** в нас эти впечатления бытия или подлинные впечатления. И, конечно, они есть, потому что мы начинали жить в детстве. С каждым из нас случилось что-то первично-человеческое: так называемые впечатления, подлинные впечатления, которые несводимы к своему физическому эквиваленту. Я напому вам, как в психоанализе используется тема так называемой первичной сцены соблазна. Или впечатления ребенка от наблюдаемой им якобы любовной сцены между родителями, смысла которой он не понимает. В этом впечатлении, конечно, ребенок ангажирован в смысле второго принципа. Это его тень (это непонимание), из которой он должен обязательно выйти к свету, разобраться ценой жизни и смерти. И вот я хочу обратить внимание на одну сторону этого дела. Когда ребенок, став взрослым, узнает, что значит эта сцена в смысле общих актов (сексуальное действие тоже является элементом обоих актов, то есть актов, известных нам в общем смысле), – то, что он узнает, не будет ответом на то, в чем он был ангажирован, в чем была его тень и в чем он был озабочен. Оказывается, там решалось что-то другое: решалась фундаментальная проблема становления человеческого существа, поиска «я» и своего места в мире, проблема, на которую эмпирическое знание, постфактум пришедшее, вовсе не является ответом. Там шла речь о чем-то не в смысле общих фактов. Так же как выражение лица Рахиль значило что-то для Марселя в смысле общих актов, и совсем не в этом смысле оно значило что-то для Сен-Лу – он был внутри дифференциала жизни. А Марсель не был по отношению к Рахиль в дифференциале жизни, и связи – у него с Рахиль – в **различии** не было. А ведь мы всегда описываем мир в смысле значения общих актов. Так вот, мы переворачиваем проблему: когда есть ответ, относящийся к общему значению актов, он вовсе не является ответом на ту проблему, которая лежала во впечатлении. Вот где еще проглядывают для нас рога различия между чем-то и им же самим. Повторяю: различие между **чем-то** и **им же самим**. Например, между **женщиной и** женщиной. И я хочу сказать вслед за Прустом, что это различие и есть мир. Но он – целый мир еще и в том смысле, что он может быть растянут и может заполниться: мы это все можем забыть, на это может наслоиться все другое, там может все рассеяться, и вот привычка, наши психологические или спиритуальные механизмы могут породить такие продукты, которые целиком займут это место. Я в действительности помню мертвого, а знаю, что его не помню. Это ведь громадное пространство... между чем? Между чем-то и им же самим. То есть между «я помню мертвого», близкого человека **и** «я помню мертвого». Громадное пространство, оно может занять целую жизнь. (Я, например, могу это узнать, когда мне будет пятьдесят лет. Опять же в смысле общих актов вы знаете, что такое пятьдесят лет, но не знаете в смысле **мира различий**.)

Что происходит здесь, и как это связано с трудом литературы, я сейчас вам поясню цитатами. К сожалению, я имею дело с такого рода цитатами и с такого рода пассажами, которые просто нужно было бы читать подряд по несколько страниц. В одном из вариантов, не вошедшем в сам роман, у Пруста есть такое рассуждение – идеи этого рассуждения я потом приведу в более четком виде из опубликованного текста. Но есть какие-то оттенки мысли, которые здесь лучше высказаны и потеряны в окончательном тексте, там они уже не фигурируют. (Да, еще, чтобы воспринимать читаемые отрывки, сосредоточьтесь на том, что существуют подлинные впечатления: всегда было какое-то правдивое

впечатление мира; оно случалось и в детстве, и позже. Просто в детстве еще не был этот промежуток так заполнен, только и всего, ведь первичное человеческое в своей свежести устанавливалось, – вот на этом нужно сосредоточиться, – что это есть и что оттуда приходят к нам живые радости, оттуда приходит энтузиазм жизни. То есть – жизнь все-таки прекрасна, прекрасна в своем трагизме.) Так вот, слушайте: «Теперь я лучше понимаю, что не путешествие в какой-либо момент будущего или в какой-либо момент действия я мог бы продолжить, реализовать ту радость, которую мне дано было встречать только каждый раз вдалеке от того места, где она случалась, в сердце и в сердцевине других вещей, чем она сама, и в другое время, чем она случилась». То есть каждый раз Пруст убеждается в том, что если ему случилась радость (скажем, он увидел цветы боярышника), то почему-то он устроен так, что эта радость доходила до него позже – не в тот момент, когда она случилась физически, а когда нечто подобное этой радости встречалось в другом месте, и эта – другая – оживляла ту радость, и тогда, наконец, до него дошло, что он почувствовал. Ну, так же, как мы часто ощущаем радость, немножко отойдя в сторону от самого случая. Мы в нем слишком физически, непосредственно затронуты, и это затемняет наши чувства, а в полной чистоте наша радость случается, когда мы немножко отстранены, а отстранение всегда означает другое время. Ну, хотя бы через пять минут. Но даже пять минут – все равно **другое** время. Так вот, он убеждается в том, что каждый раз это всегда так случается. И этим надо воспользоваться, этой сущностью, essence высвобожденной жизни, что означает **подлинное впечатление. Высвобожденная жизнь.** «Эту сущность высвобожденной, почувствованной жизни нужно уже не прятать снова под ложью». Помните, что я говорил: мир прибежал, мы еще не вошли во впечатление, впечатление вошло в нас, мы еще не вошли в него и в себя, а мир уже тем временем прибежал, и – удар впечатления, и тут оно покрывается ложью. Ложь ложится на какой-то слой – **темнота действия.** Но обратите внимание, что ответ на впечатление действием – разрешение его в действии, где действие есть реакция на впечатление, – есть затемнение впечатления, потеря того, о чем оно говорило. Так же, как если в ответ на удар смерти, удар страдания, вызванного смертью любимого существа, я действую. Например, мы начинаем мстить. Я разрешаю действием то, что должно было бы длиться и, следовательно, требовало моего молчания, недеяния. Понятно? Так же, как Гамлет потерял бы смысл мира и не мог бы его обрести, если он механически, в ответ на оскорбленную честь, действовал бы и мстил тому, кто эту честь затронул. Мы не имели бы смысла в мире, если бы так было. А Пруст выражается так: я знаю, что я никогда не мог разрешиться в материальном действии (так это – выигрыш).

Значит, – «темнота действия ложится», и «нужно было это впечатление вынести на полный свет, закрепить его в эквиваленте, который не был бы ни языком привычки, ни языком страсти, но таким, где каждое слово было бы определено этим впечатлением, а не заботой о том, чтобы произвести тот или иной эффект». Вот сколько раз, продумывая наши впечатления или нашу мысль, мы думаем не о нем самом, то есть и о нем думаем, но думаем еще и о том, какой эффект мы произведем. Скажем, понравится это кому-то или не понравится. Кого-то мы поразим, обретем славу, какие мы умные и т.д. Я, казалось бы, банальные вещи говорю, но это и есть фундаментальные вещи в том, как мы живем, что с нами случается и что из нас получается. Значит, «не заботой произвести тот или иной эффект, не ленью, не ленивым прибеганием к заученным формулам, которые цветут вокруг, не припадками настроений моего физического индивида, которому не удается забыть самого себя». Тема – забыть самого себя. Одновременно это и тема смерти, потому что смерть как продуктивный фактор нашей духовной жизни есть предельный

символ расставания с самим собой. В каком смысле – расставания с самим собой? Я ведь есть – кто? Каждый из нас. Для нас есть что-то свершившееся, сделанное, имеющее какие-то качества и свойства. Я – имеющий такие-то определенные свойства, такие-то чувства и т.д. Вот с этим часто нам нужно расставаться. А смерть, повторяю, есть расставание, взятое в предельном виде. Большого расставания, чем смерть, не существует. И если я могу представить нечто, что нужно сделать в его предельном виде, то мне удастся тогда это сделать. И поэтому мысль о смерти, или сознание смерти в том смысле слова, как я сейчас говорю, есть продуктивный фактор, продуктивный элемент нашей духовной жизни, продуктивный элемент того, что вообще мы понимаем или не понимаем, видим, не видим, заблуждаемся, не заблуждаемся, иллюзорно представляем, не иллюзорно представляем и т.д. Возвращаюсь к цитате: «...физический индивид, который не может забыть самого себя, который сохраняет в тот момент, когда он пишет, ощущение своего лица, своего рта, своих рук, вместо того чтобы превратить самого себя в пористую, пластичную, податливую материю, которая становится самим этим впечатлением, которая мимирует это впечатление, его воспроизводит, и все это нужно для того, чтобы иметь уверенность в том, что мы не изменили это впечатление и ничего к нему не добавили и ничего не убавили. И разве такое искусство не должно было мне показаться драгоценным и достойным того, чтобы посвятить ему мои годы. Другому искусству посвящать годы бессмысленно, и уж лучше быть ленивым; хотя бы лень тебя спасает от ошибки писать бездарные и никому не нужные книги». В другом месте Пруст удивляется тому, где люди находят веселую искру, приводящую человека в трудовое движение. Действительно, чтобы писать (ведь это физический труд!) – нужна искра, радостная. Откуда люди ее находят? Мне лень, говорит Пруст. И его вполне можно понять. «И разве такого рода искусство не было бы на самом деле лишь просто регрессом к жизни...» Обратите внимание на не случайно выбранное слово «регресс». Представьте теперь себе сферу, забитую спиритуальными привидениями, которые успели наслоиться. Движение к впечатлению есть **регресс** (то есть обратное движение). И значит, это движение к жизни для Пруста есть обратное движение, совершаемое посредством искусства. Продолжаю: «...регрессом к жизни, к нашей собственной жизни, которую мы отказываемся в каждый данный момент видеть из-за усталости, из-за духа имитации, из-за автоматизма, из-за страстей. Я понимал, что именно потому, что на подлинном впечатлении от вещей мы нагромождаем и накапливаем в каждый момент мыслительные абстракции, мертвую материю привычки, темноту, в которой мы любим жить, туман страстей, водоворот действия, и что, наоборот, для того, чтобы делать произведение искусства...». Я уже предупреждал вас, что делание произведения искусства и снова нахождение жизни эквивалентны, совпадают; искусство не есть описание или воспроизведение жизни, искусство есть элемент самой жизни, ее переживания в том или ином виде в вещах, совершенно не относящихся к проблемам писания книг или писания картин. «...для этого нужно было не воспроизводить то, что – мы думаем – является жизнью, прошлым, действием, словами, но последовательно отчислять то, что жизнь, сам тот момент, когда мы переживали впечатление, отслоила на нем, – что затемняло впечатление и к чему в действительности столько художников сводят искусство». Значит, то, что называется реализмом, есть воспроизведение симулякр или спиритуализированных привидений, выросших в сфере рассеяния между мной и мной самим. Между впечатлением и – мною, вошедшим в впечатление. Между моим впечатлением и мной, вошедшим в мое впечатление.

Дальше будем цитировать. В этих цитатах будет фигурировать одна тема, и поэтому, поскольку она фигурирует в одной и той же словесной массе, чтобы

она тоже встала на свое место, я ее обозначу, хотя пока не хочу ею заниматься. Это тема метафоры. Так вот, в искусстве одним из орудий воссоединения в жизни меня с самим собой во впечатлении, минуя, или разрубая, или проходя туннельно (символ туннельного движения – дантовский символ), является метафора. Но поскольку я ввел метафору в таком контексте, то понятно, что «метафора» не в традиционном психологическом смысле. Под метафорой обычно понимается умственный акт установления связи между понимаемыми вещами. Я понимаю А и понимаю Б и устанавливаю между ними аналогию. Но это не есть то, что называется метафорой у Пруста (и не то, что называется метафорой в искусстве XX века). Для начала оговорю символ туннеля. Итак, у нас есть начало – впечатление, есть раздувшаяся сфера в промежутке между впечатлением и им же самим. Мы путем вычитания (и в этом задача искусства) всех слоев сферы наложения должны прийти к впечатлению. Вот это и есть движение, и символом его является туннель – дантовский символ. Если вы помните, «Божественная комедия» начинается с того, что автор обнаруживает себя в сумрачном лесу, из которого он хочет выйти, и тут же перед ним и цель – великолепная гора, символ возвышенного, другой возвышенной духовной жизни. В отличие от этого темного леса страстями порожденных сцеплений своей собственной жизни. И на пути к горе, которая прямо перед ним, нужно войти, и ты возвысишься, – очень интересная символика, которая каждый раз непонятна, и это не упрек нашей глупости или уму, а просто указание на наше положение (человеческих существ) в мире, которое состоит в том, что мы, слава богу, имеем символы, поддающиеся бесконечной интерпретации и требующие бесконечной интерпретации. Я сейчас расшифрую этот символ, но сначала напомним, что то же самое я уже говорил вам: всегда есть какая-то точка, к которой нельзя прийти прямым продолжением линии из той точки, в которой я нахожусь. Повторяю: в нашей сознательной жизни или в нашем переживании всегда есть такая точка, к которой нельзя прийти прямым продолжением пути из точки, в которой я нахожусь. И я пояснял, что вся проблема состоит в изменении себя, или – «запускание» себя по другой траектории. Хотя этот путь казался прямым, но в действительности он невозможен, и более прямой путь как раз совсем другой, обходной, через изменение самого себя... Возвращаюсь к божественному языку Данте. Он говорит, что дорогу ему преградили несколько животных. И каждое из них символизирует какие-то пороки, какие-то страсти, какие-то силы. И остановила его движение, окончательно закрыла ему движение к этой горе – вот руку протянуть и достать... – волчица. Символ алчности и скупости. И это не случайно: ведь Данте хотел в путь на возвышенную гору взять самого себя – как уже сделанного, завоеванного, имеющего какие-то недостатки. Он себя продолжал в проекции на высокую гору. Он был скуп – он не мог расстаться с самим собой. Волчица об этом говорит и не пускает его. И появляющийся Вергилий ему говорит, что этим путем не пройти, есть другой путь – в туннель. А в туннеле – ад, и все круги ада нужно пройти. Нужно пройти тень, нужно «утемниться», чтобы возник свет; нужно пройти страдание, реальное испытание, и тогда окажешься на той горе, к которой был прямой путь.

Теперь возвращаюсь к прустовскому тексту с этими предупреждениями. «То, что мы называем реальностью, есть некоторое отношение между ощущениями и впечатлениями». Скажем, я ощущаю запах цветка, взгляд женщины, вкус вина, и эти ощущения омыты одновременными с ними какими-то воспоминаниями, которые все время циркулируют в нашей психике, в нашей душе. А реальность есть некоторая пропорция – или отношение – между актуально, сейчас переживаемыми впечатлениями и омывающими их воспоминаниями. И именно это отношение элиминируется, уничтожается, не замечается простым кинематографическим видением, которое видит кадрами, «которое тем больше

отделяется от истинного, чем больше оно претендует сводиться к нему». (То есть давать только истину, как она есть.) И вот это отношение, которое и есть реальность, в кадре не дано. Это уникальное отношение, каждый раз уникальное, и есть то, «что писатель должен открыть и навсегда заковать его в своей фразе между двумя различными терминами». Или – заковать его навсегда в метафоры (метафорами). Значит, реальность есть что-то, что поддается воспроизведению метафорой. Я помечу одну только ниточку, – почему метафорой – и эту ниточку нам придется потом развивать, – потому что метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Повторяю, **метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей**. Но обратите внимание на то, что как раз привычные связи и есть самая главная наша проблема в сфере рассеяния, разделяющей «я» и «я», или в сфере, заполняющей интервал. Там как раз все, что наслоилося на впечатление, есть прежде всего, кроме всего прочего, нечто сцепленное привычными связями. (Скажем, колесо: какой-то круг есть колесо телеги. Чашка есть что-то, из чего пьют кофе, и на ней не может быть волос. Не бывает волосатых чашек. И поэтому, когда художник рисует волосатую чашку, то ясно, что он хочет сказать. Он хочет разрушить видение мира через призму привычных связей, чтобы выявить что-то, что скрыто привычными связями. Понятно, да? Я просто оговорил термин, обозначив нашу проблему, о которой я рассказывал в других терминах, термином «привычные связи»). И дальше идет принципиальная вещь у Пруста, которая касается бесконечности описания. «Можно бесконечно сменять один за другим термины описания объектов, которые фигурируют в каком-либо описываемом месте, истина же начнется только в тот момент, когда писатель возьмет два различных объекта, сконструирует их отношение, аналогичное в мире искусства тому отношению, каким является уникальная каузальная связь в мире науки, и заключит их внутрь необходимых звеньев или сочленений стиля». Вот после метафоры у Пруста появляется фигура стиля. А стиль – многозначная вещь. Давайте условно будем относить стиль к тому, что я называл формой, имея в виду артикулированную конфигурацию, которая сама производит какие-то эффекты. Во-первых, сама производит какие-то эффекты, во-вторых производит такие эффекты, которые стихийным, естественным путем не могли бы рождаться (понятно? черта с два... ну, во всяком случае, приятно пытаться понять; единственное, что можно сказать...). Значит – сковать их звеньями стиля – так же, «как в жизни, когда, сближая общее качество двух ощущений, он выявит их общую сущность – объединив их одно в другом, чтобы освободить от случайностей времени, – и объединит их в метафоры». Объединение в метафоры двух разных ощущений есть – и это очень важно – **высвобождение** чего-то из случайностей времени – временного потока. Поток стихийного рассеяния. И цель метафоры – держание чего-то над этим потоком. Держится путем метафоры. Иначе говоря, метафора есть для Пруста элемент **нераспада** нашей душевной жизни, который неминуем, если она предоставлена просто процессу времени. Сам процесс времени как таковой ведет к распаду любых организованных систем или организованных конфигураций. Значит, метафора не есть эстетический объект у Пруста. И все, чем мы занимаемся, это не эстетика, не литература (хотя в то же время и эстетика, и литература). Нет, мы занимаемся нашей жизнью, как достойной жизнью, в смысле – жизнью существ с организованным и нераспадающимся сознанием. Просто, оказывается, у нераспада сознания есть какие-то инструменты. Дальше идет рассуждение о том, что сама природа поставила Пруста на этот путь, поскольку она давала ему возможность испытывать качество одного предмета в качествах другого предмета. Скажем, я говорил вам: вдыхать воздух Комбре в Париже или воздух Парижа в Комбре и тем самым завязывать метафорические связи вне обычных

связей. Потому что в обычных связях воздух Комбре – это воздух Комбре, и воздух Парижа – это воздух Парижа. И сравнивать их можно только в какой-либо рассудочной аналогии. А метафора не есть рассудочная деятельность.

«И тогда реальность, оказывается, есть лишь производный осадок работы искусства и опыта». То, что мы называем реальностью, есть нечто, выпавшее в осадок опыта. Был какой-то опыт, который исчез, мы его не видим, а видим отложенный им осадок и называем его реальностью. «Так, если это так и этот осадок тождественен для каждого, потому что, когда мы говорим: плохая погода, война, стоянка такси, освещенный ресторан, сад в цвету – каждый знает, что мы хотим сказать; если реальность именно это, то тогда было бы вполне достаточно кинематографического фильма этих вещей, и стиль, **литература**, которые отходили бы от этих простых данных, были бы излишеством». Значит, если бы реальностью было то, что я перечислял, то достаточно было бы снять ее в кино (под «кино» здесь имеются в виду просто кадры). И стиль тогда не нужен. Но когда речь идет о ненужности стиля в этом контексте, мы понимаем, что имеет в виду Пруст под стилем: насколько глупы люди, которые видят всякого человека, занимающегося стилем, как кого-то, кто сидит в слоновой башне, оторван от жизни – не реалист, модернист, поскольку он занимается стилем. Но дело в том, что стиль, мы в этом убедились, есть продуктивный механизм жизни. А кинематографическое описание, которое выдает себя за реализм или кажется реалистическим, оно-то как раз не с жизнью имеет дело и не с нашей жизнью среди живых вещей, а, во-первых, описывает мертвые симулякры или спиритуализированные механизмы, и, во-вторых, нас же вписывает в этот мир в качестве марионеток, почему-то наделенных сознанием. Сознание всегда можно вычестить и показать, что на самом деле оно лишь марионетка, воображающая себя (в силу сознания) автором своих собственных действий. А в действительности в этих действиях есть уходящие в устройство космоса причины и действующий субъект – марионетка этих причин. Значит, реализм такого рода существует – или для мертвых, или для рабов. Потому что только рабы могут согласиться с тем, что в действительности они являются в мире спиритуализированными марионетками, воображающими себя сознательными существами. А по глубокой мысли Пруста, и эта мысль является результатом всякой философии, – самое большее, чему может научить всякая философия, – тому, что **законы существуют только для свободных существ**. Ну, а теперь вернемся к миру привидений. После фразы о том, что стиль был бы бесполезным излишеством, Пруст говорит так: ну хорошо, но тогда, что же значит... то, что мы перечислили, есть, действительно, реальность? «Если я пытаюсь отдать себе отчет в том, что происходит в тот момент, когда вещь на меня производит определенное впечатление, как, например, когда я проходил по мосту Вивони, промелькнувшая тень облака на воде заставила меня в восторге воскликнуть: «Ух, как здорово!», подскочив от радости; или когда, слушая фразу Бергота, самое большее, что я увидел из своего впечатления, это было нечто, выразившееся восклицанием: «Это – замечательно!» или когда Блох, произнося слова, совсем не соответствующие событию, говорил так: «Ну, такое поведение я считаю все-таки ф-ф-фантастическим...» или когда я, опьяненный вином, говорил себе вполголоса, расставаясь с хозяевами, которые меня этим вином угостили: «Какие все-таки очаровательные люди, с ними хотелось бы провести всю жизнь!», – и тогда я замечал, что это – существенная книга».

Я должен оговорить – «существенная книга» всех тех впечатлений, которые в перечислении Пруста выражены полусуществами. То есть не дошедшими до артикуляции нашими эстетическими и нравственными восторгами. Вот когда мы говорим: «Ох, как хорошо! Какой прекрасный фильм! Какая замечательная

книга!» и когда мы остаемся на уровне этого состояния нашего порыва, мы имеем то, что Пруст назвал бы состояниями или чувствами-**недоносками**. Полу-существами, полу-умами. То есть **неартикулированными существованиями**, полыми существованиями. А как вы знаете, полнота нужна даже для того, чтобы увидеть красивую девушку, проходящую мимо вагона. То есть увидеть ее не потому, что ты так представляешь красоту из абстрактных представлений о красоте... **Увидеть**. И в этом случае ты в полном составе должен присутствовать. Значит, повторяю, недоносками бывают не только такого рода наши состояния – мы сами можем быть недоносками. В смысле экзистенциальной или онтологической проблемы. Значит, Пруст перечислил все эти недоноски, у которых везде есть корень истинного впечатления. Только носитель этого впечатления остановился на разрешающем это впечатление, выпускающем пар при давлении полу-слове, полу-вздохе: ах, как хорошо! и подпрыгнул от радости. И если – только это, то тогда случившееся, или бытие, показавшее себя в впечатлении, уйдет в ничто. Уйдет в небытие. Но если повезет, то, может быть, оно, уходя в небытие, в тебе же отложится в какой-то, внешне не связанный с этим, объект. Ну, скажем, как некоторые вещи, которые герой романа упустил в небытие, отложились, произвольно? независимо от его внимания и воли), в пирожном «мадлен» и жили там. И потом, когда он ел это пирожное, они все распустились и вышли оттуда. Ну, если повезло. А могли и не сцепиться с такого рода объектами и вообще уйти. Невозвратно. Так вот, Пруст говорит: в нас книга есть уже. Вот мы ахаем, охаем, или «ф-ф-ф-антастично» говорим, – это все недоноски. Но там – книга. «Эта существенная книга, единственная истинная книга – писатель ведь ее не должен изобретать, она есть уже в каждом из нас, он должен ее лишь перевести. Долг и задача писателя суть долг и задача переводчика». Вот определение Пруста. Долг и задача того, что создает артикулированный текст или артикулированное существо, полное существо, которое своими сцеплениями держалось бы над потоком, производило бы мысли и состояния и т.д., – в действительности создание такого текста есть продукт перевода. Перевода впечатлений. Если нет впечатления, никакого текста не напишешь: из слов нельзя рождать слова. Из книг нельзя рождать или писать книги. Книги не пишутся из книг и слова не рождаются из слов. Они рождаются из невербального корня такого переживания, которое есть. Или его нет. И нельзя существующий в твоей голове симулякр или спиритуальную копию реального состояния принимать за само состояние. Так же как нельзя ожидать «женщину в мире», исходя из общего характера категории женщины. Или ничего не случится, или случится что-нибудь, что даже похожим не будет, только нос себе расшибешь.

Отсюда Пруст делает простой вывод, что этот разговор в интервале (я веду с собой разговор; всякая мысль есть разговор с самим собой, вот – я думаю) – это мышление, которое совершается в интервале между «я» и «я», то есть в сфере рассеяния, в которую впихнулся уже оцетинившийся мир привычки, механизмов и т.д., – но я-то мыслю в этом мире, и когда я мыслю в этом мире или разговариваю с самим собой, – это Пруст называет косвенным дискурсом, *discours inté rieur*. Косвенной речью, или **косвенной мысле-речью**. (Когда ты правое ухо берешь левой рукой.) В отличие от прямого языка, который вырастал бы прямо из впечатления. Ты **успел** – пока мир не прибежал и не встал на место этих впечатлений, не подменил собой впечатления – готовый мир привычки или привычных связей. Или – когда это уже случилось, – проделав регресс, срезав эти слои, вычтя их. Что требует труда, конечно. Работать надо. Так вот, человек, который не забывает себя, когда пишет (то есть – любя себя, или с себялюбием), – не занимается, по Прусту, выпрямлением этого косвенного или кривого языка, или мысле-речи. И тем самым, пользуясь неточным, как говорит Пруст, языком себялюбия, – «все

больше отдаляется от первичного и центрального впечатления – до такой степени, что эта кривая совпадает уже с прямой, которая должна была бы исходить из самого впечатления, и исправить эту кривую становится весьма трудно, и этого труда всячески избегает наша лень». И здесь уже «лень» фигурирует как психологический механизм, порождающий в мире привидения, иллюзии и т.д. А в случае любви речь идет не о лени, а о том, что выпрямление кривой становится весьма болезненным. И здесь Пруст вводит тему страстного диалога с самим собой или встречи меня с самим собой, родимым (когда я сам себя люблю). И этот разговор во время страстной встречи с самим собой есть разговор человека, который любит себя. (Я сейчас отвлекаюсь от того, что в нем происходит, а возьму лишь то, что с точки зрения Пруста является действительным литературным трудом.)

Я говорил о бесконечности описания: описание может продолжаться бесконечно, оно не содержит в себе критериев остановки (а работа метафоры другая, ею нужно заниматься). Так вот, один из эквивалентов, синонимов бесконечности описания у Пруста – термин «наблюдение». Наблюдение и описание ставятся Прустом на один уровень. Бесконечное описание, не имеющее в себе критериев остановки и тем самым – непродуктивное, устремляющее нас в бесконечность, не вынимающее нас из потока распадающейся нашей психической жизни, – такое же, как и наблюдение. Пруст неоднократно подчеркивает, что он не умеет наблюдать, подчеркивает, что – потом возводит это в принцип – вообще наблюдение ничего не дает. (Кино фиксирует наблюдение кадром. Так вот, наблюдение тоже есть кинематограф.) И тут Пруст говорит потрясающую вещь, которая связывает последнюю цитату, которую я сейчас приведу, с той, с которой я начинал. Значит, этот труд, в том числе прибегающий к метафоре и т.д., выпрямляющий кривую, – «труд художника, который стремится к тому, чтобы под материей, под опытом, под словом увидеть нечто другое, этот труд является на самом деле трудом обратным по отношению к тому, что – когда мы живем, отвернувшись от самих себя, – производят каждую минуту себялюбие, страсть, ум и привычки, когда они наваливаются на подлинное впечатление, чтобы окончательно для нас его закрыть, номенклатурное расчерчивание мира, практические цели, – что мы ложно называем нашей жизнью». Подчеркиваю, здесь у Пруста мысль все время идет не в терминах сопоставления представлений, правильных или неправильных, того, что называется жизнью, – Пруст **другое** называет жизнью и пытается показать, где **истинная жизнь**. Не другие слова, не более истинные представления, а жизнь, – вот о чем он говорит. И это сложное искусство (искусство стиля), которое кажется многим излишней роскошью, «есть единственное живое искусство. Только оно для других выражает и нам самим показывает нашу собственную жизнь, ту жизнь, которую нельзя наблюдать, и видимые явления чего нуждаются в том, чтобы быть переведенными и прочитанными, часто в обратном смысле, и быть расшифрованными с большим трудом».

ЛЕКЦИЯ 16. 3.11.1984

Начну с того, на чем мы остановились: я говорил вам, что Пруст был одним из тех немногих художников в XX веке, который заменил проблему наблюдения (по определенным причинам) какой-то другой проблемой, которую я все время условно называл проблемой реализации самого себя какими-то средствами, проблемой исполнения жизни. Он был одним из тех, кто вернул искусство в наши непосредственные жизненные ощущения, в те задачи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, когда что-то испытываем, когда в чем-то пытаемся разобраться, когда пытаемся ответить на вопрос, что же, собственно, я чувствую. Вопрос неоднозначный – что же со мной происходит? где я? откуда

я? и куда я? И все эти вопросы встали на место наблюдения или описания. Любого описания: обыденного, научного, художественного. Вместо описания мы имеем проблему, состоящую в том, что в мире, в котором мы что-то испытываем, есть какая-то точка, в которой описание останавливается, не может идти дальше, и в этой точке должен совершиться какой-то акт, дополнительный. **Акт жизни**, дополнительный к наблюдению. То есть дальше наблюдать нельзя, что-то другое должно произойти, такое, что вызовет новый сознательный опыт. Если перевести на язык, близкий к тексту Пруста, то это можно выразить примерно так: сколько угодно я могу вглядываться в ментальную картину моих воспоминаний о Венеции или о местах моей юности, или о близком человеке, сколько угодно я могу вглядываться, то есть перечислять элементы этого воспоминания... Есть ментальные элементы воспоминания, которые мы можем проходить один за другим, чтобы воссоздать все воспоминание. Попробуйте, например, осчастливить или обрадовать себя, сказав, что все-таки я кое-что повидал в жизни. Я был, например, в Сиони, или был в Венеции, – и мы начинаем перечислять наши внутренние душевные богатства, но почему-то в нашей душе ничего не шевелится. Ничего не происходит. И совсем что-то другое происходит, когда в наши контролируемые волей и сознанием или волепроизвольные воспоминания вторгается что-то, не связанное с нашей волей, с нашим усилием перечисления, или описания, или наблюдения – вторгается нечто само собой. Это нечто, вторгающееся само собой, Пруст называет непроизвольным воспоминанием. Но вся проблема в том, что непроизвольное воспоминание происходит само по себе у каждого человека в режиме **его** жизни. Но иногда можно этому воспоминанию помочь. Для этого есть средства, которые и называются искусством. Искусство для Пруста – не описание, а орудие, помогающее тому, чтобы в нашей душе вспыхнул спонтанный акт **нового сознательного опыта**. И чтобы дальше закрепить эти вещи, я продолжу цитаты, потому что мы к ним уже подготовлены. Мы многое знаем о том, как нам нужно смотреть на искусство, на жизнь, и как Пруст смотрел на искусство и на жизнь. И поэтому то, что я буду сейчас читать, должно ложиться в ваших головах в уже более или менее подготовленные клеточки.

Вы помните, что речь шла о художественных впечатлениях, о которых мы восклицаем, пытаемся их снова испытать, – скажем, придя в восторг на концерте и воскликнув «Ах!», мы еще раз идем на концерт или снова прослушиваем пластинку с записью этого концерта. Такое отношение к искусству у Пруста называется булимией (или обжорством). И за этим лежит глубокий закон, который люди, в той мере, в какой они философствовали, знали давно: тысячу раз вкушение одного и того же наслаждения или впечатления ничего к нему не добавляет и не помогает разобраться в его природе. Эти ахи и охи есть лишь полуумы. Полу-умы. То есть недоношенные существа, недоноски нашей сознательной жизни. Неудачные животные, скажем так. И вот что говорит о такого рода впечатлениях Пруст: «Даже в художественных наслаждениях, которые мы ищем, в силу наслаждения, которое они в нас вызывают, мы умудряемся как можно скорее оставить в стороне в качестве невыразимого как раз именно это впечатление и привязаться к тому, что позволяет нам получить от него удовольствие...». Под удовольствием здесь имеется в виду непосредственное удовольствие. Вы эту тему должны помнить точно: есть удовольствие, из которого мы что-то узнаем, а есть удовольствие в смысле разрешения всего того, что мы должны были бы узнать непосредственным наслаждением. Или непосредственным материальным действием. С точки зрения прустовской или философской, чтобы понять удовольствие от пирожного, нужно не еще раз его укусить, а остановиться. Или в горе – нужно не заплакать и выполнить ритуальный жест, а нужно не сделать

чего-то. **Не сделать** (тема надеяния, о которой я говорил, и надеюсь, что вы об этом помните). Потому что, если мы сразу переводим энергию случившегося в какое-то разрешающее ее действие, мы одновременно теряем то, что стучалось к нам в окно или в дверь. Значит, мы привязываемся к тому, что позволяет нам получить непосредственное, тут же на месте, «удовольствие, не познав его до конца, и воображаем, что мы сообщаем его другим любителям удовольствий...». Мы воскликнули «Ах!», скажем, или сделали знак горя, фактически обращенный к другим. Но сообщили что-то, не прожеванное нами самими. Так вот, воображаем, что сообщаем его другим любителям искусства, «с которыми окажется возможной беседа, потому что, разговаривая с ними о вещи, которая одна и та же и для них, и для нас...», – а в действительном человеческом восприятии того, что случилось, исключено, чтобы вещь была бы одна и та же для тебя и для других. Мы каждый раз имеем дело с уникальным, незаместимым и только твоим корнем впечатления. То, что ты увидел, увидел только ты, и если ты начал разговаривать, значит, от того, что ты увидел, ты берешь ту часть, которая одинакова у тебя и другого, кому ты пытаешься ее сообщить. Возвращаюсь снова к тексту (надеюсь, что такое хождение по тексту сделает его более понятным) – «...потому что, разговаривая с ними о вещи, которая одна и та же для них и для нас, личный корень нашего собственного впечатления при этом элиминирован. В те самые минуты, когда мы всего бескорыстнее в наблюдении зрелища природы, общества, любви, самого искусства, поскольку всякое впечатление...», – лучше «запечатление», потому что в русском слове «впечатление» отсутствует активный оттенок; впечатление есть что-то, что в нас запечатлелось; думаем мы об этом или нет, как мы об этом думаем, как мы оцениваем, – наша ментальная картина впечатления, а речь идет о **запечатлении. Отпечаталось**. Так вот, «...всякое отпечатление двойственно, наполовину укоренено, вправлено в оправу объекта...» – смотрите, как «мускулисто» идет у Пруста выражение мысли и состояния души: вправлено – сразу образ виден: как бриллиант вставляют в серебро, но оправой является объект. Скажем, запах, лицо, любое впечатление. Значит, «...наполовину вправлено в оправу объекта, а другой своей половиной продолжено в нас, и будучи продолженным в нас...» – представьте себе какую-то вещь, которая наполовину вправлена в оправу объекта и тем самым видна не только мне, который получил впечатление, но видна и другим, – объект! То, что вне нас, – но другой половиной оно (впечатление) уходит в нас, то есть в каждого. И, очевидно, пробегает в этом подzemелье какие-то другие пути и сплетается с какими-то другими вещами, живет своей подземной историей, будучи утоплено в подземелье, которое мы не видим, видим лишь стоящее над землей здание или оправу бриллианта. «...наполовину укоренено в оправу объекта, продолженного в нас другой своей половиной, единственной, которую лишь мы можем знать». И вот эту половину знаем только мы.

Приведу простой пример, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Допустим, существуют два события: есть Альбертина и есть я, который видит Альбертину. И есть третий, который наблюдает, что происходит **в том, как** я вижу Альбертину. Так вот, никакое описание им – как он видит Альбертину и как я ее вижу – не видит (это описание) тех, как выражается Пруст, «золотых дверей в моей душе, которые захлопнулись за вошедшей в них Альбертиной». Но дело в том, что моя судьба и реальные сцепления, результаты которых будут выпадать мне в качестве внешних событий, будут зависеть не от того, как Альбертина видна на поверхности, в том числе и третьему глазу, а от того, в каком виде и почему захлопнулись за нею «золотые двери моих грез». Там она будет жить, и оттуда ее жизнь будет подавать сигналы и детерминации того, что будет со мной происходить: как будет развиваться мое чувство, какие события ему будут выпадать и т.д. И вот вопреки этому, говорит Пруст, «мы

спешим пренебречь этой последней...». Той, которая закрылась золотыми дверьми, – например, она не годится для разговора. Всякий разговор останавливается на пороге этих дверей. Разговор – как нечто передающее что-то другим. Более того, этого нельзя еще передать не потому, что мы что-то храним в себе, а потому, что мы сами этого не знаем. Ведь нельзя говорить другим о том, чего сам не знаешь. Поясню то, что я сейчас сказал, следующими словами (и опять прошу прощения, что я кругами хожу, но дело в том, что моя задача – сообщить вам не сумму знаний, а привести в движение ваши души и мысль): часто говорят, что все люди равны. Но можно показать, что мир устроен таким образом, что самые существенные события в нем, например, закон или беззаконие и т.д., зависят от усилий, совершаемых каждым отдельным человеком. А усилие означает, что чего-то нет, пока не совершено усилие. И весь прустовский мир держится и плывет на вершине волны усилия. И различие людей, то есть равны они или не равны, будет во многом определяться тем, кто совершил усилие, а кто не совершил его. Как говорится в Евангелии: «Раньше были Иоанн Креститель и пророки, а теперь царство Божие силою берется». Или в другом варианте: «Раньше был закон и пророки, а теперь царство Божие усилием восхищается» (в русском переводе). Усилием похищается («восхищается» в смысле «похищается»). Ясно, что я сказал? Тогда я сделаю простой вывод, чтобы замкнуть рассуждение и прийти в его начало. В каком же смысле люди равны? Ведь нельзя поровну делить то, чего нет. То, что может быть лишь в усилении, этого ведь нет. И нельзя равно делить то, чего нет. Вы, наверно, прекрасно помните хорошую байку Эрлома Ахвледиани. Сказка о глупой курице, которая отдала своих цыплят на воспитание лисе. Глупая курица отдала своих цыплят – их было пятеро – на воспитание лисе. И лиса стала воспитывать и обучать этих цыплят, в том числе учить их арифметике. Одного она научила считать до четырех, второго – до трех, третьего научила считать до двух, четвертого до единицы, а пятого ничему не научила. И потом устроила экзамен. Спрашивает, сколько вас, – первого. А он, восхищенный своими собственными знаниями, гордо отвечает: «Четыре». «Неправильно», – говорит лиса. И съела его. И так далее – которого спрашивает, он говорит – три, лиса съедает и его и доходит до последнего, которого она ничему не научила. И спрашивает: «Сколько вас? » Он говорит: «Нисколько». И вдруг лиса оказалась как раз перед той проблемой, которую мы сейчас обсуждали. Поняла, что нельзя съесть то, чего нет. И не съела его. Более того, цыпленок был настолько необразован и неграмотен, что не знал, что в Божьей иерархии лиса есть лиса, цыпленок есть цыпленок, и полагается лисе съесть цыпленка, и поэтому съел цыпленок лису, Вот так кончается параболла Эрлома. Значит, нельзя делить то, чего нет, в том числе нельзя делить и в социальном смысле. Но и в обыкновенном смысле нашего общежития – нельзя делиться тем, чего нет. И если есть что-то во мне, с чем я еще сам должен разобраться каким-то усилием, то по определению я вообще не могу этого сказать. Это неизречимо. Фактически я объясняю вам философские термины. Скажем, – «непознаваемо», «невысказываемо», «невыразимо» – в нашем обыденном языке мы думаем так: «невыразимо» означает, что есть что-то, оно иррационально, само по себе богато, и только выразить его нельзя. Да нет, самое интересное «невыразимое» есть как раз то, чего нет. Оно само себя не знает. Не только не может сообщить себя другим, но и себя не знает.

Так вот, почему мы пренебрегаем той частью вещи, которая ушла в нас самих? Ну, нам лень или страшно. Страшно, потому что мы боимся истины и отворачиваемся от нее, но не просто отворачиваемся, мы сразу выдумываем какие-то ее рационализации, приятные нам. Значит, в отличие от того, чего мы не знаем, во что мы должны были бы углубиться, «мы спешим пренебречь этим и учитываем лишь вторую половину». Ту, которая на поверхности, вправлена в

оправу объекта, который дан вовне всем на обозрение, – Альбертина ушла в мою душу, но Альбертина еще и видна другим. И даже я, в душу которого она ушла, могу говорить о ней в той ее части, в какой она видна и другим. Например, могу сказать, что она прелестна и поэтому я ее поцеловал, хотя в действительности я должен был бы сказать: я получил удовольствие от того, что ее поцеловал, и поэтому она прелестна. Две совершенно разные вещи. (Я никак не могу сдвинуться с места. Но дело в том – то, что я сейчас делаю на ваших глазах, есть одновременно и урок чтения. Представьте себе, что вы сидите и сами, без меня, читаете. Написаны слова, которые могут вызвать, если ты подготовлен к ним, если они совпадают с каким-то твоим личным внутренним опытом, столько ассоциаций и мыслей, которые нельзя выразить, или для выражения которых понадобилась бы тысяча слов. Вот если вы сможете так читать другие тексты, тогда стоит тратить на это время. А если нет, то лучше просто погулять. Потому что, как я говорил вам, чтение книги не есть какой-то священный акт, а он есть такой же жизненный акт, как другие, и имеет смысл ровно в той мере, в какой он вплетается в нашу душевную и реальную жизнь.) И вот мы учитываем другую половину, ту половину, которая объектом дана, которая, обратите внимание, «не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, не причинит нам и никакого труда...». Нельзя углубить то, что вовне, но необходимо как раз углубление; а мы выбираем внешнюю половину: трудиться не надо; а потрудившись, ты можешь узнать страшные вещи, в том числе и о самом себе. «...слишком нам сложно попытаться увидеть маленькую борозду... » – Пруст считает, что впечатления прорывают в нас кровавую двойственную борозду. Как ножом провести по живому телу – **эти** впечатления есть материал искусства. А нам трудно, неумоготу увидеть борозду, прорытую в нас видом цветов боярышника или церкви, – вещи безобидные, казалось бы, но они прорывают борозду. И мы вместо этого, пишет Пруст, «снова проигрываем симфонию, возвращаемся снова взглянуть на церковь, в этом бегстве подальше от нашей жизни, взглянуть в лицо которой у нас не хватает мужества, бегстве, которое называется эрудицией, пока мы не будем их знать так же хорошо, как их таким же манером знает самый ученый любитель музыки или археологии. И сколько на этом не останавливается, которые ничего не извлекают из своего впечатления, стареют, бесполезные и неудовлетворенные». Потому что, если ты так бежишь за впечатлениями, по определению, ни одно из них не может быть последним. Если ты так бежишь по церквям, то ни одно из этих хождений не может быть последним. Бегство в эрудицию есть бегство от нашей собственной жизни. И вот – «стареют бесполезные и неудовлетворенные, этакие холостяки искусства». Холостяки искусства – очень хорошее выражение, потому что оно действительно обозначает более широко холостяков жизни, и об этом говорит окончание фразы: «У них горести такие, какие есть у девственниц и лентяев, и которых плодоношение и труд излечили бы». И как раз именно в этом контексте Пруст далее говорит об экзальтации любителей искусства, о булимии (обжорстве художественными радостями), об этих полуобморочных вздохах и ахах, вскриках «браво», «ура», нечленораздельных восклицаниях восторга, пустой экзальтации и т.д., – все это Пруст сравнивает «с первыми опытами природы, которые художник хочет создать такими же бесформенными, такими же мало жизнеспособными, как и первые животные, которые предшествовали ныне существующим и которым не суждено было продлиться. «Мы должны видеть что-то трогательное в этих бессильных и бесплодных любителях, как в тех первых летательных аппаратах, которые не могли оторваться от земли и в которых было заключено, – нет, не тайное средство, которое еще предстояло открыть, а лишь желание полета». На место «желание полета» поставьте «желание красоты», «желание любви», «желание справедливости», «желание добра» и т.д. Ведь мир устроен так, что

в нем добро не есть наше желание добра. Справедливость не есть наше желание справедливости. Ибо справедливость – это аппарат, который может полететь так же, как в том примере, который только что приведен из Пруста. И соответственно – любовь, добро и пр. Я уже говорил вам, что один из законов русской жизни – это вздыхание или поползновение добра, но – завтра. И всем скопом, вместе. Сегодня – какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые... И когда вы встречаете текст, принадлежащий к категории на полную катушку испытанных и сделанных текстов, как у Пруста, то там в невинных фразах скрыты вещи, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к ним. Пруст говорит о восприятии искусства, о том, как выразить наслаждение или испытать его до конца, а я вам говорю о совершенно других вещах. Но на самом деле они содержатся в том, что здесь сказано. Потому что в глубинной структуре наших испытаний есть какие-то законы, и эти законы магически привлекали Пруста, и он чувствовал в себе призвание открывать эти законы. И если думать, то думать только о них, а об остальном думать не стоит. Нет той веселящей искорки, которая приводит все в движение и заставляет трудиться.

Дальше, подкрепляя мысли, которые я сейчас излагал, продолжу цитирование. И вот в связи с «ухождением» – держите в голове образ двойственного объекта, двойственного впечатления, которое одной своей половиной вправлено в оправу объекта, лежит на поверхности, а второй половиной вправлено в оправу нашей души и ушло туда. Еще одно – я сказал: «вправлено в вашу душу». Нужно иметь в виду, что душа здесь как бы тоже есть вещь. Значит, впечатление вправлено в оправу объекта, выступающего из-под земли и лежащего на поверхности, Второй половиной объект уходит в подземный мир нашей души. Но такое подземное ухождение для Пруста есть ухождение впечатления как бы в вещи. Но вы не должны вкладывать в то, что я говорю, и в то, с чем пытается разобраться Пруст, ментальных, психологических ассоциаций, которые являются нашей привычкой. И остановить эту привычку очень трудно. Потому что когда я сказал «вложено, проросло в душу, в подземелье души», то вы, конечно, думаете о тайнах человеческого сердца, о нашей внутренней субъективности, нашем внутреннем богатстве. Нет, не это имеется в виду, – то есть и это и не это. Вот в чем сложность. Нельзя понять, не остановив привычек, таких, которые **привилегируют** (как нечто особенное, священное) нашу внутреннюю субъективность. Такой второй половиной, оправой может быть пирожное «мадлен», куда ушла моя душа. Душа Пруста. Альбертина – в той мере, в какой она за хлопнутыми дверями моих грез – она тоже в моей душе как вещь. Такими тюрьмами, внутренними тюрьмами для восприятий, для впечатлений могут быть места, люди, имена, произведения искусства. И с этой оговоркой попытайтесь воспринять следующую цитату. «Некоторым умам, любящим таинственное, хочется верить, что объекты сохраняют что-то от глаз, которые на них смотрели, что памятники и картины являются нам лишь под одеянием чувственной вуали, которую им соткали любовь и созерцание многих и многих обожателей в течение веков». Это связано, чтобы вы четче поняли, о чем идет речь, с повторяющейся у Пруста темой о душах деревьев – как бы у деревьев или у звезд есть души, которые на нас смотрят. И об этих душах он говорит: «...мы смотрели на звезды, и что-то эти звезды сохранили от наших прежних взглядов...» – какие-то частицы нашей души сохранены в звездах и в деревьях, и они теперь на нас смотрят. Кстати говоря, такое одушевление объектов мира есть оно из древнейших человеческих представлений. Одна из древнейших структур человеческого сознания – анимистического, мифологического и т.д. Так вот – «Эта химера стала бы истиной, если ее транспонировать в область того, что единственно реально для каждого, в область его собственной чувствительности». То есть души вещей есть **метафора**, истинная, если мы ее

относим к описаниям **реальности нашей души**, а не к тому, что, действительно, в мире есть вещи, населенные душами или остатками наших собственных взглядов, оттуда на нас смотрящих. «Да, в этом смысле, и только в этом, но он гораздо больший. Вещь, на которую мы прежде смотрели, несет нам, когда мы ее видим вновь, вместе со взглядом, который мы на нее бросали, все образы, ее тогда наполнявшие. Дело в том, что вещь и книга в своей красной обложке среди прочих других, в тот самый момент, когда они нами воспринимаются, становятся в нас чем-то имматериальным, причастным к природе наших забот и ощущений того момента, и неразъединимо смешиваются с ними». То есть вхождение второй половины означает, что эта вещь не только ушла в невидимое подземелье, а еще в этом подземелье сплелась с нашими фундаментальными заботами того момента, казалось бы, с той вещью никак не связанными; она встала в контекст общих наших состояний и неотделима уже от них, она в них заключена. «То или иное имя, прочитанное в давней книге, держит в промежутке своих слогов быстро веющий ветер или яркое солнце момента, когда мы ее читали». Здесь у Пруста идет речь о книге Жорж Санд «Франсуа ле Шампи». И это чтение книги не невинно – впервые ребенку читался роман, он впервые столкнулся с литературой. Но с литературой он столкнулся **там** – и вот почему фигурирует слово «забота», с которым смешивается впечатление или чтение книги. Если вы помните, мальчик не может заснуть и впадает в истерику, потому что мама не поднялась поцеловать его на ночь, и даже зная, что будет наказан, он тем не менее штопором ввинчивается в свое переживание; и вдруг его не наказывают, мама остается с ним и, чтобы успокоить его, читает ему эту книгу. Ну, ясно, конечно, что между слогами этой книги или между элементами ее сюжета вплетается эта основная забота и состояние души нашего героя. Вы уже знаете, какую фундаментальную роль для него играет образ поцелуя матери – **СИМВОЛ** материнского лона, проецируемый на мир, который тоже должен быть таким же ласковым лоном, который тебя объемлет и защитит со всех сторон.

И вдруг – после этого понятного пассажа – наш герой, то есть автор, снова выходит на общие вопросы, которые нас занимают. Снова он выходит на вопрос, к которому он все время возвращался, на вопрос о литературе. К этому он возвращается по одной причине, кстати, самой главной, – жизненной. Есть абстрактное представление о трудящемся литераторе, у которого в голове есть сюжеты, и он излагает их, и в то же время – сознание своей собственной лени и полного отсутствия сюжетов и пустой головы, когда садишься за лист бумаги. Конечно, написать нечего, когда хочешь слова составить из слов. А мы говорили, что не из книг рождаются книги. «Литература, удовлетворяющаяся тем, чтобы **описать вещи**, чтобы давать от них только жалкую сводку линий и поверхностей, которая является как раз той, которая, при всем том, что она называет себя реалистической, наиболее удалена от реальности, является той, которая наиболее всего оскудняет и опечаливает, ибо она резко обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым, сущность которого хранят эти вещи, и с будущим, где они вновь возбуждают нашу способность ее вкушать. Именно она есть то, что искусство, достойное этого названия, должно выразить, и, если оно терпит в этом неудачу, из его бессилия можно хотя бы извлечь урок, тогда как никакого урока не извлекается из удач реализма, а именно, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна». Теперь нам предстоит уже более сложная работа: представьте себе картину мира, которая вырисовывается за этими словами. Ну, выходки против реализма вам понятны. Это ясно, и об этом могут спорить только в специальных учреждениях или кретины. Проблема реализма в искусстве такая же выдуманная и несуществующая, как в философии проблема идеализма и материализма. Так вот, **нечто**, что **обрезает коммуникацию нынешнего «я» с прошлым**,

сущность которого хранят эти вещи, – **сущность ушла в вещь**. Я – Марсель – общаюсь с собой, вспоминаю себя прошлого, но то «я», которое я хочу вспомнить, в действительности заключено в вещь и ею сохранено, – в пирожном «мадлен». Вот что мы должны уловить. «И с будущим, где они вновь возбуждают нашу способность ее вкушать». Не всякие вещи, а те, которые – источник наших чувств. Не внешние вещи являются источником наших чувств, а – «Я шел не по тем же улицам, по которым шли другие люди, вышедшие из дома в этот день, я шел по скользким и печальным улицам моего прошлого». То есть восприятие улицы может вызвать только та улица, которая связана с печальной и скользкой улицей прошлого. И здесь же ответ на вопрос: чему мы волнуемся? чему не волнуемся? что мы воспринимаем и чего не воспринимаем? Вещи – не они есть источник действия на нас, так же как – не всякая красота женщины, а та, черты которой раздулись и сложились в видимые черты ветром моего желания. Прошлого. И я волнуюсь. А со стороны описать, что меня волнует, – меня волнует красивая женщина. Ничего подобного. Или – я иду по улице и вспоминаю. Ничего подобного. Пруст называет прошлое – *gisement* (представьте себе геологические отложения нашей души, а всякий писатель или философ есть археолог или геолог души). В душе есть какие-то геологические отложения нашей жизни. Или, как выражается Пруст: «Глубокие отложения моей ментальной почвы, по которой я до сих пор хожу и на которую я до сих пор опираюсь... настолько, что цветы, которые мне показывают сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами». То есть, чтобы **увидеть** цветок, я должен поместить это на *gisement mental*, на ментальное геологическое отложение. И следовательно, цветок раздроблен во множестве миров. Ведь у нас же разные ментальные отложения. И цветок, который извне, казалось бы, перед нами, упирается, – есть у вас для него ментальное отложение, и тогда вы можете на него прореагировать как на цветок, восхититься его красотой. А у меня, например, его нет, и я не увижу цветка, глядя на него, или он мне покажется ненастоящим, восковым. Я отклонился в сторону, чтобы пояснить одну простую вещь, которая двумя словами проскользнула в цитате: «...обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым». И мы теперь понимаем, что коммуникация – это вещь очень непростая. Я коммуницирую с собой, то есть я коммуницирую не с самим собой – психологическим, ментальным существом. Потом я еще одну вещь добавлю, а пока продолжу: «сущность которого хранят вещи». Значит, мы теперь понимаем, в каком смысле внешние мне вещи могут хранить мое прошлое. И развертка моего впечатления в будущем – например, моя возможность снова волноваться – не может зависеть только от моей физиологии, от порога моей чувствительности, от притупляемости или непритупляемости моих ощущений (у всех она разная) – зависит от этих отложений, которые мы встречаем потом впереди, и мы вдруг волнуемся и можем повторить чувство. Повторить мы можем только чувство, которое мы не исчерпали в мгновенном и непосредственном его удовлетворении. Вещи в удовлетворении умирают. Все реактивные акты кончаются своим последним звеном и исчерпываются на нем. Скажем, если я голоден, то, поев, я насыщаюсь, и ощущение голода исчезает. Оно сослужило свою службу и исчезло. А мы говорим о тех чувствах, которые **сами воспроизводят свои собственные причины**. То есть они возобновляются.

...То, что я называл топологическими проблемами, – то есть проблема отношения ума с самим собой, ума с вещами и ума с другими. Ведь кажется, что ум в отношении с самим собой может быть разделен большим пространством. Есть какой-то зазор между мной и мною самим. Хотя бы потому, что есть, скажем, «я» и есть «я» в прошлом, в ментальном воспоминании. Но в действительности мое прошлое «я» не есть в том рассудочном ментальном

воспоминании о самом себе, которое я усилием воли и сознания произвожу в самом себе (я вспоминаю, что было тогда-то), – это «я» ушло... в пирожное «мадлен». И если оно распакуется из этого пирожного, – Марсель окунает кусочек пирожного в чай, подносит к губам, и вдруг его пронзает целый мир, содержащийся в этом пирожном, мир его детства. Мир Комбре, весь упакованный в запахи, звуки, лица. Но это же не есть акт его воспоминания – это какой-то **самопроизвольный** акт, другой какой-то инстанцией произведенный. И вот оказывается, мое взаимоотношение со мной самим в прошлом, казалось бы, уже случившимся (и поэтому известном), вспоминаемым усилием воли и сознания, – между ними лежит большое расстояние. Точно так же и в будущем, Пруст говорит следующие слова – к которым приравнивается коммуникация «я» с самим собой, прошлым, и с «я» в будущем, где эти вещи снова действуют как источник восприятия, волнений, полноты душевных состояний, – цепь, которая циркулирует поперек нашего существования, связывая то, что уже мертво, с тем, что еще живо полной жизнью. Представьте себе какую-то цепь, окружность, замкнутую окружность, которая, оставаясь замкнутой, движется по потоку нашей жизни, настоящей и будущей, и все, что в жизни происходит, должно пересекаться с этой окружностью. Круг, или цепь, которая циркулирует, как выражается Пруст, «поперек нашего существования». Вдоль и поперек движется, и все линии нашего существования должны проходить через круг, который связывает то, что уже мертво, с тем, что еще живет полной жизнью. (Я потом свяжу это с той цитатой, которую я приводил в прошлый раз. А пока, зафиксировав это, вернемся к более легкому чтению: я хочу завершить мысли Пруста, связанные с произведением искусства, с проблемой нашей чувствительности и т.д.).

Значит, после слов о коммуникации нашего нынешнего «я» с прошлым шли слова об искусстве, которое должно выразить именно эту сущность, уложенную в вещи, и потом, в будущем, снова являющуюся источником наших чувств, и о том, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна. Это запомним. Пруст продолжает: «Более того, вещь, которую мы видели когда-то, книга, которую мы читали, не остается навсегда соединенной только лишь с тем, что тогда нас окружало; она остается столь же верно соединенной и с тем, чем мы тогда были сами, она может быть заново пройдена...». Вспомните круг, держите в голове образ круга, идущего по нашему существованию; круг, который должен просекаться линиями; линии, которые не пересекают круг, для нас не существуют; золотая цепь жизни, так сказать. Повторяю: «...она может быть заново пройдена только той чувствительностью, той только персоной, какой мы были тогда». То есть, чтобы вещь ожила в этом круге, который замыкает мертвое и живое, должен ожить «я». А я предупреждал вас, что «я» – много. «Я» есть в каждой вещи. Есть «я» – «мадлен», есть «я» – Альбертина, есть «я» – неровные плиты площади святого Марка в Венеции, потом другие, но столь же неровные плиты двора дворца Германтов, по которым идет Пруст, снова натывается на эти неровные плиты, и тут вся его Венеция всплывает. Значит: «...может быть, пройдена только той чувствительностью, только той персоной, какой мы были тогда; стоит мне, даже только мысленно, взять с библиотечной полки – Франсуа ле Шампи...». Книга, которая читалась у его изголовья после знаменитой сцены с поцелуем. «...как немедленно во мне встает ребенок, который занимает мое место, и который только один имеет право читать этот заголовок – Франсуа ле Шампи – и который читает его так, как он его читал тогда, с тем же ощущением погоды, стоящей в саду, с теми же грезами, в которых ему представлялись страны и жизнь, с той же тревогой, которую вызывал в нем завтрашний день». Еще бы! завтрашний день – это снова проблема поцелуя матери. «Стоит мне вновь увидеть вещь иных времен, как подымается молодой человек. И моя сегодняшняя персона, считающая, что

все, содержащееся в ней, равно одно другому и монотонно, есть лишь оставленная карьера, но оттуда каждое воспоминание высекает, как греческий скульптор, бесчисленные статуи». Помните – я-то думаю, что я не люблю, я-то думаю, что я мертв, а на самом деле – часто мы лучше, чем сами о себе думаем. «Я говорю: каждая вещь, которую мы видим вновь; ибо книги ведут себя в этом отношении точно так же, как вещи». Вот достойное место для книг.

Теперь вернемся к этим уложениям. Я сказал: можно пройти к этой вещи – чтобы я увидел, пережил ее реально (в прошлом когда-то увиденную), мое восприятие или переживание должно пересечь замкнутый круг (тот, который я вам предлагал). И вот почему. Здесь говорилось – «той чувствительностью, которая была». Пруст как бы предполагает, что если вещи действительно воспринимаются в их полноте, то в этом восприятии существует какая-то априорная структура чувства. Если ее нет, а она была у того «я», то ее – вещь – этим «я» воспринять нельзя. Теперь дальше – то, что я назвал уложением, – оно уложилось в какой-то чувствительный центр, который лишь символизирован внешней вещью. Например, символизирован пирожным «мадлен», символизирован неровными плитами площади собора св. Марка и т.д. И вот, иллюстрируя это уложение, я приведу еще одну цитату. «Наша привычка никогда не ходить в один и тот же день в обе стороны во время одной и той же прогулки, а раз – в сторону Мезеглиз, другой раз – в сторону Германтов». Сторона Мезеглиз – это, так сказать, буржуазная сторона, родительская сторона жизни маленького Марселя, а сторона Германтов – это аристократическая сторона, сторона грез, великих имен, легенд, запечатленных в этих именах. Обратите внимание на фразу... люди выходят гулять, открывается знаменитая калитка, на которой висит колокольчик, который вечером звонит, – для Марселя это знак, что гости ушли и теперь мама может к нему подняться и поцеловать. Этот звон проходит через всю жизнь нашего героя как некоторое внутреннее временное измерение всего мира. И вот они выходят из калитки и идут гулять – или в сторону Мезеглиз, или в сторону Германтов, но никогда так, чтобы в один день и туда и туда. Потому что даже простое хождение объединило бы две стороны. Так ведь? Но что пишет об этом Пруст? «...привычка запирала их под замок, так сказать, вдали друг от друга, в неизвестном друг для друга виде, в замкнутых и несообщающихся между собой вазах того полдня или этого полдня». В полдень совершались эти прогулки, и вот вдруг даже географические места запечатались в разные вазы и распечатать их может только – не ментальный акт воспоминания, а **возродившаяся чувствительность**. Должен встать тот молодой человек, который в один полдень ходил в сторону Мезеглиз, а в другой полдень – в сторону Германтов. Сравните это с ментальным *gisement* – отложениями, где цветы, которые ты видишь в первый раз, тебе даже не кажутся настоящими цветами. Или улицы – ты идешь по улицам, и они не есть те же улицы для других прохожих, бывших в этот день вне дома. Или в Булонском лесу – не тот же ветер, который веет для всех, не то же озеро, которое могут увидеть все, и не те птицы, которые летают над этим озером. Булонский лес для тебя является символом женщины, недоступной, прекрасной женщины, катящейся в коляске со всем тем, что она в себе запечатала от меня. Там – моя душа. Так же, как если бы она была бы в деревьях. Напомню вам дантовский образ. Только прежде скажу вам, что это запечатление равнозвучно смерти. Я говорил вам: круг – мертвое и **живое**, Так вот, это же есть смерть. Я расстался со своей собственной живой плотью. Что такое – живое? – моя чувствительность. Моя чувствительность – в пирожном «мадлен», в Булонском лесу, в стороне Мезеглиз; другая чувствительность – в стороне Германтов. Причем они не сообщаются одна с другой. Только потом, на эн-тысячной странице романа наш герой открывает, что, оказывается, в сторону Мезеглиз

можно было пройти через сторону Германтов, и наоборот, – и вообще не существует такого различия сторон. Но это – **после того**, как проделан жизненный опыт, путь.

Значит, мертвое, да? Напомню вам, что такое самоубийца, Самоубийца – это человек, который разлучает душу и тело. Так ведь? И не случайно у Данте образ наказуемых адовой мукой самоубийц дан дуяам, заключенным в деревья. Человек расстался со своей душой насильственным актом, который в христианской религии воспрещен, и душа заключена в инородную ей материю. В дерево. Дерево совершенно инородно человеческой душе, которая там заключена. И деревья содержат души самоубийц. Переведите эту метафору на то, что я говорю. Ведь мы каждую секунду умираем или убиваем себя, потому что мы позволяем своему живому ощущению быть заключенным в вещь, которая инородна или неадекватна ему. Ведь моя душа заключилась в Мезеглиз или в стороне Германтов, а в действительности не существует различия сторон. Можно было бы пройти то и другое с живой душой. Но ты отдал душу – стороне Германтов, или стороне Мезеглиз, или Альбертине, или пирожному, и еще очень должно повезти, крупная удача судьбы должна быть, если тебя, благоволением Бога, поразит непроизвольное воспоминание. Оно тебя еще может оживить, когда ты макнешь свою собственную душу, заключенную в пирожное «мадлен», с этим пирожным макнешь в чай, и это может произойти, а может не произойти, – а как воссоединиться? А цепь, проходящая, требует, чтобы была связь; вот этот круг, о котором я говорил, требует, чтобы была связь между живым и мертвым, чтобы этот круг двинулся бы по всей жизни и чтобы все линии пересекли его. Запомните: каждый день, каждую секунду мы умираем, но умираем – как самоубийцы. Те, которые сами разлучают душу и тело. А наказания... простые в нашей жизни. Например, частица моей души уложена так, что я вхожу в трамвай и мне уступает место молодой человек, вежливо и любезно, а это – любовник моей жены. И я этого не знаю. Часть моей души встала и уступила мне место, и это существенный акт, событие в моей жизни, мало ли что из такой встречи может проистечь... Вы не обязательно должны представлять наказание в драматическом виде, в таком религиозном, что ли, виде. Достаточно нам в жизненном виде представить, тем более что религиозные символы как раз об этом, а не о чем-нибудь другом. Только мы их читать не умеем. Значит, есть эта цепь, круг движущийся, циркулирующий по нашей жизни, и на нем написан только один призыв к нам, а именно: жить! Возродиться сейчас и здесь. Или жить дальше, таща за собой каждую секунду умирающие части и возрождая их хотя бы тем, что ты что-то через них узнаешь. Узнавая, ты возвращаешь себе. Если ты узнал, что в Мезеглиз можно пройти через сторону Германтов, то ты возвращаешь себе душу свою, которая в географии этого места была заключена. И ты ведь мог страдать, ты мог считать, например, что можешь восстановить эту часть души своей, просто посетив (в географическом путешествии) места своего детства. Увы, говорил Пруст, нельзя, шагая по поверхности, прийти к месту своего детства, потому что это место – под землей, и нужны археологические раскопки, а не путешествия. Так же, как у меня все время звучит в ушах шум мельницы в деревне матери – в Шиндиси, недалеко от Гори, прямо перед нашим домом была мельница. И вот шум этой мельницы все время звучит. Но, посетив эту деревню много лет спустя, я ничего не смог обнаружить от того, что было в моей душе. Ничего не смог восстановить. Потому что не так восстанавливается прошлое. Или – не так оно оживает. А как же оно оживает? Я уже сказал: **узнать** – это уже оживить. А знание требует движения в подземелье. Теперь, продолжая эту мысль, я одновременно завязываю ее с темой метафоры. Фактически я все время говорил о метафорах (о естественных метафорах). Пирожное, содержащее душу, – а теперь я могу сказать, что

пирожное есть метафора моей души. Мезеглиз есть метафора моей души, сторона Германтов есть метафора моей души, книга «Франсуа ле Шампи» есть метафора моей души. Она хотя бы потому метафора, что эти вещи неописательны. Когда я говорю: книга «ле Шампи» – метафора, то я имею в виду книгу, которая не есть та книга, которую можно описать. Представьте себе третьего наблюдателя, который смотрит, – Марсель берет книгу в руки «ле Шампи», и наблюдатель видит это и описывает. Или сам Марсель захочет описать. Что он опишет? – сводку линий и поверхностей. Книга, как всякая другая. И пишет в романе: Марсель взял в руки книгу. Что сказано этим описанием? Ровным счетом ничего. А метафора указывает на запечатленный внутри, в этом подzemелье, опыт сознательной жизни, который еще одним актом жизни, то есть дополнительным опытом сознания, нужно возродить. Чтобы вернуть себе какой-то один опыт сознания или души, нужно проделать самому еще какой-то опыт. И **тот** опыт **возродит** этот опыт. И этот опыт проделывается вне существующих классификаций и связей. Потому что книга, описуемая, стоит в классификации и в наших привычных связях. Имеет значение внутри них. А метафора начинается там, где вещь **вынимается** из привычных связей и номенклатур. И тем самым она отличается от описания или от наблюдения. И соответственно: чтобы наблюдать, увидеть то, что является метафорой, то, что содержится в метафоре, нужно совершить не акт наблюдения, а **акт жизни**. Иногда такие акты жизни произвольно происходят. Скажем, автор споткнулся о неровные плиты во дворе дворца Германтов, и его сознание – он ошалело застыл на месте – пронзилось воскресшей площадью перед собором святого Марка. Он, ослепленный этой картиной, – она тут же исчезла – хочет ее восстановить, он делает еще шаг и говорит: «Но шаги моей души не были шагами в географическом пространстве, и, не делая еще один шаг по двору дворца Германтов, я мог снова восстановить это ощущение». И, слава богу, оно снова его пронзило, и у него была возможность восстановить весь упакованный в нем мир.

Так вот, «дальше жить» означает завершение таких актов, которые возрождают то мертвое, которое сцеплено с тем живым, которое живо сейчас, – чтобы дальше просто жить, а не продолжать частями осыпаться (как штукатурка осыпается) в смерти. И чтобы жить дальше и что-то узнать, нужно проститься с собой. С собой, любезным самому себе, привычным, дорогим, достигнутым, свершившим, сделавшим уже что-то. Ведь когда мы боимся смерти, мы боимся, что не будет тех чувств, которые мы сейчас испытываем. Следовательно, если метафора есть замена констатации, или описания, или наблюдения того, что **есть**, замена этого воскрешением того, что мы испытали, – а это разные вещи, потому что описание пирожного «мадлен», того, что есть, не есть воскрешение того, что мы испытали, то есть того, что уложено в этом пирожном, и, как я говорил, одна сторона впечатления, называемого пирожным «мадлен», вправлена в оправу объекта, а другая сторона проросла в нас и захлопнулась там за какими-то золотыми дверями, – и вот если метафора есть **воскрешение** того, что мы **испытывали**, в отличие от описания того, что есть, то у дверей метафоры стоит страж, не пройдя мимо которого нельзя войти в эту дверь. И этот страж – смерть, под знаком которой только и открывается измерение невидимого. Значит, измерение невидимого смертельно. **Смерть** есть предельный образ расставания с самим собой. Ведь не расставшись с самим собой, со своими любезными состояниями, самому себе любезными состояниями, – а одним из них является вкусное пирожное, я люблю есть пирожное, и было бы ужасным лишением, а смерть – это предельное лишение, если бы я лишился этого удовольствия. Ну, конечно, уж смерть радикально лишает меня такого рода любезных мне удовольствий. Физическая смерть. А вот **сознание** смерти, посредством которого я открываю двери метафоры, это –

символ смерти, о котором всегда думает философ. И думал Пруст, – открывая для себя двери, за которыми распростерто или развернуто измерение невидимого. (Все, что есть в пирожном «мадлен», невидимо, – мы видим пирожное, но мы **не видим** пирожного «мадлен». То есть мы не видим того пирожного, которое есть часть нашей душевной жизни и часть нашей судьбы.) И вот очень странная получается картина у Пруста. Все эти отложения некоммуникабельны. Мезеглиз не коммуницирует с Германтами. Каждое из них содержит, следовательно, частичку моей смерти. Скажем, образ Альбертины, ушедшей в мою душу, не коммуницирует с образом Альбертины же, которую видит другой человек (скажем, маркиз Сен-Лу). Или, наоборот, образ Рахиль, ушедший в душу Сен-Лу, где за этим образом запахнулись, закрылись «золотые двери» грез о театре, о возвышенном, о прекрасном и т.д., – он ушел в мир как бы параллельный образу Рахиль в глазах Марселя – двадцатифранковой из дома свиданий Рахиль. И эти параллели никогда не пересекаются. Не пересекаются – «эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна», – вот что имел в виду Пруст. Значит, этот круг движется по жизни, и в нем, если он движется, должны пересечься параллельные линии, которые пока у нас не пересекаются. Есть множество миров, миллионы миров, которые несутся по непересекающимся параллелям. В них сотни «я» запечатаны в сотнях миров, и движутся они на параллелях. Здесь получается какая-то фантазмагория... Я имею два образа: один – это круг, сцепляющий живое и мертвое, именно сцепляющий. Мы видим круг в измерении невидимого – символом, не смертью, а **символом** смерти, открытым теперь для нас, и должны вести его так, чтобы через него проходили бы все линии. А они параллельны. И второй образ: **между**. Я говорил: между мной и мною самым большим расстоянием. Не только между Марселем и маркизом Сен-Лу – расстояние. Душевные расстояния, не измеряемые в километрах, но такие же, не меньшие, чем расстояние между мной и, скажем, звездой Сириус. Вот это «между», – когда читаешь Пруста, то возникает такое ощущение, что есть какая-то громадная вращающаяся туманность, в которой все время разными ликами поворачиваются к тебе одни и те же вещи, перекрещиваясь одна с другой, вещи, то замкнутые относительно одна другой, то доносящие свет одна до другой путем вспышки произвольного воспоминания. Скажем, мир Венеции Пруста доносится до мира Пруста, идущего на светский раут к Германтам, вспышкой произвольного воспоминания. Эти миры находятся в этой вращающейся туманности, поворачиваясь разными сторонами, они некоммуникабельны друг с другом и в то же время иногда, так сказать, перемигиваются какими-то связями. Одна из этих связей – произвольное воспоминание, другая связь – встречи. Ну, скажем, расшифрованная встреча двух женских грудей: Марсель видит Альбертину, танцующую с Андре, и видит в этом конвенциональный ритуал и последовательность определенных физических актов, которые совершаются. Двигутся ноги, руки, музыка, фигуры вращаются: девушка танцует с девушкой. А доктор Котар бросает фразу из своего мира, фразу, которая в этом мире принесет смысл: ведь женщины именно грудью получают сенсуальное наслаждение. Уже все было конвенционально осмыслено, то есть объяснено, – и вдруг разверзлась пропасть, и Марсель рухнул в пропасть ада лесбийской любви. Пронзило. Мир перемигнулся. Это – понятая встреча. А есть встречи непонятые, вроде той, о которой я говорил: я вошел в трамвай, и молодой человек уступил мне место, а он, оказывается, участник моей жизни, а я этого не знаю. Это и есть один из ликов вращающейся туманности. (Или: Марсель сначала видит в Шарлю надменного аристократа, который обдаёт его презрительным взглядом, а потом в этом взгляде читает гомосексуалиста, рассматривающего молодых людей. Повернулся лик. В романе чудовищное число таких переплетений и поворотов лика.)

Значит, есть вещи: пирожное, плиты; есть места: Мезеглиз, Германты; есть люди. Ведь Альбертина – это кокон моей души (вот как ее рассматривает Пруст), кокон, в котором запечатана часть моей души. Произведение «Франсуа ле Шампи» не есть роман в нашем конвенциональном смысле, то есть нечто под переплетом, имеющее ментальное содержание. Да нет, книга – такая же вещь, как пирожное; она кокон части моей жизни и моей души. И все описываемое вращение туманности есть как бы совершенно фантастическая сарабанда. Танец, хоровод. Фантасмагория поворотов, перекрестов, перемигиваний – символических перемигиваний. Разные места перемигиваются произвольным воспоминанием, которое соединяет их, и такое ощущение, что ты каждый раз испытываешь свежее ощущение **зановотворения** мира, – вот в этой сарабанде как бы заново возникает мир перед тобой, и совсем не такой, каким казался, пока **ты** позволял своей душе умирать, то есть растекаться в вещах, в произведениях, в географических местах, пока ты не мог этого всего собрать, в том числе еще и своей страстью владения. Ведь именно привязанность к объекту является причиной смерти владельца этого объекта. Стоит нам наложить манию владения на этот заколдованный мир, как створки или дверцы возможных отверстий мира захлопываются. Ты хочешь владеть Альбертиной как вещью – ты никогда ничего о ней не узнаешь. И самое главное – ты не узнаешь о законах своей души, которые заставляют тебя сегодня плакать, завтра смеяться, послезавтра снова плакать. Это все к тебе будет приходить, как метеоры, из чужого мира. Или – как рука, которая опускается в аквариум и вынимает из него рыбку, которая барахталась в воде и думала, что ее мир, аквариумный мир, бесконечно простирается. И рука вторгается в этот мир вне всякой связи с привычными объектами – для рыбы – мира воды; мир воды для рыбы был продолжен бесконечно – и тут вдруг – рука. И сколько раз в нашей жизни – нас, бедных рыбок, касается такая рука. Сначала кто-то с довольно растроганным, умиленным и слегка насмешливым видом рассматривает наши шевеления в аквариуме, который мы воображаем всем миром, а потом вынимает нас из этой нашей бесконечной водной среды.

И вот, идя по этой ниточке, я назвал бы роман Пруста **эпосом**. Это эпос **расколдованного мира**. Весь этот мир – заколдованный – движением текста (для этого текст и пишется) расколдовывается. И уже в этом расколдованном мире вырастают действительно эпические фигуры: эпос вещей, эпос цветов, эпос имен. Эпос мест и эпос людей, – потому что вырастают фигуры, которые не уложишь в схемы добра и зла. Они настолько многофактны, настолько поворачиваются разными сторонами в разных встречах, настолько сами себе неизвестны и настолько проблема реализации их душ шире проблемы добра и зла в элементарном моралистическом смысле, что, конечно, это эпические фигуры. Попытка эпической прозы в XX веке, который, казалось бы, совсем уж для эпоса не приспособлен. Эпос – мы предполагаем – давно прошедшее... Но, посмотрите, ведь роман Джойса «Улисс» явно эпический роман. Там все события, мелкие события обыденной жизни героя расположены в многомерном пространстве мифологических фигур, где даже в обыденном событии могут содержаться связности, во-первых, далеких миллионов событий и, во-вторых, связности эпической масштабности. Ведь не случайно сквозной и постоянно повторяющейся темой у Пруста является тема собора, католического собора. Потому что собор – **организованный язык**, содержащий в себе максимальное количество различных временных пластов и обозначающий их смыслами, зашифрованными в символах и в расположениях самих частей собора. А для Пруста проблема языка была очень существенной: он понимал, что переживать можно лишь в языке. То есть, имея артикуляцию и перенося на нее способности переживания, – и тогда ты понимаешь, любишь, страсти твои **организуются**. Ты способен на доблесть, на мужество и т.д. А не просто –

хотеть быть добрым, хотеть быть мужественным... И собор для Пруста был текстурой человеческих страстей. Не в смысле нравоучительных замечаний о том, что страсти преходящи... Да нет, – язык, посредством которого они могут осуществляться. Реализовываться человеком, в полноте этих страстей переживаться. Для этого понимания был очень существенным опыт, который с Прустом случился в его собственной биографии писателя. До романа, называемого «В поисках утраченного времени» он написал роман «Жан Сантей», который так и остался в рукописи. Многие темы, сквозные образы, встречаемые нами потом в тексте «В поисках утраченного времени», фигурируют в этом раннем романе, но нет там, во-первых, смертного ритма; это скорее внутренний роман, роман вдохновения, роман художественных озарений, вызываемых произвольными воспоминаниями и красотами природы. В нем нет еще ощущения смертельного риска и смертельного ритма того невидимого измерения, в котором должен двигаться человек, который просекает все свои линии жизни через цепь, связывающую мертвое и живое. А связать мертвого и живого означает возрождение мертвого **впереди самого себя**. Так вот, не было этого смертельного ритма и, во-вторых, не было того опыта, который испытал Пруст после написания романа. Это был опыт общения Пруста, путем переводов, с английским эстетом и философом Джоном Рескином, который, кстати, тоже был фигурой моего детства. В детстве я читал в основном французских авторов – Монтеня, Монтескье, Руссо и др., а из английских авторов по случайности библиотечных потоков в родном моем городе Тбилиси именно Рескин мне достался. А потом я вдруг обнаружил через много-много лет, что это был довольно существенный опыт в биографии Марселя Пруста. Пруст переводил его путешествия – у Рескина есть несколько книг, относящихся к нашему делу: одна из них называется «Камни Венеции», и вторая книга – «Амьенская библия». Та и другая книги – описание своего рода пилигримства Рескина, художественного, эстетического, по соборам и всяким местам, где есть прекрасные монументы и произведения искусства. Пруст его переводил и написал прекрасное предисловие (к «Амьенской библии»), которое потом отдельно издавалось. И вот на этом опыте Пруст впервые осознал проблему языка. Он осознал ее через образцы средневекового искусства в описаниях Рескина. И потом он всю свою жизнь считал соборы самой спиритуализированной вещью, какая только может быть. Я все время фактически говорю о спиритуализированных вещах. Только есть вещи совершенные – спиритуализированные. Скажем, собор. А есть вещи несовершенные, тоже спиритуализированные – пирожное «мадлен». Конечно, пирожное «мадлен» спиритуализированная вещь, но она – не собор, она недостаточно спиритуализирована. И вот я вывел вас к проблеме языка, потому что вы понимаете, что спиритуализированная вещь есть метафора; только – **естественная** метафора, а не умственная аналогия или умственная метафора. Это не есть сравнение, совершаемое актом нашего ума, который знает оба члена сравнения и приводит их в связь; два крайних звена сравнения известны в сравнении, и наш ум состоит в том, что мы сравнили одну известную вещь с другой известной нам вещью. Здесь речь идет о естественных метафорах, имеющих совсем другую структуру. И вот эти вещи, будучи в самой жизни, и в самой жизни будучи случаями в ней коммуникаций некомунизируемых миров, – ведь мир испытания Прустом чего-то на площади Сан-Марко сам по себе некомунизируем с посещениями Марселем Германтов; чтобы испытать, соединиться с площадью святого Марка, ему нужно снова стать тем молодым человеком, который ходил по этой площади перед собором, то есть не быть тем, который ходит на приемы к Германтам, – все эти коммуникации метафоричны по своей структуре, они есть случай естественной метафоры. (Встреча является естественной метафорой. Ведь, скажем, любовник, который

уступил мне место в трамвае, есть метафора моей жизни. Но – **естественная метафора**. Только я ее не знаю, более того – такая метафора, которую можно не знать. Но это – метафора моей жизни.) И об этих вещах Пруст говорит как о начатках искусства в природе. В самой природе или в самом мире есть начатки искусства. То есть в ней есть начатки таких организаций, которые подобны тем, которые специально создаются художником, чтобы испытать то, что можно испытать только путем сознательной метафоры. Метафору можно испытать или быть жертвой метафоры в жизни, а можно ее прожить (и если с нами случаются метафоры, подобные той, которую я условно вам описал, так лучше их прожить), и в каком-то смысле и жизнь, и произведение искусства могут быть проживанием метафоры. Кстати, это выражение есть у Эзры Паунда. Он вообще считал поэзию прожитой метафорой. Обратите внимание – **прожитая метафора**. Это, конечно, не есть жизнь согласно метафоре, а нечто совсем другое.

ЛЕКЦИЯ 17. 19.11.1984

Я начну с очень легкой цитаты Пруста. Она необязательна, я мог бы ее не приводить, но она просто напомнит вам тон нашего подхода к роману Пруста и тон трудовой жизни Пруста. В одном из писем к Жаку Ривьеру он писал следующее: «если бы у меня не было бы интеллектуальных убеждений, если я хотел бы просто вспоминать и дублировать мою жизнь вместе с самой этой жизнью», – что-то случается, и я вспоминаю о том, что случилось, и тогда описание воспоминаний есть дубль того, что произошло реально. (Очень часто у Пруста повторяется словосочетание – *double emploi*, двойное использование: один раз случилось в жизни, а второй раз я об этом вспоминаю и записываю воспоминание.) Так вот, если бы я хотел просто вспомнить и желал делать двойное употребление своей проживаемой жизни, – «я, будучи таким больным, каким я являюсь, не взял бы на себя труда писать». Эту тему Лени, которая помешала бы ему делать двойное употребление из проживаемой жизни, он повторяет в другом письме, в письме Роберту Дрейфусу (1913 год). И здесь тоже очень важное для нас предупреждение. Я как-то говорил, что в связи с Прустом сразу же возник культурный экран (что очень часто случается с крупными произведениями и авторами), мешающий нам воспринимать, что на самом деле написано. Как только вышел его роман, сразу возникли такие словосочетания, как «мельчайшее наблюдение», «тонкость деталей» и т.д. Доведенный до отчаяния Пруст неоднократно повторял: «...простите, я никакие детали не исследую, я не пользуюсь микроскопом, если я и пользуюсь каким-нибудь оптическим инструментом, то это скорее телескоп, чем микроскоп». Кстати, это есть в самом романе, в последней его части, а чаще повторяется в переписке и в интервью Пруста. «И там, где я искал законы, там другие видели детальное описание событий». Воспоминаний, деревьев, цветов и т.д. Точно таким же словосочетанием было «тонкая наблюдательность», хотя (в самом тексте романа и просто по сути это видно) Пруст предупреждал, что он вообще лишен дара наблюдения (того наблюдения, которым мы занимались на прошлом занятии). И вот в письме, которое я сейчас хочу процитировать, он пишет: «Мне говорят, вы хорошо подмечаете – нет, я ничего не подмечаю. Ведь ни разу ни один из моих персонажей не закрывает окно, не моет рук, не надевает плащ, не произносит формулу представления, и если есть в моей книге что-нибудь новое, то хотя бы вот это. Так это было хотя бы новым, и, кстати, это вовсе не воленамерно, просто я слишком ленив для того, чтобы писать вещи, которые нагоняют на меня скуку». Ну, скучно писать в романе, что господин X встал, подошел к окну и открыл его. Или господин X надел плащ. Скучно! Это, так сказать, маленькая затравка вам для более сложной

темы, которая у нас будет фигурировать в весьма головоломном виде, – для темы неизобразительности изобразительного искусства. И напоминание вам о божественной лени.

Теперь вернемся с этими напоминаниями к тому, чем мы занимались. Когда мы говорили о метафоре, мы выбрали путь, такой, чтобы элементы метафоры, в качестве естественных элементов, а не ментальных, видеть в самой жизни, в природе, в самой действительности. И в самой действительности, в самой жизни эти элементы метафоры, как элементы естественной метафоры существующие, являются зачатками искусства. Но я хочу повернуть это другой стороной и показать вам, что не только зачатками искусства, но и чем-то одновременно другим являются эти элементы. Я только помечу начало рассуждения таким образом, чтобы то, что я сейчас назвал элементами метафоры, можно было бы назвать и другим – неожиданным – словом, казалось бы, не связанным с метафорой, – словом **закон**. То есть, когда я говорю – элементы метафоры, в действительности, я могу заменить слово «метафоры» и сказать «законы действительности». Скажем, встреченный мною случайно любовник моей жены, с которым я пересекся в трамвае, при описании кем-то третьим этого факта есть метафора моей жизни. Но есть одновременно и закон моей жизни в том смысле, что то, что случилось в моей жизни сообразно не видимому мною перекресту (то есть не видимому мною факту), случается сообразно именно этому, а не сообразно тем ментальным картинам, тем идеям, в том числе идеям о любви, о братстве, которые копошатся в моей голове. То, что копошится в моей голове, будет нашим сознанием, ментальным миром, а то, что я называл элементами метафоры, будет чем-то, что содержит в себе закон моей жизни. И беда со мной будет тогда, если, говоря словами Пруста, я вижу факты и не вижу законов. Вот этот взгляд, организованный так, чтобы **видеть**, – смотреть на факт и видеть за ним закон, есть взгляд мыслителя или философствующего писателя, и одновременно он обладает структурой метафоры, потому что даже сейчас выразить то, что я сказал, я вынужден буду снова метафорой – строчкой из стихотворения Вильяма Блейка: «И видеть небо в чашечке цветка». Вы смотрите на цветок, малюсенький цветок, – а как должен быть устроен ваш взгляд, чтобы вы, глядя на цветок, видели бы целое небо или целый мир? Ну, точно так же за невинными фразами можно видеть не факты, а законы. Вот Альбертина сказала слово, которое обычно не фигурирует в ее лексиконе и заимствовано из другого слоя языка, – скажем, если бы она была грузинкой и употребила бы вдруг, в контексте какой-то фразы, слово «техавс» – «клево». Человек, видящий законы, а Пруст видел законы, в этом слове увидел бы закон жизни Альбертины, позволяющий ему поцеловать ее. То есть он прочитал в употреблении этого слова присутствие женщины, которую можно обнять и поцеловать, хотя ничто предшествующее не вело к этому эротическому акту. В социальной жизни случаются такие же вещи. Есть качество, которое не зависит от содержания, – скажем, качества языка говорят больше, чем содержание того, что есть на самом деле. Например, у языка газеты «Правда», независимо от того, есть у вас соответствующая контринформация или нет, есть несомненные качества, говорящие о том, что что-то не так. Просто язык таков. Но я задаю другой вопрос: у какого количества людей глаз устроен таким образом, чтобы так видеть? Первый вопрос, – и второй вопрос: как может человек вырабатывать в себе такое устройство глаза, чтобы видеть таким образом? Видеть небо в чашечке цветка, в жаргонном словечке Альбертины – целуемость ее (простите меня за неологизм), а в строчке или в слове газеты «Правда» увидеть что-то прямо обратное.

Значит, я заменяю слово «элементы метафоры» словом «законы». Я говорил – зачатки метафоры в действительности, а теперь можно сказать так: нечто,

что при полном осознании выступает перед нами как закон, действующий тогда, когда у нас как раз этого сознания нет, и вступающий в какие-то сочетания с другими обстоятельствами, плетущий какую-то ткань, которая по отношению к нам выступает как наша судьба, как объективные обстоятельства нашей жизни, которые мы не можем менять. Которые мы расцениваем как незаслуженные случайности, выпадающие нам на долю, хотя известно, что чаще всего мы впереди себя индуцируем те случайности, которые с нами случаются. Индуцируем характером своего предшествующего движения. *«Разве с этой точки зрения (с точки зрения метафоры) природа не сама поставила меня на путь искусства, разве она сама не была начатками искусства, она, которая часто позволяла мне познать красоту одной вещи только в красоте другой. Полдень Комбре – лишь в звоне его колоколов, утренники Донсьера – только в клокотании нашего водяного калорифера. Связь (то есть метафорическая связь) может быть малоизвестной, объекты посредственными, стиль плохим, но если этого нет, нет ничего».* Так вот, **нет ничего** – очень радикальное утверждение. Оно имеет в виду не только то, что нет художественного произведения (в этом случае оно звучало бы так, что если нет этой связи, если нет какой-то метафоры, то вообще нет художественного текста, художественного описания), – помня то, что мы говорили о метафорах в прошлый раз, когда с разных сторон высвечивали место метафоры в реальной жизни, мы должны теперь понимать, что **ничего** означает еще и следующее: **нет ничего и в нашей жизни.** И сейчас я одной только фразой поясню то, что сказал. Скажу так: у кого нет истории, у того ничего и не будет. Ведь вспомните, что, когда мы говорили о метафоре, мы говорили фактически о том, **что прожито**, мы говорили о том, что является следами совершенного человеком движения в мире. Он что-то делал. И когда мы говорим, что если нет этой связи – утренников Донсьера с клокотанием нагревающегося прибора, или полдня Комбре со звоном колоколов, – если этого нет, то, значит, впереди ничего не будет, потому что историю, как и мысль, нельзя начать. В ней можно только **уже быть.** История, как и мысль, обладает очень странным законом. В абсолютном смысле слова не существует некоторого абсолютного начала мысли или начала истории – мы никогда не находимся в положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Вот якобы мы стоим перед рекой и думаем: бросаться в реку или не бросаться. И именно так понимаем знаменитый принцип Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это совершенно ирреальная картина, никогда не случающаяся в нашей жизни, а в нашей жизни случается совсем другое. На самом деле принцип Гераклита гласит: **каждый данный момент мы уже в реке.** Мы **уже** шевелили руками, и это шевеление есть волна, перед которой мы теперь оказываемся. Но это шевеление означает и наличие истории. И вот сейчас историю нам нужно расшифровать. Что я сказал на самом деле и почему это связано с метафорой, почему это связано с теми коконами – вещами, событиями, местами, в которых упаковывается наша душа? Ведь фактически, сказав, что если чего-то не было, то ничего нет, я сказал следующее: наша история есть совокупность тех предметов – а такими предметами могут быть люди, места, вещи, – которые похитили у нас часть души и продолжают ее своим существованием. Но для того, чтобы похитить у нас душу, нам нужно было работать, переживать, страдать, волноваться, делать.

Ведь вы поймите, что в такого рода радикальной работе, какой является прустовская, всегда речь идет об остром переживании и оставлении позади себя проблемы, которая описана, задана дантовским символом. Вспомните, кто даже в ад не попал? (То есть получил самое худшее из всех возможных наказаний.) Люди, которые ничего не сделали, – ни добра, ни зла. Люди, не имеющие истории. Помните – девушка идет вдоль вагона, в котором сидит наш

путешественник Марсель, и продает молоко? Эта девушка переживается нашим Марселем как возможность полной жизни в чистом виде. Почему? Потому что он воспринимает девушку **вне** какой-либо связи с предшествующей своей жизнью, и перед лицом восприятия он сам – в полном составе своего существа. Вне каких-либо предрассудков, вне предзаданных представлений о том, что красиво, что некрасиво. Привилегированный детский момент – ребенок никак не задействован, его возможность восприятия не разделена на уже воспринятые и оцененные предметы, которые, чтобы воспринять новое, нужно было бы собрать и из них извлечь самого себя, высвободить свою способность восприятия из ее задействованности, и тогда оказаться свободным перед новым восприятием. И оно ведь тоже уложится в память, но только в том случае, если человеку потенциально было дано полное присутствие. (То есть он волновался, решал, переживал, радовался и страдал.) Тогда это может закрепиться, как в коконе, в материальной оболочке воспоминания и потом всплыть. Но представьте себе, что он не жил, – так ведь то, что не жило, не может ожить. Вот что я называю **иметь историю**. Иметь – мы имеем историю в том смысле, что мы **приходим в движение**. Мы двигаемся в мире. Но двигаемся (и так устроены законы нашей сознательной жизни) в мире, еще не успевая расшифровать, понять то, что с нами происходит. И поскольку мы не успеваем расшифровать и понять, постольку содержание нашего переживания или нашей мысли может слепиться с совершенно инородным ему предметом. А на место высвобожденного могут прийти штампы, стереотипы культуры, нашего рассудка, общих представлений. Но шанс, что когда-то в будущем вы сможете выскочить из предрассудков, заложен только там. Если вы пережили и если объекты похитили у вас содержание переживания, – похитили, потому что оно еще не было вами понято, проработано, – но все-таки **оно было**; а оно было только потому, что вы были озабочены своим существованием и были соотнесены с какими-то невидимыми и высокими для вас силами. Ведь для того, чтобы ребенок запомнил, с точки зрения психоанализа, любовную сцену, которую он не понимает, но которую видит, нужно, чтобы он думал, волновался, чтобы это было бы для него вопросом существования, на который у него ответа пока нет. И я хочу сказать, что такого рода работа есть формирование и образование очень странных материальных образований, представленных или являющихся нашими телами, похожими по своей структуре как раз на метафору. Или на метонимию (метафора – это связь разнородных объектов, а метонимия – это замещение и обозначение отсутствующего объекта каким-то совершенно другим предметом).

Я хочу сказать, что, когда мы движемся, мы отрачиваем себе тело, которое потом очень часто описывается, – например, известно, что существует сексуальное отклонение, заключающееся в том, что если мужчине не пощекотать пятки, то он не может получить сексуального наслаждения. Я вам сейчас привожу не шокирующие примеры, а примеры того, о чем нужно думать, потому что даже за пяткой, так же, как за чашечкой цветка, можно и нужно увидеть законы, которые шире и значительнее этих пяток или чашечек. Дело в том, что пятка стала органом, телом возможной чувствительности и возможной реализации полового желания у данного человека. Нарботанное им тело – такое же, как пирожное «мадлен», сохранившее в себе воспоминание о Комбре и содержащее в себе наши возможности взволноваться теми предметами, которые запечатаны в этом пирожном. Ведь я говорю не о пустых воспоминаниях, а об источниках наших волнений, нашего понимания или непонимания. Почему мы понимаем что-то, почему не понимаем? Почему видим, не видя? Смотрим – и не видим того, что перед нашими глазами. Ведь этого нельзя объяснить глупостью или, наоборот, умом данного человека. Нельзя описать случайно, здесь действуют какие-то законы. Точно так же

человек, у которого ушли в пятки его волнения, его переживания, его мучительный запрос о своем собственном существовании и о смысле, – ведь бессмысленно что-нибудь видеть в том, что он обращается к пятке, а не к тому, к чему мы обычно обращаемся для того, чтобы удовлетворить свои желания, – видеть в этом какой-то злой умысел, исправимый тюрьмой или проповедью. И вот мир Пруста, совершенно независимо от этих крайних патологических случаев, которые я приводил просто в качестве иллюстрации, мир Пруста и мир человеческого сознания, описываемого Прустом, полон такого рода вещами, которые содержат нашу чувствительность, являются ее органами, или – телесными образованиями, которыми мы обросли. Они есть носители истории, всего пережитого нами; но я подчеркиваю слово «пережито» – переживается не само собой не то, что случается, а то, что мы **пережили**, то есть над чем мы работали, от чего мы не устроились, чтобы не сделать ни добра, ни зла, были нейтральны (если мы устроились, то мы даже в ад попасть не заслужили), и в чем и с чем мы пришли в движение. Приведу другую цитату Пруста, чтобы как-то бросить свет на проблему, которую я сейчас ввел. Во многих местах романа, которые, кстати, перекликаются между собой по законам симметрии, – симметрии или символические соответствия есть не только в нашей сознательной жизни, они есть еще и в самой композиции романа (разные части романа отсылают одна к другой), – в этих местах отсылки почти всегда фигурирует одно и то же слово для обозначения этих наращенных тел или наращенных вещей. Фактически то, что является материалом в романе Пруста, есть новая психология. В психологии Пруста мы обладаем не тем телом, которым якобы мы обладаем. Живет в мире не это тело, а какое-то другое тело, которое можно видеть, если соединить его с пирожным «мадлен» или с колокольнями, или с этой пяткой. Пруст все время говорил, что к видимому миру нужно присоединить мир желаний, чтобы понять что-то. Вот мы смотрим на мир, мы хотим его понять – мы можем его понять, если мы присоединяем к видимому невидимый мир желаний. Но мы должны понять, что в этой психологии слово «желание» не обозначает рассудочное, ментальное, какое-то гомункулусное состояние в нашей пустой голове. Слово «желание» всегда указывает на желающие тела, на тела желания. А они, повторяю, есть продукт нашей истории. Так вот, во всех этих симметричных или корреспондирующих местах романа к такому роду явлений применяется слово «вазы», «замкнутые вазы». Очень выразительное слово. **Запечатанные вазы**. Потому что для всякого человека, которому читались сказки, слово «вазы» связано, конечно, с духом, который можно выпустить из вазы. То есть – с какими-то таинственными вещами, которые в вазе заключены. Запечатаны. Так ведь? Джин из вазы выходит. И это не случайный выбор у Пруста, потому что он имеет в виду именно такого рода запечатанность. Например: «Час этот был не час, а запечатанная ваза, содержащая запахи, звуки, климаты». И каждый раз запечатанность вазы (или термин «ваза») фигурирует тогда, когда нам нужно отличить подлинное переживание, которое среди прочих своих свойств обладает свойством обязательно иметь телесного носителя, такого, который не есть наблюдаемые нами тела, – каждый раз в контексте отличия подлинного впечатления от того впечатления, которое мы волепроизвольно пытаемся себе представить. Есть разница между впечатлениями, связанными с такого рода телами желания, и чем-то – какой-то призрак в нашей голове, картину которого мы хотим волепроизвольно себе составить или представить себе. Вот видите, настолько этот пункт фундаментален и необычен для психологии, что я даже затрудняюсь терминологически пояснить вам эту разницу между ментальной картинкой чего-то и самим этим «чем-то», что не есть вещь, что есть тоже представление, но не ментальное. И вот Пруст пишет: «...я слишком хорошо понимал, что ощущение неровных плит, жесткость салфетки, вкус

«мадлен», то, что они пробудили во мне, не имело ничего общего с тем, что я с помощью единообразной памяти пытался вспомнить о Венеции, Бальбеке, Комбре; и я понимал, что жизнь можно оценивать как посредственную, хотя моментами она и представлялась такой прекрасной, потому что в первом случае мы ее взвешиваем и обесцениваем на основе чего-то совсем другого, чем она сама, на основе образов, ничего от нее не сохранивших...», – различием между каждым из действительных впечатлений, расхождение которых и объясняет, почему единообразной краской нельзя нарисовать что-нибудь в жизни подобное; единообразной памятью нельзя воссоздать картину памяти, хотя бы потому, что предметы памяти заключены в вазах, а единообразная память, выступающая как средство, безразличное к достижению цели, не может ухватить различия ваз, то есть различия того, что в вазах заключено. «Это различие было, по всей вероятности, обусловлено тем, что малейшее слово, сказанное нами в тот или иной момент нашей жизни, самый незначительный жест, сделанный нами, был окружен и нес на себе отражение вещей, которые логически к нему не имели отношения, были отделены от него умом, которому нечего было делать с ними в целях рассуждения...». Я на секунду прерву себя: пример, который я приводил, говоря о пятке как органе желаний, – случилось сексуальное переживание, но оно окружено – как жест, как побуждение – вещами, не имеющими никакого к нему отношения. И дело в том, что как раз в эти вещи оно и может уйти, пока не понято и не освоено. И скорость ухода в окружающие вещи больше, чем скорость понимания. Пока мы поймем, что с нами происходит, идет вот такая укладка событий, состояний и переживаний в вещах, не имеющих, с точки зрения ума, никакой логической связи с нашими состояниями. И ум не мог бы воспользоваться этими вещами для рассуждения. (Вот вы наблюдаете ребенка, рассуждаете о сексуальном желании, и для нужд этого рассуждения нет никакой необходимости обращаться к пятке. Ну, какое она с точки зрения ума и логики может иметь отношение к происходящему? Никакого. Но дело в том, что она никакого отношения не имеет к происходящему и в уме самого ребенка тоже. Но мир, повторяю, не ждет, пока смыслы развернутся в уме ребенка.)

Возвращаюсь к цитате Пруста – «...был окружен и отраженно в себе нес вещи, которые логически не имели к нему отношения...». Теперь внимательно следите за текстом, потому что вообще прустовские фразы чудовищно сложны, читать их еще можно, потому что можно возвращаться глазом, а когда на слух ты должен воспринимать, то возвращение невозможно; так вот, жест окружен какими-то вещами – жест, любое слово, но при условии, что слово сказано или подумано, что жест сделан или намечен внутренне, – «...в гуще которых – вот тут розовый вечерний отсвет на увитой цветами стене загородного ресторана, ощущение голода, жажда женщин, удовольствие роскоши...» Все сопутствующие и логически не связанные вещи, просто характеризующие мое общее состояние в тот момент и общую ситуацию, когда я испытываю какое-то дискретное впечатление или желание. «...голубые волюты утреннего моря, обволакивающие музыкальные фразы...» – музыкальные фразы попали в волюты, – ну, естественно, вы сидите на концерте, слушаете музыку и смотрите в потолок, а там – волюты! Или вы смотрите на волны во время исполнения музыки, и волны тоже образуют волюты, завиточки белые. И тут гениальная метафора у Пруста – «...которые частично из них выступают, как плечи русалок». Материальная и крепко сбита метафора. Из пены морской, из волют голубых волн белые плечи русалок частично выступают. (По этой метафоре можете представить себе все, что я говорил перед этим. И даже из пятки выступающее наше половое желание. Пятка тоже – волюта.) «...жест, простейший акт остается заключен как в тысяче закупоренных ваз, каждая из которых заполнена вещами совершенно разного цвета, запаха, температуры;

не говоря уже о том, что эти вазы, расставленные по всей длине наших годов, в течение которых мы не переставали меняться, хотя бы только в грезах и в мысли, расположены на весьма разных высотах и вызывают в нас ощущение причудливо различающихся атмосфер». Вот представьте себе все это, и более того – я в прошлый раз ввел тему параллелей, – мы у Пруста плывем на не пересекающихся параллелях. Пока мы имеем закупоренные вазы, вазы желаний – назовем их так, вазы нашей жизни или вазы наших историй, мы плывем на параллелях, где даже воспоминания любящих друг о друге не одни и те же. Скажем, Марсель помнит какие-то слова Альбертины, и они застряли у него, как камень, в голове, а она их не помнит и помнит совсем другое. «Наша параллельная жизнь была похожа на те аллеи, где симметрично, от места к месту, расположены вазы, но не напротив друг друга». Значит, мало того, что по всей линии траектории нашей жизни, вдоль наших годов, как вдоль аллеи, расставлены вазы или наши тела... Тела желаний, те, которые мы нарастили и в которых упаковано что-то. Мало того, что они расставлены еще и на другой параллели; конечно, у всех – параллельные вазы, и одно и то же событие вошло в эти вазы, эти параллели вобрали в себя одно и то же какое-то событие... Но к тому же еще эти вазы могут быть вовсе не симметричны. То есть на линии относительно другой линии они расставлены не против друг друга.

Так, продолжаем. Для паузы в нашем напряжении я верну вас к литературной проблеме метафоры, процитировав кое-какие места из Пруста, которые говорят лишь о том, как эти вещи, которые мы ищем в жизни, используются в написании и создании литературного текста, где они являются особой проблемой искусства. Значит, обо всех этих вещах, которые расположены в вазах, перекликаются, Пруст говорит, что «в произведении искусства, если бы я решился на него, я понимаю, что я должен был бы выполнить последовательные части в материи, весьма отличной от той, которая подошла бы к воспоминаниям утра на берегу моря или к полуденным воспоминаниям Венеции, если я хотел нарисовать эти вечера Ривбея, когда в столовой, выходящей в сад, жара уже начинала разваливаться, спадать, никнуть, когда последнее сверкание еще освещало розы на стенах ресторана, а последние акварельные краски дня были еще видны в небе, – выполнить это в материи дистинктной, новой, в материи особой прозрачности и звучности, компактной, освежающей и розовой». А вот в связи с разницей высот – эти вазы, у них совершенно разная атмосфера, они на разных высотах расположены вдоль годов нашей жизни, – Пруст пишет: «Но между воспоминаниями, которые я последовательно имел о Комбре, Донсьере, Ривбеле, я чувствовал в этот момент расстояние между разными мирами, сама материя которых была бы иной». Помечаем: материя этих ваз или материя миров, определенных вазами желаний или телами, о которых мы говорили, – **материя** разная. «И если бы я решил в какой-нибудь работе имитировать ту материю, в которой мне представлялись отлитыми мои самые незначительные воспоминания о Ривбеле, то – субстанцию, до этого аналогичную шершавому и темному песчанику Комбре, мне понадобилось бы прошить розовым, сделать ее вдруг насквозь прозрачной, компактной, освежающей и звучной». То есть такая переключка ваз и воспоминаний, которые, как джин, из этих ваз выскакивают, перед тем, кто хочет их описать, ставит задачу выполнить описание совсем другой материей. Не в материи Комбре или Ривбея, не в песчанике Комбре, а в другой – **прозрачной материи**. То есть в такой, которая прозрачно могла бы нести в себе синтетический смысл переживаний, случавшихся в разное время и заключенных в разные материальные вазы. Это уже – на уровне художественного творчества.

Но вернемся пока к уровню жизни, потому что уровень творчества – это и раскупорка в нашей жизни этих ваз. Эти вазы еще должны у нас прийти в

движение. А пока мы находимся в вазах, которые расставлены на параллельных аллеях и даже не всегда одна напротив другой. Одно и то же событие – на одной параллели у человека ушло в одну вазу и на параллели другого человека, связанного с первым (например, у возлюбленных), ушло в другую вазу. И вот мы еще должны эти вазы, чтобы было бы возможно распространение жизни, коммуникации жизни, сообщение жизни, привести в движение. Но перед тем как они пришли в движение, мы сталкиваемся с очень забавными свойствами такого вазового или атомарного устройства нашей жизни. Эти вазы ведь есть как бы полные атомы нашей сознательной и психической жизни, **замкнутые в себе**. Замкнутые в себе, как по отношению ко мне самому в следующий момент времени, скажем, через несколько лет, так и по отношению к другому человеку. Во мне может силой произвольного воспоминания совершиться соединение или перекличка замкнутых в себе атомов. **Силой произвольного воспоминания**, а не рассудочного ментального описания или реконструкции. Какой же силой происходит это с другими людьми? Скажем, в моей голове промелькнуло произвольное воспоминание – а с другими людьми как? На их параллельных линиях? Как я с ними могу перекреститься? Ведь метафора – непонятая и непрожитая – в самой жизни будет говорить обо мне, но я не ею буду жить. Она будет нести картину законов, по которым со мной что-то случается, а со мной будет продолжать случаться, как с бараном, все то же самое. Просто я не буду знать этих законов. Вот какие действительные проблемы перед нами здесь стоят. (Но пока вернемся к свойству этих ваз, которые нам мешают – пока они не поняты, войдем в это движение и в сообщение по всему широкому жизненному пространству.)

Когда происходило переживание в допущении, что всегда – если со мной происходило что-то человеческое, знал я об этом или не знал, полностью для меня был ясен его смысл или не полностью, – это человеческое могло произойти только при условии: я был в полноте всего моего существа (ну, как ребенок, допустим), и тогда все, с чем я имел дело, было предметом веры и было индивидуальным, ни на что другое не похожим предметом. Ну, я оговорю сначала слово «индивидуальное». Понимаете, ведь роза, которую ты описываешь, не есть та роза, для которой существуют тысячи и миллионы экземпляров. Точно так же, как женщина, которую ты любишь, не есть женщина как представитель класса женщин, где есть тысячи подобных – таких, каких ты мог бы полюбить. И то, что я сейчас сказал, в нашей традиционной языковой символике очень часто обозначено, как ни странно, словом «золотой век» или «потерянный рай». Беда в том, что это словосочетание указывает не на то, что было реально, а указывает на **свойство определенных переживаний**, и поэтому Пруст говорит каждый раз, что рай бывает только потерянный. В данном случае под «раем» мы должны понимать полноту своего собственного присутствия. Но дело в том, что если ребенок в своей полноте присутствовал и реагировал и видел индивидуальность вещи, то есть верил в нее, как во что-то уникальное, то ведь скорость этой веры меньше и скорость движения по линии этой веры меньше, чем скорость мира, готового, рассудочного мира, закодированного в языке, который тебе приносят взрослые и который с большой скоростью становится на место твоего, еще по своей линии не прошедшего переживания. Например, ты пережил уникальность розы, а в языке ты узнал значение «розы». А значение розы есть значение тысячи экземпляров розы. У тебя уникально выделяющееся сенсуальное или сексуальное чувство, а в языке ты узнаешь о женщине как о представителе класса женщин, имеющих какой-то набор перечислимых свойств. Дело в том, что один мир становится на место другого. О первом Пруст говорит так: «...это чувство я потерял давно, а именно, чувство, которое заставляет нас

рассматривать какую-то вещь не как спектакль, а верить в нее, как в существо, не имеющее никакого эквивалента». Или – не имеющее себе равного, подобного, и тем самым несводимое в своей сущности. Теперь я хочу пометить один момент: **это было, если** было. Я сказал; если было что-то человеческое, то **было** так, или – если мы люди сейчас, то обязательно что-то человеческое или первично человеческое должно было быть в нашем детстве. Но, как я сказал, – на место придут слова, и мы будем иметь дело со словами. И тогда начинаются наши драмы. Почему? По одной простой причине. Скажем, в языке будет слово «Рахиль», а, допустим, я испытал какое-то уникальное чувство по отношению к Рахиль, и сам факт наличия в языке слова «Рахиль» требует и предполагает поиск в мире эквивалента или референта этого слова. Слово «Рахиль» обозначает Рахиль как таковую, саму по себе, как она есть. Так говорит язык, в котором существуют значения. Но на самом деле (что мы уже установили) не существует Рахили как таковой. Это ложная проблема и ложный поиск того, что существует Рахиль в себе, об этом говорит лишь язык в целях своей собственной композиции. Он есть набор референтов, указующих на объект, и мы, не разобравшись в уникальном чувстве, помещаем на него уже в языке существующее слово «роза» или «Рахиль» и потом судорожно ищем **действительность** этого слова, которой **не существует**. И никогда не существовало. Начинается то, что называется фетишизмом слов и психики. Или слово «Германты». Скажем, маленький мальчик видит в герцогине Германт уникальное существо и переживание, видящее индивидуальность, он описывает так: «Когда мы молоды, а именно в возрасте моих прогулок в стороне Мезеглиз, наше желание, наша вера сообщает одежде женщины индивидуальную партикулярность, несводимую и от всего отделенную сущность». Это – высокое переживание. Дай бог нам видеть такими глазами мир.

Но язык мгновенно подсовывает на это место совершенно другую проблему, не ту, которая там была. Он уже этот мир населяет (имя Германт) целым миром мечтаний и грез об аристократическом прошлом Франции, об особых качествах носителей имени Германт, как будто все эти качества содержались в имени, или факт этого имени, наличие этого имени, владение этим именем, заставлял бы меня судорожно гнаться за тем, чтобы за этим именем найти объект. А именно – благородных аристократов. Как говорит Пруст – розовых, с орлиным носом и живущих совершенно особой, какой-то сказочной жизнью. Жизнь каждый раз будет показывать, что ничего этого нет и что за этой внешностью скрывается мелкий расчет, низость души и т.д. Все эти разочарования... Но эти разочарования не имеют отношения к доказательству того, что такое аристократия, и слово «Германт» не имеет отношения к поиску сущности объекта. Просто сам факт, что в нашем языке есть слова, имеющие референты, обязывает нас, имея слово, искать его референт как таковой. И тем самым оказывается, что расстояние **между**, о котором я говорил, – то, которое между мной и моим собственным умом, между моим умом и вещами, между двумя умами, – это расстояние, пока оно потоком жизни проходило или пока оно **еще не было пройдено** – охвачено потоком живого, – оно уже наполнилось значениями из другого мира, напичкалось мертвыми инертными остатками. Такими, как, например, имя Германт, за которым я ищу что-то, а оно мертво, и ничего за ним нет. А вот то, что было – эти реальные переживания (потом скрывшиеся, и за неимением скорости времени ушедшие в смежные, случайные объекты, в коконы – людей ли, имен, мест), – когда это было, тогда была для нас фундаментальная вещь. То, что я называл работой. И из этой работы нам нужно вытащить одно очень важное ее свойство. Скажем, со мной случается что-то, что я запоминаю. Дело в том, что в тех актах, которые происходят в полноте моего присутствия, где желание еще не раздробило мир, – когда

желание поселится на телах желаний, то мир будет раздроблен (ведь если желание поселилось в пятке, то его выселить оттуда и объединить с единством своего собственного существа почти что невозможно, или, во всяком случае, требует специальной лечебной процедуры), – так вот, пока этого не произошло, был, как выразился бы Декарт, **акт**, а не *passion*. Французы различали – и это отличие Пруст унаследовал – акт и *passion*. *Passion* – это акт или **действие претерпевания** (в русском языке этот оттенок исчез), и когда говорят по-французски *la passion de Jé sus-Christ*, страсти Христовы, то имеются в виду претерпевания Христовы. Страсти – не в смысле желаний, а – претерпеваний. То есть все человеческие действия – в той мере, в какой они содержат в себе желание, а содержа желание, они устремлены в будущее, – содержат в себе претерпевание. *Passion*. А акт не имеет никакого отношения к будущему. Если вы помните, я вводил категорию вечных актов. То, что не имеет бывшего и не имеет будущего, то есть не имеет смены состояний, есть акт. В мире существуют такие акты. В ядре нашей сознательной жизни заложены именно акты, а не *passion*. В качестве примера такого акта я приводил акт того смысла, который выполняется в агонии Христа, которая, следовательно, длится вечно. О ней нельзя сказать, что она случилась, что она имела место. Если мы посчитаем, что это случилось, и пометим знаком прошлого этот акт, как в прошлом есть, например, камни и скалы, то наша сознательная жизнь разрушится. Условием функционирования нашей сознательной жизни является наше движение или пребывание **внутри вечно свершающегося акта**, о котором нельзя говорить ни в терминах бывшего, ни в терминах будущего. То же самое свойственно нашим моральным состояниям. Например то, что мы переживаем под видом раскаяния, есть переживание такой проблемы, к которой неприложим термин «бывшее», потому что если приложить термин «бывшее», то раскаяние не имеет смысла. Сделанное нельзя сделать «небывшим», нельзя сделать «несделанным». И бессмысленно волноваться и беспокоиться. А человек волнуется. Почему? А потому что внутри так называемого раскаяния (или чего-то, внешне выглядящего как раскаяние в чем-то конкретном) совершается какая-то другая работа. Совершается бытие и установление смысла внутри бесконечного акта, который никогда не завершен и в котором не сменяются никакие состояния. В этом смысле он не устремлен в будущее, он не устремлен в прошлое. Так вот, поскольку совершались акты, – если ребенок переживает что-то, относящееся в принципе к его существованию, к чему-то первоначально человеческому, то он – поскольку первоначально человеческое замкнуто на эти вечные акты – именно внутри этих актов что-то делает, такое, что может помнить. Этим я хочу сказать, что акт памяти не есть пассивное запечатление того, что с тобой произошло. То, что запомнится, – запомнится, если совершилась **инскрипция**, то есть – если создана материя того, что в будущем будет памятью, где в самом акте впечатления инскрибируется, вписывается в какую-то материю сама возможная структура или сама возможность воспоминания этого. И поэтому Пруст в одном месте говорит совершенно мистическую фразу в связи с этой верой. «То ли реальность складывается в памяти, то ли у меня иссякла вера, которой я обладал в юности, вера в индивидуальность и уникальность вещей».

Реальность складывается в памяти. Очень странное утверждение. В другом месте Пруст обмолвкой скажет как бы о чисто ментальном характере реальности. То есть сама реальность чисто духовна по своему характеру, Значит, я подчеркиваю, – то, что совершается под видом запоминания, – не воспоминания, а **запоминания**, есть какая-то активная работа, которую я назвал инскрипцией; и это есть в момент контакта с объектом, – поскольку там был акт, а не просто *passion*, в нем, если была инскрипция, завязывается и складывается реальность. (Конечно, я сейчас непонятные вещи говорю, но, ей-

Богу, я в этом не виноват, просто так получается, что я движусь на грани непонятого в принципе. Не мною, не вами – не понятого, а вообще непонятого. Но поскольку я, так же как Пруст, человек ленивый, постольку ничто, что не обладает свойством быть на грани непонятности, не может привести меня в движение. Мне скучно и неинтересно.)

Сейчас я ведь ввожу категорию памяти, категорию времени и пространства у Пруста. Это и есть в действительности то, чем я занимаюсь. Пространство я уже ввел: я говорил об особом рода телах, которые локализуют и держат на себе наши ментальные, психические и сознательные состояния. А тела – пространственны. Конечно, это пространство мы видим, если к видимому миру присоединяем мир желаний. Я говорил о времени, а дальше уже буду пояснять, что я имею в виду под временем и памятью. Так вот, пример – сложный сам по себе, но в то же время доступный нам, потому что мы его на своей шкуре пережили, или на шкуре наших отцов и дедов, скажем (для вас – дедов, а для меня – отцов). Вы знаете, что время имеет хронологические метки – оно расположено или движется по линии, размеченной датами. Но когда мы в философии или в литературе, в нашей сознательной жизни говорим о времени, мы задаем какой-то другой вопрос. Скажем, есть дата – и мы задаем вопрос **смысла**. То есть мы очерчиваем те ситуации, где со смыслом можно употребить слова «произошло тогда-то» и поставить дату. Произошло в детстве или в таком-то году. Ну, скажем, что-то произошло в 1937 году. Я задаю вопрос: в каком смысле можно сказать, что что-то произошло в 1937 году? Я веду сейчас к иллюстрации тезиса о том, что реальность складывается в памяти. Возвращаюсь: в каком смысле мы можем сказать: что-то **произошло** в 1937 году? А мы живем в 1984, и тем самым это позади нас на добрых 50 лет. Если взять реальные сцепления наших переживаний, реальные сцепления наших реакций, реальные устройства того, как мы видим наши гражданские дела, то все, что происходило в 1937 году, происходит – в смысле возможности наших душ – и сейчас. В наших реакциях, в наших душах, в том числе и в том, чему мы не научились на опыте 1937 года. Все, что там происходило в своих сцеплениях, живо и может снова произойти. Тогда я спрашиваю: в каком году расположены те события, которые происходили в 1937 году, или – в каком месте времени они произошли? Я не могу утверждать, что они произошли в 1937 году. И то, что складывается как реальность, – та реальность, в которой мы живем, реальность как нечто, в чем независимо от нас могут случаться какие-то вещи, – она определена во многом тем, чего мы не сделали в 1937 году или по отношению к 1937 году. То есть тем, чему мы не научились. Определена тем опытом, который мы не извлекли. Ясно, конечно, почему мы не извлекли. Мы не извлекли, потому что не имели публичного пространства для извлечения опыта. А опыт извлекается только на агоре, только публично. Там шар извлекаемого опыта должен покатиться и обрасти мясом и плотью – наша мысль нуждается в мускулах, и этот шар должен обрасти, покотившись в резонансных отражениях. Но я задаю снова тот же вопрос. В момент, когда случилось и мы якобы запомнили это, какую инскрипцию мы делали в своем собственном теле? В своей чести, в своем достоинстве или трусости – где инскрибировалось то, что потом помнится, то есть является возможностью, которая может быть актуализирована? Что может быть актуализировано? Боюсь, что в 1984 году может быть актуализировано как раз то, что вызывает у нас ужас, когда абстрактным умом мы вспоминаем 1937 год и считаем, что это произошло тогда. Может оказаться – мы **так** делали (так инскрибировали или не инскрибировали), так извлекали опыт или не извлекали, – что мы реально живем не в 1984 году, а в 1937 году. И здесь **память** и **время** являются операторами всей массы наших психических возможностей и событий, и **они** помечают, где мы находимся во времени, а не хронологическая дата. По

хронологии 1937 год – где-то в давнем прошлом, а в реальности он расположен временем-оператором. То есть тем, которое живет в измерении или задает измерение, о котором Пруст говорит так: это непредставимое и чувственное измерение существует. Так же, как существует измерение пятки. В данном случае я беру пространственную сторону этого невидимого, но чувственного измерения. (То есть доступного, тем не менее, чувствам. Телесно организованного. Вы знаете, что на наши чувства могут действовать только телесные организации. Ничего другое действовать на наши чувства не может.) И тогда мы начинаем понимать, о каких вещах говорит Пруст, мечтающий о счастье, о счастливых ощущениях потерянного рая. Или – когда он с таким восторгом предается ощущению вневременной радости – когда мы понимаем, что, например, для того, чтобы извлечь временной опыт того же самого 1937 года, нужно быть способным выпасть из времени. Извлечение временного опыта происходит **во вневременном измерении**. Вот эти проблемы, ничего общего не имеющие ни с писательством, как мы его себе представляем, ни с академической психологией, как мы ее представляем, все эти вещи у Пруста сконцентрированы вокруг одного стержня, вокруг одного слова – **реальность**. Пруст говорил (в одном из своих писем или интервью, я не помню точно), что вся его философия сводится к тому, чтобы реконструировать и оправдать реальность. То, что есть на самом деле. Но то, что есть на самом деле, – очень сложная вещь, сложность которой видна тогда, когда ты должен почти заболеть проблемой своей собственной реальности.

Значит – что мы сознаем? И сейчас вы должны сосредоточиться, чтобы уловить это, уловить трудно, потому что окна нашей души – каждого человека, не вашей только, но и моей, – замазаны, мы не чувствуем того, что прямо перед нами, и заставить нас чувствовать и понимать трудно. Повторяю, основное прустовское переживание таково: в той мере, в какой я есть человек и существо, сознающее, в смысле: в своей голове имеющее ментальные состояния, ментально осознаваемые чувства, ментально осознаваемые мысли, ментальные картины чего-то (с таким же успехом все это могло кому-то другому сниться), – как носитель этого, реален ли я? Где я? Кто я? Вот проблемы Пруста. То есть – в каком смысле, в каком реальном смысле вообще и когда можно сказать: я пережил, я почувствовал, я увидел, я понял, я запомнил, я вспомнил и т.д. Набор фраз, которые, если начать думать, сначала кажутся тебе эпифеноменом других реальных физических событий в мире. А то, что в твоей голове, и то, что в тебе, это – пар, туман, испарения. Эпифеномены, как говорят. А Пруста интересует именно это: **насколько я реален** в качестве сознающего, чувствующего, понимающего. Мыслящего или пишущего. Вот такая проблема реальности перед ним встает. Поэтому я бы сказал так; первая фигура перипетий встреч – это сам автор, то есть всякий человек, который взял перо в руки или мысленно занят литературным, творческим или мыслительным трудом. Сейчас я поясню свою фразу. Помните – я вижу танцующих девушек, которые прикасаются одна к другой грудью. Здесь важно повернуть наше вопрошение, прежде чем спросить о том, что в действительности происходит, а кстати, на это уже есть ответ – девушки танцуют, «шерочка с машерочкой». Обыкновенный конвенциональный акт, как я говорил. Нужно спросить: кто я, видящий это? Насколько я сам реален? Если я вижу танцующих девушек, знаю, что вижу танцующих девушек, то я сам – привидение. Точно так же я – привидение, если я вошел в трамвай, молодой человек поднялся, уступил мне место, а он любовник моей жены. Поверните вопрос так: я в качестве видящего и чувствующего, – ну, встал молодой человек и уступил мне место, благодарю вас! – я – кто? Привидение. Пар. Или – я взял перо в руки и описываю: вошел в трамвай, или открыл окно, или помыл руки. В качестве совершающего этот акт – кто я? Что я мыслю? Я,

например, думаю о том, что кто-то открыл окно, помню и записываю, что господин X подошел к окну и открыл его, потом помыл руки. Кто я – в качестве делающего это? То есть сам пишущий книгу есть в этом смысле элемент жизни и может быть таким же привидением. Тем привидением, которое мы увидим в перипетии встречи третьим глазом. В прошлый раз вы напомнили мне о кино Отара Иоселиани: мы смотрим и видим, мы знаем эту даму в черном, мы знаем этого убийцу, хотя он и сбрил бороду, и мы видим перипетии встречи, в которой дама смешна, убийца абсурден. Теперь отвлечемся от того, что видим мы, и представим себе, что мы сами находимся в качестве пишущих или мыслящих о такого рода ситуациях. Вот такая проблема у Пруста. И сказать ему, что раз ты мыслишь, и мыслишь о предметах, а предметы существуют, то ты тем самым уже – в реальности, поскольку ты мыслишь о реальных вещах и пытаешься их описать, – этого нельзя сказать. Почему? Во-первых, проблема Пруста состоит не в том – есть ли в реальности вещи, которые я вижу, а – **существую ли я**, насколько реален я, видящий их такими, какими я вижу. Потому что если я вижу молодого человека, а не любовника моей жены, то я – ирреален. Да и сказать ему, во-вторых, нельзя, что, вот же, предметы есть, ты их видишь, осознаешь, потому что Пруст ответил бы так: между мной и предметом всегда лежит каемка сознания, и эта каемка сознания отделяет меня от предмета. Сознание, что я вижу предмет. Вот в этом вся проблема. Теперь я попробую расшифровать эту фразу, которая поначалу кажется непонятной.

Дело в том, что – я вижу предмет, а сознание, что я вижу предмет, вносит мои знания об этом предмете, – эти знания отделяют меня от самого предмета. Так же, как эти знания отделяют Марселя от предмета – соприкосновение женских грудей; он знает и знает это – как конвенциональный акт. Он видит предмет и сознает, что его видит, и в этом сознании как раз содержится весь прибежавший на место предмета мир. Вот та большая скорость (о которой я говорил), которая бежит на место наших еще не продуманных восприятий, имеющих зазор, и в этот зазор вдруг уместилось – что? Кромка, кайма, обрамляющая предмет и отделяющая меня от самого предмета. Кайма – чего? – **сознания, что я вижу предмет**. Сознание. Ведь мои глаза видят танцующих девушек, и если бы не сознание, что я вижу танцующих девушек, то, может быть, это впечатление могло развиваться совершенно иначе. В том числе по его истинному смыслу. У меня на глазах совершается сексуальный акт, поскольку, как известно, источник наслаждения – это грудь. (Ну, сейчас неважно, так это или не так, не имеет значения, насколько, медицински или биологически это установимо.) Значит, сознание в том числе содержит в себе и причинную терминологию. Я **вижу** танцующих девушек, и **это** есть причина моего состояния, видения, и **это** отделяет меня от предмета. Поэтому для Пруста проблема впечатлений и их запечатлений в памяти есть проблема – феноменологическая. Проблема феноменологического взгляда, в котором устранено сознание видения предмета, содержащего причинную, объясняющую терминологию. Потому что, когда я вижу предмет, одновременно я ведь сознаю, почему я его вижу и почему я его воспринимаю. Так ведь? А оказывается, это – граница. Но я подчеркиваю сейчас еще один элемент. Вся прустовская проблема – как человека – он с остротой осознал свою **ирреальность** в такого рода положениях, в такого рода состояниях. Ирреальность себя – видящего так. Осознавая ирреальность – потому что она есть, о ней можно говорить абстрактно, а можно остро осознавать, иметь острое чувство сознания этой ирреальности. И вот, имея это острое чувство сознания, он искал столь же остро реальность, то есть – уместение самого себя в мир с тем составом чувств, представлений и мыслей, которые якобы этим миром в тебе порождены. Как мне уместиться в нем с моим уникальным ощущением, которое не сметено, не прикрито объективирующим взглядом? Взглядом, который утверждает, что в

мире происходит просто обыкновенный конвенциональный акт танца одной девушки с другой. И это сознание есть одновременно определенное отношение к судьбе – то, что я до сих пор называл метафорой. (Я потом вывел вас на метафоры вещей, в которых запечатаны наши души, если мы вообще что-то делали, если инскрипция происходила. Вот у наших отцов инскрипции не происходило, и у них нет тел, которые содержали бы в себе знание действительного смысла того, что произошло в 1937 году. У них нет даже пяток для этого...)

Эта мания Пруста, которую я назвал бы антименталистской, – ему страшно сознавать себя только в качестве ментального существа, потому что, если я ментален, я – привидение, или мог бы быть элементом сновидений какого-то другого человека; и не случайно роман начинается с собирания нити годов и дней, собирания нити, что совершает просыпающийся человек, который не знает, где он, кто он, – незнание – где он и кто он, – это и есть модель внутреннего переживания Пруста. Но дело в том, что это судьбоносный вопрос... Судьба ведь тоже – метафора. И если пятка обладает структурой метафоры, но естественной метафоры, то ясно, что судьба – метафора, потому что то, что запечатано в пятке и что находится вне моих рассудочных связей, и естественным образом, независимо от меня, сцеплено с какими-то другими вещами, это есть судьба по отношению ко мне. И тогда всю работу Пруста можно понять так: **работа осознания судьбы**. Работа человека, который не хочет быть пассивным носителем или жертвой судьбы, а хочет стать вровень со своей судьбой, извлечь из нее смысл и тем самым возвыситься над своей судьбой. Возвышение над судьбой или извлечение смысла из судьбы для Пруста крепко-накрепко связано, переплетено со значением слова «реальность». Реальность самого себя в мире – как испытывающего, видящего что-то или записавшего что-то в себе. Или не записавшего. И счастье его, возможность счастья, шанс может быть только в том, насколько велики и насколько вовремя были проделаны инскрипции происходящего. Если тогда ты волновался, если тогда ты был **внутри акта**, а не только внутри passion, – а passion (желания) еще не оформились, у них тел не было, они только должны были получить тело, – то тогда у тебя есть шансы в последующем, потому что ты находишься в пространстве и во времени. Я хочу сказать, что все тела желаний есть одновременно пространственно-временная **локализация** мира, который без нее остался бы чисто ментальным или эпифеноменальным. То есть парами в нашей голове, которые не имеют ни пространства, ни времени. Происходят реальные вещи, а в головах наших – привидения. Неважно, похожи эти привидения на происходящее в мире или нет. Я говорю о статусе бытия наших мыслей и чувств, а не о том, похожи ли они на происходящее. Ну, конечно, эпифеномены бывают копиями реальных вещей. Но я говорю сейчас не о копиях, потому что я говорю о реальности меня самого (или Пруста) – имеющего переживание чувства и мысли. Вот встать **вровень** с судьбой – притяжения пропорциональны судьбам. И теперь мы уже более детально знаем, что такое судьба, а притяжения – это наши взаимоотношения, коммуникации между людьми, события, которые случаются в пространстве между этими людьми, – почему ты встречаешь это и не встречаешь другого? Почему ты, встретив, понял, или почему ты, встретив, не понял? Увидел, не увидел, Почему вы оба любили друг друга, но один любил, как Татьяна Онегина, в один момент, и не было коммуникации между Татьяной и Онегиным, а потом Онегин полюбил в другой момент, и там тоже не было коммуникации. Почему нет этого соответствия, correspondance, почему чувства не перетекают по разным точкам пространства, хотя у всех они есть? Почему именно в тот момент – хочу стать хорошим ребенком, бросаюсь с моими открытыми чувствами в объятия родителей, а они вдруг отталкивают меня с суровой миной? И не потому, что

они меня не любят, а просто в этой точке нет correspondance, нет соответствия по каким-то законам. Эти законы того, что со мной происходит, – как они строятся, как они из судьбы вырастают? Значит, судьбы – **им пропорциональны притяжения**. То есть притяжения пропорциональны тяжести или набитости ядер нашей жизни, наших полных атомов или тел желаний. Как, чем они набиты, – как бы увесистая масса системы отсчета, которая притягивает к себе по пропорции, той или иной, какие-то события. Вот так видит Пруст мир. И все это под знаком реальности.

Отношение Пруста к судьбе можно выразить словами совершенно другого человека. Цитата из Антонена Арто – он то же самое думал о театре. Значит, как Пруст относился к написанию романа и писал его все время с сознанием того, насколько реален человек, пишущий и мыслящий, что нужно мыслить или писать так, чтобы быть реальным, иначе писание не имеет смысла, говорение, мышление не имеет смысла, – так и Арто относился к театру. Он пишет так: «Итак, театр подобен длинному большому бодрствованию, в котором это я веду мою фатальность». Или мою судьбу. (Ну, вы знаете, насколько образ бодрствования значим в философии. Еще Гераклит говорил, что мы бодрствуем, когда спим, или – живя, мы не живем и т.д.). Так вот, у Пруста роман есть длинное бодрствование. А длинным бодрствованием является то, что в себе удастся породить посредством текста или структуры романа. Посредством специального особого акта письма. Создание текста, внутри которого что-то рождается или что-то держится. В каком виде поддерживается? В бодрствующем. Или – вертикальное стояние бодрствующего человека, который держит (поскольку он бодрствует) на своих плечах дление мира. Или дление смысла, который совершается внутри агонии Христа. Этот смысл без нашего усилия не длится. Но если есть наше усилие, мы внутри него, то он длится бесконечно. Для того, чтобы быть в длительности таких бесконечных смыслов, нам нужны машины, орудия. Театр есть для Арто такая машина. И, кстати, очень забавное совпадение, переключка между Арто и Прустом. Причем я даже не знаю, читал ли Арто Пруста, но он явно не цитировал Пруста и мысленно не корреспондировал со словами Пруста, а совпадения буквальные (просто нужно менять слова). Я рассказывал вам, что психология Пруста, как он выражается часто, есть психология в пространстве. Или психология во времени. У него эти два слова эквивалентны. Есть какая-то глубина, объемность, которую Пруст называет пространством, – у психики, у сознания. Ведь не только в измерении предмета и моей ментальной картины этого предмета, а в измерении, к которому добавлен невидимый мир желаний, к которому добавлены тела желания, – вазы, о которых я говорил. Весь этот объем есть расположение психологии или ее пространственное расположение. Арто говорит, что его театр, в отличие от традиционного театра, который есть психологический театр, театр сюжета и характеров, и главное, театр диалога, – театр в пространстве. Театр – психология в пространстве, а не диалога. Для Арто весь европейский театр – в том виде, в каком он его застаёт перед своими революционными новациями, психологизирован. Он есть театр слов. То есть значений слов, которыми обмениваются между собой на сцене персонажи или характеры. И вот почему – Арто идет к театру в пространстве, а Пруст идет к психологии в пространстве или во времени, – причина – **реальность**. Арто тоже был болен реальностью. Сознанием или остротой сознания самого себя: реален я или не реален. И театр оказался для Арто способом, когда можно посредством определенной машины театрального действия и изображения создать чувствующий, реагирующий на что-то, – случался в качестве реального, а не в качестве привидения. И это именно он называл пространственным театром. И – словечко, которое у Пруста все время мелькает, оно мелькает и у Арто. У Пруста – словечко «реально». В одном

месте он говорит, что его книга в высшей степени реальная. Он хотел этим сказать, что его книга не есть то, что есть в голове и в языке, то есть то, что в мире значений или ментальных копий происходит. И в десятках других мест он это же слово повторяет. У Арто то же самое. Говоря о языке театра, он пишет: «язык не виртуальный, а реальный». Вот эту разницу нам нужно ухватить. Вспомните, я говорил словами Пруста, что меня от объекта отделяет *lisere*, каемка или окаймление сознания моего восприятия объекта. То же самое – как если бы я описывал бы не женщину, а ту ментальную картину женщины, которая дана в языке, где сам смысл и значение события «женщина в мире» (я вижу женщину, я влюбился в женщину) есть в языке – виртуальность языка – и не имеет признака существования. Поэтому Пруст тоже ищет реальный язык, как и Арто. Поэтому Пруст чаще всего говорит об иероглифах, то есть таких образованиях, смыслах и значениях, которые не есть ментальные картины, чисто виртуальные, в которых не содержится признака существования, а есть телесные, ходячие языковые значения. И поэтому, в отличие от элементов диалога, а диалог – это циркуляция языка, Арто нужен был язык как **реальное событие в мире**. И поэтому сцена и то, что изображено на сцене, должно быть иероглифом, а не картиной.

Значит, я говорил словами Арто, – не виртуальный язык. Опять же эта формула и эта утопия театра, который Арто хотел бы создать, имеет внутри себя стержень мотива, стержень страсти, реальности, о которой я говорил. Страсти, осознающей, что мне, чувствующему и переживающему, дотянуться ментальным путем, в том числе по нитке языка, до предмета невозможно. Например, когда случились мои переживания, случился приход мира значений и ментальных образов, мира языка, то я уже из моей точки дотянуться ментальным актом до предмета – обозначенного словом «Германты», – не могу. И между моим взглядом и предметом «Германты», на который падает тот взгляд, уже целый мир фетишистских иллюзий, которые как раз мною должны быть пройдены до последней иллюзии, как выражается Пруст, подлежащей уничтожению. Вот мы уже локализовали в пространстве и во времени психику, сознание: мы говорили о вазах желаний, о телах желаний и т.д. Это – пространственно-временные локализации. То есть реальность. Но дело в том, что, начав с уникальных переживаний, которые мы записываем или инскрипцию которых мы производим в телах желаний, которые мы в себе отращаем, мы тем самым становимся реальными событиями в мире, а не эпифенонами или какой-то пришлепкой живой чувствительности к привидению, к спектру. А наше сознание всегда протестует против того, чтобы быть привидением или спектром реальных процессов, физических процессов. Так вот, когда пришел этот мир значений, – значит, это ушло вбок, в вазы, а мы идем прямо, или нам кажется, что мы идем прямо, – то там даже пространство и время мы принимаем за физические объективные явления и становимся их жертвой. Скажем, Бальбек: там что-то произошло и записалось, и записанное потом произвольно – воспоминанием – вынырнет. Записалось в запахе и в виде цветка, называемого боярышником. И я, живя в мире значений или виртуальностей языка, – там есть слово «боярышник», слово «Бальбек» и пр., еду снова в Бальбек, так же, как я поехал бы в Шиндиси. Пруст – повидать боярышник, то есть снова пережить, восстановить прошлое, а я – в Шиндиси, повидать мельницу. Но дело в том, что нет на поверхности земли того, что я хочу возродить, оно не там. А почему Пруст поехал в Бальбек и убедился в том, что путешествиями нельзя восстановить, а нужна археология или нужны раскопки собственной души?! – да потому, что его толкала виртуальность языка. То есть пространство и время станут для нас физическими явлениями, которые, казалось бы, мы можем посетить и так решить нашу душевную проблему. Проблему возрождения прошлого, раскапывания смысла. Если я

хочу понять смысл мельницы в Шиндиси, то мне не нужно ехать в Шиндиси. Там я его не найду. Но дело в том, что, согласно виртуальностям языка, именно этот путь предписан. И этим путем, я повторяю, я не могу – от себя, переживающего случившийся смысл в моем прошлом и пытающегося его раскрутить, осознать, от себя вот такого – дотянуться до этого смысла, обозначенного словом, нельзя, невозможно. Поэтому Пруст создает, как он выражается, искусственную память. Вместо путешествия и вместо движения по диктату виртуальностей языка (чисто ментальные явления), он создает искусственную память, или ящик резонанса. И слово «ящик резонанса» Пруст применяет к памяти. Так вот, нужно, словами Пруста, создать новую материю. Не ту, песчаную в Бальбеке, не ту, которая была освещена солнцем в Ривбеле, а такую, которая соединяет и то и другое, просветляет одно другим, является совершенно новой материей. То есть последовательные переживания, последовательная переключка воспоминаний о чем-то одном, выполненная каждый раз в разной материи или заключенная в разные вазы, – для нее, чтобы воссоздать смысл, нужно особую материю создать. Материю, конечно, созданную словами, слова ведь есть материя, – или жестами, как у Арто. Жестами на сцене.

И вот последняя тема, к которой я выхожу, тема так называемого экспериментального, или современного искусства, которое принято ругать, и ругать при полном непонимании задач и адресата этого искусства. Особенно удобно разъяснять эту тему на театре Арто. В литературе очень трудно ухватить эту неизобразительную сторону: даже когда литературный текст не изображает, он все равно, поскольку содержит слова, вызывает в нас ожидания, разочаровываемые ожидания, но все-таки ожидания изображения, поскольку там словами лепится какой-то эксперимент. А в театре это нагляднее. Жест все-таки не есть слово. В каком смысле – экспериментальное искусство? Или – неизобразительное искусство? Ну, во-первых, неизобразительное – и я возвращаю вас к милой цитате, с которой сегодня начал: перед вами текст, в котором никогда не моют руки, никогда не открывают окон, никогда не надевают плащ, никогда не представляют друг другу людей, нет формул представления. То есть не описываются события, сюжеты. А мы реализмом называем как раз описание таких сцен. Набоков в свое время тоже был обеспокоен проблемой, которая здесь скрыта, – а здесь скрыта не только проблема реальности, но и проблема имманентно заложенной в описании бесконечности. Описание не содержит в себе критериев, которые диктовали бы, где это описание должно остановиться. Или – почему это, а не другое. Набоков спрашивал: хорошо, в романе пишут – Иванов вышел из дома и пошел, свернув направо по улице. Почему направо? Почему направо?! Почему не налево? Каков, собственно, внутренний критерий, который заставляет вносить эту вещь в описание? Само описание этого не содержит. Пруст ведь говорит: можно бесконечно описывать составляющие объекта, который перед вашими глазами, и никогда ни к чему не прийти. В том числе потому, что само описание, законы описания не содержат в себе критерия или указания, где остановиться. И не содержат указания на собственный смысл. На необходимость!

Значит, неизобразительность мы уже видели. Мы знаем, что в романе Пруста есть фразы, описания, сочетания фраз, которые не изображают. В каком смысле не изображают? Здесь мне немножко поможет Арто. Когда я говорю об Арто, я не считаю сам, что именно такой театр должен быть. Но просто там есть такие элементы, которые заставляют нас думать, искать другие театральные формы, и из этих элементов, собственно говоря, и была придумана утопия нового театра. Арто формулировал задачу так: интериоризировать игру актера. То есть само изображение действия на сцене должно было быть не

изображением еще чего-то другого, а интериоризацией игры актеров. Актер должен был интериоризовать свою игру – в смысле – изобразить событие «актер». Как происходит, что вообще возможен какой-то актерски выражаемый смысл? Сама сцена должна была быть машиной, которая своим действием: сочетанием жестов, криков, звуков, музыки, должна была рождать на сцене же актера, то есть человека как носителя определенного понимания чувств, состояний и т.д. Обычно игра изображает состояние, а если ее интериоризировать, то мы говорим о том, чтобы в мире случались акты страсти, любви, понимания, акты какого-то чувства. Вот что такое для Арто интериоризация игры актера. И поэтому, когда мы приходим на такой спектакль, мы не видим в нем изображения каких-нибудь сцен; последовательность жестов и сами жесты, логика их сцепления не имитируют, не являются копией какого-нибудь другого известного предмета, который мы теперь по этим жестам и их сцеплению должны были бы узнавать или понимать. Почему Арто это делает? Да потому, что Арто больной человек – сейчас я не в клиническом смысле говорю, – он болен проблемой случайности и почти что невозможности того, что со мной случилась мысль. Он знает: для того, чтобы случилась мысль, должно случиться, как он выражается, сгущение – *é païssissement*. То есть оплотнение, или – мы знаем, что должно случиться, – тело желания должно сложиться. У желаний есть тела, они могут быть удачными или неудачными. Скажем, пятка не очень удачное тело для всего реализованного ритуала желания. Есть другие, более удобные тела. Но так сложилось. Во всяком случае, всегда есть тела – удачные и неудачные. И у мысли тоже есть тело. Всего мышления, как говорил Гете, недостаточно для акта мысли. И вот Арто, как я говорил вам, на своем теле переживал, реально болел невозможностью мысли. Какая, собственно, гарантия – я двинулся в сторону мысли, и, чтобы она случилась со мной впереди, нет гарантий. Из мысли же нельзя родить мысль. Книжки, как я говорил вам, не рождаются из книг. Они рождаются из какого-то невербального корня. И рождаются, то есть кристаллизуются, в виде мысли, если есть сцепление духа и материи. На языке Арто называемое «сгущениями». Уплотнение. Значит, мы знаем: сгущения, метафоры, метонимия – все это естественные явления; в нашем языке, правда, называемые вот этими тропами: метафора, метонимия. Но есть естественные метафоры и естественные метонимии. У нас есть тела, которые являются (и психоанализ это показывает) метонимией отсутствующих каких-то элементов или связей. Они представляют то, что отсутствует. Замещают один объект другим. Есть сгущения – тоже известный процесс в психоанализе. Есть смещения и т.д. Смещения с одного объекта, которому оно должно было бы принадлежать, на другой объект. Скажем, все значения, которые упакованы в пирожное «мадлен» и через него только и всплывают и возрождаются, смещены с одних объектов на другие. Перенос совершился. Там можно найти и метафору, и метонимию, и все, что угодно. То есть все фигуры стили. И для Арто именно это является проблемой. Сейчас я ее выражу немножко иначе.

Понимаете, в мире и в нашей голове есть события и явления разных категорий. Разного рода события и явления. Среди этих событий есть одна категория, которую нужно выделить, потому что она нам очень важна. Эта категория связана с различием между **ментальным представлением** чего-то и **существованием** того, что ментально представлено. Две совершенно разные вещи. И не в том смысле, что то, что представлено (материально, физически), можно потрогать, а вот существование его потрогать нельзя. В смысле **реальности** переживаний, реальности чувства и мысли. Скажем так: есть различие между истиной числа пять или просто числом пять и утверждением: это есть пять. «Это есть пять» – число выполненное и реализованное. Или, например, в учебнике по логике может быть написано: окно открыто.

Субъектно-предикативная структура. И у нее есть значения, которые могут быть проанализированы. Но это – одно, а утверждение – окно открыто – это другое событие. Хотя сказано то же самое. В этом случае мысль выполнена, реализована. Или умозаключение, например. Умозаключением указывается на связь между посылками, где посылки определяют характер вывода. Но умозаключение нужно сделать. А это есть еще один акт ума. Ну, можно увидеть умозаключение, и вот это увидеть – хотя ты увидишь то, что в нем, не больше, – никакого содержания не прибавится; так же как утверждение – это есть пять – ничего к числу пять не добавляет. И вот те вещи, которые я называю выполнением или реализацией мысли, – имеют особое свойство: отличны от содержания этих же мыслей как виртуальных содержаний, или невыполненных, нереализованных содержаний. Вот есть пьеса, ее играют на сцене. И есть какие-то значения, смыслы, события, которые неповторимо и уникально существуют только в момент реализации этого на сцене. Кстати, ведь не случайно пьесы играют. Они играют в том числе потому, что есть что-то, что происходит только на сцене. Хотя на сцене не происходит ничего, кроме того, что написано в тексте пьесы. Вот о какой разнице я говорю. Значит, есть что-то, что существует **только в момент реализации**, выполнения того же. По содержанию там ничего не добавляется. Точно так же, как есть элемент исполнения в музыке, совершенно уникальный, в котором, только в нем, что-то происходит, хотя играет то, что написано в нотах. Вот что называется реализацией. Но дело в том, что в нашей духовной жизни именно новые мысли обладают свойством, таким, что они бывают только тогда, когда выполняются **условия** реализации. То есть когда есть сочетание, не контролируемое человеком, сочетание множества и множества элементов, такое, что эта мысль именно в момент ее реализации только и существует. Она неповторима, уникальна и является индивидом. И театр Арто брал из всех сторон театра только эту сторону. Меня, говорил Арто, интересует только то, что в момент реализации существует. Или, наоборот, – реализация (он здесь отличает один и тот же текст от него самого). Когда я говорю «реализация пьесы на сцене», то я ведь отличаю эту пьесу от нее самой. А отличие – где существует? Пьеса сыграна – сыграно ведь то, что было написано? Ну, если речь идет о диалогическом театре, о психологическом театре. Что же было? А мы знаем, что было (поэтому спектакль повторяется, и мы еще можем ходить на тот же самый спектакль), – что-то, что происходит в силу физического наличия многих элементов, которые в актуальной динамике именно данного момента держат то событие, которое есть смысл – уникальный и неповторимый – озарение, понимание, которые держатся в момент реализации.

Но дело в том, что сами наши изобретения мысли похожи на этот эффект. Мы приходим к новой мысли там и в той точке, где как бы вертикально к горизонтали нашего движения сцепилось множество элементов физической своей динамикой, и там родилась мысль, и там только и существует. Она случается **однажды** и **впервые**. И это есть особый модус существования, потому что та же мысль второй раз уже не есть та же самая, хотя – та же самая. Ведь вы поймете, что даже между научным открытием и его изложением существует фундаментальная разница, хотя излагается оно само. Но ведь мы в жизни живем – и вопрос встает так: как нам вообще в голову приходит новая мысль? И если мы не будем различать мысль – однажды и впервые и ее же – второй раз, в изложении, то мы никогда вообще не поймем проблемы нашего бытия как мыслящих людей, И потому вдруг у Арто фигурирует такое словосочетание: алхимический театр. Театр, в котором на сцене и только на ней рождается машиной самой сцены, сочетанием ее элементов: звуковых, видимых, жестовых, рождается **то, что рождается**, – он это называл алхимическим театром. В каком-то смысле роман Пруста тоже есть

алхимический роман. Алхимики, вы знаете, не изучали химические элементы. Химические элементы фигурировали в алхимическом ритуале, в алхимическом действии как материальные знаки душевных состояний, соотношение которых должно было бы родить особое душевное состояние, называемое золотом, а оно есть символ души – полной и совершенной, – где должна была быть снята оппозиция между материей и духом, между конкретным и абстрактным и т.д. Вот чем в действительности была алхимия. И такую же алхимию предлагал Арто: машина рождения людей на сцене в качестве что-то понявших, что-то почувствовавших, собой овладевших в полноте своих чувств, способностей и т.д. Поэтому алхимический театр Арто одновременно можно назвать тотальным театром. В каком смысле? Не только в том простом смысле, что этот театр должен был сочетать моменты разных искусств – изобразительного, музыкального, актерского и т.д., а еще в том смысле, что в театре, на сцене должен рождаться человек в полном составе своего существа. Тот, которого мы обнаружили в качестве носителя особого рода восприятий. **Пруст!** И момент или место этого полного человека или полного акта и локализовано нами в этой реальности. Этот срез или измерение реализации, то есть реальное выполнение мысли в сочетании с массой обстоятельств, которые не моим сознанием организованы, не моей волей организованы (не от нее зависят), а организованы путем каких-то подсказок, в том числе подсказок природы (то есть произвольных воспоминаний и т.д.), – вот эта **мысль в реализации** и есть место рождения полного акта или полного человека. Значит, по отношению к детству мы допускаем, что в той мере, в какой что-то было, был и рай, но он потерян в самый момент самого этого рая. Человеческое существо сразу же рассыпано в тысяче ваз, из которых самого по себе перехода из одной в другую нет, – человеческое существо раздроблено по разным локализациям пространства и времени. (Мы ведь локализовали пространство и время.) И вот место собирания всего этого, или вынимание завязших ног и рук, и голов – я завяз в одном месте, завяз в другом – есть человек во всей полноте.

ЛЕКЦИЯ 18. 17.11.1984

Мы завоевали один пункт, состоящий в том, что есть какая-то ситуация, построенная нами как на основе опыта чтения, так и на основе аналогии с нашим собственным опытом, в которой все, что мы можем почувствовать, и сами способности нашей чувствительности рассеяны в мире по каким-то телам, укрыты в них, и для того, чтобы мы что-то почувствовали или увидели, сначала срабатывают эти тела, а потом мы видим и чувствуем. Но, повторяю, мы пока имеем раздробление нашей чувствительности по множеству точек пространства и времени, – эти тела в разных местах локализованы, требуют, предполагают разную энергию, чтобы прийти в действие (чаще всего мы не имеем их всех вместе, хотя они все у нас есть). Но я ведь говорил вам, что вся беда с проблемой непрерывности нашего существования состоит в том, что в любой заданный момент мы не имеем тех наших сил и способностей, в том числе тех воспоминаний в памяти, которые мы, абстрактно говоря, имеем. Но почему-то именно тогда, когда они нам нужны, они отсутствуют. И в этой ситуации должно начаться движение синтеза. Мы знаем, что тела, упаковывающие нашу чувствительность, носители нашего разума и понимания, являются мирами. Вполне можно сказать о каждом из них, что они есть миры. Целые миры. Ну, просто потому, что – я приводил вам пример взгляда рыбы в аквариуме – этот взгляд неделим и поэтому простирается в бесконечность. Целый мир. Напомню вам одну античную ассоциацию. Вы, наверно, знакомы с текстами античной философии и некоторые отрывки, например, из Демокрита, могут показаться вам мистическими и даже наивными. Как говорил Энгельс, они были наивными материалистами, мыслили слишком наглядно, близко к непосредственному

наблюдению природных явлений, растительного, животного мира, и слишком много у них метафор, заимствованных из этого мира. Демокрит говорил, что сами атомы (каждый из них) могут быть целым миром – со своими мирами, деревьями, животными, людьми и т.д. Идеи такого рода, конечно, никакого отношения ни к наивности, ни к детской наглядности греческого взгляда не имеют. Я уже говорил в другой связи, что если мышление начинается, то оно начинается все целиком. Если совершился какой-либо акт мышления в произвольно взятой точке времени и точке пространства, то в нем было все, что потом когда-либо в нем будет. И могу добавить только одно – что, если очень потрудимся и если нам повезет, мы подумаем что-то, что думали уже давно и другие (если очень повезет и если очень постараться и потрудимся).

Значит, даже атом может быть миром. Ну, конечно, ясно, что имеются в виду некоторые умозрительные выделенные единицы, являющиеся скорее атомами ума, чем физическими наглядными частицами. И эти атомы, являющиеся мирами, ставят перед нами проблему, что, очевидно, их синтез – возможность, что из одного атома что-то может быть сообщено в другой атом, что они могут как-то корреспондировать или перекликаться, – происходит по каким-то линиям, которые мы можем себе абстрактно вообразить. Мы должны это вообразить, потому что явно случаются коммуникации несоизмеримых вещей. Ну, хотя бы потому, что мы иногда можем подумать, как свою собственную, мысль, когда-то подуманную Платоном. В этом смысле в философии вообще ничего нового нет, так же как ничего нового нет в любви, в дружбе, в чести, в достоинстве. Мы ведь не изобретаем честь – если у нас она есть, нам удастся оказаться внутри какой-то структуры сознания, которая называется честью, и в этой структуре пребывали уже миллионы людей. То же самое относится и к любви и т.д. И, конечно, все эти атомы, все эти миры предстают нам как вещи, которые качественно одна от другой отличаются. Так же, как Рахиль отличается от Жильберты или Жильберта отличается от Альбертины. Они – миры по той простой причине, что предметы уходят, оставаясь внешней своей частью на наблюдаемой поверхности, внутренней своей частью, неконтролируемым и непрослеживаемым образом уходят в миры, в то, что называется мирами, и там движутся на какой-то параллели. Вот там расставлены вазы... И ясно, что, если мы ставим вопрос о том, подчиняются ли какой-нибудь закономерности, какой-нибудь связи эти миры, действительно ли они могут быть охвачены линиями, которые я теперь назову трансмировыми линиями, этот вопрос, конечно, заставляет подумать, что за этими качествами скрываются какие-то пропорции, какие-то соотношения. Одну из пропорций я называл – притяжения пропорциональны судьбам.

Значит, мы подозреваем существование пропорций за качествами и за несводимым разнообразием. Такое ощущение, кстати, было еще у одного мистика в XX веке, а таких было немало в русле того искусства, которое я называю экспериментальным искусством. Этим мистиком был Хлебников. Он говорил – видение того, о чем я вам рассказывал, он формулировал следующими словами: «игра количеств за сумерком качеств». Ну, качества сумрачны, то есть они непроницаемы, они несводимы – одно качество не есть второе качество и т.д. И наши чувства – как качественные чувства – есть сумрак в том смысле слова, что качество само собой никакой пропорции и никакого закона не показывает. Кстати, очень странное совпадение в истории мысли и литературы – я все это рассказываю на материале Пруста, привожу пример Хлебникова, а теперь дам еще материал для соответствий. Значит, – «игра количеств за сумерком качеств». Хлебников был помешан на вычислениях, у него даже созвездия выступали как символы, конфигурации человеческих судеб; и интересно, что, находясь именно в той проблеме, в которой находится Пруст, он говорит абсолютно те же самые вещи, или,

вернее, у него появляются такие же сдвиги мысли, сдвиги в тех же направлениях, что и у Арто, и у Фурье. Если вы возьмете тексты Арто вокруг проблемы, которую я называл интериоризацией игры актера на сцене, то вы увидите те состояния мысли и понимания, и чувства, которые существуют на сцене только в момент реализации, то есть **тогда, когда**. Вот оно реализовалось, стало на ноги, кристаллизовалось! И в этот момент (обставленный неизобразительными шумами, неизобразительными позами, криками, неизобразительной музыкой и т.д.) реализация должна просто быть как бы алхимическим тиглем, чтобы внутри этого тигля выпала, как золото выпадает в осадок, полнота человеческого акта мысли, полнота понимания самого себя или полнота человеческого существа. Или, на другом языке говоря, совершенство. А золото есть просто совершенный металл, поэтому оно и выступает символом всяких совершенств. И в этом контексте у Арто вдруг появляются подсчеты, абсолютно похожие на хлебниковские (при том, что он ничего не знал о Хлебникове). Он выделяет энное число состояний актера, обозначает их определенным числом аффективных эмоций, рождаемых на сцене, составляет определенную таблицу и вдруг начинает вести почти что астрологические просчеты: составляет комбинации (из этих страстей), очень похожие на хлебниковские.

С другой стороны, тем же самым занимался и Фурье. У него тоже были таблицы страстей (исходя из двенадцати основных страстей), которые неразложимы и вступают между собой в определенную комбинацию, позволяющую максимально развертывать содержание каждой из них. Но для того, чтобы развернуть одну из них, нужна определенная комбинация из трех других. Как я говорил вам – **фацеты**. Дать тысячу фацетов как один взгляд. У нас глаза нефацетные, – а представьте себе существо с фацетными глазами, – и есть проблема, как синтезируется фацетная картина из каждого кусочка глаза или из каждого фацета, так, чтобы получился один видимый предмет. Эти просчеты у Фурье разворачиваются и на звезды, которые тоже оказываются символами, небесными символами земного состояния наших страстей. И в зависимости от личного помешательства и личной мании человек может идти максимально далеко в эту свою страсть и очень далеко отлететь от некоторых свойств нашей духовной, или душевной, и сознательной жизни. Вот в такой простой, невинной вещи сколько сплетено жилок, и сплетено накрепко. И так же, как геолог видит там, где наш невинный не геологический взгляд ничего не видит – просто видит камушек, а геолог видит совсем иначе, видит такие сплетения, которые нам недоступны, – так и в актах нашей душевной жизни и в литературных актах есть такие сплетения. И дай бог нам уметь это увидеть и соединить. Повторяю, что очень многие невинные вещи внутри себя содержат такие взрывчатые мины соответствий и перекличек. И, конечно, это есть единственно интересное, что может нас двигать, когда мы встречаемся с текстами. Действительно, это гораздо интереснее, чем описание розы или описание – «господин Иванов вышел из дома и пошел направо». И если есть такие сплетения, если нам удастся их увидеть, то вопроса **почему** не возникает, потому что сами эти сплетения и факт, что я их увидел, несут на себе печать необходимости. Это как бы некоторые необходимые светоносные связи. И в мире Пруста на этих трансмировых линиях плетутся некоторые необходимые светоносные связи между тысячами и миллионами миров. Или, словами Пруста, между тысячами или миллионами зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро. Каждое утро просыпается наш герой, и, проснувшись, он должен воссоздать и восстановить весь мир и вытянуть нить дней и часов и на нее нанизать мир. А ведь все мы находимся в таком же положении. И как бы мир в момент просыпания тысячи зрачков и умов дан тысячью мирами. Проснулась Альбертина, проснулась Жильберта, проснулась

Рахиль, проснулся Шарлю... «Проснулся» – совокупность всего того, что они (Шарлю, или Альбертина, или Рахиль) могут увидеть, почувствовать, и какой путь они в своем чувствовании и в видении проходят. Мы ведь знаем, что для того, чтобы увидеть магнитофон, мы проходим путь, только в конце которого мы его видим. В данном случае весь этот путь скрыт и упакован, или, может быть, просто не содержит никаких особых проблем. Но в большинстве других случаев простейшее видение предмета содержит в себе, в упакованном виде, прохождение пути. А раз – путь, значит, могло быть **другое**. Можно было, во-первых, отклониться, и, во-вторых, раз есть путь, то можно было увидеть совсем не то, что я увидел (не магнитофон, а что-то другое). Ведь если бы не было путей, а были бы просто наши прямые связи с предметом, то факт отклонений (например, сексуальных отклонений) был бы просто мистически непонятен. А раз есть путь, значит, есть прохождение к чему-то другому, или отклонение.

Так вот, я возвращаюсь к «игре количеств» и прочитаю вам цитату, которую я уже упоминал в связи с проблемой метафоры. Но прежде хочу вас попросить, чтобы вы слушали меня, имея на фоне своего сознания определенный образ. Представьте себе некоторое живое существо, описываемое нами как существо, которое находится на какой-то кривой точке и должно на ней удержаться. А кривая мчится с большой скоростью, и существо может не удержаться на этой кривой. Теперь на этот образ наложите понятие, что сознание можно определить как изменение склонения. То есть есть какие-то силы, которые нас склоняют, а сознание есть блокировка, нейтрализация или изменение склонения. Наподобие той живой точки (или существа как живой точки), которая находится на кривой, – потому что нет ничего более склоняющегося, чем кривая. И в каждый данный момент эти искривления действуют на нас – например, простое рассеяние во времени происходит в пафосах наших чувств, нашей памяти. Я говорил вам неоднократно, что естественным образом мы мало что можем помнить. Мало что можем помнить, если бы это зависело только от природы. От раздражимости наших нервов, запечатленности в них или стирания следов и т.д. Но мы ведь, будучи существами духовными, одновременно продолжаем быть существами материальными или биологическими, природными. И оттуда, из этой природы идут склонения. Идут, например, в наших желаниях. Какие-то сдвиги происходят. А сознание есть изменение сдвига. Или изменение склонения. И вот эту метафору держите – существа человеческого, как некоей живой точки, которой, чтобы остаться живой, нужно сохраниться в равновесии на движущейся с большой скоростью и петляющей кривой. И одновременно, конечно, это есть точка роста. Из нее что-то должно расти, что развертывается по законам, в отличие от того, что получалось бы в результате склонений. То есть, если бы это существо (или эта точка) предоставило бы себя хаосу и динамике склонений, там получилось бы другое. Одно дело – дать расти своему понимающему глазу внутри натюрморта Сезанна, и там действительный рост происходит (назовем это, условно, точкой роста), **если** мы удерживаемся **внутри** натюрморта Сезанна. И другое дело – наш спонтанный глаз, не имеющий этой приставки к себе. И вот – держим в головах эту метафору.

А теперь – цитата. *«То что, мы называем реальностью, есть определенное отношение между нашими теперешними ощущениями (той реальностью, которую мы сейчас актуально воспринимаем, которая дана нам опытом, восприятием, а не является каким-либо привидением памяти; ведь воспоминание отличается от восприятия тем, что воспоминания не даны нам чувствами извне, а восприятия даются нам чувствами извне) и воспоминаниями, которые одновременно нас окружают, – отношение, которое элиминируется простым кинематографическим видением (кинематографический*

кадр видит или только кадры памяти, именно кадры, а не непрерывную развертку, или кадры воспринимаемого, и это кинематографическое видение отлетает или отделяется от реальности и тем самым – от истины), – тем более что оно претендует ограничиться именно видимым (или именно действительным, или именно фактическим)». То есть ровно в той мере, в какой оно настаивает на том, чтобы его претензия ограничивалась только тем, что я вижу, именно пропорционально этой претензии оно – видение – отлетает от реальности. И это есть «уникальное отношение» – здесь я хочу оговорить, что мы должны внимательно читать такого рода тексты, как прустовские. Там слова стоят не произвольные, не случайные, – там, где они стоят. Например, слово «уникальный» для нас может быть просто прилагательным. Ну, «уникальный» в смысле хорошей оценки чего-то. А здесь имеется в виду в точном терминологическом смысле этого слова, как в физике употребляют это слово. Скажем, под уникальностью события имеется в виду, что оно описано так, что это событие не может быть описано никаким другим словом. В физике есть термин «уникальность описания»; то описание соответствует правилам данной науки, которое имеет черту уникальности, Именно в этом смысле, в точном терминологическом смысле, конечно, не имея в виду никакой физики, Пруст употребляет прилагательное «уникальное отношение». Уникальное отношение – одно, **единственное отношение**. Единственное отношение, которое и называется реальностью. Это отношение должно быть установлено как каузальный закон, уникально связывающий две вещи. Каузальный, или причинный закон, связывающий две вещи. Так, отношение – чего?

Сейчас я это выражу немножко в других терминах, потому что в данном месте Прусту не нужно было, чтобы было видно (потому что то, что нужно, чтобы было видно, у него дано в десятках других мест; не он же сам себя интерпретирует, а это мы пользуемся и опытом, и интерпретируем, и поэтому у нас немножко другие задачи, чем у него самого). Так вот, это уникальное отношение, которое должно быть установлено наподобие каузального закона, есть отношение между тем, что я назову сейчас **историческим объемом** – все то, что я говорил, когда описывал все наши проделанные работой реальные эмоции, вложения в какие-то объекты. Все, что я говорил: упаковано, вложено, предметы, являющиеся знаками пути, а не просто предметы. Ну, так же как запомнившаяся колокольня есть не колокольня, а знак пути. В каком смысле? В нем уложены десятки и сотни и тысячи актов человеческого недоумения, поиска, попытки разобраться в самом себе, выбора того или этого, изменение этого выбора и т.д. Человеческая работа. И работа как прошлое, как **сделанное** укрывается где-то, поскольку не на все сделанное у нас есть ответ, соответствующий смыслу сделанного. Мы же еще не знаем, но многое сделали. И вот то, что мы сделали, может уйти (и скрыться) во внешнюю вещественную оболочку, не соответствующую или инородную смыслу сделанного. Скажем, мечта не до конца продуманная, не в полноте своей развернутая по смыслу, по отношению к самой себе, – мечта или идеальное представление Сен-Лу о театре укрылось в божественном лице Рахиль. В данном случае лицо Рахиль есть кокон истории или пути маркиза Сен-Лу. И Сен-Лу уже имеет дело с этим, как с внешним ему самому предметом, совершенно не видя, что это продукт его собственного пути, а не просто извне, само по себе, на своих собственных основаниях существующее божественное лицо Рахиль. А таких оснований, мы знаем, нет. У Рахиль нет никакого самого по себе божественного лица, потому что другой человек видит не божественное лицо, а женщину из дома свиданий. Я сейчас подчеркиваю другое. Не эти пути и разноречия пониманий или факт наличия разных миров, в зеркальных осколках которого любое явление раздробленно отражено, – я хочу указать на материальную сторону этого дела. Сама **вещь** есть кокон пути, кокон истории. Вот то, что я называю теперь

историческим объемом. Это, конечно, **объем**, а не какое-то двухмерное изображение, это не есть пирожное «мадлен», на которое я смотрю. Оно (пирожное) дано как бы двухмерно, оно дано как предмет в одном измерении, то есть в объективном, внешнем измерении, и во втором измерении – как ментальная копия, дубль в моей голове. И если мы так посмотрим, то, конечно, пирожное имеет объем. В нем есть, например, измерение, под знаком которого происходила укладка прошлых проработанных или прорабатываемых, нарабатываемых воспоминаний.

Значит, возвращаясь к этой формулировке: отношение между историческим объемом и **актуальными восприятиями** (восприятием этого момента). Вы помните, что этот исторический объем имеет тенденцию отделяться от центральной точки истинного впечатления (того, что действительно было и вызвало впечатление) и идти по своей кривой. Именно этот термин «кривая» Пруст и употребляет. В такого рода случаях Пруст говорит о *discours oblique* – косвенный дискурс, или кривой дискурс. Дискурс страстного свидания с самим собой – наше впечатление в нашей проработке, уйдя в какие-то инородные для себя одеяния пирожного «мадлен» или лица Рахиль), там начинает пробегать свой кривой путь, все более отдаляющий его от того, что было на самом деле. То есть оно прорастает в миры, а они как раз этой отдаляющейся кривой выстраиваются. И наше существо, вместо того, чтобы удержаться и остаться живым на этой кривой, все время умирает в тех мирах, в которые эта кривая его заводит. Оно все время умирает перед самим собой, то есть перед истинным смыслом того впечатления, которое было. И, кстати, когда это существо захочет себя восстановить, – например, разлюбив Альбертину, забрать себе назад те части души, которые в Альбертину были уложены, – оно с удивлением обнаружит, что, как были тысячи смертей, так и должны быть тысячи возрождений. По той простой причине, что та любовь в рассеянном виде существовала в совершенно неожиданных вещах, где тысячу раз умирала в тысячах «я», потому что мы уже знаем, что у каждого такого мирового состояния есть свое «я», поскольку есть свои чувствительные рамки. Априорные рамки чувствительности – формы этих рамок должно принять чувство, или формы этих рамок должен принять воздействующий на нас предмет, чтобы вызвать чувство. Скажем, я иду по Булонскому лесу, – и если воздействия этого леса (крик птиц, вид озера, шелест деревьев и т.д.) не принимают формы, через которую я впервые действительно этот лес воспринимал как глубокое и полное событие своей жизни, а именно – формы, ассоциированной с прекрасной женщиной, то я не увижу этих листьев, не увижу этого озера. Я увижу лишь озеро вообще или листья вообще. Обратите внимание на терминологию, которой я пользуюсь, потому что здесь есть очень сложный и важный пункт, и уловить его нужно, немножко повернув глаза души, что равнозначно вывиху мозгов. Нужно вывихнуть мозги. Я ведь не имею в виду видеть то или иное дерево, я имею в виду **видеть нечто**, что является **источником** эмоций, источником душевных переживаний. Ведь дерево «вообще», похожее на другие деревья, не есть источник моих переживаний. Дерево «вообще» есть элемент в ботанической классификации, а не источник того, что происходит во мне, когда я вижу дерево. И вот глубокое ощущение Пруста состояло в том, что не существует источника в абсолютном смысле слова. Чтобы дерево стало источником опыта, это дерево должно наложиться на какую-то рамку нашей чувствительности, или, как в другом месте выражается Пруст, – улица, чтобы быть воспринятой, должна быть скользкой улицей прошлого. Вот наложившись на это – для вас это – улица. Улица – как место события, переживаний (не все мы видим, мы видим то, что является источником событий). Значит, – по этой кривой идет, уходит куда-то. И мы, не зная своей души, допустим, распаковали ушедшее из «мадлен», а потом

встретились с каким-то другим предметом, и опять мы плачем от любви, потому что к этому тоже прикасалась рука Альбертины, и это прикосновение ушло и закрепилось там. Это есть миллион смертей. И Пруст прекрасной формулой выражался, что нет смерти острее и нет большей смерти, чем число и бесконечность. Самая большая смерть – число и бесконечность. Число мы уже видели – таких проходов «я» бесконечно много. А **много** – это число. И это есть самая большая смерть. Весь смысл теряется среди вещей, похожих одна на другую, повторяющих друг друга и численно лишь различающихся.

Вся проблема этих трансмировых линий по отношению к тому, что я сейчас описал цитатой из Пруста, есть проблема выпрямления (мы уже это знаем, я этот термин применял). Выпрямление кривой, так, чтобы вернуть впечатление в точку, из которой оно как бы по прямой уже идет, а не по этой кривой. В том числе не по кривой страстного свидания с самим собой. И вот эта уже прямая линия (она – прямая, очевидно, не в нашей нормальной геометрии, потому что то, что Пруст описывает как кривую, как раз и есть прямое в обычной, евклидовой геометрии), с евклидовой точки зрения, конечно, будет казаться кривой. То есть та прямая, которая есть продукт исправления кривой, будет казаться совсем не прямой. Помните, я говорил о том, что Данте стоит перед горой и, протянув руку, он может взойти на нее, но это, оказывается, не есть прямой путь, – если под прямой понимать самый короткий путь, то самым коротким путем является – пройти через круги ада. То есть расстаться с собой. Путь, когда ты берешь себя в дорогу, длиннее – когда ты скупое берешь себя в дорогу. А короткий путь есть тот, который кажется кривым. А в действительности – это прямой путь, идущий через преобразование себя в путешествии, символически описанном как путешествие в ад. Данте проходит этот путь и оказывается на вершине горы, до которой – до ныряния в туннель и прохождения ада – он как бы мог рукой дотянуться. Но нет, на дороге стояло нечто, символизированное волчицей, а именно – нашей жадностью или скупостью. И самые жадные мы – по отношению к самим себе. В других случаях – по отношению к разбиению в образах миров, когда Альбертина закрепилась в тысячах миров и должна умереть в тысячах миров; нет одной смерти Альбертины, которая меня избавила бы от воспоминаний о ней, она еще тысячу раз будет умирать, чтобы я освободился, – так вот, эта разбитая кривая, исправляемая теперь нами до какой-то линии, которую я назвал трансмировой, есть метафора. И одновременно – то, что Пруст называет стилем, и то, что Пруст называет человеком. В смысле простой фразы Бюффона, известной всем литературоведам: «Стиль – это человек». Мы очень часто чисто психологически читаем эту фразу, имея в виду, что стиль похож на человека в психологическом смысле слова. Бюффон имел в виду другое: то, что мы называем человеком, и есть то, что существует внутри и посредством стиля, – то есть чего-то, что есть изменение склонений. Не давать себе нырять по участкам кривой то в один мир, то в другой мир, а все время **изменять склонения**, – вот что, оказывается, у Пруста и метафорой называется, и кривой называется, и стилем называется. Напомню вам, что выпрямление кривой – вещь, как говорит Пруст, *malaisé e* – не простое дело, потому что оно бойкотируется ленью. Можно так перевести (французский глагол совсем другой – *bouder*) – мы как бы обижаемся и не делаем. Так вот, на необходимость этого выпрямления мы обычно обижаемся и не делаем его в силу механизмов лени, страха, надежды. Ну, конечно, мы не выпрямляем наш кривой дискурс или косвенный *oblique* страстной встречи с самим собой, где мы выясняем отношения с Альбертиной, потому что мы ведь надеемся на то, что когда мы встретимся с Альбертиной и скажем те слова, которые мы произносим мысленно, разыгрывая сцену выяснения отношений, то, конечно, все недоразумения рассеются. Мы думаем, что они рассеются, потому что мы надеемся, что они рассеются. Эта кривая нас

завела и в смерть, потому что, устав от неудач этого кривого дискурса, а он вечно нас носом с реальностью сталкивает, устав от этих вечных столкновений с реальностью, мы, как показывает Пруст, можем захотеть и своей собственной смерти. Просто от усталости. Но это тоже – фальшивая смерть, она – или наказание другим – моя смерть: я умру, и вот я посмотрю, что с вами будет! Или такого же рода проекция – вот я умру, мы встретимся в том мире, и я скажу: «Я знаю, что, когда я звонил и ты отвечала мне ласково, ты была в это время в постели с любовником». Представляете, вот так обыграть символ смерти?! Даже со смертью мы обращаемся таким образом. Конечно, в такого рода символе смерти полностью отсутствует **сознание** смерти. То, которое можно получить только философствуя. Это есть продолжение кривой и продолжение тысячи смертей. И вот это продолжение, как я вам показал сейчас, будируется (бойкотируется) страхом, ленью. Конечно, прежде всего в глубине этого лежит фундаментальный страх перед смертью. В основе – и надежды, и лени.

Так вот, я говорил, что реальность есть отношение между историческим объемом и актуальными, эмпирически данными событиями, восприятиями и т.д. И это отношение уникально, оно – только одно, и его нужно открыть. Открывается оно – и заковываются две стороны цепи, как говорит Пруст, метафорой. Или стилем. Или **человеком**, душой человека, которую я называл сильной классической душой. Которая может **держаться** и на чудовищной скорости движущейся кривой оставаться живой, а не разбиваться в тысяче зеркал, в тысяче осколков зеркала, в тысячах смертей. То, что я сейчас называю стилем и человеком, есть одновременно и то, что у Пруста выступает как образ, не всегда явно выражаемый, но какой-то золотой тайной нитью пронизывающий все строение, все движение прустовского опыта, – образ соединения или воссоединения с самим собой. Воссоединение с самим собой. Значит, то, что было подлинным впечатлением, уходит по кривой, и исправление кривой есть воссоединение с самим собой в том смысле, что ты воссоединяешься с тем, что было в тебе. И только на себе ты можешь эту кривую исправить. Вы помните слова Гумилева: «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» Как раз то нечто, ушедшее по кривой, было создано для этого. Две разорванные половины одного и того же – они должны воссоединиться. В древности символ понимали так: символ есть дощечка узнавания, дощечка, разломанная пополам. Одна половина – у вас, а вторая половина – у меня. Прошли годы, а может быть, столетия, мы с вами встретились, и встретились мы с вами в той мере, в какой мы вдруг увидели, что ваша половина дощечки по излому прилегает к моей половине. Одно принадлежало другому, извечно было создано друг для друга. Так извечно созданы друг для друга два края, которые Пруст называет так: один край называется Раем, и всегда – потерянным Раем, а второе – то, что ушло по кривой. И оно должно воссоединиться с первым, потому что там как раз вторая половинка этого. Этот же символ в философии выступает как символ Эроса, который строится в предположении, что в принципе человеческое существо едино, оно как бы андрогинно по своей природе, но разделено. Будучи извечно предназначено для единства, оно разделено. Разделено тем, как устроен мир и т.д., разделено событиями. Разделено на мужскую половину и на женскую половину. А любовь есть их воссоединение или стремление к воссоединению. То есть жизнь этих существ есть как бы состояние, запущенное на кривую воссоединения с самим собой. У нас все явления ведь даны плюсно и минусно. Для каждого плюсового явления есть его минусовая копия. Ну, так же как, скажем, есть истина, а есть похожая на нее ложь, неотличимая. Есть что-то, что существует в слове, и только в слове, а есть что-то, что существует и пользуется этим словом. И в слове между тем и другим нет различия. Есть для

всего истинного, переживаемого нами, испытываемого, вербальная копия этого же самого. Там может стоять знак минус, а здесь можно ставить знак плюс. (Мы же математикой занимаемся. Поэтому для Пруста я и предлагаю термин... так же, как существует матезис математика – а в области Пруста мы имеем дело с пафосами, – и если в математике есть неделимые единицы, то в пафосах тоже есть свойство неделимости. И значит, когда я прибегаю к философским терминам, чтобы понять художественный опыт, – Пруст не прибегал к философствованию и к философским терминам, такое изучение можно назвать пате-матикой. От слова *pathos*, пафос. Это патематика, конечно.) Говоря об отрицательной стороне этого дела, Пруст прослеживал множество смертей. Множество смертей он считал оборотной стороной того, что на положительной стороне выступает как объединение частей, извечно созданных друг для друга. И вот, беря тот исторический объем, о котором я говорил, мы узнаем следующее: в этом историческом объеме закреплен – одевшись разными коконами: коконами лиц, коконами вещей, событий, дат, временных, коконами пространственных мест, – кокон **реально случившегося**. Это же реально случившееся дано в коконе калорифера, который – уже совсем в другом месте – ворчит и фыркает в Париже. Или: нечто данное в коконе впечатления плит площади св. Марка в Венеции имеет еще один кокон – плиты двора Германтов. И весь этот объем есть, конечно, продукт того, что я называл трудом жизни. Труд жизни туда ушел. Труд забот о том, что я называл высшим. Забот о высшем. Внутри какого-то впечатления мы задавались не просто вопросом о самом материальном содержании впечатления, а мы задавались фактически вопросом о своем собственном существовании, о своем собственном бытии, о своей собственной душе. Потому что – я снова повторяю тот пример, который приводил, – та тревога и вопрос, который есть у мальчика, решающего впервые для себя некоторые вопросы половой жизни, это не есть та тревога на которую получен потом ответ в реальной жизни, где выясняется разница между полами, механизм и структура полового желания, выясняется механизм рождения детей, – то, что он там узнает, не будет ответом на то, что беспокоило его. У него было бытийное беспокойство, другого рода беспокойство. Так же, как, – скажем, если маркиз Сен-Лу узнает, что Рахиль проститутка, это знание не будет ответом на тот вопрос, который его беспокоил, – вопрос о прекрасном мире, из-за которого он Рахиль и полюбил. И узнать, что она недостойна этой любви, не есть ответ на вопрос, что же с ним происходило, когда он полюбил Рахиль. Это не есть ответ на поиск души. Там происходило что-то другое и – понималось или не понималось. А понимание – ответом на него не являются последующие знания. Понимание (или непонимание) данного момента, не имея своим ответом последующее знание, не только теперешнее, но и последующее, **продуктивно**. Оно не ждет знаний, которые придут на место пустот, перед лицом которых оказалось понимание (или непонимание), – **понимание само производит** что-то. Я называл это трудом жизни.

Значит, сказав **труд жизни**, мы фактически тайно вносим или формулируем скрытое предположение, что внутри труда жизни, внутри впечатлений, внутри того, что сразу же или очень быстро уходит в тысячи миров, разобщенных между собой, – в этом что-то есть, что-то длится. Есть какая-то непрерывность. Ведь, смотрите, я говорю: труд жизни – и, когда я это говорю, я явно имею в виду какое-то неделимое движение, имеющее непрерывность, по отношению к которому все способы разрешения, практического или изживающего, есть то, что англичане называют *act out*. Психологи, наверно, знают, что это такое – разыгрывать вовне. Вынести вовне в проигрыше. Все практические разрешения есть прерванность движения по отношению к чему-то неделимому. Я поясню простым примером: я говорил вам, что в страдании, связанном со смертью любимого существа, происходит какое-то движение, внутри непрерывности

которого нельзя поместить знание о том, что страдать бессмысленно, потому что того, что было, не сделаешь небывшим, или – того, что было, не вернешь. Или – что можно любить и другого. Точно так же – если у тебя убили друга в Афганистане, то структура философского и поэтического сознания – а мы знаем, что из философского и поэтического сознания только и складывается структура действительной человечности, – полностью исключает то, что можно тут же, сразу призывать к мести. То есть разрешать чувство горя практическим действием. Само практическое действие выступает как прерванное движение по отношению к тому, что должно было быть непрерывным движением. **В непрерывном движении** проясняется смысл. Вот, скажем, когда Маяковский кричит, что Войкова убили – или кого-то еще, я не помню точно фамилий, – и что мы за это десять белых убьем, то он произносит нечто невозможное в структуре поэтического сознания и в структуре человеческой души. Не дело поэта призывать к убийству – не по гуманитарным запретам, хотя и по ним тоже, конечно, – а потому что его дело прояснить, узнать, что происходит. И поэт по определению видит сразу с двух сторон. Поэтому он видит и то, что парень в Афганистане был загнан в угол, оказался там и трагично погиб, и видит того, кто в него стрелял, и он должен быть способным в состоянии горя, если этот парень его друг, состояние горя **держать**, а не разрешать. А что значит «держать»? Оставаться **внутри неделимого**, непрерывного движения, лишь в конце которого может кристаллизироваться реальный смысл того, что происходит. Реальность нашей судьбы. Ведь стоит поддаться разрешающим движениям, то есть делящим движениям, – а мы пока все время у Пруста имеем дело с делящимся миром, который дробит чувства, прерывает непрерывность неделимых движений и т.д. – стоит поддаться, как разрушается душа. Пожалуйста, мы будем в афганской деревне стрелять и убивать детей, женщин и будем делать это в ослепительной ясности правоты. Вот с чем мы в действительности имеем дело. И эта ситуация – я беру ее в предельном виде – похожа и на обыденную ситуацию. Ведь я могу вам доказать, что вообще в истории не было сделано зла без абсолютно ясного сознания делаемого добра. Зло всегда делается для добра, так же как и лгут для истины. Все пафосы содержат истинный исходный пункт. И когда говорят, что страсти ослепляют, то не замечают, что в этой фразе всегда есть следующее: ослепительным для нас является ясность правоты страсти. Только этим можно ослепляться. Человек очень сложное создание, и в более простых случаях он не ослепился бы. А ослепляется – ясная правота страсти. Пруст в одном месте замечает (все, что я говорил сейчас, – вариации, не прустовский текст), в связи с садизмом и мазохизмом, что, собственно говоря, мы обычно завидуем иногда садисту, ценности, так сказать, его наслаждения мучениями другого. Но в действительности у садиста вовсе нет этой ценности радости, потому что садист в лице другого, который позволяет себя мучить, в действительности всегда наказывает зло. А наказание зла не такая уж радость. И поэтому нечего садистам приписывать какую-то единую незамутненную радость мучения другого.

Еще один дополнительный закон по отношению к коконам, то есть ко всей нашей реальной жизни, к тому, над чем мы потрудились, – конечно, мы не везде выдерживали неделимое движение страдания и мы разрешали его практическим действием. Вместо того, чтобы, так сказать, остановиться в наслаждении, мы повторяли акт наслаждения и тем самым теряли непрерывное или неделимое движение наслаждения. Например, одного исполнения сонаты достаточно, если ты углубился и оказался в непрерывности испытания, чтобы извлечь все, что там содержится. Точно так же, как одного пирожного достаточно, чтобы полностью вкусить, что тебе вообще может дать пирожное. И поэтому стойки и говорили, что нечего мчаться в погоне за удовольствиями.

Что значит – в погоне за удовольствиями? – акт практического исполнения удовольствия ставить на место развиваемого удовольствия. Это разные вещи. Развиваемое удовольствие есть – нереализуемое практически. Так вот, достаточно одного, – потому что удовольствие само по себе в своей малой части содержит все бесконечные части или всю бесконечную сумму частей данного удовольствия. И можно не бежать. Потому что это будет настоящим бегом – одно удовольствие сегодня, завтра другое, потом еще смерть дышит в затылок, глядишь, и не успеешь. Все время с поднятой ногой в погоне за удовольствиями, а тут – смерть, конечно, обидно, она подкашивает – ты с поднятой ногой и... на тебе... умер, так и не вкусив. Это бег в дурную бесконечность. И он же называется у Пруста самой большой смертью. «Самая большая смерть – это число и бесконечность». Подставьте число удовольствий – это смерть, и бесконечность в погоне за ними – тоже смерть. И то и другое отлично от некоторого неделимого и непрерывного движения, по отношению в которому все остальное является – или превращенными, или прерванными движениями. Движение страдания прервалось, если я расстрелял детей, стариков в деревне. И прерывалось оно совершенно независимо от ясности моего добродетельного возмущения и чувства мести за несправедливо погубленного друга. Это фашистская боевая истерика. Но есть законы, – вот о чем я говорю, я говорю не о вещах, – которые могут нас бросать в такого рода состояния. Эти законы есть, и я частично их описываю.

Я вел это к формуле – пытаюсь привести все это в какую-то прустовскую формулу, и меня тоже, наверно, заносит по кривой. По той самой, которую я сам же и описываю. Пруст говорил (и этим законом можно поставить окончательный знак или точку на всей теме коконов нашей души, или – вещей, лиц, мест, времен, как коконов наших переживаний и впечатлений), – воспоминания (то есть элементы, объемы истории, которые я ввел) нельзя переливать в другой сосуд и нельзя делить. Очень интересный закон. *Les souvenirs ne se transvasent pas* – там сосуда нет (*transvaser* – глагол очень выразительный, можно просто только глагол употребить, и ясно, что – из сосуда в сосуд). Значит, **воспоминания непереливаемы в другой сосуд и воспоминания неделимы**. Если воспоминание – в сосуде Мезеглиз, то оно непереливаемо в другой сосуд. Не потому, что это – воспоминание о Мезеглиз. Пруст не это имеет в виду. Ну, конечно, воспоминания о Мезеглиз не есть воспоминание о Париже или Венеции. Нет, не в этом смысле. А в том смысле, что объем истории, объем задач, объем поиска, объем вопросов по отношению к самому себе, объем человеческой тревоги и забот, – если они разрешились и упаковались в Мезеглиз, то в другую вазу их перелить нельзя. Эти куски нашей жизни, сознательной, нельзя перевести на другие предметы в том виде, в каком они есть. Нельзя этого сделать. Они неделимы. Я сказал, что пафосы неделимы, потому что они всегда замкнуты на трансцендентальное, то есть на высокое, на дальнее. (Ну, как глаз рыбы свою воду проецирует в бесконечность – это ее среда и ее живая вода. А я говорил вам, что вода есть индивид. Не меняется вода, живет вечно.) То же самое относится и к нашим состояниям. В данном случае – к воспоминаниям. И закон их существования в коконах есть закон неделимости. Они непереливаемы в другие сосуды и неделимы. Простой пример, я говорю: пафосы неделимы. Вы не можете пафос, в том числе фашистской боевой истерии, расчленить. Вы можете только заменить путь или предложить человеку другой путь, посредством которого он вышел бы к чему-нибудь другому, а разделить – один кусочек убрать и вместо него поставить другой – невозможно. Поэтому особенно серьезны законы нашей нравственной и сознательной жизни, – что мы такими простыми операциями с ними справиться не можем. И поэтому существование таких законов и требует от нас совершенно особого внимания к ним.

Я хочу добавить еще одну такую вещь – к этой непрерывности, о которой я говорил, я приведу цитату из рукописей Пруста, накопившихся вокруг его занятий Джоном Рескиным и вокруг переводов Рескина (я говорил вам, что Пруст переводил «Амьенскую Библию» и другие вещи Рескина). Уже в переводах Рескина намечается метод рекуррентных воспоминаний. Например, когда впечатления от одного места – в другом коконе, в другом месте: то, что было, скажем, в Мезеглиз в форме цветка, и оно же – в клочкотании калорифера. Ну вот, мы уже имеем ученое словечко для этого явления. Рекурренция. И уже в связи с Рескиным – Пруста поразила нота бесконечности сознательной жизни или бесконечной длительности всего того, что жило. Читая Рескина, Пруст впервые открыл на себе (очень существенный потом для его романа) закон, который можно сформулировать так: все, что жило, будет жить. Но слово «жило» здесь очень нагружено, потому что «жил» – это не просто то, что мы видим живым. Многие из того, что мы видим живым, на самом деле мертвое. То, что на самом деле жило, будет жить. И будет жить только то, что жило. А на библейском языке было бы сказано так: только те, кто записан в Книге! – а вы знаете, что число, записанное в Книге, не совпадает с числом живших, формально живших людей (то есть из живших не все жили; в том числе не жили те, которым место отведено даже не в аду, а в преддверии ада, – те, которые не сделали ни добра, ни зла). Так вот, возвращаясь к рекурренции, – Пруст пишет так: «В замечаниях к тексту перевода Амьенской Библии я каждый раз помечал те случаи, когда воспоминание на одной странице выявляло, отдаленным образом, но все-таки путем какой-то ударяющей аналогии, сходство этой страницы с другой страницей Рескина, то есть постоянно». Здесь как раз та непрерывность, о которой я говорил, показывает себя рекурренцией или вложением одних состояний в другие состояния, казалось бы, ничего общего не имеющих. И для памяти то же самое. Ведь для того, чтобы я мог найти себя в качестве самого себя (например, проснувшись), нужно, чтобы то, что я нашел, длилось бы независимо от моих представлений. И вот некоторое дление, идущее в этом непрерывном измерении, в непрерывном действии, некая непрерывность, проявляющая себя фактом рекуррентности состояний, есть первое основание, на базе которого можно строить трансмировую линию, которая будет на себе собирать вещи, вынимая их из заключения в мирах, вынимая их из миров-тюрем. В каждом коконе, как в тюрьме, заключены какие-то вещи. И на что-то нужно опереться, чтобы вынуть их из раздробленных миллионов миров, из миллионов зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро; и мир в каждый данный момент сразу же, как в тысячах осколков зеркал, отражен и воспроизведен, чтобы длиться дальше в этих мирах. Чаще всего в мирах параллельных, не пересекающихся один с другим. Пруст допускает, что, очевидно, что-то длится и проявляет себя, работает непрерывно, если есть – странным ударом – напоминание на одной странице того, что написано на другой странице, не вытекающей из первой. Так вот, – выделяя, постулируя такую непрерывность, потому что такая непрерывность не есть наблюдаемая непрерывность, это будет нечто, что в философии называют постулатом, то есть необходимым допущением, – допустив это, можно понять что-то другое, а не допустив, – все другое становится непонятным и разваливается, – Пруст говорит: «Тем самым я некоторым образом импровизировал для читателя своего рода ложную память, наполненную ощущениями, произведенными Рескиным». То есть текстом Рескина, – это потом читается читателем, но читается в последовательности текста. А рекурренции идут поперек, по вертикали, вдоль и поперек этой последовательности. Они не следуют этой последовательности, так ведь? И вот он собирает их отдельно, и это собрание Пруст называет искусственной памятью, своего рода ящиком резонансов. Вот в каком месте фигурирует

словосочетание «ящик резонанса», которое я вам уже приводил. Фактически ящик резонанса – это не просто ящик, в котором так расположены вынутые воспоминания, что можно их расположить в непрерывности какого-то неделимого движения, отличного от фрагментации, дробления в мирах. Речь идет об особой игре или о взаимодействии между этими впечатлениями, которые **резонируют** между собой в том смысле, что их резонанс есть нечто, что до конца, до полноты **выявляет** смысл случившегося, смысл, упакованный в каком-то одном впечатлении. Например, – то впечатление, которое упаковалось в пирожном «мадлен», если оно же потом упаковано в пыхтении калорифера, если оно же потом есть в ощущении ногой неровности плит дворца Германтов (ну, я сейчас путаю, там не такая серия – неважно, я могу строить любую серию). Так эта серия есть серия становления – наконец – смысла. Нечто стало, свершилось в бытии по своему истинному смыслу, чтобы ответить на вопрос, что было на самом деле, **стало** путем резонанса. А резонанс происходит внутри ящика резонанса, или, как Пруст говорит, внутри *mnémotrice factice*, искусственной памяти. Внутри какой-то машины памяти. Не той способности нашей нервной и физиологической организации, которая состоит в способности запечатлеваться следами, хранить их или стирать, и мы хотели бы что-то объяснить запечатлением или стиранием, – памятью называется нечто **артикулированно организованное**, своего рода текст. Я условно называл его, в связи с другими вещами (но это то же самое), **текстом сознания**. И могу ввести закон, если я его не вводил: прочитать текст мы можем только текстом...

Так вот, этот ящик резонанса есть зеркало, которое поставлено перед жизненным путем, зеркало, по отражениям в котором этот путь исправляется. Или, что то же самое, из этого пути высвобождаются действительные смыслы, то, что было на самом деле. То, что я на самом деле чувствовал, что на самом деле я думал, – потому что то, что я думаю, не всегда совпадает с тем, что я на самом деле думаю. В какое место, по отношению к какому-то центру мира, я поставлен – факт, что я переживаю то, что переживаю, думаю то, что думаю, волнуюсь тому, чему волнуюсь, реагирую на то, на что реагирую. Или не реагирую на то, на что не реагирую, хотя мог бы или должен был бы реагировать. Не вижу, хотя должен был бы видеть, потому что это же есть моя собственная часть «извечно созданного друг для друга», – а я смотрю на нее и не вижу и т.д. Такая метафора зеркала существует даже в применении к литературе, – вы знаете, что Стендаль определял литературу как зеркало, поставленное на большой дороге и в таком случае литература есть запись того, что на дороге зеркало увидело. Или что из того, что было на дороге, зеркало отразило, и нужно записать то, что отразилось в зеркале. Но то зеркало, которым я заменил термин «ящик резонансов», очевидно, устроено как-то совершенно иначе, – чтобы исправить кривую, пошедшую от центральной точки впечатления, как выражается Пруст, и заведшую меня в миллионы, тысячи раздробленных и непроницаемых и параллельных миров... Но прежде чем разобраться с этими свойствами, – то, что я называл синтезом, есть синтез происходящего в такого рода зеркальной конструкции, – прежде чем заняться свойствами этого зеркала и тем самым синтезом, мы кое-что должны предварительно закрепить. Я возвращаюсь к соотношению исторического объема и актуальности. Значит, с одной стороны – исторический объем, о свойствах которого я уже говорил, а с другой стороны – то, что актуально происходит. Обратим внимание на то, что для нашего движения, в котором мы устанавливаем уникальное соотношение, уникальную связь в качестве реальности – что есть на самом деле, уникальную связь в качестве реальности между историческим объемом, с одной стороны, и актуально происходящим – с другой, для этого у нас уже есть то, что я назову временной осью. Возьмем

метафору зеркала. Зеркало поставлено по какой-то оси, оно ориентировано какой-то **временной осью**. В отличие от тех временных точек, которые уже упакованы в миры, у нас сейчас есть временная ось, на которой мы должны синтезировать различные или многие миры. Фактически мы уже знаем, какими свойствами она обладает. Я выражу ее так: это как бы минимальное время. Или – минимально большое время. Сейчас я поясню – в одном случае Пруст говорит, что если роман достаточно длинный, то проявится то-то и то-то. Например, будет пространство для игры соответствий, – а чтобы была игра соответствий, нужен хотя бы минимально большой роман. Минимально большой текст. Свойство этого времени мы видим и в тех примерах, которые уже приводились. Я говорил: что-то происходило в Мезеглиз, и это же происходит в Париже в пыختении отопительного устройства и т.д. Но чтобы прояснялся смысл, должно быть **то время**, достаточно большое, чтобы нечто случилось бы и в Мезеглиз, и в Париже. **Минимально ограниченное время** – чтобы смысл в этом невидимом непрерывном измерении разъяснял бы сам себя, – иначе у времени не было бы пространства для игры соответствий, которые только и устанавливают, что испытано на самом деле, что происходило, – говоря о себе через эти впечатления – одно в Мезеглиз, другое – в Париже, третье – в Венеции. Ну, это, так сказать, постулативное, предварительное требование, называемое нами временной осью для какой-то вселенной, состоящей из трансмировых линий. **Трансмировых** в том смысле, что на них синтезируются и объединяются кусочки из мировых линий, из миров. На это нужно минимально большое время. И можно сказать так: каждый раз уже достаточно есть времени. (Мимоходом упомяну, что – в качестве физического аксиоматического требования – такое достаточно большое время есть и в теории относительности. Там тоже мировые оси и временная ось устанавливаются с выполнением этого требования. Меньше этого времени не может быть.)

Так вот, эта ось, на которой мы должны располагать расшифрованные части прошлого, не зависит от эмпирически наблюдаемой последовательности. Или от движения вообще в последовательности: если есть достаточно большое время, то безразлично – произошло ли нечто сначала в Мезеглиз, а потом в Париже, или наоборот. Иначе говоря, наблюдаемая фактическая **последовательность приводимых в резонанс состояний не имеет значения**. Мы от нее не зависим. Мы как бы вынимаем себя из практических случайных реализаций смыслов самим свойством этой временной оси. Если достаточно большое время, – оно нам нужно, чтобы из фрагментарности вынимать впечатления и прийти к точке совершения полного акта. И если у нас это есть, то мы не зависим от фактически случившейся, наблюдавшейся последовательности, и мы строим такой текст для чтения другого текста, – текст искусственной памяти или текст романа для чтения текста впечатлений – такой текст, который не сводится к описанию последовательных, действительно эмпирически происшедших со мной событий. Я могу прыгать от одной временной эмпирической точки к другой и не быть скованным их последовательностью. Я могу взять сначала Париж, а потом Мезеглиз, – и не случайно роман Пруста построен с нарушением всей хронологии. Мы понимаем что-то – не следуя хронологической линии времени, а наоборот, мы считаем, что следование хронологии мешало бы нам понять. И мы должны найти что-то такое, что дало бы нам обоснованную возможность не соблюдать этой хронологии. И вот некоторые построения, называемые в данном случае ящиком резонансов – *caisse de résonances*, дают нам такую возможность, поскольку эта временная ось достаточно большая, чтобы стирались эти различия. И поэтому мы не прикованы к наблюдению: пошел ли он направо сначала, потом прямо, потом налево, или наоборот. То есть то, что нам казалось кадрами на разных

полосках или на разных поверхностях, совершенно не сковывает нас своей последовательностью на этих полосках. Мы можем брать, во-первых, вне последовательности на ленте и, более того, мы можем двигаться с одной ленты на другую, не завися от того, что эти ленты – разные. А можем вдоль и поперек идти, – если мы организуем второй текст, который существует или создается для чтения первого текста. То есть текст книги, или – книги как искусственной памяти, организован для чтения текста впечатлений, потому что в данном случае и то и другое есть тексты. Я сказал, что **текст мы читаем текстом**. И вот чтением текста, имея уже временную ось, мы как бы начинаем заниматься возведением в квадрат того, что было. Или – изменением ранга мышления. Я ведь уже сказал, что с нами может случиться что-то содержательное, осмысленное, достойное, только если **уже случилось**. То есть – мы есть, если мы были. В переводе на наш старый язык: если мы работали. Если мы вкладывались, если мы упаковывались в то, что мы переживали, а не просто тут же удовлетворяли удовольствие. Если у нас была хоть какая-то секунда остановки человеческого запроса, а не просто функционирования крысы, то есть если мы были не травой, а людьми, – там происходила упаковка, и это означает, что была работа. Была мысль! Но эта мысль застряла, упаковалась. И теперь мы снова ее высвобождаем мыслью же. Мы ее (условно возьмем эту, так сказать, математическую метафору) возводим в квадрат. Но для нас существенны здесь две вещи. Во-первых, мы понимаем: чтобы мысль была сейчас, нужно, чтобы она **была**. В прошлом. И, во-вторых, чтобы она была сейчас, нужно сделанное, прожитое возвести в квадрат. И тем самым мы спасаем прошлое. И для этого возведения в степень я предложу вам интересную метафору. В данном случае – не рассудочную, не аналогию, а высказывающую суть дела.

Значит, мы имеем исторический объем и актуальность, – и чтобы в актуальности случилась любовь, мысль, нужно, чтобы в историческом объеме уже была работа любви, работа мысли. Как устанавливается реальность, то есть мир на самом деле, как он есть? Реальность как соотношение, пропорция, ратю между историческим объемом и актуальностью, – что равнозначно установлению этого объема (как мы уже другой метафорой знаем), равнозначно воссоединению с самим собой. «О, как божественно воссоединение извечно созданного друг для друга!» Да? И вот это jointure с самим собой есть как бы пазовое соединение. Вот чтобы я пазово соединился с самим собой, паз уже в вывернутом виде есть пустота для того паза, который войдет именно в эту пустоту. Так ведь? Давайте зрительно, наглядно представим. У Пруста это поясняется все время циркулирующей – тайно, явно, то уходя в глубину, то на поверхность – метафорой колодца. Колодца страдания. В том, что с нами происходит, есть как бы ритм, состоящий, как минимум, из двух тактов. Я не говорю, что вообще из двух тактов он состоит. Очевидно, ритм не состоит из двух тактов, он состоит из большего числа тактов, и вообще вся наша вселенная, описываемая и воспроизводимая Прустом, есть ритмизированная вселенная. Или, по меньшей мере, состоящая из двух темпов или из двух тактов, из двух движений. Первый такт или первое движение – это импликация и компликация самого себя в чем-то. В месте или в пейзаже Мезеглиз. Второй такт – это воссоединение с тем, что было упаковано первым тактом, воссоединение с ним через еще одно случание этого переживания или восприятия, или мысли – случание его в другом коконе. И этот второй такт есть такт как бы туннельного ныряния по колодцу страдания. Туннель воссоединения с самим собой. А воссоединение с самим собой не происходит путем следования фактически случившейся последовательности (то есть что за чем происходило). В реальной жизни происходило так: сначала что-то было в Мезеглиз, а потом было там. Но – без опоры на эту фактическую

последовательность и вообще самую случайность событий – в Париже этот калорифер мог и не запыхтеть, и не было бы этого второго такта. Нет, от случайности не зависит. Чтобы пояснить это, я построю теперь так: есть некоторая свертка меня самого первым тактом в каких-то телах. В телах чувствительности, – а телами чувствительности являются географические места, лица, события и т.д. Моменты времени. И – свертка в теле. И мы сталкиваемся с этими телами, то есть с частями самих же себя, заключенными в предметы, которые **извне** приходят к нам. Извне я встретился с калорифером в Париже. Там я – в свернувшемся виде. То есть – мое переживание, мое впечатление, какой-то смысл, какое-то понимание, испытанное что-то. И вот в присутствии этого пыхтения калорифера я должен прийти **в движение**. И это движение есть **развертка смысла**. Значит, есть свертка, а есть второй такт: развертка. Путем развертки мы выходим на поверхность, на божий свет, из темноты выходим на божий свет смысла. Узнаем! Было то-то, смысл был такой-то. Например, в свертке танцевали, соприкасаясь грудью, а в развертке – вся моя драма лесбийских склонностей моей возлюбленной. Уже знаю. И формула здесь такая – теперь образы подземного: под землей труд, мы ведь упаковали трудом, и – подымания, – «почти что можно сказать, что произведения, как в артезианских колодцах, поднимаются ровно настолько высоко, насколько глубоко наше сердце было прорыто страданием». Или, словами Гераклита, я сказал бы так: путь вниз равен пути вверх. Итак, мы имеем путь, состоящий из двух отрезков; и вот ровно настолько, насколько мы ушли вниз, работали (страдание в данном случае называется работой, или работа называется страданием), ровно настолько мы можем подняться к смыслу наверху. Один отрезок равен другому. Ну, конечно, под страданием имеется в виду (у Пруста хронически встречается этот термин) тайный образ артезианского колодца. Он в разных случаях будет говорить о книгах: «...книга тем более содержательна, чем из большей глубины тени, владевшей пишушим, она выросла». Помните, я формулировал закон для нашей душевной жизни: чтобы понять, а понять можешь только сам, нужно очень утемниться по отношению к тому, что тебе следует понять. Если не утемнишься и, следовательно, не накопишь свой собственный труд в тени, или в корнях, которые, как я говорил вам, по определению уходят в землю и не видны, то не будет того растения, которое мы видим на поверхности.

Значит, в этой связи Пруст говорит: артезианский колодец. Под «страданием» не имеется в виду мучение несчастного. А я сказал бы так: в классическом мире или в мире Пруста действует аксиома (шокирующая, но нужно понять ее умозрительный смысл, а не прямой), гласящая, что несчастные не страдают. **Несчастные не страдают**. Это можно легко расшифровать, если вы воспользуетесь всеми теми терминами и примерами, которые употреблял Пруст. Скажем, страдание, в котором я – это же переживание – несчастен, потому что моя любимая мне изменяет, и жду, с волнением и страданием, с ней встречи, на которой я скажу решающие слова и т.д. Это – страдание несчастного?! Я, конечно, несчастен, но несчастные не страдают, потому что здесь вся структура переживания есть структура, возникающая динамикой и **силой избегания** страдания. Структура страха и надежды. Неспособности (отсутствие мужества) поглядеть в лицо тому, что есть на самом деле. Да, в том числе и тому, что смерть – уникальная вещь, и ты умираешь в действительности каждую минуту, если живешь. И из этого нужно что-то извлекать для понимания мира, а не превращать смерть в какой-то идол, посредством которого ты по голове других ударяешь. Какая-то деревяшка, и ты ею мстишь другим: вот там, я ей скажу. Насколько часто то, что выглядит как мучение несчастного, то, что мы склонны называть страданием, насколько часто это бывает набито самодовольством, самоугождением. Мы буквально

растекаемся в себялюбии, мы как штопор входим в процесс самолюбования и глупости. И вот в этом смысле, то есть в строгом смысле слова (когда мы говорим о законах нашей душевной жизни, мы говорим на языке философии и термины применяем в строгом смысле слова), – несчастные не страдают. Так вот, страдание есть опыт собственного зла и пафоса. Опыт зла мира, в котором не находят себе места неориентированные, незаконные эмоции, а пафосы находят место, потому что пафосы законны. Сейчас я поясню, что такое неориентированные эмоции. Под страданием имеются в виду страсти, заключенные в пафосах: собственный грех, пробуждающееся воображение, которое видит – единственно существенное и важное для себя – то, чего в мире как раз нет, или то, чего мир не признает. Эмпирически не принимает. Имеется в виду – под страданием – опыт, который греки называли опытом амехании. Амехания есть невозможность действия тогда, когда находишься в апории, то есть в непроходимом месте. Герои греческих трагедий всегда находятся в апориях, в непроходимых местах. Скажем, в одной из них есть неразрешимое столкновение между родовой памятью и привязанность к родовой памяти и гражданскими установлениями своего собственного города или полиса. Ценны и то и другое. В свое время Бердяев прекрасно сказал, что в действительности трагедией является неразрешимое столкновение двух вещей одинаково ценных и – исключаящих друг друга. Мы очень часто это испытываем, я, во всяком случае, испытывал то, что называю невозможной любовью. Той любовью, скажем, какой я люблю Грузию. В ней содержится апория. Никто никогда (и я уж, во всяком случае) не сможет ее разрешить. Потому что есть вещи ценные, из-за которых я не должен любить Грузию, и есть вещи столь же ценные, из-за которых я ее люблю. Это есть **невозможная любовь**. В философии такие вещи называются **метафизической невозможностью**. Такая же метафизическая невозможность – между человеческой свободой и состраданием, и любовью к другим людям. Из-за свободы я должен нести горе людям, а горе нести нельзя по причинам не менее ценным, чем те, по которым я ищу свободу. Это – невозможность. В греческой традиции она инсценирована, и это называется страданием. Трагическое страдание. Но именно внутри такого страдания и рождается **понимание и ясность**. Понимание удела человеческого, наших возможностей, что мы есть на самом деле, и что есть мир, и что может мир, и что можем мы, – эти вещи выступают только в свете, который рождается в очагах такого рода страдания. Труд жизни есть страдание. Труд, уложенный в объемы истории или в исторические объемы. Наконец, я даже сознание фактически, незаметным для вас образом, определил как страдание. Ведь сознание есть изменение склонения, а действительное страдание есть то, **чего стоит** нам изменение склонения. Не боль, скажем, даже физическая, а то, чего стоит нам выдерживать ее, то есть изменять склонение, вызываемое болью.

Теперь сделаем еще один шаг в этом страдании. В том плане, в каком я говорил, можно говорить бесконечно, находя все новые и новые нити, и все они интересны. Говоря об этом страдании, я хочу обратить внимание на то, что все перечисленные вещи, которые я вводил в рубрику страдания, характеризуются, кроме всего прочего, одной чертой: они все есть такие состояния, которые не записаны (предварительно) в строении мира. То есть состояния, в которых мы переживаем, несем на себе и из-за них штопором входим в страдание, – бытийные состояния, которые не получили существования. В которых мы чувствуем, что в нас есть что-то избыточное и большое, или не уместяющееся в том, что есть. Например, есть какое-то правило морали, принятое, – и не в том смысле, что я его оспариваю, – а во мне есть что-то, что им не покрывается и не разрешается. То есть во мне есть всегда запас эмоций и мыслей неориентированных, не имеющих направления.

Ведь, как правило, мысль, если она имеет ориентацию, – одна из ступенек разрешения какой-то задачи, связки и правила которой заданы, уже существуют в мире. В мире такие задачи решались, и если моя мысль есть элемент такого рода задачи, то она имеет направление и тем самым – оправдание. Она законподобна. Скажем, от родителей моих я знаю какие-то правила жизни, правила общения с другими людьми, и в этих правилах есть мудрость и т.д., но всегда есть моменты (в юности решающие), которые этими правилами неразрешимы, – не в том смысле, что я отрицаю их (это может быть потом итогом, печальным итогом, если я останусь идиотом), – мы через страдание чаще всего приходим к тому, что как раз эти правила и примем. Но примем уже как продукт зрелый, невербальный продукт собственного труда. А пока для нас это просто схема, и мы полны какими-то неориентированными чувствами, эмоциями. Или, я выражусь так, – элементами анархии. Дело в том, что то, что я называл историческим объемом или историей, прошлым, сделанным, прожитым, есть прожитое, которое продуктивно настолько, насколько оно необходимо содержит в себе нами проходимый и проживаемый анархический элемент. Элемент хаоса и отсутствия готовых ответов на те вещи, которые в моем сознании возникают, которые я вижу и для которых нет никакого ответа, – кроме того ответа, к которому я могу прийти сам. Приведу простой пример. Поскольку Пруст – писатель эlegantный, у него не было шокирующих описаний всяких анархических взрывов, всяких подпольных и незаконных, моралью не узаконенных чувств, расшатывающих существующие нравы и обычаи и пр. У Пруста это все – мягко, как-то по-французски (французы не любят качания мускулов, криков). Глубина фразы прозрачна, скромна, не экзальтирована, как у немцев. (Ну, под фразой я имею в виду не только литературную фразу. Наша душа тоже фраза, то есть текст. Так вот, прозрачные и скромные, внешне скромные фразы. Ну, скажем, я могу предпочесть некоторые кусочки, лапидарные, Дебюсси большим симфониям Вагнера. Могу предпочесть по той причине, о которой я сейчас говорю.) И вот у Пруста эта скромная нота вдруг проскакивает в каких-то вещах. Например, такой эпизод в романе: Марсель отдает мебель, унаследованную от любимой тети Леони, в дом свиданий. (Кстати, этот эпизод в романе соответствует и реальному эпизоду прустовской биографии: уже во время войны некий Ле Кузье организовал дом свиданий для гомосексуалистов, и Пруст частично финансировал организацию этого дома свиданий.) И вот мебель, которая принадлежала семье, священные предметы отданы в бордель. Это – святотатство. Это не просто скрытое, тайное, лицемерное нарушение морали, это акт святотатства. Точно такой акт святотатства, когда мадемуазель Вентейль вместе со своей подругой не находит ничего лучшего, чем заставить фотографию своего отца быть свидетелем, во-первых, их любовных утех, что тоже является профанацией, и более того, как доказательство того, что они могут переходить эту черту, они, друг друга подначивая, – слабо тебе будет плюнуть в портрет любимого отца, – оплевывают эту фотографию. Я условно назову это анархическим темпом. Значит, у ритма нашего становления, я же о ритмах говорил, есть какой-то анархический такт (в смысле – музыкальный). Вот этот анархический такт вводится Антоненом Арто прямо на сцену очень интересной метафорой чумы. У него даже название его книги о театре звучит так: *Le thé à tre et son double* – Театр и его двойник. А двойником театра является то метафизика, то чума. То есть анархическое, хаотическое выплескивание на поверхность игры самых примитивных элементов природных стихий, которые не знают ни нашей морали, ни нашего благополучия, и в игре с которыми только и становимся мы людьми, способными решать человеческие задачи и иметь честь, достоинство, мужество. Арто как бы предупреждал европейцев: если вы не проиграте в алхимическом театре все те вещи,

которые таятся в темноте, в том числе и в вас самих, то, отказавшись – анархически, чумой – истреблять благие мысли и благие пожелания, благие нормы на сцене, вы будете реально, физически убивать миллионы людей. Вы не хотите алхимического театра, тогда вы получите реальные войны, реальное насилие. Короче говоря, то, что я называл трудом жизни, страданием, это не есть просто пассивное переживание чего-то. Это именно – труд жизни, работа, содержащая в том числе и риск самого себя в духовной анархии. Это какой-то промежуточный такт введения в хаос, внутри которого (этого такта) только труд может найти исходный или первоначальный, первичный человеческий образ – а он есть Божий образ в нашей душе, чтобы потом из этого образа рождались порядки, потому что порядки – только из порядков. И театр жестокости Арто есть в действительности ритуализация исполнения и нахождение правил, таких, чтобы сама душа потом не распалась, – можно впасть в анархию, а потом из нее и не выйти. Нахождение каких-то правил, – чтобы извлечь максимально продуктивную пользу для человеческой души. И Пруст, и Арто считали, что без анархического интермеццо не существует истины, не существует красоты, – не существует упорядоченных явлений (живущих по своим законам), которые мы называем истиной, красотой, благородством человеческим и т.д. У Пруста это менее заметно, но если всмотреться, если вы прочтаете описание ночного Парижа военных лет, если вы проследите всю историю Шарлю (как я говорил вам: эпическая фигура, которая, конечно, не вмещается в простые определения или различения добра и зла), то вы увидите, с какой настойчивостью Пруст все время шел к этому такту (к этому элементу устройства машины труда, который есть элемент воображения) в эксперименте над самим собой проигрывания сил хаоса, дремлющих и в самом человеке, и вокруг него.

Я поверну вопрос иначе. Посмотрите на самих себя, совершите акт рефлексии, подумайте... вот в юности что-то западает в душу... Мы начинаем думать, волноваться, переживать. И вы обратите внимание на то, что уже существует и законно. Скажем, очень часто именно на неофициальных мыслях и состояниях нас «зацикливает». Не потому, что мы порочны, а потому, что мир – по тем законам, которые я вам уже формулировал и которые есть законы Пруста, но не только его, конечно, но и всех философов, – непрерывно, заново творит, творится в том месте, где есть **метафизическое зло**. Вот в некоей пустоте – и через горнило этого мы должны проходить в той мере, в какой мы есть люди, имеющие человеческое достоинство. Для меня, например, юноша, который с самого начала живет в рамках официальной морали – комсомольской, или христианской, или любой другой (в той мере, в какой она официальна) и не проходит через раскручивание тех состояний, которые с самого начала не умещались ни во что это, никогда не будет человеком (то, что мы интуитивно называем человеком, живым человеком, хотя живые, казалось бы, все), в том числе и ничего не поймет. Не поймет того, что относится к бытию. Потому что по определению бытие ведь есть что-то, что никогда не умещается в существовании.

Я приведу вам простой пример. Не из наших, так сказать, непосредственных эмоций, а уже из книжной сферы, но взятой со стороны обыденной и простой. Ведь мы читаем книги и читаем их несколько раз. Одна книга читается много раз миллионами людей, у каждого из них своя интерпретация. Интерпретация книги есть способ жизни этой книги в головах этих людей. У всех великих книг есть какой-то звук, какой-то Klang, как говорят немцы, тон, звук, не совпадающий с текстуальным содержанием книги, не исчерпываемый им, и являющийся как раз причиной того, почему заново и заново эта книга читается и имеет бесконечные интерпретации, которые тоже не есть продукт произвола, а есть способ жизни самой этой книги. Каждый раз это – она. Так что это

такое? Это есть то нечто, что звучит в самой же книге и не уместилось в ней. То есть то, что было у писателя его бытием, и оно по определению, если оно есть бытие, в том числе будет и нашим бытием, потому что бытие имеет бесконечную длительность, проявляющую себя рекурренцией. Ссылаясь на которую, Пруст создает свою искусственную память, называемую ящиком резонансов. Непрерывное и неделимое движение. Всякое неделимое движение каждый раз не есть то, что оно есть. Оно всегда – **не уместилось**. В зазоре фразы великой книги оно существует, не уместившись в книге, поэтому оно длится как бытие. Длится в читателях этой книги, растет и множится там – есть особые законы живого. И не знаю, как вам в этом можно было бы помочь... есть любовь эгоистическая, а есть любовь действительная. Любовь действительная – хочется делиться предметом любви с другими. То есть хочется, чтобы другие любили то, что любишь. Вот и я сознаю, что некоторые вещи запечатаны, от вас скрыты печатью, скажем, языка. Например, вы можете не знать французского языка. Я хотел бы, чтобы вы прочитали тексты Арто и добавили к пониманию того, что на самом деле происходило в Прусте и происходит в тексте романа, который есть текст, посредством которого читается текст души. А у душ наших есть текст. И эта нота есть нота трансценденции – выхождения за рамки, или есть нота бытия трансцендирующего усилия. Мы все время, если формируем себя, то формируем как результат какого-то непрерывного усилия, направленного за видимое существование, направленного на преодоление любых конкретных – ставших и законных – предметов. Без этого трансцендирующего усилия нет человеческого существа. И это усилие выполнено у Пруста, но выполнено со сдержанной французской нотой. И более резко сделано у Арто. Тот просто сошел с ума от этого. И у него есть фантастической красоты текст. (Он не входит в книгу «Театр и его двойник». Чума интересовала Арто как нечто несоизмеримое с нашими человеческими мерками. И он понимал, что рост и расширение наших человеческих мерок, то есть развитие самого человека, происходит только в соотношении с чем-то, что в принципе несоизмеримо человеку, что не считается с человеком. Как, например, чума. Вот чем она его интересовала.) Текст, написанный Арто в Родез, – местечко, где был расположен сумасшедший дом, в котором он находился как раз в те времена, когда те, о которых Арто предупреждал, пришли в его любимый Париж. Он проигрываемой анархической чумой предупреждал против реальной чумы... ну, а люди обычно не слушают, и было так, как было. Пришли убийцы. В это время Арто уже был в сумасшедшем доме. И в этом тексте идут какие-то странные обрывки фраз, в которых все время мелькает внутренняя нить сравнения себя с Христом... явно текст сумасшедшего. Экзальтация, отождествление себя с образом Христа, но тем не менее у самого текста есть какая-то фантастическая магнетирующая красота, и хотя он местами ископан, разорван, есть какая-то красота, как говорят французы, *fulgurante*, ослепляющая: ты видишь красоту текста и красоту состояния. Я привел этот пример – просто мне хотелось о нем рассказать, но и с задней мыслью, нужной мне для изложения. А именно – не случайно сумасшествие Арто выразилось отождествлением себя с Христом. Христос есть воплощение Бога. То есть это – и человек и не-человек. Бог во плоти. Вторая ипостась.

Дело в том, что проблема Арто, и театральная, и жизненная, была следующая. Частично я ее описывал как проблему, состоящую в том, что мир заново, непрерывным образом творится в каждой точке. Об этом я говорил в связи с аристократией. Аристократы – это несуществующие люди; они по наследству получают доблесть и достоинство, а поскольку все заново и целиком каждый раз разыгрывается, то, конечно, могут быть недостойные аристократы, потому что каждый раз участвовать в том, что заново и целиком

разыгрывается, очень трудно, Значит, и у Пруста – мир, в котором каждый раз заново и целиком все разыгрывается в каком-то невидимом измерении. В видимом измерении мы видим, что аристократы друг другу по наследству передают что-то. На самом деле никакой передачи нет – доблесть не передается по наследству, она заново возникает. Хотя мы видим, что она передалась, – возникла заново. Другими словами, я называл это точкой, где существует такая проблема: возник предмет, но на каких основаниях он длится... Дление предмета (я вам излагал кусочки декартовой философии) есть не меньшая тайна, чем творение предмета. Как говорил Декарт: чтобы в следующий момент был предмет, нужна сила, не меньшая, чем на то, чтобы создать его в первый раз, в первый момент (воспроизводство предмета тоже тайна). Условно назовем это декартовой точкой. Второй момент есть всегда момент телесно подкрепленного воспроизводства первого момента. Первый условно назовем идеей, понятием. Но чтобы вещь, понятие которой есть, была, нужно, чтобы она коагулировала. И только так она может длиться. Поэтому, кстати, существует символ воплощения Божьего, то есть телесного бытия чего-то, что не является телесным. Но – **телесного бытия**. И вот это мучило Арто. У него была проблема: как вообще помыслить мысль. (Я чувствую, что я не способен мыслить, потому что, чтобы была мысль, нужно, чтобы случилась коагуляция, чтобы мысль «сгустилась».) Ведь мыслью мысль получить нельзя. Здесь опять возникает проблема творения. И вдруг Арто говорит: эта драма (та, которую нужно изображать) есть «драма второго момента». То есть драма как бы полумысли. (Замысел. Понятие). Но решающим, драматическим является второй такт, второй момент. Она же (драма), но **реально длящаяся**. Восточные мистики говорили, что у атрибута (скажем, мысль приписывают атрибуции, субстанции какой-то) нет второго момента. Мы должны верить в новое творение – мир должен твориться каждый раз заново. И твориться в теле или посредством тела. А вот то, как мысль получает плоть, это уже есть случайность. Этого из содержания мысли нельзя вывести. Нельзя – на содержании мысли или на желании, чтобы была мысль впереди меня, – получить ее таким образом. И вот эта драма второго шага и должна была Арто разыгрываться. А в действительности, если отвлечься от слов Арто, вся наша умственная жизнь, в той мере, в какой мы что-то можем понять, что-то длить, иметь полноту чувств, полноту мыслей, есть разыгранная драма **второго момента** или интервала между двумя моментами. Во втором моменте мы всегда – уже в пространстве понимания и смысла, всегда – в пространстве тел, примеры чувствительности которых я вам приводил. Вторым шагом мы всегда – уже в этом измерении, а не просто в измерении внешних объективированных вещей, которые мы видим отвлеченным глазом или при помощи голого рассудочного действия. Кстати, даже в религиозном опыте люди это понимали. Ведь не было такой религии, в которой допускалось бы, чтобы творение совершалось голым рассудочным актом, чтобы из голого рассудочного акта рождалась вещь. Даже в Завете сказано, что в начале было Слово, и слово было у Бога. А слово – это телесный текст. Он компонуется, и он является началом. А начало вы знаете, что значит. Не начало чего-то, а начало **в чем-то происходящем**. Начало – это элемент, стихия. Например, можно сказать: выполнить что-то в элементе мысли. В данном случае мысль есть стихия этого «нечто». И вот в этом смысле Слово было началом. «Начало» было для греков синонимом слова «элемент» или «стихия». Вода была элементом, огонь. Элементы, или особая материя – не реальный эмпирический огонь имелся в виду, а особая материя в самих предметах этой материи. Есть существа, которые в этом элементе живут. И вот предметы рождаются в элементе. И таким элементом было – о слове речь шла – слово ведь то же самое, что и дело.

Нужно начать, нужно работать. И там происходят некоторые сцепления, получающие природу текста, в котором может что-то родиться.

ЛЕКЦИЯ 19. 24.11.1984

Я говорил об анархии как необходимом моменте нашего мышления и художественного воображения; эта тема и дальше будет мелькать и какими-то нитями я буду к ней возвращаться. А сейчас напомню вам об особом статусе произведения искусства у Пруста. Из того, что мы рассмотрели, мы поняли, что Пруст придает какую-то сверхчувственную реальность произведению искусства. И это придание произведению искусства сверхчувственной реальности стоит у него в контексте основной его проблемы, а именно – проблемы расширения души. Вот есть наша человеческая душа, которая, родившись, все больше сжимается, поскольку предметы, нормы, законы занимают все больше и больше места, а душа-то наша какая-то маленькая... И реализовать себя в простейших вещах, даже в том, чтобы понять, что я чувствую, что я в действительности испытываю, что люблю, – даже в этом простом смысле реализации человеком себя предполагается нечто, называемое распространением души, которое представляет собой такт или момент, или шаг развертки того, что было свернуто до этого шага. Свернуто в разных предметах, являющихся коконами или одеяниями нашей души. Места, события, имена – все это вбирает в себя, содержит в себе нашу душу, во всем этом мы свернуты, – но есть такт или шаг развертки. Между двумя шагами есть некоторый шаг, который можно назвать пустым шагом, пустым тактом, который и содержит то, что я называл анархическим элементом. Содержит в себе то, что на другом языке философы называли сомнением, абсолютным сомнением, отстранением, или абсолютным отстранением. (По-грузински это было бы гандгома.) И вы этот элемент ясно видели в том, что я описывал как неориентированные чувства. То есть – когда мы что-то делаем без цели, испытываем какие-то чувства, не имеющие явного ориентира. Например, когда мы решаем какую-то задачу, мы идем в каком-то определенном направлении: как бы решение этой задачи уже задано в мире, но мы просто не знаем этого решения; а одновременно с этим происходят очень важные движения, ненаправленные: мы движемся, не зная истинного направления. Эти абстрактные слова станут понятны, если я скажу такую парадоксальную вещь. Рождаясь в мире, мы всегда рождаемся в мире законов и правил. И дело в том, что, когда у нас пробудилось хоть какое-то сознание, это сознание всегда есть нечто такое, что не содержится в законе и не укладывается в этот закон. Назовем то, что я называю законом, официальной структурой жизни. Официальным строением жизни, – которое закреплено обычаями, правом, государственным устройством жизни, общественными, нравственными нормами и т.д. Обратите внимание на следующий парадокс: в своем сознании мы наблюдаем или чувствуем какую-то несправедливость, насилие, горе, обиду, а по закону этого ничего не существует. Закон всегда прав. В прошлый раз я говорил вам, что, поскольку пафосы неделимы и всегда исходят из какой-то истинной точки (она, может быть, не видна, но она существует), их нельзя расколоть. И в силу такого устройства пафосов все зло, которое случалось в мире, случалось по мотивам добра. Так же, как садист ощущает себя справедливым в отношении того, кого он мучает, потому что в том, кого он мучает, он преследует источник зла (или того, что ему кажется злом). Поэтому стоит встать на точку зрения закона, как мы совершенно справедливо должны принять любое действие, законно приводящее к человеческим несчастьям, потому что закон всегда устанавливает истину. И тем не менее наше сознание на этом не может остановиться, и то, что я теперь называю сознанием (в прошлый раз я называл «бытием»), никогда не уместается в существующем. То

есть мы сознаем что-то, чему нет еще места (а может быть, и в принципе нет, вообще нет) в законах или в том, как устроен мир. И если следовать тому, как устроен мир, то все правильно и справедливо, даже то, что мы видим как дисгармоническое, уродливое и ужасное, и нашему сознанию уродливого, дисгармонического, ужасного нет места в мире. А вся проблема человеческой жизни и реализации человеком себя, та проблема, которая лежит в основе философии, состоит в акте, которым мы можем найти себе место в мире с **тем сознанием**, какое имеем. В том числе с несомненным для нас сознанием несправедливости, хотя закон всегда справедлив, с несомненным для нас сознанием зла, хотя, если подумать, всякое зло имеет своим источником по-своему понятое добро и т.д. И вся проблема понимания мира фактически состоит в совершении акта **умещения себя в мир**. Не просто в качестве его претерпевающего, пассивного, страдающего субъекта, а в качестве **носителя** своего сознания, которое мне как бы некуда деть. Я должен именно с этим сознанием уместиться в мире. С сознанием, которым я обостренно чувствую дисгармонию, обостренно чувствую несправедливость и т.д. То есть всегда существует сознательная точка, через которую человек должен проходить, чтобы прийти к какому-то порядку, извлечь какой-то порядок из мира, и эта точка разрушительна, анархична, незаконна по отношению к существующему миру. Вот ее я называл анархическим моментом.

Более того, без этой точки анархического момента нельзя себе представить и просто даже не существует никакого **потом** возникновения порядка, – в том числе организованная мысль не может возникнуть без предварительного анархического разрушения строя мысли. Потому что предшествующий строй мысли всегда, как само собой разумеющееся, содержит в себе как раз то, против чего протестует наше непосредственное сознание. Поэтому Антонен Арто считал необходимым для расширения человеческой души совершение им на сцене эксперимента анархического разрушения мира. Не реального разрушения мира, а театрального разрушения. И тем более эффективного, чем менее это разрушение реально. Чем более оно театрально и понимает, что оно не мир разрушает, а приводит в движение элементы души на сцене, чтобы в них какой-то искрой родилось новое понимание, – а понимание, по определению, есть всегда **упорядоченное явление**. Пока я имею острое сознание, скажем, горя, несправедливости, я еще не имею **понимания**, я имею лишь, скажем условно, пляску электронов в своей душе. А понимание может только быть упорядоченным. И, оказывается, для этих анархических движений души, разыгранных, должны быть какие-то инструменты, – скажем, организация сценического пространства может быть таким элементом, вернее, инструментом, организация литературного текста может быть таким инструментом. Вот эту совокупность эмоций, движений души, переживаний, движения мысли я называл неориентированными эмоциями, – в которых нет заранее заданной задачи. Потому что, повторяю, то, что решает заранее заданную задачу, по определению уже находится в том мире, против которого мое сознание и протестовало перед этим. Организованный, преданный мне мир направлен, а то, что я уникально своим глазом вижу и должен вместить в себя вместе с этим видением в мир, пока никак не ориентировано (я должен идти куда-то, не имея правильного направления). Поэтому я вводил тему кристаллизаций и говорил, что то, что называется порядком, будет лишь выпадением в кристалл некоторого свободного движения, которое не имеет заранее заданной меры и направления. Что соответствует бесконечности человеческого существа; потому что человек есть такое существо, для которого нет никакой предданной меры. Меры человеческие устанавливаются в человеческом движении и т.д. до бесконечности.

И, собственно говоря, поэтому у Пруста – с этой стороны прежде всего – возникла мысль о сверхчувственной реальности произведения искусства. Теперь добавим еще оттенок, и сразу все предшествующее станет на место и объяснит нам сверхчувственность реальности произведения искусства. Когда Пруст рассуждает о том, что искусство выше жизни, а он неоднократно это говорит, то он имеет в виду, что то, что есть в искусстве, выше жизни в том смысле, что это выше чего-то, что мы видим умом, произвольной памятью, чувствами и чем мы обмениваемся в беседах при нормированном приличном общении. То есть выше всего того, что уже нашло место в существующем мире. Ведь когда я сказал: видим умом, то имеется в виду, – скажем, у меня есть идея написать роман, я ищу сюжет. Помните, я вам рассказывал, что душа Пруста была полна сюжетов, но он, имея в голове определенный образ писателя-мыслителя, имея в голове определенное, чисто рассудочное, представление о том, что такое идея, что такое высокие идеалы, хотел писать о том, что не имело никакого отношения к реальности его переживаний. И там он, слава богу, не нашел сюжета. Или – произвольной памятью мы видим что-то. И то, что мы видим произвольной памятью, – например, моим усилием, как кинокадры, проходят сцены деревни Шиндиси – это пустое перебирание четок, якобы богатств, содержащихся в моей душе. Там все мертво и пусто, и не имеет смысла распалать себя, вспоминая, вот я бывал в Шиндиси, так же, как я сказал бы себе, что я бывал в Неаполе, если произвольно (я пока «произвольно» беру как слово, еще не разъясненное) во мне не возник сам Неаполь или само село Шиндиси. Вот эти чувства – как бы уже обобществленные, социальные чувства – ими можно обмениваться с другими людьми. В разговоре я могу вам сказать, что в деревне Шиндиси есть мельница, а воссоздать, что в действительности я чувствовал, что в действительности было, и какое место эта мельница занимает в моей жизни, я могу только в одиночестве, то есть оставив вас как собеседников, заняв все точки моего места, моего мозга самим собой, – потому что, когда я беседую с вами, точки моего мозга не заняты мной, они заняты вашим присутствием. И только тогда, когда я займу все самим собой и начну строить текст, я и сам узнаю, каков был смысл моих переживаний там. Значит, это все происходит вне беседы. Теперь понятно, что если жизнь есть то, о чем мы беседуем, если жизнь есть то, что мы видим нашим умом, если жизнь есть то, что мы помним нашей произвольной памятью, то, конечно, это – нечто весьма скучное, посредственное, неинтересное, и в этом смысле произведение искусства или искусство выше жизни. И выше жизни потому, что оно реализует своими средствами какую-то реальность, которая средствами ума, произвольной памяти, приличных чувств, которыми обмениваются во время беседы, не реализуется. И второй момент: я говорил вам о том, что, в силу вплетенности человеческих существ – чувствующих, помнящих, сознающих – в некоторые экспериментальные взаимодействия с миром, в этих существах раскрываются какие-то глубины, в которые упаковываются впечатления, сращенные с предметами или с коконами, и между этими существами возникает параллельность миров. То есть они замыкаются в своих мирах, параллельных мирам, в которых замкнуты другие существа. И внешние предметы, которые, казалось бы, одни и те же для всех глаз, на самом деле одинаковы лишь выступающей на поверхность частью, а подземной своей частью, действительной своей частью, они ушли по разным параллелям в разные миры и мчатся там вдоль друг друга, не пересекаясь. Как мчится образ Рахиль в душе Марселя – не пересекаясь с образом Рахиль, параллельно развертывающимся в душе Сен-Лу.

И вот к идее особой реальности произведения – сверхчувственной – в том смысле слова, что эта реальность не есть та, которая видна умом и произвольной памятью, к этой идее Пруста толкает такой обобщающий, что ли,

взгляд на все то, что я сказал перед этим, – **раздробление мира** в миллионах миров, в тысячах зрачков с параллельными лучами, непересекающимися. Здесь говорить об особой реальности произведения или об особой реальности, которая реализуется именно произведением искусства, означает считать, что вся пространственно-временная разделенность, фрагментация рассеяния движений, в том числе фрагментация и рассеяние тех движений души, которые не ориентированы... ведь мы в какой-то момент времени нашей жизни имеем груз острого сознания, который не можем уместить в мире; потом этот груз сознания «куда-то» умещается: он находит себе какие-то объяснения или слепливается с какими-то предметами, и мы его забываем. Что-то непонятное ушло в неровные плиты площади перед собором Сен-Марка, – то есть то движение, которому не нашлось места в мире, – я ведь не сразу им овладеваю, оно – пока я им не овладел, оно, такое именно, скрылось, укрылось в коконе. Так же, как души самоубийц укрываются в деревьях. И потом кора этих деревьев и ветви кровоточат, ветки протянуты к нам с мольбою – расколдуй меня, расколдуй! (Философы обычно – этап или момент, или такт анархии и абсолютного сомнения выполняют хронически в своей жизни, в этом состоит их профессия. Обычные люди, переживая этап сомнения или анархии, тем не менее потом устраиваются в мире так, что эти неориентированные движения анархических чувств рассеиваются и фрагментируются и застревают в каких-то шлюзах, в каких-то предметах.) Так вот, – прошу простить меня за такую длинную промежуточную фразу, – идея реальности, особой реальности, той, которая реализуется произведением искусства или, скажем упрощенно, – **мыслью**, означает утверждение, что пространственно-временная разделенность – миры параллельны, фрагментация и рассеяние движений, это все есть в мире как моем представлении. **В мире – как моем представлении.** И я здесь выявляю нерв, скрытый у Пруста, устойчивой и четкой философской традиции, очень древней, но в более близком к нам времени мы можем отнести ее к Канту, философию которого можно резюмировать так: мой мир есть представление. Но это очень сложный пункт, я сейчас впрямую не буду его разъяснять, а пока лишь поясню одним простым примером. На прошлых занятиях мы анализировали проблему впечатления и говорили о том, что само содержание восприятия или само содержание переживаемого неотделимо (в нем же самом) от нашего представления причины этого переживания. Вдумайтесь сами в себя... Все основные наши переживания и впечатления по своему психическому составу переживаются в единстве с представлением того, какая причина вызвала это переживание. Здесь есть какая-то категория – категория «причинности». Есть представление об объективном мире – раз я говорю **причина, она** вызвала мое переживание, – скажем, Альбертина красива, и я ее люблю, – мое переживание нежности по отношению к Альбертине неотъемлемо содержит в себе **сознание** причины самого этого переживания. Переживается вместе со своим собственным объяснением: люблю ее, потому что она красива. Вот это есть мир **как представление.** В отличие – от чего? От реальности. В реальности-то мы видели, что люблю я Альбертину не потому, что она красива, а слово «потому» содержится в самой любви, в самом представлении об Альбертине. Вот что я подчеркиваю. Она в мире положена мне так, что **причина** моей любви к ней, понимаемая мною, есть одновременно **содержание** моего впечатления, моего переживания. Не просто отдельно есть причина и есть переживание, а содержанием переживания всегда является понимание причины, вызвавшей это переживание. И разделить, расщепить их в простом сознании невозможно. А в реальности мы знаем, что не красота Альбертины или какие-то другие физические качества ее действовали как причина, а происходил процесс кристаллизации, – просто Альбертина оказалась как раз там, где мы были в особом состоянии

потребности в любви, и она оказалась именно тем человеком, который «прокрутил с нами динамо» (простите меня за вульгаризм), – и все, спекся, влюбился! Влюбился не в того, кто красив, а в того, кто в определенный момент «прокрутил со мной динамо», и тем самым кристаллизовалась вся моя потребность в любви – на этом предмете.

Так вот, расширьте этот пример и вы поймете, что все то, как мы видим наш мир, есть представление, категориальное представление. Потому что наши образы мира содержат в себе и определенную интерпретацию причин этих образов. Нельзя сказать, что мир есть мое представление (этот тезис обычно считается идеалистическим). Нет, я говорю; **мой мир** есть представление. В том числе это относится и к пространству, и ко времени. Путь поиска особой реальности, той, которая реализуется только специальным текстом или произведением искусства, или просто мыслью, начинается с понимания того, что пространство и время есть только представления, химеры. Такой же химерой является и «я». Значит, на пороге другой реальности – реальности, реализуемой лишь искусством или мыслью, мы имеем химеры, сторожащие этот порог. Эти химеры – пространство и время, и «я». И реальность тогда выступает для нас – опять же в духе великого Канта – как **неопределенное**. Как некоторый X, который предстает нам в пространстве и во времени вместе с нашим «я», потому что мы так двинулись и произошел такой синтез. А раз это – происшедший синтез, то возможен и другой синтез. И именно потому, что возможен другой синтез, возможно расширение души. Если Сен-Лу, любящий Рахиль, не был бы химерой, то он никогда не мог бы расширяться. Ну, например, любил бы всегда только Рахиль, что невозможно. Если бы «я» не было бы химерой, например, то было бы непонятно, почему мы не ирокезы. Потому что если контакт с реальностью абсолютен, возможен только один, и он произошел в форме ирокезской культуры, то может быть только она одна, и она будет всегда. Немыслима и непредставима другая культура. А факт множественности культур есть эмпирический факт. Так же, как факт множественности точек зрения, воззрений и перспектив, в которых выступает та же самая Альбертина или та же самая Рахиль. Сам факт, что наш мир есть только представление, есть, во-первых, возможность или посылка факта множественности миров и, во-вторых, возможность моей способности ломать скорлупу одного мира и присоединять к себе другой какой-то мир – возможность расширения души. Естественно, конечно, если бы «я» было бы объективной вещью, или если бы пространство и время были вещью в себе, то я никогда не мог бы их изменить, а вот свои представления я могу менять, потому что я могу менять пути, на которых эти представления кристаллизуются. Я могу проделывать другую историю. А я вам говорил, что предметы есть завершающие моменты некоторых объемов истории, пути которого мы проходили. Чего-то, что мы проживали, – а проживали мы всегда в каком-то напряжении, под знаком какого-то трансцендентного стремления. Как Сен-Лу проживал увиденную им на сцене Рахиль под знаком высоких грез искусства, высоких идей благородства и красоты. И он в это время не бездельничал, он работал. И его душа наполнялась продуктами какого-то труда. Но раз есть один путь, то возможны – в прошлый раз я говорил вам, что раз есть путь, возможны и отклонения, а теперь скажу, что раз есть один путь, то возможны и другие пути, расширяющие душу и прибавляющие к ней какие-то другие возможности. Мы свободны именно потому, что наш мир есть только представление. Философы часто делали такие эксперименты, но поскольку они делают эксперименты в абстрактной форме, а форма абстракции всегда толкает к излишнему ригоризму, то эти эксперименты плохо воспринимались. Ну, скажем, Беркли, занимаясь в действительности проблемой свободы верующего человека, а это необходимая посылка христианской веры – свобода личности, –

занимаясь именно этим, проделал эксперимент, где доказывал, что весь мир есть лишь представление, что мир существует лишь в той мере, в какой он воспринят и пр. и пр. Но если вдуматься в этот эксперимент, то мы увидим, что это как раз и есть эксперимент, относящийся к тем вещам, о которых я сейчас говорю. И вот, если вам будут говорить, что есть две линии в истории философии – линия материализма и идеализма, есть борьба идеализма и материализма, и эта борьба есть закон истории философии, будут называть вам под видом идеалистов разных лиц, вы все это пропуская мимо ушей, этого не существовало никогда. Так же, как в литературе проблема реализма есть фиктивная проблема (реализма в смысле наличия какого-то антиреализма, модернизма и т.д.). И в философии различие идеализма и материализма есть фиктивная проблема. Идеалистов – в том смысле слова, в каком вы встретите это в учебниках или в лекциях и изложениях, – вообще никогда и не существовало. Просто потому, что фикции-то можно выдумывать, а реальные люди никогда не могут быть фикциями. А в философии мы имеем дело с реальными философами, с реальными людьми. Поэтому не стоит тратить своей духовной энергии, и так в малом числе нам отпущенной, на эти схоластические споры.

И именно в контексте того, что я сейчас сказал, стоит проблема, которую я вводил как проблему описательности. Описательности, с которой всякое действительное искусство находится в скрытой или явной полемике. Почему? Я выражу это словами Арто, потому что слова Пруста я уже приводил. Арто говорил, что обычно пытаются изобразить, в том числе на сцене, посредством психологического диалога, где слова даны не в пространстве (или не пространственно), а чисто ментально, как элементы значений произносимых в диалоге фраз. А Арто, как я вам говорил, был проповедником театра в пространстве в том же самом смысле, в каком Пруст проповедовал психологию в пространстве. Арто считал, что ничего нельзя получить в смысле знания и проникновения в реальность путем сопоставления внешних предметов, если мы не выявляем каждый раз участия нашей души в жизни этих предметов. И поэтому внешнему, описательному, поверхностному искусству или той жизни, которую мы видим лишь умом, произвольной памятью, чувствами, этому всему противопоставляется своего рода реализм души, эквивалентный сверхчувственной реальности произведения. То есть можно эквивалентно употреблять «сверхчувственную реальность произведения» в полемическом сопоставлении с теми вещами, о которых я говорил, или можно употреблять термин «реализм души». Представляя душу в некотором пространстве реализаций, – помните, я говорил вам: какая мысль, какое состояние в момент исполнения пьесы, – имея в виду некоторую неповторимую и непродлеваемую конфигурацию смысла, которая живет в момент и внутри исполнения произведения, а не в нотах. Живет не в тексте пьесы, а когда пьеса играет на сцене. И почему-то ведь она играет. Ведь зачем существует театр? Если есть текст, мы могли бы просто его читать. И если это кривляние актеров просто иллюстрация к написанным психологическим единицам, вербальным, то, ей-богу, не стоит ходить в театр. Лучше посидеть дома и прочитать книгу. Во время исполнения не происходит ничего. А именно там должно происходить. Вот так считали действительные художники. Так вот, в этом пространстве реализации, где реальность произведения или та реальность, которая осуществляется, дается лишь произведением, есть в качестве текста некоторое звено между двумя вещами. Звено между – неслучившимся и неиспытанным, с одной стороны, и, с другой стороны, – испытанным и случившимся. Эта фраза непонятна... но она должна быть понятна, если мы шли на той волне, которую я пытался создать, чтобы мы все время по ней двигались.

Я говорил вам, что, в силу того, что словами обозначаются одни и те же вещи, мы не замечаем, что есть память в двух смыслах: память в смысле извлеченной памяти, в смысле возможности сказать «я помню», а есть что-то, что обозначено этим же словом, а в действительности не извлечено, и поэтому определяет другую реальность. Во всех случаях я говорил вам словами Пруста: реальность есть нечто, что складывается в памяти. Я приводил вам пример: что мы имеем в виду, когда говорим «событие случилось в 1937 году»? Я говорил вам, что существуют какие-то сцепления наших душевных реализованных движений, – не просто полудвижений, получувств, полупониманий, а **реализованных**, которые не повторяются дурным образом, – тогда одна реальность, а если нет этого, то – другая реальность. У нас, например, другая реальность, мы не можем сказать, что 1937 год случился (было бы великим счастьем иметь такую возможность). Он не случился, потому что мы душевно, по уровню наших возможностей, по уровню наших нереализованных актов понимания, нереализованных актов доблести, актов чести и т.д. находимся в том же сцеплении событий и движений, которые порождают и породили 1937 год. Я напоминаю различие между неслучившимся и случившимся, между неиспытанным и испытанным. Но различие это – очень тонкое, оно фактически относится прежде всего к нашему праву применять термины; это случилось. Или – я помню. Или – это я знаю. Слова могут быть одни и те же, – например, «я знаю», но – я могу не знать, а могу знать. Вот если мы задумаемся, в каком смысле мы действительно помним, что происходило в 1937 году, то мы разберем, поймем. Реальность складывается из сделанного и не сделанного. И если мы думаем, что мы помним, а в действительности не помним, то есть не извлекли самих себя, и раз не извлекли, то можем снова повторять все то же самое, все те же грехи, которые приводят к этому раскаянию, и так до бесконечности, то это – одна реальность; другая реальность – если мы извлекли из опыта опыт. И трудность этого различения состоит в том, что оно лежит на двух уровнях. Есть разница между **содержанием** и этим же содержанием как **извлеченным**. Понимаете, для марсианина, который наблюдал бы 1937 год, смысл событий, может быть, был бы извлеченным в его языке. Для внешнего наблюдателя случилось то-то и то-то; но мы не находимся в положении внешних наблюдателей, мы находимся в положении участников самих этих событий. И события – те, которые будут происходить впереди нас, определяются нитями, плетущимися из-за нашей спины, в которых мы извлекли действительный опыт или не извлекли. В аппарате философии такая позиция называется феноменологической: мы должны отвлечься от внешнего предмета, известного в какой-то марсианской перспективе, и не отождествлять его с тем, что на самом деле знает человек, испытывающий опыт, описываемый словами, которые тождественны тем, что употребляются во внешней перспективе описания. Ну, я сказал что-то громоздкое и сложное... Но тут другого выхода нет, потому что там, где нечто действительно испытано и случилось, там лежит вся проблема реальности. Я снова повторяю, но уже с другой стороны. Помните – Марсель видит танцующих девушек. Я заостряю вопрос на следующем: в каком смысле можно сказать, что он это увидел? Ведь увиденное вплетается в какие-то связи. Запоминается, сплетается с другими фактами или актами жизни – ткется какая-то ткань. Так вот, здесь два варианта. Он глядел на танцующих девушек и видел конвенциональный акт. И это, **так** увиденное, займет место, сплетется с определенного рода ассоциациями в его жизни, определенным путем прорастет в его душе, довольно незначительным, конечно, потому что этот акт весьма пустой. Конвенциональный акт ничего в себе не содержит. Или мы можем сказать, что он действительно увидел этот танец, в смысле – **событие видения произошло**, потому что он понял, что перед ним разыгрывается эротическая сцена двух лесбиянок. Этот факт сплетется с

другими ассоциациями, с другими элементами его жизни и нарисует рисунок другой будущей судьбы. Вы понимаете, что я говорю? Это относится и к памяти – той, о которой я говорил в связи с вопросом о том, в каком смысле мы помним нечто как случившееся в 1937 году и можем поставить дату. И теперь вы понимаете, в каком смысле время есть наше представление. Ведь мы говорим «37-й год» – как будто это есть свойство самих событий вне нас. Метка – хронологическая, а в действительности время метится тем, **как** и **что** мы помним. И в этом смысле время не есть безразличный поток реальности, есть наше представление, и поэтому мы можем из времени высказывать. Например, если мы извлечем опыт, мы можем выскочить из времени 1937 года. А если бы время задавалось бы понятием времени, то мы никогда не смогли бы этого сделать.

Накопив весь этот материал, я могу теперь сказать, что мы пришли в какой-то пункт, который отличается от чисто вербальных или ментальных существований, не имеющих пространственных и временных привязок, не имеющих движений или объемов, как я их называл, и не составленных ни из каких элементов стихии (я еще не разъяснял, что такое «составленность из элементов стихии», но первая часть пока нам понятна, и я ею теперь поверну тему). Понимаете, в нашей голове всегда есть понятия, идеи и представления. У нас есть даже идея произведения, у нас есть идея красоты, идея истины, идея пространства и т.д. Это я называю вербальными существованиями. Идея прекрасного относится к этому. И наш опыт говорит о том, что дотянуться прямо – ментальным актом – до красоты или до истины, или до понятия невозможно. Мы должны наращивать тела, которые я называл органами, должны совершать какие-то движения, в которых мы овладеваем какими-то **феноменами**, а не просто восприятиями. Наш опыт говорит нам о том, что мы вырастаем телом в мир, которым овладеваем. Не из головы сюжет придумываем, как хотел Марсель, а сюжет сам себя обнаруживает, если мы начинаем задумываться над тем, каково было действительное содержание поразившего нас впечатления. Если мы занимаемся не умственными размышлениями о законе, а пытаемся разобраться в том уникальном ощущении, которым мы ощутили какую-то несправедливость и не могли этого острого сознания беды и несправедливости уместить в линии, прочерченные законами, нормами, правилами официальной жизни. Вот там была какая-то реальность, которую мы должны были вытащить. Там был и сюжет нашей мысли. Сюжет – не в абстрактном представлении о законе, не в понятии закона, которым мы занимались бы и таким образом решили бы проблему, а сюжет в смысле реального **впечатления**, в котором мир, поразивший нас ударом впечатления, правдив на какой-то промежуток молнии. Потом это исчезает, и на это, как я вам показывал, наслаиваются другие слои. То, что я говорю, весьма серьезно для нашей душевной жизни, для наших жизненных судеб. Я приведу пока примитивный пример, а потом введу проблему, имеющую философскую окраску. Например, интуитивно вы знаете, что представляют собой истерические правдоискатели, которых вы встречаете в жизни. А это очень интересная структурная ситуация, которая может быть даже изображена, разыграна мифом греческой трагедии. Вот мы своей жизнью вогнали себя в ситуацию – сплетением мелких действий, микроскопических действий, когда то, чего наш разум и наша честь не приемлют, как раз и создано теми законами, какие есть. То есть фактически отсутствием правозаконного государственного устройства. Допустим, мы абстрактны (думаем об идеях, законах), тогда будем требовать, чтобы законы выполнялись. То есть мы будем приписывать все беды, которые мы наблюдаем, тому, что законы не выполняются. Например, в России очень часто требуют, – если человек дал десять копеек за нечто, что стоит 9 копеек, чтобы ему обязательно вернули

копейку. Помножьте это на другие, более серьезные вещи и попытайтесь увидеть за этим структуру. Это есть выход из ситуации – ложный выход из ситуации, когда мы истерически пытаемся выпрыгнуть из какой-то проблемы, цепляясь за **идею закона**. За **понятие!** Здесь нет никакой возможности войти в область законов. И здесь сказываются следы нашей прежней жизни. Мы не сумели создать законопорядка, а теперь хотим исполнения фиктивных законов, чтобы реализовывать свои требования, свою жизнь, хотя в действительности нужно не права качать, а нужно, например, понять, что нас может спасти, как живых нравственных существ, только плохое исполнение плохих законов. Но за этими элементарными примерами есть структурные нити, связывающие эту весьма интересную картину. Ведь можно смотреть так, как сейчас я демонстрирую вам. И такое смотрение, конечно, имеет какие-то последствия для нас. Но дело в том, что я ведь на ваших глазах оперирую произведением. Только не художественным, а философским. Разницы нет. Я тоже строю текст и посредством текста организую самого себя в жизни. Мне, например, никогда не придет в голову обращаться к советскому закону для исправления чего-нибудь. Кроме, конечно, каких-то отдельных, совершенно уникальных случаев, на которые нас интуиция ориентирует, и это делается. Но мы интуитивно различаем, скажем, истерическое правокачание от нормальных требований человека. Здесь другого орудия, кроме как интуиции, то есть развитости души, не существует. Точно так же, как продуктом развитости души является утверждение, что если законы плохи, то жить можно только плохим исполнением плохих законов. Но дело в том, что здесь, как говорят англичане, есть один маленький *hick* или *catch*. Это, конечно, хорошо... плохо исполнять плохие законы. Но дело в том, что *catch* – цена, которую мы платим, состоит в том, что плохое исполнение плохих законов, являясь клапаном безопасности, клапаном, выпускающим излишние пары, делает систему плохих законов вечной. Потому что мы всегда будем реализовывать себя взаимопомощью, полуполюгальной или неофициальной, подмигивать друг другу, облегчать себе жизнь. Скажем, грузины это умеют делать лучше, чем русские, но русские тоже научились и весьма основательно – нет больших плутов, чем они, и беда в том, что это может длиться вечно. И с какой-то точки зрения, скажем, с точки зрения абстрактно-теоретической, что ли, можно предпочесть немцев, которые совершенно делают плохое. Если они делали какую-нибудь гадость, то они делали ее по-немецки, то есть честно, не воруя, трудолюбиво, четко. Но совершенное зло устремлено к гибели, поэтому они и погибли. А вот зло несовершенное рискует быть вечным. Так что есть и обратная сторона того, о чем я говорил.

В философии были ученые слова, такие, что сначала нечто существует для меня абстрактно, в виде понятий. Например, для ребенка идея закона, идея красоты, идея мужества – это именно понятия, не имеющие плоти. Развитие, расширение человеческой души состоит в том, что все это обрастает плотью. Как выразился бы Гегель, из чего-то в себе – понятие – становится «для нас». Становится «чем-то» в действительности. И вот на этом пункте все и свихнулось у Гегеля. Я почему о нем упоминаю – тема, которую мы сейчас, наконец, имеем возможность рассматривать, а именно, тема расширения души и движения души, или воспитания чувств, может быть окаймлена или украшена эпитафией. Я бы сказал (пользуясь переключкой с названием одной из частей романа Пруста – «Под сенью девушек в цвету»), что вся эта тема идет «под сенью Декарта». И вот прустовскую тему, ту, которую я сейчас ввел, можно назвать «Под сенью Декарта» (а в скобках у меня три фигуры появляются: Гегель, Фурье и Пруст; Фурье я уже упоминал, о Прусте более, чем упоминал, а сейчас упоминаю Гегеля, и тем самым я одновременно поясню значение эпитафии) – не только в том смысле, что для Пруста, как для всякого человека,

носителя французского энтузиазма или *fièvre ergico* во французском стиле, существовал, всегда один вопрос: ангажирование себя с риском и с реальным жизненным испытанием в мире один на один с миром. Это есть декартовский принцип «когито», который означает – все есть предмет сомнения. Не в том смысле, что после сомнения я нахожу какой-то предмет, на котором мои сомнения разрешаются, и я успокаиваюсь, а в том смысле, что сомнение упирается в самое себя, как в полноту некоторой воли, означающей: **я могу**. Нет никаких оснований и причин, почему бы я не мог. Всякое время есть время. Когитальный принцип означает, что не надо откладывать, нельзя сказать «среда заела», «среда не позволяет», или, как выражались марксисты, «нельзя жить в обществе и быть свободным от него». Когитальный принцип как раз прямо обратный – любое время есть подходящее время для действия, для поступка, ничего не наращивается; ждать, что к твоему усилию прибавятся какие-то усилия и совместной прогрессией что-то получится, не выйдет. Так же, как я вам объяснял в связи с проблемой смысла: если ты думаешь, что смысл лишь в коллективном взаимодобавлении одних акций к другим складывается, то простым математическим рассуждением можно показать, что тогда смысла нет ни в одном данном моменте. Потому что если единицу разделить на бесконечность, единицу смысла на бесконечность движения – движение бесконечно, вы получите нуль. Смысл предполагает **полноту человеческой воли**. Некоторое, как выражался Арто, «великое бодрствование». Сомнение не ведет к какому-нибудь предмету, на котором оно успокоится, – оно остается и должно быть **великим бодрствованием**. Вот это есть когитальный принцип. Но не только поэтому я говорю «под сенью Декарта», а еще и потому, что Декарт был первым философом, который ввел в мысль или в историю мысли тему «история моих мыслей». Он даже философские сочинения писал не как трактат, который строится академически, имея тезисы, доказательства и пр. Он писал известное «Рассуждение о методе» как историю своих мыслей. То есть как историю пути и того, что в этом пути может помочь тому, чтобы событие мысли, к которому я движусь, случилось, – оно впереди меня, оно маловероятно, почти что невозможно. И вот чудо и изумление есть основа философии – вы знаете, что философию часто определяют как удивление. А оно и состоит в остром сознании, абсолютном сознании маловероятности того, что мысль вообще может быть. Мысль – **как упорядоченная структура** – являющаяся ответом на что-то и устойчиво пребывающая. Время, случайность и т.д. – все это работает против того, чтобы это случилось. И вот, каким образом проходит путь и чем мы на этом пути рискуем, – это называл Декарт историей своих мыслей. Понимая, что мысли не рождаются из мыслей. Я с самого начала подчеркивал, что книги не пишутся из книг, мысли не рождаются из мыслей... Хотя, родившись, мысли связаны с мыслями. Но есть некоторый промежуток – декартов промежуток, в котором подвешен человек без какой-либо гарантии, что в следующий момент вообще что-либо будет, в том числе он сам, поскольку он может умереть на половине мысли. Да и мир может исчезнуть, поскольку мир в следующий момент не вытекает из того, что он был в предшествующий. Это было для Декарта великой тайной. И поэтому у него появилась идея истории мыслей. Не просто содержание и система мыслей, а **история мысли**. Эту тему после Декарта подхватил в истории философии Гегель, и его юношеская работа «Феноменология духа» посвящена истории духа, или истории созревания духа. Как дух, сначала будучи понятием (голым понятием, или идеей, представлением), становится духом в действительности (ну, как для ребенка, сначала что-то было просто словом, а потом уже становится реальной плотью, реальной действительностью). Гегель по-своему тоже пытался описать процесс мысли как процесс прохождения пути, как историю мысли в этом смысле слова.

Не в смысле эмпирической истории мыслей, а в смысле истории **созревания мыслящего**, его возмужания. Ну, так же, как флюберовский роман «Воспитание чувств» описывает становление мужем человека. И у Фурье – та же самая тема. Только у всех она решается по-разному, и из того, как я буду рассматривать дальше, приводя соответствующие примеры, вы поймете, что мои симпатии лежат на стороне французов, на стороне Фурье и Пруста, против Гегеля, который эту тему по-немецки искалечил. Настолько, что однажды в одной из записей современника Гегеля появилась такая очень странная фраза, поразившая меня тонкостью наблюдения. Он сказал, записав впечатление после прослушивания лекций Гегеля: «У меня было страшное ощущение, что с кафедры в лице Гегеля со мной беседовала смерть». В таком эмоциональном виде он передал то, что случилось с Гегелем, а именно – попытку превращения истории в некоторое окончательное исполнение смысла, такое, что философ оказывается абсолютной монадой, вобравшей в себя все ступени духа и тем самым завершено пребывающей в мире. А мы увидим, что к теме созревания или возмужания, или истории, неприменим вообще термин «ступени», – все, что мы будем складывать теперь как возмужавшую душу или как расширившуюся душу, или как реализовавшуюся душу, будет идти в другом измерении – не по горизонтали, как представлял себе развертку Гегель, а по вертикали. (И сделав такой маленький зачин, я хочу, чтобы это было связано с нашими душевными проблемами, а не с абстракциями. Потому что, сказав «Гегель», я понимаю, что испугал вас ученостью и моей, и гегелевской, да еще ввел цитату из записок слушателя Гегеля, и я совсем не хотел бы, чтобы в моем лице с вами разговаривала бы смерть. Поэтому вернемся к душевной связке с теми вещами, которыми мы занимаемся.)

Значит, мы имеем дело с историей, с прохождением пути. Но теперь у нас есть не те маленькие пути, которые укрылись в разных мирах, теперь мы, если реализуемся, то реализуемся с другими людьми, у которых были свои пути в своих мирах. Но раз мы реализуемся вместе с ними, значит, у нас возникает вопрос коммуникации между этими мирами, которые до сих пор были у нас параллельными. Наша проблема есть проблема тока жизни, который не должен застревать в узлах, где миры непроходимы один для другого, и ток жизни не может перейти из одного мира в другой. Но мы имеем одну пометку: то, что Пруст называет произведением, и то, о реальности чего я начал говорить, это как раз для него есть нечто ценное именно потому, что произведение есть нечто, посредством чего мы только и можем проникать в другие миры, которые иначе были бы для нас навсегда неизвестными и непроницаемыми. А посредством произведения мы можем их как бы приставлять к самим себе, или можем расширять свою душу посредством других миров, в которые, повторяю, без произведения мы не могли бы проникнуть и даже не знали бы об их существовании. Для этих миров, в описании реальной истории души, у Пруста существует много разных терминов (не всегда «мир»): «аквариум», «павильон», «тропинка». Представьте себе лес с множеством тропинок, по которым мы расходимся. Расходятся наши души, наши истории, и эти тропинки не пересекаются. Более того, они вообще находятся в лесу, и не знаешь, где у них начало, где конец. Или, скажем, термин «ваза». Вместо этого термина – «graffiti», надписи на стенах. (Ну, в России – весьма известное явление, к сожалению, в Грузии тоже. Согласно известному анекдоту, – вы знаете, как строится забор? Сначала пишется слово из трех букв, а потом к нему прибиваются доски. Вот это есть graffiti). Так вот, graffiti – Шарлю пробегает свой жизненный путь, он движется по какой-то линии внутри своего мира. И он имеет свое представление о том, каков он в представлении других, как они его видят. И его представление о том, как они его видят, может ничего общего не иметь с тем, как его действительно видят. И это роковым образом сказывается

на его судьбе, когда он терпит крах в салоне Вердюрен, когда у него в течение буквально одного часа рушится все его счастье, весь его мир, потому что у него отнимают, путем весьма легкой интриги, его любимого скрипача Мореля, заставляя Мореля поссориться с Шарлю. И вот Пруст говорит – я поясню graffiti – представляю, что почувствовал или подумал Шарлю, если бы он действительно увидел, какие в голове других людей представления о нем. «Но ведь для каждого из нас наш pavillon двойной» – место, над которым водружен флаг, над каждым из нас водружен флаг нас самих, нашего представления о самом себе и о том, как другие представляют нас, pavillon с флагом или просто флаг; это синонимы в французском языке; pavillon – одновременно и флаг; так вот, мы – судно под флагом **я**. «Прямо напротив того, который нам кажется единственным, расположен симметрично другой, обычно для нас невидимый, но он действительный, но совершенно другой, иначе украшен, и мы ничего не узнали бы в нем о самих себе...» – которых мы знаем под нашим собственным pavillon-флагом. «...ничего не узнали бы от того, что ожидали бы узнать, и нас в ужас привели бы символы непонятной для нас и кажущейся нам незаслуженной враждебности. Как бы был удивлен господин Шарлю, если бы он проник в один из таких противоположных павильонов, иногда в такие павильоны мы проникаем посредством сплетни». И поэтому сплетня – очень полезная (do between) сводница между разными мирами. Она, как пчелка, переносит сведения, которые ты никак не ожидал бы и под своим собственным павильоном никогда не смог бы представить. Вот эта «сводня-сплетня», подобная тем лестницам для прислуги (то, что у нас называется «черный ход», которым пользуется обычно в почтенных домах прислуга), где обычно бывают написаны неприличные граффити в адрес хозяев, и что было бы, если бы хозяева прочитали, что о них пишут слуги. Значит, мы имеем уже отражение, данное через граффити. Мы имели, напоминая, отражение рыбы в аквариуме и – рука человека, вынимающая рыбу. Вторжение граффити другого мира в мир павильона рыбы. И вот теперь я зацеплю вас на образе тропинок.

Мы знаем, что движения нашей души имеют своим источником желание (оборотная сторона желания – страдание), которое всегда совмещено с каким-то предметом, и любой предмет имеет интенцию и интендирован желанием, а не есть просто нейтральный предмет восприятия. Скажем, лицо Рахиль есть лицо (в зрительном восприятии), интендированное желанием. Я говорил вам о том, что предметы восприятия сначала раздуваются ветром нашего желания, а потом нами воспринимаются. Как бы античная теория симулякры: из наших лучей идут маленькие образы и выхватывают предметы, и мы их видим. То есть наш глаз не пуст, а содержит мириады маленьких образов. И поскольку всякое удовольствие является лишь реализацией предваряющего его желания, и хотя эти желания могли бы быть разными, и можно было бы пожелать встречи с каким-то другим человеком, с какой-то другой женщиной – «...я давно покинул большую дорогу общих желаний и углубился по более частной тропинке; и нужно было бы, чтобы пожелать другого свидания, издали вернуться на эту большую дорогу и перейти с этой дороги на другую тропинку». Теперь попробуем пофилософствовать – здесь это необходимо, потому что слова гладко связаны друг с другом (не в моем, конечно, переводе, а в самом тексте). Смотрите, мы никогда не находимся на большой дороге желаний, всегда находимся на частной тропинке. Допустим, Марсель хочет встречи с Альбертиной, и свидание с Альбертиной вообще есть для него свидание как таковое. Идея свидания есть свидание с Альбертиной. И чтобы захотеть другого свидания, говорит Пруст, нужно было бы вернуться издали на большую дорогу желаний в общем смысле и потом – на тропинку частного желания. Эта великая и интересная вещь чисто обыденно освещает всю проблему миров: возможных коммуникаций между ними и существующих ограничений на наши

возможные душевные движения, на наши желания. И, кстати, вырисовывается довольно страшная картина нашей жизни. Действительно, ведь часто мы видим, что человек любит женщину, и видим, что эта любовь несчастна или губительна для него. И мы думаем: ну, почему он уперся, ведь он может пожелать другое... Каким законам подчиняется то, чего он не может? Вот вы иногда видите действие государства, которое упорно делает что-то, чего явно не надо было бы делать, а нужно было сделать что-то другое. Почему не пожелать делать другого? А потому что есть **расчерченная топология**. Пока ты на тропинке, ты не можешь даже вообразить другой тропинки. Речь идет не о том, чтобы перейти на другую тропинку, а о том, чтобы **вообще вернуться**, – например, я говорил об анархии, о сомнении, о разрушении, – речь идет о том, что нужно вообще разрушить всю структуру или, как выражался Пруст, «вернуться на большую дорогу», и только потом, оттуда, мы сможем даже вообразить себе возможность другого свидания с другим человеком. То есть пока мы находимся на линии внутри какого-то мира, мы с этой линии не можем произвольным актом, актом желания, произвольного, актом мысли, актом воображения перейти на другую тропинку. Тут нет взаимозаменяемости. Если мы находимся на линии, устремляющей нас в мир нежности Альбертины, где вообще нежность олицетворена Альбертиной, то нам даже в голову не придет, что можно захотеть свидания с другим человеком. Такими тропинками могут быть и социально-экономические выборы. Мы можем находиться, двигаться на линии внутри такого социально-экономического мира, что посторонний наблюдатель будет с удивлением говорить: – ну, слушай, чего тебе стоит, открой частный ресторан, ведь ничего не будет. Здесь законы есть, действуют, а не ум или злая воля, или глупость. (Законы, видите, какой общности, что я могу с одного примера, не противореча себе, органично прыгать на совершенно другой, казалось бы, пример). Потому что не так устроен мир, как нам кажется, – что мы можем хотеть или не хотеть, а если не хотим, значит, дураки, или, наоборот, мерзавцы – не так все это. Оказывается, здесь нужна совсем другая работа. Скажем, произвольная память, непроизвольная память. В данном случае я ведь не о памяти говорил. Я говорил о произвольных желаниях – мы желаем усилием желания. Но почему ты хочешь свидания с Машей, ну почему ты убиваешься, ты же видишь, что все не так складывается... пожелай свидания с Дашей. Нет, чтобы пожелать свидания с Дашей, нужно всю эту структуру разрушить, преобразовать самому, и тогда, может быть, появится возможность даже вообразить себе свидание с Дашей. Я простые словечки проясняю, те, которые фигурируют в сочетаниях «произвольная память» – «непроизвольная память». Теперь я слово «память» выбросил, взял другие произвольные вещи. Там – та же самая проблема, та же самая структура. Следовательно, если вы читаете текст Пруста и видите, как он бьется над произвольной памятью, то вы должны понимать, во-первых, что он и в этом частном модусе натолкнулся на более общую проблему, и, во-вторых, должны суметь расшифровать, видеть, думать об этой общей проблеме, потому что она, действительно, – единственно интересная.

Значит, мы снова вернулись к тому, что если мы имеем много миров, то в начальной точке, в которой завязывается возможная коммуникация между мирами (в том числе моя возможность вообразить свидание не только с Машей, но и с Дашей), есть, конечно, **расширение души**. Ведь, посмотрите, как мы убийственны, как мы узки и ограничены в своих душах, как мы сжаты, когда мы стремимся на свидание с Машей. Не сумев даже вообразить свидания с другой женщиной, хотя абстрактно, казалось бы, можно себе это вообразить и произвольно решить. Здесь мы имеем ту самую проблему, которую я все время веду: проблему узких и широких душ, сжимания и разжимания души. Так вот, точка, с которой может начинаться расширение души, обрастания,

наращивания на себе каких-то других миров, предполагает промежуточный пустой такт или пустой шаг, или момент абсолютного сомнения, момент абсолютного отстранения (может быть, такого же плохого, не важно: Даша может оказаться не лучше Маши, но просто оскорбительно и стыдно быть ослом, который идет только по одной дороге). Повторяю: в точке, в которой может завязываться коммуникация миров, совершается **пустой шаг** или пустой такт. Такт, в котором ничего не производится. Там – сомнение, абсолютное отстранение и специальная анархия. Нарочитая анархия. Анархия, конечно, не как социальная утопия, не как проект социальной организации общества, а анархия как **душевное состояние**. Анархия как философская процедура. И теперь мы понимаем, что делает Пруст, когда он различает произвольную и непроизвольную память. Две вещи – обе связаны с проблемой реальности произведения. Значит, я сказал: свободный такт или пустой такт, или пустой шаг, то есть какая-то активность деяния, ничего не производящая. Например, такое страдание, внутри которого мы остаемся, не пытаюсь его облегчить, разрешить и т.д. Поэтому, собственно, страдание и образ смерти являются продуктивными для нашей души. Я приводил такие явления, как, скажем, сомнение, воля – эти явления в философии называются чистыми явлениями. И, кстати, у Пруста все время фигурирует термин «время в чистом виде» – очень таинственный термин, не очень понятный, хотя чаще всего делают вид, что понимают, но в действительности этого понимания у комментаторов Пруста не обнаруживается. Чистые явления, требующие очень сложного напряжения, чтобы уловить их, но улавливаем мы абсолютно простую вещь. Например, я говорил о том, что верить можно лишь в то, что нуждается в моей вере в том смысле, что этого не было бы, если бы я в это не верил. Поэтому прав был Тертуллиан, когда говорил: верую, ибо абсурдно. Этой шокирующей фразой, совершенно непонятой в истории, он указывал на природу этого феномена. Вера по определению может быть только чистой верой – не во что-нибудь, а в то, чего нет без этой веры (это – тавтология). Вера есть вера в веру. Или, скажем так: воля выделяется в чистом виде. Только. Это понятие означает **только волю** – в чистом виде. В других случаях понятие воли не имеет смысла. То есть чистые явления есть такие явления, при применении которых имеет смысл **понятие**. Скажем, понятие веры применимо только тогда, когда имеется в виду чистая вера. А чистая вера есть вера, не имеющая предмета, который можно было бы наблюдать иным путем, чем сама вера. Ну, понимаете, когда я говорю «часы», то помимо называния, их можно другими средствами наблюдать и задать как предмет. А это значит – не чистое называние не есть чистое явление. Так же и воля – есть какое-то сцепление событий, – вот я могу передвинуть зажигалку сюда, – в этом сцеплении, если оно и материальный его элемент так сцеплены, что они делают это, в этом сцеплении моя воля лишняя. Она не лишняя только тогда, когда нечто только силой моей воли существует. Вот это называется чистой волей. Или – полнота воли, которая равнозначна полноте бытия, потому что если что-то – только волей, то оно полно (половины воли не бывает). Поэтому это есть единственный случай, где бытие дано одноактно, одним разом во всей своей полноте, чего вообще не бывает с предметами, потому что предметы мы должны проходить в последовательности. (Математики вам скажут, что актуальной бесконечности нет, есть пересчитываемый ряд, и он бесконечен только потенциально, а не актуально. А здесь мы движемся в другой сфере.)

Эти чистые явления есть явления, которые освобождают или высвобождают нас. Я уже говорил вам, что когда в философии обсуждается свобода, то это слово употребляется, как означающее странную, парадоксальную вещь: **свобода свободы**. То есть свободой называется **высвобождение** свободы. Вот эти чистые явления только и высвобождают нас из того, в чем мы разными

частями завязли – в разных временах и пространствах, в разных предметах. (Помните, пример Германта: часть его теперешнего действия завязла в его предками выполненном, наработанном ритуале поклонов. Там и время размечено, кстати, когда какие поклоны нужно делать. Время размечено, место, последовательность поклонов размечена. Германт ведь не присутствует целиком перед лицом человека, которому нужно сочувствовать. А потому что одной частью он – в одном месте, другой частью – в другом месте и т.д.) Чистые явления, или воля как чистое явление, или вера как чистое явление вынимают из этих сцеплений наши части, и мы собираемся, чтобы быть в полном составе своего существа перед потенциальным восприятием. Оно только потенциально, если мы не соберемся, но актуализируется, если мы будем в полном составе своего существа. И вот в связи с произведением Пруста важно, что такого рода формы или чистые явления есть формы высвобождения. Свободные формы, которые есть свобода свободы. Если этого не происходит, и если мы не высвобождаемся, то тогда работают качества формы (или ее материальная оболочка, или свойство этой материальной оболочки), которые вбирают в себя наши наклонности. Чаще всего сенсуальность, почти что порочную сенсуальность нашего артистизма, пластичность, некоторое наше художественное гурманство. В этом смысле человек как бы всасывается в бесконечную пустоту материи. И формы превращаются в идола, а мы становимся идолопоклонниками. И, кстати говоря, такой случай безыдейного артистизма, когда форма не высвобождает и поэтому нас заклинивает на свойствах формы, – скажем, как Свана заклинило на некоторых лицах, изображенных у Боттичелли, или как нашего отклоненца заклинивало на пятке. Совершенно аналогично заклиниванию на пятке нас заклинивает на качествах нашего голоса и нашей возможности играть или на наших материальных грезах, которыми мы, как гурманы, питаемся. Это есть так называемый артистизм. Телесные, почти что животные явления, хотя, казалось бы, у животных нет артистизма. Пруст был очень далек от этого и специально оговаривал, что артистизм этого рода слишком близок к жизни и случайными причинами питается, то есть случайными качествами формы, сладостными звуками, сладостными грезами, и тем самым заимствует все из случайности и ирреальности. Ирреальности, или *contingence* – в смысле **контекстуальности жизни**. Полного произвола жизни. И этот артистизм, «банальный артистизм, – говорит Пруст, – не может быть моей философией». И вот, идя по нити реальности, мы видим, что Пруст самым неожиданным образом, для нас парадоксальным, фактически в этом обнаруживает хваленое искусство для искусства. Вот где – искусство для искусства. Оказывается, для Пруста искусство для искусства, является самым материальным, что только может быть в событиях нашей идейной или духовной жизни. Это вовсе не есть то, что обычно себе представляют, а есть искусство шутов, искусство попок. Искусство, еще, в более блажном виде могу вам сказать, искусство шестерок. Дело шутов, шестерок, попок, всегда очень артистично. Они всегда умеют изобразить Прусту такого рода искусство ненавистно. (Но он не знал его в тех вариантах, в каких нам суждено было узнать это искусство для искусства или искусство, которое самоисчерпывается в своем предполуживотном наслаждении изобразительностью, выразительностью и очень хорошо служит.) Вот этого чистого артистизма Пруст очень боялся. Он прошел его искус, потому что на его глазах были и привлекательные примеры, похожие на чистый артистизм, но, конечно, не являющиеся им. Искусство, представленное такими поэтами, как Рембо и Бодлер. Особенно Бодлер, у которого озарения чувственных инспираций всегда были связаны с гашишем и все это кристаллизовалось вокруг идеи художника как носителя особых привилегированных и мгновенных состояний, каких-то необычных

обстоятельств, которые мобилизуют именно чувственно данные ему способности и не оставляют даже времени думать. То есть человек настолько одарен, что одно одарение, сцепляясь с другим, приводит его как бы в состояние пляски святого Витта. А Пруст открыл другое. Он открыл труд. Труд в мельчайшем и в банальнейшем. И он был один из немногих, сам обладая абсолютным артистизмом, то есть тончайшей чувствительностью, которая, как лепесток, трепетала в ответ на любое дуновение, кто сумел направить свою чувственность на работу, потому что задавал вопрос: что это значит? что открывается? что отсюда видно? какое место в мире занимаю я, чувствуя так, как чувствую? Испытывая эти вещи, каким образом и как я помещаюсь в мире, и какое место в этом мире я занимаю?

А в мире решаются судьбоносные вопросы. Вопросы, связанные с истиной, со справедливостью и т.д. Я напому вам один весьма печальный эпизод, связанный с талантливым человеком, эпизод, который как раз с другой стороны иллюстрирует тему артистизма, в каком-то смысле инородного чувственной силе в душе поэта. Или в нас самих. Я имею в виду писателя Олешу и его повесть, которая называется «Зависть». В нашей культуре сплошных перемигиваний, тайных намеков, аллюзий, двойных смыслов и т.д., которыми мы живем, читая с восторгом всякие левые или антинамеки и т.д., это произведение получило совершенно непонятное для меня место в ранге оппозиционно-левых произведений. В действительности это совсем не так. В повести поэт описан как носитель, как бы помимо своей воли, метафор. Метафора запала ему в душу, и он ее такой пассивный и страдающий носитель. Почему страдающий? Да потому что, как показывал Олеша, – а это уже был продукт, очевидно, цинического распада его личности и глубоко укоренившегося страха, – метафора как таковая, по природе своей, искажает действительность. Сначала кажется, что автор устами своего героя издевается над бывшим героем гражданской войны и ныне работником какого-то коммунального хозяйства, который, как говорится в этой повести, даже в уборной поет бодрые и веселые песни. Поет, конечно, обливаясь водой (ну, вы знаете такой физический персонаж, он неоднократно обыгрывался в разных вариантах). Но каждый шаг самой повести показывает, что в стеклышке метафоры искажается действительность. Метафора заставляет видеть какое-то нелепое вульгарное создание, а в действительности – это сильный и большой человек. Метафора в душе поэта ведет его такими путями, что все реальные образы действительности совершенно искаженно представляются. И в итоге Олеша написал донос на самого себя и на всех поэтов, которые владеют или имеют метафоры: вот, смотрите, какая опасность существует в душе каждого поэта, и ее нужно вовремя искоренять!! Вот еще один печальный эпизод в истории литературы, связанный с проблемой артистизма.

Я возвращаюсь к проблеме коммуникаций. Фактически то, что я называл расширением души, есть распространение жизни по определенному пространству. И в этом пространстве есть узлы, застойники, в которых жизнь может застревать и не идти дальше. Есть какие-то узлы, где ни вперед нельзя пройти, ни назад. Есть вещи, которые нас убивают, ибо мы потратились на них, и они держат нас. Вот мы потратились на то, чтобы захотеть свидания с Альбертиной, а потратившись – уже Альбертина держит нас в себе, и Альбертина – это вещь, которая нас убивает. А философия, или литературный текст, если мы его строим, нас освобождает. Вот еще в каком смысле Пруст говорит о произведении искусства, как о чем-то, что имеет сверхчувственную реальность, более высокую, чем обыденная или текущая реальность. И поэтому эта тема расширения души есть тема, которую можно почти что лозунгом сформулировать: **жить-изжить**. Жить – постоянно перемещая центр, вытягивая свои ноги и руки из их застревания в этих мирах, вещах, которые

нас убивают. Напомню вам очень древний образ, который когда-то применялся к определению Бога: сфера, центр которой – везде, а периферия – нигде. Я пользуюсь этим образом, чтобы сказать, что мы живем или расширяем жизнь (перемещая центр этой жизни), фактически выполняя закон, который гласит, что соприкосновение, контакт может произойти в любом месте. Не только на одной тропинке, но и на другой тропинке. Нужно вытягивать себя из вещей, которые нас убивают, перемещая центр так, чтобы та периферия, которая – нигде, действительно была нигде. То есть – везде. Так, чтобы везде возможно было касание случая, но случая – не такого, который прошел мимо нас, а случая, который пошел нам на пользу, оказался продуктивным. Ведь я говорил вам, что можно встретить Бога и не узнать Бога, можно не признать друга, встретив друга, можно умереть перед лицом самого себя. И вот перемещение центра, то есть иное проведение периферии, или касаний, есть расширение или продолжение жизни. Но дело в том, что поскольку объекты интендированы и видимы воображением, а не просто прямо, и воображение обязательно, как я говорил вам, включает метафорический элемент, то именно поэтому оно мешает нам вернуться на общую дорогу и волепроизвольно переходить на другие тропинки. И Пруст как бы говорит, что мы часто сами оказываемся метафорой, наша жизнь оказывается метафорой, и наши положения есть метафоры, – так уж лучше быть **прожитой метафорой**. То есть высвободиться путем осознания и извлечения того, что было. Если ты **осознал**, то тогда в твоей душе открывается пустое пространство для новых возможностей, для новых путей. Вот что значит у Пруста прожитая метафора. И вот постоянно прерывающаяся нить жизни должна все время завязываться в каких-то новых: точках роста. В каком-то смысле можно сказать, что там, где – крайняя опасность, там и спасение. Я говорил, что необходимо трудиться, вкладывать себя, делать что-то, – двигаться надо. В наше движение вплетена мысль, метафора, и когда мы освобождаемся, мы эту мысль, которая была, историю, которая была, – потому что если истории не было, то ничего не будет, если мысли не было, ее не будет впереди, – мы эту историю, эту уже бывшую мысль возводим в квадрат. То есть изменяем или повышаем ранг нашего мышления или наших чувств. Там, как я сказал, – крайняя опасность, там и спасение. Мы умираем, потому что жили, вложились в предметы. Если бы мы не жили, мы не вложились бы в предметы. Мы остались бы в преддверии ада и даже взгляда не заслужили бы, как говорил Данте. Но именно потому, что мы жили, мы и умираем. И вот там же, где есть опасность, там есть и спасение. В каком-то смысле для Пруста жив вечный гераклитовский пафос, который зафиксирован в афоризме, и его самым различным образом интерпретируют: смертью жить и жизнью умирать. Пафос Пруста и его душа относятся как раз к типу таких душ, которые смертью живут и жизнью умирают.

Ведь я говорил вам, что мы не только застреваем в прошлых веках, так, что в сегодняшний момент всегда уже слишком поздно совершать то, к чему зовет нас наше призвание или предназначение. Слишком поздно **теперь**. Точно так же мы застреваем в тех вещах, которые делают уже невозможным для нас **сейчас** проявление благородства, сочувствия. И куда мы дели потенции наших душ, наши другие facets, которые мы, чтобы остаться живыми, погубили? Дело в том, что набор наших потенциалов гораздо шире тех, которые мы реализуем. Мы реализуем их в жизни согласно складывающимся ситуациям и связям в этих ситуациях. И очень часто в этих ситуациях – в силу закона непрерывности, которая там действует, которая постоянно меняет конфигурацию, – мы не можем реализовать возможностей своей души, потому что другие – не на той же волне (не синхронны с нами) и не готовы к этому. И настаивая на реализации своего желания, мы неминуемо кого-то должны обидеть, потому что мы совершаем действие в мгновение, и в это мгновение,

может быть, другой человек вовсе не созрел для понимания того (или неправильно понял), чего мы хотим. Нам просто хочется, например, пойти свободно погулять и посмотреть на красивых женщин, а кто-то совсем не готов это понять. То есть поля реализаций наших возможностей сцеплены таким образом, что чем-то в себе, что в нас есть и что было бы нашей широкой частью души, мы это должны давить. Отказываться от этого. Скажем, отказываться от А, чтобы было хотя бы В. Есть десятки и сотни таких наших сторон, которые как бы безвозвратно нами погублены. И вопрос расширения души у Пруста, как и у Фурье, связан с тем, – а как быть? Не случайно и в том и в другом случае возникал вопрос, все время совпадающий с вопросом о новых или иных формах цивилизации. Я приводил вам пример Салтычихи – сначала я приводил его на уровне акта индивидуальной души, которая может осознать или не может осознать. Скажем, Салтычиха (в описании Фурье) истязает крепостную, потому что не осознает, что любит ее.

Не осознает она по той простой причине, что ее осознание на пороге принятия – что любовь может быть и лесбийской, останавливается. Поэтому она не может осознать, что в действительности она не ненавидит свою крепостную, а испытывает к ней влечение. И Фурье говорит, что если бы она это осознала, то немножко счастья, а не беды, прибавилось бы в мире. Ну, совершили бы они акт лесбийской любви, и никому от этого не было бы плохо. Но ведь здесь имеет место закупорка не только на уровне того акта, который может развитостью своего сознания совершить человек (в данном случае Салтычиха). Есть еще и закупорка социальных приличий и социальных норм, того, что допустимо или недопустимо в социальном пространстве. Не только собственная неразвитость Салтычихи исключает действительную, истинную канализацию ее наличного чувства (чувство любви к женщине канализируется через садизм, потому что оно непонятно), но еще и социальное пространство не дает места для развертки этого чувства, даже если ты его понял. Даже если ты его понял, канал открылся, – но закрыт социальный канал: социальные формы таковы, что они исключают возможность таких нравственных поступков в обществе.

Поставьте на место этого примера какой-либо другой пример возможной потенции нашей души или нашей чувственности, закрытой существующей системой отношений. И поэтому с темой расширения души, ее обогащения связана и тема социальных форм цивилизации, идея новых форм цивилизации. Точно так же, кстати говоря, у Антонена Арто возникает идея о непригодности существующих форм цивилизации и о необходимости изобретения других социальных форм для того, чтобы они были бы адекватны пространствам или просторам развертки возможностей, заданных в человеческих душах и возможностях. У Пруста социальная проблема или социальная закупорка представлена прежде всего нравами и законами света: светскими правилами, принятыми в кругу аристократии. Через это он рассматривает ту закупорку, то закрытие пространств, которые нужно было бы открывать, чтобы из прошлого, из возможностей человеческой души можно было бы развернуть – в качестве реально выполненного – какую-то потенцию. Какой-то фацет, как я говорил, или целый мир. Фактически и у Арто, и у Пруста, и у других авторов (в том числе, кстати, у Маркса) мелькает идея полного человека, который способен практиковать максимальное число разнообразных отношений. Вот что называется полным человеком или тотальным человеком. И только в пространстве практически осуществляемого максимума отношений разворачивается единица человеческой души. Полная единица человеческой души. И вот на страже у дверей такой развертки у Пруста стоит не столько существующая социальная форма, сколько другая, более глубокая вещь, в самом человеке заложенная, – мотив, структура, образ, **страсть владения**.

Фактически весь роман Пруста («Девушки в цвету», «Пленница», «Беглянка») – это история преодоления и преобразования Марселем любви как владения, и выхода, очевидно, к совершенно другому пониманию любви или к другой структуре любви. Но пока мы не имеем данных для разговора об этом. Я хочу только такую мысль подчеркнуть: стоит только попытаться овладеть (а владение всегда есть насилие), как створки этих миров, посредством которых ты и сам себя мог бы расширить, – например, человек, любящий Альбертину, которая любит не одного его, как это ни парадоксально, расширился бы во вложении духовных богатств, если бы он принял это как факт и не стремился бы к тому, чтобы владеть Альбертиной как вещью, – так вот, створки миров закрываются, если на них наложить владеющую или желающую владеть руку. Мир захлопывается, как створки раковины захлопываются, и тем самым закрывается путь развертки твоей души. Ясно – если переходить к другим структурам любви, то есть к более серьезным духовным отношениям, – что мысль Пруста вращается вокруг очень старых символов. Ну, например, как вы понимаете, что можно накормить пятью хлебами пять тысяч человек? Как это – буквально понимать? А ведь сказано, что есть какие-то... как бы неделимые вещи – человек А находится в отношениях с человеком Б, а человек Б дружит с С, – так вот, ты – А в Б обогащаешься именно его недоступными тебе отношениями с С. И можно одной единицей, если не хотеть ее делить по правилам владения, прокормиться большему числу. Таким образом, ты можешь оказаться напитанным сытостью другого человека, то есть его богатством.

ЛЕКЦИЯ 20. 31.11.1984

В прошлый раз я привел целый ряд живых примеров, которыми хотел показать, что некоторые абстрактные философские и художественные построения, знаем мы об этом или не знаем, глубоко затрагивают чисто жизненные переживания в наших душах. И цель этих примеров: предупредить вас о том, что есть какие-то перипетии наших душ – раздирание души, распад ее, или, наоборот, собирание, – в зависимости от того, понимаем ли мы, как устроен мир, или, на философском языке, понимаем ли мы онтологию. Хотя я говорил вам, что проблема реализма в художественной литературе, как и проблема идеализма в философии – суть надуманные проблемы, – в случае Пруста мы имеем дело с тем, что я назвал бы реализмом души. И тем самым приведенные примеры свидетельствуют о том, что весьма плодотворно заниматься реализмом души, – не реализмом описаний, не реализмом мира, а **реализмом души**, – в том смысле, что есть какие-то реальности того, как мы вообще можем что-либо сознать, того, как мы вообще что-либо можем переживать и чувствовать, того, как мы вообще что-либо можем помнить, и на эти реальности наталкивается наша душа совершенно независимо от того, хотим мы этого или не хотим, начитаны мы или не начитаны, занимаемся ли мы философией или не занимаемся, читаем ли мы Пруста или не читаем, и вообще читаем ли что-нибудь. Фактически все, что я говорил, было указанием на то, что существуют некоторые тексты, или онтология сознательной жизни, сознательного бытия, – совершенно объективная, нами не отменяемая есть какая-то структура души и структура истории. Они не меняются. Они различным образом символизируются, различным образом проясняются, но все время повторяются, как бы по каким-то кругам, некоторые **структурные сцепления**. Скажем, жизнь Христа и образ Христа есть **текст сознательной жизни**, он – символ того, что и какие возможности есть у нас в душе. Можно взять и литературные тексты: они тоже воспроизводят в себе текст сознательного бытия, в котором есть какой-то синтаксис, и этот синтаксис написан какими-то буквами. Иногда эти буквы проведены кровавым следом в

нашей душе, и у нас есть шанс эти буквы расшифровать. Но иногда они и не проведены, у нас не было такого опыта, или, если проведены, то у нас нет сил на то, чтобы их расшифровать. Пруст печально замечал, что никогда не хватает по-настоящему сил расшифровать подлинные впечатления или то впечатление, которое есть в душе. (Напоминаю, что под впечатлениями я имею в виду не просто восприятия, а какую-то совершенно особую категорию вещей, называемую впечатлениями.) И если есть такие тексты, то те примеры, которые я вам приводил, говорят о том, что задача наша, как людей, состоит в том, чтобы в собственной жизни медитировать на такого рода текстах. Медитировать – так, чтобы что-то от этих текстов проскочило в нашу душу и проявилось в ней организацией или собиранием этой жизни, упорядочением этой жизни, потому что естественным образом, как вы знаете, мы живем весьма неупорядоченно: наше сознание, наша жизнь неупорядочены и рассеяны. А медитацией на текстах мы можем достигать того, чтобы давать некоторым свойствам этих текстов, тому, что записано в них, проявиться в организациях наших собственных мыслей, чувств и, в целом, в собирании нашей жизни. Все рассуждения предшествующей лекции о мире как представлении служили мне для закрепления проблемы того, что вообще всегда стоит **вне наших связей**. Именно эта проблема является проблемой реальности у Пруста. Реальности – как произведения, так и самого мира и души. Напомню вам, что называет Пруст важными вопросами: вопрос реальности искусства, вопрос реальности (имеется в виду реальность мира) и вопрос вечности души или реальности души (или бессмертия души – это одно и то же). Довольно интересно, что в одну строку стоят три реальности как одна реальность: реальность мира или действительности, реальность произведения и реальность души в смысле вечного ее существования. Я говорил вам, что есть что-то реальное, в том числе реальность души, что и реализуется в произведениях.

Так вот, тема миропредставления, повторяю, была для того, чтобы закрепить следующую вещь: все, что называется реальностью у Пруста и эта тройственная реальность, – это все есть реальность в смысле чего-то, что есть вне наших связей, то есть вне наших привычных сцеплений мысли, вне наших культурных стереотипов, вне наших привычек, вне категорий нашего знания, – не в том смысле, что это недоступно категориям нашего знания или недоступно нашим культурам, а в том смысле, что, когда это есть, это работает **вне и помимо** тех связей, которые мы нашими представлениями налагаем на мир. Или, иными словами, реальность не зависит от наших представлений, в том числе реальность души, которая, казалось бы, только и есть представление, – не зависит от наших представлений, стоит вне связи. Почему, собственно, метафора оказывается такой проблемой у Пруста, да и вообще во всем искусстве? Да по одной простой причине – метафора ведь есть соединение того, что без метафоры не связано, разнородно, и вообще одно – в одном месте, другое – совсем в другом. А метафора соединяет их помимо наших связей, то есть помимо того, как мы могли бы – нашими стереотипами – это связать. Ведь по стереотипу элементы метафоры не связаны одна с другой, как раз метафорой называется нечто, что всегда противоречит стереотипу, что привычным образом настолько разнородно и бессвязно, что никакой разумной, рациональной связи между этими элементами установить нельзя. Помните, я говорил вам: анархические моменты или анархические ритмы в нашей жизни, – когда мы путем остранения, и, следовательно, разрушая установившийся культурный порядок, отступаем в сторону. Я в этой связи указал вам на важность накопления в наших душах каких-то особых состояний, и теперь хочу обратить внимание на одно свойство этих состояний, для того, чтобы использовать пример этих состояний в качестве иллюстрации к проблеме нахождения вне наших связей (есть что-то, что находится вне наших связей). Я

говорил о том, что мы в отрицании, в святотатстве, в опробовании мира почему-то все время тяготеем к такого рода состояниям, которые не имеют заранее заданного объекта – направленность которых не существует в готовом мире культуры. Ведь то, что принято, или то, что дозволено, то, что этично, то, что законно, есть та связка, которая дана или предана в культуре нашему любому движению, – мы делаем что-то для чего-то. В этом смысле такого рода состояния имеют будущее, они все целенаправленны. А я уже в другой связи показывал вам, что – в силу того, что всякое наше действие проецировано вперед, в силу этого оно стирает большие куски прошлого или большие куски нынешнего впечатления: какие-то куски нынешнего впечатления не могут быть использованы в качестве элементов достижения цели, которая является логической возможностью наших представлений. Я знаю, что если я подниму книгу и опущу руку, то книга упадет: падение книги есть возможность, в терминах которой я вижу само это событие – «книга в мире». Но помните – я все время рассказывал вам, как коварны вообще возможности, что, оказывается, реальность стоит вне возможностей, в этом смысле слова она каждый раз ничего общего с ними не имеет, – помните знаменитый пример с ножом, который «вонзается в сердце» в момент разглядывания облаков? Чаще всего реальность именно в таком виде и оказывается нам доступной, то есть вне какого-либо опутывания ее цепочкой наших возможностей, – вот мы просчитываем облака, а в это время, совершенно вне связи с этим, нас ударяет нож в сердце, или слова Одетт: да брось ты, не помню я, может быть, два или три раза... Вот сама эта возможность, что человек даже может забыть, что она спала с женщинами, и так воспринимать это в своей собственной душе, – это совершенно не соответствовало тому, как проецировал Сван Одетт в мире своих объектов, которой (Одетт) приписывается возможное, допустимое поведение. Ведь я знаю, что книга упадет на стол, если я подниму ее и руку опущу. Но так же, как я знаю, что вы и я пойдем лишь часть того, что я сам говорю. Но это не обязательно реальность. И реальность, я подчеркиваю, **невыводима из возможностей.**

Приводя примеры таких состояний в качестве ценных, накапливаемых трудом страдания, трудом надеяния: мы придерживаем действия, есть какой-то труд жизни, который не производит никаких видимых продуктов в этом труде жизни, в том числе есть и нарушение норм, святотатство, осквернение, – оказывается, я брал состояния, не имеющие будущего, не содержащие будущего как элемента своей собственной проекции. И эти же состояния могут быть никогда **не бывшими настоящими.** Значит, я говорю: состояния, не имеющие будущего, безнаправленные, неориентированные состояния, и они же есть состояния, не имевшие никогда прошлого, никогда в прошлом не бывшие настоящими – **не вышедшие на уровень совершившегося события.** Например, то, чего я не понял об Альбертине, ушло в образ моря. Скажем, у Пруста любовь к прекрасным девушкам в цвету есть чаще всего любовь не к ним самим, а к чему-то, что ищется через них. Он бежит за девушкой, а в действительности он бежит, чтобы увидеть море. Он-то думает, что он бежит за девушкой (я имею в виду эмоциональный бег). Так вот, этот образ моря – я спрашиваю – был ли он когда-нибудь настоящим? Вот в прошлом – был ли он настоящим, то есть пережитым или случившимся? Нет. Он относится к категории **несвершившихся** состояний. И память у Пруста чаще всего имеет дело не с воспоминанием (потому что ведь нельзя вспомнить то, чего не было), а с созданием какой-то структуры или конструкции, посредством которой случилось бы то, что в прошлом было, но не случилось как прошлое или как настоящее в прошлом. Это означает, что то, что имеется в виду у Пруста под памятью как нашей умственной функцией (но в действительности – непсихологической функцией как элементом онтологии сознания), есть тоже

нечто, что стоит вне наших связей, в том числе вне связей, которые память выстраивает путем своих сознательно контролируемых актов, работает вне этих связей, и поэтому есть реальность. Это понятно? Попробуем дальше пояснять это. Напомню вам, что, когда я вводил категорию, называемую «впечатлениями», я характеризовал впечатления как нечто не вполне знакомое. **Не вполне знакомое** в одном очень простом и глубоком смысле: музыкальный мотив – он нас преследует и привязчив именно потому, что не вполне ясно, что он говорит, так ведь? В этом состоит его и притягательность, и повторяемость – не вполне ясно, что он говорит. Если бы мы вполне знали, наверное, он никогда не звучал бы повторно в нашей душе. Впечатление есть нечто не вполне знакомое и поэтому **повторяющееся**. Его повторение есть как бы способ бытия этого впечатления, состоящий в том, чтобы разобраться в самом себе, – как идут вариации мотива музыки. И вариации существуют только потому, что сам мотив есть нечто не вполне знакомое. И, кстати, то, что происходит в пространстве его вариаций, уже независимо от источника звука или от источника мотива, гораздо важнее, чем содержание причины, – содержания самого звука, который произвел в нас это впечатление. Теперь вы можете увязать то, что я сейчас говорю, с тем, что я говорил, казалось бы, в другой связи, о памяти как искусственной памяти, выполняющей роль ящика резонанса. Ну, а резонанс тоже ведь есть вариация: что-то уточняется, варьируясь или резонируя многократно, в разных видах, но, оставаясь не вполне известным, не вполне ясным, не вполне понятным, не вполне знакомым впечатлением, повторяет себя и повторением уточняется и остается все время новым или живым. А это парадоксально, – мы ведь длением жизни стареем, так ведь? Все стареет длением: потому, что длится, потому и стареет, а тут я вам привожу примеры чего-то, что длением не стареет, а наоборот, дление оказывается условием вечной молодости.

Или, выйдя на следующую нить, скажу так: в такого рода переживаниях, которые взялся описывать Пруст, поставив на карту свою жизнь, душевное благополучие, – все эти описания имеют дело как бы с миром, который я назвал бы миром сплошной аномалии, сплошной большой сингулярности, как говорят физики. Почему это – аномалия? Потому что это такой мир, который все время склоняется в бездну хаоса, распада, потерю упорядоченности. И это склонение проходит по мне, во мне мир склоняется, и я должен ответить на это развитием сознания или сознательной жизни, поскольку, если вы помните, по определению сознание есть изменение склонения, или – блокировка спонтанных сдвигов, хаотических движений в нашей душе. Изменение склонения, в которое вводит нас, скажем, инстинкт, желание. Ведь вы знаете, что сознание есть сознание изменения состояния. Если я сознаю ощущение, значит, я уже не совпадаю с ощущением, я не есть это ощущение. Это аномалия, пересекающая как бы весь мир своим склонением, проходит через меня, и можно даже сказать, если воспользоваться метафорой, а Пруст нас склоняет к тому, чтобы мы тоже пользовались метафорами, можно было бы сказать, что мы, люди, суть существа наклонных поверхностей. Я уже говорил вам, что мы как раз на кривых должны удерживаться усилием. Мы – существа наклонных поверхностей, и естественным образом на наклонной поверхности устоять было бы невозможно, мы скатились бы в инстинкт, в хаос, в прямое и в слепое удовлетворение желания с его неисчислимыми последствиями. Так вот, эта аномалия выражается еще и **вариативностью**, такой, что, вместо того, чтобы длением стареть, вещи как раз длением остаются новыми. Во-вторых, **фрагментарность**, – а это принципиальный шаг Пруста, и, пожалуй, всего развитого искусства XX века, – описываемых состояний. Состояния вынуты из наших уже проложенных связей, и предполагается, что эти состояния, будучи вынуты из уже существующих культурных сцеплений, должны пойти по другим

сцеплениям: по сцеплениям реальности, то есть того, что есть само по себе, на самом деле, независимо от категорий нашего жалкого человеческого психологического ума. И завершаются они, входят в реальность – не по линии непрерывно завершаемого сюжета романа или художественного текста XX века и не только, кстати, романа, это и в живописи наблюдается, и в музыке тем более не идут по линии непрерывного или линейного развития или экспликации содержания (что привычно для прозы и вообще искусства XVIII и XIX веков)... Нечто вынута как раз из этого непрерывного развития, являющегося, повторяю, тоже нашей категорией, – это умозрительное развитие, которое мы даем сюжету. **Нечто вынута** – и поэтому оказывается фрагментом. И более того, в качестве фрагмента оно вообще оказывается, включаясь в ту реальность, которая вне наших связей, – оно в этой реальности не завершается. Есть принципиальная незавершенность самых интересных произведений XX века. Нельзя приписать случайности, что роман Пруста не окончен. Можно сказать, что Пруст умер раньше, – нет, роман принципиально не окончен. И я уже говорил вам, что в конце романа мы увидим человека, прошедшего путь, и прошедшего путь так, что он может теперь писать роман и т.д. – **бесконечно**. Не окончен роман Музиля, не окончены романы Джойса. Разные романы есть просто фрагменты одного какого-то незавершаемого произведения, они не существуют сами по себе, отдельно. В отличие от прошлого искусства, в котором всегда была установка на создание некоторого законченного и законченного шедевра. (Этимологический смысл слова «шедевр» – ремесленник в конце своего обучения делает некое цельное произведение, которое завершено содержит все, чему он научился, чем он овладел; всю сумму своего искусства и ремесла он должен вложить в это произведение, – а художник в XX веке уже почему-то этого делать не пытается.) Я пока суммарно назвал некоторые черты аномалии: длительность, не ведущая к старению, фрагментарность, незавершенность, вариативность. Но я это оставляю в стороне и скажу так: нечто, что находится вне наших связей. И вот – это нечто, о котором можно лишь сказать: это «есть», и возможность этого «есть» нельзя ниоткуда вывести, нельзя получить. То есть это «есть» может быть только **само**, или не быть, а возможность того, что это «есть» может быть, нельзя ниоткуда получить. Тем самым я напоминаю вам **некое само**, которое аналитически не содержится ни в чем другом, так, чтобы мы могли обосновать его возможность, но, так сказать, уже *post factum*. Как говорил Бергсон: если бы я знал мир Гамлета, то я, конечно, смог бы написать Гамлета. Он имел в виду следующее: мы обычно считаем, что Гамлет есть типичный представитель какого-то мира или его отражение, и, значит, мы предполагаем, что мы знаем какой-то мир, и теперь говорим: Гамлет есть типичный представитель этого мира. Но дело в том, что то, что мы называем миром Гамлета, то, что мы понимаем через типизацию, данную в Гамлете, родилось **после того**, как Гамлет написан или этот образ написан. Мир Гамлета есть **продукт** написания Гамлета. То есть мир, в котором Гамлет может существовать, мир, который нам понятен через гамлетовский тип, – он сам есть нечто, родившееся именно потому, что кто-то написал Гамлета, образ Гамлета (я имею в виду не произведение в целом, а образ Гамлета). Следовательно, пока нет самого Гамлета, мы ниоткуда не могли получить «возможность» Гамлета.

Значит, – я немножко перебил самого себя, – я связываю ту тему, которую сейчас ввел, с тем, что говорил раньше, а именно: «нечто само» может быть только **невозможным**. Вообще парадокс, что существует в реальности только невозможное. А в том, что мы называем реальностью, на самом деле все обстоит не так, как кажется. У Еврипида есть хорошая очень строка: «Не сбывается то, что ты верным считал, и к нежданному боги находят пути». Так

вот, то, что я теперь называю «само», то, что само есть, – оно и работает само, вне наших связей. Вот это «само» есть то, что я раньше называл «невозможное». Помните, я говорил о мужестве невозможного. Частично это связано с самим определением того, что я называл «чистыми явлениями», такими, как воля, вера. Вера ведь по определению есть вера в то, чего не существует помимо веры и в этом смысле не нуждается (для того, чтобы существовать) в моей вере, – к этому вообще термин «вера» бессмысленно применять. Опять случай онтологии нашего сознания, которое диктует то, как вообще осмысленно мы можем оперировать терминами, относящимися к нашей сознательной жизни. Например, писатель пишет – и по смыслу того, что я говорил в связи с Прустом, приводя разные проблемы, в том числе и несколько раз обыграв капризность Пруста, который все время говорит о своей лени, что ему лень было бы, не было бы живой искорки, чтобы двигать рукой (это труд все-таки физический) по бумаге; если бы не те вопросы жизни или смерти, которые действительно возникают в акте писания... но, когда я приводил эти примеры, я не сказал, что акт письма бессмысленен, если то, о чем пишешь, не зависит от того, что ты об этом пишешь. То есть писать можно и имеет смысл только о том, что существует только в силу этого акта писания и нуждается в этом акте писания. Я ведь говорил вам о произведениях, которые внутри себя рождают какие-то эффекты нашего сознания. Сейчас можно более широко сказать, что сам акт письма имеет смысл, лишь если то, о чем пишется, рождается и держится на самом акте письма, и чего не было бы без выполнения письменного текста или просто текста (вообще-то всякий акт – письменный, хотя «письменья» могут быть не обязательно буквами). Я возвращаюсь к тому, о чем говорил в связи с возможностью и невозможностью. Невозможное есть то, что никогда не фигурирует в реестре логических возможностей наших представлений, которые всегда проецированы в будущее. Например, по воде ходить нельзя – это мы знаем. И, наоборот, следовательно, символ хождения по воде, а он, конечно, есть символ, – однажды Будда своему ученику, который не понимал символического характера некоторых описаний нашей жизни и хотел научиться йогическим упражнениям и ходить по воде просто так, сказал, мол, слушай, не выпендривайся, ради бога, – вот этот символ говорит нам о том, что реально существующее или происходящее и есть то, что мы называли бы, во-первых, невозможным, и, во-вторых, именно невозможное требует веры, – и тогда осмысленно верить, потому что вера есть творение того, во что веришь, – то есть то, во что веришь, не случилось бы, если бы ты не верил. А то, что случается без веры, не нуждается в нашей вере, и там бессмысленно вообще этот термин применять. Эту веру Пруст называет экспериментальной верой. Значит, сначала есть – помните, я говорил вам – детская вера, где ребенок верит в уникальную индивидуальность того, что он видит, воспринимает, чувствует. Потому, как говорит Пруст, что реальность памяти складывается, или потому, что иссякает юношеская сила веры, все вещи становятся похожими друг на друга и теряют индивидуальность, и вот в качестве замены того, что потеряно, – юношеская вера потеряна, рай потерян, – Пруст свою процедуру называет экспериментальной верой. Вера – в смысле – экспериментировать на каких-то своих особых, невозможных условиях истину, чувство и т.д., а не получать все это в готовом виде извне, – это очень важный пункт. И неполучение в готовом виде извне и есть самая серьезная нить, которая пронизывает всю тему реальности у Пруста, – как реальности самой действительности, как реальности произведения, так и реальности нашей души. И вот то, что я называю невозможным, есть, во-первых, **нечто само**, во-вторых, **лишь после** того, как оно есть само, мы можем говорить о возможностях, о причинах, о мирах (например, о мире Гамлета, связывать

Гамлета с его миром и т.д.), и в-третьих, это «само» я теперь назову другим словом – **разум**.

Пруст говорил, что над нашим рассудком есть – как бесконечное чувство – разум. Видите, уже само словоупотребление «разума», поскольку я ввел его в связи с чем-то, что я назвал «само», «невозможное», что я охарактеризовал как стоящее вне наших категориальных связей, говорит о том, что слово «разум» я сейчас употребляю, конечно, не в смысле психической, или психологической, или логической способности существа, называемого человеком. Что-то другое говорится и философами, и художниками, когда они в таком контексте и так употребляют слово или термин «разум». Разум есть факт разума – не что-то в нашем сознании о факте, не что-то, содержащееся в нашем разуме или в нашем сознании, или в нашем уме как отражение вещей в мире, а вот нечто, что **само есть факт** и в качестве факта является **разумной реальностью**. Сейчас я поясню это так: я сказал, что «само» или «невозможное» есть таковое, то есть его нужно называть именно так, поскольку мы не можем получить откуда-то (аналитически) саму возможность этого. Мы не можем – оно лишь само может быть, а потом мы можем рассуждать. Это легко переводимо на характеристики разума в том бытийном смысле (а не в психологическом), в каком я это слово вслед за Прустом употребляю. Значит, нечто, что аналитически (предварительно) ни в чем другом не содержится. Скажем так: мы наблюдаем зрелище какой-нибудь несправедливости, и мы всегда – поскольку мы уже развитые существа, уже ставшие сознательными существа, а все наше становление ушло в глубину, и мы пользуемся уже его плодами, не видя всего того фундамента, на котором мы выросли, – как бы считаем, что мы нашими разумными способностями устанавливаем свойства предметов. Например, мы видим, что есть несправедливый или злой, или некрасивый предмет, и этого нам бывает достаточно. Но в действительности это совсем не так. Картина несправедливости, картина того, что мы называем несправедливостью, аналитически не содержит в себе того, что она несправедлива, или зла, или красива. Нет причин считать нечто несправедливым, если уже нет разума, – но пока у нас его нет. Посудите сами... животное поедает другое животное – в описании этой картины насилия не содержится и не может быть никакой оценки этого события. Так же, как нет причины, говорил Пруст, вообще быть вежливым или добрым по отношению к другому человеку. То есть в самом натуральном содержании этих акций (в их сцеплении, в их последовательности) не содержится никакой причины быть даже просто вежливым. Почему, скажем, говорит Пруст, люди вообще бывают вежливыми друг с другом, или почему музыкант, не верящий в бессмертие, тысячу раз переделывает один и тот же музыкальный кусок, доводя его до совершенства?. Какие на это есть причины? В самом содержании происходящего таких причин нет. Они есть только тогда, когда есть **сознательное существо**, или *cogito*, выражаясь по Декарту, которое преследует свои цели, и когда оно есть **везде**. То есть если мы предположим, что разум уже есть и он есть везде, где есть предметы нашей оценки, **тогда** мы осмысленно можем говорить, что эти предметы несправедливы, незаконны, ужасны и т.д. Иначе говоря, разум сам по себе есть нечто – хотя мы в терминах разума анализируем что-то другое – простое и неанализируемое. Если бы оно анализировалось, его можно было бы получить аналитически: сначала вывести откуда-то его возможность и – предугадать его, предсказать, предположить. Но разум есть нечто, что нельзя получить предположением, – он может лишь сам быть или не быть.

Поверну примеры, которые я приводил раньше, другой стороной и, может быть, легче нам будет понять то, что я сейчас говорю. Я уже сказал, что проблема памяти у Пруста есть проблема памяти как чего-то, что находится вне

наших связей, и продуктивно оно именно потому, что, находясь вне наших связей, какие бы мы связи на него ни наложили, то есть как бы мы ни интерпретировали, как бы ни поняли, как бы ни связали, оно работает само, продолжает работать (независимо от наших категорий) в нас. Скажем, какое-то событие, мною пережитое, ушло, сцепилось с образом моря, море сцепилось с девушкой, я преследую девушку, преследую море, но то, что не есть ни мое представление о море, ни мое представление о девушке, ни связь между ними (которая есть связь развития моих любовных отношений, и даже моя судьба, сейчас я поясню, почему так), – не будучи ни тем, ни другим, ни третьим, работает, и именно оно работает. Нечто, что не было никогда настоящим – **не свершилось**, – потому что море не есть свершение какого-то другого переживания, которое лишь укуталось в море, как в кокон, или укуталось в другой кокон – в девушку, связано теперь с морем. Так вот, не только в этом смысле – память... – **то, что есть вне наших связей**, то есть вне нашей психической памяти. Таким образом, проблема памяти у Пруста есть **различие** памяти **сознания** и памяти **психики**. То, что я называю разумом или памятью, стоящими вне наших связей, это есть память-сознание, некоторое сознательное, неэмпирическое бытие. И эта же память, будучи связана с проблемой времени у Пруста (если счесть, что память связана со временем) делает время проблематичным в том смысле, что Прусту везде приходится говорить о некоем чистом времени. Что называется чистым временем? – и вот я опять возвращаюсь к тому, что – вне связи. Там будет эта же мысль, которую я выражаю так: «вне связи», но будут и другие слова, и вы должны будете узнать одно в другом. **Чистое время – вне причин и вне наших ощущений**. Значит, мы держим в голове уже следующий шаг некоего бесконечного разума, в данном случае называемого временем или памятью, и причем – временем чистым, вне причин и ощущений. У Пруста есть несколько сцен, где повторяется почти один и тот же эпизод духовной жизни, который условно можно назвать темой духовных пейзажей, – не реальных воспоминаний, а воспоминаний, ставших духовным пейзажем, – например, воспоминание о Бальбеке в амальгаме с другими воспоминаниями. Реальный Бальбек вспоминается Марселем в яблонево́й ветке, которую он покупает у цветочницы в Париже. И, конечно, воскресший в яблонево́й ветке, вспоминаемый Бальбек не есть реальный Бальбек, а есть некоторый духовный Бальбек, его духовный пейзаж. Пруст пользуется такого рода вещами для того, чтобы проиллюстрировать законы нашей жизни, в смысле – что мы помним, почему мы помним, почему мы волнуемся, почему мы не волнуемся, что нас может волновать, что не может волновать, что может быть источником наших восприятий, а что не может быть источником наших восприятий. Дело в том, что, повторяю, Пруст пользовался все время чем-то вроде принципа относительности: не мир является источником – источников, в абсолютном смысле, наших чувств, волнений не существует, – **нечто должно становиться источником**, и следовательно, – относительным источником. Так вот, в воспоминании Бальбека, в превращении его в духовный пейзаж через воспоминание его в яблонево́й ветке, покупаемой у цветочницы а Париже, Пруст иллюстрирует, что я могу знать сегодняшние цветы: просто заметить их, реагировать на них и воспринять их как цветы (мы устроены так, что мы цветы воспринимаем как цветы) – не потому, что они есть цветы, а по каким-то другим причинам, и существование цветка вне меня не есть причина того, чтоб я воспринял его как цветок. Если бы во мне не было бы Бальбека, то со мной не случилось бы события – цветы, покупаемые у цветочницы, – они для меня не были бы цветами. Так же, как я улицы воспринимаю лишь в том случае, если это скользкие, печальные улицы моего прошлого, – тогда я их воспринимаю как улицы, со всеми связанными ассоциациями, возможностями

производить во мне какие-то представления, развивать какой-то мой мир и т.д. – все, что улица может вызвать. Она не вызовет, если такого смыкания нет. Значит, я сегодняшние цветы знаю в качестве цветов лишь потому, что помню Бальбек – но не сознательно. Бальбек – работает, так сказать. Восприятие сегодняшних цветов в качестве цветов с помощью Бальбека, то есть прошлого, не есть сознательный акт (акт, регулируемый волей и сознанием), не есть рассудочный акт, это есть **работа** самого этого застрявшего во мне содержания. И тем самым, когда я узнаю цветы – сегодня, у цветочницы в Париже, – я не узнаю ничего нового. Но тем не менее, конечно, это есть духовное познание в смысле изменений, производимых в жизни, – то, что безразлично или могло оставить равнодушным, превращается в источник радости и переживания жизни. Но я не узнал ничего нового (не новому обрадовался), и в этом смысле Пруст считает, что знание или узнавание нового вообще есть эффект памяти, – как бы всплывание в душе каких-то прошлых встреч, как выражался Платон, с Богом. Платон так и определял мышление: мышление есть молчаливая беседа души с самой собой об испытанных когда-то или о прошлых встречах с Богом. Или – переведите на язык Пруста – с потерянными раем. И вот все неориентированные, бесцельные и не имеющие будущего состояния вложились в материю, или в географию, или в пейзаж Бальбека, и в нем застряли – и я помню это. Что это значит? Это значит, что лишь **неставшее** можно помнить (это очень сложный пункт). То, что стало, полностью свершилось и завершилось – это вообще не есть объект памяти сознания. Лишь «неставшее» можно помнить, и поэтому память можно определить как ту форму или тот способ, каким «неставшее» хочет или пытается **свершиться**, стать. И это может растянуться на очень большое время, может занять целую жизнь, и даже жизнь не одного человека. И память – как умственная функция – состоит именно из такого рода формы или способа существования того, что не стало, или, другими словами, чего-то, что никогда не было настоящим в прошлом, никогда не становилось настоящим, работает и оказывается нашей памятью. И более того, даже наши знания оказываются эффектом такой памяти, или являются нашим разумом.

Теперь иначе повернем, чтобы вытянуть тему разума. Фактически в этой иллюстрации памяти я сказал следующее: можно знать лишь то, что есть в памяти, то есть несвершившееся. И в каком-то смысле нельзя знать ничего другого: нельзя знать ничего того, чего нет в душе. Если предварительно есть в душе, – а в душе есть только потому, что не свершилось, если бы свершилось, то в душе не было бы, – то на протянутом оттуда луче мы вообще что-то можем знать. А если относительно какого-то предмета, информацию о котором нам сейчас предлагают, относительно него в нашей душе ничего нет в том смысле, что нет исторического элемента – не свершившегося по отношению к этому предмету, то мы этого предмета и узнать не можем, и эта информация никогда нами не будет усвоена, она в нас не войдет. **Знать можно только то, что есть в душе.** И следовательно, знать можно только то, для чего есть а priori нечто не знаемое иначе или другим путем, чем оно само, – опять я получаю определение разума. Оно само должно быть и работать; горизонт знания открывается чем-то не вполне знаемым – разумом, его существованием, или тем, что нужно варьировать, и поэтому разум бесконечен: нечто незнаемое, как мотив, варьируется. И только это незнаемое есть **существование, несводимое к знанию**, то есть – бытие. Существование, несводимое к знанию, есть **бытие**. И вот эта связка знаемого, незнаемого, связка, налагаемая работой, собственной работой незнаемого – это же не мы совершаем акты, а эти акты в нас совершаются, – и стоит вне наших категориальных связей, вне нашей сознательной памяти, вне наших ментальных операций, которые мы совершаем волепроизвольно: захотел,

вспомнил это, захотел, вспомнил то, давай, я сейчас подумаю о Венеции, нет, простите, в Венеции я никогда не был, во Флоренции был, подумаю о Флоренции. Это не есть воспоминание, в том числе потому, что того, что я хочу таким путем вспомнить, нет в моей душе.

И теперь, чтобы завершить эту тему разума, скажу так – одновременно она связана с темой произведения, самой для нас существенной темой. Вот я сказал: поэтому разум и бесконечен. То есть разум есть то, чего мы не знаем, в смысле – нечто, отличное от наших представлений. Потому что всякое наше знание есть наше знание, а это есть сам разум – в отличие от нашего знания. Поэтому эту кантовскую тему я прошлый раз и вводил. Кстати, я вас предупреждаю: если то, что я сейчас говорил, вы не очень понимаете, то, во-первых, не обвиняйте себя, во-вторых, не обвиняйте Пруста, и, в-третьих, не обвиняйте меня, потому что это, в принципе, действительно непонятно. Не потому, что я понимаю, но не могу высказать, просто профессия философа состоит в том, чтобы все время бороться и заново пытаться понять то, что в принципе все равно непонятно. Но, занимаясь непонятным, мы кое-какие вещи, более понятные, понимаем, которые мы не понимали бы, если бы не ломали голову над непонятным. Занимаясь вещами такого рода, мы настраиваем себя определенным образом, то есть устанавливаемся в мышлении, а установившись в мышлении, мы уже можем мыслить и получать какие-то результаты. Я сейчас немножко отвлекусь от того, что хотел сказать. Мы можем не разгадать тайны разума, например, но поломав голову над ней, мы поймем другое, связанное с тайной, но доступное пониманию, а без тайны мы этого другого не поняли бы. Я приводил примеры, которые фактически говорили о том, что в действительности, когда мы ревнуем женщину, когда мы подозреваем другого во лжи или разоблачаем ложь, когда мы правдоискательствуем и т.д., – и если исправлять, как выражается Пруст, «неточный язык себялюбия» – а мы ревнуем, разоблачаем ложь других, несправедливость... все вещи, которые, казалось бы, к нам не имеют никакого отношения, они все есть другое: другие совершают несправедливость, другие лгут, другие делают такие вещи, из-за которых приходится ревновать, – «и, исправляя этот неточный язык себялюбия», мы исправляем его только в свете нашей озабоченности тайной разума. Если мы ею озаботились, то только она – существование чего-то, что находится вне наших категорий и связей и что само работает, позволяет нам догадаться вдруг, что, когда мы ревнуем других, мы в действительности, как выражается Пруст, ревнуем к самим себе. И это есть уже довольно значительный шаг не только в исправлении неточного языка себялюбия, но и большой прогресс в изменении и упорядочении нашей собственной жизни. Пруст говорит, что часто за преследуемым образом девушки он преследует море, и в действительности ему хочется моря (в смысле душевного контакта с морем), а ему кажется, что он хочет эту девушку. Значит, на деле он в девушке ищет море, а не любит ее, но в поисках моря его двигает еще какое-то событие, переживание его души, вложившееся в эту его потребность моря. И если женщина убегает от тебя, то это ведь есть убегание тебя самого от себя: море уносит частицы твоей души, и ты, ревнуя женщину, ревнуешь к самому себе. Точно так же, когда ты в страстной беседе с самим собой или в страстной встрече с самим собой, в страстном свидании с самим собой разоблачаешь ложь других, то ты впервые понимаешь, что в других, условно скажем, ты ревнуешь (хотя ко лжи это, казалось бы, неприменимо) самого себя, свою способность лжи, которая кажется тебе невинной. Ведь в других тебя обижает именно то, что ты тысячу раз совершаешь сам, но, поскольку ты сам это совершаешь, каждый раз это невинно, потому что ты-то знаешь, что никакого зла не хочешь совершить этой ложью. Вот в какие знания о самих себе заводит нас тайна. И более того, она приводит нас и к расширению. Ведь может случиться в нашей

жизни так, что и море как объект переживаний, как предмет богатства нашей души, – чем больше вещей, которые вызывают в нас богатые эмоции, тем богаче мы сами, и, конечно, человек, извлекающий какие-то эмоции из моря, богаче человека, для которого море просто большая лужа, – море тоже может умереть для нас, если, например, я умер перед лицом самого себя, потому что уж настолько меня эта девушка обидела, настолько я ее возненавидел, что я даже не сумел отчленить любимое море от, казалось бы, любимой девушки. И если эта девушка умерла для меня, то море для меня тоже могло умереть, потому что умерла часть моей души. На такого рода вещах мы начинаем учиться хотя бы необходимости отцеплять одно от другого. Например, есть вещи, которые Марселя волнуют только Альбертиной, вещи сами по себе ценные и интересные, но так сцепилась душевная жизнь, что без Альбертины, не проходя через нее, они его не волнуют. Допустим, Альбертина изменила или я разлюбил Альбертину – что будет с теми вещами? Они ведь могут вместе с Альбертиной умереть: перестать быть источником моих эмоциональных достояний, моих эмоциональных богатств. И то, что волновало Альбертиной, никогда не взволнует, если Альбертина больше не волнует. И тогда понятно, в какие тупики могут нас заводить сцепления нашей душевной жизни, насколько наша душа может омертвевать и умирать. Но мы видим эти тупики, – почему? Да потому, что мы озаботились тайной этого «самого», которого мы никогда не узнаем, оно останется неизвестным – море все равно не выражает его, а тем более девушка, сцепившаяся с морем. И узнать эти пути у нас есть шанс только через ясность тайны. Короче говоря, тайна – это горизонт или свет, в котором выступают вещи, которые мы можем знать. Тайна, сама оставаясь тайной, как бы из-за нашей спины впереди высвечивает то, что мы можем узнать. И это есть продуктивная работа нашего сознания или нашего разума. Разум так работает, и он бесконечен в смысле, что в случае состояний, отличающихся, кроме всего прочего, тем, что у них нет объекта, нет направления, они существуют как бы сами по себе, мы их испытываем ради них самих, – так же, как можно риск испытывать ради риска, чтобы посмотреть на предметы, которые в горизонте риска выступают, то есть рисковать не ради чего-то конкретного, а рисковать в принципе, – так вот, в случае этих состояний есть некоторое бытие, которое не получает существования.

Я приводил пример наших юношеских ощущений, которые называл неофициальными – всегда что-то есть, какое-то уникальное мое испытание, которому нет места в том, что уже получило узаконенное существование. Это относится и к текстам. Когда мы имеем крупное произведение или великое произведение, оно содержит в себе не только то, что содержит, – кстати, косвенным доказательством того факта, что в романе Пруста содержится не только то, что написано, а еще и другое, являются наши с вами встречи и об этом беседы, в них не было бы необходимости, если бы в романе было написано только то, что в нем написано, то, чему Прусту буквами, фразами, их сочетаниями удалось дать существование. Есть что-то, звучащее в романе между строк, – некоторое бытие самого произведения, отличное от того, что получило существование текстом данного произведения. Что же вытекает из того, что есть какое-то бытие (в том числе и в произведении), которое не покрывается тем, что получило существование текстом произведения? Очень простая вещь: само произведение есть как бы актуально данная, дискретно данная бесконечность. В каком смысле? Такие произведения имеют множество интерпретаций, которые есть способ жизни или бытия самого этого произведения, – мы находимся как бы внутри сознательной бесконечности, открытой этим произведением. Обратите внимание на то, что хотя никогда нельзя заранее предположить или предсказать никакой интерпретации произведения, но когда она есть, она, несомненно, есть интерпретация смысла

именно этого произведения, то есть является его частью. Вы знаете прекрасно, вопреки ученым спорам и теориям о том, что произведение якобы многозначно, что все интерпретации имеют право на существование, что все они произвольны, – они множественны, – но каждая интерпретация (конечно, я беру ее в пределах разумного) есть, несомненно, **смысл**, и мы узнаем ее как смысл этого произведения. Точно такая же бесконечность, полевая бесконечность (условно назовем ее так) – и лингвисты это показывали – свойственна даже нашим словам. Смысл слова дискретен, не существует недискретного смысла. Но тем не менее любое слово может получить неожиданный смысл, например, в жаргоне, и этот неожиданный, непредсказуемый смысл нами узнается как смысл этого слова. Хотя, имея слово, мы не могли предсказать и предвидеть его нового смысла или, в случае произведения, новой интерпретации. Повторяю: произведение есть некоторая сознательная бесконечность, которая внутри себя в качестве своих частей содержит и нас самих, интерпретирующих это произведение, ибо наши интерпретации произведения непредсказуемы и невыводимы, – сейчас я интерпретирую Пруста, и я не могу никакими способами вывести какой-то другой его интерпретации, но когда она будет, она, несомненно, есть интерпретация или смысл именно этого произведения и тем самым есть часть его или способ жизни этого произведения. Есть какое-то неограниченно большое число состояний множества людей, которые (состояния) – когда они случаются – содержатся в этом произведении. И содержатся именно потому, что **вариация** есть способ существования того, что не вполне знакомо. А ведь то, что не получило существования в книге Пруста, но что тем не менее в ней содержится, – это **есть**, – чего Пруст сам не вполне знает, поэтому все время, даже внутри произведения, повторяет, варьирует, и поэтому мы тоже варьируем, повторяем и все время остаемся внутри этого произведения. В этом смысле произведение есть какая-то модель и другого рода человеческих отношений, а именно – тех вещей, которые случаются в человеческом общении, в передаче знаний, в передаче состояний, в коммуникации жизни, в распространении потока жизни, который, как это ни парадоксально, именно длением остается молодым и живым, хотя, казалось бы, именно длением, как я уже говорил, вещи стареют и умирают. Значит, я вывел вас на бесконечную жизнь произведения. То, что имеет латентный голос в этом произведении, что все время должно досказываться и никогда не сказано до конца, а когда досказывается, то всегда есть то, что сказано, – не какое-нибудь другое, не внешняя прищепка к произведению – каждый раз узнается как часть смысла произведения. Все это и есть, словами Пруста, неизвестная родина всякого художника. Пруст считал, что всякий художник есть гражданин неизвестной родины, или – подставьте «потерянный рай», скажите, что это есть голос потерянного рая... Всякая неизвестная родина предполагает ностальгию, да? Ностальгию – не пустую, а продуктивную в нашей жизни, когда мы томимся – чем? Неизвестной родиной. Не Грузией, не Россией, не Францией, а неизвестной родиной, и как свободные и духовные существа, конечно, мы все – граждане неизвестной родины, а если перевернуть, то мы, конечно, шпионы этой родины, но не какой-нибудь конкретной страны, а неизвестной родины.

Повторяю: такого рода описанная мною странная бесконечность, которая как бы актуально дана, дискретна, не существует отдельно: произведение дано: **внутри** него содержатся бесконечные, непредсказуемые и невыводимые части. Они просто есть неделимость разума, ведь в разуме нет ни бывшего, ни будущего. Помните, я говорил вам об актах в отличие от *passions*, в отличие от страстей. Страсти всегда содержат элемент направленности на будущее, а акты, ничего не производящие, те акты, которые происходят в нас в состоянии надеяния или в состоянии труда жизни, или в состоянии страдания, которое

стоит, все эти акты не содержат будущего, не имеют направленности на будущее, но в них нет и бывшего. Я приводил вам примеры несвершившегося – из них состоит то, что мы называем разумом. И нам очень важно эту сторону дела понять, чтобы ответить, наконец, на тот вопрос, который я ставил, когда говорил, что если нет разума, то нет, скажем, причины. Я приведу неожиданный пример, но он отвечает на тот вопрос, который я сейчас задаю. Скажем, я нарисую рисунок, известный во всех трактатах по психологии (здесь присутствуют психологи, и они его сразу, наверно, узнают). Что изображено здесь? Некоторый круг и еще два круга, положенные на палку, да? Этот рисунок в моих глазах или в глазах другого человека есть изображение мексиканца на колесах. Когда я сказал: мексиканец на колесах, сразу ясно – это сомбреро, а это – переднее и заднее колесо велосипеда, – мексиканец на велосипеде. Значит, видение мексиканца состоит из идентифицируемых элементов: колесо, сомбреро, проекция сверху. Но, простите, дело в том, что сам факт, что я могу назвать: это – сомбреро, а это – переднее колесо, это – заднее, а это – проекция сверху, – все эти элементы родились и появились только после того, как я сказал: мексиканец на велосипеде. Эти же элементы, составляющие мексиканца, выпали в осадок после мексиканца, так же, как мир Гамлета – после написания «Гамлета». Это и есть причина, понимаете? – если этого нет, то нет причины считать, что это – мексиканец. Ну, где здесь причина сказать, что это мексиканец? В физике бывали такие вещи: последние исторические обзоры физики явно показывают, что, начиная с опытов итальянского физика Ферми, и затем многократно в других опытах, наблюдались явления, которые сейчас понимаются как картина атомного распада. И их не видели – они были перед глазами, но их не видели. Почему? Не было причины считать, что это атомный распад. В данном случае слово «причина» есть то, что я называл «разум», который – или есть, или нет. Если он есть, есть причина считать, что это – атомный распад, есть причина считать, что это – мексиканец на велосипеде, есть причина считать, что нечто несправедливо, есть причина считать, что нечто прекрасно, есть причина считать, что нечто безобразно и т.д. Вот в действительности как работает наше творческое сознание или просто наше сознание, наш дух, и что в этих случаях мы называем разумом. Причем эти элементы однозначным образом неразложимы, одинаковым для всех способом, – только для того, у кого есть причина считать, что это мексиканец. Но есть другой рисунок (я не умею рисовать, и вы ничего не увидите в нем): два обращенных к нам профиля, если штриховать, то это будет ваза, – или можно увидеть два профиля. Элементы одни, вы не можете их разложить одинаковым и однозначным для всех способом: один видит здесь профили, другой видит вазу.

С появлением таких вещей, рождающих внутри себя миры, связано появление произведения, или продуктов определенной работы человеческого духа, или самого факта существования разума, И те примеры с памятью, которые я приводил, – сейчас я их этой стороной поверну – они как раз тоже содержат эту генерирующую (или самогенерирующую) направленность наших состояний, которая, возникнув, генерирует N-ое число себе подобных. Вот эта книга генерирует внутри себя N-ое число подобных мыслей. И в каком-то смысле ведь можно сказать (так, как я сказал сейчас об этом произведении), что очень часто пытаются безуспешно определить, что такое разум, то есть дать аналитическое определение разума, или аналитическое определение сознания, или аналитическое определение мысли. Но чаще всего оказывается, что эти вещи просто не поддаются формальному определению, – они как раз требуют того, что я сейчас сказал, – сознание есть **возможность большего** сознания, мысль есть **возможность большей** мысли. То есть я не определяю само сознание, я говорю: сознание есть возможность большего сознания, мысль

есть возможность большей мысли. И с этим связана странная мистическая фраза, которую Пруст повторял в связи с Гюго (будучи маньяком своего собственного духовного мира, он в других писателях и поэтах искал подобное себе и под этим углом зрения их рассматривал, и поэтому прошелся через многих, через Нерваля, Бодлера, Флобера, Бальзака и т.д., и в связи с Гюго его кое-что не удовлетворяло). Ну, вы понимаете, что, когда я сказал: бесконечность – вот та, которая здесь (Пруст сам ее четко понимал, вы потом увидите сами), эта бесконечность предполагает, что рождение бытием произведения большого числа интерпретаций, которые, сколько бы их ни было, все равно остаются частью этого произведения, есть **естественный**, а не искусственно-рассудочный процесс. Так же, как я говорил вам о метафоре как об естественной аналогии, – так и здесь нет искусственного развития мысли: когда я мыслю для того, чтобы просто придумать что-нибудь интересное ради интересности сравнения; здесь мысли как бы естественным образом вырастают одна из другой. Есть, скажем так, естественное, пластическое развитие метафоры, мысли и т.д. И в ряде случаев Пруст видит, что у Гюго и у других авторов (скажем, у Сенанкура, где он заметил вещи, аналогичные теории произвольной и непроизвольной памяти) появляется натянутость, рассудочность, вернее, приведение каких-то элементов в связь рассудочным путем, голым умом. Так вот, в этих случаях, когда Пруст замечает такой недостаток, он роняет фразу, что Гюго слишком часто мыслит, вместо того, чтобы давать мыслить. Попробуйте это уловить... я сам этого не очень улавливаю, поэтому мне нужно столько всяких аналогий, слов и т.д., но я вижу, что здесь содержится суть дела: сознание есть **возможность** сознания, или возможность **большого** сознания, мысль есть **возможность** мысли. В этом смысле Пруст редко мыслит, он чаще дает мыслить: он строит какую-то конструкцию, которая способна рождать мысли, непредсказуемые и невыводимые, но – когда они появились – кажущиеся естественным развитием предшествующих мыслей или естественно выросшие из них. **Давать мыслить**, а не мыслить. Вот это, очевидно и есть самая сложная и серьезная задача такого рода произведений.

Это я хотел сказать в связи с памятью и еще хотел элемент разума немножко проиллюстрировать на свойстве памяти. Есть цветы (сейчас я это свяжу с «давать мыслить»), которые воспринимаются мною как таковые, являются источником восприятий, переживаний, если в моей памяти или в моей внутренней истории, в моем историческом элементе содержатся, скажем, какие-то другие цветы (вместо «цветы» можете вставить «мысли»). Этот факт мы можем изобразить таким образом; есть конус возможных для нас событий (так же, как в теории относительности) и есть то, что внутри него будет восприниматься в качестве цветов, в качестве красивой женщины и т.д. Но я показывал, что совсем не физические качества здесь играют роль, и следовательно, само существование физически красивой женщины может быть в безразличной области – я уже перехожу на язык физики – по отношению к тому, что должно быть или что есть внутри конуса. Так вот, этот конус может быть узким или широким. Очевидно, и люди отличаются друг от друга тем, что у одних узкий конус, а у других – конус пошире. Допустим, что в начальной точке конуса или в нулевой точке сошлось прошлое. Я назову это вместимостью или **первовместимостью**, и частично, тем самым, отвечу с другой стороны на этот сложный вопрос о разуме. Понимаете, в нашем мышлении есть парадоксальное обстояние дела: мы пользуемся каким-то языком описания, но забываем о том, что есть условия смысла терминов этого языка описания. И иногда язык-то может сам существовать (значение терминов, слов и т.д.), а условия смысла могут не выполняться. Возьму пример из моральной области: часто мы представляем себе так, что некоторые ситуации могут быть сами по

себе моральными или аморальными, и что мораль означает моральность или торжество морали. Скажем, если переходить на оценки, означает моральность событий в этой ситуации, моральность людей как авторов и носителей этих событий и т.д. В действительности это ошибочно. Проблема морали состоит не в том, чтобы все было морально, – это человеку малодоступно (что прекрасно знал Пруст), – а в том, чтобы **создавать ситуацию**, в которой имеет смысл что-либо описывать в терминах и в понятиях морали. Я очень легко мог бы вам это доказать, просто поставив зеркало перед нами самими, потому что мы как раз и есть ходячие образцы существования истинности той проблемы, которую я вводил, по той простой причине, что мы живем в ситуации, которую можно назвать ситуацией неопределенности; она неопишима таким образом просто потому, что не было актов первовместимости – не было совершено некоторых исторических деяний, – таких, чтобы имело бы смысл описывать людей, живущих в этой ситуации и имевших до этого какую-то историю, в моральных терминах (идентифицировать в морали причину каких-то явлений, поступков и пр. и пр.). Например, то, что делает российский человек, чаще всего неопишимо в этих терминах; хотя в натуральном языке он, конечно, обладает психологическими качествами моральности или аморальности. В действительности он – в безразличной области, там не было актов первовместимости: **нет причины** считать что-то моральным или аморальным. Скажем, советский турист за границей струсил перед какой-то ситуацией. Вместо того, чтобы искренне и откровенно ответить на простейший вопрос, он начал темнить, – мы склонны употреблять психологический язык, и поэтому говорим, что он нечестный, лицемерный, аморальный человек. Оказывается, мы не можем применить этот язык. По тому закону, который я называл «слишком поздно». Совокупностью всех своих предшествующих действий турист едет за границу (в силу милости властей, в силу патернализма, в силу компромиссов; компромисс – моральная оценка, я не хочу никакой моральной оценки), и там уже бессмысленно «выпендриваться». Ну, что значит вести себя по-джентельменски человеку, который уже был на комиссии райкома? И что – он должен быть джентльменом в Марселе?! Абсурдно. Но – поверните. Что я хочу сказать? Что он неопишимо в этих терминах. Я не хочу сказать, что он плохой или хороший. Значит, мораль есть создание ситуации морали, то есть такой ситуации, в которой мы осмысленно достигаем какого-то понимания путем применения терминов морали. Если мы применим к поведению этого человека в Марселе термины «труслив» или «храбр», мы ничего не поймем, – но не потому, что «не труслив», «не храбр». В этой ситуации можно просто постесняться быть храбрым. Это что – трусость? Это есть нечто, лежащее совершенно вне морали, вне моральных оценок (я не хочу сказать «хорошо» – «плохо», я хочу указать на условия самой осмысленности применения таких терминов). Есть некоторые ситуации, которые вообще психологической оценке не подлежат, хотя элементами этой ситуации могут быть люди, безусловно имеющие психологию. Но это совершенно разные вещи: есть то, о чем можно говорить на языке психологии, а есть то, о чем нельзя говорить на языке психологии, если ты этим языком что-то хочешь понять. В данном случае такой язык не служил бы пониманию. Так в чем же суть дела? У такого человека нет истории, содержащей акты психологической первовместимости мира, скажем так. Например, глаз художника – есть акт первовместимости природы как пейзажа, – потому что природа сама по себе не есть пейзаж, а когда совершился этот акт, а мы уже находимся в истории искусства, то мы смотрим на природу в терминах пейзажности ее красивого – некрасивого пейзажа. Но это осмысленно только тогда, когда **совершился акт первовместимости**, который придал потом смысл самому употреблению этих терминов и создал возможность видеть пейзаж. Без предшествующего существования актов

первовместимости, называемых художественным зрением (кто-то когда-то это сделал), нет никаких причин говорить: красивый пейзаж, некрасивый... Точно так же может не быть причин говорить: добро или зло. Быть моральным – значит создавать актами первовместимости или актами моральной первовместимости мира такие ситуации, в которых осмысленно вменять людям добро или зло. А вменимо добро или зло только свободным людям, кстати. В том числе вменимо джентльменство, «неджентльменство» и т.д. Видите, какие есть тонкие законы. А мы все время с ними имеем дело.

Я, казалось бы, говорю на теоретическом языке, – но не теорию же я вам рассказываю, хотя это, конечно, теория. Просто я доказываю вам, что мы в жизни – теоретики. Или мы теоретики, или мы просто болтающаяся в проруби щепка. Скажем, по отношению к ситуациям, которые я назвал «слишком поздно», есть простой закон нравственной гигиены: стараться не попадать в ситуации, когда слишком поздно устраняться из них, потому что внутри них решить ничего нельзя, есть неразрешимые ситуации. То правдоискательство, о котором я говорил вам, которое праведным ужасом наполняет мир, – вы ведь знаете, что кроме ужаса зла существует ужас праведности, существует такой ужас. Наш, так сказать, любимый автор в силу тех вещей, о которых я говорил, когда приводил примеры, как он поступил с мебелью своей тети, – не потому, что он ее не любил, – мебель, которую он отдал в дом свиданий, как он жил сам, как он описывает Шарлю, – он все время идет в той области, где должны быть совершены акты, в которых может кристаллизироваться соль человеческая, то есть евангелическая соль. Когда осмыслено – тогда добро. Ведь люди – не трава, они что-то должны совершать, в том числе и добро, в титанической борьбе с Богом. Потому что там накапливается то, чем платить за веру. За все нужно платить, а накопления – в грехе, в противоборстве, в реальных испытаниях, – ими мы можем заплатить за веру. А иначе живут культурные люди с неоплаченной верой (они верят, не имея чем платить за веру). Таких людей Ницше называл полыми людьми (вернее, то, как он их описывал, можно так выразить; по-моему, такого термина у него нет). Полые люди – у которых нравственность и видение мира не вырастают из собственной души, а являются просто нормами культуры и приличия, которым они следуют. А это очень хрупкая почва: она не держится на актах первовместимости. Это акты в философии по традиции называются онтологическими актами. Из них возникают некоторые предметы, некоторые объекты, которые суть создания, дающие рост. Первоакт вместимости – совершенный когда-то, кем-то, – в котором уместился мир в качестве пейзажа, есть возможность большего пейзажа. То есть – возможность всех последующих, совсем других, новых, разнообразных пейзажей. Мысль тоже предполагает акт первовместимости, и в этом смысле я как раз и определял ее как возможность большей мысли. Или – мысль есть **возможность мысли**. И вот то, что Пруст чаще всего называет особой реальностью произведения, есть срез существования каких-то особых объектов (хотя их нельзя увидеть в качестве объектов так, как можно увидеть человека, дерево, стол и т.д.); это явно какие-то дискретные, выделенные устройства, являющиеся **условием продуктивности** нашей душевной жизни и мысли и как бы выбрасывающие из себя свои ростки в нашу на поверхность выступающую сознательную и мыслительную жизнь. То, что уже можно сделать – **после того как** есть акт первовместимости. Скажем, о европейце я могу сказать (не в том смысле, что Европа лучше Грузии – философия вообще не считает, что «хороший» или «плохой» есть принадлежность каких-либо предметов), что он есть человек, о котором **имеет смысл** говорить в терминах морали и описывать его в терминах морали, достигая тем самым какой-то полноты и уникальности описания, то есть понятности.

ЛЕКЦИЯ 21. 21.12.1984

Мы ходим как бы кругами, сжимая дело с разных сторон, и поэтому неизбежны кое-какие повторения, но то, что не годится в письменном тексте, то, наверное, хорошо в устном, потому что помогает вспомнить то, что говорилось раньше. Из того, что мы говорили в прошлый раз, давайте закрепим один пункт. Он касается темы разума как бесконечной чувствительности и того, что я в связи с разумом говорил о некоторых актах, называемых мною актами **первовместимости**. То есть некоторых условий и предпосылок того, чтобы вообще был какой-то мир, в котором осмыслены и могут быть высказаны этические или психологические суждения. Нам нужно привыкнуть к тому, чтобы в наших головах останавливать действие предметных картинок. Вот мы смотрим на мир, на самих себя, на других и, пока мы это делаем, в нашем сознании пляшут, не просто действуют, а буквально пляшут предметные картинки. Буддисты сказали бы в таких случаях, что наш разум похож на метание обезьяны в клетке. Это действительно похоже, но сейчас я имею в виду совсем не сторону физического беспокойства или нервности, а тот факт, что в нашей голове пляшут – независимо от нас – предметные картинки всего того, о чем мы можем подумать и что мы можем почувствовать. Я говорю: психология. Имеются в виду какие-то психологические качества: злой, добрый, чувствительный, нечувствительный и т.д., тысячи всяких психологических вещей. И мы, уже имея предметную картинку, никак не можем мыслить о том, что дело не в том, чтобы в терминах этой предметной картинки у отдельно взятого человека, которого мы наблюдаем, было бы то, что мы называем психологией. Мы никак не можем отделаться от той картинки, которая дана **натуральными качествами** существ, называемых людьми. Если философ говорит, что, простите, в данном случае вообще неприменима психология, конечно, мы должны возражать, повинувшись действию предметной картинки. Как же – люди ведь имеют психологические качества... Но, повторяю, наличие качеств у людей есть действие в нас предметной картинки этих качеств. Это довольно сложно ухватить, но если это не ухвачено, все остальное не имеет смысла. То есть не имеет смысла ни то, что я говорю, ни роман Пруста. Потому что если вы, не понимая этого, будете о чем-либо говорить, то это будет просто набор слов, которые вы встречаете вокруг себя. Ну а когда этот набор слов венчается этикеткой «гуманизм», то уж совсем становится страшно. Ничего разумного высказать о том, что действительно беспокоит людей в XX веке и что беспокоило Пруста, ничего разумного об этом и в том числе и о себе высказать нельзя, и мы все время будем оказываться в цепях без нас вращающегося механизма, гнаться внутри него за какой-то бесконечностью и раздирать себе душу в бесплодных и бессмысленных крючках этого механизма. Если мы не поймем, что речь идет не о том, что морально, то есть хорошо или плохо, а о том, чтобы вообще иметь право осмысленно говорить – морально или аморально. Речь идет не о том, что есть психология или нет психологии, а речь идет о психологии как о ситуации, в которой осмысленно ссылаться на психологические свойства людей, потому что эти психологические свойства людей являются, действительно, слагаемыми какого-то результата. Но это ведь не всегда так – при одинаковости внешней картины. Например, если вы возьмете какого-нибудь нашего дипломата в его деяниях, то бессмысленно думать о нем в терминах психологии. В каком смысле? В смысле того, что его психология, скажем, понятие чести и т.д., было бы слагаемым того, что будет в результате. Он дергается за ниточку, и все его состояния, которые, несомненно, есть натуральные состояния (он же человек), равным счетом никакого смысла не имеют. То есть они не входят в то, о чем можно говорить. А «не входят» по той простой причине, что он не живет в истории, в которой уже были совершены кем-то те акты, которые я назвал актами первовместимости,

акты, превращающие человека и его ситуацию в возможный субъект или объект психологических, этических и других оценок. А наличие этого **первоэлемента** есть одновременно, как я вам говорил, наличие **разума**. Поэтому, когда мы видим перед собой бессмысленное действие, – человек, повинувшись мгновенному честолюбию, мгновенной выгоде, мгновенной зависти, разрушает нечто, что могло бы быть великим, что могло бы быть прекрасным, благородным, высоким, – мы можем о такого рода ситуации судить и сами в ней действовать, только если мы понимаем (речь идет о нарушении разума в данном случае) разум как онтологическое устройство мира, а не как психологическую способность людей. А если мы будем с людьми обращаться как с существами, наделенными только психологическими способностями, то мы бесконечно запутаемся в спорах, в рассуждениях, в относительных оценках и т.д.

Приведу вам простой пример философского демарша. Я упомянул два слова: **бесконечность**, запутывающая нас, и **разум**. Вы часто слышите вокруг себя, что плохое общество рождает преступников. И наоборот, – если человек совершает преступление, то в конечном итоге в этом виновато общество. И это хороший пример для иллюстрации того, что значит процедура, которая исходит из разума (в том понимании, в каком я говорил), а не из эмпирической психологии. Конечно, ясно, что эмпирический человек или наголодался за всю свою жизнь, или слышал вокруг себя только матерные слова, и в итоге душа его развратилась. Но философ скажет, что, когда совершается преступление, оценка и причина его содержится в нем самом, и вменяемость человека, совершающего преступление, абсолютна. Она неделима. А то, что делимо, уходит в бесконечность. Потому что один будет говорить – виноваты родители, другой будет говорить – виноват социальный строй, третий скажет – не повезло, в юности не видел хороших примеров, а философа интересует, что произошло в мире. А в мире произошло совершение зла, которое не может быть разделено на свои причины: на плохих родителей, на плохую среду, на плохое общество, на плохое государство, – оно целиком создает абсолютный смысл поступка – зла или добра. Вот что нам нужно понять! Этот демарш, взятый на таком примере, попробуйте проделать по отношению к любому примеру, в том числе и в случае, когда мы имеем дело с так называемыми эстетическими переживаниями. Конечно, вы понимаете, что никаких эстетических переживаний на самом деле не существует, – существуют наши человеческие переживания, которые просто в этом случае своим средством имеют использование художественной или текстовой формы. А суть переживаний и содержаний и тех путей, которые эти переживания пробегают, не меняется от того, как мы их назовем. Не существует никакой этики отдельно, эстетики отдельно, логики отдельно, чувств отдельно и т.д. Вот этот пункт нам нужно четко усвоить. Он есть основной внутренний механизм всего того, что я говорю (или вы можете сказать) обо всех этих разных предметах. Они все будут разные, а внутренний *hick* или *catch*, как говорят англичане, везде один и тот же.

Под психологией я имею в виду такую ситуацию, применительно к которой людей, находящихся в ней, можно характеризовать психологически. И это имеет смысл, потому что их психология действительно есть слагаемое результатов действия этой ситуации. Так вот, говоря об этой психологии как ситуации, мы теперь понимаем, что это в каком-то смысле завершает нить, которую мы до этого вели. А именно то, что я говорил до этого о так называемых полусуществах или полуумах. О некоторых, так сказать, причудливых созданиях *a la* Эмпедокл. Эти полусущества (или полуумы) есть неопределенные или неразвитые существа без момента или минуты истины. В данном случае минута истины – то мгновение, в которое тореро пронзает быка

шпагой. Это – момент, во-первых, ради которого строится все представление, и во-вторых, это – момент, в котором устанавливается смысл всего представления полностью. И он отвечает определению момента – все устанавливается на какую-то секунду, которую, во-первых, нельзя имитировать, механически повторить (то, что, мы повторим, будет убийством быка на бойне, а не в мистории корриды), и, во-вторых, нельзя продлить. Часто человеку потом самому приходится гадать, если он испытал такой момент истины или момент полноты, что же он понял. Тогда он понял все. Но продлить этого нельзя, и потому ему выцарапывать приходится то, что он понял, чтобы это понятое бросало какой-то свет на все его последующие поступки, на части его жизни и т.д. Следовательно, то, что я назвал полусуществами или полуумами, – **неопределенные** люди. Люди, не вошедшие в ситуации разума (описуемые ситуации). Так же, как мы, представители своего времени и своей культуры или своего места, просто недоразвитые существа (я ощущаю так, во всяком случае; вы можете со мной не согласиться, но тогда докажите, что это не так). Слова мы имеем те же, но они неприменимы, потому что мы не создали **определенных** ситуаций. И живем в ситуации неопределенности. Понимаете, определенная ситуация – не та, которая хорошая, а та, в которой **может быть** добро, потому что может быть и зло. А вот неопределенная ситуация принципиально отличается от определенной. Она не хуже и не лучше по наблюдаемым предметным картинкам. Мы не хуже и не лучше других в предметной картинке. А в другой картинке мы получаем другие результаты. И вот эти «неопределенные» есть люди, которые в своем прошлом не трудились так, не рисковали так, не проливали кровь так, чтобы когда-либо для них наступал момент полноты. То есть собирание себя – из застреваний в прошлом – в каком-то здешнем, минутном, теперешнем действии. (Пометьте себе эту «теперешность» или «нетеперешность» действия, она нам потом пригодится.)

Далее, уже имея дело с некоторой нашей умственной способностью, понимание которой имеет решающее значение для понимания текстов Пруста, – даже в случае сознательной памяти мы ведь тоже имеем дело с чем-то аналогичным тому, что я говорил сейчас о разуме как о некоей бесконечной чувствительности. Я прерву самого себя – вы понимаете, почему то, что есть полнота, – поскольку не длится и не имитируется, – предполагает бесконечную длительность сознательной жизни. Вот то несбывшееся, в смысле – не нашедшее места в существующем, которое все время будет воспроизводить себя по некоторой спирали, все время обогащаясь, разворачиваясь, захватывая все большее число людей. И мы находимся внутри этого, если мы вообще относимся к категории этих сознательных существ. Потому что, вы понимаете, что, хотя мы все в предметной картинке – люди, наделенные сознанием, тем не менее мы можем жить, не участвуя в сознательной жизни. Нужно очень потрудиться, то есть нужно иметь прошлое, чтобы было что оживлять. И в каком-то смысле я могу вам сказать, что есть такой закон души и структуры истории: то, что жило, будет жить. Но жило не все то, что жило согласно тому, что говорит нам предметная картинка. В предметной картинке все считаются живыми, а в законах сознания души и истории, оказывается, – не все живые. Хотя все это противоречит, казалось бы, нашему обыденному взгляду. Но то, что я сейчас говорю, закреплено в религиозных символах, Религия содержит в себе следы человеческого испытания и медитации над самим собой. Следы эти превращены в обряд, в ритуал, в почитание (эта сторона нас не интересует), но следы есть, и они читаемы. И вот объясните мне тогда совершенно явную для всякого человека, который задумывался в своей жизни, все время повторяющуюся в Евангелии фразу, в которой есть различие между теми, кто записан в Книге живых, и теми, кто не записан. Объясните мне, что это значит? Как это понять? Очень просто. Действительно, будет живо только то, что жило.

И самое забавное, что это относится даже к памяти. Если я о разуме говорил как о термине, которым описывают некоторую область или структуру первого акта, – память тоже предполагает первовместимость. В этом мы убедились из тех примеров, которые я приводил в прошлый раз. Когда я говорил вам, что мы помним не просто то, что эмпирически случилось, – **если** мы помним, то мы помним что-то другое. И из того, что мы действительно помним, складывается реальность. Первопамять или первовместимость предполагает в момент испытания **инскрипцию** испытания в качестве чего-то, что будет будущей памятью. Это доказуемо даже чисто психологическим анализом уже в науке психологии. Если нет этой работы, то есть если не совершается структурная инскрипция того, что потом можно вспомнить или что потом вспомнится (будущей памятью), то, во-первых, разрушается сама память как сознательная функция и, во-вторых, реальность складывается иначе, чем она складывалась бы. Чтобы сказать, например, что нечто случилось тридцать лет тому назад, недостаточно того, чтобы это случилось тридцать лет тому назад. Я опять вас возвращаю к *lick* или *catch*, к тому приему приостанавливания действия предметных картинок в нашей голове, с которого я начал. Вы понимаете сейчас фразу, которую я сказал, или нет? – что для того, чтобы нечто считать случившимся тридцать лет тому назад, недостаточно сказать, что это случилось тридцать лет назад по эмпирическим критериям или предметам. Действительно ли 37-й год – прошлое? – вот что я вам говорю. Если бы это было прошлое, то наша реальность была бы другой. И наоборот, – то, какова она, говорит о том, что это не есть прошлое. Следовательно, то, что есть, сложилось в памяти, то есть сложилось в зависимости от того, как мы извлекали опыт, как мы учились, если учились чему-то... – а учиться можно только необратимым образом. А вот этой необратимости в нашем опыте не было. Поэтому то, что случилось, может повториться. А раз может повториться, значит, не случилось. Значит, для того, чтобы сказать, что это случилось, недостаточно, чтобы это случилось тридцать лет тому назад. Это случилось, но, наверно, не с нами. Марсиане видят, что это случилось, а мы не можем сказать, что это случилось. Точно так же как то, что случилось в 1921 году в Грузии. Можно доказать, что там та же самая структура, что и в том примере, который я вам привел. И я боюсь, что все, что с нами будет происходить, всякие космические катастрофы, все будет уравниваться по уровню наших душ, а они – все там же – в 1921 году. Следовательно, это не случилось в том смысле, что будет повторяться, как наша судьба, каждый день, и дело в том, что отсюда ничего нас не выведет, ничто внешнее, – кроме нашего собственного развития. То есть превращения самих себя из неопределенных в определенные, из неразвитых в развитые – в тех, кто может испытать момент истины или полноты. И тем самым не быть полуумами или полусуществами. А у существ, с одной стороны, и у полуумов, или полусуществ, с другой стороны, чувства, предметно описуемые, те же самые (то же самое возмущение и радость, гнев и т.д.), и ничего, повторяю, если оставаться на уровне предметной картинки, понять нельзя. Следовательно, то, что я говорю о разуме и о памяти, о художественных текстах как текстах, – все это в том числе и о том, посредством чего мы вообще что-то можем понимать. А понимать мы явно можем, только выходя в какое-то другое измерение, отличающееся от того измерения, которое дано и существует в предметных картинках, которые фактически двухмерны. Предметы, вещи имеют три измерения, но в данном случае нас это не интересует; можно считать одним измерением все вещественное, предметное измерение мира. И второе измерение – отражение в сознании – образы, представления, качества людей, которые существуют в измерении сознания. И мы говорим: кто-то чего-то не понял – глупый, кто-то понял – умный. То есть, с одной стороны, существуют вещи, которые мы наблюдаем, а с другой стороны,

мы наблюдаем второе измерение – психические качества – и говорим: то, что было в первом измерении – вещь, плохо отразилось во втором измерении, то есть в психике и в сознании, и потому человек не соображает, глупый. И соответственно – злой, добрый – это все можно перечислять и дальше. Но это все не так. Мы вообще не двухмерны. А есть еще измерение, которое условно назовем объемом. Это есть частично то, что Пруст называет «психологией во времени или в пространстве». Это скрытое измерение исторического элемента, наработанного нами или не наработанного. И скрытое измерение какого-то движения нашего труда. И без этого объема – все, что есть на поверхности, и все, что сопоставимо в двух измерениях, понято быть не может.

И вот это бросает для нас ясный свет на то, что такое память, что такое время и что такое произведение у Пруста. Из тех цитат, которые я приводил вам, касающихся проблемы реальности произведения, реальности души и реальности вообще, мы можем теперь вытащить еще одну важную вещь. Чтобы об этом говорить, мне нужна одна посылка. В этих рассуждениях Пруста, перебивающих его переживания и описания (как-то вкрапленных в переживания и в художественное описание), все время фигурирует сопоставление нескольких слов. С одной стороны, слова «анализируемое», или «безразличная память», или «память в общем смысле слова», или «человеческие акты в общем значении человеческих актов» и т.п. А с другой стороны, фигурируют слова «неанализируемое» и «индивидуальное». И эти слова часто совмещены и почему-то являются какими-то знаками или признаками реальности. То есть, как бы и там, где мы сталкиваемся с неанализируемым и индивидуальным (с несомненно ощущаемым как индивидуальное), мы имеем дело с реальностью. Так вот, – посылка (мне ее легко ввести, труднее будет потом разъяснить саму суть дела) – я говорю: «неанализируемое», так? Но ведь оно нам должно быть понятно, потому что то, что я говорил о разуме, имея в виду некоторое первоустройство мира с нашим участием в этом мире, – это и есть неанализируемое. Вот когда я говорил, что смысл поступка (воровства, например) существует целиком, полностью и абсолютно, – тем самым я говорил в том числе и то, что это неанализируемо. Потому что анализируемость означает **разложение** на части и сведение чего-то к каким-то другим частям, не содержащимся в самой объясняемой или анализируемой части. Так ведь? Например, какое-то психическое состояние мы анализируем в том смысле, что мы объясняем его физическим воздействием какого-то объекта в мире. А акт добра или зла – неанализируем. Он не имеет частей, потому что весь смысл – полностью. А если мы находим ему части (причины) – скажем: плохие родители – одна часть, плохое общество – вторая часть, был голоден – третья часть и т.д. бесконечное число причин (конечное число в каком-то смысле, но все равно большое число причин), – то это означает, что мы разделили на причины то, что в действительности совсем на них неделимо. Неделимо – значит, неанализируемо. Содержа себя в себе самом – полностью и целиком. Чтобы понять нравственный смысл поступка, не нужно идти к родителям и не нужно идти к обществу. Я вам уже разъяснял, что в каком-то смысле в философии запрещены фразы вроде «среда заела», вообще все объяснения чего бы то ни было средой, хотя эмпирически, конечно, и родители играют роль, и плохая среда, и дурной пример и т.д. **В событиях** воровства или совершения добра есть какой-то разрез (этого события), в котором смысл события устанавливается **полностью и неделимо**. И тем самым **неанализируемо**.

Значит, мы теперь понимаем, что реальностью как чем-то таким, к чему душа человеческая стремится, боясь более всего ирреальности, то есть превращения самой себя в призрак, – реальностью является что-то неанализируемое. Неанализируемое **более реально**, чем анализируемое. Например – если мне

удается кому-то показать, что то, что он увидел своими глазами, объясняется отражением света на этой вазе, и это отражение вызвало оптическую иллюзию. Это – анализируемо: я какое-то состояние в вашем глазу свел к чему-то другому и объяснил оттуда. Но тем самым я показал, что ваше состояние ирреально, – был призрак в вашем глазу или в вашей голове. И вот это и есть та забота Пруста, которая проглядывает в проблеме реальности произведения, с которой я начинал. Тут он, беря быка за рога, берется за решающую проблему психологии и формулирует ее для себя очень просто, не думая даже вдаваться ни в какие психологические изыскания и теоретические системы, а просто решая для себя жизненную проблему: существую я или не существую? Кажусь я сам себе или не кажусь? Реально мое состояние или не реально? В смысле – если мое состояние целиком разложимо на воздействия внешних вещей, которые его вызвали, то оно, как ни странно, будет ирреальным. Фантомом. Каким-то дублем или психической прищепкой к реальным вещам, каковыми являются физические процессы, – например, то, что происходит в этой вазе, и отражение света на ее поверхности, игра которых (чисто физических процессов и действий) вызвала во мне какое-то состояние. Само это состояние анализируемо и ирреально. Да, оговорю еще одну вещь: то, что ирреально, в то же время лишено и признака индивидуальности. Или – все, что анализируемо, лишено признака **индивидуальности**. Психофизический анализ наших состояний сводит какое-то состояние к некоторым общим элементам, то есть к элементам, которые могут быть в любой другой ситуации. Ведь что индивидуального в механизме отражения света на этой дурацкой вазе, которая там стоит? Если я могу проанализировать, то, следовательно, вы в своем состоянии, которое я объясняю, не испытали ничего индивидуального. То есть объяснительные процессы не содержат элемента индивидуальности. Или: аналитические процессы не содержат элемента индивидуальности. Скажем, мы воспринимаем музыку, мы переживаем. Ну можно пережить черт-те что. Но мы можем все-таки объяснять наши чувственные состояния, беря, с одной стороны, воздействие звука, звукового феномена, или волн, если угодно, на нашу чувствительность, и, с другой стороны, беря свойства самой этой чувствительности. То есть – раздражимость нашей чувствительности, способность каких-то звуков приводить силу раздражимости нашей чувствительности в какие-то состояния. Они-то и будут наделяться в нашем сознании эстетическими терминами, мы можем говорить: прекрасно! как мило! какая гармония! Но какой смысл имеют все эти термины, если состояния, к которым прикладываются эти термины, можно объяснить, сведя их к механизму, разыгрывающемуся между физическими воздействиями на нашу психику и нашей чувствительностью или раздражительностью. Например, когда смолкает звук, внутренний звук наших нервов, их трепыхание, трепетание под ударом звуковых волн, тогда уже нам непонятно, как вообще может длиться понимание того, что мы поняли, слушая музыку... Что мы слушали? И в какой мере эти анализируемые состояния, называемые мною эстетическими, могут быть индивидуализированы? Есть десяток других, подобных же механизмов чувствительности, которые точно так же будут объясняться этим анализом. Нервы – ваши, мои, пятого и десятого человека – берутся в смысле общих каких-то значений этих явлений (нервов) и объясняются в терминах какого-то общего механизма. Что же значат тогда особые углубленные и проникновенные состояния... (Те рассуждения, которые я сейчас вам приводил, в основном содержатся в той части прустовского романа, которая называется «Пленница», и все эти куски густо окружены рассуждениями об искусстве, о природе литературы, о Достоевском и о всяких таких милых вещах, о которых мы еще будем говорить, все это – пока Альбертина играет на фортепиано разные пьесы нашему герою, и он беседует с ней о литературе.)

И вот из того, что я сказал, мы понимаем, что анализируемость психических состояний есть для Пруста признак возможной их ирреальности, – я, находясь в этих состояниях, просто являюсь их призраком. Если бы материальные вещи, действующие на нас, могли бы видеть сны, то я был бы сновидением в головах этих материальных вещей, которые действуют на мою психику и сознание. Повторяю, **если бы** вещи могли видеть сны, то я был бы **сном** этих вещей. Вот как стоит проблема для Пруста, в том числе в том, что касается эстетических переживаний, восторгов и т.д. И, может быть, задает вопрос себе Пруст, мы-то придаем такое большое значение нашим состояниям при слушании музыки потому, что мы пока не смогли их проанализировать, а если мы сможем их проанализировать, то тогда убедимся, что они **не более** реальны, чем любые другие. А иногда ему казалось, что все-таки это – не иллюзия. Следовательно, все, что анализируемо, – это иллюзия. И вот эти рассуждения выводят нас к проблеме измерения: то, что мы называем реальным, – скажем, для нас реальными оказались те наши состояния, которые осуществляются, или события которых имеют место с включением разума, то есть – если мы сами включились в мир, заняли в нем место и своим движением в мире **доопределили** физические процессы в нем. Это есть одновременно и проблема феномена, или онтологической реальности феномена. Я приведу простой пример, к Прусту прямо не относящийся, но поясняющий его проблему. Например, мы имеем, с одной стороны, – в левой руке я держу физические качества звука: звук как физическое явление, поддающееся физическому анализу в терминах длин и частот, волн. С другой стороны, я имею фонему в языке. Значит, – звуки, обладающие физическими качествами (звук А анализируем в терминах частот), и есть фонема А. Так вот, мы так устроены и мир так устроен, что не существует никакой возможности вывести фонему А из звука А, – выведение означает одну вещь в науке: я должен иметь возможность, **определяя** звук А, тем самым полностью и уникально определить его результат, то есть фонему А в языке и в моем языковом сознании, – так вот, этого нет. По отношению к фонеме звук А **недостаточно определен**, и физически его нельзя довести до такой определенности, чтобы мы – **однозначно** – именно качествами звука получали бы фонему. Я привожу этот пример, чтобы вы поняли, что значит доопределение. Значит, мы можем понять, почему я однозначно слышу А, и это не объяснимо звуком А. Повторяю: если я **слышу** А, то это **не вполне** объяснимо фактом, что прозвучало А в физическом смысле слова. Чтобы **это прозвучало** – где-то с самого начала включен элемент сознания, в данном случае называемый **феноменом** звука, а не звуком. А вот феномен складывается до сих пор нами не прослеживаемыми путями. Но мы можем констатировать, что это так. И вот, чтобы **прозвучало...** а звучание уже есть психологическое, сознательное явление; оказывается, фонема есть внутренняя форма сознания, и эта внутренняя форма не полностью определена звуком, – она определена или **доопределена** (я веду к пояснению термина «доопределение») нашей историей: мы двигались в мире и вырастили какой-то феномен. Он доопределил, что **А будет звучать как А**, и когда это А звучит, я твердо уверен, что звучит А, которое – в мире, хотя любой анализ звукового восприятия показывает, что это не так. Ведь в лингвистике прекрасно знают, что там есть такой большой зазор неопределенности в звучаниях, что до сих пор мистерией является, каким образом мы слышим А при таких вариациях звука. Так же как в написании, кстати, – почерки могут быть самые разные, а мы читаем, и там есть какая-то тайна, или механизм, относящийся к тайне сознания,

Все это важно для нас, потому что связано и с проблемой миров у Пруста. Именно потому, что мы слышим, – не просто физический предмет, именно потому возможен, скажем, в другом мире (не в нашем, не в человеческом мире)

незвуковой эквивалент звука. Возможны, например, тепловые образы у иначе устроенных существ. А иначе устроенные существа означали бы – существа, проделавшие в мире другую историю и отрастившие себе другой феномен. У них – другой **феноменальный** материал, **на котором** воспринимаются и разрешаются поступающие извне воздействия физического мира. Здесь глубоко спрятана и проблема эквивалентов, проблема, во многих местах у Пруста выступающая. Но сейчас я не буду об этом говорить, я просто хочу сделать понятными для вас те случаи, когда я употребляю слово «доопределяет», или когда предмет определяется (в качестве воздействующего на нас) определенным образом, вместе с нашим движением в этом предмете. Как бы предмет и я вместе идем ко мне, чтобы быть **мною** определенно воспринятым. Именно в тех случаях, когда я говорю о проблеме измерения, я употребляю слова «доопределение», «двигаться в мире», «феноменальность мира» и тем самым возвращаю вас к тому, о чем говорил, – суть дела состоит в том, что наши состояния, фиксируемые в эстетических феноменах, – события в этих состояниях происходят с еще одним дополнительным измерением. Это – измерение понимания и сознания, частично ушедшее в совершившиеся акты первовместимости. Например, мы убедились, что мы можем нечто воспринимать в качестве цветов, если у нас уже есть их какая-то предварительная вместимость: мы можем вместить их в себя сейчас, потому что были какие-то акты по отношению к ним раньше. Скажем, в Париже цветы у продавщицы цветов: они потому **цветы**, потому что были цветы в Бальбеке. В Бальбеке что-то совершилось и сделалось – и инскрипция совершилась в памяти. И вот, пожалуйста, здесь у нас есть цветы. Вы можете представить, что, если есть инскрипция, могла быть ведь и другая инскрипция, – и был бы другой мир. Ведь по отношению к звуку – потому что у нас есть определенная история (у человеческих существ) с нашими органами чувств – у нас есть инскрипция феномена звука. Но возможна и другая инскрипция, и другие существа, может быть, имеют ее, но, поскольку мы не можем проникнуть внутрь этих существ, мы никогда не сможем, – что самое сложное представить себе? – изнутри представить себе чувствительность других существ (мы даже чувствительность других людей не можем представить). А поскольку – не можем, то, как говорит Пруст, такие миры некоммуникабельны, не сообщаются друг с другом.

С этим пояснением я возвращаюсь к проблеме измерения. Наши состояния, в том числе эстетические состояния, **реальны** с учетом дополнительного измерения. (Реальности их мы не можем получить, пользуясь двумя измерениями: тремя измерениями **предметного** мира плюс одно измерение каких-то странных свойств нашего **сознания**. Это означало для Пруста другую психологию.) Дело в том, что психологическая наука разделяет с нами, с человеческими существами (предметом психологической науки), один предрассудок: для психологической науки мы как бы не являемся механизмами, потому что и у психологов, и у людей есть несомненное чувство сознания. Наличие внутри **каждого** переживания, каждого восприятия, наличие внутри него какого-то гомункулуса, который изнутри же самого этого переживания несомненно чувствует, что он переживает, и это переживание «нефизично» и называется сознанием, – поэтому он чувствует себя психологичным или чувствует себя не машиной. Прустовская психология строится совершенно иначе: она показывает, что это – иллюзия. Что в действительности, – испытывая такого рода эмбриональные состояния, или позывы психичности, или гомункулусности какого-то маленького ментального существа, сидящего внутри каждого ощущения и придающего ему характер ощущения (то есть это психическое явление), – вот это все есть иллюзия. В такого рода случаях мы чаще всего, наоборот, являемся механизмами, а не механизмы – там есть простая игра: как описывается ревность,

перекрещивающиеся взгляды Сен-Лу и Марсея, которые могут быть описаны без внесения элемента внутренней духовности, и описаны более точно, чем то, что воображает себе духовность, внутренне сидящая в каждом акте и внутренне придающая каждому испытывающему человеку печать уникальности и индивидуальности, – такая печать иллюзорна. Почему? – потому что она анализируема. И, следовательно, индивидуальность анализируемого устранима.

И вот Пруст к открытию этого измерения идет путем реального испытания. Для него открытие этого измерения есть не спекулятивный вопрос, не теоретический вопрос, решаемый так или иначе путем аргументов и холодных доказательств, а есть вопрос жизни или смерти. То есть – вопрос о том: кто я? где? что со мной происходит? И в этом надо разобраться, и от этого жизнь моя как бы зависит (если пародировать немного вопрос Достоевского: мне **идею** разрешить надо, и жизнь моя решается). Пруст идет к этому путем экзистенциального и рискованного опыта. Он рискует собой в этом вопросе – потому что может оказаться, что меня и нет (а люди не любят задавать такие вопросы, ответом на которые может оказаться, что тебя и нет; они избегают этого). Толчком к этому ходу утверждения человеческих состояний и произведений искусства в еще каком-то дополнительном измерении была проблема, тоже экзистенциальная, но этическая, проблема авторства поступков или авторства состояний. Мы часто говорим так: человек сделал то-то, потому что он злой, потому что он глупый и т.д. Опять те же самые предметные картины. Пруст в своей жизни глубоко ощутил, сталкиваясь с другими людьми, что так не бывает: вот есть мир, в котором что-то происходит, а есть другой мир, второе измерение нашего сознания, в котором мы устанавливаем происходящее в первом измерении. Если устанавливаем – умные, не устанавливаем – глупые. Люди не добры и не злы в этих измерениях; чтобы понять, что они делают, нужно рассуждать не в терминах анализируемых качеств, а в терминах объемов и истории. Люди **двигались** в мире, и в этом движении лежит нечто, что объясняет, почему они так поняли или не поняли, и почему они так поступили или не поступили. Простой фразой обозначу нашу проблему: представьте себе все, что я говорил о так называемых непсихологических ситуациях, – в них ведь люди живут, и они что-то делают; и любой внешний наблюдатель склонен делаемое людьми проанализировать, сведя его к проявлению каких-то качеств этих людей. Но я сказал вам, что мы не хуже и не лучше других, не злее и не глупее. В этом натуральном смысле слова – в предметной картинке. И проблема, с которой я начал, тоже лежит в другом измерении, то есть не в двух, а в трех измерениях лежит, а добавление третьего измерения и означает, что я должен увидеть – за тем, что мне казалось качеством, – какое-то наращенное динамическое содержание. Содержание опыта, проделанного или непроделанного, содержание мускулов, наращенных или ненаращенных. Ведь я говорил вам неоднократно, что мысль в каком-то смысле – мускульное явление. Ведь я перед вами – ходячий парадокс: я должен одновременно казаться вам крайним спиритуалистом, то есть идеалистом по вашим классификациям из учебников, и крайним материалистом, потому что я говорю иногда нечто подобное тому, что мысль есть нечто такое, что выделяется... как желчь выделяется печенью. Если вы сможете совместить это противоречие, тогда вы поймете ту проблему, над которой мы ломаем голову. Понимаете, такая вещь... этот стул ребенок не поднимет, нет мускулов. Мысли тоже таковы – чтобы поднять мысль, нужны мускулы. Поднять нравственный поступок – тоже нужны мускулы.

В реальности происходят только **онтологически обоснованные** события, а не чувства-поползновения полусуществ. Ведь то, что я назвал «полусуществами», «полуумами», – это все, что – вне онтологии, или – вне

реальности, или – вне бытия. А Прусту очень хотелось бы быть в бытии; ему недостаточно было сказать, что Шарлю порочен, и поэтому то-то и то-то; ему казалась такая вещь глупостью. И действительно, то, что происходит с Шарлю... – не потому, что у него есть такие-то свойства и качества, а потому, что он двигался (определенным образом) в мире, вмещал этот мир в себя путем риска, и на каких-то путях... – а раз были пути, значит, могут быть и отклонения. И вот интереснее всего понять то, что кажется отклонением, из **факта существования пути**. Тогда он осмыслен и сохраняет всех внутри человечества, потому что Шарлю – человек и по своим измерениям (у Пруста, во всяком случае) почти что эпическая фигура, которую не вместишь в узкие рамки добра и зла. Но дело в том, что мы все тоже таковы, – в том полушарии анархии, о котором я вам говорил, небольшая заминка, battement анархии предшествует любому миру упорядоченности, в котором мы были бы полноправными участниками этой упорядоченности. Вот откуда идет эта, казалось бы, абстрактная проблема дополнительного измерения у Пруста. Значит, измерение означает, что событие происходит одновременно и в измерении смысла и понимания, а не просто во внешнем физическом мире. И чтобы нам связаться с этим событием – **как** оно произошло и что именно произошло (в том числе, если это событие с нами происходит, а не с другими), – нам нужен текст, нам нужно **построить** свое понимание. Нам недостаточно тянуться к тому, что мы хотим понимать, – голым рассудочным актом, голой мыслью мы ни до чего не дотягиваемся – только через структуру. Но ясно, что если построить структуру, то эта структура, конечно, дана в нескольких измерениях – не в двух, а в трех, и **там** или с учетом этого измерения наша душа и произведение имеют **реальность**. И в том числе – **индивидуальность**.

В проблеме индивидуальности есть забавный парадокс, вернее, тайна. Давайте очень медленно вдумаясь в это дело, потому что проблема индивидуальности есть одновременно проблема общения, то есть общности многих лиц. Те акты, которые я описывал как цельные и полностью по смыслу завершённые в момент, в неделимый момент, – скажем, нечто по смыслу полностью является преступлением. То, что ответственность за зло делима эмпирически, – к моральному вопросу отношения не имеет. В моральном смысле человек полностью вменяем, и вменяем **в момент** совершения зла или добра. Следовательно, в каком-то смысле добро и зло обладают особым временем. Время, издавна называемое в философии «вечным настоящим». Оно всегда – **сейчас**. Ну, хотя бы потому, что по времени ведь тоже – неделимо. Я сказал: по эмпирическим причинам неделимо: нельзя одну причину дать семье, другую – обществу, третью – дурному влиянию. Там – неделимо, с этим вы согласились, но во времени тоже – неделимо. А то, что неделимо, то и есть сейчас. Но странное «сейчас» – **вечное настоящее**. Так вот, я говорю: если человек совершил добро, то это абсолютно. В том числе и потому, что у добра нет причин, – причины есть только у зла. Если вы подумаете над тем, что вы сами говорите и как устроен ваш язык, то вы поймете, что язык через вас вам говорит именно это. Потому что, когда человек поступил просто по совести, именно тогда, когда у вас нет объяснений, вы говорите – по совести, ни по чему. Но это ведь означает, что вы отказались от причинной терминологии. И это означает, что если бы человек поступил плохо, то это можно было бы объяснять, приводить причины, а если он поступил хорошо, то этого не надо объяснять – в смысле – не требует приведения причин для того, чтобы мы поняли. Нечто злое требует нашего понимания, которое выражается в терминах (его рассердили, обидели, потому – злой), то есть мы употребляем языковые каузальные обороты (в случае объяснения добра мы их не применяем). (Я опять отклонился в сторону, но дело в том, что я хочу создать и у вас, и у себя ясное сознание тайны – не разгадать, а принять ее в себя с ясным ее

сознанием. Это единственный способ, каким мы можем обращаться с тайной. Индивидуальность относится к такого рода тайнам.) Я возвращаюсь к тому, что хотел сказать: когда человек совершает добрый поступок, который не требует каузальных оборотов, который полон, весь целиком в вечном настоящем, то сказать «добр» – значит употребить бытийный термин. То есть акт полного свершения добра есть одновременно акт **знания** добра, и он совпадает с тем, чтобы «быть добрым». Знать добро равно **быть** добрым. Это есть тот случай, когда то – что и как я знаю, и есть – каков я, или – есть мое бытие. У буддистов такая вещь называлась различительным знанием. То есть такое знание, которое есть одновременно характеристика человека в его бытии. Скажем, если я знаю, что Бога нет, то я таков, каким можно быть, **зная**, что Бога нет. Или: если я знаю, что я как животное перед Богом (перед идолом), то я есть то, что я знаю. То есть я выделен в своем бытии, различен в нем тем, **что и как** я знаю. Тем самым знание – бытийно, то же самое что «есть» (не в смысле представления, картины, чего-то другого), это знание – **различительно**. Знание именно этого человека, и только его, – различительно его выделило по отношению к миру.

Следовательно, то, о чем я говорил, как о чем-то полностью существующем (по своему смыслу) в вечном настоящем, есть нечто **уникальное и только данного человека**. И в то же время это – уникально тысячекратно у тысячи людей, между которыми нет ничего общего; то, что их объединяет, нельзя получить путем сравнения внешних вещей, путем обобщения, между ними нет ничего общего, а они – одно. По абсолютному смыслу добра или зла, по полноте его смысла, существует согласие всех – не может быть иначе. Если мы **знаем**, то только так (если мы знаем добро, то только так). Каждый сам себя выделяет уникально таким знанием – это есть именно он, и это знание дано только уникально, и в то же время, оно есть у многих. Вот что я называю тайной. Я ведь утверждаю две, казалось бы, разные вещи: все **абсолютно** уникально и индивидуально, именно **это** выделяет каждого в отдельности в его уникальном виде, как бы внутренне конституирует человека в его отличии от всех других и как отличную часть в самом мироздании. (Один знает, что Бога нет, и он есть то, что он знает, а другой знает, что по отношению к Богу он как животное, а Бог – идол, и этот человек есть то, что он знает; а тот, кто считает, что нет души, – у него таки и нет души. Если ты очень настаиваешь, что души нет, значит, у тебя ее нет.) И в то же время я утверждаю, что есть абсолютная согласованность по всем этим уникальным точкам. Каким образом? Не путем сравнения – между ними нет ничего общего, и то, что в них произошло актом мысли, тоже произошло таким актом мысли, который не является сравнительным, то есть таким, в котором фигурировало бы сопоставление внешних вещей. Нет, здесь явно – не сопоставление внешних вещей, а когитальный акт сознания. То есть акт **внесения** себя в мир, занятие места в мире, выполнение своего предназначения. Только я могу, – но так говорят многие, и могут они что-то в одном – как этот унисон из уникальных, – не путем сравнения, при отсутствии чего-либо общего между ними. Вот это я называю тайной, я ее описываю. Весь мой опыт, присовокупленный к нему опыт философии, опыт Пруста, говорит, что это так, но одновременно это есть тайна, потому что эти вещи нашим логическим умом не могут быть связаны. Я вам напомню евангелические тексты, в которых эта проблема фигурирует, – в актах Духа, как выражается святой Павел, каждый начинает говорить на своей *charabia*, тарабарщине. Когда все заговорили на своих языках, которые не имели ничего общего, но все они говорили одно. Так устроено наше сознательное бытие, и иногда оно прорывается на разных уровнях (религиозном, мыслительном и художественном). Проблему, которую я описываю, Пруст считал самой продуктивной в онтологическом смысле слова

(слава Богу, таких слов, как «онтология», он не употреблял). Он говорил: все возникает только из соседства и различия вещей, **совершенно различных**. Только их звучание создает гармонию (которая является основой нашей нравственности, основой музыки и т.д.). И великие художники отличаются тем, насколько они могут услышать такую гармонию йcart, различительного отлета чего-то от самого себя, отлета, в котором лежит вся тайна и мысли, и музыки, и бытия. В каком-то смысле «В поисках утраченного времени» есть хор, унисонный хор множества миров, – все эти миры различны, индивидуализированы, движутся по своим параллелям. Я показывал, как универсум, казалось бы, единый, как говорит Пруст, заблудившийся в окрестностях наших душ, движется по многим параллелям, – а звук они издают общий и находятся в каких-то странных, таинственных отношениях.

И вот то, что я назвал «чистым временем», есть как раз нечто, что Пруст обнаруживает в феномене, называемом «непроизвольным воспоминанием», – нечто, что может втянуть каждую отдельную часть – вопреки общим иллюзиям (реальность – индивидуальна, а иллюзии – общие), втянуть все это в какой-то континуум, не являющийся последовательностью потока времени, эмпирического, где какая-то связь соединений возможна вопреки, помимо и поверх этой эмпирической последовательности потока времени. Представим себе этот поток времени как горизонтально текущий. Я не случайно применяю здесь слово «континуум». Во-первых, напомним вам смысл термина «чистое время». Чистое время есть время без наших переживаний. Это очень просто понять, если приостанавливать в себе действие предметных картинок. Язык содержит слова, за словами мы предполагаем денотаты (или референты) этих слов и ищем их. Скажем, чистое время – особый чистый предмет в мире. Да нет, не это имеется в виду. Я говорю – **без наших переживаний**. Наши переживания, я говорил вам, по природе своей, по определению, переживаются нами всегда со знанием причины этого переживания. Переживание неотделимо содержит в себе сознание причины этого переживания. Содержание переживания и есть переживание причины переживания. Пруст потому называет время, которое фигурирует в воспоминаниях, **чистым**, – потому, что оно как раз блокирует наши переживания. В смысле – нечто переживаемое нами вместе с осознаваемой причиной наших переживаний, в том числе местом и временем наших переживаний, То есть чистым временем было бы такое время, в котором нет переживания, – нет чего-то переживаемого с одновременной временной локализацией – она всегда эмпирична – этого переживаемого. Почему чистое время связано с континуумом? По одной простой причине: употребление термина «чистое время» у Пруста всегда связано с проблемой впечатления. Впечатление – первичный удар реальности, как она есть (произошло ли это в детстве или позже, чаще всего в детстве), удар, который сразу же оброс слоями интерпретации, – по терминологии Пруста – ушел вбок от прямой линии. Это впечатление – раз мы связали проблему произведения с измерениями – как раз и есть то, что должно быть отделено от своей связи с настоящим временем самого впечатления. Скажем, вкус пирожного «мадлен», существующий в настоящем времени, в момент вкушения его, – впечатление вкуса, если мы его прорабатываем и понимаем, должно быть отделено от настоящего момента, то есть от материи внешних воздействий, причинивших это впечатление, и тем самым мы отвлекаемся и от своих переживаний, которые содержат в себе – неотделимо – материю внешних воздействий, вызывавших эти переживания. И это означает (раз мы говорим – измерение), что событие этого впечатления, то есть движение этого впечатления как движение души, разбирающейся в этом впечатлении, происходит не в реальном пространстве воздействия внешних вещей, – например, я пью чай и макаю туда

пирожное, – **событие** пирожного «мадлен» происходит **не в реальном пространстве** воздействия причинных цепей, – где, кстати, можно было проанализировать, почему я ощущаю вкус пирожного, сведя его к качествам вещей и к понимаемым свойствам психической раздражительности некоего аппарата, на который эти вещи действуют извне... Событие «мадлен», вынужденное из реального пространства воздействия причинных цепей, происходит в некоем пространстве **смысла и понимания**, то есть в пространстве вариаций (это и есть континуум развития впечатления), и развивается путем вариаций. Даже прошлое оказывается вариацией этого развития. Впечатление как бы подвешивается вне своих не вызвавших его материальных воздействий и начинает, чтобы установиться в своем смысле, варьироваться. Но это, конечно, предполагает дополнительное измерение для этого движения, потому что двигаться в цепи материальных причин нельзя – там все места заняты. Мы движемся в другом измерении, и, следовательно, смысл, казалось бы, простого дискретного впечатления (пирожного «мадлен» или удара железки об рельсы; Марсель сидит в вагоне и слышит этот удар) не анализируем тем, что его вызвало в настоящем времени, а только будет устанавливаться (в том измерении, о котором я говорил) путем **вариаций**. Помните, я говорил вам об основных чертах современного искусства XX века: фрагментарность, вариативность и незавершенность... ведь само **событие впечатления «мадлен»** не завершено в момент его случаяния в настоящем времени под воздействием каких-то физических обстоятельств (я пью чай с пирожным), там еще оно **не случилось**. Событие завершится, установится в своем смысле – двигаясь, варьируясь, сплетаясь с другими – вне видимой последовательности потока времени, и используя для этого, быть может, многие времена, многие лица и многие жизни. Вот проблема унисона миров у Пруста. Следовательно, пока пометим себе, что здесь важно не то, что породило впечатление (физические качества пирожного породили определенное впечатление), не порождение его внешней причиной, не знание причины моего состояния (когда я переживаю качество пирожного, я одновременно знаю причину моего переживания: вкусное пирожное; это входит в само содержание переживания), – важно не это, важно другое: что происходит в самих отражениях. Вот эти вариации есть как бы зеркала, в которых впечатление прокладывает себе путь, многократно в них отражаясь и тем самым как бы наращивая силы. И все это, конечно, отделено от настоящего момента, отделено от воздействия, служащего причиной и рефлекторным толчком. И это, конечно, полностью перестраивает все возможные описания такого рода впечатлений или состояний в литературе. Мы их должны описывать совершенно другими средствами.

Помечу, – чтобы дальше пояснить термин «чистое время», – что в этом движении открывается некоторое пространство (в другом случае я называю это «измерением»), в котором как бы всплывает или поднимается реальность того, что **было на самом деле**. Мы ведь договорились, что то, что было на самом деле или реально, есть всегда несбывшееся и только **всегда сбывающееся** (сложный пункт, но его нужно обязательно закрепить). Я говорю вам: реально то, о чем нельзя сказать, что это уже случилось. Христос не умер на кресте – так построена наша реальная сознательная жизнь – мы внутри события, которое еще совершается. И поэтому существуют смыслы: виновность, невиновность, грех, раскаяние, забывчивость, собранность и т.д. Есть в мире категория вечных актов – вот о чем я говорю. То есть в мире есть категория вечных актов, которые каждый раз находятся в состоянии делания, но – неделанности. Таким актом является и смысл как таковой – **феномен смысла**. Есть старая латинская фраза: sic transit gloria mundi, здесь проходит слава мирская. Так говорится о всяком человеческом деянии. Тогда скажите мне: что более реально – империя, которую создал Александр Македонский,

или то воспроизведение силы и человеческой доблести, которое совершалось при этом? Что более реально? Реально, конечно, второе... Никакие позитивные вещи не живут, они не вечны, они *sic transit gloria mundi*, а греки почему-то существуют в нашей душе и существуют своей доблестью, которая ничего не принесла... да нет, она (доблесть) существует, потому что мы внутри нее, как в чем-то, что еще должно сделаться. Мы внутри зла – Христос еще должен умереть... И посмотрим, как мы попляшем...

И вот – всплывающая в этом измерении реальность, не связанная моментами и ситуациями, которые в прошлом или в настоящем были актуальными. То есть воспоминание Бальбека в пирожном «мадлен» не связано ни с Бальбеком, ни с пирожным; оно всплывает, освобождаясь от этой связи, и это называется произвольным воспоминанием. И в итоге это, конечно, организует наше сознание совершенно иначе: не субъективно-индивидуально и не психически-предметно-срачено – все переживания переживаются, содержа в себе понимание причины этого переживания, то есть включают в себя предметы, вызвавшие эти переживания, – так вот, здесь наше сознание освобождается от оков этого рода и иначе организуется, и вот эта иная организация сознания называется у Пруста «чистым временем». Временем, переживаемым или испытываемым в чистом виде. Теперь вы понимаете, в каком смысле «чистое время» есть время, свободное от наших переживаний и от наших причин. То, что я сейчас сказал, Пруст очень часто называет еще и «общим» между разновременными впечатлениями, таким общим, которое вызывает радость. Скажем, он говорит так: «...во мне есть некий философ, который открывает общее между двумя воспоминаниями, между двумя произведениями». Вот такое уравнение между чаепитием в Бальбеке и чаепитием в Париже; а общее – это как раз то, что я называл вариациями. Обратите внимание: когда Пруст так уравнивает, он понимает, что и в том и в другом случае есть движение и развитие впечатления (или смысла) в своем континууме. И это движение совершается также и между произведениями писателя. В каком-то смысле писатель пишет все время одно и то же произведение, и все его книги есть вариации того, чего он не вполне знает, и поэтому пишется несколько книг. Книги есть одно пространство, в котором устанавливается смысл. И, соответственно, самое интересное – не материальное и сюжетное содержание отдельной книги, а почувствовать и понять, что варьируется от книги к книге, что в самой книге является ее латентным звуком, голосом. Я говорил вам – не потому, что художник скрывал, и не потому, что читатель вычитывает, произвольно и субъективно, а потому, что общее никогда не умещается ни в чем существующем, в том числе в существующей книге. А голос бытия **есть** в книге, и он по определению есть что-то, чего сам носитель бытия или существующий в бытии не вполне знает, и он создает пространство, в котором будет вращаться не вполне знакомое, обрастая все большим и большим знанием и смыслом. В том числе и в наших головах, которые находятся внутри произведения, – если они уловили это общее, которому только и можно радоваться. Но в то же время мы знаем, что книги уникальны, что каждое произведение имеет свое лицо. И следовательно, слово «общее» мы здесь употребляем в смысле того таинственного унисона уникально-несводимо **различных**, о которых я говорил, как о тайне. И дело в том, что это движение вызывает радость в том числе и потому, что это совпадение воспоминаний, вырывая каждую совпавшую часть (в Бальбеке или в Париже) из их контекста, распластывает содержание впечатления (или смысла) на несколько эпох одновременно и, как выражается Пруст, наполняет душу «радостью общей сущности», душу, которая изнывала от бессмысленности каждого эмпирического случая в отдельности. Она (радость) не смогла сбыться ни в каком практическом сиюминутном смысле, и вот только общее – а оно дано

воспоминанием, роль которого состоит в том, чтобы распластать переживание сразу на несколько эпох и тем самым высвободить его из каждой и освободить душу, которая ни в одной из них (радостей) не видела смысла. Какой смысл... поцеловать женщину; для Пруста осмысленнее всегда то, что происходит **после**, то есть там, где крутился и двигался смысл – **содержание** чувства, в действительности не сводимое к никакой своей практической реализации. Любую такого рода практическую реализацию Пруст воспринимает как эмпирическое опустошение души, ее грабеж.

Возвращаюсь к тому, что я хотел сказать, введя цитату Пруста. То, что я сейчас прочитаю, стоит в контексте других цитат (я их приводил) в связи с расположением ваз на других высотах и в разных местах. (Вазы или коконы, в которых упакованы наши души и которые расположены вдоль нашего пути, и у каждого из них своя атмосфера и своя высота.) *«...переходы мы совершили незаметно (в одну вазу ушел один кусочек души, потом, в следующий момент, в другую вазу или в другой кокон ушло из нас, застряло; ведь незаметно это, конечно, происходит); но между воспоминанием, которое к нам приходит, и нашим актуальным состоянием, так же как между двумя воспоминаниями различных лет, различных мест, различных часов, расстояние столь велико, что одного этого было бы достаточно, чтобы сделать их несравнимыми одно с другим. Да, это так, и если воспоминание благодаря забвению (что-то ушло в одну вазу и забылось там; но если что-то сцепилось с пирожным, то оно вышло из моей души и во вкусе пирожного пребывает) не смогло установить никакой связи, никакой цепи между ним и существующей минутой (сложный пункт: именно потому, что воспоминание спряталось в коконе, оно больше не участвует – пока мы не вспомним, конечно, – в последовательном потоке нашей жизни и не сможет сцепиться ни с каким звеном и местом; воспоминание как бы стоит на месте, а мы движемся в потоке; кстати, это свойственно и сознанию: все движется, а оно стоит и иногда возвращает к себе то, что слишком далеко убежало вперед) ...если оно осталось на своей дате, сохранило свою дистанцию, свою изолированность в чаше долины или на вершине горы (и когда оно к нам приходит), то заставляет нас дышать новым воздухом именно потому, что этот воздух, которым мы дышали когда-то, более чистый, чем тот, который поэты тщетно стараются заставить царствовать в Раю и который не давал бы нам такого глубокого ощущения обновления, если бы он не был когда-то вдыхаем, потому что настоящие раи – это потерянные раи».* Вот это движение, воссоединение воспоминания с самим собой – воспоминание, спрятавшееся в коконе, осталось, как оно было вдыхаемо, – не претерпело ничего в последовательности нашей жизни; сцепившись со сходным ему, оно открывает пространство, называемое Прустом «*между*» (не то, что было в Париже, и не то, что было в Бальбеке; сходство означает: ни то ни другое, а раздвинутое пространство «*между*»). И это, конечно, есть следующее: сюда должны быть включены очень многие виды времени и многообразные (иногда параллельные, иногда пересекающиеся) временные серии. Вспомните: впечатление, которое было в Бальбеке, ушло в пирожное, сцепилось с ним, больше не участвует в процессе жизни; но процесс жизни означает временную серию, – значит, идет серия процесса жизни и последовательности. Но если это вспомнилось в Бальбеке, то вспомнилось, во-первых, в том виде, в каком оно было, потому что оно ничем не запятнало себя; не живя в нас, оно и нашей жизнью себя не запятнало, оно сцепилось прямо с каким-то другим впечатлением, взятым из другого времени и места (скажем, из Парижа), и образовало другое временное сцепление. Это другая линия. Ведь мы не случайно говорили об объемной психологии Пруста. И вот появляется какая-то объемлющая перспектива каких-то параллельных серий, пересечений, покрытий различных содержаний друг на друга, содержаний, создаваемых

движением несвязанных воспоминаний: между Парижем и Бальбеком нет никакой связи. Та связь, которая возникает, – она возникает, сплетаемая движением воспоминания в том пространстве «между», или в том континууме, или в том измерении смысла и понимания, о котором я говорил.

Значит, все эти вещи мы должны представить себе независимо от внешней хронологической последовательности. Если такие события случаются в нашей душе, то мы, беря внешнюю хронологию и последовательность сюжета, в принципе не можем их описать. И наоборот, – чтобы их описать, нужно сломать всю хронологическую последовательность литературного текста. Другого пути нет. И вот отсюда – как бы непонятно, как построен роман Пруста, в котором все берется вне каких-либо связей, – именно реальность находится вне наших связей; хронология, сюжетная последовательность – это наши связи, наши категории, накладываемые на мир, а то, что реально, не знает наших категорий, оно не знает даже нас. Я же говорил: если воспоминание спряталось в коконе Бальбек, или в пирожном «мадлен», или, как говорит Пруст, «не участвует в дальнейшей нашей жизни», то оно нас не знает. И сцепилось оно с другим воспоминанием – не актом нашего знания, не потому, что мы так представили, а произвольно. Поэтому эту память Пруст называет произвольной. И вот литературное произведение описывает такие наши состояния сознания, которые освобождены от внешней хронологической последовательности содержаний, от их актуального смысла – того, который они (состояния) имели в тот или иной момент, и, соответственно, мы получаем возможность, вынув из разных слоев застрявшие там куски нашего сознания, потом эти слои сравнивать, вкладывать один в другой, добиваясь этим какой-то объемности описания (той, которой добивается Пруст), и, самое главное, тем самым совершаем одну интересную операцию: нам удастся оказаться лицом к лицу с реальностью. А она всплывает средствами воспоминания из нас самих и движется в этом измерении, или в континууме, не совпадающем с нашей умозрительной (или категориальной) непрерывностью. (Ведь непрерывность потока времени есть умозрительная категория, только которой мы и можем представлять ход событий как определенным образом устроенные существа.)

Так вот, мы как раз сумели встать лицом к всплывающей реальности тем, что поскольку время-то у нас в чистом виде – без наших переживаний) сумели срезать надстройку своего искусственного «я», своего наблюдающего, прикидывающего «я», пользующегося категориями. То есть – как бы срезание фикции «я», реальной фикции. У каждого из нас есть хотя и псевдоконструкция, но реально существующее в нас наше identity, наша «яйная» тождественность, а она, оказываясь, загораживает реальность, и с помощью некоторых состояний, где нам дано время в чистом виде, мы можем срезать эту конструкцию, вторичную конструкцию, и тогда перед нами выступает то, что есть на самом деле. Кстати, напомню вам одну вещь, которая без такого хода кажется просто метафорой или красивой фразой. Вы знаете, что в неоплатонической традиции в эстетике есть представление о произведении как о чем-то таком, что есть в глубинах самого художника. Мы, конечно, чисто психологически воспринимаем такой оборот: красиво сказано, но мало что объясняет. Аналогичное утверждение было у Микеланджело: статуя – это то, что уже есть в камне, нужно лишь удалить лишние части. Замените камень деревом, обнимающим человеческую душу... уберите дерево – мы увидим душу. Это отделение себя, прошлого, от себя, наблюдающего сегодня, то есть переживающего предмет в какой-то заданной чувствительной рамке, – это отделение очень важно, потому что только при этом отделении себя от самого себя, во-первых, открывается пространство реальности, континуум движения, совершающегося поперек или помимо последовательной связи (помимо наших категорий), и, во-вторых, без этого отделения перед нами

не выступили бы **состояния** в их множественности и в их возможных чувствительных рамках – одни и те же состояния.

ЛЕКЦИЯ 22. 2.02.1985

Я приведу вам цитату из Пруста, чтобы показать, что кроме тех возможных совмещений нашей чувствительности и нашего сознания в каких-то содержаниях, есть еще другого рода совмещения, корреляции, сходимости и совпадения между различными состояниями сознания у различных людей или у одного и того же человека в разное время и в разных местах. Короче говоря, у различных – по пространству и времени – человеческих существ. Значит, в противовес каким-либо качествам предметов или бактериологическим особенностям людей, – помните, что у нас все время есть два наваждения, двойная пелена, мешающая нам видеть мир: свойства объекта в мире и свойства, способности, данные нам, чтобы отражать эти объекты, наделенные какими-то свойствами, – в противовес этому у Пруста речь идет о **разложении** в некоторую **прогрессию**. В случае данной цитаты – в прогрессию красоты. Эта прогрессия красоты может быть просто прогрессией истины или самого состояния: чувства, истины (знания) или красоты, то есть так называемого эстетического качества. И эта прогрессия интересна тем, что она делает безразличной, в частности, грамматическую правильность языка, – например, в силу того, что существует прогрессия, нам не важны варианты и комментарии к текстам. Скажем, энное число вариантов стихотворений Бодлера рассмотреть и устанавливать смысл посредством сопоставления этих вариантов. И кстати, филологические комментарии, анализирующие варианты, очень часто негодны не только по тем причинам, о которых я скажу дальше, но и просто потому, что чаще всего варианты являются самостоятельными произведениями. Скажем, если по принципу отбора вариантов составлять собрание сочинений Мандельштама и выбирать какой-то один вариант, считая все варианты вариантом одного, то целый ряд самостоятельных, развитых мыслей, кажущихся вариантами, не войдет в это собрание. Очевидно, даже такой филологический вариант связан с той вариативностью, о которой я вам говорил: есть особые измерения вариативности смыслов, – поскольку смысл сам по себе не завершен, смысл бесконечен, то вариативность смысла есть способ существования самого смысла. В том числе мы, читающие Пруста, есть способ существования текста Пруста. Здесь отпадают вопросы, какая интерпретация объективна, какая субъективна и т.д. Мы их просто не ставим, а если поставим, то запутаемся и ничего не поймем.

Читаю цитату Пруста: *«Хорошие книги написаны на своего рода иностранном языке. Под каждое слово каждый из нас подставляет свой смысл или, по крайней мере, свой образ, который часто является противосмыслом (противоречит или не соответствует смыслу у автора). Но в хороших книгах все ошибки смысла, которые мы делаем, хороши (хорошая книга означает хорошесть ошибок, которые мы делаем, читая ее и вкладывая свои образы или смыслы под те смыслы, которые мы читаем в книге; в плохой книге, очевидно, этого не случается, и значит, как раз хорошие книги написаны на иностранном языке). Когда я читаю о пастухе в книжке «Очарованный», я вижу мужчину в стиле Мантенья, в красках а la Боттичелли. Может быть, это вовсе не то, что видел Барби (автор произведения), но в его описании есть совокупность отношений, которые при данности ложной отправной точки моего противосмысла дают ему ту же самую прогрессию красоты. То есть если даны **отношения**, то с какой бы точки – в том числе с ошибочной – ты не вступил в эти отношения, если ты вступил в них, то они (отношения) дают моей мысли или моему чувству одну и ту же прогрессию, и дачение этой прогрессии не зависит от разницы путей – от разницы между нами – каждый идет к смыслу из*

своей точки, из своего опыта. Ведь образы (или смыслы), которые являются ошибочными, подкладываются под смысл (или образ), имевшийся в виду автором, не случайно. Они подкладываются в зависимости от нашего опыта: что мы испытали, что и как мы освоили, – так вот, каков бы ни был этот путь, то, что будет в той точке, к которой мы пришли, не зависит от этой разницы. Значит, эта точка смысла текста, написанного на иностранном языке, **уравнивает** разницу путей. И более того (почему Пруст и употребляет здесь «иностранный язык») – некий смысл (или состояние) не зависит от различия **предметных** языков в самом широком смысле этого слова. Скажем, грузинский язык отличается от русского своей предметностью: разными способами семантической привязки своих значений и смыслов к предметам. И различные привязки дают разные предметные миры. Но в какой-то точке существует перевод их всех как иностранных языков на язык некоторого смысла, проявляющего себя игрой **отношений**, окружающих точку смысла. Отношений, которые придают любой мысли (или чувству), попавшей в эту точку, одну и ту же прогрессию. Под предметными языками можно иметь в виду, строго говоря, не только сам язык, но и вообще любую эмпирию: эмпирический состав наших чувств, наших образов. Например, в каком-то случае это – образ фигуры у Мانتенья, в другом случае – другой образ. Или (наши чувства) любовь к Жильберте и любовь к Альбертине есть два различных предметных языка чувств. То есть в одном случае чувство выражается образами Жильберты, в другом случае – образами Альбертины. Но речь идет о чем-то таком, что не зависит от этой разницы предметных языков. Здесь уже мелькает мысль, что, может быть, в качестве природы любви мы установили не свойства Жильберты и не свойства Альбертины, а то, что в данном случае Пруст называет «общей прогрессией». В предметном отношении различных чувств окажется одна и та же прогрессия.

Более того, здесь Пруст отвлекается не только от разницы путей, от разницы предметных языков, выявляя, следовательно, нечто, что совершается поперек последовательности, – от момента А (теперешнего момента) к следующему моменту Б мы движемся в последовательности – всегда – **развития какого-то содержания**. Я уже предупреждал, вводя понятие чистого времени, что вся проблема чистого времени состоит в нашей способности отвлечься от собственного переживания и от причин, поскольку любое переживание – а именно оно развивается в последовательности как развитие содержания, – есть одновременно развитие мною представления о том, какова причина этого переживания. Повторяю, – есть одновременно развитие того моего **представления** (являющегося частью переживания), которое есть понимание мною или сознание мною причины самого переживания, и это неотделимо от переживания. Мы всегда переживаем что-то вместе со знанием причин, вызвавших это переживание. Эти две вещи совмещены. Но совмещенность их и есть экран, пелена, мешающая нам видеть действия и жизнь реальности или чего-то другого, чем само это переживание. Так вот, – отвлекаясь тем самым от развития содержания в последовательности, – а все, что развивается в последовательности, есть всегда развитие содержания. Аналитическое развитие содержания: есть идея и мы начинаем ее **развивать** в последовательности. Если мы развиваем ее в последовательности, то тем самым – вместе с развитием **идеи** – мы развиваем наше сознание того, каков объект, вызвавший эту идею, или какова причина этой идеи или чувства.

Значит, в том, что интересует нас и интересовало Пруста, имеет место нечто происходящее поперек последовательности или вокруг локальной точки. И здесь Пруст вводит (к чему я и веду), кроме различия предметных языков, различия путей и, следовательно, различия эмпирических содержаний, вводит самую важную для него вещь, то, что он называет отстранением от самого себя,

или о-странением самого себя, что и позволяет в себе увидеть то, что есть и в других, и чего нельзя сделать, если заниматься писанием или развитием мысли с любовью к себе, то есть с эгоизмом. Следовательно, в том, что Пруст называет прогрессией красоты, заключена и скрыта одновременно важная процедура, которую я сейчас выявил, назвав отстранением. Если это так, то мы получаем очень забавную вещь, о которой я вам мельком говорил в прошлый раз. Здесь есть особый смысл понимания или, как обычно говорят, проникновения в других – мы ведь занимаемся контактами, или совмещениями, или встречами с другими. И в чем состоит эта странность? Ведь если мы отстранились от самих себя, и тогда мы в себе обнаружили то, что есть и в других, если обнаруженное не поддается развитию в последовательности – развитие в последовательности этого обнаруженного приостановлено и внимание смещено не на то, что происходит в последовательности, поскольку именно в **последовательности** разворачивается ткань **майи** или иллюзии, а обращено внимание на то, что происходит вокруг, – то мы тогда убеждаемся, – если мы имеем дело с некоторым состоянием, которое множественно (а мы явно имеем дело с таким состоянием), то есть, будучи одним, по признаку одной и той же прогрессии оно оказывается у многих лиц и во многих местах пространства и времени, – раз мы проделали все эти отвлечения, чтобы получить вот это, – что это «само» **не имеет внутреннего**. Там нет переживаний, имеющих какое-то сознание самих себя и некоторый внутренний мир, который уникально открывается тому осознанию моих переживаний, которые есть только у меня, и это осознание не может быть ни у кого другого. Внутренняя сторона, или гомункулусная сторона, наших ощущений не доступна никому другому или есть тайна.

А мы получили такую вещь, о которой должны сказать, что понимание того, что – у других, не означает понимание их как других. В данном случае тот смысл, который по закону прогрессии был понят Прустом у Барби (у другого автора), не есть сам психологический эмпирический Барби, то есть другой человек. Мы видим, что Пруст полностью снимает нашу традиционную проблему, которая всегда встает в связи с так называемой интерсубъективностью: явно наши состояния уникальны, в смысле – солипсичны. То есть то сознание, которое в какие-то глубины протягивает мои переживания, является, так сказать, их тенью, постоянно сопровождающей любые физические или психикофизические состояния, – в эту тень или в это сознание проникнуть невозможно. Но мы сейчас узнаем, что и не в этом состоит задача. Оказывается, что понимание того, что – у других, не означает вовсе решения вот этой нерешимой задачи. Разные люди или разные субъекты сходятся в **одном**, совершенно независимо от того, могут ли они проникнуть в глубь друг друга или не могут, и независимо от того, что они думают друг о друге, какие образы они выстраивают в своих головах о других. То есть **не происходит никакого вживания**. Традиционная проблема – если вы знакомы с так называемой понимающей психологией, – понимание другого путем вживания в него. А здесь не может быть никакого вживания, – просто потому, что не во что вживаться в этом состоянии. И ровно в той мере оно – одно, в какой там нет никаких переживаний. Вживаться не во что. И Пруст вообще был склонен считать, что состояния такого рода, которые могут быть множественно даны и тем самым могут позволить нам получить сходимость чувств и мыслей разных людей, – эти состояния не являются продуктом наших переживаний и развития нами этих переживаний, а как бы есть порождения (эти состояния) действия некоторых живых форм, эффекты которых мы воспринимаем как полученные в наших головах.

Чтобы еще одним шагом обозначить лежащую здесь проблему, я приведу вам цитаты, свидетельствующие об очень странных совпадениях. Эти цитаты по

содержанию будут иллюстрировать нашу проблему и одновременно, на втором шаге рефлексии, будут демонстрировать само это совпадение, о котором я говорил. Я хочу привести цитаты из Поля Валери. Начну с той, которая говорит о том, что Валери точно так же ставил проблему различия между непрерывным развитием содержания и движением вбок от последовательности. Или – что-то, что происходит вокруг точки и тем самым – поперек к непрерывной линии или к горизонтальной линии развития содержания. В XX веке этот опыт сознательно был проделан людьми (хотя это присуще вообще человеческому сознанию, но опыт мы проделываем в разное время) и отразился на самой форме художественного произведения; именно он объясняет (и желание разобраться в этом опыте) отсутствие сюжета во многих произведениях искусства XX века. А сюжет и есть непрерывное развитие по содержанию. Так вот, Валери говорит о том, что он с юности думал о методе, «который позволил бы определить то, что мы называем идеей, вовсе не так, как делают всегда – определенным развитием или означиванием содержания этой идеи, а с помощью комбинации общих условий или соответствующей группировки независимых формальных отношений». Фактически то же самое различие, что я вводил, другими словами, в связи с Прустом: с одной стороны, есть развитие идеи по содержанию и тем самым выстраивание системы значений из того, что можно получить, развивая, эксплицируя – непрерывным образом – по содержанию какую-то идею. А с другой стороны, это можно получить только поперек горизонтали, в вертикальном сечении. (Напомню вам мандельштамовские ассоциации с веером. Есть связь **по вееру** между вещами, которые можно разворачивать и в последовательности: когда мы разворачиваем веер, возникает последовательность между створками, а в действительности связь створок в последовательности есть продукт поперечной связи.) Валери говорит о том, что, в отличие от движения по содержанию, в поперечном срезе (хотя этих слов он не употребляет) будет группа отношений, независимых и формальных. Ну, это просто другие слова вместо слов «прогрессия красоты», потому что там тоже была **формальная** прогрессия: мы отвлеклись от эмпирических различий содержания, отвлеклись от эмпирических различий путей индивидуального опыта, отвлеклись от различий предметных языков – сочли их несущественными. И конечно же, мы выявляем группу формальных отношений. И явно, это метод Пруста.

Теперь, чтобы пример свидетельствовал о совпадениях, которые не зависят от психологии, я ввожу одновременно и рефлексивную сторону этого дела. Так вот, Валери не то что не любил Пруста... во-первых, он плохо его знал, во-вторых, считал, что по темпераменту и по складу ментальности они совершенно разные люди. Валери говорил, что ему совершенно несвойственно наличие памяти о детстве и способность так воспроизводить события детства. И у меня складывается подозрение, что Валери, думая то же самое, что и Пруст, о той проблеме, которая совпадает, инстинктивно отталкивался от чтения Пруста, боясь увидеть там иным образом выполненного самого себя (а мы очень боимся двойников и избегаем их). И только этими причинами вызванное отсутствие интереса к Прусту можно объяснить совершенно фантастические совпадения. Например, то, что я назвал группой формальных отношений, или то, что Пруст называет прогрессией красоты (слово «красота» здесь необязательно), Валери называет, в другом случае, **несомненным** существованием некоторой **алгебры актов**. Представьте себе алгебраические таблицы – вот эти формальные отношения могут быть алгеброй актов. У Пруста вы потом увидите «алгебру чувствительности»; абсолютно буквальное словесное совпадение. Валери говорит: «Для меня несомненно существование алгебры актов. Впрочем, если у того или иного художника есть вполне определенная манера, согласно которой он трактует самые различные сюжеты...». Пожалуйста,

слушайте, сразу же вкладывая те ассоциации, которые должны быть навеяны нашими сегодняшними рассуждениями. Трактовать – отвлечение от различия предметных языков, от различия эмпирического содержания и т.д. И в этот же пример вложите аналогичный пример у Пруста – его идея фикс о том, что отдельные писатели в принципе пишут одну и ту же книгу (нужно отвлечься от эмпирического различия книг); скажем, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» – есть в этих книгах одна манера (та самая вариативность), которая неясна самому автору, и в чем он бесконечно старается разобраться. Значит, наш термин «прогрессия красоты» относится не только к различию смыслов, – скажем, в книге Барби – один смысл, а у читающего Пруста – другой, но они тем не менее совпадают в одном и том же состоянии, которые имеют лишь множественную манифестацию или множественное проявление, – оказывается, это применимо и к различию произведений у одного и того же автора. Пруст говорит об этом неоднократно, но об этом же говорит и Валери в приведенной цитате. Повторю: если у того или иного живописца есть одна определенная манера, согласно которой он все время трактует разные сюжеты – сюжеты разные, манера одна, то это означает, что он внутри этой манеры воспроизводит определенные отношения в своем акте – почему перед этим была **«алгебра актов»**. Есть группа отношений акта, составляющих его алгебру, – он воспроизводит такие отношения своим действием, которые его (действие) или ограничивают, или партикуляризуют, подобно тому как это делают постулаты в геометрии: «добавление или убавление одного из них составляет при этом разницу геометрии». То есть мы одну геометрию получаем, если имеем три постулата, имеем два постулата – другую геометрию; прибавим постулат – одна геометрия, убавим – другая. Конечно же, то, что я сейчас рассказывал, есть то же самое, что я называл проблемой **стиля** у Пруста. И вдруг в контексте рассуждений (эти рассуждения неоднократно повторяются у Валери в его записях; в течение многих лет он вел «Cahiers», тетради) Валери говорит: «Психология подобна геометрии времени». Кажется, что Валери цитирует Пруста. Но я повторяю, что он избегал читать Пруста, – по-моему, потому, что Пруст реально сделал то, о чем Валери мечтал (те теоретические соображения, которые высказывал Валери); уже реально, рядом или параллельно, было сделано в теле, реально был построен такой роман, который есть психология во времени. Пруст сам говорит о геометрии во времени, но сейчас я цитировал не Пруста, а Валери. В совершенно другой пометке Валери снова пишет о формальной психологии – а психология алгебры актом или психология прогрессии красоты, или чувства, или мысли есть, конечно, формальная психология, – «новая наука или формальная психология будет своего рода геометрией времени, то есть резюме тех законов, согласно которых замещают друг друга и взаимно в друг друге отражаются разные состояния сознания», – и здесь же в скобках Валери дает псевдотермины, метафорически заимствованные из математики, – «группа состояний, группа операций, число операций, необратимость, обратимость». Значит, мы увидели два мирсовпадения: по проблеме, и одновременно Валери и Пруст выступают для нас как наглядные примеры того, что одно и то же состояние мысли может быть у различных и не связанных друг с другом людей. Связи там не было, не было ни плагиата, ни заимствования, ничего этого не было.

Возвращаюсь к тому, что я сказал: по сути дела, в такого рода совпадениях или сходимости в одном состоянии совершенно различных – эмпирически – содержаний, лиц и т.д. нет никаких переживаний; здесь стоит проблема не переживаний, а **бытия**. То есть некоторого чистого **быть** – занимать какое-то место, или – **не быть**. Причем у нас самих, если мы находимся в этом месте, могут быть совершенно ложные представления о самих себе, о том, где мы находимся и т.д. Отдавать себе отчет в этом мы можем совершенно разными и

неадекватными путями, но действует в нашей жизни и судьбе – то, в каком месте мы находимся реально. В этом смысле Пруст снимает проблему в том акте, который происходит у нас (у всех), когда мы читаем книгу, написанную другим (как я снял проблему плагиата в отношениях между Прустом и Валери). Пруст так осмыслял эту проблему: в каком-то смысле, если читатель действительно понимает книгу, то это происходит потому и так, что он воссоздает себя (в чтении этой книги) как автора этих состояний (хотя эти состояния уже существуют и описаны в книге). То есть действительное чтение, продуктом которого является понимание, есть такой же творческий труд, как создание того, что понимается. И **если** это происходит, то там нет проблемы заимствования. Посредством книги, как выражался Пруст, мы читаем в самих себе. Книга, в лучшем случае, – оптический духовный инструмент, который приставлен к нашей душе, как к ней может быть приставлено увеличительное стекло, посредством которого мы начинаем двигаться в нашей душе, и если там воспроизводятся, или случаются, состояния понимания – а состояния понимания есть состояния с прогрессией, то есть состояния сходимости (отождествление), – то это есть то же самое, что **быть автором** (а не заимствовать мысли другого). Это – тождественно, утверждал Пруст (я склонен в этом с ним согласиться).

Следовательно, имея точку, окруженную формальными отношениями, являющимися алгеброй, мы имеем, условно говоря, систему отсчета для движения в некотором измерении, в котором мы можем получать линии сходимости и конвергенции между разными событиями, разными людьми, субъектами состояний. Прежде чем я зачитаю небольшие цитаты, одновременно показывая совпадения между Прустом и Валери, и поскольку мы идем по новой спирали, а у нее есть свой исходный пункт, закрепим следующий пункт. Представьте себе, что существует какая-то точка, представляющая собой нечто вроде неподвижной сферы (в старом смысле этого слова). Сфера, с которой соотносятся и к которой притягиваются все наблюдаемые движения. Описуемые состояния, поступки, свойства и пр. кажутся Прусту понятными и объяснимыми, если их поставить в какую-то **разумную связь**. Постановка на свое место – как если бы привязать их (события, состояния) «посредством законов тяготения к этим сферам, каковыми являются образы». Значит, точка, о которой я говорил, есть точка, вокруг которой формальные отношения (из тех цитат и рассуждений, которые я приводил), или – точка, в которой мы получаем прогрессию, формальную, но она же есть и **чувственная точка**. То есть точка, содержащая какой-то образный элемент. Образ – в смысле разума как некоторой **бесконечной чувствительности**. Образы, не являющиеся конкретными представлениями, – какие-то квазипредметные образы. В другой связи такой ход Пруст называет «астрономией страстей», «*astronomie passioné e*». Пассионарная астрономия (олатиним русский язык). Это же Пруст называет пассионарной аттракцией, или «пассионарным притяжением» (снова обыгрывается образ гравитации к сферам), называет «универсальным (или всеобщим) притяжением». То есть пассионарная астрономия есть **соотнесение** страстей с неподвижными сферами. Соотнесение и наличие формальных или прогрессивистских отношений вокруг точки поперек последовательности Пруст называет (снова совпадение с Валери) «алгеброй чувствительности».

Эти короткие цитаты в качестве ниточек теперь накладывайте мысленно на то, что я прочту из Пруста. С одним предупреждением – в точках, к которым, как к сферам, тяготеет все остальное, в этих точках есть одновременно какая-то и образность, и интенсивность. Точки сил, или точки интенсивности. Почему? По одной простой причине: я все время говорил вам, что есть фундаментальная разница между тем, что мы пытаемся произвести **ментально**, то есть чистым или голым рассудочным актом, и тем, что **заряжено** некой

чувствительностью, живой силой чувствительности. Мы это видим на примерах памяти: например, память как один из кумуляторов этой живой чувствительности есть нечто такое, что определяет – увидим ли мы нечто в качестве цветка или не увидим. Мы видим, что источником видения цветка как цветка является не факт существования цветка в мире, а нечто другое, – лишь **в конусе** цветов прошлого я сегодняшние цветы воспринимаю как цветы. Иначе они для меня не являются источником тех состояний, эмоций, прогрессии, если угодно, которые мы называем восприятием или реакцией на цветок. Короче говоря, – вещи, безразличные, несвязанные, которые не входят в конусы наших восприятий. И вот я снова прочитаю вам совокупность этих вещей, которая завершается у Пруста интересным выходом на алгебру чувствительности, на пассионарную астрономию и т.д. И на фоне своего сознания помните, что я ввел закон (цитатой из Фурье), который гласит: притяжения (вещи, которые происходят в пассионарной астрономии) пропорциональны судьбам. Слово «судьба» теперь возьмите как нечто упакованное в фиксированной сфере – в этой нашей точке. Судьба – это прожитый, реально пройденный путь. Его как раз нужно освободить, вынести на поверхность нашей жизни. Следовательно, эти точки – тяжелые, упакованные точки. На другом языке они называются «судьбой». И вот **им** пропорциональны притяжения. В том числе и то, что по законам притяжения попадает в луч нашего взгляда, или не попадает, если нет притяжения, на что мы взволнуемся или не взволнуемся, что мы воспримем или не воспримем, что поймем – не поймем и т.д. Я часто приводил вам пример того, как прекрасно было бы пройтись с красивой женщиной по лесу или отправиться с ней в прекрасный ресторан и т.д. – все то, что мы представляем или воображаем ментально, и все это ровным счетом ничего не означает и может вовсе не быть источником тех радостей и тех чувств, которых мы ожидаем. Оказывается, чувство, вызываемое красивой женщиной, не связано с тем, что она красива и физически присутствует рядом со мной, – по тем законам судеб или памяти, о которых я говорил. (Я не буду вам об этом напоминать, вы сами должны все эти слои восстанавливать, потому что тексты, цитируемые мною, являются тем, что раньше называлось палимпсестом. Текст, на который нанесены многие и многие слои, и все они должны одновременно оживать, чтобы текст был воспринят. Недостаточно для восприятия текста оживить только один слой, в том числе слой непосредственно написанного.)

*«Когда-то мне часто приходилось, читая мемуары или роман, в которых мужчина выходит (sort – нет эквивалента в русской языке) развлечься с женщиной, желать смочь сделать то же самое. Мне иногда казалось, что мне это удастся, например, пригласив с собой любовницу Сен-Лу в ресторан. Но напрасно я призывал себе на помощь идею, с которой я мысленно играл, воображая себе персонаж из романа, которому я завидовал (действия которого хотел бы воспроизвести в своей жизни), – эта идея говорила мне, что я должен был бы получить удовольствие от общества Рахиль, и не давала этого удовольствия. Дело в том, что каждый раз, когда мы хотим имитировать что-нибудь, что действительно было реально (у автора, который описал свой выход в ресторан с красивой дамой, очевидно, это было **реальное**, а наш герой хочет это воспроизвести, думая, что реальность рождается ментальным актом его воображения и наличием физических предметов, которые должны были бы вызвать это, абстрактно говоря, состояние радости), мы забываем, что реальная радость была произведена не волей подражания, а бессознательной силой, реальной силой в свою очередь (реальные события производятся только реальными силами), но это особое впечатление (снова проблема впечатления), которого я не мог получить из всего моего желания испытать деликатную радость в моей прогулке с Рахиль, вот теперь я получал его, вовсе не ища его*

(слой палимпсеста – впечатления, заряженные реальными силами, – это такие вещи, которые случаются с нами именно тогда, когда мы их не ищем: скажем, я ищу радости из свидания с женщиной, – но не там, и не тогда, и не поэтому случается радость; точно так же понимание лежит не в том направлении, в котором мы его ищем, – у понимания другие законы), *но по совершенно другим, на этот раз, причинам, искренним и глубоким, в силу того что я ревновал Альбертину* (присутствие Альбертины здесь, на поверхности земли, изнутри уже заряжено силами, в том числе силами моей ревности). Я испытывал его (то, что я искал – напрасно – путем ментальных имитаций, я испытывал только сейчас по отношению к Альбертине, а не по отношению к воображаемой Рахиль) *только сейчас, потому что познание является не познанием внешних вещей, которые мы хотели бы наблюдать, а является познанием произвольных ощущений; потому что (в тех моих ментальных сценах, когда-то) напрасно женщина присутствовала в одном экипаже со мной, в действительности она не была рядом со мной в той мере, в какой ее на этом месте не воссоздавала в каждое мгновение моя потребность в ней, мое желание, какое я имел по отношению к Альбертине, в той мере, в какой каждое мгновение постоянная ласка моего взгляда не возвращала ей ее краски* (мы их воспринимаем, они нас волнуют, но в действительности они есть там и они волнуют нас, потому что мы ежесекундно воссоздаем их постоянством своего желания, или – уходящее в глубину судьбы волнение щечками пропорционально этой судьбе), *лишь в той мере, в какой краски постоянно освежаются* (ежесекундно воспроизводятся предшествующим бегом и скоростью желания; мы этой скорости не замечаем – она велика, но она была, и эта громадная скорость желания в считанные доли секунды освежила краски, которые сейчас воспринимаются как принадлежащие щечкам), *в той мере, в какой наши чувства, даже удовлетворенные, но помнящие, не подкладывают каждый раз под эти щеки вкус и консистенцию, в той мере, в какой, соединяясь с чувством и с воображением, которое их обостряет, ревность не поддерживает эту женщину в равновесии рядом с нами путем компенсированной аттракции (или притяжения), столь же могущественной, как и закон тяготения»*. Без этой силы, которая держит в равновесии, – как бы невидимое облако, только на котором в равновесии держится женщина, которая вызывает все те чувства, которые описывал Пруст, – без этого предшествующего бега желания с его скоростью и т.д. (поскольку быть с Рахиль в ресторане – эта мысль не есть продукт судьбы, продукт предшествующего бега желаний, а есть ментальная мысль о возможном), без этого желания (то есть без этого облака) путешествия и желания похожи друг на друга – я могу мысленно захотеть пройти по местам моего детства, но путешествие ничего не произведет, поскольку места моего детства находятся совсем не там, где они достижимы физическим перемещением во время путешествия (они совсем в другом месте), и, придя в физическое место моих переживаний, я ничего не испытаю, – так вот, путешествия и ментальные желания похожи, поскольку одинаково ничего не дают. Пруст говорит так: *«...и надо было бы теснее (точнее) определить природу той силы, невидимой, но такой же мощной, как и верования (croyances), или в физическом мире атмосферное давление так высоко несет (поддерживает) города, женщин, в той мере, в какой я их не знал, и, вынужтое из-под них, когда я к ним приближался (вот я несу – и вдруг опускаю руку и облако исчезает; скажем, ментальное желание высоко несло Рахиль, с которой я хотел встретиться в ресторане, и вот я приблизился к ней...), низвергает их сразу же с высоты на землю самой тривиальной реальности...»*, – не способной ни взволновать, ни обрадовать, ни огорчить...

Напомню вам, что Сен-Лу увидел Рахиль в театре, – а поскольку он увидел ее в мнимой точке схождения самых высоких представлений о прекрасном,

возвышенном и т.д., то здесь, на своем месте, он видел ее **преобразованно**. Его состояния **превращались** силой предмета, фокусированного во мнимой точке, и «золотые двери мира грез захлопнулись за ней» еще до того, как она вышла из театра, – а он познакомился с ней, когда она вышла из театра, – но уже захлопнулись двери грез, она стала пленницей этого мира грез в душе Сен-Лу, или стала фиксированной точкой (или неподвижной сферой, о которой я говорил). *«И тем самым, захлопнувшись за Рахиль, эти золотые двери мира грез стерли какую-либо важность (элиминировали) веснушек и прыщей на лице Рахиль, которые Сен-Лу увидел на ее лице вне театра, где он, не будучи уже один, реально не обладал той силой грез (которой мы обладаем, когда мы одни)».* La ouissance du ré ve, сила грез. Топологический закон – точка исчезает, если на поверхности моей души, моего взгляда, со мной рядом реально появляется другая занятая точка. Скажем, я беседую с другом – **по определению** я не могу производить мыслей, потому что мысли есть продукт «молчания и одиночества», и следовательно, беседуя с присутствующим, я уже не мыслю (по Прусту). Очевидно, таков закон и нашей жизни. Так вот, когда Сен-Лу увидел веснушки, они его покоробили, но сама-то Рахиль уже заперта за золотыми дверьми мира грез, и тут Пруст ставит все на свое место: *«Но она (сила грезовидения), хотя он уже ее больше не мог видеть (силы грез не терпят присутствия других лиц – они исчезают; мы на миру, в физическом присутствии других лиц, не можем иметь той же самой силы грез), продолжала править его актами (обратите внимание, какую фразу заверчивает Пруст), подобно тем звездам, которые правят нами своим притяжением даже в те часы, когда они невидимы для наших глаз».* Снова те же неподвижные сферы, каковыми являются образы, фиксированные точки, соотносены с которыми мы понимаем, чувствуем, воспринимаем все другие движения или появления других предметов. Эти точки называются звездами – вспомните так называемые неподвижные точки в астрономии, соотносены с которыми мы должны понимать инерциальные движения или инерциальные системы на земле. Снова невидимая сила, которая продолжает править нами, даже когда мы ее не видим. В другом месте Пруст мимоходом говорит об идеях, которые не показываются сами, но действуют. Значит, есть какие-то образы, идеи, занимающие фиксированные точки, которые действуют, источают из себя силы, подобные притяжениям, и которые мы не видим, – так же, как не видим атмосферного давления. Воздух нас окружает, но мы его не видим, – но это не значит, что его нет и что-то не производится в нас его действием. В другом случае Пруст говорит: *«...среда (силы, источаемые неподвижными точками, образуют среду, в которой как бы подвешены и пропорционально соотносены разные явления), которую мы не видим, но прозрачным и меняющимся средством которой мы видим (сила тяготения – уже даже не знаю, как ее назвать, – которой мы не видим, но посредством которой мы видим; Сен-Лу не видит силы грез, но видит посредством нее), я ее действия вижу (речь идет об Альбертине), она – важность своей собственной жизни, то есть эти верования, которые мы не воспринимаем, но которые не больше можно уподобить чистой пустоте, чем воздух, который нас окружает (мы его тоже не воспринимаем, но он есть, он – не пустота)...».*

Еще одна большая цитата Пруста, если вы ее выдержите (но, по-моему, легче выдержать цитаты Пруста, чем мои разглагольствования). Это уже из завершающих аккордов прустовской симфонии, из «Обретенного времени», где разыгрывается серия произвольных воспоминаний у нашего героя, когда он сидит в библиотеке Германтов перед выходом на «бал черепов», где он увидит всех персонажей романа со следами времени на лицах и услышит скрежет и стук костей – бал скелетов. *«Но я отдавал себе отчет, что это страдание, которое я познал сначала с Жильбертой, что наша любовь, не принадлежащая*

существу, которое нас на нее вдохновляет, плодотворна, частично как средство (идет громадная, та самая речная фраза, подобная течению реки, которая разбивается на ручейки, но течение у нее одно); в той мере, в какой наша жизнь продолжается лишь тогда, когда мы страдаем, наши мысли, в каком-то смысле приведенные в постоянные и меняющиеся движения (флуктуация, трепыхание мысли, вызванное страданием), позволяют подняться (как во время бури) на уровень, с которого мы можем ее видеть, всю эту безмерность, управляемую законами, относительно которой, поскольку мы обычно помещены у окошечка, плохо расположенного, мы не имеем общего вида, потому что спокойствие, счастье оставляет ее (безбрежную поверхность) единой и на слишком низком уровне; может быть, только у очень больших гениев это постоянное движение мысли существует без того, чтобы оно у них приводилось бы в движение движением боли или страдания; но это тоже не очень ясно (не очень несомненно), потому что, когда мы наблюдаем свободное и регулярное развитие их радостных произведений, мы слишком склонны отождествлять радость произведения с радостью жизни, которая (у этих радостных гениев) могла быть весьма полной страданий...». Обратите внимание, что лишь страдание, его беспорядочное (броуновское) движение позволяет подняться над ровной поверхностью жизни, обозреваемой нами из плохо помещенного окна; оно плохо помещено, потому что вся эта поверхность представляется нам полной. «...не только потому, что наши страдания являются средством, а еще и главным образом потому, что наша любовь не есть любовь только к Жильберте, которая заставила нас страдать, не потому, что она является также и любовью к Альбертине (состояние, которое имеет прогрессию), но потому, что она (любовь) есть часть нашей души, более длительная, чем те различные «я», которые последовательно умирают в нас («я», любящее Жильберту – одно «я», «я», любящее Альбертину – другое «я»; они разные, но все – «я», и у каждого есть свой кадр или рамки чувствительности, посредством которых то, что нас волнует, заряжается силой, способной нас волновать, без этого ничего не приведет нас в волнение) и которые эгоистически хотели бы вернуться (скажем, чтобы вспомнить то содержание моих состояний, моих чувств, которое было внутри чувствительных рамок, заставлявших меня любить Альбертину, для этого должно воскреснуть то «я», которое любило Альбертину, иначе вспомнить, то есть голым желанием воспоминания, невозможно; должно сначала воскреснуть «я» с его чувствительностью, а потом – я вспомню; прошлое само, собственнолично придет ко мне, а не моя мысль о прошлом, – тогда возможны произвольные воспоминания), – они эгоистически хотят вернуться, чтобы я вспомнил, но универсальная часть, которая более длительна, чем последовательные и умирающие «я», должна, каких бы страданий и болей нам это ни стоило, отделяться от существ, с которыми она была связана, чтобы суметь восстановить (реконструировать) общность и придать этой любви понимание этой любви, такой, какая есть у всех, какая находится в универсальном духе (Пруст употребляет здесь l'esprit вместо l'âme), и не оказаться сведенной к той любви, или к этой любви, или к этой женщине, не оказаться сведенной к тем «я», с которыми мы последовательно хотели бы слиться».

Что мы теперь должны извлечь для наших целей? Мы знаем уже, что в тех точках, которые я сначала назвал локальными точками, окруженными формальными отношениями, назвал неподвижными сферами или точками интенсивности, источающими какие-то силы притяжения, не видимые нами, – в этих точках дано множественное состояние. Состояние – одно, но оно **множественно**, то есть в разных местах и у разных лиц, и оно не имеет **внутреннего**, в которое мы должны были бы проникать актом понимания – в смысле вживания, поскольку там не содержится каких-либо эмпирических

переживаний (оно – одно именно в силу чистоты, то есть вынужденности или полной заместимости всех эмпирических человеческих переживаний, или предметных языков – в другом случае, или путей – в третьем случае), – эта множественность обнаруживается и с другой стороны: в этой точке есть то, что Пруст называет универсальной душой. Перед нами возникает странная проблема: мы должны иметь основания сказать, что события, которые с нами происходят или которые мы видим как события, происходящие с нами (о которых мы имеем информацию как о событиях), есть подлинные события. Ведь в тех рассуждениях и цитатах, которые я приводил (там, где фигурируют звезды, правящие нами даже тогда, когда мы их не видим), естественно допущение, что мы можем жить в мире, наполненном светом, то есть информацией, силами, светом **погасших** звезд (которых уже нет как звезд), в том числе и потому, что я в качестве реального носителя тех состояний, которые я сейчас испытываю, иду, оказывается, к самому себе издалека, откуда ко мне сюда протягиваются лучи или силы притяжения, о которых я говорил, – в силу того что скорость желая отличается от скорости нашего взгляда, может получиться так, что, пока до нас дошло, того, что излучало дошедшее до нас, уже и нет, и мы живем в мире света на самом деле уже померкших звезд – в силу этой разницы, в силу этих расстояний, по которым до нас что-то доходило. И это предположение лежит скрыто или тайно за всеми душевными поисками Пруста. Я говорил вам, что Пруст прежде всего интересовался вопросом: насколько я реален в восприятии произведения искусства и т.д., и т.д. Но теперь мы этому вопросу в реальности уже придали другой и более драматичный и конкретный оттенок. Я его помечу следующим образом: собственно, **где и когда** происходит то, что со мной происходит? И одновременно сформулирую парадоксальный ответ на этот вопрос, парадоксальный в том смысле, что он обрисовывает кратко нашу затрудненность или озабоченность самой проблемой. Формула будет такая: **все, что происходит, происходит не сейчас и не здесь**. Повторяю, все, что я вижу сейчас происходящим, **в действительности** происходит не сейчас и не здесь. Пока оставим эту закрепленную формулу и выявим другую сторону нашей проблемы. То, что называется универсальной душой и с чем, собственно говоря, человек должен воссоединяться, проходя путь испытаний, страданий, есть в то же время нечто, называемое разумом. В силу свойств, что ли, света, который, может быть, исходит от потухших звезд или от потухших очагов, оно поворачивает проблему и так, что нечто, испытываемое мной, может быть – или частью **разума** (чего-то вечно живого), или **симулякр**ой, отделившейся от вещей. Скажем, когда я волнуюсь, или не волнуюсь, в присутствии Рахиль, – само это волнение может быть чистой симулякрой, или образом, уже заложенным в луче моего взгляда и идущим не от вещи ко мне, а **от меня к вещи**. Образ – накладывающийся на вещь и делающий ее источником того, что я вижу, – никакого отношения не имеет к тому, что происходит в реальности. В реальности – в силу того, что я рядом с Рахиль не испытываю никакого волнения, я испытываю просто скуку, которую приписываю, конечно, свойствам Рахиль; Рахиль – это женщина, вызывающая скуку, значит, Рахиль – существо, **обладающее** свойством вызывать скуку, – **но нет** такого существа в мире; оно появилось в мире из-за того, что я нахожусь во власти отделившихся от вещей симулякр, в данном случае симулякр моих образов, моих возможных состояний. В силу **этих** симулякр, или возможных образов и состояний, я испытываю то, что испытываю, а приписываю это тому, что **в мире** есть существа, вызывающие у меня скуку.

В свое время Витгенштейн, философ XX века, говорил, что мир несчастного бесконечно мало отличен от мира счастливого, это разные миры, но бесконечно мало отличные друг от друга в том смысле, что в действительности они состоят

из одних и тех же предметов. С марсианской точки зрения, которая видела бы и тот и другой мир, все миры, как говорил Витгенштейн, заполнены безразличными предметами; они могут быть эти, могут быть другие, пятые, десятые, между ними нет никакой ценностной иерархии – нет одного предмета, который сам по себе был бы лучше другого, или скучнее другого, а есть какой-то бесконечно малый сдвиг или блик, падающий на эти предметы, который делает один мир миром несчастного, хотя на самом деле в мире вовсе нет никаких направленных на человека событий, которые имели бы целью сделать его несчастным (философ скажет, что мир по отношению к нам не имеет никаких намерений), и те же самые предметы, тоже каким-то неуловимым бликом, лежащим на них, составляют мир счастливого, или веселого, если угодно.

Я ввел проблему возможных отделений частей разума от него самого – нечто перестает быть частью разума и становится мертвой симулякркой, отделенной от жизни вещей. Она не жизнью вещей производится, а сама индуцирует в нашей голове какие-то видения или отношения к этим вещам. Гипотеза существования в мире погасших звезд уже и с этой стороны, со стороны дробления самого разума, преследует Пруста. Например, в той цитате, которую я приводил, он реально помечает эту проблему, которую я только что назвал проблемой **дробления разума**. Разум – в предположении – одна бесконечная чувствительность, но она может **застревать** на предметах. Скажем, та часть разума, которая развилась и родилась к жизни на любви к Альбертине, – например, я могу психически заболеть. То есть исходное движение во мне отклонилось, и я могу **не забыть** Альбертины. Если я нормальный и здоровый человек, я должен забыть Альбертину в случае несчастной любви, в том числе и потому, что в любви решаются другие проблемы, а не те, которые связаны с уникальными качествами предмета любви, – предметы любви, как я объяснял вам, заменимы. Но в отношении к Альбертине реализовалась и конституировалась какая-то часть моей души и моего разума, она может оказаться неспособной к дальнейшим трансформациям, то есть она может оказаться неспособной **высвободиться** из своей оболочки и реализовать чувство как таковое, которое может и должно жить по отношению **не обязательно только** к этому предмету (оно может, выразимся грубо, «заикнуться» на своей предметной форме выполнения). С другой стороны, я могу основательно забыть Альбертину, – скажем, избавляясь от несчастной любви, если у меня есть, конечно, какая-то гордость и т.д., я постараюсь это чувство в себе убить; но я могу его убить настолько, что та часть разума, которая жила через отношение к Альбертине, или та часть чувства, или та часть универсальной души, которая жила по отношению к Альбертине, – эта часть разума со смертью Альбертины в моем отношении к ней (она для меня умерла, я ее больше не люблю), – если она не переключилась на что-нибудь другое, – может уйти, и я **навсегда потеряю** какую-то часть своей души, своих способностей, своих жизненных сил. Мы иногда за смерть любимых платим смертью собственной души. Душа умирает. И для Пруста, как я вам уже говорил в другой связи, самый страшный образ – образ бесконечности, – представленный в самом крайнем своем виде, а именно, в виде числа и множества. В бесконечности, страшной, живут или пребывают мертвые части моей души, раздробленной и фрагментарной, части, которые я не могу воссоединить с самим собой, и тем самым я не могу сам ожить и предстать в каком-то полном виде или в полном составе своего существа.

Кстати (я не помню, цитировал вам я или не цитировал), Валери, идущий параллельными тропинками и испытывающий сходные проблемы, все те, которые вообще в XX веке встали в отношении художника – не к миру, а к своему собственному производству, – насколько я как художник реализуюсь,

производя тексты или производя произведения? – так вот, испытывая сходные проблемы и считая существенной проблему отношения художника к собственным произведениям, Валери говорил, что великим творцом является не тот, кто создал великие и отдельные, обособленные и завершенные произведения, а тот, кто овладел собой во всем объеме своего существа. Во-первых, овладел собой как способным производить произведения, и во-вторых, овладел собой как то существо, которое в зависимости от того, что оно сделало, попадает в те или иные сплетения в независимом от него реальном процессе движения мира. Ведь очень часто дьявол играет нами именно тогда, когда мы, как птички на ветках, поем песенки и чирикаем. Это есть как раз те случаи, когда искусство оказывается просто областью проявления нашей животной или витальной артистичности (чисто чувственной, физической одаренности к слаганию стихов и т.д.).

И вот, введя таким образом проблему, я получаю возможность сказать следующее, уже связывающее этот ход мыслей с тем ходом мыслей, который мы проделали по проблеме времени. Помните, я говорил: чистое время, произвольные воспоминания и т.д. Теперь мы можем дать это в такой формуле: проблема прошлого и, соответственно, воспоминаний (или времени) для Пруста есть проблема прошлого, которое к нам **приходит**, с которым мы можем **воссоединиться**. То есть – умерла ли та часть моей души, которая любила Альбертину, или, высвободившись из любви к Альбертине, она все-таки живет как частица моей души, которой я овладел в полном объеме своих возможностей. Иначе говоря, проблема времени и воспоминаний для Пруста – проблема того, чтобы пребыть здесь и полностью. Это есть проблема **полного и здешнего акта**. (В отличие от той формулы, которую я дал незадолго перед этим: все, что происходит, происходит не здесь и не теперь.) Решаемая проблема есть обратная: **как** делается так, чтобы то, что происходит, происходило бы здесь и теперь. Ведь проблема времени есть фактически такое воссоединение с собой, при котором я вытягиваю различные части самого себя, застрявшие, как я уже неоднократно вам говорил, в разных предметах и рискующие в них умереть, что и означало бы мою смерть здесь. То есть не только мною владели бы симулякры в теперешней моей жизни и сознании, а я еще был бы сам симулякрой, – не только жил бы в мире света потухших звезд, но еще сам был бы потухшим светом чего-то, чего уже и нет. Повторю, что это проблема здешнего акта. Например, **я сейчас** хотел радоваться присутствию женщины, а испытываю скуку, – так вот, задайте по отношению к этому вопрос: **где** это произошло и когда это произошло? Вот об этом я и говорил, что это не здесь происходит и не сейчас, не тогда, **когда** я ожидал радости – и вместо этого скучаю. То, что я сейчас вместо радости скучаю, сцепилось раньше, в другом месте, и там, в каком-то смысле, произошло, – вот о чем идет речь. А для меня это жизнь, ведь для меня важно знать: что происходит, собственно говоря? Что со мной происходит, когда вместо ожидаемой радости я смертельно скучаю и думаю только о том, когда это свидание кончится, свидание, на которое я мчался на крыльях любви или на реальных крыльях, – что со мной происходит? Где и когда произошло то, что со мной происходит? Это уже, оказывается, осмысленный вопрос, это не просто банальность – скучно, потому что она скучная. Ведь одним из способов невнесения термина времени и места в происходящее есть приписывание свойств. Свойство – термин, который позволяет нам не вносить время или измерение (вот то, уходящее куда-то, в какой-то объем) в происходящее. Ну, конечно, просто она скучная дура. Но почему я обнаружил это именно сейчас, здесь, ведь ничто предшествующее к этому не вело, наоборот, я был полон ожиданий этого свидания? Обратите к самим себе взгляд этой ищущей души, обратите его на свои собственные переживания, на то, что вам довелось испытать, увидеть и

т.д., и вы сразу поймете осмысленность этого вопроса и, уж во всяком случае, общность этого прустовского вопроса с теми вопросами, которые вы сами можете задавать. Просто в случае Пруста мы имеем дело с уже продуманным опытом, с уже пройденным путем; но путь-то проходил под знаком вопроса, который мы должны задавать себе. Фактически, когда я спрашиваю: что происходит? – я действительно задаю такой вопрос (и совсем не просто ответить на него). Я чувствую скуку, но, оказывается, я чувствую все то, что лежало на путях нашего анализа – содержание: чувства, я **это** чувствую, а испытываю скуку. Конечно, осмысленно спросить: **где** произошло что-то **так**, что сейчас я скучаю? **Сейчас происходящее** – поскольку все-таки не Рахиль причина моей скуки. Отсутствие предшествующего бега желанья (по пути) с соответствующими сцеплениями, соответствующими вложениями (как сказал бы Валери: имплексами возможностей моей души) в какие-то совершенно материальные предметы, – все это уже **предопределило**, обусловило то, что я сегодня не испытываю радости там, где ожидал ее испытать, и испытываю скуку там, где не ожидал ее испытать. И более того – то, что я вам описывал как «нож реальности», неожиданно поражающий наше сердце в момент разглядывания облаков, конечно, вне всякой связи с тем, что мы разглядываем облака, то есть вне связи с тем, что в нашем ментальном мире является логическими возможностями нашего ума (как мы себе воображаем будущее), – то, что меня поразил нож, тоже где-то, в глубине объема какого-то измерения **сцепилось** и **сейчас** меня поразило, хотя я делаю невинный вид, потому что не заслужил я этого, потому что мой глаз-то видит облака, я в это время облака разглядывал, чем же я заслужил удар ножа в сердце? Но, очевидно, все-таки слова Одетт, которая говорит: ну, подумаешь, не помню я, может быть, два или три раза спала я с женщинами; и сам этот тон человека, который может забыть нечто, что для Свана является таким драматическим событием, что о нем нельзя забыть и тем более о нем нельзя говорить как о чем-то безразличном, – это ведь тоже есть часть жизни Свана, лежащая где-то далеко позади, и то, что он сейчас испытал под видом «удара ножа в сердце», случилось или происходит не сейчас и **не здесь**. Вот о чем идет речь и как можно расшифровать этот свет погасших звезд.

И поэтому отношение к прошлому у Пруста, как я сказал, есть отношение к чему-то... что **может приходить так**, чтобы мой акт был здешним и полным. То есть, во-первых, чтобы он не состоял из частей, которые совершились в другие времена и там определились, а состоял бы из частей, которые делаются сейчас; и во-вторых, лишь в той мере, в какой я вынут из последовательности (а в формальных отношениях прогрессии я из последовательности вынут), я могу что-то испытать в полном виде. В каком смысле? Поскольку существует закон, что мы **реализуемся лишь последовательно и нельзя все сразу**, постольку, в силу накладываемой на нас последовательности, мы в каждый данный момент не можем сделать и выполнить чего-то, что является частью нашей жизни и частью нашей души. Это – или забыто, или отсутствует, или мы сами присутствуем не полностью. Хотя мы, абстрактно говоря, обладаем энным количеством сил и способностей, но в решающие минуты непрерывности, то есть там, где нужно делать что-то последовательно (а вещи сцеплены, и их нельзя сделать сразу, в том числе и в том смысле, что мы не в любой момент обладаем всем запасом своих собственных сил), они приходят к нам на помощь и сцепляются все вместе вовсе не по нашему распоряжению, а каким-то другим процессом. Там какие-то другие сцепления и – как их собирать? Известно, что именно в тот момент, когда вы испытываете самые благожелательные чувства к человеку и готовы ему открыться, именно в этот момент, как сказал бы Пруст, календарь чувств и календарь фактов не совпали. Вообразите себе два вращающихся диска: у каждого из них есть дырочки, и они накладываются

друг на друга, но при вращении диска не всегда дырочка одного диска совпадает с дырочкой другого диска, – именно в этот момент там появляется по вашей же собственной вине индуцированная другими поступками какая-то пелена, и, в ответ на свое извержение чувств, вы ударяетесь в стенку, вас обдают ведром холодной воды. Незаслуженно? Да нет, очевидно, здесь просто другая проблема – проблема бытия (или небытия) в полном составе своего существа, в полном составе частей своей жизни. И мы теперь видим, что (раз не происходит синхронизации) это значит, что где-то в раздробленном фрагментарном виде части самого разума (который есть живое и единое целое) растеклись, раздробились в бесконечности числа и множества, и установить между ними, в этом раздробленном виде, какие-нибудь синхронности, сходимости, вместимости, корреляции оказывается невозможным. А если возможно – если я могу собрать себя в полноте своих частей и собрать их **здесь**, – то такое событие может венчать весьма сложную пирамиду пути, очень длинного и трудного (ну, я-то говорил о конусах, но в конце концов можно и пирамиду представить себе как фигуру, в пределе стремящуюся к конусу). Когда я говорю, что в том измерении, которое есть измерение собирания себя здесь и в полном виде, – поскольку, если этого нет, то все, что происходит, происходит не здесь и не сейчас, – то, значит, в этом измерении (эти конусы – явно расширяющиеся и сужающиеся) есть какие-то расширяющиеся конусы, способные вмещать в себя все большее число предметов таким образом, чтобы эти предметы становились источником знаний, эмоций, чувств – здесь и теперь (или наоборот – сужение). Пруст говорит, что, когда он двигается в последовательности, он как бы тащит на себе гири другого в глубины уходящего измерения, и что он похож на человека, который по видимости идет по поверхности земли на ногах, а в действительности стоит на *é chasses*. В действительности он неустойчиво стоит на длинных ходулях, которые уходят далеко вглубь через многочисленные временные (и разнородные, тем самым) пласты, и очень трудно идти по земле, в последовательности делая шаг на этих ходулях-ногах, которые вовсе не в земную поверхность упираются, а должны смещать вместе с собой, в каждом шаге, целые прорастания в большое число временных пластов. Так сказать, страшные фигуры; и когда Пруст о них говорит, то ясно, какую проблему душевной жизни или просто жизни он решает.

Конечно, чистое время или прошлое собственнлично – не мысль о нем, а **оно** пришло, – это есть куски нашей жизни, высвобожденные из пребывания где-то там (там, где происходило что-то не сейчас и не здесь) и по какой-то траектории возвращающиеся ко мне. И как раз об этом я сказал, что такая вещь венчает очень сложный путь – расширяющийся или сужающийся конус, Скажем, я люблю Альбертину – Альбертина вызывает чувства в силу априорных возможностей этой любви, то есть в силу того, что по отношению к Альбертине уже был путь желания со своей стрелкой, или, выразимся условно, со своим вектором актуализации, и чувство актуализировалось. Если я могу понять это, освободив тем самым чувство от эмпирического содержания, то у меня останется априорная возможность в чистом виде. То есть – мое чувство или мое душевное богатство, такое, которое может жить в связи с другим человеком, в связи с другой женщиной и может тем самым обогащаться и развиваться: там есть возможность расширения этого конуса, и внутри него в качестве не нейтрального, не безразличного источника эмоций уже будет не только Альбертина, но и другие лица. Или, наоборот, возможны сужения этого конуса, являющиеся сужениями нашей жизни.

Так вот, интересно, что по такому же примерно пути шел и Валери, Валери шел параллельными своими путями по отношению к Прусту, а Пруст – параллельно по отношению к нему, и, как вы видите, есть какая-то сходимость

этих параллелей, хотя люди могут при этом плохо относиться друг к другу (я приводил вам пример Арто, который тоже на сходящейся параллели шел с Прустом), – таким же путем шел и Рильке. И вот то, что я называл то пирамидой, то конусом, очень интересно ощущалось этим поэтом. Попробую сейчас с ходу перевести эту цитату: *«Мне представляется всегда, как если бы наше обиходное сознание на самом деле жило бы на вершине некоей пирамиды, базис которой – в нас (обратите внимание на замечание мимоходом, это в скобках у Рильке) и, соответственно, под ними – unter uns (вот эти é chasses, прустовские, вспомните ходули – как бы находимся на земле, а они – в нас, но они еще и под нами, под землей, на которой мы стоим) настолько полностью и далеко уходит в свою ширину (пирамида скрыта под поверхностью земли, «насколько идет» – расширяется к своему основанию, да?), что, чем дальше мы сумеем погрузиться, тем в большей мере мы вовлекаемся в независимую от пространства и времени данность земного, в самом широком смысле светского бытия. Я с самой ранней юности испытал это чувство, и каждый раз, когда мне это удавалось, действительно жил сообразно ему, – что в глубоком срезе этой пирамиды сознания становятся возможными для нас событиями самые простые для нас вещи, непрерывное присутствие и одновременно бытие которых на верхнем конце пирамиды самосознания доступно переживанию только в виде потока».*

ЛЕКЦИЯ 23. 9.02.1985

В конце прошлого занятия я приводил вам цитату Рильке, чтобы пояснить кое-какие проблемы у Пруста и наметить дальнейшие пути движения. Я напомню вам эту цитату (у меня было время ее перевести, и сейчас она будет звучать более гладко, чем в прошлый раз) и те пункты, которые я пометил в ней; их нужно будет держать в голове, чтобы следить за дальнейшим. Значит – с теми мыслями Пруста, в которых выражена идея геометрии времени, то есть такой психологии, которая располагает существа, видимые лишь на поверхности земли (в пространстве), в каком-то глубинном измерении, скрытом под поверхностью или под ногами этих существ, так, что мы их начинаем видеть теперь как бы стоящими на ходулях, которые пронизывают и тем самым объединяют самые различные временные пласты. Я показывал вам, что такого рода идея связана с особым типом художественного построения, когда художественное построение, разворачивая психологию в различных временных слоях (или разворачивая человеческое сознание в различных временных слоях), тем самым пытается дать не одну какую-то перспективу, в точке которой можно было бы объединить все, что мы знаем: объединить биографию, объединить точки жизненного пути человека или нации, а сразу же движет рассматриваемый предмет во многих перспективах, как бы пытается дать предмет каким-то многофасетным зрением, – в предположении, что в принципе невозможно объединить куски, которые видны в разных фацетах, с какой-то одной единственной выбранной точки зрения. Вот какой ход к самому построению художественного произведения скрывается за этим образом живых существ, стоящих на ходулях, не видных глазу, но реально стоящих на ходулях, которые под ногами этих существ уходят глубоко в различные временные пласты. «Мне все больше кажется, что наше обиходное сознание как бы обитает на вершине некоей пирамиды, основание которой в нас и, соответственно, под нами уходит настолько полностью в ширину, что чем больше мы способны дать себе в нее погрузиться, тем общее мы оказываемся втянуты в независимые от времени и пространства данности земного в самом широком смысле мирского бытия. Я с самой ранней юности чувствовал догадку, – и там, где мне удавалось, жил соответственно ей, – что в некотором глубоком срезе этой пирамиды сознания с нами может случаться простое бытие. Простое

бытие – это непрерываемое Наличие-Бытие и совместно-бытие всего того, что на верхнем нормальном конце пирамиды самосознания доступно переживанию только в виде потока». Значит, в верхнем слое своего сознания, называемом **самосознанием**, – в том слое сознания, которое содержит нашу самоидентификацию (установление тождества с самим собой), – нам в принципе доступно переживать происходящее только в виде **потока**. Но то, что доступно переживанию в виде потока, происходит не так, как нами переживается в потоке, а так, как в реальности случается, складывается, сцепляется, – идет какими-то тайными путями. Следовательно, происходящее в реальности, в отличие от переживаемого в последовательности, есть какая-то **совместность**, простое присутствующее-бытие или **бытие**-вместе всего того, что разделено в последовательности. Я показывал вам многими примерами, что то, что – в последовательности, есть разделенное – пространственно и временно, раздробленное, фрагментарное. Я показывал вам фактически, что в последовательности человеческие существа, в том, что они о себе и о мире могут знать, похожи на некие воображаемые существа Пуанкаре (я не знаю, помните ли вы этот пример из физики, я сейчас подробности этого образа опущу, возьму лишь одну основную деталь). Это некоторые двухмерные существа; существа, живущие на двухмерной поверхности и пытающиеся измерить эту поверхность. И эти существа в ходе измерений сами сокращаются, – скажем, они пытаются измерить пространство световыми или тепловыми лучами, и, сокращаясь сами вместе с актами измерения, они убеждены, что живут не на конечной поверхности, а на бесконечной, потому что они никогда не достигают своих объектов: они сами все время сокращаются, и между ними и объектом всегда оказывается пространство, зазор. Я вам показывал, что в своих желаниях, в беге желаний, особенно в беге любовного желания, которое расширяет мир, расширяет пространство и время, то есть увеличивает число точек, которые мы должны занять, поскольку любить и владеть предметом любви мы можем, только если мы охватим все точки пространства и времени, на которых этот предмет любви расположен, – мы не просто любим Альбертину, мы хотим владеть и миром Альбертины, ее прошлым и всеми его разветвлениями, а они в нашем желании увеличиваются, – так вот, в этом беге желаний мы как бы суживаемся, а поэтому пространство и время расширяются, и в этом беге нет никогда конечной точки. Это – бесконечность. И поэтому я приводил вам образ Пруста – что самое острое жало (как выражается Пруст) бесконечности – в случае числа и множества – размножение точек. И мы изнемогаем в беге охвата этих точек – недостижимого охвата – и можем, как я говорил вам, пожелать только смерти. Лучше умереть, но эта смерть – адская, повторяющаяся, потому что идея смерти такова, что мы как бы хотим, как я вам говорил, наказать мир своей смертью. То есть истинное сознание смерти здесь отсутствует. Мы опять бесконечно воображаем себя каким-то персонажем уже в том мире, в потустороннем мире, который предъявляет счет и показывает: вот, смотрите, как вам теперь без меня, теперь вы смогли убедиться, каким я был хорошим и замечательным, и чего вы не видели, пока я жил... Вот то, что Пруст называет отрицательной идеей смерти (идеей со знаком минус).

А в реальности что-то происходит другое: есть какой-то другой слой реальности, в котором то, что разделено и разбросано, – как если бы миры на бесконечных скоростях друг от друга уходили бы и никогда не было бы шанса их сблизить, – так вот, в каком-то слое, в каком-то срезе пирамиды сознания эти миры находятся в другой связи: соприкасаются, наличествуют вместе или наличествуют непрерываемо. Обратите внимание на выражение «непрерываемое наличие». Помните, я говорил вам, что такое объединение чего-то вынужденного из последовательности в каком-то другом срезе, конечно, предполагает наличие другого измерения, – другое измерение есть то

измерение, в котором предметы и явления движутся в совместных характеристиках и бытия, и сознания, – измерения, в котором **не существует для нас вещей вне нас, причинно вызывающих наши состояния.** События происходят одновременно в пространстве-времени смысла и понимания. С определенностью, – что именно это событие, а не другое, с определенностью, что то или иное явление – именно это явление, а не другое, – происходят в пространстве и во времени, где добавлено измерение понимания и смысла. Я показывал вам неоднократно, что явления – случаясь – доопределяются тем, какое место субъект – «я» – занимает в мире. Это существо должно занять место в мире и своими актами доопределить то, что потом мы воспринимаем с определенностью; просто можем сказать: это воспринято, это случилось. Я предупреждал вас, что термины «воспринято», «случилось», то есть то, о чем можно сказать с определенностью; это воспринято, это случилось, – весьма сложные термины, не критически мы не имеет права их брать. Скажем, если мне почудилась кошка, тень на крыше, а она оказалась чем-то другим, то я спрашиваю: в каком смысле – о том, что несомненно было моим переживанием или моим ощущением, в каком смысле о нем можно сказать, что оно **случилось?** Или – в каком смысле случилось, что я увидел танцующих девушек? Ведь употребить этот термин или не употребить – существенно, потому что если это переживание для меня не случилось в своей определенности, то есть если оно не произошло одновременно и в пространстве смысла, а произошло только в пространстве физических ощущений (ну, девушки танцуют, и я не воспринял этого, не расшифровав в движении смысла), если оно не произошло в пространстве смысла и тем самым не определилось, то оно вступило совсем в другие ассоциации в нашей психической жизни и получило совсем другой путь. То есть это наше переживание пошло одним путем в нашей истории, в биографии, во внутренней истории, если не было измерения смысла и понимания, а если было измерение смысла и понимания, то оно пошло другим путем. Например, в одном месте Пруст говорит о фигуре, которая участвует в его приключениях, – шофер автомобиля, который его возит, и **как** об этом шофере можно сказать, что он есть завершённое или определенное событие, явление в жизни Марселя, если, как потом говорит Марсель, он не знает, что этот шофер одновременно связан (является *faktotum*, доверенным лицом, то есть оказывает за деньги услуги) и с Шарлю, и с Морелем (музыкант Морель – возлюбленный Шарлю, мужского рода). И Марсель замечает, что если бы он знал, что фигура этого шофера прорастает и в эти точки пространства и времени – связана с Шарлю, который есть участник жизни Марселя, связана с Морелем, который, будучи возлюбленным Шарлю, тоже является участником жизни нашего героя, – то он избежал бы очень многих огорчений в своей жизни и очень многие вещи в его жизни просто не случились бы, если бы он просто читал то, что было перед его глазами. Но поверните это снова в сторону терминов, которые мы употребляем: событие «шофер» является **определённым** событием, о котором мы можем сказать, что мы его восприняли и оно случилось, если оно дано в нескольких измерениях, в том числе в измерении смысла и понимания, – оказывается, «шофер» случается как событие нашей жизни и в измерении пространства смысла и понимания.

Значит, нечто, что мы можем в принципе пережить только в последовательности, – на вершине нашего самосознания. Как если бы мы были бы существами Пуанкаре, то есть жили бы на поверхности некоторой сферы, и в силу наших же собственных сокращений, а в данном случае игры желаний, открывающих бесконечность, мы в силу этого не могли бы на поверхности сферы воспринимать того, что происходит в других срезках. Скажем, в глубинах этой сферы не могли бы воспринимать, что она вовсе не есть бесконечная

поверхность, а есть в действительности замкнутая сфера, замкнутый объем. Мысль о таких объединениях может быть разумной для нас только при допущении, что есть еще какое-то другое измерение, потому что в физическом измерении на самой поверхности объединить эти вещи невозможно, – как бы мы ни критиковали последовательность, как бы мы ни показывали, что в последовательности с нами случаются такие неприятные вещи: мы устремляемся в бесконечный бег, который раздирает нашу душу, который подводит нас к столь же пустой и отрицательной идее смерти и т.д., – мы не могли бы ничего этого сделать. И это дополнительное измерение Пруст, как мы видели прошлый раз, вводит одним словечком, которое у него всегда фигурирует там, где он обсуждает проблему произвольных воспоминаний, произвольной памяти, – проблему совмещения какой-то вещи, случившейся в прошлом, с теперешней вещью, но такого совмещения, что речь идет не о том, что случилось в прошлом, и не о том, что происходит сейчас, а о чем-то **между** ними. Этим словечком «между» – как будто существует невидимая среда, раздвигающаяся или открывающаяся там, где – для нашего взгляда – на самой поверхности вещи слеплены, даже прошлое слепилось с настоящим, оно на него похоже. Скажем, неровные плиты площади перед собором Святого Марка и неровные плиты во дворе дворца Германтов, казалось бы, просто совпали, сходны, и поэтому вспомнились. Да нет, Пруст говорит – не то, и не это, а то, что **между...** Вот этим словечком «между» он вводит некоторое пространство художественного построения, в котором то, что мы **узнаем** о мире, и то, что происходит – не только то, что мы узнаем, но и то, что происходит, дается метафорой. Метафора есть нечто, как я показывал вам, что, будучи вне наших связей, открывает нам такие соединения, которые тоже находятся вне наших категорий, наложенных на мир. В этом смысле последовательность – та, которая есть на поверхности, есть наша категория, а то, на что она наложена и чего она не позволяет видеть, есть реальность. И метафора потому позволяет нам соприкоснуться с реальностью, что она соединяет вещи, находящиеся вне наших связей, – метафора ведь по определению соединяет нечто, что само по себе не связано, что разнородно и что далеко одно от другого. И вот я сказал, что метафора есть не только устройство нашего художественного воображения, а есть и что-то **происходящее в жизни**. И потому – «прожитая метафора». В метафоре происходит то, о чем говорит Рильке: в срезе простого бытия, наличия-бытия и совместно-бытия, непрерываемого, – те части, которые никак не связаны в наших категориях, находятся вне наших связей, разнородны сами по себе, далеки (так же, как двор Германтов далек от площади Святого Марка в Венеции), устремятся друг к другу. Представьте себе некоторое измерение или пространство, обозначенное словом «между», и в нем эти части устремляются – по родству – друг к другу, что и составляет, по глубокой мысли Пруста и Рильке, время, – но не время последовательности, а другое время, взятое вместе с пониманием и смыслом, – что и составляет структуру истории. И эта структура истории есть одновременно нечто данное в **вечном настоящем**. То, о чем говорит Рильке как о непрерываемом, простом совместно-бытии всего, есть то, что философы называли «вечным настоящим».

И сейчас я попытаюсь расшифровать то, что в этом способе введения «вечного настоящего» дано или обозначено словом «непрерываемое». Только оговорим следующее: объединяется то, что дано в пространстве **одной метафоры**. Или: отныне сродное – **после** метафоры началось сродство – и близкое устремятся одно к другому, независимо от физической разделенности в пространстве и времени, независимо от того, что Венеция далека от Парижа, и, более того, независимо от того, что какие-то явления происходят на звезде Сириус. Если там есть сознательные существа, они могут оказаться мне ближе, чем сидящая, или стоящая, или лежащая рядом со мной Альбертина. Если

свойства, качества, проявления жизни Альбертины не получили места в одной метафоре, тогда они, не будучи в пространстве метафоры, не могут сблизиться и сойтись со мной. Пометим пункт, что сходится только то, что находится в пространстве метафоры; то, что в разных пространствах, – не может сойтись, а то, что в пространстве метафоры, – может сойтись. Но пространство метафоры не есть наше наглядное пространство на поверхности или в последовательности нами проходимое: то, что – **разное** в последовательности, может быть **одним** в пространстве метафоры, и наоборот, то, что – разное в пространстве метафоры и что тем самым не объединимо одним движением, может быть одним или рядом на поверхности. Пруст все время подчеркивает, что речь идет не о расстояниях, измеряемых метрически, а о расстояниях душевной жизни.

Так вот, с этим предупреждением мы должны взглядеться в знак непрерывности или непрерываемого наличия. Здесь имеется в виду та глубокая вещь, о которой нам уже приходилось говорить, а именно: то, что мы делаем, то, чего мы желаем, может, с одной стороны, осуществляться только **непрерывно** – если в каждый данный момент самого действия сходятся вместе все его элементы, а с другой стороны, – поскольку этого схождения никогда не бывает – эта непрерывность в нашей жизни всегда **разрывается**. Допустим, я замышляю военное действие, обозначим его буквой «С»; чтобы достичь этого «С», я действую на какое-то «В», и пока я действую на это «В», результат моего действия в «В» оказался таков, что он исключил, что, когда я подойду к «С», я смогу сделать то, что я хочу: здесь какая-то непрерывно движущаяся реальность, а я в своем действии не могу ее держать. Более того, здесь происходит очень важная (для нашей душевной жизни) вещь, состоящая в том, что то движение, которое происходит в непрерывности или должно происходить в непрерывности, – мы на него оказываемся неспособными просто потому, что мы не можем на этой непрерывности разместить бесконечное число элементов, которые эту непрерывность должны слагать; мы ведь действуем в конечном пространстве и времени, мы не можем одновременно всего, но именно потому, что мы можем только нечто одно или два, пока мы это могли – два, то, что мы смогли, сместило уже то – что мы думаем, – что мы могли бы сделать в следующий момент, и когда мы к следующему моменту подошли, мы уже не можем этого сделать – это уже сместилось. Это, конечно, звучит очень абстрактно, но более конкретно выразить – нет никакой возможности. Если у вас будет время, сами посидите и подумайте, возьмите такой прозрачный текст Толстого, если вам не очень скучно будет читать эти рассуждения (обычно они читателем пропускаются, потому что кажутся инородными в романе «Война и мир»); но вы посмотрите там, как Толстой обсуждает проблемы военной стратегии. Его интересует, в каком соотношении находятся, с одной стороны, человеческие намерения, то есть индивидуальные действия, имеющие цель, выполняемые с энергией человеческого лица, человеческой личности, и, с другой стороны, реальность, в том числе реальность военного действия. И он все время показывает, что все происходит не так, как происходит в наших тактиках, в наших целесообразных действиях; там варится какая-то другая история. И кстати, Толстой на своем опыте испытал, что существует **непрерываемое движение**. В его измерении связываются нити того, что с нами действительно произойдет, а не то, что мы перед собой ставим как цель, для которой подыскиваем средства. И вот цели и средства – в одном измерении, а тайные сцепления, вызываемые именно непрерывностью и нашим местом – конечных существ – в этой непрерывности, эти сцепления – совсем другое.

Так вот, сложность состоит в том, что непрерывное движение есть одновременно или выражено одновременно и на уровне непрерывной

совместности человеческих существ. То есть то, что собирается делать человек, любящий Альбертину, есть движение, придающее смысл и ценность самой Альбертине. Слушайте сейчас внимательно, это сложный пункт: мы ведь знаем, что никакой человек сам по себе не имеет таких качеств и свойств (как статичный объект или статичный характер), наличие которых объясняло бы чувство любви к этому человеку. Я показывал на разных примерах, что то, что называется любовью, любовным желанием, имеет совсем другую структуру и совсем иначе складывается. Любовное желание разворачивается в пространстве пафосов и страстей, которые содержат в себе **феномен бесконечности**, то есть реализации самого себя в том, что мы считаем достойным, и эти реализации самого себя в том, что мы считаем достойным, лишь сцепляются с какими-то объектами. Приводя вам цитату из Аристотеля, я говорил вам, что уже Аристотель понимал, что в любви причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Причина – в данном случае – не свойства объекта любви (это была бы важность объекта любви), а **смысл**, который мы вкладываем, без выполнения которого нам жизнь вообще в мире была бы непредставима. Если вообще человеческие отношения к возвышенному, благородному совместились с образом Рахиль, то ясно, конечно, что это говорит о том, что то, почему мы любим, важнее того, кого мы любим, так ведь? И дело в том, что любовь, скажем, Марсея к Альбертине есть одновременно, будучи таким движением, во-первых, шанс и самой Альбертины: то, что будет происходить в этой связи, зависит и от того, что делает Альбертина с любовью к ней Марсея. Или, иными словами, Альбертина (или Рахиль для Сен-Лу) может реально обрести ту ценность, которую, как шанс, дает ей любовь Марсея. В луче любви Сен-Лу актриса Рахиль может реально стать великим и благородным образом. Так же как те чувства, высокие чувства, которые я испытываю (когда бегу на свидание) в своем движении и тем самым в существовании того, к чему это движение направлено, к чему оно стремится, зависят от того, окажется ли в точке свидания человек, который сделает шаг в сторону переполняющих меня высоких чувств, откроет ли он дверь для того, чтобы в него вошли эти чувства, или не откроет, будет эта корреспонденция или не будет. Обычно мы ведь считаем, что, скажем, поэзия или поэма как бы – или описывает какой-то предмет в мире, или выражает какие-то чувства, которые предсуществуют до написания поэмы. Все художники в XX веке уже ясно понимали и предупреждали, что поэзия не есть чувство – в том смысле, что то качество мира, поэтическое качество мира, которое выразилось в поэме, не существовало в мире как возможность, – написав поэму, **я делаю его возможным**; то же самое – придание **ценности** объекту любви делает его возможным, но одновременно и зависимым от того, в каком движении находится объект. Художник в действительности не реализует предданный образ или предданную мысль, а в пространстве его произведения или его творчества случается какое-то событие, после которого кристаллизуется то, что называется образом, пониманием, мыслью и т.д. А в наших пафосах и страстях акт придания ценности делает возможным ценность, – Альбертина не имеет ценности, из-за которой я ее люблю, это моя любовь есть шанс, что эта ценность случится в мире, но это зависит и от Альбертины. Условно скажем так: возможность того, что что-то произойдет, должна быть уже **потенцирована** какой-то деятельностью. Скажем, в силу законов воображения (я их описывал на прошлых лекциях) я могу вообразить Турень и не могу вообразить Бальбека, и тем самым событие, что в мою голову придет вообразенная Турень, потенцировано (здесь мы как бы в квадрате; я имею в виду потенцированную возможность, хотя, казалось бы, возможность сама есть потенция). И раз существует непрерывное движение, то возникает очень забавная вещь. Существование такого движения предполагает способность

человека **держать время** или терпеть, потому что размерность этого потенцированного бытия, в котором справедливость существует **после** написания закона, ценный предмет любви существует **после** любви и т.д., эта размерность несопоставимо больше размерности в последовательности развернутых сцеплений предметов и реакций: наших минутных страстей, минутных желаний, минутных appetitов, минутных честолюбий. То, что варится там, требует терпения и труда, требует веры, то есть допуска того, что то, что там будет делаться, или то, что делается в этой непрерывности, никак не имеет по отношению ко мне никаких намерений; делается не для того, чтобы мне причинить радость или причинить зло (не направлено по отношению ко мне), а потому, что не может не делаться, без делания ничего не существует (закон должен писаться, чтобы после него была справедливость). А наши минутные требования и минутные ожидания вторгаются в эту непрерывность и дробят ее, они требуют, не имея терпения, не имея способности держать время, сразу же требуют практической реализации.

И вот то, что требует держания, называется в философии «тайной времени», называется «тайными путями порядка», и это же называется «вечным настоящим». Это довольно растянутая область, – а мы обычно настоящим называем какое-то мгновение, через которое прошлое перекачивается в будущее или, наоборот, будущее уходит в прошлое, становится прошлым и уходит. В действительности, как мы видим, это довольно объемная и весьма динамичная область. В этой области помещается громадное потенцированное бытие и, конечно, совместное бытие (как в той цитате, которую я приводил), потому что там то, что случится в моем движении, совмещено с тем, что сделает Альбертина, и это – непрерываемое наличие. Следовательно, «вечным настоящим» мы называем что-то непрекращающееся, хотя и не являющееся мгновением. Какая-то закрутившаяся и вращающаяся в непрерывном движении туманность-вселенная, вращающаяся в глубине «вечного настоящего». То, что – в глубинном срезе пирамиды сознания у Рильке, это есть глубина «вечного настоящего», в котором как бы варятся вещи, предполагая на нашей стороне задержку, стояние, подвешенное время, которое есть держание времени, в нем же – то, что я называл *é cart absolu*, абсолютный подвес, абсолютное отстранение себя от самого себя и от мира, там же – сомнение во всем, в принципе. И это «вечное настоящее» есть какая-то вращающаяся туманность, в которой происходят бури, катастрофы: как бы все время в этой насыщенной и турбулентной атмосфере происходят электрические разряды, молнии, которые кристаллизуют. По аналогии с тем, что справедливость – после написания закона, или мир образа – после образа, – мы можем говорить, что здесь **после первотолчка** какого-то события, сцепления, молнией происходящего, после него можно наблюдать, что Альбертина так прекрасна, почему я ее и люблю, – после этого связываются наблюдения. Есть лицо Рахиль, которое связано с восприятием Сен-Лу, не будучи связано с восприятием Марселя: для Марселя – лицо в общем смысле слова, это – в безразличной области. Но теперь я хочу сказать, что **в безразличной** области, когда наблюдение лица Рахиль вызывает какое-то состояние у маркиза Сен-Лу, это – продукт **кристаллизации**. Или – теперь какая мысль нам важна – то, что мы реально наблюдаем, что одно ведет к другому – «А» ведет к «В», это – **после** какого-то первотолчка события, молнии. И я уже частично вам говорил, что можно сказать так: первообраз прустовской мысли – это некоторое патематическое пространство, некоторое пространство пафосов, пространство каких-то фиксированных точек интенсивности, которые являются следами событий или занимают то место, где происходило событие-молния. И то, что попадает в пафос Сен-Лу, а именно: стремление к высокому и возвышенному и т.д., – оно способно кристаллизовать в нем и связать вместе наблюдения, реально

происходящие: вид лица Рахиль есть для него источник индивидуализирующей эмоции, а не нечто имеющее лишь общечеловеческое значение. Так вот – некоторые фиксированные точки интенсивности и смертельная игра перекрещений и раскрещений лучей взглядов из этих точек интенсивности: как бы над нашими головами есть небо, как выражается Пруст, «моральное небо», составленное из скрещивающихся и раскрещивающихся лучей, источаемых этими точками интенсивности. Кстати, расшифровкой этой внутренней структуры прустовского взгляда является описание Прустом военного неба над Парижем, где скрещиваются лучи прожектора, выхватывая на какие-то доли секунды самолет или дирижабль в небе. Это удивительно физическое описание, которое, казалось бы, никакого отношения к скрытым механизмам самого романа не имеет, в действительности есть просто физическая аналогия, физическая метафора того, как устроен взгляд Пруста, взгляд, падающий на людей, на события, а не просто на ночное небо, освещенное прожекторами. У него все события и все люди как бы растворены, подвешены в этом небе, где лучи пронзают так – чтобы слепить то, что они пронзили, как в луче из точки интенсивности у Сен-Лу слепились Рахиль и его собственное состояние... и за ней «захлопнулись золотые двери мира грез», – или, наоборот, тупо отскакивают, не слепляют, не проникают.

И вся эта область, как это небо, держится и очерчивается напряженными граничными состояниями, которые сами меняются: границы перемещаются в зависимости от пути, который проделывает человек, в зависимости от того, извлекает ли он смысл из своего опыта или не извлекает, преобразует ли он себя в своем опыте или не преобразует, то есть эти граничные состояния как бы подвижны и мигрируют в этой среде. И эта среда есть то, что Пруст обозначает словом «между», тем самым как бы блокируя и нейтрализуя наш наглядный взгляд. Мы не видим этой среды (как не видим атмосферного давления), мы нашим привычным наглядным взглядом выделяем отдельные существа, называемые людьми, и границы своего тела, отделенные от среды, мы имеем, будучи границей своего тела отделены от среды, свой внутренний мир, – вот этот взгляд Пруст блокирует. Он как бы нейтрализует различие среды и выделенного индивида: у него то, что происходит в индивиде, происходит как бы в каком-то межсреде, или само человеческое существо (как его состояние) есть нечто живущее в «между», – мы как бы существа среды, а не существа, спрятанные под оболочкой нашего тела, которое дискретно и выделенным образом выделяет нас из среды. И поэтому то движение объединения, которое происходит в глубоком срезе объединения того, что на поверхности в последовательности разделено, это движение объединения есть движение (нужно представить себе образно) выворачивания внутреннего и овнутрения внешнего, то есть опять – нейтрализация традиционных различий внешнего и внутреннего. Я об этом вас предупреждал в прошлый раз, когда говорил, что то, что мы понимаем, оказывается, не есть вживание, потому что мы понимаем что-то, из чего убраны человеческие переживания. Я ведь говорил вам: только время в чистом виде есть то, что может быть втянуто в это непрерывное движение в «вечном настоящем», потому что во времени как таковом, не в чистом виде, а как таковом, мы совмещены в наших переживаниях с тем представлением, которое мы имеем о причинах этих переживаний, и экран этот мы расцепить там не можем. А чистое время есть расцепленный экран, и когда мы расцепили экран, оказывается, мы вовсе не в душу человека проникаем – почему? Да по одной простой причине – Рильке говорит, что «основания, которые в нас и, соответственно, под нами, уходят глубоко в ширину...» того, что есть под нами (именно под нами, но все-таки не внутри нас), мы-то ведь тоже сами не знаем, мы сами этого не переживаем (мы переживаем причины наших переживаний;

само переживание содержит сознание причин переживания, как я вам говорил), – это **под нами**, и вот то, что – под нами, и выворачивается в этом «вечном настоящем» или в сфере, выворачивается наружу в виде эквивалентов.

Если вы возьмете текст Пруста, вы буквально через каждые двадцать; тридцать страниц увидите эту проблему эквивалентов, которые у него называются то «духовным эквивалентом моего переживания или состояния», то «материальным эквивалентом», то есть таким объектом в мире, реально в нем существующим, который максимально прозрачен по своей материи для состояния, которое им обозначено. Ну, скажем, настоящий голос певца, который полностью совпадает и является развитием выражаемого им содержания, не привнося ничего от себя, – привнесение от себя чего-нибудь превращало бы материю голоса, материю ритма, материю интонации в нечто непрозрачное. А вот такая материя, которая прозрачна для того, что она в самой себе держит, и содержимое в материи никак не замутняет этой материи, – это есть эквивалент. Условно скажем так: материализованное существование вывернутой наружу внутренности, но внутренности – не человеческих переживаний, а того в нас, чего мы сами не знаем, что в нас действует, но доступно нам тогда, когда это внешним образом существует, внешним образом материализовалось в виде эквивалента. И такими эквивалентами для нас могут быть не только материальные вещи, которые чаще всего искусством создаются, это могут быть и эквиваленты, объединяющие разные точки пространства и времени, эквиваленты, скажем так, – судьбоносные, вернее, эквиваленты, которые являются (я не помню, кажется, Рильке это говорил) вокабулами нашей беды, или нашего страдания, или нашей нужды. Сейчас я поясню, что я сказал. Ведь я говорил о том, что факт непрерывности движения, особого движения – придания смысла, придания справедливости и т.д., – имея особую размерность, большую, чем размерности кусков нашей последовательности, то есть кусков наших непосредственных желаний, appetитов, скорости наших честолюбий или вообще нашего человеческого материального нетерпения, – эта непрерывность требует от нас держания времени, требует от нас способности пребывать в «тайне времени», требует от нас терпения по отношению к тайным путям порядка, в котором мы должны допускать шансы других. (Других мы должны воспринимать как делающих что-то, и это делание не направлено по отношению к нам никоим образом не имеет по отношению к нам намерений.) Я говорил вам уже в самом начале, что дети воспринимают мир так, и советские граждане тоже так мир воспринимают; мы же общество инфантильных дебилов, в котором все, что происходит, происходит, чтобы нам что-то сделать – или хорошее, или плохое, – вот это пример неспособности держаться в «тайне времени». Эта «тайна времени» означает еще одну простую вещь, и вы сейчас поймете, потому что термин, который я хочу употребить, прокрыв им способность держания «тайны времени», я уже употреблял в другой связи, когда рассказывал о точке труда жизни: некоторое подвешенное состояние, в котором происходит какая-то интенсивная деятельность, не дающая никакого продукта, и которое образно можно назвать «трудом страдания», или «трудом траура», если угодно. У Фрейда есть выражение – «труд траура», – когда мы держимся в страдании или в труде жизни, в тайной химии жизни, не пытаюсь его разрешить или заместить чем-нибудь. И вот в этом труде страдания мы можем быть одновременными каким-то внешне зафиксированным, происшедшим, материализованным человеческим судьбам и примерам, когда эти внешние события являются, как я сказал уже, **вокабулами** или слогами, составными буквами **моего состояния**. Конечно же, для христианина вокабула его терпения и бодрствования – исторически случившееся событие под название Христос; это – эквивалент. Я предупредил

вас, что эквиваленты – не только те, которые производятся певцом или производятся искусством вообще, но и в истории есть объединения различных точек пространства и времени в «вечном настоящем», объединения по эквиваленту, который есть вокабула или вокабулы нашего – чего? – **пребывания в вечном настоящем**. Эти вокабулы есть те вхождения в универсальную душу, которые Пруста интересуют. Причем я взял самую яркую вокабулу, самую несомненную вокабулу, – скажем, сама история человека под именем Христос – вокабула нашей нужды, – а только в нужде мы находимся в «тайне времени» и в «вечном настоящем». А что такое «вечное настоящее»? Вечное настоящее – это то, в чем варится то, что всегда случается, вечно случается. Понимаете, как бы мы ни менялись, мы всегда стоим перед проблемами реализации своего желания, своей жизни, собирания ее и реализации ее в целом, это же вечно делается. И когда мы будем умирать, мы будем ведь оценивать то, как мы жили, и смысл того, что мы в жизни испытали и как мы прожили нашу жизнь, по этим знакам или критериям, а они, оказывается, – те же самые проблемы, внутри которых находились люди тысячу лет тому назад или на расстоянии тысячи километров от меня, одновременно со мной, но очень далеко от меня и т.д. И вот это есть «вечное настоящее», в этом смысле слова, в смысле **вечной драмы человеческого бытия**.

Вечная драма человеческого бытия (или «вечное настоящее») представлена в виде веера, пример которого я вам приводил. А теперь представьте себе створки этого веера в виде эквивалентов, то есть реализованных, материализованных внешним образом вокабул или элементов (как есть элементы азбуки) моего состояния, моего реального – сейчас и здесь – бытия. Значит, в этом «вечном настоящем» происходит какое-то совмещение нас с другими людьми по каким-то линиям; одной из таких линий является то, что у Пруста называется эквивалентом. Таким эквивалентом может оказаться книга, написанная другим человеком, личностное исполнение каким-то другим человеком всего целого своей жизни в каком-то подвиге. И соотношение с этим эквивалентом есть **выпадение** человека из прилегающих к нему жизненных обстоятельств и поддержание какого-то вечно живого состояния. Скажем, в каком-то смысле для нашей грузинской души такими вокабулами, конечно, являются стихи Галактиона Табидзе, – но обратите внимание, что мы очень часто бываем прагматиками или материалистами в том смысле, что воспринимаем поэмы и стихи как вещи, которыми наслаждаемся, которые потребляем, и не замечаем того, что в действительности с нами происходит, если вообще что-то происходит, потому что может вообще ничего не происходить, но если происходит, ну, конечно же, это есть **участие** в длении того состояния, которое есть поэзия Галактиона. И задайте себе тогда вопрос: в каком времени это происходит? Ни в каком – это и есть само время. Оно отложит время – так же, как написанный закон творит справедливость, а не наоборот, – **то**, что **потом** будет дифференцироваться и различаться как временные последовательности. А мы можем лишь **держаться** это состояние. В этом смысле – вечно живое состояние. Условно это можно назвать абстракциями порядка, или онтологическими абстракциями порядка – мы отвлеклись от окружающих нас предметов, от окружающих нас людей, от окружающих нас проблем – не просто силой мысли, а реально отвлеклись, – мы оказались в чистом времени и в чистой вере. В каком смысле слова? Ведь в чистых явлениях сам предмет этих явлений, скажем, предмет веры, есть что-то, что в акте веры существует и поддерживается. Не содержание какое-нибудь – оно отвлечено оттуда, не эмпирическое что-то, а чистая вера. Или чистый акт письма – писать имеет смысл (и стоит на это тратить энергию) лишь то, что нуждается в этом акте письма в том смысле, что лишь в этом акте будет

существовать. И законы пишутся и имеет смысл писать такие, в написании которых существует справедливость, а законы – вещь весьма формальная, абстрактная, отвлеченная, так ведь? Так вот, поэтому я назвал это абстракциями, но – онтологическими или бытийными абстракциями порядка. И сейчас нас интересует то, что внутри этих абстракций порядка существует целая область, целый объем времени и пространства, в котором все вещи – в последовательности разновременные – одновременно оказываются вместе. Мы можем оказаться современниками Табидзе или современниками Платона в смысле пребывания внутри одной онтологической абстракции порядка. Вот что скрывается в том глубоком срезе, о котором говорил Рильке, – что в некотором глубоком срезе этой пирамиды сознания с нами может случаться простое бытие; вот вам – простое бытие.

Значит, эквиваленты – это внешнее, зафиксированное **существование внутреннего**. Но, повторяю, не того внутреннего, которое есть в нашем субъективном мире, который мы привыкли называть внутренним, а такого, которое и под нами – **нами**, но **под** нами. И эквиваленты находятся во внутренней связи с нашей душой, с тем, что лишь под знаком вечности может быть испытано. То есть я показал фактически, что лежит в этом глубоком срезе, показал целую область «вечного настоящего» – весьма растянутую область – составленную онтологическими абстракциями порядка, которые сами есть пространство и время, и лишь после которых есть различия уже и в нашем эмпирическом пространстве и времени, в нашей эмпирической временной последовательности. Кроме того, я сказал, что, например, справедливость, – после написания, объект любви или ценный объект любви – после любви, но – в тайне времени, – опять же в большой области, которую нужно держать и терпеть. И этот труд терпения часто называется страданием. Поэтому Пруст не случайно говорит о том, что многие вещи у него объединены в одновременности страдания. То есть вместе-наличие или вместе-бытие есть то, о чем теперь можно говорить как об единственном, создающем одновременность: мы одновременны в труде жизни, в задержанном, подвешенном труде жизни, или в страдании, это одно и то же. И вот тем самым я говорю, что мы нечто можем воспринять, – слово «воспринять» я употребляю здесь терминологически, так же как я употреблял слова «воспринять с определенностью» или «случилось» – «определенно случилось»; но не обо всем, что мы эмпирически видим, можно сказать «случилось», то, что мне показалось и смысла чего я не понял, об этом ощущении я не имею права сказать, что оно имело место, и оно не имело места еще и потому, что не имело никаких вечных или неизменных частей, которые включили бы его в космический порядок, а космический порядок дан в области «вечного настоящего», то есть в области онтологических абстракций порядка, – так вот, нечто мы можем воспринимать (в этом строго терминологическом смысле можем утверждать аксиоматически) лишь под знаком вечности. То есть в «вечном настоящем». Это относится к тому, как я могу сказать: «испытал любовь» и т.д., десятки других человеческих состояний и чувств. Можно сказать «испытал», только если состояния проходили под знаком вечности, если мы «подвесились» под этим знаком и держали время или «тайну времени», в которой лишь можно действительно испытать то, что испытываешь. Ведь если мы говорим, что мы действительно испытали что-то, если мы собрали себя, реализовали себя, развили себя, если мы так оцениваем жизнь, то, следовательно, мы оцениваем жизнь независимо от материальных компонентов этой жизни, то есть независимо от того, что это жизнь грузина, живущего в теперешней Грузии, – совершенно другое общество, совершенно непохожее на то, каким было греческое общество; но, оказывается, есть точка, в которой мы переживаем нечто под знаком вечности – стоим перед той же проблемой, перед

которой стоял античный грек, перед которой оказался Христос и т.д., и т.д. Вот какую странную вещь мы можем сказать о самом факте испытания или переживания, вот что значит «испытать» и «пережить». Точно так же ведь есть вещи, которые мы, в принципе, не можем знать, не проделав этого испытания (знать что-то умом, прикидкой нашего мышления, расчетом, эмпирическими переживаниями). Что-то открывается нам, только когда мы оказываемся в каком-то определенном месте, и поэтому, скажем, человека нельзя остановить, когда он идет на какое-то испытание, – по той простой причине, что без этого он не может узнать. (Бессмысленно было бы останавливать Сократа, когда он хотел умереть, потому что он что-то хотел знать, что он мог знать только там, то есть в момент смерти.)

То, что я сказал об эквивалентах, в рамках которых наши испытания имеют знак вечности, нужно связать с тем, что я говорил вам раньше о возможной нашей жизни в мире света уже потухших звезд. Лишь в измерении эквивалентов, которые являются как бы воротами, ведущими нас в область «вечного настоящего», мы единственно спасаемся от возможности, что мы могли бы оказаться в мире потухших звезд: когда мы как призраки и тени имеем в себе такие переживания, которые есть лишь остаточный свет давно погасших очагов и источников. Или, иными словами, эквивалент для Пруста есть опять та же самая проблема, которая его мучила, – проблема реальности самого себя, своего сознания, своих переживаний, реальности делаемого (произведения искусства), реальности души и т.д. Без измерения, обозначенного эквивалентами, мы как тени переживали бы теневые события или просто не были бы живыми, то есть были бы теми, о которых можно сказать словами Франсуа Вийона (он имеет в виду любовное разъединение, но у него любовное разъединение есть образ всякого человеческого разъединения) – *vivre sans vie comme les images*, «жить без жизни как образы». Так вот, имея через эквиваленты дело с вечно живыми состояниями и тем самым самому оказываясь живым, потому что живо лишь то, что является частью жизни, – если оказалось, что наши переживания есть часть вечного состояния (скажем, если наши переживания являются лишь формой дления состояния, зафиксированного поэзией Галактиона), то мы живы. Мы живы – возрождая жизнь других. Об этих эквивалентах можно сказать неожиданную вещь. Они регулируют и акты нашего понимания: вдруг поняли, вдруг сообразили, увидели истину и т.д., регулируют их довольно неожиданным образом (перед этим я эквивалентами называл довольно возвышенные вещи): то, что срабатывает по закону эквивалентов или является внешне фиксированным, материализованным, вещественно материализованным нашим состоянием (что-то в себе мы понимаем, если встречаемся с эквивалентом, в том числе мы понимаем и тогда, когда вообще хотим, скажем, узнать правду от лгущей нам женщины). Пруст называет «вещественными кусками правды». Такими эквивалентами для древнего человека были иероглифы, – ведь вот то, что я назвал вещью, являющейся эквивалентом, или – вещественно и внешне фиксированное состояние смысла и понимания, это и есть, конечно, то, что называется обычно иероглифом. Иероглиф есть изображение, не отсылающее – как слово отсылает к какому-то референту вне самого себя, а само же являющееся и своим смыслом. Такими иероглифами, или эквивалентами смысла, материальными эквивалентами смысла для древнего человека были, скажем, звезды на небе, ведь по звездам читали душу, и Пруст, кстати, все время вспоминает эту древнюю тему, и вспоминает ее в тех случаях, когда у него по смыслу эквивалентом оказывается краска на щеках Альбертины: покраснели щечки Альбертины, совершенно вне связи с ситуацией, со словами, которые говорятся, и именно потому, что они – вне связи рассуждений, вне связи рассказа, именно потому они говорят правду, – это эквивалент (в том же

самом смысле, в каком я «эквивалент» применял к более возвышенным вещам). Или – эквивалентами являются – то, что Пруст иногда называет «вещественными кусками правды», каковой может быть, например, шутка. Нечто, что не имеется в виду и говорится шутя, и через полчаса оказывается самой настоящей правдой; чаще всего, когда мужа шутят о своих изменяющих женах (шутя говорят об измене жены), это всегда есть «вещественный кусок правды» – действительно изменяют, или уже изменили, или изменят через полчаса. Шутка ведь есть нечто вне серьезной связи, «вещественный кусок» в этом смысле; правда – эквивалент, встретились – прекрасно. Или: встретились с Христом – прекрасно – эквивалент. На уровне встречи с Христом встреча с краской, прилившей к щекам Альбертины. (Я же вас предупреждал, что низкое и высокое близко стоят друг к другу. И, как я говорил вам, из рекламы мыла можно извлечь столько же мыслей, если не больше, как и из чтения книжки Паскаля «Мысли».) Или печень животного может быть эквивалентом – по печени, если вы помните, гадали древние; она распластана определенным образом, и вот она – эквивалент, «вещественный кусок правды». Или, как выражается Пруст, «вещие полеты птиц» (вы знаете, что по полету птиц тоже гадали); Пруст говорит: некоторые слова как *les oiseaux prophé tes* (профетические птицы) есть внешне вещественно фиксированное существование истины, правды о чем-то.

Я мимоходом сказал вам о жизни: мы живы, или что-то в нас является живым в той мере, в какой мы оживляем других. Христианин в каком-то смысле ведь уверен: ровно в той мере, в какой жив Христос – не умер на кресте, а умирает, – в той мере жив он сам. Следовательно, то, что мы называем жизнью, есть нахождение человека внутри вечного акта, вечно свершаемого, – такого, о котором никогда нельзя сказать, что он свершился, – он **вечно вершится**. И поэтому один из христианских мистиков как-то сказал – и тем самым выразил глубокое понимание того, как устроена структура нашей души и истории, – Христос мог тысячу раз родиться в Вифлееме, но если он не родился в твоей душе, ты все равно погиб. Обратите внимание, что свершенность чего-то в прошлом никогда не является для нас никакой гарантией, никакой основой, и на это никогда нельзя положиться: упокоить в том числе добродетель, упокоить счастье и мир или спасение своей души – не получится. Жить можно только внутри рождающегося в тебе – другого, в тебе продолжающего свою жизнь, – если другой жив, жив и ты.

И вот, держа в голове эту зависимость, подумаем теперь о теме, которую я уже частично намечал и которую сейчас нужно развернуть в некотором прустовском пространстве встреч, переплетений и взаимооживлений людей. Я уже говорил вам, что проблема любви или испытание чувства любви есть для Пруста такое испытание, в котором испытующий должен выйти в любовь всех – в универсальную любовь. И здесь есть одна тонкость, – и почему, собственно говоря, существует этот самый сложный путь испытаний, который описан в романе, причем описан в очень сложной форме, которая имеет много перспектив, где ничто не излагается в одной перспективе, ничто не объединяется с одной какой-то точки зрения, а всегда дается как-то объемно, в перекрещении многих перспектив, – эту тонкость я называл невозможностью человеческой жизни в строгом смысле этого слова (нужно суметь посмотреть отвлеченно и умозрительно на человеческую жизнь, чтобы уловить умозрительный, а не буквальный смысл этого тезиса). То, что складывается только в движении, **это** сплетается, и возможность Марселя, жизненная возможность, есть одновременно нечто зависящее от того, что сделает Альбертина, поскольку по определению сама любовь Марселя есть также шанс и Альбертины. Нечто после письма любви или «письмения» любви может стать в мире – случиться в мире может Альбертина, достойная этой любви. То есть,

любя Альбертину, Марсель делает ее достойной любви. Но шанс по определению есть нечто, что можно использовать, а можно не использовать (что может или не может использовать Альбертина). Следовательно, то, что случится в мире, зависит от пути, который проделывает Альбертина, от ее развитости и от ее движения: если оно не совершилось, то это делает невозможным человеческое чувство Марселя. В строгом смысле слова оно есть невозможное нечто, потому что слишком многое ему должно благоприятствовать, слишком многое зависит от других людей, которых Марсель не контролирует. Он же не имеет контроля над Альбертиной, он лишь шанс ей дает, так же, как она ему, это все взаимно переплетено. И насколько трудно представить себе, что могут вместе, в одной точке пространства и времени сходиться столь различные вещи, зависящие от столь различных людей, – что именно в **человеческой** своей свободе эта вещь оказывается невозможной. Я говорил вам уже в другой связи, что в самом законном своем свободном человеческом движении нельзя, оказывается, ни огорчить, ни обидеть. То есть движение-то по исходному смыслу невинно, оно есть как раз то, о котором я говорил, что в нем никаких намерений нет, потому что просто должно делаться, без движения ничего нет, а движение самодостаточно, спонтанно, ненамеренно в смысле зла и добра. И вот как развернуть себя в нем, не задевая локтями других, которые могут оказаться вовсе не на волне этого движения, совсем не на том уровне свободы и развитости, на котором твое движение происходит... Святой Павел говорил в одном из своих посланий: «А не опасаться ли ты, что твоя свобода опасна для твоего соседа?» А как быть с соседом в движении своей свободы? Значит, я должен это движение останавливать, если я боюсь греха, боюсь обидеть другого, принести ему горе. Невозможна в куске времени, в ограниченном куске времени и пространства координация столь многих вещей (чтобы они все были на одной волне). Значит, мы это останавливаем – мы ведь очень часто не живем многими частями своей души, чтобы продолжать жить. Здесь смерть многих частей нашей души является условием продолжения нашей жизни хоть теми кусками, которые возможны. И сколько возможностей в нас погибает... И не потому, что, скажем, общество нас задавило, или по каким-нибудь другим эмпирическим причинам, а по фундаментальному онтологическому устройству мира, которое не зависит ни от каких различий общественных устройств. Не будет никогда такого общества, в котором была бы налажена такая координация. Так же, как – по онтологическому устройству, по законам его – есть такое событие в мире: какая-то книга, которая мне нужна, в ней есть что-то, что – обо мне, и я ее оптическое увеличительное стекло мог бы приложить к своей душе и прочитать самого себя, – и я никогда не встречу с этой книгой, ну не попадет она мне в руки. И в этой ситуации невозможности жизни тут же возникает вопрос, оттенок мысли у Пруста, о существовании конструкций, которые нейтрализовали бы эту случайность: была встреча или не была (вот «книга» – эмпирическая встреча). Пруст предполагает, что, в общем-то, то событие, которое есть в той книге, с которой я никогда не встречаюсь, тем не менее происходит во мне, может происходить (пока этот оттенок оставим, я просто ввел проблему). Повторю: всегда есть фонд наших возможностей – шире и больше того, что может реализоваться и случиться. Это даже к любовным встречам относится, не случайно Бодлер пишет стихотворение: «О, ты, которую я мог бы любить и которая об этом бы знала!», то есть тоже могла бы любить, – и никогда не встретятся...

По онтологическому устройству мира – именно в самом человеческом в нас (в нашем свободном движении) мы невозможны, в строгом смысле слова. И эта невозможность убивает целые куски нашей души. И вот та конструкция, которую строит Пруст, как бы компенсирует этот факт, во-первых, свойствами

самого текста, который может строиться так, чтобы независимо от того, эмпирически произошла встреча или нет, совершилась ли реально координация состояний с ее необозримо большим числом неконтролируемых элементов, независимо от этого породить состояние. Можно быть в каком-то состоянии, в том же, в котором был Платон, и никогда не прочитать книжки Платона. Я опять возвращаю вас к важной теме множественного существования состояния. Значит, множественное существование состояния не требует эмпирических каналов связи между точками, на которых оно разбросано. Более того – сейчас отвлечемся от особенностей построения текста жизни или текста сознания или текста книги, потому что мы ведь книгу берем не как книгу, а как текст сознания, не совпадающий, конечно, с материальным составом текста как книги, – более того, соприкосновение с универсальной душой для Пруста есть способ восполнения и развития именно тех вещей, которые в отдельном человеческом существе оказались невозможны в силу устройства мира, в силу невозможности контролированно налаживать в каждом шаге координацию слишком многих элементов. Эта некоординированность и остается в нас раскаянием, болью. В тот момент, когда нужно было, как раз тогда у нас отсутствовала та способность души, которая в тот момент нужна была, хотя мы абстрактно, в общем виде ею располагаем, – почему тогда она не сработала, не сошлась с другими способностями и т.д. и т.д.? Почему, когда мы могли понять друг друга, ты именно в это утро встала с левой ноги, и не произошло того, что должно было произойти? И не произошло того, о чем я говорил вам словами Гумилева: «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» А вот теперь мы знаем, что «извечно созданное друг для друга» – внутри того, что мы условно назвали метафорой. В пространстве метафоры части устремляются друг к другу, вырываясь из собственных эмпирических связей; каждая вырывается из своих связей прилегания, то есть всего того, что конкретно в пространстве и во времени прилегает к ней, и, вырываясь из них, части устремляются друг к другу. И вот здесь французский блаженный текст Пруста перекрещивается с французской же утопией Шарля Фурье, которая есть утопия максимальной реализации человека. Там содержатся два метафизических тезиса, которые Пруст тоже разделяет: развитие человека – первый тезис – зависит от максимального числа отношений, которые он **реально** может практиковать. Скажем, то, что было невозможно в моей душе, было ведь невозможно, потому что я реально не мог выполнить своего свободного движения, я локтями задевал других, они огорчались бы и страдали бы, и я остановился; это и означает отсутствие совокупности отношений, которую я реально практиковал бы, – не ту, в которой у меня были побуждения, желания или скрытые потенции души. Нет, скрытая потенция души раскрывается или развертывается лишь в пространстве **определенного числа отношений**, которыми человек владеет, может реально практиковать. Эта мысль, выраженная мною в том виде, в каком она близка к идеям Фурье, вошла в юношеские мысли Маркса; это есть та идея, которая у него заимствована из метафизики раннего социализма, и в метафизическом смысле слова – это, пожалуй, единственно интересное в социалистических учениях (чему потом, как вы знаете, уже придавалось другое значение; когда говорят о максимальном развитии личности и т.д., имеют в виду уже совсем другие вещи, в которых этот метафизический запал исчез). И второй тезис (в который Пруст тоже твердо верил, и в этом мы могли убедиться по тем кускам цитат, которые я приводил) – для реализации одного желания или одного впечатления нужно **несколько жизней**. Тем самым – перевернем – реализация означает: реализация на нескольких жизнях. Или **существование** – как единица реализации – с композицией или с соединением нескольких жизней. Пруст говорит, что единицей чаще всего является ситуация, как он выражается, а не

индивиды, то есть ситуация есть большая единица, чем отдельные видимые индивиды. Значит, чтобы иметь единицу, индивидуальную, нужно несколько человеческих существ, – не просто несколько жизней, а буквально композиция из нескольких, восполняющих друг друга человеческих существ дает единицу души или единицу душевного переживания.

Исходя из этих представлений, Фурье не мог не строить утопии – как миф является часто гиперболическим зеркалом нашей души, то есть мы в себе чего-то не можем прочесть прямо, мы в гиперболическом мифе или в гиперболическом зеркале мифа читаем через увеличенную форму нечто, что свойственно нашим душам, структурам нашей истории и т.д., – это есть способ чтения, так и утопия часто является таким зеркалом, в котором иногда в гротескном, а чаще в увеличенно-зеркальном виде нам дается возможность читать то, что реально, в виде каких-то свойств и структур, присуще нашим возможностям, нашим жизням, – так вот, Фурье не мог не строить утопии (сейчас я отвлекусь от того, что она одновременно есть экономическая, индустриальная утопия) любовного мира. И она нам интересна, потому что построена на особом понимании, со стороны Фурье, феномена желания, совпадающего с тем, как понимает это Пруст. Желание, как мы убедились по текстам Пруста, упаковывает в себе довольно много вещей; это никогда не есть желание одного определенного объекта, это есть желание, разворачивающее все человеческое существо в свободном движении. Хотя ему свойственно, как мы видели по Прусту, сцепление с внешними или чуждыми ему объектами, застревание в вазах или в коконах, но тем не менее это всегда есть то, что можно назвать «интенциональной жизнью желания». Желание есть интенция, – **совпадающее** – желание, несущее в себе свой собственный же предмет. Не внешний предмет желания вызывает желание, а **желание есть интенция предмета**, и вне этого оно непредставимо. Но интенция, как мы видели, оказывается многофасетной, многосторонней или, как выражается Фурье, композитной. И поэтому никакие ординарные отношения (один на один отношения) не могут быть пространством для того, чтобы это желание так развернулось бы, чтобы человеческое существо реализовалось. Поэтому, скажем, моногамная любовь есть институция (как социальная институция, юридическая, культурная институция), полностью противоречащая тому, как устроена онтология человеческого желания и его развития. Для Фурье единица желания для развертки своей как бы нуждается в максимальном числе реально практикуемых отношений – таких отношений, чтобы в композиции эти отношения давали бы единицу развернутого и реализованного желания, или единицу желания, в котором человек реализовался как свободное и цельное существо. Те институции, которые человек уже изобрел, по своей структуре таковы, что они заставляют целые миры желаний, целые куски композитной (составной) души желания уходить, прятаться, приобретать извращенную форму, идти по кривым путям, потому что прямые пути закрыты. В своем фантастическом описании этих искаженных цивилизацией путей желания, будучи, конечно, настоящим сумасшедшим, Фурье изобретал слова – почти что все настоящие сумасшедшие имеют манию, которую можно назвать манией числа, количественных классификаций, но в руках у умного человека, – потому что можно быть очень умным человеком и одновременно сумасшедшим, одно другого не исключает, – чем больше ты классифицируешь в клеточки, тем больше ты должен иметь слов, чтобы обозначать эти клеточки классификаций, – так вот, Фурье изобретал сочные, выразительные слова, используя богатство и греческих, и латинских корней во французском языке, которые просто непередаваемы. Скажем, – omniverti, всевозвращающая бесконечность. У французского поэта Анри Мишо это omniverti Фурье, очевидно, без какой-либо внутренней ссылки на Фурье, заменяется таким же вкусным изобретением во

французском языке – *infiniverti*, бесконечность, вобранная, возвращенная в себя

ЛЕКЦИЯ 24. 16.02.1985

Мы убедились, и произведение Пруста нам это доказало, что можно взять любой кусок жизни человечества и суметь из него многое извлечь и показать. Из зрелища революции или крупного социального кризиса, из крупных социальных или исторических событий можно извлечь столько же, сколько из простой любовной истории. И наоборот, из простой любовной истории можно извлечь не меньше, чем из крупных кризисов в истории человечества. В целом произведение Пруста говорит нам о том, что можно взять произвольно маленький кусок человеческой жизни и увидеть в нем всю жизнь человечества во всех ее сплетениях, что, конечно, соответствует принципу «вечного настоящего». **Вечное настоящее** – во-первых, оно существует в любое мгновение и в любом куске человеческой жизни, отдельного индивида или класса индивидов, и во-вторых, в «вечном настоящем» даны сплетения всех связей, какие вообще существуют. Как я говорил, это как бы максимально уплотненное, закрученное на самого себя ядро вселенной, содержащее в себе все сплетения, все связи. Более того, содержащее саму вселенную в целом (историческую, социальную, психологическую, физическую вселенную), вращающуюся вокруг ядра, из которого исходят какие-то линии, какие-то траектории, пронизывающие насквозь эту туманность или это созвездие и связывающие ее во что-то целое, данное в любом маленьком кусочке. И в этом вращении туманности, которая как бы по спиралям отлетает от этого ядра, мы видели основное, за чем гонится Пруст, а именно: летучее живое (летучее, потому что в каждом моменте переплетенное со смертью), какую-то летучую истину, какое-то летучее совершенство и полноту, которые летучи именно потому, что человек не может продлить этой полноты, – молний истины нельзя растянуть в долгое и ровное Солнце, которое само по себе было бы подвешено на небосклоне без нашего усилия и гарантировано, на достаточно долгое время, освещало бы нам вещи и людей, то есть показывало бы нам истину. И момент полноты и совершенства дан каким-то летучим образом – например, в образе героя. Его нельзя ни продлить, ни повторить. Мы могли бы фабриковать (производить «индустриальным» образом в массе экземпляров), если мы могли бы имитировать, но поскольку эти состояния летучи, поскольку продлить их произвольным или волепроизвольным усилием человека нельзя и нельзя имитировать.

И вот я напоминаю вам тему, очень важную для Пруста и вообще для европейской культуры, тему отличия чего-то живого (мы условно назовем это «живым») от его имитаций или дублей. И это «что-то живое» живет по одним законам, а имитации или дубли живут по другим законам. И вся проблема пути, как ее понимает и ощущает Пруст, состоит в том, что и как на этом пути может быть спасено, воскрешено или искуплено. Искуплено – потому что раз все летуче, то человеческий удел – быть в грехе, иллюзии и в ошибках, которые (и это очень важно) являются неотъемлемыми признаками или свойствами истины. Не в том смысле, что истина их в себе содержит, а в том смысле, что мы не можем иметь истины **как таковой**, – нет «царского пути» к истине. И ставится вопрос о том, с чем из реального дерзновенного опыта, где заранее ничего не известно, где нельзя руководствоваться никакими правилами и нормами, и поэтому неминуемо ошибаясь, совершая грех, испытывая боль и страдания и причиняя другим боль и страдания... – с чем из этого мы можем предстать пред Страшным Судом, по гласу которого оживает и предстает на суд все то, что достойно жизни, или, как сказано в Евангелии, «все, что записано в книге

живых». А мы знаем, что люди как таковые, самим фактом, что они – люди, еще не «записаны в книге живых». Есть люди, которые не жили, в том смысле, что они не делали ни добра, ни зла, и в «книге живых» скорее может оказаться человек, который делал зло, чем тот, который избегал зла путем того, что избегал вообще что-либо делать и за что-либо брать на себя ответственность и, следовательно, вину (такие «безвинные», которые ничего не делали, они просто не считаются живыми). И вот это выделение в осадок частиц живого из человеческого опыта и собирание их есть то, что я называл «путем», и, собственно, историей чего и является роман «В поисках утраченного времени». Вы, конечно, прекрасно понимаете, что роман «В поисках утраченного времени» не есть история Пруста, история какого-либо эмпирического человека, а есть история и топография, или топология пути. Пути собирания частиц живого и пути искупления.

Мы рассматривали соприкосновение человека с впечатлениями, с опытом любви, а теперь мы должны рассмотреть соприкосновение человека с другими людьми в той мере, в какой это выражается в социальных и в исторических событиях. Напомню, что основной механизм собирания разрозненных кусков, разбросанных во времени и в пространстве, механизм освобождения человека: выпадения его из автоматически действующих механизмов, которые порождают зло и рассеяние, множественность, то есть раздробление людей внутри себя и отделение их друг от друга, – механизм пути, на котором собирается все это, связан у Пруста с символом и реальным действием того, что называется произведением. Произведение – да, конечно, в каком-то смысле тот роман, который пишет Пруст, но оно не совпадает или совпадает чисто формально с написанной книгой (под «книгой», конечно, мы имеем в виду место, вполне определенное, и ясно понимаем, что жизнь в книге собрать нельзя). То, что называется книгой, есть просто запись, которой может не быть, – например, можно создать произведение и не написать книги. Имеется в виду какая-то структура, машина, которой передовверено производить мои мысли, мои состояния, мои акты понимания и т.д. Без произведения я как натуральное существо произвожу мысли, со мной происходят эмоции и т.д. и т.д., а есть еще какой-то другой способ испытывать что-то, чувствовать, мыслить, действовать, который связан с тем, чтобы наши возможные мысли, чувства и действия были бы привязаны к самозаконной машине, самозаконному тэхносу, или, как говорили греки, – к некоему идеальному инструменту, который производит только правильные гармонические сочетания. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Я приведу вам маленькую цитату из Пруста, которая появляется у него в контексте размышлений над необходимостью работать, писать (заниматься литературным трудом), и как это трудно сделать, когда ленив, невнимателен и т.д., и в контексте того, как Пруст фиксирует, вводит для себя и для читателя различие между микроскопом и телескопом (этим различием я уже пользовался, напомню вам, что микроскоп – это рассмотрение деталей). Фактически мы уже знаем, что мельчайшее человеческое переживание (по тем законам, о которых я говорил) – если оно в «вечном настоящем», если оно в ядре, вокруг которого вращается целая вселенная, – дает нам возможность получить из него картину максимально большого, то есть получить столько же, сколько можно получить из наблюдения больших событий, таких, как революция и крупные социальные явления, если мы умеем видеть. И, следовательно, это мелкое – не само по себе мелкое, просто кажется нам мелким, потому что от нас далеко. А телескоп приближает к нам далекие большие звезды, которые кажутся нам маленькими, и мы видим, что они большие. Вот почему Пруст употребляет слово «телескоп». И еще – телескоп есть поэтическое орудие, которое позволяет поэзии выполнять ее вечную и одну единственную миссию, а именно: там, где мы не видим или привычно

считаем что-то само собой установившейся мелочью или просто ходом событий, поэзия возвращает нам чувство реального ужаса; она является инструментом, посредством которого мы можем малые душевные движения воспринимать как громадную революцию или громадную открывшуюся нам страну, очертания которой вызывают у нас чувство священного ужаса. Скажем, мы привыкли к тому, что матери умирают и чаще всего причиной смерти матери являемся мы сами, сыновья и дочери. Ну, это «мелочь», в том смысле, что – привычная, обтесавшаяся мысль. Задача поэзии состоит в том, чтобы показать этот факт – факт нашей вплетенности, собственной вплетенности в неминуемую смерть наших матерей – как большое, то, от чего можно прийти в ужас. В газете «Фигаро», где Пруст иногда писал свои эссе (даже предполагал кусками в газете печатать свой роман, но этот проект не прошел), была напечатана маленькая заметка под названием «История одного отцеубийства»; речь идет об убийстве матери (в романских языках нельзя терминологически обозначить это через «матереубийство», поэтому parricide – отцеубийство или убийство родителя), которое случилось с человеком, которого Пруст знал лично и с которым незадолго перед этим событием переписывался. Этот его знакомый убил свою мать в припадке помешательства. Что может извлечь из этого наше микроскопическое внимание, если оно не имеет телескопа? Ничего, есть факт: человек сошел с ума и убил свою мать. А вот прийти в ужас от реальности этого убийства, – это уже поэтическим телескопом можно увидеть, то есть увидев «большие законы». А какой закон? Что вот то мелкое событие, просто элемент уголовной хроники или психиатрической хроники, где сын в припадке помешательства убивает мать, оно, приближенное телескопом, показывает не могущий не вызвать в нас ужаса закон, состоящий в том, что мы своей жизнью, сами, убиваем своих матерей. И убили ли мы действительно или нет – это, действительно, деталь. И нам нужен поэт, или мыслитель, если вам угодно, чтобы прочитать в случившейся детали большой закон и поднести к нашим глазам реальность наших собственных чувств, наших собственных деяний. Ведь реальность нашего отношения к матери состоит, трагически, в том, что мы являемся причиной смерти матери. Конечно, не в прямом физическом смысле слова, – мы не можем убивать так, чтобы это можно было потом описать в уголовной хронике, хотя мы на деле убиваем. И вообще мы любим так, что убиваем любимых, то есть любим смертельно. Вот это называется телескопически приближающий взгляд того, что на самом деле есть крупное, но кажется мелочью, потому что далеко. В каком смысле? В смысле ментального расстояния – далеко от нас в расстоянии **понимания и восприятия**. А через поэзию, через произведение в нас породилось другое состояние, другая мысль и другое чувство, которые без произведения не породились бы в нас. Скажем, священный ужас от реальности в нас не породился бы, мы просто увидели бы смерть матери, своей или чужой, и этот факт занял бы свое место в цепи прочих привычных фактов, что так заведено: ну, действительно, матери умирают, они старше нас, потом мы умрем, и наши дети останутся и т.д. И по-прежнему в нас не будет определенных мыслей, определенных чувств, определенных состояний понимания и прозрения. В данном случае телескоп – удачный пример, потому что телескоп одновременно ассоциируется у нас с оптической машиной. Значит, мы считали до сих пор, что мы производим мысли, а теперь оказалось, что мы производим, спонтанно, сами по себе, производим глупости, бесчувственность, вообще ничего не можем произвести. И вот способность производить, но производить **законообразно**, или порождать **«законнорожденные мысли»** (я выражение Демокрита цитирую), – нужна какая-то крепко сбита, крепко организованная структура (в случае телескопа – машина; она сбита довольно крепко и фокусирует, там

ведь не произвольна пляска световых лучей – они направляются, фокусируются и т.д.).

Как видите, я долго брел к цитате из Пруста, но теперь она будет более понятной, чем если бы я просто читал с листа. Дело в том, что чтение страниц книги тоже подчиняется тому же самому закону, о котором я только что говорил и который изложен в содержании данной книги, а я сейчас говорю о законе, которому подчиняется наше чтение книги: к сожалению, мы тоже воспринимаем написанное как детали, которые не вызывают у нас никаких чувств, кроме привычных (у нас нет телескопа); мы проскакиваем изложенные мысли, и чаще всего тогда, когда они красиво изложены; красота мешает нам остановиться и – или ужаснуться, или обрадоваться, испытать какое-то крупное состояние мысли или чувства (и, конечно же, критики, которые пишут о детализирующем взгляде Пруста, явно не читали то, что написано). Пруст пишет: *«Организация моей памяти (организация того, как функционирует наша мысль, как функционируют и что-то производят наши чувства, организация того, как функционирует и что-то производит наша память) и моих забот была привязана к моему произведению (привязана уже не к психическому телу индивида по имени Пруст, а привязана к произведению, условно – к телескопу: к самостоятельной, на собственных основаниях созданной и на собственных основаниях производящей какие-то мысли структуре или машине), может быть, потому, что – тогда как получаемые письма (получаемые письма – происходящие в этот день с ним события, на которые он не откликнулся; скажем, он упрекает себя в том, что не отвечал на письма, которые приходили, пренебрегал дружескими отношениями; десятки бытовых событий, которыми мы окружены в любой данный момент нашего существования, независимо от нашей связи с ядром, вокруг которого вращается вселенная) забывались мною в следующий же момент (все бытовое наше окружение, которое живет по психическим законам: я получил письмо, а в следующую минуту я его забыл, перешел к чему-то другому; вот такой естественный поток, в который мы погружены, обладает хаотическими свойствами, свойствами смены впечатлений, забывания одних в пользу других, перехода от одних к другим и т.д.), – идея моего произведения была в моей голове всегда одной и той же, в постоянном становлении (вместо «постоянного становления» можно сказать: «идея моего произведения была в моей голове всегда одна и та же», и, следовательно, здесь нет потока и смены: что-то торчит – одно и то же – над потоком, в котором стреляют пушки, приходят письма, что-то происходит в непосредственном окружении момента, который – внутри этого окружения, но где-то, в глубине, связан помимо и поперек этого окружения с чем-то другим – с ядром)»*. Сейчас мы уже имеем первый элемент этой связи – Пруст говорит так: *«в постоянном становлении»*, а можно заменить: *в постоянном писании или в непрерывном писании... вот та «машина», на которую перенесена отныне задача производить мои мысли (с меня перенесено на мое произведение), – это произведение есть что-то, что непрерывно рождается или непрерывно становится. Это некоторая непрерывно рождающаяся или **непрерывно становящаяся реальность**, и поэтому я сказал, что она не совпадает с книгой в том смысле, что книга-то может быть и не написана. Вот эта «машина» или эта непрерывно рождающаяся реальность может быть, а книгой может не записаться. И это непрерывно рождающееся, или – нечто находящееся в непрерывном становлении, названо в цитате произведением или l'oeuvre – трудом. Названо произведением, но это же (если вы помните темы, которые я развивал) по знаку тождества есть одновременно и реальность, и душа. Напоминаю вам – у Пруста стоит знак тождества между тремя вещами: произведением (в том смысле, в каком я сейчас объяснял), реальностью – то есть то, что есть на самом деле, или мир, как он есть на самом деле (он ведь*

тоже непрерывен, он есть некоторый континуум, поперечный к нашему непрерывному движению по горизонтали: мы по горизонтали движемся в потоке наших движений, состояний, в потоке приходящих писем, стреляющих пушек и т.д. и т.д.); значит, – знак тождества между произведением, реальностью и реальностью души (некоторым духовным образованием). И вот термин «реальность» обозначает как реальность произведения, так и реальность реальности и реальность души. То есть существует некоторая нередуцируемая индивидуальность или существует нечто нередуцируемо индивидуальное, называемое душой. И поэтому верить в реальность произведения – то же самое, что верить в реальность души, и то же самое, что верить в реальность того, что есть на самом деле, в отличие от того, что нам кажется. То есть реальность есть другая жизнь, более реальная, чем наша повседневная жизнь.

Значит, произведение (в объясненных мною смыслах и со всеми ассоциациями – с реальностью, с душой, в которые я это произведение поставил) есть нечто такое, перед лицом чего, как говорит Пруст, «мы не свободны». Я уже подчеркивал нетождественность произведения написанному, книге, и тем самым вы понимаете, что слово «письмо», «написание» я не совсем в том смысле употребляю, как в обыденном языке употребляется слово «написать», и следовательно, термин «текст» не совпадает с обыденным смыслом термина «текст». Скажем, то, что я называл телескопом, есть текст, посредством которого мы читаем. (Мы читаем не телескоп, а телескопом читаем, но сам телескоп есть текст). Вся загадка нашей сознательной жизни и состоит в том, что мы тексты читаем текстами, и только текстами можем прочитать. Перед текстом (в обыденном смысле), перед книгой мы, конечно, свободны, мы пишем ее как хотим или как нам удастся, а Пруст говорит о такой книге или о таком произведении, перед лицом которого мы не свободны. И, как он выражается, несвободу мы должны даже «открыть» (как физики открывают закон); произведение как бы уже есть и мы не можем его произвольно сочинять, – мы не свободны в том смысле, что мы должны его открыть как **уже существующее**. И в каком же смысле все-таки это – уже существующее? А в очень простом, – который одновременно объясняет нашу несвободу перед лицом произведения. В том смысле, что никакое произведение никогда не завоевано до конца. Оно есть непрерывно рождающаяся реальность, непрерывно складывающаяся или непрерывно возрождающаяся – **непрерывная реальность**. Скажем, такие феномены есть в нашей духовной и сознательной жизни, – например феномен, называемый словом «вера». «Вера» есть нечто, о чем никогда нельзя сказать, что она окончательно нами приобретена и является нашим достоянием и может лежать рядом с нами, а мы рядом с ней, и когда захотим, обратимся к ней (она у нас есть так же, как у нас в кармане лежал бы платок, и, когда он мне нужен, я его достаю). Такие явления как вера – о которых нельзя сказать никогда, что они нами обретены, – они все время обретаются и являются актом, а не вещью. **Вечным актом**, который все время делается. И вот то, что называется произведением (или то, что называется телескопом, или то, что называется текстом), есть акт, который все время делается, и о нем нельзя сказать, что он сделан, закончен и нами приобретен. Все время заново приходится это возрождать, и любой человек, имевший глубокий сознательный опыт или глубокий религиозный опыт, может это подтвердить. Вы можете взять всю историю актов человеческого сознания, как она зафиксирована философией в поэзии, в религии, и вы увидите, что все люди, которые действительно испытали этот опыт, знают, что их вера не есть нечто приобретенное. И не случайно Пруст соединяет два термина: «было в моей голове всегда одинаковое, **тождественное** самому себе» и «**непрерывно становящееся**». Парадоксальное соединение – потому что то,

что равно самому себе, то, что тождественно, оно как бы уже есть, и соединить это с термином «постоянное становление» очень трудно. Но вот эти парадоксы и есть акты философствования – **нечто, что есть и непрерывно становится.**

Я говорил вам о том, что есть некоторое вечно длящееся состояние, зафиксированное в стихотворении Галактиона Табидзе. И наше действительное или подлинное чтение этого стихотворения есть участие в поддержании некоторого живого состояния – **вопреки** или над тем, что вокруг нас движется в потоке. Конечно же, стихотворение Табидзе есть индивид, себе тождественный, он же не меняется, и он может быть в голове – «идея моего произведения была в моей голове всегда одинаковой, тождественной самой себе и в вечном становлении», – потому что то, что там было, мы продолжаем в том смысле, что это вечно становится. И тем самым мы живем в какой-то другой реальности. Другой – в смысле – отличной от той, которая нас окружает, и только так длятся память и традиция. Память и традиция – это участие в живом состоянии, то есть в жизни чего-то для нас существенного и без чего нас не было бы – понимающих, чувствующих. Причем – понимающих не стихотворение Табидзе, а посредством телескопа (стихотворения Табидзе) понимающих что-то другое. И вот эта реальность – **другая.** В каком смысле – нечто живущее по другим законам, чем наша обыденная жизнь? Например, в этих актах нет различия между средством и материалом. В случае поэзии Табидзе поэтическим средством являются слова, тон, интонация, звуки – они совпадают с материалом самого поэтического состояния; там нельзя провести различия, точно так же там нельзя провести различия цели и средства. Более того, эти состояния внутри себя не различены во временной последовательности: время поэтического состояния и какой-то другой временной момент – то же самое время, не другое время, это – одно. Вот что-то живущее, и если живущее, то – свои законы, а не законы того, что мы в нашей повседневности называем жизнью. Значит, так живет то, что Пруст называет живыми вещами. И реальность как такая живая вещь, – а реальность есть не только то, что есть на самом деле, а еще и то, что с нами будет, – независимо от того, что нам кажется, независимо от наших целей, от наших намерений, от фантазии нашего сознания, – эта реальность есть всегда предмет **только веры** (сейчас я слово «вера» употребляю не в религиозном смысле слова, а как слово, обозначающее просто феномен нашей сознательной жизни). Почему? Да потому что в ней ничего само собой не делается механически, без нас, без нашего усилия; а усилия требует в мире только то, что может быть только с этим усилием. То, что есть без меня, не требует, чтобы я в это верил, я могу верить только в то, чего не может быть без моей веры или без моего усилия быть в определенном состоянии. Верю, потому что абсурдно. Это – осмеянное положение. Но те, кто смеются над этим, просто глупцы, не понимающие того, как мы устроены, как устроено наше сознание, как устроена наша жизнь, – если ей суждено быть живой, потому что мы можем быть и мертвыми, а казаться живыми. Если мы живы – а это не совпадает с тем, что мы видим: мы можем видеть человека по видимости живого, а он мертв в смысле терминов нашего сознания, – конечно, тогда мы понимаем, что верить можно только в **невозможное.** Невозможное не есть то, что возможно без меня – невозможное есть то, что держится моей верой, и только верой в это. Для этого и существует вера в устройстве нашего сознания, иначе ее просто и не было бы, она была бы лишней в экономике нашего сознания. И поэтому Пруст употребляет термин «экспериментальная вера».

Вот сейчас я выхожу к очень важной теме, которой, собственно, я хотел начать весь последующий цикл, и которая была бы напоминанием об основной ноте предшествующих наших занятий и одновременно давала бы камертонную ноту для последующих наших размышлений. Я сказал: экспериментальная вера

– сейчас я сделаю некоторый экскурс, который пояснит и это словосочетание, и тему нашего романа «В поисках утраченного времени». Значит, – вера, **но** экспериментальная. И я одну ассоциацию добавлю: перед лицом такого предмета (или произведения), который никогда нельзя считать приобретенным – он есть непрерывно становящаяся реальность, и в той мере, в какой я ею занимаюсь, то есть создаю текст, я нахожусь в каком-то континууме чего-то вечно рождающегося – так вот, это вечно рождающееся, или произведение, или предмет веры, реальность как предмет веры, есть нечто, что одновременно Пруст называет Страшным Судом. Он говорит так: «...единственный Страшный Суд для художника – это произведение». То есть мы стоим перед лицом произведения (перед которым, как мы выяснили, мы не свободны) – как перед Страшным Судом, на котором все предстают – воскреснув, в своем добре и зле, и оцениваются; значит, мы проверяемся на произведении, как на Страшном Суде. И вот, введя тему веры, я тем самым обозначил фундамент европейской культуры. Значит, произведение есть что-то, что фиксирует след – производимый самим же произведением – движения сознания в человеке. Скажем, вместо движения моих хаотических чувств в ответ на получаемые письма, на которые я должен ответить, или на все то, что движется вокруг меня в потоке, во мне происходит другое движение, индуцированное произведением. И само произведение в свою очередь есть след какого-то движения в самом человеке – не вокруг него, не в культурной форме, не в законе, не в каком-нибудь институте, социальном, юридическом или культурном, а **в человеке**. Так вот, примем постулат (он реализован был Прустом, и потом я покажу, какую связь он имеет с фундаментом европейской культуры), что **движение** внутри человека есть **условие понимания** исторических и социальных явлений, есть условие понимания окружающей человека вселенной. Движение в человеке в том ядре, о котором я говорил, вокруг которого накручиваются спирали. И чтобы понять то, что мы видим на разных витках спиралей, на разных расположениях, – там разные события: социальные, культурные, исторические события, – чтобы их понять, мы должны обратиться к какому-то происшедшему движению в человеке. Во-первых, то, что оно совершится, есть условие того, что вообще появятся сами эти события и явления, и, во-вторых, выявление этого движения есть условие их понимания. Теперь я более конкретно поясню этот постулат. То, что делает Пруст, можно назвать, так сказать, своего рода происшедшим в начале XX века возвращением к тому, что является домом европейской культуры и европейского человека. Что является домом европейского человека и европейской культуры, которая есть нечто вставшее из огня и пепла антично-евангелического возрождения? Что является камнем фундамента этой культуры? Пока я поверну это с одной стороны, чтобы получить какие-то слова для характеристики этого камня. Явно, например, что Пруст и аналогичные ему авторы, такие, как, Джойс, Фолкнер, Музиль, Рильке, Эзра Паунд, возвращали нам гордость **держания огня бытия**, выразимся так, в противовес попытке устанавливать бытие на каких-либо налаженных и само собой действующих механизмах культуры. И, таким образом, в мире есть что-то, что держится потому, что налажена нормативная, репродуктивная машина культуры: что-то держится, потому что есть такие нормы, такие репродукции, такие правила и т.д., которые могут работать (и работают) без того, чтобы в них включалась моя вера (я не случайно этот феномен нашего сознания так подробно вам описывал, казалось бы, незаслуженно подробно). А с другой стороны, с Прустом и другими нам ясно, что положение человека трагично, как таковое, или, как говорят философы, онтологически трагично, и значит – героично, в том смысле, что человек своим усилием держит бытие или огонь бытия. А огонь и есть непрерывно становящаяся реальность, ее нельзя схватить, – поди схвати огонь, он даже твердой формы не имеет. Так вот,

гордость держания огня бытия или само усилие держания и есть то, что я называл движением в человеке, которое я фактически расценил как некий замковый камень (вы знаете, в архитектуре есть какой-то камень, который является замком всего купольного свода или фундамента). Это движение и лежит в основе европейской культуры, и сейчас через это мы четче поймем то, что я называл «принципом невербальности», лежащем в основе европейской культуры. Это можно уловить тогда, когда действуешь в культуре, а вне нее, то есть вне действия, уловить трудно. Например, попытайтесь уловить разницу между тем, что значит описать акт познания и что значит познавать самому. Ведь можно описать, что такое мысль, а можно знать мысль тем, что мыслишь сам. (Декарт говорил, что можно знать, что есть мысль и сомнение, только самому мысля и сомневаясь.) Напомню вам, что значит невербальность, – нечто само существует, а не описывается, – в том числе мысль. Для мысли ведь всегда есть слова, есть всегда описание, но одно дело – **описанная** мысль, а другое дело – мысль, которая есть **движение** самого человека. В религии это называли внутренним словом – нечто, что есть слово, но узнается не из книги, а есть движение твоей собственной души. И поэтому евангелическое Возрождение было обращением не к тому, что получается из текстов и описаний, а к тому, что получается на основе собственного движения в душе человека как окончательной, последней и замковой (в смысле замкового камня) инстанции. Это конечная инстанция, фундаментальная инстанция. Вот это был огонь бытия, держанием которого и оформляется классическая европейская культура.

И чтобы пояснить разницу между описанием чего-то и самим этим «что-то», приведу пример совершенно бессмысленного словоупотребления «грузинский Ренессанс», так называемый «ранний грузинский Ренессанс». Почему это бессмысленно? И почему этот термин употребляют? По той простой причине, что в текстах есть слова, которые составляют набор слов, относимый нами к гуманизму, к воспеванию человеческих качеств, человеческой доблести и т.д. и т.д.; этими же словами описывается, скажем, возрожденческий опыт в Италии (их можно зафиксировать в грузинской литературе раньше, чем в Италии). И в итоге высокий продукт христианской средневековой культуры, совершенно иной, в силу наличия в нем этих слов, вдруг отождествляется с Возрождением, вопреки тому, что Возрождение означает существование опыта, реально проделанного людьми, которые один на один стояли с миром, и описывать их словами «индивид», «человеческая доблесть» – не есть употреблять просто слова, а есть описание движения в человеке и опыта этого движения, проделываемого достаточным числом людей. В грузинской культуре такого опыта не было. Так вот – как отличить одно от другого? Слова совпадают, одни и те же. Гуманистическая книга не есть гуманистический опыт, в смысле опыта человека, который, слыша «внутреннее слово», – не из текста перенесенное в душу, а являющееся собственным движением души, – покоится и полагается только на это перед лицом всего мира. И нужна очень большая отвага, чтобы верить собственному движению или движению в человеке, потому что на любое явление, окружающее тебя, всегда есть готовый ответ, выводимый из существующих сочетаний слов. Скажем, на любую проблему, которая встала перед Декартом, перед Монтенем, перед основателями невербального фундамента европейской культуры, существовал ответ, который можно было безукоризненно словесно (в словесных описаниях) получить и вывести из схоластики. Это, кстати, было доказано повторением этого эпизода в начале XX века в российской культуре, в которой, как вы знаете, появилась целая плеяда так называемых религиозных философов; и вот поразительное зрелище того, что – поскольку они двигались в области вербального, а не невербального, – они имели ответы на все вопросы, безусловно правильные в терминах

христианского мирозерцания: что является грехом, что является, наоборот, доблестью; что является символом, а что является фетишизацией символа. Возьмите работы Трубецкого и вы увидите, что на все есть правильные ответы в догматическом смысле («догматическое» я не порицательно употребляю, а нормально), так сказать, доктринально-правильное: сочетания всех знаков и символов христианской веры дают понимание. И это понимание не корректировалось или не коррелировалось ни с каким реальным движением в актах, в действиях людей, которые на свой страх и риск, исходя из внутреннего движения, что-то предпринимали бы. Это были вербальные имитации того, что может иметь только невербальное существование, то есть быть или не быть как движение в человеке, а не нечто, получаемое из описания слов. После промежутка, весьма отработанного культурно, настолько, что помните, – не случайно в конце XX века раздается истошный крик Ницше, который предупреждает о том, что то, что держится на норме, не вырастая из собственной души человека, в том числе правила добра, если они не вырастают из души человека, то есть не коррелируются невербальным движением в человеке, все, что зафиксировано и работает как механизм нормативный цивилизации и культуры, – все это весьма хрупко и шатко (если не держится на вырастающих из душ людей невербальных действиях и способностях, которые в этих словах и нормах описаны), и очень опасно, ибо под этой отрегулированной, упорядоченной или доброупорядоченной пленкой таится лава вулкана, которая может прорвать эту пленку. Так и случилось. Вы знаете, какая лава таилась под российской пленкой, еще более тонкой, чем европейская пленка, и мы до сих пор являемся своего рода радиоактивными осадками той катастрофы, которая случилась. И, наверное, эта лучевая болезнь, живыми свидетелями или носителями которой мы являемся, серьезнее и страшнее, чем любая Хиросима или любые экологические катастрофы, которыми нам угрожают современные исследователи, описывая все опасности, с которыми может столкнуться род человеческий (например, столкновение с метеоритом или микрокосмической черной дырой и т.д.). Так как это очень дальние катастрофы, а катастрофа нас самих (человека как элемента духовной и материальной среды) у нас под носом, и она реально происходит. И тем более важно для нас протащить через наши собственные души и продумать опыт таких писателей, как Пруст. Повторяю, домом европейской культуры является фигура невербального движения, держание человеком – на основе этого движения в себе – бытия. Оно, кстати, иначе и не держится – культурные механизмы, налаженные и действующие как бы без меня, не способны на то, чтобы держать бытие. В том числе держать то, что бьется и живет в стихотворении Галактиона Табидзе: там бьемся мы в той мере, в какой мы живые. И чтобы участвовать в этой жизни, в нас должно происходить движение, тогда мы включены в бытийный порядок, который живет в грузинской поэзии.

ЛЕКЦИЯ 25. 23.02.1985

Вы помните, я надеюсь, что называет Пруст экспериментальной верой. Мысль Пруста состоит в том, что действительная скрытая и, как мы знаем, непрерывная реальность может быть предметом только такой веры, которая позволяет человеку, собирая самого себя, вытягивая свои ноги, руки, голову из каких-то спонтанных сцеплений механизмов (социальных, психологических, исторических), позволяет ему включаться в эту непрерывную реальность и видеть ее, то есть видеть какое-то место, где ткуются и плетутся наши судьбы. И называется такое отношение к миру «экспериментальным» потому, что приходится в настоящем, собственном, рискованном движении, без заранее данных гарантий, именно экспериментом, часто на свой собственный страх и

риск, выявлять действительное лицо мира или реальности. И, самое главное, то, что называется экспериментальной верой, предполагает особое человеческое состояние, которое я называл «мужеством невозможного». Я просто приведу вам пример, чтобы вас не шокировало, когда философы применяют такие термины: «невозможное» или «невозможное мужество», – как может быть мужество **невозможного**? Подумайте над тем, что в составе человеческих переживаний и страстей есть всегда нечто, что в принципе не может быть ничьим переживанием, то есть не может быть предметом нашего переживания. Скажем, чистая, бескорыстная любовь в мире не существовала и не может существовать, и не может быть выполнен акт чистой и бескорыстной любви. И тем не менее она существует в регистре человеческих страстей, можно пережить ее реально в эмпирическом мире. Но, перейдя на религиозный язык, – в мире нет **актов**, фактов святости. Вот в таких случаях философы и вводят понятие границы, и такого рода предметы, называемые «святостью», «чистой доброй волей», – чистой доброй воли тоже не бывает, к чистой доброй воле, к совершенно бескорыстной доброй воле всегда примешано какое-то сенсуальное эмпирическое человеческое соображение; вполне чистой воли у человека быть не может, и в то же время мы пользуемся этим понятием, чтобы описывать человека, и сам человек имеет это в регистре своих мотивов, переживаний, целей и т.д., – так вот, такого рода состояния, которые в принципе не могут быть никем пережиты как таковые, называются граничными состояниями. Они очерчивают мир, в котором могут случаться добрые поступки, очерчивают мир, в котором может случаться любовь, но ни один случай любви, ни один случай доброго поступка не есть сам этот граничный предмет, называемый «чистой доброй волей», «чистой, бескорыстной любовью» и т.д. Можно назвать это метафизическими невозможностями. Из них вытекают в том числе и некоторые апории нашего сознательного и нравственного, и экзистенциального бытия, состоящие в том, что, например, есть что-то в принципе невозможное в любви мужчины и женщины, то есть невозможно выполнение некоторой полной гармонии душ, которая тем не менее, как граница самого переживания, остается, существует; как сказал бы философ – имеет **онтологическое существование**. То есть в онтологию попадают вещи, которые действуют в человеке и в мире, но при этом никем действительно не могут быть пережиты. Этот взгляд просто нужно уловить и удержать его, каждый раз нужно его себе напоминать снова, потому что раз навсегда выучить его нельзя. И, к сожалению, все важные вещи в нашем уме принадлежат к той категории вещей, которые каждый раз снова нужно завоевать, их нельзя раз и навсегда выучить и потом пользоваться как обретенным и выученным. В том числе и тот взгляд, который я пытаюсь вам передать, должен быть заново вспоминаем. Кстати, то, что у Пруста называется памятью, не есть память в нашем «обыденном смысле слова, а есть **воссоздание**, поэтому нужно говорить не «воспоминание», а **«вспоминание»**. И действительная проблема памяти у Пруста, в том числе – обретенного, утраченного времени, относится к таким состояниям, которые, хотя они случались, нужно заново и непрерывно создавать.

Так вот, я говорил о чем-то невозможном в том смысле, что человек не может в чистом виде выполнить состояния, заданного на границе его собственных переживаний. Граница приводит к тому, что вообще такие переживания могут иметь место. Скажем, если бы не было границы, у нас не было бы человеческих переживаний, называемых «доброй волей», «любовью» и т.д., но сами эти переживания не есть ходячий образец того, что дано на границе. Кант говорил в свое время, что в мире никогда не было действительных случаев святости, хотя вы знаете эмпирически, что есть святые, церковью причисленные к таковым. Только философ может так мыслить. И вот, говоря о невозможности, я

это так поверну, чтобы вы на себе почувствовали фундаментальную важность сознания нами существования такого рода странных вещей в нашей психике и в нашем человеческом устройстве. Я приводил вам цитату Валери, который говорил о том, что творческий или создающий человек – это не тот человек, который создал что-то великое (скажем, великую оперу, или совершил великий гражданский поступок, что угодно; учтите, что поступки у нас вполне уравниваются с книгами, и писание книг не имеет никакой творческой привилегии перед тысячами других наших актов), а тот человек, который овладел собой в полном составе своего существа. И следовательно, если вы помните, он представляет собой как бы хорошо настроенный инструмент, который производит только правильные гармонии, а не те, которые залетают ему в голову спонтанным ходом вещей. И в этом смысле, например, даже ум и глупость можно определять непсихологически. Глупость – это то, что мы думаем сами по себе, без себя, то, что само думается в нашей голове, а умно – то, что мы подумали **сами**, в смысле создания машины, которая обладает свойством автономии, или **своезакония**. И грузинский, и русский перевод этого античного термина неточен, там исчезает оттенок «номоса», то есть закона («авто» и «номос» сливаются, и мы уже не слышим этого слова), и поэтому лучше говорить «своезаконие» – нечто, **производящее** на своих **собственных основаниях**. Скажем, умно то, что производится на своих собственных основаниях. И, наоборот, к продуктам ума нужно подходить и воспринимать их на основе их собственных законов, которые они перед собой поставили и на основе которых они возникли. Нельзя, например, внешними соображениями критиковать экспериментальную попытку художника или экспериментальную попытку писателя критиковать произведение, – нет, мы должны его брать на основе его собственных законов. Вот свои собственные законы, может быть, оно не выполняет или выполняет, – так мы можем говорить.

Значит, есть автономия наших чувств внутри границы этих предельных предметов, которые реально, эмпирически не могут быть ничьим психологическим переживанием. Если вы помните, в Библии есть сцена жертвы отцом своего сына, где он настолько верит в Бога, что готов зарезать, своего сына, и Бог в самую последнюю секунду останавливает занесенную руку с ножом. Так вот, скажите мне, было ли такое переживание? Его не могло быть. Ведь эмпирический человек не может не просчитывать, что все-таки Бог остановит его руку, а если он просчитывал, тогда он не верил полностью в Бога. И представить себе такое состояние, которое полностью было бы только верой и лишено было бы задним умом какого-то предрасчета, невозможно. Тем не менее оно есть элемент нашей духовной жизни, того, как она строится. Значит, есть что-то, чего мы как эмпирические существа не можем, в том числе и в любви. Так вот, я задам вам один вопрос, чтобы вы сразу ощутили важность этих вещей более непосредственно. Понимаете, очень важно бывает пережить чувство в его метафизической невозможности, а не в эмпирической. То есть если ты пережил невозможность любви в том смысле, что недостижимо человеку полное слияние душ, тогда это имеет какие-то последствия для твоего нравственного и духовного развития; а если ты пережил невозможность любви, потому что вам приходится встречаться только в подъездах домов, то подъездная ситуация обладает тем свойством, что она не позволит вам стать человеком, потому что вы никогда не сможете различить, почему не удалась любовь: потому ли, что в метафизике мира так заложено, или потому, что у вас не было квартиры. Вот понятно это? И если это понятно, то вернитесь ко всему тому, что я говорил перед этим, и тогда будет понятна важность всех предшествующих различений, рассуждений и т.д. Очень часто социальные ситуации страшны тем, что мы в них никогда не доходим до того, что человечески невозможно, мы уже по дороге теряем и любовь, потому что

встречались в подъезде и т.д., и нам никогда не узнать удела человеческого – мы никогда не сможем различить. А это великое благо, если человеку дано пережить трагизм человеческого бытия как таковой в чистом его виде, без каких-либо эмпирических привесов. В том числе, я говорил вам, в трагизме такого рода лежит и великое мужество, человеческий героизм, состоящий в том, что на пределе он не зависит и не должен зависеть и от предмета своей любви, любовь – это его дело. Вы знаете, ведь самым роковым образом в человеческой жизни и в психике устроено так, что человек всегда является жертвой, раздирает свою душу на несправедливости любимого предмета и устремлен в какую-то бесконечную гонку исправлений недоразумений, жестокости со стороны любимого предмета, будь то любимый предмет – женщина, будь то любимый предмет – родина. Скажем, есть невозможная любовь к родине – любовь, но невозможная, потому что родина отвратительна, но не любить ее – нельзя, и любить ее тоже нельзя. И в этой любви мы можем не зависеть и от предмета любви, потому что моя любовь к родине – это мое дело, она во мне независимо от того, могу я исправить родину или не могу ее исправить. Поэтому я могу уехать, и мой отъезд не будет для меня проблемой любви или нелюбви, потому что в моей любви я не завишу от предмета любви, – если я переживаю **метафизически**, а не психологически. Вот русские в принципе всегда страдают ностальгией, потому что они до действительной любви, метафизической, к родине добраться не могут, они по дороге уже истощают себя в зависимости от предмета любви. И возникает иногда даже такое ощущение, что они вообще не могут себе представить, что добро может не быть тайным, для них как бы тождественно быть субъектом, способным быть арестованным, и быть русским, – это одно и то же. А если вдруг они окажутся свободными и никто не может их арестовать, они уже как бы не чувствуют себя русскими, потому что им нужно, чтобы любимый предмет их наказывал, и чтобы добро было всегда щемящей болью в сердце, тайное и подпольно солидарное, а не добро свободных людей. Я все это говорю не для того, чтобы сказать вам какие-то конкретные вещи, которые вы узнаете, вы их можете услышать без меня, а чтобы показать, в каком способе мышления они могут появляться и как нам мыслить и чувствовать. Поэтому я говорил, что во многом роман Пруста есть роман, написанный против матери – не в смысле акта нелюбви к матери, а в смысле высвобождения из эмпирических случаев, из эмпирических перипетий чувства и выхождения в метафизическую точку, где мы, живя и любя матерей, своей любовью и жизнью убиваем матерей, это вот – метафизика. А поцелуй матери перед сном, и всю жизнь зависеть от него, – он кристаллизовался у Пруста в разные формы, в том числе отлился в форму всякого возможного отношения к женщине, в форму любви, на которую данный человек (то есть Марсель) способен. И, конечно, из этого нужно высвободиться – из зависимости от предмета любви. Как продолжать любить, не завися от предмета любви, как превратить любовь в свое собственное достоинство, которое совершенно не делает меня рабом предмета, который я продолжаю любить? И, переставая делать рабом, оно еще и меняет очень многое, перестраивает все формы моих других переживаний, на которые, в случае Марселя, материнский поцелуй, данный или не данный перед сном, наложил свой отпечаток.

Возвращаюсь снова к эксперименту, напомнив проблему метафизических невозможностей или метафизических переживаний, которые не являются нашими человеческими переживаниями, возвращаюсь к теме фундамента европейской культуры, в котором, как я вам говорил, лежит принцип невербальности, очень важный принцип, поскольку, указывая на некоторые обязательно происшедшие движения в человеке, он это движение в человеке берет за принцип понятности, или, как говорят философы, интеллигибельности

всего остального, в том числе общества, истории. Что случилось в смысле социальных событий? Что случилось в смысле исторических событий? Мы это понимаем, если можем выйти к движению, совершившемуся или не совершившемуся в человеке. И нам нужны не слова, не книги, не что говорилось, а движение в человеке, – некоторый невербальный опыт определенного типа, в данном случае возрожденческий опыт. И если я пользуюсь этим принципом, чтобы понять какие-то события, я должен сначала посмотреть: было движение или не было движения в человеке. Если есть движение в человеке, **невербальное**, на собственный страх и риск самоприсутствие, если есть **акт познания**, а не описание акта познания, не из книги перенос в себя, а движение **из себя**, – анализ и понимание этого есть одновременно способ понимания того, что случается в социальных и в исторических судьбах людей (способ понимания тех явлений, которые мы невооруженным глазом видим как крупные события, крупные движения и т.д.). Нам нужно твердо закрепить одну очень важную вещь, имеющую самое прямое отношение к тому, как вообще все общество, вся история предстают в романе Пруста: в каждом случае Пруст пользуется принципом **возвращения** всех событий к некоторому их невербальному корню, проросшему или сдвинувшемуся в человеке. Пруст говорит: *«Историки, если они были правы, отказавшись от объяснения актов, совершаемых народами, волей королей (вы знаете, что был такой тип исторического объяснения, когда акты, совершенные народами, нациями, объяснялись волей королей, то есть волей выдающихся индивидов, или индивидов, поставленных на высокие посты; скажем, некоторые вещи в 30-х–50-х годах объяснять волей и характером Сталина), то они должны были бы заместить ее (волю королей) психологией среднего индивида (что-то понять в психологии индивида и потом понимать акты народов)»*. И здесь Пруст приводит интересный пример, относящийся к объяснению войны между Францией и Германией (первой мировой войны). Чтобы понять внутреннюю интеллектуальную текстуру (то есть ход мысли) этого примера, нужно понимать стиль, а иначе это просто выглядит как необязательное, экзотическое описание, в данном случае описание поведения хозяев немецких кофеен, о которых Пруст говорит, что они с восторгом любили – или свою газету (та газета, которую данное кафе выписывает), или мнение своих клиентов (мнение хозяина кафе было всегда мнением клиентов, которые регулярно посещают это кафе). Пруст приводит это описание, чтобы показать, что волновой интеграл этих мелких движений в душах хозяев кафе, принимающих на себя мнение своих же собственных клиентов или газеты, чуть было не сделал возможной войну во время кризиса в Агадире. Значит, чтобы это событие было возможно, должны были произойти какие-то движения такого рода, и, наоборот, чтобы понять это событие, когда оно произошло, или если оно не произошло, почему не произошло, нужно к этому движению идти. И далее он пишет, перемешивая любовный опыт с опытом военным, или дипломатическим, или историческим, то есть приводя примеры из своих отношений с Альбертиной на равных правах с примерами из взаимоотношений Вильгельма Второго с Францией, с французским правительством – что такое? что за бред? нет, не бред – *«Во времена, когда я верил в то, что говорят, я легко мог поддаваться искушению (слыша, как Германия отрицает какие-либо агрессивные намерения и вслух провозглашает мирные намерения) верить этим утверждениям. Но мой опыт жизни с Альбертиной и с Франсуаз (Франсуаз – это служанка дома, которую он тоже наблюдал и опыт общения с которой тоже имел) приучил меня подозревать в них мысли и проекты, которые они не выражали, и я не пропускал ни одного слова Вильгельма Второго, не подвергая его такой проверке (или такому подозрению), и ни одно его слово не могло обмануть моего инстинкта...»*. А инстинкт, выкованный в отношениях с

Альбертиной и Франсуазой, состоит, во-первых, в том, что слова вовсе не говорят того, что есть на самом деле и что люди думают, во-вторых, больше, чем содержание слов, говорит о действительности качество слов. Например, краска, прилившая к щекам Альбертины, – это качество больше говорит о психологии Альбертины, чем ее слова. Об истине больше говорит то, что Пруст называет «кусками истины», которые стилистически инородны самому потоку речи, – скажем, если в речи Альбертины (которая принадлежит к определенному слою людей и, следовательно, у нее речь, типичная для данного слоя людей) вдруг невольно выскакивает какое-то словечко, которое стилистически принадлежит к совершенно другому типу. Или, например, шутка мужа о том, что жена ему изменяет. Пруст говорит: через час ваша шутка будет правдой, это – закон, так оно и есть. И, очевидно, сама шутка не случайна, и автор шутки не знает о том, что она не случайна. Пруст как бы боялся искушать судьбу, он считал, что стоит пошутить, и шутка потом окажется правдой, так лучше уж с такими вещами не шутить. Так вот, говорит Пруст, извиняясь за свой метод переноса опыта с Альбертины и Франсуазы на опыт дипломатических и исторических отношений: *«Конечно, это все частные речи, не имеющие значения ни для чего, кроме как для жизни этой маленькой спиритуальной (духовной) клеточки, каковой является отдельное существо (обратите внимание на выбор слова: «духовная клеточка, каковой является...», или «моральная клеточка, каковой является отдельное существо»).* Но так же, как и случае животных тел и человеческих тел, то есть ансамблей клеточек, которые (тела) по отношению к каждой в отдельности клеточке велики так же, как Монблан; так же существуют, как существуют ансамбли клеточек человеческого или животного тела, так же существуют громадные организованные нагромождения индивидов, которые называются нациями; их жизнь (то есть наций; как национальная жизнь, в том числе с эпизодами Агадир, эпизодами поведения Вильгельма, вторжения немецкой армии в Бельгию и т.д.) лишь повторяет, амплифицируя, жизнь составляющих ее клеточек (социальные и исторические события лишь повторяют, амплифицируя, жизнь, или – внутреннее движение клеточек, то есть индивидов, составляющих эти организмы), и тот, кто не способен понять тайны, реакции, законы этих последних (то есть клеточек; тот, кто не мог он понять Альбертину в ее тайне), тот будет говорить лить пустые слова, когда он будет говорить о борьбе между нациями». И действительно, мы часто говорим пустые слова о социальных вещах, о борьбе между нациями, о дипломатических актах и т.д. и т.д., потому что мы не понимаем, не знаем или не постарались понять и узнать тайны в движениях **отдельных** клеточек. Такие вещи наблюдались в России начала века: скажем, с обратной их стороны, термин классовой борьбы, как объяснительный термин чаще всего был термином «черного ящика», который совершенно не давал никакого понимания тех движений, о которых я говорил, а прихватывал их только на выходе чисто манипуляторски. То есть термин «классовая борьба» был не объяснительным термином, а термином, при удачно сложившихся обстоятельствах позволяющим манипулировать массами людей, не понимая, что в них происходит. Потом то, чего не понимал, нагоняет, обратным ударом, неминуемо нагоняет того, кто не понимал. Так оно и случилось, конечно. И события складывались не по тому содержанию, которое фиксировалось термином «классовая борьба», а по тем сплетениям, которые оставались не понятыми этим термином.

Так вот, после этого пассажа, поскольку я напомнил вам о том, как устроена европейская культура, хочу обратить ваше внимание на один очень важный закон, который я попытаюсь как раз сейчас пояснить, потому что без его понимания мы ничего не поймем в том, что дают нам произведения, подобные прустовскому роману. Этот закон, этот принцип я формулирую так: принцип

фундаментальной **непрозрачности и смутности всякого акта до его свершения**. Сейчас это звучит непонятно, но я постараюсь с разных сторон это как-то просветить, и тогда все станет на понятное место, и мы осознаем важность самого этого принципа. Я говорил, что мир Пруста есть мир желаний (а обратная сторона желания – страдание); они возникают, не подчиняясь никаким законам, они есть спонтанные проявления человеческого существа, желającego существа. И, в связи с тем, что мы говорили, мы можем построить наше рассуждение таким образом, что, с одной стороны, мы имеем мир, который можем называть естественным миром, в котором все стоит на своих местах, потому что все естественно понятно в терминах желаний, потребностей, условий, в которых оказался человек, каких-то вынуждений, – человек есть биологическое или духовно-биологическое существо, живое существо, а все живое хочет жить или продолжать жить, и поэтому линия поведения и выбора, которую прочерчивает это существо, легко объясняется потребностями, естественным образом составляющими эту линию (если голоден, человек поступил так-то, или сделал что-то, наблюдаемое нами, потому, чтобы удовлетворить голод и т.д.). И весь вопрос ситуации состоит в том, когда мы имеем право оценивать – в терминах добра, зла, истины, заблуждения – то, что имеет свой естественный контекст и естественное объяснение. Например, естественное объяснение в терминах силы: сильный пожирает слабого. На каком **основании** мы можем говорить об угнетении, насилии, о нравственности или безнравственности? Так вот, это основание есть тогда, когда есть мир, очерченный теми границами предельных предметов или состояний, о которых я вам говорил. **Тогда имеет смысл** описывать нечто как нравственное или безнравственное, справедливое или несправедливое, злое или доброе, истинное или ложное. Основная мысль, которую мы здесь должны закрепить: никакое описание, предметное описание картины, не содержит в себе – аналитически – разума, или требований, которые выражаются словами: нравственно, безнравственно, истинно или ложно и т.д., и т.д. Если есть факт разума, тогда можно описать картину, которая будет картиной угнетения одними людьми других людей, а если нет этой границы, то мы не имеем права этого делать. Повторяю, самое важное здесь понять, что – аналитически – в предметном описании не содержится состояний (называемых нами – «разум»), которые, если они есть, позволяют нам оценивать в человеческих, или в нравственных, или в духовных терминах само содержание рисуемой картины. То есть человеческий опыт относительно того, о чем я говорю, выражает это так: беззаконие, зло, грех и т.д. есть только там, где есть **закон; до** закона нет ни греха, ни несправедливости и тому подобных вещей. И в каком-то смысле мы должны утверждать (сказав: где закон, там и грех), что сам грех и несправедливость суть порождения закона. Акты разума, когда они есть, – философы их называют «когито», оно вездесуще и неизменно во всех местах, – если есть когито, то во всем этом пространстве случающиеся акты могут нами пониматься, и осмысленно тогда употреблять термины: справедливо – несправедливо, нравственно – безнравственно, истинно – ложно и т.д. Но трудно уловить, что, во-первых, если нет закона, ничего этого нет: перед нами эпизоды из естественной истории, в которых естественно и понятно, что сильный пожирает слабого, что человек, который голоден, должен совершить такие-то поступки. И, во-вторых, – описание состоит из человеческих слов, терминов – в описании аналитически не содержится того, что является основанием того, что мы можем осуществлять акты суждения, измерения в нравственных, в духовных и в исторических терминах,

Теперь, когда я говорю: аналитически не содержится – фактически я другими словами говорю то, что называл невербальностью или движением в человеке, – ведь аналитически не содержится то, что может быть только само,

присутствует само или не присутствует. Условно это можно назвать некоторыми актами или **первоактами** вместиности человека как нравственного и духовного существа в мир. Человек внес себя в мир *de facto*, невербально, и тогда есть мир, в котором возможны оценки и в котором осмысленно говорить о том, что есть грех, есть зло. И вот введя ситуацию, что без закона нет греха, – частично это похоже на то, что справедливость есть только после написания закона, что закон должен быть написан, и тогда что-то мы можем совершить, называемое справедливым, правовым, нравственным и т.д., – так сформулировав ситуацию, мы можем теперь понять, что я имею в виду, когда говорю, что вся человеческая драма состоит в том, что всякий акт непрозрачен до его свершения, что акты должны свершиться, и тогда установится их смысл. Что я имею в виду конкретно в связи с желанием? Понимаете, никакие человеческие состояния – даже тогда, когда уже есть закон, – не могут быть совершены и не могут быть оценены путем простого приложения закона к конкретному материалу и случаю. Нельзя получить понимания конкретного человеческого состояния – оценки этого состояния – путем дедукции из закона, хотя *post factum* когда совершилось, мы можем оценить это состояние как соответствующее какому-то закону (например, нравственному). Закон всегда осуществляется на фоне, не ограниченном самим законом, на фоне желаний, человеческих побуждений. В человеке всегда есть избыток, который самому человеку неясен в терминах предзаданной нормы или закона. Человек ищет, и в том, что он ищет и совершает, никогда заранее, в начале этого свершения, нельзя отличить доброго от злого, нельзя понять смысла в терминах такой оценки, Ведь не случайно говорится во всех великих религиях, что только Бог читает в сердцах людей. И мы не можем предварительно различить смысла человеческого поступка или акта, пока он сам как бы в растянутом виде не совершился и не прокрутился в пространстве совершенного, – и тогда в этом пространстве установится и то, что было в сердце. А человек всегда говорит: простите, у меня намерения были чистые... Я сейчас не говорю, что у него не было чистых намерений, я хочу другую сторону взять: нельзя этого знать, пока не совершился поступок, то есть пока человек не попробовал, не испытал. И в первом акте пробы и испытания это всегда, во-первых, невыводимо из закона, нельзя получить правильность линии путем приложения закона, и, во-вторых, чаще всего просто не укладывается в закон, это не предусмотрено и нет места для этого акта. Это и означает то, что я сказал в начале: фундаментальная, как бы онтологическая непрозрачность и смутность всякого акта.

Я не случайно обращаюсь к образцам религиозного опыта: там зафиксирован глубокий опыт человеческого сознания, никакого отношения к конфессиональной спецификации не имеющий. Например, классическая ситуация: Послание Святого Павла (или Блаженного Павла) римлянам. Драматическая проблема, которая состоит в том, что можно знать хорошее, то есть знать закон, а выбирать и делать плохое. По одной простой причине: о том, что мы делаем по желанию, нельзя ничего заранее сказать; он – акт желания или выполнения желания – непрозрачен, смутен, пока не совершился. Только Бог читает в сердцах, я повторяю, а наше дело – идти и совершать акты, заранее приняв то, что смысл их установится, и он может оказаться плохим для нас, но другого у нас нет. Вот еще один оттенок, расшифровывающий смысл слов «экспериментальная вера» у Пруста. Глубокое ощущение Прустом фундаментального онтологического положения человека, или удела человеческого, который нам дан: что мы можем и что мы должны, и чего мы не можем читать в сердцах, в том числе в своем, и мы должны идти рискуя, потому что только по ходу дела установится и, установившись, может оказаться грехом, но другого не дано. И, кстати, не случайно в религиозном опыте, как он религиозными людьми переживается, эта сторона дела –

поскольку религиозная работа направлена в сторону организации почитания, то всякая сторона исследования мысли приостанавливается, – уже идет в приглушенных тонах. Скажем, в этом Послании Павла мысль останавливается простым различением между греховным телом и Святым Духом, где та проблема, о которой я говорю, после намека на фундаментальную непрозрачность, сводится к борьбе с телом как «греховной темницей нашей души». Ну, а философу и писателю этого, конечно, недостаточно, у них другие пути и другие задачи. Но общность переживаний или исходных точек переживаний есть вообще во всех великих человеческих испытаниях, и в религии, безусловно, фиксируется великое человеческое испытание.

Дело в том, что, когда я вводил принцип невербальности, я тем самым вводил и принцип личности, а структура личности фундаментально содержит в себе то, что по-немецки можно было бы назвать Luft, зазор. Заложено в личности люфт чего-то непредположимого заранее – нечто, что само будет, а не то, что можно предрассчитать. И в этом смысле структура личности есть в действительности структура возможного человека – не того человека, который есть, и не структура абстрактной логической возможности, а **ВОЗМОЖНОГО ЧЕЛОВЕКА**. Я бы сказал, что структура личности есть как бы лик глубокой пустоты, там ничего нет, там пусто, и возможный человек – это пустота. Личность есть лик, или – лицо, наведенное глубинной пустотой. И вот с личностью как раз у нас дела очень плохи на российских пространствах. Вы понимаете, конечно, что личность – это не отдельный человек, не вот это драгоценное индивидуальное, телесное, телесно-духовное выделенное существо, – не это называется личностью. Структурой личности называются другие вещи, о чем я, в общем-то, кратко и невразумительно говорил, для того, чтобы дать вам, во-первых, различить и, во-вторых, дать вам материал для самостоятельной мысли. А вот пустота (или возможный человек), – она и есть то, куда мы можем идти в своих желаниях и в своих актах, непрозрачных и смутных до свершения актов. И там уже все зависит только от человеческого усилия держания бытия. Не механизм держит – не закон держит, а трагическое или героическое усилие человека, – трагическое, потому что мы упираемся там в метафизические невозможности, но только ими и очерчен мир, в котором вообще осмысленно говорить: справедливо – несправедливо, нравственно – безнравственно, ложно – истинно и т.д. (Надеюсь, вы понимаете, почему я именно эти примеры привожу; я не проповедник, но есть случаи отработанного и само по себе как-то понятного, если мы задумываемся, конечно, человеческого опыта, который искусственно заменить другими примерами невозможно.) Наложите на то, что я сейчас говорю, расшифровку простой и, в общем, таинственной фразы, которая повторяется в Евангелии от Иоанна и от Матфея, по-моему (во всяком случае, в двух Евангелиях она повторяется), – «Раньше, до Иоанна, были закон и пророки, а сейчас Царство Божие силой восхищается». Что имеется в виду? – из закона (закон-то есть) нельзя получить состояния – дедукцией из закона. Хотя совершенное состояние – post factum, потом – может быть в гармонии с законом. Но получить из закона нельзя. Более того, куда девать все это избыточное море человеческих желаний, человеческих движений, которые есть дерзание человека? О них нельзя судить в терминах закона, потому что в терминах закона я мог бы судить заранее, сказать: это – справедливо, это – несправедливо, это – нравственно, это – безнравственно; но нельзя этого сказать, если не пройден путь, если не свершился акт. И вот свершением акта – человеческим усилием, держанием бытия, в том числе сопряженностью с метафизическими невозможностями, собиранием вокруг них, – держится Царство Божие, а не законом. И все это, конечно, не отрицает закона, вот в чем состоит сложность.

И эта ситуация для человека, проделывающего опыт в мире, есть реальная и основная ситуация. Смотрите, я пытаюсь заранее разобраться в том, что должно совершиться моими актами, что есть добро и зло, я применяю критерий закона и, скажем, по каким-то критериям от чего-то воздерживаюсь. Вы помните в «Республике» Платона миф о некоем Эре, который попал случайно в загробный мир и наблюдал там сцену выбора. Человек получает возможность снова делать решающий выбор, он как бы заново может проигрывать какие-то решающие повороты своей жизни. И поскольку он жил в хорошо управляемом государстве, ему самому на собственный страх и риск не приходилось поступать. Скажем, было ясно, что ради добра, известного по закону, нельзя чего-то делать. И потому, что закон ему говорил, он не делал. На это восточная мудрость говорит, что несделанное, так же как непрочитанные «Веды» («Веды» – священные книги), не принесет тебе пользы в другом мире, и даже если ради добра ты не сделал, то несделанное будет порождать зло. И вот, возвращаясь к платоновскому случаю, – имея это несделанное, платоновский герой выбирает быть тираном (тиран – это известная политическая функция в городах-республиках) и рождает зло, потому что он сам не имеет никакого опыта добра – оно делалось, потому что хорошо управлялось государство, в котором он жил. И в следующую секунду он с ужасом узнает, какова неминуемая траектория жизни тирана, которая образно дается в завершающей точке, в которой тиран пожирает собственных детей, что является, конечно, символом действительной сути тирана, состоящей в том, что тиран может жить и быть тираном, только уничтожая любую выдающуюся голову в своем окружении. И вы видите, что в этом опыте, который очерчен постулатом смутности или непрозрачности любого акта до делания, задана тема жизни, состоящая в том (не случайно в индийских «Ведах» встречается термин «в другом мире»), что нечто живое, само, невербально, непредрасчетно, как живое знание или живое бытие, связано со всем живым, и все живое в какой-то маленькой части живет только в меру связи всего живого, – это закон. Ведь Германт мертв – в каком смысле? Он бесчувственен к горю человека, а бесчувственность есть свойство мертвого; он мертв в силу нарушения связи всего живого. И, наоборот, он был бы жив (чувствителен), увидел бы человеческое горе, и оно проникло бы в его душу, он с ним общился бы, – а мы занимаемся законами сообщимости человеческих душ и состояний, – оно общилось бы ему, если бы эта связь была выполнена. Что-то, что должно было реально делаться, осталось только в виде поклонов, когда-то его предками сделанных для выражения реальных сочувствий, но не продуманных, не раскрученных до конца самим потомком, у которого это уже – мертвая часть традиции, мертвая маска. Вот видите, я говорю, что живое в какой-то частице здесь живо в силу связи всего живого. И можно даже сказать, что те ситуации, которые приводит Пруст, примеры общения или разобщения, понимания людьми друг друга или непонимания, все они иллюстрируют одну простую ситуацию (сейчас я немножко иначе выражу ту же самую смутность или непрозрачность акта): во-первых, первый незнакомец для самого себя – это я сам. Но ведь я просто иными словами выражаю то, что говорил о смутности всякого акта до его свершения: акт – мой, но для меня он первый незнакомец, незнаемый, он издали идет и должен пройти расстояние; я должен совершать поступки, в начале которых (или предварительно) я не могу ничего ни различить, ни определить и, тем более, из закона не могу получить (потом можно будет соотнести с законом, а в начале нельзя). Значит, я первый незнакомец для самого себя как автор любого произведения, омега, в том числе поступка, потому что поступок тоже – произведение (я все время настаиваю на том, чтобы вы ставили знак равенства между книгой, поступком и т.д.). А без омега, без произведения, без сделанного поступка, без написанного сознания

или написанного текста ни в ком из нас не живет наша частица единого – как сказали бы индусы – атмана. Или – души, топоса сознания (не знаю, какие здесь выбрать термины). Пруст в случае любовных состояний употребляет термин «универсальная человеческая любовь», имея в виду некоторую универсальную структуру того или иного состояния, того или иного поступка.

Так вот, без этого свершения ни в ком из нас не живет наша частица, которая – наша, но она не живет, – частица некоторого единого, общечеловеческого или всечеловеческого выступления или откровения некой универсальной структуры, некоего универсального состояния, некой универсальной души. Наша частица только через свершение оказывается живой, и живой она оказывается в меру связи всего живого, а связь всего живого задана некоторой универсальной структурой человеческого состояния. И все траектории, все движения, перекресты людей, когда они – или слепыми глазами друг в друга упираются, или, наоборот, проходит ток общения (все это пространство траекторий, перекрестов и т.д.), – все это у Пруста совершается внутри пространства, очерченного тем, что я назвал связью всего живого. А калиточка в это пространство, дверца, через которую только мы можем туда попадать, – **идти** надо, идти. В принципе, любой акт непрозрачен, смутен до его свершения, и в его свершении только усилием держим мы нити, связывающие нас со всеобщей связью всего живого, и мы не можем получить этой связи из закона. В том числе подумаем о следующей вещи: ведь к человеческому не может быть принуждения: человеческое не причиняется нам, **для человеческого нет причинения**. Причинение есть в голоде (в естественном), когда я, будучи голодным, зубами разрываю (или вилкой и ножом – нет разницы) кусок мяса или, пользуясь своей силой, что-то вырываю у слабого; повторяю, пока нет закона, это все – эпизоды из натуральной истории. А вот причинения человеческому нет, в этом состоит положение человека: в человеке нельзя причинно вызвать человека. А с другой стороны, – в силу того что люди своим усилием держатся внутри совершаемых актов, смысл которых только по мере свершения этих актов устанавливается, – они не являются орудием или материалом, инструментом какого-либо замысла или Дела, в том числе и Дела Христова. Нет такого социального Дела, материалом которого и инструментом которого я был бы и, в меру определения своего места в этом деле и замысле, осознавал бы себя человеком и становился бы человеком (под этот «замысел» и «дело» подставьте любые слова), – будь то дело или замысел – общиной, соборным бытием, направлением истории, законами истории, колесом истории, объективными тенденциями или законами истории, или духом времени.

ЛЕКЦИЯ 26. 02.03.1985

Мы говорили о вещах, которые можно назвать, условно, сократической точкой нашей жизни. Такая точка, с которой мы очень часто перекрещиваемся в нашей судьбе и из которой мы должны быть вынуты, должны выйти из любого дела или из того, что нам кажется замыслом истории, общества, в которое мы вплетены. И тем самым то, что я говорил, означает, что мы как бы в этой точке делаем то, что она нам велит, а она нам велит идти по пути своего предназначения – вопреки задачам, рациональным прикидкам, целям, которые возникают из общественного, культурного и т.д. дела. И если нам удастся выполнить требования этой точки, – знаем мы о том или не знаем, такая точка всегда есть, таков закон устройства мира (в истории есть такие примеры: странное поведение Сократа, странное поведение многих других, оставивших нам предшествующий образец героического деяния), и если мы выполняем то, что говорит нам голос этой точки, то мы попадаем в то, что можно было бы назвать метафизической матрицей (я употребляю термин «матрица», поскольку

он содержит в себе оттенок чего-то, что рождает). Мы попадаем во что-то, что порождает в нас другие состояния и другие контуры нашей жизни и поведения, – скажем, механизм дела требует, чтобы я учитывал какие-то общественные интересы, логику самого дела, поступал бы целесообразно ради самого дела и т.д., а если я нахожусь в этой матрице, то я ничего этого сделать не могу. Например, при случае каком-то, вообразимом, я не смогу ради того, чтобы защитить возможность своих лекций, сказать, что я советский философ. Хотя явно ради дела стоило бы так сказать: ну, подумаешь, подмигнул вам – и сказал, ведь мы друг друга понимаем. Если так, то, значит, я не попал в матрицу и что-то во мне и тем самым в мире не родится просто из-за такой целесообразной и практичной хитрости. Но зато родится, если я выполню то, что рождается в матрице, конечно, обида деловых людей на меня, что я их подвел, ваша обида, что я вас подвел, и, скажем, если вам нужны эти лекции, их не будет, и тем самым дело «прогресса» в Грузии пострадает. (Я беру максимально близкие и простые примеры, чтобы показать серьезные вещи, стоящие за этим. Понимаете, философия может говорить только на языке каких-то изначальных жизненных смыслов, из-за которых, собственно, сама философия и существует, то есть существует определенный способ мысли, употребляющий определенные слова. Вот я сказал, казалось бы, простую вещь, но чтобы сказать ее, мне пришлось употребить термины – сократическая точка, метафизическая матрица – так ведь? Без них я не мог бы говорить об этой простой вещи, а с другой стороны, я говорил именно об очень простой вещи.)

Как показывает нам прустовский душевный опыт, авторами жизни – особенно там, где речь идет о конституции субъекта нашего романа в качестве социального существа, то есть существа, живущего с другими людьми, локоть к локтю соприкасающегося с ними, и, более того, существа, которое (и это есть существо этого романа) никогда не может сказать, что оно единственно, само, единолично является автором своей жизни, – авторами моей жизни являются также и другие люди. И еще – напоминаю вам высказывание Валери, который говорил, что не весь человек есть в человеке. Человек не дан целиком им самим – некоторые его части уходят куда-то, в какие-то пространства, в скрытые измерения. И такого рода душевный опыт, зафиксированный в романе Пруста, показывает нам, что отрыв от дела или от замысла в сократической точке необходимо диктуется еще и тем, что в том устройстве мира, которое я описывал, есть следующий закон. Закон, что в мире **нет** – французы сказали бы *l'avé nement* – **становления смысла**. Нет нашей возможности переносить на будущую прогрессию сложение смысла, который *post factum* санкционировал бы или освящал бы наши действия сейчас, здесь, в этой точке. И в этом смысле структура нашей душевной жизни находится **вне времени**. Основные философские понятия, относящиеся к человеческим душевным явлениям, – вневременные. В том числе такое понятие, как мораль. И это связано с тем, что я говорил о Деле («Дело» с большой буквы) и о замысле. Вообразите себе такой моральный акт, который связан с тем, что я включен в некую социальную систему, имеющую своей целью какие-то миростроительные цели. Скажем, строится светлое будущее, – а всякое строительство есть акт во времени. Парадокс состоит в том, что человеческие моральные явления и наши состояния в качестве духовных человеческих состояний не могут строиться так же, как строится это действие. В каком смысле слова? – я не могу сказать, что то, что я делаю сейчас, будет моральным или аморальным в зависимости от того, что удастся социальному механизму построить через 50 лет. И это не зависит от моих пожеланий, просто структура, или, как скажет философ, онтология, мира устроена так, что если я употребляю термин «мораль», то я не могу употреблять его как термин – временной. Ведь предполагается, что совершится какая-то прогрессия: действие индивида А присоединится к

действию индивида В, продукт действия индивида С присоединится к первым двум, продукт действия индивида Д присоединится к первым трем и т.д. – и эта сумма как бы обратным светом покажет, что, поскольку я участвовал в строительстве общественного Дела, я поступал морально сейчас. Но это невозможно, исключено самим строением мира. Применение термина «мораль» или «аморальность» осмысленно, только если я выделяю область вневременных и тем самым абсолютных явлений. Поэтому фраза: «морально то, что служит строительству коммунизма или социализма», с философской точки зрения и с точки зрения душевного или духовного реального опыта, проделанного сотнями людей, – бессмысленна, ее невозможно построить так, чтобы она соответствовала бы элементарным требованиям рациональности и грамотности терминов. Строение нашей душевной и исторической жизни исключает осмысленность такого рода, слова или фразообразования.

То, что я сейчас говорю, есть иллюстрация способа мысли об определенных вещах. И в том числе, конечно, есть иллюстрация гигиены нашей моральной жизни. За вынесение сора из своей души приходится платить – нужно работать, думать надо, не спешить, задерживаться, подвешивать акты. Быть в точке надеяния. Такой же условной фразой я говорил – фактически чисто стилистически, а не содержательно, – что мы не можем употреблять термин «мораль», если не имеем в виду некоторые вневременные акты, то есть акты, не имеющие временного складывания или временной прогрессии, – не суммирующиеся акты, короче говоря, так? И тем самым я демонстрировал стиль – в каком смысле слова? Например, в связи со страданием я могу сказать, что одной из первых философских фраз, – философской по упакованному в ней или скрытому в ней складу мышления, – является фраза Будды: «Не думайте о том, конечен или бесконечен мир, причинен он или беспричинен, а думайте о том, что все есть страдание». Такая фраза имеет в виду не эмпирический факт, что мы страдаем, а то, что надо исходить из принятого и неразрешимого страдания, которое и есть точка надеяния и труда страдания, мы там ничего не можем заметить, никто вместо нас ничего не сможет сделать и т.д. – да? И главное – мы не должны разрешать страдания какими-либо эмпирическими действиями. Скажем, в ответ на пощечину давать пощечину... Ведь когда подставляют вторую щеку, то имеется в виду глубокая душевная истина, состоящая в том, что, если ты ответил пощечиной, тем самым то, о чем ты должен был подумать и над чем должен был потрудиться, ушло, потому что разрешилось действием. По этой же причине, скажем, рекомендуется любить врага своего. Опять, повторяю, это не есть эмпирическая истина, диктующая нам поступки (поступки отсюда не вытекают), а есть истина душевной жизни, говорящая о том, что нужно сказать врагу спасибо, потому что он позволяет мне заглянуть в себя и увидеть из меня самого вырастающие тени, над которыми можно властвовать, которые можно обижать, которые можно угнетать, потому что меня как такового, без теней, вырастающих из меня, нельзя угнетать, надо мной нельзя властвовать; властвовать можно над тем, что из меня самого вырастает. И поэтому иногда можно сказать спасибо врагу за агрессивный акт и любить его. То, что я сейчас говорил, есть стилистические предупреждения о способе речи. Мы имеем дело с особой категорией истин, которые я назвал духовными истинами и которые не есть эмпирические рекомендации, рецепты. Я не говорю вам, что, когда вам дадут пощечину, подставьте вторую щеку, не говорю вам – любите врага своего, в смысле эмпирической рекомендации или рецепта. Значит, мы убедились в том, что существует какой-то другой язык, и хотя он употребляет те же слова, что и наш обычный предметный язык, но говорит он этими словами что-то другое. И чтобы понимать, что он говорит, нужно, следовательно, знать грамматику этого языка. И вот многое из того, что я говорю, говорится на этом языке. В том

числе и социальные примеры, которые я привожу. Из них, повторяю, не вытекает никаких рекомендаций, а вытекает что-то другое, относящееся к определенному разряду истин, прихождение к чему не зависит от нашей сообразительности или от нашего ума. Зависит, во-первых, от труда, от терпения и, во-вторых, от того, повезет ли нам и окажемся ли мы в том, что я назвал «метафизической матрицей». То есть услышим ли мы голос, обращенный только к нам и налагающий на нас обязанности только перед ним, а не перед друзьями, родственниками и тем более не перед социальным Делом, или Замыслом истории, которому мы должны были служить и быть тем самым инструментом осуществления Замысла истории в нашей жизни.

И тем самым я показываю, что за простейшими вещами, описанными часто анекдотически в романе Пруста: кто-то любовник кого-то, кто-то кому-то изменяет, кто-то педераст, кто-то лесбиянка, – то есть за тем, что так увидено, – стоят громадные философские пласты, громадные культурные пласты. И в том числе тот культурный пласт, о котором я говорил прошлый раз, – что творчество Пруста есть некоторая попытка возвращения европейского человека в дом, который принадлежит ему по рождению как европейскому человеку. На дверях этого дома написано только одно: героическое усилие в точке невербальной очевидности, данной тебе и больше никому, отвага верить тому, что ты видишь собственными глазами. Конечно, вы понимаете, что и динамика европейской культуры связана с тем, что нет различения, заранее данного, между высоким делом и низким делом, между высшим, священным и низменным, мирским; отсюда способность европейского человека двигаться в мире и создавать в нем гражданские, хотя и несовершенные, формы высокой цивилизации, способность переварить все, что в мире может происходить, – с этим связана пластичность европейской культуры, незастывание ее в одном, окончательно данном образе. Но все человеческие дела всегда обрастают какой-то корой и периодически эту кору приходится срезать, чтобы возвращаться к действительным живым источникам культуры. Скажем, период перелома веков – XIX и XX, начиная примерно с 1905 года, можно с 1895 года начать, и до первой мировой войны, – период такой созревшей необходимости срезать кору, напластования и возвращаться к возрождению действительных живых источников. И Пруст двигался именно в этом направлении. Я говорил вам в прошлый раз, что в такого рода опытах проглядывает факт, что любое человеческое деяние, акция, поступок, мысль, норма, ценность – как выполняемые – фундаментально непрозрачны, обладают, как говорят французы: *opacité*. Или – *l'acte opaque*. Непрозрачны, темны. Исходная изначальная темнота всякого действия, которое просветится не умственной прикидкой и оценкой перед действием, или по критериям, которые заранее заданы в нормах и правилах, а тогда, когда пошли, – и по ходу выяснится, установится смысл. Скажем, прошлое по прустовской концепции, есть нечто, что не сбылось, не свершилось, – смыслу чего нужно дать случиться сейчас. Поэтому я приводил, походя, пример нашего отношения к поэзии Табидзе. Ведь Табидзе есть действительно наше грузинское прошлое в том случае, если мы собой, своим сознанием даем ему случиться. Она (поэзия) не сбылась – вот что такое прошлое. Помнить можно только то, что не сбылось, как и забыть можно только то, что не сбылось. И когда говорят о людях без прошлого, без истории, то имеют в виду людей, которые не участвуют в свершении того, что не свершилось. И вот голос, который к нам обращен в сократической точке, голос предназначения, – он обладает этими чертами указания на то, что еще должно свершиться с твоим личным участием. Поэтому, собственно говоря, этот голос и налагает ответственность. И статус прошлого в романе Пруста и в сознании Пруста имеет прямое отношение к тому, что я называл непрозрачностью актов, любых актов, или, можно сказать так: непредпрозрачностью. То есть

отсутствие предварительной прозрачности. Казалось бы, есть закон, по которому мы можем сказать: вот это – добро, а это – зло. Оказывается – нельзя; вот в чем состоит положение человека или удел человеческий.

Значит, мы движемся в той области, где существует закон, что человек, верящий во что-то высшее, должен платить за эту веру тем, что он накопил в себе, в том числе и неверием. Поэтому одна из великих фигур религиозного сознания – это фигура человека-богоборца. И опыт показывает, что этому человеку есть чем платить за веру. Потому что он-то признал, что ничего не ясно перед действием и что он должен сам убедиться, сам пройти путь. И вот – грохот и шум страсти – это накапливает в нас ту евангелическую соль, о которой потом мы говорим: или она есть, или ее нет. Накапливает то, повторяю, чем нам есть платить за высшие наши состояния: за любовь, за веру, за надежду и т.д. И явно, что сам факт движения человеческой души, идущей, как описывает Пруст, по пути желания, чему никогда заранее нет места ни в какой картине мира, что всегда ново по отношению к тому, что записано в картине мира и что уже имеет знаки хорошего, плохого, позволенного, непозволенного, безнравственного, нравственного, – не записано ничего этого, нужно идти – и сохранение живым этого движения есть то, что Пруста так мучило и что он на нашем человеческом языке называл **бессмертием души**. Это – **язык** – потому что, когда человек говорит: бессмертие души, он не говорит, что душа бессмертна. В том числе и потому, что философ не считает, что мы, например, я или вы, по отдельности, обладаем душой. Есть термин «душа» и т.д. – это все элементы нашего человеческого языка, на котором мы пытаемся сказать что-то, что сверхчеловечно, но тем не менее действует в нашей жизни. И вот в прохождении этого пути есть очень интересная вещь, снова возвращающая нас к тому, что я говорил о Замысле и Деле. Прочему, например, наше участие, а мы часто именно так и решаем, в Замысле, в Деле не является элементом и не может быть элементом нашей действительной жизни, то есть мы можем быть мертвыми, каковыми чаще всего и являемся, а вот если живыми, то – нельзя – почему? По одной простой причине: мир Замысла или мир Дела, то есть мир, изображенный так, что имеет смысл о нем говорить, что есть какой-то мировой Замысел или есть Замысел истории, или есть какое-то социальное или общечеловеческое дело, и вот как бы батальоны участвуют в этих делах и маршируют, и маршируют, конечно, неминуемо вперед, потому что батальоны обычно никогда назад не идут в таком изображении (есть неумолимый закон прогресса), и все накапливается, складывается, и каждый раз люди, так думая об истории, потом таращат глаза перед историческими катастрофами, которые всегда, конечно, «незаслуженны», всегда «неожиданны», падают прямо на голову, как шаровая молния, – так вот, мир, который изображен в картине, содержащей термины Замысел и Дело, есть мир, устроенный без нас. И в нем есть бессмертие – есть кумуляция, суммация и прогрессия актов, дающая смысл; суммация есть бессмертие: мы участвуем – вложили свой кирпичик, кирпичик потом в этом деле живет, накладываясь на другие кирпичики, положенные другими, и вот все бессмертно – очень милая картина. Это бессмертие – без испытания, без того, чтобы каждый из нас ставил на карту свою жизнь. Значит – какой-то мир с механизмами, которые функционируют, работают без нас, мир, в котором обеспечен какой-то смысл, а смысл обязательно бессмертный, другого не бывает, смысл нашей жизни **без** нашего испытания.

Так вот, роман Пруста – роман-запись **испытания**, то есть прямо противоположный тому, о чем я сейчас говорю. И принцип, в отличие от Замысла и Дела, – **только со мной**. То есть в мире принимается любой механизм «только со мной», если он предполагает, что я в нем что-то держу на своих плечах, на свой собственный страх и риск и в испытании. И это «только

со мной» есть одновременно и правило **понятности** мира. Целые куски истории, крупные социальные и исторические события, явления можно понимать согласно этому принципу, – реконструируя, восстанавливая степень этого «только со мной» или его отсутствие. В данном случае, как в математике случается, наличие состояния или отсутствие состояния – и то и другое – есть состояние (сейчас я в первый раз, по-моему, говорю сложную вещь, которая очень абстрактна). То есть в складывании наших судеб и линий истории неосуществленное играет такую же роль – **продуктивно** в отрицательном смысле – как и сделанное. Например, я могу утверждать: то, что грузины не сели в парусные лодки, то, что они не были мореходами, то есть **не были** – «чего-то не сделали», – есть вещь, посредством которой можно объяснить форму, которую приняла последующая грузинская история. Есть какие-то роковые необратимые действия или недействия, которые определяют историю. Вот чего-то грузины не сделали десять веков тому назад, – скажем, связка: Грузия, Черное море и мореходство и т.д., – что-то неосуществленное. И посмотрите, как много этим можно объяснить. И поэтому я сказал, что в каком-то смысле состояния, – скажем, я включен в мир на свой собственный страх и риск, совмещен с метафизической матрицей в сократической точке, то есть вышел на голос, услышал его, – это состояние определенного рода, да? – живое состояние, тем самым оживляющее все другое, да? или – не вышел, – так вот, неосуществленное или не-состояние тоже есть состояние, в смысле чего-то, играющего роль в этой структуре мира. И, значит, когда я говорил, выявив путем приложения правила «только со мной», что люди в Грузии десять веков тому назад что-то должны были сделать на свой собственный страх и риск, не имея заранее ни гарантий успеха, ни смысла того, что они делают, потому что смысл только по ходу дела выясняется и т.д., и они этого не сделали, – я ведь беру этот пример не просто как правило душевной жизни, а как правило **понимания** истории. То есть, подумав об этом, я могу понимать события. И в этом смысле философы говорят о правилах интеллигибельности. Значит, что-то является нашими предметами, объектами: сократические точки, душевные состояния, в которых мы, держа своим усилием какие-то явления в мире, движемся, и одновременно это – события, это – объективные явления, которые я могу понимать.

Теперь мы можем сказать, что имеем как бы некоторое малое зеркало бесконечности. Человек – «включенный», с выполнением принципа «только со мной», есть как бы малое зеркало бесконечности или чего-то бесконечно большего, чем сам человек (общество, история) – как в пространстве бесконечно большее, чем индивидуальный человек, так и во времени. И, имея некое малое зеркало большой бесконечности и там понимая что-то, мы, применив определенные понятия, можем понять что-то и в том, как сплетаются нити и контур большой бесконечности, то есть истории и общества. Но тогда каждый момент той большой бесконечности (общества, истории) есть как бы **выражение** того, что есть в малом зеркале этой бесконечности. Когда я говорю «выражение», тем самым я снова повторяю то, что я взял за исходный пункт понятности. Прошлый раз я приводил цитату из Пруста, где говорилось о том, что тот, кто не понимает, что происходит в индивиде, скажет о большем, то есть об истории и об обществе, только пустые слова. Так вот, проблема рассмотрения понимания большего состоит в том, чтобы суметь рассмотреть это большее как «выражение» (не сознательное, конечно) в каком-то другом смысле слова. Напомню вам проблему эквивалентов. Я описывал вам сцену на Елисейских полях: маленький Марсель гуляет с няней и ощущает запах сырости около писсуара (если ненажимный стиль Пруста переводить на мой грубый способ выражения, то это запах мочи). И вот обратите внимание на то, что в писательском способе Пруста – и в этом состоит новизна этой

романистики – запах сырости **не есть ощущение** сырости. Запах сырости есть материально – вне субъекта – данный **эквивалент**. Чего? А там – то, что Пруст называет впечатлением, там, в этом запахе сырости, есть как бы материально, реально, вне индивида представленное **бытие**. Бытие некоторых сексуальных инстинктов нашего маленького Марселя, эквивалент того, что с ним будет происходить, а именно: эквивалент «женщины в розовом», которая потом появится в кабинете дяди Марселя, к которому мальчик пришел с визитом и застал уже уходящую после визита некую даму в розовом, которая предстала перед ним как модель женского таинственного очарования. Потом эта же дама в розовом оказывается еще одной ступенькой или одним сплетением в судьбе нашего героя, потому что она, как потом Марсель узнает по фотографии, – Одетт – любовь Свана. А фотография подарена ему сыном бывшего слуги дяди, а сын этого слуги – Морель, музыкант, возлюбленный Шарлю... Фактически я перечисляю людей, которые являются авторами жизни нашего Марселя. Кроме всего прочего, что я говорил об этих эпизодах, я хочу сказать, что запах сырости есть материализованный вне нашего субъекта эквивалент, или реальное материальное бытие, или выражение судьбоносных встреч, судьбоносных состояний нашего героя. Переверните это, – следовательно, как нам понимать запах сырости? Мы его поймем, если расшифруем его как эквивалент. Не как ощущение, – как ощущение мы его не поймем никогда. Никакого знания не извлечем мы из того, если мы рассмотрим это как элемент совокупности ощущений, – ощущения сознаются, соотносятся с предметом, вызвавшим ощущения, и являются элементом, так сказать, внутреннего мира, отделенного от внешнего. И если мы так смотрим – мы не понимаем, что происходит. В том числе не понимаем запаха сырости. А наш герой вцепился в этот запах и стал его раскручивать. Именно потому вцепился, что он не понял его как просто ощущение, а хотел понять как эквивалент и сплел, в расшифровке этого впечатления, выявил нити своей судьбы. В том числе выявил форму той формы, в какой ему вообще доступно переживание полового чувства. Казалось бы, какое это имеет отношение к ощущению сырости? Никакого. А он смог это сделать. И вот сырость может быть таким выражением (я сейчас просто расшифровываю термин «выражение»), и события, социальные институты могут быть поняты как «выражение», вот в этом смысле слова. Понимаете? То есть мы имеем дело с совершенно другой стилистикой мышления, другой стилистикой романа, другим сознанием. С другим сознанием мы имеем дело и в самой реальности – в судьбе самого человека, который становится на путь расшифровки чего-то вне себя как эквивалента. Тогда он движется на той плоскости или поверхности, которую я называл вывернутой поверхностью. Ведь сырость – элементарный эквивалент невыразимого, потому что глубокие тайны устройства полового чувства нашего Марселя есть то, что мы как всегда относили к самому тихому, незаметному и невыразимому, и выражение уже существует – эквивалент. То же самое, кстати, продумывал Рильке; я приводил цитату, в которой он говорил, что с юности его преследовало убеждение, что для всех наших самых недоступных выражений чувств и состояний существуют вне человека материальные эквиваленты этих состояний. Материальные эквиваленты состояний. И вот эти низкие, эти невыразимые состояния есть как бы под нами, а мир, внешний мир, как бы над нами. И мы как бы выворачиваем всю эту структуру, потому что то, что сам субъект считает внутренним, перестает для нас быть внутренним. Сам субъект ведь продолжает мыслить и жить в терминах осознаваемых ощущений, в терминах своего внутреннего мира. В этих терминах то, что «под» – недоступно. И то, что «вне» – тоже недоступно, потому что «вне» – предметы, вызывающие ощущения: ну, естественно, запах сырости, потому что просто сыро и в писсуаре моча. Почему вдруг – не ощущение уже, а впечатление

должно завораживать и быть символом, каким-то магическим символом встреч, каковым он является у Пруста Потому что это, повторяю, есть не ощущение, а эквивалент, в котором упакован, как в символе, магический знак встреч, перекрестов, которые будут в жизни происходить. (Я упоминал, что такими материальными эквивалентами пользовался в свое время Пастернак в «Докторе Живаго»; у него многие такие вещи являются магическими фонарями, расставленными на перекрестках встреч, которые, в каждый отдельный момент, непонятны, но властно влекут к себе и требуют расшифровки, постоянного мысленного возвращения к ним. Скажем, один персонаж в начале, обозначенный знаком, магическим знаком будущих тайных встреч, потом разъясняется как другой персонаж.)

Так вот, введя эту тему «выражения», я хотел пояснить, в каком смысле отношение человека к миру, которое выражается требованием «только со мной», «только если я включен», в каком смысле это отношение является одновременно способом понимать мир, историю и общество. К тому, что я сейчас буду говорить, постарайтесь привязать мотив, который я уже ввел: в этих фундаментах нашего духовного, нравственного и социального устройства **нет законов прогрессии**. То есть смысл чего-то устроен структурно иначе, не так, чтобы он складывался по какой-то линии в будущее. Я вам приведу пример Достоевского, чтобы вовлечь еще дополнительный материал, на этот раз более доступный, и чтобы вы могли это самостоятельно продумать. Достоевский, пожалуй, первый и до XX века единственный русский писатель, которого можно было бы назвать (хотя я не люблю его как писателя) «нефизическим» писателем, – писатель, у которого отсутствует какая-либо социальная, заранее заданная иерархия слоев, характеров и т.д. У него отсутствует какая-либо принадлежность человека к какому-нибудь слою или состоянию, и оценка человека по этой принадлежности. У всех русских писателей есть какая-то характеристическая принадлежность человека к определенным слоям населения, слоям общества и соответствующее понимание, оценка и т.д. Даже у такого писателя, как Толстой, все-таки на заднем фоне его мысли есть стремление к некоторому реальному социальному состоянию или слою бытия, к которому можно было бы блаженным образом, наконец-то, прикрепить человека; какой-то устой, вне человека существующий (это, так сказать, уже толстовская утопия). А у Достоевского человек стоит в той точке, где все делается впервые и заново, он не принадлежит «никуда», **еще** «никуда» не принадлежит, он еще должен пройти путь испытаний и потом оказаться уже в какой-то социальной ячейке, и Достоевский его берет все время в той точке, где все решается впервые и заново. Скажем, героини Достоевского всегда находятся в некоторой такой точке, **после** которой только есть что-то и **до** которой нет никакой определенности, – определенность будет только после испытания. Женщины, находящиеся в этой точке, изображены в молчаливом крике (если есть крик молчания). Молчание – потому что все с ними только **впервые должно стать**, в том числе какая-то очерченная социальная или нравственная фигура, но в каждый момент своего становления они уже имеют вокруг себя и перед своими глазами готовые варианты, похожие на то, что они испытывают, и поэтому они молчат. То есть нельзя сказать правды, которой не почувствовал уникально в точке своего испытания, – в момент, когда она уже похожа на ложь. Помните – «мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами». И вот они-таки хранят, потому что – в точке отсутствия какой-либо принадлежности к чему-то. И, к сожалению, такой эксперимент прошел вообще мимо русской литературы, мимо прогрессивной русской общественности, так же как он прошел и мимо самого Достоевского как мыслителя. Гениальный лицедей, который все время на слух и на язык перевоплощался в проблемы своих героев и тем самым сам проходил

путь в этих точках и был неким таким пластическим явлением, – когда он пытался резюмировать самого себя в качестве мыслителя, то получался косматый бред. И вот когда я говорю об этой точке и проясняю ее со стороны, той, что она может служить также и принципом понимания, то тем самым я ввожу проблему человеческой вместимости. Вместимости в мир наших уникальных, на собственный страх и риск испытываемых состояний и переживаний. И особенно тогда, – в силу того, что скорости, по которым мир вокруг нас складывается, гораздо больше скоростей нашего движения, – когда мы в любой момент нашего переживания уже имеем ответы на наши переживания, уже имеем наши же собственные переживания, обозначенные знаками, в которых мы сами своих переживаний не можем узнать и не можем найти для них места. Так же как женщины Достоевского не могут для своего переживания добра найти места в знаке добра, который вокруг них уже есть. Вокруг них уже знаком обозначено, известно – что добро, что зло. А для себя, со своим, для них несомненным, **личным** испытанием добра, они не могут найти места в знаке добра.

Значит, если мы находимся в том положении, которое я описывал словами, говоря, что фундаментально любой акт непрозрачен, то теперь мы понимаем, что, во-первых, акт непрозрачен: мы не можем оценки его получить – дедуктивно – из существующего уже закона, нормы, правила. Во-вторых, для того, что всегда ново и всегда избыточно, – жизнь всегда меняется, всегда есть что-то, что еще должно в мире найти себе место, – найти место очень сложно. Потому что, повторяю, уже все обозначено: мы начинаем что-то делать, а кривляющийся знак этого нашего дела уже встречает нас какой-то гримасой. Поставьте перед собой простой вопрос: вы что-то переживаете, что отмечено знаком вашего риска, знаком того, что вам нужно в этом разобраться, потому что жизнь ваша решается в зависимости от того, поймете вы или не поймете что-то в самом себе, – и почему эти переживания нужно вмещать в мир? – да по одной простой причине: эти переживания могут вам казаться напрасными. Зачем? Где? Кто я? И куда мне деться с тем, что я переживаю? Во-первых, то, что я переживаю, непохоже на уже существующий знак того, что я переживаю. Более того, существующий знак вообще может делать напрасными все мои переживания. Переверните: для чего страдали, для чего мучились, из-за чего умирали люди? Ведь то, что было живым, оно хотело жить, **вмещаясь** в мир, в мир смысла. И эта вместимость наших чувств, особенно в их избыточном варианте, есть самая страшная наша проблема. Если не существует уже отлаженной структуры, которая называется структурой личности. То есть – если не существует уже совершенных до меня актов личностного деяния, внутри которых я могу двигаться дальше. Представьте себе, что вы живете в традиции, в которой до вас не было Сократа... Ведь что мы называем структурой личности? Я в прошлый раз пояснял, что термин «личность» отличается от термина «индивид» и термина «человек», «индивидуальный человек» простым, но глубоким смыслом. В нашем обиходном языке мы личностью называем каждого отдельного, индивидуально видимого человека. Человек – это совокупность каких-то свойств. А когда мы говорим о личности, мы имеем в виду некоторую **пустую** структуру, называемую – «возможный человек». Ведь личностное поведение есть поведение беспричинное. Делать что-то лично, именно **лично** (не потому, что принадлежишь партии, принадлежишь нации, не потому, что добр, не потому, что зол) – **без оснований**. Или – делать то, основанием чего является сама личность или какой-то люфт, специально оставленный пустым пространством возможного человека. Мы ведь заранее не знаем, что – человечно, что – нечеловечно. Это вытекает – то, что есть в мире структура личности, – просто из того, что заранее всякий человеческий акт или деяние непрозрачны, темны. А мы

предполагаем, что мы все заранее знаем и все заранее определено. Тем самым мы исключаем какую-либо пустоту, в которой что-то могло делаться на личностных основаниях, – исключаем существование структуры личности с этим пустым знаком.

И мы возвращаемся тогда, в частном случае, к традиции русской литературы, которая эту структуру личности исключала (поскольку эксперимент Достоевского прошел мимо нее), и обязательно должна была человеческую личность фундировать, основывать на какой-нибудь принадлежности. Это оказалось и прустовской проблемой, и вообще проблемой начала века, в силу того, что все время оставался неясным, непродуманным один винтик или один пункт европейской культуры. Я его обозначу так. Культура предполагает, что есть некоторый тотальный разум, придающий смысл и значение всей совокупности человеческих действий. С другой стороны, в основании этой же культуры заложен принцип, который я назвал «только со мной». То есть принцип допуска некоторой автономной спонтанной точки, оставленной пустой, в которой вспыхнет личностное деяние, способное самонастроиться на высшие идеалы и ценности, – не получить действие в этой точке путем дедукции из идеалов и высших ценностей, а **допуск**, что есть заранее непрозрачные, не выводимые ниоткуда спонтанные автономные действия в этой точке, оставленной **пустой**, но такой, что вспыхнувшие там личностные действия и личностные понимания способны **самонастроиться** на высшее, – это обычно называется человеческим достоинством. Значит, первое – высшее, так сказать, разумное, а это – некоторые спонтанные источники. Так вот, отношение между одним и другим, все время было и сегодня остается смутным или заново продумываемым в европейской культуре. Почему? Помните, я вам приводил пассаж из Послания святого Павла Римлянам и обронил тогда фразу, что религиозный Апостол может позволить себе пропустить этот пункт, а философ – не может. Пункт, где он вдруг простым образом разрешает проблему, что я могу знать добро, знать лучшее – из закона, например, и в этом смысле желать его, а делать худшее (зная лучшее). Апостолу достаточно указать на разницу между духом и телом и призвать человека контролировать или умерщвлять все, что спонтанно из тела вырастает. А в культуре и в философии это не проходит, этого недостаточно. И, в силу непродуманности этого дела, все автономные источники, в которых должно вспыхивать на свой собственный страх и риск какое-то личностное действие, получают характер или оттенок стихийности. То есть – царства иррациональных или нерациональных стихий. Стихий-желаний, человеческих дерзаний и т.д., но с тем оттенком, что они ускользают, не интегрируются, или – неизвестны пути, каким образом они могут интегрироваться в разумность тотальности, в разумность целого. И поэтому эта стихийность очень часто начинает восприниматься как то, в чем – в своих желаниях, в своих стремлениях и целях, **заранее** не имеющих никакого ответа, – можно было бы раствориться, найдя опору, но теряя – что? – теряя классическую структуру личности. То есть теряя человека, который способен владеть собой в полном объеме своего существа. И вот сильная культура предполагает, во-первых, допуск **автономных источников**, спонтанных источников, точек, в которых происходит нечто заранее невыводимое, и, во-вторых, способность человеческих сил в этих точках, тем не менее, **интегрировать** желание, новые силы, новые прозрения в разумность и в смысл или в **осмысленность целого**.

Вот и возникает качание между этими крайностями. С одной стороны, развивается то, что можно назвать христианским идеализмом (в данном случае я имею в виду постевангелическое, то есть после-евангелическое христианство, а в Евангелии, как я вам уже неоднократно говорил, все иначе, ближе к нашему делу и ближе к Прусту, чем в постевангелическом

христианстве), – рассудочное выделение некоторого царства чистых идеалов, отделенного некоторой границей от бушующих стихий мира. А с другой стороны – восхваление или выдвигание на первый план (в противовес христианскому идеализму) самих этих стихий, за которые человек пытается зацепиться, в них укорениться, растворив самого себя как личность. Вы можете продумать это, взяв для примера опыт Блока, который был поражен культурным кризисом в самом основании своего нравственного и духовного существа и который просто маниакально хотел слиться с какой-нибудь стихией, лишь бы она была хорошей. Блок имел в виду женскую стихию – не конкретно – женщину, а стихию некой женственности или «музыкальности», как он выражался, где он мог раствориться, потеряв очертания, выделяющие его как личность, тяжести которой его хрупкая душа не могла вынести. Но и стихия привлекала его именно чертами вот этой большей, чем он сам, обладающей какой-то тайной красотой стихийности (стихия хороша именно стихийностью), Ну, по этой же причине мы очень часто нуждаемся в хозяине, и любим мы хозяина по тем же причинам, по каким Блок любил стихию. Ведь чем отличается хозяин? – хозяин стихийен, никогда не знаешь, когда молния высшей хозяйской справедливости и наказания или, наоборот, награды ударит в тебя, и тем он прекрасен и хорош. Вот такого рода комплексы в философии иногда называют «женской душой». Скажем, «женскую» душу философы обнаруживают в немецкой культуре XIX века и в русской культуре XIX и XX веков. И если вы сделаете небольшой, так сказать, опыт рефлексии над самим собой, то вы увидите, что за многие вещи, относящиеся к этому комплексу «женской души», той, которая жаждет раствориться в хозяине (а в хозяине ценны именно его непредсказуемые, стихийные проявления – как бог Зевс, который бросает свои перуны, и никогда не знаешь, когда и за что, но когда эго случается, то чувствуешь хозяина), за растворение в стихии такого рода, мы платим теми вещами, которые мы открыли как цивилизованные люди. А именно – самыми большими открытиями – разумом, личностью и свободой. Пруст не был согласен платить такую цену. И, собственно, поэтому у него было такое особое отношение к произведению или к тексту, который он называл «единственным страшным Судом», – перед лицом которого ты должен собирать себя. И тем самым он проходил, конечно, классический путь. И этот путь, я говорил вам уже неоднократно, обозначен простыми словами, а именно – *hic et nunc*, здесь и теперь, или, как я теперь могу уже сказать, – без прогрессии.

ЛЕКЦИЯ 27. 16.03. 1985

Напомню об одной вещи, которая, как мне показалось, вызвала у вас внутреннее сопротивление или непонимание. И ответственность за это непонимание, очевидно, лежит целиком на мне. Я ввел постулат, что мы можем считать, что наши желания и цели есть нечто, что всегда достигнуто и выполнено. За этим стоит сама по себе простая вещь, но уловить ее сложно. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, когда я употребляю слова «простое» и «сложное». Двусмысленность в употреблении этих слов связана с нашим человеческим положением, то есть с тем, что мы вообще как люди можем в мире и в космосе. И беда наша состоит в том, что истина или суть дела проста, но нам она не дана, нам дано сложное. То есть мы вынуждены иметь дело со сложным, хотя то, с чем мы имеем дело, на самом деле просто. Но мы – люди и простое улавливаем только сложными путями, и то не до конца. Вы, наверное, сталкивались в своем психологическом опыте с тем, что есть много всяких слов, которые сами по себе требуют объяснения и ничего не объясняют, просто это удобные, расхожие ярлыки, которые мы наклеиваем. Что-то брезжит перед нами настолько простое, что уловить невозможно. Как и тот взгляд, который я пытался выразить. Сейчас я поясню примером, из Канта заимствованным (как

видите, я снова хожу кругами, надеясь по дороге как можно больше пыли поднять в ваших головах и в своей тоже). Кант утверждал странную, парадоксальную и очень простую вещь (по стилю она похожа на то, что я хочу сказать): вот мы живем в мире, созданном Богом (при всем символизме этой фразы вы ясно понимаете, конечно, что «создание», «Бог» и т.д. не имеет прямого предметного смысла: Бог не создает предметов в мире), и мы не знаем – как люди – ни его намерений, ни планов, он для нас является предметом веры и надежды. Но, говорит Кант, сама эта вера и надежда, или сама включенность некоторой божественной гарантии в то, что мир устроен определенным образом, сама эта включенность и надежда на нее настолько **абсолютны**, что мы не можем полагаться на Бога ни в каких своих делах. То есть ни в какие конкретные дела мы не должны его вовлекать, настолько абсолютны надежда или вера. Это понятно? Мы не должны ни льстить Богу, ни шантажировать: вот смотри, я сделаю так и погляжу на тебя, вовремя ли ты вмешаешься в созданную мною ситуацию и вытащишь меня за волосы из болота и т.д. Кант имел в виду, что этот элемент нашего устройства настолько завершен и выполнен, что вовлекать его в наши конкретные дела и расчеты мы не имеем права. Если мы этого не делаем, если мы не вовлекаем, то тогда мы действительно имеем веру. Более того, если мы даже не пытаемся угадывать Божественный план и замысел. Он абсолютен. А наше дело – думать лишь о том, что можем мы, и, самое главное, о том, чтобы быть достойными того, что выпадает – если выпадает – нам тогда, когда мы встретимся, скажем, с благодеянием, с милостью или с пониманием других людей. То, что я сейчас сказал, относится вообще к устройству нашей сознательной жизни, ко многим вещам, которые она содержит, в том числе, например, к акту понимания. Понимание абсолютно, на него полагаться, вызывать его и ждать нельзя. Вы помните, наверно, стихи Тютчева:

Нам	не	дано	предугадать,
Как	слово	наше	отзовется,
И	нам	сочувствие	дается,
Как нам дается благодать...			

А благодать – мы только встречаем; мы не строим своего поведения с расчетом на благодать, иначе благодать – это не благодать. Точно так же мы не строим нашего поведения с расчетом на понимание другим человеком нас. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» Наше дело – построить слово и в следующий момент времени быть самим достойными того, что нам выпадет как благодать, в данном случае – понимание нас другим человеком. Следовательно, наше поведение строится совершенно безотносительно к этой цели – она принята в этом смысле как выполненная. В этом смысле **куда** ушло ее выполнение (скрыто от нас в какое-то подземное царство ушло), мы не знаем. Так же как наши желания, – не те рациональные мотивы, которые у нас в голове, а сама **истина желаний**, – она уже исполнилась в каких-то предметах, которые, может быть, скрыты от нас, и расположились на них, и потом мы можем эти предметы встретить извне в виде эквивалентов наших невыразимых состояний. У наших самых тайных, самых невыразимых состояний есть в мире какие-то эквиваленты, которые мы встречаем извне. Так же как Микеланджело извне встречается со статуей – ведь только при понимании внешнего характера встречи с истиной может родиться такая фраза: что такое статуя? статуя – это камень, от которого отделено все лишнее. То есть она есть, нужно лишь просто отделить все лишнее. Или – те же самые души деревьев из Данте.

Приведу вам еще одно рассуждение, чтобы показать это нечто простое, что мы улавливаем очень сложными путями. Например, закон есть нечто, что формирует цели или является нашей целью. Поэтому можно сказать, что цель –

всегда достигнутая, не бывает половины цели, четверти цели, полуцели и т.д. Сама телеология настолько абсолютна, что она не является элементом нашего расчета. Это касается и закона. Мы можем считать так: есть закон, его нужно выполнить, и мы подыскиваем средства, посредством которых закон должен быть реализован. Можно подставить любой закон, возьмите юридический закон – какая-то справедливость, сформулированная юридической нормой. И мы все равно воспринимаем это по схеме орошения «цели и средства». Есть закон, и есть какие-то средства. И вот, когда мы не понимаем простого, рождается вся эта чудовищная и неразрешимая проблема «цели и средства». Например, мы считаем и спорим о том, что ради хорошей цели, то есть ради установления справедливости, записанной в законе, можно идти на применение различных средств или даже можем сказать, что любые средства хороши, лишь бы восторжествовал закон. Другие начинают спорить, что не безразличны средства и цели, что средства все-таки нужно выбирать гуманные, порядочные. И вот разрастается совершенно бесконечная софистика, заполняющая наши головы (это касается и социальных проблем, не только юридических; ради высокой цели в будущем можно прибегать к любым средствам сегодня). Это как раз хороший случай показать (если нам удастся понять), что все существует сразу. Если существует. Дело в том, что цели закона достигаются законом же. Или, подставляю термины, цели добра достигаются добром. И, следовательно, если действительно цель, или телеология, связывающая изнутри явления, существует, то она **уже вся существует**. Там нет различия цели и средств. Я уже не говорю о том, что целью закона является сам закон, а не что-нибудь другое. Можно просто добавить, не говоря, что целью закона является закон, как на самом деле есть, – что закон, если он достигается, то он достигается законным же порядком. Что этим сказано? – что он уже существует, он уже реализован. Добро достигается добром же и не имеет никаких внешних средств, внешних способов достижения. Например, мы не можем внести мотивов интереса, корысти, приспособления, выживания, целесообразности в добро, да? Добро самодостаточно, самодостоверно. Стремление к нему как к цели означает, что оно есть уже в душе того, кто к добру стремится. Ведь сказано же в одном из старых текстов человеку, который стремился к Богу очень интенсивно: если ты так Его ищешь, то ты Его нашел, потому что поиск тобой Его является проявлением изнутри тебя самого Его существования в тебе, Он уже есть. То же самое относится к добру, то же самое относится к закону и т.д. И то же самое относится к желаниям – к человеку как желающему существу, которое на свой собственный риск и в ответственности перед собой ищет выполнения или достижения реализации своего человеческого существа.

А человеческое существо, мы знаем, – оно не природой рождается, а в качестве специфически человеческого рождено вторым рождением – из света. И если в нем есть это движение души, то тогда мы говорим: это уже есть все целиком, – мы не отличаем цель от средства. Область телеологии (телос – это цель), телеологии, скажем так, – абсолютна. настолько абсолютна, что она исключает из себя наши человеческие расчеты. Поэтому мы не имеем права подбирать к закону каких-либо, отличных от самого закона средств его достижения. Например, сегодня лгать, чтобы завтра установилась истина, потому что истина сегодня, сказанная открыто, была бы опасной, и ради высшего интереса нужно истину скрыть. Но дело в том, что это не просто аморально, недемократично, но еще и разрушает сам процесс человеческой жизни. Потому что сама истина есть **движение** интерпретации **уже существующего**, и если прервать это движение, то в итоге не будет истины и у тех, кто скрывает истину. Это особенно для нас важно, потому что мы очень часто предполагаем, что мы чего-то не знаем, а где-то, у кормил государственной власти, есть привилегированные люди, и они знают эту

истину. Дело в том, что прерывание движения интерпретации, нарушая жизнь, вообще всех заставляет жить в каком-то царстве привидений. Дело кончается тем, что истины не имеют и те, которые ее должны хранить и держать в тайне. Это всегда неминуемое следствие такого рода процесса. Я могу сказать, что российский человек (под российским человеком я имею в виду также и нас, грешных грузин) в принципе даже психологически и духовно не может поверить в то, что ему лгут. Даже ложь, идущая от высших инстанций, от государственных инстанций, ему кажется каким-то допустимым способом сообщать правду: по частям, в ответственный для этого момент, в назначенном для этого месте и т.д. Но, как вы понимаете, если что-то неделимо и полностью завершено и уже в своем совершенстве существует, то у совершенства не бывает разделенных моментов времени, не бывает разделенных мест, – скажем, в одном месте есть привилегия говорения истины, а другое место лишено этой привилегии говорения истины и т.д. Все это, в этом затянувшемся пояснении, я говорю к тому, чтобы у нас был настрой по отношению ко всей той области явлений, связанных с Прустом (прохождение человеком пути овладения миром и собой), где нам встречаются слова «желания», «цели», где люди сталкиваются друг с другом в различии своих желаний, в различии своих целей, где они вступают в какие-то – или союзы, или антагонизмы и т.д. И вот в этой области мы приняли два постулата. Первый постулат – желания как цели уже достигнуты. Второй постулат – в области социального или социально-психологического мышления запрещено думать по модели или по методу подобий. Я не знаю, нуждается ли этот пункт в разъяснении, мне он казался ясным, когда я в прошлый раз вам об этом говорил. Но я все-таки напомним его вам, потому что это тоже очень важно уловить, и хотя это очень просто, но улавливаем мы через сложные языковые конструкции и с каким-то напряжением мысли. У вас, конечно, есть какое-то математическое образование или воспоминание о таковом, или какие-то навыки, относящиеся к навыкам естественнонаучного мышления. Есть, например, тела, о которых – в абстракции – в механике мы можем принять утверждение, что это тело настолько идеально гладкое, что мы можем не учитывать феноменов, или – в проявлениях этого тела, в его движениях, можем не учитывать эффекта трения, можем отвлечься от него. В эмпирических случаях ясно, что там не идеально гладкие тела; кое о чем мы можем рассуждать как о подобии, более или менее приближающемся или отдаляющемся от идеальной модели. То есть (в области нашего мышления о природе мы очень часто рассуждаем по образцу подобий) эмпирические явления выступают как несовершенные (с недостатками) подобия идеальных явлений, и эти эмпирические явления мы можем выстраивать по иерархии все большего приближения к их идеальному образцу, беря явления на пределе, в максимуме, как говорят в науке. И вот все это в социально-исторической области запрещено, хотя мы очень часто делаем именно это. Смотрите, у нас есть какой-то идеал общественных отношений, – а эмпирическое явление, мы знаем, никогда не выполняет полностью идеала, так? Оно есть подобие этого идеала. Следовательно, мы можем выстроить лестницу, на которой разные общественные формы или общественные явления будут, более или менее, приближенными к идеалу. Скажем, рабовладельческое общество – далекое подобие идеального общества, а более близкое подобие – феодальное общество, еще более близкое подобие – капиталистическое, и уж совсем уже близкое подобие – социалистическое, а уж совсем бесподобие – коммунистическое общество. Все наши социальные теории, рассуждения о социальных вещах полны таких ходов мысли, такова их общая стилистика. И вот эта стилистика отпадает, если мы действительно понимаем, как – онтологически – устроены жизнь и общество. В обществе и в человеческой жизни **нет подобий**. Каждая реальность сама по себе предельна, и поэтому –

взяв одну реальность вместе со второй, с третьей и четвертой, – нельзя выстроить по мере их приближения к пределу или к идеалу и рассматривать их как подобию, лишь неминуемо несовершенные подобию, в которых выполняется то, чему они подобны (то есть они подобны какому-то идеалу или какой-то идеальной модели). То же самое и в области морали – абсурдно ведь считать, например, что мораль может выполняться по частям. Метод подобий обязывает нас так рассуждать, но это неправильное рассуждение, явно ведь. Как говорил еще Вольтер: добродетели не бывает половины – или она есть, или ее нет. Точно так же не бывает половины воли, воля всегда есть во всей ее полноте.

Следовательно, подходя к социальным явлениям, мы имеем дело с некоторыми неделимыми движениями. Что значит – неделимость движений? Начнем с того, что есть феномен неделимости всего того, что предпринимается с пафосом. Роман Пруста наглядно показывает это во всех пунктах, где встречаются страсти человеческие и где страстные взгляды пересекаются. Везде там ясно только одно, что человеческие пафосы, то есть желающие структуры, или структуры, нагруженные силой желания, – пафосами они называются по той простой причине, что интенсивность желания никогда не объяснима свойствами или характером предмета желания, пафос всегда избыточен по отношению к своему предмету (любовь явно избыточна по отношению к своему предмету: я пояснял вам уже неоднократно, что из качеств возлюбленной нельзя вывести интенсивность пафоса любви), – так вот, **пафосы** избыточны. Ну, хорошо, так не только это видно, видно еще и то, что есть феномен **неделимости** всего того, что предпринимается с пафосом. Это происходит в силу очень простого закона, и пояснение этого закона одновременно поясняет и то, что я сказал. Ведь в чем состоит суть желаний или пафосов? Все желания или пафосы отправляются от некоторого истинного пункта или от истинной чувствительной точки. Пафосы или страсти слепы, как обычно говорят, именно потому, что ясно видят, ослепительно ясно видят. В данном случае ясность – как раз ослепляющая ясность. Не просто «слепы» в смысле заблуждений – все делается только страстью, трудно очень бесстрастно или чисто механически совершать многие вещи, в том числе и злые вещи, для этого нужна страсть. И вот если есть эта страсть, то для человека, совершающего зло, абсолютно ясна справедливость и истина, ради которой он совершает зло. Зла не существует без того, чтобы на него не была бы переключена страсть истины. Все исходят из некоей истинной точки, – другое дело, как она трансформирована. Но она так трансформирована, что в лоб весь пафос как какое-то, казалось бы, многосоставное явление неразделим; встречая пафос в лоб, мы его разделить не можем. Поэтому в психологической жизни существует лишь закон переключения. Вы знаете, что пафосы размываются, если удастся энергию, которая вошла в пафос, переключить на какой-нибудь другой предмет. Более того, такими пафосами являются и некоторые психические заболевания, и очень часто проблема состоит в том, что бывает равнозначно: излечить человека от психической болезни и тем самым убить его как живое творческое существо. Не случайно очень многие художники инстинктивно опасались обращаться к психоанализу. Они смутно, очевидно инстинктивно, осознали опасность излечения. В каком смысле? Лишение болезни означало бы для них лишение и того, что вошло в болезнь и через болезнь выполняется, в том числе некоторых творческих человеческих потенциалов, если они переключились на болезнь. И без того, чтобы им был дан адекватный другой предмет, на который те же самые энергии переключались бы, без этого мы просто убиваем личность. Значит, излечение человека иногда равнозначно убиению личности. (Ну, если вы помните рассказ Чехова «Черный монах», где человек, излечиваясь, одновременно лишается и своего уникального, человеческого, личностного облика. Это один из примеров

неделимости пафосов.) Пафосы неделимы. Неделимость связана с той абсолютностью телеологии, о которой я говорил, и ее можно выразить следующим образом. Опять будут появляться у меня термины «средство», «рациональный расчет», «целесообразность» и снова будет ясно, насколько неуместны эти термины в силу неделимости бытийных движений. Это и есть то, о чем я говорил в прошлый раз: всякое понимание общества, то есть большой системы, основано на том, понимаем ли мы сдвиг в сознании или движение в человеке. И теперь я добавляю, что такого рода движения неделимы. Приведу пример, который пояснит, насколько неуместны все термины, относящиеся к человеческим расчетам по мотивам целесообразности или рациональности, – потому что телеология, то есть целесообразность, настолько абсолютна, что этих расчетов не может быть. Скажем, видя вокруг себя неполноценные существа, я могу считать, что этих людей здоровое, гармоничное общество должно уничтожать, устранять. И здесь как раз по нам ударяет в онтологии мира заложенная неделимость. Дело в том, что если я на основании того, что другой человек болен, решаю, что он не должен жить в гармоничной экономике мироздания или общества, и убиваю его, то тем самым я убиваю самого себя, то есть свое право и даже обязанность страдать, шанс, что я сам могу оказаться несчастным, и, самое главное, самый главный шанс, что и из этого несчастья можно извлекать и красоту, и истину. В данном случае движение поиска истины, красоты или реализации любых человеческих целей неделимо в том смысле, что оно происходит сразу по всем точкам, и каждая из них является неотъемлемым правом и обязанностью каждого участвующего лица. Если я начну с того, что обяжу всех быть счастливыми, то я убиваю в том числе и себя в качестве возможного, так сказать, субъекта счастья, то есть того, кому удалось бы достигнуть счастья. Вот здесь прикинуть цель – счастье и подыскивать к ней средства, – например, счастливое общество не может терпеть несчастных, больных, выброшенных из жизни людей – давайте устраним их, – так вот, стоит их устранить, как мы устраняем из самих себя, из своего общества, из своей истории то движение, которое и есть счастье, истина и другие ценные для нас вещи, которые могут быть для нас целями (греки это прекрасно понимали, такие вещи они называли гармониями). То, что я делаю по отношению к другим по рациональному расчету, потом неминуемо возвращается ко мне и уничтожает меня. Повторяю – если я по рациональным соображениям какого-то человека или даже целую группу лиц объявил социально или морально неполноценными... и непосредственно сами соображения могут показывать: например, кому нужны цыгане? Собственно, Гитлер так и рассуждал. Давайте уничтожим их, совершенно бесполезные бродяги, по целесообразности не соответствующие никаким благородным социальным целям, которые мы можем для себя сформулировать. Попробуйте, и тогда вы обнаружите, сколько своих собственных потенциалов – как свободного и ищущего существа – вы уничтожите. Вот что означает неделимость.

Следовательно, неделимость означает, что есть как бы какая-то **уже рожденная** сумма жизни, заданная величина, от которой мы по своей глупости или слепоте можем лишь что-то убавлять. А наращивать ее и улучшать ее мы не можем. И что интересно, что эта сумма, или неделимое движение, что одно и то же, разбросано по пространству, которое выходит за рамки условий и пределов отдельной, индивидуальной человеческой жизни. Как члены этого неделимого движения **мы существуем вне рамок своей индивидуальной жизни** (вне ее отрезка). Мы рождаемся и умираем, – казалось бы, все должно быть внутри пределов и условий человеческой жизни, в том числе и ее длительности, а оказывается, части нас самих по своей истине и по своему существу разбросаны по более широкому пространству. Ведь то наказание, которое ко мне приходит, если я вырезаю несчастных из моего общества, – не

обязательно придет ко мне в срок моей жизни, но оно есть, оно уже случилось и придет... к моим детям, которые есть часть моей истории. Следовательно, мысля об этих вещах, мы не должны мышление о них ограничивать наблюдаемыми рамками и условиями человеческой жизни, отдельной человеческой жизни. Иначе вы не могли бы понять истины, которую знали древние и которую вдруг снова, на своей шкуре, обнаруживает Пруст, когда он рассуждает о садистах и говорит, примерно так... что садист еще большее наслаждение и уверенность в своей правоте извлекает из наказания (когда мы садиста наказываем). Очень интересное наблюдение у Пруста, оно как бы обратно симметрично той мудрости, которую извлекли в свое время греки. Они считали, что самое страшное, что с тобой может случиться, с тобой, заблуждающимся и совершившим какое-то зло, это – **не быть наказанным**. Ненаказание для греков было самым страшным, что с человеком может случиться, в особенности во временном пробеге длительности человеческой жизни. Ты больше всего наказан, если за время своей жизни не успел быть наказанным за то, что совершил. Это очень глубокая отвлеченная истина относительно наших душ и наших судеб и нашей истории. Повторяю, самое страшное – это не быть наказанным. И наоборот, считали тогда, что самым страшным образом можно наказать негодяя, – это не наказать его. Все его шансы на то, что он пройдет какой-то путь, у него будут потеряны, и, кроме того, мы лишаем негодяя возможности извлечь из наказания пафос истины и убежденности в своей правоте. Садист ведь чаще всего из наказания и извлекает убежденность в своей правоте; это только распяляет его тот неделимый пафос, который исходил из некоторой истинностной, действительной точки, чтобы потом срастись с какими-то другими движениями души, с какими-то вещами и стать неделимым.

Я снова повторяю, что, когда мы говорим о социальных явлениях и вообще о человеческих сообществах, субъектом которых или частью которых является прустовский персонаж, мы должны в нашем мышлении иметь большее пространство, чем пространство, заданное пробегом отдельной индивидуальной человеческой жизни. То есть смысл и содержание человеческой жизни, в том числе и индивидуальной, расположены на большем пространстве, чем видимое пространство, очерченное условиями и границами человеческой жизни. **Границами нашей жизни** и смерти. Значит, есть некоторое пространство точек, где вспыхивают какие-то человеческие акты, восприятия, желания, отношения к другим. И об этом пространстве точек мы должны мыслить так: нечто, что там есть на самом деле, что произошло, что является смыслом, – это расположено шире, чем наблюдаемые нами условия и границы человеческой жизни. То есть наше мышление и суждения о происходящем мы не должны замыкать, ограничивать наблюдаемыми условиями и границами человеческой жизни. Напомню вам вновь пример с поклонами герцога Германта. Конечно, то, что происходит (тот смысл, который мы можем установить относительно поведения Германта в этот момент), не исчерпывается границами и условиями его жизни, то есть – без рассуждения о том, что выполнено в ритуале поклона, который завещан по аристократической традиции, без рассуждения об этом в терминах «сделанного-несделанного». Помните, я вам говорил, что если ты не сделал, то несделанное добро не поможет и не пригодится в другой жизни. Вот почему-то термин «другая жизнь» мы употребляем. Так вот, когда мы говорим «другая жизнь», мы имеем в виду сцепления, которые совершаются помимо ограниченных рамок человеческой жизни, имея в виду тем самым, что термин «судьба» шире, чем наблюдаемый – отдельный – отрезок человеческой жизни. Как видите, рассказывая вам об этом, я ведь не пользуюсь термином «бессмертие души», не пользуюсь термином «возвышения и усовершенствования человека в потустороннем мире», хотя вы прекрасно

понимаете (и поэтому я сейчас это говорю): то содержание, которое вошло в эти термины, достойно того, чтобы быть продуманным в других терминах. То есть какие-то действительные явления, охваченные человеческим переживанием, в той мере, в какой человек исторически отдавал себе отчет о самом себе, охвачены терминами «бессмертие души» и т.д. и т.д., которые могут быть при предметном их употреблении (прямо, буквальном употреблении) совершенно бессмысленными, хотя у них есть определенный смысл (тот, который я пытаюсь совершенно в других терминах вытащить). Смысл, который содержит что-то о нас, то есть содержит какую-то истину, говорящую о том, каковы мы и что с нами случается.

Так вот, возвращаюсь к точкам: представим себе какое-то пространство, заполненное точками, состоящее из точек, в каждой из которых мы всегда имеем дело с чем-то таким, во что извне ничего не входит. Это есть то, что я раньше называл невербальным, – что-то само, невербально должно сделаться, невербально существовать живым существованием, а не так, как это можно заимствовать из словесного описания, данного вовне (скажем, в книге). Вот то, что ты – сам; и в каждой из этих точек нечто, что «сам» – невербально. Хотя вербальные описания этого могут уже существовать, уже есть слова, в книге записанные. Скажем, в книге записано, что Иисус, спасающий тебя, родился в **Беклееме** (или в Вифлееме, по-русски), а истина говорит следующее: он тысячу раз мог родиться в **Беклееме**, но если он не родился в твоей душе, ты все равно погиб. Что здесь сказано? – все внешне совершившиеся акты, имеющие знаки и названия (имеющие смысл), ничего для тебя не значат, **если** не существуют в твоей точке невербально. **Сами**. Значит, в каждой из этих точек (это как бы сингулярные точки) нет иерархии (ведь мы уже договорились, что невербальное, «само», совершается вне какой-либо иерархии). Я сказал: ничего не входит, в том числе не входит ничего заимствуемое из высших истин. Скажем, в церкви есть какие-то записанные высокие истины, и я как верующий оттуда впускаю в свою голову эти истины. В этом смысле есть иерархия – та точка иерархически содержит истину по отношению ко мне. Нет, мы равноправны, если все равно должен Иисус родиться во мне. И даже если он родился тысячу раз и тысячу раз это отошло в собственность церкви, которая потом мне это передала, это не поможет. Если нет иерархии точек, – все эти сингулярные точки неиерархичны по отношению к другим, – это означает, что нет центра. Тогда возникает один интересный вопрос, с которым мы уже имели дело. Значит, относительно каждой из этих точек должно выполняться правило «только со мной», «только с моим присутствием» – то, что я называю невербальным, – должно выполняться в моей душе не словесно, а **существованием, живым** существованием. Живым Словом. Это, конечно, уже не просто жизнь, но и не слово. Это – живое Слово, или **внутреннее** Слово, или внутренний образ, как хотите. И как эти точки могут друг к другу относиться? То, что для одной точки есть что-то приходящее в нее не извне, а растущее из нее самой, для другой точки является чисто внешним, с чем эта другая точка не может соединиться. По определению – поскольку в нее может прийти только то, что не внешне. Точно так же – то, что знает Марсель о Рахиль, не может в принципе соединиться с тем, как видит Рахиль Сен-Лу. Тут опять простой случай, когда существует словесное описание вовне, – скажем, им владеет Марсель, – но оно не может прийти в ту точку, в которой пространство может быть занято тем, что только Сен-Лу, сам, живым образом и живым знанием, может иметь, и следовательно, для него невозможно воссоединение с точкой, в которой стоит Марсель. Ток жизни, который должен был бы соединить различные знания, различные человеческие состояния, кооперировать их, а кооперация дает эффект больший, чем отдельные силы, – ток жизни не проходит. И здесь есть то, что можно назвать

актуальной осуществимостью. Предполагается, что, поскольку есть какие-то виртуальные состояния, мы можем допустить, что в другой точке испытывается какое-то ощущение. Например, в научном эксперименте: если мы в точке А что-то наблюдаем, то предполагается, что это наблюдаемое и соответственно отрицаемое может быть актуально осуществлено и в другой точке другим исследователем, в другом времени и в другом пространстве, исследователем, который повторит эксперимент. А мы ведь сталкивались со следующим: предмет перед нами, и мы его должны ощутить на актуальной осуществимости, – так мы, действительно, ощутим этот предмет, испытаем его, увидим, поймем смысл, то есть он придет в нашу точку? Так вот, на этой актуальной осуществимости висят гири (мы уже знаем из предшествующих многих рассуждений по материалу Пруста), **гири измерения.** Вы помните цитату: «Я шел по улицам, не по тем же самым улицам, по которым шли люди, вышедшие из дому в этот день, а по скользким и печальным улицам моего прошлого». Висят гири на том, **что** можно испытать и ощутить на улице. Он не может произвольно смотреть на дома на этой улице и произвольно выбрать этот дом, посмотреть на него и увидеть его. Оказывается, во взгляде его уже заложены «образы моего прошлого», как выражается Пруст.

Оказывается, мы даже из нашей точки не можем произвольно двигать глазами и произвольно наблюдать, что хотим. Оказывается, на наблюдение наложены какие-то ограничения. И вот я приведу один пример, который сразу введет несколько проблем. Но сначала закреплю то, что я сейчас сказал, следующим положением: можем ли мы **не** испытывать того, что испытываем, или **испытывать** то, чего не испытываем? Ну, скажем, если я вышел – не просто на улицы, а на улицы «скользкие и печальные моего прошлого», то возникает вопрос: могу ли я не испытывать того, что я испытываю? Могу ли я испытывать иначе, чем я испытываю, повинуюсь висящим на мне гирям, которые есть «печальные и скользкие улицы моего прошлого»? Тем более это – проблема, если еще и то, что именно так чувствую, вплетается в какие-то нити моей судьбы. Допустим, я испытываю волнение именно тогда, когда женщина от меня ускользает, и известно на какие тропинки судеб забросит меня это волнение, то есть тот факт, что я именно его испытываю. Вы знаете, что по любовным законам, выводимым Прустом, мы любим женщин, находящихся в состоянии бегства, а вовсе не потому, что они нам нужны, хороши, принесут нам счастье и т.д. Стоило женщине случайно, когда мы находились в определенном состоянии, не прийти на свидание, то все... мы уже выброшены на орбиту – чего? – любви. Но в каком смысле она является любовью? И вот по отношению к таким чувствам возникает вопрос: можем ли мы не испытывать того, что испытываем, если, и я только что говорил, мы даже не можем наблюдать произвольно? И, во-вторых, в другом вопросе этой фразы: можем ли мы испытывать то, чего не испытываем? Сейчас я поясню: есть какой-то сам по себе красивый и волнующий предмет – прекрасная женщина. Я с ней в ресторане, белоснежная скатерть, освещенная свечами, легкая эротически-романтическая атмосфера, витающая в воздухе, а в сердце моем кусок льда, который не тает, – не чувствую. Не чувствую – и все. Расширьте этот простой пример (примеры все разнородны и, казалось бы, одни мелкие, другие крупные, а стилистика у них одна) – передо мной божественное, гениальное существо, а я не чувствую и не вижу. Помните, у Пруста есть фраза; забыть друга или умереть к самому себе, то есть умереть перед лицом своих возможных чувств, которые ведь должны быть, ведь есть причина – предмет. Или *mé connaî tre en Dieu*, «не узнать Бога» – проблема неузнавания – перед тобой истина, а ты ее не узнаешь. Это и есть то, что я сейчас выразил словами: можем ли мы испытывать то, чего не испытываем. То есть вся проблема состоит в том, с чем мы имеем дело и из чего мы должны, так сказать, сконструировать

социальные общности, соприкосновения людей и контакты людей (опять я философское слово должен употребить) на феноменологическом уровне нашей социальной конституции. Эта проблема некоего беспредметного сознания, возможности нас самих в качестве знающих, понимающих, испытывающих, воображающих и т.д. Условий возможности нас самих. Сейчас я намеком введу, так сказать, роковую завязку в этом, хотя и ученом, но безобидном обороте, в связи с проблемой прошлого, настоящего и будущего. Вся проблема памяти у Пруста состоит в том, что мы должны прошлому **дать случиться**. А я показывал, что проблема прошлого – особая, потому что это как раз есть то прошлое, которое еще не случилось; прошлое, но – неслучившееся, нереализовавшееся, неразродившееся, в том числе ушедшее в какие-то инородные ему предметы, – например, какие-то чувства, ощущения не реализовались в своем действительном виде и скрылись в закрепленном в памяти ощущении пирожного «мадлен». Потом акт поедания пирожного раскупоривает эту упаковку; но – факт, что это нечто, что **должно было** быть в прошлом, – в прошлом **не случилось**. Так вот, дать случиться прошлому означает **быть самому** в возможном будущем или настоящем. Чтобы мы были возможны в качестве чувствующих, понимающих и т.д., мы должны – в данном случае – дать прошлому случиться. Так что когда я говорю «условия возможности» или «возможность нас самих в качестве знающих, понимающих, чувствующих, волящих, воображающих», то, значит, есть что-то, что является **условием** возможности того, что встретившись с гением, я признаю его в качестве гения, что, встретившись с истиной, я увижу истину, что, встретившись с предметом, достойным волнения, я взволнуюсь, – ведь вот о чем мы все время говорим. И мы имеем дело со странной ситуацией, когда есть, казалось бы, предметы волнения, описываемые в качестве таковых с какой-то марсианской точки зрения, то есть внешним наблюдателем. Внешний наблюдатель видит и говорит: слушай, дурак, рядом с тобой прекрасная женщина, волнуйся! Значит, условием возможности – что предмет, достойный волнения, меня волнует, то есть чувство войдет в меня, я почувствую, или я буду знать, или я буду волевать там, где есть ситуация, требующая воли (ведь там у меня воли может не оказаться), – мы все время говорим **об условиях возможности нас самих** и вводим проблему (вот это есть ученая часть, за которую я прошу прощения) некоего **беспредметного сознания** возможности нас самих в качестве знающих, понимающих, чувствующих, воображающих и волящих (проявляющих волю).

Я приведу сейчас пример, но сначала оговорю его. Значит, я хочу внушить вам мысль, что в классическом варианте, то есть в привычном варианте нашего такого мышления и рассуждения, мы предполагаем, что ощущения ощущаются, что чувства чувствуются – в том, что я назвал актуальной осуществимостью виртуального. Вот есть виртуально, что я (или кто-то другой) в другой момент времени почувствую, если будет предмет этого чувства, – как бы предполагается само собой разумеющимся, что ощущения ощутятся, чувства почувствуются и т.д. В действительности это – не критическая посылка. Вот здесь как раз того, что в истории философии проделано в виде знаменитой кантовской **критики**, здесь как раз кантовской критики не хватает в смысле критического подхода к некоторому (само собой разумеющемуся) принятому факту: ощущение ощущается. Мы же предметно смотрим на мир: мы имеем предмет, о котором извне известно, что он должен вызывать ощущение в субъекте, мы наблюдаем и предмет и субъект и знаем: этот предмет вызывает ощущение. И предполагаем: раз он вызывает ощущение, значит, ощущение будет ощущаться тем субъектом, которого мы тоже наблюдаем. А вот это уже не само собой разумеется. Теперь смотрите, что в этом примере происходит. Такая сцена: Марсель, в досаде от холодного приема, оказанного ему герцогиней

Германт, в которую он влюблен, услышав из ее уст какую-то глупость, свидетельствующую о полном непонимании пьесы Метерлинка, про себя говорит: «Ну и корова... И за такой женщиной я бегаю столько километров! Теперь пусть она за мной побеждает!» (Он носился по всему Парижу, лишь бы подглядеть, где она пройдет.) И тут Пруст замечает: «Таковы были слова, которые я себе говорил, они были противоположны моей мысли...» (Моему действительному состоянию; а теперь приложите к нему те правила, которые я вводил: можем ли мы не испытывать того, что испытываем, и можем ли мы испытывать то, чего не испытываем.) Значит – «Таковы были слова, которые я себе говорил, они были противоположны моей мысли, это были чисто слова разговора, какие мы говорим себе в моменты, когда, слишком взволнованные, чтобы остаться наедине с собой, мы испытываем потребность, в отсутствие другого собеседника, беседовать с собой без искренности, как с чужим». Здесь Пруст вводит, во-первых, отличие слов разговора от чего-то другого, например, от мысли или от беседы человека с самим собой, но – беседы невербальной. Какое-то странное различие: оказывается, можно с собой беседовать, как с другим, и слова этой якобы интимной беседы себя с собой являются теми же самыми словами, какими мы беседуем с другими; просто в данном случае «другим» или чужим, внешним являемся мы сами. И во-вторых, Пруст четко показывает, что, не нырнув в себя (он внутри себя диалог ведет, но тем не менее он этот диалог считает чем-то отличным от того, как если бы остаться наедине с собой), мы не можем чувствовать того, что чувствуем, и не можем почувствовать того, чего не чувствуем. Перевернем – скажем, мы встретились с гением. Как говорил Толстой, перед достоинствами великих людей, в том числе гениев, у нас есть только одно спасение – любовь к ним. Но для любви нужно – узнать, признать. А это очень трудно – признать другого человека великим, прекрасным – узнать. Или: передо мной предмет волнения, а у меня – никакого волнения. Или, наоборот, у меня есть то чувство, которое забрасывает меня на орбиту путей, которые вовсе не являются путями моей реализации, путями достижения и испытания действительной любви и т.д. Ведь, говоря себе: «Ну и корова! Пускай она за мной сама теперь побеждает!» – Марсель любит, продолжает любить герцогиню, и вовсе не то думает или испытывает, что говорит. И мы не можем, не нырнув в себя, то есть не преобразовав себя, почувствовать того, чего не чувствуем. Гения не признаем, красивая женщина не волнует, истина перед носом – не видим и т.д. И никакими усилиями ума, вербального, мы этого не можем сделать. От нас не зависит: увидеть истину, которая перед нашим носом. Не зависит – от прикидок наших вербальных операций. Вербально – что он говорит, как с чужим? Вербально он говорит: «Ну и корова! Пускай она теперь за мной побеждает!» А состояние наше не изменилось, и мы – рабы этого состояния. Повторяю, не нырнув в себя, мы не можем чувствовать, даже если есть предмет, который это чувство должен был вызвать. То есть перед нами, во-первых, – проблема **установления отношения** к некоторому трансцендентальному объекту, который может установиться лишь в некотором невербальном «я есть, я могу». И это, во-вторых, «я есть, я могу» не дано в моем эмпирически наличном персонаже, в моем эмпирическом наличном «я». И нырять в себя означает прежде всего избавляться и разрушать – избавляться от своего «я» и разрушать его. То, которое дано, то, которое приобретено, которое мы считаем самим собой или своей собственностью. Помните, я вам рассказывал о дантовской символической – туннельный путь, путь по сфере, бывает короче, чем путь, который кажется нам прямым. Дантовский герой стоит прямо перед волшебной, великой, прекрасной горой. Рукой подать до нее, и нужно взойти. Он идет к ней и, как вы помните, разные звери преграждают ему дорогу. Самый страшный зверь – la volpe, волчица, символизирующая – что? –

скупость и жадность. А что является предельным предметом скупости и жадности? Мы сами, дорогие самим себе. И символ говорит: не расставшись с собой, ты до этой горы не дойдешь, нельзя взойти на эту гору, взяв в дорогу самого себя как любимого, ценного, лелеемого, охраняемого, то есть как приобретенного. Наше сокровище, по отношению к которому мы предельно скупы, – мы сами.

И настолько нас нет – как раз в той области, где стоит проблема: чувствовать то, чего мы не чувствуем, и не чувствовать того, что мы чувствуем, и тем самым воссоединяться с точками, в пространстве которых мы находимся. Вот есть наша точка, а рядом другие точки, и – что входит или может перекачиваться из одной точки в другую как ток жизни... Так вот, насколько прежде всего нет нас и насколько должно быть это «я», чтобы была возможна коммуникация жизни, чтобы жизнь свободно протекала по всем точкам и, так сказать, кооперировала бы их, – говорит следующее рассуждение Пруста. Только слушайте его, сконцентрировав свою мысль на том, что у нас пока нет – ни «я», которое «я есть, я могу»; а есть наше эмпирическое «я», с которым дело не пойдет, – ни самого предмета чувств, который мог бы нас волновать, увидев который, мы видели бы истину. Казалось бы, человек любит Альбертину, так? И вот она исчезла, и наш герой страдает. А что является предметом, механизмом и причиной его страданий? Вот как он сам это описывает, совершая операцию, о которой я вам говорил: разрушение «я», а сейчас скажу иначе: разрушение эгоистического «я» (предмет нашей скупости и жадности, это и есть эгоистическое «я»). Лишь разрушение его может раскрыть пространство движения по этим сингулярным точкам, или – движение в пространстве, заполненном некоторыми сингулярными точками, каждая из которых внутрь себя втягивает состояние вещей, состояние истин, состояние чувств и т.д. Значит, наш герой носится по Парижу в страданиях по Альбертине, потому что каждый пункт Парижа ему кажется точкой, которая даст возможность найти Альбертину (или не найти); весь Париж раскадрован по возможным отношениям к Альбертине и возможности встретить ее, убежавшую, или вспомнить о ней, что-то узнать, что забыто и что позволит найти, – какая-то информация, которая ускользнула из памяти и из сознания, а сейчас, восстановившись, позволит найти беглянку. *«Если бы в этом непрестанном мучении можно было бы нарисовать графический рисунок, который представил бы все образы, сопровождающие мое страдание, то среди этих образов на графическом рисунке можно было бы увидеть образ вокзала д'Орсе, банковские билеты, данные мадам Бонтан (Бонтан – тетка, патронесса Альбертины, а Марсель деньгами пытается получить какую-то информацию через нее, денежная привязка, выброшенная нашим героем как на Альбертину, так и на ее семью), Сен-Лу, склонившийся над пюпитром в телеграфном бюро (Марсель просил Сен-Лу послать телеграмму в одно из мест, возможных мест, где могла быть Альбертина, вовлек его в этот следственный процесс)... и среди этих образов не было образа Альбертины».* Заложена мина под такой безобидной поверхностью – «не было бы среди»... Человек любит Альбертину – и графика всех образов его страданий не содержала бы одного единственного образа, самого главного, образа Альбертины не содержала бы. Переворачивая немного мысль, Пруст продолжает: «Точно так же в ходе нашей жизни наш эгоизм видит перед собой всегда цели, драгоценные для нашего я...» – вспомните то, что я говорил о целях, о том, что телеология абсолютна; в том числе – если есть трансцендентальный объект и наше отношение к нему установлено, то дана вся область возможностей нас самих. «...Эгоизм наш все время видит перед собой цели, драгоценные для нашего я, но никогда не смотрит на само это я». Фантастически хорошо сделан этот пассаж: сначала мы потеряли образ предмета – в графике перечисляются все образы, рожденные

страданием и проносящиеся в голове человека: вокзал, банковские билеты, Сен-Лу, склонившийся над телеграфной стойкой и пишущий телеграмму, – отсутствует образ Альбертины. Но не только он отсутствует, отсутствует и «я», закрытое эгоистическим «я», то есть тем, которое есть «я», состоящее целиком из эгоистических целей, ценных для этого «я». Повторяю: «но никогда не видит самого этого я». («Я», которое смотрит как бы со стороны на эти образы и цели.) «...Так же, как желание, которое направляет наши действия в сторону наших целей, никогда не возвращается к самому себе – или потому, что, слишком утилитарное, оно сразу же устремляется в действие и пренебрегает познанием, или потому, что ищет будущего, чтобы исправить разочарования настоящего». Устремляться в будущее для исправления нынешних разочарований – это то же самое, как если бы тиран исправлял свои ошибки, не заглянув в самого себя.

ЛЕКЦИЯ 28. 23.03.1985

Мы остановились на том, что я называл возможностью охвата таких точек человеческого пространства, которые уже сенсублизованы, которые (если вы помните старый термин) дифференциально связаны, – как взгляд маркиза Сен-Лу и лицо Рахиль или любая такая точка пространства Парижа, где Альбертина могла иметь приключения, неизвестные Марселю, – с желанием, ревностью, воображением нашего героя. Речь шла о том громадном, необъемном или неохватном пространстве, которое занимает любимое существо, не оставляя в мире ничего такого, что не было бы им перепахано или не было бы им взволновано. И пропорционально увеличению объема такого пространства уже сенсублизованных точек уменьшается до исчезающе малой величины образ самой Альбертины, то есть того человека, которого любишь. Его самого, как я говорил вам, в этом пространстве нет. Если взять своего рода графику того, что в голове любящего, оказывается, что там – вокзал д'Орсе, склонившийся над телеграфной конторкой его друг, маркиз Сен-Лу, дающий телеграмму, и нет того, кого он любит. Но здесь дело еще осложняется тем, что не только образ того, кого любишь (реальное существование другого существа), но и сам любящий – само «я» – тоже исчезает. Над всем этим пространством, на которое бесконечно разбежалось частями своей жизни любимое существо, над этим пространством висит как бы, как говорит Пруст, – «...даже простая угроза страдания, которая представляет собой оборотную сторону желания, одного и того же порядка с ним, став, как и желание, центром наших мыслей, иррадирует в них субтильные печали, которые, как и удовольствия, имеют неизвестное нам происхождение и существуют везде, где что-либо может ассоциироваться с идеей того, кого мы любим». Значит, – заряженное пространство, на которое перенесены наши самые тонкие или субтильные удовольствия или печали, которые могут взорваться в любой точке этого пространства. Мы имеем дело как бы с осеменением мира: в любой данный момент, при весьма ленивой или медленной скорости наших эмоций, мыслей, реакций, с какой-то мгновенной, уму непостижимой скоростью осеменено все пространство вокруг нас. На бесконечных расстояниях, как говорит Пруст, уже находятся семена, заряженные нашими субтильными или *leise* состояниями (незаметные, неухватываемые состояния какой-то странной грусти или странного, легкого, тоже необъяснимого, веселья, – то, что Рильке называет *leise*, тихие состояния), которые, неизвестно как, могут там взорваться. В другом месте Пруст говорит, что скорость страдания несопоставима со скоростью электричества, в том смысле, что она гораздо больше скорости электричества.

То есть в анализе структуры нашей душевной жизни содержится намек на выявление в ней каких-то, условно скажем, скоростных явлений. Во всяком случае, то, что я назвал семенами, – они разбросаны или разбрасываются вокруг нас со скоростью, несопоставимой со скоростью наших соображений. Вот этот пункт я хотел прежде всего пометить. И еще – то, что с такой громадной скоростью, мгновенно, на бесконечном пространстве вокруг нас зарядилось семенами, – это может быть как в регистре плюса, так и в регистре минуса. Это могут быть семена, которые поддадутся развитию, из них что-то вырастет, а могут быть и мертвые семена, несущие с собой смерть, – и нашу, и того предмета, который мы любим или с которым мы хотели бы в этом пространстве точек так соединиться, чтобы из него в нас что-то перешло, такое, чего мы не можем сами, – чтобы мы могли вспомниться другим существом или другими существами.

Дальше я буду немного усложнять это дело, потому что, как я вам уже говорил, тонкий и ненавязчивый стиль Пруста, содержащий в себе красивые фразы, метафоры, психологические интуиции, сразу нами угадываемые, закрывает, как блестящая поверхность, скрытые там глубины. Значит, – чтобы закрепить мысль об осемененном пространстве точек, сенсублизированных, по отношению к которым мы уже заранее находимся в тисках проблемы: как нам охватить эти точки. Мы от этой проблемы не можем уйти, потому что все эти точки заряжены нашими subtilными или тонкими и незаметными радостями или огорчениями. Как нам охватить? Фактически в такого рода явлении мы сталкиваемся с тем, что можно назвать своего рода рефлексивными, взаимно отражающимися многообразиями точек, – все точки отражаются одна в другой. Ведь если я выхожу на точку, **сенсублизированную** по отношению ко мне, то я в этой точке воссоздаю себя или должен суметь воссоздать себя, то есть я отражаюсь в ней, а она отражается во мне. Математики такие вещи называют автоморфизмами. Причем такого рода системы или такого рода многообразия путем взаимных отражений, бесконечных взаимных отражений, изменяются и усложняются или – развиваются. Значит – такие **взаимоотражения**, которые **усложняют** точки, находящиеся в этих отражениях. И в каком-то смысле можно сказать, что существует, **реально** существует только бесконечный смысл, – то есть отражение – усложняющее и развивающее – обладает свойством **бесконечности**. И можно сказать тогда иначе: само такое многообразие рефлектирующих одна в другую точек есть способ существования бесконечности смысла. Представьте себе простую вещь: когда вы читаете книгу, вы, конечно, являетесь той точкой, в которой содержание книги само себя отражает и расширяется вами, вашей интерпретацией этой книги, которая остается, конечно, интерпретацией именно этой книги, а не чего-нибудь другого, во-первых, и, во-вторых, сама эта интерпретация никогда не является окончательной, всегда будет какая-то другая интерпретация. То есть будет какая-то другая точка, в которой содержание книги отразит само себя посредством того, кто будет в этой точке читать и понимать эту книгу.

Так вот, возвращаясь к усложнению, – теперь можно то же самое сказать о бесконечности: она может проявлять себя и в положительном регистре, и в отрицательном регистре. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, что я называю отрицательным и положительным в данном случае. Марсель беседует, например (все идет в контексте постоянных размышлений Марселя о тех сомнениях относительно добродетели Альбертины, которые его обуревают, которые стали для него просто *idé e fixe*, и эти сомнения, поскольку точки сенсублизированы, бесконечны, и неизвестно нам заранее число точек), ведет совершенно невинную беседу с бароном Шарлю, и тот вдруг говорит, что на приеме у Вердюрен ожидалась две девушки Вентейль (если вы помните, одна

из них – дочь музыканта Вентейля, а другая – подруга, они связаны между собой лесбийской любовью); и вдруг взрывается мина – эта точка-то уже сенсублизована, ее случайно задел Шарлю, и она взорвалась, и снова ожили сомнения относительно добродетели Альбертины, ибо если Альбертина знакома с лесбиянками, то она, конечно, тоже лесбиянка и т.д. И очень важно убедиться в том, что она не знакома с лесбиянками, тогда, может быть, она не лесбиянка, или важно убедиться, что она с ними знакома, и тогда, наконец-то, сомнение станет уверенностью. И эти сомнения относительно добродетели Альбертины так излагаются у Пруста, что каждый раз, когда взрывается такая мина, нам кажется, что мера страдания уже пройдена, что больше страдать уже нельзя. И все-таки даже в такие моменты мы находим страданию место в системе нашей психики, нашей психологии, – так сказать, аккомодируем его. И, уже войдя в систему нашей психики, это страдание вступает в состязание – и проигрывает в нем, конечно, – «с таким количеством желаний верить, с таким большим количеством причин забыть, что очень скоро мы аккомодируемся и больше им не занимаемся». И остается лишь наполовину исцеленная боль, подвешенная легкой угрозой страдания, которое снова может оживить все это.

Значит, мы имеем здесь два факта. Первый факт состоит в том, что чувство самосохранения диктует человеческому существу – там, где оно не смогло в живом виде, то есть оставаясь самому живым, реализовать мысль, желание, заставляет его заняться как бы чем-то вроде членовредительства по отношению к себе и обрубить в себе этот отросток потенциального живого состояния. И человек кончает тем (эту цитату я вам приводил), что может жить с нелюбимой, и Пруст дальше продолжает в своем неподражаемом стиле: жить с нелюбимой женщиной, являющейся целой страной. В этой связи я вводил закон нашей жизни, состоящий в том, что мы должны убивать себя, чтобы жить. Вот это я называю членовредительством. И второй факт – это убийство не окончательное. В том смысле, что всегда остается какая-то нота, какой-то, как сказали бы немцы, Klang – звук нашего существования, который тянет свою ноту (эту субливную ноту) в сенсублизованном бесконечном пространстве. В первом факте мы сталкиваемся с образом смерти в ее отрицательном модусе. Я сегодня начал со слов, что в движении по этому бесконечному пространству сенсублизованных точек исчезает не только предмет любви, исчезает и «я» собственной персоной, с тем уникальным содержанием, которое каждая личность содержит. И для того чтобы пояснить вам, как здесь появляется смерть, напоминаю цитату, в которой (я приводил ее уже) прикрытые безупречным стилем Пруста и поэтому делающие для нас многое незаметным, развиваются следующие мысли. Когда Пруст перечисляет элементы графики, содержащей вокзал д'Орсе, банковские билеты, Сен-Лу, склоненного над пюпитром в телеграфном бюро, и во всем этом не было образа Альбертины, – но точно так же, говорит Пруст, не было и **я**. «Точно так же, как в ходе нашей жизни наш эгоизм каждый раз видит перед собой ценные цели для нашего **я**, но никогда не разглядывает само это я, которое смотрит на эти цели». Итак, есть **цели** какого-то «я», цели, имеющие какие-то содержания, и есть «я» этих целей, которые смотрят на эти цели. И можно видеть под видом «я» – или эти цели (или содержания, или сцены, если угодно; скажем, сцена вокзала или сцена конторки телеграфного агентства), или само это «я». Но в этих целях, как мы их видим, никакого «я» **не содержится**. И я, приводя эту цитату, говорил, что мы не видим этого «я», предпочитая действия познанию, скользя по легкой склонности воображения, вместо того чтобы карабкаться по крутой тропинке интроспекции. Но здесь, когда я говорю вам о том, что мы «я» не видим, очень важно то, как вводится смерть (она вводится Прустом в примечании). Чтобы подкрепить каким-то психологическим материалом – то, что мы видим содержание целей какого-то «я», но никогда не видим самого

этого «я» (в том числе самого себя), – Пруст приводит в качестве примеров те проекты, которые роились у него в голове, которые тоже являются как бы материальными сценами из бесконечности сенсублизованного пространства. Скажем, сенсублизированной точкой или сценой из такого пространства в голове Пруста становится автомобиль, который он купил бы в качестве подарка Альбертине, чтобы закрепить ее симпатию, – потому что мы пока имеем дело с эгоистической любовью, которая хочет владеть. И я подчеркиваю, что все это вращается в рамках закона, который гласит, что если мы хотим владеть, то владение есть **экран**, который стоит между **нами** и нашей **возможностью** проникнуть в другого человека и восполниться его миром и содержанием той точки, которую этот человек занимает. И более того, есть еще закон, и он тоже косвенно здесь иллюстрируется, что именно привязанность к предмету (в данном случае мы говорим о предмете обладания) неумолимо влечет за собой смерть собственника. Но смерть может не быть физической смертью – наши «я» могут исчезать и тогда, когда мы физически остаемся живыми.

Так вот, случай нефизического исчезновения «я» здесь снова, другими примерами, раскручивается Прустом. Точка автомобиля, который я покупаю, чтобы подкупить Альбертину, или точка яхты, которая стоит невообразимых денег, – и Марсель прикидывает, что если купить яхту, и даже пользоваться ею только четыре месяца в году, то, учитывая расходы на содержание яхты, она обойдется более 200 тысяч франков, а это означает, что в год нужно будет тратить что-то около половины миллиона, – «Мог ли я выдержать такой расход больше, чем в течение семи или восьми лет?» – И тут идет важный ход, обратите на него внимание. – «Ну какое это имеет значение?! Ведь даже если бы у меня было бы всего 50 тысяч франков ренты, я все равно мог бы их оставить Альбертине и покончить с собой». Вспомните закон, что именно привязанность к предмету владения или к объекту владения влечет за собой смерть владельца. Вообразите, человек хочет владеть, и логика развития чувства владения такова, что именно человек, хотящий владеть, будет хотеть покончить с собой. Это ведь парадокс! Как же может собственник, то есть эгоист, хотеть покончить с собой? Он же дорог самому себе, но – «я» исчезло. Дальше идет так: *«Это решение заставило меня подумать о себе (у Пруста курсивом подчеркнуто – о «я»).* Да, действительно, поскольку я проживаю, непрерывно думая о громадном количестве вещей (это «я» есть лишь **мысль** об этих вещах, то есть не есть само оно), и когда, играю случая, вместо того чтобы иметь перед собой эти вещи, оно вдруг оказывается лицом к лицу с собой (не с вещами, о которых «я» думает и которыми оно полно, а с самим этим «я», думающим о вещах; когда неожиданно подумает о себе), оно не находит ничего другого, кроме пустого аппарата, чего оно даже не знает, и чему оно может придать лишь ту реальность, которую можно увидеть в зеркале (а в зеркале неинтересная реальность). Какой-то господин, со странной улыбкой, с неровно подстриженными усами, и это существо должно исчезнуть с лица земли (конечно, **это** существо не жалко; вот когда мы увидели только пустой аппарат, пустое устройство, реальность которого – только то, что оно от себя увидит в зеркале, а в зеркале – невзрачный господин с неровно подстриженными усиками и со странной улыбкой), *Когда я покончу с собой через пять лет (когда кончатся деньги, нужные на подкуп Альбертины), то для моего я кончится возможность думать все эти вещи, которые без конца дефилировали в моем мозгу (мой мозг представлял бесконечный парад вещей, проходящих одна за другой, и среди этих вещей не встречалось «я», а если встречалось, то только – пустой аппарат или пустое вместилище для этих дефилирующих вещей, которое реальность получает только в зеркале, и реальность эта незначительна, с ней можно расстаться).* И меня не будет

больше на земле, я не вернусь никогда, моя мысль навсегда остановится. И мое я показалось мне еще более ничтожным, нулевым, я уже видел его как нечто уже не существующее. И разве может быть трудным пожертвовать ради той, в сторону которой постоянно натянута наша мысль, которую мы любим, пожертвовать ей того, о ком мы никогда не думаем, – самого себя? С этой мыслью моя смерть предстала предо мной как понятие моего я (или как одно из понятий моего «я»), и эта мысль мне была вовсе не неприятна. Потом вдруг я нашел ее очень печальной, потому что, думая о том, что я не скоро буду располагать большим количеством денег, поскольку мои родители еще живы, я неожиданно подумал о моей матери. И я не мог выдержать мысли (снова стал себе дорогим; но, обратите внимание на последнюю фразу) о страданиях, которые моя смерть вызвала бы в моей матери».

Это очень важный пункт, я не знаю, ухватываете ли вы его. Я как-то говорил вам, что смерть отрицательна в том смысле, что мы ничего из образа смерти не извлекаем для себя, мы ничему не учимся, и ничего нового, глубокого в нас нам не открывается; по-прежнему наше эгоистическое «я» выстраивает перед нашими глазами бесконечный ряд своих же собственных неизменяющихся отражений. Например, своей смертью мы говорим: «Вот посмотрим, как вам будет, когда меня не станет». Человек ради этого даже готов умереть, чтобы наказать других своим исчезновением, и где-то там, в загробном мире, наслаждаться мыслью, как им плохо придется, после того как он умрет. Или – вместо того чтобы понять суть своей страсти, суть любви, устройство мира, я выстраиваю себя в бесконечной прогрессии, себя, неизменного, выстраиваю в мире, и говорю, что вот на том свете я, конечно, встречу свою любимую (я говорил вам это) и скажу ей: «А-а-а, ты не думай, что я не знал, что когда я тебе звонил, ты лежала в постели с любовником!» Так вот, мысль о том, что не надо умирать, потому что огорчится мама, является таким же отрицательным модусом смерти, – так же мы ничего не поняли, ничего не узнали, и смерть нам не помогла. Образ смерти или символ смерти не помог нам даже и в этом. Это, так сказать, – одна сторона отрицательного образа смерти, а другая сторона – мы аккомодируемся, мы хотим умереть, но в последний момент пугаемся: мама огорчится, выстрел пистолета неприятен, яд вызовет мучения, – и мы продолжаем жить обрубленные, убиваем себя в действительном духовном смысле, чтобы продолжать жить. И продолжает жить то же самое эгоистическое «я». Иными словами, здесь все образы, которые я привожу, в том числе и образ смерти, – это вербальные образы. Понимаете, смерть здесь возникает как конечный пункт гонки бесконечности, к которой мы устремлены: вот мы вошли в одну точку, где даем деньги тетушке Бонтан, из этой точки мчимся в точку, где Сен-Лу дает телеграмму, мчимся еще в какую-то другую точку Парижа, где Альбертина могла иметь какие-то приключения и оставить следы этих приключений, и это бесконечное чтение, ставя нас перед лицом неохватного пространства, делает нас – для самих себя – невыносимыми. Невмоготу нам, устали и смерти хотим. Это есть отрицательное желание смерти. Некоторые, конечно, и кончают с собой. Но большинство, испытав именно такое, тем не менее просто обрубают это, остается жить, но не извлекает ничего из этого. Здесь, следовательно, вербальный образ смерти есть как бы смерть не меня самого, а смерть того, которого и не было, того, которого в зеркале только можно увидеть в виде незначительного господинчика с усами. Это – вербальное представление смерти. Потому что невербальное представление – это смерть «я», а «я» пока мы не имеем. И, с другой стороны, здесь и бессмертие чисто вербально. Бессмертие в данном случае – это бесконечность интерпретаций. Я сказал, что любая точка в пространстве точек усложняется или обогащается в результате многократных взаимных отражений точек, – в такой рефлексии, в зеркалах. Здесь бесконечность интерпретаций является – и бессмертие тоже –

чисто вербальным. В каком смысле – вербальным? Это тоже важный пункт, и я хочу его проиллюстрировать. И одновременно с иллюстрацией этого пункта я покажу, что эти, казалось бы, небольшие психологические этюды индивидуальной психологии являются в действительности малым зеркалом больших исторических и социальных явлений. Мы сейчас в этом очень легко убедимся.

Значит, я сказал, что в этом беге в расширенном пространстве произошло нечто вроде взаимной аннигиляции. Встретились в точке предмет и «я» и аннигилировали – исчез и предмет и «я». Мы видим, что в графике бесконечного бега по точкам отсутствует Альбертина; она исчезла как реальное существо, занимающее уникальную точку, из которой видно что-то, в которой переживается что-то, что не видно и не переживается ни в какой другой точке. То есть исчезло самостоятельное, автономное существо, с которым я мог бы вступить в отношения, оставив его на правах автономного и самостоятельного существа, – тогда имелось бы расширение «я» или обогащение «я», – вместо этого оно исчезло. Но исчез и «я», который таким образом относился к Альбертине. Они взаимно друг друга аннигилировали. **Исчезли.** И таких случаев аннигиляции очень много в нашей психической жизни, в нашей душевной жизни. И, более того, их много и в нашей исторической или социально-исторической жизни, которая есть лишь амплификация, воспроизведение в большом того, что имеет место в малом. И в этом смысле малое есть зеркало – малое зеркало большой бесконечности. Например, я сейчас говорил о бесконечной вербальной интерпретации. Мы ведь знаем, что произвола интерпретации не существует, хотя она бесконечна. Ведь мы не можем по своему желанию вообразить – вербально – **другого** сознания. Чтобы закрепить ход мысли, напомню вам то, о чем я говорил на предыдущей лекции: речь шла о возможности меня самого в качестве чувствующего, мыслящего, волящего, воображающего и т.д., следовательно, – о каких-то ограничениях, которые наложены на нас и которые, собственно, представляют собой эту возможность. Я говорил вам, что беспредметное сознание самого себя или возможности самого себя в качестве понимающего, мыслящего, чувствующего, воображающего и т.д., – все это в контексте проблемы: можем ли мы не чувствовать того, что чувствуем, и почувствовать то, чего не чувствуем? В частном случае, – почувствовать то, чего мы не чувствуем, но чувствует другой. Значит, сюда входит проблема **другого**. Так вот, это же все относится и к проблеме бесконечности интерпретации – на нее наложены ограничения. Очень часто говорят, что если есть, например, книга или любое духовное явление, или произведение, то один интерпретирует так, второй интерпретирует так, третий интерпретирует таким образом, четвертый – четвертым образом и т.д. – до бесконечности. Но бесконечность – не в смысле произвола, а в смысле того, что есть вещи, которые мы представить себе не можем. Они должны сами **случиться** – то, что я называю различием между вербальным и невербальным. Невербальное – как корень реального существования, которое обозначено декартовским знаком «я сам», и как «сам» оказался в таком мире, который допускает, что внутри этого мира может случиться акт со стороны какого-то существа, акт, состоящий в понимании этого мира. То есть возможность понимания мира допускается устройством или какими-то событиями самого мира. И вот пока это не допущено, мы не все можем вообразить и не все можем интерпретировать. Ограничения интерпретации лежат как раз в тех точках, где я должен воссоздать себя, изменив, конечно, или перевоссоздав себя. На нем будет держаться, на этом перевоссоздании себя – и отличие от аннигиляции себя и предмета – на этом воссоздании себя и будет держаться возможность интерпретации. Если эта интерпретация – духовное явление, то это будет новая интерпретация, но она

будет интерпретацией **этого** духовного явления. В этом смысле смысл любого духовного явления завершен и закончен. Любая, ставшая возможной, интерпретация, будет интерпретацией именно этого, а не чего-нибудь другого.

В качестве частного примера я объяснял это свойство дискретности и в то же время бесконечности смысла на примере полисемантизма слов. Имея слово, вы не можете заранее предсказать какого-то другого его значения. Скажем, есть слово в нормальном литературном языке и оно же – в жаргоне. Имея слово в нормальном литературном языке, вы никаким образом, никакими путями не можете представить вербально (по отношению к слову, хотя это парадоксально, казалось бы) то, другое, значение. Но когда то, другое, значение случится, и оно – перед вами, вы его узнаете в качестве того же самого значения: оно содержалось в значении литературного слова. Хотя, имея перед собой только одно литературное значение слова, вы не могли вообразить и представить себе другого возможного значения. А когда оно случилось – оно есть значение именно этого слова, потому что вы его поняли, а вы поняли, исходя из этого. Например, вы знаете какое-то литературное слово, вдруг слышите жаргонный его вариант и понимаете, о чем идет речь. Этот акт понимания говорит о том, что то жаргонное слово есть то же самое значение; смысл бесконечен и в то же время выполнен, так ведь? Так вот, в случае бега в сенсублизованном пространстве, где ничего другого, кроме бега, не происходит, там ничего этого нет. Вот когда есть расширение в бесконечности интерпретаций – есть акты перевоссоздания себя, есть невербальные акты, являющиеся событием или со-бытием, – я со-бытийствую с какой-то другой точкой и тем самым реализую и изменяю себя. Здесь есть прошлое, и будущее не пусто. Почему? Очень просто: я понимаю слово, и когда случится то, чего я и предсказать не могу, оно случится в будущем, и я его понимаю, хотя предсказать не мог. Но такие гармонические устройства сами собой не так уж часто случаются в нашей жизни. Чаще случается другое. Сейчас я хочу проиллюстрировать это отражение малых процессов на больших социально-исторических явлениях. Но перед этим поведу вас опять по деталям, литературно окрашенным, а потом уже приведу к более крупной картине. Фактически то, что я сказал о бесконечности интерпретаций, которые есть, так сказать, отрицательно бесконечные интерпретации или дурной бесконечности интерпретации, – это то же самое, что сказать (имея перед собой конкретное явление, например, любовь, которая описана), что любовь по определению есть бред интерпретаций. Или, как выразился бы Пруст, *dé lire* (*dé lire* – лучше, потому что, кроме «брета», есть еще оттенок хаотического разгула). Действительно, ведь наш герой, любящий Альбертину, находится в состоянии интерпретативного бреда: он все время имеет дело с сенсублизованными точками, которые он должен разгадывать, он без конца интерпретирует. А любовь, как эмоция, состоит из бреда интерпретаций – болезнь интерпретаций, если угодно, которая, конечно, является в отрицательном модусе отражением того факта, что мы есть существа, большие бесконечным. И эта графика, о которой я говорил, где вместо Парижа, скажем, холмы Шомон, или телеграфная стойка, где Сен-Лу пишет телеграмму, или Альбертина в Гренобле, или Альбертина в другом месте, – все эти точки есть составные части бреда интерпретаций, или любви как бреда интерпретаций. И там как раз нет ни прошлого, ни будущего.

Я процитирую странный стишок Блока, который как бы говорит нам что-то прямо о Сване. Вы помните любовь Свана и то, как любовь Свана к Одетт наложила отпечаток на возможные формы любви, которые наш герой может испытывать; форма любви Свана мигрировала в душу Марселя в виде возможной для него любви. Но Марсель не полностью совпадает с нашим автором. Пруст через Марселя продлевает опыт трансформации своих

собственных переживаний и становления существом, которое освобождается от этой формы любви, в том числе освобождается и от бреда интерпретаций. Собственно, любовь Свана излагается как путь освобождения возможной любви Пруста. «Пленница» и «Беглянка» писались фактически после того как был написан конец романа, когда в личной жизни Пруста развивалась, драматически весьма, его любовь с такими же обстоятельствами бегства, как бегство Альбертины, с таким же обстоятельством мысли о покупках дорогих предметов, как в случае с Альбертиной, – речь шла реально о покупке самолета. В это время Пруст был влюблен в Агостинелли, своего секретаря, который тоже был существом бегства для Пруста, l'été tre de fuite, а вы знаете, что мы любим существа, убегающие от нас. Бегство есть проявление спонтанности самого этого существа как отличного от нас, и Агостинелли хотел быть не секретарем, а хотел, при всей своей, может быть, любви к Прусту, быть летчиком. И Пруст готов был и здесь на убегающего накинуть какую-то петлю владения – подарить самолет, чтобы владеть тем предметом, на котором тот хотел бы от него улететь. Потом Агостинелли исчезает и погибает в авиакатастрофе. И Пруст своим движением в пространстве письма **себя** выворачивал; он с ужасом описывал, как страшны мы в любви. В любви к Агостинелли он пугался своего собственного лика – и пересоздавал его – лика человека, который любит – в смысле – желает владеть. И эпизод любви Свана остался в рамках психически заданных наших пробегов, которые состоят из психических ассоциаций, из бесконечности интерпретаций, из растроганности по отношению к самому себе, дорогому, из эгоизмом напичканных мыслей о других, которые тебе кажутся мыслями о других, а в действительности являются просто проявлением твоего эгоизма. (Держите в голове всю ту картину, которую я сейчас предварительно вам нарисовал; мне приходится все время ходить кругами, чтобы сделать точно понятными те небольшие вещи, которые я хочу вам сказать. Они могут казаться незаметными, хотя именно за ними стоит то крупное, для видения чего нам бывает нужен телескоп, который приближает к нам нечто кажущееся малым просто потому, что находится на большом расстоянии от нас, в данном случае на большом ментальном или на большом душевном расстоянии от нас.)

И вот – наш разочарованный сноб, дилетант, не ставший ни художником, ни любовь свою не реализовавший, потом умирающий от рака Сван. Такой стих у Блока:

И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста, –
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста...

По каким-то законам, описанным мною, происходит событие нашей жизни, описуемое потом типологически, характерологически, эстетически. «И у тех, кто не знал, что прошедшее есть...» – Сван не узнал, «что прошедшее есть», он в беге находился, и все оставалось для него непонятным, нереконструированным, в том числе и он сам. И «грядущая ночь» для него была пуста, потому что для него то, что завтра случилось бы, было бы непонятно, не стало бы частью бесконечного смысла, который есть и сегодня. Повторяю, если я понял, что то, чего я не мог предсказать сегодня, случится завтра, то это есть часть того, что я понимаю сегодня. В этом смысле будущее не пусто – оно уже есть. И когда оно есть, то я жив как понимающее существо. Непустота будущего, тем самым как бы его забегание в настоящее, **уже** существование, есть **условие**, что я в следующий момент времени – живой, а не мертвый, не тот, который в зеркале видит себя в виде господинчика с усами и даже предмет своей любви аннигилирует. И интересно, что у этого человека, сердце которого «затуманила усталость и месть», «отвращенье скривило уста»,

то есть в котором нет мироприятия, нет такого видения мира, в котором ты в настоящем видишь, способен увидеть вечное, и тогда у тебя есть будущее, в котором ты жив, не просто будущее, а то, которое – ты, в котором ты жив, – так вот, у Свана происходит та же самая графика, что и в случае Марселя (холмы Парижа, банковские билеты, Сен-Лу, пишущий телеграмму, сам Марсель, дающий деньги тетушке, и никогда нет Альбертины), – никогда нет реальности того, что есть на самом деле и что осталось непонятным и нерасшифрованным – настолько, что просто уже аннигилировало со мной: исчезли и «я», и предмет, который нужно было понять. И вот у Свана такая серия бесконечного бега есть серия ассоциаций с искусством; он бесконечно размножает непонятное в ассоциациях лица Одетт то с образами женщин на полотнах Боттичелли, то еще на каких-нибудь других полотнах итальянских мастеров. И появляется такая растроганная умиленность человека, переживающего свою любовь возвышенно в виде образов, – ну что может быть выше образов Боттичелли, если ты в образе женщины Боттичелли переживаешь Одетт? А в действительности это просто психологические ассоцианизмы, действующие по своей собственной логике, совершенно независимо от глубины и содержательности чувств самого Свана. А как мы размножаем? Ведь те существа, которые бегут за убегающими от них существами в этой бесконечности по сенсублизованным точкам пространства, – они ведь ничего не делают, а **только интерпретируют**. Даже любовь у них – бред интерпретаций. Мы тоже ведь очень часто ничего не делаем, а только интерпретируем. То, что я описал в виде происходящего на этих примерах, происходит и с нами, когда мы с умным видом читаем газету между строк. Мы ведь все время интерпретируем, мы ведь не пониманием занимаемся, мы бесконечно интерпретируем знаки, и наша, так сказать, словесно-культурная или гражданская жизнь есть бред интерпретаций. Может быть и другая, обратная сторона. Ведь, смотрите, что делал Сван: он как бы амплифицировал себя и непонятное, он аккомодировал страдание, не прожил его до конца, а стал с ним жить, как живут с нелюбимой. Если вы помните, роман его с Одетт кончается тем, что он женится на ней, но уже ее не любит. Он с ней живет, так и не исполнив в самом себе того таланта или того качества, которое искало реализацию через любовь к Одетт. Мы ведь через любовь к другим сами с собой воссоединяемся в расширенном виде. А Сван это непонятное амплифицировал в других, как в пустых резонаторах. Ведь «я », то, которое видит себя только в зеркале, – оно ведь пустой резонатор проходящих или бесконечно дефилирующих через эту пустоту предметов (предметы резонировали в нем). И наши мысли о других очень часто являются размножением «непонятого нами» в этих других, которые есть лишь пустые резонаторы наших дефилирующих мыслей, наших состояний. В случае Свана пустой резонатор – живопись Боттичелли. Не сама по себе с ее духовными смыслами и живописными смыслами – лишь резонатор для сцепившихся в своем беге самодовольных ассоциаций Свана. И можно захотеть, конечно, смерти, устать – «затуманила сердце усталость и месть, отвращенье скривило уста» (Блок другими словами говорит то же самое) – мы находимся перед лицом неохватной бесконечности, утомившись в беге (как осел тянется за пучком сена, подвешенным перед его носом, никогда не может его ухватить, устал, и лучше уж умереть). И вот обратной стороной этого дела является бред интерпретаций, который является как бы продуктом аннигиляции: когда нет ни тебя – как понимающего, ни другого – как предмета понимания, – они вместе как бы взрывом уничтожили себя.

Недавно появился, наконец-то, на русском языке, сборник Борхеса, в который включена небольшая новелла «Поиски Аверроэса». Очень хорошая, так сказать, иллюстрация реальности той аннигиляции, о которой я говорю.

Хочу предупредить, что по жанру Борхеса можно было бы определить как интеллектуального фантаста. Вы знаете, что научная фантастика описывает некоторые технические или физические, необычные, парадоксальные ситуации в виде того, что происходит в других мирах, в наших путешествиях по этим мирам и т.д. Но дело в том, что ситуации другого мира бывают не только физическими, но и интеллектуальными. У интеллекта есть парадоксальные ситуации, и чаще всего они связаны с бесконечностью. Фантастические новеллы Борхеса являются как бы литературным упражнением на тему о каком-нибудь интеллектуальном парадоксе, в котором мы оказываемся, если думаем то или иное. В случае той новеллы, о которой я сейчас вспомнил, разбирается интеллектуальный парадокс, являющийся парадоксом понимания, состоящего в следующем: можем ли мы достичь цели, которая нам не дана? Я говорил вам, что цели всегда достигнуты, так вот – иллюстрация этого. Скажем, человек стоит перед наблюдаемой им театральной игрой и хочет понять, что происходит. Но достичь цели этого понимания ему не дано. Почему? Потому что у него нет понятия театра. Понятие театра есть внутренний понимающий элемент самого события «театр», и если ты не приобщен к этому внутреннему элементу, если у тебя нет понятия театра, то ты театральные действия, разыгрываемые перед тобой, в принципе понять не можешь, их может понять тот, у кого есть «театр». Марсианин, наблюдая человеческий театр, соотнес бы физически выполняемые действия с какими-то предполагаемыми значениями, но если бы он не знал, что это – театр, он никогда не понял бы основного. Один из путешественников – арабов рассказывает собравшимся (там присутствует и Аверроэс) о том, как он был в Китае и его повели развлечься в очень странный дом, в котором внизу сидели люди, потом был еще ярус, на котором тоже сидели люди, потом был еще ярус, на котором тоже сидели люди, смотрели на какое-то пространство, на котором было возвышение, где другие люди убивали друг друга, но при этом не умирали, размахивали шпагами, которые были тростинками и т.д. и т.д. А до этого наш тонкий и гениальный автор Борхес незаметным образом ввел сцену (она отделена примерно двумя страничками от той, о которой я сейчас рассказываю): он размышляет о каких-то высоких вещах, со двора до него доносятся крики детей, он выглядывает в окно и видит, что мальчик взгромоздился на другого и, сложив руки, завывает и произносит слова, в которых Аверроэс узнает мусульманскую молитву, а третий мальчишка расprostерся ниц перед этими двумя. Значит, один изображает мечеть, другой изображает мулу, читающего или поющего молитву, а третий изображает верующего, молящегося. Это элементы театрального представления. Ничего другого в качестве таких элементов, которые можно было бы добавить, чтобы понять, что это театр, нет, все элементы театра здесь присутствуют. Аверроэс видит эту сцену, и он не понимает, что это театр (о чем говорится без связи с этой сценой уже в рассказе другого араба, который описывает свое путешествие в Китай). Здесь не выполнены некоторые предварительные условия (нет понятия театра в данном случае), которые ставят на свое место те материальные элементы, которые **только** и наблюдается, других элементов нет. И, следовательно, если мы имеем понятие театра, то мы понимаем, что происходит, не путем добавления еще каких-то элементов или привлечения какой-то еще информации – она вся дана. Но, с другой стороны, имея все эти элементы, мы не можем из опыта вывести смысла происходящего. Вот о чем идет речь, когда я сказал – достижимость или недостижимость цели. А если мы поняли, то смысл уже есть, мы ничего к нему не добавили, цель выполнена. Собственно, я привел только материал для той мысли, которую я хотел высказать в связи с Борхесом, хотя сам материал чрезвычайно интересный. А дальше Борхес делает приписку, – что в этом рассказе он хотел изобразить неудачу человека в достижении целей, которые

ему не даны. Странный оборот: достижение целей, которые ему не даны; вот что Аверроэс, не имея понятия театра, не мог понять: он работал над расшифровкой смысла двух слов у Аристотеля – «трагедия» и «комедия», и он не смог понять, что значат эти слова, потому что не имел понятия театра. И далее идет такое построение: может быть, в таком же положении нахожусь и я по отношению к Аверроэсу, замечает Борхес о самом себе. Значит, необладание внутренним элементом, то есть отсутствие предварительного обладания некоторым внутренним элементом, к которому можно – или быть приобщенным, или нет, другого не дано, из опыта вывести нельзя, – необладание этим Борхес иллюстрирует – предполагая, что он сам может оказаться в ситуации Аверроэса по отношению к Аристотелю. Значит, теперь Борхес по отношению к Аверроэсу в такой ситуации и такой образ к нему приходит; он смотрит на Аверроэса, Аверроэс подходит к зеркалу (зеркало, конечно, символ понимания взаимоотражений), и вдруг исчезло все. Исчез Аверроэс, исчезло зеркало, исчез дом, исчез двор, на котором играли мальчишки, – аннигиляция произошла. Только Борхес не добавил, что исчез и он сам. Потому что в таких ситуациях исчезают взаимно: и предмет понимания – аннигилирует – и понимающий. То есть в данном случае исчез и Борхес. Но, конечно, он имеет право не считать себя исчезнувшим, поскольку он-то все-таки приобщается к этому внутреннему элементу путем перевоссоздания своих возможностей понимания, он не находится в замкнутом круге интерпретаций.

Наш бред интерпретаций есть лишь просто один из продуктов такого рода аннигиляций, когда нет ни тебя, ни другого, когда они встречаются в точке, встреча и – взрыв – исчез и предмет понимания и понимающий. У этой аннигиляции есть обратное лицо, которое я назвал бы так: соборное слияние и воспарение. В них точно так же нет ни предмета, ни «я» (ни самого себя). Когда мы как бы алхимически растворяемся в точке соприкосновения с другими в некотором едином соборном теле. Это тоже, так сказать, самоубийственная потеря самого себя, и в данном случае (я даю вам эквивалент для малого зеркала бесконечности, даю большую картину) – это довольно крупные социально-исторические процессы, которые происходят на известных вам территориях. Такие соборные алхимические мании в некотором теле, где мы в точке соприкосновения с другими растворяемся блаженно, – это есть элемент нашей социальной истории. Точно так же любовь как бред интерпретаций есть просто один к одному структурная характеристика российской любви. Россияне ведь очень ревнивы в своей любви, а бредом интерпретации является ревнивая любовь. Они ведь хронические обманщики, считающие себя всегда обманутыми, они хронические агрессоры, всегда считающие себя жертвами агрессии. Это один из признаков фантастической психической незрелости целой нации или целого пространства, населенного миллионами людей. И посмотрите, что я сделал сейчас на ваших глазах. Что – посредством чего – я понял? То ли я понял эпизоды индивидуальной психологии, сначала поняв вот эту большую картину, или, наоборот, – большая картина становится понятной, и ты в ней что-то видишь, когда ты видишь что-то в малом. Задача философа вообще – заниматься только индивидуальными событиями своего собственного сознания. Но он должен заниматься ими так, чтобы они были зеркалом чего-то другого. И еще я предупредил вас, что понимание (или анализ) движения в сознании является правилом интеллигентности крупных и больших систем целых социально-исторических образований или крупных исторических явлений в этих социальных образованиях. И вот я возвращаюсь к тому, что мы делаем, когда любим. Мы любим весь мир, мы любим прогрессивное человечество, мы любим окружающие страны, и мы все время считаем, что они нас не любят, незаслуженно не любят, что мы заслуживаем любви, и только есть какое-то недоразумение, которое мы бесконечно устраним, в том числе

собственным движением в пространстве, и – мы требуем любви. Значит – отражение в большом чего-то якобы малого.

Так вот, возвращаясь к интерпретации, – я еще дальше разовью эту аналогию, чтобы показать вам действие одних и тех же структурных законов в явлениях разного масштаба. Вот и тот пример, который я приводил с Борхесом, хорош тем, что там исчезновение происходит мгновенно: в один миг – посмотрел Аверроэс в зеркало и исчез, посмотрел в зеркало – исчезли и Аверроэс и зеркало, дом исчез, вся вселенная испарилась, и, я добавлю, испарился, конечно, и тот, кто наблюдал Аверроэса (сам Борхес должен был бы испариться). Вмиг произошло все это. И вот тот мир, с которым мы имеем дело и который мы сейчас постепенно очерчиваем, взяв бесконечный бег интерпретаций, любовь как бред интерпретаций, аннигиляцию предмета любви и самого себя вместо воссоединения или соединения уникально различных сил в одну кооперированную силу и т.д. и т.д., – с разных сторон все это очерчивая, – по отношению к этому миру мы можем ввести закон, который есть закон **мига**. То есть все эти процессы происходят внутри чего-то, что мы вынуждены принимать за миг. И то, что это происходит в один миг, есть следствие как раз закона, другого, – что цели, желания и т.д. всегда выполнены. Сейчас я поясню, что я имею в виду, чтобы завершить этот пассаж. Когда я говорю, что желания всегда выполнены или цели всегда достигнуты, а если не достигнуты, то недостижимы (в случае Борхеса ясно, что он достиг бы цели понимания, если бы эта цель была бы уже достигнута, и если она не достигнута, она недостижима; простите, за такие парадоксальные выражения), – фактически это означает, что целью желания является само желание и воспроизводство и постоянное оживление желания. Поэтому, собственно, оно характеризуется всегда выполненностью, всегда данностью всего своего пространства сразу. Повторяю, целью наших желаний – желаем ли мы прекрасную женщину, еду или что-нибудь еще... – целью желания как элемента – нас как живых существ, имевших прошлое и имеющих будущее, **целью желаний является желание воспроизводства самих причин иметь желания**. И, значит, в каком-то смысле все выполнено и выполнено совершенно – или в ту сторону, или в другую сторону, или в плюс, или в минус.

ЛЕКЦИЯ 29. 30.03.1985

В прошлый раз мы имели дело с некоторыми ситуациями, которые складываются в истории, в обществе вокруг человека тогда, когда в самом человеке не совершены какие-то акты по отношению к самому себе. И если на этой стороне – там, где человек, не совершены им самим по отношению к самому себе какие-то акты, то на поверхности исторического и социального целого, в пространстве, окружающем человека, мы имеем дело с ситуациями и явлениями, имеющими все признаки хаоса и распада. Причем хаотическими процессами могут быть массовые социальные процессы, устремленные к распаду и смерти. Я говорил вам, что есть моменты, когда человек лицом к лицу встречается с реальностью, то есть с тем, что есть на самом деле. Но есть определенные условия такой встречи, когда, если не выполнены эти условия, сама встреча приводит к тому, что я назвал аннигиляцией, то есть исчезновением и предмета человеческого внимания, желания, интереса и самого человека. Условием, которое должно быть выполнено и невыполнение которого ведет к этому хаосу и распаду, является наличие некоторого экрана. И те встречи, которые ведут к распаду, можно назвать безэкранными встречами с реальностью. Поясним пока просто само слово, поскольку за ним скрываются сложные проблемы и пояснение его может вам помочь завязать какие-то ассоциации и самим прийти в движение. Представьте себе простую вещь: я смотрю глазом на что-либо, я вижу предметы, но не вижу самого поля зрения

(глазом я вижу предметы в поле зрения, но я не вижу самого поля). Это поле составлено из некоторых преобразований (не нами совершенных): действий электронов, физических и физиологических раздражителей, – такого рода преобразования, что мы, не видя самих этих преобразований и не видя электронов нашего зрения, видим предметы. Иначе говоря, само поле (если под полем понимается возможность видеть предметы) является экраном, которым мы отгорожены от того, чтобы видеть пляску электронов в наших глазах. Но если бы мы увидели... каким-то чудом, скажем, каким-то распадом нашего сознания или в каком-то припадочном состоянии – электроны, которые трансформируются в нашем поле зрения и т.д., если бы мы увидели сами электроны, мы перестали бы видеть предметы, и, более того, мы просто сошли бы с ума. Потому что в принципе никакой упорядоченной структуры никаким прямым видением мы не могли бы извлечь из этой конфигурации пляски, из абсолютного хаоса электронов. В каком-то смысле наличие этих электронов или, если угодно, световых квантов является **условием** нашего зрения, то есть частью реальности, устроенной таким образом, что мы вообще что-то можем видеть (я могу видеть вас, вы можете видеть меня). Но если я столкнусь с этой реальностью без экрана, то я распадаюсь, разрушается моя психика. Мы сходим с ума. И, может быть, известные психопатологические явления, называемые сумасшествием, очень часто являются нами пока не описанными встречами с такого рода реальностью, перед лицом которой мы не имеем экрана. То есть реальность заранее не переведена на тот язык, который мы могли бы понимать и при этом не погибать самим.

Известны психологические опыты, когда человека сажали так, чтобы он не мог отвести взгляда (это важное условие) от экрана телевизора, по которому пускались в полном беспорядке такие пятна, которые никакой упорядоченной структурой в принципе не обладают. И эта попытка – а попытка была, поскольку взгляд нельзя было отвести, – придать смысл тому, что в принципе не имеет смысла (просто в самих этих опытах верифицировалось и было зафиксировано), приводила к распаду высших этажей сознания, организованных и упорядоченных образований сознания. В это поле разрушения начинали вторгаться галлюцинации, бредовые представления и т.д. То же самое, скажем, обнаруживается, если человека поместить в условия сенсорной изоляции (такие опыты делаются в связи с космическими исследованиями) и подавать ему вне какой-либо разумной или привычной для него связи какие-то раздражители. Поскольку они подаются вне каких-либо привычных связей (переведу на свой язык) – вне экрана, то, будучи в принципе непонятными, не поддающимися пониманию (и в то же время к ним предъявляется требование со стороны человека – понять их), они облакаются в то, что феноменологи назвали бы «выполняющими видениями» или галлюцинациями (но особого рода). Короче говоря, из-под разрушающихся верхних этажей сознания фонтанируют какие-то другие слои сознания. Я употребил термин «выполняющие видения», – скажем, во сне мне снится Тбилиси, но не в «реальном» (в кавычках) его виде, – здесь ведь реальность есть то, что я вижу, **имея экран**, а когда я сплю, этого экрана нет, сон мой есть одновременно сон сознания, и я могу увидеть этот город, получить конфигурацию домов, улиц – не так, как они есть физически, а так, чтобы они своей материальной конфигурацией непосредственно выполняли бы смысл, который я вкладываю в этот город. Смысл, лежащий в моем подсознании, в не выраженных, внешне или языково, частях моей психики. Допустим, есть смысл города, связанный с неприятными ощущениями, и я увижу определенным образом искривленные дома, находящиеся друг с другом совсем не в тех связях, в которых они находятся реально, а в каких-то странных гримасных нагромождениях. Это значит, что я вижу не предметы, а вижу **выполнение**

СМЫСЛОВ, мне самому неизвестных и заложенных в моем собственном сознании. Так и в тех галлюцинациях, которые видит человек в состоянии сенсорной изоляции, когда отрывочные, дискретные возбуждения подаются ему экспериментатором, – скажем, он погружен (в состоянии невесомости) в водяную ванну и при этом полностью изолировано его тело от соприкосновения с водой. И вот нарушенность всех нормальных путей приводит к тому, что он начинает реально видеть такие предметы, которые в действительности являются не предметами, а выполнениями в подсознании заложенных смыслов.

Помните, я описывал вам ситуацию, когда мы перед лицом реальности – сталкиваясь с ней – заняты интерпретацией, то есть расшифровкой знаков. Скажем, мы читаем между строк газету: это есть чисто интерпретативное занятие. И в том сознании, которое читает между строк, все реальное, действительное, то есть несловесное, не попавшее как раз в строки этой газеты и между строк тоже не попавшее, все реальное будет приобретать характер полуистерических мифов. И тогда в газете мы будем вычитывать подтверждение заранее существующего в нас смыслового образа. Существующая языковая действительность полностью трансформирует наше реальное бытие, – скажем, в жизни мы несчастны, а в языковой своей действительности – счастливы, в жизни мы бедны, а в языковой действительности – богаты, а других слов у нас нет. В языковой действительности непрерывно растет наше благосостояние, и если слушать языковую действительность, то мы должны были просто подключать наши холодильники к штепселю радиоточки, и они тогда наполнялись бы. И это же сознание живет образами летающих тарелок, с которых на нас посыплются неизъяснимые блага знания высшего какого-то разума – не разума, которым мы обладаем, а таинственного и благостного разума. И все это на тарелочках – стоит только их захватить, зафиксировать, или войти в контакт, как выражаются сейчас, с существами, которые прилетают на этих тарелках и якобы за нами следят. Это, конечно, как вы понимаете, – типичные порождения коллективного бессознательного, выполняющие те смыслы в виде предметов. Мы ведь видим тарелки, и сказать, что это – галлюцинации, недостаточно, дело не в галлюцинации: просто видение самой летающей тарелки есть выполнение существующих смыслов там, где мы выходим из привычных рамок, выходим на контакт с какой-то реальностью. А поскольку, выходя на этот контакт, мы с собой ничего не делаем, мы себя не преобразуем, мы не ныряем в самих себя, то все несделанное, как говорилось в древней философии, не принесет нам пользы в другом мире, в данном случае в контакте с реальностью, а реальность всегда – другой мир по отношению к нашим привычным представлениям. И волоча все несделанное за собой, мы как граждане российской империи все время только так и живем: бесконечно все интерпретируем, ничего не делаем с собой. Это я называю безэкранным встречей с реальностью.

Уильям Блейк, гениальный поэт, так сказать, концептуальный поэт, которого интересовала не столько красота поэтического выражения, сколько высота и глубина истин, выражаемых на поэтическом языке (хотя язык его поэзии в высшей степени музыкален и поэтичен, если такой тавтологией можно выразится), – в таких случаях употреблял один термин, который я возьму как метафору. Он говорил, что должна быть **проведена линия**, твердая линия, очерчивающая нечто от всего другого, в том числе тебя самого от всего другого. И эта линия, как говорил Блейк, везде, во всех своих прямых отрезках или в своих искривлениях, не сравнима ни с какой другой (неподразделима в терминах сравнения). Эта метафора появилась у Блейка именно потому, что он, будучи человеком, способным переварить любой хаос окружающего мира и воссоздавать его на своих собственных условиях так, чтобы, как говорил Декарт, собрать самого себя и твердо идти по жизни, – обладая классической

душой, Блейк ужасно не любил всего облачного, всего бесформенного. И если мы заглянем в себя, то поймем, что мы сжимаем в объятиях облака под видом, скажем, возлюбленной или возлюбленного, или под видом врага, предмета ненависти и агрессии; мы даже пытаемся стоять на облаках. И вот клубятся все время облака получувств, полупониманий каких-то неудачных животных, даже не животных, а недоживотных, – если под мыслями и состояниями понимать органические существа, живые существа, которые могут быть удачными, а могут быть неудачными. И пока мы пытаемся обнять облако или стоять на нем – в эго время одним мгновением, в один миг уже складывается другой мир. Я говорил вам, что мы не должны представлять себе складывание наших судеб как нечто такое, что требует последовательного, большого времени и что идет из какой-то одной точки, – согласно тому, что желание и стремление имеют дело всегда с чем-то, что – уже и во всем своем сплетении, – вот мы должны допустить такой мир: он эмпирически для нас делает вещи более понятными. Помните я вам говорил: весь мир становится невозможным, непонятным, если мы представим себе, что существует какой-то центр опыта и из этого центра, согласно затрачиваемому времени, всегда достаточно большому, прослеживаемыми путями распространяется опыт (в данном случае я имею в виду опыт определенного бытия) нашего распада и хаоса, когда мы сами не существуем и предметы наши не существуют. И тогда мы обнаруживаем странную вещь: совершенно не нуждаясь ни в наличии центра распространения, ни в реальных путях культурной передачи, ни во времени, – в одно мгновение на Кубе – тот же мир, во Вьетнаме – тот же мир, в Корее – тот же мир. Каким образом? Сегодня вы что-то имеете в Москве, завтра что-то произошло в городе, который теперь называется Хошимин (тоже интересные гримасы слов, названий), и там в тот же день выходит газета, такая же, как и в Москве (не потому что этому учили), и так же требует интерпретации, как та, которая выходила в Москве. И там есть человек, который будет бесконечно читать между строк, для которого реальность снова будет приобретать фантастические формы массовых истерик или массового психоза, будь то летающие тарелки или вражеское окружение, и на светлом острове, окруженном мраком, мы только и думаем о каких-то дьяволах, затаившихся в окружающей нас мгле и что-то относительно нас замышляющих. А реальности на нас плевать, – в мире, в реальном мире, нет никаких намерений по отношению к нам самим. Реально происходят только **автономные** явления. Так же, как цветок цветет не для того, чтобы радовать нас или огорчать, так и социальные события, движения других людей в окружающем нас пространстве происходят не для того, чтобы нам было хорошо или плохо, – они **происходят**. Сознание, которое я называл незрелым, называл сознанием незрелой нации, в принципе не может принять такой мир, потому что идея мира, в котором нет никаких намерений по отношению к нам, требует мужских качеств, требует мужества, доблести, собранности или – проведения линии. В такого рода ситуациях возможны крайности, но не я первый приду к крайностям из-за ощущения в каких-то мелочах вещей более крупных. Я сейчас вам приведу маленький пример, который является примером того, что люди в мелочах могут видеть что-то крупное и приходиться к каким-то крайностям, явно противоречащим каким-то фактам, последующим нашим знаниям, но в то же время мы должны (и для этого служит пример) относиться всегда *cum grano salis*, со щепоткой соли, ко всем заблуждениям, ко всем великим заблуждениям, скажем так, и не слишком придирайтесь. Блейк в живописи признавал только работы, сделанные в стиле Дюрера, не любил никаких размазанных линий, не признавал живописи, которая лепит свой предмет цветовыми пятнами. Для него существование в живописи пятен, неопределенных форм, отсутствие четкой линии было символом душевного состояния человека, который находится в

состоянии пара и облака, и поэтому ему соответствует такого рода живопись (конечно, здесь есть вкусовое преувеличение, но нам важна причина такого заблуждения, а не факт указания на заблуждение). Например, Блейк настолько любил твердые линии, что подозрительно относился даже к ньютоновским флюксиям (флюксии – это непрерывное движение к бесконечно малому; флюксия по определению не может быть четкой, очерченной геометрической формой), и говорил, что англичане дошли до того состояния, что, вместо того чтобы каждый себя четко выделял бы и очерчивал бы линией, им нравятся ньютоновские флюксии, и тогда ньютоновские флюксии есть отражения их душ. (Я опять иду кругами, но ничего страшного; я, как вы уже давно поняли, не большой поклонник систематической лекции и, так сказать, систематического изложения знаний, тем более что в той области, в которой мы находимся, нет системы знаний.)

Так вот, в этом есть смысл, – интуитивно вам будет понятно, если я скажу так: если человек настойчиво и твердо и постоянно говорит, что нет души, то можно сказать только одно, и это будет абсолютно правильно: раз ты так говоришь и так в этом уверен, значит, у тебя ее нет. Конечно, как философ я могу перевести то, что я только что сказал, в довольно абстрактные термины, назвать – различительным сознанием или различительным знанием. (Буддисты, например, считали, что знание есть нечто выделяющее человека в его бытии, – если я считаю себя рабом и животным по отношению к Богу, то я – раб и животное, если я считаю себя Богом, то я – Бог. То есть – как ты понимаешь, так ты и есть. Конечно, это не относится к всякому пониманию, а только к определенному.) Я довольно часто предъявлял претензии к Блоку и к Достоевскому. И такая требовательность, если ее утрировать, является требовательностью пигмеев и писцов, которые всегда требуют, чтобы все было правильно написано. А такой правильности у великих ощущений или у великих мыслей не бывает. И писцы не понимают, что **момент записи** мысли или состояния не **равен** моменту самой мысли, **моменту ее рождения**. Не равен момент рождения тому моменту, когда это рождение нужно **записать**, а записываем мы его вместе со всем остальным, в том числе и вместе с самим собой, то есть эмпирическим конкретным человеком. А рождающий мысли во мне – это **другой** человек, не тот, который есть «я» эмпирически. Записывает **реальный** человек, каким он смог быть, а мыслил человек возможный. Мыслила пустота, не имеющая конкретных человеческих очертаний; мыслил возможный человек, который еще должен был бы стать самим собой или стать кем-то в лоне или в пространстве написанного. У одних – разрыв или расстояние между реальным человеком и возможным человеком может быть минимальным, вплоть до полного стирания реального человека, хотя бы в тексте. В прустовском тексте максимально отсутствует Пруст как конкретный субъект прустовской биографии. А у других – расстояние между реальным человеком, эмпирическим человеком, биографическим человеком и возможным человеком в нем же может быть больше. У Блока, например, – возможный человек в нем производил гениальные вещи, гениальные видения, и тем не менее в записи этих гениальных видений не устранен и продолжает существовать эмпирический, биографический Блок – непреобразованный и непреосуществленный. У Достоевского такая дистанция максимально уменьшена, почти что отсутствует в тексте (в романах) и очень велика в его публицистике. Когда он начинает мыслить и излагать систематически свои собственные состояния как художника и как мыслящего в тексте, а не отдельно, тогда вы получаете фантастическую бредовую систему особой божественной призванности или особой религиозной миссии русского народа, вы получаете панслависта и имперского националиста и т.д. Но то, что я сказал, в смысле характера наших собственных претензий к такого рода

явлениям истории (претензий к Достоевскому, или претензий к Блоку, или к кому угодно), то, конечно же, такого рода явления, содержащие внутри себя неминуемое различие между материальным человеком (назовем его так), то есть куском мяса и психики, и возможным человеком, – такие явления требуют от нас великодушия, нашей способности вместить их в себя, понять их исток и согласиться с тем, что – и на Солнце могут быть пятна – у этих явлений могут быть недостатки.

Но это относится не только к книжкам, это относится и к поступкам, к историческим действиям, то есть к людям как авторам исторических деяний и поступков. В исторических деяниях, в любых акциях, будь то героическая акция на войне, образец какого-то поступка, продиктованного любовью, выражающего и фиксирующего какое-то гражданское мужество или трусость, – в любых поступках мы имеем проблему автора поступков и действия внутри поступка вместе с возможным человеком этого поступка (вот это сложный ход, его очень важно ухватить), Весь роман Пруста есть авантюра общения, или роман о том, можем ли мы общаться с другими людьми, в частности, можем ли мы любить. Любить так, чтобы в этой любви реализовался бы и я сам и тот другой – как **самобытное** существо. А вот самобытное существо, другое существо, с которым я должен общаться и через которое я должен совершить какое-то приращение самого себя, должен обогатиться, – то возможное существо внутри себя состоит из возможного и из эмпирического или животного человека, если угодно (хотя это животное включает в себя психику и акты рассудка, сознания и т.д.). То есть мы можем соединиться с тем, что оно делает, выйдя к тому источнику, в котором оно само возникает, усилием возникает, – оно тоже возникает в рамках своего собственного поступка, если поступок рассматривать как текст (так же, как роман мы рассматриваем как текст, поступки мы тоже должны рассматривать как текст или исторические деяния). И ведь роман Пруста (я по аналогии сейчас пойду) замышлялся автором как своего рода сведение счетов с литературной критикой. Очевидно, Пруст хотел прежде всего свести счета с взглядом, который на него смотрит как на человека, – ведь мы существуем и осознаем себя как отраженные во взглядах других людей. Отношение литератора и критики есть частный случай такого рода отношения, – если литератор видит себя в поле взгляда критика, в поле другого взгляда. И поэтому Пруст замыслил роман согласно определенному сюжету, что должно было быть отрицанием принципов определенного рода критики, состоящей в том, что мы понимаем роман или текст, если мы имеем или можем собрать сведения о личности автора этого текста. Для Пруста такого рода критика, то есть установление биографических обстоятельств, характера личности, свойств менталитета этой личности и т.д. как живого субъекта жизни и встреч, резюмировалась под образом одного критика – Сент-Бева, который диктовал в те времена интеллектуальную моду во французской критике, и поэтому замысел получил название «Против Сент-Бева». И весь роман, который мы знаем под названием «В поисках утраченного времени», в действительности сначала задумывался как размышление о критике и дискуссия с Сент-Бевом, где инсценировалось: в постели лежащий автор, подходящая к постели мама (уже взрослый автор, конечно, не тот ребенок, который ждет поцелуя матери; все эти образы потом трансформировались), и он с ней беседует о литературе, о книгах и о критике. И в рамки обсуждения этих вопросов взаимоотношений литературы и критики должны были вклиниваться какие-то реальные сцены, какие-то случаи из жизни, какие-то психологические описания воображаемых персонажей и прочее, и прочее, но все это должно было быть организовано вокруг этого. Но потом Пруст эту идею отбросил как искусственную и нашел другой способ – вы знаете какой.

Так вот, основная мысль, вокруг которой бился Пруст, – учтите наше существование в поле какого-то взгляда – мы не можем, когда судим о продукте труда, в данном случае о тексте, мы не можем предположить в качестве предшествующего – человека, создающего этот продукт. Поэтому обращение к тому, что, например, известно о Стендале как живом человеке, ничего не дает для понимания того, что есть в творчестве Стендаля, Почему? Да потому, что Стендаль сам возникает – как личность – в рамках своих текстов. Вот что имелось в виду. Пруст говорил, что в действительности автором произведения вовсе не является тот человек, которого мы наблюдаем со стороны в качестве биографического субъекта, – автором произведения является некое «я», которое само впервые становится посредством этого произведения. Это же, повторяю, относится к актам, к деяниям. Мы ведь говорили, что всякий акт темен и смутен по своему смыслу, что смысл акта устанавливается по его свершении: мы заранее не знаем и в принципе не можем знать. Даже по критериям добра и зла: мы не можем иметь списка критериев добра и поступать сообразно тому, что говорит этот список критериев. Нет, этого не может быть. Есть что-то, что мы узнаем только в деянии. Я же говорил вам, что справедливость – после написания закона. Не закон, согласно предсуществующему знанию нами справедливости, – справедливость есть то, что установится в лоне написания закона. В России начала века некоторые люди понимали суть дела, – скажем, Столыпин, который пытался провести реформы. У него была такая дилемма: отсутствие в России законоправия, то есть отсутствие гражданских законов, и понимание того, что человек как субъект закона не предшествует закону. Столыпин ставил проблему так: сначала нам нужно иметь гражданина, а **потом** гражданские законы. Повторяю, – гражданина, а потом существование и действие законов. Здесь под «гражданином» имеется в виду, конечно, такой субъект, который возник бы как носитель справедливости. Вот представьте себе: вы ввели законы – они предполагают артикулированное тело, то есть артикуляцию наших всех шагов, которыми мы могли бы владеть на уровне просто мускульного автоматического умения, – так вот, если бы сейчас в Грузии ввели всю совокупность демократических институтов и законов, то мы столкнулись бы с тем, что всего этого не может быть по той простой причине, что отсутствуют субъекты этих законов, граждан нет.

Здесь я должен вам напомнить о теме сомнения, радикального сомнения. В той фразе, где Марсель говорит о своих сомнениях относительно добродетели Альбертины (и, собственно, эта фраза послужила мне отправной точкой для некоторых пассажей, которые я делал в прошлой и позапрошлой лекциях), мы видели фигуру сомнения как такую, которая останавливается, и мы понимаем, что на мир наложены человеческие связи, на реальность наложены человеческие связи, в том числе такие, в которых мы ожидаем чего-то, – того, к чему уже проложены какие-то привычные дороги, того, что тем или иным образом понятно нам, и, более того, ожидаем мы часто чего-то такого, чем мы могли бы скрыть от самих себя реальность. Я начал с абстрактного, казалось бы, термина: мир, на который наложены человеческие связи, в том числе – избегать какой-то опасной точки и поэтому во что-то верить. Например, говорят (и это, кстати, прямо относится к историческим деяниям), что человек поступал так, потому что он верил в высшие идеалы. Скажем, человек погубил миллионы людей, и мы осмысляем это так: но он ведь верил. По такой же структуре совершается и реализуется в обычной любовной истории – человек совершил что-то страшное, и мы, как высшее понимание этого, говорим: ведь он же любил. И при этом мы обходим вопрос, сколько может быть упаковано злобного самодовольства в веру и в любви, в нежелании расстаться с образом самого себя. А образ самого себя является элементом человеческих связей,

наложенных на действительность и тем самым отличных от этой действительности, то есть от реальности. В случаях, которые я описывал, мы имели дело с сомнением, которое не идет до конца, которое останавливается, и причина остановки всегда лежит в человеческих связях, наложенных на мир, и эта остановка, как мы видели, опустошает мир вокруг нас. Я показывал, что мы видим не предметы, – образы, симулякры этих предметов остаются в наших руках – не живая Альбертина, не реальная Россия. Вы видите, я произвольно перехожу из одной области в совершенно другую, но я хочу, чтобы я сам и вы вместе со мной научились бы **так** мыслить. Это и называется, по Блейку, «видеть небо в чашечке цветка»: в малом видеть большое, или в одном видеть совершенно другое, или видеть одинаковую структуру. Ведь «чашечка цветка» – это не «небо», это другой предмет, а вот способен ли я в чашечке цветка увидеть небо... Например, в законах, по которым протекает любовная страсть, увидеть законы, по которым протекают некоторые социальные явления. Поэтому я говорил – в руках остается не Альбертина, а запись или графика объектов, которые набили мне душу; не Россия, а образ России, как у Достоевского и у многих других, которые верили в особое духовное и великое призвание русского народа и совершенно не видели действительного народа, того, который с большой легкостью разгромил свои собственные церкви. По социальным законам – квазирелигиозная энергия, которая сначала собиралась под куполами церквей, а потом была собрана под другими знаками и символами, легко переключилась. И именно в этом переключении, скажем, родился образ Сталина. Без понимания законов, по которым работает квазирелигиозная энергия, нельзя понять и этого явления. И оно ведь произошло, не требуя на то времени. Поскольку миллионы сталиных в один миг возникали во всех точках российского государства, постольку собирающий их в себе и отражающий их образ родился в Кремле. И этому не надо было учиться, не надо было этот опыт распространять, это везде вмиг спонтанировалось.

Реальность, или другое, складывается мгновенно. И остановка сомнения означает остановку – чего? – самой сути сомнения. А суть сомнения состоит в том, что сомнение есть выделение чего-то, что есть **уникально само**, действует само, высвобожденное из любых наших представлений и связей, которые все подвергаются сомнению. Это «само» я назвал другими словами – невербальным присутствием самого себя. В некоей уникальной, незаместимой и несводимой точке происходит какой-то невербальный опыт. И чтобы он разрушился, нужно его высвободить – актом сомнения – из всех человеческих связей, которые на него наложены. Скажем, на мое переживание того, что в действительности я могу получить из точки Альбертины, наложен хаос моих представлений, рожденных моей эгоистической страстью или желанием обладать Альбертиной, обладать как вещью, поскольку у меня нет мужества допустить ее самодостаточность. Допустить – что она не для меня: ни в смысле – доставлять мне удовольствие, ни в смысле – огорчать меня и развивать в моей душе любовную драму. То есть мы обнаруживаем следующий факт: наша способность расширять себя, присоединяя к себе своеобычность другого опыта, другого переживания, имеет какие-то **ограничения**, – она сама собой не осуществляется, не происходит. И одним из условий того, чтобы высвободить то, чем я сам могу обогатиться, является доведение сомнения до радикальной его формы или до радикального его вида. Если мы не доходим до этого, то в наших душах даже добродетель не плодоносит. Напомню вам одно из прозрений Блейка. Но прежде напомню, что роман Пруста полон описания опыта святотатства, опыта нарушения границ и добра и приличий, а иначе говоря, – нашей авантюры в мире, которую мы должны совершать именно потому, что есть что-то, чего нельзя знать и что может только стать и обрисоваться, если мы двинулись, на собственный страх и риск, двинулись и

совершаем что-то. Так вот, Блейк понимал, насколько данный нам облик или факт добродетели может быть на самом деле полон суетного тщеславия. Настолько полон суетного тщеславия, что можно предпочесть порок и страсть, потому что там хотя бы что-то откроется, что было закрыто для нас самодовольством, которое сопровождает добродетель и святость. И Блейк по отношению к этому подмеченному им суетному тщеславию добродетели и святости говорил так: «Я всегда находил, что у ангелов есть тщеславие говорить о самих себе так, как если бы они только были бы мудрыми; и делают они это с уверенным самодовольством, происходящим из систематического мышления». Последнее, казалось бы, – незаконное словосочетание, но для нас самое важное. Ведь то, что я описывал, почти что все относится к тому, что можно было бы назвать фанатизмом рассудочного знания и его способностью скрывать – и от себя и от других – реальность. Скажем, фанатизм знания предполагает, что я знаю, что вам хорошо, что плохо. И чтобы вложить страсть в это, и с этой страстью, например, переделывать и ломать ваши жизни, перестраивать их согласно тому образу, который есть в голове у меня, я, естественно, должен не сомневаться в этом образе. А не сомневаться в нем помогают мне мои человеческие связи, человеческие качества: страх, надежда, пустота, хаос представлений и т.д. Пруст в этой связи говорил так – и это замкнет ту тему, которую я много лекций тому назад развивал, но слов этих не приводил, – «Так же как нет никакого познания, кроме познания себя, так и нет никакой ревности, кроме ревности по отношению к самому себе». Вместо «ревности» можете поставить «сомнение». В действительности мы сомневаемся не в Альбертине или ревнуем не Альбертину, говорит Пруст, действительным объектом нашего сомнения или ревности являемся мы сами в доведенном до конца виде, или возможный человек в лоне и в теле того, который есть, а есть дрянь, и если не будем сомневаться, то она и будет. И завершает Пруст так: «Наблюдения мало что значат» – наблюдения, или, подставьте, описание – то, что я вижу. Скажем, денежные ассигнации, образ которых в голове Пруста, Сен-Лу, склоненный над телеграфной стойкой, дающий телеграмму, образ Альбертины в Гренобле – это все может быть взято как элементы описания или наблюдения, которые наполняют нашу голову. И о них говорит Пруст: «Наблюдения мало что значат. Лишь из наслаждения испытанного самим, можно извлечь знание и страдание». То есть – углубившись в испытанное тобой и только тобой, не растворяя его ни в каких же существующих образах этого испытания, – а эти образы даны в человеческих связях, которые наложены на это испытание, даны в привычке, даны в культуре и т.д., не останавливаясь ни перед каким образом, в том числе перед существующим образом добродетели, существующим образом святости, только идя в том, что испытано только тобой, ты можешь извлечь знание. Ведь именно сомнение выводит нас в область возможного человека, то есть в область пустоты, где нас еще нет. То есть – от того, какие мы уже есть, мы сомнением должны выходить в пространство или в точку, где нас еще нет и где мы только возможны, и неизвестно, в какой форме мы возможны. Но будем возможны, будем в той форме – зависит от труда и усилия, которые мы совершим в произведении, в сознании или в написании текста, – будет ли этот текст законом или будет ли этот текст романом. Это все – текст, в том числе и героический поступок является текстом, а не проявлением наших свойств.

Сейчас я немножко отклонюсь в сторону, чтобы пояснить вам образ героя и дальше двигаться в том материале, который я ввожу. В греческой героике, если брать вместе греческие мифы и греческую лирику и трагедию, можно отчетливо выделить две эпохи, отделенные переломом одна от другой. В одной эпохе вы имеете перед собой героя, героические качества которого являются как бы выражением и проявлением его физической необычности и уникальности.

Скажем, Геракл – проявление необычных физических качеств; боги наделены такими необычными естественными силами. А потом – резкое смещение – вы видите образ человеческой доблести. Греки говорили, что герой – это тот, кто способен быть гоплитом, тот, кто способен локоть к локтю сражаться вместе с другими. Они имели в виду, что героизмом является **становление самого себя** в качестве **гражданского** существа. И поэтому моральная доблесть – своим усилием держание вместе условий, которые без твоего усилия расплзались бы и распадались бы. Вот это заместило физически выраженные образы героического. И вот этот героизм человеку необходим там, где он идет к себе возможному, то есть к себе, не имеющему заданного облика. Облик наш дан в нормах и в правилах, которые существуют в культуре. Мы, например, добры в той мере, в какой то, что мы делаем и думаем, соответствует норме, данной в культуре. А культуры все разные, и нормы в них могут формулироваться различным образом. И то, что есть добро в одном обществе, в одной культуре, может быть злом и безнравственностью в другой культуре или в другом обществе. И пока мы культурны, мы ведем себя как уже существующие эмпирические люди, а возможный человек – это вертикальный срез: поперек и поперек всех культур и рождаемых ими различий. Поэтому греки и считали, что бытие – это становление другим. Не уже существующий какой-то предмет, а нечто, что становится **другим**. Становление другим, не предзаданное ни в каком законе, ни в какой норме, есть проявление силы бытия. А сила бытия требует героизма со стороны человека, пытающегося попасть в бытие. И героизма это требует по одной причине (среди многих причин), которая четко видна в прустовском романе. Ведь там ясно, что если мы желаем чего-то, то это желание «чего-то» рождается прежде всего в пустоте, которая называется возможным человеком, или, иначе, называется личностью, в отличие от индивида. Вы понимаете прекрасно, что личностное или нечто, имеющее **лик**, лицо, не есть калька с чего-нибудь другого, а есть нечто, являющееся **основанием самого себя**. Скажем, я поступаю – не потому, что таков закон, не потому, что есть какие-то описуемые эмпирические причины для моего поступка, а поступаю – потому что поступаю. Такого рода поступки и называются личностными поступками, – конечным основанием которых является сама эта личность, не сводимая к никакой другой и не заместимая никакой другой, так? Так вот, наши желания возникают там, через желания хочет стать некоторый возможный лик, некоторый возможный человек. Потому что никаким нашим желаниям никогда нет места в предзаданном, уготовленном мире. Ведь желать чего-то – значит желать чего-то другого. Мы желаем всегда другого. И эта **причина** желания важнее самого желания или предмета желания. Так же, как причина, почему я люблю что-то, важнее самого предмета любви. Скажем, человек может любить, потому что причиной любви является какое-то замыкание человека на чем-то доблестном и высоком, и, я бы сказал так – по пути стремления к этому, по пути реализации какой-то доблести я люблю кого-то. И, конечно, в этом смысле «причина» важнее самого предмета любви. Предмет любви случаен, мог быть другой, на котором совместилось бы это и т.д. И не предмет является причиной пафоса любви, избыточности любовного волнения, это ясно – оно избыточно именно потому, что предмет как бы находится на полдороге нашего движения (допустим, к доблести). Но дело состоит в том, что ведь в самом движении этого желания, потом (внимательно слушайте этот поворот), потом то, из-за чего я желаю, например, быть доблестным, люблю, невозможно во мне без и вне того, что желаю. Скажем, условно, причиной любви к Альбертине была всечеловеческая потребность Марселя в нежности или в лоне нежности, – и собственной, и окружающей его. Эта же причина действовала в его отношении к собственной матери: поцелуй матери – это как бы окутывающее меня

материнское лоно, в котором я блаженствую и пребываю в нежнейшем состоянии. Она кристаллизовалась, эта потребность, на Альбертине. И раз кристаллизовалась, то во мне нежность становится невозможной без Альбертины. Но предмет подчиняется эмпирическим законам жизни, судьбы, я уже не говорю, что он подчиняется своей собственной самобытности. И я не контролирую ни эмпирических законов движения жизни, ни самобытности Альбертины – это все ускользает из-под моей власти и тем самым устремляет меня в какую-то последовательность, в какой-то бег, совершенно не совпадающий с реализацией меня самого как личности в тех качествах, из-за которых я люблю. Повторяю, потом то, из-за чего я люблю, становится невозможным без того, что я люблю. И это оказывается цепями, наброшенными и на мир и на меня самого. И вот сомнение упирается как раз в это. В том числе сомнение должно выявить, только сомнение может выявить за предметом моей любви то, из-за чего я, собственно, люблю. Это и есть познание себя самого. И беда в том, что для познания себя самого или в этом познании себя самого мы подчиняемся страшному закону, требующему героизма и мужества **внутри** «потом», «потом уже невозможно», или «потом возможно только с тем, кого люблю», – с Альбертиной, или с Россией и т.д., если угодно, с родиной – любой предмет поставьте на это место.

Я приведу вам стихотворение Мандельштама, которое резюмирует многое из того, что я говорил:

Несозданных миров отмститель будь художник, –
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

Значит, «несозданных миров отмститель будь», в смысле – возьми их голос на себя и отомсти за них тем, что дашь им существование, то есть «несуществующим существованье дай» и «падающих звезд пойми летучий рай». Падающие звезды, вы, конечно, знаете, – это символ человеческой души. Когда падает звезда, мы говорим: отлетела чья-то душа. Но то, что он жил и умер, это не значит, что он существовал в том смысле, в каком мы говорим. У падающих звезд тоже есть какой-то несвершенный смысл, содержание, у них тоже был свой рай, с которым они не воссоединились. Я уже вам рассказывал о том, что проблема существования есть проблема воссоединения человека с некоторой его первородиной, иначе называемой раем, золотым веком или, как у Пруста, «неизвестной родиной художника». И поэтому здесь не случайны слова «рай», «падающих звезд пойми летучий рай». Почему «рай»? Да потому, что эти души в своей попытке существования были совмещены с искомой первичной родиной, в которой они родились и о которой они должны вспомнить. Все, что я сейчас говорю, и стихотворение Мандельштама, есть напоминание об образе (он и у нас фигурировал, и у Пруста все время фигурирует) самого письма, «писания». То есть «писание» оказывается у нас некоторым непрерывным письмом. В каком смысле слова? Я еще один шаг сделаю – непрерывное письмо есть как бы некоторое непрерывное преобразование, лишь относительно которого во всем остальном устанавливаются какие-то человеческие смыслы, восприятия, все эффекты понимания: «А, понял, наконец». Так вот, то, что я понял, – «понял» ведь есть какая-то, назовем так, константа, существующая независимо от нас, – этот инвариант устанавливается по отношению к тому, достигнута ли какая-то непрерывность, называемая «непрерывным писанием». Дело в том, что здесь содержится парадокс. Я говорю: непрерывное письмо – одним из признаков непрерывности письма является неоконченность романа Пруста, так же как неоконченность романа Музиля «Человек без свойств», так же как неоконченность «Поминок по Финнегану», – или произвольная оконченность.

Роман Пруста в его последних частях выходил, когда Пруст уже умер, и можно считать, и, кстати, это будет неправильно, но можно считать, что неоконченность романа была вызвана смертью, преждевременной смертью писателя. Но жил Музиль, и сам заканчивал роман: он произвольно выбрал какой-то кусок и вставил в виде конца романа, а мог бы выбрать любой другой. Так вот, в факте неоконченности романа мы видели очень древнюю, уже в мифологии отмеченную вещь, реализующую древний символ змеи как символ сознательной жизни или бесконечности сознательной жизни. Или безначальности сознательной жизни. Он (символ) означает, что момент завершения есть одновременно момент заново возникновения. Возникновение – стать полностью самим, – казалось бы, конец, а он и есть начало, так? И, собственно, поэтому в конце романа получил бытие или стал субъект, способный написать роман, а роман уже написан. И как нет причины начинать роман, а роман уже написан. И как нет причины начинать роман, так нет причины его кончать. Это есть непрерывное письмо, – когда нет причин ни начинать, ни кончать, а есть нечто, – и это вы должны четко представить, потому что это имеет отношение к тому пространству мира, которым мы занимаемся, – есть некоторый **интервал**. То есть термины «начало» и «конец» здесь просто не имеют смысла. Так же как они не имеют смысла в тех примерах, которые я приводил: мы не можем начать мыслить, нельзя начать историю, она или есть, или нет. Если она есть, мы уже в ней, мы ее не начинаем. Если вы помните, я приводил цитату из Чаадаева, где о России говорилось как о некоей неисторической стране, в очень строгом и определенном смысле слова. Таинственные вещи, которые можно уловить только спекулятивно, то есть отвлеченно, – нельзя начать историю. Ведь где-то начиналась, кто-то ведь ее начинал. Вот и приходится философии и искусству снимать эти вопросы – «кто начинал?» – как не имеющие смысла. Они имеют обыденный смысл, потому что мы не можем вообще представить чего-либо, что не начиналось бы кем-то, когда-то, в какой-то точке. А вот, к сожалению, мыслить приходится так, и тогда мы начинаем что-то понимать. (Я чувствую по вашим лицам, что все это не очень понятно, хотя я приводил много примеров, в которых ясно было существование безначальных и бесконечных феноменов, без начала и без конца, которые мы должны брать как некий интервал. Например, я неоднократно показывал вам, что нельзя «начать честь». Честь означает, что были какие-то первоакты, в которых одновременно создавалась реальность, в которой действительно, реально происходили события, которые могут быть описаны в терминах чести.)

Скажем, мы знаем, что у человека, в натуральном смысле, есть определенные психологические или психические состояния предметно, в смысле предметного их наличия, называемые совестью, честью, личностью и т.д. Но я все время говорил (на материале Пруста) о том, что сознание есть то, что составляет разницу от наименования и от предметного референта. Наименования и предметные референты могут быть одни и те же и – чего-то нет, и тогда нет ничего. И вот это «что-то», что составляет внутреннюю разницу есть сознание. А сознание есть феномен человеческой развитости – нечто предполагающее органы, предполагающее какую-то материальность, тело предполагающее. И вот, скажем, если у нас нет тела чести, а есть слово «честь», как раз тогда мы имеем дело с отсутствием чести и наблюдаем, что есть слово «честь». То есть человек психологически владеет определенными словами: совесть, честь и т.д. Но дело в том, что эти слова не есть элементы описания. Есть некоторые поступки российского человека, которые вообще в психологических терминах не могут быть описаны просто-напросто, – потому что там психология не является слагающим элементом ситуации. Например, миролюбивость есть человеческое качество, да? Скажем, человек борется за

мир. Но осмыслен ли следующий вопрос: хотят ли граждане нашей страны мира, миролюбивы они или нет? Вот если вы сможете ответить мне на этот вопрос, тогда, значит, усвоен тот взгляд, о котором я говорил. Вот другие люди ломают голову насчет того: агрессивен, воинственен ли российский человек или он миролюбив? Я могу утверждать, что ни то ни другое не имело смысла, хотя, безусловно, взятые отдельно, все мы не злее и не добрее других людей, и в предметном психологическом смысле у нас как бы есть все психологические состояния, обозначенные терминами «совесть», «миролюбие». Но в каком реальном смысле можно говорить о человеке, который ведет себя как марионетка, дергаемая за нитки, и говорит слова о мире, потому что его дергают за нитки? В каком смысле его состояния, слова, при этом он может сам растрогаться, даже сам себе поверить, что он миролюбив, а в каком смысле это есть психология как структурный элемент действия и поведения? Завтра он будет вести себя совсем иначе, если дернуть за другую нитку. У нас ведь как назначают быть миролюбивыми, так и могут, как и всякое назначение, отменить назначение. Назначается, оно же и отменяется. К чему я это говорю? И, очевидно, говорю бессмысленно, потому что в голове у нас остается только анекдотическая сторона говоримого мной, а способ, взгляд не остается. Но, понимаете, у меня нет другого выхода: всякое общение философа с людьми и с самим собой есть сообщение определенного способа мысли, а способ мысли нельзя сообщить эзоповым языком. Почему? По одной простой причине: по определению эзопов язык есть тайна или остается тайной его изобретателя. Скажем, эзопов язык есть тайна или секрет мастерства Эзопа. А делиться способом мысли – значит делиться тем, что не может быть тайной. И, следовательно, эзопов язык здесь невозможен, можно брать только наглядные, всем известные примеры и говорить о них прямо, так, как они есть. Эзопов язык здесь невозможен, потому что, если бы я пользовался иносказаниями, которые вы пытались бы угадать, я, секрет того, как это можно увидеть, оставлял бы при себе. (Я уже однажды предупреждал, чтобы вы не думали, что я кому-то хочу дерзить, кому-нибудь бросать вызов и т.д., и т.д., просто моя профессия обязывает меня говорить таким образом, потому что другого пути нет.) Так вот, нужно понять, что существуют безначальные и бесконечные явления (наше обыденное представление не мирится с этим) – например, я не могу «начать честь», если сзади меня ее нет и если я уже в нее не включен. И, то, что я совершу и буду называть честью, это будут просто слова, обозначающие в этих терминах неопишуемые состояния, киселеподобные состояния души. Неопишуемые психологические состояния – когда мы загнали себя в ситуацию определенного рода, когда мы не имеем дела с поведением, линия которого построена потому, что человек, например, добр, а имеем дело с тем, что другого выхода просто нет. Например, вы скажете, российский человек жесток. А я скажу: бессмысленно приложение этих терминов. Не в том смысле, что я отрицаю, что кто-нибудь может быть жестоким или добрым... да нет, просто посредством этих терминов мы не можем построить понимание происходящего. Во второй мировой войне российский народ загнал себя в ситуацию, из которой был только один выход: победить немцев. Можно это описать как особое мужество, как стойкость – все это пустые слова, это не есть описание. Не это происходило. Ведь знаете, есть у старых охотников давнее правило, что дикому зверю, когда охотишься на него, нельзя не оставлять никакого выхода или иллюзии выхода, – тогда его можно победить. А если у него ни выхода нет, ни иллюзий нет, то зверь бросается на охотника, и это не всегда кончается победой охотника. Ведь когда страна была поставлена на грань национального истребления, то там просто выбора не было другого. Как описывать это? Как видеть это? Как жить без мусора в голове, которыми наши головы напичканы? Поэтому, когда я предлагаю вам некоторые правила мысли,

а они содержат какие-нибудь необычные термины, не надо вздрагивать, этого сразу понять нельзя...

Так вот, я вернусь к терминам, – предлагаю вам мыслить в терминах некоего состояния, которое я называю интервальным состоянием, или – зазор между мирами, под которыми что-то подвешено как интервал, к которому неприменимы термины «начало» и «конец» (скажем, к роману Пруста неприменимы эти термины). Да, теперь я хочу сказать следующую вещь: непрерывное письмо парадоксально также и в том смысле, что оно вообще ставит под сомнение, как ни странно, акт письма. Как бы есть вынесение вотума недоверия той форме завершения наших трудов, какой является нечто написанное. Поэтому, как ни парадоксально, и приходится все время писать – потому что нечто написанное не вызывает доверия. Почему не вызывает доверия? Все написанное состоит из неподвижных характеров, из неподвижных форм. И потом возникает неподвижная форма существования мира, как бы законченность каких-то статуй. А Пруста интересуют смыслы, которые становятся посредством письма, и поэтому письмо здесь никогда не может быть окончательным, оно должно лишиться неподвижности. Приведу один историко-философский эпизод. (Кстати, очень странная вещь, парадокс: Аристотель доверял письму, а Платон не любил писать, – и вот от Платона остались только написанные диалоги, а устное его учение исчезло, не сохранилось, а от Аристотеля не осталось ничего написанного, а остались одни записи его лекций, устных поучений.) Есть несколько писем Платона, некоторые из них спорны по авторству, но сейчас считается доказанным, что как минимум семь писем, действительно, принадлежат Платону, – так вот, в седьмом письме он развивает тему, что мысль (то, что я назвал *cosa mentale*, «умственная вещь») не создана для того, чтобы быть записанной в произведении, под которым стоит авторская подпись, потому что мысль есть нечто такое, во что мы можем впасть только во время говорения и, в частном случае, во время диалога. То есть то, что во время говорения происходит, – **внутри** этого индуцируется мысль.

ЛЕКЦИЯ 30. 06. 04. 1985

Тема всего завершающего цикла лекций по Прусту высказана Уильямом Блейком; вслушайтесь, простая мысль – человеческий пафос и одновременно мысль, касающаяся устройства мира.

Скажи, кем зиждется забытая до срока мысль?
И где живет былая радость и минувшая любовь?
Когда они вернуться к нам, и сгинет мрак забвенья,
И я смогу перенести сквозь время и пространство
И облегчить сегодняшнюю боль, и мрак, и горе.

Это стихотворение дает нам поэтическую ясность всех тех вещей, которые мы пытались выяснить другими средствами. Действительно, все, что Пруст называет «утраченным временем», «воспоминанием», «любовью», «ревностью к самому себе» и т.д., – все это есть попытка ответить на вопрос: каким образом я просыпаюсь в качестве «я»? Переверните: где я был, до того как проснулся? Где пребывает тот, который, несомненно, просыпается в качестве самого себя? Мы-то живем и считаем, что раз мы проснулись, это есть мы. А если подумать, это не само собой разумеется. А где был тот, который спал, но проснулся в качестве самого себя? или шире: где пребывает забытая до срока мысль? Действительно, мысль высказана где-то в пространстве – мы ведь пространственно смотрим на мысль, раздался звук мысли, она может быть понята сейчас же, а может быть понята через 100 лет или через месяц, – где она была в это время? Вы знаете, что история происходила квазициклически, и то, чем были греки, мы узнали в эпоху Возрождения (это и было возрождением античности). Но возникает простой вопрос: греки что-то натворили, наговорили

и надумали, потом мы это узнали, – а где это было, пока мы узнали? Ведь если была бы такая непрерывность, в которой контакт нагляден, не возникла бы проблема: где была мысль, так, чтобы вспомнилась именно такой, какой она была. Мы вспомнили Платона, вспомнили Аристотеля, Декарт в XVII веке вспомнил античную математику – где она была? Все наши проблемы, которые я анализирую в связи с Прустом, все время излагались мною так, что везде имплицировано предположение существования некоторого поля-континуума, в котором – а не в наших головах – существуют какие-то вещи. Где пребывает былая радость и минувшая любовь? И самое главное, что основной пафос Пруста – «где живет былая радость и минувшая любовь» или «забытая до срока мысль», – не есть вопрос простой любознательности, отвлеченной любознательности, а есть вопрос жизни и смерти. Посредством возвращения чего-то – мы не знаем, где оно пребывает, решается что-то в сегодняшнем дне. Скажу иначе: возвращение тех вещей, о которых мы не знаем и должны спрашивать, где они пребывают, во-первых, оживляет что-то вокруг нас, меняет самого человека и, во-вторых, делает живым многое из того, что вокруг него уже мертво, стало стереотипом, стандартом, имитацией, «пленением образов» и т.д. То есть задача памяти, оказывается, состоит в оживлении прошлого, что и есть условие сегодняшней жизни. Ведь не случайно сказано: «и облегчить сегодняшнюю боль, и мрак, и горе». Представьте себе, что ваш дед в какой-то момент произнес слово, которое можно назвать полусловом, – какая-то полуформа, обращенная к вам. И здесь происходят два события: если вы поймете или разгадаете, она оживет, а если она оживет, что-то оживет в вас. И мы живем, очевидно, не только в тысячеглазом мире, а в миллионноглазом мире таких полувзглядов, которые мы должны довести до полного взгляда, – наших друзей, отцов, дедов, любимых, и нелюбимых тоже, они же есть участники меня самого – того, кто может нести «сегодняшнюю боль, и мрак, и горе», то есть они могут, оживая, рассеивать мрак. Но вопрос: где они тем временем? И еще один момент – здесь мимоходом сказано: «и я смогу перенестись сквозь время и пространство», – сказано, быть может, для красоты самого образа, но при этом какой-то бывший полуобраз становится полным образом. Скажем, какое-то душевное побуждение моей матери, если держу живым и себя, и ее, перенеслось через пространство и время. Но не только это; пространство и время – еще и потому, что нечто движется по каким-то путям и воссоздается в живых **поверх** и **помимо** Числа – пространства и времени. Я связываю это с проблемой бесконечности. Помните, я говорил, что человеческие существа – это существа, больные бесконечностью, и, как говорил Пруст, нет жала более острого, чем жало бесконечности. Жало – потому что основная душевная, нравственная проблема человека, состоящая в том, чтобы собрать себя из собственных же частиц, разбросанных в разных местах пространства и времени, есть высвобождение себя из пропасти Числа и бесконечности. И вот – жалоба Бодлера: «Ah! ne jamais sortir des Nombres et des Etres!» – «О, никогда не выходить из Бесконечности и Числа!» Число – это множество безликих, неиндивидуализированных единиц. Я уже показывал вам бег в бесконечности, где мы, преследуя образы, которыми набита наша голова, имеем вместо Альбертины бесконечность обезличенных, то есть лишенных Альбертины, образов. Ведь Альбертина, за которую платишь деньги, – Альбертина, обезличенная; Альбертина, ради которой Сен-Лу дает телеграмму, есть просто экземпляр – Альбертина, а не Альбертина-личность. Или – проблема несделанного, когда это несделанное бесконечно повторяется, как непрожеванный кусок. То, что я сейчас говорю вам, в действительности есть структура – не материальное изображение, а **структура** того, что мы называем Адом: миллионы смертей вместо одной, все незавершенное, все, что делаешь и

делаешь, и делаешь, заново и заново, нет конца. Значит, облегчение «сегодняшней боли» в какой-то связи с тем, что называется былым и минувшим и что где-то пребывает, развеяние мрака связано у нас с каким-то отношением к бесконечности и к Числу – множественности идентичного, похожего, то есть неживого. А все живое – индивидуально.

И вот мы пришли к проблеме, которая разными углами у нас: фигурировала, мы не впервые с ней сталкиваемся, и пришли к ней из очень странной вещи. Начнем с того, что обычно мы отделяем жизнь и чтение книг. Есть акт чтения книги, а есть акты жизни. Но в разных пунктах нашего анализа все время получается так, что многие жизненные акты оказывались для нас похожими на то, что происходит в акте чтения. Мы даже некоторые события приравнивали к встрече с книгой. На прошлой лекции мы приравнивали отношение «человек и действие» или «человек и продукт человеческого действия» к отношению «книга и критик». И оказалось, что акт чтения книги похож на акты жизни в том простом смысле слова, что авторы жизненных поступков тоже не есть те эмпирические люди, которых мы видим, – автором поступка является некое лицо, **создающееся** в самом пространстве этого поступка. Поэтому мы никогда не можем судить о поступке, сопоставляя его с видимым нам человеком. Таким же образом, оказывается, мы относимся к книгам. Читая книгу, мы тоже должны пройти путь и стать в ту точку, в которой рождается автор книги. Бальзак – автор мира Бальзака, это не есть тот Бальзак, который ужасно огорчился, если ему ночью снился эротический сон, и с ним случалась поллюция, и он в досаде говорил: «Ах, пропал еще один шедевр!» – он считал, что эффекты, ослабляющие половой акт, тянутся обычно две недели и забирают всю духовную энергию, а за две недели можно написать шедевр (а он, действительно, за две недели писал книгу). Так что он досадовал: такая незадача случилась, воздерживался, воздерживался от общения с женщиной и вот тебе – приснился сон, и пропал шедевр. Так вот, с кем мы имеем дело, кто автор – этот Бальзак, или тот человек, который из возможного человека вырастает в пространстве творчества Бальзака? Конечно – второй. И пометим одним шагом, что соединиться, то есть понять, дополниться силой и талантом, чувством и опытом другого человека, мы можем с тем, который сам создается в своем собственном труде и усилении. Следовательно, я не могу претендовать на то, чтобы вас понять. Если в вас есть что-то уникальное, то, которое мне нужно, я могу к нему прийти и им обогатиться только в пространстве вашего собственного роста – в пространстве, в котором вы сами не знаете, кто вы. А эмпирического человека я и не должен понимать и в принципе не могу понять. Поэтому можно сказать, что одним из самых больших, так сказать, преступлений против бытия является наша мания и желание обязательно понимать других людей. Людей нельзя понимать (знаменитая проблема существует – понимание другого человека), с ними можно только соединяться и сотрудничать в пространстве, в котором еще нет ни меня, понимающего, ни его, который должен быть понят, и что-то там будет происходить, к чему приложим термин «понимание». И еще – существенную роль здесь играют не сами вещи, не сами предметы, не сами события, а образы событий, в том числе образы других людей, и соединяемся мы через образы.

Так вот, вернусь к тому, с чего я начал – тема впечатления. Тема, которая сделала одинаковыми, казалось бы, совершенно разные акты – акты жизни и акт чтения книги. Впечатление – которое Пруст называет «вечным впечатлением» и в котором мы спрашивали: где пребывает забытая до срока мысль? «где живет былая радость и минувшая любовь?», и откуда их надо себе вернуть. Что такое впечатление, я уже многократно вам объяснял, но снова вернусь, может быть, несколько с иной стороны. Впечатлением называется такое восприятие, в котором я задаюсь вопросом: как мне определиться

самому, где я стою, что со мной происходит на самом деле, что на самом деле я чувствую? Есть такие восприятия, которые самодостаточны, или – акт восприятия разрешает сам себя. А есть такая категория восприятий, которые, кроме своего содержания, содержат в себе вопрос о нас самих – воспринимающих. Где мы находимся в качестве воспринимающих, что с нами происходит, какое место я занимаю, что на самом деле испытываю? О чем свидетельствует мое переживание или восприятие, переведем так. Скажем, я могу разозлиться на человека, и злоба в этом смысле сама себя исчерпывает – факт злобы содержит в себе ответ о причине злобы. А я могу иное впечатление иметь от злобы, а именно: о чем **свидетельствует** то, что я злюсь? Опять, повинувшись своей мании расширять круг ассоциаций, – в восточной философии, особенно в буддистской философии, было очень странное, абсолютно непонятное определение, даже не определение, просто номинация сознания: они называли сознание **свидетелем**. То есть я сознаю не злобу и предмет, вызвавший злобу, а сознание у меня есть тогда, когда есть вопрос: о чем свидетельствует мое состояние? И вот если мы четко примем такую категорию восприятий, то мы многое поймем из самих себя разрешающих впечатлений (в данном случае из текста Пруста). Но повторяю: о чем свидетельствует – связано с вопросом (частично он фигурирует и в цитате из Блейка) таким, что то, что происходит и что мы воспринимаем сейчас, в каком-то смысле (а этим смыслом будет прежде всего интересоваться философ или метафизик – Пруст) происходит не сейчас и не здесь.

Напомню вам одно определение: человеческая ситуация состоит в том, что мы имеем дело с миром и задачей действия по отношению к нему – тогда, когда «всегда уже поздно». И в этой связи я приводил вам пример текста определенных размышлений, которые как раз сделаны на полдороге между философией и литературой. Я имею в виду псевдоисторические размышления Толстого в «Войне и мире», когда он применяет понимание, интуицию того, что я сейчас говорю, к рассуждению о том, какова военная стратегия и как принимаются военные решения. Есть какое-то сплетение предшествующих наших действий, которое меняет сами элементы, из которых состоит наше решение, которое мы должны принимать сейчас. Мы своими собственными действиями сместили элементы решения таким образом, что сейчас, когда у нас есть ясность, что нужно предпринимать то-то и то-то, – «всегда уже поздно». Мы никогда не находимся в следующей ситуации: перед нами река, а мы на берегу, и нам нужно броситься в воду – выбор: броситься – не броситься. В действительности мы всегда – уже в реке, и поэтому не можем войти в нее дважды, как говорил Гераклит. Не в том смысле, что «все меняется» (ну, все меняется, естественно, каждую следующую секунду вещь непохожа на ту, какой она была в предшествующую секунду), – существует (введенный Гераклитом) принцип **необратимости** (в том смысле, в каком я сейчас говорю). Значит, теперь мы знаем, что для понимания темы социальных соединений очень важно осознать, что всегда подтекстом прустовского рассуждения является глубокая интуиция, состоящая в том, что бывают, и часто решающими, в человеческой жизни ситуации, которые можно обозначить словами «всегда уже поздно». Следовательно, то, что происходит сейчас, в каком-то смысле происходит не сейчас и не здесь, потому что части моего существа, включенные в то, что происходит сейчас и здесь, продействовали определенным образом в других местах и раньше, и поэтому то, что кажется происходящим сейчас и здесь, произошло или происходит где-то там. И я бы сказал, что внутренний стержень прустовских эмоций состоит в оживлении и воскрешении всех участников того действия, которое он сейчас предпринимает, но которое в действительности происходит не сейчас и не здесь. И чтобы оно произошло сейчас, нужно возродить к жизни всех невидимых участников этого

действия, а участник – не ты один, есть невидимые авторы твоей жизни. И наоборот – если мы с кем-нибудь соединяемся, мы соединяемся не с людьми, как они есть, статично, а с невидимыми авторами нашей жизни, – с ними мы можем вступить в контакт понимания, действительная судьба нашей любви будет разыгрываться там, а не между эмпирически видимыми людьми (как они себя понимают). Ведь мы не можем понять автора и тем самым невидимого героя нашей собственной жизни, опросив человека по имени Бальзак; он сам о себе знает всякую чушь, как эмпирическое лицо, и поэтому то, что он знает о себе, нам не поможет. В том числе и ваш возлюбленный вам не поможет в том, что он знает сам о себе. И беда в том, что эта игра обоюдна. Обратите внимание, что мы имеем дело с ситуационными впечатлениями (*situs* – место), и тем самым наш психологический анализ будет топологией в смысле анализа мест. Вспомните, что неосуществленное, как непрочитанная Веда, не принесет тебе пользы в другом мире. Лень, страх и надежда помешали тебе заглянуть в самого себя, – не жалуясь на других, не жалуясь на мир, не ища ни источников, вне себя, несчастья и зла, ни награждающей инстанции, – помешали перевоссоздать себя, то есть кончить историю. Сказано ведь в Евангелии: пришел час и это – сейчас. То есть каждый час, каждая минута есть минута конца истории, и закон, что «всегда уже поздно», означает, что всегда есть что-то, что нужно кончать, а не тащить за собой неосуществленным и неоконченным. Так вот, Сван тащит за собой неосуществленное и незаконченное, в том числе смысл своей собственной ревности: он же боится его расшифровать, страх мешает ему. Преодолеть страх – значит расстаться с образом самого себя, таким дорогим самому себе. А человеку очень трудно это делать. И мы знаем, по Прусту, что выправить кривую впечатлений, вернув ее к почувствованной истине, а впечатление всегда содержит в себе что-то почувствованное от реальности, от истины, – можно, только уничтожив все то, что более всего нам дорого, за что мы больше всего держимся, – самого себя. Поэтому роман Пруста можно определить как движение до уничтожения последней иллюзии (вера в любовь, в красоту, в добро и т.д. – не это имеется в виду, – иллюзии самого себя, то есть образы).

Я все никак с несчастным Сваном не могу справиться, – так вот, для него Одетт выступает по законам психических ассоциаций плюс какие-то знания нашего дилетанта. Сван размножил образ (а я начал сегодня с бесконечности), непонятый образ Одетт размножил в своих психических ассоциациях, в том числе в образах живописи. И вещи оказались в плену – не понята ни Одетт, ни живопись. Живопись здесь просто использована как элемент любовной, саморастроганной и самолюбующейся, самодовольной ассоциации, – исчезла и Одетт, и живопись. Я сказал, что это обоюдное дело; теперь повернем – живопись не может ничего сказать, а Одетт-то может сказать, каково ей быть заключенной в образе Одетт у Свана. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, в какое количество тюрем наших образов в других головах мы заключены. «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами» – Одетт находится как раз в этой ситуации. Она не может ничего сказать, потому что она уже есть в образе у Свана, – попробуй из этого образа выскочить... и что бы она ни сказала, все будет похоже на то, от чего как раз она хотела бы себя отличить. Она должна молчать, если есть истина. Истина – уникальное неведомое, несводимое и никем другим не воспроизводимое место и отличие. То, что немцы возвышенно называют *ontologische Differenz*, онтологическая разница или онтологическое различие, то есть не путем сравнения получаемое различие, а **выделяющее отличие** вещью самой себя от других. Скажем, есть что-то, что чувствуете только вы, никто никогда этого не почувствует, и если захочет, он должен у вас это взять, – если сможет, конечно, У Блейка есть такое рассуждение:

Разве мыши и лягушки
Не обладают зрением и слухом? Отчего же
Их нравы обиталища и радости различны?

Обратите внимание на мысль, чтобы она не проскочила в силу своей абсолютной простоты, скрывающей глубину: одни и те же органы чувств – глаза, нюх и т.д., – но видят они нечто, что видит только каждый. Хочу напомнить вам следующее: для такого рода состояний – еще до того как мы высказали что-то, уже существует «понятый» образ того, что мы хотели сказать: Одетт судорожно бьется в клетке своего образа в голове Свана, – для таких узловых ситуаций нашего сознания и бытия всегда есть какие-то крупные символы, читая которые мы понимаем, во-первых, сам факт наличия таких ситуаций, во-вторых, их природу. Например, как ни странно, распятие Христа есть символ, читаемый и в этом смысле слова (я отвлекаюсь сейчас от других смыслов). Конечно же, образ Христа содержит в себе иронию по отношению к людям. И эта ирония состоит в том, что, кроме всего прочего, Христос ведь распят и на образе самого себя. Люди распяли его на образе Христа. Ведь чего от него ожидали церковники? – чудес ожидали... И вот – мука – человек распят на образе самого себя. Такие мученики есть и у Пруста: Альбертина распята и пленена в темнице образа, который имеет в своем воображении Марсель. И это происходит, пока он преследует образ, а не заглядывает в себя. Такова Одетт. И беда в том, что таков и весь окружающий нас мир, который мы тоже содержим в темнице своего образа, и он пикнуть не смеет перед этим образом. Как выскочить из того образа, который другие создали о тебе? И почему эта ситуация является столь существенной человеческой ситуацией?

Я уже приводил афоризм Пруста: «Car aucun etre ne veut livrer son â me». «Никто не может отдать свою душу». Никто не выдает на обозрение свою душу (пометьте себе в связи с проблемой понимания другого человека). Почему? Потому что у вас есть какие-то тайны? Скажем, тайные события, тайные любовницы, незаконные дети и тысячи других бытовых тайн, которые могут быть у каждого человека и которые, конечно, мы не хотим сообщать другим? Да нет, не это имеется в виду. Мы не можем «отдать свою душу», потому что мы сами ее до конца не знаем. То, что называется душой, мы имеем в момент – уникальный момент ее договаривания, доведения, мы еще сами что-то должны сделать, сами еще не зная, и, конечно, это мы никому не отдадим, и об этом мы молчим. Но дай Бог, чтобы было о чем молчать. Очень часто, к сожалению, мы молчим не потому, что есть о чем молчать, а просто потому, что ничего нет. Так что теперь вы понимаете, что когда фигура молчания появляется в философии (особенно в восточной философии), то, конечно, имеется в виду частично то, о чем я сейчас говорил, а не то, что мы понимаем под «молчанием» в обычном бытовом смысле слова.

Кстати, упомянув восточную философию, я хотел бы предупредить вас об одной вещи. Вы мне не поверите, наверное, и со мной не согласитесь, в том числе потому, что и у меня есть образы, в которых мир пленен и не может никак пошевелиться самостоятельно, и у вас уже есть образы, в которых мир пленен и никак не может из них выскочить... У вас, конечно, есть устойчивое представление о том, что есть западная философия и есть восточная философия и т.д. По моему глубокому убеждению, не существует ни западной философии, ни восточной философии, существует одна философия. Если она случается, она случается примерно в одном и том же составе мыслей; просто случайно, где-то, кто-то зовется Буддой, а кто-то зовется Сократом; действительные философские мысли не подчиняются различиям или водоразделам между культурами, потому что философия в принципе – аккультурное явление. Вот и поэтому все, что вы хотите вычитать из восточной

философии, пожалуйста, если вам нравится, вычитывайте оттуда, каждый находит свои истоки, но просто я хочу сказать, что это же можно вычитать и из любого европейского творческого образца, скажем, из Пруста, из Декарта, из кого угодно. Уверяю вас, что если вы действительно пошли по какому-то впечатлению, если вы пойдете до конца, то вы откопаете все то же, что лежит кладезем мудрости на Востоке; разница путей здесь не имеет значения, важен – характер вашего движения. И это соответствует, кстати, и тем законам, которые мы уже вывели из Пруста. Мы ведь знаем, что безразлично – с чего начинать, начало не имеет значения. Можно начать с рекламы туалетного мыла, а можно начать с «Мыслей» Паскаля. Можно начать с Запада, а можно начать с Востока, потому что, как говорит Пруст, имеет значение не материя, а степень и характер трансформации, преобразования, которое мы совершаем. По этому же закону в точке реальных событий равны принц и нищий. Скажем, нищая Альбертина абсолютно равна своему любовнику Марселю, который в своем распоряжении имеет все чудеса техники. Но, замечает Пруст, все это сводилось к нулю перед непоколебимой волей Альбертины – любит она или не любит, и все. И никто не может избавить от необходимости **самому** любить, ненавидеть. И здесь мы как раз и видим ту обратную сторону, на которую я намекал.

Значит, движение человека, который сам в себе что-то открывает, есть одна сторона, другой стороной является движение того, в ком ты себя открываешь, – шанс Марселя открыть себя в любви (сначала эгоистической) и открыть тем самым мир есть одновременно и шанс Альбертины. Они взаимно складываются внутри этого мира в зависимости от того, кто что предпринял, как предпринял, использовал ли шанс или не использовал, и как понял контрманевр другого, и как подал собственный маневр или собственное движение. Попробуйте посмотреть на прустовский роман глазами не Марселя, а глазами Альбертины. Ведь, в общем, славная девушка. Лесбиянка, но... ничего страшного. Кто сказал, где установлено, что это плохо или хорошо? Это же культурная условность, культурная норма. Мы можем ее принимать и следовать ей... хотя бы потому, что неследование ей имеет какие-то другие, более серьезные последствия, и поэтому лучше в пустяке следовать, чтобы суметь делать важное. Но, допустим, для меня это пустяк, а для другого это может быть вовсе не пустяком. Ну что вы узнаете о Сафо, если узнаете о том, что она любила и женщин? Что – вы тем самым решили, определили, какой она поэт, или что вам от нее можно узнать? Нет, конечно, это все ни о чем не говорит, это случайность. Более того, здесь же действует простой закон. То, что делает Марсель, есть шанс Альбертины. Она тоже должна стать в пространстве каких-то деяний, какого-то текста. И Марсель не имеет права действовать на этом пути становления: предопределять их, диктовать их, и, более того, сам он может обогатиться уникальным чувством или опытом Альбертины – только соединившись с возможной Альбертиной, а не владея Альбертиной-вещью. Ты владеешь, – но в действительности ты владеешь образом, а не человеком. Более того, ты еще сам погибнешь из-за того, что владеешь. По тому закону, который я вам приводил: именно страсть к предмету влечет за собой смерть владельца этого предмета. Я мимоходом упоминал о существовании некоего мистического закона неделимой суммы. Эта же арифметика относится и к любовным чувствам. У Фурье есть очень странные заметки, носящие редкий для него автобиографический характер. Как все социалисты, он был чокнут на писании трактатов, и всякая мысль для него вырастала в систему, которую нужно было бы развить, построить и т.д.; он ее строил, естественно, и все это максимально отрешенно от себя: описываемые ситуации, утверждаемые мысли относительно природы общества и людей являются как бы просто развитием идей и их изложением и непохожи на события личной жизни автора. Но кое-где

есть у него признания, похожие на реально испытанные им вещи. И он осмеливается в одном месте, – а это нужно осмелиться (сейчас вы поймете почему), сказать то, что он сказал, причем записал, это существует в виде текста; и кстати, тексты такого рода и были причиной, почему его манускрипт «Новый любовный мир» пролежал в рукописи более ста лет. К тому же социалисты и коммунисты – люди очень добродетельные, и всякие любовные шалости у своих мэтров они даже мысленно не могут допустить, а тут еще вождь записал все это на бумаге... А Фурье проделывал путь в самого себя, нырял, и вот, ныряя, как-то сказал, что обнаружил странным образом в себе, как он выражается (напомню вам, *omniverti* у Фурье – всеизвращение, а у Анри Мишо: *infiniverti* – бесконечно повернутый, или бесконечно извращенный; извращенный на бесконечность), – так вот, Фурье обнаружил в тебе манию лесбиянофилии (то есть – покровительства и сочувствия лесбиянкам). Вы знаете прекрасно, что женщины очень часто любят педерастов – не в том смысле, что с ними крутят любовь, а относятся с симпатией, понимают их и дружат с ними, есть на то, очевидно, причины, и покровительствуют им. И наоборот, есть в мужчинах склонность к лесбиянкам, склонность в смысле покровительства, понимания... Далее, Фурье обнаруживает в себе, что он, оказывается, может испытать любовное счастье, наблюдая, как на его глазах его возлюбленная *faire l'amor* с другим человеком (любовь втроем). Прочитать такое у Фурье – прекрасное зрелище движения человека к пределу того, что человечески возможно. И, конечно, там действует та же самая арифметика, пример которой я вам приводил, – что мы обогащаемся отношениями человека, которого мы любим, с другими людьми, в том числе и в совершаемых с другими любовных актах. Я говорю это не только потому, что есть в этом теоретическая необходимость, ибо мы должны орудиями и словами теории, то есть философии, понимать жизнь и самих себя, но еще и ради того, чтобы высказать какие-то вещи, действительно людьми пережитые (такими, как Фурье, и другими тоже). И у Пруста, как фон, каемкой, что ли, на полях романа есть всегда как что-то предельное, к чему движется внутри душа, утопия некоторого мира, в котором мы не заключаем других людей в тюрьмы наших образов, – мир, в котором мы способны вступать с людьми в отношения взаимного обогащения автономными и не в нашу сторону направленными движениями этих людей. В таком случае наш герой должен был бы сказать так: чем больше других женщин и мужчин любит Альбертина, тем богаче моя любовь к Альбертине. Спрашивается, возможно это или невозможно? Некоторые люди отвечают: возможно, и я в том числе. При этом, конечно, мы строим то, что традиционно называется утопией. Но я не виноват, потому что в принципе, если я философ, я могу философствовать только в утопосе. (Я ведь сказал, что мы имеем дело с ситуными впечатлениями, ситуными состояниями, которые поддаются анализу места, да? *situs* – латинское слово; то же самое слово по-гречески называется топосом. А утопос означает отсутствующее место – но нет его.) Я сказал, что философ мыслит в утопосе; но и нефилософ мыслит в утопосе, сами эти вещи находятся в утопосе. Помните, я вам доказал существование – как необходимое условие других вещей – возможного человека, то есть некой пустоты, напряженной пустоты, которая тем действеннее и тем эффективнее, чем неопределеннее. Я ведь на прошлой лекции ввел два условия: условие экрана и условие личности, или, что одно и то же, – возможного человека, или пустоты. Личность и есть пустота, а если уже есть что-то, то это уже не личность, а нечто классифицируемое, являющееся элементом номенклатуры и т.д. Значит, мы все-таки имеем дело с утопосом, когда имеем дело с возможным человеком. И в этом смысле ничего страшного нет в том, что, скажем, Фурье – утопист. В романе Пруста описан опыт избавления от эгоистической любви и от эгоистического «я», но

внутренний движущий идеал – идеал утопоса – текстом романа не изложен, он только обозначен словом «реальная жизнь», «истинная жизнь», или «жизнь по истине», что и совпадает с тем, что я называл утопосом.

Сейчас я приведу вам один простой пример, чтобы мы поняли, о чем идет речь. В диалогах Платона есть такое место: идет разговор о природе государства, и собеседник спрашивает Сократа – о каком государстве ты говоришь? Поскольку ты перед этим сказал, что я имею в виду не греческое государство, а имею в виду мою родину в моих словах. Что же ты имеешь в виду? Не имеешь ли ты в виду ту родину или то государство – не то, в котором ты реально живешь, а то, которое возникает в твоём разговоре? Повторяю, та родина, или то государство, которое возникает и существует, пока ты говоришь и когда ты говоришь. Реальностью Пруст называет такую жизнь, которая существует внутри и посредством непрерывного письма, – не в буквальном смысле этого слова, конечно, а в смысле текста сознания. Я несколько раз разными путями пытался определить, что такое текст сознания, текст вообще, имея в виду некоторое топологическое устройство содержательности сознания, – движения, внутри которого индуцируются реальные события и состояния. Ту реальность, которая так индуцируется, Платон называет «моей родиной». Та, что в разговоре существует. И если добавить еще «непрерывность» к этому разговору, то в **этой непрерывности** будет происходить соединение – как в реальности – между силами, а не в повседневной жизни, в которой действует поток, который разбрасывает все та же бесконечность, устремляет все в хаос, потому что делает все похожим одно на другое. Скажем, Одэтт совпадет со своим образом, похожи они будут, сотрется разница. Идет размножение инертных вещей, которые не оживляются, не восстанавливаются – хаос. Значит, противостоящим хаосу является что-то, что мы теперь поймали как образ непрерывного письма или непрерывного написания и одновременно – то же самое – утопический образ возможного человека. Или – заменим другим термином – неизвестная родина. В самом начале я определял всю топографию романа Пруста следующим образом: есть сторона Германтов и есть сторона Мезеглиз, и вот мы движемся в них. Но в действительности есть еще одна сторона, и перечисленные мною стороны являются как бы концентриками той стороны, которая тоже является героем романа, – **сторона неизвестного**. (И поэтому лучше переводить, конечно, «В стороне Свана», и это, кстати, больше соответствует французскому названию, потому что в французском названии «Du côté de chez Swann» отсутствует оттенок направления, движения.) Так вот, – «В стороне неизвестного», то есть утопоса. Утопос – не как нечто, что есть где-то, а здесь есть наш мир. Как возможный человек пронизывает нас вертикально здесь, в этой жизни, так и «неизвестная родина» пронизывает наши родины здесь, в этой жизни, а не где-то там, отделенная от этой жизни, от этой родины, например, нашей смертью (мы умрем и переселимся с крылышками в какую-то неизвестную, благостную родину). Такое представление Чаадаев в свое время называл «философией гробовщика», имея в виду, что нас от той жизни отделяет не лопата гробовщика, – в каждом дне нашей жизни есть та жизнь, и задача состоит в том, чтобы эту жизнь, то есть жизнь неподлинную, уничтожить в этой жизни, – вот о чем идет речь. И вот мы снова приходим к реальности, к утопосу и получаем красивую прустовскую фразу, которую он относит к художнику, а я отнесу ее к философу, к гражданину, то есть ко всякому человеку как человеческому лицу. А лицо не может не содержать в себе элементов философии, элементов гражданственности, героических элементов – в каждом человеке есть эта субстанция. Пруст говорил, что художник является гражданином неизвестной страны. Мы часто слышим, что Толстой любил Россию, – как будто есть Россия, есть Толстой, и Толстой, ну, спасибо ему, любил Россию. Или Важа Пшавела –

патриот Грузии; значит, есть Грузия, есть Важа Пшавела. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Во-первых, не Грузия его родина, во-вторых, Важа Пшавела и есть Грузия, то есть возможная Грузия, и у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом. А мы автоматически поддаемся патриотической демагогии, у которой есть свои задачи и цели, вполне понятные задачи государственного управления, но они никакого отношения к тому, как устроена наша духовная и душевная жизнь, не имеют, поэтому нам нужно всегда находить места, где мы должны цезарево отдавать Цезарю, а богово Богу. Для этого, как вы понимаете, Цезаря не отменяют, просто Цезарю отдают цезарево, а Богу богово. Для этого их нужно различить в самих себе, в том числе и в вопросах патриотизма.

Так вот, мы получили прекрасную формулу у Пруста: художник есть гражданин неизвестной стороны, и поэтому к нему не относится проблема, что он должен любить свою родину. Но дело в том, что это есть одновременно определение всякого человека – определение того, что я называл возможным человеком. Вот то, что я называл возможным человеком, есть, конечно, гражданин неизвестной страны. И каждый из нас, в той мере, в какой в нас вспыхивает или проявляет себя личностное начало, есть, конечно, гражданин неизвестной страны. Очевидно, этих стран ровно столько, сколько нас самих, если мы нырнули в свою личностную субстанцию, и в то же время она – одна. Нечто вроде такого множественного абсолюта, что, казалось бы, является противоречием в терминах. Но в этом, наверно, все-таки есть отвлеченная истина относительно нашего исторического и нравственного и духовного устройства. Если вы помните, в Посланиях святого Павла есть эпизод, когда с воскресением Христа Святой Дух опускается на окружающих людей. Святой Дух – символ, означающий необходимость отвлечения от предметной формы истины. Чтобы услышать истину, нужно отвлечься от предметной формы явления Христа; он же явился как человек, но чтоб понять истину, эта форма должна уйти. И вот форма ушла, он воскрес как Дух и овладел другими, и все заговорили на своих языках, а говорили одно. Но эти языки не имели ничего общего друг с другом – есть некое одно, состоящее из частиц, каждая из которых не имеет ничего общего с другой, но является частицей одного, и к тому, что в них одно, нельзя прийти путем выявления общего, то есть путем сравнения: они уникально выделены и отделены и являются тарабарщиной. Почему являются тарабарщиной? Ведь Пруст сказал: никто не хочет отдать свою душу, – потому что душа и есть в человеке то, что только его, и непонятна еще, он с этим имеет дело как призванный договорить, довести, и, пока он не договорил, не довел, недореализовал, он никому не может об этом ни рассказать, ни, тем более, отдать. То же самое и в этих уникальных тарабарщинах каждого из нас, но тарабарщинах, очевидно, **одного**. Этот парадокс нам надо бы уловить, хотя это почти невозможно, и нужно с ним просто считаться и жить, как если бы он действительно был доказан и справедлив. Вот давайте, как говорят немцы, als ob договоримся, что это так, но, может быть, если мы так договоримся или вы договоритесь каждый сам с собой, то другие вещи будут понятнее. Во всяком случае, наши претензии к миру и к другим людям изменятся. И главное – мы тогда перестанем жить в мире, в котором есть виновники и в котором есть награждающие инстанции. Жить в реальной жизни – это жить в мире, в котором нет виновников твоих бед и нет награды за какие-то твои достоинства и заслуги.

ЛЕКЦИЯ 31. 20.04.1985

Для начала я хочу напомнить вам мысль, которая неоднократно высказывалась Прустом и в моем пересказе будет звучать так: самые великие, значительные, видные и блестящие события в истории на самом деле состоят

из тех же элементов, из которых состоят наши темные и скромные жизни. Это и есть основная сквозная мысль. Под знаком этой мысли продолжим наше медленное движение. И еще одно, что мне нужно для темы человеческого общения, – у Пруста буквально все растет из того, что он называет впечатлением и к чему он постоянно прилагает эпитет «вечное». Впечатление – удар мира по нам встречей с человеком, с крупным событием или с маленьким человеком, с совсем маленьким кусочком боярышника, или с совсем маленьким пирожным, не важно, я ведь предупредил, что элементы даже самых больших событий – те же самые, что и элементы наших темных и скромных жизней, с которыми мы разбираемся в наших личных, незаметных и ненужных вещах. Итак, впечатление содержит в себе нечто истинное относительно мира, во-первых, и во-вторых, – требующее разгадки чего-то, что не разрешено восприятием (не завершилось актом восприятия, названия), но содержит вечность в том смысле, что развитие этого впечатления путем вариаций занимает такое большое пространство, что оно заслуживает названия «вечного настоящего». То, что философы называют *sub specie aeternitatis*; они это громкозвучное латинское выражение применяю к философии, говоря, что философия все рассматривает под знаком вечности. Обычно это выражение понимается чисто предметно: якобы есть какие-то предметы, которые делятся вечно, и философ рассматривает мир под знаком этих предметов. Но таких предметов нет. Речь идет о другом, когда употребляется термин «под знаком вечности» или «вечное настоящее». Обратите внимание, что, когда вы живете, а жизнь ваша есть «усилие во времени», то это «усилие во времени» движется и организовано вокруг того, что вы пытаетесь реализовать себя, – а реализуете вы себя под странным знаком тех же самых проблем, которые стояли перед каким-то человеком X две тысячи лет тому назад. Вы ведь спрашиваете о том, насколько полна или неполна ваша жизнь, насколько она вами собрана или не собрана, насколько вы контролируете то, что с вами происходит, или не контролируете. Таким образом, я выявляю определенный тип проблем, и эти проблемы отличаются тем, что они вечно решаются. Мы заново в своей жизни все время решаем и решаем их, то есть связки этих проблем, их содержание находятся в том, что называется «вечным настоящим». Вот тебе и *sub specie aeternitatis*, ничего слишком сложного здесь нет. Короче говоря, цели и задачи жизни всегда одни и те же по отношению к нам. Они, очевидно, одни и те же и в более фундаментальном смысле, потому что раз они одни и те же по отношению к нашим скромным и темным жизням, то, значит, имеют смысл и для больших событий. И тем самым вечное впечатление, содержащее в себе такого рода проблемы, содержит в себе и знак моего **призвания**, того, что Пруст называет «призванием», – что слышу я и что я своим усилием могу раскрутить, размотать, развернуть.

Я вел это к тому, что если у Пруста все растет из впечатления, то мы соединяемся, или общаемся, или сливаемся, или, наоборот, находимся в раздоре с другими людьми через впечатление. Имеется в виду простая вещь: другие люди нам или безразличны, или сразу же в контакте с нами они разрешаются в каком-то практическом использовании. Как бы все, что есть в человеке, в контакт с которым я вступил, разрешается и завершается тем, что я смог использовать его труд, его чувства, его помощь, или что угодно. Короче говоря, в этом смысле люди являются как бы **знаками**, указывающими нам на какое-то действие или применение, и мы в этом действии и применении этот знак разрешаем, и он как бы умирает... А вот впечатление от людей есть нечто совсем другое, – мы ведь договорились, что впечатление есть такой контакт с предметом, в котором предмет не исчерпывается тем фактом, что он нами воспринят. Например, предмет желания не исчерпывается желанием и даже удовлетворением желания по той простой причине, что мы всегда желаем

другое: мы желаем предмет, но в желании предмета мы желаем **другого**. Например, когда Марсель желает Альбертину, то в действительности он желает мир Альбертины, а не саму Альбертину как таковую. Он должен овладеть миром Альбертины, то есть всеми точками пространства и времени, которые когда-то занимала Альбертина, тем, что она почувствовала, узнала, – овладеть всеми теми состояниями, которые недоступны самому Марселю, а доступны были бы ему только через Альбертину, и которые называются миром Альбертины, и в том числе тайной Альбертины, – все это и есть содержание желания, когда Марсель желает Альбертину. То есть он желает, повторяю, мир Альбертины, и это желание мира Альбертины, а не Альбертины, помечено знаком впечатления. Желание Альбертины исчерпывалось бы тем, что он, скажем, переспал бы с Альбертиной, но физическое обладание не дает нам никакого доступа в мир Альбертины. И наоборот, можно повернуть: **неразрешаемость** впечатления или контракта в практическом использовании есть условие того, что нам вообще откроется это Другое, или мир Альбертины, или мир любого другого предмета. Скажем, мир пирожного «мадлен». Ведь весь запас воспоминаний, весь прошлый мир потому воскрес в памяти Марселя, что он не исчерпал своих взаимоотношений с пирожным тем, что имел вкусовые ощущения, которые сами себя исчерпали тем фактом, что они им испытаны. (То есть вкусовое ощущение пирожного исчерпывает себя тем фактом, что я испытал это ощущение, больше ничего в нем нет.) Более того, если было бы только так, то дорога к тому, что это пирожное содержало или что Альбертина содержала, была бы закрыта. Значит, мир, в котором другие люди могут выступать как представители миров, – это есть мир или ситуация **задержанных** действий. Действие подвешено и практически не разрешено. Мир желаний, которые не удовлетворены своим удовлетворением, чисто физическим или практическим, мир паузы, подвешенного действия. Я уже вводил эту тему, когда говорил о теме человеческого страдания, пребывание в котором есть условие человеческого развития, поскольку страдание есть то странное неделимое движение, которое не должно прерываться, если мы вообще что-то хотим понять. А мы его все время прерываем – чем? – тем, что его разрешаем. Кто-то нас обидел, мы даем пощечину (я просто напоминаю вам иллюстрации, которые приводил), хотя, если бы мы задержались в страдании этой обиды, мы кое-что о себе поняли бы и сказали бы спасибо врагу, который нас обидел. Это простой, наглядный пример из эмоциональной жизни, но структурой этого примера обладают другие, более важные вещи. Скажем, восприятие судьбы – человек ведь по определению есть существо судьбы, то есть существо, способное держаться в вине, в боли и в страдании и не поддаваться реактивным разрешениям своих ощущений. Это же относится к случаям феноменов, скажем, мести, или боевой, военной истерики, которая чаще всего состоит в том, что люди психологически не могут принять судьбы. Например, – судьбы солдата. А судьба солдата состоит в том, что в тебя могут стрелять, и если в тебя стреляют (я приводил вам этот пример), в том числе в мирной деревне, то отказ от того, чтобы быть человеком судьбы, выразился бы в том, что ты начал бы расстреливать женщин и детей, мстя за то, что в тебя стреляли из-за угла. Но то, что в тебя могут стрелять, входит в определение судьбы солдата: если ты – солдат, то по определению так может быть. И если ты впал в штопор мести – прервал свое состояние страдания, то ты уже не поймешь ни смысла войны, в которой ты участвуешь, никогда не поймешь, справедлива она или несправедлива, и никогда не увидишь, как ты сам выглядишь на самом деле в этой войне, у тебя всегда будет self-righteousness – ощущение своей собственной правоты, одно из самых ослепительных и иллюзорных человеческих состояний. Я просто напомнил вам то, что я называю ситуацией задержанных действий. Казалось бы, термины очень простые –

задержанные действия, почти что биологические, но в действительности у нас есть тот язык, который есть, и приходится выбирать те слова, которые есть, но иногда примерами можно показать какую-то более значительную структуру за этими словами.

Значит, промелькнуло у нас слово «впечатление», я сейчас его пояснял, но промелькнуло оно у нас так, что мы вывели его на какой-то очень важный для нас уровень. Прошлый раз я говорил вам, что мы воспринимаем что-то из других людей, из общения с другими людьми – не прямо, а через образ. Но вот сейчас я вывел впечатление на тот уровень, где образ есть условие того, что я могу что-то взять из впечатления или из другого человека. Мы жизнь свою выстраиваем таким образом – вопреки ее логике и тому, что она нам говорит шепотом, – чтобы сохранялся образ уважения к самому себе. Часто мы не видим истинного положения дела, потому что оно нарушило бы образ самого себя, в котором я уважаю себя как очень доброго человека, а помыслить правду предполагало бы зло подумать о чем-то, а я добрый и уважаю себя в той мере, в какой я продолжаю быть добрым и не допускаю плохих мыслей в голову, и я не вижу того, что у меня перед носом, – почему? Не потому, что я глупый или умный, а потому что должен держаться и воспроизводиться такой образ самого себя, чтобы я мог жить в мире с самим собой. То есть – самоидентичность – я сам, каким я себя уважаю и с каким могу сожительствовать, в том числе, например, могу успокоить ревность к самому себе. Я говорил вам, что мы в действительности ревнуем не других, мы ревнуем самих себя. Так эта ревность, это «чудовище с зелеными глазами», как ни странно, очень легко успокаивается нами в рамках и в терминах этого нерушимого самообраза, который любой ценой держится. Например, ревность успокаивается – вот я ревную, а ревность означает, что если я ревную, я должен до конца пройти по пути сомнения и проверить, истинно или несправедливо мое подозрение; но я могу сказать себе, что сейчас мне слишком больно, вот когда мне будет немножко менее больно, – тогда; а когда мне не будет больно, я и любить не буду и мне неинтересно будет даже узнать, справедливо было мое подозрение или несправедливо. Следовательно, сохранение образа самого себя помешало мне остановиться в страдании и пройти путь, в конце которого я изменился бы и впустил бы в себя, в свое сознание, истину. Наш Марсель нежен – это тоже входит в самообраз Марселя, и он хочет себя таким, чтобы он мог себя уважать и жить в мире с самим собой, таким воспитанным, культивированным, нежным человеком (нежные чувства мы очень ценим, они все на высокой ступеньке нравственных и психологических градаций у нас стоят). Но, повторяю, нежность оказалась невозможной без Альбертины. Напоминаю вам ситуацию – нежность, во-первых, есть часть образа или часть образа самоидентичности, подлежащей сохранению, во-вторых, мы полюбили Альбертину, потому что через нее реализуется наша нежность. Но, полюбив Альбертину, мы оказались в такой ситуации, что ценимое нами чувство, ценимое нами состояние оказывается невозможным без Альбертины. То есть ее отношение к нам, ее любовь к нам, ее верность по отношению к нам становятся условием того, чтобы это чувство в нас было, – мы нежны, когда есть Альбертина. А с другой стороны, нежность вообще есть часть нашего самообраза. То есть истина – и меня самого в этом чувстве нежности и Альбертины – расщеплена: часть этой истины – на экране самоидентичности, на том экране, который позволяет мне жить в мире, в котором есть Альбертина, в котором я могу воспринимать ее красоту, потому что, если бы не было бы этого экрана, я бы и не видел в ней красивой женщины, она попала бы для меня в пространство безразличных событий или явлений. Но на этом же экране Альбертина есть часть того, как я сам себя и мир понимаю в терминах отношения к образу самого себя, то есть в терминах

самотождественности, которая, как мы знаем, может и закрывать реальность (мешать что-то увидеть, воспринять, почувствовать и т.д.).

Значит, часть истинного положения дела, истинного содержания отношений с Альбертиной, то есть с другим человеком, – на экране самотождественности, а другая часть – где-то в глубинах и в темноте. Условно назовем вторую часть, которая ушла в темноту, «запаздывающей». Сейчас я коротко поясню, что я имею в виду. Эта тема в других выражениях уже мелькала у нас: в любой данный момент мы осознаем себя или просыпаемся – уподобим акт сознания себя акту просыпания: мы были с закрытыми глазами... открыли и осознали, – так вот, когда мы осознали, уже очень многое случилось, уже очень многое сцепилось, завязалось позади нас, но посылает какие-то сигналы, с которыми мы встречаемся (как бы из-за нашей спины впереди нас посылает что-то). Или: мы запаздываем, и в каждый данный момент мы – другие по отношению к самим себе, мы знаем, что скорость желания больше, чем скорость нашего взгляда, нашими желаниями уже осеменен весь мир, в том числе и те его части, которые мы вовсе не осознали, не осмыслили, но там уже поселились семена нашего желания. В прошлом они есть, а в прошлом есть многое, что еще не случилось, хотя это, казалось бы, парадоксально. Например, не случилось того, что нами **не было понято** в прошлом, – **не случилось**, потому что не было понято, и **укрылось**, ассоциировавшись с какими-то предметами. Я говорил вам о вазах, расставленных вдоль наших путей, в которые укладываются все эти вещи... То же самое пирожное, которым я вам уже надоел, – ведь почему оно есть хранитель чего-то? Да потому что то, что случилось, тогда не было понято. И в этом смысле вещи являются хранителями прошлого; они являются хранителями такого прошлого, которого никогда не было. И вот часть истины относительно Марселя и Альбертины – на экране самотождественности, а другая часть – в этом запаздывающем и тайном прорастании, или в тайном мире. И здесь у нас беда – мы никогда в принципе не можем восстановить той части, которая не попала на экран, не можем восстановить ее **описанием** и **наблюдением**. Через описание, повторяю, в нас **ничего не входит**, даже если эти описания сообщаются нам не просто предметами, которые мы наблюдали бы, а сообщаются нам другими людьми, которые учат нас, – в нас то, чему они нас учат, не входит, пока мы сами этого не породим. Мы истинно знаем только такие истины, которые открыли мы сами, хотя можем открыть то же самое, что уже известно – словесно известно. Есть очень интересные загадки нашей сознательной жизни, – например, самое незнаемое в нашей жизни есть смерть. Смерть нельзя знать, так ведь? Кроме того, мы никогда не можем знать, когда мы умрем. Допустим, что в каком-то роде медитативного или йогического опыта, как угодно его назовите, я сумел достичь острого сознания смерти, своей смерти. **Узнал**. Что я узнал? Значение понятия «смерть»? В таком случае я узнал то же самое, что известно в слове «смерть», но я узнал не это. Я вам приводил пример из психоанализа: случайно наблюденный или воображенный половой акт между родителями. Став взрослым, ребенок узнает значение этого акта. Так вот, я спрашиваю вас: когда он узнает, будучи взрослым, значение акта, узнает ли он то, что он испытал тогда, когда наблюдал? Он не это узнает вовсе, и то, что он узнает, никогда не будет ответом на то, что происходило тогда, когда он наблюдал или воображал этот половой акт; там речь шла о чем-то другом. Точно также и в смерти – когда мы **узнаем**, то мы узнаем не понятие «смерть» и не слово «смерть», хотя то, что мы узнаем, мы выразим этим словом или этим понятием, и оно будет похоже на все то, что знают другие в том смысле, что **знают** значение этих слов; но речь идет не об этом. Вот с такого рода явлениями мы сталкиваемся в той области, в которой мы движемся. Значит, эта область дает нам основное различие в отношениях с людьми, дает один тип отношения –

назовем его **вебральным отношением**. Я понимаю другого человека и общаюсь с ним в том смысле, что я понимаю смысл и значение слов или жестов, мимики, ко мне обращенных. **Это** поддается описанию. Но ведь я сказал, что кое-что не поддается именно описанию. Что же здесь не поддается описанию? – общение с другим человеком как органом моего развития, как невебральным воссозданием во мне того, что испытано в другом человеке, и размножение, то есть **наращивание** этого состояния. Мысль – достаточно всеобщая, хотя тоже труднопонятная, – состоит в том, что в действительности понять то, что говорит другой человек, можно, только если сам можешь эту мысль подумать и родить, и варьировать ее так, чтобы не терялась ее своеобычность, чтобы она оставалась сама собой, но ты ее варьируешь. Так вот, в случае такого **невебрального воссоздания** в себе того, что испытано другим, – возьмем такой образ – мы попадаем как бы в некоторое спиральное время, или на какую-то спираль, по которой происходит рост, обогащение состояний, или их **развитие**, которое оказывается при этом средством нашего собственного развития. И вместо той пустоты – когда мы бежим, как осел за пучком сена, привязанным к нашему носу, и где все время – призрак вечного возвращения одного и того же, – мы оказываемся в спиральном времени, в котором происходит обогащение, наращивание мысли, состояния, чувства и т.д. И по сути дела, не только Марсель, конечно, может любить только такую женщину, которая содержит тайну, все мы таковы, и, конечно, он болен не женщиной, не Альбертиной, а болен бесконечностью, как мы все больны бесконечностью. То есть для нас действительно ценным является желание, которое не умирает в акте удовлетворения, которое воспроизводит причины своего собственного появления (а это – круг) – и **расширяет** – спиральным временем, или временем, которое я называл спиралью (его можно назвать гиперболическим временем, как угодно). Мы получили сейчас сопоставление двух важных вещей: с одной стороны, мы имеем какое-то движение с обогащением, с ростом самого состояния, а это фундаментальное свойство вообще духовной жизни, фундаментальное свойство сознания или вообще сознательной жизни (машина, например, не может расходовать свои силы таким образом, а человек может – расходуя – увеличивать). И рядом с этим же – какой-то процесс хаоса и распада, где все время совершаются и нагромождаются акты рождения каких-то явлений, которые не прибавляются, не наращиваются больше и, я подчеркиваю, **размывают** всякую понятность или интеллигибельность форм.

Вот я вел вас к этому пункту и хочу на нем задержаться. Дело в том, что соединение с состоянием другого человека, или с мыслью другого человека, или с чувством другого человека, такое, чтобы мы действительно слились бы с ним и наращивали бы его, предполагает фундаментальный посредствующий элемент – элемент **понимания**. И вот с элементом понимания начинаются у нас все драмы: мы все время, в каждый данный момент оказываемся в мире, который как бы населен вокруг нас обломками форм, когда-то, кому-то понятных, какие-то слова, повисшие в воздухе, нам уже непонятные, – какая разница между папирусом, которого мы не можем понять, или словами моего соседа, которых я не могу понять? В принципе это одна и та же онтологическая ситуация. Ситуация, когда размыта (и сейчас мы скажем, по каким причинам) понятность или интеллигибельность форм. Или – в том примере, который я вам приводил, – целый кусок мира вполз в сознание Аверроэса, кусок мира, в котором играют в театр или в котором есть театр. Непонятная вселенная марсиан для Аверроэса: он это видит, и этого он не может понять. А «не может понять» ведет к тому, что то, чего мы не можем понять, **исключает** нашу жизнь. Я приводил вам следствие этого непонимания, которое назвал аннигиляцией, – когда исчез и сам человек, пытающийся понять, и предмет понимания... Повторяю: то, чего не можем понять, исключает нашу жизнь,

потому что наша жизнь состоит в том, что мы прежде всего решаем проблему **вместимости** наших чувств в тот мир, который мы хотим понять. То есть тот мир, который мы хотим понять, должен допускать, что в нем не лишними являются мои чувства и состояния. Например, если бы все уже было написано, то это исключало бы нашу жизнь: там – в написанном – нет места тому, что я хочу сейчас написать, – ведь все уже написано, почему же я испытываю желание писать? – оно уже случилось... Вот в каком смысле я говорю, что непонимаемое исключает нашу жизнь. Чтобы понять то, что я говорю о понимании как элементе того образа, только через который в нас может войти то, что дает нам другой человек или вообще мир, нам нужно договориться об одной вещи (если мы сразу не поймем этого, то примем это просто как недосказуемый постулат). Дело в том, что сам понимаемый элемент сознания, понимаемый элемент объяснения, понимаемый элемент доказательства, – доказательство – это одно, а понимаемый элемент доказательства – это другое, объяснение – это одно, а понимаемый элемент объяснения – это другое, – так вот, понимаемый элемент **не сводим** ни к чему и **не выводим** ни из чего. Например, чтобы понять, то есть воспринять содержание театрального действия как театрального действия, у меня должно быть понятие театра. Повторяю, чтобы в меня вошло все то содержание, которое разыгрывается в качестве театрального действия (чтобы я воспринял его), у меня должно быть **понятие** театра. Но допустим, Аверроэс смотрит на театральное действие, ему даны все элементы этого действия, те, которые видны, – так вот, имея все эти элементы, вывести из них – наблюдая эти элементы – понятие театра нельзя. Вот что мы должны принять. Понимаемый элемент ставит на свое понятное место все остальные элементы. У меня есть понятие театра, и встали на место все жесты актеров на сцене, реплики их, сюжет и т.д.; все стало на свое место, и ко мне поступают содержания. Но сам этот элемент, который ставит все остальное на место (он – или есть, или нет), не выводим из тех элементов, которые он объясняет, понимание которых он дает, и не сводим к ним. То есть понимание как бы обладает каким-то свойством принципиальной **нечастичности**. Если ты – внутри него, то ты понимаешь глазами этого элемента все остальное, но все остальное – то, что ты понимаешь, не говорит ничего о том, что ты понимаешь его этим элементом. Сейчас я сказал совершенно непонятную фразу и поэтому просто приведу вам цитату гениального философа XX века Людвига Витгенштейна (простая фраза, для которой вам не нужны мои доказательства гениальности Витгенштейна). Она звучит примерно так: ничто в поле глаза не говорит о том, что это видит глаз. Я вижу вас, вижу эти предметы, вижу части собственного тела – ничто (ни в вас, ни в моих руках, ни в магнитофоне, ни в столах) не говорит о том, что я вижу это глазами. То есть из того, что я **вижу**, нельзя получить, вывести то, **посредством чего** я вижу, – ничто не говорит об этом. Это общее положение, – понимаете, одним из законов мышления и одним из достоинств мышления является способность применять его к совершенно разным и, казалось бы, не связанными друг с другом случаям. Например, я сказал: ничто в поле предметов, видимых глазом, не говорит о том, что они видимы глазом. Та же самая структура аргументов в случае социальных институций – очень часто люди рассуждают так: есть институции плохие, есть институции хорошие, и следовательно, можно пересаживать одни институции в другие места или в другие страны. Демократические институции хороши и их можно переместить, например, к нам в Грузию. Дело в том, что ничто в этих институциях, как предметах, не говорит о том, что делает их живыми, то есть демократическими, и изнутри (они сами ни плохи, ни хороши), и то, что внутри живет в этих институциях, в них видит как бы само себя и **само себя** воспроизводит, а сами по себе они не плохи, ни хороши, – вот так нужно

понимать. Это очень спекулятивное (очень отвлеченное) утверждение. Но дело в том, что последствия понимания или непонимания такого утверждения проявляются на совершенно конкретных уровнях. Ну, например, возьми, искусственно пересади науку... Есть институция, она сама по себе хороша, взял и пересади, – почему она не работает? А потому, что она сама по себе не обладает никакими свойствами, она сама по себе не говорит ни о чем; так же как предметы, видимые глазом, не говорят сами по себе о том, что они видимы глазом. То есть то, что в мире живет, живет определенным образом потому, что есть что-то на границе, которая не является частью самого этого мира. Глаз не есть часть мира, видимого глазом. Демократизм демократической институции не есть часть самой демократической институции и т.д. (такого рода примеры можно было бы привести из самых различных областей). Вот об этом нам нужно договорится. Повторяю, что сам понимаемый элемент, который ставит на свое место А, В и С, любые А, В и С, – не виден из этих А, В и С, он из них не выводим и несводим к их свойствам. Но если мы это примем, тогда любой акт понимания строится как акт понимания другого. **Другого в себе.** И это означает, что нельзя просто взять и встать на место самого себя, – я же говорил о запаздывании – мы далеки по отношению к самим себе. Я уже пояснил на других примерах, что первым иностранцем, первым незнакомцем для самих себя являемся мы сами. И понять себя мы должны – как понимают другого. Так же, как есть проблема понимания другого человека, другой культуры, другого мира, иной планеты (например, марсиан).

Фактически проблема понимания марсиан такая же, как проблема понимания самого себя. И вообще любой акт понимания по своей структуре строится как акт понимания другого. Мы уже даже по отношению к самим себе в разное, в дрейфе (не от слова «дрейфить», а от слова «сдвиг»). И, следовательно, ситуация у нас сложилась весьма драматическая. Она означает, что когда мы говорим, что нужно «понять», и тогда в тебя войдет какое-то содержание (понять, что это – театр, и тогда то, что разыгрывается в качестве театра, войдет в тебя и будет тобой воспринято), то это есть выражение той мысли, что есть что-то, чего мы не можем вообразить, то есть – прийти к чему-то вербально. Значит, «понять» есть то же самое, что сказать, что что-то мы должны иметь невербально, – не через значения и смыслы слов описаний и наблюдений. Ведь Аверроэс имел полный запас значений слов, описаний и наблюдений и ничего не мог воспринять, потому что у него не было понятия театра. Отсюда вытекает простая вещь: обогащение себя чувствами другого по спирали, в которой наращивалось бы и обогащалось бы во времени это чувство, – это обогащение означает, что я могу проникнуться или соприкоснуться с **другим** – таким, который тоже рождает сам себя в пространстве произведения или в пространстве понимания (я эту тему уже частично вводил, а сейчас просто хочу, чтобы у вас был материал для прустовской цитаты). Напомню вывод, который я делаю из этого рассуждения: для того, чтобы в нас вошло что-то от другого человека, необходим контакт с этим человеком в пространстве понимания. Тем самым это означает: как то, что я восприму, должно само производиться в пространстве понимания, так и то, что я – не как эмпирический человек, а как тоже производимый через произведение, только такой, – начинаю что-то понимать или помнить. Пруст вполне мог бы сказать (когда он говорит о памяти): не я вспомнил, а книга моей памяти вспомнила. (Пока придержим этот пункт; но вы должны расширять содержание того, что вы слышите, то есть превращать эту структуру в такую, которая имеет место, действует и в других случаях.)

Итак, цитата из письма Пруста: «...читать книгу этого человека так же бесполезно, как слушать на граммофоне голос человека, данного нам живьем – абсурдно. Между тем, что человек говорит, и тем, что он извлекает

размышлением из глубин, где лежит дух, закутанный пеленой, – целый мир». Если вы следуете моему совету и расширяете структуру слышимого, или расширяете в структуру то, что вы слышите, значит, вы должны сразу переводить что то, что нам человек говорит, то, что мы видим в глазах человека и т.д., – не из этого мы можем понимать человека, что-нибудь знать о нем и т.д. Дальше Пруст говорит так: *«Это правда, что есть люди, которые выше своих книг (более значительны, чем их книги; мы часто говорим о писателе, что книги у него неважные, но сам он, как личность, значителен), но дело в том, что их книги не есть книги»*. Вот то, чего выше писатель, та книга, выше которой писатель, не есть книга, она просто не есть книга, вот и все. А теперь другая цитата: *«То, что для нас делает тела поэтов прозрачными (прошу обратить внимание на выбор слов; Пруст в этом случае не говорит: «...мысли поэтов прозрачными», он говорит: «...тела поэтов прозрачными») и позволяет нам увидеть их душу, – это не есть их глаза, не есть события их жизни, а есть их книги, в которых как раз есть то, что от их души содержится, от их инстинктивного желания, которое хотело увековечить себя и которое отделилось от них (от поэтов), чтобы пережить их бренность (пережить их смерть; когда они умрут, то это останется)»*. Обращаю внимание, что Пруст говорит опять же не о ментальных каких-то сущностях, скажем, о мыслях поэта, которые мы понимали бы в книгах, нет, Пруст говорит о теле поэтов, а телами могут быть только тела живого существа, личности, человека. (Каждый раз, когда я употребляю слова «книга», «писать», «письмо» и даже словосочетание «непрерывное письмо», вам предъявляется требование блокировать в своих головах чисто бюрократическую человеческую привычку ассоциировать «книгу», «письмо» с писанием книг; в этом случае речь идет о другом. Попробуем уловить это «другое»; продолжим уже немножко в другом направлении цитату, которую я приводил.) Так вот, тогда, когда именно «их инстинктивное желание», как говорит Пруст, – а инстинктивное желание и есть то, что я называл волей, или – невербальное когито; невербальное «я сам» есть та последняя точка, в которую упирается сомнение, а радикальное сомнение упирается только в точку собственноличного присутствия в любой точке, и оно же называется желанием, живым желанием, или инстинктивным желанием, потому что это ведь не есть рассудочное представление, а есть невербальное присутствие самого себя в качестве желающего, «волящего», воображающего и т.д., весь этот веер слов, который я вам приводил: «волящий», воображающий, желающий и т.д., – так вот, блокируйте в себе все писарские представления о письме и о книге, тем более, что идет простейший разговор человека о том, что именно в книгу вырывалась та часть души, которая способна воспроизводиться, наращиваться, жить, в том числе и в других. И если это так, говорит Пруст, то поэты не обо всем пишут, не всякую всячину пишут, они не пишут для того, чтобы помечать свои мнения. Ведь мы письмо понимаем так: мне пришла в голову мысль или мнение о чем-то, и письмо есть акт записи этой мысли; или произошла какая-то, как выражается Пруст, «экстраординарная сцена», я записал ее, описал ее, – это не есть писание книг. И очень часто для людей как раз это могло быть более интересным, чем сам поэт. Например, поэт оказался свидетелем значительных событий: он был при дворе, и король обронил какую-то фразу, а по определению все, что говорит король, значительно, и поэт, как писарь, записал, – это не есть акт письма. А что же есть акт письма? *«Для них акт письма приурочен скорее к своего рода прокреации (к акту порождения), на которую их подвигает специальное желание, которое предупреждает их о том, чтобы они ему не сопротивлялись (есть желание, и я ему не сопротивляюсь)... Но тот предмет, который они запишут, есть сама их сущность (поэтов, людей), что в них более всего индивидуально, необъяснимо: и вот почему это желание*

всегда связано с воспроизведением всякого того рода, с которым оно связано». В этой плохо написанной фразе (действительно, плохо написанная фраза, потому что это не текст, который он публиковал, а пометки, и иногда повторяются термины, слова; Пруст-стилист в окончательном тексте избежал бы этого) – в этом последнем темном выражении Пруст говорит о том, что самое главное в жизни для него (для живых существ) – воспроизводить себя живым. Я показывал вам существование некоторых устойчивых явлений на фоне хаоса и распада, и показывал, что время влечет все это в хаос и распад. И тут, обратите внимание, в связи с мысленной формой, или поэтической формой (а это есть мысленная форма), Пруст говорит о свойстве живых существ, которое состоит в тенденции воспроизводить устойчиво самих себя в качестве живых. И поэт инстинктивно понимает, что то, о чем он пишет, это несет в себе элемент **воспроизводства жизни**, а не всякие спекуляции, рассуждения, или описания, или мысли, по видимости более значительные. Но поэт предупрежден о том, что на самом деле они вовсе «не более значительные, ибо они менее личные, они не имеют шарма: в написании их поэт не испытывает того особого удовольствия, которое связано с консервацией и воспроизведением того, что есть лично...» То, что я говорил: невербальное **самоприсутствие**, которое не может быть дано никаким описанием и которое является одним из признаков понимания. Так же, как личное невыводимо и несводимо, так и понимание может быть только личным. Ты можешь понять, и акт твоего понимания не выводим ни из каких обусловливающих того, чтобы это понимание случилось, – оно случилось только на вершине волны твоего личного полного присутствия. И самым ценным, оказывается, явилось бы то, что могло бы закреплять и воспроизводить это нечто, отмеченное личным присутствием. И в скобках Пруст помечает (может быть, эта пометка поможет вам по ассоциации еще глубже ощутить сам этот феномен; во всяком случае, Пруст сам так ощущал), – «что соответствует хорошему здоровью и любви». Значит, то, что есть самое личное – ощущение личного или удовольствие воспроизводства и сохранения – есть интеллектуальный эквивалент того, что в других случаях или в другой области называется хорошим здоровьем (когда мы просто не больны).

Значит, законы удержания любви, то есть – себя в любви (я отвлекаюсь от вопроса измен или «не измен», это никакого отношения к удержанию и воспроизводству любви не имеет) в ранге просто хорошего здоровья, есть воспроизводство и сохранение того, что сугубо лично. И еще один признак вдруг расшифровывает Пруст в другой пометке: то, что пишется для этого специального желания, внутри которого сохраняется личное, пишется «с энтузиазмом», с воодушевлением, в отличие от писарских пометок. А воодушевление всегда связано с идеями, которые рождают другие идеи или рождают тысячи других идей. Иначе говоря, Пруст расшифровывает невербальный корень или невербальное семя самоприсутствия, сугубо личного, ниоткуда не выводимого и ни к чему не сводимого, – не как мысль, а как **возможность** мыслей, других, и тысяч других, то есть – то наращивание и обогащение, о котором я говорил. Я приводил вам высказывание Пруста о том, что Виктор Гюго слишком часто и слишком много мыслит, вместо того, чтобы давать мыслить. Речь идет не о том, что поэтический текст есть запись мысли, а о том, что поэтический текст есть машина, **рождающая** все большие и большие мысли. И только в качестве рождающих все большие и большие мысли мы можем понять других людей. Если для нас другие люди, в том числе поэты, оказываются в том пространстве, где их состояния есть семена тысяч других мыслей – не определенная законченная мысль (продукт), а семена тысяч других мыслей, – тогда мы с ними можем общаться и их воспринимать. В том числе потому, что одной из этих тысяч других мыслей можем быть мы сами (это

понятно?), в том числе потому, что одной из этих тысяч возможных мыслей могут быть наши состояния (как если бы маленькая матрешка вошла в другую, большую матрешку). И далее Пруст описывает весь этот энтузиазм, который сопровождает такие идеи. Энтузиазм, или воодушевление, в состоянии которого вообще стоит писать, – как обновление, полное обновление головы, где, казалось бы, рухнули все перегородки и где больше нет никакого барьера, никакой ригидности в нас, и где вся наша субстанция кажется своего рода лавой, готовой принять любую форму, какую она захочет, так что при этом от нас ничего не остается и ничего не останавливает эту лаву. Коротко помечу, – опять же словами Пруста скажу – что мы можем общаться только в том пространстве, где мы уже разрушили отделенность людей друг от друга их взаимными и различными эгоизмами, то есть там, где снят образ самотождественности и человек превратился в лаву возможности, которая может принять любую форму (в том числе понять или приобрести, например, понятие театра). То есть предшествующим шагом к пониманию всегда является магматическое или лавоподобное растворение своего собственного эмпирического «я», которое всегда ригидно, всегда полно перегородок, барьеров и т.д.

И это происходит тогда, говорит Пруст, когда «поэт идет по ниточке таинственных законов, из которых он чувствует, что через эти законы в нем ко всем вещам протягивается одна и та же жизнь». Вот на этой фразе я хотел бы остановиться и ошарашить вас одним спекулятивным заявлением, которое состоит в следующем. Значит, поэт идет по ниточке таинственных законов, а таинственные законы – это законы текста и своей судьбы как текста, то есть законы произведения, или орега, продуктом которого являемся мы сами (не мы пишем произведения, а мы сами являемся продуктами произведений). Там действует то, что Пруст называет таинственными законами. И, попав на ниточку этих таинственных законов, поэт ощущает, что от него ко всем другим вещам протягивается «одна и та же жизнь». Казалось бы, необязательное словообразование, но дело в том, что оно у Пруста выскочило пластично, без каких-либо предварительных размышлений. Символически точное выражение глубоких оснований и фундаментов нашего сознания и нашей жизни, состоящее в том, что **если** мы живем, мы живем **одну** жизнь, то есть жизнь – в строгом смысле – в единственном числе. Это очень трудно, конечно, ухватить, я сам должен медитативно или разными упражнениями напомнить себе каждый раз заново, что есть вещи, которые нельзя знать и иметь. **Зная**, их нужно каждый раз **заново знать**. Например, я сказал «число пять», «пять» – это идеальный ответ, вы понимаете число пять, вы оперируете им. Но число «пять» разве размножилось в головах? Счетное ли это явление? Не «пять», «пять предметов», а «число пять». То есть существуют категории несчетных явлений, которые в принципе есть в одном экземпляре. Таким является и сознание – нет многих сознаний. Сознание, если оно есть, – одно. Множественные экземпляры сознаний не даны, их не существует. И жизнь одна – если мы живем в жизни. Не всякая жизнь есть жизнь. Нечто индивидуальное, или индивидуальная конфигурация, способная устойчиво себя воспроизводить, при этом наращиваясь так, что сама она никогда не совпадет ни с какой окончательной формой, являясь всегда потенцией все новых и новых мыслей или состояний определенного рода, но многих и многих, – это называется «жизнь». Так вот, если мы живем, то мы живем одну и ту же жизнь; у меня, у вас – она одна, если мы живем. И эта «одна и та же жизнь» у Пруста равна возможности большей жизни. (Так же как сознание есть по определению возможность большего сознания, или сознание есть возможность сознания.) **Жизнь есть возможность большей жизни**. Поэтому прустовскую эквиваленцию: **Одна жизнь, возможность большей жизни, можно продолжить дальше, еще один член**

поставить в это уравнение: несделанная жизнь, или еще не сделанная жизнь (не знаю, какие еще слова подобрать). Кстати, сейчас я вспомнил: в свое время Поль Валери, рассуждая о том, что такое мистика (религиозная мистика имеется в виду, конечно, а не ругательное слово «мистика»), говорил, что мистика, очевидно, есть ощущение жизни, пробивающейся. В уже сделанной жизни есть ощущение несделанной жизни. И, конечно, ощущение того, что жизнь только делается, что она не сделана, – оно и может выражаться в этом знаменитом мистическом присутствии во всех точках мира. Если жизнь – это несделанная жизнь, то я – везде, во всех ее точках. Это и есть содержание так называемого мистического слияния с миром, с Богом, с возлюбленной. (Поэтому – странное словосочетание «таинственные законы»; слово «таинственный» содержит оттенок мистики. В русском языке «таинственный» и «мистический» из разных языковых рядов, а во французском – это одно и то же гнездо: таинственный – *misterieux*; тайна, мистика – *mistere*.)

ЛЕКЦИЯ 32. 27.04.1985.

Я начну с простого напоминания, которое, может быть, нас раззадорит и позволит придать лекции какой-то внутренний ритм. Боюсь, что из того, что я говорил в прошлый раз, кое-что осталось непонятным, точнее, большая часть, поскольку это требует от вас собственных мысленных упражнений. Так же как язык в действительности, очевидно, в нас заложен (иначе мы никогда не могли бы выучить никакого языка), и его усвоение состоит в том, что мы его как бы вспоминаем, то есть упражнениями развиваем. То же самое относится и к философским понятиям и представлениям, которые приходится душевными упражнениями углублять и потом наконец понимать. Но есть вещи, которые могут быть непонятны просто из-за моей небрежности, из-за плохого изложения или потому, что я не дал хорошей наглядной иллюстрации. Я имею в виду понятие, которое прозвучало в прошлый раз, – символ смерти. Я его вводил в связи с тем, что смерть есть то, чего мы не знаем (мы не знаем, когда мы умрем). Представьте себе, что мысли, наши душевные движения как бы так подвешены, что они, вися в воздухе, должны соединиться со своим последующим моментом... – а я говорил вам, что то, что будет в последующий момент, не вытекает из предшествующего момента; то, что я мыслю сейчас, не есть основание того, что эта же мысль будет в следующий момент, хотя бы потому, что в промежутке можно умереть. Я иллюстрировал смерть на материале движения мысли, хотя с мыслью это трудно сочетать, но можно, если мы твердо запомним, что речь идет не об умозаключении. Умозаключение вообще не нуждается в этом смысле в мыслящем, и вопрос о смерти здесь ни при чем: логические связи – вне времени; и для логической вневременной связи не имеет никакого значения, существует ли реально какое-то лицо, которое может связать посылки умозаключения с выводом умозаключения – посылки и вывод умозаключения одновременны друг другу. Рассматривая вообще мышление, то, которое, вплетено в нашу жизнь, или посредством которого наша жизнь выливается наружу в какие-то поступки, связи, жизненные обстоятельства, я имел в виду, что это мышление всегда существует в рамках всевозможности человеческой потенции. То есть, говоря о движении мысли, я имел в виду **ВОЗМОЖНОСТЬ** меня самого в следующий момент как тождественного состоянию какого-то целого или состоянию всего. Я ведь предупреждал вас, что мы имеем дело с такими живыми целыми, каждая часть которых есть отражение всех других частей: малейшее содержит в себе большее – «небо в чашечке цветка» и т.д. Так вот, речь идет обо мне в следующий момент, тождественном с жизнью **целого**, или с живой связью, или со связью **всего** живого. Например, в качестве примера «всего» я могу привести волнение – существование меня самого, тождественного с

выполненностью условий реализации моей сознательной жизни как тотальности, как целого, – волнение предполагает присутствие меня всеми частями. И не само собой разумеется, что в следующий момент – хотя в следующий момент тоже может быть предмет волнения – предмет волнения меня взволнует. Вот о таких-то странных вещах я говорил все время и такие примеры периодически заново у меня появляются, но это и есть мистерия жизни, которую нам нужно плотнее сжать с разных сторон, чтобы она приобрела бы хоть какую-то ясность и очертания, а то мы обычно проскакиваем мимо таких, как бы само собой разумеющихся вещей. Но совсем не само собой разумеется, что то, что волнует или должно волновать, меня взволнует, или то, что вызывает любовь, вызовет эту любовь. Условия того, чтобы в момент встречи с предметом произошло то, что, казалось бы, должно произойти, – довольно сложные и содержат в себе (философ в таких случаях употребляет термин «онтология») отношения в области полноты и совершенства. Дело в том, что, чтобы случилось малое, должны быть выполнены какие-то условия целого – малое волнение от цветка предполагает выполнение каких-то условий.

Кант в свое время говорил: «Душа (не речь), полная чувств, есть величайшее совершенство». У вас есть представление о Канте как о холодном рационалисте, который рассудком и логикой убивал все живое и прочее, и прочее; у Блока даже есть, если вы помните, образ пугающего Канта (можно понять, почему женственным русским поэтам такая фигура, как Кант, могла казаться пугающей). Не Кант, а Кантище – страшное, сгорбленное и навевающее смертельный холод существо спрятано за ширмой, откуда на все живое бросается тень этого существа. Нелепость, конечно, но вы знаете уже, что вся история культуры соткана из сочетаний нелепостей с ясными мыслями, так что это не последняя нелепость, еще будет много таких нелепостей. И вот этот сухарь – Кант – в действительности был человеком чудовищной и тончайшей впечатлительности, настолько тонкой, что ему пришлось, чтобы жить в этом мире, наложить на себя какую-то дисциплину, иначе, если он отдавался бы на волю своей чувствительности или восприимчивости, она разорвала бы его на части; к тому же он и физически был рожден скорее для смерти, чем для жизни. Так вот, Кант говорит: «Душа», а в скобках – «не речь» – безобидные скобки, так? Я объяснял проблему различия между вербальным и невербальным существованием чего-то. Есть мысль – невербально испытанная, а есть ее словесная калька, эквивалент, который похож на нее; я говорил вам, что люди очень часто описывают познание (в жизни не познав ничего) и говорят, что есть чувственный этап познания, потом логический этап познания и т.д., и т.д., и по этим описаниям видишь, что здесь нарушено декартовское правило: если хочешь знать, что такое сомнение и мысль, нужно самому сомневаться и мыслить, самому мыслить; но вот «самому мыслить» я никак передать вам не могу, потому что это тоже ведь слова. Значит – «Душа (не речь), полная чувств, есть величайшее совершенство в мире». Ведь не случайно здесь употребление слова «совершенство» – полное присутствие перед лицом предметов чувств, и оно не само собой разумеется, потому что не предметы чувств есть причина наших чувств, хотя в наших чувствах мы переживаем именно предметы чувств; но, оказывается, чтобы чувством присутствовать, мыслью присутствовать, любовью присутствовать, волнением присутствовать, – выполняются какие-то условия. И вот о длении этого в следующий момент идет речь (не моментов силлогизма, когда я говорю о мысли): присутствие волнением, присутствие мыслью, в котором я в следующий момент **тождественен** внутренней связи всей мысли, всего чувства, всей природы волнения. Это, кстати говоря, похоже на проблему понимания. В каком смысле? Дело в том, что в понимании действует простой закон: если мы

что-либо понимаем, то мы понимаем **все**. Такое вот отвлеченное философское утверждение. Скажем, если я хоть одно слово понимаю, как артикулированное слово, как осмысленную форму, а не просто побуждение выражения, то я располагаю всем языком. Повторяю: я располагаю всем языком, если я понимаю хоть одно слово как осмысленную форму. В признание этого отвлеченного факта почти что постулативно упирались многие исследователи с разных сторон; куда ты ни пойдешь, ты упрешься и этот факт и ты должен его принять. И – мы сейчас это говорим о волнении, о любви, о мысли и о чем угодно – тогда то, что я называл смертью, есть в действительности парабола, или символ **встречи** неизвестного объекта, или **нового**, которого не искали, то есть всего того, чего нельзя вызвать, нельзя составить, нельзя увидеть из данных. Лицо можно только встретить и **узнать**. Известно, что Ньютон увидел закон тяготения в падающем яблоке. Он встретился с яблоком и узнал закон тяготения. Дело в том, что Ньютон не искал яблока, – скажем, мы пользуемся связью мыслей, чтобы посредством этой связи мыслей выйти в каком-то направлении на то, что мы ищем, – ясно, что здесь произошло нечто иное. Повторяю: Ньютон не искал яблока... так же как Марсель не искал цветка боярышника, не искал плиты мостовой. То есть то, что называется новым знанием или новым объектом, есть в данном случае что-то, с чем мы встретились как с неизвестным в том смысле, что это есть что-то, в направлении чего мы не идем и не должны идти, чтобы это случилось, и с чем мы можем только **встретиться извне**. И вот об этом состоянии, которое будет в следующий момент, в момент узнавания, при условии полного твоего присутствия, – тогда ты узнаешь. Потому что яблоко ведь падало миллионы лет, и никто в нем не прочитал закона тяготения; Ньютон просто присутствовал при этом падении в полной связи своего состояния, и поэтому он прочитал в падающем яблоке парафраз всеобщего тяготения, связывающего все тела одинаково, будь то малые тела на Земле, будь то большие планеты и звезды в небе. Значит, здесь под мыслью мы имеем то, чего нельзя вызвать, составить, получить из данных, но что можно иметь лишь совмещенно с собой в следующий момент времени, с собой перевоссозданным, измененным, преобразованным, **вновь рожденным** – в чем? – в мысли, **в идее**. Не я рождаю идею, а я **как мыслящий** рождаюсь в идее. Не тот, который до этого преднамеренным взглядом поводил вокруг себя, – в преднамеренном нашем взгляде уже запечатан известный нам мир, а из известного никогда, ни при какой комбинации нельзя получить неизвестное, – так вот, не тот «я», который поводил преднамеренным взглядом, содержащим в себе известный и классифицированный мир с расставленными номенклатурами, а вновь рождающийся, или, если угодно, вторым рождением рождающийся «я». (Как ни странно, у меня снова промелькнул религиозный символ второго рождения в применении, казалось бы, совершенно к другой вещи, но это лишь говорит о том, что наши символы есть символы того, как в действительности устроена наша душевная и сознательная жизнь, и вовсе не есть просто то, что фигурирует в религиозном культе.)

Значит, то, что можно иметь совмещенным с собой, перевоссозданным, вновь рожденным, но уже в идее, в мысли, – а этим вновь рожденным может быть и другой, следовательно. Я говорил вам, что нет принципиальной разницы – я далек от самого себя и перед собою вновь возникаю – между пониманием самого себя и пониманием другого человека, другой культуры и т.д. То есть мы не имеем локализации такого состояния понимания, чтобы оно было приурочено к одной психологической индивидуальной личности. Ведь не случайно, скажем, именно об этом состоянии совмещенности, где я рождаюсь в мысли (не я рождаю мысль, а я рождаюсь в мысли), именно в этой связи, когда эта тема начинает у Пруста проигрываться в применении к анализу

собственных впечатлений и восприятий, он вводит тему смерти и каждый раз в контексте утверждения, что вот тут он не боится смерти. Почему именно **здесь** он не боится смерти, свободен от страха смерти, готов умереть даже с радостью? Ну потому что мы имеем дело с семенами мысли, с возможностями и потенциями, которые, будучи моими, могут быть в **другом**, и оболочка моего брэнного конкретного «я» в данном случае совершенно свободно может быть сброшена, поскольку семя принесет свой плод. В ком? Когда? Неизвестно. Но там, где оно будет, буду и я, но, конечно, не «я» эмпирическое, не «я» конкретное, называемое именем Марсель. Ведь мы знаем, что понимание непередаваемо – если оно перешло из той точки пространства, где я сейчас нахожусь, в другую точку пространства, где находитесь вы, то только потому, что оно уже там, у вас, поскольку элемент понимания несводим к натуральным элементам понимаемой картины и невыводим из них. Представим себе сообщение (по аналогии) с передачей предмета в пространстве и времени – я из одной точки и момента передаю предмет в другую точку, в другой момент, чтобы он там вызвал бы какие-то состояния. Но мы знаем, что состояния-то не содержат в себе натурального элемента понимания, и если он понят там, то, значит, не потому, что был передан предмет туда, чтобы воздействовать, а понимание как бы уже есть там. Так же и полнота волнения, – поскольку мы знаем, что условия волнения не совпадают с условиями содержания предмета, который должен волновать (представьте себе передачу волнения или в пространстве, или во времени, то есть между мною самим, чтобы я в следующий момент снова был взволнован, и волнение как бы кумулируется внутри себя и растет, как живое). Оказывается, здесь мы должны просто отказываться от обычных описаний душевной жизни, в которых мы всегда мысли, состояния приурочиваем к дискретно наблюдаемому человеческому телу как носителю дискретной отдельной единицы души. Есть какие-то другие процессы, которые требуют (чтобы их понимать и видеть) приостановки терминов, разделяющих среду и тело, терминов, разделяющих тело и душу, терминов, привязывающих душу к отдельному дискретному человеческому телу, более того, с другой стороны, – привязывающих единицу тела к единице души и т.д., и т.д. Со всеми этими терминами мы не можем работать, и в том числе не можем работать в нашей попытке понимать эффекты общения человеческих существ: как они друг друга понимают, как они соединяют или не соединяют свои совокупные усилия. Ведь соединение человеческих сил в какой-то совокупной силе возможно, когда все стороны силы или все участники силы **преобразуются** в каком-то пространстве, и тогда могут соединиться. Ведь Марсель, чтобы соединиться с Альбертиной (я имею в виду слияние душ), сталкивается с проблемой, что Альбертина может быть **собой** отделена от самой себя и от Марселя. Как и Марсель может быть самим собой отделен от себя и от Альбертины. Например, как эгоистическое лицо, желающее обладать, Марсель отделен от самого себя и от Альбертины. Не просто, так сказать, два психических тела столкнулись друг с другом и одно не понимает другого... да нет, это не так, здесь мы не имеем дело с непроницаемыми телами, обладающими волей, сознанием, или с психическими функциями, которые мы понимали бы так: кто-то понял, не понял, равнодушен, не равнодушен. Оказывается, все совсем иначе происходит, и понимание (или непонимание) не определяется (и не зависит) приведением в движение просто наших способностей. Оказывается, есть какие-то явления в полях и в пространствах, в которых наши силы преобразуются, и Альбертина, перевоссозданная, может быть, перестала быть препятствием для самой себя в восприятии того, что ей может дать только Марсель, и в восполнении себя этим уникальным «что-то». Наши отношения есть отношения **восполнения** друг друга, а не понимания (выполнения претензии понимания) в психологическом смысле слова, – что я

обязательно должен понять сидящего передо мной человека. В каком-то смысле, я уже говорил вам, понимание есть оскорбление для бытия, то есть претензия понимать есть оскорбление для бытия, потому что именно самостоятельное бытие чего-то другого имеет своим знаком непонимание мною его; и моя попытка отрицать, запретить в мире вещи, которые я не понимаю, есть попытка запретить вообще мир вокруг меня, превратить его в собрание мертвых вещей, которыми я распорядился бы. В этом смысле – назойливо существующая в нашей культуре манера «знать другого», обсуждать его, анализировать, качать моральные права, – ад праведности, ад морали.

Значит, здесь мы получаем два пункта: первый – проблема соприкосновения, то есть соприкасаемся мы или не соприкасаемся. Ясно, что при соприкосновении тела передают друг другу момент движения и энергии, да? Мы с вами соприкасались бы и так передавали бы друг другу состояния, мысли и т.д., и общение предполагало бы соприкосновение. Второй пункт – странная фраза, которую я употребил: родился в идее. И этот второй момент можно выразить такой проблемой: создаем ли мы мысли? Мысль тоже – произведение. Это примерно то же самое, что спросить: создаем ли мы произведения? И вот я начну с этого простого момента. Мы твердо, конечно, убеждены, что уж мысли-то рождаем мы: они есть продукт какого-то приводимого нами в движение внутреннего процесса, продукт внутреннего развития или внутреннего движения наших мыслей. Я бы сказал так: это своего рода детерминизм произведения. И, как ни парадоксально, как бы нам ни казалось, что мысли-то рождаем мы сами, нам нужно снять в своих представлениях этот детерминизм произведения. Простое начальное рассуждение: я мыслю и, естественно, имею иллюзию, что я рождаю мысли своей активностью, и в этом смысле мысль детерминирована затраченной мной активностью, есть ее продукт, порождение. Затраченная же активность есть активность, имеющая дело с предметами. Следовательно, детерминизм производимой мною мысли есть детерминизм меня предметом: я мыслю А, потому что есть предмет А; есть своего рода симметрия между тем, как обуславливает меня предмет, как он на меня воздействует, какой я имею от него опыт, впечатления, и тем, как я из этого воздействия порождаю мысль об этом предмете. Я мыслю о предмете, что он есть А, потому что он есть А. И поэтому, конечно, я непримиримый враг всех тех, кто не видит, что предмет есть А. Более того, я, наверно, должен и убить всех тех, кто не видит А, или даже, более того, видит не А, то есть А с отрицанием. Здесь есть, повторяю, симметрия между детерминацией – принятой **мною** – **меня** предметом и детерминацией **мною** продукта этой детерминации меня предметом. Здесь есть и симметрия и тождественность «я», в том числе нет разницы здесь между тем «я», которое воспринимает воздействия предмета, и тем «я», которое рождает какую-либо новую мысль о предмете. И вот эта тождественность или самождественность, как ни странно, **разделяет** людей. Повторяю, что для меня абсолютным проявлением априорной злобности другого человека, его дурного характера или дурных намерений было бы то, что он не видит того, что вижу я, и не только не видит, а еще и видит прямо что-то противоположное. Тогда я задаю вам такой вопрос – у нас фигурировала тема эквивалентов... помните – сырость, особый тип впечатлений, которые сейчас я могу такой оттенок привести, кстати, не обладают детерминизмом и, скажем, симметрией; например, ясно, что высокие предметы должны вызывать высокие мысли, а Пруст замечает, что абстрактные и отвлеченные истины пришли ему в голову не от воздействия высокой идеи, а от запаха сырости (деликатно описываемый Прустом запах мочи), – так вот, каким образом, простите, запах мочи может вызвать возвышенные мысленные состояния? Ясно, что возвышенные состояния не есть детерминистический продукт внутренней активности мышления или размышления, это есть продукт действия извне, в

смысле встречи, а она всегда случайна; так же как смерть случайна, но в то же время смерть, как говорит Пруст, – в высшей степени продуктивная сила. Ну конечно, она продуктивная сила, если мы можем организовать свое сознание, пользуясь смертью как символом всякой встречи, к которой мы должны быть готовы. Если яблоко падает, то мы должны быть достойны этого падения, то есть быть там в полноте самого себя, и тогда из него в нас придет то, что из нас простой сообразительностью не могло быть получено. Так же как простой сообразительностью мы не можем составить лицо, оно может только извне к нам прийти и показать себя – а, здарсьте – лицо. Значит, в этом смысле лицо ведь тоже есть эквивалент – чего? – неизвестного, смерти и т.д. (можно этот ряд эквиваленций продолжить). И вот о такого рода вещах, вынутых из детерминизма произведения или детерминизма мысли мною, и возникает утверждение, что не я рождаю мысли, а сам рождаюсь в этой мысли, или родился к мысли, если угодно. По аналогии с выражением *mourir a soi-meme*, умереть перед лицом, умереть к самому себе. Значит, жизнь и смерть здесь одинаковы: жить перед лицом самого себя и умереть к самому себе – оказывается, очень близкие жизненные акты. И, кстати, философы очень давно это хорошо понимали. Я сейчас отвлекаюсь от Востока и возьму прозрачную, рациональную, античную культуру: Платон, прекрасно понимая, что смерть является одним из фундаментальных условий цельности и полноты нашей сознательной жизни, философию определял как упражнение в смерти. Кстати, отказ от детерминизма мысли самим собой – одно из упражнений в смерти, смерти самого себя. И вот такими упражнениями мы можем рождаться в мысли или к мысли, к впечатлению или к встрече с другим человеком – к соединению в какой-то точке с его силами.

И теперь я вернусь к первому пункту – к проблеме соприкосновения. Здесь тоже нам нужно отделаться от наглядной иллюзии: мы твердо убеждены, что мы общаемся – соприкасаясь, в действительности мы общаемся не так. Приведу вам абстрактный пример: есть в физике проблема атомов и картина механистического атомистического мира, в котором атомы движутся, сталкиваясь друг с другом. Физик, владеющий понятием атома, прекрасно знает, что соприкасаются не атомы. Атомы не могут соприкасаться, потому что соприкосновение – мы постулируем атомы как неизменные и непроницаемые – неминуемо означает изменение формы. Соприкасаются тела, а атомы есть понятия или конструкции, посредством которых мы это соприкосновение объясняем. Хотя мы пишем и говорим о столкновениях атомов – имеется в виду столкновение тел, **объясняемое** посредством некоторых атомарных представлений. То есть существуют некоторые не наглядные конструкции, понимание которых и оперирование которыми предполагает, что физик способен не наглядно мыслить, употребляя слова языка; а в словах – «атом» предметное слово, и когда я говорю «соприкосновение», то, значит, я как бы должен предполагать, что соприкасаются предметы, называемые «атомами».

Теперь вернемся к тому, почему, собственно, я ввел тему соприкосновения. Начнем с того, что в прошлый раз мы как бы потеряли людей, потеряли определенные живые существа в том виде, в каком мы их знаем. Приведу высказывание Пруста из его неопубликованного романа «Жан Сантей»: «Человеческое существо мы не должны судить на основании того, что он есть и что не есть он сам, что приходит к нему от его рождения, от его образования, который игнорирует этого другого самого себя, рождающегося в нем позже, и представляет собой единственного, имеющего значение». Есть человек, как мы его видим, как он есть якобы сам, но то, что мы видим, не есть в действительности он сам, а есть то, что родилось, получило в определенной среде определенное образование, или, если угодно, детерминации; и это, получившее образование, родившееся в определенной среде,

детерминированное, обусловленное определенным образом, отличным от других, – оно в самом себе не знает другого, который рождается позже и который единственно и является им самим (вспомните – «второе рождение», «родиться в идее» и т.д.). Мы ведь договорились о том, что «жить» означает развернуть и реализовать **свою** жизнь, а разворачиваем и реализуем мы свою жизнь в свете того, что Пруст называет впечатлениями, или под знаком «встречи». Скажем, яблоко есть впечатление, под знаком которого Ньютон реально осуществляет полноту своей сознательной жизни как физика, мыслителя и т.д. Но мы в категорию впечатлений уже включили и других людей: образы тех людей, которых мы имеем в соприкосновениях с ними. И вот что за мир мы имеем в той длительности, о которой можно сказать, что ничего еще нет в том смысле, в каком Пруст предупреждает: мы должны о человеке, которого знаем, судить не на основе того, что он есть, а на основе того, который рождается позже, – а из чего рождается, ведь мы пока имеем еще не родившееся? Я говорил вам о лаве энтузиазма – та высшая точка, которую Кант называет полнотой чувств, у Пруста называется энтузиазмом и означает то, что в тебе рассыпались всякие очертания, всякие барьеры и ты готов принять любую форму (а любую форму может принять только то, чего еще нет). Так вот, в мире, как бы подвешенном в какой-то длительности того, что еще должно стать, мы никого не имеем. И это, как ни странно, есть условие того, что впечатление, полученное во встрече с другим, может быть продуктивным для реализации мною самого себя, потому что во мне оно должно встретить – что? – пустоту, в которой отсутствует заранее заданный образ другого человека. Это означает избавление – какая-то точка, в которой мы **срезаем** любое психологическое и социальное «я», то есть любое готовое «я» в себе и в других людях. Ведь мы договорились, что срезание в себе самого себя означает, что я с самим собой, действительным, встречу только в точке рождения этого действительного «я». Чтобы оно родилось, место для рождения должно быть освобождено снятием наших, как выражается Пруст, «взаимных эгоизмов», которые как бы есть непроницаемые очертания тел, через которые мы пройти не можем, хотя предполагаем, что именно соприкосновением непроницаемых тел должно произойти общение, если мы действительно соприкасаемся; а в самом себе это означает растворение, расплавление барьеров и нахождение тебя самого в таком состоянии, что ты представляешь собой какую-то магму, «лаву», как выражается Пруст, готовую, как я сказал, принять любые заранее не заданные очертания. И вот, когда мы сняли социальное «я», психологическое «я», только тогда мы начинаем понимать, о чем идет речь, поскольку мы вводим такие условия, которые должны обладать полнотой и совершенством и быть условием возможности определенных предметов, людей – как событий. Чтобы нечто случилось как событие, должны быть выполнены какие-то возможности. Ведь наше волнение (в том, как мы рассматриваем нашу психику) не есть предмет, не есть определенное содержание, а есть **событие**. Событие волнения есть нечто отличное от содержания, – это ведь понятно? Содержание волнения – просто предмет, относительно которого мы предполагаем, что он есть или длится, или случается тогда, когда есть вызывающие его причины. А волнение как событие – это все-таки что-то другое, и нас это именно интересует. В этом смысле – то, что я называл «полнотой», совершенством, обычно в философии называется онтологией – я говорил вам: онтология есть область отношений совершенства. Но ясно, что, когда говорится об онтологии, речь идет об **условиях возможности событий**, а не возможностях или условиях предметного существования, соответствующих вещей. Например, я могу сказать, что условием определенных событий в моей мыслительной жизни является некое выполнение некоторых условий сверхмощного «божественного» интеллекта, и

это не означает, что это есть условие существования Бога как реального предмета в мире. То есть онтология утверждает не существование, а **условие** того, **как** возможны события и **как** возможны предметы. И, оказавшись в этом мире, в котором ничего нет, мы имеем только одно – веру.

Я неоднократно говорил, что вера по определению есть вера во что-то такое, что невозможно без этой веры и что только силой этой веры может существовать. В том числе это относится к тому, что можно – раз мы сняли социальные и психологические определенности «я» – назвать «возможным человеком»; человеком, который есть не это, не это, не то, не то, а всегда возможный человек. И возможный человек есть горизонт того, что могут существовать реальные люди, реальные институции, реальные предметы, потому что если бы не существовало этой пустоты возможного человека (а это – пустота, потому что она не имеет определений), то все, что родилось бы определенным образом, и если ничего другого не существовало бы, в том числе и потенции возможного человека, то есть пустоты, то все, что родилось, давно бы умерло. А мы имеем дело как раз с парадоксальной областью, где новое всегда ново; ново оно, конечно, как потенция, как зерно большего. Я определял мысль как возможность больших мыслей, сознание как возможность большего сознания. Мы ведь анализируем некоторые свойства живых форм, а они парадоксальны. Так вот, вера есть отличительный знак или предопределение, или предназначение того возможного человека, которого я должен высвободить в самом себе. Вера – знак того, без чего возможный человек никогда не вынырнет на поверхность и в мире не будет тогда живого и нового. Ведь поймите, что мы окружены предметами и предметными институциями, которые очерчивают вокруг нас и в нас мир того, что возможно, необходимо, что дозволено, что известно на опыте; известно, что можно так, а не иначе. На опыте мы знаем, что нельзя совершить какие-то поступки, потому что мир устроен так, что в нем именно эти поступки запрещены и совершение их повлечет за собой наказание, мы знаем, что в мире есть сила, а мы слабы, и знаем на опыте, что с сильными мира сего вступать в конфликт нельзя. Повторяю, мы имеем мир, в котором расчерчено возможное, допустимое, дозволенное, необходимое, что можно сделать, а чего нельзя; в том числе ясно, что нельзя нарушить законы тяготения, нельзя взять и взлететь, нельзя пройти по воде. И это есть глубокое непонимание сути дела, сути устройства человеческого существа: известное высказывание «верую, ибо абсурдно», или «верую, ибо невозможно» (можно так варьировать, ближе к нашим делам) считается, так сказать, ярким выражением обскурантизма, мракобесия и прочее, и прочее; никакого отношение оно к мракобесию не имеет, а имеет отношение к существу самого феномена веры и человеческого убеждения, которое состоит в том, что верить можно только в то, что нуждается в моей вере и без этой веры быть не могло бы. А то, что может быть само собой, по налаженным механизмам и законам, не нуждается в моей вере, и, соответственно, веры не могло бы быть в устройстве нашей душевной жизни. Мы только что выявили чистый феномен веры. Когда философы употребляют абстракцию «чистый», они имеют в виду именно такой способ рассуждения: чистая воля есть то (в применении к чему-то), что может держаться только на этой воле и помимо нее не имеет никакого налаженного механизма, чтобы осуществиться само собой, без моей воли. Участие воли в такого рода механизмах есть иллюзия, там воля не выступает в собственном виде; так же как вера – по отношению к предметам, которые в действительности вовсе не нуждаются в этой вере, – есть чисто психологическая иллюзия внесения нами наших психологических состояний, из которых они (предметы) должны быть устранены философской абстракцией, или эстетической абстракцией, которой пользуется Пруст. И вот, пользуясь ею, он в таких случаях говорит:

экспериментальная вера. Вера, которая создает то, что может быть только с верой и что не вытекает ни из каких в знании известных законов мира, знакомых образов, состояний, и эта экспериментальная вера представляет собой как бы экспериментально представленный способ бытия посредством мысли, содержащейся в вере. Я бы назвал – личностно-бытийный эксперимент, или **опыт мысли как бытия**.

И в этой связи у Пруста и появились в разных местах утверждения, что реальность поэзии есть чувство собственного существования. То есть поэзия не есть поэтическое отражение чего-нибудь, поэтическое описание каких-нибудь предметов: леса, неба, людей, социальных событий и т.д., – реальность поэзии есть **чувство собственного существования**. Опять нечто похожее на веру в смысле выделения какого-то феномена в чистом виде. Это же относится и к тем состояниям, в которых мы – не рождаем идею, а **рождаемся в идее**, которая может быть лоном и другого человека, и, рождаясь в идее, мы с ним сообщаемся. И это рождение в идее и есть искомая нами точка соприкосновения с другими людьми. Сделаем такой шаг: когда я вводил понятие веры, я брал его просто как пример, а теперь мне нужно **понятие** экспериментальной веры и поэзии, реальность которой есть чувство собственного существования, где собственное существование есть существование во мне и в других «я», большего, чем я сам и другие, такого, что, когда его испытываешь, не страшно умереть, потому что действительное «я» там заключено, а оно будет везде, где будут это понимать, где будут из-за этого волноваться и т.д. И когда я говорю: реальность поэзии есть чувство собственного существования – это есть существование не моего эмпирического конкретного «я», а того «я», которое позже рождается во мне, и оно не есть эмпирический субъект, носитель своих состояний. Это «я» есть поле возможных событий мысли, волнения, восприятия и т.д., и в этом поле мы можем общаться. В действительности мы друг с другом не соприкасаемся – наглядно и непосредственно. Если бы мы соприкасались, мы наталкивались бы на проблему непроницаемости. В соприкосновении, в наглядном материальном соприкосновении, мы – непроницаемые тела, отгороженные друг от друга многими вещами: экранами, взаимными эгоизмами и т.д. и т.д. Вступаем мы в контакт перетекания из одного в другое (соединение усилий) – не в соприкосновении, – я выражусь на этот раз учено, а **в пространстве функций сознания**, в пространстве того, что я называл «образами». Там мы находимся в контакте соединения и распространения жизни по разным точкам, а не в наглядно видимом нами соприкосновении. В действительности, повторяю, мы, вопреки наглядной видимости, не соприкасаемся и вступаем в контакт не путем соприкосновения. Мы только в некотором воображаемом, или функциональном, если угодно, пространстве можем соединить мысли, состояния, чувства, проникнуть одним чувством в другое или в чувство другого – в пространстве функции сознания.

И вот я ввожу тему, которую можно было бы назвать темой органа жизни, или воспроизводства жизни. Во встрече Ньютона с яблоком ясно, что он видел яблоко, **видимое глазами воображения**. Укажу на парадоксальность выражения, которое не соответствует тому, что обычно мы понимаем воображение как нашу психическую способность или психическую функцию. Воображению приписывается способность представлять отсутствующее, а я говорю о другом: термин «воображение» я применил к восприятию наличного. Я сказал: Ньютон яблоко видел глазами воображения, он не воображал яблока, как обычно думают: я сижу здесь – ни одного яблока нет, я могу закрыть глаза или с открытыми глазами вообразить себе яблоко... вот для чего якобы служит функция воображения. Так вот, возвращаясь к тому, что мы все-таки поняли без этого отступления, – из воображением увиденного яблока в Ньютона

пришло то, что содержалось в этом знаке и что содержалось в нем самом; он прочитал посредством этого знака (как бы вглядываясь в яблоко и увидев его воображением) в себе то, что в нем было и ему было неизвестно. Точно так же, как Пруст (или Марсель, его alter ego), воспринимая сырость не носом, не чувством обоняния, а воображением, читает в сырости то, что есть в нем самом и ему самому неизвестно. В нем самом есть поцелуй матери, а сырость об этом говорит; более того, он читает и пути своей души, потому что в нем же есть – в следующий момент времени – комната «женщины в розовом», тоже неразгаданная... и путь души принимает очертания, – оказывается, комната «женщины в розовом» замкнута запахом сырости: эта дама в розовом есть Одетт, любовь Свана, а любовь Свана к Одетт есть праформа любви Марселя к Альбертине. И тем самым частично начинает проясняться, что я называю соединением в пространстве функции сознания, – я начал говорить о воображении, да? Чтобы пояснить, что значит словосочетание «орган жизни», я снова повторяю, что мы реализуем себя через впечатление, то есть расшифровка впечатлений (прочтение через них того, что есть в тебе и каковы пути в твоей душе) есть реализация сил твоей души. Таким образом, мы имеем дело с условиями **случания** событий, встреч, выбора – не просто предметов в мире, а их же – **как событий** в пространстве каких-то реализаций. Не мысль, которую можно взять как виртуальность (потенциально выполнено), нет, мы имеем в виду реально выполненное восприятие, реально случившуюся мысль – как событие. То, что реализуется внутри события, есть длящееся, нигде заранее не записанное и существующее для нас в какой-то дали и впереди нас самих и сзади. Пустой мир, в котором мы растворили всех людей, есть мир длящегося, в котором еще ничего не случилось, но все случается и длится в том смысле, что ничто нигде заранее не записано, – где записан заранее момент, неизвестный момент смерти? Абстрактно мы знаем, что умрем, а в смысле узнавания – не знания, а **узнавания**, мы не знаем, а когда мы узнаем, мы, конечно, не узнаем ничего нового, но просто это будет живое знание, в котором по абстрактному своему содержанию не будет ничего нового, но отличие будет – какое? – сознание, отличительное, как я говорил вам, выделяющее нас сознание, или топос сознания, место – отличительный топос сознания. Все внешне похоже, а сознание есть отличие как таковое, то есть нечто выделяющее вещь. Так же как «истина, похожая на ложь», выделена лишь сознанием истины, и когда она похожа на ложь, то нужно молчать, потому что любое выражение имеет уже готовые свои эквиваленты, в которых мы не способны узнать нашего сознания. Эквиваленты кривляются – так же, как кривляются наши образы у других людей или образы других людей у нас. Люди распяты на своих образах, и вот то, что они есть, есть **сознание их отличия** от этого образа.

Значит, в длящемся, где нигде заранее не записано и далеко, – должно только стать. И я говорил вам, что это есть пространство держания времени, которое предполагает мужество невозможного, потому что в этом пространстве приходится ждать, чтобы другие люди что-то сделали; хотя мы знаем, что это почти невозможно, но мы должны давать им шанс и верить – без веры и любви держать время нельзя, – верить абсурдно и любить бескорыстно. Верить, потому что абсурдно, и любить, потому что не к чему, не за что и ничего из этого не извлекаю. Но, как говорил Пруст, как есть иногда красота врага, в которой отсутствуют причины ненавидеть его, так есть красота друга, в которой тоже, увы, отсутствуют причины любить его. И, кстати, такое высказывание появляется у Пруста в ситуациях, в которых происходит перекачка сил из точки в точку (соединение людей), в ситуациях, когда есть какая-то полнота присутствия. Помните, я вам описывал: маркиз Сен-Лу, по спинкам кресел пробегающий, – так сказать, эпифания полностью собранного,

владеющего движением тела. Тело полностью совпадает с движением и не содержит никаких вещей, которые это движение блокировали бы, или искажали бы, или направляли бы его в другое русло. Тело, полностью слитое со своей идеей или мыслью, или с функцией движения в данном случае. Человек, который полностью дарит себя другому, – он здесь, весь в настоящем, вопреки сзади него стоящим точкам пространства и времени, которые его друг Марсель, которому он дарит себя, не мог бы охватить, и они составляли бы для него как раз то пространство бесконечного бега, когда мы хотим охватить все... владеть Альбертиной: владеть точкой ее пребывания на холмах Шомон в Париже, точкой пребывания ее в Гренобле и т.д. и т.д., весь мир, на который распростерто предо мной данное тело; владеть этим телом, владеть, если любишь его, всеми точками, на которых оно было распростерто: где оно что-то переживало, с чем-то встречалось; но это невозможно, они здесь не даны, ведь Альбертина не полностью присутствует в этом контакте, и контакт не проходит. И вот обратный случай – как раз там, где красота друга такова, что не содержит в себе причин любви, так же, как красота врага не содержит причин ненависти к врагу, – нечто, что есть полное. Пруст и говорит, что его друг «существовал предо мной весь и полностью в настоящем». То есть – не уходя хвостами в другие непроходимые и неохватываемые точки пространства и времени; он как бы собрал себя, и вот – дар. И этот дар – выше причин любить; так же как иногда дар врага, если прошла истина от него в меня обо мне самом, – мы должны быть благодарны нашим врагам за то, что, из их ненависти к нам мы узнаем о самих себе (снова я очерчиваю некоторые условия прохождения или непрохождения контактов).

Так вот, **полнота** и **совершенство** есть характеристики того, что я назвал органом жизни; жизнь как бы воспроизводится и проходит через этот орган, чтобы родиться и осуществляться и реализовываться уже на его основаниях, а не та, как она была в разбросанном потоке органической жизни. Возникает орган жизни, или **живая форма**. Чтобы у вас ход мыслей замкнулся, я напому вам очень глубокое и странное определение физики. Физика, мы знаем, есть опытная наука. То, что я сейчас говорю, ассоциируйте со словами «жизнь» и «орган жизни». Опыт – как если бы я сказал «жизнь». (Сейчас я отвлекаюсь от того, что опыт содержит в себе опыт в собственном смысле, эксперимент, теорию; я беру в широком смысле слова – опыт как опытное знание.) Значит, физика есть исследование природы путем опытного знания, да? Так вот, однажды Кант (опять я к одному из своих любимцев возвращаюсь) обронил фразу, что физика есть не познание мира опытом, а познание мира **для опыта**. (Или: орган жизни не как способ жизни, а орган жизни для жизни. Жить посредством органа жизни.) Та же самая мысль, что и прустовская, – познание есть некоторая конструкция, некоторое построение. И то испытание, которое получено **в результате познания**, и есть истина.

ЛЕКЦИЯ 33. 4.05.1985

Продолжим тему особого рода впечатлений. Я остановился на том, что называл органом жизни, в смысле коррекции недостаточности жизни самой по себе. Надеюсь, вы помните потрясающую встречу Жюльена и Шарлю, когда они (Пруст вводит тут животную метафору) вьются друг вокруг друга, как какие-то экзотические животные: один из них выступает в виде растения, а другой – в виде пчелы, готовой оплодотворить это растение (ну, вы знаете, что педерасты, как и лесбиянки, узнают друг друга мгновенно). И это впечатление, скрывающее некоторую реальность, то, что есть на самом деле, пока для Марселя является именно впечатлением – та самая категория восприятий, которые содержат в себе пути продумывания, являющиеся одновременно и путем жизни – судьбой того, кто продумывает. Скажем, Марсель разглядывает

Альбертину, – это и есть впечатление в том смысле, что, как пишет Пруст, «это было целое состояние души, целое будущее существование, которое приняло передо мной аллегорическую и фатальную форму молодой девушки». Что-то, что говорит нам на незнакомом языке о путях нашей души и о нашей судьбе. Это не просто предмет – Альбертина, любая возможная женщина, обладающая какой-нибудь привлекательностью, – а целое состояние души, будущее существование, принявшее аллегорическую и фатальную форму молодой девушки. Напомню вам в связи с этим, чтобы пояснить тему живого знания или познания, первое впечатление Марселя от Шарлю: сначала он показался Марселю женщиной (издалека он не разобрал); но дело в том, что то, что показалось Марселю и что сразу же развеялось, потому что он разобрался, что перед ним мужчина, аристократ и т.д., то, что показалось, и было истиной, которую не знал Марсель. Шарлю показался женщиной, «но он и был женщиной». Помните, я говорил вам: впечатление – в неустойчивом противостоянии: ты не знаешь, что это – куст или человек, белое или черное, зло или добро, истина или ложь, здесь – женщина или мужчина; и ты застреваешь в неустойчивом противостоянии между качающимися и переходящими одно в другое состояниями: мужчина, оказывающийся женщиной, или женщина, оказывающаяся мужчиной, истина, оказывающаяся ложью, или ложь, оказывающаяся истиной; показался женщиной – «но он и был женщиной». Хочу напомнить вам в этой связи, что эта проблема хорошо видна в живописи Возрождения, в особенности у Леонардо да Винчи. В трактате Леонардо да Винчи о живописи художник разглядывает стену, покрытую пятнами. Мы по обычаю и по традиции представляем себе, что художник смотрит на стену как на то, что он должен перерисовать, то есть в красках и в рисунке, в линиях создать имитацию того, что он видит, а именно, стены, покрытой пятнами. Но в действительности сам факт долгого разглядывания – пребывания в неустойчивом противостоянии – есть разглядывание в ожидании, что эти пятна предложат художнику (если он достаточно долго подождет) что-то соответствующее идее, которую он еще не знает. Значит, разглядывая внешнее, я узнаю ту идею в себе, которую я сам еще не знаю, и узнаю тогда, когда, когда ударом случая это нечто станет эквивалентом, или будет соответствовать идее во мне, – тогда я ее узнаю и сам рождаюсь в этой идее, потому что, разглядывая что-то, художник ищет самого себя. Создавая портрет Моны Лизы, художник дешифровывал в нем (в портрете) секреты **своего** бессознательного, ему самому неизвестного, и любил он в Моне Лизе – так же, как Марсель любил в Альбертине мир Альбертины, то есть всегда другое, чем сама Альбертина, – «бесконечное природы, которое само себя не знает». Есть какая-то бесконечность потенции в самом Леонардо, и он любит эту бесконечность, неизвестную ему самому, любит ее в Моне Лизе, которая ему открывает собой его собственную бесконечную и неизвестную ему потенцию. И в каком-то смысле мы должны считать, что в теле художника, как в особом теле, в каком-то органе видения, который не есть просто глаз, в этом теле художника предопределено живописное видение. То есть живопись будет живописанием того, что в качестве некоторой модели уже содержится в душе художника и только всплывает из нее. И поэтому знание Леонардо определял как **углубление духа**, а не как познание внешних вещей. Я уже говорил в связи с проблемой эквивалентов, что мы именно **встречаемся**, – это не есть какая-то мысль, к которой мы внутренним головным движением приходим как к конечному звену в цепочке наших рассуждений; мысль, которая есть в конце цепочки наших рассуждений, мы ищем, – а Шарлю, похожего на женщину, или Мону Лизу, содержащую в себе секреты, мы не ищем, мы с ними можем только случайно встретиться. И это означает, что у нас размываются категории внешнего и внутреннего, и размывается наше право их употреблять в том

определенном и четком смысле, в каком они вообще в познании употребляются. Мы здесь явно не имеем дела с познанием внешних вещей; в то же время мы не можем сказать «внутреннее», потому что это происходит не внутри нашего ментального движения (надеюсь, вы помните о некотором движении, которое есть выворачивание в некотором пространстве); здесь перевертываются отношения внешнего и внутреннего, выворачивая движущегося в жизни человека.

И тем самым, говоря об органах жизни, я имел в виду следующее. Представьте себе: есть расстояние между Марселем, которому Шарлю показался женщиной, и Марселем, который знает, что Шарлю – женщина; есть расстояние между Леонардо, который разглядывает вдруг каким-то сочетанием поразившие его пятна на стене, и Леонардо, который наконец открывает какое-то их **соответствие** идее в нем, которое он не знал, – расстояние между незнающим и знающим, условно назовем его так. И вот в это расстояние между мной и мной вмещается целая толпа людей, событий. В данном случае мы говорим о людях, которые подают нам знак, говорящий нам какую-то истину о нас самих (она в нас уже есть, но мы не знаем). И вся проблема в том, что я могу воссоединиться с этой толпой, то есть открыть себя и воспринять, в открытом своем пространстве воспринять то, что они мне говорят, восполниться их знаниями, – потому что я сам не все могу получить, а пользуясь знаниями других или знаниями, которые содержатся в других точках или в других перспективах, в других точках зрения, я смогу восполниться, – если смогу пройти отгораживающие меня от них различия: исторические, социальные, культурные. Есть, конечно, различие между Марселем и Шарлю, которое нужно пройти (что довольно трудно сделать), различие простое: Шарлю не только – мужчина, а не женщина, а еще и мужчина, принадлежащий к славному аристократическому роду, оваянному именем Германт, а это имя уже заранее содержит в себе образы, которые никакого отношения к истине, к которой нужно прийти, не имеют, и в этом смысле отделяют меня от самого себя, то есть от впечатления во мне. Ведь Шарлю показался мне женщиной, и я должен прийти к тому, что он сам на самом деле есть женщина, а я от этого отделен своими глазами, в которых я вижу аристократа, принадлежащего к роду Германтов, и тем самым я отделен от самого себя своим же умом, в котором содержится значение смыслов слова «Германт» и содержится не только имя, но и целая страна этого имени, то есть еще громадная, необъятная область, отделяющая меня от меня самого. Значит, я утверждаю, что **неохваченные точки** стоят **между** мной и другим человеком, между мной и мной самим – и разделяют. Ведь то, что я назвал впечатлением, не есть какое-то содержание, которое полностью содержится в той точке и в том моменте, когда оно случилось. Более того, оно там не неподвижно, так, чтобы быть некоторым статичным носителем каких-то свойств или качеств, которые можно увидеть. Повторяю, на поверхности оно видно в виде точки, – скажем, улыбка Альбертины, которую я разглядываю, какой-то жест Шарлю или какая-то поза тела, заставившая издали принять его за женщину, но – не в той точке пространства и не в том моменте целиком содержится, а, как ни странно, все это распростерто на многие точки, которые мною не охвачены, и неохваченность этих точек и отделяет меня от меня самого и меня от других людей, – потому что другие люди ведь будут идти по этим точкам, то есть по тому, что они есть сами, будут идти по тому пути, какой прокладывается их природой, а не тем, что я о них думаю, и рано или поздно я носом уткнусь в реальность, отличающуюся от того, что я сам думаю и какие образы есть у меня в голове,

И вот здесь Пруст ставит перед собой загадку социальных отношений, то есть того, каковы люди – реально – во взаимоотношениях друг с другом и со

мною, и все время к этому его ведет вещь, о которой я говорил вам неоднократно, а сейчас напомним цитатой: «...истина не обязательно должна быть высказана словами, чтобы быть явленной, и ее более надежным образом можно ухватить, не ожидая слов и даже никоим образом не считаясь со словами, в тысяче внешних знаков, даже в некоторых невидимых феноменах, которые в мире характеров подобны тому, что в физическом мире является атмосферическим изменением». В физическом мире мы ощутили неуловимое изменение воздуха, и более надежно, чем слова, мы можем ухватить это во **внешних признаках**, то есть в вещественных симптомах. Потому что в обмолвках Шарлю узнает Марсель, что тот не мужчина; но обмолвки ведь не являются словами, обмолвки ведь не есть рассудочно и волей и сознанием контролируемое и мне передаваемое сообщение, – это как раз то, чего мне не хотят передать, то, чего не было в голове говорящего в виде ясной ментальной картины, для которой он подыскал бы словесное выражение и мне передал бы. (Значит, обмолвки – это то же самое, что вещи, то же самое, что атмосферное давление, Громадная категория духовных явлений берется Прустом на уровне совершенно вещественном, лишенном внутри себя сознательно намеренного и волей контролируемого сообщения.) Как раз это были бы слова, на которые полагаться не нужно; и чаще всего Пруст говорит, что он был идиотом всю свою жизнь, что ожидал, что истина есть нечто сообщаемое именно прямым образом – словами, и он может ее найти там, где ее скажут. Нет, оказывается, истина всегда есть **предмет** и **результат** интерпретации того, что он называет «тысячей внешних знаков». Так вот, люди-впечатления или люди **как впечатления** есть как бы разглядываемые натуральные знаки, а не человеческое сообщение, с которым мы заранее находились бы уже в некоторой связи понимания. Почему это, собственно, нужно? Да по одной простой причине: событие, то, что есть, не содержится в той точке и в том моменте, когда я его вижу или когда оно говорится. Оказывается, то, что происходит в невидимых глубинах, протянуто на многие точки, которые мною не охвачены; а если они мною не охвачены, я отделен от другого человека, или отделен во мне самом от себя, или от смысла, который во мне же уже есть. У меня же есть ощущение сырости, во мне же есть фигура Шарлю, явно женская... – это все есть во мне. И вот в связи с разглядыванием Альбертины, потом в связи с размышлениями о страшной реальности, которую открыл ему Жюльен в неожиданной встрече Жюльена с Шарлю, когда они кружатся вокруг друг друга, как кружилась бы шмель вокруг цветка, – рассуждая обо всем этом, Пруст говорит: «Не так ли это в социальных отношениях? И куда все это меня может привести... Это было секретом будущего. Но пока я убедился в том, что невозможно прямым образом знать, любит ли Франсуаза меня или она меня ненавидит». А Франсуаза что-то такое сказала Марселю о Жюльене, что совершенно противоречило его представлениям об этом человеке и открывало ему страшную реальность, но пока эта реальность непонятна, слова Франсуазы кажутся ему просто злобой и желанием обидеть, хоть чем-то уколоть его (Марселя). Но он не поддается уколам – героическое сознание, которое остается внутри впечатления, не спеша разрешить его удовольствием, практическим действием, в том числе злобным решением. Что такое практическое действие? Франсуаза сказала что-то такое непонятное, и, вместо того, чтобы застыть в вызванном неприятном ощущении, остановиться внутри него, я делаю какой-то злой вывод о Франсуазе – это и есть практическое действие. Так что мы должны слова «практика», «мысль» принимать в совершенно особом виде: недостаточно того, что состояние, в котором я был, разрешилось, то есть бесследно использовалось и ушло, – мне было бы полезно, для истины и для моей

душевной жизни, остановиться в нем. Например, не ответить пощечиной на пощечину.

Я предупреждал вас, что истины духовного порядка имеют символический смысл; отсюда нельзя делать вывода, что никогда в жизни, если тебя ударят, не ответь ударом, – да нет, не об этом идет речь. Речь идет о некоторых наших встречах с миром, о которых есть символическая истина, такая, что нужно подвеситься в страдании, нужно подвеситься в испытании, и тогда можно стать на путь раскручивания того, что случилось, что произошло. Так вот, Марсель все-таки задумался: «Впервые Франсуаза подала мне идею, что человек, вопреки тому, как я думал, не стоит в ясно очерченном и неподвижном виде перед нами со всеми своими качествами: недостатками, намерениями, интенциями по отношению к нам, как сад, который мы рассматриваем, с его газонами, через решетку...» Мы стоим перед решеткой и сквозь решетку разглядываем сад с его газонами, он весь перед нами в том месте и в тот момент, когда он случается. Но человек, несущий или давший нам впечатление, и вообще событие, давшее нам впечатление, не только люди, – даже пирожное «мадлен» тоже не так расположено, как этот сад, рассматриваемый сквозь решетку, – значит, не так расположен, «... но является *une ombre*, облаком-тенью, куда мы никогда не можем проникнуть, для которого не существует прямого знания, по поводу которого мы составляем себе многочисленные верования с помощью слов и даже действий, которые, и те и другие, дают нам неполные и, впрочем, противоречивые сведения...» – стилистически невозможно прустовскую фразу перевести не только устно, но и письменно; там было «но» – противопоставление, потом повторяется «но облако-тень», чтобы завершиться действительно блестящей метафорой, – «...но является тенью-облаком, из которого, как мы можем вообразить себе, всегда, с тем или иным правдоподобием, сверкает молния – или ненависти, или любви». Как видите, все сомкнулось в хорошем образе: темное, грозное облако, из которого сверкает молния, но с одинаковым правдоподобием – молния любви или молния ненависти. И значит, у нас есть не одна точка, в которой что-то происходит в явном, очерченном виде (будучи как бы носителем тех или иных качеств, свойств или характеристик), а у нас есть целое облако точек. И поэтому я говорил, что как раз те точки, которые не охвачены, те точки, в которые тайным образом проникла на поверхности наблюдаемая нами какая-то фитюлька, какая-то мелочь, – эти точки мы должны охватить. И не случайно снова появляется тема молнии, тема некоторой, я бы назвал, пифагоровой сферы. То есть мир Пруста устроен так, что истина – то, что есть на самом деле, – не в точке происходит, а есть целое облако точек. Пространственная характеристика – истина **распростерта** на многие точки, которые надо охватить, распростерта тайно. Но есть и временная характеристика: истина не только распростерта на множество точек, она еще дана и являет себя только **одним мигом**, сотрясая нас мгновенно и столь же мгновенно уходя от нас в какую-то даль, и, кстати, забирая кусочки нас самих в эту даль, не спрашивая у нас разрешения, и без нашего знания об этом расплываясь нас тоже в этой дали. У Питера Брука есть хорошая завязка этой пифагоровой темы с одной из разновидностей театра (он выделяет метафизический театр, психологический театр и т.д.), с метафизическим театром, то есть таким театром, который представляет собой драму души, разыгрываемую в вечности, или трагедию человеческой истории, или трагедию судьбы человека, собранную в рамках драмы (написанного произведения), где речь идет о том, что трагедийная структура есть такая структура, которая, возникая после пифагорового удара, то есть после мгновенного удара истины, позволяет собрать (является собирающим началом) и позволяет не рассеяться тому, что неминуемо рассеивается в силу закона времени, потому что того, что подействовало

мгновенно, мы не можем удержать, оно рассеивается. Так вот, проблема прустовского мира есть проблема собирания себя под знаком того, что лишь на одно мгновение дается, и в это мгновение нужно успеть. Я приводил вам цитату из Евангелия от Иоанна в связи с симптоматической ошибкой Пруста, когда он допустил *lapsus linguae*. Поскольку Пруст имел постоянную тему души, то он всадил слово, соответствующее теме его души, в канонический текст и был уверен, что цитирует его правильно. Он цитировал Иоанна таким образом: «Работайте, пока свет вам». Канонический текст гласит: Доколе свет с вами, ходите». (Во французском тексте, евангелистическом, стоит *marchez*) «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Возможен и другой вариант перевода: «Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока свет с вами». Значит – тема неупущенного маленького или минимального интервала. Одновременно она есть и у Пифагора, и поэтому я говорю о пифагоровой точке или о пифагоровой сфере. Точка ухождения истины: мгновение – и она ушла. Истина уходит в даль, образующую сферу, а по этой сфере уже растасканы и разбросаны кучки нас самих. Понимаете, в то мгновение, когда Марсель принял Шарлю за женщину, он не остановил мгновения, чтобы расширить его и, пока оно светит, понять, – оно ушло в подземелье и утащило куски собственной души Марселя в такую даль, куда Марсель целым движением жизни должен прийти, чтобы узнать, что Шарлю, действительно, – женщина. Это громадный объем. И следовательно, у нас есть минимальность максимума; молния есть наименьшее, что может быть от истины, меньше этого не может быть, но и то, что есть, это – миг; и в то же время – миг, растянутый на какой-то максимум. И в каком-то смысле можно сказать, что вообще человеческие существа, чувствующие и сознающие, есть существа максимума-минимума, существа пифагоровой сферы: те события сознательной жизни и духовной жизни, и исторической жизни, которые случаются с ними, случаются по законам этой сферы, очерченной максимумом и минимумом.

Предупреждаю вас, что я протаскиваю тему впечатлений одновременно с тем, что я называл «органом жизни». Значит, то, что мы увидели относительно свойств пифагоровой сферы, в которой оказываются живые существа, впечатления которых характеризуются мгновенностью, – а истина характеризуется разбросанностью, прорастанием в неохваченные точки, и мы не можем о том, что есть на самом деле, судить из прямого ментального содержания, сообщаемого нам посредством слов и значений, в том числе потому, что жизнь сознания иначе расположена, – то, что происходит и что нам кажется жизнью, характеризуется фундаментальной **недостаточностью** и **неопределенностью**. Ну, в жизни ничего не удастся. Вот мы в жизни встретили Бога и не узнали его. Встретили. Не узнали. Скажем, евреи по определенным причинам (я бы сказал, топологическим причинам своей души, то есть скрытых точек) не узнали и сейчас не знают Христа. Был в мире Христос, и мир тем самым был устроен определенным образом, и его не узнали. Мы ведь все время имеем дело с такой областью, где истина уже существует, и занимаемся анализом того, какие есть возможности у людей знать, понимать уже существующее, или почему они не понимают уже существующего и прямо перед носом стоящего. Или – пришел в какую-то точку свидания с самыми лучшими чувствами, но они не прошли в того человека, с кем у меня свидание, уперлись в стенку какого-то непонимания: он просто был не в настроении, он был на другой волне, а я был на волне своего воодушевления, – не прошло, не сложилось и т.д. Можно перечислить тысячи вещей, в силу которых наша реальная жизнь – физическая, духовная, психологическая – неполна, несовершенна, не срабатывает, не реализуется. Именно там, где нам нужно помнить то, что мы знаем, именно в тот момент, когда нам нужно имеющееся у нас знание, оно у нас выскакивает из головы и нам не годится. Или есть какая-

то точка, где нужна какая-то способность нашей души, и мы ею, в общем-то, обладаем, но, как говорит Пруст, мы никогда не находимся в полноте наших собственных возможностей, мы не можем все сразу и т.д. И вот та тема, которую я называю «органом жизни», есть нечто, что в самой жизни существует как **форма**, на основе которой (а не естественной стихии) начинают протекать какие-то процессы в ином, связанном виде на каких-то условиях полноты и совершенства. Беда в том, что жизнь недостаточна еще и в том смысле, что наше незнание или неузнавание, наше невладение собой, отсутствие координации с другими – дискоординация, которая не является ничьим злым намерением: если я пришел на свидание с лучшими чувствами, а другой был совершенно в другом настроении и не воспринял, то я не могу приписать это его злобе: что-то было нарушено в условиях координации или – судьба, случай, – и здесь мы тоже говорим о какой-то нашей невозможности реализовать нашу реальную жизнь. И эта невозможность реализовать реальную жизнь распространяется и на простейшие акты нашего понимания. Я говорил вам о так называемых полусуществах, полуумах – таких органических образованиях, которые являются промежуточными созданиями только наших побуждений, наших намерений, а не формами и машинами их действительного осуществления. Первые, несовершенные машины, в которых воплотился не столько полет, сколько желание полета. А что является полной формой? – не желание полета, а действительно летящая машина, – то есть выполняющая в полноте все условия данного акта; в области эстетики, скажем, вместо восклицания «ах, как прекрасно!», «ах, как хорошо!», «ах, какая очаровательная женщина!», «ах, как приятно ее поцеловать!» – продуманная и доведенная до конца мысль, не оставшаяся на уровне того, что французы называют *vellé ité*, побуждения, потуги природы, которые выливаются в несовершенные создания (напоминаю вам миф Эмпедокла: несовершенные создания, у которых глаз был на затылке или голова была совмещена с пяткой и т.д.; которые, по мифу Эмпедокла, потом были отсеяны эволюционным отбором). И вот проблема состоит в том, что наша духовная и психологическая жизнь полна такого рода полусуществ, полуумов, полуслов и даже – полулиц. А лицо – или есть целиком, или его нет. И большая часть нашей жизни не доходит до того, чтобы иметь лицо. И беда в том, что жизнь разносит даже то, что уже имело какую-то завершенную форму; сам поток времени превращает то, что было интеллигентным, в невнятные слова, которые мы в действительности не можем прочитать. Как по определению мы не можем прочитать слов марсиан, по такому же определению мы не можем прочитать слов многих исчезнувших цивилизаций. Более того, мы не можем прочитать многих слов вокруг себя, которые, как говорил Пруст, будучи сказаны, потом преломляются в определенной среде и на конечном своем выходе появляются в таком искаженном виде, что могут вызвать смех во всем космосе (а я этого не говорил, я сказал что-то другое, но слово в силу каких-то законов стало невнятным).

К чему я это веду? Я веду к более серьезной и жесткой проблеме: в действительности, когда нам кажется, что мы читаем смыслы, мы просто вчитываем то, что не содержится в этих смыслах. А ведь смыслы мы получаем, читая определенные комбинации элементов. Скажем, на песке есть некоторая комбинация, которая называется нами «следом человека»; эта комбинация могла случайно возникнуть, ветер мог уложить песок таким образом, что нам это могло показаться следом, но мы читаем, и следовательно, видим здесь осмысленную форму, содержащую человеческую интенцию. Вопрос в том, **что** мы можем таким образом читать и **чего** мы не можем, и не бывали ли такие ситуации, когда мы не читаем, а **вчитываем** то, чего там не содержится. Витгенштейн сказал бы, что мы не читаем того, что в картине содержится; мы

водим взглядом по рамке – раз провели, еще раз провели, и все время повторяем хождение по рамке, а того, что содержится в самой картине, не читаем. Пруст говорит, что нет прямого знания о человеческом лице, о человеческом существе, потому что в действительности оно не есть в той точке, где мы его видим (и не в тот момент времени), и есть какие-то простирания в неохваченные точки, в которых мы не можем увидеть. Помните: Робинзон шел по пляжу (одно из решающих душевных событий у человека, который знал, что он один на острове, и весь мир строился как мир Робинзона) – и вдруг он увидел на песке след ноги; он прочитал его как след ноги и оказался прав, но ведь не всегда так бывает. И тогда – у нас нет прямого знания – мы создаем верования с помощью слов и даже действий, которые не дают нам действительного полного знания или дают противоречивое знание. В истории философии давно существует эта проблема, и я приведу ее вам словами Декарта: «люди и автоматы в садах наших королей». (В те времена увлекались созданием механических фигур, похожих на человеческие, которые делали человеческие жесты и, может быть, даже могли бы произносить звуки, похожие на человеческие слова; эта тема называется темой духовных марионеток.) Я задаю вам простой вопрос: чем отличается жест, который делает автомат, от жеста, который делает человек? Ведь в случае автомата, если мы читаем этот жест как человеческий, мы вчитываем состояние человеческого сознания в смысл, который якобы выражается жестом, а в действительности это чисто механический жест. Так же как след на песке мог бы быть случайным: силой ветра, сочетанием песчинок, принявших случайную форму человеческой ноги, которая для нас есть осмысленная форма. Перед нами стоят духовные автоматы в одном фундаментальном смысле (я его частично вводил в связи с онтологией или укорененностью сознания в бытии): ничто в материальном составе чего-то не говорит нам о том, что там есть смысл или значение. То есть, сравнивая духовные автоматы или духовные марионетки с человеком, я фактически высказал следующую мысль: возьмете ли вы человека, возьмете ли вы автоматы, и поэтому, собственно, можно сделать ошибку, возьмете ли вы то или другое, ничто из материального состава того, что вы видите, ни о чем не говорит. Я вижу предметы глазами – они все организованы аккомодацией многочисленных частей моего зрительного аппарата, так что я вижу их как предметы, но ни один из них не говорит о том, что я или кто-то видит их глазами (я приводил вам это рассуждение). Если допустить, что кто-то другой может видеть в поле моего зрения находящиеся предметы, то из наблюдения этих предметов он не может заключить, что эти предметы видны глазами. Приводя вам примеры социальных институций, я утверждал, что институции сами по себе ни о чем не говорят, если мы уже заранее не приобщены к какому-то внутреннему элементу, который я сейчас, метафорически, называю «глазом». Ну вот марсианин наблюдал театральное представление, на котором люди делали жесты и говорили слова; допустим, у него есть возможность каким-то способом соотнести положение руки человека с каким-то предметом: я показываю на стол, марсианин скоординировал стол и определенное положение моей руки и расшифровал это как указующий жест... Все элементы театрального спектакля могут быть поняты по естественной теории значений: знаки означают некоторые ментальные образования и предметы, тройственное содержание знаков, – но ничто из этого не говорит о том, что разыгрывается театр. И нет ничего такого в этом составе элементов, из чего можно было бы заключить, что перед нами разыгрывается театр, – если у нас нет понятия театра. Или пример с Аверроэсом: он наблюдал сцену и не мог понять, что это театр, и, соответственно, переводил слова «трагедия» и «комедия» у Аристотеля очень смешным образом, совершенно не соответствующим делу.

Так вот, дело в том, что перед другими людьми мы находимся фундаментально в этой ситуации: не только объемы, занятые событием, жестом человека, словом, лицом, не только объемы точек, занятые этим событием, скрыты от нас и не содержатся там, где мы их просто видим глазом, – еще стоит и стена, которая есть или отсутствие внутреннего присутствия (по аналогии – имею понятие «театр» или не имею понятия «театр»), или присутствие, внутреннее. То есть – или я уже приобщен к внутреннему понимаемому элементу, лишь в свете которого предметы получают тот смысл, который они имеют, а сами отдельно для внешнего наблюдения не говорят об этом смысле, или я не включен в этот внутренний понимаемый элемент. И этот внутренний понимаемый элемент есть то, что называется **формой** (или «органом жизни»), которая, так сказать, компенсирует (или корректирует) недостаточность или неопределенность самой жизни. Потому, что события в мире доопределяются в их «органах жизни», именно потому они недоступны внешнему наблюдению, – если у внешнего наблюдателя нет того же самого органа. Если бы физические события были бы вполне определены и достаточны без включенности в них процессов понимания и сознания, то тогда этой проблемы, о которой я сейчас говорю, не было бы: физическому, внешнему наблюдателю они были бы так же открыты и доступны. Вот, например, в связи с невозможностью решить вопрос: любит его Франсуаза или не любит, вообще как она к нему относится, и потом тут же опять вспоминается Жюльен, приоткрывший окно над какой-то страшной реальностью, над реальностью Содома, которая страшна для Марселя (есть какое-то подозрение или предположение о ней – пугающая реальность) – Пруст пишет: «... может быть, всякая реальность так же непохожа на ту, которую, нам кажется, мы прямо воспринимаем и которую мы конструируем посредством идей, которые не показывают себя, но тем не менее являются действующими, так же как деревья, солнце, небо не были бы такими, какими мы их видим, если бы они познавались бы существами, у которых глаза были бы иначе устроены, чем наши глаза, и которые давали бы о деревьях, о небе, о солнце эквиваленты, но не визуальные». Обратите внимание: здесь есть идеи, которые не показывают себя, но **действуют**. Идеи, не показывающие себя, но действующие, – это то же самое, что понятие «театра» в театре. На сцене играют актеры, совершаются реальные физические действия, произносятся слова, психологически и духовно понятные и проч., – а непоказывающей себя идеей, но действующей (такой, которая определяет, что это есть именно театр, является здесь **понятие** театра, которое мне может быть неизвестным. И когда я смотрю на жесты Шарлю, то я ничего не понимаю, и наоборот, – понять могу, не просто поняв их как сообщение по содержанию самого жеста (или по содержанию слова), а сначала оказавшись – где, – в органе, там, где это производится той скрытой, не показывающей себя, но действующей идеей (этот орган имеет и физический оттенок). У Пруста здесь фигурирует и идея, и некий орган, который может не быть нашими глазами (да и глаза эти не есть те, которые прямо смотрят, то есть они не есть физические наши глаза). Значит, нам здесь нужно вытащить две вещи: первое – **действие** идеи (назовите ее формой или понимаемым элементом) и, второе – действующая и не показывающая себя идея связана всегда с некоторым типом **чувствования**. То есть речь идет о чувствующей или чувствительной, **сенситивной** форме, отличной от наших физических органов чувств. Это не есть те глаза, которыми мы видим прямо, потому что этими глазами мы видим и слышим Жюльена, Шарлю, и слышим и видим, ничего не понимая, или – слышим и видим, **вписывая значения**, составляя себе многочисленные верования с помощью жестов. Так же как Аверроэс составил себе верование с помощью слов, написанных в трактате Аристотеля, или с помощью жестов, которые делали

мальчики во дворе (что, с точки зрения любого человека, имеющего понятие «театр», означало, что эти мальчики играли в театр). Только в эти жесты и в пение, то есть в слова, Аверроэс вложил то, что Пруст называет *croquances*, верования, составляемые посредством наблюдаемых жестов и слышимых слов. А физическая сторона этого дела – **некоторый орган, являющийся формой, то есть и идеей, и чувствилищем, которое создает эквиваленты**, – в этом случае какое-то существо могло создать эквиваленты о видимых нами предметах и видеть их, например, посредством (почему этого нельзя допустить?) тепловых образов. (Тема некоторых феноменальных состояний, где – на уровне феномена – у нас есть другие чувствования: там тепло должно быть феноменом, а не теплом-ощущением, которое мы испытываем. Я вынужден это опустить, потому что это завело бы нас в такие дебри, из которых мы в ближайший год, наверно, не выбрались бы.)

Так вот, некоторое физическое чувствилище, не имея глаз, создавало бы о видимых нами деревьях, солнце и небе нечто, что тоже было бы эквивалентом, то есть – постижением и пониманием. Образом. И назовем это, условно, чувствилищной или чувствующей, сенситивной формой. У нас промелькнуло здесь слово «эквивалент»... но мы эквивалент уже частично знаем. Например, мы знаем, что сырость, взятая не как ощущение сырости, а как впечатление, есть эквивалент некоторого душевного состояния. Мы ведь говорим все-таки о чувствах... но странно, о каких чувствах мы говорим? Например, Леонардо да Винчи разглядел что-то в пятнах на стене, и то, что он разглядел, – **эквивалент его состояния**. Мы не получили **это** логикой, мы не получили это рассуждением, и мы не получили **это** восприятиями, ощущениями наших органов чувств. А это – чувства. Пруст будет называть такие чувства «бесконечным чувствованием» и, как ни странно, будет ставить «бесконечное чувствование» в одном ряду с «разумом» – разум, или бесконечное чувствование. Оказывается, мы уже выделили это чувствование, связанное с органами жизни, но – в особом смысле слова. То есть те органы, которые восполняют жизнь в самой жизни, – с ними мы уже связали особые чувства. Значит, мы уже знаем одно отличие того, что есть бесконечное чувствование, от того, что есть просто чувство; мы говорим о чувствах, которые не есть ощущения наших органов чувств (не ощущение сырости, а впечатление сырости – эквиваленция), – какие-то особые чувства (или чувствилище), которые не есть данные нам природой органы чувств. И в связи с этим нам нужно закрепить словечко «бесконечное». Леонардо да Винчи считал так: хотя природа начинается всегда с принципов и кончается опытом, мы вынуждены делать обратное (идти обратным путем: начинать с опыта и посредством его идти на поиски принципов). Почему мы должны искать эти принципы, если принципы есть нечто, что мы на опыте обнаруживаем? Опыт дал нам свои собственные причины, – почему же мы должны еще искать в опыте причины? По одной простой причине, говорит Леонардо, и эту мысль продолжает следующими словами: ибо природа полна бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Вспомните Канта, – значит, держим в голове: природа полна бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте, – физика есть исследование природы не посредством опыта, а для опыта. Я говорил вам, что физика исследует природу опытом (или на опыте) в том смысле, что она, исследуя природу, создает формы или конструкции, посредством которых впервые что-то можно испытать и пережить. И одной из сквозных нитей прустовского *gré noir* (это сплетение непонятных образов в душе, которое он всю жизнь распутывал) была следующая ниточка: он понимал, что, чтобы испытать что-то, мы должны создать; что мы можем чего-то не пережить, потому что мы не поняли; что нужно понять, чтобы пережить и т.д. Так вот, **понять**, чтобы пережить; **создать**, чтобы пережить; исследовать, чтобы

испытать или пережить, – это и есть те идеи, о которых я говорил. У нас есть такие идеи, а могут быть и другие идеи, которых никогда не было в опыте, но посредством которых возможен другой опыт. Ведь посмотрите, что говорит Леонардо: природа полна (мир полон) бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Скажем, у нас никогда не было в опыте тех принципов, которые есть у тех существ, которые вместо глаз имеют другие органы и создают невизуальные эквиваленты того, что для нас визуально, – например, тепловые эквиваленты. Следовательно, они построили какую-то идею, или конструкцию, или принцип и впервые испытали и пережили особый вид мира. То есть невизуальными – тепловыми – эквивалентами они видят – что? что значит «видят»? – **в опыте испытывают**. В опыте испытывают деревья, в опыте испытывают солнце, в опыте испытывают небо.

Пометим себе, что и социальные формы таковы. Есть миллион социальных форм, которых никогда не было в нашем опыте. Отсюда следует прямо обратное, перевернутое: та или иная социальная форма есть форма, посредством которой мы впервые можем что-то пережить. **Что-то** – и не можем пережить чего-то другого. Двигаясь на поверхности пифагоровой сферы, внутрь которой уходят эти бесконечные принципы, которых никогда не было в нашем опыте, – потому что, для того, чтобы они были в нашем опыте, мы должны были понять или построить, создать какую-то конструкцию, в том числе, например, литературную форму, и тогда – пережить. И тогда событие, называемое «чувство» (скажем, эстетическое), тогда событие, называемое «мысль», событие, называемое «любовь» – случилось бы. Это относится не только к социальным формам – в мире есть тысячи бесконечных принципов любви, которых никогда не было в нашем опыте. И следовательно, то, что есть, есть просто формы, посредством которых мы впервые можем переживать какой-то объем действительности, и в нем могут случаться события, называемые нашим чувством, любовью. А рядом есть такие, которые тоже случаются, потому что другие существа изобрели (из этого запаса бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте) принципы, и в силу этих принципов что-то вошло в опыт, что никогда в него не вошло бы, чего мы никогда не испытали бы, если сначала не было бы этого принципа или этой формы. Именно это символизировано в известном символе творения мира: мира нет **до** его создания – то, о чем мы говорим как о мире, есть то, о чем мы можем говорить **после** создания мира. То есть творчество есть такой акт, только после которого впервые мы можем начать говорить в терминах описания какого-то внешнего мира, его устройства, его законов и т.д. Это есть как бы акт вызывания из небытия. Поэтому он символизируется как Божественный акт, то есть далее неанализируемый, принимаемый как есть или нет, был – не был. Точно так же, как нет объекта, если нет хоть одного, действительно мыслящего о нем существа. В каком смысле? Так здесь сказано: **действительно мыслящего**. Мы ведь привыкли рассуждать о предполагаемых мыслях, о виртуальностях, а не о тех мыслях, которые реально случаются, – это разные вещи. Так же как есть содержание опыта, и есть это же содержание – как извлеченное из опыта. Мы, к сожалению, никогда не можем смотреть двойным взглядом, мы всегда смотрим предметным взглядом и всегда ошибаемся.

ЛЕКЦИЯ 34. 11.05.1985

Продолжим наши занятия, которым конца не видно; я, во всяком случае, не вижу конца, а вы на него надеетесь только... Странно, что сама форма ведения наших занятий совпадает с тем, что я в самом содержании моих рассказов называл «непрерывным письмом», или «непрерывным писанием». Прустовский роман, как вы знаете, не окончен не только в том формальном смысле, что при

жизни самим автором не был опубликован до конца и не был отредактирован, но он не окончен и в более глубоком, фундаментальном смысле, позволяющем сравнивать форму этого романа, которую я назвал как раз «непрерывным письмом», «непрерывным текстом», со старым символом: змея, которая кусает свой собственный хвост. Вы знаете этот древний символ: бесконечная длительность сознательной жизни, невозможность различения начала и конца. То есть, когда мы кончаем, самое время начинать, а раз кончили, то и смысла или причины нет начать. Нет ни причины кончать, ни причины начинать – некое соединение конца с началом. И у нас тоже так получается: нет причин мне вообще говорить, так же как нет причин кончать говорить то, что я говорю... Мы остановились прошлый раз на форме – в смысле чего-то в нас и в мире, что само впервые вызывает или рождает какое-то различие, после которого мы можем вообще говорить о мире, то есть описывать его, устанавливать в нем какие-то причинно-следственные связи, последовательность событий, разворачивать мир в какую-то картину. Поэтому я предупреждал вас, что особым символом всегда обозначен некоторый акт, который называется созданием мира. Некоторый акт, внутри **которого** мы не имеем возможности дальше подразделять. Мы со всем обращаемся таким манером: если мы имеем какое-то обстояние дела А, то всегда имеем возможность перед ним найти какое-то В, перед этим В найти какое-то С и т.д. А мы имеем перед собой обстояние дела, которое мы видим (мы видим, странным образом, некоторым глазом, которого самого не видно и который фактически видит самого себя, то есть зеркально), обстояние дела такое, что сначала должно быть оно, а потом мы можем говорить о том, что вообще есть в мире люди, в мире есть причины, в мире есть вещи и звери и т.д.. Иными словами, в этом символе говорится лишь следующее: **нечто артикулированное** впервые вызывает вещи из небытия, и когда мы понимаем нечто как артикулированное, в акте понимания этого «чего-то» содержится все целое.

Так же как если мы понимаем не человеческое намерение высказать что-то, а **высказанное слово**, артикулированное слово, и следовательно, само намерение рождается посредством артикуляции, – тогда у нас есть весь язык. То есть в акте реального производства любого языкового выражения содержится весь язык. **Реального** – не ритуального, предполагаемого, головного, умственного, допустимого, – которое реально выполнено. А реально выполнено, – значит выполнено посредством артикуляции. Скажем, реально выполненная честь – не намерение чести, а реально выполненная честь, – есть артикулированная институция, и если она есть, то люди, например, не могут доносить, а если люди просто не хотят доносить, то это, как песок, изменчиво: сегодня ты не хочешь, а завтра появится какая-то очень высокая причина, по которой ты не только захочешь, а еще и будешь оправдывать тот факт, что ты доносишь. И это повторяющееся явление существует именно в силу отсутствия структуры, то есть артикуляции, которая делает необратимым то, что мы узнали, или то, чему мы научились. Я все время подчеркивал, что между опытом номер один и опытом номер два есть большая разница. Скажем, у меня есть опыт любви, и есть два смысла этого опыта. Один смысл – опыт, в котором я научился (получил опыт), но по содержанию он такой же, как опыт номер два, то есть тот, который был и в котором я ничему не научился и который будет повторяться. И вот вся разница между «научился – не научился» создается тем – есть артикуляция или нет артикуляции. Что-то, что мы называем артикуляцией, или некоторый не нами созданный и нами не прослеживаемый в его происхождении духовный элемент. Я сказал: «духовный», и вы сразу подумали, что я говорю вам об очень высоких вещах. Но, как я говорил вам, человеческие существа, то есть сознательные и

чувствующие существа определенного вида, называемого нами человеческим, есть существа максимума и минимума. Мы ведь предполагаем, что есть последовательность и в этой последовательности есть низкое и есть высокое. Дело в том, что человеческие существа таковы, что они в любом произвольном пункте – по вертикали и по горизонтали – и высокие, и низкие, и минимальные, и максимальные. Есть минимум максимума, или есть максимум того, что минимально дано в любой произвольной точке. Напомню – я спрашивал: что это такое? Можно сказать, что это палка, на которую положено какое-то колесо. А можно сказать, что это мексиканец на колесах... Помните, да? Я вижу мексиканца на колесах. Этот артикулированный понимаемый элемент сам рождает то, что элементы, из которых состоит мексиканец, я могу назвать в качестве элементов, из которых он состоит. Только тогда, когда я увидел, что это – мексиканец, только тогда это – сомбреро на его голове, а это – переднее и заднее колесо велосипеда, видимые сверху. Кто же видит? И что видит? Конечно, я же не могу получить мексиканца из прохождения – в этой последовательности – элементов, и сказать сначала: это – колесо, потом, это – заднее колесо, это – переднее, а это – сомбреро, и следовательно, это – мексиканец на колесах. Я не могу получить – я вам говорил, что есть вещи, невыводимые из своих элементов и несводимые к ним, – по той простой причине, что я знаю, что это – колесо, только после того, как я знаю, что это – мексиканец. Следовательно, акт видения мексиканца есть акт, который из небытия вызвал все эти вещи, которые **теперь** я могу описывать как элементы предметной картины. И если они невыводимы из предмета, и если вы тоже увидели мексиканца, следовательно, в той точке, в которой вы видите, вы **уже** знаете, что – мексиканец. Я не передаю вам объект, называемый «мексиканцем», чтобы вызвать у вас восприятие и знание, что это есть мексиканец, – не таким путем, а каким? Мы находимся, если мы что-то знаем, в каком-то континууме, который содержит в себе много точек, в которых уже известно, что это – мексиканец, и тогда мы с вами понимаем друг друга. Значит, понимание не есть нечто передаваемое из одной точки в другую, а есть нечто, что уже существует, будучи расположено на множестве точек. В каких-то точках уже есть, или распространилось волной, как угодно, **уже есть нечто**, чтобы восприятие, знание могло пройти в эту точку. И чтобы в точку, где я нахожусь, могло пройти понимание, знание того, что это мексиканец, во мне уже должна быть какая-то моя принадлежность к какому-то **неделимому** акту, к неделимому факту, к неделимому обстоянию дела. Вот это неделимое обстояние дела Леонардо да Винчи называл *cosa mentale*. *Cosa mentale* – это ментальная или умственная вещь; вещь, но ментальная; ментальная, но вещь. Во-первых, у меня есть такой орган чувств, чтобы воспринять это как «мексиканец». Есть **особого рода** чувство, не принадлежащее никакому из наших специфических органов. И, во-вторых, это – **умственная** вещь. Леонардо говорил, что живопись есть *cosa mentale*, то есть не есть изображение. Есть что-то, чего мы не видим, если у нас нет понятия об этом. Вот мы не видим театра – и, следовательно, не извлекаем из него смыслов, и он есть как раз тот опыт номер два, который по предметному составу такой же, как и другой, но он может бесполезно и бесконечно повторяться, и мы так же не будем понимать того, что может дать нам театр, как мы не будем понимать того, что может дать нам честь, и будем бесконечно доносить или колебаться, решать проблему: доносить или не доносить. А если вы уже спрашиваете себя: доносить или не доносить, то причина доносить всегда найдется. Человек – такое существо, которое ради якобы высших соображений способно уговорить себя на любые низости.

Я приводил пример Аверроэса, которому мир театра чужд, у него нет понятия театра, то есть нет внутренней общности с некоторым актом, называемым

«театр». Если бы у него была бы внутренняя сообщенность, то из точек, где разыгрывается театральное представление, к нему пришли бы смыслы, которые несет театральное представление, а они не пришли. Так это же относится вообще-то буквально ко всему. Например, живопись – есть что-то, чего мы не видим в этой живописи. Мы ведь видим дерево в реальности и видим дерево на картине, и, видя изображенным его на картине, мы не видим – чего? – мы не видим живописи, живописности не видим. То же самое относится и к музыке: если мы будем рассматривать звуки как производимые каким-нибудь инструментом, то есть причинами, которые мы видим в реальности, и, с другой стороны, мы видим их на стороне психики воспроизведенными, – мы все это видим, но мы не видим – чего? не видим музыкального элемента, который, кстати, не зависит от того, чем производятся звуки. Мы слышим музыку, а не то, что это играет именно скрипичная струна, производящая звуки, или натянутая струна рояля, – мы совсем не это воспринимаем: там есть некоторая *cosa mentale*, которая существует как пристройка к нашей голове. Она – вещь, но в то же время вещь совершенно умственная, стоящая вне вопроса о том, как ее произвели материальные причины. Так же как, если вы помните, вопрос о том, почему я просыпаюсь и просыпаюсь я самим собой? Ведь нет оснований – почему, просыпаясь, из миллиона возможных существ я ухватываюсь именно за самого себя. По одной простой причине: то «я», которое говорит, что это – «я», само возникает после акта просыпания, так ведь? И поэтому нельзя сказать, что «я» выбрало самого себя и тем самым проснулось. Так же как и вопрос о музыкальной или о живописной **материи**, *cosa mentale*, лежит вне вопроса о причине. Мы не спрашиваем: что произвело звук? Наоборот – посредством музыкальной материи мы слышим, посредством живописного элемента мы видим то, что изображается живописью, и те смыслы, которые живопись нам несет. Абсолютно то же самое и в литературе. Есть нечто, что можно называть литературным эффектом, эффектом литературы, который мы можем видеть, а можем не видеть. В то же время я могу сразу же зависеть все это рангом и сказать, например, следующую вещь: «В начале было Слово, и Слово было Бог». И потом Бог сотворил землю и небо. Небо у нас здесь, на земле, если у нас есть артикуляция. Откуда она у нас есть? То же самое – спросите: откуда у нас есть сознание? Мы не знаем. Более того, лучше понимать, что мы этого не знаем, и не пытаться вопросами о происхождении затемневать вопрос, а просто взглядеться в само очертание... Так же как мы вглядываемся в лицо и не пытаемся узнать, откуда оно; мы пытаемся его просто разглядеть внимательно, взяв его как данное, ничем не объяснимое, ниоткуда не выводимое. А если мы его хорошо разглядим, то нам какие-то другие вещи становятся понятны. Например, мы можем не выяснять, откуда жизнь как феномен, а если мы внимательно разглядели, поняли принцип жизни, то есть не вывели жизнь откуда-то из химических субстанций, а сам принцип жизни разглядели, тогда нам понятнее явления жизни.

У Пруста эта тема артикуляции связана с очень интересной культурно-исторической темой, и сейчас я попытаюсь ее как-то обрисовать, чтобы связать те довольно отвлеченные вещи, о которых я говорил, с культурно-исторической традицией, с литературной традицией. Скажем так: то, что я говорил, есть прежде всего **проблема** существования, в том числе проблема существования нас самих. Например, я говорю, что артикуляцией что-то вызывается из небытия, а что-то остается в небытии – наши намерения, порывы, то, что я называл полусуществами (полуум, ахи). Если моя эмоция восторга от какого-то эстетически прекрасного зрелища не продумана, – а для того, чтобы она, была продумана, должно быть какое-то лоно артикуляции, – то она осталась недоноском, который заставляет меня, например, раз послушать симфонию, десять раз послушать симфонию и, как говорит Пруст, «обжираться

симфониями». Как бы раскрытый рот, в который впихиваются музыкальные или живописные наслаждения, или любовные наслаждения, если угодно, и который не может никогда насытиться, в том числе потому, что никогда не понимает своего собственного состояния, никогда не понимает своего собственного переживания, никогда не извлекает из него смысла. Пруст говорил, что ему суждено было испытывать любовь, всегда страдательно ее испытывать, и никогда не понимать ее. И поэтому бесконечно повторялась для него одна и та же ситуация. Когда нас тащат за уши наши же собственные непрожеванные и оставшиеся в небытии переживания – у каждого свои, и у меня есть какое-то свое непрожеванное переживание, на поводу у которого я, наверное, буду идти в жизни, пока не извлеку из него смысла. А у Пруста было следующее, я вам рассказывал: если дама вдруг говорила ему, что она занята, или по каким-то обстоятельствам, случайным или намеренным, не приходила на свидание, то этого было достаточно, чтобы он смертельно влюблялся... Все, что ускользало, развязывало любовь, но не давало понимания любви. И вот если я так различил, – артикуляция вызывает вещи из небытия, например, наши переживания – случились они или не случились, и что-то остается в небытии, а там остаются недоноски, полусущества, – то, конечно, это есть вопрос моего существования: есть я на самом деле или меня нет. И если есть только мои полупереживания, то я не существую и мир не существует. В мире есть только поток какого-то хаоса, все время вызывающий у меня разорванные состояния, которые нельзя соединить; так же как нельзя куски сновидения соединить одно с другим; они нагромождены друг на друга, и ничего нельзя различить.

Я повторяю – вопрос о существовании, быть или не быть, если угодно, этот гамлетовский вопрос. Французский философ Ален (вам наверняка не приходилось с ним сталкиваться) очень интересно определил, что такое поэт: «Поэт – это человек, для которого **мир существует**». И он сам существует в этом мире. Следовательно, культурно-историческую тему, которую я хотел напомнить вам в Прусте, можно назвать темой **оправдания мира** и поэтического приятия мира **как он есть**, имея в виду, что **он есть**. Я ведь говорил вам, что жизнь сама по себе недостаточна, она бессмысленно разорвана, мы в ней растерзаны в том смысле, что если, например, акт внимания мы выполняем просто как жизненный, природный акт, как психический акт, то ведь ясно, что мы не можем быть одинаково устойчиво-внимательными достаточно долгое время, мы устаем, наше внимание рассеивается, и как раз там, где нужна концентрация всех наших сил, мы только частью нашей души присутствуем, а не теми частями, которые нужны здесь, – вот в каком смысле жизнь недостаточна, несовершенна, плохо устроена. И ее совершенство, ее иное устройство – не после жизни, где-то там, на небе, а здесь же, **в ней самой – посредством формы или артикуляции**. То есть артикуляция или органы жизни есть нечто, что в самой жизни **восполняет и исправляет** жизнь. Нам не нужно ждать, пока мы умрем, чтобы оказаться в совершенном мире гармонически сливающихся душ, пройдя, конечно, через чистилище и ад, – все происходит **здесь**, в самой жизни. Вот в каком смысле поэт – это тот человек, для которого мир **существует**. Мир существует для Пруста. Вы помните, что Пруст говорил о том, что мы недооцениваем жизнь именно потому, что рассматриваем ее чисто поверхностно, нашим рассудком, нашим разумом, нашим умом, то есть видим в жизни те головные события, которые можно в нее вписать, – видим в ней возможности, а не реальность. Например, я – Сван, и я знаю что-то об Одетт – в том смысле, что примерно представляю себе ее характер и знаю ее возможности, но эти мои прикидочные головные знания никогда ничего общего не будут иметь с реальностью. Реальность – если вы помните – как нож, вонзается в наше сердце, когда мы рассматриваем проплывающие по небу

облака. Естественно, вонзающийся в сердце нож ничего общего не может иметь с облаками (мы и узнать, предугадать, предположить этот нож не можем). Так вот, облака – это возможности, и это, конечно, – не жизнь. Но Сван – не поэт, и поэтому к нему приложимо это стихотворение Блока, которое я вам цитировал: «...затуманила сердце усталость и месть, отвращенье скривило уста». А Пруст все время настаивает, что жизнь – прекрасна. Она недостаточна, она ужасна, разорвана и т.д., и он же говорит, что жизнь – прекрасна. Странное – оптимистическое и в то же время трагическое – ощущение жизни. Если под «трагическим» понимать звенящую ноту **собственного** существования в трагическом мире, в котором вообще есть что-то только ценой усилий и держания тобой мысли, времени. Трагическое ощущение, которое знает, что есть что-то здесь и сейчас, если есть орган жизни – артикуляция. Если есть дух, то есть – если ты потрудился.

В связи с этой темой, проигрывая ее в другом регистре, Пруст обронил странное слово в связи с эстетическими наслаждениями; бесплодные ахи и охи, снова и снова слушаем симфонию...) – «Так и остаются они бесплодными, эти холостяки Искусства...» (Во французском языке «холостяки искусства» одинаково относится и к женскому и к мужскому роду, поэтому можно заменить «девственницами искусства».) «...с неудовлетворенными и прокисшими чувствами...их могли бы излечить труд и деторождение». Не случайно «труд» и «деторождение» оказались вместе. Помните, я вводил тему «начал» – семян, которые есть не мысль, а акт мысли; я говорил вам: мысль есть возможностью большей мысли, сознание есть возможность большего сознания (другого определения я дать не могу, и, наверное, никто и не может). Вот это есть начало, или – рождающее начало. Следовательно, когда мы говорим *cosa mentale*, это есть одновременно и семя, и *opera-opera* (производящее произведение, плодоносящее произведение). Поэтому, повторяю, у Пруста – в этом случае – появились в одном ряду «труд» и «деторождение», которые могли бы излечить девственниц или холостяков искусства. Значит, *cosa mentale* является **плодоносящим** устройством в нас. Или, опять же, если воспользоваться возможностями латинского языка, это не *intellegentia*, то есть ум или рассудок, а *intellegentia-inteligens* – мысль, **рождающая** мысль. Это, конечно, – рождающее устройство в нас. Что-то рождает в нас то, что я вижу в качестве *psycicus*, – иным путем появиться в нас не может. (Мексиканец невыводим из элементов, составляющих самого мексиканца.) Напомню уже известный вам пример: в истории физики известен эпизод, когда во многих опытах, в том числе и в опытах Ферми, наблюдалось нечто, что потом было идентифицировано как явное явление атомного распада. Люди, проводившие эти эксперименты, видели это – и они не видели. Почему? – **не было причины** считать это атомным распадом. Как бы кто-то должен был сказать: это – атомный распад, и тогда то, что мы видим, станет элементами, говорящими об атомном распаде. Это понятно? В начале было Слово – кто-то сказал, что это атомный распад, и потом мы видим в качестве элементов атомного распада проявления, симптомы, из которых мы наблюдаем атомный распад. Так же как я сказал: это мексиканец, и вот перед вами – мексиканец. Конечно, я не словом родил вещь – чем-то нематериальным родил материальное, речь идет о других вещах – о создании. Участие в такого рода созданиях предполагает со стороны человека труд, неоткладываемый, труд в **этой** жизни, поскольку речь идет о моем существовании, и я – мыслитель или поэт лишь в том случае, если для меня **существует** мир. И вот тогда прустовскую фразу о холостяках искусства можно повернуть так: холостяки жизни (мы очень часто оказываемся холостяками жизни по разным причинам).

Я уже говорил, что в потоке жизни (в том – в котором недостаточно) слишком многое существует для нас в модусе будущего, как того, которое мы

предполагаем реально возможным – в смысле: мы знаем, например, что, если я возьму эту трубку и опущу пальцы, она упадет. В этом же смысле в модусе будущего мы знаем о людях – это называется знанием **возможностей**. Более того, эту операцию мы проделываем и умственно. Как в ревности – скажем, я сейчас здесь, и мне очень больно; но есть только один способ: углубиться в свою боль и разобраться в ней, то есть по ниточке боли **выйти к истине** или **к существованию**, потому что, пока я – в ревности, я не существую (вы знаете, что ревность есть несуществование тебя самого: есть обида на другого, потому что я для него не существую). Тогда мы говорим: сейчас мне слишком больно, вот когда мне будет не так больно, тогда я разберусь, – в другой момент, или в другом месте. В **мыслимом** месте – *possibilis*, возможном. То есть каждый раз это – не реальные, испытанные места, а мыслимые места. **Когда мне не так будет больно** – мыслимый момент будущего времени. И кстати, там ничего не случится – если я отложил, – мое полупереживание уходит в небытие или остается в небытии. А в следующий момент может оказаться так, как я говорил, что я Альбертину (которую ревновал) больше не люблю, и, соответственно, мне неинтересно отвечать на те вопросы, которые я задал себе тогда, когда ревновал. Мне совершенно безразлично, где была Альбертина, и никакое расследование вести не надо просто потому, что интерес или знание в будущем умерли вместе со смертью моей любви.

И вот здесь мы вышли к серьезной теме у Пруста – к теме оправдания жизни. Я даже не знаю, как разговаривать вслух, чтобы не оказаться слишком личным... Попробую так: сначала скажу абстрактно, а потом более конкретно. Я говорил, что есть некая *cosa mentale*, из которой мы видим, но ее саму мы не видим, как не видим глаз. Более того, есть масса вещей вокруг нас, по отношению к которым мы как бы... марсиане. Например, мы можем быть марсианами по отношению к живописи, если мы не видим живописности, элемента живописи. Мы видим в мире предмет и видим его изображенным на картине, и, подобно Паскалю, мы могли бы сказать так: я вообще не понимаю, что за странная такая вещь – живопись, которая заставляет меня восторгаться изображением предмета, который в жизни я считаю ничтожным и уродливым. Я терпеть не могу этот предмет, и почему я должен восторгаться его изображением? Действительно, почему? Значит, есть какой-то экран, который нам что-то закрывает, – предмет, и именно потому, что мы видим в мире в живописи изображенный, дублированный предмет и считаем живопись отражением этого предмета, именно поэтому мы не видим живописности или внутреннего понятельного элемента живописи. Так же как мы не видим театрального спектакля, если не имеем понятия театра и т.д., и все, что нам говорит картина, никогда не придет к нам (все смыслы), как не пришли к нам смыслы театра. Значит, некоторая вещь, которую мы не видим, но видим посредством ее. Именно такую вещь символисты называли странным оборотом: «черное солнце». Действительно, черное солнце – внутри него мы ничего не видим, а им видим. Так вот, посредством «черного солнца» мы не только видим, но и **различены**. Если есть «черное солнце», то всегда есть спектр. Все, что видится через него, видится всегда в различных линиях. То есть все, кто видит солнце, видят им, чем-то одним – *cosa mentale* (она одна), и все видят по-разному, и их видение есть спектр, составляющий все виденное. У каждого есть свое уникальное, сингулярное место и сингулярная линия, и только из этого места и по этой линии он видит универсальным образом: видит из «черного солнца». Поэтому, например, нельзя произвольно менять место. Нельзя сказать, что чего-то я не испытаю в Тбилиси, а испытаю в Париже. Конечно, **что-то** относящееся к фундаментальным проблемам нашего существования (есть вещи, которые я могу увидеть только в Париже, и наоборот; но я не об этом говорю). Пушкин, если вы помните, говорил так:

черт меня дернул, с умом и талантом, родиться в России. Многие из нас, и я в том числе (и поэтому я боялся говорить об этом), могли бы в сердцах сказать: угораздило же меня родиться именно здесь (действительно, трудно представить себе нечто более уродливое). Но как раз из-за этого ощущения мы рискуем быть наказанными (если ему поддаемся) тем, что так и остаемся холостяками жизни с прокисшими чувства (ах нет, не здесь, в другом месте) – там, где нас могли бы исцелить труд и деторождение. То, что нам суждено извлечь, мы можем извлечь только на том месте, которое занято нашими живым телом, только которое могло получить какие-то прямые впечатления от истины и от бытия, которые нельзя заменить ничем другим, и, более того, нельзя произвольно выбрать место, поскольку мы можем идти только из того места, которое уже занято нашим живым телом. *Cosa mentale* – одновременно – чувствование, сенситивная форма. **Там** нам дано. И следовательно, когда я говорю «угораздило же меня родиться в столь уродливой стране», я могу оказаться без этого опыта и получить что-то на каком-то другом, произвольно, то есть рассудочно, мною выбранном месте. И сразу же понимал, что ни за что в жизни я не хотел бы расстаться с тем уникальным путем, которым я шел. Если шел...

ЛЕКЦИЯ 35. 16.05.1985

Теперь мы знаем (из рассуждений, которыми занимались), что жизнь восполняется или исправляется в ней же самой. И в этом смысле можно мимоходом заметить, что вопрос «когда?» не имеет смысла. Скажем, когда наступит царство Божие? Когда наступит справедливость для праведных, наказание для неправедных? Когда наступит идеальное братство, гармония, любовь между людьми? Обычно люди механически именно этому вопросу придают смысл, потому что они считают, что та жизнь, которую они живут, есть просто какой-то отрезок, отделяющий их от некоторой будущей и тем самым замечательной, истинной, красивой, гармонической жизни. Очень часто говорят, что известный вам, конечно, категорический императив Канта, – который повелевает нам поступить так, чтоб наш поступок был бы основой или элементом всеобщего законодательства, то есть поступать по отношению к другим так, как мы поступали бы по отношению к себе, – утопия. То есть некоторое идеальное пожелание, формулируемое для X-точки прогресса, к которой мы этим прогрессом должны прийти. Но из того, что мы разбирали, ясно, что вопрос «когда?» – «когда же наконец свершится суд?», «когда же наконец будет милость Божья?» – не имеет смысла. По одной простой причине: в действительности этот суд происходит в каждый данный момент, и будущее находится не впереди нас, а в настоящем, – есть то, что и как мы делаем сейчас. И тот же самый категорический императив есть действующая сейчас структура. А наше сознание, в обычном своем состоянии, – неграмотное сознание, и философия просто есть один из несовершенных человеческих способов эту неграмотность как-то в себе преодолеть и останавливать, потому что, как вы знаете, неграмотность в отличие от грамотности, действует спонтанно, автоматически, а грамотность и ум предполагают усилие, ежеминутно возобновляемое и повторяемое, потому что ум – это как раз то, чего нельзя иметь раз навсегда, то есть один раз получить и потом уже держать его у себя в кармане и периодически, по мере надобности, к нему обращаться (но если так делать, то можно обнаружить в кармане просто пустоту). Основная мысль, которую нам нужно усвоить, – что «утопическое» пожелание чего-то истинного и хорошего есть в действительности в каждый момент **действующая** структура. Это и есть **реальность**, согласно которой, знаем мы об этом или не знаем, с нами что-то случается, и согласно этому складываются наши судьбы. Скажем, в голове у меня может быть мысль о том, как хорошо было бы прожить

мою жизнь в другом месте, но то, что со мной случается, происходит не сообразно моим умозрительным мечтаниям, намерениям, мыслям, а согласно онтологическому закону, который говорит, что я должен был сделать **именно здесь**, под знаком этого пифагорова мига, и то, что сделано, или не сделано, – потому что несделанное тоже имеет страшную позитивную силу, именно это и будет определять, совершенно независимо от моих пожеланий, мечтаний в той мере, в какой эти мысли, называемые «мечтаниями», есть умозрительные, рассудочные, головные состояния. Ведь даже чувства могут быть головными. Так что, когда я говорю «рассудочные» или «головные», вы не думайте, что я отличаю мышление от чувства: в мышлении мы заблуждаемся, а чувствами мы можем постигать истину. Я вообще не пользовался этим различием, хотя и употреблял термины «чувство» и «мысль», потому что, с моей точки зрения, как и с точки зрения Пруста, чувства также могут быть недоносками – получувствами, как и состояния ума или мысли (можно говорить о глупых или умных чувствах), так что чувства сами по себе не несут никакой реальности. И еще раз напоминаю, что все то, что мы называем реальным – тот рисунок, та фигура, которую примет наша жизнь, или та линия, по которой она пройдет, зацеплено за **реальность** каждого момента. Но – **формальную** реальность. Вот это очень трудно уловить. Ведь говорят, что кантовский императив – утопия. Действительно, в его формуле нет никакого указания на содержание, в нем не говорится, что это – хорошо, а это – плохо, там не дается норма хорошего, согласно которой нам рекомендуется поступать. Но мы убедились на очень многих примерах, и из романтического искусства, да и вообще из жизни, что формальное, или форма, обладает страшной реальностью, что именно формы действительны в нашей жизни. Возьмем простой пример: установить неформальную демократию, то есть содержательную демократию. Обычно говорят, что буржуазная демократия только формальна. Это и есть пример, так сказать, тайного законного устройства мира, которого мы, будучи идиотами, не понимаем, не видим и каждый раз разбиваем себе нос, ударяясь об то, как срабатывают реальные структуры, – стоит внести в формальность демократии содержание, как не будет никакой демократии. Данная структура, называемая демократией, может срабатывать демократично только потому, что она абсолютно формальна. А человек не может не вносить содержания, потому что он, как правило, предметно мыслит, когда он мыслит спонтанно. То есть он мыслит содержаниями, предметами, и редко ему удастся мыслить иначе, хотя для того, чтобы мыслить иначе, есть у нас богатые инструменты: есть опыт веков, живой опыт веков, и этот опыт закреплен в культуре. Но эта культура может быть, а может не быть. На уровне чего она должна быть, к чему слово «быть» применимо? К той ситуации, когда культура – не головная, не в наших побуждениях, или в потугах, в том числе чувств, а когда есть реальный мускул, который совпадает с самим представлением о моем или нашем собственном существовании, таком, что я даже **себя** вне этого вообразить не могу, и поэтому готов, например, идти на смерть, ради того, чтобы эта инструкция, называется демократией, была.

Значит, то, что я называю «формой», есть мускулы человеческого существования, и только посредством мускулов в мире что-то происходит, а если наши чувства, намерения – батардные мысли, мысли-недоноски, абортивные мысли, то ничего с нашей жизнью не получается. Ведь я все время пытался вам показать единство структуры в совершенно разных вещах. Например, мы ведь считаем, что мы рисуем (можно писать роман; это тоже своего рода рисунок) то, что видим, то есть переносим то, что видим в действительности, на лист бумаги или на полотно, притом взятое в рамку, но в действительности (из всего того, что я говорил) ясно, что мы **рисуем, чтобы увидеть**, а не рисуем то, что видим. Рисуя – мы создаем форму, **посредством**

которой наш глаз может испытать, то есть увидеть в мире то, чего он без этой формы не увидел бы. Я уже говорил, что мы имеем дело не с опытными формами, а с формами для опыта. (Опытные переживания определенного рода, реальные переживания, то, что мы можем реально испытать, то, что мы можем реально подумать или сообразить, появляются посредством формы, называемой опытной формой). Не опытная форма, а **форма для опыта**. И если взять мысль «форма для опыта» и мысль о том, что нужно понять, что мы рисуем, чтобы увидеть, то все это можно резюмировать афоризмом Малларме. Вы, наверно, знаете, что одной из утопических мыслей Малларме была утопия Книги (слово «утопия» я применяю в поясненном мною смысле: не как будущее идеальное царство, а у-топос, то есть несуществующее место, как действующая в нас структура, которую наглядно представить нельзя, в этом смысле ее нигде нет, но действует она весьма реально). Ну, и конечно, сразу же возникают ассоциации: «искусство ради искусства», «отрыв от реальной жизни», «кабинетный червь» и т.д.. И вот Малларме, одержимый этой утопией, сказал, что мир создан для того, чтобы завершиться хорошей Книгой. Повторяю: мир создан для того, чтобы завершиться, или резюмироваться, хорошей Книгой. Абсурд? Ну, ясно, что здесь имеется в виду. Конечно, мир завершается или жизнь завершается и срабатывает – как реальность – посредством существования внутри нее формы. В данном случае называемой «Книгой», хорошей Книгой, или хорошей формой, или хорошей структурой. То есть что-то в самом мире, в **ИСТИННОМ**, полном, завершенном виде, срабатывает посредством Книги. И в этом смысле можно сказать, для понимающих или чувствующих ту же самую проблему, что мы вообще не можем понимать мысли, если до понимания, до восприятия этих мыслей реально не испытывали сами чего-нибудь подобного. Мы ведь понимаем только те мысли, которые сами рождаем, даже если эти мысли называются мыслями другого человека; и в этом смысле, наверно, проблемы плагиата не существует: украсть мысль невозможно (это то же самое, что украсть чувство); все равно, даже если она есть, ты из себя ее должен рождать, и, когда родил, не имеет значения, что она кем-то думалась, то есть не имеет значения филологически или исторически сравнивать мысль и говорить, что вот это говорил Августин Блаженный или говорил Платон и т.д. и т.д., – это все пустые вопросы пустой учености. Еще Уильям Блейк говорил, что у него нет времени сравнивать мысли, его дело – творить. Под «сравнением мыслей» он имел в виду, что если что-то подумал, то тут же узнавать, а не говорил ли этого кто-нибудь другой раньше.

Все, что истинно рождается, рождается истинно во множестве голов – во-первых, и, во-вторых, должно рождаться реально – то, что я говорил в связи с «холостяками жизни с прокисшими чувствами». «Холостяки жизни», которых (правда, Пруст говорит о «холостяках искусства») труд и деторождение излечили бы. В том же самом смысле, в каком Малларме говорил о том, что мир создан для того, чтобы завершиться хорошей Книгой. И здесь я добавлю (чтобы можно было бы не только в одном направлении тянуть мысль), что создание мира – для того, чтобы завершиться Книгой, связано также с тем онтологическим законом, о котором я вам говорил: смысл всякого акта непроницаем до его свершения. Этот закон говорит, что нам нужно идти, и для этого нужно иметь мускулы, и такими мускулами, конечно, являются формы. Ведь чаще всего мы оказываемся в ситуации, когда не можем заранее сказать, что есть добро и что есть зло. Ни из какого закона не вытекает его же существование в следующий момент времени. Вы не можете даже понятия добра составить отдельно от проявлений добра. Для многих понятий мы можем построить идеальную реальность, отличную от существования (скажем, в математике точки существуют идеально, они не имеют протяжения, массы и т.д.). Понятие добра невозможно отделить от его реальности по той простой

причине, что понятие добра – как о предмете вне меня – является проявлением действия добра во мне самом. Это ясно, что я сказал? Так вот, не только понятия не можем составить, более того, какое бы мы ни имели идеальное представление о добре, мы посредством этого идеального понятия не можем получить характеристики никакой конкретной ситуации – в этой конкретной ситуации добро должно заново родиться. То есть мы не можем конкретное добро получить посредством дедукции из понятия добра. А если так, то человеку, который идет на неизведанные окраины бытия, мы не можем сказать, где он должен остановиться, чтобы не совершить зла, и в какую сторону он должен идти. Ведь Сократу нужно было умереть в том числе и потому, что только в момент смерти он мог что-то узнать, что узнается только там (то, о чем заранее знать нельзя). И поэтому попробуйте схватить Сократа за руку: стой, что же ты делаешь, это же безнравственный акт – умирать и бросать своих учеников... Так же как нельзя остановить Христа, несущего свой крест, на котором он будет распят. По одной простой причине – в рок-опере «Jesus Christ Superstar» есть такая фраза, в немножко историческом, но довольно выразительном пении: «I want to know my God!» – «Я хочу знать моего Бога!» – он знает прекрасно, что только там он Его узнает.

В таких случаях мы иногда говорим, что истинность или нравственность чего-то установится после свершения, после прохождения пути, – тогда смысл откристаллизуется, и мы можем говорить, что что-то достойное совершено, или наоборот. А **до** – мы не можем этого сказать, поэтому мы на всякий случай говорим, что «для чистого все чисто», так ведь? И эта фраза есть перевернутое выражение как раз того, что я пытаюсь выразить. Поэтому в прустовском романе вы найдете темы и акты, совершенные, которые равны какому-то нарочитому святотатству. Скажем, Марсель отдает доставшуюся по наследству от тетки Леонии часть мебели в дом свиданий, или другой пример: лесбийская парочка, дочь Вентейля и ее подруга, предается любовным утехам перед лицом фотографии отца, – есть во всем этом какой-то нарочитый вызов и провокация. Но есть (я сейчас отвлекаюсь от моральных суждений, которые здесь возможны) и испытание себя в том, чего знать заранее невозможно. И поэтому, скажем, у Пруста потом появляется такая примиряющая фигура речи. Он, очевидно, специально это подчеркивает, чтобы выразить дорогую ему мысль, состоящую в том, что мы вступаем на путь, – а путь, по определению, есть путь собирания незнаемого (ниоткуда нельзя узнать). Так же как, например, ниоткуда нельзя узнать того, что ты увидел тогда, когда Шарлю показался тебе женщиной, – мелькнуло какое-то впечатление, тут же опровергнутое материальной реальностью стоящего перед тобой явного мужчины, рассеялось, как рассеиваются многие наши мгновенные озарения и прозрения. И узнать – Шарлю показался женщиной, и теперь я знаю почему, да потому, что он и был ею, – это он мог узнать, только проделывая путь. Так вот (я довольно длинное отступление сделал), я хотел в связи с Малларме привести жалобную фразу Пруста (уже не в романе, а в письме), казалось бы, совершенно непохожую на фразу Малларме, но выражающую ту же самую мысль. Одному своему приятелю, который восторгался тем, что «В поисках утраченного времени» великолепный психологический роман, Пруст с каким-то внутренним вздохом (как мы вздыхаем иногда, когда нас приперли к стенке своим упорным непониманием и нет никакой возможности объясниться) соглашается с человеком, который восторгался психологией и перед лицом непонимания говорит: «...да, конечно...психология, но моей целью было хоть немножко жизни». Ясно, что Пруст не имеет в виду, что роман описывает жизнь, потому что если бы роман описывал жизнь, он описывал бы как раз психологию, наблюдаемую: я наблюдаю людей, описываю их психологию, в том числе наблюдаю себя, описываю свои психологические свойства вместе с

психологическими свойствами других людей. Да нет, «моей целью было хоть немножко жизни» – родить в жизни что-то посредством романа, вот что было целью писания. В другом случае Пруст говорит: «...если бы я не имел интеллектуальных убеждений, то, ради того чтобы создавать рядом с жизнью описательный дубль своих прошлых переживаний, я никогда в жизни не взял бы перо в руки, я слишком болен и слаб для этого бессмысленного труда». А интеллектуальное убеждение Пруста состоит в следующем: в жизни – посредством романа. Опять же – не в буквальном смысле романа-книжки, а посредством формы, той, посредством которой я впервые могу прожить и испытать нечто, что в действительности я могу назвать живой жизнью. Моей целью, повторяю, говорит Пруст, была не психология, не описание психологии, и вообще даже не человек. В каком-то глубоком смысле роман Пруста есть антигуманистический роман, если под гуманизмом понимать восхваление человека в его непосредственно данных способностях, качествах и т.д. В этом смысле фигура человека как гуманистический идол отсутствует у Пруста. По мысли Пруста, если вообще случается в мире человек, то очень сложными путями, и пройдя, именно пройдя, пути. И на этих путях разрушается заданная психология, разрушается сюжетная последовательность событий нашей жизни. Хотя бы потому, что, оказывается, нет никаких сюжетов в том смысле, что посредством сюжета мы не описываем никакой реальности, потому что в реальности-то мы ничего не можем начать, все уже началось. А как мы описываем, строим сюжет? В сюжете, в традиционном сюжете, есть начало, середина и конец. Это совершенно ирреальные фикции, с точки зрения Пруста. Нет таких историй, о которых можно было бы знать, кто их начал, как они начались и т.д. Реальная ситуация человека состоит в том, что все происходит непрерывно, ничто не начинается в абсолютном смысле, потому что все уже давно началось, причем началось неизвестно кем, когда и для чего, и сменяются ситуации, сюжетом описываемые, сменяются ситуации и персонажи, и происходит что-то одно и нам непонятное, – **если** мы не начнем двигаться вне традиционных сюжетных рамок и вне традиционных психологических персонажей. Это и есть, так сказать, основная мысль радикального изменения формы романа, происшедшего в начале XX века, и то, что мы знаем под кличкой «модернистский роман», есть роман **высшего** реализма. То есть – какова, действительно, структура жизни и какие силы в ней работают, в отличие от тех сил, которые мы проигрываем в своем воображении, в том числе и в том воображении, которое заставляет нас совершенно справедливо, в исходном пункте, сказать, например, – черт дернул меня родиться в этой стране!

Я прошлый раз вам объяснял, что нам стоит по этому поводу думать (я не требую от вас, чтобы вы так думали, я просто говорю о тех вещах, которые стоит подумать, которые достойны того, чтобы мы мыслили, потому что не все стоит усилия ума), и в том, что я говорил, была еще одна важная очень мысль, которую мне довольно сложно сейчас выразить, сложно в том смысле, что трудно отделить от слишком личного впечатления, который всегда как-то неловко накладывать на то, что говоришь. Дело в том, что я сам оказался в ситуации, которую я хотел бы описать совершенно отрешенно от самого себя, в ситуации, которая состоит в следующем: «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами». Так вот, имея в голове полуслова, полуфразы, нужные для того, чтобы сказать, я уже вижу, что эти слова и эти фразы похожи на ложь, и сразу застываю. Как-то Блок хорошо сказал об этой цензуре напряженного молчания:

Когда – ни расплести сцепившиеся руки,
Ни разомкнуть уста – нельзя во тьме ночной!

Понимаете... в точке, которую я называл «нашим местом» (я говорил вам, что у нас всегда есть место, и когда оно есть, оно уникальное и одно), – **в нем** есть то, что мы можем реально испытать. Не вообразить, например, жизнь в Париже и из нее что-то извлечь – то, что в принципе мы могли извлечь, чтобы пройти свой уникальный путь или прочертить свою линию, есть только в нашем месте. Но при этом я говорил, что место может быть любым, должно быть какое-то, но какое, и в этом парадокс, – безразлично, из любого места можно прийти. Кто-то, накопив свой опыт в парижской точке, придет туда же, куда и я приду; я приду туда из своей тбилисской точки, и в этом смысле не имеет значения – откуда, но какая-то точка должна быть, и только та, где ты поставлен, в том числе там, где с тобой случились первые фундаментальные переживания бытия (а они случаются в юности, а юность всегда – там или здесь, у нас – здесь). **Там** прочерчивается путь, я говорил вам, и весь вопрос в том: что реально я испытываю? что в **действительности** я думаю? Я требую от вас различения: что мне кажется, что я думаю, а что есть действительная мысль. Например, в воображении воображаемая своя жизнь (какая-то, с какой-то точки) для меня – абсолютная абстракция, это ирреальные, пустые мысли, там нет действительного испытания внутри, оно могло бы быть, если я был бы там, но я уже здесь, и там нет реальности, то есть не из чего извлечь универсальное состояние, к которому все линии приходят. Тем не менее я все время в голове прикидываю, в голове у меня романы, «кухонные» романы (поговорите с «простым» человеком, и он вам скажет, что «моя жизнь – целый роман»; этот закон срабатывал в моем случае просто автоматически – в ста случаях из ста). В этом смысле жизнь – плохая литература, она сама, в головах людей, реально испытывающих что-то, или людей, которым кажется, что они что-то испытывают, полна романтических сюжетов, полна романов. Жизнь просто плохая литература. Именно еще и в этом смысле можно понять фразу Малларме – что мир, в том числе мир, включающий в себя плохую литературу (мир ведь состоит из реальных людей, в головах которых: ах, моя жизнь – целый роман!), создан, конечно, для того, чтобы завершиться хорошей книгой. То есть плохая литература создана для того, чтобы завершиться хорошей литературой.

Так вот, это все не есть реально-актуально мною выполняемая мысль; я требую от вас – отличить действительную мысль от ее подобия, что тоже имеет какое-то головное существование, но не есть мысль, не есть то, что я действительно почувствовал, не есть то, что я действительно выполнил или реализовал в качестве мысли. Повторяю, есть чувство – почувствование, есть намерение чувства. Есть, например, намерение совести, – а мы говорим о совести, то есть **о реализованном, актуально выполненном состоянии**. То же самое относится и к мысли. И вот мы можем актуально выполнять мысли в ситуации, когда кругом все идет так, что мы знаем, что вот так и пойдет. Ну, понимаете, – если я сказал: реально или актуально выполнить мысль – это то же самое, что включиться в реальность, как она есть на самом деле. Представляете, что думал бы в конце XIX века в России человек с выполненной нравственной структурой, имеющий структуру личности, а личность есть кристалл, кристаллическое образование, а не кисель, – что думал бы он об окружающих людях... Он видел бы, например, что прогрессивная русская общественность (то, что называлось прогрессивной русской общественностью, мимо которой прошел опыт Достоевского) вполне добронамеренна, добропорядочна, и все считают (я приводил вам этот пример) неприличным доносить. И он видел бы, что это не элемент структуры личности, а просто психологическое побуждение, и он знал бы, сам выполнив мысль, что в реальности придет страшное наказание. То есть он видел бы, что если русская жизнь состоит из такого рода людей, то можно предсказать автоматически, что будет поток доносов, – небольшое смещение ситуации, введение в нее

некоторых руководящих идей, например, таких, какие Белинский вносил, идеи, за которые ему 70 тысяч голов не было жалко, потому что он верил, что эта идея на благо людей, но люди сами не знают своего блага, поэтому тот, кто знает их благо, имеет право их силой тащить в истину, а если в дырку истины голова не проходит, то голову можно пообтесать, ножки короткие – можно вытянуть, ножки длинные – можно обрубить и т.д., так ведь? Так вот, я сказал – мысль... что делать тогда человеку? Он может оказаться в ситуации, когда, хотя он знает, что вокруг все делают и думают, что на самом деле так не пойдет, он может, не выпадая из сообщества людей, быть вместе с ними; повторяю, не выпадая из сообщества людей, данных людей своего сообщества, быть вместе с ними. В том числе, например, взять на себя груз, а он обычно распределяется на плечи всех людей, позорной и несправедливой войны. У него есть только одно: он может хотя бы достойно мыслить. Что значит – достойно мыслить? Не порождать в своей мысли никаких самоутешительных ложных состояний. И вот эта позиция символически обозначена в мировом опыте веков, который нам завещан, фигурой человеческой сделки с дьяволом. Ведь что значит – продать душу дьяволу? Почему это считается грехом *par excellence* Ну, по одной простой причине: человек грешен, и если вокруг идет вибрация греха, а я как член сообщества, не желающий выпасть из человеческой связи, могу быть вместе с другими, охваченными вибрацией греха, то я, конечно, совершаю грех. Но одно дело – совершать грех, а другое дело – подводить под него идею. Подведение идеи под грех и есть продажа души дьяволу. И если кто-то продолжает стоять и достойно мыслить, – это я, во всяком случае, могу, – то **есть** тогда в мире, заложена потенция или возможность того, что будет извлечен опыт из греха. Грех все равно совершается, и мало того, что под него подводятся идейные основания, то есть продукт недостойного мышления, а еще и из опыта греха ничего нельзя извлечь, ничему нельзя научиться, и следовательно, в будущем все это будет повторяться. И поэтому, если я вовлечен, например, в несправедливую войну, то у меня остается одно – не уступать ни одного сантиметра в том, что я могу подумать об этом и о своем поведении. Тогда еще есть какой-то шанс хоть чему-нибудь научиться.

В книжке Гайзенберга «Часть и целое» приведена беседа Гайзенберга с Планком, где хорошо видна структура, о которой я сейчас говорил, и очень хорошо видно и то, что грех часто бывает просто автоматической, механической нашей вовлеченностью в ситуацию, которую мы не контролируем и над которой не властны, Гайзенберг явился к Планку в сильном душевном смятении за советом, как поступить ему в беспокоящем его случае, а именно, что он, физик, работающий в Германии, – следовательно, на благо немецкой культуры и ради того поколения молодых физиков, которому он необходим и которому может что-то дать, что является залогом будущей немецкой культуры и будущей немецкой мысли, – и как ему быть, если самим фактом, что он является профессором университета, во-первых, он должен давать присягу Гитлеру, личную присягу (там повязки, удавки были очень простые, правда, немцы всегда очень драматически это окрашивают; эта излишняя театральность их и погубила раньше, чем им хотелось бы), – значит, должен приносить присягу, а это личный акт, и во-вторых, даже если ты чисто формально ее принес и уже никак о ней не думаешь и никак с ней не считаешься, то тем не менее в ежедневном административном вращении машины науки ты каждый день подписываешь официальные бумаги, которые кончались словами «Хайль Гитлер!». Как быть? Вращаясь в этой машине, я участвую во всем этом деле, а я не хочу этого. На что старый Планк отвечал так: я не знаю – разумно это или неразумно, но мне кажется (как вы понимаете, в силу того, что смысл всякого акта непроницаем и смутен и устанавливается только по движению, то, может быть, и здесь мы пока неточно

судим), нельзя быть на месте и надеяться остаться без греха; есть какие-то грехи, которые надо взять на себя с сознанием, – не с сознанием, что мы не виноваты, нет, – с сознанием, что мы виноваты, потому что все равно из-за того, что есть Гитлер, цветы не перестали цвести, улыбки не перестали рождаться и люди не перестали влюбляться друг в друга и сочинять стихи. И вот человек, видящий реальность и не уступающий в достойном мышлении, может быть с другими, хотя знает, что так не пойдет. Но есть одно условие – не продавать душу дьяволу. Ведь у Гайзенберга был выход: считать, что он не виноват. Но, чтобы сказать себе, что ты не виноват, ты должен придумать какую-то идею, которая совершаемый тобой грех превращает в нечто совсем безгреховное, в нечто другое. Планк же говорил: не надейтесь и не стремитесь, после происходящего в Германии, остаться невинным, никто невинным не останется. Это есть, так сказать, иллюстрация к формальной реальности мышления. Только тогда возникает вопрос: что более реально – мышление, обладающее только формальной реальностью, или предметы и содержания, которые мы видим? Боюсь, что более реальна **формальность**. Потому что содержания и предметы, кроме всего прочего, мы видим в терминах предметных иллюзий. Я ведь говорил вам, что в терминах ощущений, восприятий, психологических состояний они все неотделимы от своих причин. Переживание означает – переживать что-то **с сознанием причины** переживания, хотя действительная структура и содержание переживания могут быть совсем другими, ничего общего с переживаемой причиной не имеющими. Способность человека иметь переживания, которые он в действительности не переживает, показана и решающими идейными течениями в XX веке – феноменологией, психоанализом, которые раскрыли нам в действительности очень сложное устройство человеческого сознания и психики. И поэтому попытка в этот хаос человеческих представлений ввести нечто такое, что порождается формой и только формой, в отличие от спонтанных порождений, и держать это порождаемое формой – один из актов мужественной и достойной мысли.

Так вот, я хочу извлечь некоторые, так сказать, следствия из того, что я говорил прошлый раз: мысль наша вращалась вокруг того, что **реально**, что **актуально** мы можем реализовать, то есть что в действительности – реально – является событием. Я предупреждал, что мы все время находимся, как сказали бы математики, в пространстве событий – не в пространстве вещей и предметов, а в пространстве **событий**. Вот мы можем сказать так – случилось мое восприятие или не случилось. Например, я вижу танцующих девушек: мое восприятие в действительности не случилось; оно случилось тогда, когда я узнал эротический смысл танца одной девушки с другой. Я повторяю, очень существенная вещь – ситуация, когда мы действительно можем сказать: воспринято, пережито, испытано, помыслено. Не само собой разумеется применение этого термина. Скажем, полумысли не являются чем-то, о чем можно сказать, что мы это помыслили; полупереживание потуг совести не является случившейся совестью (вот это различие очень твердо нужно держать в голове) – оно не случилось. Хотя люди могут быть полны совестливых побуждений, но события не произошло. Значит, мы говорим о том, к чему применимы термины: «имело место событие», «реально случилось», то есть «реально воспринято», «помыслено». Поэтому вся прустовская тема есть тема того, что можно назвать **прямым опытом**: что я сам действительно испытал, – не подумал, что испытал, не вербально имитировал испытание, что мы очень часто делаем, а сам действительно испытал, и чем в действительности является то, что я действительно испытал. И вот я связывал это с формой: формы существуют для этого. Форма есть то, посредством чего что-то действительно случается: событие происходит, восприятие воспринимается, переживание

переживается – в смысле различия между пережитым переживанием и непережитым переживанием, хотя психологически все переживания у нас переживаемы. Но мы ведь, повторяю, говорим не о психологии, а о жизни, «хоть немножко жизни» в отличие от психологии. В психологии столько привидений и столько, как говорил Декарт, «автоматов в садах королей» ... мы ведь вчитываем туда смыслы, которых там может не быть. Отсюда вытекают очень простые, закрепляющие эту тему следствия: например, мы всегда живем так, как можем. Вот как **можем** жить, так и живем. Не так, как воображаем, думаем, умозрительно себе представляем, а как можем. То есть – что мы можем, действительно, выполнить, чтобы это было событием, – вот так и живем. И это совершенно не связано с вопросом: ложное у нас сознание при этом или не ложное, врем мы или говорим правду. Например, если наша социальная форма такова, что у нас есть хоть какое-то сообщество, основанное на взаимном лицемерии, то вопрос установления того, что мы лицемерим, не имеет никакого отношения к делу, потому что мы – как можем, так и живем. Понимаете? Вот этот пункт нужно уловить. Например, если люди могут иметь совокупную коллективную силу только посредством профсоюзных дрызг, то совершенно бессмысленно устанавливать, что в выполнении профсоюзного ритуала кто-то притворяется, кто-то говорит неправду и т.д. Да нет, посредством этого только они и могут быть вместе, они так умеют или так могут на самом деле. Странно, что из каких-то совершенно, казалось бы, необязательных, чисто художественных или полупсихологических вещей мы получаем довольно крупное следствие, что, например, мы можем понимать нашу социальную жизнь, если мы в виде постулата или исходного правила примем, – как можем, так и живем. Мы все время вращаемся в мире желаний – я говорил вам, что цели всегда достигнуты, желания исполнены и т.д., – сейчас я с этой стороны поверну. Я говорю, что мы живем всегда так, как можем жить, – то же самое можно сказать и о желании: как желали, так и есть. Наши действительные желания – не полужелания, или эти воображаемые какие-то, в том числе: хочу быть в Париже и там я сделал бы то-то, построил бы осмысленную жизнь; на самом деле все, что должно было со мной случиться, чтобы я получил бы какой-то опыт и что-нибудь узнал, уже случилось необратимым образом в том месте, в котором я был, и никакие абстракции других миров не заменят мне этого, а я мыслью продолжаю быть в этих абстракциях, у меня масса желаний. (Как в одном еврейском анекдоте... Рабинович говорит: «Опять хочу в Париж! – Ты что, там уже был? – Да нет, но я опять хочу!») Точно так же – как желали, так и есть на самом деле. То есть реальность есть мир **исполненных** желаний, просто мы их окутали рассудочными и чувственными фантазиями и переносимся в мир грез, но живем так, как можем, как желали, то есть такие желания, мы могли иметь как реализующие себя существа, – не те, которые ничего до конца не доводят, – у нас были, действительно, такие желания. Вот наша жизнь... если подумать, она ведь такова, как желали мы, грузины, потому что речь идет о действительных желаниях, о тех, которые с мускулами и реализуются; реализовались именно те, на которых были мускулы, все установилось на уровне нашей души, то есть нашей развитости. В том числе достигаются ведь только достигнутые цели. Повторяю (я говорю внешне нечто парадоксальное): достигаются только достигнутые цели. Все остальное – или не достигается, или является какими-то воображаемыми вещами, даже целями не являющимися. Достигаются всегда **твои** цели, то есть те, которые тебе по силам, – в терминах твоей возможности или потенции формулируются всегда цели, а они достигаются.

Все это немножко похоже на одно парадоксальное обстоятельство: в решении некоторых физических задач, математических задач ясно видно, что способы решения или вопросы, решаемые, появляются после того, как решение

уже есть. Имея решение, мы можем формулировать вопросы, на которые мы получаем решение (я сейчас отвлекаюсь от того, в каком виде это решение существует). Здесь должно быть много различий, конечно, потому что я говорил не о конкретных актах мысли, а о **потенции** акта мысли, не об акте конкретного желания, – о **создании** акта желания. Например, есть различие между памятью – как **памятью о чем-то** и созданием **акта памяти**, посредством которой я что-то вспоминаю. Ведь у Пруста все время речь идет не о том, чтобы вспоминать, а о том, чтобы **создавать акт**, посредством которого вспомнится. Так это ведь относится (в случае физического познания) к задачам и к решениям задач: задачи возникают после решений. Как я сказал: достигаются только достигнутые цели, то есть твои (мы должны браться за свои цели, но чаще всего мы беремся за чужие цели). Это опять связано с проблемой места. Место сингулярно – **из него и только из него вырастает линия моей жизни**. В том числе в этом достижении. Психологической иллюстрацией того, что достигаются только достигнутые цели, твои цели, а они – твои, потому что у тебя уже есть потенция этих целей, потенцированное бытие самих целей, – является, например, то, что жизнь может длиться дольше смысла жизни. Мы можем пережить самих себя: смысл нашего дела давно-давно уже исполнен, а мы продолжаем жить в качестве теней самих себя. Бывает, что жизнь исчерпана до того, как она кончилась физически. Точно так же – наоборот – бывает так, что мы в рамках нашей жизни не доживаем до реализации смысла, до реализации самих себя. Я неоднократно вам говорил, что мы имеем дело с нашим предназначением, которое не ограничено условиями и границами нашей жизни, оно – большая единица, чем границы и условия нашей жизни. Поэтому и существуют в онтологии такие состояния сознания, к которым – метафорически – приходится применять термин «бессмертие», «бесконечная длительность сознательной жизни» и прочее. Это, конечно, – метафоры того, как устроено наше сознание, а не предметные утверждения о физическом бессмертии. Так вот, точно так же **смысл** нашей линии в жизни может выходить за границы нашей собственной физической длительности жизни, и наоборот, он может быть меньше в зависимости от того, что у меня – мое: это «мое» я могу исчерпать за десять лет, а потом еще пятьдесят лет жить бесплодной тенью уже, исчерпанного «моего». И еще одно очень сложное следствие теперь мы можем вывести. Вы помните, *cosa mentale*, вещь ума или умо-вещь – приставка к нам, которую мы сами не видим, мы ею видим, приставка, и умственная и в то же время вещественная, связанная с нашей особой чувствительностью, не специфицированной органами чувств (то есть – не слух, и не вкус, и не зрение, но тем не менее – чувство). В философской традиции такого рода чувственные явления называются феноменами. (Я сейчас не буду объяснять вам эту традицию, это заведет нас в дебри; но напомним вам пример существ, у которых были бы тепловые эквиваленты того, что мы видим посредством зрения. Зрение дает нам образцы, но возможно ведь построение образа на основе звука или на основе тепла у какого-то существа, устроенного иначе. Вообразим какое-то тепловое существо, иначе устроенное, у которого тепло было бы органом чувств, дающим эквиваленты того, что мы имеем посредством зрения, или какое-то существо, у которого слух был бы устроен таким образом. И вот это слуховое ощущение, или световое, тепловое ощущение было бы феноменом.) Значит, в сингулярных точках, из которых идут линии нашей жизни, у всех нас есть некое чувство, являющееся какой-то стороной *cosa mentale*. Поэтому Пруст позволяет себе говорить о сверхчувственной реальности искусства, имея в виду, как ни парадоксально, именно чувственную реальность, но **сверхчувственную** по отношению к наличным у человека органам чувств. То есть он имеет в виду **феноменально явленный мир**. Феномен есть некоторое

чувственное-сверхчувственное. Чувственное, но не являющееся чувством какого-либо из наших органов чувств. В этой связи Блейк говорил о новых и более многочисленных органах чувств. Он осознавал, что вся проблема человеческого бытия и познания в мире связана с некоторыми **новыми и расширенными чувствованиями**. Философия такого рода «расширенные чувствования» устанавливала в области анализа, называя это **анализом феноменов** – а не восприятий, а не ощущений, а не явления. Я это вел к тому, чтобы под явлением понимать феноменальное явление, наделенное сенситивностью, о которой я говорил.

Так вот, – из парадокса, который мы разбирали, – есть сингулярные точки, относительно которых действует закон: **безразлично**, из какой точки (безразлично – из Тбилиси или из Парижа). Линия в пространстве путей забрасывает нас на такую траекторию и ведет к такому центру, – если мы вообще идем и что-нибудь испытываем и постигаем, – что это не зависит от того, от какой точки мы шли. Но **какая-то должна быть**, и она **сингулярна** – она несравнима с другими, не заместима другими, и человек ее должен испытать, то есть человек только со своего места может входить туда, так ведь? И там везде есть и чувственная сторона этого дела – явленность мира для каждой точки. Тогда, из всего того, что мы говорили, вытекает следующее следствие (это мы можем принять в качестве аксиомы, поскольку доказать это, хотя это очевидно, нельзя): мир не может **однойвиться**. То есть мир не может получить **одну** и **только** одну явленную форму. Кстати, если бы он мог бы однойвиться, то тогда мы познавали бы абсолютно, или все было бы только так, как у нас, что явно невозможно. Именно поэтому Канту приходилось пространство отличать от геометрии. Геометрии для Канта были возможны множественные, в том числе и неевклидовы, а вот пространственные формы у человеческих существ – вот такие, а не другие, и это – только формы. Если бы это была бы геометрия, то мир был бы только трехмерен, он был бы только евклидов. Повторяю (я по вашему напряжению вижу, что это трудно уловить) – если бы геометрия и пространство были бы одно и то же, – а у нас трехмерные пространственные формы, или евклидовы пространственные формы, – и если бы это можно было бы установить понятием, то мир был бы только один, а именно: трехмерный евклидов мир. Канту понадобилось это различие, чтобы отделить мир как X , который людям является вот таким образом, но на него не может быть наложено требования, чтобы он только одним образом являлся. Следовательно, – уже в связи с прустовским опытом, нашим опытом, – мир не может однойвиться: рядом или в другом мире всегда есть другие сингулярные точки чувствования, в которых он явился иным образом, и из него пошла другая линия универсумов. Прустовский универсум, прустовский мир есть мир такого рода линий. (Я сейчас просто живая иллюстрация того закона, который я ввел в самом начале: чтобы подумать любую мысль, в том числе подуманную и другими людьми, нужно ее родить самому, и все новое всегда вечно ново. Мне пришлось понять Пруста и в то же время понять самого себя: я сталкивался все время с тем, что я посредством некоторых орудий Пруста читаю в самом себе, в своем опыте. Но то, что будет рождаться, будет рождаться иначе, в том числе и то, что Пруст, конечно, не думает о том, что мир не может однойвиться. Но это есть мысль, посредством которой или через которую в меня могут войти те открытия, которые Пруст сделал в нашей душевной жизни, в том, как мы устроены, как устроен мир, что мы делаем, почему мы делаем это и не делаем другого, почему мы что-то можем или чего-то не можем.)

Для мира в принципе не может быть одной формы его явленности – явленности в нашем испытании, такой одной-единственной формы быть не может. Отсюда, конечно, вытекает, что наши линии несравнимы одна с другой,

между ними нет ничего общего (когда я говорю «несравнимы», это означает отрицание общности, и в то же время я утверждаю, что они все – одно), но это есть одно, бесконечно рефлексированное внутри себя в этих линиях. То есть общее между ними путем сравнения не устанавливается. Скажем, ваш опыт, из точки вашего уникального чувствования, феноменального чувствования, конечно, прочертил линию, которая несравнима с моей линией, и, очевидно, не путем сравнения наша коммуникация будет происходить, здесь есть феномен несоизмеримости, явный совершенно. Значит, мы знаем, что все равно – из какой точки мы идем к центру и в какое время, момент никогда не назначен. Время прустовского мира не имеет привилегированных точек, не имеет иерархии. Так же как в Евангелии нет субботы. Ну что такое «суббота»? Суббота – это символическая точка времени, в которой должно что-то свершиться. А для Христа – любой момент есть время свершения. Такие примеры помогают понимать, потому что мы живем в мире древних символов, они есть описания, косвенные описания нашей души, а у нас – именно наша душа, а не какая-нибудь другая, и поэтому иногда нам посредством этих символов другие, казалось бы, вещи удается пояснить. Итак, – не назначен ни момент времени, ни место не назначено, хотя место всегда какое-то есть. Я сказал бы, что это есть своего рода миродицея. Я условно образую это слово по кальке со слова «теодицея». Теодицея – это оправдание Бога. Как же Бог мог создать мир, в котором столько зла? (Сложная очень проблема, известная прежде всего в той форме, которую придал ей Лейбниц, и называемая с его легкой руки «теодицией».) Фактически я вам своего рода миродицею – оправдание мира излагаю; я говорил вам, что оправдание мира – существенная тема у Пруста: мир устроен таким образом, что все годится – не назначен никакой момент, не назначено место. Все годится...

ЛЕКЦИЯ 36. 23.05.1985

В прошлый раз мы извлекли некоторые следствия из того, о чем говорили раньше, – я не буду напоминать, просто частично, для того, чтобы начать сегодняшнюю тему, скажу об одном из следствий, а именно, что мы имеем дело не столько с опытным овладением мира (мы на опыте что-то узнаем, осваиваем и на основе опыта действуем), сколько с изобретением или с возникновением форм для опыта, посредством чего впервые реализуются наши силы, в том числе в переживании, в чувствах, в ощущениях. То есть какие-то живые силы посредством формы реализуются. Довольно важное следствие, скажем, для истории и для социологии. Обычно мы рассматриваем то, что человек изобретает, в том числе и формы социального общежития, формы нравственности, культурные формы и т.д., как некоторые приспособления к среде, – есть независимым образом данные какие-то условия, называемые объективными (социальные, географические, экономические и т.д.), материальные условия, независимым образом данные, и человек овладевает ими, приспособляется к ним и создает какие то формы жизни, являющиеся приспособлениями к условиям среды. Вы знаете, что эволюционная теория Дарвина, в общем, построена примерно так, правда, там есть сложные механизмы, генетические, механизмы отбора и т.д., но, во всяком случае, предполагается некоторый акт, приспособительный акт человеческого существа, и формы жизни есть те, которые эффективно или рационально позволяют ему приспособиться к независимо заданным условиям. Путем простой, почти что математической операции мы можем понять, что дело обстоит не так (математическая операция – я имею в виду переворачивание того, что мы говорили). Оказывается (на многих примерах мы могли в этом убедиться), – впервые посредством некоторой формы, которой я **актуально** могу выполнить (вы помните принцип когито: я мыслю, я существую), – это

фактически принцип способности самоличного присутствия и действия фактом самого присутствия. Нечто происходит, потому что я могу занимать определенное место. **Быть.** Нечто, возникновение или появление чего мы не можем приписать какой-либо содержательной причине (содержанию). «Я есть» – **незаместимый факт бытия и действие этим фактом присутствия,** – он есть или нет. Помните, я отличал: вербальная имитация чего-либо и невербальное бытие. Акт познания существует в двух ипостасях, или – акт существования, чувство существует в двух ипостасях: реально испытываемое и оно же – описываемое. И в описании может не быть никакой реальности этого чувства, хотя номинации и указания на предметные содержания, то есть на денотаты, могут быть те же самые. В философии это выражается одним простым словом: «самому» – **самому** познавать, самому быть и т.д., или самому испытывать. Но мы убедились в том, что «самому испытывать» не так просто, что есть вещи у нас в голове, которые, как нам кажется, отмечены знаком «самому», но на самом деле в этих словесных или умозрительных образованиях не содержится никакого прямого опыта действительности. Я, например, не позавидовал бы человеку, которому нужно было бы сейчас начинать жизнь. Если бы мне сказали: давай повернем рулетку, мировую рулетку, и тебе выпадет номер, что ты сейчас сможешь начать жить, то я в ужасе отказался бы, потому что знаю, как мал шанс что-либо испытать и понять. А тот шанс, который есть, он есть на твоём месте, ну, а место любое, так ведь? Значит, я кое-что просто напоминаю вам, и хотя вам, наверно, эти примеры и надоели, но таков неминуемый порок философии, который я наглядно перед вами являю и вызываемая им скука и кажимость повторений. И вот я «все о том же» (помните... встреча греческого софиста с Сократом) по той простой причине, что мы говорим о вещах, казалось бы, простых, но именно поэтому почти что недоступных действительному постижению.

Значит, «я есть, я могу» – мир устроен так, что есть как минимум одно существо, которое **может.** И, конечно же, то место, в котором мы можем, не есть то, что мы можем выбирать, не есть то, что мы можем получить умозаключением, посредством знания. Приведу вам исторический пример, чтоб понять, что, как ни странно, термин «знание» неприменим, если под «знанием» понимать некую знаково-логическую структуру. Скажем, «я могу», – чтобы понять, что это не есть продукт умозаключения, я сразу приведу вам известные слова Лютера: «Здесь я стою и не могу иначе». Он имел в виду следующее: он «стоит здесь», то есть он занял то место, которое ему указано каким-то предназначением, но почему? и что это? – он не знает. Я не знаю почему, я не могу вам доказать – «не могу иначе». Hier ich stehe und kann nicht anders, здесь я стою и не могу иначе. Теперь мы интуицией уловили, о чем идет речь. И вот то, что я называл формами, есть такого рода потенции, такого рода «мочь» или «мощь». Форма актуальности такой способности, назовем это так. Если это так, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что те социальные формы, которые изобретались человеком, вовсе не изобретались с оглядкой на каким-то образом известные человеку независимые условия среды и приспособление к ним каких-то форм человеческого общежития. В действительности человеческие общежития, их формы изобретались, чтобы могли реализоваться какие-то человеческие силы, сама **способность** человеческого общения (та, на которую были способны люди), – через ту форму, которую они изобрели. В контексте такого рассуждения возможна следующая фраза Шарля Фурье. Вслушайтесь внимательно, она совершенно непохожа на то, что я говорил перед этим, но из сказанного сразу же может возникнуть та мысль, которую я сейчас выражу словами Фурье, а он говорил так (мимоходом, хотя вся его концепция, о которой я частично вам рассказывал, основана на этом) – «формы общества, которые оставалось изобрести». Сразу напомню вам Леонардо да

Винчи, который говорил о принципах природы, которых никогда не было в опыте. Это ведь обратная сторона: **принцип** – для того, чтобы что-то было в опыте, или **форма** – для того, чтобы что-то случилось в опыте; чтобы я реально испытал, пережил, реализовал то, что можно реализовать только путем совместного общения. Например, мы уже общаемся и пользуемся друг другом, и делаем это как умеем, но наше умение складывается не приспособительно к какой-то среде, а, скорее наоборот: опыт рождается посредством изобретенной формы, и следовательно, должны быть предположены такие формы, которые есть, но мы их не изобрели, мы их не знаем, или, как говорил Спиноза: «идея модусов, которых не существует». Ученая фраза Спинозы относится к тому, о чем я только что говорил: «формы общества, которые оставалось изобрести», «принципы природы, которых никогда не было в опыте», или, в связи с этим, я говорю: любовная форма, которой никогда не было в опыте, и в силу этого чего-то никогда не было и в нашем опыте любви.

Значит, на фоне того, что я говорю, все время стоит предположение некоторых потенциалов жизни, бесконечно больших, чем то, что мы можем в жизни реализовать, изобретая какие-то формы. Чтобы реализовать, нам нужно изобрести какие-то формы. Испытать без форм – нельзя: не получится, будут те недоноски, полусущества, о которых я вам рассказывал. Изобрели форму, – но все равно жизнь всегда **бесконечно возможнее**, чем те формы, которые нам удалось изобрести. Соответственно, мы теперь понимаем, что не путем эволюции появляются новые формы, так ведь? Скажем, в эволюционной теории Дарвина (и в социологии существующего типа) приходится все время придумывать причины, почему, скажем, волк превратился в собаку, или обезьяна превратилась в человека. Изобретать причины приходится, потому что этого никогда не было, не случилось этого никогда и не могло случиться. Совершенно очевидно, что все иначе происходило. Точно так же как никакой социализм из капитализма никогда не возникал и не возникнет, так же как капитализм никогда не возникал из феодализма и не могло этого быть и т.д. Где-то, когда-то, внутри чего-то изобретались какие-то другие формы, посредством которых люди экспериментировали. Я говорил вам об «экспериментальной вере» Пруста. Вера есть «ни почему» и «ни во что», так? Следовательно – не для того, чтобы приспособиться к каким-то материальным условиям. Я приведу пример, близкий к литературным делам, но структурно такой же, каковы структуры рассуждений: скажем, в истории и в социологии. Известно, что, когда вышел гетевский «Вертер», прошла целая волна самоубийств в Германии. Так же, как, известно, после появления психоанализа чаще стали случаться случаи психоза, описанного в психоанализе. Вы уже, наверно, увидели структурную аналогию. Значит, был написан «Вертер», и в мире появились вертеры, люди испытали что-то вертерообразное: размножились вертеры и т.д. То есть мир как бы начинает работать на изобретенную форму, он подтверждает – что в мире, действительно, есть состояние, называемое «Вертером». Но в действительности все не так. Сначала людьми изобреталась форма испытания неизведанных до этого чувств и состояний, и потом стали происходить определенного рода события, работающие на эту форму. То же самое происходит и с социальными формами, все то же самое; и поэтому я вам цитировал Фурье, и поэтому настаивал на аналогии между некоторым внутренним духовным миром или некоторой внутренней концепцией Фурье и концепцией Пруста, хотя, казалось бы, совершенно разные, и действительно разные, люди: один – литератор, другой – безумный утопист-социалист. Вот из простой вещи вытекает довольно радикальное следствие для оценки существующих социальных теорий, концепций.

Так вот, с чего, собственно, я хотел начать сегодня: когда мы говорим о формах для опыта и к тому же еще держим в голове аксиому, что мир не может одноявиться (а это ведь то же самое, что сказать, что мир есть бесконечно более возможный, чем любые изобретенные нами формы), что весь мир не может явиться одним чувствительным явлением, – и вот, если мы держим это в голове, то мы, конечно, понимаем теперь, что в действительности то, что случилось сейчас (если изобретена форма), как бы **кристаллизует** позади себя явления, процессы, предметы – в том смысле, что они становятся **источником** опыта. Это как бы ретроактивная или рекуррентная причинная связь. Кристаллизация себя произошла, и она сделала причинами то, что было перед этим, и теперь это – причины последующего. Так же как причины самоубийства Вертера появились в мире, реально появились, после написания «Вертера». Значит, позади кристаллизуется причинная цепь. И у нас тут имплицирован и заложен и другой взгляд на человеческое существо, на всю проблему так называемой свободы и так называемой детерминации, или детерминизма человеческого существа и человеческих обществ. Что-то нам чудится уже другое, что в реальности происходит несколько иначе, чем дано нам в известных оппозициях свободы – необходимости, свободы и причины. И мы фактически пытаемся завоевать некоторый **непричинный** взгляд на действительность. Он, очевидно, условно, может быть назван структурным взглядом. Нас интересуют некоторые возможности, имплицированные или свернутые в формах, которые кристаллизуют нечто, что перед нами потом – в наглядном нашем представлении – выступает как причинно-следственная связь или причинно-следственная последовательность. Вспомните примеры, которые я приводил: люблю Альбертину... – потому что через любовь к Альбертине всечеловеческая и более универсальная моя потребность в нежности реализуется, и я **научился именно так** (вот теперь у нас все понятия работают, в том числе – «реальной мощи»), что реально могу, – не вообще нежность, а та, которую **могу**, и она связана с Альбертиной, так? И потом оказывается, что я живу в мире, в котором я не могу иметь нежность без Альбертины. То есть тогда уже Альбертина становится условием, причиной того, чтобы я вообще испытывал состояние нежности (хотя действительная структура прямо обратная, как я только что говорил). И вот теперь я не могу быть в нежном состоянии без чего-то, что делает Альбертина: без ее существования, без ее определенных поступков, без ее определенного отношения ко мне – теперь уже так. Значит, Альбертина не есть причина любви; что-то другое кристаллизуется на Альбертине – она входит в связанное пространство моих чувств, скажем так, в котором я прохожу какой-то путь. Пути проходятся всегда в связанном пространстве, то есть там предметы не безразличны один другому; скажем, для меня Альбертина – «пуп земли», а для другого – она просто обыкновенная толстощекая девушка, как выясняется по описаниям Пруста, с довольно крупной шеей (позднее психоаналитики находили в этом элементы описания мужской шеи и прослеживали через это гомосексуальные склонности Пруста; так это или не так, никакого значения не имеет, малоинтересные мысли, то есть мысль здесь не будет рождать других, тысячи себе подобных).

И вот, чтобы заморочить вам голову философией, – я приводил вам мистическую фразу Спинозы вне этого контекста, просто ученую и непонятную, а сейчас приведу другую, тоже мистическую и непонятную, но которая есть философское выражение глубокого опыта, подобного тому, о котором я вам рассказываю в связи с Альбертиной, могу рассказывать в связи с Фурье и т.д. Одна из последних работ Декарта (не в академическом формальном смысле) – запись беседы его с неким Бурманом, который задавал ему вопросы (по предшествующим опубликованным работам Декарта) с просьбой разъяснения

каких-то пунктов из декартовских текстов, и Декарт разъяснял и отвечал. Сам вопрос связан с тем, как Бурман понимал декартовскую теорию так называемого творения вечных и неизменных истин Богом; она связана с глубоким утверждением Декарта того, что в Боге нет необходимости, что нечто истинно не потому, что Бог знает истину и по модели истины строит что-то в мире, а нечто истинно, потому что Бог **так** сделал (это вам уже кое-что напоминает, наверно, из многих наших опытов в связи с Прустом). И в связи с той довольно сложной теорией (она, кстати говоря, перекликается тайными путями, а все действительное в истории мысли всегда идет тайными путями, перекликается, как ни странно, с совершенно неизвестным Декарту учением восточных суфиев) – вопрос был такой у Бурмана: может ли Бог создать ненавидящее Его существо? Повторяю: может ли Бог создать ненавидящее Его, то есть Бога, существо? Ответ Декарта – ошарашивающей гениальности; ну, конечно, сама гениальность Декарта и вызвала этот интересный вопрос, но и ответ ослепительный: **теперь** уже не может. **Теперь** я не могу уже быть нежным без Альбертины. (Я не буду расшифровывать Декарта, просто я привел пример того, что абстрактные фразы имеют – и не теряют никогда – некоторый изначальный и простой жизненный смысл. И наоборот, простой и изначальный жизненный смысл мы можем выражать только очень отвлеченными и сложными философскими фразами; не существует другого способа выразить то, о чем я сейчас говорил.) И вот простой и изначальный смысл тайных человеческих созвучий в душе и в сознании Пруст выражал очень сложными философскими отвлечениями или литературными конструкциями. Почему такая сложность – перекос всех временных пластов, все перепутано, рассказчик имени не имеет, мы не знаем, кто он, что он, и что за странная любовь такая? Все очень просто, – чтобы раскрутить простейший жизненный смысл того, что мы испытываем под названием «любовь», оказывается, нужна такая сложная форма. И вообще сложность литературы XX века объясняется тем, что она еще глубже пошла к некоторым простейшим вещам в человеческой душе и в мире, к простейшим истинам о том, каковы мы сами, что мы на самом деле испытываем, и что значит то, что мы испытываем, и что случится с нами в зависимости от того, что мы так думаем, так оцениваем то, что мы испытываем. И вот из этой мозаики приходится складывать простую вещь: я люблю Альбертину. Оказывается, то, что нам кажется простым и само собой переживаемым, – что Альбертина добра или красива, и поэтому я ее люблю, – все это ничего общего не имеет с тем, что мы в действительности испытываем, и с причинами того, что мы испытываем именно то, что испытываем. Значит, я привел примеры двух сложностей: сложность философская – фраза Декарта, казалось бы, довольно отвлеченная (схоластическая, теологическая дискуссия о свойствах Бога) ... Да нет, – **построить** теорию творения вечных истин. А это ведь контрадикция в терминах. Если истины вечные, их творить нельзя – контрадикция, противоречие в терминах, и тем самым это уже какая-то особая теория; и еще ввести сцепление – структурное сцепление – **теперь** уже не может. То есть в мире уже есть существо, имеющее понятие Бога, то, которое стало на место и может только в протоплазме того, что Декарт назвал бы Божественным усилием; конечно же, Бог теперь уже не может. Он пошел так и это стало, и теперь Он вовсе не может создавать ненавидящего Бога существа – это было бы противоречием разума или Бога самому себе, это невозможно. Значит, вы должны научиться читать философский текст, встречая в нем такие непонятные фразы, как «теперь уже не может», непонятный вопрос: может ли Бог создать ненавидящее Его существо? Другая сложность – читать романы XX века.

После этих отвлечений вернемся к тому, что я говорил. Вопрос у нас возникает простой, в общем-то. Значит – формы **для** опыта (а не формы опыта), формы – для того, чтобы впервые случился опыт, то есть реальное

испытание, опыт, который я могу, действительно могу; и в связи с этим имеет место кристаллизация, выпадение причин **сзади** меня – сначала что-то случилось в будущем, и оно свои причины отложило в прошлом. В этих рамках и возникает вопрос: если это все так, то где же – то, для чего не нашлось или не оказалось формы? Мы знаем, что жизнь бесконечно возможнее любых форм, и есть принципы, которых никогда не было в опыте. Принципы, которые есть, но никогда не были еще изобретены, чтобы посредством их получить какой-то опыт, и в этом смысле они не испытаны. Но не только – полусущества, о которых мы говорили, недоноски, наши получесть, полуум, полусовесть, – все те состояния (в том числе в нашей социальной жизни, в нашем общении), для которых никогда не было формы, общественной и социальной, посредством которой мы могли испытать. Например, оттенок любовного чувства, который совершенно исключен формой моногамной любви. Социальной формой наших matrimониальных отношений: – о ней, кстати, в свое время Фурье заметил, наблюдая отношение двух полов в рамках моногамной формы брака: можно подумать, что эта форма брака изобреталась некоторым третьим полом, чтобы основательно досадить первым двум. Значит, есть что-то, чего я не знаю, но что я испытываю, какой-то оттенок любовного чувства или любовного отношения, действительно выполняемого, для которого нет места. Нет **единого** места – существующей формы, позволяющей нам испытывать, действительно испытывать, реально реализовать полностью возможное для нас любовное чувство. Но в то же время оно (чувство) есть. Места ему нет, но оно – состояние. И в данном случае не только в смысле: где наша прошлая любовь, когда она вернется (вспомните Блейка) и т.д., и тогда мы сможем освободиться от мрака и беды. Сейчас я имею в виду другой оттенок. Кстати, это состояние похоже на то, о чем говорит Лютер. Там, где он стоит – потому что он не может быть иначе, есть испытание чего-то, чему в мире не отведено места существующей формой. Лютер не знает до конца того состояния, в котором он находится. Оно для него несомненно очевидно, – как выражался сам Лютер: Бог меня восхитил. Божественное, но – принуждение. Им овладела непонятная ему самому сила. Но мы же ввели принцип, что такого рода состояния – киселеподобны, непродуктивны, поскольку они содержат в себе лишь потуги какого-то события в мире: намерение события, но не случающееся как событие – нельзя сказать, что испытано. Я подчеркиваю, что речь идет о приложении терминов к состояниям нашего сознания. В каком-то смысле мы до сих пор не умеем обращаться с этой реальностью (то, что есть в нашем сознании и что привычно), у нас нет аппарата обращения с реальностью, и признаком отсутствия этого аппарата является рассмотрение всех состояний сознания как эпифеноменов других реальных – то есть физических – состояний. Ввиду отсутствия этого аппарата все состояния есть просто сопровождающие тени физических событий. А мы говорим не о них, мы говорим о других событиях – **как** по отношению к ним эти состояния.

Ясно, что именно для такого рода состояний, – которые в точке несомненного их испытания в то же время оказываются, или не оказываются, или мы не нашли формы, чтобы они реализовались или действительно случились, – мы можем применить термин «судьба». Такие состояния имеют **судьбу**, или проходят **путь**, и тогда на уровне литературной формы можно применить термин «воспитание». И его применение осмыслено не тогда, когда мы что-то узнаем посредством получения информации, – Лютеру нельзя дать никакой информации, и он не может разрешить то, что с ним происходит. Нет такой точки, из которой ему можно было бы дать информацию, – происходит что-то другое. То, что происходит, будем называть путем. То есть всегда есть какая-то точка, в которой случилось то, что **случалось**. Скажем (чтобы не усложнять дело, я буду повторять примеры), Шарлю показался (на какое-то

мгновение) женщиной – это истинное впечатление, но у человека, имевшего это впечатление, в инструментарии не было никакой формы, в которой было бы место этому впечатлению, и поэтому оно... где-то. Там, где – наконец-то – автор, уже прошедший путь воспитания чувств, смог себе сказать, что Шарлю и был женщиной. Вот что мы называем «судьбой» или «путем». Конечно, мы понимаем, что путь или судьба уникальны, несравнимы. В проходимый тобою путь нельзя включить ничего полученного извне путем информации. В аналогичных ситуациях Пруст говорил, что истина нигде не лежит так, чтобы ее могли прислать по почте в конверте. Истина есть что-то, что интерпретируется и **становится** в процессе интерпретации. А теперь слово «интерпретация» заменим словом «путь». Значит, воссоединение частей события, так, чтобы событие могло случиться: – ведь событие всегда целое, оно случилось или не случилось, – воссоединение частей события происходит путем, или – **на пути**. То, как оно происходит, будем называть путем. Для наглядной иллюстрации «пути» воспользуйтесь получившим свое место смыслом термина «воспитание», **«воспитание чувств»**. (И отсюда в литературной критике существует термин «роман воспитания чувств» или «роман-воспитание». Такими романами в XX веке были: «В поисках утраченного времени», «Поминки по Финнегану» – самый загадочный роман XX века и «Человек без свойств».)

Раз мы говорим о пути, то мы имеем два связанных друг с другом обстоятельства. Но я буду говорить о них отдельно. Скажем так: тот мысленный акт, который не есть средство – внешнее и безразличное – по отношению к содержанию. Когда мы произвольно вспоминаем что-то, память есть средство, не связанное с содержанием, которое (содержание) вспоминается посредством этого средства. Можно вместо слова «память» взять слово «мышление». Наши мыслительные средства есть внешние средства, сами по себе безразличные к содержанию, средства достижения истины относительно какого-то содержания (содержания могут быть самые разные). В этом смысле мысль как внешнее средство идет путем сравнения объектов. Но мы знаем, что путь сравнения для нас исключен, – пути несравнимы, **уникальны**. Так вот, такой мыслительный акт, который втянут в само содержание и движется вместе с ним. В том числе и то мысленное средство, которое применяет Лютер относительно самого себя. Он совершает какой-то акт мысли относительно того, что с ним происходит. Но этот акт мысли есть одновременно и он сам, Лютер, его состояние (он не есть внешнее средство по отношению к этому состоянию), – назовем это **включением самого себя в содержание и переосознание содержания на самом себе**. А именно: испытать самому, познать самому. Познаем сами и испытываем сами – в тех случаях, когда мы **сами** мысленным актом включены в некоторое движение состояния содержания и фактически на **себе** его переосознаем. Осознаем **заново** или **по-новому сможем**. Вот Лютер по-новому сможет, и это состояние нахождения по отношению к какому-то содержанию он называет «не могу иначе», а пока он не знает ничего другого. Но – на **своем** «не могу иначе» или «могу стоять» (это одно и то же), без каких-либо на то оснований, – и это есть один из величайших актов человеческого достоинства. (Кстати, Кант иногда писал неуклюжие стихи, но в них всегда содержалась одна и та же мысль. «Лишь то мы сознаем, что воспоследует в жизни. Лишь то мы сознаем, что делать нам подобает». **Это** и есть сознание, но оно, не будучи ясным сознанием, не содержит и не может дать ответа на вопрос: почему, на каком основании, что ты хочешь этим сказать?) Этот акт есть включение самого себя и переосознание на самом себе. На своем состоянии, которое выступает как критерий истинности любых последующих утверждений. И вот интересно, что этим включением мы как бы одновременно **создаем истину** и тут же **теряем ее в сознании**. Оно (состояние) какими-то путями идет дальше, по каким-то

своим законам. Ведь включив себя, я вызвал некоторое состояние бытия из небытия: «здесь я стою и не могу иначе», и тут же, в моем эмпирическом сознании, в предметном сознании, в моем психологическом сознании, в моем знаниевом сознании, я потерял это состояние. И кстати, факт потери выражается тем следствием, что такого рода состояния я вынужден каждый раз заново завоевывать. Их нельзя иметь раз и навсегда. Каждый раз приходится заново вводить себя в это состояние, а вот гарантии, что сможешь это сделать, нет. И то, что приходится заново завоевывать такого рода состояние, это я называю – что мы потеряли его в сознании (состояние далее идет каким-то своим путем, по своим законам). Теперь вы узнаете, что это включение и одновременно потеря есть то, что я называл пифагоровым мигом, молнией впечатления, которая ударяет нас, и только на отрезок молниеносного мига нам дана истина (или свет). И мы теряем ее в том сознании, которое испытало это, и все эмпирические самообъяснения, что со мной происходит, уже не имеют этой очевидности. И признаком того, что они не имеют той очевидности, какое имеет первое состояние, является то, что мы не знаем, что с нами. Мы не знаем, мы переживаем это как внешнее овладение нами. Здесь какая-то потрясающая дуальность, лежащая в основаниях нашего сознания. Кстати, я говорил вам, что простое остается там – мы его теряем, и оно идет своими путями. Но это – не абсолютная потеря; оно идет своими путями, и мы потом, пройдя путь, воссоединяем или возвращаем это ушедшее, – но только пройдя путь, а не путем получения информации со стороны. (Простое остается где-то там, а нам суждено сложное. В том числе те философские фразы, которые я приводил.)

Еще одна интересная ситуация и реплика, которой Музиль завершает описание этой ситуации (во втором томе романа «Человек без свойств»), – у Музиля есть рассуждение о том, что наша психология устроена наподобие линз, что у нас все время есть и та и другая, разные, а именно: *Konkav* (вогнутая) и *Konvex* (выпуклая). Выпуклая, – так сказать, извне мы имеем себя, а вогнутая – внутреннее. Мы уже говорили, что все время имеем выворачивание одного в другое (внутреннего и внешнего). Если бы у нас было только внешнее, тогда внутреннее и внешнее были бы различны. А мы имеем и то и другое – *Konkav* и *Konvex*. Двоичность – путь, слагающийся из двух полупутей. Рассмотрение объектов как внешних (данных на поверхности выпуклости), а второй путь – внутреннее рассмотрение. Вспомните пример прустовской сырости – состояние или событие мира. И оно же – эквивалент внутреннего состояния человека, испытавшего это извне, эквивалентно внутреннему состоянию: архетипической или начальной форме любовного переживания нашего Марселя. Значит, мы получаем некоторое «вывернутое», в смысле внешнего и внутреннего состояния, поскольку до этого я ввел закон максимума и минимума: максимальное – не на каком-то расстоянии расположено от минимального, как, скажем, небо от земли, а каждый земной момент содержит в себе земное и небесное. И вот в каждой такой точке есть выворачивание нашего внутреннего во внешнее, и наоборот. Таковы мы, существа, когда движемся по пути. Путь слагается из двух полупутей. Скажем, на основании каких-то данных я вывожу идеальные законы – один полупуть, и второй полупуть – я изнутри самого себя смотрю на данные. Не от данных иду к законам, – а к данным иду. В том числе к данности Альбертины – как предмета, который мною любим. Есть путь, в котором я иду к ней, – не принимаю как данные, чтобы иметь высокое чувство, то есть любовь или идеальное, а наоборот, идеальное оказывается внизу и из него я смотрю на Альбертину (в том числе могу снять, например, кристаллизацию своей любви). Это оказалось, как выражался Пруст, только необходимой формой кристаллизации, а не то, что имеет ценность и обозначено знаком любви – сам предмет, называемый Альбертиной. Значит,

распредмечивание мира, снятие с него гуманистического (человеческого) облика, потому что на одном из полупутей я обращаюсь с Альбертиной так, как если она еще не есть ставшее существо (она еще не есть человек). Это есть снятие и культурного мира (заданной формы любви и ревности), согласно которому я переживаю свое чувство, якобы вызванное качествами Альбертины. Итак, я снимаю предметный мир, снимаю культурный мир. Более того, здесь идет демифологизация мира, потому что исходное состояние – эквивалент чувства сырости – дано самому мальчику (в данном случае субъекту) в виде некоторой мифической истории собственного происхождения, которое, конечно, помечено эдиповым комплексом. Вот что происходит с истиной, которая, по выражению Пруста, скрыта в ощущениях, – не является данным, на основании которого мы заключаем об истине, – ощущение, в котором скрыта истина, движется по каким-то путям. И вот куда оно ушло, я называл **состоянием некоторого пространства**, которое определенным образом стянуто и организовано, и следы этой организации мы знаем. Оно организовано так, что из любой своей точки – если я двинусь – забросит меня в центр, то есть в оком своей истины. Пространство, в котором мы условно поместили то ушедшее, которое и истинно испыталось, и в то же время – не имея формы – могло бы действительно испытаться и случиться в виде события, называемого испытанием.

Так описывая, я фактически говорю о том, что пифагорова точка или пифагоров миг есть сфера. Некоторая большая область, на поверхности которой мы находимся. Почему я и называю ее сферой и говорю о движении **к центру**. Точки этой сферы таковы, что из любой точки, если ты двинулся по линии, ты будешь заброшен в центр. Это пространство, во-первых, отличается от предметного, нами наблюдаемого реального физического пространства, и, во-вторых, отличается от логического мысленного пространства. Очень странное отличие... Пруст все время сталкивался с проблемой, что рядом с теми вещами, которые он испытывает, существуют еще некоторые вещи, которые он ощущал, так сказать, как вербальное покрытие. Например, метафоры могут быть искусственными или головными (с чем угодно можно сравнить, это зависит от личной изобретательности, что только данному человеку может прийти в голову), и они всегда производят ощущение чего-то вымученного, чисто интеллектуально-рассудочного. Пруст часто сталкивался с этой проблемой в связи с другими писателями и описывал это так, – что есть некоторое движение описания, которое уже не есть движение самого содержания или самой вещи, а есть движение изобретательной мысли автора, где аллегии чисто словесны, вербальны. И от этого он отличал то, что называл развитием впечатления или развитием самой истины – **движение к центру**, в котором и есть развитие истины. Вот в том пространстве, которое не есть наше ментальное пространство, где мы вербально, логическим сопоставлением можем покрывать произвольно большие расстояния и сравнивать предметы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, вводить в художественное описание аллегию, метафоры, – Пруст говорил, что покрытие этих пространств, произвольно больших, отделяющих предметы, сравнимых один с другим, происходит тогда, когда мы не обладаем истиной, чтобы продолжить образ. То есть мы находимся (на моем языке) в **организованном** и определенным образом стянутом пространстве состояний, для которого действует закон – из любой точки. Обратите внимание на удивительную, так сказать, корреспондирующую, по закону соответствий рождающуюся у Пруста точность выражения: в случае, когда мы не смогли с любой, произвольной точки *circonférence* (поверхность сферы) спуститься в центр. И движение к центру, в отличие от холодного движения моей сопоставляющей мысли, есть **движение самого образа**, рост самого образа –

он естественным образом растет и охватывает разные точки, а не я придумываю сравнения, метафоры и аллегории, которые для хорошего слуха всегда звучат нарочито и холодно. Тем самым мы можем сказать, что в этом пространстве мы имеем дело с некоторой конфигурацией события; то есть путь завершается конфигурацией событий, структурой которых является некоторое синхронное соответствие или совпадение, синхронное или симультанное, – какой-то объект, который находится на большом удалении и совершенно не связан с другим объектом, вдруг оказывается скоординированным с ним. Некоторая конвергенция события. Очень сложная проблема – разобраться, какие действительные связи и причины там действуют. Надо сказать, что это одна из самых актуальных проблем в биологии. Известно – в отличие от древа эволюций, которое в свое время рисовал Дарвин, где из одного корня исходят ветви эволюций, где мы продолжаем дальше, в последовательности изобретения форм, – и факты показывают, что столь же большое значение, если не большее, имеют процессы, называемые конвергентными. Например, оказалось, что глаз изобретался в не связанных одна с другой точках и не один раз. И это изобретение терялось в эволюции, потом снова изобреталось, или изобреталось одновременно в разных местах. То есть мы имеем как бы перевернутое дерево. Думаю, что это должно вам напомнить символ мирового дерева. А это есть одна из первых концептуальных карт устройства нашей души или нашего сознания. Мифическая или мифологическая карта, конечно. Это вам не дивергентная эволюция Дарвина, а **конвергентная**, – с одновременным происхождением одного и того же события в разных, не связанных местах.

Так вот, фактически оказалось, что мы имеем дело не с пифагоровой точкой, – целая область, сфера и мы – существа, живущие на этой поверхности. Но у нас есть прорастания, идущие и в глубь сферы. То, что мы создали включением, остается в сфере, – а с нашим сознанием, которое на поверхности сферы, мы это потеряли, не знаем. И соединиться могут точки на поверхности сферы – одно состояние сознания, в котором я полуузнал, с другим состоянием сознания, в котором я еще что-то полуузнал, – проходя пути **внутри сферы**, а не в движении по поверхности. Потому что движение по поверхности есть движение собирания только информацией и знанием. А там (как мы установили, туда ничего нельзя добавить), оказывается, есть какой-то нырок и в сферу. Тогда в сферу мы можем допускать те состояния, которые являются продуктом пройденного пути. Пути – на котором воссоединились сами полупути. То есть воссоединились составные части некоторого неделимого впечатления, и неделимо расположенного, тем не менее, на большой области, называемой нами сферой. И вот появляется живое состояние как результат пути. Состояние, скажем так, некоторого тела, занимающего это пространство. То есть мы вынуждены предполагать существование особого рода тел этого движения. И на путь этого предположения нас толкает и тот факт, что мы установили особого рода чувствования, которые не есть чувствования какого-либо органа чувств, а есть то, что Блейк называл расширенными и новыми чувствами. А чувствовать могут **только тела**. И это означает только одно: у нас вообще исчезает среда – как отделенная от наглядно выделенного нами индивида. Мы этого разделения (среды и индивида) уже не можем иметь, потому что до этого ввели закон пути, состоящего из двух полупутей (Konkav и Konvex), где это внутреннее и внешнее перемешалось. То есть мы не имеем, в строгом смысле слова, индивида, отделенного от среды некоторой непроницаемой поверхностью. (Мы таковы, так мы видим. Такое видение мы должны в себе придержать.) Так значит, мы потеряли четкое разделение среды и человека. А это означает, что мы должны о такого рода вещах **мыслить**, блокируя или придерживая традиционное различие между материей и

сознанием, душой и телом, пространственным и непространственным, внешним и внутренним и т.д. Мы должны их придерживать – то, о чем мы рассуждаем, находится вне применимости этих различий. Я говорю, что мы должны мыслить так. (Я не могу указать вам другого тела, чем то, которое вы видите.) **Думать** о некоторых свойствах нашего сознания, не принимая этих различий. Потому что, думая об этом реальном дискретном явлении – свойствах сознания, которые я описывал на материале Пруста, мы ничего не получим, если будем пользоваться многочисленными и многообразными терминами (мы всегда думаем о явлении посредством терминов) и помещать их в контекст мира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Встреча с философским словом – всегда встреча с самим собой, труд и радость самооткровения. «Узнавание себя в мысли философов» (Мамардашвили) есть, в сущности, единственный неподдельный отклик на нее: узнать в ней не себя – «Это же Эммануил!» – значит, пройти мимо. Пройти мимо – значит, не узнать **собственного имени**.

Не обязательно выдавать себя за философа, чтобы признаться: наши «впечатления» от прочитанного и научные «оценки», наши пересказывания «своими словами» метафизических идей с разъяснениями того, что автор «имел в виду» (тут все слова надо ставить в кавычки), – все это стоит немногого. «Свои слова» здесь – чисто риторическая фигура, знак самозванства. Они должны быть доходчивыми (и от этого – доходными), но они не могут быть настоящими: в местах общего духовного пользования ни у своих слов. ни у своих глаз нет права голоса – здесь либо смотришь на мир чужими, готовыми к употреблению глазами, либо попросту не видишь истины, которая на всех одна. Понятно, отсюда кажется абсурдным правило Мамардашвили: «Читать в себе!» Но самого философа, «гражданина неизвестной Родины», это смущало мало. В мире Духа достанет и других – необщедоступных мест, где, возможно, никто не знает, кто ты и откуда, но зато и не спросят, если откроешься, что ты тем самым «имел в виду», или «хотел сказать». Здесь все слова и имена – собственные: и у Канта, и у Пруста, и даже у грузинского Стола. И здесь – и только здесь – Родину разум не проверяет на «оправданность» и «полноценность».

Конечно, кроме внешних оценок и толкований, есть и другая возможность для отклика – поделиться «личными воспоминаниями». Но едва ли им тут место: слишком непростым было отношение мастера к «этой Родине» (к России, к Грузии и к этому городу: «Люблю Питер – возможно, правда, потому, что он умирает»), как, впрочем, и к собственным публикациям, и слишком строго сам он следовал древнему правилу – «не плакать, не смеяться, но понимать...»

Итак, дело за малым: узнать себя в слове философа. Что говорит о нас – о каждом из нас – Мамардашвили, когда говорит о трансцендентальном синтезе, о феноменологической редукции. о метафизических «машинах времени», о Боге, о коррупции, о «сознании вслух» и т.д.? О чем он в нас не перестает повторять, сколь бы ни разнились его сюжеты и сколь бы ни были изменчивыми его профессиональные пристрастия? Словом, в чем смысл **философского события** встречи с его письмом?

«Философия, – утверждает Мамардашвили, – есть способность отдать самому себе отчет в очевидности». Очевидное – непосредственное содержание мышления. Мы думаем, во всяком случае, то, что нам ясно, – ясно само собой, без всякой метафизики. Зачем же нужны тогда философы? Разве не убеждаемся мы сплошь и рядом, что думаем «так же», как они? Разве нас не радует, когда метафизические истины – «в одну реку не войти дважды» и т.п. – при ближайшем рассмотрении сбрасывают с себя одежды бессмыслицы и

обнаруживают в нас способность к пониманию – к бытию в большом времени, где нет места «собственности» на мысли и суетудрию?

Вопрос, однако, вот в чем: как возможно это «ближайшее рассмотрение», а значит, и приносимая им радость, т.е. та именно радость, которая и есть знак встречи с самим собой – с исполненностью смысла, ради которого жив человек? Что может быть ближе, чем ближайшее – очевидное, сами собой, безо всякого усилия разумеющиеся вещи? «Ближе» – только само усилие. Оно и составляет сущность философского прорыва человека к самому себе, к восторгу полета над суетой повседневности, опыту собственного – никому не «принадлежащего» – мышления. Философия была бы никчемной, и Мамардашвили, не зная нас, ничего бы о нас не сказал, если бы не демонстрировал всем своим творчеством – «через труд свободы не перескочить».

Если философия позволяет мышлению состояться и если мысль живет лишь постольку, поскольку любима, то это не значит, что философский текст по преимуществу – «Ода к радости»

Оборотная сторона радости – страдание (и сострадание). Обратная сторона философии – наука. Наука о «содержании мышления». Именно этим была она всегда для Мамардашвили, ученика Декарта и Канта. Это наука о сущем в мышлении – о том, о чем, почему и каким образом мы не можем не думать. отдаем ли себе в том отчет или нет. Но такая наука, очевидно, может состояться только в том случае, если на деле мы **не знаем** своих собственных мыслей. т.е. у нас о них – ничуть, никак не скрытых, – есть только «мнение». На «неизвестной Родине», гражданином которой является всякий подлинный художник, между миром и творцом нет посредников: словами Ростиньяка, брошенными Парижу, – *à deux maintenant* – «теперь между нами». Так вот: именно теперь, «между нами» – когда мысль чиста и безупречна, когда душа, по формуле Платона, «сама с собой говорит», – именно теперь вдруг выясняется, что она **лжет самой себе** – уже постольку, поскольку полагает, что такое невозможно, что ей просто «ничего не остается», кроме как говорить самой себе Правду (ту самую, что, по Розанову, которого Мамардашвили необычайно ценил, – «выше Бога»). К сожалению, остается. Об этой страшной тайне вся философия Мамардашвили: о том, что «знать» свою духовную Родину может лишь не помнящий родства; о том, что умозрение и откровение, истинность и искренность онтологически неразрывны, и если разрыв между сущим на словах и сущим на деле в пределах мышления вообще может быть преодолен, то лишь при условии предваряющего всякую теорию эпистемологического усилия феноменологического синтеза бытия как откровения.

Так устроен мир: «Все необратимо, и не сделанное нами никогда не будет сделано».

И так для духа устроено родное: «Если ты родился и не спасся, пока был жив, то ты будешь все время заново и заново рождаться». Живы Данте и Пруст. Живы Декарт и Кант. «И если жив Кант, то жив и я». И если жив я, то жив и Мамардашвили.

Николай Иванов

ПРИМЕЧАНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

J.S. — Jean Santeuil («Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 1971).

Sw. — Du côté de chez Swann (t. I).

J.F. — A l'ombre de jeunes filles en fleurs (t. I).

C.G. — Le Côté de Guermantes (t. II).

S.G. — Sodome et Gomorrhe (t. II).
Pr. — Le Prisonnière (t. III).
Fug. — La Fugitive (t. III).
T.R. — Le Temps retrouvé (t. III).
S.B. — Contre Sainte-Beuve («Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 1971).

Лекция 1

¹ T.R. — p. 1046. — Здесь и далее все цитаты из романа Пруста приводятся в переводе М. Мамардашвили по изданию: *Proust, Marcel. A la recherche du Temps perdu. T. I — III.* «Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 1954 (с указанием сокращенного названия части романа и страницы).

² «Одно и то же в нас — живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти (противоположности), перемешавшись, суть те, а те, вновь перемешавшись, суть эти» (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 213).

³ См.: T.R. — p. 881, p. 895; J.F. — p. 718.

⁴ Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. Ад, XVI, с. 75. (Пер. М. Лозинского.)

⁵ T.R. — p. 898.

⁶ Sw. — p. 146.

⁷ T.R. — p. 911, 1033.

⁸ См.: Sw. — p. 390; C.G. — p. 143, p. 159; S.B. — p. 559.

⁹ J.F. — p. 490.

¹⁰ См.: *Фолкнер У.* Собрание рассказов. М., 1977. С. 573; его же: Статьи и интервью. М., 1985. С. 244.

¹¹ T.R. — p. 1040, p. 1044 — 45.

¹² C.G. — p. 282.

¹³ См.: S.G. — p. 1049; C.G. — p. 282.

¹⁴ См.: S.G. — p. 1049.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ C.G. — p. 159.

¹⁷ См.: Ibid. p. 176.

¹⁸ См.: Ibid. p. 175.

¹⁹ См.: S.B. — p. 219; lettre à Georges de Lauris (Claude Mauriac. Proust. 1953, p. 127).

²⁰ «Всем этим — вот правит Перун (вечный огонь). Всех и вся, нагрывнув внезапно, будет огонь судить и схватит» (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 239).

²¹ Saint-John Perse — Exil, 1942 (Poètes français XIX-XX siècles. М., Progres, 1982. p. 481).

Лекция 2

¹ *Valéry, Paul.* Œuvres. «Bibliothèque de la Pléiade». T. II. Paris, 1960. p. 1514.

² T.R. — p. 890, p. 1514.

³ S.B. — p. 309.

556

⁴ *Descartes.* Œuvres et Lettres. «Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 1953. Discours de la méthode. p. 126 — 127.

⁵ S.B. — p. 239.

⁶ См.: Ibid. p. 640.

⁷ T.R. — p. 1041.

⁸ C.G. — p. 159.

⁹ См.: Ibid. p. 175.

¹⁰ См.: Centenaire de Marcel Proust. Europe, revue mensuelle. 1970. p. 64.

¹¹ «Эту — вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают...» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 189).

¹² S.G. — p. 1126.

¹³ Fug — p. 489.

¹⁴ См.: Ibid. p. 490.

¹⁵ См.: *Poulet Georges — Etudes sur le temps humain.* 1952. Flaubert. p. 360 — 363

¹⁶ C.G. — p. 160.

Лекция 3

¹ T.R. — p. 894.

² См.: J.R. — p. 529; S.B. — p. 170.

³ См.: *Valéry p.* Œuvres. T. I. Discours en l'honneur du Goethe, p. 542.

⁴ T.R. — p. 718 — 719; C.G. — p. 548.

- ³ См.: T.R. — p. 896.
⁶ См.: Centenaire de Marcel Proust — p. 74.
⁷ Ibid.
⁸ C.G. — p. 160.
⁹ T.R. — p. 909.
¹⁰ Villonn. Œuvres poétiques. Ballade de la belle Heaumière. Garnier — Flammarion Paris 1965.
¹¹ C.G. — p. 283.
¹² См.: Музиль Р. Избранное. Сборник (Тонка). Прогресс, 1980 (на нем. яз)
¹³ C.G. — p. 159.
¹⁴ См.: C.G. — p. 49.
¹⁵ См.: C.G. — p. 50.
¹⁶ J.F. — p. 719.
¹⁷ Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 296.
¹⁸ См.: C.G. — p. 53, p. 115; T.R. — p. 992.
¹⁹ Fug. — p. 556.

Лекция 4

- ¹ S.G. — p. 1028-1029.
² Fug. — p. 424.
³ S.G. — p. 1028 — 1029.
⁴ См.: S.G. — p. 399 — 402; T.R. — p. 876 — 877.
⁵ T.R. — p. 872, 876, 906, 1044.
⁶ См.: T.R. — p. 899.
⁷ См.: T.R. — p. 1032.
⁸ J.F. — p. 872, p. 892.
⁹ T.R. — p. 899.
¹⁰ См.: T.R. — p. 1035.
¹¹ См.: T.R. — p. 899.
¹² См.: T.R. — p. 899, S.B. — p. 307; p. 215 — 216.
¹³ См.: T.R. — p. 899.
¹⁴ См.: Centenaire de Marcel Proust, lettre à Pobert Dreyfus, p. 64.
¹⁵ T.R. — p. 899.
¹⁶ Pr. — p. 191.
¹⁷ Ibid.
¹⁸ C.G. — p. 88.
¹⁹ Ibid.
557
²⁰ Ibid.
²¹ Fug. — p. 504.
²² См.: S.G. — p. 756; T.R. — p. 918.
²³ «Но я в той точке сделал поворот,
 Где гнет всех грузов отовсюду слился».
(Данте Алигьери. Божественная комедия, Ад, XXXIV, с. 154).

Лекция 5

- ¹ Sw. — p. 44.
² T.R — p. 972 — 1048.
³ «...Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
 Где Геркулес воздвиг свои межи...»
(Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад XXVI, с. 119).
⁴ «О братья... на закат Пришедшие дорогой многогрудной!
 Тот малый срок, пока еще не спят
 Земные чувства, их остаток скудный Отдайте постиженью новизны,
 Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!»
(Данте Алигьери. Божественная комедия, Ад, XXVI, с. 119).
⁵ Fug. — p. 444.
⁶ См.: Fug. — p. 434.
⁷ Pr. — p. 384.

- ⁸ См.: Pr. — p. 386.
⁹ Sw. — p. 363.
¹⁰ Ibid.
¹¹ S.G. — p. 759.
¹² Fug. — p. 424.
¹³ S.B. — p. 241.
¹⁴ «Что в имени? То, что зовется розой, — И под другим названием сохраняло б Свой сладкий запах!»
 (Шекспир В. Ромео и Джульетта. Т. 3. М.: Искусство, 1958 / Пер. Т. Щепкиной-Куперник).
¹⁵ Pr. — p. 256.
¹⁶ См.: Pr. — p. 257.
¹⁷ Ibid.
¹⁸ См.: Pr. — p. 375; p. 257; S.B. — p. 75.
¹⁹ См.: Pr. — p. 257 — 258.
²⁰ См.: Pr. — p. 258.
²¹ T.R. — p. 898.
²² См.: T.R. — p. 892.
²³ См.: T.R. — p. 870; S.G. — p. 859.
²⁴ Pr. — p. 374.
²⁵ Fug — p. 556 — 557.
²⁶ S.G. — p. 796.

Лекция 6

- ¹ Pr. — p. 356.
² J.F. — p. 580.
³ См.: J.F. — p. 751.
⁴ «Да и слишком дорого оценили гармонию, и не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно» (Достоевский Ф. Братья Карамазовы: Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1958. С. 309).
558
⁵ Декарт Рене. Избранные произведения. Метафизические размышления (второе размышление). М, 1950.
⁶ T.R. — p. 1037 — 1038.
⁷ Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад, IV, с.24.
⁸ «Я подобен центру круга, по отношению к которому все равно отстоят все точки окружности, ты же нет».
 (Данте Алигьери. Новая жизнь. М, 1965. С. 15; пер. И. Н. Голенищева-Кутузова).
⁹ Fug. — p. 504, 543.
¹⁰ Pr. — p. 411.
¹¹ T.R. — p. 895.
¹² См.: *Descartes*. Recherche de la vérité par la lumière naturelle, p. 899.
¹³ См.: Joyce James. A Portrait of the Artist as a Young Man. М.: Progres, 1982
¹⁴ См.: J.S. — p. 703; p. 490; S.B. — p. 132.

Лекция 7

- ¹ Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979.
 «Время срезает меня, как монету,
 И мне уже не хватает меня самого».
 (Нашедший подкову, 1923)
 «И меня срезает время, как скосило твой каблук».
 («Холодок щекочет темя...»)
² S.G. — p. 339.
³ J.S. — p. 630.
⁴ См.: J.S. — p. 536.
⁵ См.: Mauriac Claude. Proust, p. 127, lettre à Geroges de Lauris.
⁶ См.: Pascal. Œuvres complètes. Le Nouveau Testament. «Bibliothèque de la Pléiade», 1954; p. 1313. Шестов, Лев. На весах Иова. Гефсиманская ночь. Paris: Ymca-Press, 1975.
⁷ «Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Евангелие от Марка, гл. 13).
⁸ «Для каждого четырнадцатилетнего подростка — южанина, не однажды, а когда бы он ни пожелал, наступает минута, когда еще не пробило два часа в тот июльский день 1863 года: дивизии за оградой наготове, пушки, укрытые в лесу, наведены, свернутые знамена распущены, чтобы сразу взвиться... и все

сейчас на весах, это еще не произошло, даже не началось, и не только не началось, но есть еще время не начинать» (Фолкнер У. Собрание рассказов. М., 1977. С. 573).

⁹ Мандельштам О. Слово и культура (О причине слова). Л., 1979. С. 55.

¹⁰ См.: S.G. — p. 983 — 985; C.G. — p. 88.

¹¹ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 53.

¹² Кант Им. Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 593 (Об основанном на априорных принципах переходе от метафизических начал естествознания к физике).

Лекция 8

¹ Sw. — p. 184.

² См.: Пруст, Марсель. Под сенью девушек в цвету. М., 1976. С. 298 (пер. Н. Любимова).

³ Там же. С. 298; J.F. — p. 719.

⁴ Ibid.

⁵ T.R. — p. 932.

⁶ Fug. — p. 423.

⁷ См.: Fug. — p. 556.

⁸ Pr. — p. 98.

⁹ Sw. — p. 5.

¹⁰ См.: Veinant, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les grecs. Paris, 1966. p. 76.

¹¹ T.R. — p. 895.

¹² См.: Fug — p. 495; J.F. — p. 534.

559

Лекция 9

¹ Pr. — p. 150.

² T.R. — p. 873.

³ J.E. — p. 730.

⁴ Sw. — p. 178.

⁵ См.: Sw. — p. 179.

⁶ См.: SW. — P. 179.

⁷ Ibid.

⁸ См.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979.

«И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света...»

(«Еще он помнит башмаков износ...»)

⁹ Sw. — p. 180.

¹⁰ См.: Sw. — p. 181.

¹¹ Fug. — p. 562.

¹² T.R. — p. 693.

¹³ Sw. — p. 183.

¹⁴ См.: Sw. — p. 184.

¹⁵ См.: Sw. — p. 185.

¹⁶ См.: Sw. — p. 421.

¹⁷ См.: Sw. — p. 184.

¹⁸ См.: Sw. — p. 185.

¹⁹ T.R. — p. 807.

²⁰ Sw. — p. 185.

²¹ См.: Sw. — p. 304.

²² См.: Sw. — p. 185.

Лекция 10

¹ S.B. — p. 308.

² См.: J.F. — p. 654, Sw. — p. 6; S.G. — p. 769.

³ J.S — p. 400, 401.

⁴ S.B. — p. 355, 880.

⁵ Sw. — p. 5.

⁶ C.G. — p. 418.

⁷ T.R.- p. 870, 871.

- ⁸ J.S. — p. 402.
⁹ T.R. — p. 877.
¹⁰ Fug — p. 495.
¹¹ S.B. — p. 421.
¹² См.: S.B. — p. 417.
¹³ J.F. — p. 494.
¹⁴ См.: S.B. — p. 181, 183; C.G. — p. 241; T.R. — p. 915.
¹⁵ См.: S.B. — p. 380; J.S. — p. 110 — 111.
¹⁶ T.R. — p. 878.
¹⁷ См.: T.R. — p. 879.
¹⁸ S.B. — p. 557 — 559.
¹⁹ См.: T.R. — p. 476, 669, 796; C.G. — p. 327.
²⁰ См.: S.B. — p. 307 — 309; T.R. — p. 879.
²¹ T.R. — p. 871, 867.
²² *Platon*. Œuvres complètes. «Bibliothèque de la Pléiade. 1954. T. I, Laches.
²³ См.: T.R. — p. 877, 871; Centenaire de Marcel Proust — p. 61 (lettre à la princesse Bibesco).
²⁴ См.: T.R. — p. 1046 — 1047.

Лекция 11

- ¹ *Artaud*, Antonin. L'Ombilic des Limbes. Gallimard, 1968. (A la grande nuit ou Le bluff surréaliste).
² S.G. — p. 756.

560

- ³ См.: *Artaud*, Antonin. L'Ombilic des Limbes. (letres à Jacques Rivière)
⁴ См.: S.G. — p. 733; p. 787.
⁵ См.: Centenaire de Marcel Proust. p. 61 (lettre à la princesse Bibesco) ⁶ См.: S.B. — p. 640. T.R. — p. 1041.
⁷ См.: S.B. — p.89, 141. T.R. — p. 1040. p. 1044 — 1045.
⁸ См.: T.R. — p. 874. 871; S.B. — p. 418.
⁹ См.: *Pascal*. Pensées. Misère de l'Homme, p. 1121.
¹⁰ См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 67 (lettre à madame Catusse)
¹¹ C.G. — p. 92.
¹² См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65 (lettre à René Blum)
¹³ Ibid.
¹⁴ Ibid.

Лекция 12

- ¹ T.R. — p. 1047.
² См.: *Декарт*. Метафизические размышления (размышление второе)
³ См.; T.R — p. 1044; J.S. — p. 452.
⁴ См.: T.R. — p. 907, 1034.
⁵ См.: S.B. — p. 564; T.R. — p. 912.
⁶ См.: T.R. — p. 896.
⁷ См.: T.R. — p. 1046; J.F. — p. 907.
⁸ См.: T.R. — p. 896.
⁹ Fug — p. 438.
¹⁰ Ibid.
¹¹ Ibid.
¹² T.R — p. 890.
¹³ T.R. — p. 896.
¹⁴ Ibid.
¹⁵ Ibid.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ См.: Sw. — p. 178; T.R. — p. 1047.
¹⁸ *Валери*, Поль. Об искусстве. М., 1976. С. 600.
¹⁹ Sw. — p. 85.
²⁰ Ibid.

Лекция 13

- ¹ Sw — p. 85 — 86.
² C.G. — p. 48.
³ Sw. — p. 85.
⁴ См.: J.F. — p. 500; S.B. — p. 640, 604.
⁵ Sw. — p. 85 — 86.
⁶ C.G. — p. 48.
⁷ См.: T.R. — p. 874; Fug. — p. 532, 533.
⁸ См.: T.R. — p. 882.
⁹ См.: C.G. — p. 394 — 395; S.B. — p. 186.
¹⁰ См.: J.F. — p. 833; T.R. — p. 907.
¹¹ C.G. — p. 398.
¹² J.S. — p. 489.
¹³ Ibid.
¹⁴ Ibid.
¹⁵ См.: J.S. — p. 398, 490, 703; S.B. — p. 132
¹⁶ См.: J.S. — p. 398 — 399.
¹⁷ S.G. — p. 985.
¹⁸ Ibid.
¹⁹ См.: C.G. — p. 414; J.S. — p. 453.
²⁰ См.: J.S. — p. 396, p. 471; C.G. — p. 48, 459.
²¹ T.R. — p. 889.
²² J.S.- p. 453.

561

- ²³ См.: J.S. — p. 454.
²⁴ Pr. — p. 100.
²⁵ См.: Pr. — p. 386.
²⁶ T.R. — p. 891.
²⁷ J.S. — p. 455.
²⁸ Ibid.
²⁹ См.: T.R. — p. 696; *Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Callimard, 1961, p. 207; Бодлер. Цветы Зла. М.: Наука, 1970.*

«Паскаль носил в душе водоворот без дна. —
Все пропасть алчная: слова, мечты, желанья».
(Пер. К. Бальмонта)

- ³⁰ *Pascal. Œuvres complètes. La place de l'homme dans la nature. p. 1106.*
³¹ T.R. — p. 533.
³² Pr. — p. 356.
³³ S.G. — p. 756.
³⁴ См.: S.G. — p. 756 — 757.
³⁵ См.: S.G. — p. 757.
³⁶ Pr. — p. 381.
³⁷ *Fourier. Le Nouveau Monde Amoureux. Paris, 1967. p. 391.*

Лекция 14

- ¹ «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Евангелие от Марка, гл. 10 — 25).
² *Apopalypse de Jean — XIII, 12 — 18.*
³ См.: *Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra (Sämliche Werke, Kröner, 1964).*
⁴ *Poems of William Blake. The Prophetic Books / Ed. by W. B. Yeats, London. 1979, p. 186 — 187.*
⁵ «Но настанет время и настало уже». Евангелие от Иоанна (гл. 4 — 23).
⁶ См.: *Platon. T. I. La Republique, p. 1238 (Le choix d'une destinée).*
⁷ Ibid.
⁸ См.: T.R. — p. 895; J.S. — p. 499.
⁹ «...in this one thing, all the discipline
Of Manners end of manood is contained;
A man to join himself with th'Universe
In this main way, and make in all things fit
One with that All, and go on, round as it;

Not plucking from the whole his wretched part,
And into straits, or into nought revert
Wishing the complete Universe might be
Subject to such a rag of it as he;
But to consider great Necessity».

(*Donne*)

¹⁰ C.G. — p. 567.

¹¹ Sw. — p. 46.

Лекция 15

¹ S.B. — p. 76.

² См.: S.D. — p. 307; T.R. — p. 881.

³ Pr. — p. 277.

⁴ *Breton, Andre. Ode a Fourier. Paris, 1961. p. 78.*

⁵ Pr. — p. 66.

⁶ S.B. — p. 394.

⁷ Fug. — p. 517.

⁸ См.: C.G. — p. 54; J.S. — p. 806; S.B. — p. 612; Fug. — p. 425; T.R. — p. 944.

⁹ Sw. — p. 46.

¹⁰ T.R. — p. 880.

¹¹ Ibid.

¹² См.: Sw. — p. 427.

562

¹³ Pr. — p. 417.

¹⁴ «Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобны: присутствуя, отсутствуют, — говорит о них пословица». «Все, что видим наяву, — смерть; все, что во сне, — сон; все, что по смерти, — жизнь» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 190, 217).

¹⁵ T.R. — p. 869, p. 870, p. 873.

¹⁶ S.B. — p. 558.

¹⁷ Sw. — p. 279.

¹⁸ См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65 (lettre à René Blum).

¹⁹ «Входящие, оставьте упования» (Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. III, с. 18).

²⁰ См.: Там же.

²¹ См.: *Poulet. Etudes sur le temps humain. Proust. p. 417 (lettre à René Blum)*

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ См.: J.F. — p. 655 — 656; *Poulet* — p. 412.

²⁵ См.: *Poulet. Sur le temps humain. Proust. p. 412.*

²⁶ См.: J.F. — p.656; Sw. — p. 179.

²⁷ См.: *Poulet. Sur le temps humain. Proust. p. 412.*

²⁸ См.: Ibid. p. 413.

²⁹ Ibid.

³⁰ *Bertini, Mariolina Bongiovanni. Guida a Proust, p. 204. (Le Temps Retrouvé dans les Cahiers in «Etudes proustieies» d'Henri Bonnet. Paris, 1973).*

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ См.: *Mauriac, Claude. Proust. p. 66.*

³⁶ См.: *Bertini M. Guida a Proust. p. 205.*

³⁷ T.R — 889.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² См.: T.R — p. 881.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid. p. 881.

⁴⁵ Ibid. p. 890.

- ⁴⁶ Ibid.
⁴⁷ Ibid.
⁴⁸ Ibid.
⁴⁹ J.S. — p. 447, p. 451.
⁵⁰ T.R. — p. 896.
⁵¹ Ibid.

Лекция 16

- ¹ S.B. — p. 558 — 559.
² T.R. — p. 892.
³ См.: Ibid. p. 891.
⁴ Ibid.
⁵ S.G. — p. 1128.
⁶ «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его; Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Евангелие от Матфея, гл. 11 (12)).
⁷ T.R. — p. 891.
⁸ См.: Ibid. p. 891 — 892.
⁹ См.: Ibid. p. 892.
¹⁰ См.: Ibid. p. 884.
¹¹ J.S. — p. 244.
¹² T.R. — p. 884.
¹³ См.: T.R., — p. 885.

563

- ¹⁴ Ibid.
¹⁵ См.: T.R., — p. 858.
¹⁶ Sw. — p. 184.
¹⁷ J.F. — p. 949.
¹⁸ T.R., — p. 885.
¹⁹ Ibid.
²⁰ Sw. — p. 135.
²¹ Ibid.
²² C.G. — p. 91 — 92.
²³ T.R. — p. 866 — 867.
²⁴ См.: S.B. — p. 89; T.R. — p. 1033, 1045; Sw. — p. 100.

Лекция 17

- ¹ См.: S.B. — p. 418; T.R., — p. 895.
² См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 65.
³ См.: Ibid. p. 64.
⁴ T.R. — p. 1041.
⁵ Centenaire de Marcel Proust, p. 64 (lettre à Robert Dreyfus).
⁶ «Небо синее — в цветке,
В горстке праха — бесконечность;
Целый мир держать в руке,
В каждом миге видеть вечность!»
(Уильям Блейк. *Стихи. М., 1982. Изречения невинности. С. 325 / Пер. В. Топорова*).
⁷ C.G. — p. 356.
⁸ T.R. — p. 889 — 890.
⁹ «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие Воды» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 209).
¹⁰ См.: Sw. — p. 404; Fug. — p. 488; Pr. — p. 100.
¹¹ T.R. — p. 876.
¹² См.: T.R. — p. 889.
¹³ Ibid. p. 869 — 870.
¹⁴ Ibid. p. 870.
¹⁵ Ibid. p. 975.
¹⁶ Ibid. p. 871.
¹⁷ C.G. — p. 398.

- ¹⁸ Ibid.
- ¹⁹ Sw. — p. 66.
- ²⁰ См.: *Poulet*. Etudes sur le temps humain, p. 412.
- ²¹ C.G. — p. 62.
- ²² См.: *Poulet*. Etudes sur le temps humain, p. 415.
- ²³ T.R., — p. 914.
- ²⁴ См.: Sw. — p. 156; T.R — p. 884.
- ²⁵ S.B. — p. 309.
- ²⁶ См.: T.R. — p. 975; Sw. — p. 84.
- ²⁷ *Artaud*. Le théâtre et son double. Gallimard, 1964, p. 226;.
- ²⁸ См.: Ibid. p. 92, 135.
- ²⁹ См.: Ibid. p. 141.
- ³⁰ T.R. — p. 878.
- ³¹ См.: *Artaud*. Le théâtre et son double, p. 206, 227.
- ³² S.B. — p. 723.
- ³³ См.: *Artaud*. Le théâtre et son double, p. 75.
- ³⁴ См.: Ibid. p. 71.

Лекция 18

- ¹ *Хлебников*, Велимир. Творения. Свояси. М., 1987. С. 37.
- ² T.R — p. 889.
- 564**
- ³ См.: Ibid. p. 890.
- ⁴ S.B. — p. 127, 241.
- ⁵ См.: S.B. — p. 128, 765.
- ⁶ T.R. — p. 890.
- ⁷ См.: *Fug*, — p. 466; T.R — p. 909.
- ⁸ См.: T.R — p. 889.
- ⁹ См.: C.G. — p. 174; Sw. — p. 164.
- ¹⁰ T.R. — p. 857.
- ¹¹ S.B. — p. 723.
- ¹² Ibid.
- ¹³ Pr. — p. 378.
- ¹⁴ T.R., — p. 908.
- ¹⁵ «Путь вверх-вниз один и тот же» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 204)
- ¹⁶ T.R. — p. 898, 911, 880.
- ¹⁷ J.F. — p. 578.
- ¹⁸ Sw. — p. 163.
- ¹⁹ См.: *Artaud*. Les Tarahumaras. Gallimard, 1971 (lettre à Henri Parizot).
- ²⁰ См.: *Artaud*. Le théâtre et son double, p. 75.

Лекция 19

- ¹ См.: S.B. — p. 224; Centenaire de Marcel Proust, p. 60 (lettre à Robert Dreyfus).
- ² См.: *Artaud*. Le théâtre et son double, p. 53.
- ³ S.G. — p. 1048 — 1049.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ C.G. — p. 383.
- ⁶ T.R. — p. 872.
- ⁷ См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 60 (lettre à Robert Dreyfus).
- ⁸ «Человек — свет в ночи: вспыхивает утром, угаснув вечером. Он вспыхивает в жизни, умерев, словно как вспыхивает к бодрствованию, уснув» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 216).

Лекция 20

- ¹ T.R. — p. 932. ² J. F. — p. 833.
- ³ *Bergson*, Henri. Œuvres. La possible et le réel. Paris, 1970. p. 1341.
- ⁴ *Еврипид*. Трагедии. Т. I. Алкеста. М., 1969 (пер. И. Анненского).

⁵ Pr. — p. 187 — 188.

⁶ См.: *Platon*. Т. II. Phèdre. p. 39.

⁷ Т.Р — p. 890.

⁸ Pr. — p. 386.

⁹ С.Г. — p. 549.

Лекция 21

¹ См.: Т.Р. — p. 557; S.B. — p. 557.

² Pr. — p. 381.

³ Первое послание к коринфянам Св. Апостола Павла (гл. XIV).

⁴ Pr. — p. 372, 385.

⁵ См.: Pr. — p. 375; J.S., — p. 789.

⁶ См.: Pr. — p. 12.

⁷ Т.Р. — p. 718.

⁸ См.: Ibid. p. 870.

Лекция 22

¹ S.B. — p. 305.

² См.: Centenaire de Marcel Proust; lettre à Lucien Daudet, p. 67.

565

³ См.: *Valéry, p. Œuvres*. Т. II. p. 1458.

⁴ См.: *Валери, Поль. Об искусстве*. С. 534; *Valéry p. Œuvres*. Т. П. P. 1506 — 1507.

⁵ См.: *Valéry p. Œuvres*. Т. II. P. 1501.

⁶ Ibid.

⁷ См.: Ibid. p. 1464.

⁸ См.: *Valéry p. Cahiers. «Bibliothèque de la Pléiade»*. Т. I. Paris, 1974. p. 777.

⁹ Т.Р., — p. 911.

¹⁰ S.B. — p. 596.

¹¹ J.F. — p. 831.

¹² С.Г. — p. 54.

¹³ См.: Pr. — p. 166; Fug. — p. 517.

¹⁴ См.: Pr. — p. 165 — 166.

¹⁵ См.: Pr. — p. 172.

¹⁶ С.Г. — p. 175.

¹⁷ S.B. — p. 174, 309.

¹⁸ С.Г. — p. 175.

¹⁹ См.: С.Г. — p. 67.

²⁰ Pr — p. 147 — 149.

²¹ Т.Р. — p. 897.

²² Ibid.

²³ См.: *Valéry p. Cahiers*. Т. I. p. 1099.

²⁴ S.G. — p. 756.

²⁵ Т.Р. — p. 1048.

Лекция 23

¹ См.: *Rilke, Reiner Maria. Briefe*. Insel Verlag, 1950; Château de Muzot sur Sierre, Valais. Nora Putschner — Wydenruck. ² S.G. — p. 1028.

³ См.: J.F. — p. 529; S.B. — p. 107.

⁴ Т.Р. — p. 1045.

⁵ См.: Ibid. p. 734 — 737.

⁶ Ibid. p. 1044, 879; С.Г. — p. 49.

⁷ *Рильке, Райнер Мария. Лирика*. М., 1976. С. 139.

«Мы только голос.

Кем воспета даль, где сердца всех вещей единый звон?»

(Пер. В. Куприянова)

⁸ Pr. — p. 151.

- ⁹ «...Voire ou que je vive sans vie Comme les images, par cœur, Mort!» (*Villon. Œuvres poétiques. Rondeau*. Flammarion, Paris, 1965, p. 88).
- ¹⁰ См.: T.R — p. 878; Pr. — p. 88, 90.
- ¹¹ См.: T.R. — p. 900.
- ¹² *Pascal*. Le Nouveau Testament, p. 1313, 1315.
- ¹³ Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла, гл. 8 (9).
- ¹⁴ *Бодлер*, Шарль. Цветы Зла — Прохожей. М.: Наука, 1970.
«... Но я б тебя любил — мы оба это знали».
(*Пер. В. Левина*)
- ¹⁵ J.F. — p. 909, 910.
- ¹⁶ См.: *Fourier*. Le Monde Amoureux, p. 458.
- ¹⁷ *Ibid*. p. 13, 26, 47; *Michaux*, Henri. L'infini turdulent. Mercure de France. Paris, 1952. p. 19, 82.

Лекция 24

- ¹ «Иисус сказал ему: Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Евангелие от Иоанна, гл. 14(6)).
- ² Откровение Святого Иоанна Богослова, гл. 20 (12 — 15).
- ³ S.B. — *Sentiments filiaux d'un parricide*, p. 150.
- ⁴ T.R. — p. 1041.
- ⁵ *Ibid*.
- 566**
- ⁶ См.: *Ibid*. p. 881.
- ⁷ См.: *Ibid*. p. 880.

Лекция 25

- ¹ Первая книга Моисеева (Бытие, гл. 22).
- ² C.G. — p. 406.
- ³ T.R. — p. 770.
- ⁴ См.: T.R, — p. 700; J.S. — p. 783.
- ⁵ См.: T.R, — p. 771.
- ⁶ Послание к римлянам Святого Апостола Павла, гл.7.
- ⁷ C.G. — p. 120.

Лекция 27

- ¹ *Кант* И. Трактаты и письма. М., 1980 (Кант — Лафатеру, с. 537-538).
- ² «И высочайший гений не прибавит Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке — и лишь это нам Рука, послушная рассудку, явит...»
(*Г. Кушеровская. Титан. М: Молодая гвардия, 1973*)
- ³ S.G, — p. 752.
- ⁴ C.G. — p. 229 — 230.
- ⁵ Fug. — p. 465.
- ⁶ *Ibid*.

Лекция 28

- ¹ Pr. — p. 223.
- ² Fug. — p. 472.
- ³ Pr. — p. 223.
- ⁴ Fug. — p. 465 — 466.
- ⁵ См.: Fug. — p. 465.
- ⁶ См.: Fug. — p. 466.
- ⁷ *Блок* А. Стихотворения. М., 1968. С. 439.
«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...»
- ⁸ *Борхес*, Хорхе Луис. Проза разных лет. М., 1984. С. 155 (Поиски Аверроэса)

Лекция 29

- ¹ См.: *The Poems of William Blake — Introduction*, p. xlio.
- ² *Ibid*.

³ S.B. — p. 221 — 222.

⁴ См.: The Poems of William Blake — The Prophetic Books, p. 190.

⁵ Pr. — p. 386.

⁶ Ibid.

⁷ См.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979. С. 210 («Я знаю, что обман в видении немислим...»).

Лекция 30

¹ Блейк, Уильям. Стихи. М, 1982, с. 391 (Видения дочерей Альбиона / Пер. А. Сергеева).

² Бодлер, Шарль. Цветы Зла. М, 1970. С. 129 (Пропась / Пер. К. Бальмонта).

³ См.: Блейк, Уильям. Стихи. (Видения дочерей Альбиона / Пер. А. Сергеева).

⁴ См.: *Platon*. Т. I, *Timée*, p. 442.

567

Лекция 31

¹ J.S — p. 596.

² T.R. — p. 899.

³ См.: Centenaire de Marcel Proust. p. 73 (lettre à Sydney Schiff).

⁴ S.B. — p. 421.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ См.: S.B. — p. 420.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ См.: *Valéry p. Œuvres*. Т. I. p. 876.

Лекция 32

¹ См.: Кант И. Соч. Т. 2. С. 189 (Приложение к «Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного»).

² См.: Блок А. Стихотворения. С. 128 («Сижу за ширмой. У меня такие крохотные ножки...»).

³ См.: T.R. — P. 1037; S.G. — p. 756, p. 782.

⁴ См.: T.R. — P. 1037.

⁵ См.: *Platon*. Т. I. *Phédon*, p. 780.

⁶ J.S. — p. 453.

⁷ См.: J.S. — p. 453.

⁸ См.: Кант И. Соч. Т. 6: «Об основанном на априорных принципах переходе от метафизических начал естествознания к физике».

⁹ См.: T.R., — p. 871 — 872; Centenaire de Marcel Proust. p. 64 (lettre à Louis de Robert).

Лекция 33

¹ S.G. — p. 604 — 605.

² См.: S.G. — p. 1021.

³ См.: S.G. — p. 614.

⁴ Henry Anne — Marcel Proust. Paris, 1981, p. 93 — 94.

⁵ C.G. — p. 67.

⁶ Ibid. p. 65.

⁷ Ibid. p. 67.

⁸ Ibid.

⁹ См.: Брук, Питер. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976.

¹⁰ C.G. — p. 272.

¹¹ См.: *Descartes. Œuvres de Lettres — Traite de l'homme*, p. 814.

¹² C.G. — p. 67.

¹³ См.: Henry, Anne. Marcel Proust, p. 93.

Лекция 34

¹ S.G. — p. 1126 — 1127.

² *Alain*. Les passions et la sagesse. «Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 1960. p. 771.

³ См.: Centenaire de Marcel Proust, p. 199.

Лекция 35

¹ См.: *Comte-Sponville, André. Le mythe d'Icare. Paris, 1984. p. 284* {*Mallarmé S. Réponses J. Huret, Pléiade, p. 872. — «Le monde est fait pour aboutir à un beau livre.»*}

² См.: *The Poems of William Blake, p. 231.*

³ См.: *Henry, Anne. Marcel Proust, p. 323 (lettre à Jacques Rivere).*

⁴ См.: Блок А. Стихотворения. М., 1968. С. 376. («О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой...»)

⁵ См.: *The Poems of William Blake. p. 179, 183.*

568

Лекция 36

¹ *Fourier. L'attraction passionnée. Jean-Jacques Pauvert, 1967. p. 58 — 59.*

² См.: *Alain. Les passions et la sagesse, Jules Lagneau, p. 761.*

³ См.: *Descarters. Œuvres, Entretien avec Burman, p. 1374.*

⁴ См.: *Fourier. L'attraction passionnée, p. 57.*

⁵ S.B. — Jules Renard, p. 396.

⁶ См.: *Ibid. p. 396 — 397.*

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора.....	5
ЛЕКЦИЯ 1.....	7
ЛЕКЦИЯ 2.....	19
ЛЕКЦИЯ 3.....	34
ЛЕКЦИЯ 4.....	49
ЛЕКЦИЯ 5.....	62
ЛЕКЦИЯ 6.....	77
ЛЕКЦИЯ 7.....	90
ЛЕКЦИЯ 8.....	105
ЛЕКЦИЯ 9.....	117
ЛЕКЦИЯ 10.....	132
ЛЕКЦИЯ И.....	146
ЛЕКЦИЯ 12.....	160
ЛЕКЦИЯ 13.....	174
ЛЕКЦИЯ 14.....	194
ЛЕКЦИЯ 15.....	211
ЛЕКЦИЯ 16.....	233
ЛЕКЦИЯ 17.....	250
ЛЕКЦИЯ 18.....	273
ЛЕКЦИЯ 19.....	297
ЛЕКЦИЯ 20.....	319
ЛЕКЦИЯ 21.....	338
ЛЕКЦИЯ 22.....	357
ЛЕКЦИЯ 23.....	375
ЛЕКЦИЯ 24.....	394
ЛЕКЦИЯ 25.....	405
ЛЕКЦИЯ 26.....	417
ЛЕКЦИЯ 27.....	429
ЛЕКЦИЯ 28.....	443
ЛЕКЦИЯ 29.....	457
ЛЕКЦИЯ 30.....	473
ЛЕКЦИЯ 31.....	484
ЛЕКЦИЯ 32.....	497
ЛЕКЦИЯ 33.....	510
ЛЕКЦИЯ 34.....	522
ЛЕКЦИЯ 35.....	530
ЛЕКЦИЯ 36.....	543
Примечания.....	555

Мераб Константинович Мамардашвили
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ ПУТИ
М. Пруст. "В поисках утраченного времени"

Редактор И. К. Мамардашвили

Художник Е. Б. Горбатова

Набор и верстка *Л. Ю. Самсонова*

Корректоры И.М. Анисимова, В.С. Кизило

Сдано в набор 03.01.97. Подписано в печать 11.02.97. Формат 70X100 **1/16**.

Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 49,75. Печ. л. 36,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 356.

Русский Христианский гуманитарный институт.

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 34 б.

Лицензия ЛР № 071122 от 04.01.1995.

ТОО «Журнал НЕВА».

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 3.

Лицензия ЛР № 03116 от 04.10.1996.

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Книга издана при участии **Предприятия** Санкт-Петербургского Союза художников